

В.В. РОЗАНОВ

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

3

В. Розанов

Институт научной информации по общественным наукам
Российской академии наук
Российский государственный архив литературы и искусства

Росток

В. В. РОЗАНОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В 35 томах

Серия

«Литература и искусство»

В 7 томах



Санкт-Петербург
2016

В. В. РОЗАНОВ

Том третий
О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Статьи 1901–1907 гг.



Санкт-Петербург
2016



*Издание осуществляется при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Исследовательский проект 08-04-00025а
Издательский проект 16-04-16010*

Редакционная коллегия:

А. Н. Николюкин (главный редактор)
Т. М. Горяева, А. П. Дмитриев (заместитель главного редактора),
И. А. Едошина, Ю. С. Пивоваров, А. Ю. Розанов, Л. В. Скворцов,
В. А. Фатеев, С. Р. Федякин

Ответственный секретарь
К. А. Жулькова

Составитель и научный редактор тома
А. Н. Николюкин

ISBN 978-5-94668-147-6

ISBN 978-5-94668-181-0 (т. 3)



9 785946 681810

© ИНИОН РАН, 2016
© РГАЛИ, 2016
© А. Н. Николюкин, составление, 2016
© Издательство «Росток», 2016

Содержание ¹

СТАТЬИ 1901–1907 гг.

1901

К. М. Фофанов. Иллюзии. Стихотворения	13	709
С. Д. Арсеньева. Рассказы из русской истории	15	709
Своевременная книга	16	710
Литература и литераторы	17	710
М. Ю. Лермонтов (К 60-летию кончины)	20	661 711
О поэзии гр. А. К. Толстого *	28	713
О провинциальной печати	33	713
М. О. Меньшиков. Начала жизни. Нравственно-философские очерки	35	666 713
Почти единственная газета в России	37	714
<Д. Л. Мордовцев и М. Н. Катков>	39	715
«Демон» Лермонтова в окружении древних мифов	40	668 715
«Педагоги» Отто Эрнста	48	716
О литературных занятиях чиновников	50	717
Художественное изучение русского языка	52	717
Иван Щеглов. Новое о Пушкине	54	718
Жертвы вечерние *	56	719
Философ-Рудин	60	668 719
М. Н. Богданов. Из жизни русской природы. Зоологические очерки и рассказы	66	721
Мнимое заимствование	67	668 721
Религиозно-философские собрания	69	722

1902

Каменная баба *	72	669 722
Национальные таланты	73	723
Сто лет поэзии и прозы	76	724
О множестве самобытных идей	78	726
Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьёва	80	727
50-летие кончины Гоголя	82	727
Д. Мережковский. Любовь сильнее смерти. Итальянская новелла XV века	85	669 728
Проф. В. И. Модестов. Введение в римскую историю	88	728
<10-е Религиозно-философское собрание>	89	729
Религиозно-философские собрания	90	729
С. А. Рачинский и его Татеве	93	729

¹ В первом столбце указаны страницы текста, во втором — варианты, в третьем — комментарии.

* Звездочкой отмечены не печатавшиеся при жизни В. В. Розанова произведения, обнаруженные в архивах.

Письмо в редакцию <О книге В. А. Добролюбова>	99	730
Полезное издание для народа	100	731
Особая группа писателей (Из переписки С. А. Рачинского)	102	732
Дм. Кайгородов. Из родной природы	109	735
Альбом выставки в память Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского	111	735
К литературной деятельности Н. Н. Страхова	112	735
Концы и начала, «божественное» и «демоническое», боги и демоны	119	736
«Демон» Лермонтова и его древние родичи	135	738
Культура и «Гражданин»	144	739
Вл. Соловьёв и Достоевский	145	739
Томас Карлейль. Речь, произнесенная при вступлении в должность лорда ректора Эдинбургского университета, 2-го апреля 1866 г.	152	741
Счастливый обладатель своих способностей	153	741
Размолвка между Достоевским и Соловьёвым	155	669 742
Под знаменем науки	161	745
И. Л. Щеглов (Леонтьев) (К 25-летию литературной деятельности)	163	745
Идеалы скромных людей	166	677 746
Гоголь	173	747
Предисловие к книге «О Гоголе»	177	748
25-летие кончины Некрасова (27 декабря 1877 г. — 27 декабря 1902 г.)	179	748
Русская литература *	189	749
Ускользающий читатель *	189	749

1903

Письмо в редакцию <О Д. С. Мережковском>	190	750
Издание соч. Влад. С. Соловьёва	190	750
О благодущии Некрасова	191	751
В своем углу. От автора	204	752
Шестидесятые годы и «утилитарная критика»	205	679 752
Заметка о Мережковском	208	680 754
О письме гр. С. А. Толстой	210	680 754
Еще о «60-х годах» нашей истории	212	680 755
Шалун нашей прессы	213	681 756
Памяти Евг. Льв. Маркова	216	757
Г-н Меньшиков и его обвинения	218	682 757
Ответ г. Меньшикову	224	758
Заметка <Еще о Д. С. Мережковском>	229	759
Серьезный критик	229	684 759
Простая рыбачка	234	760
О либерализме как некотором общем духе	235	761
Среди иноязычных (Д. С. Мережковский)	238	684 761
Годовщина смерти Золя	254	686 765
Ив. С. Тургенев (К 20-летию его смерти)	259	689 766
Университетский вопрос в освещении Н. П. Гилярова-Платонова	265	767
С. А. Андреевский как критик	273	768
О «Двух путях» Минского	279	769

Моммзен и Ренан	286	771
Московские идеалисты	294	772
Тенор журналистики	301	773

1904

Печатание ситцев	303	774
Царевич Алексей	304	774
Американизм и американцы	308	691 775
Нации технические и нации поэтические	310	775
Февральские потери	313	776
Судьба русского ученого	319	692 777
Один из добрых наших наставников	324	695 777
Поминки по славянофильству и славянофилах	330	778
В чаяниях «движения воды»	337	780
Литературные новинки <Л. Андреев>	347	781
Новое из прошлого гр. Л. Н. Толстого	354	782
Литературные новинки <А. Чехов, С. Юшкевич>	364	784
<О «Новом Пути»>	372	785
Литературные новинки <Е. Милицына>	374	785
Литературные новинки <М. Лемке>	381	786
Писатель-художник и партия	387	787
Правила добродетели и условия добродетели	394	698 789
Русские идеалы	402	700 790
Из прошлого нашей общественной мысли	408	791
«Меблированная пыль» на сцене Малого театра	415	792
Перед рассветом	416	792

1905

Наука и литература в уставе о печати	423	793
Куно-Фишер. История новой философии	424	794
О литературной этике	425	794
Оконченная «трилогия» г. Мережковского	426	703 795
Н. Л. Кладо (Прибой). Современная морская война. — Морские заметки о русско-японской войне	434	796
Эльпе. Душа животных и растений	435	797
Когда-то знаменитый роман	436	704 797
Мечта в шелку	443	798
Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва	448	799
Памяти кн. С. Н. Трубецкого *	475	804
Т. Н. Грановский (К 50-летию его кончины)	478	807
София Благодушная. Как он пошел в народ	486	808
В. Горленко. Отблески. Заметки по словесности и искусству	488	809
А. В. Никитенко. Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и дневник. 1804—1877 *	489	809
На чтениях г. Бердяева *	491	810
Мечта «Третьего Рима» *	493	810

1906

Памяти Н. И. Стороженко	496	811
Памяти Ф. М. Достоевского (28 января 1881 – 1906 гг.)	498	811
Экономический и социальный вопрос у Достоевского (К 25-летию его кончины)	505	813
Два слова в защиту Достоевского как человека	516	815
Памяти Вл. К. Петерсена	520	816
Д. А. Сперанский. Из литературы Древнего Египта. Выпуск 1. Рассказ о двух братьях. Первоисточник сказаний о Кашее, равно как и многих других сюжетов народного словесного творчества. Текст древнего египетского рассказа в русском переводе и его историко- литературное значение. СПб. 1906. 264 с.	522	817
Волжский. Из мира литературных исканий. Сборник статей. С.-Петербург. Издание Д. Е. Жуковского. 1906. 402 стр.	523	817
Одна из русских поэтико-философских концепций. Н. М. Минский. Религия будущего. Философские разговоры. СПб., 1905 г.	524	818
Ф. Соллогуб как поэт и прозаик. Тяжелые сны. Роман Федора Соллогуба. 2-е издание. С.-Петербург. 1906. Стр. 309	530	818
В. В. Стасов (Некролог)	534	819
Нагалия Грот. Свобода в жизни и государстве. Этюд по Чаннингу. Второе издание. В пользу голодающих. СПб., 1906	535	819
Толстой и Достоевский об искусстве	536	706 820
Nicolas Léskov. Gens de Russie. Librairie académique Perrin et C ^{ie} . Traduction et préface de Denis Roche	551	823
<Лесков> *	551	823
К биографии и посмертной судьбе Ф. М. Достоевского	552	823
Письмо в редакцию <А. Г. Достоевской>	555	824
Предисловие к книге Л. Вилькиной (Минской) «Мой сад. Сонеты и рассказы»	555	824

1907

То же, но другими словами	557	825
К. П. Победоносцев	564	825
Из воспоминаний и мыслей о К. П. Победоносцеве	577	827
Русский «реалист» об евангельских событиях и лицах	581	828
Литературные и педагогические дела	588	707 829
О возобновлении религиозно-философских собраний	592	830
На закате дней. К 55-летию литературной деятельности Л. Н. Толстого	593	830
На закате дней. Л. Толстой и быт	601	831
На закате дней. Л. Толстой и интеллигенция	605	832
Религиозно-философские собрания в Петербурге	609	832
К. П. Победоносцев в его переписке	611	833
Духоборческие скитания и К. П. Победоносцев	614	833
Автопортрет К. П. Победоносцева	618	834
Метерлинк	623	835
Русское философствование. «Наше место в вечности». Киев, 1907	626	835

**СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ,
ранее не печатавшиеся**

Идеалы *	635	836
Из мира идей и фактов <К. Н. Леонтьев> *	645	836
Новейшие успехи знания *	650	837
Из записной книжки писателя. Великий сфинкс истории *	654	837
Из записной книжки писателя. Гаснущие огни и зажигающиеся огни *	656	838

ВАРИАНТЫ

Статьи 1901–1907 гг.

1901

М. Ю. Лермонтов (К 60-летию кончины)	661	838
М. О. Меньшиков. Начала жизни	666	838
«Демон» Лермонтова в окружении древних мифов	668	838
Философ-Рудин	668	
Мнимое заимствование	668	

1902

Каменная баба	669	
Д. Мережковский. Любовь сильнее смерти	669	
Размолвка между Достоевским и Соловьёвым	669	839
Идеалы скромных людей	677	

1903

Шестидесятые годы и «утилитарная критика»	679	
Заметка о Мережковском	680	
О письме гр. С. А. Толстой	680	
Еще о «60-х годах» нашей истории	680	
Шалун нашей прессы	681	
Г-н Меньшиков и его обвинения	682	
Серьезный критик	684	839
Среди иноязычных (Д. С. Мережковский)	684	839
Годовщина смерти Золя	686	839
Ив. С. Тургенев (К 20-летию его смерти)	689	

1904

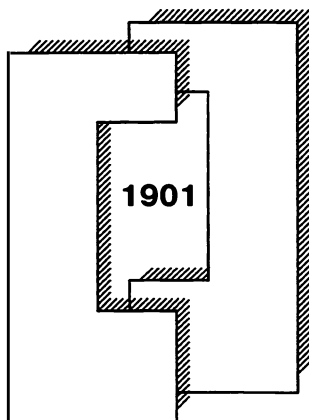
Американизм и американцы	691	
Судьба русского ученого	692	840
Один из добрых наших наставников	695	840
Правила добродетели и условия добродетели	698	
Русские идеалы	700	841

<i>1905</i>	
Оконченная «трилогия» г. Мережковского	703
Когда-то знаменитый роман	704
<i>1906</i>	
Толстой и Достоевский об искусстве	706
<i>1907</i>	
Литературные и педагогические дела	707
Комментарии	709
Список сокращений	842
Указатель имен и названий	845
Список исполнителей текстологической работы	924



СТАТЬИ
1901—1907 гг.





**К. М. ФОФАНОВ. ИЛЛЮЗИИ.
СТИХОТВОРЕНИЯ**

С портретом автора. СПб. 1900. Стр. 479

Вероятно, никто из живых поэтов не захочет завистливо с нами спорить, если мы назовем г. Фофанова первым русским поэтом нашего времени. Впрочем, г. Фофанов при первом движении соперничества, вероятно, сам снял бы с себя венок и поспешил его отдать спорщику. Мы только для уяснения мысли заговорили о согопа *primi*, согопа *superioris**, а на самом деле наш прекрасный поэт всего менее помышляет о плащах, венках, страусовых перьях и вообще этом маленьком историческом хламе, с которым любят возиться не настоящие поэты. Фофанов — дитя мира. Вся его прелесть — в природности, этом редком, почти всеми теперь утерянном качестве. Что такое природа, в противоположность не искусству, а искусственному? Природа — полнота без исключений. Начали исключать — и получилось искусственное; начали подбирать одно хорошее в самой природе — и получилось искусство. Фофанов полон. И вот в видах этой полноты мы не можем подойти с упреком ни к одной его строчке. Но чем характеризовать, немножко процитируем. Посмотрите — какая красивость параллелизма, какое истинное сплетение мудрости и прелести:

Желтыми листьями дети играли...
Осенью были те листья посеяны, —
Ветром с тоскующих веток рассеяны
Желтые листья, как слезы печали.
Желтыми листьями дети играли;
Листья шумели и листья роптали.

20

Поздними грезами сердце играло...
Были те грезы когда-то пленительны,
Были как щедрость любви упоительны...
Юность их сеяла — горе пожало...
Поздними грезами сердце играло, —
Молодость плакала — и улетала...

30

И такого жемчуга в книге разбросаны горсти. Читатель всюду «находит», без усилия искать, изредка пропуская страницы «так себе». Можно удивляться, каким образом человек с таким даром может быть печален; хотя, отметим это вни-

* первый венец, высший венец (*лат.*).

мательно, у Фофанова нет строчки желчной, злобной, досадающей, не говорим — завистливой или неблагородной. Вообще в наш грязный век — у него поразительное отсутствие темных чувств. Но вдохновение печали, без впечатлений печальных — есть:

Мой мир угрюм, как темный скит,
И бледный день меня томит,
И ночи нет!
Я стражду, плачу и молюсь —
Зову забвенье и боюсь
10 Глядеть на свет!

А ночи нет, а бледный день
Льет мутно в окна полутьму,
Но без лучей.
Душа скорбит; без слез, без сил,
Живу я дни, как ночь уныл,
Не видя дней...

Растет холодная печаль,
Зияет призрачная даль
Как злая пасть
20 Глубокой бездны, — я молюсь, —
И все робею, все боюсь
В нее упасть.

У автора нашего нет срисованных чувств. Так в приведенном стихотворении есть такие оттенки, по которым мы узнаем чувство автора, как глубоко личное и особенное. Исходная точка тоски — впечатление дня, существо дня, очевидно, не гармонирующего с существом души поэта, души звездной, ночной. Да, как есть бабочки дневные и ночные, есть души дневные и ночные, нимало между собою не сходные, различные по всему кругу интересов и по законам жизни своей. Люди дня дружат между собою и не дружат с людьми ночи, как и обратно: людям
30 ночи нечего делать с людьми дня. Первые — политики, экономисты, делатели, дельцы; вторые — молитвенники, поэты и философы. Закончим нашу краткую и очень мало достойную своего предмета рецензию стихотворением, где автор, кажется, выразил взгляд на свое время и на самого себя:

Ищите новые пути!
Стал тесен мир, его оковы
Неумолимы и суровы, —
Где ж вечным розам зацвести?
Ищите новые пути!
40 Мечты исчерпаны до дна,
Иссяк источник вдохновенья!
Но близко, близко возрожденье,

Иная жизнь иного сна!
Мечты исчерпаны до дна!..
Но есть любовь, но есть сердца...
Велик и вечен храм искусства, —
Жрецы неведомого чувства
К нему нисходят без конца!..
И есть любовь... и есть сердца...
Мы не в пустыне, не одни,
Дорог неведомых есть много, —
Как звезд на небе — дум у Бога,
Как снов в загадочной тени!..
Мы не в пустыне, не одни!

10

Г. Фофанова все признают, отступая перед очевидным и изумительным даром. Но он бесконечно мало оценен, например, сравнительно с знаменитым гимназическим поэтом Надсоном, которого чуть ли не все барышни заучили наизусть, как некогда Лермонтова и Пушкина в тридцатые и сороковые годы. У Надсона все искусственные камни и ни одного бриллианта. Его стихи для живой души — мертвое сено. Но Фофанов потому мало и постигается, что он мудр и бесконечно жизнен, т. е. его поэзия и открывается только истинно живым душам, каковых немного.

20

С. Д. АРСЕНЬЕВА. РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ

СПб. 1900. Стр. 141

Эта книжка — ценное приобретение для школы и домашнего чтения. Она написана задумчиво и тепло, прекрасным языком, с видимой и непринужденной любовью к предмету своему, — русской истории, с талантом к написанию ее. Ибо можно любить историю и не уметь написать ее; а можно уметь написать — но не любить ее (учебники г. Трачевского). Кой-где у автора дано место воображению, но не к ущербу достоверности исторической. Сухую строчку летописи, напр., о первом посещении прибалтийскими славянами Византии автор украшает изображением пластических впечатлений их и греков друг от друга. Но это сделано искусно и умеренно.

30

Автор останавливается более на бытовой стороне, нежели политической, и на всегдашнем центре быта — женщине. Смежные линии между древнею Русью и соседними или даже далекими странами дают объект для живописи автора, и вся книжка читается легко и увлекательно, как неразвитой роман. В то же время запоминаются и главные события собственно политической истории. От души желаем автору не уставать в своем труде (книжка доведена только до смерти Ярослава Мудрого), по-прежнему избегать излишне кровавых тем, и как можно шире разработать лично-биографическую сторону исторических памятников, везде украшая, но нигде не прикрашивая.

40

СВОЕВРЕМЕННАЯ КНИГА

Деревня в родной поэзии. Сборник стихотворений,
посвященных деревне

Составил А. А. Соколов. Москва, 1901. Стр. 479

Книжка эта является очень кстати теперь, когда так единодушно все заговорили о народности в образовании, о внесении русского духа в русскую школу. Ибо у нас, русских, хотя народное и не покрывается деревенским, однако эти два термина и эти две области необыкновенно близки между собою и родственны; более родственны и близки, чем у какого-нибудь народа в Европе. К деревне и к крестьянину любовь русских так дружна, что тут нет партий ни в литературе, ни в жизни. И тот русский есть наиболее русский, наиболее приближается к национальному идеалу, кто более обсеян полевыми колокольчиками и душистой рожью. Книга предшествуется портретом императора Александра II, незабвенного благодетеля деревни и мужика, сорока пятью краткими (слишком краткими) заметками о поэтах, которых стихотворения взяты составителем в свой сборник, их портретами-виньетками (несмотря на крошечный размер, многие выполнены превосходно по отчетливости) и множеством политипажей, по преимуществу бытового содержания. Как много последних, видно, напр., из того, что село Кимры, знаменитое сапожным кустарным промыслом, представлено в рисунках: 1) Покровский собор в Кимрах, 2) вид их с высоты птичьего полета, 3) Ильинская улица, 4) Библиотека и читальня, 5) Женское училище, 6) Троицкая улица, 7) Набережная Волги. Гравюры самые — и те хороши, напр. на стр. 338 — коробейник с «сигаркой» и веткой в руках сидит, отдыхает. Вообще живописная часть выполнена с большим знанием и вкусом. Текст составлен систематически и разделен на 37 отделов, которых поименование может дать лучшее представление о содержании и направлении: Любовь к родине (из 8 поэтов). При крепостном праве (любопытны два извлечения о нем из народных песен, собранных покойным Шеиным), 19-е февраля (5 стих.), Церковь (12 стих.), Батюшка и причт (2 стих.), Сборщики на храмы (2 стих.), Сельское кладбище, 30 Смерть (12 стих.), Беспомощность и сиротство (20 стих.), Дети, Школа, Деревня, Пашня (29 стих.), На лугу, Труженики деревни, Конь (4 стих.), Дорога и степь, Река, Лес, Праздники (между прочим — «Праздник березки» и «Семик»), Кабак, Торгаши деревенские, Пожары, Засуха, Голодуха, 4 времени деревенского года, Пейзаж, Жанр («Присяжный заседатель» Трефолева и 4 стихотв. Кондратьева), Песни, Русская демонология, Былины, Сказки. Мы уверены, что книжка эта есть первый опыт, который может очень развиться и особенно может обогатиться извлечениями из художественной прозы, то же в виде хрестоматии. Вот что говорит автор в предисловии: «Первый отдел нашей книги посвящен любви к родине. Это — величайшая проповедь поэтов, говорящих нам, как следует любить 40 родную землю.

Что один поэт понимает сердцем, другой объясняет умом и находит причину любви к родине, и в подтверждение автор приводит строки из Лермонтова, Языкова и Плещеева. Приведем из этого отдела одно стихотворение о том, что деревня дает городской душе, душе, воспитанной на чтении и на политических новостях:

Над немым пространством чернозема
Словно уголь вырезаны в тверди
Темных изб подгнившая солома,
Старых крыш разобранные жерди.

Солнце грустно в тучу опустилось,
Не дрожит печальная осина,
В мутной луже небо отразилось,
И на всем — знакомая кручина...

Каждый раз, когда смотрю я в поле,
Я люблю мою родную землю;
Хорошо и грустно мне до боли, —
Словно тихой жалобе я внемлю.

10

В сердце мир, печаль и безмятежность,
Умолкает жизненная битва...
А в груди — задумчивая нежность
И простая детская молитва.

Так написал о деревне один из самых типичных наших западников-интеллигентов, вечно живший темами историческими и международными (г. Мережковский). Боль и сладость в груди, боль любви и сострадания, и сладость одной любви — общее наше чувство к деревне. Наша интеллигенция похожа на древне-го Антея, который, побораемый врагом, получал новые силы, как только падал на землю, ибо земля была его матерью: он вставал с нее свежий. И для наших образованных людей земля, деревня есть мать-целительница, к которой они инстинктивно и льнут. И пока сюда льнет сердце русской интеллигенции, это сердце будет непобедимо, оно будет иметь болячки, но болезни не будет иметь.

20

ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТОРЫ

Странную полемику вызвала пробная мера — ограничение годовым сроком действия предостережений, получаемых повременными изданиями. «Неделя» напечатала по этому поводу статью «Право слова», а кн. Мещерский сделал эту статью, как он выражается, «предметом этюда». «Неделя» высказала не больше и не меньше как то, что печать полезна и, как всякая полезная сила, имеет свои права. Как будто забыл, что сам издает газету, не либеральную и, вероятно, не бесполезную, кн. Мещерский высказывается, что повременная печать ничего, кроме вреда, России не приносит; и не только в России, но и вообще нигде ничего полезного она не делает. «Если бы какое-нибудь государство, — говорит он, — могло так устроиться, чтобы не иметь вовсе органов повременной печати, кроме телеграфных и официальных известий, и печать была бы только в руках талант-

30

ливых писателей книг, а все образованные люди страны занимались бы каждый своим делом, — нет ни малейшего сомнения в том, что страна эта была бы несравненно счастливее, нравственнее и здоровее духовно всякой страны, где существует теперь повременная печать».

Таким образом кн. Мещерский высказывается против прессы по существу.

Опять ему нужно напомнить историю, которой совершенно не помнит «внук великого Карамзина», как нередко именуется себя наш титулованный редактор. Повременная печать у нас сотворена Петром. Он первый заводит «Куранты», через которые толпа узнавала бы, что делается в правительстве, да и узнавали, что делается на всем свете. Психология знакомства веселое «Здравствуй! Что нового?» есть в сущности психология пегати, и она народилась в минуту величайшего оживления и величайших новых перемен в нашем отечестве. Замечательно, что всякий подъем у нас правительственного духа вызывал именно в самом-то правительстве добрый, благожелательный взгляд на печать: оно как будто через печать говорило народу: «Здравствуй! Вот еще — новое, еще несу тебе доброе, хорошее!». Новинки через печать понесла обществу и Великая Екатерина. Она сама была писательницей, она была и журналистом, сотрудничая анонимно, но слишком не скрыто от ближайших людей в журналах Дашковой и Новикова. «Всякая Всячина» — вот простое имя, принятое на себя сатирическим листком, через который просветительница императрица пыталась истреблять смешное и грубое в современном ей русском обществе. Журнальная деятельность Сумарокова, Эмина, Чулкова, Туманского, Решетникова, Новикова возникла или по почину, или по примеру, или под покровительством государыни. И до сих пор русскому правительству принадлежит многое множество повременных изданий, т. е. само русское правительство есть самый плодovitый журналист. Не говоря о «Правительственном Вестнике», каждое наше министерство имеет свой орган, иногда имеет полуофициальные периодические издания, и если сюда приложить государственно-технические издания, от «Земледельческой Газеты» до «Артиллерийского Журнала», то мы увидим, до чего велико количество периодических листков, бросаемых в пищу читателям нашим государствам. Наконец ближайшим к нашему времени монархи озаботились дать журнальную пищу обширнейшим массам русского народа: Александр II приказывает издавать «Солдатское Чтение», а Император Александр III повелел создать для сельского и деревенского люда «Сельский Вестник», в своем роде единственный государственно-народный журнальчик в мире.

Неужели все это напрасно? Неужели все это ошибочно? Неужели за всем этим у государственных русских людей не стояло никакой разумной мысли?

Люди не будут читать газеты; но будут ли они обходиться без новых сведений? Или, при отсутствии газет, разве они будут без мысли волнующейся, шаткой, неудержимой, неуловимой? Кн. Мещерский забыл, что есть стоустная молва, есть письма, гектограф, которые будут переносить из города в город, из Петербурга в Москву и Чухлому самые чудовищные новости, сопровождаемые самыми чудовищными комментариями, которым будут верить, и даже больше гораздо, чем теперь всякому печатному листку. Неужели кн. Мещерский может воображать, что страна такого роста, как теперь Россия, могла бы, «при лучшем взгляде правительства на печать», обойтись без слухов и мнений о том, что дела-

ется. Возьмите холерное время и темную толпу, не читающую, безграмотную, и вы получите приблизительно картину спокойствия, какую представляла бы Россия без газет. Газеты утишают страну, умеряют ее взволнованность — вот чего никто не знает или не хочет замечать. Закройте газеты, и вы возбудите психологический пожар. Чему верить? Этому злостному клеветнику, который строит в провинции небылицу? Или тому гостиному говоруну, который критикует все так, как ни одна самая свободная газета в самой свободной стране? Петр Великий вынужден был распорядиться отбирать в монастырских кельях чернила и бумагу от множества инсинуаций на его правление, выходивших отсюда. Вот когда это было! Но можно ли отнять бумагу и чернила у России? И можно ли сравнить тогдашние писания «чернцов» с возможными писаниями теперешних фрондеров.

Печать — свет. В ней — ясность, уверенность, твердость. По отношению к океану мнений, какого не может не представлять страна и народ, газета и журнал есть узкое, исследимое, на глазах текущее русло, где все видно. Подпочвенные воды она собирает в себя, отцеживает, отбрасывает, очевидно, нелепое и чудовищное, что без нее имело бы жизнь и действие. Да, поверьте, имело бы! Кто спорит, в этом действии ее есть и темные стороны. Разве существуют совершенные механизмы! Печать ошибается; печать иногда дурно думает; наконец, она зло иногда думает. Но не забывайте же о том зле и злобе и раздражении, какое темно волновали бы народ и общество без просвещающего и умеряющего ее действия. Фильтр есть фильтр.

Какую государственную полицию, необозримую статистику, инспекторат, ревизию нужно было бы завести правительству, не будь в стране печати. Пресса дает сановнику, дает Петербургу в каждую минуту, каждый день картину страны, с отметкой всего мало-мальски имеющего общественный интерес в ней. Ну, пусть газета глупа и негодна, как хочет ее представить Мещерский. Но почему ее читают столько умных людей, министры, консерваторы, сам Мещерский, словом, все? Неужели только от нервности и для нервного возбуждения? Что за гашиш действует во вселенной? Очевидно, ее читают все потому, что она всем нужна и каждому несет что-нибудь полезное, нужное.

Не мешает припомнить кн. Мещерскому, что заслуги печати — именно не литературы, а печати, прессы — признаны в нынешнее царствование с высоты престола. Мы говорим об ежегодном пятидесятитысячном фонде, назначенном для инвалидов печатного дела. За вред — не дают пенсий. Но кн. Мещерский скажет, что это — не по заслугам? Да неужели же изо дня в день, зоркий, заботливый, неусыпный глаз печати уже отметками о всяком добром деле, криком о всяком злом деле не сослужил службы нашей государственной громаде? Неужели же и в сфере мысли печать так-таки ничего и не имеет в себе годного? Она разделяется здесь на лагери, и каждый по-своему служит отечеству. Не хотим отнять прав этой службы и почета за эту службу и у кн. Мещерского. И практические служаки государства, чиновники и государственные люди не раболепно поддакивают своему начальству; они все призваны и даже им всем приказано говорить правду, по мере их разумения, в размере их знаний. Это право — есть единственное, какого себе хочет и печать.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

(К 60-летию кончины)

Сегодня исполняется 60 лет со дня кончины Лермонтова, и вот приходится взяться за перо, чтобы отметить этот день в памяти и мысли читателя. Умершему было 26 лет от роду в день смерти. Не правда ли, таким юным заслужить воспоминание о себе через 60 лет — значит вырасти уже к этому возрасту в такую серьезную величину, как в равный возраст не достигал у нас ни один человек на умственном или политическом поприще. «Необыкновенный человек», — скажет всякий. «Да, необыкновенный и странный человек», — это, кажется, можно произнести о нем, как общий итог сведений и размышлений.

Им бесконечно интересовались при жизни и сейчас же после смерти. О жизни, скудной фактами, в сущности — прозаической, похожей на жизнь множества офицеров его времени, были собраны и записаны мельчайшие штрихи. И как он «вошел в комнату», какую сказал остроуту, как шалил, какие у него бывали глаза — о всем спрашивают, все ищут, все записывают, а читатели не устают об этом читать. Странное явление. Точно производят обыск в комнате, где что-то необыкновенное случилось. И отходят со словами: «Искали, все перерыли, но ничего не нашли». Есть у нас еще писатель, о котором «все перерыли, и ничего не нашли», — это Гоголь. Письма его, начиная с издания Кулиша, зарегистрированы с тщательностью, с какой регистрируются документы, прилагаемые к судебному «делу». Ищайки ищут, явно чего-то ищут, хотя, может быть, и бессознательно.

О Гоголе записал сейчас же после его смерти С. Т. Аксаков: «Его знали мы 17 лет, со всеми в доме он был на ты — но знаем ли мы сколько-нибудь его? Нисколько». Без перемен эти слова можно отнести к Лермонтову. Именно как бы вошли в комнату, где совершилось что-то необыкновенное; осмотрели в ней мебель, заглянули за обивку, пощупали обои, все с ожиданием: вот-вот надавится пружина и откроется таинственный ящик, с таинственными секретными документами, из которых пойдем наконец все; но никакой пружины нет или не находится; все обыкновенно; а между тем необыкновенное в этой комнате для всех ощутимо.

Мы, может быть, прибавим верный штрих к психологии биографических поисков как относительно Лермонтова, так и Гоголя, сказав, что все кружатся здесь и неутомимо кружатся вокруг явно чудесного, вокруг какого-то маленького волшебства, загадки. Мотив биографии и истории как науки — разгадка загадок. Посему историки и биографы жадно бегут к точке, где всеобщий голос и всеобщий инстинкт указывают присутствие необыкновенного. Такими необыкновенными точками в истории русского духовного развития являются Лермонтов и Гоголь, великий поэт и великий прозаик, великий лирик и великий сатирик, и являются не только величием своего обаятельного творчества, но и лично, биографически, сами. «Он жил между нами, и мы его не знали; его творения в наших руках — но сколько в них непонятого для нас!».

Что же непонятого? И темы, и стиль. Остановимся на последнем. Давно сказано и никем не отвергается, что «стиль автора есть сам автор». По-видимому, имея перед собою биографическую загадку и никакого матерьяла к ее разреше-

нию, мы прежде всего должны броситься к стилю двух великих писателей. Он необыкновенен и чарующ. Но что мы в нем открываем? Глубокую непрозаичность, глубочайшее отвлечение от земли, как бы забывчивость земли; дыханье грез, волшебства — все противоположное данным их биографии. Читатель простит меня, если я позволю себе привести два отрывка из одного и другого писателя, отрывки известные, но которые нужно иметь перед глазами и внимательно перечитать их 2—3 раза, чтобы почувствовать, напр., такую вещь, как глубокое родство и единство стиля Гоголя и Лермонтова. «Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою дорогою и белою как снег кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чашу сосен... Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса. Горы те не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверху, острая вершина, и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, — не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бородою, и над волосами высокое небо. Те луга не луга: то зеленый пояс, препоясавший посредине круглое небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается месяц» («Страшная месь», т. II).

Протираем глаза и спрашиваем себя, о чем речь? где движется рассказ и где рассказчик? Да рассказчик — малоросс, все это видавший, но грезит-то он о совсем другом мире, никем не виденном, и грезит так беззастенчиво, точно в самом деле потерял сознание границы между действительностью и вымыслом или не обращает никакого внимания на то, что мы-то, его читатели, уж конечно знаем эту границу и остановим автора. Перед нами сомнамбулист. Конечно, никаких таких гор нет около Днепра: да кто видал и настоящие горы, Карпаты или даже Кавказ, хорошо знает, что никак о них нельзя сказать: «подошвы у них нет», «острые у них вершины». Все гораздо проще для наблюдателя. О, и Гоголь имеет тайну искусства так нарисовать действительность, так ее подметить в самомалейших реальных подробностях, как никто. Но он имеет тайную силу вдруг заснуть и увидеть то, чего вовсе не содержится в действительности, увидеть правдоподобно, ярко... точно «пани Катерина» в этой же «Страшной мести», душу которой вызывал ее страшный отец: «Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела», — говорит «душа» странной сновидицы. Так и Гоголь. Какая-то внутренняя метаморфоза, и вдруг хорошо знакомый Аксаковым малоросс отделяется от своего тела, странствует по каким-то мирам, и потом, когда возвращается в свое «тело», друзья, знакомые говорят: «Мы ничего о нем существенного не знаем: существенное — в его загробных почти странствованиях, в сомнамбулических видениях, и неисследимой и неисповедимой организации его души, а в руках у нас — матерьялы скучнейшей его биографии, совершенно с этими видениями не связанной». Но мы заговорили о стиле и что есть тут родство между Гоголем и Лермонтовым:

Задумчиво столбы дворцов немых
По берегам теснились, как тени,
И в пене вод — гранитных крылец их
Купались широкие ступени;
Минувших лет событий роковых
Волна следы смывала роковые,

И улыбались звезды голубые,
Глядя с высот...

(«Сказка для детей»)

Опять протираем глаза и спрашиваем себя: что это, Венеция описана? Нет, Петербург! Немного выше читаем:

10 Над городом таинственные звуки,
Как грешных снов нескромные слова,
Не ясно раздавались — и Нева,
Меж кораблей сверкая на просторе,
Журча — с волной их уносила в море.

Один писатель взял «Днепр», и другой — «Петербург», взяли реальные предметы, но тотчас они почувствовали или какое-то отвращение, или скуку к теме; надпись, заголовок — остались: «Днепр», «Петербург»; но уже в их голове зашуршали какие-то нисколько не текущие из темы мысли, о которых Лермонтов оставляет даже след в стихотворении: «грешных снов неясные слова», «следы роковые роковых событий», «голубые звезды», — и смело, мужественно, беззастенчиво в отношении к читателю оба унеслись, в рисовку картин неправдоподобных и, однако, для самого читателя становящихся дорогими, милыми, чарующими. У Гоголя в самом тоне слов: «Тихо светит по всему миру», — появляется 20 какая-то нега, какое-то очарование, описание получает тон космополитический. Это — не Днепр рисует автор, он рисует свою душу, но душу, тянущуюся ко всему миру, и странные слова о горах, которых «ни подошвы, ни вершины не охватить глазом», ни малейше не удивляют читателя, не шокируют его. «Мало ли что есть в свете, мало ли чего нет в мире: Гоголь все видит, все знает, и если его горы не похожи ни на какие земные, то, может быть, они похожи на горы Луны или Марса. Где-то, что-то подобное есть, и Гоголь мне показывает, и я плачу и благодарю, что он раздвинул мое знание, показал воочию мои предчувствия». Этот-то характер рисовки, неправдоподобной и столь напряженно страстной, что она создает иллюзию полного правдоподобия, и заставил когда-то воскликнуть Белинского, 30 что «степи Гоголя лучше степей Малороссии», как и Петербург Лермонтова лучше Петербурга, в котором мы живем. И, однако, Лермонтов, когда хочет, может быть таким же натуралистом, как Гоголь. В «Бородине», «Купце Калашникове», «Люблю отчизну я...» он дает такие штрихи действительности, является таким ловцом скрупулезного, незаметного и характерного в ней, как это доступно было Гоголю только и последующим нашим натуралистам писателям:

40 Люблю дымок спаленной жнивы
.....
С резными ставнями окно...
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно.

Тут уже взят полный аккорд нашего народничества и этнографии 60-х годов. Но не здесь «родина» странного поэта; тут только мощь его. Сомнамбулист соче-

тает в себе величайший реализм и несбыточное, он идет по карнизам, крышам домов, не отступаясь, с величайшей точностью, и в то же время он явно руководствуется такою мыслью своего сновидения, которая очевидно не связана с действительностью. Вот это-то и было у них обоих, Гоголя и Лермонтова. Оба они имеют параллелизм в себе жизни здешней и какой-то нездешней. Но родной их мир — именно нездешний. Отсюда некоторое их отвращение к реальным темам: знаменитые «лирические места» у Гоголя. Возьмем его «Мертвые души»; как они не похожи на выполнение аналогических сюжетов — «Базар житейской суеты» у Теккерея или великолепный «Пиквик» у Диккенса. Гоголь явно страдает, страдает от темы, страдает от манеры письма. Он не «гуляет», как в фантастических малороссийских вымыслах. Рассказ узок, эпопея удушлива, тесна; ни одного лишнего слова в ней; автор точно надел на себя терновый венец, и идет, сколько будет сил идти. Но вот колена подгибаются, и вдруг — прыжок в сторону, прыжок в свою сомнамбулу, «лирическое место», где тон сатиры вдруг забыт, является восторженность, упоение, счастье сновидца. Это он в родном мире, и опять мы не можем не сравнить его со страшными путешествиями души пани Катерины в старый замок ее грозного отца. «О, зачем ты меня вызвал, отец. Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве; и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород!» Тоска виденья, какую знал и Лермонтов: 20

И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
И за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над водами,
В аллею темную вхожу я...

(«1-е января»)

Автор грезит об этом... на балу в Московском дворянском собрании 1-го января, — место столь же неудобное для засыпания, для видения, для сомнамбулических странствований, как и та мирная печка, на которой заснула казачка Катерина, а «пан-отец» позвал ее к себе. Вообще, если от характера живописи мы обратимся к самым темам, мы найдем и здесь близость Лермонтова и Гоголя. Известно, как дивился Белинский, что 26-летний Лермонтов, офицер и дуэлист, проник с изумительною правдою в материнские чувства в «Казачьей колыбельной песне». Но что такое, как не эта же песнь причитанья матери Андрея и Остапа Бульбы в ночь перед отправлением их в «Сечь». Одна мысль, одно чувство, и как выраженное, с какою пронзительностью, у малоросса-сатирика и петербургского денди. 30

* * *

Входя в мир тем нашего поэта, нельзя не остановиться на том, что зовут его «демонизмом». Но и здесь поможет нам параллелизм Гоголя. «Приподняв иконы вверх, уже есаул готовился сказать краткую молитву, — как вдруг закричали,

перепугавшись, игравшие на земле дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их казака.

Кто он таков — никто не знал. Но уж он протанцовал на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо казака переменялось: нос вырос и наклонился в сторону, вместо карих — запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копьё, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал казак — старик» («Страшная месть»).

10 Как похоже... на Гоголя, который уже «насмешил всю почтеннейшую публику», отплясав казачка в «повестях Рудого Панько», и когда все ожидали, что он такое еще выкинет, «вдруг поднялся у казака горб из-за спины», он состарился, осунулся в петербургских своих рассказах, и, наконец, в «Переписке с друзьями» и «Авторском завещании» заговорил самые необыкновенные вещи, а умер фантастично и покаянно, как будто нагрешил самые несбыточные грехи. Как хотите, нельзя отделаться от впечатления, что Гоголь уж слишком по-родственному, а не по-авторски только знал батюшку Катерины, как и Лермонтов решительно не мог бы только о литературном сюжете написать этих положительно рыдающих строк:

20
 Но я не так всегда воображал
 Врага святых и чистых побуждений,
 Мой юный ум, бывало, возмущал
 Могучий образ. Меж иных видений
 Как царь, немой и гордый он сиял
 Такой волшебной-сладкой красотой,
 Что было страшно... И душа тоскою
 Сжималась — и этот дикий бред
 Преследовал мой разум много лет...

30 Это слишком субъективно, слишком биографично. Это — было, а не выдуманно. «Быль» эту своей биографии Лермонтов выразил в «Демоне», сюжет которого подвергал нескольким переработкам и о котором покойный наш Вл. С. Соловьев, человек весьма начитанный, замечает в одном месте, что он совершенно не знает во всемирной литературе аналогий этому сюжету и совершенно не понимает, о чем тут (в «Демоне») идет речь, т. е. что реальное можно вообразить под этим сюжетом. Между тем эта несбыточная «сказка», очевидно, и была душою Лермонтова, ибо нельзя же не заметить, что и в «Герое нашего времени», и «1-го января», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу», да и везде, решительно везде в его созданиях, мы находим как бы фрагменты, новые и новые переработки сюжета этой же ранней повести. Точно он всю жизнь высекал одну статую, — но ее не высек, если не считать юношеской неудачной куклы («Демон») и совершенных
 40 по форме, но крайне отрывочных осколков целого в последующих созданиях: Чудные волосы, дивный взгляд, там — палец, здесь — ступня ноги, но целой статуи нет, она осталась не извлеченной из глыбы мрамора, над которою всю жизнь работал рано умерший певец.

Они были пассивны, эти темные души — так я хочу назвать и Гоголя, и Лермонтова. Вот уж рабы своей миссии. Да Лермонтов прямо об этом и записал:

Есть речи — значенье
.....
Но в храме средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду;
Не кончив молитвы
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

10

Черновой набросок этого стихотворения еще выразительнее:

Лишь сердца родного
Коснутся в дни муки
Волшебного слова
Целебные звуки,
Душа их с молением
Как ангела встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.

Оба писателя явно были внушаемы; были обладаемы. Были любимы небом, скажем смелое слово, но любимы лично, а не вообще и не в том смысле, что имели особенную даровитость. Таким образом, я хочу сказать, что между ними и совершенно загробным, потусветлым «х» была некоторая связь, которой мы все или не имеем, или ее не чувствуем по слабости; в них же эта связь была такова, что они могли не верить во что угодно, но в это не верить — не могли. Отсюда их гордость и свобода. Заметно, что на обоих их никто не влиял ощутимо, т. е. они никому в темпераменте, в настроении, в «потемках» души — не подчинялись; и оба шли поразительно гордою, свободною поступью.

Поэт, не дорожи любовью народной.

Это они сумели, и без усилий, без напряжения, выполнить совершеннее, чем творец знаменитого сонета. Ясно — над ними был авторитет сильнее земного, рационального, исторического. Они знали «господина» большего, чем человек; ну, от термина «господин» не большое филологическое преобразование до «Господь». «Господин» не здешний — это и есть «Господь», «Адонай» Сиона, «Адон» Сидона-Тира, «Господь страшный и милостивый», явления которого так пугали Лермонтова, что он (см. «Сказку для детей») кричал и плакал. Вот это-то и составляет необыкновенное их личности и судьбы, что создало импульс биографического «обьиска». Но «ничего не нашли». Лермонтов, как бы предчувствуя поиски биографов, бросил им насмешливое объяснение.

Но дух... известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух

40

И мысль без тела — часто в видах разных.
Бесов вообще рисуют безобразных.

Оба были до того испуганы этими бестелесными явлениями, и самые явления — сколько можно судить по их писаниям — до того не отвечали привычным им с детства представлениям о религиозном, о святом, что они дали им ярлык, свидетельствующий об отвращении, негодовании: «колдун», «демон», «бес». Это — только штампель несходства с привычным, или ожидаемым, или общепринятым. В «Демоне» Лермонтов, в сущности, слагает целый миф о мучащем его «господине»; да, это — миф, начало мифологии, возможность мифологии; может быть, метафизический и психологический ключ к мифологии Греции, Востока, имея который перед собою мы можем отпереть их лабиринт. Но, повторяем, имя «бес» здесь штампель не сходного, память об испуге. Ибо что мы наблюдаем позднее? Известно, как умер Гоголь: на коленях, в молитве, со словами друзьям и докторам: «Оставьте меня, мне хорошо!». Лермонтов созидает, параллельно со своим мифом, ряд подлинных молитв, оригинальных, творческих, не подражательных, как «Отцы пустынноики...». Его «Выхожу один я на дорогу», «Когда волнуется желтеющая нива», «Я, Матерь Божия», наконец — одновременное с «Демоном» — «По небу полуночи» суть гимны, суть оригинальные и личные гимны. Да и вся его поэзия — или начало мифа («Мцыри», «Дары Терека», «Три пальмы», «Спор», «Сказка для детей», неоконченные «Отрывки»), или начало гимна. Но какого? Нашего ли? Трудные вопросы.

* * *

Гимны его напряжены, страстны, тревожны и вместе воздушны, звездны. Вся его лирика в целом и каждое стихотворение порознь представляют соединение глубочайше-личного чувства, только ему исключительно принадлежащего, переживания иногда одной только минуты, но чувства, сейчас же раздвигающегося в обширнейшие панорамы, как будто весь мир его обязан слушать, как будто в том, что совершается в его сердце, почему-то заинтересован весь мир. Нет поэта более космического и более личного. Но и кроме того: он — раб природы, ее страстнейший любовник, совершенно покорный ее чарам, ее властительству над собою; и как будто вместе — господин ее, то упрекающий ее, то негодующий на нее. Казалось бы, еще немного мощи — и он будет управлять природой. Он как будто знает главные и общие пружины ее. Всякий другой поэт возьмет ландшафт, воспевает птичку, опишет вечер или утро; Лермонтов всегда берет панораму, так сказать, качает и захватывает в строку целый бок вселенной, страну, горизонт.

В «Споре» даны изумительные, никому до него не доступные ранее, описания стран и народов: это — орел пролетает и называет, перечисляет свои страны, провинции, богатство свое:

Дальше — вечно чуждый тени
Моей желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.

В четырех строчках и география, и история, и смысл прошлого, и слезы о невозвратимом.

И, склонясь в дыму кальяна
 На цветной диван,
 У жемчужного фонтана
 Дремлет Тегеран.

Невозможно даже переложить в прозу — выйдет бессмыслица. Но хозяин знает свое, он не описывает, а только намекает, и сжато брошенные слова выражают целое, и как выражают! У Лермонтова есть чувство собственности к природе: «Она мною владеет, она меня зачаровала; но это пошло так глубоко, тронуло такие центры во мне, что и обратно — чего никто не знает и никто этому не поверит — я тоже могу ее зачаровывать и двигать и чуть-чуть, немножко ею повелевать». Это, пожалуй, и образует в нем вторую половину того, что называют «демонизмом». Все знают, и он сам рассказывает, что плакал и приходил в смятение от видений «демона»; но публика безотчетно и в нем самом чувствует демона. «Вас — двое, и кто вас разберет, который которым владеет». Но тайна тут в том, что действительно чувство сверхъестественного, напряженное, яркое в нем, яркое до последних границ возможного и переносимого, наконец, перешло и в маленькую личную сверхъестественность. Так сказать, электротехник в конце концов пропитался электричеством, с которым постоянно имел дело, и уж не только он извлекает искру от проволоки, но и из него самого можно извлечь искру. «Бог», «природа», «я» (его лермонтовское) склублились в ком, и уж где вы этот ком ни троньте — получите и Бога, и природу вслед за «я», или вслед за Богом является его «я» среди ландышей полевых («Когда волнуется желтеющая нива»), около звезды, на сгибе радуги (многие места в «Демоне»).

То, что у всякого поэта показалось бы неестественным, преувеличенным или смешной претенциозностью, напр, это братанье со звездами:

Когда бегущая комета
 Улыбкой ласковой привета
 Любила поменяться с ним —

у Лермонтова не имеет неестественности, и это составляет самую удивительную его особенность. Кто бы ни говорил так, мы отбросили бы его с презрением. «Бери звезды у начальства, но не трогай небесных». Между тем Лермонтов не только трогает небесные звезды, но имеет очевидное право это сделать, и мы у него, только у него одного, не осмеливаемся оспорить этого права. Тут уж начинается наша какая-то слабость перед ним, его очевидно особенная и исключительная, таинственная сила. Маленький «бог», бог с маленькой буквы, «бесенок», «демон», — определения эти шепчет язык «как он смеет!». Но он все смеет:

...с звезды восточной
 Сорву венец я золотой;
 Возьму с цветов росы полночной;
 Его усыплю той росой...

Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью.

Язык его тверд, отеканен; просто он перебирает свои богатства, он ничего не похищает, он не Пугачев, пробирающийся к царству, а подлинный порфиродный юноша, которому осталось немного лет до коронавания. Звездное и царственное — этого нельзя отнять у Лермонтова; подлинно стихийное, «лешее начало» — этого нельзя у него оспорить. Тут он знал больше нас, тут он владел большим, чем мы, и это есть просто факт его биографии и личности.

О ПОЭЗИИ гр. А. К. ТОЛСТОГО

10

I

Наша литература за XIX век ясно расчленяется на две эпохи, разные не только в форме выражения, но и в глубочайшем существе своем. В первый период, на протяжении полустолетия, она была почти исключительно поэзией; во второй, несколько меньший по времени, она стала по преимуществу художественным воспроизведением жизни.

И в самом деле, чрезвычайное преобладание воображения над всеми остальными способностями духа было отличительною чертою всех выдающихся писателей наших, начиная, мы решаемся сказать, от Карамзина и до самого Гоголя; и, напротив, у всех главных последующих писателей это воображение отступает на второй план, уступая место наблюдательности и рефлексии. Согласно этому коренному различию в их психическом строе проходит, строго вытекая из него, не менее существенное различие в характере их творчества. Мир, создаваемый поэтом, есть всегда второй мир, который стоит над тем, какой мы наблюдаем, и хотя бы имел с ним много общих черт, всегда независим от него в своем происхождении, и также в своей жизни, в своих движениях, в законах и судьбе своей. Действительность есть скорее повод для создания его, нежели его прототип; она не столько дает образы, сколько впечатлениями своими будит чувства, отдаваясь которым поэт уходит в свой особый мир и в нем создает новые образы по законам развития возбужденного чувства, но не по законам возбудившей его действительности. В «Скупом» Пушкина все детали, характер всех диалогов, верны истории; и, однако, центральная мысль создания, связавшая все эти детали в прекрасное целое, принадлежит поэту. Это — мир реальных вещей, соединенных в картину, в которой нет ничего реального.

Таким образом, термин «творчество» в высшей степени отвечает процессу этого созидания. Дух поэта вечно волнуется образами, идеями, которых источника мы напрасно искали бы в действительности; из нее берутся лишь детали, лишь полотно и краски — для воплощения этих образов. Они иногда отвечают действительности, но никогда — индивидуальным, частным ее формам, но лишь коренной ее природе, которая, ведь, в то же время, есть и природа самого поэта, и, следовательно, управляет законами развития его субъективных образов, его

оригинальных идей. В «Моцарте — Сальери», в «Скупом», в «Пире во время чумы», в «Отрывке из Фауста» — во всем этом, мы чувствуем, звучат струны нашей собственной души, но никакой частный факт нашей действительности не напоминает собою частных же особенностей издаваемой ими мелодии. Это — мы сами, но какими можем стать, и, быть может, станем, но не какие есть; отсюда, так понятно нам это, хотя и вовсе не похоже на нас.

Почти у всех поэтов мы находим сознание этих особенностей их созидания, столь непохожего на созидание художественное. Уже девятнадцати лет юноша Лермонтов пишет следующий отрывок, который ценен только как факт:

Моя душа, я помню, с детских лет 10
 Чудесного искала; я любил.
 Все обольщенья света, но не свет
 В котором я мгновеньями лишь жил —
 И те мгновенья были мук полны;
И населял таинственные сны
Я этими мгновеньями...
 Как часто силой мысли в краткий час
 Я жил века и жизньнюю иной,
 И о земле позабывал. Не раз 20
 Встревоженный печальною мечтой
 Я плакал...

(1831 г., июня 11)

Мир поэта есть иной мир, чем действительность; но для него он — единственно значущий мир, исполненный своих радостей и печалей, живущий, как мы сказали, по своим особым законам и текущий по своим путям. В другом, более зрелом произведении, хотя также неоконченном, он показывает нам ряд как бы эмбрионов будущих, возможных созданий, которые могут и навсегда остаться лишь эмбрионами, только тревожащими душу поэта, и могут развиваться каждый в создание, тревожащее сердца тысяч людей:

И я кругом глубокий кинул взгляд, 30
 И увидел с невольною отрадой
 Преступный сон под сению палат,
 Корыстный труд пред тощею лампадой.
 И страшных тайн везде печальный ряд.
 Я стал ловить блуждающие звуки,
 Веселый смех и крик последней муки:
 То ликовал иль мучился порок!
 В молитве я подслушивал упрек,
 В бреде любви — бесстыдное желание:
 Везде обман, безумство иль страданья. 40

(Сказка для детей)

Без сомнения, «кинутый кругом взгляд» — это только попытка как-нибудь объяснить читателю происхождение копошащихся в душе образов, в действи-

тельности чисто субъективного происхождения. Мы живо понимаем, как всякий из этих образов, при благоприятных условиях, мог бы возрасти до полного и цельного создания, стать мотивом самостоятельного и вполне законченного произведения. «Les poètes ressemblent aux ours, qui se nourrissent en suçant leur patte» *, надписал он эпитафия к своему стихотворению «Журналист, читатель и писатель», и в этих словах указал настоящий родник как только что приведенных, так и всяких вообще своих образов. С полной законченностью и бесконечной красотой он выразил это соотношение двух миров, внешнего, который шумит кругом поэта, но его не трогает, и внутреннего, который ни для кого невидим и воплощается им в своих созданиях, в известном стихотворении «1-е января»:

20
30

Как часто пестрою толпою окружен,
 Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
 При шуме музыки и пляски,
 При диком шопоте затверженных речей,
 Мелькают образы бездушные людей —
 Приличьем стянутые маски;
 Когда касаются холодных рук моих,
 С небрежной смелостью, красавиц городских
 Давно бестрепетные руки —
 Наружно погружаясь в их блеск и суету,
 Ласкаю я в душе старинную мегту,
 Погибших лет святые звуки.
 И если как-нибудь на миг удастся мне
 Забыться — памятью к недавней старине
 Лечу я вольной, вольной птицей;
 И вижу я себя ребенком; и кругом
 Родные все места: высокий барский дом
 И сад с разрушенной теплицей;
 Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
 А за прудом село дымится и встают
 Вдали туманы над полями.
 В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
 Глядит вечерний луг, и желтые листья
 Шумят под робкими шагами...

*И странная тоска теснит уж грудь мою:
 Я думаю об ней, я плачу и люблю,
 Люблю мегты моей созданье...*

Конечно, нарисованная здесь картина — одна из неопределенного множества подобных других, которые, оказываясь смутно в душе поэта, выдвигаются на ясный фон его сознания по закону сходства или контраста с вызывающим впечатлени-
 40 ем. Детство и сельская природа здесь выявляются по контрасту с искусственной и «натянутой» действительностью; но достаточно было несколько видоизме-

* «Поэты напоминают медведей, которые питаются тем, что сосут свою лапу» (фр.).

ниться чувству, которое ощутил в себе к этой действительности поэт, чтобы и образ, возникший в нем, был совершенно иной, не имеющий ничего общего с приведенным. Как на примере поэтического образа, вызванного по закону сходства, можно указать на известное стихотворение того же поэта:

Отделкой золотой блистает мой кинжал,
Клинок надежный, без порока,

где вид этой игрушки, когда-то ценной не по виду своему, но по значению, тотчас внушает ему и бурные, и тоскливые слова:

В наш век изменчивый не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье

10

.....
Бывало мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы

.....
Твой стих, как Божий дух, носился над толпой

и т. д. Отсюда, из этого отношения к действительности, которая как «смутный сон», играя вокруг поэта, лишь будит в нем мир иной действительности, вытекает его горделивое чувство о себе: он,

Как царства дивного всеильный господин,

в своей особенной свободе, в этой мощи над «дивным царством» образов и идей, которых никто у него не отнимет, которым он покорит мир, мог, конечно, словами другого поэта сказать о себе:

Ты царь. Живи один...

И, конечно — поэт есть царь; он властелин над таким миром, которому мы никак не можем предпочесть наш бедный, тусклый мир; в который мы спешим из своего мира и считает лучшими те минуты своей жизни, когда может, забывшись в нем, хотя на краткие минуты забыть об этом.

II

Избыток воображения и неправильность в законах его развития есть, поэтому, обычный недостаток, которым страдают поэты и который придает неправильность их созданиям. *Переступить через меру* — вот главная ошибка, которой придает неправильность их созданиям. *Переступить через меру* — вот главная ошибка, которой всегда должен бояться поэт; следя за подготовительным периодом почти каждого из них, мы можем видеть, как сущность его состоит именно в этом отыскивании для себя меры, в привычке владеть образами и чувствами, скорее тесня их, нежели давая им полную свободу. О поэте, как и о стали, можно

сказать тоже, что он готов только тогда, когда достаточно охлажден. У него сохраняется при этом память образов, и также память чувств, которые были живы когда-то, потом угасли, но их значение понятно, их отношение и мера ясны. Только в очень кратких произведениях, и у поэтов в зрелую пору их творчества, слияние момента, когда рождается чувство, и момента, когда оно воплощается, может пройти без нарушения меры их соотношения. В общем же

У него сохраняется при этом память образов, и также память чувств, которые были живы когда-то, теперь умерли. Их значение понятно, их отношение и мера
 10 ясны. Только в очень ироничных произведениях — у поэтов в другую их пору творчества — славные моменты, когда рождается чувство, с момента, когда оно выражается, может пройти без нарушения меры их соотношения. В общем же, это слияние содействовало и влечению рождения почти всегда сказывается преувеличением выражения: слова больше говорят, нежели чувствует сердце, в крайней боязни выразить его неполно; содержание не наполняет формы, и она кажется в выраженных частях пустой, а целое произведение — холодным. Таково впечатление, оставляемое произведениями самых даровитых поэтов, но из очень ранней, и следовательно пылкой, поры их творчества.

О Карамзине; о средних поэтах
 20 О Пушкине и Лермонтове
 Гоголь

Перегоревшее чувство, над которым было когда-то живое сердце и уже перестало биться над ним, есть то, которое наиболее сжимает образы, наименее требует для себя слов, — и, ударяя в воображение другого, будит в нем все, чем иногда было само — словами немногими, чертами прежними. Это сообщает стиху силу, и образу — силу запечатлеться сверх этого, все эти немногие черты и простые слова, или взгляды

Отсюда, из этого отношения к действительности, которая как «смутный сон», играя вокруг поэта, лишь будит в нем мир иной действительности, выражает его
 30 горделивые чувства о себе: он,

Как царства дивного всесильный господин,

в своей особенной свободе, в этой мощи над «дивным царством» образов и идей, которых никто у него не отнимет, которым он покорит мир, мог, конечно, словами другого поэта сказать о себе:

Ты царь. Живи один...

И, конечно, поэт есть царь; он властен над пошлым миром, которому мы никак не можем предпочесть наш бледный, тусклый мир; в который мы спешим из своего мира и считает лучшими те минуты своей жизни, когда может, забывшись в нем, хотя на краткие минуты забыть об этом.

II

Избыток воображения и неправильность в законах его развития есть, поэтому, обычный недостаток, которым страдают поэты и который придает неправильность их созданиям. *Переступить через меру* — вот главная ошибка, которой придает неправильность их созданиям. *Переступить через меру* — вот главная ошибка, которой всегда должен бояться поэт; следя за подготовительным периодом почти каждого из них, мы можем видеть, как сущность его состоит именно в этом отыскивании для себя меры, в привычке владеть образами и чувствами, скорее тесня их, нежели давая им полную свободу. О поэте, как и о стали, можно сказать тоже, что он готов только тогда, когда достаточно охлажден.

10

Пушкин и Лерм.

Гоголь.

Худоожественный период нашей литературы.

О ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ

Объезд главноуправляющим по делам печати некоторых провинциальных городов и беседы с редакторами провинциальных периодических изданий позволяют думать, что наше цензурное ведомство не находит положение местной печати вполне удовлетворительным. Учреждение должностей особых цензоров для больших центров, освобождение газет от цензуры местной администрации, на деле сводящейся к подчинению чиновнику губернаторской канцелярии, и наконец увеличение числа газет, выходящих без предварительной цензуры, все это, вероятно, входит в состав забот главного управления по делам печати. И это дает повод сказать несколько слов по существу.

20

Наше мнение, как органа печати, конечно, не может по этому вопросу двойиться. Чего мы желаем себе, желаем и другому; долю свободы, которою пользуемся, мы хотели бы видеть распространенною на всех. Но в данном случае, конечно, не наше мнение важно, а точка зрения самого государства. Что же здесь мы находим? Что получилось от уничтожения предварительной цензуры для столичной печати? Ибо по существу, конечно, нет разницы между губернской и столичною печатью: разница есть только количественная и отчасти качественная, едва ли усиленно входящая в цензурные соображения. Вопрос об освобождении газеты от предварительной цензуры заключает в себе только одну сторону: не содержится ли в этой бесцензурности какого-нибудь административного большого неудобства?

30

Чему же научает судьба столичной бесцензурной печати? Опять оговариваемся, что мы оставляем свои мнения в стороне и стараемся отдать себе отчет, как не может не представляться это дело для самого государства. Да, беспокойства было много; цензурное ведомство было одним из самых лихорадочных в составе

министерства внутренних дел; здесь каждый день была новая забота, дела текли не медленно, но быстро, иногда, быть может, слишком быстро; здесь нужна была от чиновников цензуры решительность, находчивость и такт; нужно было постоянно следить, многое предвидеть, предугадывать, предупреждать личными переговорами, циркулярами. Но может ли само государство сказать, что после всех этих трудов последующего надзора оно не получило никакого осязаемого результата? Опять не нашим мнениям здесь решать дело; но уже самое снятие дол-

10 Более и более печать переходит от неопределенного теоретизирования на практическую почву и в практических сферах она подала много мнений, доказанных, разработанных, которыми нашло возможным воспользоваться и правительство. Если взять одно фактическое освещение всякого вопроса в печати, то уже одно это, поднимая читающее общество до уровня понимания государственных нужд, конечно сослужило правительству не последнюю службу. Деятельность печати у всех на виду и, конечно, правительство имеет о ней свое суждение. Смеем предполагать, что это суждение — не отрицательное.

Образование давно уже перестало сосредоточиваться в столицах и образованное провинциальное общество мало чем отличается от петербургского или московского. Оно только количественно меньше; оно не представляет таких выдающихся точек, но в среднем оно одинаково. У него есть свои местные интересы, которых не может отражать столичная печать, и для этих интересов нужна местная, хорошо поставленная печать.

Эти наблюдения, нам кажется, дают почву для решения вопроса о замене предварительной цензуры последующею цензурою для провинциальных изданий в сторону положительную. Многие губернии и их города имеют уже громадное количество широко развитых местных дел, обширную промышленность, торговлю. Столичная печать никак не может уделять этим интересам много внимания. С другой стороны, и местное общество, конечно, никогда не сможет обойтись без столичной печати, как трактующей по преимуществу общегосударственные вопросы. Но вполне уместно, чтобы горячие провинциальные интересы, заботы, нужды живо отражались в местной же печати. Освободить провинциальные газеты от предварительной цензуры, конечно, не представляет ни малейшей опасности; цензурному ведомству, правда, прибавится хлопот, придется за всем внимательно следить из Петербурга. Но, думаем, и здесь, на месте, получатся такие же результаты, какие получились в Петербурге и в Москве, т. е. что в печати правительство скорее найдет помощницу своих забот о России, нежели помеху этим заботам.

**М. О. МЕНЬШИКОВ. НАЧАЛА ЖИЗНИ.
НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ ОЧЕРКИ**

*Вера в жизнь. — Женщина-мать. — Семья. — Дети. — Возрасты
человека. — Поэзия. — Героизм. — Дружба. — Страдания. —
Смерть. СПб. 1901. Стран. 403*

Ряд увлекательных и живых статей г. Меньшикова найдет в себе, без сомнения, обширный круг читателей и расширит ту аудиторию, которая вовлечена за последние годы в обсуждение спора между идеалами безбрачия и брака. Казалось бы, что за спор? Пусть выбирает себе каждый лучшее! Идеал, уже по тому самому, что он идеал, свободен, личен и непринудителен. Между тем это только так кажется с первого взгляда. Спор не было бы, если бы безбрачие было поставлено ниже семьи и оставалось уделом, действительно свободным и личным, немногих, «не могущих вместить семью». Последняя была бы нормой, правилом, всеобщим явлением, как есть всеобщее небо над нами. Но мы, очевидно, все перевернем, мы глубочайшим образом потрясем натуральное над человеком небо, если поставим трудное, неестественное и отрицательное состояние безбрачия выше брака. Идеал не может не манить; из свободного он непременно делается когда-нибудь принудительным, хотя бы для немногих и с искусственными оговорками, наконец, он выдвинет вперед «идеальных людей», его «вместивших», которые потребуют и получают себе власть, между прочим, над областью низшего состояния. Мы получим целую систему до известной степени политического состояния, общественного состояния, нравственно-установившихся воззрений, к которой прикреплены бездна практических интересов, нужд, отчаяния или радости, забот, и которая вся держится на кратком вопросе, лучше ли безбрачие брака, или наоборот, и на категорическом, без колебаний, на него ответе. Лучше безбрачие? Ну, тогда мы имеем черную, траурную концепцию жизни и философии. Лучше, напротив, брак? Тогда все розовеет наподобие утренней зари, обещающей день. Таким образом, никакого свободного выбора здесь нет, спор есть, огромный, практический. Это борьба дня и ночи, соперничество двух лагерей, конкретное, определенное. До чего все дело здесь конкретно, можно видеть из того, что, например, получи верховенство брак над безбрачием, то как власть, так и суд в недрах духовного сословия перешли бы в руки семейного, белого духовенства, теперь безгласного и бессильного.

Г. Меньшиков хорошо озаглавил книжку: «Начала жизни. Нравственно-философские очерки». Спор собственно уперся в то, что если идеал безбрачия нравственнее (общее мнение), то идеал брака — трансцендентнее (никто не отрицает). Тайна, неисповедимое, непостижимое — вот что есть в браке и чего в девстве нет. Все леса и реки, и земля, и небеса (атмосфера) гласят об этой тайне, покоятся под ее покровом, завернуты в ее оболочку, — и нужно буквально все это потрясти, нужно признать мир лежащим вне Бога и управляющимся без Бога, чтобы коротенький, сухонький и, главное, рациональный идеал безбрачия поставить выше. Читатель видит, до чего труден становится этот спор даже и с чисто религиозной стороны. Брачники прямо могут обвинить своих противников в безбожии, в тай-

ном родстве их душ с атеизмом, в механическом материализме, который только прикрывается религиозной и неискреннею номенклатурой. Наконец, — это самая практическая сторона дела, — поднимается именно из благочестия и по благочестивым мотивам вопрос о секуляризации семьи, о совершенном высвобождении ее из-под религиозного, но отрицательно-религиозного управления. Семья, сознавая себя священною тайною, идеалом, высшим на земле, просто не хочет оставаться в обладании и собственности и в управлении принципа, ей противоположного. «Я вижу над собой авторитет власти, но я не вижу около себя авторитета любви; я вынужден называть матерью того, кто стоит около меня ма-
 10 чехою — и я не хочу этого более, и вправе не хотеть, именно как священное, святое явление». Читатель видит, до чего все это чревато практическими последствиями.

Так как идеал девства ничего не содержит в себе, кроме чистого и голого отрицания, недопущения, запрещения брака, то ясно, что он собственно низвергает брак в линию величин, ниже нуля стоящих, но сам стоит над ними бессодержательным нулем. Вот опасная арифметика! Ничего в девстве не содержится, кроме безбрачия, т. е. ничего этот идеал не созидает, а только разрушает семью и этим разрушением живет. Это — паразитический идеал. Читатель видит какие темные
 20 тучи сдвигаются над этим идеалом, никогда не разобранным, потому что мы его повторяем, как с детства заученную сказку, кажущуюся правдоподобною от давности повторения. Она не только не правдоподобна, но мучительна, жестока, грозна, опасна. В ее истекших прошлых днях бездна криминального матерьяла, с которым трудно разделаться.

Сколько детей задавлено им (учение о незаконнорожденных детях)! сколько семей разрушено (дела о расторжении браков, счастливых и уже давших иногда потомство, по несоответствию их разным параграфам «кормчей»)! скольким разрушенным семьям не дано возможности встать, поправиться (вопрос о разводе). Ищут родников падения семьи! Но управляющий ею принцип — глух к семье, невнимателен, не зряч. Заставьте Поль-де-Кока написать аскетический устав,
 30 и вы получите параллель семейного устава, написанного аскетом: он будет отрицателен и разрушителен, каждый его параграф будет начинаться с «не», как и главы пресловутой «Кормчей книги», все начинающиеся тоже с «не»; он будет подкапываться под явление, и тем могущественнее, что стоит в роли охранителя его, в положении опекуна с обязательным к нему доверием, между тем как он расхищает имущество опекаемого. Почти все «казусы» брака ведь суть «казусы», «дела» об «расторжении брака», «недопущении брака», «незаконности брака», «незаконности детей» и т. п., и вовсе нет «дел» и «казусов» об оправдании брака, о радости к браку, о сочувствии к детям. Все законодательство о браке есть в сущности законодательство против брака и в пользу безбрачия, бесплодия.

40 Как нам хотелось бы, чтобы талантливый г. Меньшиков сосредоточил свою заботу на этом опасном положении, очевидно, любимых им «Начал жизни». Белая и черная мышка, как в известной сказке, точат день за днем корень древа жизни, и никто этого не видит, все проходят мимо, все не думают, что, когда оно повалится, — мы все упадем.

ПОЧТИ ЕДИНСТВЕННАЯ ГАЗЕТА В РОССИИ

Конечно, мы говорим о «Московских Ведомостях». Мы не хотели первоначально отвечать на три редакционные ее статьи, приуроченные к годовщине смерти Каткова и имевшие исходною точкою совершившиеся перемены в учебных программах гимназий. Статьи эти не имеют, можно сказать, содержания, а имеют только тон, и в конце концов захотелось сказать кой-что об этом тоне.

Тон этот старинный, тон этот давнишний и повторяет тон Каткова. Теперешний редактор газеты, с его нерусскою фамилиею, надевает мундир своего газетного дедушки, хватаящий ему до пят, и, важно прохаживаясь взад и вперед, ба-
сит, как дедушка. Ничего не переменилось кроме головы на плечах. Но такая
10 малость, как голова, не входит в расчеты теперешнего редактора «Московских Ведомостей», и он потрясает швейцарскою булавою в руках, думая, что ее кто-нибудь примет за палицу Геркулеса. Тон этот был совершенно нелеп и бестактен уже у Каткова; но у его преемников он достигает, так сказать, пафоса комизма. Видите ли, перемены в учебных планах не есть дело педагогическое, но дело политическое. Заботы родителей и всей России о детях и юношах не составляют предмета реформы; это только видимость и она принимается для обмана: родителям по всей России и некоторым высокопоставленным лицам задумалось про-
20 бить «брешь в Каткове», «брешь в его стройном мирозерцании», и вот они начинают дело с педагогических идей Каткова. Просто непостижима грубость, с которою все это написано. «Московским Ведомостям» представляется, что в России так же свежо помнят о Каткове, как и в кабинетах редакции на Страстном бульваре. Между тем России никакого дела до Каткова нет и от него сохранилось буквально одно имя и даже не сохранилось досады около этого имени. Просто — ничего нет. Между тем в чудовищном воображении маленьких преемников Каткова рисуется, что вся история русская после Каткова есть борьба за Каткова или против Каткова, как бы спор за подписку или против подписки на его монумент. Газета бросает чудовищный упрек министерству народного просвещения времен гр. Делянова за то, что оно... не скопировало буквально Катков-
30 ковский лицей!! Наш министерский классицизм, говорит она, был полуклассицизм; Катков, учредив в Москве лицей, имел именно в виду дать образец полного классического образования, который мало-помалу становился бы типом всех учебных заведений в России. К сожалению, после смерти Каткова дело его остановилось: министерство графа Делянова оставило классицизм полузавершенным, не сделав ни шагу к сближению его с точными формами лицейского воспитания и обучения. От этого в лицее было все тихо, а в университетах волновались. Верно «волновались» в тоске по лицейскому уставу!! Газета забывает, что лицей есть крошечное закрытое учебное заведение, есть в собственном смысле пансион, аристократический, со страшно дорогою платою за учение, и притом пансион привилегированный, где инспекция учебного округа не смела производить реви-
40 зий, и о настоящем подлинном учебном состоянии которого мы получим возможность судить только после тщательной и крайне желательной теперь реви-зии. Во всяком случае быт и психологию этого исключительного пансиона переносить на университеты Империи значит ничего не понимать ни в Империи, ни в педагогике, и делать из одной и другой какую-то кукольную игру. «Вот от-

чего и неудача! — восклицает газета полунаивно, полудерзко. — Нам недостаточно подражали!». Да кто такие «мы»? На этом своевременно остановиться.

Все обвинение против теперешних преобразований ведется, что называется, «по третьему пункту». А «третий пункт» сводится к недостаточно горячей памяти к Каткову. Россия, видите ли, не самоустраивается, а ее устраивает Катков «или память к нему». Министры ничего не делают, если они «не продолжают дела Каткова», а общество и печать являются «изменническими, если они изменяют памяти Каткова». От Каткова становится тесно, становится душно; точно вся Россия поставлена, как под колпак, под его бронзовый монумент. Такую фантазмагорию надвигают на читателя названные три статьи, высокомерные, пропитанные какою-то задушевною истерикою, угрожающие, и вместе — безнадежные в тоне. Газета как будто прощается со своею властью, прощается горько, грозя кому-то пальцем: «Позовете нас, без нас вам не обойтись», не замечая, что давно живут «без них» и живут тем легче, чем менее в России «их».

По отношению к печати и обществу, казалось бы, братской печати и братскому обществу, «Моск. Ведом.» усвоили тон какого-то южноамериканского плантатора. Слив с собою Россию, они презрение к себе или равнодушие к себе чувствуют и без стеснения называют равнодушием к отечеству или презрением к его основным учреждениям. Слава Богу, дух Руси вырос за последнее время в Руси. Ничего этого «Московские Ведомости» не замечают и им представляется, что Россия, дающая так мало подписчиков на них, куда-то проваливается. Газета именно похожа на американского плантатора, уже после войны за независимость, читающего и рвущего с бешенством «изменническую» «Хижину дяди Тома». Не только министерство народного просвещения со времен гр. Делянова и до сих пор совершило ряд проступков против «Московских Ведомостей», но и вся Россия и печать ее и общество ее виновно в чем-то тоже против «Московских Ведомостей». Все это какие-то бедные негры-Томы, взбунтовавшиеся против плантатора на Страстном бульваре. Да что он за человек? Какие исторические его заслуги? Мы говорим не о Каткове, у которого такие заслуги еще были, хотя чрезмерно раздутые, а о г. Грингмуте и его сотрудниках? В Италии была когда-то «Молчаливая Академия», члены которой упражнялись в молчании. На нее походят «Моск. Вед.», эти неофициальные прибавления к «Казенным объявлениям». Да что такое за человек г. Грингмут? Не знает ли кто-нибудь его ученых трудов? Может быть, он член С.-Петербургской Академии, хоть и скромной, но все-таки могущей оценить заслуги туземного ученого? Профессор ли он наконец университета? Кто он такой, неведомый, безвестный, книги которого не спрашиваются в магазинах, а в педагогических обществах не дебатировались его теории? Да, кто он, с голосом владыки от Невы до Лены, поводящий в воздухе кнутом и производящий окрик на этих «писак», на «общество», на «земцев»? Кто он?

Не знаем. Но принимая во внимание чужеродное имя, какое-то странное, неопределенное, неопределимое почти, не можем не вспомнить пушкинского стиха:

Не то беда, что ты поляк.
Пожалуй, будь себе татарин,
Будь жид — и это не беда.
Беда, что ты — Видок Фиглярин.

Как будто для дополнения сходства г. Грингмут поднял четыре года назад забавный вопрос о вторичном приводе к присяге русских журналистов, так что к нему идет и этот стих Пушкина о Булгарине же:

Двойной присягою играя...

Побольше скромности, г. Грингмут, побольше скромности!!

<Д. Л. МОРДОВЦЕВ И М. Н. КАТКОВ>

Д. Л. Мордовцев вспоминает в «Приазов. Крае», как в дни своей молодости он одним махом и Каткова уязвил и себя спас от горькой доли. Дело было в 1866 году, когда Катков, как известно, отказался принять и напечатать в «Моск. Вед.» данное ему «первое предостережение». Г. Мордовцев напечатал статью, громившую Каткова за то, что он, уверенный в своей безнаказанности, ставит себя выше закона. В тот же день Костомаров познакомил Мордовцева с попавшимся совершенно случайно навстречу Нордстремом, служившим в III отделении. 10

— Я, — заявил Нордстрем г. Мордовцеву, — рад с вами познакомиться... Завтра как раз, я должен будет докладывать о вас графу Михаилу Николаевичу Муравьеву.

Нет ничего удивительного, что слова Нордстрема поразили меня.

— Вследствие чего же предстоит ваш доклад обо мне гр. Муравьеву? — спросил я не без тревоги.

— Вследствие вашей резкой полемики с Катковым и других ваших статей в «Голосе».

— Помилуйте, И. А.! — невольно вырвалось у меня. — Катков бесовестно обвиняет меня и Юлия Жуковского чуть ли не в государственной измене, а сам он — больше чем изменник: дерзко не признает над собой власти закона и отказывается подчиниться данному ему «предостережению». 20

— Да, это преступно со стороны Каткова, — согласился Нордстрем, — и он будет наказан. Кстати, — продолжал он, — сегодня в «Голосе» есть прекрасная передовая статья, обличающая незаконные действия Каткова и, сколько мне известно, понравившаяся графу Муравьеву и делающая честь Краевскому и его газете.

— Да эту статью писал вот он, — с улыбкой указал на меня Костомаров.

— Как! — удивился Нордстрем. — В самом деле, вы задали такой урок Каткову?

— Если вам угодно проверить слова Николая Ивановича, то не угодно ли вам пойти к Краевскому и удостовериться из моей рукописи этой статьи, которая хранится в редакции «Голоса». 30

Какая счастливая случайность! Нечто подобное случилось с Полевым и Кукольником, после представления драмы последнего «Рука Всевышнего отечество спасла». Событие это тогда же было воспето в эпиграмме:

Рука Всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла.
Поэту ход дала
И Полевого потопила!

«ДЕМОН» ЛЕРМОНТОВА В ОКРУЖЕНИИ ДРЕВНИХ МИФОВ

I

Мечта золотого века

«Демон» Лермонтова представляет собою литературную загадку. Известно, как рано начал поэт трудиться над ним, как упорно трудился потом. С «демоном» он слил часть своей души, отдал ему некоторое поклонение. Но что такое «демон»? Поэт дает обширное, сложное и подробное его изображение, рассказывает о нем не то быль, не то сказку, для которых мы не найдем материала в тех кратких словах, в каких описывается существо с этим именем («сатана», «дьявол») в книге Бытия и в книге Иова. Лермонтов вовсе не то рисует, что там сказано, даже приблизительно. Но что же он рисует? В поэме вложено столько любви к сюжету и увлечения, что мы вправе видеть в ней зародыш отдаленного культа. К чему? К кому? Никогда на это не было отвечено. После многих лет размышления над этим вопросом, а также вследствие некоторых исторических находок и догадок, на какие нам пришлось натолкнуться при своих занятиях, мы пришли к выводам касательно этого сюжета, небезыntenесным как с литературной точки зрения, так и историко-культурной. Если внимательно разобраться в теме, окажется, что сюжет Лермонтова стоит как бы в точке водораздела разных религиозных рек, причем как текущих, так истекших и еще могущих вновь потечь. К сожалению, сжато это нельзя объяснить. Выйдет неубедительно. Поэтому, извинившись перед читателем и попросив у него терпения, мы начнем речь несколько издалека.

В одном мало обратившем на себя внимание романе Достоевского, «Подростке», есть замечательный разговор. Говорит Версилов, старый барин нашей реформационной эпохи, проведший большую часть жизни за границей и под старость вернувшийся в Россию. Говорит он со своим побочным сыном, «подростком», которого в первый раз встречает, замечает его даровитость, видит, что и сам горючо любим им, — и вот в случайном разговоре раскрывает ему свою душу. Разговор глубоко автобиографичен для Достоевского, потому что в сохранившихся его письмах (том I, изд. 1882 г., стр. 295) сохранились подробности, вошедшие в этот диалог. Именно там упоминается, что, живя в 1867 году в Дрездене, он особенно был увлечен картиною «Abendlandschaft» * Клода Лоррена. Но мы переходим к диалогу. Версилов говорит своему сыну, как однажды в своих заграничных странствованиях он сел в вагон не того поезда, приехал в маленький немецкий городок, ему вовсе не нужный, занял номер, тоже в ненужной гостинице, и, усталый, заснул.

«И вот, — продолжает он, — мне приснился сон. В Дрезденской галерее я уже заметил картину Клода Лоррена, значащуюся в каталоге под именем „Ассиз и Галатея“, но которую я всегда называл про себя „Золотым Веком“. Но она, однако, приснилась ему не как картина, а как действительность, трепещущая и еще люющая в его жилах.

* «Вечер» (нем.).

Не знаю в точности, что мне снилось. Точно так, как и в картине, уголок греческого Архипелага, причем и время как будто перешло за три тысячи лет назад; голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее побережье, волшебная панорама вдали, заходящее, зовущее солнце словами не передашь. Тут заполнило свою колыбель европейское человечество, и мысль о том как бы наполнила и мою душу родною любовью. Здесь был земной рай человечества: боги сходили с небес и роднились с людьми... О, тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливыми и невинными, луга и рощи наполнялись их песнями и веселыми криками; великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей... Чудный сон, высокое заблуждение человечества! Золотой век — мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже умереть! И все это ощущение я как будто прожил в этом сне; скалы и море, и косые лучи заходящего солнца все это я как будто еще видел, когда проснулся и открыл глаза, буквально омоченные слезами» («Подросток», изд. 1882 г., стр. 449—50).

Как я заметил, сон этот автобиографичен. Тут проходит и как будто воспоминание о древности, история; но история вдруг оживляется, исторгает слезы у современного почти нам человека. Ниже Версилов и говорит, т. е. собственно отрицает перед своим сыном дошедший до того слух, что он «носил за границей вериги и проповедовал или принадлежал к какой-то секте или обществу». «Вериги мои оставь», — говорит он, и, поправляя слух, в сущности, подтверждает его, рассказывая о своем «сне». «Вот что такое было, а не секта, не общество». Но что же, однако, было? Видение золотого века, мечта его, тоска о нем, тоска как о вечном и возможном, без чего не были бы и не нужны пророки. Мы — временное; каждое поколение людское — поток. Но куда они льются все? Неужели в бытии этом, скорбном и больном, конец, венец?! О, нет, это было бы ужасно и это невозможно, потому что это ужасно. В Библии, священной книге, тоже указано, что был рай, были бессмертие и вечность, была безгрешность. Значит, это не только мечта живописцев, фантазия романиста, но и догмат позволительной веры. Вот за эту-то «веру», для этой-то «веры» Версилов надевает вериги. Это — было; но и это — будет. Опять это позволительно думать, потому что в «Апокалипсисе» открыто людям, что «отерта будет всякая слеза», «возвращено будет человеку бессмертие», «открыто будет ему древо жизни», о котором при падении человека сказал Бог: «Дабы не вкусил человек от древа жизни и не стал яко один из нас». Можно заметить, что, вспоминая историю, рисуя древний Архипелаг, Достоевский вместе с тем рисует человека «яко уже бога», безгрешного, какого-то нового, преображенного. Продолжая диалог с сыном, Версилов вдруг свой сон-припоминание сливает с отдаленными будущими судьбами европейского человечества, сливает с ожиданиями, что выйдет из Европы: «Выйдет то же, что было; опять — Греция, опять юность, вторая юность, второе и какое-то лучшее возрождение!». Это-то и исторгает у него слезы, это побудило его надеть вериги. В сущности, мечта эта позволительна. Первая глава Бытия (Эдем) сливается с последнюю главою Апокалипсиса (Небесный, сходящий на землю Иерусалим). Есть всеобщее убеждение у человечества, что где-то «там» и «потом» настанет «рай»,

сливающимися красотой и счастьем именно с бытием еще не согрешившего человека. «Прочь от греха! вон из греха!» — на этом зиждутся религии.

Но мы заговорили о будущем. Не станем углубляться в него и особенно не станем углубляться в болезненную и скорбную метаморфозу человека-куколки в человека-бабочку, окрыленную, новую, по-новому чувствующую, новое все совершающую. Но ведь в самом деле «горилле-человеку» Дарвина почему не быть «куколкой», «хризолитом», уже шесть тысяч лет лежащую в земле или на земле, но не вечно, не окончательно, не хризолитом «к смерти», а хризолитом «к воскресению»?! Ничего даже для науки невозможного тут нет, а для религии это совершенно возможно, да и прямо нам обещано! Бабочка все не так увидит, как кажется червячку. Она подымет. Увидит сверху леса, полетит над ними, увидит голубое небо, звезды, солнце: это — возможно! Между тем как червячок видит только черное дупло, в котором лежит он.

Но оставим зори будущего, оглянемся на зори прошедшего.

«Боги сходили на землю и роднились с людьми...». Психология античного мира, этого, напр., Архипелага или знойной Сирии, — умерла для нас. Сказания тех народов для нас представляются не органическими мифами, а какими-то медными мифами, так же мало говорящими нашему сердцу, как дельфины-девы в решетке Литейного моста. Что такое эти дельфины-девы? Кусок меди. Но ведь есть подлинны дельфины и подлинны девы, живые, горячие, прекрасные. Так древние мифы. Они были горячи, и прекрасны, и живы. А откуда они, из какого духа родились — это вдруг дал нам почувствовать Достоевский в «Золотом сне» своем. Мы уже сказали, что он автобиографичен. В «Сне смешного человека», эпизодическом рассказе в «Дневнике писателя» (апрельский номер за 1877 г.), он снова возвращается к этому настроению. Нигилист и самоубийца, отравленный всюю психологию современных нам дней, разбивает свой лик, «подобие и образ Божий», и — как бы в упрек ему, в наставление ему — ангел несет его душу... в иные миры. «Куда ты несешь меня?» — спрашивает нигилист. — «Увидишь все», — говорит ему несущий дух. «Страх нарастал в моем сердце. Что-то немое, но с мучением сообщалось мне от моего спутника и как бы проникало меня. Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я уже давно перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на землю в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной, измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть наше солнце, породившее нашу землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы.

— Но если это — солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, — вскричал я, — то где же земля?! И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней».

Звездочка раздвигается в шар, в огромное тело. С изумлением он различает океан и очертание Европы. Тут Достоевский вкладывает в сердце человека, этого

умершего нигилиста, удивительное чувство ревности к своей земле, родной земле, его отвращение и ужас, что есть еще такая земля. «Я не хочу другой, я хочу на прежнюю». Но спутник его уже оставил. «Я вдруг и совсем как бы для меня незаметно стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного, как рай, дня. Я стал, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий Архипелаг, или где-нибудь на побережье материка, прилегающего к этому Архипелагу. О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И, наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты человека. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно было бы найти отдаленный, хотя и слабый, отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди несогрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего».

Речь Достоевского становится здесь сбивчивой. Он начинает новую главу рассказа. Главное, он хочет объяснить знание этих людей и их особую психологию. «Мне казалось неразрешимым, например, что, зная столь много, они не имеют, однако, нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся познать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и выше, чем у нашей науки, ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, т. е. сама стремится познать ее, чтобы научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них, и точно *они как бы говорили с ними будто себе подобными существами*. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что *они говорили с ними!* Да, *они нашли их язык, и я убежден, что те понимали их*. Так смотрели они и на всю природу, — на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на *звезды* и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог

понять, но я убежден, что они как бы чем-то *соприкасались с небесными звездами*, не мыслию только, а *каким-то живым путем*. О, эти люди не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я порою в слезах целовал их ноги, радостно, зная в сердце своем, какою силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они все время не оскорбить такого, как я, и ни разу не возбудить в таком, как я, чувства ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия? Они были резвы и веселы, как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкой пищей, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того *жесток*ого (курсив — Д-го) сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным почти источником всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножавшаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они еще соприкасались с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение их не прерывалось даже и смертью. Они почти не понимали их, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым (у Д-го с большой буквы) вселенной; у них не было веры, но зато было твердое знание, что, когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга, как дети; это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проникали сердца. Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце

мое как бы проникалось им безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущей тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть на землю нашей на заходящее солнце без слез...».

Здесь мы можем прервать удивительный рассказ. Читатель видит, что это тот же «Сон», который Версильов рассказывает своему сыну. И, как там, — опять Архипелаг, Средиземное море, Греция. Но они ли одни? Достоевский извлек из своего сердца новое чувство и, чтобы объяснить его, чтобы что-нибудь дать в нем почувствовать читателю, указал на Грецию. В родном нам мире, в европейском современном мире, он ничего не мог указать аналогичного. «Мы уже лживы и завистливы», — оговаривается он в одном месте. «Они — невинны, а мы пропитаны грехом и чувством греха». У Хрисанфа, в «Истории религий древнего мира», в рубрике «Греция» (т. III), я прочел, что особенностью греческого религиозного сознания было отсутствие чувства греха. Слова так важны, что следовало бы цитировать, но сейчас я не имею под рукой книгу, а мысль запомнил. Хрисанф объясняет, что вся психика греков была от этого какая-то прозрачная и легкая, что у них не было пут души, тех пут, которые, увы, так знакомы нам! Без сомнения, по картинам новых художников, как «Ассиз и Галатея» Клода Лоррена, да и по чтению кой-каких переводов, по общему сложению мифов Достоевский отгадал главную тайну Эллады, и, когда в сердце его, больном, усталом, померещился вещий сон, он указал: «Вот! вот! как в Элладе — безгрешные, как и они».

Мифы — тупы нам; то же, что чугунная решетка в Летнем саду. Но ведь они были живы, они были тело с кровью, с дыханием. Оставим их. Важны не мифы, а дух, из которого родились мифы. Достоевский в изумительных своих снах и дает эту психологию, это чувство, совершенно умершее, каменное для нас, но для него, нашего великого романиста, ставшее на минуту — однако только на минуту — живым. «У них не было храмов». Откуда это он узнал, когда Греция была полна храмами? Но вот в одной записи Варрона, сохранившейся у бл. Августина, в самом деле сказано, что Рим в течение 170 лет начального существования вовсе не имел никаких изображений божеств, т. е. уж конечно тоже не имел и храмов. Вера была, было чувство к Богу, но не было его имени и не было его образа. В сущности, мы знаем только декадентскую фазу язычества, когда Аппелесы и Мироны, не веря в богов, начали изгонять из воображения разные фигуры и сказали грекам бедственное: «Вот — ваши боги». Тогда религия исчезла. Настало искусство, началась история, но история и искусство именно и родились тогда, когда умер «золотой сон человечества, когда боги еще сходили на землю и роднились с людьми...». «Век Сатурнов, век золотой» — это почти слова Достоевского, которыми римляне называли неясную полоску бытия, скрывавшуюся за Ромулом и Ремом. «Об этом и мы помним, о чем помнит ваш Достоевский», — могли бы сказать они нам. «Простое воткнутое в землю копые служило первоначальным изображением Марса, а Юпитера боготворили вначале под видом просто камня», — пишет один историк. Т. е. что же такое было?! Да вот — земля; тут был человек, стоял, воткнул копые — и я целую землю, на которой стояли его прекрасные ноги. Чувство Достоевского, и ничего более. Очень хорошо извест-

но, что Jupiter, как и Dios * греков, обозначал вначале просто блестящий небесный свод: т. е., опять как у Достоевского, «они поднимали руки к небу и, составляя торжественные хоры, пели простые и прекрасные песни». Теперь троньте иглою какую-нибудь точку вещего «Сна» Достоевского: в уколе покажется кровь, обозначится имя, выскочит статуйка. В сущности, уже весь «Сон» статуеобразен, богообразен: нет еще имен, знаков, формул; язык немотствует, а сердце полно любовью и... религией! Еще минута, еще час мировой зрелости для этих «невинных, милых людей» — и боги посыплются как из рога изобилия и засыплют человека и его бытие именами, формами, мифами. «Италия до того полна богами, — говорит поэт-скептик про сельскую религию своего времени, — что в ней легче встретить бога, чем человека». «Людей много, а богов — больше», — говорили египтяне. Уж если воткнутое в землю копьё есть deus mars ** (пишу с маленькой буквы), то, конечно, — богов слишком много. «Каждое-то деревцо, каждый-то камешек», — это пишет и Достоевский. «Деревья понимали их, о, я уверен — они нашли язык птиц». Это — дриады, или вещие птицы «Гамаюны», наших славян. О, и славяне имели свой золотой сон, свою мифологию — брусничку, как итальянцы имели мифологию — пинию и сирийцы мифологию — пальму. «Золотой сон — всюду был». «Они указывали на звезды и не знали их, но имели какое-то тайное внутреннее общение с ними». В Ватикане египетская коллекция помещена в залах, двери и потолок которых имитируют египетские храмы. Нельзя было не почувствовать восторга, уже издали подходя к ним: голубое, темно-голубое небо и золотые в нем звезды сплошь — без перерыва — во всех залах! Это так хорошо, это такая иллюзия, так прекрасен был человек, когда, задумав первый храм, он усеял его звездами, стащил к себе небо, понизил небо до своего строительства, ввел в свое строительство! Из искусственного человеческого жилья, с мраморной лестницы папского дворца вы входите... просто в звездную ночь, просто в прогулку по знойным пустыням под южными звездами! «Вот наш храм — другого не имамы». «Дети солнца, дети своего египетского солнца — как они были прекрасны!». В поздние, очень поздние века они пришли к мысли: «Нет, есть имя у этого прекрасного Целого» (с большой буквы у Достоевского), мы хотим Его назвать, Его благодарить — за прекрасное бытие наше! «Они стали собираться». Нужно же «место» для «согласных торжественных хоров» — вот первая идея храма, первая потребность храма. Но как его сотворить?! Да, сотворить — солнце, сотворить — луну; и голубое небо, и звезды — и петь! Пифагорейцы, — а Пифагор посетил Египет и научился там «золотому сну человечества», — восходили рано утром на высокую гору, когда она одна еще золотится, а остальная земля лежит в сумраке, и, дожидаясь, дождавшись секунды, когда мокрое в свежести светило отделяется от вод моря, «пели ему торжественные», непонятные уже развращенным эллинам «гимны»! «У эллинов теперь Апеллесы; они все забыли, они — лжецы и хвастуны, но мы воскресим древнюю веру!» — сказал Пифагор, образовав свой союз-орден, а современники развращенные, «цивилизованные» дивились на него и говорили: «Это и не бог и не человек, это — Пифагор» («οὔτε θεός οὔτε ἄνθρωπος ἀλλά Πυθαγόρας»). Пифагор решил практически, житейски водворить «опять золотой сон», надел для этого «вериги», как Верси-

* Божественный (лат.).

** бог войны (лат).

лов, и был распят, как автор «Золотого сна» у Достоевского (бунт против пифагорейцев и избиение их в Кротоне)... «Так кончаются попытки пророков». «Они дружились с животными, животные не терзали их, проникнутые их великою любовью». Кто же не знает, что везде был «животный эпос», когда животные говорили людям, а люди — животным, и взаимно понимали друг друга, и превращались друг в друга. Олег (наш) «рыскал волком по полям» (оборотнем); сейчас для нас это — злая сказка; волк — лют; но при Олеге *он не был еще лют, и обмен шкур происходил вовсе не так, как* представляется нам, христианам; волхвам Новгорода он представлялся... как «золотой сон» Руси, когда еще «люди говорили с деревьями, и деревья понимали их, и понимали каждый листик, и изумрудную звездочку». Все было согласно. Великое «Целое» еще не разрушилось. Но я говорю о минуте, когда оно начало рассыпаться: тогда посыпались боги, ибо все стало богом, ибо уже ранее каждая вещь была богом, «пальчиком», «ножкой», «волоском» великого Целого. «Золотые персты Эос» — это заря у греков. «Удивительно, как много богов», — восклицают все историки. «Варрон начинает исчисление богов, — пишет блаж. Августин, от зачатия человека... затем он указывает на других богов, заботящихся не о самом человеке, а о его нуждах, каковы, напр., пища, одежда и все, что не—обходимо для сей жизни» («De civitate Dei» *, VI, 9). Да что такое?! Да то, что, где ни тронь иглоу, — тронешь божеское место, «святое», и уж только найди имя, догадайся о лучшем ему образе — а бог есть. «У римлян мы, напр., находим такого бога, который заставляет ребенка издать первый звук — Vaticanus; и другого, который заставляет его произнести первое слово — Fabulinus; каждый из них имеет только это назначение и призывается только в этом случае. Имя подобных богов просто выражает собою их обязанности, что доказывает, что вне того акта, для которого их призывают, они не имеют действительного существования. Значение их чрезвычайно ограничено; самый ничтожный случай порождает иногда несколько божеств. После того как ребенок отнят от груди, одна богиня, Educta, научает его есть; другая, Potina, — пить; третья, Cuba, — спокойно лежать в своей маленькой постельке. Когда он выучится ходить, четыре богини обязаны наблюдать за его первыми шагами: две из них сопровождают его, когда он выходит из дому, а две другие — когда он возвращается домой: Abeona и Adeona, Iterduca и Domiduca». Человек, малютка, можно сказать, ступает по «богам», как мы по мураве в поле; повернулся — и «божок»; но это он направо повернулся, а если налево — другой «божок». Да где же нет «бога»? Как где?! Конечно, нигде, везде — «бог», и «былинка», и «звездочка». Отцы церкви, — кончает историк, которого мы цитируем, — немало смеются над этою «толпою божков, принужденных исполнять самые низкие обязанности» (Гастон Буасье. «Римская религия от Августа до Антонинов»). «Самые низкие обязанности!» Но «золотой сон» и самая сущность его в том именно и заключается, что люди еще не научились «различать доброго от лукавого» и для них не было «зла» «низкого», а только одно высокое и святое. И сколько было «святого», столько было «богов», «божков». А как было все свято, «из рук божиих», еще цело и не рассыпалось, то, очевидно, и «имен божиих» было почти столько, как песку на берегах их прекрасных речек. «Это — самые настоящие римские боги; в то время как жрецы вносили их имена в Indiga-

* «О граде Божиим» (лат.).

menta *, Рим еще не находился под влиянием Греции», — заключает описание Гастон Буасье.

«Жрецы...». В согласных и непонятных «хорах» были предводители: «Пойдемте на вершину холма и воспоем гимн заходящему солнцу: оно уже клонится к морю». Да что запеть? «А вот — слова песни простой и прекрасной». Всех трогает солнце; все мы его чувствуем, «но не все умеем выразить, а ты — сумел. Хвала тебе и благодарность, чистейший из нас». Песню «богу» поет тот, кто чист, а чист тот, кто глубже, страстнее чувствует солнце и чей «лик прекрасный наиболее похож на лицо ребенка в самые первые его годы». Но мы прервем. И так ясно, что в самом деле Достоевскому приснилась былая истина, нечто бывшее, и что-то и грядущее возможное, за что стоит надеть «вериги».

«ПЕДАГОГИ» ОТТО ЭРНСТА

Пьеса «Педагоги» смотрелась с острым интересом в Панаевском театре. Театр был оживлен. Местами игра прерывалась дружным смехом или громкими аплодисментами зрителей, относившимися к содержанию пьесы. Например, когда на удивление ревизора, что тридцать лет начальником школы состоит лицо, получившее звание учителя по подложному паспорту, молодой и даровитый учитель Флемминг замечает насмешливо:

— Там, где управляет делом чиновник, — все возможно!

Подложный начальник более вытолкнут, чем удален со службы, и на его место одним словом ревизирующего назначен этот самый Флемминг. Он снова удивлен быстротою действия:

— Там, где управляет чиновник, — все возможно! — торжествующе, грозно и твердо воскликнул ревизор.

Публика дружно покатила со смеха.

Пьеса и грустна и весела для русского зрителя. Немецкий автор ее Отто Эрнст знал, что писал. Между тем русская школа не только сейчас, но и давно живет, талантливее и честнее этой немецкой школы. Подложный начальник школы, куклы-учителя — этого у нас нет. В каждой нашей школе, решительно в каждой, есть иногда не очень мудреный, но очень сердечный учитель, вообще есть около детей хотя один сердечный, а иногда и пронизательный человек. У нас могут подлежать критике менее люди и более порядки. Немецкий автор, по-видимому берущий учебное дело в момент перелома, показывает нам идеального ревизора, гуманного, образованного, развитого, при полной инвалидности учителей. У нас дело не внушает такого отчаяния. Скорее, у нас ревизор придавливает дело, наводит лишний серый и темный фон на школу, решительно задышающую среди официального, ледяного режима. Одно замечание ревизора положительно можно отметить и следует запомнить:

— У вас есть юмор, — говорит он одному учителю, доброму малому и в сущности способному педагогу. — Юмор в учителе — великая черта. Он вносит нуж-

* молитвенные формулы (лат.).

ное оживление в урок, он есть предмет внимания и любовного внимания учеников к учителю, он прокладывает путь соединения между сердцем ученика и сердцем учителя.

В самом деле, это тот цветочек, которого недостает школе. В учителях, деятельность которых трудна и монотонна, юмор есть редчайшая черта. Но учителя с юмором всегда любят ученики, всегда долго помнят его. Юмор есть искусство характера и такой характер есть первое художественное зрелище для ученика. В оценке и выдвигании этого автор пьесы высказал тонкий ум. Другой учительнице он говорит: «Не нужно быть хмурой в классе. У многих детей нет солнца дома и пусть этот солнечный луч дает школа».

10

Все-таки автор недостаточно гуманен. Отчего учителя так дурны? Отчего быт учительский есть самый нищенский быт, какой можно себе представить, быт абсолютно нехудожественный? Доказательство — в том, что это первая пьеса из педагогического быта, какую мы смотрим. В нашей собственной литературе фон-Визин есть последний и первый автор, который вывел учителей на подмостки театра. Из быта учителей нет ни одной повести, ни одного романа, кажется даже ни одного коротенького рассказа. Это ужасно печальный признак, это ужасно важный признак. Повествователь, как и драматический автор, хватается жадно все, что ярко. Значит же есть что-то ужасное и никем не замеченное в учителях, что к ним не подошел с желанием нарисовать ни один художник. Нет цветочков, нет бантиков, нет красочной материи — уже в самой структуре педагогического духа и педагогического быта. Фигур солдат, офицеров, мужиков, генералов, тайных советников, коллежских секретарей, попов, диаконов, пономарей, словом, всякой службы людей — сколько угодно в повести и драме. Все их любят. Все на них любят. Оттого только постоянно их и рисуют, что это занимательно и для авторов и читателей. Но ведь это ужасный просвет к тому, что значит же учителя никто не может любить и никто не может им полюбоваться, т. е. что это есть самое несчастное и еще никем не рассмотренное и не взвешенное существо. А мы на них кричим, атукаем, смеемся над ними.

20

— Учитель должен избегать бывать в обществе, — замечает псевдодиректор школы одному из подчиненных, — это его компрометирует.

30

Видали вы учителя в обществе? в клубе, в театре, в шумящей толпе перед закуской? Можете вы себе представить учителя, обегающего с подписным листком знакомых, чтобы поднести сборный подарок певице или актрисе театра? Наконец, видали ли вы когда-нибудь учителя, который, энергично скомкав газетный лист, швырнул бы его под стол, прочитав такую-то телеграмму, известие или статью? Гимназисты бурами интересовались два года. Но учителя? Едва ли. Наконец, может быть, когда-нибудь учитель спорил с вами до истерики?

— Меня нет или как будто нет; считайте, что я умер. — Вот возможный ответ учителя.

40

Он всегда понуро держит голову. Учитель, который бы шел по улице, закинув голову вверх, есть невообразимая картина. Никогда его взгляд не сосредоточивается, не любит. На выставках всемирных или национальных, как и перед окнами магазинов, едва ли бывает много учителей, едва ли даже вообще они бывают. Кто же он? Где же он? Дома. Редко выйдет гулять и выйдет или не в урочный час, когда никто не гуляет, или в необщее место гуляний, куда-нибудь за город; в общественном единственном в городе саду пройдет на уединенную аллею. Во-

обще к людям он не идет, а от людей он уходит. Да что он, глуп что ли? Какие он книги читает? Майн-Рида? Ничего? Увы, все классические писатели ему хорошо знакомы, и если он не всегда читает, то читает только отличное, с огромным выбором читаемого. Есть, значит, в нем вкус? О, конечно. Ум? Больше вашего. Но отчего же он такой и что он такое? Вот на это-то внимательно и хорошо никто и не сумел ответить.

Разобрать учителя, разобрать его с любовью — это большая тема педагогики.

Пьеса Отто Эрнста, так сказать, написана в две краски, черную и белую. В начале пьесы все герои черны. Но входят белые и побеждают черных. Черные краски так густо положены, как в нашей литературе положил их один Помяловский. Это достигает хороших публицистических целей: — «Нужно реформу, конечно нужно!» — волнуются зрители, это чрезвычайно справедливо, этот почти физиологический крик сердца, который нужен и важен, как весенний ледоход для вскрытия реки. Но куда льду пройти, как ему пройти — это вопрос тонкий, это вопрос трудный. Конечно, легко сказать: «Позвать белых!». Но где их взять? Как подлинно отличить белого от черного? Как сделать, чтобы белый очень скоро не стал черным же, когда и стены, и потолок, и пол, и мебель здания покрыты одно-

20 — Боже, если бы нам увидеть хоть копыта той лошади, которая будет во время представления идти под музыку вальсом!

Вот этого восклицания школяров, физиологического, животного крика души их не следует никогда забывать. Более тридцати лет назад прочел я это в книжке, ни заглавия, ни самого сюжета которой не помню. Видел тысячи учеников, сотни учителей. И этот крик, один этот крик, как лозунг и обещание, я мысленно повторял, всматриваясь в угрюмые лица одних и других, в могильные их души. Или, перелагая пример на объяснение:

— Дайте нам цветочков в школу. Юмора, шалости. Дайте сюда ярких ленточек, цветочных материй, какими разъяряют быка в испанских боях. И уберите отсюда траур.

30

О ЛИТЕРАТУРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ЧИНОВНИКОВ

Новым «Проектом устава о службе гражданской» подтверждается прежнее восприятие чиновникам участвовать в литературе. Это дает повод «Судебной Газете» взывать к правам человека и даже, едва ли не всуе, поминать Евангелие: «У каждого должностного лица есть звание, которого нельзя зарегистрировать ни в какой устав. Это звание — человек. Оно сливается с человечеством, и тут уже уставами для каждого должны служить: религия любви и братства между всеми людьми», и проч.

40 Вот поистине крупковские орудия, наведенные на муравья. Статья устава, воспевающая литературные занятия чиновникам, только дурно редактирована. Она неосторожна в употреблении столь общего термина, как «литература», но, конечно, не имеет в виду ни ограничить права человека, ни затронуть Еванге-

лие. Все почти наши государственные люди были в большей или меньшей степени литераторами, напр. И. И. Дмитриев, кн. П. Вяземский, гр. Д. А. Толстой, К. П. Победоносцев, Т. И. Филиппов, поэты Тютчев, Майков и Полонский. Если верхние слои администрации сливаются с «умственными сливками» общества, то невозможно и ожидать, ни требовать, ни желать, чтобы бюрократия и литература не сливались, по крайней мере, очень широкими заливами и проливами. Само собою разумеется, что коренной и прирожденный писатель, с ярким призыванием и талантом к перу, не делается деятельным, ушедшим всею душою в службу, администратором. Равным образом деятельный администратор не начнет писать так неумолимо драмы и комедии, как Островский или как Шпажинский. Поприща службы и литературы всегда останутся разделенными. Но они всегда останутся родственными, близкими; будут «похаживать в гости» друг к другу. Государство и высшая бюрократия никогда и не смотрели у нас неприязненно на литературные занятия чиновников, видя в них скорее лишний мотив для уважения служащего, чем для какого-нибудь обвинения. Всегда это есть признак разносторонности его умственных способностей, бескорыстных и идеальных стремлений: качества, которые требуются и, во всяком случае, не лишние и на службе. Таким образом, статья, предполагаемая к сохранению в «Уставе о службе гражданской», скорее всего, есть пережиток старых служебных приемов, который давно потерял практическое применение. Уже давно множество очень видных у нас писателей пишут, печатают, принимают участие в литературной борьбе, безусловно не испрашивая для этого никакого позволения и не вызывая ни малейшего неудовольствия или опроса у начальства. Но государство хочет и вполне вправе обеспечить себе полное сохранение так называемой служебной тайны, неразглашения сведений, которые доверяются чиновнику не как «человеку» или литератору, а как пособнику своего начальника. Есть врачебная тайна, выдаче которой препятствует врачебная этика. И вот в «Уставе о службе гражданской» и уместна статья о соблюдении, так сказать, гражданской и служебной этики в смысле тоже неразглашения специальных служебных тайн, служебного положения дела.

Литература здесь ни при чем; такое разглашение тайны является простым средством служебных усилий, служебной агитации, иногда просто служебного кляузничества. Служба требует известной дисциплины, единства мысли и направления, и вот в этих объединительных целях, т. е. в целях устранения служебной анархии и распушенности, и помещена в «Устав» эта статья. Но она может справедливо обижать, по неудаче своей редакции, литературу и писателей. Благодарение Богу, звание писателя в России не зазорно. Оно никак не менее окружено почетом, чем звание чиновника. Если, наконец, нужны доказательства этого, то учреждение 50 000 фонда для инвалидов пера при Императорской Академии Наук кончает всякие в этом отношении споры.

Поэтому в указываемой статье «Проекта устава о службе гражданской» следовало бы совсем выпустить слово «литература» и заменить его другим термином. Наконец всю статью можно бы построить совсем иначе, яснее выразить ее служебно-дисциплинарный смысл.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Много лет назад мне пришлось разговориться о древних языках в нашей школе с одним знаменитым, теперь уже умершим, ориенталистом. Он сказал мне:

— Греческая грамматика, греческий язык в школе... Знаете, сами греки понятия не имели о том, что мы теперь называем «греческим языком». В классическую пору их цивилизации и во время самого блестящего развития их литературы, они понятия не имели о «грамматике греческого языка», которую мы кладем в основу нашего классического образования, и говорили и писали, как Бог на душу положит. И писали и говорили отлично. Грамматика явилась в александрийский период, т. е. когда гений Греции угас и взамен прекрасного появилось трудное, взамен ясного — путаное, талант заменился прилежанием, а на могиле умершей поэзии появилась филология. Ее никогда не было в той Греции, Греции Афин и Спарты, которой мы подражаем в нашем классическом образовании.

Я слушал со вниманием.

— Но что я считаю безусловным требованием образования и образованного человека — это знание родного своего языка. Мы русские, и вот знание, и отличное знание русского языка, есть неременное условие русского классического образования.

Дальше хода нашего разговора я не помню. Но приведенный отрывок его запал мне в ум. Я вспомнил единственный год, когда мне пришлось преподавать, за отсутствием штатного учителя, русскую грамматику в третьем классе гимназии. Я купил грамматику Поливанова, синтаксис Поливанова. Знаменитого московского филолога, основателя и директора едва ли не лучшей в России частной гимназии, беззаветного любителя русской литературы и автора превосходных трудов о Карамзине и Жуковском я имел причины не только уважать, но благоговеть перед его именем. И вот я, купив книжку, что-то в 200—300 страниц, засел за нее, чтобы, не мудрствуя лукаво, начать учиться вместе с моими учениками, т. е. идти в изучении предмета несколько вперед их. Учиться самому и учить их.

И теперь вспомнить тягостно. Сколько я ни читал грамматику, т. е., положим, вот этот первый отдел: «о подлежащем», или какой-нибудь дальнейший отдел, положим: «о дополнительных предложениях», я или не понимал читаемого и пересчитываемого, или ничего не мог запомнить. А взяв какой-нибудь из хрестоматии отрывок для разбора (помню, взял «Гибралтар» Гончарова), не мог совершенно приложить выученного в грамматике к факту языка. «Как же будут ученики понимать, когда я не понимаю?». Ответственность, стыд — все мучило меня, принижало, подавляло. В отчаянии я купил большие александрийские листы, склеил их концами, провел вертикали и горизонталы, и решил, рассматривая грамматику Поливанова с прилежанием ползущей по строкам мухи, всю ее обнять, схватить, сожрать и выразить удобопонятно и картинно, дабы сразу был виден и план языка, а главное, чтобы хоть, по крайней мере, себе самому сделать понятными определения грамматических форм. Я дошел в этой переделке до половины грамматики, когда год кончился, и я не могу вспомнить без муки этого позорного года своего преподавания. Ученики уже, конечно, не больше учителя усвоили этот предмет за год. Но чтобы показать, что я не был тут исключением, дополню, что, увидав у меня эти мои таблицы грамматики, у меня их выпросил

для списания старый и опытный преподаватель древних языков и русского. И он, очевидно, бился с русской грамматикой, но молча. И вообще, как я думаю, учителя о чрезвычайно многом молчат в своем преподавании, воображая, что вот такая-то прореха принадлежит им лично.

* * *

И вспомнил я слова ориенталиста: «Э, все это — александрийский период». Поливанов есть александрийский ученый, грамматика есть александрийская ученость, преждевременно и нездорово у нас развившаяся. На одного способного к ней приходится 99 русских, совершенно неспособных и однако в общем даровитых, по крайней мере — не бездарных. 10

Как же, однако, условие этого самого ориенталиста: «Знать отлично родной язык, без чего невозможно быть образованным?».

Как? Да так, как поступали афиняне, т. е. знать, владеть, понимать и чувствовать родной язык, а не анатомировать и не классифицировать его *membra disjesta*, «разъятые члены», как в сущности поступает грамматика.

«Синтаксис русского языка»... Вот я бросаю в толпу этих третьеклассников фразу: «Солнце зашло», и говорю: «Не нравится мне это, надоело, шаблон, бесцветно; ну-ка, дети, это самое „солнце зашло“, выразите иначе». — «Солнце закатилось», «солнце запало», «солнце потонуло в пурпуре зари», «солнца уже не видно», «солнце склонилось к горизонту», «солнце чуть-чуть слилось краешком с дальней полоской моря», — кричат они. Ведь непременно закричат, выдумают, изобретут. «Ну, а какая же разница оттенков между: «солнца уже не видно» и «солнце склонилось к горизонту?»». «Солнца не видно» выражает только факт, а «солнце склонилось к горизонту» вносит в явление одушевление, потому что «склониться» — хочется, «склоняется» человек, «склонение» есть выражение души, именно ее жалости и нежности. Если солнце любит море, то оно к нему «склоняется», а если не любит, то солнца только не «видно» за морем. 20

Вот и анализ. Вот и оттенки. Вот и прояснение сознания. Вот чувства языка и мысль о нем. В Афинах был в октябре месяце праздник *анутурий*, один из прелестных языческих праздников. Он состоял из четырех дней, из которых третий назывался «куреотис», «детский день». В этот день граждане всех двенадцати фратрий афинских представляли родившихся у них за год детей, и они вносились в список города, как его будущие граждане. А вторая половина дня посвящалась чтению рапсодий, приноровленных к пониманию уже детей старшего возраста. И граждане и дети смешивались в слушании. Это только пример, как они жили и как учились. Но вообще вся их жизнь, афинская, была как бы колосьями пшеницы переплетена золотистыми строками стихотворства, и они играли, трудились, образовывались, воспитывались — все вместе. И они родную речь потому хорошо знали, что вечно говорили, обращались друг к другу, смеялись, острили, а толпа смехом или удивлением критиковала их, поощряла даровитых, мучила бездарных. И все они думали над языком. И все они вникали в язык. Думаю, что все они «знали родной язык», т. е. выполнили главное условие образования моего ориенталиста. 30

Мы, с Поливановым, не знаем родного языка.

Афиняне, без Поливанова, знали родной язык. 40

В английских школах ученики пишут обязательные стихи. Скверно пишут — пусть. Стихотворение написать гораздо труднее, чем страницу прозы, и кто дошел до того, что у него вышло хоть плохонькое восьмистишие, тот уж напишет страницу весьма недурною прозою. В стихе надо взять хоть какую-нибудь музыкальность. В нем, прежде чем найдешь сочетание слов, в котором и размер выходит, и рифма есть, раз десять перевернешь фразу, так и иначе переставишь слова, т. е. об одной и той же мысли десять раз подумаешь и десять раз ее по-новому скомбинируешь. Это — огромный опыт, огромное упражнение. Я бы ввел в наших гимназиях писание стихов, завел бы маленькие поэтические журнальчики (они сами собою всегда возникали у гимназистов), ввел бы там состязания, сперва классные, а потом и публичные. Теперь школа наша грустна и замкнута.

Что такое литература наша от Жуковского до кончины Гоголя, как не почти эллинское состязание красоты литературных форм? И как она развилась! Как атлет, она вытянула мускулы, укрепила кости, истончила нервы. Какой таинственный звон проходит в прозе Лермонтова, и вещей, таинственный блеск! У Пушкина этого нет, у него проза простая, матовая. Зато ясная и прозрачная. У Гоголя опять новая проза, вьющаяся змеями, хвостатая, в периодах могучая, тягучая, запутанная. Если открыть Толстого или Достоевского рядом с ними, какое бессилие языка, какое падение политуры, выработки! Просто они не умеют писать. Они — плотники, а то были ювелиры, гранильщики словесных алмазов. Смотрите переписку старых времен: в письмах сообщаются новые напечатанные стихи, критикуются отдельные строки. Тут трудится А. Пушкин, но и трудится В. Л. Пушкин. Тут — Грибоедов, а около него и Репетиллов, и все работают, все лезут вверх, шлифуют и шлифуют и вышлифовали такого «Великого Могола» (драгоценный камень), как новый русский язык, о котором сказал Тургенев: «Берегите его, ради Бога сберегите».

Так вот в гимназии и можно было бы бросить этот эллинизм русского языка, это эллинское языческое отношение к стихии родного слова, к глыбе обработанного, но не окончательно обработанного русского словесного мрамора. А то мы жуем в третьем классе Поливанова, не понимаем в четвертом классе отрывки из Остромирова Евангелия, ругаем из-под парты в пятом классе попа Сильвестра. Там что-то из Курбского, тут — про Феофана Прокоповича, всего понемножку, и на седьмой год облегченный вздох: «Слава Богу, ни Кантемир, ни Остромир не помешали нам получить диплом». И александрийцев настоящих, т. е. филологически образованных людей, из нас не выходит, и погасили мы в душе своей цветочек возможной поэзии.

ИВАН ЩЕГЛОВ. НОВОЕ О ПУШКИНЕ

СПб. 1902. Стр. 219

Книжка написана в дни недавнего юбилея Пушкина и состоит из двух половин: наблюдений и размышлений. Первые составили содержание статей: «Пушкинские дни в провинции», «Письма крестьян о Пушкине», «Беседа со старухой, знавшей Пушкина», «Оригинальные дорожные встречи», «Дом, где скончалась

няня Пушкина», «На могиле жены поэта». Все эти статьи представляют более любви автора к Пушкину, нежели заключают интересного в отношении к самому Пушкину. Увы, подобные находки уже теперь невозможны! Скрылось величайшее солнце нашей поэзии за горизонт; и мы, несущие в уме своем и сердце фосфористое мерцание от его лучей, похожи на древних язычников, которые привскакивают кверху или бегут на ближайший холм, чтобы через какое-нибудь неестественное усилие еще раз увидеть уже невидимого «бога». Хлопоты, поездки, расспросы г. Щеглова показывают мучительную жажду хоть что-нибудь ухватить там, где, очевидно, нельзя ничего ухватить. *Лучшая* статья в этом отделе и, может быть, во всем сборнике: «На могиле жены Пушкина». Безмерно любя память поэта, И. Л. Щеглов снимает с жены его все упреки, нелепо навешанные усердными и *бестактными* биографами поэта. Многие изумляются, как это «великий Пушкин» мог привязаться к столь «малой женщине». В самом деле, хорошенько рассчитав по пальцам, он мог бы соединить судьбу свою с какой-нибудь читательницей Гизо и прожить с ней покойно лишние 20—30 лет. Мы не знаем в Пушкиной главного и единственного, что для такого приговора нам нужно знать: ее живой фигуры и лица, ее живых манер и движений. Нисколько она и не предлагала Пушкину учености, образования, ума. «Она покоилась стыдливо», как описал он первое впечатление, решительно никого не ища, ничего не предлагая, ничего о себе не говоря и ничего от себя не обещая. Г. Щеглов только группирует отзывы о ней и отрывки сохранных от нее разговоров и показывает, до чего это было невинное дитя, невинное — без всяких дальнейших определений. Эта-то бесконечная непосредственность невинности, т. е. душа ее, а не одна эстетика ее тела, и вскружила *голову* Пушкину, повергнула его в «богомольное» отношение. До чего между ними не образовалось никакой связи, можно видеть из того, что она называла его «Пушкин», «мой Пушкин», а не «муж» и не «покойный мой муж». Единственно, что она могла постигнуть в отношениях к нему — это верность, и была ему верна. Но больше она ничего не могла понять, что еще нужно от нее. Ну, например, она не любила его стихов, никаких, кроме посвященных ей. — «Господи, — сказала она раз у Смирновой, когда он стал читать последние новые стихи, — до чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин!». Он сделал вид, что не понял (какая характерная черточка душевного разъединения между женою и мужем), и отвечал: «Извини, этих ты еще не знаешь; я не читал их при тебе». — «Эти ли, другие ли, — все равно. Ты вообще надоел мне своими стихами». Он смутился. Между тем она с чрезвычайным интересом слушала рассказы Смирновой о ее институтском житье-бытье, и т. п. Она любила веселость, движение, удовольствия, любила их в свои 19—24 года, и что же было ей делать, что стихи ей не нравятся? Это один из тех первобытных фактов, которых не переродишь, и он вовсе не зависел от ее необразования, потому что есть до сих пор и всегда были совершенно неразвитые и прямо глупые барышни, которые до безумия любят и чувствуют стихи, пушкинские и другие. Это — специальность, как цвет волос или глаз. По всему вероятию, Наталья Николаевна так же чувствовала своего мужа, как обратно он почувствовал бы жену своим, каким-нибудь роком женись на синем чулке или на девушке с обширным коммерческим талантом. Заметно в отношениях его к ней нисколько не погасящее восхищение и богомольность: как будто она осталась девушкой, как будто он все восхищается еще неведомым и недоступным для него существом. А между

тем у них были уже дети. Это был физиологический союз без тени мистической, без родства крови и понимания душевного. Так умер Пушкин, испытав кровавую встречу, прямо разбитый предметом восторга, только по смерти его оглянувшись на погибшего. Вслушайтесь в тон ее, простосердечный и недоумевающий, каким говорила она позднее своей тетке в присутствии Л. Н. Павлищева.

«Заверяю тебя, Ольга, в присутствии Леона священным моим словом, что я не погрешила и мысленно против Пушкина, а укоряю себя лишь в недальновидности. По неопытности я не подозревала ничего серьезного, а потому и не предупредила козней его врагов. Но в остальном чем провинилась? Моей привлекательной наружностью? Да не я же себе ее сотворила. Любезным обращением? Да этому виноват мой общительный характер. Остроумием в обществе? Но если острила, то вовсе не с целью обижать кого бы то ни было. Наконец, сказать смешно, неужели моим умением играть в шахматы, за которое получала комплименты от мужчин? Да скучно ведь играть в шахматы самой с собою. Но, может быть грешу, никогда не прощу злодеев, которые свели моего Пушкина в могилу, для чего обесславили меня. Скорбь же моя о Пушкине умалется при сознании, что я чиста пред ним. Пусть праздные языки толкуют обо мне что угодно. Сами себя марают, а не того, кого чернят» (стр. 108).

Она была хорошая женщина, добрая, русская. И только цели бытия ее вовсе не совпадали с теми, для которых существовал Пушкин. Но уж нужно было ему сообразоваться с этими целями, а не ей, которая просто не знала, не видела, не чувствовала их иначе как внешней и общей оценкой. Судить ее мы также имеем мало права, как осуждать и восклицать: почему к Софье Ковалевской, томившейся по любви, не поспешили профессора наших университетов с готовностью любить, жертвовать, страдать около нее, освещавшей лучами ума своего Россию и Швецию. Нелепые рассуждения!

Мучительный этот вопрос в прекрасной, трезвой и любящей статье И. Л. Щеглова нашел житейское решение, к которому не надо делать философских, критических и публицистических поправок. В рассуждениях или, точнее сказать, изысканиях г. Щеглова есть действительно не только «новое о Пушкине», но и очень ценное и любопытное. В этих изысканиях он кропотлив, упорен, настойчив. И хотя сплетает узор выводов из мельчайших паутинок, но так прочно, что его трудно разорвать. Во всяком случае к литературе о Пушкине книжка присоединяется как полезный вклад.

ЖЕРТВЫ ВЕЧЕРНИЕ

«Петербургские труппы», в переделке г. Арбенина для сцены, имеют, в сущности, тот же сюжет и возбуждают те же размышления, как «Воскресенье» Толстого. Там и здесь в центре погубленная жизнь девушки-женщины, но только в «Труппах» это окружено безжалостной действительностью, а в «Воскресеньи» самое погубление составляет чуть ли не счастливый предлог для сложной, длинной и, наконец, до зевоты надоедающей картины слезливых потуг к «вос-

кресению» Нехлюдова. Здоровое чувство читателя и зрителя однако гораздо более занято грубою внешнею судьбою погубленной женщины, нежели тонкими судьбами тонкой души ее губителя. Право, за теплую комнатку для Чухи или для Масловой можно отдать все «страдания молодого Вертера» — Нехлюдова. Пьеса, я сказал, возбуждает много размышлений, — и совершенно того же характера как «Воскресенье». Мне кажется, и это последнее произошло в нашей литературе без надлежащего критического освещения главной темы, и потому я позволю себе передать ту вереницу размышлений, которая пронеслась у меня в голове, когда я сидел в зрительном зале Панаевского театра во время игры «Трущоб».

Зрелище — глубоко жалостное, а не грязное. И все спрашиваешь себя: «Ну, как же, как же быть? Что делать? Откуда, как эти Чухи? Как избежать судьбы ее дочери Маши? Ведь и у нас всех есть дочери, будут внучки, правнучки?»¹⁰

Крестовский — Арбенин — Толстой дали нам воочию убедиться, что увеличивают контингент «падших женщин» вовсе не одни пролетариатки. И гипотеза нищеты как единственного и непобедимого родника проституции, не выдерживает критики. Княжна Анна Чечевинская с дочерью Марьей, как и Катюша с ребенком, живущая в теплом уголку двух теток помещиц, не испытывают ни нужды, ни голода, и могли бы их никогда не знать. Далее, мы знаем, что из голодающих девушек огромные части идут в работу, в нищенство, наконец, от нужды кончают с собою: но есть какой-то выбор, по которому часть их идет и не в работу, и не в нищенство, и не в петлю, а становятся... «жертвами вечеринок». Следовательно,²⁰ вопрос в этом выборе; в том, что определяет его. Здесь за социологами, определяющими страшную социальную язву как плод нищеты, выступают моралисты, и говорят, что деятельный агент в произведении проституции есть грех: она начинается с падения, соблазна. «Не соединяйтесь и не соблазняйте! бегите греха!! слушайте нас!!! — и вам будет хорошо, как нам в наших тепленьких квартирах, при двухтысячном окладе жалованья за проповедание».

Между тем, соблазн был с начала мира. Вспомните, когда бы мир не соблазнился в данной категории явлений? Соблазн его тянет, как землю притягивает солнце. Можно ли же говорить об устройстве солнечной системы без принятия в расчет этого тяготения; также и моралисты, сетующие на соблазн, похожи на детей, которые в фантазии своей построят дома, мосты, железные дороги без механики и без принятия во внимание основных качеств строительного материала. Моралистов-детей за их рассуждения над столь больною темою следовало бы сечь, но ввиду распространенности их взглядов с ними приходится, хотя временно, серьезно считаться.

Никто не скажет ни про несчастную Чечевинскую-Чуху, ни про ее дочь Машу, что это суть изверги безнравственности. Напротив, безнравственность поверх их, вокруг их, и «жертвы падения» право же представляют, говоря языком Добролюбова, «светлый луч в темном царстве» законной и частью законодательствующей безнравственности. Они сострадательны, любящи, добросовестны, хотя «согрешили», — когда те безжалостны, хладно-порочны, лукавы. В них-то вот, пожалуй, и лежит корень язвы проституции. Не в том горе, что люди «падают»; это было с начала мира, и напр., пала прекрасная Дина, дочь Иакова, сестра 12 братьев; пала блудница Рааф; почти пала (по нашим понятиям — «пала») добрая Руфь, история которой с Воозом читается в церквах; Вирсавия, мать Со-

ломона, «пала» же. Столько «падений» — а «жертвы вечерней» (обитательницы веселых домов) — ни одной! Суть дела в том, что мы тотчас же на каждую «падающую» надавливаем всею тяжестью сытого и самодовольного брюха и вопим: «Дави ее! пала!! Под нами!!! ниже нас — ура!». Тайна-то настоящая проституции лежит так сказать в атеизме теизма, в безбожии моралистов; и напр., когда по сцене, среди блестящего beau mond'a, наклонив голову (великолепная фигура), проходит молча знаменитый проповедник иезуит Вильмен, то я и подумал: «Вот он, красный зверь, по которому стрелять надо! Тут что Шадурские, отец и сын: только курок на ружье. Курок щелкнул по патрону, выстрел грянул, пали обе Чечевинские. А систему-то ружья выдумал патер Вильмен. И в лице его, так сказать, и проходит главное действующее лицо „Трущоб“, а прочее все — декорация, обстановка, подневольная игра совершенно пассивных актеров».

Момент падения Чечевинской передается в упоминании Чухи о том позоре, с которым ее, «падшую», выгнала от себя княгиня Шадурская (у которой — тысяча шашек) и «обвинила» в краже и прятаньи ребенка. Как только плод «падения», ребенок, спрятан — так мать ее становится проституткой, потому что ей больше и нечем стать, цель жизни потеряна. Проститутка образуется в момент потери цели ее жизни как женщины. Таковой момент образуется через устранение ребенка, соединительного звена между будущим и настоящим, между хлебом и работой, между мужем и женою, матерью и девушкой. Падение детей и их ценности метафизической есть образующий агент в «падении» женщин. Как ребенок «упал», лично, общеизвестно, в цивилизации — упала лично и в самой цивилизации упала не отделимая от него женщина. Просто — она обесценилась. И отнимите вы лично и поименно хоть у одной женщины ее ребенка — вы сейчас погубите ее. Маслова также погибла не от влюбленности в Нехлюдова; это — от века, на этом мир стоит; а от кисло-горькой мины, у Толстого не описанной, с которой вчерашнюю милую Катюшу встретили на завтра две благочестивые тетушки, сидевшие на ненужном им богатстве. Как они скислись в лице — так Катюша и погибла. И в Сибирь надо было за нею вовсе не Нехлюдову идти, а этим тетушкам; как и на Чухе надо было женить не Шадурского, а патера Вильмена. Дело в том, что косвенные и отдаленные причины гораздо сильнее ближайших и прямых. Бог дунет с неба, а на земле разражаются ураганы. Люди думают: ураганы от того-то, от этого-то, ищут ближайших причин: а суть в законах давления газов, в вертикальных и горизонтальных течениях атмосферы, суть в солнце и земле и их вращениях.

С Чухой мы помирились и не ропщем громко. «Ну их, всегда будут». С «жертвами вечерними» в веселых домах помирились же. Ну, уж помиримся тогда с меньшим: с тем, чтобы Шадурский, переживающий «тысячу и один» роман вне брака и до брака и во время брака, и дающий пощечину любовнику своей жены, на что та отвечает: «дурак, почему же ты других моих любовников не бил», — допустим, чтобы он сократил m-me Шадурскую в нарядах и принял рядом с нею и Анну Чечевинскую с ребенком Машей в дом к себе, — ну, как Агарь с Измаилом. Все время, как я смотрел на Чуху, мне мерещилась Агарь, и как ей Ангел явился в пустыню и утешил ее. Закон пустыни, так рано показанный человечеству, право и показан ему был провиденциально, дабы навсегда предупредить судьбу Чухи. Пофантазируем, разоведем идею. Девочек рождается на земном

шаре ровно столько, сколько мальчиков. Это уж с небес дует так, это мировой закон. И так, положась на его действие — оставьте все устроить природе. Пусть папильон Шадурский берет сколько ему угодно бабочек: он сейчас начнет ослабевать в силах и порывах папильона, потому что придется с каждой новой бабочкой зарабатывать на нее хлеб, а работать он не любит, да и не умеет. Уничтожайте папильона не против его инстинктов, — тогда он вас лукаво обманет, а на почве его инстинктов, почти помогая им: тогда вы его обманете. В содружестве с патером Вильменом он обрабатывает столько бабочек, сколько хочет, ибо патер Вильмен убежденно говорит, что «грех на ней, на ее слабости, а у него нет греха, и пусть она будет Чухой, но зато у него, князя Шадурского, будет одна только княгиня Шадурская», от которой он хоть и по-ша-ли-вает, но за это патер лишь слегка подерет ему ушко на исповеди, а впрочем, все кончит милой шуткой, что вечером придет к нему играть в винт. Измаильский принцип говорит обратно: «Ничего я тебе не запрещаю и ничего я тебе не позволяю. Сколько бабочек взял, столько и корми. Это у нас закон пустыни. Мы дикие. А только в Чуху ее обращать тебе не дадим: за это повесим, не ее — а тебя». Шадурские в самую минуту, по-видимому, блаженного для них согрешения нахватили столько бабочек, сколько могли: и ровно настолько в мире уменьшилось <число> бабочек. Шадурский не «роняет» шестьсот, как около патера Вильмена, а кормит шестьдесят, по канону Измаила. Для шестидесяти других мотыльков не хватает вовсе бабочек. Ведь рождается-то первых столько, сколько и вторых. Является неслыханная вещь: не хватает девиц! Теперь уж не требуют приданного, а сами дают отцам калым — какую мужицкую сумму — чтобы ради Бога дал дочь замуж: ибо дочерей-то мало, невест не хватает, не хватает на каждого мотылька по одной: вот ужас, женихи есть, а невест нет! Но ужас совершенно обратный нашему и едва ли не более благоприятный в социальном отношении. Право, придется даже поблагодарить Шадурского, что он кормит шестьдесят: повысилась цена товара, девицы подняли голову, смеются: «Нас мало!». Является после Шадурского и именно вследствие Шадурских, страшнейшее и ненарушимое единоженство, ибо ни ухаживать не за кем, ни соблазнять некого, все разобраны, даже с веснушками, с косым глазом, придурковатые нищие — все! И берут торопливо, запасаясь, в самой ранней юности, берутся родителями для детей. Проморгаешь — и никакой невесты не найдешь, даже кривой: «Хоть из чума воровать».

Так вот в чем тайна инстинкта Шадурского, с начала мира действовавшего: что это есть природный регулятор, предупреждающий навсегда появление Чух, «жертв вечерних», несчастья женщин. И что 5—10 Шадурских обеспечивают счастливейшую, тихую и абсолютно моногамную семью для 500—1000 простых смертных, мужичков. И что вообще тогда семья не абсолютно хороша на верхах, но уже зато абсолютно крепка и чиста в низах, народе. Тысяча Шадурских очистит атмосферу всей страны, поклюет всю падаль, гниль, очистит воздух. И, словом: пустите в «Грущобы» знойный ветер пустыни — и они просохнут, они станут жизнеспособны.

ФИЛОСОФ-РУДИН

*Собрание сочинений Владимира Серг. Соловьёва.
Том I (1873—1877). С.-Петербург. 1901*

I

Собрание сочинений покойного Соловьёва, вероятно, удовлетворит не только тесные у нас кружки специалистов философов, но и обширное читающее общество, не связанное с специальными интересами философии. Без этого и без расчета на это едва ли могло бы и появиться настоящее издание, так как всякое издание есть, прежде всего, — продажа. Увы, сам Бог не мог бы сотворить мир без меры и числа, вне пространства и времени; и жестокие материальные условия составляют подкладку всяческого идеализма. Издание Соловьёва поэтому должно особенно радовать его интимных друзей, так как оно наглядно и почти арифметическим способом доказывает, что, друг немногих, он есть знакомец, и добрый желаемый знакомец всего верхнего класса русского общества. До сих пор ни один из наших философов, решительно ни один, не имел посмертного Собрания сочинений. Если некоторые полупублицисты, полуфилософы издадут прижизненно свои *Омега omnia*, то это, очевидно, более от избытка средств, нежели в удовлетворение ненасытно ждущей публики. Но Соловьёва очевидно ждут. Множество библиотечных шкафчиков полуоткрыло свои дверцы, чтобы принять в себя восемь аккуратных томиков многозначительного писателя. Библиофилы с интересом и с критикой будут рассматривать издание и, я думаю, кой в чем найдут упрекнуть и его редактора, и его издателей.

Редактируется издание младшим братом покойного философа, г. М. С. Соловьёвым. «Придерживаться исключительно хронологического или исключительно систематического порядка мне показалось неудобным», — пишет он в предисловии. «Порядок, на котором я остановился, соответствует, как мне кажется, духовной эволюции, пережитой автором». Соответственно такому взгляду издание, рассчитанное на восемь томов, будет следующим образом группировать в себе написанное Соловьёвым: первые два тома включают философские сочинения первого периода 1873—1880 гг. Здесь он является теософом, антипозитивистом, идеалистом. В третий том войдут богословские сочинения 1877—1884 гг. и в четвертый — те сочинения 1883—1887 гг., в которых центральное место занимает вопрос о церкви. Здесь таким образом В. Соловьёв явится в том окружении мыслей, которое дало повод его критикам подозревать его в скрытом католицизме. В пятый том войдет «Национальный вопрос в России» и другие публицистические произведения 1883—1897 годов. Этот том можно назвать антиславянофильским, томом задорных слов и все же доброго общего устремления к универсализму. В шестой том войдут сочинения исторического характера, эстетика и критика с 1886 по 1897 г. В седьмой — нравственная философия, вероятно, главным образом «Оправдание добра»; в восьмой — произведения предсмертных лет, так сказать пророчественно-исторического характера, как «Беседа под пальмами», «Повесть об Антихристе» и мелкая публицистика бессильного и жалобного тона, какой после задорных нападений он в последние годы усвоил себе или невольно впал в этот тон. Тут уже чувствуется его болезнь, утомление и скорая кончина.

План этот оставляет много для критики. Прежде всего издание, так сказать, обездушено. Где же тут душа философа, его стихи, задумчивые и прекрасные, в которых он ярче и отчетливее выразил многие из своих идей, недоказуемых, почти не изложимых, но самых коренных по отношению ко всему направлению и скрытой цели его философии? До какой степени не только нельзя, но прямо смешно из Собрания сочинений Соловьёва исключать его поэзию, можно видеть из того, что и в данном издании взята для факсимиле-почерка его не какая-нибудь страница «Критики отвлеченных начал» или «Оправдания добра», но следующая жемчужина:

Бедный друг! Истомил тебя путь
И усталые ноги болят.
Ты войди же ко мне отдохнуть.
Догорая, темнеет закат.

10

Бедный друг, не спрошу у тебя,
Где была и откуда идешь,
Только к сердцу прижму я тебя
Ты покой в моем сердце найдешь.

Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови.
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

20

Без этого стихотворения просто нельзя понять нравственную физиономию покойного. А лишая себя возможности знать физиономию человека, мы сразу как бы бросаем в море множество ключей и от души его, от мышления и от философии. Для чего это критику, другу, ученику? Конечно, можно сказать, что стихи каждый может купить отдельной книжкой. Но ведь это можно сказать о каждой вообще его книге и тогда не для чего печатать восьмитомное собрание сочинений. Очередное собрание, даже не совершенно полное, вытекает из существующего и ожидаемого интереса к полному очерку писателя, и выпускать из него такую существенную часть, какую в покойном составляло певческое начало его души, прямо не уместно и не деликатно. Еще надо посчитать, сколько и в философии своей, и в публицистике, и в политике Соловьёв был просто поэтом и не более как поэтом. Мы говорим без упрека: ибо порыв, вера, чаяние без доказательств — не худая вещь, а отличнейшая и в политике, и в философии. Лишь тупые философы не умели верить, мечтать и стихотворствовать.

30

Второй упрек относится к тому, что из издания исключены его многочисленные статьи, вошедшие в «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона. Здесь я могу прибавить нечто как бы устами Соловьёва. Именно в одной беседе он сказал мне, что по окончании издания «Словаря» намерен выбрать оттуда свои статьи и соединить их в отдельный «Философский словарь». Это не только дело хорошее, но и дело практически ценное и учебно-ценное. Не забудем, что у нас существует около полутораста семинарий, где прилежно и солидно проходит история и теория философии, — т. е. именно рубрика вопросов и сведений, о которых сжато, полно и высокоталантливо писал в «Словаре» Соловьёв.

40

Нужно заметить, что в Западной Европе философские словари появлялись уже в XVII веке, и трудившиеся над ними иногда снискивали себе высокую знаменитость в литературе и в философии, напр. Петр Бэйль. У нас тоже есть всего только один «Философский лексикон», составленный в шестидесятых годах Гогоцким (четыре тома), не утративший своего значения и до сих пор: труд ученый, старательный, но выполненный далеко не с тем талантом философского определения и философского расчленения, какой был у Соловьёва. Подобный словарь есть настольная книга философских сведений и философских учений, сжато и объективно изложенных, без которой трудно обойтись всякому читателю философской книги и вообще всякому начинающему заниматься философией. Там, где философские словари выходят часто, приблизительно каждые пятнадцать лет или четверть века, перемена определений, например таких слов, как «душа», «философия», — уже само составляет маленькую историю философии. Мне известно, что Соловьёв, может быть именно имея в виду отдельное издание, писал для «Энциклопедического словаря» свои статьи чрезвычайно тщательно. Правда, лексикон этот еще не окончен; но и сумма определений философских и изложение философских учений, доведенных, положим, до буквы «О» или «П» имеет всю свою цену. Такой словарь совершенно удобно мог бы составить даже отдельно продаваемый девятый том в Сочинениях Соловьёва.

Наконец, издание не имеет вовсе биографии Соловьёва и общего руководящего очерка его учений. При самой небольшой заботливости издателей, они все это могли бы получить от многочисленных друзей-философов покойного. Профессора Л. Лопатин, Э. Радлов, С. Трубецкой с равным успехом и равной готовностью исполнили бы эту задачу. Тотчас по смерти покойного появились в разных журналах и газетах любопытные и любящие о нем воспоминания, характеристики его, очерки его учения. О нем было прочитано несколько публичных лекций. Вообще это личность была вовсе не кабинетная. Он очень сильно действовал самым лицом своим, непосредственными отношениями. Он чрезвычайно много любопытного высказал устно; и, например, кой-какие слова, вырвавшиеся у него перед смертью и которые были записаны кн. С. Трубецким и переданы в печати, право значительнее его неудавшейся «Повести об Антихристе». Например, эти слова: «Магистраль всемирной истории подошла к концу; христианства не существует; идей не больше, чем в эпоху Троянской войны, только тогда шли младенцы, а теперь бредут старички». Право, выслушать это от умирающего, выслушать от человека, который вечно бодрился сам и других подбодрял прогрессом, куда более жутко, чем было присутствовать на рассказе старца Пансофии о том, какой придет антихрист. Тогда хотелось смеяться, теперь хочется задуматься. Наконец, в довольно мелочных рассказах о покойном, о его причудах, о его странностях, появившихся сейчас по его смерти, личность нашего философа выступила крайне оригинальной и несколько заманчивою для любопытства. Всем этим богатым материалом не воспользовались его издатели, и можно опасаться, что эти ценные подробности забудутся и пропадут в газетных листах двух минувших лет.

II

Но все же приходится благодарить издателей и за то, что они дают. Едва половина предполагаемого к изданию материала существовала в книгах и в руках

любителей философии и философа. «Кризис западной философии: против позитивистов», «Критика отвлеченных начал», «Религиозные основы жизни», «Оправдание добра», «Национальный вопрос в России» и «Три разговора под пальмами» — вот и все, что было можно найти в книжных лавках, и то большею частью у старьевщиков-букинистов. Вся его богатая философская полемика для новых читателей не существовала. Можно надеяться, что в издание будут включены и такие его труды, целиком или в отрывках, как «La Russie et l'Eglise Universelle» *. Известно, что в конце жизни Соловьёв окончательно отказался от католических своих тенденций и умер глубоко православным человеком. А раз автор не контрабанден, нет причин считать контрабандою и некоторые его литературные увлечения. Они потеряли жало, а мед имеют. В них есть талант — есть литературно-историческая ценность. При самых небольших разъяснениях, где следует, издатель — брат покойного, вероятно, получит разрешение или целиком, или с самыми небольшими пропусками перепечатать в настоящем издании заграничные труды покойного. 10

Самая добрая и близкая к универсализму черта Соловьёва заключается в том, что он мало отрицал. Первая его диссертация «Кризис западной философии» имеет подзаглавие: «против позитивистов». Нужно заметить (как он и объясняет сам), что под «позитивизмом» он понимает вовсе не «Cours de la philosophie positive» ** Ог. Конта, а цельное направление ума человеческого, довольно общее образованному европейскому обществу между 1848—1880 годами. Так это кажется. А между тем самая привлекательная и серьезная черта ума Соловьёва, что в самых заоблачных своих «теософических» полетах, и притом на протяжении всей своей жизни он ни на минуту не выпускает из вида двух позитивнейших явлений: что на земле есть арифметика и что на земле есть голодные. Этого он никогда не забывал и в этом величайшая честь его ума и благодарность его сердцу. Ему, особенно в первую удачную половину его жизни, чрезвычайно легко было и даже заманчиво накинуть на плечи плащ Гегеля и «отрясти прах земли от ног своих», выступить третьим около Шопенгауэра и Гартмана. Для этого достаточно было начать говорить труднопонятным языком о трудно-понятных материях, начать усердно строить «системку» мышления; аккуратно издавать томик за томиком за какие-нибудь психобытийственные темы и, словом, делать en grand *** то, что en petit **** делают профессора наших философских кафедр. Но он этого не сделал. Чисто философское, так сказать, литературно-философское его значение близко напоминает значение Шеллинга. Но с тем вместе он есть родной русский писатель. Его читают и у него будут учиться люди кафедры; будут долго находить в его трудах зерна возможных философских построений. А одновременно это есть дорогое лицо нашей литературной толпы, нашей журнальной толпы. 20

Я чуть-чуть отвлекся от главного своего сказания. В пору, когда он начал свою философско-литературную деятельность, можно было или стать в ряды специалистов-ученых, или попытаться создать идеалистическую против них реакцию. Но он не примкнул ни к линии Конта, ни к линии Гегеля. По всей сумме 40

* «Россия и Вселенская церковь» (фр.).

** «Основы позитивной философии» (фр.).

*** в крупном плане (фр.).

**** в малом виде (фр.).

способностей и инстинктов он мог бы взять на себя скорее вторую роль. Но он от этого удержался. Кой-где в статьях у него мелькают воспоминания, как еще мальчиком он пробовал анатомировать лягушек и зачитывался Карлом Фохтом. Юношей он считал нужным и важным прослушать в университете курс естественных наук. Все это он мог сделать и мог этого не сделать; а даже и сделав, «отрясти прах естествознания» от ног идеалиста. Но умная черта его выразилась в том, что он уже на всю жизнь понял и оценил и признал, что без арифметики сам Бог не мог бы ничего сделать; что вообще sciences positives *, разные там химии и механики как уж легли на матушку-землю, так на ней и останутся до «светопредставления», в какую бы истерику от этого не приходили Гегели и Шопенгауэры, с их «мир есть мое представление». 10
Ведь известно, что философы до сих пор сомневаются в самом бытии мира; и, например, два профессора едят обед у Палкина, один спрашивает ростбиф, другой — поджаренного цыпленка, и разговор в это время ведут о недостоверности всякой действительности, о недоказуемости и просто небытии материи и всяческих предметов. Одно время здешний проф. Ал. Ив. Введенский чуть-то чуть только доказал, что по крайней мере в существовании одушевленных предметов мы можем не сомневаться по таким-то и таким-то косвенным доказательствам; это было около 1894—95 года. Так это произвело ужасное волнение в Москве, в обществе Н. Я. Грота, и в «Вопросах Философии и Психологии» появился целый ряд рассуждений на тему: «Мы во всем сомневаемся, все равно в одушевленных и неодушевленных предметах». Сам Грот, 20
помню, приехал около того времени в Петербург и в гостинице, кажется, «Малоярославец» мы с ним говорили о гипотезе, как он выражался, Введенского. «Все не бытийственно», — говорил он мне. Причина такого ужасного недоверия философов к миру коренится, как известно, в том, что они, как и прочие люди, ходят, так сказать, в перчатках пяти внешних чувств и, что бы ни ощущали, ощущают через эту перчатку. «Мы знаем только свои чувства зрительные, слуховые и проч.; мы знаем свои же образы; мир — наше представление». Но я с юности был романтиком и помню, что всегда чувствовал себя влюбленным гораздо раньше 30
встречи с той определенной Дульциней, на которую обращалось при встрече мое чувство. Так сказать, не осязал девицы, а уже чувствовал девицу. Поэтому я не верил философам и думал, что мир есть не «мое представление», а мириады восхитительнейших Божиих созданий, предчувствием которых ранее опыта до изнеможения томится моя душа. Да и касательно зрения, слуха и проч. не все ли равно? Раз впечатления есть, т. е. раз мою перчатку в разных кончиках надавливает, то значит пожимает кто-то мою руку, есть у меня друг в мире, приятель мир, который подает мне руку. Философы просто зарапортовались, и может быть от казенного жалованья.

III

40 Науки экономические, социальные, науки механико-физические никогда не упускались из вида Соловьёвым, как и тревожения нашей бедной земли до женской эмансипации включительно он считал подлинными философскими проблемами. Так к «Трем разговорам», кончающимся «Повестью об Антихристе», он

* позитивные науки (фр.).

приложил маленькую статейку, полную внимательности и заботы, «Женский вопрос». Он подписал под статьей место и время ее написания: «Неделя мироносиц. Москва». Но статья полна нового. Он говорит, что когда история подходит к одному из новых своих катаклизмов, то женщина не первая, но наиболее глубоким образом начинает тревожиться и волноваться. «В те эпохи, когда старые формы жизненных начал исчерпаны и истощены, — пишет он, — и требуется переход к новым глубоким зачатиям, женщины сильнее и решительнее мужчин испытывают недовольство традиционными рамками жизни и стремление выйти из них на встречу новому, грядущему... Множество женщин и девиц перестали удовлетворяться семейной жизнью и утратили способность сидеть спокойно дома, занимаясь домашними делами. Овладевшее ими душевное беспокойство выражается нередко жалким и комичным образом, но оно существует и растет, и никакими рассуждениями и насмешками от него не отделаешься. Да и что можно возразить человеческому существу, которое говорит нам: „Такая жизнь меня не удовлетворяет, мне этого мало, я не хочу быть только средством для рождения и воспитания других существ, я хочу также жить для себя, имея свою собственную цель“. В чем может состоять эта цель, чего собственно хотят эти женщины, — совершенно неясно для них самих: ясно только, что они прежнего не хотят и расстались с ним навсегда».

Тут автор не довольно точно разграничивает разные стороны явления. Пока в женщине и девушке не умер инстинкт любви, никак нельзя сказать, что она «не хочет быть средством рождения и воспитания других существ». Сам Соловьёв, в жизни и писаниях аскет, исповедовал то тысячелетнее учение, которое старалось вытравить из женщины этот инстинкт рождения и семейственности. Так что о чем бы и горевать тут философу. Но ничем невозможно доказать, что во второй половине XIX века женщина менее была способна к любви и рождению, чем все восемнадцать с половиною веков ранее. А если так, то «рождение и воспитание новых существ» обеспечено. Иное дело, если девушка и женщина тяготеют теми условиями, при которых единственно им предоставлено «рождать и воспитывать». На них посмотрели, под давлением враждебной аскетической доктрины, действительно, как на чернозем, но переносный, подобно как на финляндских скалах, где частицы земли переносят с места на место, смотря по отношению скалы к солнцу. Женщина слишком была поставлена пассивно. В XVII еще веке, в Англии, муж вправе был вывести жену на базар и продать наравне со скотом. У нас до последнего времени, если трезвая, работающая и любящая жена уйдет от мужа пьяницы, драчуна и заведшего на ее глазах любовницу, — то ее как корову пригоняли назад к мужу, и никто последнему не ставил условием, даже не внушал просто, что жена ему дана для любви, что она его помощница и друг, а не подъаремный скот. Увы, он помнил о себе одно манящее слово: «Жена да боится своего мужа». Вот это «боится» и стало выскользать из-под ног новых времен. Молча, не критикуя, не раздражаясь, женщина вынула голову из хомута, переступила «по ту сторону оглобли», в которой на ней ехали и даже которую ее били, и временно, может быть несколько десятилетий, она будет отдыхать, отдышиваться. Но инстинкт в ней вечен. Она соткет семью из этого инстинкта предрасположенности к рождению, вместо семьи, сотканной из принципиальной враждебности к семье, к женщине, к ребенку. Разве все девятнадцать веков не отнимали довольно бесцеремонно у женщины детей? Кем же населены воспита-

тельные дома? Не ежедневно ли мы читаем о покинутых детях, об убитых детях? Вот плоды хомута, держа в руках разбитые осколки которого, мы плачем о таком сокровище. Итак, женщина покидает худое, чтобы перейти к лучшему. Уж во всяком случае в новом будущем детоубийства не будет; во всяком случае там и тогда женщина не позволит населить собою дома терпимости. Ну, а ведь они без брани, без пошлости существовали все 52 недели христианского года, включая сюда и «неделю мироносиц».

Последние годы своей жизни Соловьёв прожил в неожиданно-одиноким унынии. Его «Повесть об Антихристе» несколько походит, по биографическому значению, на «Переписку с друзьями», или еще ближе и точнее — на «Авторское завещание» Гоголя. Это же самолюбие, предсказания, ошибки, неуместность. «Магистраль всемирной истории приходит к концу». Если бы даже и так, то откуда вторая жалоба, что идей не более теперь, чем во время Троянской войны? Действительно, может быть к концу подходит наша эра; гораздо раньше Соловьёва другой писатель тоскливо сказал: «Проходит лик мира сего», т. е. наше европейское человечество подходит к минуте какого-то окончательного подведения итогов. Но ведь настоящая истина о всем времени расходования и открывается только в последнюю минуту подведения итогов, и нельзя же назвать ее бессодержательной! Говоря, что «нет идей», Соловьёв, может быть, хотел сказать, что «нет более надежд». При начале китайской войны и всей путаницы с миссионерами, Вильгельмом и захватываемыми портами — для всякого, заглянувшего в такие итоги, дело действительно должно было показаться плохо — швах. Может быть, таково оно и на самом деле. Но ведь эпоха Александра Македонского для Греции, эпоха Ирода для Иудеи, Рима — перед Константином Великим, была во всяком случае интересна. И мы убеждены, что и Европа подобным же образом входит в самые интересные свои дни. Соловьёв, именно в последние годы, в «Оправдании добра», в «Разговорах под пальмами», в реабилитации Византийского государства на страницах «Вестн. Европы» тянулся переступить порог в сторону «вчера», а не «завтра». Это вообще всегда и для всякого есть унылая работа. Но, к счастью, ошибки философов еще не образуют ошибки мира. Мир — вот кто подлинный мудрец, вот истинный философ, созидаящий самую лучшую философию-историю. Ее нам еще долго предстоит читать, и, может быть, именно теперь на самых заманчивых и захватывающих дух страницах.

М. Н. БОГДАНОВ. ИЗ ЖИЗНИ РУССКОЙ ПРИРОДЫ. ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

Издание пятое. С 9 рисунками и многими политипажками в тексте, с портретом, биографическим очерком и предисловием Н. П. Вагнера. СПб. 1901. Стр. 462

Перед нами лежит сборник М. Н. Богданова, этого русского Брема, состоящий из 29-ти рассказов «из русской природы» для детей и юношей, и довольно больших выдержек из дневника, веденного покойным профессором в хивинском

походе 1873 года. Вот перечень этих рассказов, из которого читатель увидит очерк материала книжки: «Как идет жизнь на свете», «Леший», «Ванька», «Колдун Волк», «Кикимора», «В лесной глуши», «Белка», «Кабан», «Ошкуи» (белые медведи), «Из летописей зимы», «В колосистой ржи», «Что такое птица», «Беседы о певчих птичках», «Охота в симбирских садах», «На тетеревей», «Птицеловы», «Осенний перелет птиц», «Соловей», «Синички», «О чем горевали птички», «Скворушко», «Орлиная дума», «Глухарь», «По гнезда, по яйца», «Пасхальное яичко», «Колюшка», «Жозеф Реми», «Война сорок с лисицами», «Черноземная равнина — житница русской земли», «Карпушкин родник». Читатель видит, что тут столько же поэзии, сколько зоологии. Рассказ «В лесной глуши» даже имеет в своей прозе явно стихотворный ритм, — ритм народных былин, хотя, признаемся, нам это не понравилось: как-то неловко читать явную прозу, которая начинает местами явно ритмировать. Но эта неудачная форма одного рассказа лучше всего может характеризовать, до какой степени автор увлечен своим предметом. С трудом можно подобрать книжку, которую лучше можно было бы назвать русской книжкою. Читая ее, получаешь впечатление, что как будто кроме России и зверей нигде нет: до такой степени ученый зоолог сжился в книге с человеком своей родины, своей земли, своей почвы. «Заграницы» он и не чувствует. Даже художественный рассказ о французском мальчике, который по исчезновении форелей (после вырубке лесов) из своей родной речки нашел способ искусственно снова развести их в ней через смешение и перенос живой игры и молок из свежепойманных форелей в другой речке, и этот рассказ с иностранным сюжетом получает в устах любящего рассказчика такой вид, как будто он рассказывает о событии на своем дворе или в своем уезде.

Книжку можно рекомендовать всем родителям и детям, как настольную, как постоянное чтение.

МНИМОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ

Для того, чтобы доказать литературное заимствование, нужно не только показать сходство фабул или сюжетов у двух авторов, старого и нового, нужно доказать именно то, что доказываешь, т. е. что один из них знал, воодушевился и последовал сюжету и фабуле, разработанной у другого. Вот этим-то требованиям литературной критики и не удовлетворил почтенный г. Инфолио в своей «Литературной справке», где пытался доказать, будто бы Достоевский не был оригинальным творцом «Легенды о Великом Инквизиторе», а заимствовал ее из Вольтера и Гёте или, точнее, разработал обширно намеки Вольтера и Гёте, ибо г. Инфолио точно приводит одни лишь бледные намеки из двух западных писателей. «Моя осанна сквозь горнило испытаний прошла», — записал Достоевский в опубликованной после смерти его «Записной книжке», которую, конечно, никогда не думал публиковать, и в доказательство, какие колебания религиозные он прошел, сослался на «Легенду» в «Братьях Карамазовых». Можно ли же труд жизни, страдания мысли многолетние, тяжелые, сердечные приравливать к литературному заимствованию? С теорией «заимствований», которую так любят

оперировать ученые профессора и академики, обыкновенно сами «пороха не выдумывающие», вообще надо быть осторожнее. Профессорам, которые всю жизнь только и делают, что «заимствуют», обыкновенно с немецкого на русский, то и дело кажется, что Лермонтов «заимствовал» Демона из «Каина» Байрона, Пушкин «Капитанскую дочку» выкрал у Вальтера Скотта, у которого тоже есть сюжет о несчастной невесте, и проч. и пр. Как будто не может быть совершенно невольного и бессознательного совпадения сюжетов около одной всемирной *темы*. Обращаясь к Достоевскому, мы спросим у г. Инфолио: а почему, набрасывая фигуру и речи Инквизитора, соединившегося с злым духом и сохраняющего наружную верность Христу, Достоевскому было не последовать нашим сектантам, которые во множестве и пламенно веруют и утверждают, что «в мире царствует Антихрист», хотя и для них и для всех видно, что царствует-то по имени Христос. Всегда и давно я задумывался над этим странным убеждением наших раскольников, и какой-нибудь просвет к нему нахожу в подставке вместо «Христос» — «Бог». Народ наш не знает иного наименования Бога, нежели «Христос», и словами «Антихрист властвует в мире» они в сущности выражают свое чувство «антибожественности», «антисвятости» и до некоторой степени даже «дьяволизма» мира... «Дьявол царствует в мире, вот что: и убегая его мы хотим спореть в срубе, закопаться в землю, умереть, но во власть ему не даваться: ибо мы за Христа» (за Бога, «божьи мы люди»). Я думаю, вся «Легенда» Достоевского лично и оригинально ему принадлежит; но уж если у кого он мог заимствовать, так сказать, в обвинении христианства в антихристианстве, или, как я объясняю, в обвинении христианства в антибожественности, то уж скорее у раскольников, чем у Вольтера и Гёте.

Наконец, г. Инфолио не обратил внимания на «Бунт» перед «Легендою», где собственно сам Ф. М. Достоевский, довольно прозрачно говорит, что раз невинные и безгрешные страдают в мире (он приводит примеры замучиваемых детей) и Бог их не может или не хочет защитить, то он, нимало не теряя веры в бытие Божие, от Него тем не менее отказывается и переходит на сторону людей: порыв сердца, который только картинно разрисовал в «Легенде» через сопоставление «Христа (-Бога) со злым Духом (Анти-Бог), или, если переменить терминологию и взять слова из заунывных сказаний и песен наших раскольников: написал повесть, «как с владычественным в мире Анти-Христом говорил в узах и темнице сидящий подлинный Христос». В общем же это старый и понятный для всякого размышляющего человека вопрос и вздыхание: «Господи, как запутались все вещи в мире! никак не могу различить, в котором месте и как именуется и какими признаками отличается подлинный Бог около явно возле него действующего и миражами обманывающего людей Анти-Бога». До чего это старо, древно, почти всеобщее в христианском мире, можно заключить из слов Ап. Павла: «Тайна беззакония уже начала действовать в мире», причем «беззаконником» именуется «антихрист», «анти-Бог». Да и Христос изрек: «Ныне суд князю мира сего»; но кто же «князь мира», как не сам «мир владычественный, гордый, самодовлеющий». Отсюда идея «светопредставления», «последнего суда»: тогда и настанет окончательное торжество правды». Все это так общераспространено, составляет такой краеугольный камень христианства, что не нужно вовсе справок с Вольтером и Гёте, чтобы начать сочинять не столько антикатолическую, сколько вообще антихристианскую и в то же время как будто подлиннохристианскую и подлиннобожественную «Легенду». Ведь и у Достоевского Инквизитор гово-

рит, а Христос все только молчит. Но в заключение этот подлинный Христос целует Инквизитора «в бескровные губы», и тут так странно меняется вопрос: «Кто же кого признает»: Инквизитор отверг подлинного Христа, но в то же время этот уже подлинный и настоящий Христос целует этого самого Его отвергнувшего Инквизитора, который ведь и в самом деле отверг Христа ради любви к человеку и в этом самом повторил Христа, который тоже для людей и ради людей пришел, умер, сошел в преисподнюю»... «— Ну, вот и я ради людей сошел в преисподнюю, а для этого отрекся от Тебя», — мог бы ответить Инквизитор, воображающий, что он служит Христу. Да в сущности в этом и состоит вся «Легенда»: Сын отошел от Отца, нисшел на землю — для людей; от Сына отходит и сходит в ад «сын человеческий», полный тревогами социальными (наших дней), и ведь только по виду испанский инквизитор, а в сущности, если разобрать речи Достоевского в этой «Легенде», русский интеллигент-фантазер. «Легенда» вообще есть глубоко русское и чисто русское явление, несколько сектантского характера. Не поучись в Инженерном училище Достоевский, и из него бы вышел какой-нибудь второй Селиванов или основатель еще какой-нибудь второй хлыстовщины с их «Богом-Саваофом», который сошел на землю для истребления с земли Анти-Христа, «около деревни Старой, Костромской губернии, и сами видели, как Он-Батюшка катил на облаке с небес». «Легенда» есть литературно и красиво выразившаяся душа нашего народа на этих путях ее скитания и страдальчества и уж не разберешь — темноты или света. Потому что сила-то тут, очевидно, есть и есть высокие порывы к правде...

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОБРАНИЯ

В настоящее время особенного оживления в обществе религиозных и философских интересов последние горячо обсуждаются в частных беседах. Наконец, возникла мысль о желательности придать этим беседам большую правильность, а также и расширить число беседующих. В конце концов найдена была возможность осуществить это мирное и доброе пожелание, проистекающее из высших человеческих интересов; и особенно важно, что найдено и признано было возможным соединить в этих беседах представителей духовной науки и светского знания. Два круга нашего образования, светский и духовный, существовали совершенно не касаясь один другого, без всякого взаимодействия или хотя бы ознакомленности, во всяком случае могущей быть полезною для обоих кругов. Духовенство жило и живет как бы вне общества и живой связи текущих событий, более и более закапываясь в «книжность», о которой Основатель христианства предупреждал своих учеников; а общество в значительной степени утратило высший синтез своих практических усилий и лучшую их опору — религию. По разным причинам, которые трудно изложить и приблизительно они всем известны, духовная и светская литература взаимно не читались и не читаются. И разьединение, не обещая никогда уменьшиться, скорее грозит полным забвением друг друга таких больших факторов нашего существования, как духовенство и литература.

Устные собеседования обладают такими особенными удобствами и преимуществами, какие вообще в печати неосуществимы. В учении и положении церкви есть много сторон, древних и новых, менее важных и более важных, которые для множества самых искренних и религиозных людей светского образования служат «камнем преткновения» и источником сомнений. При простоте, свободе и искренности устного обмена мыслей эти пункты могут наконец быть приведены к достаточной ясности, и люди, жаждущие веры, через это могут достигнут настоящей веры. Искание издавна было сродно русской земле и русской душе, и никогда ни к чему, кроме добрых плодов, не приводило.

10 Тесный кружок людей разных профессий и направлений, между которыми много писателей, в истекшем ноябре месяце обратились к духовной власти в лице высокопреосвященного митрополита Антония и обер-прокурора Св. Синода с представлением о желательности и о целях и задачах таковых собраний. Духовная власть отнеслась с полною благожелательностью к этому стремлению светских людей стать в общение с представителями церкви при разрешении волнующих современное общество вопросов религии и философии. Высокопреосвященный митрополит, разрешив собрания, ближайшее участие в них возложил на известных ему представителей богословской науки и священства.

20 Собrania эти, приняв название «религиозно-философских», имеют таким образом задачу своею обсуждение вопросов веры на почве совершенной и твердо оговоренной терпимости и в широком философском освещении. Принимая это во внимание, к участию в собеседованиях будут допускаться лица, какова бы ни была степень их приближения к церкви, а также лица инославные и иноверные.

В собраниях распорядительные функции принадлежат следующим лицам: преосвященному Сергею епископу ямбургскому и ректору С.-Петербургской духовной академии, Д. С. Мережковскому, В. С. Мироллюбову, В. А. Тернавцеву и пишущему эти строки.

30 Собrania состояются из этих распорядителей из постоянных участников и посетителей. Все допущенные к данному собранию лица пользуются правом свободного обсуждения текущей темы. Так как взаимное доверие беседующих есть основа полной открытости бесед, то расширение состава собраний допускается лишь в той строгой мере, которая согласна с условиями сохранения такового доверия. Собrania будут закрытые, около двух раз в месяц. Но могут быть и открытые, последние всякий раз с особого разрешения духовной власти. На отдельных собраниях руководящий прениями председатель выбирается из всего состава присутствующих, без всякого преимущества в этом отношении пяти заведующих делами лиц. На заседаниях будут читаться доклады и затем происходить colloquium'ы.

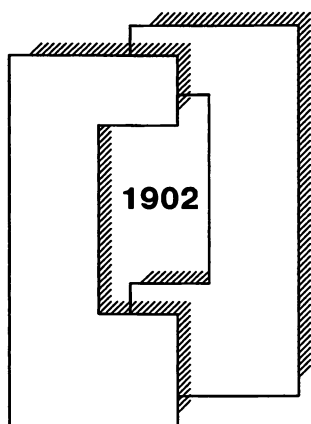
40 29 ноября состоялось первое религиозно-философское собрание в зале Географического общества. В нем выслушан был доклад В. А. Тернавцева «Об отношении интеллигенции к церкви».

Вот главные положения этого интересного доклада: 1) Возрождение России возможно только на почве истинного христианства. 2) Учащих сил русской церкви для такой задачи недостаточно. 3) В настоящее время церковь (священство ее) и интеллигенция — в глубоком разладе между собою. Отношение между ними есть не только отношение веры к неверию, но и отношение разных типов веры. Пункты их расхождения. 4) Нравственный кризис, переживаемый интел-

лигенцией. Ее жажда веры. Возможность обращения при условии действительного ответа на ее запросы. 5) Опасность ложных сделок с верою церкви. 6) Единственное решение — раскрытие со стороны церкви как сокровенной в ней «правды и о земле», так и учения о христианском государстве и религиозном призвании светской власти.

Доклад вызвал живой обмен мнений, затянувшийся до 12 час. ночи.

Все это было достаточно интересно и первый опыт показал, что если Бог раскинет свой покров над этими собраниями, а сами собирающиеся сохраняют в памяти завет Спасителя: «Будьте мудры как змии и просты как голуби», то из них может выйти нечто полезное. Отмечу как личное свое впечатление, но, кажется, ¹⁰ разделенное и другими участниками, что с первого же раза был достигнут вполне задушевный тон бесед и совершенная их нестесненность. Представители церкви, бывшие на собрании, частью разделяли эти взгляды, частью их ограничивали, выдвигая вперед историческое положение духовенства, очень много объясняющее в его характере и действиях. Трогательно было видеть, с каким вниманием присутствовавшие священники приняли к обсуждению основной вопрос докладчика о разделенности интеллигенции и церкви.



КАМЕННАЯ БАБА

Между многими интересными, полуинтересными и не интересными стихотворениями г-жи Лохвицкой меня заняло случайно одно: «Лилит».

Лилит — имя халдейской богини чувственных наслаждений. О ней в старое время рассказывал мне покойный М. П. Соловьёв, что она «развевает прозрачными покрывами над головой засыпающих мужей и юношей, т. е. делает нечто вроде танца „серпантин“, что конечно „на сон грядущий“ не хорошо. Евреи ужасно боятся Лилит, которую считают первую злою женою Адама, и комнату всякой роженицы увешивают амулетами, которые бы помешали влететь сюда Лилит повредить ребенку или матери. Лилит — злая красавица, которая любит утехи любви, но ненавидит рождение и рождающихся». Г-жа Лохвицкая сопроводила стихотворение свое примечаниями, из которых в одном говорит о старинных гравюрах халдейской богини, где она изображается в виде прекрасной женщины с газельими рожками на лбу.

Но меня заинтересовало в стихотворении Лохвицкой не Лилит, а сама г-жа Лохвицкая. Что за талант, за направление, за смысл. И какова ее историческая роль?

Я вспомнил невольно изображения каменных баб на дворе-площадке Румянцевского музея, в Москве. Каменные бабы эти изредка находят или отрывают в земле в южной России, где некогда жили сарматы, скифы и другие предшественники Руси. Нет сомнения, «бабы» эти есть грубая первообразная форма греческих Афродит, италийских Венер и азиатских «Великих Матерей», и выражает то же самое, что они. Но если изображения греческого и римского резца заставляют сбегаться и смотреть на них весь свет, то каменные бабы южной Руси не вызывают ничего кроме ленивой улыбки идущего мимо студента, хотя я слышал, малороссийские чумаки иногда на них крестятся, принимая их за изображения туземной «мадонны».

Сильный, резкий, однотонный колорит стихотворений г-жи Лохвицкой побуждает сравнить ее с зовущею к себе на поклонение южнорусскою «каменной бабой». Может быть тут есть истина и во всяком случае есть универсализм, ибо недаром же один мотив обнял Сарматию, Скифию, Афины, Коринф, Сирию, Лациум; но мотив этот выражен и сарматами, и г-жею Лохвицкой очень первообразно. В г-же Лохвицкой, выражаясь языком мифологии, больше телицы и меньше голубицы, больше греческой Ио; но финикияне изображали эту же самую греческую мысль в виде женской фигуры с голубкою в руках (Астарта) — символом пышности и кротости. И Соломон в «Песни песней» именует Суламиту «голубицей». «Голубица моя». Это очень важная черта, пропущенная г-жею Лохвицкою

в чувственной любви. И сарматы, и греки, и римляне пытались найти религиозное в чувственности; но едва ли нашли. Только сирийский мистицизм пошел по верному пути, начав отстранять в чувственности «мясо» и насыщать ее психологиею: он ввел сюда кротость, нежность, он осложнил чувственность идеями материнства и детства, и устремляясь сюда более и более, поднялся до нахождения действительно религиозных точек. Мать с младенцем даже и у теперешних европейцев есть самый частый божественный символ. Сарматы, как и г-жа Лохвицкая, не изображают нигде женщины с ребенком, а только женщину с большими грудями, отсюда и холодное прозвище «каменная баба», а не «божественная мать», какое этому изображению дали и ученые, и зеваки. Инстинкт всего человечества любит женщину в трудах, в заботах, в нежности и шалости; отсюда тема «Pieta», гениально разработанная Михель-Анджело (статуя «Pieta» в одной из флорентийских церквей), отсюда классическая тема «Ниобеи» и наконец наше «Всех скорбящих радости» изображение и идея или просто — «Скорбящая». Г-жа Лохвицкая, знакомая с древностью, знает конечно момент погребения и погребального плача, который входил такую непременно чертою в восточные культы. Тут-то и лежит в женщине небесная точка.

Но это — шалость или «pieta» органическая: матери к своему ребенку, и она выше всяческой социальной шалости именно потому, что органична. Тут трагедия, тема театра, и переходит в религию, содержание храма. Подготовкою к этой «pieta» материнства и служит голубиность, голубиная черта любви и чувственности: исключение из нее дикого порыва, мускульной силы, «теплицы-аписа» (Египет) и напоение ее чистейшею кротостью и нежностью. «Любовь» у г-жи Лохвицкой несколько перезрела; это — любовь опытной женщины, а для ее целей, которые в инстинкте своем очень верны и по крайней мере универсальны, нужно взять любовь самую юную, *отрогескую, лепезущую еще нестройным языком, ничего не знающую и только волнующуюся*. «Лилит» — старая бабушка; недаром евреи от нее загораживаются; нужно взять *погги ребенка в любви; нужно взять белые розы. А розы г-жи Лохвицкой слишком пунцовы*.

Но талант ее силен и яростен; мы говорим ей упреки и задерживаем про себя многие похвалы, которые могли бы сказать.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ

Пушкин рассказывает про свои ученические годы, что сколько он ни пытался успеть в алгебре и геометрии — ничего не выходило. Серьезные и величавые эти науки представлялись ему каким-то логическим фокусничеством. И он скорее напоминал теоремы, чем понимал их. Пример этот — пример органической, врожденной неспособности.

Пропорционально ей — у Пушкина был гениальный дар к поэзии.

Подобное рассказывается в биографиях едва ли не всех великих людей. В детстве, отрочестве, возмужалости и до самой смерти они глубоко к чему-нибудь неспособны и это пропорционально их исключительному дару в другом. Так, на-

блюдательный Дарвин был поразительно неспособен к восприятию поэзии и не мог понять никакой красоты в Шекспире.

А средние люди, ни к чему не талантливые, зато умеренно способны ко всему.

Не то же мы наблюдаем и у народов? Неужели мы не скажем, что римляне были исключительно талантливые государственники, юристы и пропорционально этому, станем ли отрицать бедность и подражательность их поэзии? А такие народы как финны, армяне, татары, народы старые, народы ничуть не малоспособные, не обнаружили и, может быть, не имеют вовсе никакой преимущественной склонности, ни к чему преимущественного таланта.

¹⁰ Если с таким мерилom мы подойдем к вопросу о «самобытности» и «национализме», то мы, может быть, кое-что примем окончательно и окончательно отвергнем. Мы совершенно ясно поймем, что есть таланты-народы, которым, конечно, было бы грустно потерять этот талант, да едва ли это и возможно, и есть народы средние, народы серые, которые совершенно тщетно усиливались бы вывести в истории какую-то «свою линию»: у них нет таланта, а, следовательно, они могут все заимствовать без вреда себе, тогда как талантливый народ в некоторых категориях заимствований будет так же бессилён, как Пушкин в геометрии, или римляне в поэзии; а, усиливаясь, даже и вопреки неспособности, перенимать — будет истощать себя.

²⁰ Попади римляне еще при царях в руки какого-нибудь тирана Дионисия, любителя философии и поэзии, и кто знает, не изуродовал ли бы он своеобразный и тогда дикий народец Лациума; попади Пушкин в руки беспощадно сурового педагога, который, принимая его талант за каприз, всяческой мукой внедрил бы, «вбил» бы в него геометрию и алгебру до конца курса — и может быть, роскошный Пушкин не расцвел бы. Или он вырос бы искаженным, изуродованным, большим и озлобленным.

Итак, талант требует культуры, среды, обстановки существования. И это так же верно относительно личности, как и относительно нации. С этой точки зрения «национальный вопрос» и «национальная политика» имеют *raison d'être* *.

³⁰ Вот ряд мыслей, на которых напрасно не остановился г. Инфолио, подвергнув наше славянофильство излишне строгой и едва ли справедливой критике. Можно ли забыть то доброе, что славянофилы дали русской земле и русскому сознанию: надел крестьян с землей — их требование и предмет горячих практических усилий; возобновление церковного прихода, как основной единицы народной жизни, не осуществилось, но было предметом их постоянной агитации; свобода совести, свобода вероисповедания, расширение независимости печати — все это рубрики их программы. Она во многом была неудачна, но везде была благородна.

⁴⁰ Г. Инфолио говорит, что «идеи» подобны семенам, падающим с неба на землю-нацию. Но справедливо ли принять, что сама нация есть семя, распускающееся в цивилизацию. То, что мы назвали «преимущественным талантом» нации, есть, так сказать, первосортность ее зерна, своекачественность его, особая и характерная его порода. Есть нации как трава, безличные, не оригинальные. И есть нации-цветки, есть, наконец, нации-орхидеи, редкие, исключительные. Ими лю-

* смысл (фр.).

буются, им удивляются. Г. Инфолио «небесное происхождение» идей доказывает их общностью у всех почти народов или у многих даровитых. Но ведь и качества и признаки, напр., орхидейности присущи всем многочисленным видам и разновидностям этой даровитой породы. Такая идея как христианство, не привилась же к неграм, к папуасам? Между тем, почему бы «с неба» не сойти ей в Африку или в Австралию. Право, для «неба» все равно. Но очевидно, что настоящая «лоно» идей и великих исторических движений и направлений есть так сказать физиологическая и кровная натура племени. Я согласен, что это мозг их, не одна логическая лаборатория; я беру понятие шире и называю просто: «натура».

Ошибки у славянофилов были: это по преимуществу их конструктивные построения. Они хотели предвидеть и даже предначертывать России ее «исторические пути». Такова была особенно неудачная попытка К. Н. Леонтьева указать в «Востоке, России и Славянстве», что Россия призвана дать повторение Византии, что все ее права на оригинальное и свое творчество и истории — ничтожны и смешны. Вообще все схематические построения, приложение к России гоголевских «триад» и т. п. весьма похожи на неудачу того друга Лермонтова, который при отправлении на Кавказ подарил ему роскошно переплетенную тетрадь с золотым тиснением: «Стихи М. Лермонтова». Но шалун Лермонтов написал в нее какую-то ерунду. А гениальные свои творения он писал на клочках бумаги и чуть ли их не терял. Так совершается и в истории именно с талантливыми народами: они редко оправдывают предсказания своих исторических теоретиков, и все роскошное создают в стороне от «заготовленной тетради».

Таланту нужно только лишь отсутствие излишней муштровки. Славянофилы стояли за свободу но, предначертывая «русские пути», они впадали в глубочайшее противоречие с лучшей собственной идеею.

В золотые переплеты ставятся труды уже написанные. Обдумывать теорию истории какого-нибудь народа можно тогда, когда она совершилась и почти уже кончилась. Таким образом, славянофильство, насколько оно пыталось быть теорией русского исторического труда, могло бы и вправду бы явиться после нашей исторической смерти. Но теперь, около живого народа, это а-ргюг'ное построение его исторических путей вышло естественно неудачно и неостроумно, а в случае силы и успеха — оно было бы вредно.

Но отдельными указаниями славянофилов, по преимуществу в сфере текущей практической жизни, особенно жизни общественной, Россия и прежде пользовалась, и в будущем может еще воспользоваться. Как руководители, они были бы опасны именно излишеством своего теоретизма. России приходилось заимствовать у Европы многое и в таких сферах, где они ждали и хотели самобытности. В образовании, в суде, в устройении армии, увы, не приходилось откладывать реформ. Вообще отношение славянофилов к Европе представляет слабый пункт: практика не ждет и торопит к заимствованиям. Вся их оценка Петра в конце концов мелочна и не достигает величия критикуемого лица, хотя в подробностях она и основательна. И если как руководители они слабы, то как пособники они могут быть друзьями живущего и грядущих поколений.

СТО ЛЕТ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ

*Николай Энгельгардт. История русской литературы XIX столетия.
Том первый. 1800—1850 (Критика, роман, поэзия и драма).*

*С приложением синхронистической таблицы,
хронологического указателя писателей и полной библиографии.*

С.-Петербург. 1902. Стр. 608

«Деятнадцатое столетие кончилось, и чувствуется осязательная необходимость подвести общий литературный его итог. Ведь истекший век собственно и создал русскую литературу. В нем явились у нас во всех родах словесности произведения, которые представляют вклад в мировую сокровищницу человеческой мысли, как запечатленные своеобразным народным гением, явились писатели, имена которых ныне повторяются всеми народами». В самом деле, XIX век и есть собственно единственный зрелый период русского словесного и даже мыслительного зиждельства. XVIII век должен быть рассматриваем как приуготовительный: он только ковал форму и, доведя ее до прозы Карамзина и Жуковского, сам умер, не создав ни одного легко читаемого, удобно читаемого произведения, которое бы мы сейчас взяли для наслаждения, а не для ученого и исторического изучения. Ряд веков до XVIII представляет совсем другую эпоху, другой мир, который мы изучаем как окаменелости в пластах земли, без всякого следа в них интереса для современной текущей жизни. Шекспир в Англии, т. е. XVI век, есть живой друг всех сейчас живущих образованных людей. Но XVI век в России, эпоха Грозного и Курбского, есть только друг Забелина, Буслаева и Тихонравова.

Таким образом, книга г. Энгельгардта обнимает всю живую, читаемую русскую литературу. Она разделена на десятилетия, и в первом томе обнимает первых полвека. На каждое десятилетие отведено около 125 стр.; и если мы подумаем, возможно ли на 125 страницах изложить, охарактеризовать и оценить все события литературной нашей жизни за девяностые, положим, годы, которые, мы видели, они находятся у нас в живой памяти, то, конечно, согласимся, что это вполне возможно и притом без пропуска всего сколько-нибудь значительного. Таким образом, объем книги автора, два тома и около 1200 страниц, вполне достаточен, чтобы дать сосредоточенное, выпуклое и вместе обстоятельное зрелище действительно привлекательной картины: что совершилось в России от Карамзина до Чехова и Горького. Г. Энгельгардт написал вполне привлекательную книгу, употребив на нее бездну трудолюбия и сделав все усилия, чтобы из 608 страниц каждая имела цель, содержание, двигала зрелище и критику вперед, нигде даже на минуту не переходя в празднословие, повторения или красноречие.

Вот что говорит автор об обзоре литературы по десятилетиям: «Сами поколения русские называли себя и характеризовали по десятилетиям. „Тридцатые“ годы, „сороковые“ годы, „шестидесятые“ годы — все эти термины с определенным, всем понятным характерным содержанием. Этими терминами сразу определяется известное литературное десятилетие и в нашем воображении оно рисуется со своеобразным складом умов, покровом мысли и уровнем творчества. „Человек сороковых годов“, „шестидесятник“ — опять-таки образы совершенно яркие и всем понятные. Конечно, одни десятилетия ярче строят перед нами, каковы 30-е,

40-е, 60-е, 70-е годы. Другие, как первое десятилетие века, 10-е, 20-е, 50-е, 80-е годы, конец века — более тусклы, кажутся нам переходными, мало оригинальными. Отчасти это на самом деле так, однако подробное изучение этих десятилетий вычертит перед нами особенную складку каждого». Автор указывает и в германской науке тенденцию к изложению хода литературы по десятилетиям; а нашей критике указывает VIII том (солдатенковского издания) Белинского, посвященный Пушкину, где к творчеству поэта применен великим критиком этот же самый простой и вместе самый научный метод обзора и рассмотрения — хронологический.

Действительно, время растет, и в нем растем мы. Пушкин тридцатых годов вовсе не то, что Пушкин — годов двадцатых. Таким образом, рубрика «десятилетие» подчиняет себе даже самые мощные дарования. Десятилетие есть действительно яркое «я» века и, характеризуя его, мы разом характеризуем множество лиц, мы группируем множество однородных явлений. Сверх этого, полагая движение литературы по десяткам лет, мы перестаем видеть в литературе сотню замечательных биографий и вводим в нее самое общество, человеческую массу, как подлинный родник идей, которые у литераторов не столько возникали, сколько получали последний чекан совершенства.

В каждом десятилетии г. Энгельгардт рассматривает: 1) состояние критики, 2) роман и повесть, 3) стихотворческую форму, 4) драму и вообще театр, 5) литературные кружки. Введение обзора литературных кружков особенно значительно: ибо чуть ли не половина русской литературы выросла из «кружков», как известный кружок Станкевича, кружок воспитателей и воспитанников при московском благородном пансионе в конце XVIII века (откуда вышел Карамзин), кружок «Современника», петрашевцев (из которого вышел Достоевский) и пр. Для истории кружков автор должен был перечислить множество мемуаров, записок и сборников корреспонденции.

В конце тома приложена оригинально задуманная «Синхронистическая таблица литературы с 1800 по 1850 г.». Приведем ее примеры: «1805 г. † Шиллера. „Коринна“. Первые басни Крылова, „Новый Стерн“, „Дон-Кихот“ в переводе Жуковского, „Фингал“, „Поэт“ Хераскова, „Элегия из Парни“ Батюшкова». — «1820: „Meditations“* Ламартина, „Философия права“ Гегеля. Последний год литературной деятельности Батюшкова, „Руслан и Людмила“». — «1849. † Шатобриана, „La vie de Boheme“ Murger, „Dombey“**, „История Англии“ Маколея, „Principles of political economy“ J. Mill***. — † Белинского, Гребенки, Губера. „Нахлебник“, „Белые ночи“. Салтыков сослан в Вятку». Просмотр этой таблицы чрезвычайно интересен яркостью даваемого впечатления и множеством соображений и сопоставлений, на какие он наталкивает. Напр., совпадают смерть Шишкова и Лермонтова с «Сущностью христианства» Фейербаха и с чтениями «О героях и героическом» Карлейля (1841 г.); окончательное разделение славянофилов и западников произошло в год появления «Химических писем» Либиха (1844 г.). В один и тот же год (1847 г.) произошли: на Западе — коммунистический манифест в Париже, а у нас — «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, «Хорь и Кали-

* «Раздумья» (фр.).

** «Жизнь богемы» Мюрже, «Домби» (фр.).

*** «Основания политической экономии» Дж. Милль (англ.).

ных», «Обыкновенная история», «Ответ Москвитянину» Белинского, отъезд Герцена за границу и «Современник» Некрасова и т. п. Таким образом, тут можно разом видеть: в какой обстановке психологической и общественной появилось каждое замечательное произведение русской литературы, какие, так сказать, мировые впечатления жили, положим, у Тургенева в пору первого рассказа «Записок охотника».

Трудолюбие автора и его осведомленность составляют лучшие черты книги. Напр., Чаадаеву посвящено 12 стр., что слишком достаточно, и здесь его личность и писания выведены в освещении цитат из Жозефа де-Местера, иезуита Гагарина, частью Бональда и Балланша, и личных от «Философического письма» впечатлений Пушкина, Ф. Ф. Вигеля (извлечение из письма его к митрополиту Серафиму), Буслаева, Герцена, Бенкендорфа, Шеллинга. Обстановка достаточная. Критика и поправки автора «Истории» выражаются в трех строках посмертно напечатанного письма самого Чаадаева к Александру Тургеневу: «Вы знаете, что, по-моему, Россия призвана создать грандиозное умственное движение, что наступит день, и она разрешит все вопросы, которыми болеет Европа» (стр. 450).

По множеству в ней старого литературного материала, чрезвычайно искусно подобранного и освещенного, книга эта, вероятно, станет настольным пособием для всякого, изучающего русское умственное и словесное движение за XIX век. Она привлекательна и не утомительна в чтении, и в то же время это есть превосходный справочный *compendium* имен, фактов, библиографии и критики. А обширные вводные рассуждения о параллельных западноевропейских движениях (напр., классицизм и романтизм, стр. 232—246) подводят прекрасный фундамент под русский материал и делают еще более занимательным и поучительным ознакомление с ним. Однако к следующим изданиям, а еще лучше к концу второго тома, следует приложить: 1) оглавление, 2) алфавитный указатель имен с точным и подробным указанием страниц, на которых о каждом имени говорится. Это придаст книге ценное справочное удобство.

30

О МНОЖЕСТВЕ САМОБИТНЫХ ИДЕЙ

Спор о том, есть ли у русского народа «свои» идеи, не так пуст, чтобы им не занять еще минуту общественного внимания. Г. Инфолио очень щепетилен и обвиняет меня в перевираании его идей. Правда, я не цитировал, а излагал их. Я думал, что «идеи божественны» (которые, по его словам, есть) и идеи «небесного (конечно, не в смысле г. Демчинского) происхождения», все равно; я думал, что критика и нападение на «самобытность» есть в то же время критика и нападение на славянофилов, развивших теорию «самобытности». Но г. Инфолио все это различает; его воля. Я это отождествляю. Столь щепетильный к себе, г. Инфолио беспощаден к русскому народу и (чтобы опять не перевернуть) печатает: «Инфолио предлагает г. Розанову указать хотя бы одну только идею самобытно русскую, которая удовлетворяла бы следующим условиям: а) не была бы заимствована у другого народа, и б) принадлежала бы единственно русскому народу, а не

40

была бы распространена по всему земному шару у всех народов. Инфолио утверждает, что такой идеи г. Розанов, сколько бы ни искал, не отыщет».

Но я даже затрудняюсь, которую назвать, до того их много. Прежде всего, условимся, о чем говорим. Есть идеи-понятия, есть идеи-мечты, есть идеи-туманы, есть идеи-образы. Ведь не одни же логические идеи надо и можно брать, и сам г. Инфолио в числе «божественных идей» называет христианство, которое уже, конечно, не есть понятие, а факт, образ и мечта (идеал). И так, неужели Пушкин в «Капитанской дочке» не дал нам образа-идеи, факта-идеи в защитниках Белогорской крепости, их дочери, ее жениха и дядьке этого жениха? Я думаю, Захар Обломова есть тоже «идея-факт», пусть маленькая: такого характера я не читал во всей западной литературе. Единственный раз в жизни я видел в здешнем манеже «Конька-Горбунка» и поразился в нем ролью дурака-удачника среди неудачных умных: я думаю, это народная идея. Неужели русская деревня вывезла «дурака» от немцев, как покупает из Баку керосин? Я думаю, эти самостоятельные идеи, родные, русские. Есть аналогичные где-нибудь, какое дело до этого русскому, который все же сам выдумал свою шутку. В «самости» и лежит «самобытность». Г. Инфолио говорит о каких-то идеях-униках, «единосущных» какому-нибудь народу, исключительных. Он говорит об идеях-странностях. Но я в первый раз слышу, чтобы в этом состояла самобытность; между тем г. Инфолио критиковал, а не творил, и ему никак нельзя в критике изобретать своей терминологии, а нужно держаться чужой.

И община русская, столь длительная в веках, и артель русская, не умирающая среди современного торга и промышленности, и своеобразная мирская сходка суть русские и самобытные идеи-факты (всякий осмысленный факт есть в то же время материализованная идея), просто по способу сотворения своего и по зерну, из которого выросли: русским умом они сделаны или из русского сердца вышли. Это есть все, что нужно для «самобытности» по всемирной терминологии. Неужели г. Инфолио будет отрицать «самобытность» кольцовской песни? Несамобытным называется заимствованное; и так «самобытно» все незаимствованное. Мне очень совестно, что я должен прибегнуть к собственному примеру для опровержения болезненно упорной мысли г. Инфолио. По окончании курса в университете, без знания и без способности к языкам, я был послан на службу в уездный городок Брянск, и здесь пять лет сидел, писал и написал книгу о «Понимании», ей-же-ей самобытную, не внушенную мне никем, план которой ниоткуда не заимствован и содержание которой мне не было никем указано. Профессором моим был М. М. Троицкий, приверженец английской опытной психологии и индуктивной логики, вещей, нисколько не принятых во внимание и мимоходом отвергаемых в книге. Да и, словом, я могу в чем угодно сомневаться, но не в вопросе внутренней работы. Так как г. Инфолио внутренне и чистосердечно, с фанатизмом, говорит «что самобытных идей» нет и даже быть не может, то основываясь на внутреннем опыте, я ему говорю, что она есть, легки и приятны; легче и приятнее заимствованных, которые всегда как-то трудно обрабатывать («чужой товар», к которому и рук не приложишь). Что касается до содержания и темы книги: определить конечную форму науки через рассмотрение строения разума человеческого, как предельной и динамической потенции науки, — то эта тема, и сколько известно, и сколько я слышал от людей, совершенно компетентных

в истории философии, не предлагалась себе никем прежде и не составляет содержания никакой книги.

Г. Инфолио говорит, что я получил «скохастическое образование, широко ширяю сизым орлом по поднебесью, сею в облаках умозрительную репу и вышиваю по нетовой земле пустыми цветами». Слишком много сравнений для одного человека. Не отрицаю их остроумия. Но факт остается фактом, что «самобытных» идей множество, что так это всегда и все понимали и что г. Инфолио остается в горестном одиночестве, «единосущий». И как терминология его, так и тема едва ли завоюют себе «партию» и в этом отношении он, пожалуй, сам подает пример, опасный для его спора «самобытности».

А пушкинская Татьяна? А неевклидовская геометрия Лобачевского (вот пусть подумает об этой идее: ведь решительно же не было у Лобачевского предшественников, это — азбука), а речь на открытии памятника Пушкину в Москве Достоевского с ее экстазом, — неужели все это «идеи международные, переходящие и кочующие по земле»? Да наше старообрядчество с его удивительной «старопечатностью», каким-то колдовским отношением к букве, с его поэзией, точностью требований и дикостью общего направления, есть решительно «свой феномен». Решительно, не только на Руси много самобытного, но я склонен думать, что вся Русь — самобытна. Я не придумываю, я беру, что попало, и что ни возьмешь — «все Русью пахнет». И говорю это без всякого славянофильства, к которому я давно перестал принадлежать.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА СОЛОВЬЁВА

Том II (1878—1880). С.-Петербург. 1901

Ценное издание сочинений покойного Соловьёва подвигается довольно быстро, так что любитель его трудов, желающий оживить их у себя в памяти, едва кончает чтение одного тома, как уже получает в руки другой. Почти весь второй том занят «Критикою отвлеченных начал», этим едва ли не центральным сочинением в *орегатопии* *, представляющим собою, в каждой почти из сорока трех глав, блестящее изложение самой сущности, самого ядра которой-нибудь из знаменитых философий или какого-нибудь отдельного высоко значительного философского взгляда, и затем остроумный и блестящий, едва ли, однако, всегда глубокомысленный, разбор и опровержение или ограничение изложенной теории. Так, здесь разбирается идонизм, эвдомонизм, утилитаризм, этика Шопенгауэра, категорический императив Канта, экономизм и социализм, право и государство, церковь — как сферы нравственно-волевой деятельности человека; далее проходит критика философствующего реализма, философствующего натурализма, атомизма статического и динамического, сенсуализма, эмпиризма и позитивизма; наконец, автор переходит к рассмотрению рационализма и заверша-

⁴⁰ * Полное собрание сочинений (лат.).

ет полет своей мысли, а отчасти и воображения — в мистику поэтическую и религиозную. На этом обширном поле своего полета автор более «ширяет крыльями», чем осторожно пробирается, и само собою, разумеется, все исчисленные рубрики после его «Критики» стоят так же в целостности, как и до 1880 года, когда вышла из печати эта «Критика». Но любителю остроумия и всяческого умственного блеска есть здесь богатая ниша для наслаждения, а кое-что из «критики» и западает ему глубоко и прочно в душу, в сомневающийся ум. В самом конце приложена статья: «Исторические дела философии», вступительная лекция в С.-Петербургском университете, прочитанная 20 ноября 1880 года. В ней автор задает следующий интересный вопрос: физика, механика, химия, физиология, наконец, юриспруденция — будучи науками и существуя для обрабатывающих эти науки физиков, механиков, химиков, физиологов, юристов, дают нечто и для жизни, для человечества, для толпы и улицы, а философия — существует ли она для одних философов, почти как забава и наслаждение личное, или также она живет и для «тела человеческого», организма человечества? И если да, то что именно очевидного она для этого человечества сделала? Вопрос поражает своей правдой, необходимостью и, между тем, он далеко не затаскан, вовсе не для всех очевиден в правоте своей. Дав очерк «дел философских» от «упанишад» Индии до нового гегельянства, автор так резюмирует ответ на свой вопрос:

«Она освобождала человеческую личность от внешнего насилия и давала ей внутреннее содержание. Она низвергала всех ложных чужих богов и развивала в человеке внутреннюю форму для откровений истинного Божества. В мире древнем, азиатском и греческом, где человеческая личность по преимуществу была подавлена началом стихийно-природным, философия освободила человеческое сознание от исключительного подчинения этой внешности и дала ему внутреннюю опору, открывши для его созерцания идеальное духовное царство; в мире новом, христианском, где само это духовное царство, само это идеальное начало, приняв формы внешней силы, завладело сознанием и хотело подчинить и подавить его, философия восстала против этой изменившей своему внутреннему характеру духовной силы, сокрушила ее владычество, освободила, выяснила и развила собственное существо человека, сначала в его рациональном, потом в его материальном элементе. И если теперь в заключение мы спросим: на чем основывается эта освободительная деятельность философии, то мы найдем ее основание в том существеннейшем и коренном свойстве человеческой души, в силу которого она не останавливается ни в каких границах, не мирится ни с каким извне данным определением, ни с каким внешним ей содержанием, так что все блага и богатства на земле и на небе не имеют для нее никакой цены, если они не ею самою добыты, не составляют ее собственного внутреннего достояния».

Как это хорошо и верно: сущность философии — в ее неустойчивой автономии, и отсюда-то вытекает ее освободительная в человечестве миссия. Соловьёв продолжает:

«И эта неспособность удовлетвориться никаким извне данным содержанием жизни, это стремление к все большей и большей внутренней полноте бытия, эта сила — разрушительница всех чуждых богов, эта сила уже содержит в возможности то, к чему стремится — абсолютную полноту и совершенство жизни. Отрицательный процесс сознания есть вместе с тем процесс положительный, и каждый раз, как дух человеческий, разбивая

какого-нибудь старого кумира, говорит: это не то, чего я хочу, он уже этим самым дает некоторое определение того, чего хочет, своего истинного содержания».

Последние строки нетверды, казуистичны, более представляют красивый оборот фразы, чем определенную мысль.

«Эта двойственная сила и этот двойной процесс, разрушительный и творческий, составляя сущность философии и вместе с тем составляет и собственную сущность самого человека. Таким образом, на вопрос: что делает философия? — мы имеем право ответить: она делает человека вполне человеком».

50-ЛЕТИЕ КОНЧИНЫ ГОГОЛЯ

¹⁰ Сегодня на всей России пройдет возбуждающим током воспоминание о Гоголе. И невозможно исчислить статей, стихов, отзывов, мнений, какие публично и частно будут соединены с дорогим и великим именем! Из всенародных апофеозов, какие мы два раза видели относительно Пушкина и сегодня в первый раз увидим относительно Гоголя, можно заключить, до чего выросло значение в России литературы, какая это огромная и любимая, всех свободно покоряющая себе, сила. Общество может венчать только вершины какой-нибудь области. Но если у нас есть и увенчан Суворов, значит, любима и нужна армия; если так увенчиваются Пушкин и Гоголь, то частичка венка их славы лежит и на голове каждого писателя! Будем это помнить и стараться это оправдать, заслужить...

²⁰ Пушкин читаем, любим и понимаем. Гоголь читаем, любим, но понимаем гораздо менее, нежели Пушкин. Пятьдесят лет со дня его кончины мы все еще разрабатываем собственно одну половину Гоголя и далеки от того, чтобы подняться головою до головы великого писателя и охватить сердцем и умом всего его, всю его могучую и загадочную личность, все его творения, и оконченные и неоконченные. И критика, и биография Гоголя стоят гораздо ниже его личности, копаются около его ног. И одна и другая увлечены впечатлением читателей и представляют литературную обработку этих впечатлений. Полного слова о Гоголе мы не имеем.

³⁰ Гоголь-сатирик, Гоголь-отрицатель закрыл собою все. Не станем отрицать и не хотим ограничивать этого приговора. Пятьдесят лет одинакового впечатления что-нибудь значит. Но полно ли оно? Аристофан был сатирик; Свифт имел бич, более беспощадный, чем гоголевский; Теккерей Европа признала сатириком. Достаточно назвать эти имена, чтобы чуткий читатель почувствовал, до чего Гоголь не уместается в ряд их не только как им равный, но и как на них похожий. Гоголь ничего почти родного не имеет себе в мизантропе Свифте, шутнике Аристофане, рассказчике Теккерее. Угрюмо оглянувшись на них, наш Гоголь отошел в сторону. А все мы, отнюдь не по национальному чувству, тоже отделились бы от ряда их, и пошли бы за нашим Гоголем. Но в чем же его секрет и особенность, при столь бесспорном характере сатиричности его творений? В его безмерной положительности, плоде безмерной любви к родной стране и вере в родную страну! Никто столь смешно не изобразил Россию. Соглашаемся с этим. Но

отвергнет ли кто, что ни один писатель, включая Пушкина, Тургенева и Толстого, не сказал о России и, напр., о русском языке, о русском нраве, о душе русской и вере русской таких любящих слов, проникновенных, дальнзорких, надеющихся, как Гоголь? Известные слова Тургенева о русском языке: «Берегите его» и т. д. не проникнуты такою любовью, как слова Гоголя о меткости русского слова и характерности его, и именно в связи с душою русскою, из которой исходит это слово. В отзыве Гоголя больше понимания русского слова, а главное — больше любви и уважения к могуществу души и ума русского человека.

Он весь поглощен был народною и государственною заботою. Он похож на рабочего в угольных копях, который садится в бадью и спускается в шахту, чтобы копать там «черные алмазы». Так и у Гоголя мы нигде в его жизни и до самого конца не наблюдаем ни одной черты сибарита-писателя, наслаждающегося своею славою, уже признанною. Это — работник, переводящий тяжелое дыхание и зарывающийся глубже и глубже в шахту русской души, в угольную пыль русского быта. Нет презрения и пренебрежения у него ни к чему. Без перчаток он щупает самые гнойные язвы отечества. Качество язвы вызывает лечение смехом: но разве в боли лекарства заключаются существо и намерения медика? В душе его предносится идеал цветущего здоровьем человека. Идеал России, обильной духовным светом, как и материальным благосостоянием, до боли мучил и Гоголя: следы этого везде есть у него, и чем ближе к концу, тем все увеличиваются, переходя в начальных главах второй части «Мертвых душ» и в «Переписке с друзьями» почти в административные указания и соображения.

Из великих сатириков мы называли Аристофана, который осмеивал Эврипида и Сократа, имел идеал свой в благочестивом прошлом Афин. Так как мы уже приводим параллели, то отметим эту черту и, пожалуй, дополним ее Ювеналом, который тоже звал Рим к патрицианскому прошлому. Вообще могущественнейшие сатирики были косвенно певцами минувшего, безвозвратного и чаще всего проблематического «золотого века». Даже пророки Ветхого Завета, как Иеремия, плакали только о прошлом. Но не таков христианский сатирик Гоголь. Из всех картин, видений или иносказаний евангельских его как бы особенно поразило Преображение. Все творения Гоголя суть зов родной земли, родного народа, окружающего общества, до личных друзей поэта включительно, к некоему и жизненному, и небесному «преображению». Это определение охватывает всего его, от «Мертвых душ» до «Авторской исповеди», до «Записок сумасшедшего» и «Переписки с друзьями». Формула широка, и ее не нужно ни менять, ни приуменьшать, чтобы в нее вошел весь Гоголь, без пропусков. Он был пророком и вождем русского «преображения» и сатира была для него только бичом, которым он понукал ленивого исторического вола. Сознание ведущего своего значения, «преображающего», местами восходит у Гоголя до яркости, которой нет аналогии во всемирной литературе. Какая-то личная исключительная связь с отечеством, на какую ни у кого другого нет прав, сказывается в словах, почти пугающих нас многозначительностью, смелостью и очевидною правдою. Так смела бы сказать только мать о дитяти, вынашиваемом ею в себе, как Гоголь решается говорить о будущем Руси, как бы тоже выношенном и созревшим в недрах его духа. «Русь! Русь! Вижу тебя из моего чудного далека, тебя вижу. Бедна природа в тебе... Открыто-пустынно и ровно все в тебе... Ничто не оболбстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе?.. Русь, чего же ты

хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями... И грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силой отразась в глубине моей; неестественною властью осветились мои очи... У! Какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль, Русь!..».

Какие особенные слова; какое нужно особенное самоощущение, чтобы произнести их, и произнеся, дать печатному станку, а не спрятать как стыдливое ожидание, робкую надежду, как неудачный штрих пера! Такое право приобретается не только трудом для родины, но страданием за родину, глубоким, душевным, до известной степени мистическим. Это более, чем отношение писателя к отечеству, это — незримые и крепкие нити, связующие в один организм страну и ее пророка. Пушкин и Лермонтов написали оба по «Пророку»: странное предчувствие! Но сделаться пророком для родной земли, без вывесок, без афиширования, однако в самом строгом и точном смысле, удалось одному только комическому писателю Гоголю. Какое удивительное явление. «Скорбию ангела загорится наша поэзия, и ударивши по всем струнам, какие есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, что никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке» («В чем же, наконец, существо русской поэзии», конец).

20 Сколько здесь предсказано о тоне всей последующей русской литературы, от «Бедных людей» Достоевского до «Записок охотника» и «Живых мощей» Тургенева, «Чем люди живы» и «Смерти Ивана Ильича» Толстого, включая и «пронзительно-унылый» стих Некрасова. Народное движение русской литературы необъяснимо без Гоголя, оно выводится из него. До Гоголя русская литература порхала по поверхности всемирных сюжетов то «Братьев разбойников», «Шильонского узника», то «Кассандры» и «Торжества победителей». Гоголь спустился на землю и указал русской литературе ее единственную тему — Россию. С тех пор вся русская литература зажглась идеалом будущности России. Мысль о нем обнимает ее всю, от самых крупных до незаметных явлений. По чувству любви к народу, по жару отечественной работы русская литература, и именно после Гоголя, представляет единственное во всемирной литературе явление, которого мы не оцениваем или не замечаем потому только, что сами в нем трудимся. Каждый решительно у нас писатель, даже достигший европейской известности, для своего признания в России должен еще представить «оправдательные документы», что он сделал для мужика, для деревни, для рабочего, для бедного физически или бедного духовно. И вот мы видим и даже не особенно поражаемся, как герой литературы, герой литературного момента, во время однодневной переписки в Москве ходит по ночлежным домам, и результаты виденного и думы свои о нем обсуждает печатно. «Так должно», — без всякого удивления говорим мы. Так поступает медик, чиновник, земец, всякий работник своей земли. А писатель — тоже работник и должен трудиться плечом к плечу со всеми. Но это стало возможно только после Гоголя; в пору Пушкина, Карамзина это еще не было возможно, было непредставимо. В поразительной статье «Светлое Воскресенье» («Переписка с друзьями») Гоголь как бы концентрирует и отрицательные и положительные свои идеалы. Он говорит о братстве, проходящем в этот день по народу и выражающемся в поцелуе «христосованья». Но что это? Не одно ли пока лицемерие? Сколько в нас презрения друг к другу, презрения ко всякому, кто оскорбляет нас

неблагообразным своим ликом? «Христианин, мы носим это имя. Но мы выгнали Христа на улицу, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать Его к себе в дома, под родную крышу свою, и думаем, что мы христиане!..». «Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в Твоем мире». Все должно возродить чувство братства; это чувство братства — оно поднимается и по всей Европе. «Мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех; обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтою всякого почти молодого человека; многие теперь только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутренне достоинство человека; даже стали поговаривать о том, чтобы все было общее — и дома, и земли; но одно только христианство в силах это произвести; следует ближе ввести Христов закон как в семейный, так и в государственный быт». Реализация этого пасхального поцелуя и слов пасхальной молитвы: «Да все друг друга обьемем» — последнее завещательное слово Гоголя, которое стало темой последующей литературы. Сам он умер в великой попытке выделить, выработать в себе христианина; но попытка не умерла, перейдя в биографии Достоевского и Толстого. Найти в себе христианина, явить в жизни своей христианскую идею — такова стала задача русского писателя. Сравнительно со всеми народами, евангелизм, чувство Евангелия, и только его одного, проникает русского человека больше, чем всякого другого. Наш народ почти не знает Библии и можно сказать, при отсутствии других сильных и постоянных влияний, весь духовный свой образ соделал или пытался сделать по духу евангельскому. Но еще безмерный предстоит путь от личного образа дойти до образа жизни народной и от пожелания — к осуществлению. На путь этот вывел литературу нашу Гоголь; на нем она трудится. С престола алтарного, где она только раскрывалась и читалась, книга жизни и обновления должна пойти по улицам, войти в дома, замешаться в дела: вот задача нашего «Преображения». Поблагодарим же сегодня все того, кто нам указал ее.

Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ. ИТАЛЬЯНСКАЯ НОВЕЛЛА XV ВЕКА

Книгоиздательство «Скорпион». Москва. 1902

Книжка содержит больше, чем обещает заглавие. Сверх заглавной новеллы, в нее входит другая такая же: «Наука любви», далее — хроника XVI века «Микель-Анджело» и «Святой Сатир», флорентийская легенда Анатоля Франса, с мастерством переданная на русский язык автором классического перевода «Дафниса и Хлои». Уже с давнего времени г. Мережковский насаждает в России маленькие сады Адониса, или, что то же, пытается пробудить какой-либо возмужавший «Renaissance» эллино-римского мира среди степей Московии и Скифии. Одно можно отметить, что чем старше становится автор, тем спокойнее, увереннее, а главное — сложнее он работает, перестав, например, относиться к христианству с той поверхностною отрицательностью и глумлением, какие неприятно поражали читателя в его «Юлиане Отступнике». Нельзя и сравнивать стиль или слог его

теперешних писаний, ровный и твердый, с тем нервно-приподнятым, бессильно надтреснутым стилем, каким написаны многие из его страниц начала девятых годов. Мальчик вырастает в мужа, из «Амура» вылутился «Адонис», и это совершилось так удачно и быстро, что друзьям автора можно помечтать даже о будущем Геркулесе из него. Да поможет ему древняя Люцина, помощница в родах. Возраст — великий умудритель. Ни из какой книги не научишься тому, чему можно научиться из горба за спиной, т. е. из усталости, опыта, богатства наблюдений. Все это расхолаживает и вместе укрепляет, дает правильную поступь, верный глаз: ценнейшие качества в наше немолодое время, которое бесконечно ску-
 10 чает всем юным в смысле неопытности и лжеприподнятости страстей и языка. Серьезная правда все более и более выделяется из многочисленных «лже» г. Мережковского, из «лже»-эллинизма, «лже»-ницшеанства, «лже»-антихристианства: и все начинают серьезнее и серьезнее слушать речь просто Мережковского, самого Мережковского. Просто Мережковский несравненно любопытнее Ницше — Мережковского, который довольно долго утомлял русскую публику. Теперь он находит в себе мудрые слова о христианстве; он находит подлинно-уязвимые слабости в Ницше, например, указывая в первом «сверх-человеке» потомка слабохарактерных и крикливых «ляхов», который пуще всего рвется к тому именно, чего ему усиленно недостает... Увы, все чахоточные любят весну и розы. Но оши-
 20 бется тот смертный, который доверит повести себя к розам и соловьям чахоточному...

Мережковский — мыслитель, наблюдатель и ученый. Он вечно учится, постоянно и много читает. Это не часто встречается в наш ленивый век, и уже одним усердием к делу г. Мережковский скоро перерастет множество самодовольных «талантов» из своих современников, которые думают, что подлинному таланту остается только сочинять *chefs d'oeuvre*'ы. Ценнейшая и самая обещающая сторона в сложном даровании г. Мережковского, мне кажется, лежит в умении уви-
 30 деть и точно оценить значение такого-то слова или факта в литературе и истории: оценить их со стороны психологической и метафизической. Нет еще такого чуткого манометра в нашей литературе, определяющего удельный вес мнений и событий; такого подвижно чуткого компаса, определяющего направления скрытых в земле магнитных токов. От излишества внутреннего напряжения он способен здесь к ошибкам, на которых не будет настаивать; но затем может раньше всякого другого дать формулу незаметному, предречь поражение сейчас еще сильного явления или победу еще слабого явления. Роль Кассандры ему в высшей степени присуща...

В рассматриваемой книжке самым лучшим произведением нам показалась историческая повесть «Микель-Анджело», предшествуемая стихотворением того же имени. Италию и Renaissance автор изучил, как Забелин московские закоул-
 40 ки; и студент, и студентка, размышляющий гимназист, как и самый образованный человек, неспециалист, равно приобретут много, если изберут г. Мережковского «гидом» по интереснейшей стране и интереснейшей эпохе. К тому же это не гид-археолог, а гид-мыслитель, и в самой Италии и Renaissance он берет не все, что на глаза попадет, а ищет то, что нужно, справедливо чуя, что нет великого без великих под ним тайн, и что секрет распознавания истории и человека и заключается в разыскивании этих тайн... Древние верили, что где-то, в Сицилии или другом месте, есть «спуск в тартар»; вот около таких исторических и биографи-

ческих «спусков» любит бродить и Мережковский, и догадливый читатель найдет в его произведениях гораздо более, чем недогадливый (например, стр. 116—117). Леонардо да Винчи и Микель-Анджело, творцы-философы, творцы-исполины, более всего привлекают его внимание. Рассказ г. Мережковского (стр. 59—148) о Микель-Анджело в сжатой и изящной форме полустории, полубеллетристики вводит в жизнь, творчество, замыслы и судьбу знаменитого флорентинца, любимца итальянцев, как я наблюдал в Италии в церквах, в монастырях, в любовном воздвижении ему статуй и набожном охранении (я видел в одном монастыре) какой-нибудь простой (но действительно изящной) перекладинки двух-трех железных прутьев над колодцем. «Это сделано Микель-Анджело». И в самом деле — что-то красивое, воздушное. Так обрывки стихотворений Лермонтова, неконченные, ценнее целых «задуманных, выполненных и благополучно оконченных» поэм других стихотворцев. В таланте содержится некоторое чудо, и этим чудом богат флорентинец, действительно точно украсивший Италию всюду разбросанными им скульптурами, зданиями и картинами. «Моисей», Сикстинская капелла (вся в целом) и купол св. Петра — просто невероятно, чтобы это вышло из рук одного человека. Кто может представить соединенными в одной фигуре, в одной душе — Толстого, Чайковского и Менделеева? А таковыми-то и были кентавры Возрождения, «боги» Возрождения, к которым применимо удивительное изречение греков о Пифагоре: «вот пришел к нам „οὐτὲ Θεός οὐτὲ ἄνθρωπος ἀλλὰ Πυθαγόρας“». «Οὐτὲ ἄνθρωπος ἀλλὰ Θεός» * были и люди «Возрождения», — точно выкованные из сплава христианства и язычества, металла нового и превосходного крепостью и красотой своих ингредиентов...

Мало у нас писателей, столь умственно возбужденных, как г. Мережковский, вечно ищущий, надеющийся, идущий вперед. И мы бы особенно хотели, чтобы в наше вообще умственно-возбужденное время он стал другом-мыслителем нашей мыслящей молодежи обоих полов. Приведем, в заключение, несколько строф автора, характеризующих Микель-Анджело:

За міром мір ты создавал, как Бог,
 Мучительными снами удрученный,
 Нетерпелив, угрюм и одинок.
 Но в исполинских глыбах изваяний,
 Подобных бреду, ты всю жизнь не мог
 Осуществить чудовищных мечтаний,
 И, красоту безмерную любя,
 Порой не успевал кончать созданий.
 Упорный камень молотом дробя,
 Испытывал лишь ярость, утоленья
 Не знал во век, — и были у тебя
 Отчаянью подобны вдохновенья:
 Ты вечно невозможного хотел.
 Являют нам могучие творенья
 Страданий человеческих предел.

* «Ни Бог, ни человеки, но Пифагор». «И не человеки, но Боги» (греч.).

Не правда ли: это полно, точно и психологично. Книжка издана новою московскою книгоиздательскою фирмою «Скорпион» очень изящно, с прелестною виньеткою.

ПРОФ. В. И. МОДЕСТОВ. ВВЕДЕНИЕ В РИМСКУЮ ИСТОРИЮ
Вопросы доисторической этнологии и культурных влияний
в доримскую эпоху в Италии и начала Рима

Часть I. С 35 фототип. таблицами. СПб. 1901.
Стр. XV + 256 + 17

Автор не только лучшего, но и единственного на русском языке курса римской литературы, проф. В. И. Модестов после четверти века перерыва выступил с «Введением» в римскую историю, которое, может статься, перейдет в изложение хода политической истории этого интереснейшего и величайшего народа.

Еще полвека назад Моммзен заявлял в своей «Римской истории», что Италия беднее памятниками доисторической эпохи, нежели какая-либо страна средней Европы. Но со времени образования итальянского королевства, в последние десятилетия XIX века, как преднамеренно-археологические раскопки, так и непреднамеренные находки при разного рода технических сооружениях открыли новый обильный материал, совершенно изменивший это воззрение на начала Италии. В. И. Модестов, с ранних лет лелеявший мысль об исследовании начал Рима, обратив внимание на огромный археологический и палеоэтнологический материал, накопившийся в Италии в течение последних двух десятилетий, пришел к заключению, что

«Древнейшую историю Рима надо начинать с первых следов появления в долине Тибра человека, чтобы войти в город Ромула не с пустыми руками и не с мифическими и легендарными сказаниями, переданными или отчасти придуманными древними историками и на все лады толкуемыми новыми историками, а с фактами последовательно развивающейся культурной жизни в руках. Таково, — по мнению В. И. Модестова, — и должно быть *новое направление* в разработке древнейшей римской истории. Оно единственно вполне научное и единственно в настоящее время плодотворное. Лишь одно это направление в состоянии поставить предел тому безграничному произволу, с каким эпигоны критической школы, начатой так славно Нибуром и принесшей исторической науке огромные услуги, потеряв всякую реальную почву под ногами, превратили первые столетия римской истории в арену проявления самого необузданного субъективизма, называя его, как бы в насмешку, научной критикой».

Таким образом, В. И. Модестов является не архитектором чужого материала, и еще менее повествователем или компилятором; он вносит в старую, почти древнюю науку новую точку зрения.

Три первые главы настоящего тома посвящены обзору остатков каменного века в Италии; четвертая — бронзовому веку; пятая — появлению и распростра-

нению первых арийских пришельцев в Италии; шестая — появлению латинян в долине р. Тибра; седьмая и последняя — первому железному веку в Италии. Орудия из камня, бронзы и железа, могилы и их меняющаяся форма, погребальные сосуды и начатки орнамента и письма на них, лингвистические данные, географические соображения — вот что наполняет большой и серьезный том, о котором мы говорим. Он пока далек от специально римского интереса, ибо занимается человеком в той фазе его роста, где все народы сливаются, как все дети сливаются, пока сосут грудь матери.

Собственно, проф. Модестов совершает, так сказать, земляную работу, исследование и укрепление слоев почвы, в которую будут положены со временем камни фундамента римской истории. Но еще не только эта история не началась в лежащем перед нами томе, но не началась и кладка самого фундамента. Правда, антропологические, этнографические и географические данные он берет, везде имея ввиду подойти к началу Вечного города; от этого труд его отнюдь не есть картина доисторической Италии, а только избранной и специальной ее части, избранных и специальных этнографических в ней течений, медленно подходящих к Палатину. Но и в этих специальных течениях мы пока не умеем отличить праотцов римлян, охотившихся на пещерного медведя, от праотцов кривичей и северян, охотившихся на того же медведя.

Resumé труда своего проф. Модестов изложил по-французски. Из превосходно выполненных рисунков на 35-ти таблицах, некоторые представляют археологические находки, впервые публикуемые теперь; таким образом, труд этот есть не только прекраснейший вклад в нашу русскую литературу, но и в европейскую. Будем с нетерпением ждать следующих томов, интерес которых возрастет по мере приближения к подлинному и настоящему Риму.

<10-е РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ СОБРАНИЕ>

В четверг, 18 апреля, в зале Географического общества было 10-е религиозно-философское собрание. Читался доклад Д. С. Мережковского «Гоголь и о. Матвей». В последовавших затем прениях приняли участие: Ф. Н. Белявский, В. А. Карташов, В. А. Тернавцев, Д. В. Философов, священник И. Ф. Филевский, В. М. Скворцов, священник М. А. Лисицын, епископ Сергей, священник И. Ф. Альбов, Владимир Успенский, священник Ив. Фед. Егоров, архимандрит Антонин и В. П. Протейкинский. Вследствие неразработанности и новизны темы и отсутствия ясного ее решения, участникам предложено подготовиться к более точным и решительным ответам на вопросы, прямо или косвенно поставленные в докладе: об отношении религии к культуре, церкви к светской жизни, Евангелия к миру, духа к плоти и т. д., что все обнимается конкретным случаем идейного столкновения между замечательным священником и великим писателем.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОБРАНИЯ

Собрание 2-го мая было XI и последним в текущем семестре и окончилось теплым и дружелюбным прощанием участников и гостей. Учредители и ближайшие его участники обратились к представителю в собраниях со стороны церкви, ректору С.-Петербургской духовной академии епископу Сергию, со следующим словом, прочитанным секретарем и вместе деятельнейшим членом собраний Е. А. Егоровым.

«Прерывая на летние месяцы религиозно-философские собрания, члены-учредители и вообще ближайшие деятели собраний не могут, повинувшись самому живому движению сердца, не обратиться к своему председателю, к вам, владыко, с чувством горячей благодарности. Душевные качества ваши почтили на собраниях и определили счастливый и совершенно неожиданный успех их. На второе и первое, особенно на первое собрание, мы, интеллигенция, собирались с самым неясным настроением души и не знали, возможно ли и нужно ли будет собираться после двух-трех встреч представителей церкви и общества. Ожидалось недоумение, раздражение, непонимание; ожидалась даже злоба. Об этом переговаривалось в интимных кружках писателей и светского общества. Но уже после 2-го же заседания вся литературная часть собраний почувствовала, что дело установилось, что оно крепко и что сами собою ни представители церкви, ни представители общества не разойдутся. Ваше преосвященство из груди своей извели прекрасную погоду и установили ее над собраниями, в которых все пошло весело, счастливо, радостно, успешно, при всей терпимости обсуждаемых тем. Вы научили всех, не словом, а примером, не искать своего, не убивать чужого, а радеть одной истине. Вы установили деликатность в отношении всех ко всем и терпимость к слову, какую напрасно было бы где-нибудь искать, кроме наших собраний. Как христианин и абсолютно в себе уверенный человек, вы показали, что никто не может так широко простереть крылья любви и свободы, как хранительница абсолютных истин, непоколебимая и вечная Церковь. Поистине, многие в интеллигенции увидели из вашего способа действий впервые блистание внутреннего света церковного. И еще недавние раздраженные чувства многих улеглись. Все расходится ныне с большим миром в душе, чем с каким сошлись. Миротворная роль собраний бьет в глаза; а мы, спорщики, чувствуем это непосредственно в душах наших. Не иерарха-властелина показали вы нам в себе, а как бы мудреца первых времен христианства, терпеливо взявшего на себя бремя поздних недоумений и взаимного непонимания. Перед вашим лицом, под давлением вашего обращения должно было замереть самолюбие, и заиграли чистые умственные интересы. Все хотели больше слушать, чем говорить. Установилось внимание, и всякий поворот мысли у спорящих сторон следился всеми присутствовавшими с глубоким душевным напряжением. Благодаря вас за эти заслуги, мы предлагаем и всем присутствовавшим встать и выразить признательность епископу за ту высокую душу его, которую, выражаясь языком церкви, он дал нам в «снесь сладкую» и растворил ею то горькое, а иногда и гневливое, с чем мы первоначально собрались сюда».

40 Выслушав эту речь, епископ Сергей в ответной речи отклонял ему приписанные заслуги и выразил свое отношение к собраниям. Затем от имени всех гостей-посетителей встал и поблагодарил учредителей собраний Юр. Ник. Милютин. Г. Скворцов предложил присутствовавшим попросить председателя, епископа

Сергия, не отказаться передать глубокую признательность от имени всех участников и посетителей высокопреосвященному митрополиту Антонию, без высоко-го покровительства которого собрания не могли бы ни возникнуть, ни продолжаться. Все живо заволновались и усердно просили епископа Сергия передать владыке-митрополиту горячую от общего имени благодарность, тут же припомнив, что первое и еще малолюдное собрание было в покоях митрополита и там же, при его благопритворствовании, была установлена основная точка зрения на независимость прений и безопасность высказываемой мысли. Все это действительно и осуществилось, и трудно передать одушевление всех присутствовавших, которые воочию в течении 11 собраний имели случай убедиться в полной действительно нестесненности мысли и теперь издали несли свои благодарности высоким воззрениям первенствующего иерарха России, давшим всему этому осуществиться. Вслед за этим постоянный посетитель собраний В. П. Протейкинский предложил присутствующим попросить В. М. Скворцова передать аналогичную благодарность другому покровителю собраний, обер-прокурору Св. Синода К. П. Победоносцеву, без содействия которого также не могли бы установиться эти собрания. И это было принято присутствовавшими с живым чувством и многие благодарили самого г. Скворцова, между прочим и за то, что на собраниях ему пришлось не только отвлеченно, но и конкретно и лично слышать для себя много больного, тяжелого, упрекающего, и он принял это мужественно и философски, и сам совершенно вошел в дух собраний, став живым и искренним их участником. Можно сказать, что установление истинного воззрения на сектанство и на задачи миссии было одною из крупных заслуг собраний. «Сила сама превозмогает; а в содействии мер человеческих нуждается только бессилие» (т. е. не божие). Таков был итог трех собраний по вопросу о свободе совести.

Переходя к этим итогам, мы должны заметить, что в 11 были преемственно обсуждены доклады: 1) «Церковь и интеллигенция» В. А. Тернавцева, с приходившим сюда докладом Д. В. Философова: «Аскетический идеал в отношении к миру»; 2) «Об основном идеале церкви, о благодати и о священстве» В. В. Розанова; 3) «Толстой и русская церковь» и «Гоголь и отец Матвей» Мережковского; 4) «К характеристике общественных мнений по вопросу о свободе совести» кн. С. М. Волконского с приходившим сюда анонимным докладом, прочитанным от имени одной просвещенной женщины священником И. Ф. Альбовым. За исключением доклада кн. Волконского, все остальные в сущности имели одну тему: уловление истинного отношения христианства — церкви — духовенства к природе — культуре — человеку и о том, совпадает ли христианство с аскетизмом, и если да, то вечно ли и принципиально ли это, или это есть случай и отклонение. Невозможно в кратком *resumé* передать бесчисленные разветвления мысли, так сказать потоки света, которые бегут как от самой постановки этой темы, так и от малейшего поворота в ее решении. Главный недостаток прений, особенно чувствовавшийся интеллигенциею, заключался в неопределенности ответов, и добиться определенности и мотивированности — в этом был метод и воспитательная заслуга собраний. Мало-помалу в них вошла вся молодая половина С.-Петербургской духовной академии: профессор Д. И. Абрамович (история русской литературы), А. И. Бриллиантов (общая церковная история), А. В. Карташов (история русской церкви), П. М. Ласкеев (русская литература), П. И. Лепорский

- (догматическое богословие), П. П. Лебедев (философия), Н. К. Никольский (история и теория проповеди), Т. А. Налимов (патристика), А. П. Рождественский (Ветхий Завет), П. С. Смирнов (история раскола), И. П. Соколов (западные исповедания), В. В. Успенский (педагогика); затем помощники инспектора и библиотекари — г. Бежавский, В. М. Вержужский, В. А. Мартинсон, И. И. Бриллиантов, А. П. Дьяконов. Из маститых представителей профессуры и вообще науки самое деятельное участие в собраниях принимали протопресвитер И. Л. Янышев и С. А. Соллертинский. От Петербургской духовной семинарии — ректор ее архимандрит Сергей и преподаватель догматического богословия И. П. Щербов.
- ¹⁰ Собрания имели посетителями членов университета, Академии художеств и Военно-Медицинской академии: проф. Н. П. Кондакова, Вл. Ив. Ламанского, Ал. Ив. Лебедева, И. Е. Репина, А. И. Соболевского, художника Л. С. Бакста и А. Н. Бенуа, редакторов журналов В. П. Гайдебурова, С. П. Дягилева, В. С. Мирлобова, В. М. Скворцова, К. К. Случевского. Среди посетителей-гостей преобладали чиновники, военные, технических служб, моряки и врачи — обычно с их семьями. Ректор С.-Петерб. духовн. академии епископ Сергей нашел полезным ввести в собрание 10—15 лучших студентов вверенной ему академии. Собраниям было очень приятно увидеть у себя хотя и редкими посетителями временно приезжавших в Петербург священников-провинциалов: И. Ф. Егорова из Юрьева
- ²⁰ (Дерпта), преподавателя гимназии, и И. И. Филевского из Харькова, преподавателя коммерческого училища. Этот состав заставлял думать, что рассуждения, которым отдавали себя собрания, были разнообразны, серьезны и занимательны. В сущности собрания не могли бы устроиться или существовали бы искусственно, если бы они возникли не из назревших вопросов, и притом таких, на которые интеллигенция привыкла давать одни ответы, а представители церкви — другие. Таким образом, пища для собраний была уже готова. Все главные участники собрались сюда с чрезвычайно разгоряченными и упорными мнениями, с доводами, в сущности уже готовыми, с мирозерцанием установившимся; и прения поэтому и потекли пламенно и регулярно, что они вовсе не формировались на
- ³⁰ собраниях, а, так сказать, обтачивались взаимными столкновениями до совершенной точности, до готовности вылиться в формулу. Собственно, невозможно «вообще о религии» беседовать, «вообще о церкви», «вообще о христианстве»: можно беседовать о совершенно определенных на все это воззрениях. И без предварительного созревания этих мнений собрания бы не удалось, но зато, раз созрели очень определенные и очень мучительные воззрения, появление собраний, их обсуждения, стало историческою задачею и вопросом только времени и места. Вот эта историческая их подготовленность, наряду с замечательной удачей выбора представителей со стороны церкви, — как иерархических, так и ученых, и, наконец, священства, и обусловила все. Интеллигенция нашла полное понимание себя; а со своей стороны увидела в духовных лицах людей высокого характера, ума, полных терпимости, наконец, любви к человечеству и к своей родной русской земле. Собрания, по содержанию прений, можно сравнить с чрезвычайно одушевленными чтением множества новых книги с суждением по их поводу. Теплое прощание участников их 2-го мая, казалось, полно было нетерпеливого ожидания их осеннего возобновления.
- ⁴⁰

С. А. РАЧИНСКИЙ И ЕГО ТАТЕВО

Бывает в наших севернорусских широтах, что по календарю и расчетам человеческим давно бы должны лить осенние дожди, дуть холодные ветры и на улице образоваться непролазная грязь. Идет конец сентября и первые недели октября. К удивлению всех, однако, при едва греющем и уже не задерживающемся на горизонте солнце, от какого-то благоразумного распределения ветров и атмосферных осадков на дворе стоит отличная, сухая и теплая погода. Лето кончилось, а осень не приходит. Люди каждый такой денек считают, удивляются ему; ждут — вот назавтра брызнут дожди и ветры. Но их нет. День за днем выкатывает солнце на ясную лазурь неба; в воздухе сухо; летней пыли нет, но земля тверда, а пожелтевшие листья деревьев не опадают. Паучки ткут свои таинственные, зачем-то нужные им паутинки, и эти паутинки тянутся в прозрачном воздухе. И в душе людей — радость. «Вы знаете, паутинки эти к хорошей погоде; пока они летают — дожди еще далеко. И завтра будет такая же погода». Встречный не верит: «Помилуйте, зима бы должна уже настать; а мы имеем лето. Да как оно называется?» — «Бабье лето». И оба дивятся, радостно твердят за Грибоедовым, что «врут все календари», и, как всякому неожиданному, «сверхштатному» удовольствию, радуются этим дням вдвойне, втройне. Помню я, в 1897 или 1898 году стояла в Петербурге такая осень. «За сорок лет, как я себя отчетливо помню, такого октября (чуть ли не ноября) я не видывал», — сказал мне памятно старый чиновник-товарищ. И мы весело, по легнему, взбирались, бывало, на империял конки, чтобы курить, зевать по сторонам и «хвалить Творца миров», давшего нам август в дни сентября.

Таковы бывают и исторические застоявшиеся эпохи. Среди технической цивилизации заживается где-нибудь долго-долго уголок рыцарской страны, с ее замками, преданиями. Такова была Вандея во Франции, и очень долго — Шотландия. Историки, романисты и поэты спешат сюда, для изучения и вдохновения. Наконец, бывают и люди такой судьбы, положения и характера. Год за годом, десятилетие за десятилетием идут. Люди меняются. Нужды настали другие, изменились удовольствия. Но где-нибудь в старом дворянском гнезде живет носитель почти исчезнувшей культуры (да, целой культуры!), который в удивительной нетронутости и красоте сохраняет краски и тоны человеческого облика, к каким мы привыкли в живописи Тургенева или Гончарова.

Таков был, как я его знал с 1890 года, умерший 2 мая 1902 г. Сергей Александрович Рачинский. Смерть его отозвалась личною потерю для огромного множества знавших его людей; Россия нечто утратила в нем, может быть, не крупное, во всяком случае, не шумное, но определенное, чего нельзя смешать ни с чем другим и что не заменяется никем другим. Сошла в могилу очень определенная величина, очень определенное лицо. Сошло в могилу, как я был уведомен, тихо, без страданий, незаметно. Все время, как я его знал, у него была болезнь, неприятная, но не опасная. В последние годы у него были тяжелые душевные потери. Вообще при характере тихом, несколько покорном (извне), хотя чрезвычайно упругом и не поддающемся внутри, он много, очень много в жизни перенес. Много безмолвной печали было в его душе; очень много разочарований. И тем крепче хватался он за все, что могло его очаровать, что — ему казалось — не об-

мануло его. Такова была его школа; таковы были некоторые, немногие лица, которых он знал с детства, по преимуществу из учеников его. К ним он привязывался трепетно, отцовскою любовью, почти покорною, почти заискивающею, как именно старый отец к полному сил молодому человеку.

Я его помню, в его родном Татеве (Бельского уезда, Смоленской губернии), которое так хорошо к нему шло и он сам шел к нему. Это было имение с непрерывными традициями царствований императоров Александра I, Николая I и далее, до наших дней. Помню одну гостиную, в которой сохранены обои, вывезенные из Франции предком Рачинского, штурмовавшим с войсками Благословенного Париж: река Сена, гуляющие по берегу ее кавалеры и дамы во фраках, галстуках и платьях первой империи, их походка и манеры — все в живом движении изображено на оригинальных обоях. Я не мог от них оторваться. В большой центральной зале в два света (верхний ряд окон — маленькие) давали когда-то, в крепостную эпоху, балы. В 90-х годах тут все было тихо. Вообще тление смерти, чего-то отжитого и пережитого, чего-то окончившегося веяло в этом большом, красивом историческом доме почти без живых обитателей. Здесь всегда была поразительная тишина, безмолвие. Долго стоишь, бывало, в зале, ожидая, кто выйдет. В доме не слышно было ни движения, ни голосов. И вот отворилась справа дверь — и выходит маленькая, торопливая, сухонькая (в теле) фигурка всегда оживленного Рачинского. Я никогда его ни видел утомленным, жалующимся на усталость; он никогда не смеялся, хотя часто улыбался — однако не общей улыбкой, как выражением настроения души, а в отношении предмета разговора или определенного лица. Рачинский всегда был очень наблюдателен; никакой рассеянности, присущей поэтам или мыслителям, у него не было. От этой вечно настроженной внимательности, природной и, вероятно, воспитанной, он и мог стать таким воспитателем детей, таким урожденным школьным учителем. Ум его был сух и точен, без капризов и беспорядка; вообще он был замечательно деловой человек, отнюдь — как я заметил — не поэт и не философ, но с большою примесью влечения к тихой, бесшумной созерцательности. Если бывают люди без техники и профессии живописца, но, так сказать, с живописным, художественным устроением ума, вкусов, даже убеждений теоретических, то Рачинский был таким. Напр., ему нравился такой-то образ государственной жизни, положим, первой империи во Франции; было бы напрасно оспаривать его, говоря о деспотизме Наполеона, легкомысленных нравах общества, о тягостях для народа, о неудаче всей эпохи: не возражая вам, он в сущности тихо не слушал вас и продолжал любить Францию первого десятилетия просто как картину, как некоторый Рафаэлевский момент истории, любить пластически, а не научно, не морально и не экономически. Наука (в суровом смысле экономика), мещанская проза, вообще все материальные производители жизни в его созерцании не занимали никакого места. Он все брал и знал в готовом виде, и определял к этому готовому свое отношение по делаемому им эстетическому впечатлению. Из сословий наших ему было понятно только дворянство и духовенство; но и относительно дворянства я помню его глубоко презрительные выражения о «мелкопоместных» (чуть ли не от него услышал я впервые этот термин, по крайней мере по сарказму — определил его значение). Далее, он питал почти культ к литературе; но пропорционально этому была велика его неприязнь к печати, т. е. почти ко всей текущей журналистике и особенно газетам. Самый шум печати, как и шум мещанской или

торговой жизни, ему был противен, и он не входил в соображения, что это нужное. Когда я это пишу, у меня начинается что-то жестокое. Но кротость и тишина Рачинского устраняла всю несимпатичность в его антипатиях; он ни с чем не боролся, но от очень многого, почти от всей текущей, ему современной жизни отодвигался в сторону. И тихо и прекрасно, спокойно и недвижно, непоколебимый, уже много десятилетий жил в своем Татево. Большой дом этот, который я решусь назвать помещичьим дворцом, был обитаем только им и его почти ровесницей сестрой, женщиною почти столь же начитанной и образованной, как он. Практическая жизнь дома вся лежала на сестре, читавшей в подлиннике Гомера и следившей даже за точными науками (за биологиею), не говоря о литературе; а Сергей Александрович имел все условия вполне отдаваться жизни теоретической, созерцательной, педагогической, теоретической. В доме хранилась громадная, в несколько тысяч томов, библиотека, как литературная, так и научная. Это собирали его непрерывно образованные предки. Но сверх книг, в превосходных старинных изданиях, в библиотеке этой хранилось множество драгоценных и редких художественных изданий и автографов замечательных людей, поэтов и писателей наших 30, 40 и 50-х годов. Выборки из этих рукописных сокровищ Татевской библиотеки вошли в «Татевский сборник», изданный в 1899 году Обществом ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III. Здесь помещено 52 письма Е. А. Боратынского к И. В. Киреевскому, пять писем В. А. Жуковского к Голицыну, Елагиной к Киреевскому, нигде не напечатанная статья В. Ф. Одоевского «Жить — действовать», замечательное воспоминание Ю. Ф. Самарина о Хомякове, письма Н. И. Пирогова, Феликса Мендельсона-Бартольди к А. Ф. Львову, Ал. Гумбольдта к К. К. Павловой и несколько неизвестных ранее стихотворений Е. А. Боратынского, И. П. Мятлева, Н. Ф. Павлова, В. А. Жуковского, В. А. Соллогуба, А. А. Фета и обширный отрывок повести графини Е. В. Салиас (Евгении Тур), не оконченный по соображениям не литературным. Сборник этот драгоценен для историка литературы и никогда не утратит интереса первоисточника. Как на любопытную черту Рачинского, укажу на следующее: за несколько лет до издания он говорил мне о своей озабоченности издать некоторые литературные реликвии, хранящиеся в Татево. Я назвал несколько журналов, которые, конечно, с удовольствием напечатают их. Вдруг я увидел на лице его тревогу и неприязнь. Рассказав о содержании отрывка воспоминаний о Хомякове, где была передана трогательная его молитва о своей усопшей жене и, кажется, ее загробное явление у нему, он сказал: «Неужели вы думаете, что я могу это поместить рядом с каким-нибудь рассказом или рассуждением»... И он назвал несколько громких современных имен. Таким образом, «мелкопоместность» литературы текущих дней не должна была просто физически приближаться к великим аристократиям истекших десятилетий. Тут в Сергее Александровиче выступало жестокое, непоколебимое. Вандея боролась с Парижем, тем неумолимее, чем бессильнее. Этого не надо было трогать, невозможно было трогать всякому, кто не хотел мучительно и навсегда разойтись с ним.

Он любил свое Татево и гордился им, любовью и гордостью художественной и исторической. Он хорошо знал, что и сам присоединится как очень крупная величина к ряду почетных предков. Что добрый дворянский род в его лице завершается историческою фигурою, с многоценною и памятною для всей России деятельностью. В сущности нельзя не поблагодарить судьбу, которая вывела его из

московской профессуры и бросила в сельское уединение. Как только это совершилось, как только он отделился от подобных и равных, он стал определенным лицом, в котором независимо и прекрасно стали слагаться оригинальные черты, явилось оригинальное единственное призвание, явилось дело и подвиг на виду всей России, к пользе всей громады России. Он дал тип народной русской школы, во всяком случае в художественном отношении высоко прекрасной, хотя, может быть, в наших жестоких условиях и неприменимой. Покойный Вл. С. Соловьёв раз напал на него в «Вестн. Европы». Говоря о школе в Татеве, он язвительно писал, что татевским мужикам, вероятно, интереснее было бы узнать от Рачинского, как ботаника, о лучших способах огородничества, нежели чтения Псалтыри. Рачинский почти с удовольствием говорил со мною об этой статье Соловьёва. Ни боли упрека, ни его смысла — он не чувствовал. «К сожалению, я вовсе ничего не понимаю в огородничестве; тут более меня сведуща моя сестра», — весело шутил он. Конечно, в его словах была правда: ученый ботаник не непременно должен знать полеводство. Но боль для слушателя начиналось с очевидности, что огородничество для крестьян даже и в голову не приходило Рачинскому; просто это стояло вне его эстетического созерцания, сомкнувшегося в заколдованный круг. Тут начинался фатум, где можно было с ним разойтись, но ни в чем нельзя было его убедить.

Школа его, как и все немногочисленные, но изящные его книжки, есть продукт главным образом его эстетических вкусов. Первый с верным тактом он отгадал, какие сокровища самого серьезного и высокого художества содержатся в старинных книгах с кожаными застежками и церковной печати. Он разобрал все эти книги, изучил весь круг православного богослужения, как со стороны словесной глубины, так и со стороны музыкальной, певческой и, наконец, выразительной, пластической (пластика богослужений, одеяний, жестов, обрядов). Вальтер Скотт написал свою Шотландию. Для детей народа свежего, в сущности дикого, но одновременно полуголодного и оборванного, он решил, что ничего не может быть выше и воспитательнее этих тяжелых, огромных старых книг. До сих пор помню один вечер в его Татеве. Была вакация, все ученики были распущены, кроме немногих, по разным причинам задержавшихся около Сергея Александровича. Стоял прекрасный летний вечер, и мальчик лет 13 подошел к нему, прося что-нибудь дать выучить на завтра. Можно было дать задачу, можно было велеть поиграть на лугу, можно было дать прочесть Робинзона Крузо. И Рачинский думал, но только одну секунду, вспомнив, какого святого завтра празднуется день, он открыл его житие в «Четь Миней» Дмитрия Ростовского, сейчас же вспомнил наизусть, раньше чтения, два-три штриха этого жития, что-то прекрасное из истории Греции, из IV или III века, какое-то путешествие по Ионическому морю, какую-то напасть, преследование вельможи, твердость молодого христианина, — сюжет, столь же прекрасен в Четь-Менейх, как он бы был прекрасен в какой-нибудь датской хронике, переработанной Шекспиром. Лицо ботаника, эстета и педагога светилось энтузиазмом и восторгом: «Вот-вот, Володя, перечти здесь; прочти раза два-три и потом сделай пересказ своими словами на бумаге. Завтра утром мы вместе прочитаем твою работу».

Таким образом, труд Рачинского не был собственно физической работой, утомлением, педагогическим занятием, которое истощало бы его силы. Он, можно сказать, купался в волнах художества, всяческого, какое любил, — но не один,

а в сообществе с самым художественным возрастом человеческим, отроческим, от 10 до 16—17 лет. От этого ни скорби, ни пота, ни жалоб в его труде не было. Все ремесленное было из его дела устранено. В лице диакона-помощника или подручного учителя он имел человека, который обучал детей чтению или письму, диктовал им, повторял с ними, и проч. Сам Рачинский придумывал художественный лоск, художественный смысл педагогическим деталям; он смотрел на белые вершинки Альп, мало погружаясь в тернистые ходы туда по ледникам. Мне передавали люди, жившие близ Татева, знавшие его труд там десятилетия, что собственно для крестьянских ребятишек были полезнее школы, где стали руководителями или молодые учителя из бывших учеников Рачинского, или некоторые его родственники, ведшие дело упрощеннее, практичнее, столь же строго церковно, но с большим вхождением собственно в мир крестьянский и душу крестьянскую. Они схватывали главную мысль Рачинского: «Церковные книги — вот сокровища искусства и педагогики», но применяли эту мысль живее, сочнее, не столь педантично и упорно односторонне, как сам инициатор этой мысли. Я уже заметил, что сам Рачинский был безусловно неподатлив в душе своей. Применяться, приспособляться он не мог. Сам полный энтузиазма, он мог только звать к себе, но ни к кому и ни к чему чужому сам не мог двинуться. Напротив, воспринявшие его мысль сохраняли обычную всякому человеку подвижность во все стороны, и дело у них шло лучше, счастливее, для крестьян — плодотворнее. Дело и мысли Рачинского не имеют никаких причин заглухнуть или испортиться после его смерти. Выразим пожелание, чтобы небольшая пенсия, получавшаяся им за последние годы и которая целостью шла на учрежденные им школы, была сохранена навсегда как субсидия этих школ. Во всяком случае, было бы глубоко диким явлением, если бы такое культурно-историческое начинание, как район народных школ около Татева, был обществом нашим или государством забыт, заброшен. Около дела сейчас стоят отличнейшие люди, родственники Рачинского и талантливо подобранные им учителя. Но все это очень и очень нуждается в средствах. Нужно заметить, что поддержка Татева, как аристократического имения, поглощает все средства, получаемые с татевской земли, обширной, но малопродуктивной, лесистой, холодной, угрюмой, малоходной. По крайней мере, в последней его ко мне записочке он между прочим писал: «Здоровьем моим я весьма мало озабочен, хотя оно ныне для моих школ стало драгоценным (курс Рачинского), вследствие пенсии, пожалованной мне Государем. Несмотря на это обстоятельство, считаю весьма мало интересным точный срок моей кончины, во всяком случае близкой. Уверен, что и после меня найдутся люди, которые лучше моего будут продолжать начатое мною скромное дело, найдут на то и потребные скромные денежные средства... Да хранит вас Бог. Преданный вам С. Рачинский». Выраженная в письме этом забота, я думаю, должна получить полное удовлетворение, — иначе трудно было бы понять, как можно трудиться и за чем было бы трудиться на Руси, где нет ничего преемственного и нет памяти о заслугах человека. Аренды, пенсии, вспомоществования у нас сыплются довольно щедро: но трудно представить себе дело и человека, столь полно выслуживших себе государственную денежную помощь, как район школ около Татева, где 29 лет почти безвыездно жил и трудился замечательный педагог.

Вот еще отрывок из письма его, не безынтересного в биографическом отношении: «Наше Татево, обыкновенно столь тихое, на прошлой неделе было шум-

но и людно. Собралась родственная молодежь; погода была дивная, настроение — светлое. 13-го мы простились, вероятно навсегда, с Сергеем Сеодзи (японец, принявший христианство). В этот день молодежь наша вздумала пропеть с ним, без участия школьного хора, последнюю литургию. Пение было удачно, служба — умирительна, потому что совершалась литургия с включением *своим о хотящих по водам плыти* (курс. Рачинского; название особого молебна). При этом сочетании служб, заключающемся коленопреклоненною молитвою, благословением и окроплением св. водою путешественника, я присутствовал в первый раз. На будущей неделе провожаем в Крым Николу (Н. И. Богданов-Бельский, известный художник). Наконец добился от него вашего портрета, который при сем посылаю. Вы мне писали о краткой биографии — вот она. Родился я 2 мая 1833 года, в селе Татеве. Воспитывался дома. От 1849 по 1853 год учился в Московском университете. От 1853 до 1855 г. служил в Московском архиве министерства иностранных дел. От 1859 по 1868 год преподавал в Московском университете физиологию растений. С 1873 г. состою учителем при Татевской сельской школе. Умер в селе Татеве в 189? г.». Он умер в самый день рождения, 2 мая, но в 1902 году.

Н. Богданов-Бельский и Сергей Сеотзи были питомцами, а последний и крестным сыном Рачинского. Восходящая звезда художественных дарований первого нескананно радовала его воспитателя и наставника. В редком письме он про него не упоминал, всегда с глубокою нежностью. Трудно подобрать пример лучшего духовного отчества. Кроме того, Богданов-Бельский служил как бы документом в руках Рачинского, оправдывающим его деятельность, его надежды на даровитость русского народа и проч. В увлечении, может быть, он однажды сравнил его работы по портретной живописи с портретами Ван Дейка (он назвал какой-то определенный портрет, но я не помню чей, бывший на выставке передвижников). Если тут и была иллюзия и преувеличение, то решительно невозможно жить человеку без таких иллюзий, некоторые одушевляют, дают мощь жить и трудиться. Кто знает, может быть, мы все малы, не нужны; но, во всяком случае, было бы плохо, если бы мы повесились, а потому нужна уверенность, что мы кому-то нужны и что даже вообще хороши.

Проезд к Татеву был по глухой лесистой местности, или из Ржева — к югу, или из Белого — к северу. Вся местность кругом была болотиста, дика и холодна. Тем привлекательнее было Татеве. Дед или отец Рачинского, человек богатого вкуса, и именно тоже пластического вкуса, развел вокруг дома-дворца громадный парк, сын (или внук) прибавил сюда разные ботанические редкости. Вся красота парка, особенная и удивительная, состояла в размещении куп деревьев и в отношении листвы или хвои их к свету утреннему и вечернему. Утром, часов около семи, солнце падало на огромный (искусственно вырытый) пруд-озеро, бывший в полуверсте от дома, и бывало, Рачинский настаивает непременно, чтобы вы не проспали эту красоту встречи утра, леса и воды. Глаз зрителя был в Рачинском «богом», которому он не уставал служить. И это переносилось даже на убеждения. Он недолго ливал нашу бюрократию, не уважал ее. Еще менее мог он примириться с новыми демократическими учреждениями. Покойный московский писатель Ю. Н. Говоруха-Отрок раз сказал мне, посмеиваясь: «Рачинский мне пишет, что он понимает управление государством при помощи вельмож, которым не только приходится повиноваться, но и хочется повиноваться, а эти чи-

новничьи пролазы только разлагают все своими ухватками и мужичеством. Но где же, — и этому смеялся Говоруха, — взять вельмож?». Это мнение Рачинского мне повторил не так давно и один его друг, большепоместный дворянин, прибавив: «Как он не видит, что лучшие наши государственные люди — просто из семинаристов, а дьяки не дают средних служащих людей». Но тут начинался тот зачарованный круг, за который Рачинский не мог выйти.

Так стоял он, как поздняя осень. Он измениться не мог, и начиналось неодолимое расхождение с ним каждого, кто неосторожно или нетерпеливо пытался не то, чтобы изменить его, но иметь и высказывать мысли, разнородные с его мыслями. Рачинский тогда уходил в себя, умолкал. Никакого спора не было, и это-то и бывало мучительно. Отношения становились внешними, обманчивыми, как бы они ни были теплы дотоле. Осень могла замолкнуть, затихнуть, умереть. Но только после дождя, шквалов, снега, зимы — могла начаться весна. Без возможности непосредственного перехода в весну, он естественно пугался и отстранялся от надвигавшейся осени, которая так очевидно бушевала вокруг милого и ветхого Татева.

В многочисленных у меня хранящихся его письмах рассеяны следы его вкуса, уединенной жизни, маленьких и высокодухотворенных забот и взглядов на разнообразные вещи и отношения государственные, литературные, общественные. И на него, и на его писания я всегда любовался, как на красивые кожистые астры, которые не дают запаха, но на которых любит останавливаться глаз среди пустынной осени. Сад уже увял весь; тропинки мокры и холодны утром; лист желт, деревья голы. А все еще цела и жива клумба с этими астрами. Но вот наступил день — и пали эти астры. Такова смерть Рачинского. «Да хранит его Бог», — хочется повторить о нем постоянно приписку его писем.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ <О книге В. А. Добролюбова>

Вышла брошюра-книжка г. В. А. Добролюбова: «Ложь гг. Николая Энгельгардта и Розанова о Н. А. Добролюбове, Н. Г. Чернышевском и духовенстве». Ознакомившись с нею, я вижу, что подал автору причину к гневу действительно неосторожною обмолвкой в статье «Нов. Вр.»: «Сословное ли только безвкусице» в следующих ее строках:

«Иногда вопрос трудный, вопрос тонкий, вопрос нерешенный и может быть даже нерешимый, вдруг разрешается (т. е. писателями) почти в серию анекдотов. Не весело эту неделю лежалось косточкам о. Матвея Константиновского в могиле. Сколько раз перевернулись оне там, когда имя его повертывалось так и этак здесь (в статьях И. Л. Щеглова и Н. А. Энгельгардта)! Но в конце-концов что же мы получили? О. Матвей — случай. Около этого случая — случаи Надеждина, Чернышевского, Добролюбова, Благосветлова и общее заключение: вся антиэстетичность в нашей литературе шла от семинарий».

Об этой обмолвке я жалел на другой же день по напечатании моей статьи, сказав себе: «Зачем я назвал Добролюбова». О Добролюбове автор настоящей

полемической брошюры может прочесть мотивированное мое мнение в книге «Литературные очерки», в статье ее «Три момента в развитии русской критики», и из нее увидел бы, что настоящий мой взгляд на Добролюбова, сколько-нибудь обстоятельно изложенный, не мог бы вызвать у него никакого раздражения. По правде сказать, из всех мною перечисленных (почти механически, — вслед за Н. А. Энгельгардтом, который упомянул эти имена) писателей только Благо-светлов и его «Дело», много лет мною читавшееся в старших классах гимназии и тогда же вызывавшее во мне негодование, может подойти под определение «безвкусице», «антиэстетизм». Надеждина, как журналиста и литератора, я вовсе не знаю (кроме книги «О скептической ереси», изданной в Лондоне Кельсиевым, но это собственно не литература), монография Чернышевского о Лессинге, читавшаяся мною в университете, показалась мне превосходною, в стиле и, так сказать, в общем блеске взглядов, живых, добросовестных и энергичных. «Что делать» — мне показалось не интересною и самодовлеющею канителью, а другого чего-нибудь из Чернышевского я ничего не читал. Что касается Добролюбова, то я его всего и неоднократно читал с одинаковым увлечением как в его серьезных статьях, начиная с обозрения «Собеседника любителей русского слова» и кончая шуточными стихами Конрада Либлиншвагера («Свисток»). Не могу определить, чему я у него научился, но удовольствие чтения всегда было, как и согласие со взглядами, впрочем отнюдь не открывавшими мне чего-нибудь нового. Упоминаю о стихах и шутках его, потому что всегда несколько не понимал, почему вообще прилежный, обстоятельный и чистосердечный, хотя слишком самообольщенный критик А. Л. Вольнский в своем исследовании русской критики находил пародии Добролюбова плоскими и не остроумными. Оставляю в стороне всю идейную сторону и сосредоточиваюсь на литературно-эстетической, о которой собственно и говорит В. А. Добролюбов, брат покойного критика, перед которым усердно извиняюсь, если неосторожно (и не намеренно) обмолвкой мог причинить ему скорбь за брата. Только напрасно он так горячо и сложно (170 страниц в брошюре) раздражается: Н. Добролюбов учил всех краткости. Что касается остального, крикливого и бранчливого, содержания брошюры, затрагивающего другие мои взгляды, то могу ответить на них словами со 2-й страницы ее: «Некоторая часть публики враждебна даже ему, потому что не понимает его».

ПОЛЕЗНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ НАРОДА

Дар изобретательности иногда стоит богатства и можно с ним принести столько же пользы. Сколько у нас изданий по гривеннику, по 15 к., которых невозможно взять в руки человеку со вкусом и рассудительностью, а они десятками тысяч разносятся коробейниками по всей России, покупаются мужиком и любознательным школьником и стрянут в зубах, как громоздкая и не питательная пища. Помню из детства, как, собрав все силы, т. е. в разное время подаренные копейки, я купил первые себе книжки: «Ермак Тимофеевич», о каком-то солдате и разбойнике (эти были хороши, хотя о Ермаке чудовишно бесцветна) и затем «Гуак» и «Франц Венециан». Последние стоили что-то около 30 к. С какими надеждами я нес их домой. При тусклой свече читаешь: «Вот будет интересно,

страшно, таинственно». Я плелся-плелся по страницам. Где происходит, что происходит — ничего нельзя понять. Какая-то жеваная бумага. Совершенно ничего интересного, совершенно нечего я не понимал. Так и задавила книжная торговля мои 60 коп. А чего она стоили! И столько раз я перечитывал маленькую квадратную книжку с 2—3-мя раскрашенными картинками: «Путешествие Вольдемара». Тут тоже было не очень ясно: где, что и для чего происходит. Но один эпизод, когда путешествовавший пешком мальчик Вольдемар попался к разбойникам, искупал темноту остального содержания.

Замечу для всех издателей народных книжек, что фабула, сюжет, — для нас, взрослых, не очень интересный, — для малолетнего, и, я думаю, для мужика составляет все. Сюжет приводит его в неопиcуемый восторг. Он переживает его как полную, с ним самим происходящую действительность. 10

Передо мною прекраснейшее по изобретательности издание какого-то г. Я. Бермана. Выписываю целиком с обложки, не зная, кто это и что, типограф, торговец или образованный человек. Как бы давно следовало сделать издание, им придуманное, какому-нибудь филантропическому комитету или земству. Подумайте: копейка — это уже у всякого есть, у дворника, мужика, мальчика, извозчика, даже у золоторотца. И за копейку он получает «Книжку-копейку», на выбор какую-нибудь из 23 номеров. А сюда входят: 1) «Сказка о мертвой царевне» Пушкина, 2) «О золотом Петушке» и «О рыбаке и рыбке» его же, 3) «О купце Остолопе и его работнике Балде», 4) «Гробовщик», 5) «Барышня-крестьянка». Каждая под номером вещь — копейка, да еще в тексте есть рисуночки, неважные, но и не совсем плохие. Три книжки, № 4, 6 и 10 отданы Крылову, в одной книжке 14, в другой 18, в третьей 13 басен, конечно, тщательнейшим образом отобранных. Лермонтову отведен № 3 — «Песня про купца Калашникова»; желательно увидеть здесь «Тамань», «Фаталист», «Бэлу», «Ашиб-Керим» и лучшую лирику. № 8 отдан Кольцову. №№ 22—23 включают «Коляску», «Заколдованное место», «Пропавшую грамоту» и «Вечер накануне Ивана Купалы» Гоголя; №№ 11 и 12 — «Где любовь, там и Бог» и «Много ли человеку земли надо» Л. Н. Толстого. Серия «книжка-алтын», стоящая 3 коп., содержит 6 повестей Гоголя: «Майская ночь или утопленница», «Нос», «Сорочинская ярмарка», «Страшная месть», «Старосветские помещики» и «Вий». Все книжки изданы скромно, но опрятно, а «книжка-алтын» даже в красивой обложке, и выбор содержания превосходен. Но в издании больше всего мне понравились: «Дворник» и «Подпасок», рассказы С. Т. Семенова, «Разбойники в доме» А. Донского и «Забракованный», «Захромала», «Анриан и его собаки» А. И. Свирского. Книжки эти — новое, не привычное, оне не предоставляют той «классической литературы», которой только ленивый или окончательно равнодушный к чтению человек не найдет в грошовой читальне, у букиниста под лавкой или у знакомого человека в его маленькой библиотеке. 20
30
40

Десятки тысяч дачников русских рассеяны теперь по дачам. Многие все же посещают в неделю раз Петербург. Всего полтинник стоит, чтобы, захватив вместе с икрой и другими закусками 50 «книжек-копеек», разбросать их между ребят деревенских. Сколько впечатлений, сколько пользы, какой свет на деревню. И «Дворник», и «Забракованный» написаны так хорошо, что, несмотря на утомленность чтением, понятную у литератора, мы прочли оба рассказа с сильнейшим волнением.

ОСОБАЯ ГРУППА ПИСАТЕЛЕЙ (Из переписки С. А. Рачинского)

Мне пришлось знать трех наших так называемых «консервативных писателей», — хотя, Боже, до чего неточен и похож на клевету этот термин: «консервативный»! Но об этом недоразумении когда-нибудь со временем. Мимолетный разве штрих: у Н. Н. Страхова на небольшом столике, куда клались получаемые письма, журналы и газеты, я постоянно видел и свежие номера «Моск. Вед.». Я был уверен, что он читает, следит, иногда сотрудничает, и спросил его об этом. «Да нет, никогда не читаю. Что же тут читать. Кроме, конечно, статей Говорухи-
 10 Отрока». «Зачем же вы выписываете?». «Да вовсе не выписываю». «А как же у вас газета?». «Я академик (он улыбнулся и вообще стоял выше титулов) и, следовательно, почтенное лицо, и они мне даром высылают газету, как почтенному лицу». В нашей консервативной печати надо различать людей, которым никакого дела и ни до каких идей не было. Это совершенно определенная немногочисленная группа практических людей, практических двигателей политики. Их можно назвать греческим именем «οἱ τριάκοντα» *, «тридцать», по примеру Крития, Ферамена и других «сотоварищей», расправившихся с афинской общиной. Как ни странно, сюда принадлежал и гениальный практически Катков. Катков превосходил всех «οἱ τριάκοντα» страстью или скорее страстями ума и весьма
 20 похож был на огромного быка в испанских цирках. Опустив голову, выставив вперед рога, он всей огромной массой кидался по направлению куска цветной материи, которая его раздражала впереди. Вся сила испанского быка сосредоточена в ногах и шее. Мозг у него маленький, и он не понимает, куда и зачем бросается, обыкновенно гибнет. У Каткова была какая-то моментальная воспламеняемость воображения. Друг и сотрудник его Любимов в известной книге, посвященной его памяти, рассказывает, что подчиненные по редакции друзья Каткова вырезывали или отчерчивали карандашом только известный кусочек передовой статьи, положим, «Голоса» или коршевских «С.-Петербургских Ведомостей» и давали прочесть его Каткову. Таким образом, поразительно, что Катков не только
 30 не читал всего номера враждебной газеты, но и той статьи приблизительно в 150—200 строк, какую ему надо было оспорить. Т. е. он не знал ни хода мыслей противника, ни самого дела, о котором противник рассуждал. Мазини в «I rescator» ** не знает ничего, кроме того, что он Мазини и что он единственный. Катков, прочитав кусочек в строк в 12—20—40, так же как Мазини, расставлял широко ноги, делал секундный массаж горлу пальцами, раскрывал рот, закрывал глаза и уже звуки лились, лились и очаровывали Россию и в ней не одних консерваторов. Ферамен говорил свою обвинительную речь. Кроме самых первых лет, когда Катков переводил Гейне, интересовался германской критикой о Пушкине и писал (довольно бессвязную, хотя поразительно блестящую в стиле) статью-
 40 диссертацию: «О древнейшем периоде греческой философии», от всего остального времени его жизни, от самого устройства его газеты и общего колорита статей вовсе не веет сколько-нибудь сложною и углубленною идейностью. Патти пела

* «тридцать тиранов» (*грек.*).** «Искатели жемчуга» (*ит.*).

свои арии, Мазини — нумера из «I pescatori». Страсть умственная, пламя воображения, природный огромный талант: все это дергаемое за веревочки безголосыми дельцами вниз. Родись Катков в другую эпоху, стой среди других людей — и он спел бы иные и лучшие песни своим дивным голосом. Так ведь и было в самом деле. У Любимова приведены его объяснительные или оправдательные записки к министру внутренних дел по поводу греко-болгарской распри. Какие это речи, слова, мысли! Но Мазини, взяв осторожно за плечи, повернули в другую сторону или, скорее, под Мазини подвижной пол сцены был повернут в обратную сторону: звуки все той же красоты лились в обратную сторону. Кто помнит в Каткове или может указать видимые и осязаемые следы «гамлетовщины», сомнения и мучения в период огромного перелома, казалось бы, всех убеждений? Кто помнит колеблющиеся его статьи? Ничего подобного. Помните, как увидела Татьяна неожиданный снег на крыше домов:

На третье в ночь проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор...

Так и Россия в один прекрасный вторник услышала вовсе не те речи, какие она слушала в понедельник и воскресенье, — и все было так красиво, что некогда было размышлять, как, что и почему.

Страхов, К. Н. Леонтьев и С. А. Рачинский — три «консерватора», каких я знал, — не имели решительно никакой связи с этими «οί τριόχοντα», иначе как внешней и кажущейся. Их принято называть «консерваторами» только оттого, что они не разделяли многих иллюзий своего времени, которые и в самом деле потом оказались поспешными. Просто они были неторопливые люди, люди созерцательные, — кроме, впрочем, К. Н. Леонтьева, автора повестей «Из жизни христиан в Турции» и сборника статей политических: «Восток, Россия и славянство». Он был публицист. Но в противовес страстно тупому, рвущемуся и неразмышляющему Каткову, — какой это был разнообразный и неугомонный ум, как бы вечно рождающийся, подобно Фениксу, из пламени! Только одичалость и запустение нашего книжного рынка, доселе жующего Спенсера и Бокля, причиной того, что литература наша до сих пор не имеет даже сносного собрания его сочинения, и что они не стоят на полочке любимых книг всякого образованного русского человека. К. Леонтьев есть постоянный факт нашей литературы, и изящный факт. Публика просто его смешивает с однофамильцем, составителем латинского словаря, директором Московского лицея и другом Каткова! Печальное смешение, как если бы смешивать в одно лицо историка, романиста и философа, Сергея, Всеволода и Владимира Соловьёвых! Но это смешение не выдумка моя, ибо мне нередко приходилось слышать слияние в одно лицо обоих столь различных Леонтьевых! Как у Каткова направление мыслей составляло все, составляло дело его жизни, реальный и практический его труд, смысл существования; так у перенесенных трех писателей, собственно, не следует вовсе придавать значения направлению их ума: игра мыслей, сложнейший аромат их одушевления, их скорби философские и исторические — вот в чем весь их интерес, чему сами они единственно придавали в себе значение. В Каткове сила лежала в упоре ног и мощи шеи, у Рачинского, Леонтьева, Страхова все это было не крепко. Они похожи на

прелестный и огромный цветок, качающийся на самом тоненьком и слабом стебле. Мне известно, что Страхов никогда не имел на что купить и заварить чаю; Леонтьев в нужде своей доходил до отчаяния; С. А. Рачинский никогда не приложил ума и рук, чтобы получить хоть один рубль, и не нуждался только потому, что не выпал из родового гнезда, где было все заготовлено предками. И это не была искусственная бессребренность: просто — они не тем интересовались в жизни. Как Белинский у Надеждина в молодости, — так эти люди до старости и смерти жили вечно в каких-то «антресолях», а не в капитальном каменном доме. Между землей и небом, в мечтах и воображении, и притом не приписывая этому ни заслуги, ни интереса, а просто соответственно своей натуре.

Интересно сравнить их слог, о котором сказано, что это «сам писатель». Часто приходит на ум, что хотя Рачинский гораздо менее писал, чем Страхов и Леонтьев, и гораздо специальное, но что именно как писатель-стилист он их обоих выше. Вечный недостаток Страхова составляла тихость писаний. Тихий человек — в этом весь Страхов! Вот уж никогда не произвел шума! По поводу «Рокового вопроса» Катков поднял нелепый шум, ничего в статье не поняв, может быть ее не прочитав. Он кричал как зарезанный и погубил журнал Достоевского, в котором «Роковой вопрос» был напечатан: задержал и испортил, в пору торжества так называемого «нигилизма», — журнальную деятельность таких устойчивых и исторических писателей как Ф. Достоевский, Н. Страхов и Н. Данилевский. После этой-то истории, все испортившей, Страхов и остался даже без возможности купить себе чаю. Но я возвращаюсь к его бесшумности. В то время как о нем и вокруг него шумели и скандалили, он остался по-прежнему тих. В этой тишости, если к ней внимательно присмотреться, заключалось самое высокое изящество: вечное, неустанное движение мысли около самых высоких тем человеческого и мирового существования. При первом чтении его книг Страхов представляется даже компилятором. Целыми страницами идут у него выписки из других, старых и современных писателей, философов, ученых. И кажется — в них центр тяжести. Только потом видишь, что центр лежит в бесшумном существе, которое около чужих камней, между чужими камнями тклет таинственную золотую паутину, вовсе в камнях тех не содержащуюся, нисколько из них не вытекающую, а всю вышедшую из его существа и представляющую новое и самобытное явление природы. Как-то он мне писал: «Я боюсь неясных движений мысли и чувствую себя тверже, когда передо мной определенное мнение другого человека, о котором я и говорю, уже совершенно ясно, с ясным началом и концом». Всякую свою работу, с первых же начиная строк, Страхов опирал на чужую работу, на чужие мысли и слова, но то были служебные опоры, от которых только начиналась работа. И далее она велась опять до чужой мысли, до чужой работы, до выписки из другого писателя. Но вы замечали, что он их всех отвергает, критикует или вводит в свои рамки и что, стало быть, его работа не есть конгломерат чужих работ, но всецело и единственно его труд, лишь механически прицепленный к чужим трудам. Паутина в лесу, или настилка художественного чугунного моста на трех-четырёх гранитных быках — вот работа Страхова.

С. А. Рачинский ценил его труды выше, чем Н. Я. Данилевского, т. е. чем «Россию и Европу» и «Дарвинизм». Так он мне говорил. Перехожу к нему. Язык его не имеет той тишины, переходящей в недвижность, как у Страхова. Выдержек из других писателей вовсе нет. Критики — нет. Рачинский говорит только свое и от

себя, языком не страстным, даже не волнующимся. Ни кипения, ни брызг нет, но это в высшей степени свежая вода, зачерпнутая из кристального горного источника. Никакой мути, ничего стороннего и особенно никаких следов загрязнения. Язык Леонтьева мне лично более нравится, чем у них обоих, — но я слишком со-
знаю, что такое мое суждение есть личный предрассудок. Слишком очевидно, что Леонтьев страдал неизмеримо больше их обоих и несравненно пламеннее
любит свои убеждения, может быть, свои предрассудки, суеверия. Отсюда выте-
кал его стиль. В марте или феврале, умываясь невскою водою, вы чувствуете, что
она с льдистыми иглами. Вот сплесните воду в сторону: и куча исчезающих тон-
чайших льдинок выразят природой, остротой, колючестью своею прелестный ¹⁰
(для меня) язык Леонтьева. Его «Национальную политику, как орудие всемирной
революции», согласны вы или не согласны с ним, можно ненасытно читать и пе-
речитывать, чаруясь просто языком, немзыкальным, неправильным, но ко-
лющим и мучающим тоской, недоумением, гневом, нежностью душу вашу. Ре-
шительно Леонтьева невозможно не начать любить как человека, как мученика
и страдальца своих идей, — никогда его не выдав в лицо и только начав читать его,
я решусь сказать, творения. И с тем вместе весь цикл его идей, например, с тепе-
решних моих точек зрения, представляется просто вздором, именно предрассудка-
ми и суевериями. Но красота души его и писаний остается совершенно независимо ²⁰
от их истины. Я заметил, что красота голоса была и у Каткова. Но у последнего
это какая-то дельная, нужная для дела красота. Граммофон гремит полезную
сейчас арию. Что за душа была у Каткова, что он любил, чем страдал — неизвест-
но, да и не интересно. Когда была нормировка сахара, он не любил сахара и писал
против сахара (я конкретно помню эти статьи, начинающиеся: «Сахаром живет
Россия или хлебом, вот вопрос» и т. п.). Помню и столь же, например, конкрет-
ную статью Леонтьева по поводу юбилея Фета, на котором он не мог почему-то
быть: «Вы все собрались во фраках... черный фрак и белоснежная грудь рубашки
составляют торжественно-парадный костюм европейца. Когда мы торжествуем,
праздничны — мы одеваемся в траур»... И пошел, дальше, больше, выше и выше
подымаются круги орла: и как из-за облака орлу видны и одно море, и другое, ³⁰
и все страны... так с Леонтьевым вы вечно видите не сахарную нормировку,
а всемирную историю, политику и философию. Этот головокружительный писа-
тель, и пусть даже ни одного более истинного слова не содержится в его *orega*
omnīa. Никогда его не видел, я состоял с ним в долгой и, так сказать, тревожно-
страстной переписке: так действуют его труды. Подобного действия, подобного
могущества в действии не было вовсе у Рачинского и Страхова. Они внушали по-
чтение, уважение; признание их заслуг; но все это было тихо, благоразумно! Все
было похоже на святые воды Силоамской купели, которых не возмутил ангел.
А Леонтьев и давал вот именно такое «возмущение»...

Да будет мне прощен этот личный вкус и личное пристрастие, может быть ⁴⁰
полненное ошибок. Я взялся за перо, чтобы собственно поговорить об одном
только из этих трех писателей, недавно умершем С. А. Рачинском. И даже чтобы
не столько от себя дать его характеристику, сколько дать место отрывкам из его
писем, могущим напомнить дорогое лицо слишком многим людям, его лично
знавшим. Он однажды подвел меня в библиотеке своей к шкафу с страшно тол-
стыми книгами, на корешках которых были золотом отгиснуты годы: «1869,
1870». «Что это?», — спросил я. Он сказал, что уже за много лет собирает этот

«обоз к потомству» (его выражение): именно, тщательно регистрирует и снабжает необходимыми своими примечаниями получаемые им из всех мест России письма от священников, учителей, частных лиц, «алчущих и жаждущих правды», каких всегда в каждом десятилетии много, и частью от знаменитых лиц, по государственному, научному или литературному положению. «Им место в Публичной библиотеке уже заготовлено,— сказал он мне:— все переговоры сделаны, условия заключены и после моей смерти их придется только перевезти в Петербург». Можно быть уверенным, что эта воля его будет священно исполнена. Грешный я человек: много ходов мысли, которых нельзя было изложить в печати, я изложил в письмах к нему, и как-то осторожно ему написал, что это не столько для него я пишу, сколько предполагая, что он писем не теряет. Он с живостью мне отвечал, как бы располагая писать более, что ни единый листок, адресованный к нему, не минует этих переплетов и шкафов. В последние два года, когда мы с ним почти вовсе разошлись по разным вопросам, он написал мне колко: «Прекрасно вы делаете, складывая в татевский архив тот отдел ваших ореха отпиа, который вы предназначаете потомству. При получении каждого из ваших писем благодарю Бога за то, что оно будет храниться у меня, а не попадет в петербургскую печать». Взаимно слова наши уже только звенели друг для друга, а до сердца не доходили.

20 «Я погружен в материальные заботы о школах. Тут и ремонт, и всякие запасы, учебные и хозяйственные, на зиму, и т. д.». Нужно заметить, при очень многих школах его ученики жили, а не приходили только по причине далекости родительских домов. «В татевской школе перекладка печей прервала воскресные беседы, с осени возобновившиеся с особым оживлением: летом я был не в силах их вести. Мой адъютант, специалист по рассказам из „Жития святых“, отличается. У нас гостит * Софья Николаевна, пользуясь последними днями вакационной свободы. Деятельность ее по двум школам, мужской и женской, изумительна. И она ведет воскресные беседы, посещаемые толпою народа. Лучший ее помощник — диакон из моих учеников. На днях и в Татеве водворится диакон из них же (т. е. учеников Р-го) и первую зиму будут жить и учить в школе. Я на этот счет стал совершенно негодным (т. е. от слабости и лет). Все жалуются, и не без основания, на неудовлетворительность наших сельских причтов. Но ведь никто пальцем не шевельнет для их улучшения. А дело в наших руках. Я это узнал на опыте. Сколько вокруг меня выросло помощников, и сколько еще сил я растратил (т. е. передал выученных учеников учителями в другие губернии). Вот сиротка из крестьян, вскормленный и воспитанный мною (следует имя и фамилия, опускаемые мною), назначен епархиальным наблюдателем над школами (называется губерния). Между делом занимаюсь моими письмами. Их набирается до 100 томов, по 80—100 писем в каждом. К каждому письму приложены белые листы для необходимых примечаний. Все вместе будет завещано Публичной библиотеке и составит материал, драгоценный для будущего бытописателя. Глядя на эту библиотеку, с ужасом думаю о том, что столько же писем написано мною, написано необдуманно и спешно, по множеству иного дела, и что за всякое из этих писем я отдам отчет в день судный. Да хранит вас Бог. Преданный вам С. Рачинский».

30

40

* Позволяю себе назвать собственные имена письма, дабы многочисленные люди, заинтересованные школами С. А. Рачинского, в точности видели, что он оставляет после себя людей, могущих продолжить его дело. Названное в письме лицо — двоюродная сестра С. А. Р-го.

Этот тон удивительно шел, так сказать, к осеннему складу его души. Он и на свое время смотрел, как бы уже на прошедшее, а прошедшее оживало для него, как современное. «С великою радостью, — пишет он в другом письме, — узнал я о выходе в свет X тома барсуковского „Погодина“. Именно на Страстной дочитывал я томы VIII и IX, в первый раз прочитанные мною с пропуском. Чтение этой книги — прогулка по Елисейским полям: читателя обступает весь сонм дорогих покойников, озаренный ровным и кротким светом, примиренный вдумчивым беспристрастием автора. Говел я на Страстной, как всегда, разговлялся в школе, празднично убранной, с сотнею ребят, и до сих пор утомлен до крайности. Дай Бог дотянуть этот учебный год. Пение и чтение в Великую субботу, на Пасху, в Благовещение были удачнее, чем когда-либо, благодаря умножению *взрослых* (курсив письма) певцов и чтецов. Толпа слушателей на воскресных беседах все увеличивается. Но принялся я за дело слишком поздно. Работаю я только (не описка) 21 год, и силы мои истощены. Еще столько же лет работать и остался бы след»... Какой удивительный тон, и неясный смысл последних строк. Что касается до курсива о взрослых певцах, то, будучи раз в Татеве, я с изумлением тоже услышал как бы нелюбовь Серг. Алекс. к маленьким, отроческим голосам в хоре, — на мою и, кажется, на всеобщую оценку, составляющим главную красоту хора. Конец письма — опять о Барсукове; выразив уверенность, что деньги на издание последующих томов будут найдены, он прибавляет: «Но надвигается новое затруднение: появление на сцену лиц, еще живых. Надеюсь, впрочем, что царствование Николая может быть доведено до конца в прежней полноте. Моя коллекция писем все разрастается и очень пригодится Барсукову XX века».

Жизнь его за последние годы уже едва теплилась — и все около школы и народа; и он умер, как часовой на часах с ружьем. «Здоровье еще так плохо, — писал он мне, однако лет за пять до кончины, — что дальше Белого и Дунина (село с постоянным двором на переезде от Татева до Белого) я добраться минувшей зимою не мог, да и эти небольшие поездки не обходились без последствий весьма неприятных. Не лучше моего и здоровье сестры (родной, владелицы Татева); но мы бодро боремся с нашими недугами и стараемся делать, что можем, в пределах нашей микроскопической деятельности. Вижу из вашего письма, что вы заразились одною из петербургских болезней — суеверным преувеличением размеров правительственной власти в деле направления умов и общественных настроений. Иллюзия эта естественна вблизи от источников власти, действительно великой. Но есть власти невесомые, еще более действенные; органы этих властей — люди мысли и слова; и эти власти владеют владеющими... Этим летом не был я в силах учить. Дай Бог, чтобы удалось дотянуть будущую зиму, — двадцатую. За лето выстроил две школы. Продолжаю вести воскресные беседы. Слушают с трогательным вниманием. Николай (Н. П. Богданов-Бельский) предпринял написать картину, изображающую одну из этих бесед. Чтецом будет изображен один из моих учеников — диакон, в числе слушателей будет помещена и моя фигура. Ребята мои украшают эти беседы пением, Николай (Н. П. Богданов-Бельский) беглыми рисунками, относящимися к прилучившемуся чтению. Сегодня я застал на школьном крыльце старичка-крестьянина, любующегося цветами, разведенными вокруг школы, и услышал от него следующий комплимент: „Какой вы, С. А., *благодетель* (курсив письма)! Как у вас все цветет, как у вас все зелено и красиво!“. Пишу теперь для новых двух школ тропари, воскресные и празд-

ничные, в громадных размерах с роскошными заглавными буквами, и знаю, что и это ребячество будет оценено. Новая больница у нас освящена. Она прекрасна, и всего лучше в ней — моленная. Хожу туда каждый вечер читать молитвы на сон грядущим. Школьная братия приходит петь, к великому утешению больных. Так как больница в нашей разбросанной усадьбе занимает положение центральное, приходит много и постороннего народа. На заводе Нечаева-Мальцева (невдалеке от Татева) строится церковь, большая, каменная. Это для меня событие, ибо тамошняя школа мне поручена, и многое в ней не могло до сих пор быть приведено в должный порядок за отсутствием церкви и священника. Дровинская
 10 (село) школа, в которой подвизается бывший мой помощник Лебедев *), окончательно разрастается в учительскую семинарию. Обе Меженинские (село близ Татева) школы процветают. Одна из них — помещение для меженинских девочек (т. е. вроде приюта для сироток). Вчера получил для нее от Вани Петерсона прекрасную икону Спасителя».

Этот «Ваня Петерсон» — мальчик из местных инородцев, принявший православие. На стенах татевской школы я видел рисунки его, необыкновенного изящества, и все, помню, возвращался, чтобы полюбоваться ими. Он не вырос во всероссийскую величину, как Богданов-Бельский, но стал изящным и полезным местным живописцем.

20 В этом тихом Татеве росли однако мысли самых далеких перспектив и обобщений. Мы раз коснулись смерти народов, почти столь же неизбежной, как смерть организмов, и наступающего упрощения у таких народов зора жизни, как предсмертного признака. Говорили об этом в связи с падением в Европе сословий и обезличением наций под давлением технического и международного прогресса, при установлении везде одинаковой администрации, сходных законов. Он мне писал: «Все попытки объяснить явления сложные сравнением с явлениями более простыми поспешны и односторонни. Организмы коллективные — природа, человечество — неизмерно сложнее и живуче организмов индивидуальных. Объединение, обезличение — действительно сопровождают всякий регресс;
 30 но не всякий процесс этого рода есть прелюдия смерти. Человечество уже пережило две эпохи, аналогичные с нашей в пределах orbis terrarum antiquus **. Это — культурное объединение, под обаянием греческого гения и римской силы, и средневековое объединение, под влиянием католической церкви, рыцарства, крестовых походов; и оба раза за этими процессами последовало большое расчленение, новая индивидуализация процессов культурных и политических. Переживаемое нами объединяющее, обезличивающее движение несравненно шире. Оно вполне поглотило Японию; оно разъело Турцию, Египет, Персию; оно давно охватило образованные классы Индии; в нем участвует Австралия и обе Америки. И это отнюдь не только распространение культуры европейской. Одновременно с этим последствием в европейское сознание широкою струей влились
 40 элементы восточной метафизики и этики. Все эти данные предвещают не смерть, а новое пробуждение исторического творчества, культурной индивидуализации, более широкое, чем то, которое ознаменовало начало Христианской эры и эпоху Возрождения. Нет сомнения, что одним из главных театров этого процесса будет

* Одним из талантливейших выработанных С. А. Р-м педагогов. Вообще, Р-ский умел находить таланты — и двигать их в соответственном направлении.

** мир античности (лат.).

Россия, столь чуткая к западным влияниям, столь тесно связанная с Востоком своими историческими судьбами».

Замечательна здесь мысль, что не только мы Востоку даем, но и сами кое-что, притом жизненно и серьезно, у Востока берем; что мы не только покоряем Восток, но частью и смешиваемся с ним. Процесс в других формах, но все же аналогичный тому, какой для Греции наступил после Александра Великого; ведь греки еще более, чем мы, считали персов «варварами». Вспомним наши серьезные книги о Китае, буддизме, реставрирующие экспедиции на место древних Ниневии, Вавилона, Фив. Вспомним даже нашу Блаватскую и смесь в ней простодушия и серьезного. Как будто у нас является любопытство ко всему миру. Точно Европа идет и будит кости мертвецов... Уже не перед Страшным ли Судом? «Восстаньте все и посмотрите суд над блудницею». Но ведь кто же бы явился ею, как не она сама? Впрочем, может быть, все кончится мирною электрическою и научною эпохою, вроде Александрийской. Может быть, вообще религиозные и мистические ожидания не по аршину земли скроены, и наша планетка замерзнет самым рациональным образом, так сказать, уснет без ангелов и дьяволов. «Воображение людское, воображение Востока...». Будем думать, что все кончится рационально.

Об усопшем хорошо сказать то, что он сказал о другом усопшем. Вот грустные и вместе светлые строки, в каких он передал впечатление от кончины престарелой и добрейшей родственницы своей, жившей в Татеве: «Вчера тихо и радостно, после долгих страданий, скончалась наша двоюродная сестра. Перед самою смертью она любовалась отблеском утренней зари на деревьях, убранных инеем, прощалась с живыми, говорила о свидании с умершими...». «Отблеском инея...», Боже, неужели «там», за гробом, этого не будет? Не будет хорошего нашего? Говорится же о каких-то «деревьях» там, плодах, цветах? Но тогда отчего же и не «утренний иней», эта особая и исключительная красота зимнего дня? Как хочется быть «мистиком» и поверить, что нашими чувствами, уже освоившимися со здешним, мы и там ощутим что-то подобное здешнему? Если *это-нибудь* «там» есть — есть наше! И цветы, и деревья, и даже иней! И, конечно, родные и ближние, но все в «преображении», в новом блеске и славе. Хризонида, наше тело — умрет; туда выпорхнет — бабочкой. «Все уже иное и однако все то же я...». Гроб не есть отрицание ни души, ни ее бессмертия. Гроб — только для хризониды...

Так, будем верить, и татевский отшельник теперь — среди ближайших и родственнейших душ, чем пока был здесь.

ДМ. КАЙГОРОВОД. ИЗ РОДНОЙ ПРИРОДЫ

Хрестоматия для чтения в школе и семье

Издание А. С. Суворина. С.-Петербург. 1902. Стр. VI + 258

Книга составлена из стихотворений и из прозы, выбранной из всей русской литературы и относящейся к природе. Тут есть и общие картины («Дерево», «Чернолесье», «Осенняя картиночка», «Весна» и проч.), и частные описания,

зоологического и ботанического содержания. Последних гораздо более. Наконец, наука тут чередуется с вымыслом, например, «Лесная сказка» самого составителя хрестоматии. Все статьи кратки и рассчитаны для отрочества и юношества, рассчитаны для матерей, занимающихся с детьми. Можно сказать, книга подводит к дверям ученого кабинета, но не вводит в него; она вся живет и дышит атмосферой классной комнаты детей, маминой гостиной и столовой, где шумит молодая семья около старых родителей. Книга эта — как бы оживленный разговор перед экскурсией или после удачной экскурсии, где песня мешается с рассуждением и наука не убивает резвости.

¹⁰ Поэт, ученый и педагог удачно скомбинировались в г. Кайгородове. Он вдохновлен природой и сам вдохновляет ее мыслью, догадками, воображением, любовью, словом. Его «Цветочный календарь» (стр. 57–60) — это умный, размышляющий гимн природы; или, скорее, как регент настраивает певца, так автор советами и указаниями в этой статье настраивает душу вашу, душу всякого читателя, к благоговейному чувству природ, к умственной молитве перед ее чистым и благородным, оживленным и изменяющимся лицом. Ибо природа поистине имеет лицо, — как имеет лицо, вид и выражение старое... чуть не обмолвился «седое», дерево, с которым можно здороваться, говорить, прощаться.

²⁰ Семья есть природа в нашей биографии, как сама природа вся проникнута семьей, семейным духом, семейным строем, так сказать, и в научной своей части, и в поэтической. Все семейно там происходит и семейно выражено, «красуется». *Natura — dea creatrix* *, так и хочется повторить древних. Вот отчего призыв наших детей, нашей русской семьи, нашей педагогики к осмысленному и живому общению с природою так своевременен и покоится на могучем фундаменте родства семьи и природы, детства и природы. Фундамента этого ничто не разрушит.

Настоящая книга относится к очень живому моменту нашей школы. В предисловии автор отвергает возможность сухих учебников для вводимого в гимназиях нового предмета, «природоведения», — и говорит следующее о постановке преподавания его:

³⁰ «Чувство природы должно быть развиваемо в детях с самого раннего возраста; чем позже, тем это делается труднее. В школе этому послужит предмет природоведения, начинающийся с первого года классного обучения; в германских школах дети начинают его с шестилетнего возраста... Естественный и единственный верный путь для успешного культивирования чувства природы — это возможно частое общение с природой и возможно большее ознакомление с предметами и явлениями окружающей природы. Отсюда — необходимость возможно частных экскурсий в природу и очевидная необходимость построения предмета природоведения на *местной* природе. Ясно, что при таком порядке вещей, для учебников, в общепринятом смысле, по предмету природоведения младших классов школы не может быть места. Для каждого города, — и даже школы, —
⁴⁰ пришлось бы составить свой учебник. Но и совсем без книги обойтись трудно. Наиболее соответствующими цели являются сборники очерков и статей о предметах и явлениях в различных царствах родной природы, — сборники-хрестоматии для чтения, приуроченные к пониманию детей младшего и старшего возрастов. Соответственно своей цели, такие хрестоматии отнюдь не должны отдавать сухостью учебников».

* Природа — богиня-созидательница (лат.).

Автор объясняет далее, что он дает первую начальную книгу по природоведению для школы, собирая уже материалы для второй и третьей. Он просит в предисловии критику дать полезные для дела указания. Нам кажется, ему следовало бы внести сюда несколько руководственных указаний собственно для экскурсий: где собирать растения и животных, *что* собирать, *как* сохранять собранное (напр., о засушке растений без повреждения колера цветов). Ибо книга его попадет не в гимназию только, но и в семью, где не будет руководителя-наставника. Это — относительно педагогики. Что касается поэтической стороны собственно *содержания* его книги, то позволим себе указать, что во 2-й части «Хрестоматии» желательнее бы увидеть больше отрывков из С. Т. Аксакова и из «Записок охотника» Тургенева (в первую часть из них почти ничего не вошло), а также — дивную по красоте, полноте и религиозности драматическую картину встречи весны — колокольчиками цветов, тучками небесными, летящими журавлями и проч., которая находится в начале «Дон-Жуана» гр. А. К. Толстого. Монологи, здесь написанные, необыкновенно одушевлены, стих их прекрасен, и все целое страшно влечет природу и религию к взаимной встрече, как бы к объятию и лобзанию. Вообще на А. Толстого следует обратить большое внимание при вопросе о соединении чувства поэзии с чувством природы.

Первая часть «Хрестоматии» необыкновенно удачно начата стихотворением «Когда волнуется желтеющая нива» Лермонтова. Это действительно — «введение» вообще к природе в нашей русской поэзии. Тут и «малиновая слива», и родной «ландыш» — все уже пахнет экскурсией, веет русскими детьми, расшалившимися в березовой роще, или русским мыслителем-странником, вдруг остановившимся среди леса, задумавшимся, зачарованным, вдруг пораженным тайным и дивным «лицом» мира, ему открывшимся и в купах деревьев, и в хорах кузнечиков и птиц.

**АЛЬБОМ ВЫСТАВКИ
В ПАМЯТЬ Н. В. ГОГОЛЯ И В. А. ЖУКОВСКОГО,
устроенной Обществом любителей российской словесности
в залах Исторического музея
21 февраля — апреля 12 1902 года**

*Исполнено художественной фототипией К. А. Фишер.
Москва. 1902 г.*

В альбоме помещено 180 снимков с портретов двух названных поэтов, какие только можно было достать, с их родных, друзей и знакомых, с картин и рисунков, изображающих местности, где они жили, их собственноручных рисунков и проч. Здесь, между прочим, мы находим портреты известного отца Матвея Константиновского, ржевского протоиерея, и протоиерея Павского, знаменитого не первую попытку дать точный перевод Библии с еврейского языка на русский. Останавливаемся на портретах гр. Виельгорских, Кулиша, Шевченка, И. В.

и П. В. Киреевских, К. К. Павловой и ее мужа, А. О. Смирновой, четы Одоевских, Н. и В. Елагиных, Зонтаг и проч. Все это необыкновенно интересно, и человек, любящий нашу литературу и ее деятелей, с любопытством смотрит на обстановку, в которой они жили, и на людей, с которыми постоянно они виделись. Все это необходимое пособие к истории литературы, и нужно пожелать, чтобы подобные выставки устраивались чаще и собирались полнее. Но насколько трудно собрать подобную выставку, настолько представляется необходимым как можно лучше запечатлеть и сохранить для общего пользования собранное. Вот почему издание подобных альбомов должно быть как можно тщательнее, чего мы далеко не находим в настоящем издании. Формат его слишком мал, имея вид книжки in 8°, и рисунки — притом особенно интересные, бытовые — сливаются. В свое время был гораздо лучше издан in-folio альбом Пушкинской выставки, и г. Фишер хорошо бы сделал, если бы последовал своему тогдашнему образцу. Но нельзя все-таки не поблагодарить его и за то, что он сделал.

К ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. Н. СТРАХОВА

*Н. Н. Страхов. Критические статьи (1861—1894). Том второй.
Издание И. П. Матченко, Киев, 1902*

В последние годы имя Страхова до такой степени отсутствовало хотя бы в упоминаниях журналов и газет, что, казалось деятельность почтенного писателя окончательно погребена забвением, что имя его еще существует, кем-нибудь помнится, но деятельность, определенные его мысли и убеждения окончательно забыты, пренебрежены и никому более не нужны. Тем приятнее было узнать из предисловия к вышедшей в июле книжке «Критические статьи», что в то время, как критики и рецензенты забыли Страхова, читатель его не забыл. Оказывается, сборник критических его статей о Тургеневе и Толстом вышел в 1901 году уже четвертым изданием, а два первых тома «Борьбы с Западом в нашей литературе» вышли в 1897 году уже четвертым изданием. Но издательство трудов его перенесено в Киев, по месту жительства наследника его литературных прав, г. Матченко; в газетах почему-то не было объявлений о выходе новым изданием его книг; и единственно по этой причине казалось, что Страхов забыт и погребен. Лежащий перед нами второй том его «Критических статей» включает в себе труды, не вошедшие ни в один из его предыдущих сборников, и представит новое и интересное чтение для тех, кто хранит память покойного. Важнейшие статьи в нем посвящены Н. А. Добролюбову и воспоминаниям об Ап. Ал. Григорьеве и Достоевском. Но очень интересны и мелкие критические и публицистические статьи, наполнявшие, так сказать, хронику нашей журналистики 1861—1894 годов. Известно, что Гегель имел «правую» и «левую» часть последователей; «левые гегельянцы» и «правые гегельянцы». Также и шестидесятые наши годы имели «левых шестидесятников» и «правых шестидесятников». «Левые» вышли победителями из борьбы. И «правые», куда следует отнести Ап. Григорьева, Н. Страхова, Н. Данилевского, Б. Н. Чичерина и еще многих других, меньших, испытали всю тяжесть

поражения и торжество победы противников в том, что они не привились к жизни, не вошли в реальную действительность реальною частью, до известной степени — умерли. Они очень умны, учены, образованны. В этом отношении они превосходят противников, и, вероятно, победителям самим было бы конфузно отрицать это. Но они не имеют (многочисленных) читателей. Что такое писатель без читателя? То же, что невоплотившийся ангел; ангел, который пролетел, но его никто не видел. Помимо талантов, гения, есть еще важнейший фактор всемирной литературы: любимость, читаемость. Это воплощение писателя; без него... небо точно подумало о земле, но так и остановилось на этом, ничего не сказав. Одна из самых грустных судеб человека, какие только можно представить себе. 10

Вот в эту зиму начнется административное и всяческое другое подготовление к основанию сельскохозяйственного женского института в Петербурге; не так давно сообщалось о громадных миллионных постройках женского же медицинского института здесь, и инициатива и устройство которого в значительной части обязано частной инициативе и хлопотам. Спросим, если бы восторжествовала в литературе «правая сторона» шестидесятых годов, и любимейшими писателями публики были Чичерин, Страхов, Григорьев, Данилевский, а Майкова, Полонского и Фета также цитировали бы все гимназистки, как Надсона и Некрасова: положе руку на сердце, можно ли сказать, что Россия, надышавшаяся этими писателями, так сказать, выдохнула бы из себя в заключение медицинский женский институт? А он нужен. Сам я наблюдал в Бельском уезде Смоленской губернии в 1892—93 гг. самоотверженную деятельность женщины-врача: на пунктах крестьяне собирались к доброй врачующей барыне сотнями, собирались с нуждою, любовью и доверием; а в городе Белом мне опять же пришлось видеть случай, что два врача-мужчины, растерявшиеся при тяжелом случае операции, были поддержаны энергией, умом и распорядительностью этой же женщины-врача, позванной последнею; и случай, хотя все же кончился смертью, но уже от истощения, вследствие потери крови пациентом, которому было сделано все, что нужно, этою женщиной-врачом. Вот когда посмотришь на эту страду жизни, то и подумаешь: а, что, нужен ли медицинский институт России? — Нужен. — Был ли бы он построен при торжестве наших «правых гегельянцев»? — Нет; не то, чтобы они противились этому, они даже сочувствовали бы, чуть-чуть даже просили бы об основании его. Но это было бы все вяло, все отступило бы назад при первом отказе; и они не умерли бы от тоски и даже очень бы не обеспокоились, если бы им сказали твердо: «Призвание женщины есть семья; в России есть восемь медицинских факультетов — и этого достаточно для удовлетворения всех ее потребностей, как об этом говорит статистика, данные которой у нас в руках». Они бы успокоились: «в самом деле — статистика; к чему женщинам трупорассекание; сохраним Татьяны Милой идеал, ибо это вечное. А народы живут вечным». И крестьянские бабы в Бельском уезде остались бы без помощи, и трудная операция протекла бы еще хуже. 20 30 40

А значит, и торжество «левых» было не только провиденциально, но и хорошо, нужно, благодатно. Бог — за полезное. И когда люди мечтают, Он — подает людям хлеб, ибо ведь Он сотворил мир и Ему нужно не то, чтобы в мире развивались хорошие, но нереальные мечты, но чтобы он был, главное, цел и накормлен. Вспомним у Тургенева то «стихотворение в прозе», где Бог обдумывает уве-

личение мускулов у блохи, ибо без этого органическому виду пришлось бы вымереть.

60-е годы в их восторжествовавшем течении были преддверием громадного раздвижения реальной России. Страхов и вообще все «правые» тех лет, хронологически принадлежат к 60-м годам, всем наклоном своей деятельности, всеми своими идеалами принадлежали к 40-м годам, и вообще к прошлому, а не будущему в отношении к точке современного им перелома. Их идеалы — более образованны и одухотворены. Но они несравненно менее жизненны, сочны. Во всех их нет энергизма. Напр., читая Страхова, всю его печальную и неудачную «борьбу с Западом» (беру как общее понятие заглавие его литературного сборника), — видишь, что нисколько он не борется с Западом, а любит этот «Запад» бесконечно, как и полемизируя с «Современником», он, в сущности, любит и почитает живую свою эпоху, но... все это без энергии, без сока, без силы удара и устремления. Вся его критика 60-х годов есть критика мелочей 60-х годов и борьба против уродств их, — мимо которых просто следовало пройти молча, веря в здоровье своего времени и что «перемелется — мука будет», т. е. что шелуха пшеницы ответится в сторону, а ценное зерно — останется. Между тем у недалекого и легкомысленного читателя могла возникнуть идея, что вечная полемика с «Современником» выражает нерасположение к самому зерну 60-х годов. Неосторожностью своей Страхов сам накиннул на себя некрасивый и неверный убор, который за ним даже и посмертно остался. Он бежал за торжествующею колесницею преобразовательной эпохи, крича: «осторожней». А издали казалось, что он хватался за ее колеса и пытался остановить ее, — что неверно. В конце концов Страхов глубоко неудачен исторически: он неосторожно (и не верно) выбрал себе позицию, избирал для себя темы; и человек необыкновенной тонкости ума и изящества души прошел для жизни нашей бесплодно или принесся самый скудный, незаметный плод.

У него не было, напр., стиля. Что такое стиль? Все говорят, что это есть выражение лица писателя. Какой стиль у Данилевского, Григорьева, Страхова, Чичерина? У Григорьева — запутанный, а у остальных — никакого. Они писали обыкновенным журнальным или обыкновенным газетным языком, ясным, правильным, но всеобщим; и писали умные и образованные вещи. Но, напр., у Добролюбова был стиль, не смешивающийся с другими, личный; и начало, зародыш своего стиля был у Писарева и Белинского. Стиль и есть энергизм души, тот таран, которым писатель режет воду, а при столкновении топит неприятельский корабль. Стиль есть прелесть индивидуальной души, подчиняющая себе читателя, заражающая его собою часто даже вопреки невысокому содержанию мыслей. На этом основано, что сыграли большую роль в истории писатели даже не очень глубокие, но, безусловно, нет писателей с большой исторической ролью и вместе без всякого личного стиля. Как только вы находите влияние писателя на толпу, обаяние — вы находите за этим стиль; и когда вдумывается, «да откуда это идет» — увидите, что это непременно отвечает нужному в истории, есть некоторое в ней «посланичество» и, пожалуй, мы лишь немного преувеличим, если «стильную» сторону в речи писателя назовем «пророчественною» (бессознательной и вместе могущественной). Гоголь покорила Россию не только содержанием своих мыслей, темами своих произведений, но тем, как он это все выразил, своим «стилем», могучим языком, образом, словооборотами.

Вот этого режущего волны и топящего корабли тарана не было у Стрхова, да и у всех «правых» тех лет, т. е. они были все обращены назад в истории, ничего в ней не имели нового выразить. То же можно сказать о трех поэтах, любимцах Стрхова, Фете, Полонском и Майкове. Да не побьют меня за это современные поэты камнями. Если сравнить их с Некрасовым, опять мы увидим, что у Некрасова есть стиль, «свой стих»; что с ним и в нем родились новые размеры, короткие, резкие, насмешливые; тогда как несравненные по грации названные поэты были однако грациозны общечеловеческой грацией; пели хорошо как греки или хорошо как Пушкин, но ничего особенно и по-новому не спели «как Фет», «как Полонский», «как Майков». А Некрасов «спел как Некрасов» и как больше никто. 10
 Где миссия в истории — там новая проза и новый стих. Говоря так, я нисколько не сомневаюсь, что и Фет, и Полонский, и Майков выше, *лучше* Некрасова. Я не о качествах говорю, а о роли в истории, о «посланничестве», «пророчестве»: они были обыкновенные люди, хотя хорошие, а Некрасов, может быть, и плохой, но все же немножечко «пророк», в полном смысле слова необыкновенный, выходящий из ряда вон, выхваченный из «дюжины» небом. Без стиля — в дюжине; со стилем — особые, особая категория.

Когда думаешь о таких высочайших качествах души людям, как Стрхов, то сперва долго (долгие годы) скорбишь об их участи, но кончаешь стихом:

Спящий в гробе — мирно спи,
 Жизнью пользуйся живущий.

20

Зачем они шли против Бога и, путаясь, мешали своей истории? Все равно, они ничего не удержали своими криками: «осторожней», своей вечной и вечно мелкой критикой. Ударной силы в них не было, и даже в качестве корректоров к «Современнику» они были безуспешны, ибо все их «корректуры» не были приняты. Божие — совершилось. Книга истории перевернула свой лист, именно тот, который был на очереди. В чем выразилось влияние Стрхова? Ни в чем. Если люди поумнели (и чрезвычайно) после 60-х годов, то не от чтения сочинений Стрхова. Были другие важные причины и обстоятельства. Нисколько не в силу чтения Данилевского, Григорьева, Стрхова Русь стала более русскою, стала осторож- 30
 нее, задумчивее, оглядчивее назад. Я сказал, что шелуха ответея — и тут именно не какие-нибудь писатели насторожили русский ум и несколько углубили русское сердце, а исторический ветер, дуновения великих событий отбросили все легкое, оставив лежать на земле доброе зерно. «Стриженные» 60-х годов минули; все остроумие Тургенева оказалось на этот счет так же тщетным, как и критика Стрхова; а медицинские знания женщин применяются в народе. Между тем ни Стрхов, ни Тургенев не сказали ни слова о серьезном образовании серьезных женщин; они только явили «безобразия». И умерли (в этих шутках) — с ними, а когда серьезная часть выросла — ее невозможно отнести, как к инициаторам, ни к Стрхову, ни к Тургеневу, которые могли бы жить живою частью в этом жи- 40
 вом плоде своего слова. Так совершается история. Между тем мне известно, что Стрхов глубоко сочувствовал высшему образованию девушек; но отчего же он так неудачно выбирал себе темы? Люди без стиля обыкновенно бывают с ошибками. Они путаются в истории, зато история путает их шаги.

Страхов остался вне живого и положительного движения нашей истории, он лежит на проселочной его дороге. Место это — не главное, но может быть привлекательным. Роль его среди критиков и мыслителей русских подобна роли Баратынского среди поэтов, или, пожалуй, подобна роли его любимцев Фета, Полонского и Майкова. Он все-таки навсегда останется избранным собеседником избранных умов, не переходя только в толпу, в народное движение. В Александрийский период греческой образованности мало ли было прозаиков и поэтов, без творчества, но прелестных питателей ума и сердца, которые прошли и средние века и дошли до нашего времени. Если Страхов не жил в свою эпоху, никакой нет причины для него не жить в первом и во втором, даже в четвертом и пятом десятилетии XX века, ни на каплю не меньше, нежели в 70-х и 80-х годах XIX. Решительно нет причин Страху стариться, как он никогда и при жизни не был молод. Ума у него будет достаточно на весь XX век, и никогда ни одному читателю не только сейчас, но и через сто лет он не покажется наивным, «устарелым», неинтересным. У него не было никакой энергии, но его критика, несчастная и неудачная критика, вовсе никому в свое время не нужная, вытекала, однако же, из необыкновенной утонченности ума, воспитанности сердца, изящества всей натуры и необозримой начитанности. Эти качества не делают человека историческим, но сочинения писателя они сделают любимой пищей для ума спокойного, не торопящегося, избранного. Всякий, кто будет изучать Пушкина, непременно прочтет и «Заметки о Пушкине и других поэтах» Страхова; кто возьмется за Тургенева и Толстого — перечтет и первый том его «Критических статей»; кто будет изучать естествознание — найдет бездну для ума своего в его книгах: «О методе естественных наук» (2-е издание 1900 года), «Мир как целое» и «Об основных понятиях психологии и физиологии». По всемирному, можно сказать, разнообразию областей, его занимавших, и по великой самостоятельности и крепости суждения Страхов составляет гордость нашей литературы, нашего русского ума. Если бы какой-нибудь иностранец, заслуживающий серьезного ответа, спросил бы: «Ну, а кто же у русских был настоящий, последовательный и строгий, надежный мыслитель» (подчеркиваю «надежный»), только неосторожный в ответе на такой вопрос указал бы на Соловьёва, а опытный назвал бы имя Страхова. Соловьёв вечно пенился и пена это подымается высоко; Страхов — недвижимое озеро, но воды его глубоки.

Кстати, о его полемистах и критиках. Хорошая и мягкая натура Страхова не могла выжать из себя ни одной остроты. Ну, какой Страхов полемист! Он вечно путался в своей добросовестности, приводил цитаты, сопоставлял и проч. и имел в это время крайне скорбный вид Акакия Акакиевича, пишущего «отношение». Ему не следовало никогда и ни с кем вступать ни в какую полемику, а прямо делать свое положительное дело, всегда созидательное, всегда доброе и умное. Между тем через все его труды проходит полемика, совершенно основательная со стороны содержания, но, во-первых, корректорская по мелочи придилок, тем, цитат (исключение составляет полемика его по вопросам естествознания и истории), а во-вторых, полемика без момента удара в себя, плавающая, неостроумная. Таким образом, от 61-го года и до 94-го он всегда имел вид побежденного. Можно представить себе репутацию, которую он себе через это создал. Кому надо в чужом споре добираться до сути, проверять цитаты, следить за «основным точка-

ми», к которым постоянно призывал оппонента Страхов. С 61-го и 94-го года шел то тихий смех, то неудержимый хохот над умницей, который стоял несколькими головами выше и этих смеющихся зрителей-читателей, и большинства своих полемистов. И полемисты это знали. Нравственная добропорядочность их не удерживала; а стяжать лавры острой шуткой над медлительным противником — это кого не соблазнит. Можно сказать, приемами спора Страхов манил противников к полемике с собою и уже непременно победе над собою.

Все эти неосторожности и неудачи отделили Страхова от читателей, не допустили его до читателя. Читатель получил взаимодействие только с «левыми» шестидесятниками, писавшими легко, понятно, остроумно, часто — с силою. Страхов, Григорьев и Данилевский суть писатели для библиотек и для уединенных мыслителей. Все это соделывает их вечными (относительно), но в свое и в ближайшее время — бессильными.

Интереснейшая статья Страхова во вновь вышедшем сборнике — о Добролюбове. Относясь к цельной деятельности знаменитого критика и будучи написана сейчас после смерти его, она, конечно, не заключает в себе ничего враждебного к нему. «Добролюбов умер рано. Он был человек очень даровитый и очевидно способный к далекому развитию. Его последняя статья указывает на какое-то колебание, на какой-то поворот в убеждениях... Если бы он остался жив, мы многое бы от него услышали. И к нему, и к его ранней могиле применяется то же печальное замечание: „Непрочно ничто, что растет на русской земле“...» (Стр. 307).

Будучи того же духовного образования, как и Добролюбов, и даже закончив его в том же Главном педагогическом институте, Страхов особенно верно мог судить о духовных корнях его убеждений, и вообще о происхождении его нравственного облика. Попутно он делает следующее многодумное замечание о нашем, так сказать, «личном составе» литературы: «Он вступил в литературу, когда еще был очень молод, когда еще сидел на школьной скамейке. Эта молодость, которая, конечно, отразилась и на его статьях, для многих служит соблазном к высокомерному взгляду на Добролюбова. А между тем она должна служить, напротив, хорошим признаком для его деятельности. Белинский тоже выступил на литературное поприще не только до окончания курса, но даже вовсе не кончив курса. Известно, как часто его попрекали этим, как *недоуčenность* (курс. авт.) ставилась ему в жестокий упрек. Если так, то весьма замечательно, что *недоуčenные* (курс. С-ва) люди постоянно играют у нас такую важную роль в литературе. Это очень живая черта нашего умственного развития. Как кажется, нужно быть именно недоученным для того, чтобы втянуться в наше литературное движение. Стоит только позаботиться несколько лет о развитии своего ума и сердца, стоит только приобрести ту мудрость, которой недоставало Белинскому и Добролюбову, и дело уже окажется невозможным. Охота к литературе, к беседе с читателями погаснет и не может быть подогрета никакими искусственными средствами. В отношении к литературе является *взгляд свысока* (курс. С-ва), а в самом зрителе является упорное *бесплодие* (курс. С-ва). Происходят люди высокомернейшие и всепонимающие; но в то же время совершенно неспособные что-нибудь сделать. Эти явления у нас очень обыкновенны и представляют часто весьма различные формы. Одни стараются всячески преодолеть свое бездействие и вымучивают из себя разбитые фразы, отрывочные произведения; на каждой строке

которых отзывается величайшее усилие. Другие довольствуются какою-нибудь единственной статейкою и затем всю свою деятельность сосредоточивают в саркастической улыбке, которую носят лет 20 или 30 сряду. Третьи впадают в самое пошлое озлобление на литературу, в которой не могут принять участия, и отводят себе душу непрерывною на нее бранью» (стр. 287–288). Это — удивительно верно; и здесь есть намеки на славянофилов, которые, постоянно твердя, что они одни служат истинными выразителями русского народа, никогда, однако, не сумели стать в центральное движение литературы и от этого объявляли ее всю сплошь «не русским» или «искаженно-русским явлением». Статья о Добролюбо-

10 ве также парирует высокомерный их взгляд на этого критика, как в других местах «Критические очерки» парируют подобный же взгляд их на Островского, как на изобразителя «диких, а не русских форм быта».

Главною чертою в Добролюбова Страхов считает теоретизм, отвлеченность и слабое влечение и внимание к богатству конкретной действительности. И родник черты этой относит к семинарии. «Десятилетним мальчик отправлялся в духовную школу, в которой для него закрывался мир и открывалась наука»... «Тут одна награда, одна цель в жизни — быть умнее других; одна мерка для измерения человеческого достоинства — ум; одна главная страсть — самолюбие. Инте-

20 реса, более исключительно господствующего, как интерес науки, в семинарии и представить себе невозможно» (стр. 300). Но это чрезвычайное возбуждение в сторону науки у семинаристов большею частью скоро гаснет, подавленное формализмом и схоластикой преподавания всех предметов. «Большею частью оно гаснет, подчиняясь течению ленивой, неразвитой, невежественной жизни. Чистейшие и способнейшие люди обыкновенно ничего не делают. Гораздо счастливее бывают те, в ком является реакция против всех начал, власть которых они признавали прежде без собственного исследования. Тогда все здание, уродливо построенное на этих началах, рушится до самых оснований и истребляется тем беспощаднее, что прежде давило молодые силы. Все разлетается прахом. Но что же остается? Остаются крепкие силы и такая пустота, которая редко встречается

30 в других случаях, при другом порядке дел».

К числу таких юношей с рушившимся в нем строем семинарского мирозерцания Страхов относит и Добролюбова; но за этим строем стояла крепкая семинарская логика, глубокое неведение затворника-пансионера к практической жизни, к живым людям, ко всему богатству действительности и лукавой, и прекрасной; наконец, суровость возможного священника и возможного аскета (домашнее духовное воспитание) к красивым и бесполезным сторонам жизни; и все это, все эти задатки и дары, таланты и недочеты Добролюбов вдвинул в стародворянскую нашу литературу, производя и разрушение, и соответственное созидание. В самом деле, начиная с 60-х годов литература наша заметно становится

40 суровее, деловитее; песен «гуляки праздного» (слова Моцарта у Пушкина) в ней становится меньше. Но, право же, она не стала от этого менее серьезна, ни даже менее симпатична. Серьезное и деловитое имеют в себе также поэзию, не шаловливую, не капризную, пожалуй, угрюмую, но непременно поэзию. Есть «стих» (красота) и в жниве во время страды, а не в одной клумбе цветков; хорошо небо со звездами, но не дурно оно и в черной мгле грозы.

КОНЦЫ И НАЧАЛА, «БОЖЕСТВЕННОЕ» И «ДЕМОНИЧЕСКОЕ», БОГИ И ДЕМОНЫ

(По поводу главного сюжета Лермонтова)

I

Апулей в XI книге «Золотого осла» дает изображение одной из древних религиозных процессий. Мы не назовем имени божества, которому она посвящена.

Имя является поздно, имя и статуя — ничто, привесок, позднее изобретение. Чувство бога — вот главное, вот все. Важно, чтобы поднялась грудь, а уж уста произнесут имя.

...его ты назови
Как хочешь: пламенем любви,
Душою, счастьем, жизнью, Богом —
Для этого названья нет;
Все — чувство... Имя ж — звук и дым
Вокруг небесного огня...

10

Сперва были жесты, вздохи; люди бродили, собирались, глаза их сияли. Образовались церемонии, процессии, «гимны торжественные и непонятные»; и уже после всего появились имена, разные в разных странах, у разных народов, на разных языках, а по существу — одно. Время описания церемонии, которое мы берем, — царствование Адриана римского, т. е. уже полное и глубокое разложение древнего теизма. И все-таки кое-что мы уловим... удивительно напоминающее «Сон смешного человека» Достоевского.

20

«Тени темной ночи стали расходиться и бледнеть перед рассветом. Показалось золотое солнце. Густые толпы народа в праздничном и торжественном настроении покрывали все дороги и площади. Наступил день, посвященный великой богине. Легко и весело было у меня на душе. Мне казалось, что и все кругом, — и животные, и стены домов, и даже сам день, — радуется моею радостью и полно моим весельем. Густой туман минувшей ночи бесследно исчез. День был тих и ясен. Во влажном воздухе, напитанном ароматами весны, раздавались звонкие трели проснувшихся птичек. Казалось, что и они своими светлыми гимнами славили Мать созвездий, Родоначальницу времен, Праматерь мира. И плодовые деревья с первой завязью будущих плодов, и бесплодные, которые своей зеленью дают только тень, мягко сгибаая свои зеленеющие ветви, с нежным и ласковым ропотом склоняли молодую блестящую листву под тихим дыханием утра. Замерли все бурные отголоски зимнего ненастья, улеглись шумные звуки половодья, тихо журчало у берегов море, а небо, рассеяв мглу тумана, в ослепительном блеске сияло своею лазурью.

30

Но вот появляются первые вестники великого праздника. Впереди идут комические маски, сделанные с большим остроумием и вкусом. Идет солдат, туго затянутый своим поясом. За ним, в длинной хламиде, с саблею у бока и с дротиком в руках, показывается охотник. Этот очевидно замаскировался женщиной; он драпируется в шелковые ткани, весь убран, драгоценными украшениями, за-

40

плел свои волосы в косы и щеголяет в золоченых башмачках. Тот, должно быть, только что вышел из школы гладиаторов: он в легких сандалиях, со шлемом на голове, вооружен щитом и кинжалом. А этот, по всем признакам, один из высших сановников города; он в пурпурной тоге, перед ним — ликторы со своими связками. За ним идет философ в длинной мантии, в туфлях, с длинной палкою в руке и с всклокоченною бородою. С удочкою в руках и со всеми атрибутами своего ремесла идут рыбаки. Птицеловы несут на плечах силки и сети. На носилках, в костюме знатной дамы, несут ручную медведицу. За нею идет обезьяна в костюме Ганимеда, с тюрбаном на голове, в одежде шафранного цвета; в руках у нее золотой бокал, и вся она напоминает фракийского пастуха. Шествие за-
 10 ключает осел, убранный в птичьи перья; за ним — его хилый и дряхлый погонщик. Эта группа вызывает самый громкий смех, потому что погонщик называет себя Беллерофонтом, а осла Пегасом».

Это введена в процессию шутка. Шутка и смех — и ничего более. «Они всегда были веселы», замечает проникновенно и Достоевский в мечте золотого века. Уныние — начало смерти, путь к смерти, ибо оно ослабляет в нас силы, т. е. способность противостоять смерти. Однако эта древняя шутка имеет в себе нечто для изучения: люди идут не просто, а в религиозной процессии, перед нами —
 20 уголок религии, кусочек религии. Кто же идет? *Все*. Это есть *всеобщее шествование*, всяких званий и *гинов* и *рукомесл*, всех видов *труда* и непременно, непременно со святыми *орудиями* этого труда, еще не надоевшего, еще легкого и радостного, еще не проклятого несчастным человеком. «Вот, Боже, и сети, и силки, и удочки!». Идут — звания, чины; перед Богом шествует и государство. Но идут не с серьезностью, а в шутке — и вот около сенатора выступает осел в перьях! И павиан, и медведица, человекообразные, приближенные к человеку. О, тут еще не было сатиры, маскарад не был сатиричен, он был скорее пантеистичен и был как бы пиршеством мира за одним столом, где одною салфеткою утираются рыбак, кон-
 30 сул и маленький умный ослик, кормилец своего погонщика. Занятия, ремесла еще не разделились, не пошли одни в гору, другие — под гору, но всякий труд был свят и достоин и, следовательно, все труды и способы пропитания были равны.

«За комическими масками, которые вызвали в народе полный восторг, в торжественной процессии показались жрецы великого божества. Шли женщины в ослепительно белых одеждах; на их лицах светилась веселая и довольная улыбка. Одне из них несли в подолах букеты и гирлянды цветов; цветами и зеленью они усыпали дорогу, по которой двигалось это торжественное шествие. У других на спине были блестящие зеркала *, в которых отражалась вся многочисленная

* Я не отказываю себе в удовольствии со временем дать читателям «Мира Искусства» изображение большой, сложной египетской процессии, очевидно, перенесенной из Рима в Грецию в эпоху Адриана. В процессии этой действительно некоторые лица несут на спинах *огром-
 40 ные зеркала*, как у нас — стенные. Через это процессия, и без того нарядная, делалась для зрителей, т. е. народа, участников — еще пышнее и ликующее. Нельзя не заметить, что зеркала были: помещены и в Соломоновом храме, именно — вделаны в умывальники, где умывались священники. В одном восточном (арабском) описании я был поражен следующей подробностью праздника: было расставлено (по полю? саду?) прямо на земле множество цветов; но перед каждым цветком стояло небольшое *зеркало* и *две зажженных свечи*. Через это все пространство праздника было унизано, как небо звездами, мириадами огней и цветов.

свита богини. У третьих в руках были гребенки из слоновой кости; те делали вид, будто убирают царственные волосы великой Изиды. Наконец, было несколько таких женщин, которые, по капле изливая из сосудов ароматные вещества и драгоценный бальзам, опрыскивали улицы и площади. Огромная толпа мужчин и женщин шла с лампами, факелами, восковыми свечами и всевозможными светильниками в руках, чтобы светом земного огня почтить высокую Госпожу небесных созвездий. Раздавались стройные звуки музыки. Трубы и свирели наигрывали мелодичные и грациозные гимны. Им вторил хор из лучшей молодежи города. Все в одинаковой белоснежной одежде без рукавов — девушки и юноши — пели вдохновенную песнь, которую по высокому внушению Камен сложил и написал по этому случаю знаменитый поэт, воспользовавшийся для этого обрядными молитвами и обетами...».

Что же они делают, куда идет процессия? Где точка, куда приложена эта религия жизни, бытия? Шла весна, открывалась навигация, и процессия спешила к морю. Здесь был изготовлен кораблик-лодочка. Подходят. «Верховный жрец (читай: главный поэт и философ, он же — невиннейший * младенец) факелом, яйцом и серою освятил корабль, сделанный с большим искусством и покрытый египетскими письменами и начертаниями. Он очистил его, вознося из своих чистейших уст торжественнейшие молитвы, и посвятил его божеству. Священный корабль, как жертвенный дар, стоял у берега. На его белоснежном парусе большими буквами было написано пожелание счастливой навигации на новый год. Высоко поднималась круглая, блестяще отполированная мачта; на ней по ветру развивался яркий и блестящий вымпел. Блистала загнутая, покрытая золотыми бляхами корма. И вся лодка, сделанная из лучшего лимонного дерева, так и сияла, так и светилась своей полировкой. Все присутствующие, и жрецы, и миряне, льют на воду молоко, несут в лодку корзины с ароматами и другими приношениями с пожеланиями счастливого плавания. Щедрыми дарами лодка наполняется до краев. Перерубаются якорные канаты. Свежий и легкий ветерок гонит лодку в море. И вот обетный кораблик скрылся из глаз народа, покрывавшего берег».

Точкою сосредоточения религии, этого белого чувства, белого сердца еще невинного человека, служит просто момент годового бытия. «От сего дня будем плавать по морю, ловить рыбу, торговать. Но пусть вперед нас побегит по священным волнам священный кораблик. И от всякого-то имени, от всякого человека он понесет... цветок, плод, золотую бляху или немного труда». — «Здравствуй, море! вслед за корабликом мы сами завтра в твои волны!». И больше — ничего. Никакого другого мотива, ни повода, ни цели в процессии. Просто — жили и радовались.

* Я вычитал в «Истории священства и левитства Ветхозаветной церкви» священника Г. Титова (Тифлис, 1878 г.) до последней степени поразившее меня следующее сведение: «Право на первосвященство получалось на 13-м году жизни, именно, — когда показывались первые признаки бороды» (стр. 59). Таким образом, все, у Густава Дорэ и проч. их иллюстраторов, изображения священников и первосвященников израильских в виде наших «заслуженных протоиереев» с длинными и седьми бородами есть плод всего только нашего самолюбия, как бы кричащего из каждой строки и рисунка — «всегда и все было, как у нас». Ничего подобного не было: храм был юн, и священствовали в нем юноши и отроки, святые не ученостью, а невинностью!

* * *

Года четыре назад я решился рассмотреть египетские рисунки в здешней Публичной библиотеке. Я служил, и день у меня был занят, а единственное свободное воскресенье заперта бывает библиотека. Ни взять на дом страшно дорогие атласы египетских научных экспедиций, ни даже вытребовать их в общий читальный зал оказалось невозможным. Что же мне было делать? «Четвертая пошла неделя, — а я всегда говею на четвертой, не так тесно», — сказал мне товарищ по службе — Это меня надоумило. Я отпросился у начальства говеть и с энтузиазмом, какого не могу передать, поспешил в понедельник в заветные и с тех пор священные для меня двери Публичной библиотеки, в ее знаменитые, тихие, поэтические залы «отделений». В самом деле — это прекраснейшее, религиознейшее (по серьезности) здание в Петербурге. Но что читать? А я страшно торопился. Полочек, шкафчиков специально с Египтом — нет. О! теперь я уже знаю все уголки, где старый египетский аист свил себе гнезда, но тогда не знал. К счастью, помог мне случайно встреченный там знакомый. «Да вот длинные красные томы... „Denkmäler“ Lepsius'a * ну — и довольно, и насытитесь, и нечего больше искать. Смотрите — какие двенадцать томищев: каждый нужно на лошади везти».

И я погрузился. В шесть дней недели я не терял минуты; потом — немножко страстной недели, потом — субботы летом (день, свободный от занятий в Петербурге) и среди обычно служебной недели хоть денек скажешься больным — и все сюда, в знаменитые и прекраснейшие «отделения». Согрешил, украл у христианского Бога одно говенье и заглянул в Фивские и Гелиопольские святилища.

Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую;
Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе.
Сколько богов и богинь, и героев...

.....

Право, лучше чем этим стихом Пушкина не умею изобразить то веселое, раскатистое чувство, с каким при изнурении физических сил я все глубже и глубже закапывался в египетские фолианты. «Золотой сон человечества» — его я увидел здесь воочию. Я увидел его как картину, а не как рассказ. Право же, египетскими рисунками можно иллюстрировать, как миниатюрами по полям книги, весь «Сон смешного человека» Достоевского, как и беседу Версилова с сыном, и много, много... страниц из Лермонтова. Весь Египет есть только необозримая и по широте, и по разнообразию, и по углубленности иллюстрация к стихотворению:

Когда волнуется желтеющая нива

или, *vice versa* **, это знаменитое стихотворение с заключительным:

И в небесах я вижу Бога

есть только странный атавизм, «заговорившие в пра-пра-правнуке предки», жившие еще на берегу горячего Нила. Все, как и у Лермонтова, — там: серебрис-

40 * «Памятники» Лепсиуса (нем.).

** наоборот (лат.).

тые ландыши, тенистые сады, прячущийся в зелени листов пунцовый плод и... бог, везде — Бог, все — боги,

Сколько богов и богинь...

О! «боги сходили там на землю и роднились с людьми». Из трогательных рисунков передам один. Нарисован ряд осликов, целое стадо, вереница. Все, вероятно, видели у конечных пунктов петербургских конок, в знойные летние дни, как наши добрые кондукторы-мужички, жалея уставших лошадей, мочат обильно тряпки и кладут им на усталый череп. Я замечал, что кондукторы (сами очень усталые) неумоимо, безустанно это делают. Но вот что я раз заметил на адмиралтейском конце конки: кондуктор положил лошадиную морду на плечо себе и, обняв ее шею, долго так держал. Это уже ласка, это одухотворение, это не (медицинская) помощь. Теперь, на поразившем меня египетском рисунке осликов ли, или лошадей, они все заложили морду за шею друг другу, т. е. все стоят в ласке, в одухотворении. Ничего подобного и никогда я не видал во всемирной живописи. Через три года в той же Публичной библиотеке я нашел изображения ланей, но в странном сочетании: черепа их как бы раскрыты, оттуда тянутся рога, но и вместе выходит человек, что-то человекообразное, голова, руки, туловище, и так согнутое как бы говорит: «вот — я родился! вот — из какой родины!». Вполне удивляюсь, как историки культуры и религии никогда не воспроизвели этого рисунка: в нем уже вся Греция, со множеством мифов, с царями Миносоми и Минотаврами, с Гераклами в львиной шкуре и проч. И вместе здесь тоже и родина «Рейнеке-Лис» Гёте (животный и человекообразный эпос).

Высокое счастье, высокая радость бытия разлиты в египетских лицах. Слова Достоевского: «они были прекрасны, потому что были похожи на детей» — совершенно определенно описывают сущность прелести египетских лиц. Напр., на одном рисунке «Экспедиции французской армии под предводительством Бонапартэ» (многотомный атлас), — перенесена живопись с какой-то стены храма: лица (фигурки) — человеческие, они очень невелики, каждая в мизинец величины, и все, т. е. такое огромное множество, улыбаются. Улыбается египтянин (как я рассмотрел на других больших рисунках) не губами, а лицом: губы чуть-чуть изогнуты в улыбку, но она своеобразно стянула и щеки, и лоб, и вы получаете впечатление не смеющегося человека, а обрадованного или известием, или находкою, или удачею, но вообще каким-то благополучием. Сонм благополучных лиц — вот впечатление. Грех еще не начался, скорби еще нет, уныния не знаем. Улыбка тонкая и нежная, несколько таинственная, именно как у детей. Дети ведь еще другого мира, чем мы, без греха, т. е. без главной нашей психологии. Таковы египтяне; в меньшей степени — греки; почти совсем этого нет — у римлян. При Адриане у них уже было только декадентство, и вот, отрывок из этого декадентства (возобновленный культ Изиды) все еще прекрасен, звучен, цветист, душист.

Последняя туча рассеянной бури...

«Не было чувства греха», — говорит (о грехах) Хрисанф. «У них вовсе не было того жестокого сладострастия, которое у нас составляет почти единствен-

ный источник всех и всяких грехов», — описывает Достоевский людей другой планеты, — и в тоне слов его слышатся почти слезы, слезы скорби о настоящем, слезы указания на будущее. А он был слишком пронизателен, чтобы ошибиться; автор «Карамазовых» именно в теме сладострастия был слишком компетентен, чтобы сказать пустое определение. Что же тут за тайна, которую он хотел выразить?! «У них рождались дети; но эти дети были как бы общие и все эти прекрасные, добрые, еще не согрешившие люди составляли одну семью». Если мы спросим, чем семья и ее существо отличается от общества, от компании, от государства (в их существе), от всех видов человеческого общения и связанности, то ответим: святым и чистым своим духом, святою и чистою своею настроенностью. Семья есть самое непорочное на земле явление; в отношениях между ее членами упал, умер, стерт грех. Все — просты. Все не зложелательны. Говорят, что думают; делают, что хотят; прощают, терпят; всегда веселы и все в союзе. Грех — на периферии, за границами семьи. Члены семьи в отношении к внешним уже обманывают, гnevаются, хитрят. Безгрешность среди жителей целой страны («Сон смешного человека» Достоевского) очевидна и осуществима только через один путь: через устранение вовсе периферии с семьи, т. е. через раздвижение семьи на всю страну, включение всей страны в семью *. Мать мне — не одна эта старушка, а все старушки, каждая встреченная на дороге; но и дальше, больше: Улисс как родную, увидел старую собаку, которая встретила его после 20 лет отлучки и, завиляв хвостом, умерла. И она есть член дома, не чужая Улиссу ** и так — все друг другу, так — вся страна. Гомер, старец, человек еще почти «золотого века», уловил эту «собаку»: животное есть неприменная принадлежность полного дома, и коровки, и лошадки, и овцы — все. Человек вместе с животными, друг животного — это прежде всего человек, оставивший гордость. А гордость «Эдемом» исключается. Отсюда невинные и дружные человеку животные введены как органическое звено в «рай» первых человеков. Но вернемся к указанию Достоевского: «у них не было жестокого сладострастия». Сцена его «Сна» до такой степени полна субъективного экстаза, что он, конечно, ничего не вспоминал, когда писал ее. Между тем в «Бытии» также сказано, что грех человека, грехопадение, хотя оно заключалось только в неповиновении Богу, однако сопровождалось странным последствием: что-то моментально произошло в поле, и люди закрылись древесными листьями. Началось «жестокое сладострастие».

* Одна из поразительных тайн юдаизма, еврейства, поддерживаемых такими учреждениями их, как абсолютное закрытие брачных связей с чужеплеменниками, как *миква* (священное погружение в бассейн воды перед субботою) и проч. заключается в том, что *все еврейское племя, на всем земном шаре, имеет родственное сложение и психологию только одной огень разросшейся, но одной семьи*. Отсюда их эгоизм к внешним и необыкновенная *теплота друг к другу*. У еврейцев все отношения суть *соседские, гражданские, римские*, или отношение — *соузенников на парте* (в линии религиозной связи).

** Поразительно до сих пор чувство животных у магометан: они их не трогают, не гоняют и не убивают. *Не смеют* (психологически) этого и *не хотят*. Этим объясняется безобразия Константинополя, которого улицы — что собачий двор; но собаки, как мне передавали, до того тихи, что через каждую можно безопасно перешагнуть. Это некрасивая форма прелестного венецианского обычая: во всей Венеции не убивают голубей.

Грех, смерть, стыд — связаны, как числитель и знаменатель одной дроби. Изменяется *знаменатель* — не остается тем же и *числитель*, хотя бы цифра его была *та же*.

У греков «не было чувства греха» (Хрисанф). Как же они смотрели на пол? Обратное нашему. Как мы смотрим? Как на грех. Грех и пол для нас тождественны, пол есть первый грех, источник греха. Откуда мы это взяли? Еще невинные и в раю мы были благословлены к рождению.

Мысль, что в роднике семьи, в поле, содержится грех, есть одна из непостижимых исторических aberrаций; она сейчас же перенесла святость в смерть, в гроб. Как только человек подумал, что в рождении — грех, испугался его, застыдился: сейчас же святость и славу он перенес в могилу и за могилу, и поклонился смертному и смерти. Вот где связь трех факторов грехопадения: поверив Искусителю и вождю смерти, *eo ipso* * человек застыдился, остудил в себе родники жизни; а осудив родники жизни (стыд) — причастился смерти, стал смертен. 10

* * *

Мы уже подходим здесь совершенно к теме «Демона». У Достоевского сказано: «Дети были общие, невинные люди радовались рождению их, как участников земного своего блаженства». Чем более сядет за стол гостей, тем радостней пиршество. И о смерти они не скорбели; но смерть, даже безболезненная, есть уход, сокрытие. Гость вышел из-за стола и ушел в иное место. Если даже он ушел в лучшее место, это лучшее — для него, а у нас, за нашим пиршеством, стоит пустой стул. Хоть легкая тень скорби останется при виде пустого стула. Итак, смерть все-таки есть скорбь, но рождение — «здравствуй, еще человек, гряди в мир!». Древний теизм, да и теизм в видении Достоевского, есть как бы разлившееся молоко, пожалуй — как бы разлитие по всем нашим жилам чего-то нежного, мягкого, любящего, бессловесного, подымающего грудь, без имен, без статуй, без средоточий в один пункт или минуту. Посему первые храмы не имели ничего общего с нашими: идешь, идешь — поле; не очень много святости; входишь в лес — больше святости! Тут и птички, и дикая коза, и такая большая куча листочков — «божков». День — хорошо; сияет солнце, есть святость; но ночь — зажигаются мириады солнц, все небо «в очах» — тут святость гуще, тут слезы подступают к горлу. Все и везде свято; но нажим святости сосредоточивается в некоторых местах, областях, пространствах, временах. Но из этих времен субъективно для каждого есть одно особенное и исключительное, по странности, по радости, по глубоким благодатным последствиям: — это рождение, мое или от меня. Представить себе можно этих первых людей в момент влюбленности. Достоевский и говорит: «они все были как бы влюбленные друг в друга». Тургенев рисует нам влюбленных, и он, старик, в старый фазис цивилизации рисует их, как древние своих полубогов, а мы все, не сговариваясь, называем их «героями». Любовь исключает обман; вот кого не обманет жених: свою невесту. Пожертвует жизнью. Они не лукавствуют, не хвастают, не лгут, не зложелательствуют: назовите мне грех между ними, и я дам на отсечение свою голову. Это — сейчас, в пору старо- 20

* тем самым (лат.).

сти. «Весь избыток молодых сил уходил у них на любовь», — говорит Достоевский. Что же должны были чувствовать, влюбляясь, ранние человеки и, главное, как они должны были быть удивлены, поражены этим чувством, его феноменом, его неразгаданною сущностью?! Но тут пусть скажет два слова наша наука:

«Мы обзрели все явления органической жизни, — питание тканей, рост, старость, — и видим, что ни к одному из них положительная наука, да и какая бы то ни была гипотеза, *не дает ключа*. Но мы ничего еще не сказали о поле: все живые существа, без какого-либо исключения, суть или мужские, или женские. Но *это такое пол — это наука менее знает, чем это-либо*». Так кончает на последней странице Страхов свою философскую книгу, посвященную проникновеннейшему и осторожнейшему исследованию органических явлений*.

Если в XIX после Р. Х. веке Страхов не знал, то что же знали за XIX веков ранее Р. Х. египтяне, греки? А если это тайна и вековая тайна, то уж позвольте, как и всякую тайну, разложить ее на «здесь» и «там», земное и *сверхземное*, обыкновенное и *зудесное*, рациональное и мистическое, человеческое и... *божественное? демоническое?*

Как хотите. Если грех есть рождение — демоническое, а если рождение свято — божественное. В «Трех разговорах» Соловьёв, человек весьма религиозный и до конца дней, написал (разговор третий): «сила зла царством смерти подтверждалась бы». И несколько далее: «Есть зло индивидуальное (перечисляются его виды), есть зло общественное (опять перечисление); есть наконец зло физическое в человеке, — в том, что низшие, материальные, химические и механические элементы его тела *сопротивляются живой и светлой силе, связывающей их в прекрасную форму организма; сопротивляются и расторгают эту форму, уничтожая реальную подкладку (т. е. тело) всего высшего (психической деятельности)*. Это есть *крайнее* (его курсив) зло, называемое смертью». Так предсмертно написал Соловьёв. Он был благочестив. Итак: смерть — «крайнее зло», абсолют зла. Следовательно, одолевающее смерть рождение есть абсолют добра... Кто же оно? Демон?

Лермонтов назвал «демон», а древние называли «богом». В том белом, безымянном, бесфигурном теизме, какой вздымал их грудь в «золотом сне», они и называли «чудесным», «святым», «непостижимым» и «страшно могущественным» (о, беспредельно!), а наконец, и волшебным по своим действиям необъяснимое для нас, и ни для кого, чувство любви и феномен пола. Его вторую неясную и мистическую половину, сверх видной и ясной, они отнесли «туда»... Куда? В лес густой — более, чем в поле; в ночь — более, чем в день; куда-нибудь, в «тайну», в место нажима теизма**. Но который пол? Да конечно — два! Вот Соловьёв, так благочестиво умерший, по напечатанным воспоминаниям его друзей, высказывался, что Бог есть существо женского рода («Вечная Мировая Женственность», см. в предисловии к 3 изд. его стихотворений), а по одному воспоминанию г. Энгельгардта, по ночам он иногда записался и «молился какой-то Розовой тени». Я никогда ей не молился, потому что не видал; но если Соловьёв молился, то, очевидно, что он ее видел! Не слову же, не фетишу звуковому он молился. Он ви-

* «Об основных понятиях психологии и физиологии», последняя страница.

** Идея священных роц; идея храма, у египтян, имитировавшего роцу.

дел «розовую тень» по сказаниям, по напечатанным словам стихотворения «Три свидания» он видел ее всего три раза: в детстве, 9 лет, в Британском музее и в Египте, причем в последний поехал по назначенному там свиданию. Что это такое — я не знаю. Но знаю, что евреи перед каждую субботу и в каждую хижину ждут тоже какую-то золотую гостью, небесную, именуемую «Царица Шабас»... А евреи довольно религиозны, и вместе не фантастический народ; если еще допустимо, что Соловьёв фантазировал, то евреи верят... как? Религиозно. Женское начало, прямо видение, образ, уже фигурно и поименно введено в религию строжайшего, суровейшего, вечно семинарствующего народа.

Так что же мы будем кричать на «Геру» греков, «Изиду» египтян, «Астарту» сидонян? Да это и есть «розовая тень» Соловьёва, «Царица Шабас» евреев: ¹⁰

...Для этого названья нет,
Все чувство...

Я не видал ни Геры, ни Изиды, ни Шабас, ни «розовой тени». Но если у меня нет проказы, то я все-таки знаю, что есть прокаженные, и если не испытал «ауга» эпилептиков, то верю ощущению «мировой гармонии», перед припадком «священной болезни», какое описывает Достоевский. Я — не все. А показаниям моих братьев не могу не верить.

Но я могу читать и вот вижу, что первая строка «Книги Бытия»: «борейшись бара Элогим», «вначале сотворил Бог» имеет *сказуемое с единственным гисле*, ²⁰ а *подлежащее* — к преткновению всех ученых — *не* в единственном, а во множественном числе (единственное число Елоах, арабийское — Аллах). Каким образом это может быть и как же тогда перевести это место? Да ведь, очевидно, не было никакого основания для Соловьёва думать, что к его исключительному и личному удовольствию есть только «розовая тень», может быть около нее есть «грозная тень»; и если есть «Царица Шабас», то есть и «Адонай» — уже в единственном числе. Речи-то пророков ведь все льются в двух тонах: страшных угроз и нежнейшего утешения, как бы один голос слышится из-за другого, и из-за второго опять выступает первый, сплетаясь, как два вервия в одно. Загадкою филологической разрешается загадка метафизическая: «бара Элогим» очевидно и нужно ³⁰ перевести «сотворила Чета» (мистическая «Двоица» Пифагора). Да и понятно это. Если пол — тайна, непостижимость (мнение Страхова), имеет свое «здесь» и свое «там», то как здесь есть мужское начало и женское, то и «там», и структуре звезд что ли, в строении света, в эфире, магнетизме, в электричестве, есть «мужественное», «храброе», «воинственное», «грозное», «сильное» и есть «жалостливое», «нежное», «ласкающее», «милое», «сострадательное». Тогда опять выражение Библии о человеке: «по образу нашему сотворим человека, мужчину и женщину, сотворим его» — понятно же.

Вот мы и подошли совсем к теме «Демона». Мы сделали ее уже совершенно понятной, нашей, близкой, родной. Но я скажу более: мы сделали ее научной; ⁴⁰ просто — научной как арифметика. «Демон» вовсе не фантазия, а самая реальная «быль», со мной не бывшая, но вот с Соловьёвым бывшая, и только с Лермонтовым бывшая в платье другого покроя, не в тунике, а в тоге, не с нежною улыбкой, а с грозющим пальцем.

II

Древних философов, до Сократа, историки называли «физиологами», хотя они не рассекали трупов и едва ли что знали из нашей науки физиологии. Такое имя им дали по характеру и по теме их размышления. Вот таким не физиологом-мудрецом, но физиологом-поэтом, в древнем и особенном смысле, был Лермонтов:

10 О грезах юности томим воспоминаньем
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю
О, если б знало ты, как я тебя люблю.
Как милы мне твои улыбки молодые
И быстрые глаза, и кудри золотые,
И звонкий голосок...

Это совсем другой состав слов и движение души, чем у Пушкина:

Младенца ль милого ласкаю
Уже я думаю: «прости»...

20 Пушкин чувствует младенца, если можно так выразиться, идилически, картинно, Лермонтов — физиологически. Последнее — гораздо глубже, и слово «с содроганием» (смотрю) — тут не обмолвка. Это — взгляд отца, взгляд — матери, любовь — не скользящая по предмету художественным лучом, а падающая на предмет вертикально, как луч полуденного солнца, пронзающая предмет, сжигающая предмет. И такие вертикальные лучи, негодования ли, любви ли, палящие, знойные, действующие, ударяющие — везде у Лермонтова; в противоположность горизонтальным лучам, художественно успокоенным, у Пушкина. От этого действие их на душу глубоко, быстро, смущающе: без всякого преувеличения, слезы навертываются при чтении его строк, или сердцем овладевает восторг, победа: «веди нас, вождь наш», — хочется сказать поэту. И его чувство о себе, о поэте:

30 Бывало, мирный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы.
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как Божий дух, носился над толпой...

Это не преувеличение, а правда. Из-под уланского мундира всегда у Лермонтова высовывается шкура Немейского льва, одевающая плечи Геркулеса. Древний он поэт, старый он поэт. И сложение стиха у него, и думы его, и весь он — тысячелетнего возраста. Точно он был и плакал при творении мира, когда «и сказал Бог — да будет свет, и стал вечер, и стало утро — день первый». Он все это запомнил, и вот этою давнею любовью, дедовскою, родною, лешою, «ангельскою» ли, «демоническою» ли (как хотите, по выбору) полна его поэзия.

40 «Антропоморфизм» религии... смешно читать в исторических книгах издательства над этою давнею верой. Как будто, имея понятие о себе, как «образе

и подобии Божиим», мы исповедуем что-нибудь иное. Какова фотография, таков и оригинал. Нет, из «антропоморфизма» не только не нужно, но и невозможно вырваться, и «розовые тени» (Соловьёв) в неизъяснимых глубинах неба, как и «грозящие пальцы» в них же — не одна фантазия. У Лермонтова, кроме физиологии, есть романтизм природы; или, точнее, потому-то его физиология и есть мистическая, что — она собственно везде разлагается на игру «розовой» и «грозной тени», «туники» и «плаща», везде — тучка и утес, везде — тоска разлуки или ожидание свидания, везде — роман, везде — начало жизни, и небесной и земной, в слиянии.

По небу полуночи Ангел летел

 Он душу младую в объятиях нес
 Для мира печали и слез...

10

Вот, что видит Лермонтов за начальным мигом человеческого существования, позади первого детского на земле вздоха, крика. Это — миф сзади физиологии, священный миф, в этом и мы ему не откажем. Все — антропоморфично в небе, все богообразно — на земле. Все — чудище, лес дриад, в котором запутался бедный странник, человек.

И звуков тех слов заменить не могли
 Ей скучные песни земли.

20

Геродот, когда в своих странствованиях дошел до Вавилона, то жрецы, т. е. певцы и поэты народа, показали ему древнейший в городе храм, который он описывает. «Это — четырехугольник, каждая сторона которого имеет две стадии. Уцелел он до моего времени (конец „Золотого сна“). Посередине храма стоит массивная башня, имеющая по одной стадии в длину и ширину; над этой башней поставлена другая, над второй третья и так дальше до восьмой. Подъем на них сделан снаружи; он идет кольцом вокруг всех башен. Поднявшись до середины подъема, находишь место для отдыха со скамейками; восходящие на башни садятся здесь отдохнуть. На последней башне есть большой храм, и в храме стоит большое прекрасно убранное ложе и перед ним золотой стол. Никакого кумира в храме, однако, нет. Провести ночь в храме никому не дозволяется, за исключением одной только туземки, которую выбирает себе божество из числа всех женщин. Так рассказывают халдеи, жрецы этого божества» (Первая книга, гл. 181). Ну, и что же дальше?

30

Лишь только мир волшебным словом
 Завороженный — замолчит;
 Лишь только ветер над скалою
 Увядшей шевельнет травую,
 И птичка, спрятанная в ней,
 Порхнет во мраке веселей;

40

10

И под лозою виноградной,
 Росу небес глотая жадно *,
 Цветок распустится ночной;
 Лишь только месяц золотой
 Из-за горы тихонько встанет
 И на тебя украдкой взглянет —
 К тебе я стану прилетать,
 Гостить я буду до денницы,
 И на шелковые ресницы
 Сны — золотые навевать.

«Халдеи же говорят, — оканчивает Геродот, — чему, однако, я не верю, будто божество само посещает храм и почивает на ложе; нечто подобное таким же способом совершается в египетских Фивах, по словам египтян; и там будто бы ложится спать в храм женщина в храме Зевса Фивского, как здесь — в храме Зевса — Бела, причем ни вавилонянка, ни фивянка не имеют, говорят, вовсе сношений с мужчинами. Подобно этому в Ликии, в Патарах, прорицательница, — если только она бывает, ибо оракул там не постоянный, — запирается по ночам в храме».

20 Вот общее, и без взаимного, конечно, соглашения — в Египте, Вавилоне, Греции азиатской. Очевидно, везде был вопрос: «что Богу понести самого чудесного...», нет, иначе, другими словами: «на высоту, ближе к звездам, в восьмой ярус, к первому дню творения, с чем я пойду чудодейственным, непостижимым, меня радующим, меня возвышающим в героя, чистым, развязывающим узы греха?» И везде инстинктивно ответили: «пойду с чудом любви, с таинственною магией влюбленности, которую никогда-то никто не умел постичь, и все перед ней плакали, умилялись на нее, от Тургенева до Шекспира».

30

О, ночь блаженства!
 И радости! Подумать страшно мне,
 Не грезой ли ночной я очарован!
 Все то, что испытал я, слишком нежно,
 Чтоб быть действительным.

40

Д ж у л ь е т т а
 Еще два слова
 Ромео, милый мой, а там — простимся
 С тобой совсем! Когда любовь твоя
 Честна и благородна, и коль скоро
 Ее ты завершить намерен браком,
 Пришли сказать мне завтра с тем, кого
 Пришлю к тебе сама я, день и час,
 Который ты назначишь для венчанья.
 Себя и все свое с минуты этой

* Совершенно тема и тон стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива». Но там появляющееся среди всего этого названо «Бог», здесь — «демон».

Отдам тебе во власть я и пойду
Вслед за тобой, хотя б на край вселенной...

Конечно — узы греха развязаны. Это такая чистота, такая невинность, с которой куда же и бежать, как не в точку нажима религиозного чувства, в «священную рошу», на восьмую башню — на Ефрате, или, как поступили веронские несчастливцы, — к падре Лоренцо. Но куда-то вообще в «алтарь» или «к алтарю» священного места. Всемирный инстинкт, всемирно человеческий, на чем собственно, а не на каких-нибудь приказаниях, держится доселе, — в своих остатках брак, «венчанный», «коронованный», с глазами, обращенными к небу. Но что же чувствует вавилонская, фиванская или патарская девушка?

10

Невыразимое смятенье
В ее груди; печаль, испуг,
Восторга пыл — ничто в сравненьи!
Все чувства в ней кипели вдруг.
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос чудно новый,
Ей мнилось, все еще звучал.

.....

И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил.

20

.....

Но мысль ее он возмутил
Мечтой пророческой и страшной:
Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Ее божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей;
То не был ада дух ужасный
Порочный мученик — о, нет!
Он был похож на вечер ясный
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет!..

30

Образ человекообразный — рассеивается в природу («ландыши полевые», «ни день — ни ночь — ни мрак — ни свет»), хотя за минуту еще природа встала перед очами... духом «богом», «небожителем», которого Лермонтов не смеет похвалить, не в силах и порицать. Душа его смущена и встревожена... немножко, как и у вавилонской девушки. Вернемся к древним девушкам: к ним сходил —

«Бел» в Вавилоне, «Озирис» в Фивах, «Зевс» в Патарах. Что имена? Грудь вздымалась.

Падал небесный цветок на землю — и девушка ловила его. Жрецы-младенцы не лукавили, говоря, что «никто туда не входил».

* * *

О древних религиях, вот где всходили девушки на вершины башен, все ученые рассказывают, что в них поклонялись звездам. Не будем преувеличивать и особенно не будем утяжелять понятие: «поклонялись»; это было поклонение воздушное, лесное, не угрюмое, не испуганное: это было что-то очень похожее на любовь же, на бесконечное «преклонение» и страх оскорбить «поклоняемого». Иов говорит стыдливо и оправдываясь: «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она плывет по небу, *прельстился ли я в тайне сердца моего и целовали ли уста мои руку мою*» (глава 31, ст. 26—27). Нам этого чувства представить уже нельзя: поцелуй воздушный — через миллиарды верст луне, солнцу! Но тускло, но равнодушно почти, однако именно при влюблении и мы как-то внимательнее смотрим на звезды и на «луну, плывущую в небе» (Иов). Что-то есть между нами, между мною, моею возлюбленною и звездой, небом? Что? как? — «не вемы», но что-то чувствуем. И вавилонянка входила вверх. Храм был страшно высокий; на полдороге надо было отдыхать; а звезды там — огромные, как небесные сливы, как золотой спустившийся с небес виноград. До чего это древне, до чего это вечно, — это я подумал, прочитав в одной попавшейся мне еврейской рукописи, «что евреи и до сих пор в *новолуние* выходят на двор, в поле, на улицу, и скажут вверх, стараясь („богоугоднее“) *выше подпрыгнуть в направлении к луне*». — Достоевский в «Сне смешного человека» говорит о невинных людях: «они не имели науки, но имели что-то большее нашей науки: они *проницали в звезды* и я видел, что у них есть какое-то *внутреннее с ними общение, в этом я не ошибаюсь!*» Самое древнее изображение Астарты было найдено на глиняном (халдейском) цилиндре: простая человекообразная фигурка, которая держит в руках (как мы восковую свечу) трость, к концу которой прикреплена звезда. Вот, откуда мы и до сих пор «со звездой путешествуем»; в католических же храмах их таинственная «мадонна», кажется, более космологическая, чем историческая, тоже всегда или в окружении звезд (вокруг всего корпуса тела), или в венце из звезд, и стоит на изогнутом серпе луны: символы, о которых мы ничего не читаем в смиренном евангельском рассказе.

На воздушном океане
 Без руля и без ветрил
 Тихо плавают в тумане
 Хоры дивные светил.
 Среди полей необозримых
 В небе ходят без следа
 Облаков неуловимых
 Волокнистые стада...

Живое небо, так же прекрасное, как и для нас, но еще, кроме того, живое! Да ведь не замечаем ли мы, что свет солнца (звезды) и в самом деле органический, а не механический; это — не свет какой-то чугунной красной бомбы, глупой, бездумной, бессловесной. Да, оно немо, но фактами говорит. Говорит бытием и в бытии («Сый — так будешь ты называть меня». Исход). Говорит травкой в поле, листочком на дереве. От натопленной печки у нас голова болит, а под солнцем (при большой даже температуре) расцветаем, радуемся, скачем, почти как евреи. Нет, не ошибалась древность, она более нас чувствовала, — и Иов не напрасно посылал украдкой поцелуй. «Что-то есть!» — «И ввел Дух меня во внутренний двор храма Господня; и вот я вижу: у дверей его, между притвором и жертвенником стояло до двадцати пяти мужей. Они стояли к Востоку лицом и поклонились солнцу, а к носу подносили свежие зеленые ветви» (Иезекииль, 7 гл., ст. 16—17). Вот своеобразные пифагорейцы, т. е. предшественники пифагорейцев, которые могли бы дать в Иерусалиме Пифагору те же уроки, какие он получил в Египте. «Золотой сон человечества везде был» (Достоевский). «Он умер! он умер» («ai linu»), «он — воскрес! он — воскрес!» («jehaveh hadad») — эту «песнь Лину» Геродот слышал в Египте и удивился, что «она поется там так же, как и в Аркадии». — «И привел меня ко входу во врата дома Господня, которые к северу, — и вот, там сидят женщины, плачущие по Таммузе» (Иезекииль, 8 гл.). «Золотой сон человечества везде тот же». Бл. Иероним, Кирилл Александрийский, Прокопий Газский и Ориген согласно говорят, что «Таммуз» евреев и сирийцев есть то же, что «Адонис» у греков; а именем «Таммуз» до сих пор называется у евреев один месяц в году, т. е. один месяц они называют «Адонис», самые правверные до сих пор! Цветы Греции и плоды Сирии соединяются, касаются. В Греции только все выражено немного грубее, ибо осязательнее, все уже более приближается к возможности статуи, изображения, к участию мрамора, к возникновению искусства. Евреи этого страшились: «как я стану любить статую, когда должен любить живое!» — вот неразгаданный единственный мотив их отвращения, их страха и вражды к «идолопоклонству», искусству. Возможно ли цитированные стихи:

С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...

возможно ли проскандировать их кукле?! Чудовищно! жестоко! насмешка над поэзией и прямо ругательство, надругательство над ребенком! Евреи, взяв камень и бросив в статую (положим, «Афродиты»), — дали знак: «не — ее, а — женщину» (жену), т. е. любви. Теологи же европейские чудовищно истолковали это так, что евреи через это выразили «отвращение к поклонению твари вместо Творца». Как будто не Соломонов храм был увешан гроздиями винограда, не Ааронов жезл дал миндальные цветы, не на одежде первосвященника сделаны были гранатовые яблоки, и не на крышке киота завета стояли «херувимы», т. е. «отроческие существа» по изъяснению слова «херувим» в *Мишне*; а «два» их было — ибо все «двоится» по «образу и подобию» Четырех Сотворившей. Но оставим этот вводный спор о причине отвращения иудеев к «статуям» — и вернемся к халдеям. Как неосязаемы были ночные волнения вавилонянки. Никто к ней не приходил, и она сходила наутро с вершины башни только взволнованная. Это была дымка мечты, без всякого осуществления. Греки дали осуществление, солгали, написали то, чего не было, выдумали, начали «Миф» («сказание»).

* * *

У Лермонтова «демон» никак не назван. Если бы его спросили, как имя его героя — он был бы поражен. Имя и фамилия? Но, Боже, это — только *идея*, только *метафизическая истина*, но в самом деле истина, без прикрас, *почти наугная и вместе религиозная*. Вот на этой-то правильной черте и не удержались греки, прописав паспорт и «особенные приметы» «богу», а когда во II веке до и после Р. Х. стали рассматривать этот паспорт, то конечно и нашли его фальшивым, по чему заключили, что «ни Зевса, ни Семелы, ни всех этих сказок никогда не было и нет» (критика Евгемера, критика отцов церкви). «Язычество — выдумка! Оно — пусто! Просто — нуль, гладкая доска, на которой только еще предстоит написать религию». Между тем при ложном паспорте неужели не может существовать истинного человека?!

В последний раз она плясала...
Увы, завтра ожидала
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвое дитя,
Судьба печальная рабыни
.....

20

И демон видел... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг...

Тот же миф, миф греков о «Зевсе и Семеле», но с осторожным обхождением имени. Евреи, чуткие, точные, не распушенные в воображении, тоже обходят имена, *вовсе их не пишут* или заменяют не настоящими, заменяют эпитетами, описаниями, *похвалами*. И у них от этого исключения «паспорта и примет» все цело до сих пор. Но нет ли *сходного* и даже *того же* и у них? Евреи хитрее и умнее; евреи — осторожнее: но в *пределах той же темы*.

* * *

Мы вносим труп в храм. Можно и это. Мы воскуряем перед ним фимиам, окружаем его свечами. Невозможно отрицать, что мы ему немножко поклоняемся, лобзаем его «последним целованием» и во всяком случае считаем святым и чистым. Гадок ли труп? — Фу, что за кошунство: конечно, нет! скорее свят, «божок!!» А младенец? «Вот вопрос, конечно — тоже чист». Но можно ли перед младенцем, в люльке, зажечь свечи и, положа ладонь в курильницу, обходить его вокруг и петь... конечно, не «со святыми упокой», но другое, обратное, и соответствующее? «Какая идея, к чему это!». Но ведь и трупу не более нужны, чем ребенку, свечи и фимиам? Конечно — все не нужно, но мы выражаем идею и свое чувство. «Нет, невозможно! Перед младенцем, в люльке, свечи и фимиам? Не могу себе представить». Но отчего? И неужели в самом деле труп, тело бездыханное, не только не физиология, но низшее и худшее, и слабейшее, чем она, именно «то крайнее зло, которое мы называем смертью» (определение Вл. Соловьёва) — пе-

40

ред нами, и мы же ведь жжем и фимиам, и свечи перед этим «крайним злом»? — «Это не перед ним, это перед воспоминанием». — «Зажгите и свечи перед младенцем и символ ожидания. Да и неправда, что вы вспоминаете только около трупа: вы именно курите ему фимиам, ибо вспоминать могли бы и запершись в кабинете». Нет, это — религия, другая, новая. Но если возможна она и стало можно поклониться «крайнему злу», смерти, то почему нельзя было поклониться и крайнему благу, жизни и жизне-даянию? Тогда... «боги» и «демоны» переместились взаимно. Что называлось «демоном» — стало «богом», а что было «богом» — стало «демоном». «Древние не совсем пустоте поклонялись — они поклонялись демонам», — говорила в начале новой эры другая половина апологетов, не остановившаяся на словах, что «мифы — сказки, а богов — не было».

«Демону» поклонился и Вл. Соловьёв в «Розовой тени», а евреи ему кланяются в «царице субботе»; Лермонтов его же вспомнил, не дав никакого имени. «Не старайтесь: храм Сераписа невозможно разрушить; если он упадет — мир не устоит», — говорили жрецы какого-то египетского храма, когда стены его тряслись под таранами римлян-христиан. Стены дрожали, пали, забыты. Но около них росли пальмы. В каждом их листочке был «серапис»; а в пальме, в роще, в звезде, в римлянин-воине и в египтянин-жреце был Серапис. «Сего нельзя разрушить: если это разрушить — мир упадет».

— Тут в самом деле есть какая-то истина. *Generatio equivoca*, «самопроизвольное зарождение» — отвергнуто. Цёльнер в отчаянии сознался, что единственная возможность объяснить органическую жизнь на земле заключается в предположении, что когда-нибудь первая живая клеточка упала на землю с метеором, т. е. упала из живого же другого мира. Капля за каплей, со звезды на звезду, но где же первое, Кто первый? Так, многодумно покачив головой, мог бы дать свое *resumé* этим мыслям Страхов.

«ДЕМОН» ЛЕРМОНТОВА И ЕГО ДРЕВНИЕ РОДИЧИ

Лермонтов чувствует природу человеко-духовно, человеко-образно. И не то, чтобы он употреблял метафоры, сравнения, украшения — нет! Но он прозревал в природе точно какое-то человекообразное существо. Возьмите его «Три пальмы». Караван срубает три дерева в оазисе — самый простой факт. Его не украшает Лермонтов, он не ищет канвы, рамки, совсем другое. Он передает факт с внутренним одушевлением, одушевлением, из самой темы идущим: и пальмы ожили, и с пальмами плачем мы; тут есть рок, Провидение, начинается Бог. Это все то же

Когда волнуется желтеющая нива,

но уже переданное фигурно, образно, в драматической сцене, а не отвлеченно. Помню, как еще до поступления в гимназию и не зная, что такое «поэт» и «поэт Лермонтов», я придумал к поразившему меня стихотворению напев и, бывало, уединившись в лес или сад, пел эту песню («Три пальмы»), всегда с невыразимой грустью, как о живых и родных мне пальмах. Лермонтов роднит нас с природою.

Это гораздо больше, чем сказать, что он дружит нас с нею. И это достигается особым способом. Он собственно везде открывает в природе человека — другого, огромного; открывает макрокосмос человека, маленькая фотография которого дана во мне.

Ночевала тучка золотая
 На груди утеса великана

 Но остался влажный след в морщине
 Старого утеса. Одиноко
 Он стоит; задумался глубоко
 И тихонько плачет он в пустыне.

10

Это совсем просто. Ничего нет придуманного. Явление существует именно так, как его передал Лермонтов. Но это уже не камень, о котором мне нечего плакать, но человек, человек-гора или гора-человек, о которой или с которой я плачу. В «Рустеме и Зорабе» есть Горный Дух, которому на время Рустем передает часть своей силы и потом берет у него ее обратно, чтобы победить сына: вот такими-то «горными духами», бóльшими, чем сами горы, древними «Виями», одного из коих показал нам Гоголь, полна поэзия Лермонтова. Возьмите «Дары Терека».

Но, склонясь на мягкий берег,
 Каспий стихнул, будто спит,
 И опять, ласкаясь, Терек
 Старцу на ухо журчит.

20

Это совершенно человекообразно. Это — сказка, не хуже народных, и с такою же, как у народа, прочною, но уже не наивною верою, что природа шевелится, слушает, ласкается, любит, ненавидит. Все, что есть в моем сердце, есть в сердце того огромного духа ли, чудовища ли, во всяком случае огромного какого-то древнего, вечного существа, которое обросло лесами, сморщилось в горы, гонит по небу тучи. Таким образом, во всех стихотворениях Лермонтова есть уже начало «демона», «демон» недорисованный, «демон» многообразный. То слышим вздох его, то видим черту его «лика». Каспий принимает волны Терека только с казачкой молодой: вот уже сюжет «Демона» в его подробностях; «дубовый листочек» молит о любви у подножия красивой чинары: опять любовь человекообразная, человеко-духовная, между растениями; три пальмы в кого-то влюблены, кого-то ждут; караван они встречают, как брачный поезд:

30

Приветствуют пальмы нежданных гостей
 И щедро поит их студеный ручей...

это — оживление, это раскрытые объятия невест, так жестоко обманувшихся... Тема «Демона» неугасима у Лермонтова, вечно скажется у него каким-нибудь штрихом, строкою, невольно, непреднамеренно. Что же это, однако, за тема?

40

Любовь духа к земной девушке; духа небесного ли, или какого еще, злого или доброго, — этого сразу нельзя решить. Все в зависимости от того, как взглянем

мы на любовь и рождение, увидим ли в них начальную точку греха или начало потоков правды. Здесь и перекрещиваются религиозные реки. А интерес «Демона», исторический и метафизический, и заключается в том, что он стал в пункт пересечения этих рек и снова задумчиво поставил вопрос о начале зла и начале добра, не в моральном и узеньком, а в трансцендентном и обширном смысле.

Средневековые легенды полны сказаниями о таких духах, всегда называемых «демонами», всегда обольстительных. Обольстительные девушки являются подвижникам, обольстительные юноши соблазняют подвижниц. Пушкин в легком очерке

За озером в тени дубравы
Спасался некогда монах...

10

нарисовал легкую и выразительную картину подобных искушений. Никогда не было исследовано: почему именно возможная страсть, страсть напряженная раздвигается, однако, в представлении цельного человеческого образа, в галлюцинацию необыкновенно живую, до полной веры в ее действительность и объективность. Почему страсть не остается в рамках физиологических, а переходит в искусство, в рисовку, в лепку форм, физиологически весьма мало нужных? Ведь голодный просто представляет себе кусок хлеба, миску щей, едва ли сервируя стол и задаваясь вопросом, серебряной или оловянной ложкой он ел бы такой померещившийся суп. Но у отшельников является какой-то астартизм, роскошествование, изящество в представлениях: в галлюцинациях вдруг встают древние «боги», навсегда похороненные, — и, как описал Пушкин, иногда эти «боги» побеждают всяческие заклятия. Как для настоящих «духов», для них не существует замков, запоров, стен. Не понимаю, для чего спиритам потребовались их исключительные «духи», к тому же с такою коротенькою психологией, когда настоящие могущественные «духи» оставили такой реальный след по себе в стольких «житиях»?!

20

Начало жизни — грех, — вот философия наших времен. И что влечет к началам жизни, названо было в средние века «демоническим» и «демоном». «Это демоны соблазняют нас, чистых дев и чистых старцев, приобщиться к их жизни, которую мы прокляли, выйдя из ее кругооборотов...».

30

В томительных сценах искушения, увы, не ведется никаких теологических споров: «демон» никогда и ничего не доказывает, ничего и никогда не опровергает; не поддерживает ни одной ереси, не колеблет никакого догмата. В житиях, ни в одном, ничего подобного не записано: он сияет, манит и влечет. Он только прекрасен и он только тело, живое, блистающее, гармоничное, весеннее; одухотворенное, но без всякого перевеса «духа над материей»; без речей, или с речами не умнее спиритических. Что же это за «икс»? Он не относится ни к какому частному, видовому, второстепенному утверждению нашей эры; он относится к коренному ее утверждению — гробу, маня перейти от него к акту, лежащему на противоположном полюсе смерти. «Демон телесной красоты и привлечения» борется с богом, и уже по тому одному, что в средние века он был назван «демоном», можно заключить, что в эти века сущность святости определялась, как бестелесность, ангителесность, как некоторая акосмичность, если употребить слово «космос» в древне-пифагорийском смысле «красоты», «благоустройства».

40

Но то, что стало «демоном» в нашей эре, до нашей эры называлось «богом». Всмотримся в некоторые подробности. Все древние религии были романтические; вместе с тем все они — реальные. От холодного, остывшего Рима до знойной Сирии, везде сердце религии составляло жертвоприношение. Через кровь жертвы человек соединился с Богом. Что такое кровь? Бегущая жизнь, живое, творческое, безмолвное и созидающее. Все органы тела творятся из материала крови, и кровь животного (сумма ее) есть как бы пар его образа, его же фигура, прозрачная, душеобразная. Избрать между Богом и собою посредником, вестником кровь — уже значит самого Бога представлять и чувствовать не отвлеченно, но живо, кровно, а следовательно, родственно человеку. Если я пишу письмо, то посылаю его грамотному, и если в религию входит жертва, то непременно человек молится не понимаемому Богу, но существующему Богу, тому, который «есть», который скажет о Себе: «Я — есмь», и даже в этом, на первый взгляд странном определении, выразит свою главную сущность. «Я была, есмь и буду» — стояло, по словам Платона, на статуе Нейт в Саисе (египетский город). С наших, уже бескровных, логических точек зрения, «я есмь» как бы выражает отрицание сомнения в бытии: «не сомневайся — я есмь», «не ищите меня, не пугайтесь видимым отсутствием, — я есмь, существую». Между тем для народов, имевших жертвоприношения, ударение в этой формуле стояло не так: «существо я есмь», «сый я есмь», «вечно сущий, живой — как жива кровь, через которую ты ко мне относишься, и живой именно в крови, вечно гонящий кровь, струящий жизнь мира, нерв мира». Живого нельзя не бояться; это не просто сумма мнений теологов. Все древние народы, жертвоприносившие, трепетали Бога реально, невольно, неудержимо, как и любили его сыновне, реально же, и верили ему реально, как сын не может не верить в бытие отца своего, хотя бы никогда его не видел. Где были жертвы, — теизм был реален и неугасим. Теперь второе наблюдение. От Греции до Вавилона, до Египта звезды были разделены на группы, обведены фигурами-животными: вот подлинные боги древности, эти небесные животные! — и дева, и козерог, и близнецы, медведица, лев, дракон. У Геродота записано, что в каждом египетском городе почиталось свое животное, так что в сумме египетских городов почиталась вся сумма известных египтянам животных. Они же приносились в жертву, они же были брошены на небо — уже в каком-то новом смысле. Животное — предмет почтения в храме, животное — под ножом жреца, животное — обведенное вокруг звезд на небе, было взято вовсе не в одном смысле, но в трех разных, однако, относившихся к одной метафизической загадке. «Животное, жизнь — непостижимо, тут и земля, тут — и небо; и перст, красная глина, — и дыхание Божие; его плоть я вкушаю, но пар его, но дух его улетает в небеса, — и вот отчего я тоже и молюсь ему». В одном атласе научной экспедиции в Египет я рассматривал рисунок красками неба: темно-голубой фон — это лазурь, твердь; среди его желтые лучистые звезды — того цвета, как они видны; но каждая звезда имеет красную каплю внутри, каплю — крови! Древние представляли небеса живыми, кровавыми, туманно-животными, парообразно-духовными. Иначе невозможно истолковать, для чего на рисунке центр звезды представлен пурпурно-красным, когда таких звезд не видит наш глаз, ничего подобного не видит! В астрономических атласах и до сих пор вся древняя религия.

Но ведь для этого есть основание, ибо звезды в самом деле романтичны, а любовники все и до сих пор великие звездочеты, звездо-мыслители, звездо-чув-

ственники. Пусть кто-нибудь объяснит, отчего и влюбленные пристращаются к звездам, любят смотреть на них и начинают иногда слагать им песни, торжественные, серьезные:

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу
И звезда с звездою говорит, —

как написал наш романтический поэт, которому мерцала любовь и в дубовом листке, и в утесе, мерцала при жизни и за гробом. Отчего, в самом деле, полководцы и солдаты, накануне битвы, накануне возможного смертного часа, не взглядывают на звезды? Звезды — кровавы, как рисовали их египтяне, а

В крови горит огонь желаний.

10

Между животными глубинами нашего «я», откуда, как бы там ни было, во всяком случае распускается цветок любви, и между звездами есть какое-то родство, близость, телепатическая связь, незримая и, однако, действительная. И потому, влюбляясь в юношу, девушка параллельно чуть-чуть влюбляется в звезды, кидая из четырех взглядов три — на него, а четвертый — на них, но тоже любующийся, но тоже влюбленный. «Ты загляни в мое сердце, звездочка, и что там увидишь — скажи возлюбленному, шепни в ночи или нарисуй мой полный образ ему в сновидении». Никогда ведь не было разгадано и явление сомнамбулизма (лунализма): луна что-то показывает спящему (не в буквальном смысле, ибо глаза сомнамбулиста бывают открыты), чего никто не видит, и он следует указанию, идет, не оступается, забыв, не чувствуя весь реальный мир. А когда просыпается — ничего не помнит. То есть лунный мир и здешний, лунные образы и здешние не имеют общего между собою ничего, не имеют моста между собою. Именно луну древние и называли «астартой», в то же время изображая ее в виде прекрасной девственницы. И до сих пор эта «астарта» является как девственница отшельникам, и как луна — водит за собою сомнамбулистов, посылая им небесные усыпляющие пассы через столько миллионов верст. Ведь если она на душу действует, внушая ей сны, давая образы, усыпляя, — то она действует, как гипнотизер, т. е. не только как человек, но как человек еще хитрый и могущественный. Древние дети и воскликнули: «это — бог! это небесная девственница». Диана (в Греции), Астарта (в Финикии), Милитта (в Вавилоне), Изида (в Египте). Бог знает, в подробностях, что они думали: мы перебрасываем мостик от заметного и нам к явно бывшему там.

20

30

Религии были тогда реальные, романтические, кроваво-жертвенные, звездные. Они были метафизические, в противоположность только моральной, какую знаем мы. Зодиак находится во всех древних храмах; а до чего скептицизм не смел подступить к ним, видно из того, что молитвою «*ἄρισ θεός καί λῆσας*» («всем богам и богиням») Демосфен начинал политические речи, а Платон окончил некоторые из своих диалогов. Представить себе речь Чемберлена, начинающуюся словом «Бог», или Спенсера, посвящающего заключительную главу трактата молитве благодарственной об окончании труда! Мы религиозно несравненно холоднее древних. Но если метафизика бытия составляла сущность их тезиса и святое они начинали с колыбели, то понятно, отчего храмы их были как

40

бы приуготовительны к любви. Египетский храм есть имитация ночи и рощи, он полон распускающихся лилий, не в виде поддерживающих потолок колонн, но лилий — наполняющих храм, стоящих посреди его, составляющих органическую и почти главную его часть. Человек, входя в храм, входил из жаркого полудня, из рациональной суеты дня — в мистицизм ночи, в тайну сумерек, в средоточие тех пальм, в которых нашему Лермонтову померещились невесты.

...Кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей.

Так, вероятно, входя под необъятные своды своих роц-храмов, чувствовали и египтяне, ответно улыбаясь невестам-растениям, сочувствуя их любви, готовые сами любить, пришедшие сюда, чтобы любить. Стены храмов исписаны сценами материнства: везде — мать, везде — младенец, лица улыбающиеся, таинственные, как будто они прозрели в какую-то тайну и обрадовались этой тайне. Во всей необъятной египетской живописи нет ни одного унылого лица: а уныние ведь есть печать удаления от Бога, по заключению всех времен. В вечном и никогда в человеке не умирающем чувстве любви они нашли путь к Богу, второй и параллельный жертвам. Ведь любовь — заря крови, ответ крови, цветок из ее глубин. Мы наблюдаем в истории, что везде, где были жертвы, чтились и звезды, а любовь считалась священным состоянием, несколько как бы вдохновенным, несколько как бы пророчесственным. Поразительное чувство веселости и облегченности души в древнем мире, как можно думать, и происходило от того, что они, купаясь в волнах самых теплых и приятных чувств, были убеждены, что океан этих волн уже независимо от их воли катит их к Богу, к вечному «Сый», к тому, что «было, есть и останется». Здесь объясняется и древнее обрезание, общее евреям, финикиянам, халдеям, египтянам. Когда Пифагор пришел в Гелиополис и стал жрецов просить посвятить его в их тайны, они сказали, что это невозможно, пока он не примет обрезания, т. е. оно у них было началом священной науки, как у Израиля началом священных судеб. Обрезание — это вариант жертв, вариант звезд; «кровь завета», взятая из родника любви. «Ангел Иеговы („Аз есмь“) сходит на младенца в секунду его обрезания», — говорят до сих пор евреи. В этом круге идей было не только счастье, но и необыкновенное упорство мысли. Мысль очень твердо оперлась на непобедимую скалу, не выворачиваемую иначе, как с выворачиванием, так сказать, всех потрохов мира. «Ну, рушьте мир: если вы проклинаете любовь, — уж прокляните заодно и травку, и листочек, ибо они все тоже любят, и звездочки, — ибо их любят влюбленные, а вместо прекрасных небесных животных изобразите на тверди небесной таблицу умножения. Но что же останется, кроме этой Геростратовой затеи и самодовольства глупца, утешающегося, что он плюнул на небо и плюнул на землю». От этой-то непобедимости скалы скептицизм и не подкрадывался к ним. Начиная святое и свет в жизни, они на периферии этой категории, в нестерпимого Плеска животворных лучах помещали: «тайна», «Бог», «не вемы и трепещем», а демоническое и демона, темное и отрицательное, помещали в смерть, вечный холод, небытие. Все окружение рождения им представлялось святым; и как мы кадим усопшим, возжигаем перед ними свечи, вносим тело в храм, — со своих особенных точек зрения они кадили же и возжигали свечи перед младенцем в колыбели, перед

зрелищем матери, питающей с любовью своего ребенка. Во всяком случае они были чрезвычайно счастливы, хотя бы уже потому, что в каждой семье были «боги».

Сколько богов и богины!..

Все это и продолжалось до начала новой эры. Тут вдруг один свет погас, зажегся другой. Категория правды началась с покойника. Разом хрустнули косточки «божков»-младенцев, «божков»-матерей, «божков»-папаш. Изиды и Озири-сы были вынесены, как погань, из храмов. А то, чего потребовали от Пифагора в Египте и о чем было сказано Аврааму: «это — завет вечный даю тебе», было объявлено ветхим, не пользующим более, ненужным, зачеркнутым, неупотребительным. Пала древняя астрология. Любовь стала физиологической, звезды — 10
булыжниками, животные и растения — бифштексом и дровами. Поразительно, что с падением обрезания разом рушились: жертвоприношения, чувство неба, священно-трепетная семья и брак, и стала медленно и упорно угасать, погашаться любовь к детям (метафизика возникновения детоубийства). Старость, дряхлость, а еще лучше — раны, а еще того хуже — гроб вызвали поток совершенно нового умиления, и образовалось другое небо, полное другими небожителями. Они теперь удерживают от рождения, более всего грозят за любовь. Не только у евреев, но в Греции и в древней Италии, человек, прикоснувшись к покойнику, считался нечистым или «оскверненным» до конца дня: ибо в нем — жало смерти, 20
гниение, хвастовство и самоупоение дьявола. Но все это прошло. Какой критерий перемены — этот труп! Перед ним стали воскурять фимиам, возжигать свечи, стали ему немножко поклоняться, — этого нельзя скрыть! Ибо кто уже не романтичен, — то это труп! Туманные образы юношей и дев, навеваемые «луною» ли «астартой», или «звездами — воинством небесным» (выражение о звездах Библии), в объятия которых в древности радостно шли, теперь стали пугать, названы были «соблазнительями». Ведь они уводят от смерти, коренной святости, в жизнь, главный грех. Но вот что замечательно: в новой эре их столько же является. И в средние века не менее было сожжено девушек на кострах за сношения с «духами» («колдуньи», «succubi» и «incubi»), сколько в древности было про- 30
славлено храмами и мифами, на Кипре, в Сирии, в Месопотамии, на Ниле. Ничего не умерло, переменялись только эпитеты «злой», «добрый».

Лермонтов в «Демоне» в сущности написал один из таких мифов. Все равно, если он ничего не знал о них, — это атавизм древности. В древности его стихотворение стало бы священною сагою, распеваемую орфиками, представляемую в Элевзинских таинствах. Место свиданий, сей

монастырь уединенный,

куда отвезли Тамару родители, стал бы почитаемым местом, и самый «Демон» не остался бы с общим родовым именем, но обозначился бы новым, собственным, около Адониса, Таммуза, Бэла, Зевса и других. 40

До какой степени это так, можно подтвердить одним подробным рассказом Иосифа Флавия о случае, имевшем место в Риме, во времена кесаря Тиверия. Вот этот рассказ. «В Риме жила одна знатная и славившаяся своею добродете-

лю женщина, по имени Паулина. Она была очень богата, красива и в том возрасте, когда женщины особенно привлекательны. Впрочем, она вела образцовый образ жизни. Замужем она была за неким Сатурнином, который был так же порядочен, как и она. В эту женщину влюбился некий Деций Мунд, один из влиятельнейших тогда представителей всаднического сословия. Так как Паулину нельзя было купить подарками, то Деций возгорелся еще большим желанием обладать ею и обещал, наконец, за одно дозволенное сношение с нею заплатить 200 000 аттических драхм (на наши деньги 50 000 рублей). Однако он был отвергнут, и тогда, не будучи далее в силах переносить муки отверженной любви, решил покончить с собою и умереть голодной смертью. Он не откладывал в долгий ящик этого намерения и сейчас же приступил к его исполнению. У Мунда жила одна бывшая вольноотпущенница отца его, некая Ида, женщина, способная на всякие гнусности. Видя, что юноша чахнет, и озабоченная его решением, она явилась к нему и, переговорив с ним, выразила твердую уверенность, что при известных условиях вознаграждения, доставит ему возможность иметь Паулину. Юноша обрадовался этому, и она сказала, что ей будет достаточно всего 50 000 драхм. Получив от Мунда эту сумму, она пошла иному дорогою, чем он, ибо знала, что Паулину за деньги не купишь. Зная, как ревностно относится Паулина к культу Изиды, она выдумала следующий способ добиться своей цели: явившись к некоторым жрецам для тайных переговоров, она сообщила им, под величайшим секретом, скрепленным деньгами, о страсти юноши и обещала сейчас выдать половину всей суммы, а затем и остальные деньги, если жрецы как-нибудь помогут Мунду овладеть Паулиною. Жрецы, побуждаемые громадностью суммы, обещали свое содействие. Старший из них отправился к Паулине и просил у ней разрешения переговорить с нею наедине. Когда ему это было позволено, он сказал, что явился в качестве посланца от самого бога Анубиса, который-де пылает страстью к Паулине и зовет ее к себе. Римлянке доставило это удовольствие, она возгордилась благоволением Анубиса и сообщила своему мужу, что бог Анубис пригласил ее разделить с ним трапезу и ложе. Муж не воспротивился этому, зная скромность жены своей. Поэтому Паулина отправилась в храм. После трапезы, когда наступило время лечь спать, жрец запер все двери. Затем были потушены огни и спрятанный в храме Мунд вступил в обладание Паулиною, которая отдавалась ему в течение всей ночи, предполагая в нем бога. Затем юноша удалился раньше, чем вошли жрецы, не знавшие об этой интриге. Паулина рано поутру вернулась к мужу, рассказала ему о том, как к ней явился Анубис, и хвасталась перед ним, как ласкал ее бог. Слышавшие это не верили тому, изумляясь необычности события, но и не могли не верить Паулине, зная ее порядочность. На третий день после этого она встретилась с Мундом, который сказал ей: «Паулина, я сберег 200 000 драхм, которые ты могла внести в свой дом. И все-таки ты не преминула 40 отдаться мне. Ты пыталась отвергнуть Мунда. Но мне не было дела до имени, мне нужно было лишь наслаждаться, а потому я прикрылся именем Анубиса». Сказав это, юноша удалился. Паулина теперь только поняла всю дерзость его поступка, разодрала на себе одежды, рассказала мужу о всей гнусности и просила помочь ей наказать Мунда за это чудовищное преступление. Муж ее сообщил обо всем императору» («Древности иудейские», кн. XVIII, гл. III, 4). Жрецы и служанка были распяты, храм разрушен, Мунд отправлен в ссылку.

Наказание — страшное, оттого и цена была велика. Что же это такое? Миф в действии, миф с подлогом. Было злоупотребление. Но чтобы злоупотребить чем-нибудь, нужно иметь то, чем злоупотребляешь. Подделать фальшивую асигнацию можно только тогда, когда есть настоящие и когда настоящие внушают веру, имеют ход. Миф древний есть то же, что сказание о «соблазнении» в житиях, и как под вторыми есть обширная философия, была она и под первым. Что же это за философия? Да то, что Достоевский и выразил формулой: «боги сходили на землю и роднились с людьми». Паулина — редкая из римлянок, особенно того испорченного времени. Но ни ее, ни ее мужа не оскорбляет требование в храм. «Наша любовь с тобою, Паулина, — не уличная любовь, не нравы этих Мессалин. Мы возвысились в ее строгости, в ее ощущении, в верности друг другу не только физической, но и мыслимой, и наконец в миловидной грации, — до звезд, до Зодиака. Вот одно из зодиакальных животных, сам Анупис (он изображался в виде шакала, это — «созвездие Пса») спускается к нам и хочет соучаствовать нашему браку, сделать тебя небожительницею. Спешите же, спешите и радуйтесь!». Не это, но что-то в этом роде мелькало у древних.

Поиск аналогий, не поступаем ли иногда так же и мы. Мы уже не умеем любить, мы уже любим, как кухарки и извозчики. Но мы мыслим, как боги (наука). И вот, эту возвышенную мысль, которая нам удалась, мы без трепета переносим в мир, возносим к Богу, не страшись что-нибудь замарать ею: «мир мудр», — говорим мы и не оскорбляем этим ни мира, ни нашего разума. «Небесный ум» — говорим мы о Ньюtone. Но почему наша жизнь, бытие, родники бытия и в частности рождения ниже мысли? Неужели рождающийся ребенок не лучше всякой книги, заключая в себе живую и трепещущую мудрость, яркую и поразительную красоту, глубину неисчислимых возможностей? Почему же бытие свое, нерв свой, роман свой тоже перенес в мир, не сказать: «мир мудр и жив, мир романтичен, нервен, богат нервами, но не нашими, а утонченнейшими, сокровеннейшими, невидимыми, но имеющими кое-что общее и аналогичное с нашими нервами, и чрезвычайно могущественными». Ведь ум же сам по себе бессилён, песчинки не созидают, а перед нами — бытие, золотой песок звезд в тверди небесной! Мышление нашего ума, открыв конические сечения, открыло в них вместе и круги вращения светил небесных. И в небесах геометрия! «Но также и в небесах любовь, как у Паулины и Сатурнина, но еще лучшая, еще возвышеннейшая, еще глубочайшая. Кто знает, не небесные ли конические сечения родили в человеке отражение свое — мысль о конических сечениях, и не романтизм ли небес рождает нашу малую любовь? Если так, построим храм чудесному чувству, пойдем туда, чтобы удивляться, благодарить и счастливствовать».

Геродот в Вавилоне видел подобный храм. «Уцелел он до моего времени, — рассказывает отец истории. — Посредине его стоит массивная башня. Над этой башней другая — уже, и так далее до восьми. Подъем идет кольцом вокруг всех башен. Поднявшись до середины, находишь там место для отдыха со скамейками. На последней башне есть большой храм, а в храме стоит большое, богато убранное ложе и перед ним золотой стол. Никакого кумира, однако, в храме нет. Провести ночь в храме никому не дозволяется, за исключением одной только туземки, которую выбирает себе божество из всех женщин. Так рассказывали мне халдеи». Почти можно иллюстрировать строками из «Демона»:

Лишь только месяц золотой
 Из-за горы тихонько встанет
 И на тебя украдкой взглянет, —
 К тебе я стану прилетать,
 Гостить я буду до денницы.
 И на шелковые ресницы
 Сны золотые навевать.

«Халдеи же говорят, чему, однако, я не верю, будто божество само посещает храм и почивает на ложе. Нечто подобное таким же способом совершается в египетских Фивах, по словам египтян; и там будто бы ложится спать женщина в храме Зевса Фивского, как здесь, в храме Зевса-Бела, причем и вавилонянка, и фивянка не имеют, говорят, вовсе сношений с мужчинами. Подобно этому в Лидии в Патрах прорицательница, если только она бывает, потому что оракул там не постоянный, запирается по ночам в храме» («История», кн. I, гл. 181).

Вот как это было всемирно в религиях порядка «сый», «я есмь»; но ведь и в самом деле, если геометрия есть в небе, почему не быть там какой-то далекой аналогии земных, физиологических, метафизических влечений?! А если там есть далекая аналогия романа, то оно может не только бросать сюда на землю и зажигать в нас любовь, но и внушать поэтам мифы, песни, стихи — подобного же сюжета. «Все, что есть в моем сердце, — есть и в небе, но огромнейшее, чудеснейшее, святейшее». Оттого философы зовут человека микрокосмосом, «малым, но целым миром». А более дорогое слово нам говорит, что мы «образ и подобие», т. е. земной и тусклый, не проявленный дагерротип Того, Кто «есть, был и будет» вечен и не причастен смерти. Вот отчего, когда сотворился человек, то и оказалось, что «мужчиною и женщиною сотворился он», т. е. сотворился романтическим. Этого и понять нельзя без романтизма в том, с кого сделан был дагерротип.

КУЛЬТУРА И «ГРАЖДАНИН»

Самоуверенность «Гражданина» переходит всякие границы. Статья наша против проекта «Моск. Вед.» отдать всех учеников средних учебных заведений под надзор полиции привела его не содержанием своим, но употреблением слова «культура» — в то духовное состояние, которое медики называют «минутным и беспричинным помешательством». Это именно «аффект», в котором совершаются всякие невменяемости, и орган кн. Мещерского решительно впал в таковое против себя, газеты своей и русской литературы, называя слово культура «скверною и гнусною ложью», а всякую о ней речь в литературе — «подобною кваканью лягушки в болоте». «Вот текст этого кваканья», — говорит он — и приводит большую выдержку из нашей статьи, содержащую ту простую мысль, что министерство народного просвещения никак не может согласиться на воспитание через полицию своих учеников, так как оно есть ведомство «культурных задач и методов и идеалов в воспитании». «Хотелось бы громким хохотом приветствовать эти шутовские слова», — пишет «Гражданин». Затем, хотя автор статьи в «Гражд-

данине» откровенно заявляет, что он не читал опровергаемой статьи «Моск. Вед.», но с тем вместе, пожалуй, раскрывает ее затаенный смысл. Именно, он распространяется о «телесном наказании в русской школе» и о большой глупости, сделанной в прошлом школою через его отмену. Так как и у нас, и в «Моск. Вед.» речь шла только о гимназиях и гимназистах, то, очевидно, «Гражданин» говорит именно о восстановлении телесных наказаний для гимназистов: и передача воспитания из рук министерства в руки полиции едва ли и не проектируется в виду того, что чины министерства окажутся слишком слабонервными для производства сильных экзекуций.

Да и какой интерес «Гражданину» в порке, к которой он питает такую патологическую симпатию? Никто решительно не позовет ни издателя «Гражданина», ни его сотрудников держать за ноги наказуемых, и все же он не получит никакого личного удовольствия от этой «меры». А отвлеченно, ей-ей, невозможно доказать пользы этого действия. Если же слова о культуре орган кн. Мещерского называет «кваканьем» или еще в другом месте, соединяя, «культурокваканьем», то оттого, что предвидит, что пока есть в России так называемая культура — никого ему сечь не дадут.

Слово «культура» для нас есть не фраза, и мы не только не стыдимся, что его произнесли, но и произносим вновь. Для нас это есть краткий термин для обозначения совокупности множества вещей, как слово «отечество» для нас в девяти буквах совмещает народ, государя, отечество, славу и бедствия России, все. Слово «культура» принадлежит к таким же и в восьми буквах обозначает сумму всего, за что тысячелетия боролось человечество, что оно выткало из лучших своих соков и не даст расхитить этого богатства людям такого пошиба, как публицисты из «Гражданина». Прежде всего: «культура» есть убеждение, есть вера, т. е. душу культуры составляет не техника и материальный прогресс, а некоторый накопленный идеализм человечества. В состав этого идеализма, между прочим, входит и отрицание порки, пощечин, заушений, потасовки и т. п. Пусть «Гражданин» пишет: «От слова *культура* — меня тошнит». Может быть, и культуру тошнит от «Гражданина». Но разница культурной культуры и некультурного «Гражданина» лежит в том, что первая объясняется членораздельно, знает свои мотивы, сознает цели, всех убеждает самой рассудительностью своею, — тогда как орган кн. Мещерского давно презрел доводы рассуждения, и вместо этого кричит и топчется, как кавалерийская лошадь под музыку, будучи в то же время в извозе у водовоза.

Вл. СОЛОВЬЁВ И ДОСТОЕВСКИЙ

Собрание сочинений В. С. Соловьёва. Том третий. СПб. 1902

Издание трудов покойного Соловьёва продолжается с энергией, достойной всякой похвалы. Во 2-м томе «Собрания сочинений» была помещена «Критика отвлеченных начал» — труд, наиболее систематичный и обильный ценными философскими взглядами. Лежащий перед нами третий том обнимает философско-

религиозные труды покойного от 1877 года по 1884 год, т. е. самый блестящий период его деятельности, когда он сделался фигурой всероссийскою и всеобщеподобимою. Мне помнится, это время, когда молодежь университетская (в Москве) сперва нерешительно уравнивала его с трудолюбивым и монументальным его отцом, а затем пыталась становить сына и выше отца. В ту пору я был страстным патриотом и мысль, что у нас есть такие знаменитые отец и сын, как у немцев и англичан есть тоже знаменитые в науке и искусстве родственные диады, наполняла мое сердце восторгом и гордостью: «Боже, наконец, Россия имеет философа; разве может быть страна, цивилизация, литература без философов и философии!» — думал и в своих студенческих потемках. И желание, чтобы Соловьёв поднялся выше, как можно выше, гораздо выше отца своего, человека основательного, но все же обыкновенного, было во мне одним из самых знойных. К числу самых страстных юношеских мечтаний (чуть ли не довольно общих) принадлежало и это: что все ученые, даже такой знаменитости, как Либих или Гершель, все же суть обыкновенные люди, «смертные», но только очень умные, даровитые, прилежные и счастливые в своей судьбе или карьере; с именем же «философов» соединялся какой-то неизъяснимый туман и восторг: слово «карьера» несказанно оскорбило бы это понятие, ибо философ, казалось, не идет, а «грядет», и все в нем и около него таинственно, высоко, «божественно». Поэтому, когда я впервые стал читать «Критику отвлеченных начал», как меня ни увлекали изложение и острова взглядов покойного, я все был недоволен, что он занимается чужими философиями. Когда же, когда он начнет сам философствовать! И освещать мир!! И излагать себя!!! Читатель да простит изложение этих юношеских ожиданий от философии, ибо, кто знает, может быть, сейчас ровно такие же мысли бродят в юных студенческих головах. Для последних замечу, что философия сошла к нам незримою и неслышимою гостьей, и уже давно у нас сидела, когда все ее ждали. Это — наша благородная литература. Нисколько не обязательно для философии быть выраженной в томах умозрения, разделенного на отделы, подотделы, главы и параграфы, непременно с «введением» и «заключением». Платон писал драматические диалоги — и философия была там. Но раньше Платона писали только философские стихи, «поэмы», очень коротенькие — и философия тоже в них была уже. Можно составить бессмертное имя в философии, сказав всего один или несколько афоризмов: таков был Эмпедокл и Гераклит. Философия есть просто царство мысли, мышления, и она может не только родиться, но и подняться довольно высоко, вовсе даже без книгопечатания. Том, глава, параграф, «введение» и «заключение» суть просто формы немецкой философии, а не вообще философия. И вот с этой точки зрения русская литература в ее целом и в выдающихся ее точках есть одна из самых великих мировых философий, ибо она носит все черты мышления, идущего необыкновенно глубоко, касающегося всех вещей мира (как и надлежит философии), и притом мыслей, по основательности и критичности своей не уступающих во всяком случае Шеллингу, Гегелю или Шопенгауэру. Когда я это пишу, я имею конкретно ввиду «Обрыв» Гончарова, именно 2-й его том, со всеми беседами Райского об искусстве и жизни, стихи Тютчева и недавно случайно мною перечитанный рассказ Толстого: «Много ли человеку земли нужно». Впечатление от чтения последнего до того меня взволновало, что я не мог удержаться, чтобы не сказать в себе, что ничего равного в религиозной сфере русский ум не сотворил. Если около маленького

этого рассказа, прочитываемого в $\frac{1}{4}$ часа, представить 10 томов проповедей Филарета, которые нужно читать год, и сравнить в обоих силу действия на душу, по-
 нуждения обратиться к Богу, то это будет как ложка розового масла и как воз
 полужасушенных веников. Между тем это только один бриллиант. Если взять его
 в сордстве с другими драгоценными камнями того же творца, и, наконец, рас-
 смотреть самого этого творца в сонме других, вовсе на него не похожих, ориги-
 нальных, новых, самобытных — мы, конечно, получим зрелище великой фило-
 софской толпы, удивительного царства мысли, где земное и небесное, идеальное
 и реальное, теоретическое и достоверное, освещение прошлого и надежды в гря-
 дущем соединены в редко виданную в истории картину. Особенно, однако, трогательно, что блестящие «философии», подлинной и живой, лежат не только на этих
 великих умах, а они виднеются и на самых скромных, иногда безымянных тру-
 жениках. Вот недавно на всемирном съезде здесь криминалистов было сказано,
 что русские внесли в предмет этих ученых ту новизну, что стали рассматривать
 не преступление, а преступника. Может быть, в словах этих была только любез-
 ность говорившего гостя (иностранца) к хозяевам. Но слова эти напомнили мне
 целый ряд то книг, то журнальных и, наконец, газетных статей, именно неподпи-
 санных или подписанных вовсе неизвестными именами, т. е. статей, казалось бы,
 ремесленных, содержащих очерк «преступника» и систему мыслей о нем в такой
 полноте, какая, право, стоит работы римских древних юристов. В русской лите-
 ратуре человек до того вытасен на свет Божий, распотрошен и рассмотрен, что,
 право — точно это «страшный суд» совершается. Но, удивительно, — это совер-
 шенно без осуждения, без горечи, без всякой гадости мщениия. Литература рус-
 ская есть в этом отношении не только великое, но и святое явление. Если, конечно,
 «святость» определять как движение сердца, а не что-то восковое и недвижимое.

Таким образом, Вл. Соловьёв вошел как философ средних размеров толпу
 огромных, уже ранее его бывших и частью ему современных философов. Одна из
 прекрасных особенностей его характера и биографии и заключается в том, что
 он чрезвычайно лнул к литературе, даже непосредственнее — к журналистике.
 И вместо того, чтобы писать томы с «введением» и «заключением», писал стихи,
 статьи, критику, полемизировал, в полемике иногда перевирал и несправедливо
 язвил и, словом, все сделал, чтобы стать добрым русским литератором, отложив
 в сторону немецкий колпак и фартук. Это показывает его истинным философом;
 как у ученых, занимающих кафедры философии в наших университетах и духов-
 ных академиях, их «перст указательный» и «все признаки учения» обнаружива-
 ют именно как «мальчиков на посылках» — кого у Гегеля, кого — у Шопенгау-
 эра, но большею частью как «рассылных на перекрестке», которых берет всяк
 философствующий иностранец и посылает куда нужно. Так, покойного Козлова
 совершенно замучил какой-то немец Трейхмюллер (не слыхали?) и он так и умер,
 чего-то «недоизложив» на русском языке из этого жиловатого немца, которому
 и конца не было.

* * *

Третий том заключает в себе: «Чтения о Богочеловечестве», «Три речи в па-
 мять Достоевского», «Заметку в защиту Достоевского от обвинения его в новом

христианстве» (против К. Н. Леонтьева), «О духовной власти в России», «О расколе в русском народе и обществе», «На пути к истинной философии», «Духовные основы жизни» и «Содержание речи, произнесенной на Высших женских курсах в Петербурге 13-го марта 1881 года». Содержание так обильно и живо, что рассмотрения его хватило бы на ряд больших критических статей. Мы остановимся здесь только на его речах о Достоевском. Касательно же остального содержания сделаем несколько кратких «нота-бене».

1) Противоречия Соловьёва себе самому. Они и вербальны, и идейны. Мало было людей, у которых была бы такая постоянная потребность говорить и писать. Он был похож на колокол, язык которого было невозможно удержать; поэтичнее и в сторону почитателей это можно выразить так, что он был похож на Эолову арфу. При этой неуправляемости речей в слова его вплеталось и то частное и случайное, что занимало его только в данную минуту, что лишь в текущий момент приковало его внимание своею темою. Напр., он останавливался на слове «идеализм». Воображение его вспыхивало, припоминания из Платона давили на душу, и не столько идейно, сколько вербально он писал страницы чрезвычайного восторга к идеальному и совершенного унижения в сторону реального, материального. Например, в данном третьем томе: «...Мы видели, что исходная точка платонизма есть отрицание действительности, как подлинного бытия, как истины. Это противоположение в платонизме, как и вообще в философии, есть по преимуществу теоретическое. Не должный, не нормальный характер действительности заключается, с точки зрения Платона, в ее неразумности, случайности, неистинности. То, что он признает настоящим, должным, разумным, идеальный мир открывается умственному созерцанию — деятельности теоретической, умственной. Но дальше этого теоретического противоположения мира истинного и неистинного не пошла древняя философия. Впервые христианство дало этому античному противоположению истинного и неистинного мира значение нравственное, жизненное, практическое. Подобно платонизму, христианство исходит из отрицания действительности, но оно отрицает ее не как бытие неистинное только, а как бытие противонравственное, как зло. Зло и тягость существующего почувствовались здесь с особенною, необычайною силою. Весь мир во зле лежит, сказал апостол, и это правда» (стр. 383). И т. д. Приписка: «И это правда» показывает приведенные строки, как мысль самого Соловьёва. Но это потому только, что самую тему данной минуты речи было: «идеализм». Но вот темою становится: «богочеловечество» (стр. 1—132). Само собою разумеется, что любовь Бога к миру, выразившаяся в послании на землю «Сына Своего Единородного», и вообще христианская идея богочеловечности, т. е. смешения, соединения божеского и человеческого, совершенно низвергает весь этот платонизм: и здесь, да и во множестве лучших статей Соловьёва, трактующих о реальном, развивается ряд мыслей, пропитанных уважением к действительности, даже в ее малых и нечистоплотных частях. Да и невозможно иначе, ибо кто брезгает действительностью, то как же он ее любит?! Небрезгливость — есть главный атрибут Божий, нравственный Его атрибут. Но, во всяком случае, целые трактаты Соловьёва или большие полосы в его статьях противоречат друг другу, имея просто разные темы, просто увлекая автора вербально в разные стороны. Язык колокола, всегда звоня и всегда хорошо, движется, так сказать, в разных вертикальных плоскостях.

2) Куски мертвого содержания среди живой речи. Они чрезвычайно затрудняют чтение Соловьёва, делают его утомительным и немного скучным. Эти мертвые куски суть части, вырванные из чужих систем философии, — которые, о чем бы Соловьёв ни говорил, постоянно мешались у него под языком, затрудняли его речь. Например, ему нужно говорить о христианстве. Тема слишком обширная и занимательная, и о ней можно было бы говорить хоть год с такою силою вниманья, как бы мир перестал быть для говорящего. Тогда потекло бы чистое масло речей. У Соловьёва этого никогда не было. У него в маслянистую речь на главную тему примешаны целые пространства совершенно инородного содержания: тут и Платон, тут и «общественная струя», тут и германский идеализм — все вплетено в речь о сущности христианства, и большею частью сущность-то речи является или забытой, или вовсе невыясненной, или, во всяком случае, недоказанной! Чтение Соловьёва от этого не только утомительно, но как-то трудно сделать его и сосредоточенным. Пьешь-пьешь живой смысл его речи — вдруг мертвый кусок из Шопенгауэра; поперхнулся, продолжаешь дальше, чувствуешь удовольствие — вдруг опять кусок из Канта, и т. д. И это — не в выдержках, а что гораздо хуже — в ходе собственного соловьёвского мышления. Если бы можно было его представить в виде растянутого полотнища, то оно напоминало бы собою беленье холстов: пятна еще не перебелились и выглядят темными, а части уже перебелились и выглядят белыми. Велик, прекрасен и жизнен был греческий философский идеализм, однако, в греческих условиях и у самих греков; то же можно повторить о германском идеализме. Пересаженный в русскую душу, он уже не жив сам, а вместе производит омертвление в соответственной частице русской души. Этим я не хочу сказать, что нам не надо учиться: но что ученье — дело мудреное, мучительное. Жуковский и Крылов пусть послужат иллюстрациями моей мысли. Жуковский был гениален в переводах, это был «выучившийся» человек, выучившийся германскому поэтическому идеализму. Но пусть бы Крылов попробовал вдохновиться «Ивиковыми журавлями» и перевести их или написать им подражание: получился бы мертвый кусок русской литературы. Соловьёв в значительной степени был как бы Крыловым, пишущим «Ивиковы журавли», или Жуковским — с попытками национализации, «опрощения от философии». Ни там, ни здесь он не вышел цельным.

* * *

С Достоевским у Соловьёва были тесные отношения, как биографические, так и идейные. Вместе они ездили в 1880 году в Оптину пустынь, чтобы видеть и говорить с знаменитым ее старцем о. Амвросием, который представлял в свое время великое и исключительное явление духа и труда. Здесь же оба они виделись с К. Н. Леонтьевым, медиком-публицистом-монахом-эстетом. Эти четыре лица, собранные на одной точке, в одной беседе, могли представить собою «тяги земли русской», как говорится в былинах. От. Амвросий (старец Зосима «Бр. Карамаз.»), посаженный старцем, т. е. советником, руководителем, в знаменитом и настоящем монастыре, — без борьбы и протестов, без противоречия и споров совершенно преобразовал смысл монастыря, монашества и вообще духовного лица. В бедном подряснике, среди соснового леса, в тесной избенке, он принимал

у себя удрученных духом, угнетенных жизнью людей; и не заводил их в тупичок единственного совета: «Потерпите, Бог терпение любит», а пронизательным оком входил во все разнообразие практических и духовных нужд, и давал советы то духовные, а очень часто и практические, даже хозяйственные, экономические (мне известны случаи именно таких советов). Он был лекарем-знахарем душ и быта, без всяких притязаний на духовную власть, на духовный авторитет; без красноречивых проповедей, без всякого даже официального в себе значения, и не представляя собственно в иерархии духовной ровно ничего, никакой сколько-нибудь значащей единицы. Романист, философ и публицист с равным любопытством и надеждами смотрели на знаменитого «старца», — и, вспомним, в какой критический момент нашего духовного развития произошло это свидание. Вещи, иногда на первый взгляд совершенно простые, открывают пристальному размышлению чрезвычайную в себе сложность. Что такое был старец Амвросий, — по биографии преподаватель семинарии, в молодости оставивший службу и ушедший в знаменитую пустынь? По смерти его в духовных журналах было напечатано множество его частных писем, по краткости — скорее записочек, и собраны были его присловья, любимые выражения, почти как Даль собирал «Пословицы русского народа». В них замечателен шуточный тон, следы или начатки неразвившейся иронии, тон везде веселый, обильный любовью к людям и жизни их. Что-то старенькое-старенькое и мудрое-мудрое есть в нем. И совершенно отсутствует столь знакомый нам и столь постоянный в духовной литературе тон учительства, морализирования; отсутствуют и ссылки на какие-нибудь древние авторитеты. Он весь русский, этот отец Амвросий. Читая его присловья, вспоминаешь Даля и его словари, а припоминая множество рассказов, о нем ходивших, невольно как-то возводишь их, как к прототипу, не к фигурам знаменитых греческих отцов, еще менее — к фигурам ветхозаветных гремещих пророков, а к столь знакомой нам, русским, фигуре вещего и древнего старца, предсказавшего Олегу его смерть. Оба надышались лесами, насмотрелись звезд — и взяли оттуда свою мудрость и свое сердце. Гёте, вырасти он в другом месте и в другую эпоху, например, до книгопечатания, мог бы все же продумать всего своего Фауста, только не так определенно; он мог бы быть пантеистом без знания этого слова. Классификации и группировки приходят на ум поздно. Люди растут и действуют сперва без группировки и даже без имен. Слово «пантеист» испугало бы от Амвросия; этого имени не подписано и под литературным портретом от Зосимы, т. е. имя не приходило в голову самому Достоевскому. Между тем, если мы спросим, чем Зосима отделяется, отграничивается от обыденной, окружающей его толпы, в таких же черных рясах, все то же знающих, что знает и он, то ответим, что духовный взор Зосимы теснее, роднее слит с природою, с людьми, наконец — прямо с звездами, нежели их духовный взор, более книжный, может быть, более ученый и менее природный. Руссо может явиться ведь и не в экзальтированном виде, не ломанным существом, а эпически спокойным; как и Гёте может написаться с маленькой буквы и не уметь выговорить ни одного стиха. Я хочу этим сказать, что знаменитое философское понятие: «пантеизм», «пантеист» есть рубрика нашего ума, выражающая древний и вместе вечный факт, факт очень пространенный; а имя «Гёте» по величю и яркости его фигуры можно обратить в нарицательное, почти как имя «Обломов». Понимание мыслью

И дольней лозы прозябанье
И гад морских подземный ход,

как и призыв Руссо к первоначальному невинному состоянию, к безыскусственно отношениям, к братству всемирному, может безграмотно и беспаспортно, но прелестно и гармонично вырасти в друга лесов, друга человеков, например, как Амвросий. Подставим на место князя грядущий к нему народ, и мы, почти без перемен, можем почитать о нем стихи Пушкина

Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях прошедший весь век...

10

Здесь только неверны имена, не тот паспорт; а человек — один, а дух — тот же. Замечательно, что когда Достоевский еще расширил эту эмпирическую фигуру своим воображением и начертал образ старца Зосимы, то уже вышел полный и яркий пантеист: «Птичек любите, каждый листочек на дереве любите: всему поклоняйтесь, все лобзайте». Смесь любви, но природной, с поклонением, но природе — очевидна в знаменитом «старце» знаменитого романа. Леонтьев, обращение которого к религии совершилось на Афоне, забил тревогу, и в блестящей и сумрачной брошюре: «Наши новые христиане гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский» объявил, что эти два писателя вводят «новое христианство», «розовое» (оба термина Леонтьева), на место действительного, исторического, которое представляет если и сокровенную «розу», то небесную, открывающуюся на том свете, после смерти, тогда как здесь, на земле, лежит для христианина путь терниев, путь шипов, колючек, испытания, боли. «Терпите; лучшего, чем сейчас, на земле никогда не будет, да и не нужно», — писал он. Достоевский в «Записной книжке», посмертно напечатанной, назвал учение Леонтьева «богохульством и цинизмом», и мне известны глубокого ума люди, которые называли Леонтьева «чудовищем атеизма». Что он неприятен и колюч — об этом нет спора. Но что опровергнуть его очень трудно, об этом тоже спорить не приходится. В III-м томе соч. Соловьёва помещена «Заметка в защиту Достоевского от обвинения в новом христианстве», направленная против Леонтьева, но, в сущности, почти соглашающаяся с ним. Вообще, обругать Леонтьева очень легко, но преодолеть трудно. Соловьёв знал силу Леонтьева и преодолевал ее более сердцем, порывом, чем мыслью. Так и в настоящей «Заметке» он опирается более на Апокалипсис, на «грядущее», тогда как Леонтьев стоял на пользе факта и трех синоптических евангелий, где сказано и указано, что «будут скорби» после смерти Христа, и что «восстанет народ на народ и брат на брата». Леонтьев, подсмеиваясь над «розовым христианством» двух великих романистов, называл его подлогом и выдвигал темные, почти черные тени прошлого, называя их вечными, да и прямо призывая их. Он очень точно определил и назвал «всемирную гармонию», которую предрекал Достоевский и звал к ней людей, — просто возобновлением мысли Руссо, нисколько не оригинальным и с его, леонтьевской, точки зрения крайне скучным и преступным. «В строгих монастырях, на Афоне и в Оптиной,

20

30

40

за такие речи, какие Ф. М. вложил старцу Зосиме, виновного определили бы на послушание (наказание монастырское) и во всяком случае наложили бы на него обет молчания». Не только постриженный в монахи, но и проживавший уже давно в монастыре, Леонтьев, конечно, лучше знал подлинное фактическое христианство, в отличие от мечтательного и «пророчесственного», с каким выступали, от имени которого твердо и нервно говорили Достоевский и Соловьёв.

**ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ. РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ
В ДОЛЖНОСТЬ ЛОРДА РЕКТОРА ЭДИНБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
2-го АПРЕЛЯ 1866 г.**

10

Перевод с англ. Н. Горбова. Москва. 1902 г.

Брошюра заслуживает быть отмеченною, как и все, соединенное с именем Карлейля, ума капризного и гениального, бурного и меланхолического, который не снискал у нас распространения, как Шопенгауэр и Ницше, но, несомненно, имеет тесный кружок своих горячих почитателей. При английских университетах есть прекрасное учреждение — «почетное ректорство», обыкновенно даваемое, по избранию студентов, выдающемуся писателю, мыслителю или ученому, иногда политическому или общественному деятелю, на три года. Ректорство это не возлагает никаких обязанностей и есть почетное право с необходимостью сказать студентам руководящую речь, являющуюся отчасти и своим profession de
 20 foi *. В Эдинбургском университете должность почетного ректора была учреждена в 1858 г., и студенты преемственно избрали Бругама, Гладстона (сплошь два
 30 трехлетия) и третьим — Карлейля. Не нужно объяснять, сколько возбудительного и воспитательного может заключаться для молодых людей в слове, обращенном лично к ним первым или одним из первых умов их страны. В лежащей перед нами речи особенно замечательны страницы, посвященные очерку духа и истории римлян, и духу и истории Англии времен пуритан и Кромвеля — любимейшего Карлейлем эпизода его отечественной истории. Заметим, что сам Карлейль представляет в себе какой-то хаос древних и новых понятий; римская virtus ** и решительное почтение к Юпитеру Optimo Maximo, «суровому Владыке
 40 Вселенной», мешается у него с Библией, пороками и евреями; Оливер Кромвель — с древними консулами. В Соломоновом храме был «двор язычников», куда язычники могли приходиться и со своей стороны и от своего имени приносить жертвы... конечно, Иегове пророков и Израиля. Вот на этом-то дворе, странной соединительной точке Израиля и язычества, святого и заблуждающегося, можно было бы встретить Карлейля, если допустить фантазию перенесения его за 2000 лет назад. Между римлянами, греками и евреями этот шотландец XIX века был бы, может быть, более «свой», чем среди слабонервных и искусственных сородичей и современников, которых он так явно не уважал и так капризно мучил своими писаниями и идеями.

40

* Символ веры, программа (*фр.*).

** Мужество (*лат.*).

СЧАСТЛИВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ

«Его можно и *пожалеть*», — замечает г. Михайловский о г. Мережковском в 3-й и последней рубрике своей статьи, рассматривающей «Религию Толстого и Достоевского» Д. С. Мережковского и мою книгу «В мире неясного и не решенного». С усердием медведя, гнущего дуги, он «гнул» так и этак разные ему несвойственные темы, и критиковал или «писал замечания» на две вовсе ему непонятные и им непонятые книги, что-то из них выбирая, что-то комбинируя, но ничего кроме печатной бумаги не получая. Вот уж не разбогатеет «Русск. Богатство» от этих его статей и к чему они? Разве мало других тем, совершенно доступных для обсуждения, чрезвычайно важных, и на которые вся Россия с удовольствием и пользой (конечно, говорим без всякой иронии) прочла бы его рассуждения: предполагается уничтожить крестьянскую общину, преобразуются университет и гимназия. Неужели же г. Михайловский, энергично некогда нападавший на гг. Герье, Чичерина и Цитовича, платонически выступавших против общины, не хочет ничего сказать в защиту ее теперь, перед лицом реальных для нее угроз? Но нам казалось всегда, что г. Михайловский только «бряцал на струнах» о самых кроваво-важных вещах и любил даже в старину общину или артель, а пожалуй, и Глеба Успенского или Салтыкова, не более чем Цезарь-музыкант свою столицу. «Бури и натиска», «Sturm und Drang'a» никогда в Михайловском не было и температура его за весь истекший юбилей в 40 лет не повысилась и не понизилась и на полградуса. Завидное спокойствие для литератора. Я сказал, что он «гнул дуги» все три месяца и не только лишил Россию ценных статей, но и в «полное собрание» своих сочинений включил самые скучные его страницы.

Между тем напрасно было бы сказать, что он и не *хотел* понять. Он не только говорит, что усердно читал книгу Мережковского, но и по множеству данных видно, что он ловил все в ней ценное — с удачей медведя-полоскуна, кидающегося в воду, чтобы выудить лапами из нее игривую рыбку. Ничего не получилось из трехмесячной работы, а с чтением, пожалуй, и из годовой, кроме некоторого остроумия, всегдашней приправы статей Михайловского.

Но зачем он хотел понять непонятные книги, и вникнуть в недоступные темы? Что-то его туда влечет, и Михайловский потому конечно и получил блестящий триумф за 40 лет литературного трудолюбия, что он не только прилежен, но даровит, что он с *задатками*, хотя без *исполнения*. «Что-то, чорт возьми, есть, чего я не понимаю, хоть и хотелось бы понять». Эта скромность составляет преимущество его над собратьями, девиз которых: «Я очень мало понимаю, но совершенно не важно все, чего я не понимаю». Обращаясь к серьезному тону, спросим: ну, что же он извлек из всех тем Мережковского и Розанова? Ну, неужели нет темы *для собственной* (Михайловского) мысли в цитатах из Достоевского: «кто *погвы* под собой не имеет, тот и *Бога* не имеет», «кто от родной земли отказался, тот и от *Бога* своего отказался», «у кого нет *народа* — у того нет *Бога*», «*Бог* есть синтетическая личность всего *народа*, взятого от начала и до конца». Неужели, говорю я, вычитав эти цитаты, возможно не зародиться мыслями, во-первых, о странном существе веры самого Достоевского, а затем и о вечно-любопытном смысле борьбы между древними религиями, которые все были религиями (с усилением) *своего народа, своей земли*, и тем, кто сказал в видении самому пламенному

ученику своему и прозелиту: «иди к язычникам» (иноплеменникам), иди в Рим и Афины, оставив родной тебе и по человечеству Мне Сион своей судьбе». Ни из чего, как из этих цитат, до такой степени не видно, что, во-первых, в Достоевском (его апогее) пылало какое-то язычество русизма, поздно вырвавшийся пламень заглушённой в зародыше веры славянства; пылали молнии Перуна, которому в свое время обрубили серебряные усы, а Достоевский пытался ему сделать даже золотую бороду (пожалуй, Михайловский и теперь скажет, что я говорю непонятно; вообще наивное: «этого я не понимаю» у него так и осыпается после каждой почти цитаты из Розанова и Мережковского). Это, во-первых, в смысле любопытного литературного объяснения, что такое был Достоевский. А во-вторых, через пламень Достоевского, столь религиозный, столь до известной степени святой, ценный, крепкий, цепкий, можно постигнуть, что за *сопротивление* встретила Христова проповедь в Европе, да и в Сионе, из которых каждый говорил буквально словами Достоевского: «признак уничтожения народностей — когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог... Народ — это что-то божие. Всякий народ только до тех пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных богов на свете исключает без всякого примирения, пока верует в то, что своими богами победит и изгонит всех остальных богов» (все цитаты взяты из статьи Михайловского, стр. 166—167). Послушайте, да ведь это чувство — разгадка крика: «ко львам их» римлян о христианах и разгадка же камней избиения, поднимавшихся на ап. Павла в Иерусалиме. Таким образом, Достоевский *живым своим чувством*, столь огненно сказавшимся, столь прямо *религиозным*, дает разгадку древнего святого пламени древних религий, которые все стали религиями-родами в отличие от христианского универсализма; религиями поклонения земле своей, крови своей, роду своему, привычкам, обычаям — до ликторов и консулов включительно, до четырех свеч, зажженных в субботу у евреев. Но что об этом Михайловский написал? Да ничего. Он недоумевает, как Достоевский сочетал сомнение в бытии Божиим с признанием и прозелитизмом православия. Да ведь «православие» родной «бог» Руси, в которого (пенат родины) почему же и не веровать против напора предложения веры в какого-то «бога вообще», «бога для мира», «смешанного бога», который, пожалуй, не столько есть «бог», сколько принцип уничтожения всяких вообще на земле «богов», живых и настоящих, действительных и охраняющих их «родины». Выражаясь конкретно, христианство есть вообще движение против «родных пенатов», и тут даже, пожалуй, есть объяснение, отчего Лютер, характерно национальный для немцев тип, выдумал для родины «лютеранство», родного немецкого пената, в стороне от всемирно-уравнительного и всемирно-отвлеченного католицизма. Да и Достоевский понятен, как эмбрион славянского Лютера, тоже пытавшийся оторвать родину вообще от «сгнившего запада», сего «инобога», «не нашего» и уже *eo ipso* проклинаемого.

Какая масса света! А Михайловский шипит около него какою-то неудавшеюся ракетой. Ни света, ни красоты; только мальчикам позади фейерверка потеха. Но главное — три месяца! три месяца своей биографии зарезал Михайловский. Он также мало ценит свою кровь, как римский сенатор, выпускающий ее в теплую ванну. «Скучно на этом свете, господа». Впрочем, римский сенатор чувствовал при этом удовольствие, и Михайловский также с видимым удовольствием напи-

сал три бессодержательные статьи, ибо безмолвно около каждой его строки есть как бы подпись водяными знаками: «как я умен; я совершенно обладаю своими способностями, как и метранпаж типографии «Русского Богатства», с полным обладанием способностей говорящий мне по телефону: «Н. К., торопитесь дать статью: иначе не выйдет верстка книжки». Но я не знаю, зачем такие метранпажи занимаются критикою, а в игривые минуты даже и начинают рубрики: «Мысли о религии», хотя вовремя обрывают их, переходя в многоточие. И «многоточие»-то и есть единственно глубокомысленная и даже единственно думающая часть «Мыслей о религии»...

РАЗМОЛВКА МЕЖДУ ДОСТОЕВСКИМ И СОЛОВЬЁВЫМ

10

Очень скоро после смерти Достоевского Вл. Соловьёв, бывший при жизни в некотором духовном подчинении ему, начал быстро и энергично расходиться с ним. В третьем томе «Сочинений» покойного философа помещены статьи, где мы наблюдаем первые шаги этого расхождения. Каковы были основные его побуждения?

В лучших, золотистых своих страницах Достоевский навевал на читателя грезы всемирной гармонии, братства человеков и народов, гармонии жителя земли с этою обитаемою им землею и небом; «Сон смешного человека», в «Дневнике писателя» и некоторые места в романе «Подросток» дают в Достоевском почувствовать сердце, которое не словесно только, но реально прикоснулось тайне этих гармоний. Наполовину слава Достоевского основывается на этих золотых его страницах, как ее другая половина основана на знаменитом его «психологическом анализе», если и не высший, то самый знаменитый пример которого дан в «Преступлении и наказании». На прямой и краткий вопрос: «Да за что вы любите так Достоевского?», «за что Россия так чтит его?» — всякий скажет кратко и почти не думая: «Как же, это самый *проницательный* в России человек и самый — *любящий*». Любовь и мудрость — вот два венца Достоевского, около которых более проблематичны остальные.

В одном месте выражения этой экстатической любви, в «Бесах», он говорит: «Я — всему молюсь; вот ползет паук по стене — я и ему молюсь». Паук — это что-то злое. Но силою любви, из него исходившей, Достоевский преодолевал самое зло, разгонял потоками психического света всякую тьму, и, как в знаменитых словах о «солнце, восходящем над злыми и добрыми», — он тоже разламывал перегородки добра и зла и снова чувствовал природу и мир невинными, даже в самом зле их. В секунду этой «гармонии» — его лично, Достоевского, «гармонии» — вина снималась с мира, и он (Достоевский) знал тайну мира искупленною, о чем мы болтаем пустые деревянные слова, в сущности вовсе не зная и не постигая, что такое для мира быть «искупленным». Метафизический секрет этой «искупленности», нам только словесно известной, был открыт или по крайней мере секундами открывался Достоевскому. Те страницы, где проскальзывает этот секрет, и создали все положительное имя Достоевского, где он дал свой «тезис», в отличие от других, часто очень мрачных страниц его, где он развил множество

«антитез» современной ему культуре, да и вообще сердцу человеческому («Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»).

Состав этого «белого луча» в «темном Достоевском» чуть ли не столько же сложен, как и состав нам известного простого «белого света». Тут входит и «Лик Христа», к которому он еще с юных своих лет привык обращаться как к неоспоримой небесной красоте, которую проверяется все сомнительное, земное. Может быть, в чувстве Достоевским Христа заключалась личная особенная примесь, может быть, он чуть-чуть Его иначе чувствовал, чем все мы, чем православный обыкновенный священник; именно — жизненное нас, не столь книжно и воспоминательно, как мы. Вторую частью «гармонии» Достоевского было его русское народное чувство, почти — простонародное («Мужик Марей», «Столетняя» в «Дневнике писателя» и там же некоторые рассуждения). С ним к концу жизни слилось его отношение к Пушкину и к лучшим частям нашего образованного класса, с их «всемирной отзывчивостью и перевоплощаемостью». Неразъединимо это ощущение Достоевским своего народа сливалось с упомянутым уже чрезвычайно жизненным ощущением Христа. «Наш народ (и только наш) — Христа в себе принял — оттого он такой», — вот формула и частые разъяснения Достоевского. Для него «православие», «Христос», «народ русский» сливались так тесно, что можно было одно имя употреблять вместо другого; и это не звуковым образом, а мистически. Известно, что есть в русском народе секта, которая кроме Иисуса Христа, распятого при Понтийском Пилате, признает множество воплощаемых на земле «христов» и «богородиц», к которым относит все благоговение, какое надлежало бы относить к Тому одному. В чудных, выразительных страницах Достоевского о русском «народе-богоносце» («Бесы») мы чуть ли не имеем гениальную и интеллигентную вариацию этого народного мифа-веры. И, вместе, чуть ли в Достоевском и его пророчесственном, вдохновенном творчестве нам не дан психологический ключ к разгадке этой темной русской секты. Третья часть «белого луча» Достоевского лежит в его пантеизме, однако не объективно художественном (как у Гёте), а скорей в пантеизме субъективно-религиозном, нервно-моральном. Достоевский не сказал: «Я люблюсь на паука», «созерцаю в нем мудрость природы и изучаю его», а кратко и вместе сильнее: «молюсь ему». Тут, пожалуй, тоже есть наука и есть любование, но они позади и забыты, а налицо — сладкая молитва, экстаз. «Дневник писателя» он открывает с рассуждения «О Большой Медведице» (созвездии) — немножко странно для публициста, слишком высокая нота для журналиста. Это — характерная хлыстовская нота, ибо и хлыстов наших, несмотря на их «духовные стихи» и постоянные ссылки на Христа, миссионеры очень тесно связывают еще с дохристианским язычеством. И тут есть основательность. Мы уже заметили, что и в старце Зосиме «Братьев Карамазовых» действуют более звезды, чем монастырский устав,⁴⁰ доброта лесов, благодать утреннего воздуха, «который вдыхают злые и добрые». Мы вообще не различаем в себе мотивов религиозности, а разобратсья в них, исследить душу даже великого подвижника — и найдешь в ней слой за слоем чуть ли не целый том «истории религий», и самых древних, и самых новых. Кто объяснит нам, почему Франциск Ассизский и люди его типа вырастали только в пустынножительстве, среди скал, в пещерах, среди вековых сосен, а едва подвижник входил в город, он начинал действовать и говорить жестко, сухо, кратко, раздраженно. И в тех мантиях, в которых мы видали Франциска Ассиз-

ского, мы трепещем Торквемады. Монастыри, уединенные в лесах, в древних «священных рощах» Галлии, в диких горах Пиренеев, Апеннин, Афона, — дали все христианство, весь его дух, аромат. Города дали иерархические препирательства, власть, закон, томительные книжные споры. Тут разграничение между Никоном и Сергием Радонежским, между Франциском Ассизским и Иннокентием III; между Ватиканом и... напр., лесною Русью.

* * *

Соловьёв весь проникся идеею (и чувством) этой «гармонии» Достоевского, не различая в ней указанных сложных элементов; и, приняв ее за выражение и за миссию подлинного исторического христианства, потребовал, так сказать, уплаты по ее невероятно большому векселю. Он был похож, во всей последующей богословско-публицистической своей деятельности, на не очень симпатичного судебного пристава, который с документом в руках все хлопочет около богатого дома, но никак не может добиться, чтобы хоть открыли в нем форточку и подали оттуда ломоть свежееиспеченного хлеба.

«Издали еще можно любить ближнего, но вблизи — ни за что! никогда!» — воскликнул Достоевский в одном месте («Братья Карамазовы»). И в этом печальном признании высказал глубокую границу и ограниченность себя и даже своего творчества. Золотые его страницы вплетены в томы беспредельного сумрака. Он «молился на паука...». Ну, вот паук не паук, а хоть поляки, нация все-таки не пауковая. Пусть это недостаточный человеческий тип; но ведь нашел же всеоправдывающие человеческие черточки Достоевский и в капитане Лебедкине («Бесы»), пропойце и мошеннике, и в Грушеньке, и в Митеньке Карамазове. Надо бы бросить нации, может быть только униженной и оскорбленной, а от этого и изломанной в характерах, ту «луковку» помощи и признания, о которой он сам так хорошо говорит в «Братьях Карамазовых». Но он не бросил и «луковки». Он накидал фигуры двух шулеров и альфонсов из поляков («Братья Карамазовы») — и больше ничего не промолвил, отвернулся. Вот, опять католичество. Не могу самонужнейшим эпизодом не ввести здесь двух-трех слов, пронизательно брошенных мне подлинно добрым, и притом вблизи, — добрым Н. Н. Страховым. Кончая одну большую свою статью, где сравнивались три церкви, наша, католическая и протестантская, я закончил ее описанием простой провинциальной нашей церкви, куда ко всенощной приходят немногие старики и старушки и молятся с тою наивностью и теплотою подлинной веры, «которая везде на Западе утрачена». Прежде всего я списал это с того, что лично мне было известно. Да ведь и все решительно русские, на прямой вопрос о преимуществах их веры перед другими, прямо ответят: «Наша вера — настоящая, в ней нет морального лукавства, ни умственных художеств, а простое и смиренное отношение к Богу. Молитва наша тепла, а упование несокрушимо». Словом, кто наблюдал внимательно «сущность русской веры», заметил или заметит, что она неотделима от «сущности верующего русского» и что смиренная-то фигура последнего, а не догмат и составляет «отличие православного вероисповедания от инославных». В сущности даже богословские рассуждения «о разделении церквей» имеют нравственным под собой пафосом чуть ли не это же «разделение племен» и бесконечное восхи-

щение каждого к своему племени в его «коренных чертах». Коренная черта русского, «а следовательно, и православия» — смирение. Прочитав эту статью и поняв, что в приведенном месте лежит главное мое основание гордости своею верою и пренебрежением чужими, Страхов мне и заметил, покачивая головою: «Ах, В. В., эти смиренные, совершенно так же молящиеся старушки, с этою же теплою верой и простотой, — неужели вы думаете, их нет в протестантстве и католичестве? Поезжайте в Шварцвальд, в Тироль; да что...». И он махнул рукой. В словах этих, сперва механически мною выслушанных, заключается, в сущности, целое мировоззрение, и собственно с этого и надо бы начать толки о «соединении церквей», оставив вовсе в стороне и разницу догматов, и соперничество иерархий. Если когда суждено объединиться христианскому миру, он объединится из народных масс, снизу, а не сверху. И началом объединения послужит та простая страховская истина (да укрепим за ним эту честь), что ко Христу и католик, протестант, и православный равно относятся, то же в Нем чувствуют, так же Ему молятся. И что, следовательно, помолиться есть основание и почва каждому русскому за каждого поляка, вообще католика, за каждого немца и лютеранина. Ранее или позже этот мир сердец народных увлек бы к миру и иерархию, и догмат; вызвав отношение к различиям в последних, т. е. собственно к религиозной философии, такое же, как к различиям в культе, в предании, в обычае вер. Не нужно слияние, униформность. Перед Престолом Божиим, в «Апокалипсисе», стоят и молятся не одно, а четыре животных — орел, лев, телец, человек. Почему это не указание, не «откровение», что Богу и не нужна униформная молитва, что Сам Бог хочет видеть народы идущими к Нему во всем узоре разноцветных одежд своих и глаголющими к Нему свое слово на неисчислимых наречиях, неисчислимыми логиками. В основе различия вер, как и различия языков, лежат различия этнографические. И вера есть такой же природный цветок, неуничтожимый *species fidei* *, как и какой-нибудь говор. Если в Христе, в сущности, уже сейчас примирены все европейцы, то отдаленные — в Отце Небесном, распростертом «над худым и добрым», примирены европейцы и с сирийцем, с арабом, молящимся «на запад солнца», «вечернему свету», молящимся с таким же трепетом к Богу, как мы. Но как нам уже трудно постигнуть, «приятъ в сердце» римского понтифекса или ученого протестантского пастора — по расхождению кровей и психологии, — еще труднее нам, уже почти невозможно что-нибудь понять в сирийце, арабе. Но это наша граница, преемников Синеуса, Трувора, Рюрика, а не граница человечества, преемника Адама.

* * *

В спорах того времени, середины 90-х годов, и мне пришлось принять участие — полемикою с Соловьёвым.

Мне представлялось в ту пору (и чуть ли это не есть довольно распространенное представление), что православие — это древняя и тихая старушка, потерявшая силу, молодость и красоту, но с великим прошлым, а главное, которая никого никогда не обидела; и вот мимо этой старушки идут упитанные и счастливые

* вид веры (*лат.*).

сегодняшней свежестью господа, вроде Чаадаева, Соловьёва и всех наших либералов, и толкают ее, и задевают локтем, не только неглижорски, но даже и зло. Всегда для меня слово «православие» просто выражало «приходскую церковь во время литургии»; ee же я любил как исключительное и единственное место, где никогда и никакой человек не бывает обижен. Часто посещая церковную службу, всегда стоя там, я думал: «Везде есть разделения людей, везде есть ум и злоба, высшие и низшие, ученые и неученые, и везде-то, везде человек обижен: ученик — учителем, мужик — барином, чиновник — начальником. Только одно есть место на земле, куда какой бы обиженный ни пришел, он перестает чувствовать себя обиженным, и никто на него так не смотрит, и он, как с ангелами и Богом, выше и в стороне от своего обидчика». Храм как место «без обиды» был моей иллюзией (теперь думаю), музой, источником вдохновений много лет. 10

Между тем Соловьёв (чего я не рассмотрел) вовсе и не нападал на церковь-храм, а имел в виду, как он часто выражался, «исторические дела». В этом случае я чувствовал и поступал, как солдат с ранцем, а он — как полководец, как стратег, соображающий местность. Точки зрения совершенно разные, могущие привести к ссоре и разногласию, когда для нее нет настоящих мотивов. Движимый идеей «мировой гармонии», Соловьёв повел вопрос религиозный, церковный, но, во-первых, он повел его как вопрос о соединении, а не о примирении и, во-вторых, ожидал этого соединения от рассорившихся иерархий, сверху, аристократически. Ему мечтался единый организм христианства («одно животное перед Престолом Божиим», в «Апокалипсисе»), а не христианство как сад веры. И здесь он сделал много открытий, внес много новых точек зрения на предмет, но в общем потерпел неудачу и покончил тем же раздражением и исключением «инакомыслящих», как и Достоевский, в пределах его «гармонии». Тот видел комизм или преступление во всем нерусском (поляки, евреи, католичество, протестанты). Он начал с «молитвы пауку», а кончил подозрением или клеветой, что католичество есть поклонение сатане, «заговор сатаны против Христа» («Легенда о Великом инквизиторе»), кончившимся весьма грустным признанием, что и «нельзя обойтись без такого заговора» (Христос, целующий Инквизитора в конце «Легенды»). Соловьёв также никого не примирил, и едва ли, по крайней мере при жизни его, отношения католического и православного мира не заострились так же нервно, как в эпоху борьбы около унии, и именно благодаря его попыткам. Но одно важное последствие вытекло из трудов Соловьёва: он покачнул status quo наше, преодолел квиетическую школу Хомякова. Само духовенство наше он привел к размышлению, самоанализу, к потере самоуверенности и покоя. Он открыл, — и это есть важная заслуга его, — серьезные нравственные мотивы для вечного нравственного обновления церкви. Школу Хомякова и вообще старых славянофилов можно считать разбитой и уничтоженной Соловьёвым, по той очень простой причине, что он указал на ту истину Запада, что он 30

1) думал, 2) страдал, 3) искал, а Восток просто 4) спал. Но этот сон никак нельзя назвать догматическим совершенством. Дело в том, что приписанные Западу «высокомерие и заносчивость» оказались именно в мешке, среди богатств старушки Востока, которая, как древние последователи Диогена, щеголяла дырками своего платья. Возьмем ли мы раскол наш, возьмем ли другие недуги, слишком явные, слишком всеми сознаваемые: мы просто ничего не делаем для их устранения. Мы исторически ленивые. И эту леность возвели в догмат, чуть ли не считая 40

ее главной чертой разделения золотого Востока от оловянного Запада. Живой, энергичный, неустанный, вечно умственно копающийся Соловьёв и положил конец этой лени. В этом его великая историческая заслуга, «оправдание» (он написал книгу «Оправдание добра») 8-ми томов, его «орега omnia».

* * *

К сожалению, Вл. Соловьёв ко всем великим запутанностям психологии человеческой, — они же суть и запутанности человеческой истории, — подошел слишком просто и мелко, как судебный пристав с исполнительным листом. Прямо и отчетливо он потребовал у русского, «который способен во всех перевоплощаться», — между прочим, хоть перевоплотиться на первый раз в католика. Он был жестоко в ответ осмеян и отвергнут. Отсюда даже началось умаление его славы, упадок авторитета. Но нельзя не признать, что у него было то, что было у Страхова и чего вовсе не было у Достоевского. Достоевский умел любить «ангельскую любовью» ближнего, если этот ближний стоял на бесконечном удалении; а Страхов знал тайну маленькой любви к близко стоящему, и эту же тайну знал и по ней выплатил вексель (самое главное) и Соловьёв. В несчастнейшем своем периоде и когда он был весь изранен стрелами «примирившихся со всем миром в сердце» своем «первоплощенцев» (идея Достоевского, за которую ухватились славянофилы), — он не глубоко, не страстно, не гениально, а, однако, подлинно примирился и с католиками и с католичеством, и с протестантами и протестанством. В конце жизни, в глубокую минуту бессилия, он высказал, что отказывается от примирительных между православием и католичеством попыток, а умер крепким православным человеком. Таким образом, подозрение в сильной его католической окрашенности падает само собою. Роль стратега христианских церквей не удалась ему. Но он совершил первый великое дело просто христианина: выдал из сердца своего черную каплю «разделения вер», будучи лично ни с кем не разделенным и со всеми примиренным.

Весь период этот мелькнул в русской литературе, и уже сейчас, кажется, мы можем только вспоминать его, а не разбираться в реальных последствиях во всяком случае неумело начатого дела. Лучшая черта Соловьёва есть его подлинная благожелательность; то, что в литературной своей деятельности он пытался осуществить некоторые добрые намерения, но крайне неудачно. Мы в нем вовсе не имеем повторения Чаадаева. Смешение его с Чаадаевым было постоянно при жизни и, кажется, очень вредно ему. Но Чаадаев был ум гордый, высокомерный, изумительно талантливый по силе экспрессии, литературной выразительности, но принадлежавший человеку (судя по некоторым воспоминаниям о нем) едва ли не пустому. С его эффектной, изящной и мимолетной фигурой мало что общего имеет Соловьёв, действительно трудившийся до пота над великою задачей, трудившийся долго, неотступно и в неизмеримо менее изящных литературных формах. Вообще Бог не дал ему силы, а добрые желания дал. Возвращаясь к сравнению его с Достоевским, к их обоюдным отношениям, мы можем сказать, что философ стоит около романиста-мистика, как тростинка около дуба. Но Достоевский только заражает собою людей, а не питает. Этой заражающей, обаятельной силы не было вовсе (кроме как в сторону наивных) у Соловьёва, который

был слишком рационален, прост и внутренне прозаичен (в противоположность наружной поэтичности). Я сказал: «Достоевский заражает только людей», но это без упрека и квалификации худого в нем. В его идеях, в самом языке его, в золотых его страницах все... пряность и пряность, а нет хлеба, нужного, годного, употребительного. Ничем из него невозможно воспользоваться. А кто очень войдет в манящие «сады Гесперид», им открываемые, и надьшится их не родным, не русским благовонием, выйдет на арену русской действительности только с головной болью, с изломанным сердцем. Все начинается у него с великих примирений; но они идут по сгибающейся параболе — и все кончается великими разъединениями. Всем раскрываются объятия, а в заключение все выталкиваются. 10
Начинается с бесконечного расширения — кончается бесконечной удушливой суженностью; фанатизмом какого-то семейства Капернауумовых («Преступление и наказание»), в котором «и он сам заикается, и все его девять детей заикаются, и свояченица тоже заикается», — и почему-то все это не только хорошо, но чуть не просится на всемирную выставку. Наши односторонности 80-х, 90-х годов и даже до сих пор имеют для себя много объяснения и в старце Зосиме, и Алеше Карамазове. Честное пробуждение от сна, куда нас звал Соловьёв, прямо оскорбило бы нервы Достоевского. Вспомним, как заволновался он от того, что Левин в («Анне Кар.») чего-то ищет, о чем-то еще беспокоится. И вся эта, 20
вторая и отрицательная, половина «параболы Достоевского» выражена с тем же могуществом, как и первая, как его «тезис». Соловьёв проще, рациональнее, прозаичнее. Никакого наркоза в нем нет; никакими «неземными лилиями» он не надьшался. Но в его сердце действительно жило несколько добрых чувств, правильных намерений, весьма применимых, весьма осуществимых. И он не был гений, но был хороший работник русской земли, в высшей степени добросовестный в отношении к своим идеям и в своем отношении к родной земле. Вообще мнения о нем чуть ли не противоположны истине; в нем всегда предполагалось что-то демоническое, «неземное», лукавое и вместе — могущественное. Вовсе все напротив.

ПОД ЗНАМЕНЕМ НАУКИ

30

Юбилейный сборник в честь Николая Ильича Стороженка, изданный его учениками и почитателями

Москва, 1902. Стр. XXXV + 740

Н. И. Стороженко есть младший представитель той плеяды ученых словесников Московского университета, старшими представителями которой были Буслаев и Тихонравов. Оба эти ученые были и наставниками, и товарищами по преподаванию проф. Стороженко. По понятным причинам ученые, работающие на поприще родной словесности, всегда дают больший плод от трудов своих, нежели работающие на поприще западноевропейской литературы. Они поднимают 40
новь и не имеют соперничества в ученых всего света. Напротив, труды русских

- ученых по всеобщей литературе или вынуждены повторять собою напевы западной критики, западных историков, или должны углубиться в такие мелочные подробности, которым русский читатель лишь с крайним принуждением души может уделять внимание. Н. И. Стороженко избрал специальностью английский театр до Шекспира. Здесь он сделал новые изыскания, большею частью состоящие в отыскивании подлинных авторов таких пьес, принадлежность которых ранее не была известна. Критика и ученая работа его, насколько она выразилась в печатных трудах, поневоле вращалась в кругу более материального состава литературы, нежели ее идейного движения. Между тем сборник в честь маститого
- ¹⁰ ученого едва ли бы и появился, если бы он не был для слушателей своих профессором самого богатого идейного содержания. В самом деле, кто имел удовольствие и счастье слушать Н. И. Стороженка, тот знает, что, посвящая годовые курсы лекций обзору обширных циклов европейского литературного развития, он не только являлся знатоком подробностей, но и, кроме того, с таким мастерством вводил слушателей в дух каждой эпохи, что как бы делал их современниками то Поджио и Филельфо, итальянских гуманистов, то кружка друзей молодого Гёте, то французских энциклопедистов. Ученики Н. И. Стороженка рассеяны по всей России, и везде, где есть его ученики, самый горячий интерес к западному просвещению горит, можно думать, неугасимо...
- ²⁰ К «Сборнику» приложен портрет маститого юбиляра, очерк научной и педагогической его деятельности и дана библиография его трудов, между которыми многие, хоть и не обширные, посвящены русской и малорусской литературе (главным образом Шевченку). Труды, вошедшие в сборник, не представляют исключительно литературного или историко-литературного содержания. Здесь есть и с живейшим интересом прочитывается статья г. Статкевича: «Мармизовская лаборатория» (Полтавской губернии), — живой, конкретный очерк нашей земской медицины. Из историко-литературных статей очень интересен этюд г. Варшера: «История одного литературного сюжета». Автор взялся проследить исторические блуждания основной мысли и основного образа, выведенного Толстым в рассказе: «Чем люди живы». Он находит первоисточник его в ветхозаветном апокрифе, который перешел через посредство мусульман и Византии в Европу средневековую и новую. Заметим, что блуждания эти вовсе не обязательны для художественного гения. Сюжет рассказа «Чем люди живы» так прост, что, конечно, мог возникнуть и оригинально у Толстого. Из других статей очень интересны г. Каллаша — «Русские отношения Гёте», изыскание об ученических годах Радищева г. В. Якушкина, две статьи об Огарёве г-жи Некрасовой и Н. М. Мендельсона («Н. П. Огарёв в воспоминаниях его бывшего крестьянина») и личные воспоминания г. Виктора Михайловского (о Живокини) и Н. В. Стороженко (о П. А. Кулише). Нельзя не пожалеть, что все статьи сборника отличаются из-
- ⁴⁰ лишней краткостью, вследствие чего книга имеет по оставляемым впечатлениям более газетный характер, чем книжный. Но и в этом своем виде он является хорошим вкладом в каждую частную библиотеку.

И. Л. ЩЕГЛОВ (ЛЕОНТЬЕВ)

(К 25-летию литературной деятельности)

Во вторник, 12 ноября, исполнится двадцатипятилетие литературной деятельности Ивана Леонтьевича Леонтьева-Щеглова, напечатавшего в ноябре 1877 года одноактную шутку «Влюбленный майор». С того времени стали появляться в печати его повести, рассказы, романы и пьесы, и псевдоним писателя «Ив. Щеглов» приобретал с каждым годом все большую известность. Его беллетристические произведения печатались в «Новом Времени», «Отечественных Записках», «Вестнике Европы», «Русском Вестнике», «Русском Обозрении» и в других изданиях, пьесы исполнялись на столичных сценах и в глухих провинциальных городах. ¹⁰

Юбиляр родился 6 января 1856 года в Петербурге. Трех лет от роду он был взят на воспитание своим дедом бароном В. К. Клодтом фон-Юргенсбургом, родным братом знаменитого скульптора. Материальной и моральной поддержкой барона И. Л. обязан, по его словам, лучшим дням своей жизни. Учился и воспитывался он во 2-ой военной гимназии (ныне второй кадетский корпус), затем кончил курс в Павловском военном училище. Произведенный в офицеры, отправился в Крым, где находилась 13-я артиллерийская бригада. В это время молодой офицер попробовал свои силы на журнальном поприще. Летом 1875 г. случилось в Севастополе землетрясение. Необыкновенное событие дало И. Л. тему для корреспонденции. Он отправил ее в «С.-Петербургские Ведомости», и вскоре корреспонденция была напечатана. К скудному офицерскому содержанию явилась некоторая прибавка в виде гонорара. Русско-турецкая война увлекла юбиляра на Кавказ в действующую армию. Ему пришлось участвовать в двух сражениях и видеть близко, как умирают люди от шальных пуль. Вскоре он выбыл из строя и попал в госпиталь. Русским борцам приходилось нападать на неприятеля и обороняться от тяжелых болезней, распространившихся в армии. И. Л. захворал, и настолько серьезно, что последующие поездки на кавказские минеральные воды, хотя и облегчили его немного от страданий, но все-таки не восстановили его здоровье вполне, и в 1883 г. он был вынужден покинуть военную службу с чином капитана. ²⁰

Во время войны в походной палатке под Кюрюк-Дара он набросал свою первую пьесу «Влюбленный майор», затем в период лечения занялся писанием рассказов. Весной 1881 года появился его рассказ «Первое сражение», встреченный критикой единодушным одобрением. Выйдя в отставку, И. Л. всецело отдался литературной работе. Им написано множество рассказов, романов и пьес. Из них некоторые настолько рельефно оттеняли юмористическое в жизни, талантливо подмеченное автором, что многие заголовки его произведений, напр., «Дачный муж», нашли широкое распространение в разговорном обиходе. Из его крупных романов известны «Гордиев узел» и «Миллион терзаний», из рассказов: «Дачный муж», «Убыль души», «Идиллия», «Корделия» и др. Наибольшее же количество его произведений появилось в драматической форме. Ему принадлежит до тридцати оригинальных пьес («В горах Кавказа», «Затерянный мудрец», «Господа театралы», «Красный цветок», «Мамаево нашествие» и др.). Из них выдаю- ⁴⁰

щимся успехом пользуется пьеса «В горах Кавказа». Кроме того, И. Л. приходилось выступать неоднократно и в роли публициста, отзываться статьями на разнообразные вопросы текущей жизни и полемизировать с целью добиться правдивого и нелицеприятного отношения к литературным труженикам и к их работе. Ему же принадлежит ряд статей о требованиях, которые могут быть предъявлены к народному театру. Статьи эти изданы отдельной книгой «Народный театр».

Грустная усмешка, сатира без негодования и злобы, но сатира всегда умная, составляют неотделимый колорит повестей, рассказов, романа и драматических произведений И. Л. Щеглова-Леонтьева. Назовем из них «Убыль души», «Около истины», «Миллион терзаний», «Корделия», «Миньона», «Военные очерки», «Проводы», «Мир праху», «Петербургская идиллия», «Дачный муж», «Затерянный мудрец», «Сон холостяка», «Театральный демон». Автор всегда был в литературе несколько одинок, не опирался ни на какую фракцию очень определившихся и твердо сплоченных мнений, которые поддерживали бы и облегчали его личные усилия, давали бы воздух под крылья. Напротив, нечто сырое и мглистое, как холодный петербургский туман, давило крылья нашего писателя и отняло много свежести и игры в его первоначальном таланте, как рожденном для смеха беззаботного. В таких темах как «Убыль души» и «Затерянный мудрец» сказались обширное мирозерцание, не как *resumé* сотни прочитанных книг, а как плод

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Эти наблюдения и «сердечные заметы» дали бы натуре более энергичный материал для большего негодования, для обширной сатиры; но у нашего автора все смягчилось и перешло в грустную улыбку слишком усталого человека, который укажет и назовет зло, характеризует позорное или смешное в человеке и в жизни, нарисует его, как фигурку скульптор, и оболет ее тонкою ирониею, но не поборет его, даже не кинется ему навстречу грудь с грудью. Пассивность, доброта и жалоба — слишком великорусские черты за XIX век — составляют нравственную прокладку почти всех трудов И. Л. Щеглова-Леонтьева. Мы не касаемся его изобразительного таланта, который в некоторых произведениях, как, например, «Около истины», достигает большой силы и дает образы человека и обрисовку положений, которых невозможно потом забыть. Великие фигуры Гоголя и Пушкина суть его путеводные в литературе звезды, и обоим им он посвятил то пронизательно-восторженные строки, то кропотливо-пристальные изыскания (о Пушкине — в отдельной книге «По следам Пушкинских празднеств», Гоголю — в «Затерянном мудреце»).

По-видимому, выразиться так о писателе — значит сказать о нем нечто большее, ибо кто же из русских писателей не считает Гоголя и Пушкина «путеводными звездами» в литературе; но мы этого «общего» не хотим сказать о И. Л. Щеглове, отмечая в нем настойчивый, продолжительный, очень углубленный культ к двум названным именам, чего далеко не встретим не только у очень многих, но и просто у многих русских писателей. Он принадлежит к плеяде тех спутников, которые не просто тяготеют, а вращаются около двух названных огромных све-

тил нашей словесности, — вращаются любовно и с пониманием, не помышляя ни об уклонениях в сторону, ни об отсталости от них. И не за их славу, даже не столько за труды их, сколько за великую их личность, и нравственную и умственную, наконец, даже биографическую, он привязан к ним. Точки зрения Гоголя и Пушкина на все обстоятельства русские, на русского человека и характер его, можно кажется признать окончательно проверенными и принятыми у всех умных русских людей. Из них не выходит и И. Л. Щеглов, внося в сюжеты своих произведений ясную мерку русского здравомыслия и нравственное русское прощение. Героям его нигде не является «герой», ни очень яркое событие. Везде «герой» и единственное «событие» рисуемое — это серые будни нашей жизни и серенькие люди, мелькающие в поле нашего зрения, зрения естественно утомленного, зрения раздраженного, но в корне и в основе любящего. Нравственное суждение автора, как и всякого здравомыслящего русского человека, одобряет и привязывается, до известной степени даже «благодарит» за самое существование — только простое и естественное, успевшее уклониться от всяких вычурностей, недорости до них (простые русские люди) или перерости их (идея «Затерянного мудреца» и до известной степени «затерянной мудрости»). В самом деле, русская действительность во всей ее океаноподобной величине расслаивается на три пласта: самый нижний слой и верхняя тоненькая пленка, последняя демократия и первая аристократия, мужик и философ — сливаются и в сердце и в разуме, в чувстве Бога и чувстве природы, даже в способе жить и приемах мысли. Между ними лежит слой невообразимой толщины всяческой изломанности людской и житейской, испорченного сердца и отравленного мышления. Взгляните на русскую литературу, и вы увидите, что она вся проникнута сознанием этого, вся болит об этом. Этою болью и сознанием проникнуты произведения И. Л. Щеглова-Леонтьева.

Добрый юмор его нигде не желчен, разве в редкие минуты, на редких страницах, встречаясь с неблагоприятным, злым, предательским. Но он этого не ищет, не выискивает. Большею частью он следит за смешным, во что ударились русская простота или выведенная из равновесия (в нижнем слое), или в «поисках за светом» (в верхнем слое). Он не привязывается умом и взором к крупному характеру. Да и есть ли, не исключительны ли они на Руси? Жизнь русская перед нашим автором не расчленена на индивидуумы, не выразилась еще в лицах, а обща, безлична, есть именно бытие фона без начатого на нем выразительного рисунка. Так, в сущности, рисовали все великие эпики, по указанию Гоголя, напр., особенно Островский. Все рисуют не олицетворившуюся еще Русь, любя ее в огромной слежавшейся или неправильно взбудораженной массе. К этим рисовальщикам русских будней и русского будничного характера принадлежит и И. Л. Щеглов-Леонтьев. И произведения его хранят в себе множество верно схваченных штрихов русского человека, в конце концов штрихов милых, хотя бы и повседневных, порой спускающихся до вульгарного. «Ну, хорошо, каков ни на есть русский человек, и сколько вы над ним ни улыбаетесь, И. Л., мы все же его любим, и даже именно в том виде, как вы его рисуете, и захватывая в сочувствие свое и эту вашу тоже очень и очень русскую улыбку». Так хочется определить и творчество автора, и ваше невольное отношение к этому писателю.

ИДЕАЛЫ СКРОМНЫХ ЛЮДЕЙ

Каждый, вероятно, помнит героический оклик Тараса Бульбы к казацким рядам во время второй и третьей, и особенно третьей, вылазки «ляхов» из осажденной крепости Дубно. Ляхов все прибывало. И хлеб, и помощь вошли в город. Казаков все убывало. И в несравненном по красоте эпическом рассказе Гоголь набрасывал смерть героев, всякий раз с особым характером и в особой обстановке. Вот подняли на пики одного. Вот потащили на аркане другого. Нет Мосии Шило. Погиб «краса казачества», молодой Кукубенко. Тогда старый Тарас, принявший бразды правления от вернувшегося с половиною войска в Запорожье кошевого и для ободрения друзей-воинов, и для осведомленности, и чтобы унять свои тревоги, проезжал по пыльным, усталым, едва державшимся рядам с вопросом:

— А что, братцы? Есть ли еще порох в пороховницах, не притупились ли казацкие сабли и не погнулась ли казацкая сила?

И помнят, верно, все, как каждый раз этот вопрос ободрял бьющихся и зычно кричали в ответ казаки: «Есть еще, батько, порох в казацких пороховницах и не погнулась казацкая сила». И всякий раз после слов этих тающая казацкая сила с новою молодостью ударяла на врага.

Несравненный гений Гоголя, как он умел все изображать схематически! Не только типы его, фигуры человека, но, так сказать, и фигуры человеческих положений взяты в какой-то вечной, неумирающей многозначительности и припоминаются невольно в совершенно других областях, в применении к совершенно иным людям, когда их положение получает точку совпадения с положением, изображенным Гоголем. Нет, сколько бы ни вызывало иронии сравнение Гоголя с Гомером, мы, готовясь к граду насмешек, однако, скажем, что он есть именно Гомер наш, несравненный эпик и определитель и рисовщик великорусской и малорусской Руси; Гомер Скифии XIX и XVI веков.

«А есть ли, братцы, порох в пороховницах, не погнулась ли сила?» Вопрос этот так и мелькает на губах последние годы, когда в воздухе как-то все серее, а на душе все тяжелее, когда выдвигается вопрос за вопросом, растет недоумение, а разрешения — никакого, а света — ниоткуда. Уж не вечерет ли Русь? Не сходит ли к вечеру, к ночи? Но где же день наш? Мы все готовились. Помните ли сравнение, у всех на уме, у каждого на губах, какое мы поминутно прилагали к родным делам: «Э, Илья Муромец тридцать лет сидел сиднем на печи, но...» тут следовало изложение надежды, что, спустив ноги с печи, и мы назавтра в три дня наделаем подвигов столько же, сколько киевский богатырь. Это присловье об Илье Муромце было очень ходко лет двадцать назад, и особенно оно повторялось с энтузиазмом молодежью, студентами, гимназистами. Мечта, что через четыре года, выйдя в люди жизни и практики, они начнут шагать верстами, горела в тысячах русских молодых глазах.

Пошли засухи. Все мы читали с волнением сердца об этих каких-то проклятых оврагах в южной России, которые с каждой весной все ширеют, и половодье сносит в них, смывает в них чернозем с огромных пространств окружающей земли. «Овраги мы засыплем с верховьев», писали тогда инженеры, но не успели они «засыпать оврагов с верховьев», как пошла какая-то гессенская муха, а по-

том какие-то червяки, а потом какие-то мыши — и начали хлеб есть с корня. «Ну, это пустяки, мух мы порошком посыплем», — думалось лет двенадцать назад, как подоспели какие-то проклятые «дифференциальные тарифы» и кто-то закричал, что «ему больно», а кто-то другой кричал, что «ему хорошо» и еще никто ничего не умел разобрать в этих криках, когда туманом стала стлаться по Руси мысль, что «всем тяжело и везде плохо». «Это от Америки и от Австралии, там хлеб и его повезли сюда, а у нас с сором он». Этот чертов «сор в хлебе» представлял не то фикцию, не то непобедимую действительность, с которой много лет никто не умел справиться. Положат хлеб в вагон чистым, запрут на замок, везут-везут в вагоне, начнут выгружать — он «с сором». Жидам Бог манну посыпал с неба, а нам черт плевел подсыпал снизу, этого знаменитого «сора». «Это все жиды», «это — прасолы», «это англичанин гадит», металась в недоумении Русь, собирала комиссии, спрашивала, плакала, подсматривала, рвала на себе волосы и так-таки решительно и не доискалась, отчего у нее хлеб «с сором». «Порошит с неба», только и можно сказать. Грустна Русь.

Не забуду длинного впечатления на станции Граница, когда после первого в жизни двухмесячного странствования по загранице я возвращался на родину. Поезд стоял. Проверяли паспорта и багаж. Вообще что-то делали, до чего мне не было дела, и я вышел на станцию, и вот меня поразило после щебечущей, веселой, солнечной «заграницы», такой доверчивой к людям и ласковой, — какая-то легшая туманом на сердце печаль кругом. Было очень пусто. Ни движения, никого. На длинной-длинной лавке сидел «чин», военный ли, полицейский ли (я в формах неразборчив), мужик, одетый по форме, не то урядник, не то жандарм. И сколько я помню, не ходил, побродишь-побродишь, вернешься — он все так же сидит. У меня пролетело море воображения, досады, скуки, беспредметного негодования, беспредметного и восхищения то мелькнувшей мысли, то несбыточной гипотезе: глядь, «он» все сидит, и не только не пошевелинулся, но и не перевел ни на что глаз. «Глядит» — и только. Так и встала статуей его фигура в моей душе, и остается доселе. В фигуре этой было именно недоброжелательство, это я отчетливо помню, от этого-то после ласковой «заграницы» она и поразила меня, и я всю родину свою определил в секунду этого первого «возвращения на родину» как страну недоброжелательства, прежде всего и впереди всего недоброжелательства взаимного и всяческого.

* * *

В конце концов это от несчастья. Мы все в отдельности и, наконец, все общественно несколько несчастливы. Там «сор» в хлебе, там — мыши под корнем пшеницы; там раздвигающиеся на юг овраги, а наконец общее сознание: «захудалость центра». Ну кто при таком сознании (о захудалости центра) может спать спокойно? И вот мы все угрюмы и печальны, потому что у нас всех немножечко «душа не на месте», не личным несчастьем, но некоторым хроническим, затяжным и весьма трудно поправимым неблагоприятием родины. И вот при таких-то обстоятельствах и приходит на ум гоголевское:

— А что, братцы, уж не прогнулась ли казацкая сила и есть ли еще порох в пороховницах?

Невольный вопрос, который переводя с военных терминов на гражданские можно формулировать так:

— А что, гражданство, есть ли еще в тебе надежды? И охота трудиться? И бодрость души, без которой не поднимаются руки? Не отчаялось ли ты в родине, и есть ли в тебе самом идеализм?

Я бы, пожалуй, и не задал так определенно этого вопроса, если бы кое-что не имел все-таки в утешение соотечественников. Кто не помнит бессмертное «Горе от ума». Выньте из него Чацкого и останется полное «горе», а с Чацким все-таки полгоря. Вопрос собственно не об идеализме нашего общества, а о том, есть ли хоть одиночки идеалисты в нем. Вопрос именно о том, «осталось ли пороха в пороховницах», а не о том уж, переполнены ли оне. Увы, энтузиазма общего у нас, конечно, нет, и Русь сера-сера, в Руси серо-серо, как в темный октябрьский день в Петербурге: ни день, ни ночь, ни утро, ни вечер, а так себе, что-то неприятное. Но среди упадка общественного идеализма и энтузиазма все же есть одиночки, точно ей-ей сейчас родившиеся и никакого-то, никакого октября исторического не несущие в душе у себя. И по родственным, и по дружеским связям, и как бывший педагог, я очень и очень много наблюдал отрочество с первым пушком на подбородке, самое юное, самое что называется глупое в смысле осведомленности, ничего-то ничего не ведающее, что творится на Руси; отрочество, лишь мечтающее о труде, о будущей жизни. И вот в этом отрочестве я находил нередко такие ценности душевные, которым только бы воздух под крылья, только бы слово: «Ляхи одолеают» (ляхи — это разные «горя» Руси) и они, мне думается, как казаки под Дубном, закричали бы зычно:

— Еще не сломалась казацкая сила, еще есть порох в пороховницах, еще стоит сечь.

И нагрянули бы на «горести» Руси, и побили бы их надеждой, трудом, трудом неистощимым. Мне, кажется, Русь, самая-самая юная, способна сейчас к неистощимому труду. Я думаю, отрочество русское нравственно-талантливо. И следовательно, на Руси не «горе от ума», а полгоря от недомыслия.

Читатель да не посетует на меня, если, прервав свою речь, я дам ему пробежать несколько по идеалам этого отрочества, как они сказались своим слогом, в своей наивности. Мне это лето попались два письма девушек, 17 лет и 25-ти; и хотя это возраст уже зрелый, но лишь именно по годам, а не по опытности сердца, не по сколько-нибудь сноскому обилию

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

«Я только что вернулась домой, — пишет младшая девушка, — и пробуду здесь до начала августа. Очень рада этой свободе и что увижу всех родных... Папа недавно был в NN (назван большой провинциальный город) и говорил о земской стипендии на медицинские курсы. Ему сказали, что он один из первых имеет право на стипендию за свою длинную службу в земстве. Нынешний год одна из земских стипендиаток кончает, и я могу заступить ее место. Но как еще все выйдет, у самого же папы нет средств дать мне содержание, отдельное от семьи, что связано с переездом в Петербург. Если я не поступлю на курсы, то я перейду в сельские учительницы. В гимназии при мне был учитель истории NN, очень

умный. Теперь он перешел в инспектора народных училищ. Ведь в селах или в деревне можно много принести пользы. Можно основать школу, которая бы не только обучала грамоте, но и учила разным ремеслам, а главное — хозяйству сельскому. Теперь у нас школа только отрывает мальчика крестьянского от пашни, и вообще от крестьянского хозяйства. Как только мальчик кончит хорошо, так сейчас его в учительскую семинарию, а там в учителя или в город в приказчики. А в своей школе я буду толковать им, какую они пользу могут принести, если, выучившись в школе, они останутся в деревне. Буду учить их, как удобрять землю, как ухаживать за огородом или за садом. А девочек научу шитью и кройке и как воспитывать детей. Разведу при школе сначала небольшой огород, буду вместе с учениками ухаживать за ним, удобрять, садить, а потом наглядно покажу им, какая разница между моим огородом и крестьянским, и объясню, что это зависит от знания и умения. В своей школе буду все ученье направлять к известной цели и все буду показывать на деле. По воскресеньям будут чтения книг по сельском хозяйству, кроме того, буду читать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Гоголя и др. русских писателей. В школе повешу портреты русских писателей и поэтов более известных. А как приятно будет, когда через *несколько лет* (два раза подчеркнуто «несколько лет» — мечта очевидно тянется далеко и в этом ее для автора письма сладость) деревня из грязной с покосившимися избушками обратится в чистую, с светлыми, высокими избами, окруженными садами и огородами, крестьяне и их дети будут не бледные, худые, истомленные, а здоровые, сильные и веселые. Я буду стараться, чтобы не было нищих: нищие старики будут жить при школе и что-нибудь работать, например, летом будут нянчить детей, матери которых уходят на работу; нищие сироты будут учиться в школе. А чтобы развить товарищество между учениками, я внушу им сложиться по несколько копеек для этих бедных сирот. Для того, чтобы лучше исполнить эту задачу, я начну готовиться и учиться! Конечно, не может все исполниться как по писанному, будут, конечно, и затруднения и препятствия, но я буду терпеливо бороться с ними. Первое, против чего придется бороться, — невежество крестьян, но *время* (курсив в письме) и *труд все перетрут*; в конце концов они поймут, что все это для их пользы и сами еще будут помогать мне»...

Так кончается письмо, которое было мне показано, и я попросил позволение его списать и, может быть, напечатать, так как оно мне показалось чрезвычайно ценным своей документальностью. У нас и о земстве, и о деревенских учительницах, наконец, вообще об учащихся девушках толкуют вкривь и вкось, порицают и защищают, не опираясь на факты иначе, как в виде статистики, указания на жалованье и пр., но не приводя обстановки и психологии иначе, как в беллетристической, т. е. или выдуманной, или украшенной форме. Мне кажется, не одно, но несколько наших министерств, например, земледелия и государственных имуществ и народного просвещения, да, пожалуй, и министерство финансов могут порадоваться на этот невинный лепет: ибо он показывает, сколько душевной чистоты об руку с самым трезвым и вместе закругленным взглядом на действительность готово пойти в деревню, готово помогать мужику и нужде. Нет, не без результата наша словесность и лучшие слои педагогики, к ней примыкавшие, трудились все около деревенских тем, все около «мужика», о котором в конце концов стали заявлять в литературе, что «он надоел». Надоел бы мужик, замолчали бы о нем, и барышня, и барыня, написавшая приведенное письмо, наполни-

ла бы его сообщениями о новой кадрили, какую она выучила, или сообщением о поручике, который начал посещать их дом. Все письмо, очевидно, навеяно на юного автора, навеяно обстановкой, частью семьи, земским трудом отца, уроками учителя. Письмо, так сказать, не принадлежит к порядку «врожденных идей», но к порядку «идей внушенных». Но как они правильно внушены и гармонично расположились в душе. Честь нашей культуре; пусть маленькой, бессильной пока, но очевидно с хорошими залогами культуре.

Другое письмо более грустно. Я знавал эту милую девушку, сестру шести братьев; из них двух младших она вынянчила, т. е. буквально выводила их с собою и за собою. Мать уже старела и слабилась глазами, к тому же на ней лежало огромное хозяйство, а отец до последней минуты был поглощен службой. По разным обстоятельствам девочку нельзя было отдать своевременно в гимназию. Она самоучкой занималась предметами дома, а зато ей было, девочке, всего 11 лет, отданы братья 4 и 5-ти лет, которых ей следовало с утра обууть, умыть, в течение дня занять, не допустить до шалостей и ссор, и, наконец, уложить спать. Только с этой минуты она принадлежала себе. Собственное ее образование от этого страшно отстало. Решительно без нее нельзя было или было крайне неудобно обойтись дома. И только когда ее питомцев отдали в гимназию, тогда она сама получила возможность поступить в гимназию же, что-то прямо в пятый класс. Она была редкой красоты собою, и случись же несчастье! Она остановилась раз перед выставкою фотографий. Это было зимою, на Рождестве. Вдруг сюда же подошла и остановилась женщина с ребенком на руках, все лицо которого было покрыто корою оспы. Сердце молодой девушки почувствовало несчастье. Она отошла, однако не сейчас, от женщины, но было уже поздно. Оспа была захвачена, и она вылежала в больнице несколько недель, выйдя из нее худую, истощенную и с лицом не испорченным, но все же несколько подпорченным. С тех пор замечательная красота ее к ней уже не возвращалась. Она стала худой, бессильной, но по-прежнему беззаветно преданной семейным своим заботам и привычным попечениям и об окончательно почти ослепшей матери, и о выросших братьях, которым надо было вечно шить или подновлять белье. Отец их уже умер, и из провинциального города они переехали в Москву, где учились два старших брата. Гимназия и какие-то курсы, кажется педагогические, были уже ею кончены. Мест, однако, не находилось, и вот она устраивается в юдоль всяческой бедности — на телеграф. Но я приведу отрывки не только о горькой этой доле, но и маленькие радости ее в кругу своей семьи. «Могу сообщить крупную новость: 14 февраля у N. (старший брат, студент) родилась дочь, которую они назвали Надей. Брат пишет, что она здорова, его жена тоже поправилась. Это моя первая крестница. Про новорожденную можно сказать: одна дочка, одна внучка и одна племянница. Оба они страшно заняты своей первой дочкой»... Через несколько месяцев о них же: «Все носятся со своей дочкой, которой теперь уже пять месяцев. Им осталось жить (назван глухой далекий город из „мест не столь отдаленных“), меньше года; ужасно мне хочется посмотреть эту первую оную племянницу». Пишу крошечные подробности оттого, что у нас слишком заподозривается, есть ли у «нынешних» (= у молодых) семейное чувство, «в конце разрушенное курсами». Если под семейным чувством разуметь не какой-то кисель ненужных рассуждений, а здоровое чувство родства и рода, и в его хлебе и в его фруктах, то мне кажется, что именно в самой зеленой нашей молодежи семейное чувство не

только не ослабело, но выросло изумительно сравнительно с той давней молодостью, о которой писал Пушкин:

Летит обжорливая младость.

Я много раз наблюдал, что юность русская именно несколько радикального сложения, для коей наука и поэзия сомкнулись в Бокле и Некрасове, отличается удивительной нежностью и тонкостью (деликатностью) семейного сложения, что в половом отношении это есть единственная безукоризненно себя ведущая дробь населения, никого не марающая и сама не марающаяся, и все это вытекает из не растерянной здесь способности любви (влюбления) и из браков ранних и бескорыстных. Но и затем, он мог бы течь грубовато и холодно, под влиянием «матерьялистических воззрений» и «социально-исторических фантазий», этого тоже «яда семьи», как утверждают в литературе много лет. Оказывается, вовсе нет, а здесь-то и вырастает полное исполнение заповеди, что жена есть «помощница мужа», и прочих хороших о семье слов, которые в иных местах только гремят, а не действуют, а вот здесь, где слова «от Писания» и на ум не приходят, они фактически выполнены, да как выполнены! Но вернемся к нашей девушке. Она пишет об одном из двух своих питомцев, единственном в семье учебном неудачнике, который в каждом классе сидел по два года и готов был погибнуть от невообразимой лени, когда одна добрая женщина дала совет: «Да отдайте его в рисовальную школу — может быть, что-нибудь выйдет». Способности мальчика точно только этого и ждали. Но пусть говорит о нем сестра-воспитательница: «С. собирается переходить, против своего обыкновения, тоже без экзаменов (кроме этого все ее братья учились отлично в гимназии и в университете, кончая первыми), и потому теперь занят чертежом. Рисованием он очень увлекается, недавно рисовал мне углем; одному из товарищей нарисовал портрет Глинки тушью. Но сам он больше любит рисовать красками картинки из деревенской жизни. Вот уже повесил три картины в своей комнате. Я хожу на телеграф через день, на целый день на дежурство с 9 утра и до 10 вечера. Хоть бы уже скорее зачислили и назначили жалованье, но все это пока неизвестно. По правде сказать, ужасно надоел мне этот телеграф, страшно я устаю, кинула бы его с большим удовольствием, но впереди ничего нет, да и жалко потерянного времени. На лето я, верно, не поеду со своими в деревню, а останусь в городе. Буду на эти месяцы устраиваться у кого-нибудь из знакомых». И вот настала весна, а за ней лето: «Было множество хлопот с отъездом братьев и мамы. Все перешли (братья в следующие классы), N с наградой первой степени, M. на второй курс (университета), получив по всем предметам 5. Теперь разные заботы лежат на мне и я все последние дни либо бегала по разным делам, либо обшивала своих братьев. Ведь им первое лето приходится жить в деревне без меня, а там шить на них некому. Измучилась я за последнее время страшно, так как день дежурю на телеграфе, а другой — какие-либо дела. Поместилась я на лето у знакомых, так как нанять комнату и дорого, и я ужасно боюсь одиночества, тут же я чувствую себя уже не такой одинокой. Только далеко очень от телеграфа. Но со мной всегда бывают неожиданные случаи, когда я без мамы. Только я успела проводить своих в деревню, как захворала. Со мною сделался обморок, минут 5 мне было очень плохо, так что я думала, что умираю, но потом стало проходить. Теперь я поправилась, хотя чувствую

страшную слабость и болит голова. Завтра иду на дежурство, а то начальство будет недоволено. Послали мы сию же минуту за доктором, он очень внимательно меня выслушал и осмотрел. Сказал, что у меня ничего нет, но 1) малокровие, 2) какая-то нервная болезнь, 3) истощение. Он просто возмущился моей худобой, так я сильно похудела. Прописал мне мышьяк, пилюли из ляписа и железа, обтирание теплой водою с водкой. Велел мне как можно больше есть и спать, в свободные же дни только отдыхать и ничего не делать. Мяса велел есть как можно меньше, но больше есть всевозможных плодов и овощей, пить молоко через два часа и есть как можно больше сладкого и конфект. Вот теперь я и занимаюсь своим лечением. Доктор этот мне очень понравился, он меня все утешал; говорил:

10 „Вот мы поправимся, да еще как начнем работать“. Очень он милый, но и сам больной, — говорят, у него чахотка. О своей болезни я ни маме, ни братьям старшим (иногородные) не писала и писать не буду, я знаю, что мама и так уже довольно беспокоится у нас. Но я ужасно боюсь, как бы мама не узнала об этом через кого-нибудь. Чувствую я теперь себя лучше, все эти пилюли очень хорошо на меня действуют, но нервы в ужасном состоянии. Уехать в деревню мне невозможно, так как, вероятно, меня в июле окончательно зачислят, иначе же я лишусь (т. е. с отъездом в деревню) места и тогда опять беда. Бог даст, как-нибудь проживу. Так вот и буду проводить время, день на телеграфе, а день в постели».

20 Так живут и трудятся и страдают маленькие русские люди. Таков склад их мысли, и идеалы, и неудачи. Как-то лет 20 назад французское министерство народного просвещения, желая проверить «идеалы молодежи», распорядилось в один прекрасный день во всех школах задать для письменной классной задачи тему: «Чего я желаю». Может быть, изложенные «желания» были несколько искусственны в виду официальной их проверки. Во всяком случае, как бы прикладывать ухо к стенам домов и выслушивать, чего в русских «домах» желают, я думаю, небесполезно, и в этом состоит одна из значительных задач литературы. Я передал две таким образом услышанные беседы, которые во всяком случае не исключительны, а скорее очень общи и только выразительно сказались. Мож-

30 лет быть, мои наблюдения вызовут другие, более сложные, менее дробные. Я думаю, в смысле идеалов мы живем в хорошее время: во время идеалов труда, не преувеличенной народности, любви к окружающим. Но это в «домах». Выйдешь на улицу — сыро, серо. Вспоминается длинная скамейка на Границе и чин, на ней угрюмо сидевший час без движения. Бэкон когда-то учил об *inductio per enumerationem simplicem, ubi non reperitur instantia contradictoria*, т. е. о серии наблюдаемых фактов все одного склона и смысла, где не *встречается ни одного противоположного*. Так, если мы разделим Русь на домашнюю и уличную (общественную, социальную), то, мне кажется, мы найдем, что «дома» все приблизительно так, как в этих двух письмах: «Как бы помочь народу», «Как мне тяжело», а на улице все почти как на Границе: угрюмо и подозрительно. Последние

40 чувства едва ли не суть несчастье нашей родины, и они не проистекают из простого неведения большими людьми тех милых и кротких идиллий, какие ткнут день за днем маленькие домашние обитатели. К последним мало доверия: земство, видите ли, «беспорядок и своеволия, угрожающие поползновения», а женский труд и ученье — «веяние гнилого Запада и разрушение семьи». Между тем все лучше и проще. Золотистый паучок не только тклет паутину дома, но хотел бы и вынести ее на улицу, продолжать также ткать под крышей дома, в саду, в лесу.

Ни в земство и никуда вообще русские не внесут иных тенденций и иного духа, чем как имеют «дома»: а «дома» они имеют дух самый нравственный и чистый, кроткий и тихий. Нет, я бы все внутренние дела России (провинциальные, уездные, губернские), всю совокупность школ, кроме университета и специальных, всю совокупность медицины, благотворения, церковно-приходской жизни и пр. и пр. и пр., с правами самоорганизации, самоустраивания, самоулучшения, передал бы земству, вырастив последнее из земства-клюквы в земство-рощу. «Нате вам, паучки, тките вокруг всего вашу золотую паутину».

ГОГОЛЬ

Есть стиль языка. Но есть еще стиль души человеческой и, соответственно 10
 этому, стиль целостного творчества, исходящего из этой души. Что такое стиль? Это план или дух, объемлющий все подробности и подчиняющий их себе. Слово «стиль» взято из архитектуры и перенесено на словесные произведения. Стиль готический, романский, греческий, славянский, византийский обозначают дух эпохи, характер племени и века, как-то связанный и понятно выражающийся в линиях зданий, храмов, дворцов. Стиль автора есть особаяковка языка или характер избираемых им для воплощения сюжетов, наконец — способ обработки этих сюжетов, связанный с духом автора и вполне выражающий этот дух. Известно, что каждый сильный автор имеет свой стиль; и только имеющий свой стиль автор образует школу, вызывая подражателей. Чем оригинальнее, поразительнее 20
 и новее стиль, чем, наконец, он прекраснее, тем большее могущество вносит с собою писатель в литературу.

За XIX век русская литература пережила три стиля: карамзинский, пушкинский и гоголевский. Кажется, не нужно объяснять, каковы они. Достаточно спросить читателя, правильно ли мы угадали дело. Стиль Карамзина равно владеет формой и содержанием, отражаясь на ковке фразы и выборе предметов повествования, стихотворного пения и изучения. Гениальный создатель «Истории государства Российского» не был или пренебрегал быть творцом-фантастом, довольствуясь не сотворением идеалов, а идеальным освещением действительности. Мало кто так доверчиво и благородно любил действительность, как он. Это 30
 отразилось на его слоге. То величественный, как в «Истории», то оживленный, как в «Письмах русского путешественника», он везде благоразумен, избегает излишнего, не бурлит чувствами, и его творения похожи на прекрасную римскую тогу, с легким греческим оттенком, которую добрый скиф накидывает на плечи варваров и варварства. Россия с любовью посмотрелась в зеркало, которое он ей подставил; и хотя немного обманулась, увидя красивое свое отражение в стекле, но обманулась самым благородным образом, даже самым полезным, все время оправляясь, улучшаясь по показаниям немного неправдивого зеркала, которое и льстило, и манило, и давало силы и бодрость к улучшениям. Язык и все творения Карамзина прекрасно-однообразны. Он все восходил к более серьезному, 40
 к более серьезным темам. Но он никогда не менялся сам. Лоб его, чело его царственно господствовали над остальными силами души, благоразумно правя ими,

как патриций вольноотпущенными и клиентами. Это был барин-помещик-вельможа екатерининского духа, но с царством в умственной сфере. Все захотели быть, все побежали стать «крепостными» этого великолепного экземпляра русской породы, и лет на двадцать образовался в литературе, письменности, печати, даже в нравах гостиных «карамзинский стиль».

Пушкин всегда любил и не мог не любить Карамзина. Всякий благородный русский должен любить Карамзина. Но Пушкин был более мудр, чем он. Он кое-что убрал из римских черт русской тоги, он пошевелил под нею плечами скифа; он вообще догадался, что мы — скифы. Но, гениальное сердце, он в этом скифе открыл сокровища, которых, пожалуй, не было в Капитолии. Сущность Пушкина выражается в совершенной естественности в нем русского, возвеличившегося до величайшей, до глубочайшей и высочайшей общечеловечности. От поэм и романов до мельчайших смехотворных шуток, от таких, по-видимому, иноземных сюжетов, как «сцены из рыцарских времен», и до стихотворений с нерусскими именами, как, напр., «Играй, Адель, не знай печали», он везде является скифом, туземцем, но не самодовольным, а который мудрым оком и внимательным сердцем озирает панораму мира и народов; и мудрейшие слова слагает о них в сердце своем. Если бы еще Пушкин видел мир, путешествовал, что бы мы от него имели! Карамзин украшал русского. Пушкин показал красоту его. Он разбил зеркало. Он велел дурнушке оставаться дурнушкой; но взамен внешней красоты, которой ей недостает, он речами своими и манерой обращенья вызвал всю душу ее наружу, так сказать, потащил душу на лицо: и дурнушка стала бесконечно милым и дорогим для русского сердца существом. Только с Пушкиным начинается русский настоящий патриотизм как уважение русского к душе своей, как сознание русского о душе своей. Пушкин открыл русскую душу — вот его заслуга.

Подвиг Пушкина был до такой степени труден и он в такой мере зависел от гармонии души его, что собственно в «школе» его мы имеем одно бессилие и внешность. «Петь» природу, «как она есть», вовсе не значит быть хотя бы мелкою гранью алмаза-Пушкина. Все это не то. Не будет доставать внутреннего. Самые страдания Пушкина (биографические) и счастье слились в какую-то гармонию. Вообще в Пушкине было много, так сказать, исторической «удачи». Пушкин просто «удался» матушке-истории; как и образование чудного алмаза ведь всего только «дается» пластам земли, а не выделяется их преднамеренными усилиями. Ни объяснить алмаза и Пушкина, ни дать теорию их — невозможно. Можно ими обоими только пользоваться. Пушкин никогда не повторялся, и, напр., Языков, Дельвиг, Боратынский — составляют лишь слабое выражение его школы. Скорее Пушкин отражается или имеет себе «школу» в огромных частях (но не в целом) творчества позднейших великих наших прозаиков; в Тургеневе он более живет, чем в Языкове; огромные полосы в сотворении «Войны и мира» имеют в себе пушкинскую ткань. Хотя и Тургенев, и Толстой, уже по силе и самостоятельности своей, сами суть школа, суть солнца-человеки, а не спутники-планеты другого солнца.

Гоголь — какой-то кудесник. Он создал третий стиль. Этот стиль назвали «натуральным». Но никто, и Пушкин не создавал таких чудодейственных фантазий, как Гоголь. «Вий» и «Страшная месть» суть единственные в русской литературе, по фантастичности вымысла, повести, и притом такие, которым автор сообщил живучесть, смысл, какое-то странное доверие читателя и свое. Я хочу сказать —

в них чуешь какую-то истину, хотя их фабула переступает границы всякой возможности. Разве меньше, так сказать, фантазии мысли, фантазии мышления, узких и странных его коридорчиков, в «Невском проспекте», в «Риме»? Наконец, что за странность рассказывается нам в «Носе»?! Но при этом, действительно, рядом с этим могуществом и с этим призыванием к фантастическому Гоголь имел равное могущество и равное призывание и к натуральному, натуралистическому. Иногда кажется, что он носил в субъекте своем мир, совершенно подобный внешнему, и уже последний знал раньше, чем на него начинал глядеть! Как мало, в сущности, он видел Россию. В Москве был остановками, в Петербурге жил недолго, по «губерниям» только проехался, но поставил зеркало, перед которым канула вся Россия. И сколько он мелочей в ней заметил, духовных подробностей, но ценных, но важных и на которые до него никому не приходило в голову обратить внимание. Наконец, как он уловил «стиль по преимуществу немощей ее». «Знаете, на таможене: обрадовался — вот отечество. Но первая фраза, какую я услышал на русском языке, было слово одного таможенного чиновника другому: Чин чина почитай. Право». И все. И все это слышали или подобное; слышали и забывали. Но Гоголь пригвоздил, «распял на кресте» этот «стиль» России. И Россия должна быть бесконечно благодарна ему, что силою чрезвычайного дарования своего он убил этот гнусный стиль. При Карамзине мы мечтали. Пушкин дал нам утешение. Но Гоголь дал нам неутешное зрелище себя, и заплакал, и зарыдал о нем. И жгучие слезы прошли по сердцу России. И она, может быть, не стала лучше. Но тот конкретный образ, какой он ненавидел в ней, она сбросила, и очень быстро. Реформ Александра II, в их самоуверенности и энергии, нельзя себе представить без предварительного Гоголя. После Гоголя стало не страшно ломать, стало не жалко ломать. Таким образом, творец «Мертвых душ» и «Ревизора» был величайшим у нас, вне сравнения с ним кого-нибудь, политическим писателем. Царь-реформатор пришел тем вторым и подлинным «реvisorом», о котором только упомянул, не выведя его, Гоголь. Да уж и не хотел ли сатирик сказать комедию современникам: «Вы все только Хлестаковы, предварительные и не настоящие; шуму от вас много, много от вас страху, а дела нет: подождите, будет настоящий ревизор». Кто знает, не заключалась ли тут негласная сатира на все 25-летие, от декабристов до Севастополя. Не забудем, что Гоголь чрезвычайно любил абстракции, обобщения, панорамы. Что все его творения, в особенности деловые, сатирические, в сущности, есть схемы.

Гоголь — пример великого человека. Выложите вы его из русской действительности, жизни, духовного развития: право, потерять всю Белоруссию не страшнее станет. Огромная зияющая пропасть останется на месте, где стоит краткое «Гоголь». Сколько дел, лиц исторических, сколько течений общественных и духовных явлений, если вырвать из них «Гоголя» и «гоголевское», получит сейчас другое течение, другую формировку, вовсе другое значение. Гоголь — огромный край русского бытия. Но с чем же он пришел к нам, чтобы столько совершить? Только с душою своею, странною, необыкновенною. Ни средств, ни положения, ни, как говорится, «связей». Вот уж Агамемнон без армии, взявший Троя; вот хитроумно устроенный деревянный конь Улисса, который зажег пожар и убийства в старом граде Приама, куда его ввезли. Так Гоголь, маленький, незаметный чиновничек «департамента подлостей и вздоров» («Шинель»), сжег николаевскую Русь. Не обращено, кажется, внимания, что в своих Костанжогло

и Муразовых он предсказал Губониных, Кокоревых, Кауфманов, Барановых. Бенардаки даже и по фамилии похоже на Костанжогло. Из самой рисовки этих типов, типов Александровской эпохи, так чудодейственно угаданных, видно, что «Илион» императора Николая он в самом деле обрек в уме своем «на сожжение» и начинал «Ревизором» и «Мертвыми душами» пожар едва ли только «художнически-бессознательно». Гоголь — великий творец-фантаст; но припомним же, сколько в нем было преднамеренности, обдумчивости, сколько было дальновидной хитрости в его хилом и странном тельце.

10 Биографы гадают и, по всему вероятно, никогда не разгадают Гоголя. А есть что разгадывать. Все знают о его скрытности и притворстве; но нельзя же отрицать, что в творчестве своем он был безмерно искренен, горел, пылал в нем и не притворным смехом, и не притворною любовью. И все-таки общее резюме о нем биографов: «Гоголь молчалив и загадочен, как могила; ничего в нем не понимаем». При бесспорной искренности его творений, к которым мы так мало имеем окончательного «ключа», остается думать, что Гоголь принадлежал к тем редким мятущимся и странным натурам, которые и сами от себя не имеют «ключа». «Посланец Божий» — вот ему и всем таким имя. Гоголь не имел очень большого самообладания. Посмотрите: он впечатлителен, он отдается влияниям, от Пушкина до священника Матвея Ржевского, — он, столь могущественный человек.

20 Он слаб, он ищет опоры, этот насмешник и скрытный человек. Что же это значит? Он вечно борется с собою: он вечно кого-то побораает в себе. «В нем был легион бесов, — как сказано о ком-то в Евангелии, — и они мучат и кричат в нем». И Гоголь был похож на такого «бесноватого» или, пожалуй, на «ящик Пандоры» с запертыми в нем самыми противоположными ветрами. Он вечно боится что-то «выпустить» из себя, таится, хитрит, не говорит о себе всего другим; и вместе в этих других явно ищет опоры против кого же, если не против себя. Он даже о своих творениях объяснял, что писание их составляло ступени его внутренней с собою борьбы, «улучшений» себя. Он вечно кается — непонятно в чем. Такой умеренный и благоразумный с виду человек. Мы всё склонны объяснять

30 болезнью. «Болезнь» да «болезнь» — какое легкое объяснение: это *deus ex machina* * неумных биографов. Ибо почему, читатель, у нас с вами не быть такой гениальной болезни, с такими же причудами? Но у нас есть только ревматизмы и тому подобные рациональные пустяки. Гоголь был, конечно, болен нравственными заболеваниями от чрезмерности душевных глубин своих. Его трясло, как деревню на вулкане. Но в чем секрет его вулкана, из которого сверкали по ночному небу зигзаги молний, текла лава, сыпался песок и лилась грязь: этого, не заглянув туда, нельзя сказать. А заглянуть — тоже нельзя. Только и можно сказать, что вулкан был огромный, могучий, планетный; что это «дух земли» заговорил в нем. Но больше этих поверхностных слов что же мы можем сказать о нем.

40 И Гоголь вечно, всею своею биографией, говорил: «Мне трудно». А что такое «трудно» и в чем трудно — не умел и, вероятнее всего, не в силах был объяснить. «Темно во мне», «и сам в себе дна не вижу», «вам около меня грозно, а мне с собою страшно», право, это как будто рвется из его биографии. Но ничего более ясного.

И вот этот «труждающийся» человек то давал нам «Нос», «Коляску», то выкладывал «Мертвые души» и «Ревизора» и в самые еще юные годы рассказал

* бог из машины (*лат.*), неожиданный исход.

о «Страшной мести». Какая натуральная там фигура пана Данилы: «Отчего же, отец, ты галушки отказываешься есть? Это христианское кушанье, и его все святыне угодники Божий кушали». Но поморщился пан-отец и, отодвинув казацкое кушанье, молча потянул из фляжки какой-то черной водицы. Вот иногда кажется, что у Гоголя было немножко такой «черной водицы», где был и талисман его силы, и источник его вздохов. «Уж проплясал на славу казачка, уж рассмешил всех: когда же есаул поднял иконы, вдруг все закричали, попятнулись, сторонясь от танцующего казака: нос у него удлинился и загнулся в сторону, запрыгали зеленые глаза, из-за спины поднялся горб, и стал казак — старик». Как это похоже на биографию Гоголя, с смехотворностью его «сорочинской ярмарки» и разных сказочных диковинок, из-за которых вдруг полезли всем неожиданные глаголы, вплоть до непостижимой «Авторской исповеди».

И попятнулись все назад, и закричали, хватаясь за руки друг друга: «Это колдун».

Во всяком случае «чародей», даже с преобладающими добрыми намерениями, так сказать, «колдует с филантропическим образом мыслей», но все-таки с этим именно древним ведовским в себе началом, был в натуре Гоголя; от этого «Вия» в нем, «огромного, во всю стену обросшего землей, с железными веками на очах» — шла его таинственная и рациональная сила, его ведение настоящего и в значительной степени будущего. Только такой «ведун» мог написать «Невский проспект», «Портрет», «Коляску» и около нее «Рим»; задумать и Собакевича и Улиньку; смешаться и в слезах, и в смехе, удивляя друзей и оставляя недоумение в потомстве.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «О ГОГОЛЕ»

Живое человеческое лицо — даже лицо обыкновенного человека — не покрывается *суждением* о нем: ну, «таким-то» суждением, всегда одним, всегда определенным. Ибо «судить» и «рассматривать» нельзя без законов логики, где «закон тождества», что «А есть А» — есть основной, первоначальный, но в живой личности человека, в полной личности его, «А есть именно *не* А»: и всякое суждение о живом человеке, самое обдуманное, самое осторожное, самое взвешенное — будет все-таки ужасной ошибкой. Оно будет глупо и пошло. Оно будет льстиво или жестоко. Иногда кажется, что живой человек есть вещь, созданная не для «суждений» о нем, а для любви его: судить же его будет Бог, — и Он один, «неизреченный», сможет сделать это «неизреченное» дело.

Если «неизреченно» суждение о великом человеке, то чем более это применимо к великому человеку, — тому, которому были даны такие силы, что он ими взволновал историю, человечество, народ. Эти люди, коих мы называем «гением», суть странные существа. Если и всякий человек близок к загадке (и оттого — «неизречен»), то гений есть всегда загадка, часто даже и для себя. Он сам мучился. Необыкновенно страдал. Гении вообще не суть «беленькие», что-то «хорошее-прехорошее», как представляют «великих людей», сплошь всех подряд, ученикам народных школ их немудрящие учителя: гений — мука, гений — загадка, гений — гроза. В основе всего гения всегда есть сила, «силища». Красотою

своею, мыслью своею — он спяляет и обжигает, разрушает и сотворяет. «Не приближайся к сему», — говорили о кивоте Завета, данном с Неба, евреи: гений, каждый, и есть немножечко «с неба принесенный кивот Завета», тесное приближение к которому жутко, мучительно, может быть опасно.

Гений волнует наши души: и если «судить» о нем мы не можем или можем очень ограниченно, ошибаясь, что у нас сохраняется, в ответ на волнующую его силу, право любить его или ненавидеть, или и любить и ненавидеть. Это мы вправе. Тут с нами Бог. Мы тоже личности, живые, могущие спастись или погибнуть: и отстаивая свою целость, отстаивая свое «спасение», мы можем резко ненавидеть даже гения, не становясь от этого «черненькими» [текст оборван].

постигаются и взаимно одна на другую действуют не по каким-то там законам тожества, во вкусе «А есть А», а как-то художественно и нравственно, интимно и, в конце концов, неуловимо. Тоже «неизреченно»... Мир есть вообще какая-то связка «неизреченностей» и «неизреченного» же общения и отталкивания, — одного с другим, другого от третьего...

Не будем его поправлять. Но пока живем в мире, так или этак станем в нем «общиться» же или «отталкиваться» по закону своей личности. Здесь Бог нас не связал...

Читатель может не согласиться со многим сказанным здесь о Гоголе. Пусть. 20 Согласия я и не ищу, я ищу интереса. Он, во всяком случае, не найдет здесь шаблона. А о «шаблонах» следует сказать несколько отдельных слов. Все наши критики точно стараются изготовить какую-то хрестоматию «избранного чтения» для учеников народных школ и, самое большее — для гимназистов старшего возраста. В критике нашей ничего нет седого, ничего нет старого. Даже непонятно, как ее читают взрослые люди: до того скучно! «Идеалист» Белинский, «проникновенный» Достоевский, «светозарный» Пушкин, Пушкин — «эхо», мрачный Лермонтов, с неприятными запутанностями в душе, но, однако, патриот, написавший «Бородино» и народолюбец, написавший «Люблю отчизну я...», всегда веривший в Бога («Когда волнуется желтеющая нива...» и «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...») — вот коротенькие «resumé» о наших поэтах, поистине тяжелее надгробные плиты над ними, к коим тянет наша критика целый век, размазывая так и этак эту одну мысль в строчку или на десятках страниц, подготавливая изумительный по новизне, трудности и недоказуемости вывод, что «Пушкин был лучезарен». Критики наши взяли в писателях только бросающееся в глаза, выпуклое; так сказать, судят о воине по щиту его. А самого-то «воина», иногда прячущегося за огромным щитом, иногда не знают вовсе, не видят и, кажется иногда, — даже не интересуются им. Что написано на щите? «Такой-то девиз». И они размазывают ученикам-читателям:

— Так вот девиз: спокойное отношение к действительности. Напр., в «Капитанской дочке», — следует изложение с подчеркиваниями. Также в «Полтаве», — следуют примеры. Итак, Пушкин был...

«Под сим камнем лежит статский советник

Иван Иванович Иванов,

оплакиваемый женою и детьми, примерный супруг и отец».

Критика подобна этой надписи, где не сказано: 1) что Иван Иванович очень любил играть в карты, 2) был богомолец, но с «но»... 3) дрался с прислугой, 4) с супругою более лебезил, чем любил ее. И проч.

Нет, уж если рассказывать, то рассказывать; а если не все рассказывать, то лучше ничего не рассказывать.

Так и в критике. Гений заслуживает, чтобы о нем сказали не только то, что он был «статский советник» и «отец», а и кое-что другое. Гения и представить нельзя несвободным [обрыв текста]

Волнуясь, спеша, умиляясь, сегодня мы не должны говорить о великих поэтах и прозаиках никаких шаблонов, очевидных читателю, даже и ученику и гимназисту, — из самого чтения его сочинений: но вправе начать говорить только тогда, если заметили что-нибудь, не сразу бросающееся в глаза, не прямо очевидное.

При этом условии число критиков и пространство критики естественно бы сократилось: но ничего бы от этого сокращения не потерялось... 10

25-ЛЕТИЕ КОНЧИНЫ НЕКРАСОВА

(27 декабря 1877 г. – 27 декабря 1902 г.)

«Худо мне! Мой дом — постель. Мой мир — две комнаты; пока освежают одну, лежу в другой», — писал в марте 1877 г. Некрасов. Полгода, тянувшиеся за этими словами, памятливы или непосредственно, или через передачу, всем. Это был обоюдный энтузиазм поэта к публике и публики к поэту. Не станем избегать слова: «публика». Некрасов сам не любил и не подставлял вместо ходячих терминов, хотя бы несколько затасканных, других, не вполне точных, хотя бы и более величественных. Русская публика в эти страдальческие дни поэта сказалась истинно благородным существом, как бы протягивавшим руки к одру умирающего, бессильная ему помочь, но говоря ему в письмах и приветствиях все, что может сказать родной родному. Взрывы чувства на минуту, в день или неделю похорон, около незасыпанной могилы, поднимаются до этой высоты сродненности; но чтобы они тянулись в этом напряжении полгода — это случилось впервые с Некрасовым. Он не был первым по размеру литературного дарования в царствование Александра II, но его дарование было самым нужным и вместе самым, так сказать, законнорожденным за это царствование; и он может быть назван по справедливости первым поэтом этой эпохи; самым видным, значащим, влиятельным литератором. Кто помнит семидесятые годы, как свои гимназические или студенческие, помнит товарищей, которые никого другого из поэтов (и почти из литераторов), кроме Некрасова, не читали или читали лишь случайно и отрывочно; зато у Некрасова знали каждую страницу, всякое стихотворение. Знали и любили; не сплошь, не одинаково, но некоторые стихотворения — восторженно. 20

Некрасов дал первый образ прозаического стиха и был первым публицистом-поэтом, в этом синтезе двух качеств достигнув почти величия. Нам его легко читать; он говорит, как мы, и то же, что мы. Таким образом он стал голосом России; если кто, усмехнувшись, заметил бы, что это мало и грубо для поэта, тому в ответ мы добавим, что он был голосом страны в самую могучую, своеобразную эпоху ее истории, и голосом отнюдь не подпевавшим, а свободно шедшим впереди. 40 Идет толпа и поет; но впереди ее, в кусточках, в перелеске (представим толпу,

идущую в поле, в лесу) идет один певец, высокий тенор, и заливается; — поет одну песню со всеми. И ни к кому он не подлаживается и никто к нему не подлаживается, а выходит ладно.

В это время славянофилы кисли в своих «трех основах», проповедовали «хоровое начало», но ничего у них не выходило; а настоящее «хоровое начало» и всяческая русская народность без всякого предварительного уговора и хитрых подготовлений и получилась вот в этой ладной песне тех памятных лет и, напр., в таком энтузиазме публики к умиравшему поэту и поэта к ней, какая случилась у постели Некрасова. Не могу никого упрекать, но для дела не могу не заметить, как много дал бы И. С. Аксаков, если бы у его постели случилось подобное же явление: «хоровое начало! матушка Русь!! чую тебя!!! пробудил, возбудил», — думал бы редактор «Руси». Но он всегда был частичным русским явлением, а не общерусским, был фактом кабинета и гостиной, а не улицы, не площади. Именно Минина-то и не выходило. А у Некрасова и вышло нечто вроде Минина, конечно в сообразно изменившейся обстановке, совсем с другими темами, другими задачами, другими речами.

Скучно, скучно!.. Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку.

.....
«Самому мне не весело, барин!
Сокрушила злодейка-жена». И т. д.

Кто этого не помнит? Кто не поймет, что это есть новая и нужная страница «Полного собрания русских летописей». Некрасов запел в глубоко русском духе. По «русизму» нет поэта еще такого, как он: тут отступают, как сравнительно иностранные, Пушкин, Лермонтов, да даже и Гоголь. У Некрасова все было ежедневно, улично, точно позвано сейчас с улицы к столу поэта-журналиста; и вместе каждое у него стихотворение светилось смыслом целостной своей эпохи. Мы заметили, что у него было больше «русизма», чем даже у Гоголя. Гоголь смеялся над действительностью, и притом довольно полно, т. е. над всею и всякою русской действительностью. Ему надо было дотащиться до Рима, чтобы наконец начать смотреть кругом себя без сарказма, без улыбки. Весь мир Гоголя — глубоко фантастический; он изведен изнутри его бездонного субъективизма. Гоголь был необыкновенный человек. Напротив, Некрасов был совершенно обыкновенный человек; и потому-то в эпоху простую, ясную, открытую, а вместе бесконечно деятельную и порывистую, он сыграл необыкновенную роль. Дайте Некрасову на вершок более гения, и его значительность в большой мере потухнет. Ведь и Толстой, и Достоевский, люди более гоголевского типа и сложения, с гоголевским углублением в себя и в мир, решительно не получили в то время настоящего значения и влияния. Некрасов весь вошел в кровь и плоть времени; это — как подкожное впрыскивание, где целая доза лекарства поступает в организм и сейчас же начинает его перерабатывать; сравнительно с приемом внутрь, где действие бывает медленно, наступает потом, да и усваивается-то из принятого вообще лишь некоторая доля.

* * *

Особенностями его биографии, личного сложения ума и характера Некрасова в высшей степени пришелся к своему времени, как и его время в высшей степени пришлось к нему. От этого совпадения он до редкости полно выразился и принес родине плод своего таланта, как и сам собрал с родины полную кошницу славы, — нет, выше и лучше: любви, слез и восторгов. Были ли они заслужены и именно в этой мере? Смешной вопрос: кто умел подымать сердце родины стихом, — а Некрасов несомненно это делал, — заслужил и то, что получил он, и даже больше. Заслужил чего угодно. Все время около него шипела зависть (немногие имели такт скрыть ее) людей отчасти более литературных, более образованных, но без специального отношения к своему времени и народу. Здесь мы снова возвращаемся к «русизму» Некрасова, о котором не хотели говорить больше: «Забятая деревня», «Коробейники», «Крестьянские дети», «Орина, мать солдатская», «Тройка», «О чем думает старуха», «Мороз-Красный нос», «Влас», «Притча о Ермолае трудящемся» (замечательное совпадение в моральной теме с «Много ли человеку земли надо» гр. Л. Н. Толстого), «Дума» (Сторона наша убогая, выгнать некуда коровушки), «Деревенские новости» и еще многие другие, будучи очень неровны в поэтическом отношении, принадлежат к таким, которые будут существовать в нашей памяти, пока в ней существует как милое и родное — русское лицо. Это как поэтический паспорт, где прописаны «приметы» народные и который придется предъявить иностранцу или далекому потомку всякий раз при вопросе: «Кто и что такое русский народ». Здесь местами есть прелесть Кольцова, но уже углубленная исторически поздними думами; есть выразительность Толстого и Достоевского; а некоторые вещи, как «Влас» и «Крестьянские дети», суть единственные по колоритности и задушевности, суть перлы русской поэзии, ничем не заменимые, не заместимые. Их ни на что не захочется обменять, из русской ли поэзии, или из иностранной, если бы такой невозможный обмен кто-нибудь предложил, если бы его можно представить себе.

Этим, нам думается, решается вопрос, был ли Некрасов истинный поэт. Соглашаясь, что три четверти и, может быть, более его стихов представляют боевую публицистику времени, и даже просто журнальную работу, мы затем все-таки получим сотню или две страниц поэзии, относительно которой уже всякие сомнения и вопросы бессильны, ненужны, пошлы. Между тем, кто не настоящий поэт, не может дать и одного настояще-поэтического стиха. Великий скульптор сказывается в одном ударе молотка, музыкант — в одной ноте, поэт — в одном стихе. У Некрасова был настоящий родник поэтического слова, не надуманный, не приискиваемый, а сам бьющий. В некоторых скучных его стихотворениях — вдруг выскочит жемчужина — слово:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!

Лучше этого никто ее не определил. И никто не сказал лучшей похвалы:

В рабстве спасенное
Сердце свободное,
Золото, золото
Сердце народное.

В последнем четверостишии две первые строчки искусственны, «литературны». Но две последние, где почти и стиха нет — скатились, что дождь с крыши, со всей биографии поэта, из всего его прижизненного опыта. Это точно старый охотник, поставив ружье вечером, тихой думой сказал все, что он встретил за день, что сделал, что «купил» у судьбы в этот окончившийся день.

10 И никогда, нигде не сказалась у Некрасова брюзготня на народ, нигде не посмотрел он на него недобрым взглядом, — хоть, без сомнения, и в ранние годы усадебной, помещичьей жизни, и позднее, бродя с ружьем по Ярославской губернии, встречал и грубость, и жестокость, и обман. Да разве в «Коробейниках» лесник добрая фигура? Но Некрасов на все имел большой взгляд, и злой лесник около прворных коробейников уложился в красивую и спокойную картину.

* * *

Легко, свободно и невыразимо могуче Некрасов, как бы захватив пригоршнями две волны, деревенско-мужицкую и школьно-интеллигентную, плеснул их друг на друга, к взаимному оплодотворению, к живому союзу в любви и помощи.
20 Никто столько, как он, не сделал, что сельская учительница стала другом деревни, ее же другом стал земский врач: мы говорим, конечно, об идеале, о мечте, которая, однако, влечет за собою огромную действительность, хотя и не отвечает за бывающие исключения.

30 Сеятель знанья на ниву народную,
Почву ты, что ли, находишь бесплодную,
Худы ль твои семена?
Робок ли сердцем ты? Слаб ли ты силами?
Труд награждается всходами хилыми,
Доброго мало зерна!
Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами?
Труд засевающих робко, крупницами,
Двиньте вперед!
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте, спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...

Это зовет как знамя — воинов; это годно как флаг развиться над русской школою. Некрасов пережил ее счастливейшую пору, когда она не знала около себя сомнений, не слышала укоров и заподозревания. Мы входим в юбилейные
40 Петровские дни; в 60-е годы мы пережили Петровские по свежести дни около школы, дни творческие, начинающие. И этому зачину Некрасов сказал неувядающие по истине и воодушевлению слова.

Вся сумма его публицистики, куда входят и журнальные водянистые стихотворения, имели совершить и совершили этот синтез русского ученого или полученого человека и русского простого, неграмотного почти человека. Конечно, над темой этой трудилось, кроме Некрасова, очень много людей; вообще это было темой приблизительно двух десятилетий литературы и общественности. Но когда тема времени получает над собою стих поэта — она прививается вдохновенно. И вот это-то и совершил Некрасов, не только соединив деревню и русского «интеллигента», но как бы гальванопластически спаяв их. Образование русское не осталось отвлеченным, а налилось соком народности и практицизма, а деревня перестала быть французско-русской идиллией, предметом стихов Дер-¹⁰жавина или Майкова. Мы произнесли слово «интеллигент», почти смешное. Смешных эпитетов и названий нужно усиливаться избегать. Слово «интеллигенция» многие годы, особенно восьмидесятые, не было лестным; около него колебались чувства, было множество гримас, и оно почти готово было перейти в кличку, весьма мало уважительную. Но колебания туда и сюда в смысле этого эпитета улеглись; теперь он распространен, не марает того, к кому прилагается, и один талантливейший в наши дни историк (П. Милюков) уже написал без смущения на заголовке новейшего труда своего: «Очерки истории русской интеллигенции». Таким образом термин укрепился, стал почетным, имеет поползновение исторически укрепиться. «Интеллигенция» тем отличается от «культурного слоя», что²⁰ последнее понятие есть более аристократическое и обнимает родовитые слои русского образованного класса. Между тем коренной нерв образованности русской проходит не по родовитым верхним слоям, например старого образованного дворянства, а по слою низшему, куда решительно тянет и лучшая часть собственно культурного слоя. Далее, если взять другой синонимический термин: «русская образованность», «русские образованные люди», — то в обоих их мы не найдем того нервного движения, того динамического, живого, кругообращающегося, растущего момента, который содержится в термине: «интеллигенция», «интеллигент». Последнее слово применяется к просвещенному русскому чело-³⁰веку, который дары просвещения не сохраняет, как драгоценный фрукт, завернутый в бумажку, — а, напротив, обильно его расточает вокруг, так сказать, дает «душу свою» в снедь ближнему, нужде, всякому жаждущему. «Культурный человек» или «образованный» — сохраняется; «интеллигент» — сгорает: и в этом их разница. Момент-то горения и есть здесь главный, ибо его процесс и образует «интеллигентную жизнь» учителя, лекаря, писателя, сестры милосердия, ученого землевладельца, кого угодно, которые все объединяются в «умном горении». Оно, как мы заметили, могло бы у нас вспыхнуть отвлеченной, кабинетной наукой, как в Германии, или сухим политическим пламенем, как во Франции; культурным комфортом, как в Англии, или художественным эстетизмом, как в лучшие дни старой Италии. В 40-е годы тенденция, например, к последнему была⁴⁰ и у нас. Но у нас вышло «пламя ума» совсем в новой форме, самобытной, нам лишь присущей; где сострадательный, нравственный, человеколюбивый момент едва ли не составляет «душу», но душа эта одета плотью и нарядами и собственно философии, и эстетики, и политики, в замечательной и гармоничной связи. Тип доброго русского интеллигента (вспомним покойного доктора Белоголового) — чрезвычайно добротный, так добротный, что всмотревшись в него внимательно и потом долго думая, наконец, решаешь: «И не надо лучше; нечего пере-

дельвать: вышло хорошо». Я говорю о бессознательных недрах и токах истории, вырабатывающих типы людей, как бы творящих еще и еще «форму человека».

В эту форму Некрасов влил чрезвычайно много своего. Он как бы посыпал ее пшеничным зерном (деревенские его темы), а вместе дал суровый и сатирический закал горожанина, резкий очерк души, которую формировали злейшие ветры каменных улиц. Некрасовская поэзия — синтез нежности в ее крайнем выражении («Баюшки баю», «Рыцарь на час»), с насмешливостью и даже грубостью тоже крайне выразившейся («Подражание лермонтовской колыбельной песне», «Юбиляры и триумфаторы», «Герои времени»). Точно замерзающий человек: 10 внутри — тепло, поэзия, грезы; снаружи — ледяные сосульки, ооченелый и недвижимый вид.

Были ли у него общечеловеческие темы? Да, хотя и в форме столь личной, «некрасовской», что их общечеловечность не была даже замечена.

Великое чувство! у каждых дверей,
В какой стороне ни заедем,
Мы слышим, как дети зовут матерей,
Далеких, но рвущихся к детям.

20 Великое чувство! Его до конца
Мы живо в душе сохраняем,
Мы любим сестру, и жену, и отца,
Но в муках мы мать вспоминаем.

Все стихотворение — слабо и бледно, и представляет неискusstное предисловие к двум последним строчкам. Но в них прорвалась такая буря настоящего чувства, испытанного и лично поэтом, а вместе и всемирно-истинного, что ради них все стихотворение входит необходимейшим нравственным звеном в русскую литературу. Взять из нее эти две строчки значит вдруг обеднить ее смысл. Есть также упрек, что Некрасов не пел любви, «которую поют все поэты». Между тем часть пятой главы «Коробейников», от стиха:

30 Хорошо было детинушке
Сыпать ласковы слова,
Да труденько Катеринушке
Парня ждать до Покрова

и до стиха

40 Думы девичьи, заветные,
Где вас все-то угадать?
Легче камни самоцветные
На дне моря сосчитать.
Уж овечка опускается,
Чуя близость холодов,
Катя пуще разгорается...
Вот и праздничек Покров!

возвышается до кольцовской простоты и прелести. «Буря», «Огородник», «Ты всегда хороша несравненно», «Когда из мрака заблуждения» и, наконец, почти предсмертное: «З-не» дают полную гамму любовных и любящих звуков, и в ее кратких эпизодах, и в художественных, и в высочайше-нравственных. Невозможно без волнения, почти без слез перечитать последнее:

Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются;
Ночью и днем
В сердце твоём
10
Стоны мои отзываются.
Темные зимние дни,
Ясные зимние ночи...
З-на! закрой утомленные очи
З-на! усни!

Это потрясает, как зрелище спальни и постели умирающего; читаешь стих — как болеешь сам. Такое чувство родины, — не лучше ли, чем к отвлеченной, абстрактной оде, с припоминанием лат Рюрика, оно сказалось в этом кратком напутствии Салтыкову, при его отъезде за границу, умирающего поэта:

О нашей родине унылой
20
В чужом краю не позабудь.
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь — журнальный путь.

Право же, эта «любовь журналиста» стоит и любви офицера, да она не меньше и любви пахаря-крестьянина к своей земле-родине. Но Некрасов в кратком, небрежном и от этого так искреннем четверостишии, вычеканил как бы «медаль в память» и любви журналиста к земле своей, — и с каким отличительным, характерным колоритом!

* * *

Объем каждого писателя, конечно, уменьшается со временем. С каждым десятилетием остается меньше и меньше его произведений, еще живых, еще нужных, еще поэтических на новые вкусы. Поэты — ссыхаются. «Полные собрания сочинений» переходят в «избранные сочинения» и, наконец, в «немногие оставшиеся», которые читаются. В нашей литературе Лермонтов и Кольцов, оба писавшие так мало, являют единственное исключение поэтов почти без ссыхания (например, Никитин весь почти высох, от него почти ничего живого, перечитываемого, заучиваемого не осталось). Этой судьбе подлежит и Некрасов, и через 25 лет по кончине его едва четвертая доля его стихов остается в живом обороте. Но не говоря о том, что ни в какое время нельзя будет историку говорить о важнейшей эпохе 60–70-х годов XIX века без упоминания и разъяснения Некрасова, и в са- 40

мой сокровищнице поэзии русской некоторые его стихотворения, как «Влас», и отдельные строфы из забытых стихотворений буквально:

Пройдут веков завистливую даль

и не забудутся вовсе, не забудутся никогда. Их будет всего около десятка листочков, но они останутся, — и, следовательно, Некрасов вообще увеличил «лик в истории» русского человека, русской породы, русской национальности.

* * *

Вопросы: 1) об искренности поэта, 2) о его равенстве или неравенстве с первыми корифеями нашей поэзии и 3) о его личных биографических «прегрешениях» всегда трактовались в каждой о нем критической статье. Всегда слышалось желание защитить память поэта; всегда слышалось желание ударить больно по памяти поэта; увенчать пышнее или развенчать вовсе. Ни для кого не был Некрасов безразличен; «odi» et «amo» («люблю» и «ненавижу») всегда волновались около него при жизни и после смерти. Теперь, в юбилейный день, конечно, особенно легко говорить похвалы, но не потому, что это легко, а поистине мы ответим по пунктам на три указанных вопроса.

В последние месяцы, когда мы снова и снова перебирали в уме упрек: «он играл в карты», «ездил для этого в Английский клуб», у нас сложился циничный ответ упрекающим: «играл, и представьте, счастливо!». Дело в том, что этот циничный ответ, и, следовательно, рвется, так сказать, отражающею рапирею на циничный же вопрос. В вопросе этом сокрывается ужасная боль: боль эта идет, удар наносится завзятым фарисеем и фарисейством. Да, человек играл в карты, имел «страстишку» и даже поглощающую страсть (никто не скажет, что он играл, как торговал, — и при неблагоприятном обороте бросил бы игру: он скорее разорился бы, проигрался в пух), — как решительно все мы, кроме святош! Те не имеют никакой страсти, — кроме самолюбия! Крошечное их «я» сожрало их; святоша вечно носитя с собою, так сказать, мысленно лобзает себя со словами: «Душка! Какой ты!! Ты не играешь в карты!!!». Как Плюшкина сожрали его деньги и от человека остался только засаленный халат, — так святошу сожрала «безгрешность моего я» и от него осталась какая-то психологическая кокетка, не могущая отвести лица от зеркала, отражающего из всего мироздания единственное его «я». Эти Нарцисы праведности на самом деле в категории именно праведности не только не стоят на высокой ступени, но и вовсе не стоят на этой лестнице. Они — вне категории добра и зла. Есть мировая загадка, сокрыта некая чудная тайна в том, что стать полным человеком, развитым, одухотворенным, тонким, так сказать, «родиться духом, а не плотски только», — можно, единственно ослабнув где-нибудь, в чем-нибудь, — как Некрасов в картах (легчайшая форма падения), но часто в гораздо большем, в тягчайшем. На испытания при приеме в «культ Митры», — пришлось мне прочесть когда-то, — испытываемый проводился между прочим и через ступени «преступления», и до такой степени, что какой-то император римский должен был кого-то убить. Между тем самый культ этот считался кротким и к нему принадлежал Марк Аврелий; в кротчайших религиях,

самых мирных, в зерне лежит: «жертва», «пролитие крови», «принесение в жертву жизни». Между тем, конечно, император, которому хотелось только убить, мог войти в тюрьму, проколоть ножом горло десяти приговоренным. Что же могло содержаться в таком «испытании», если в нем, очевидно, не содержалась жестокость, жажда крови?! Да вот «карты» Некрасова, слабость, падение, которое его подняло на такую высоту над праведником-критиком, повторяющим знаменитую стереотипную молитву фарисея: «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как вон тот мытарь».

Святая загадка праведной лестницы заключается в том, что высокие ступени одухотворения, тонкости душевной вообще не достигаются без некоторых «падений»¹⁰. И что вечное оплакивание подлинными и удостоверенными праведниками «грехов своих» не есть только присказка, и не есть «уничуждение паче гордости», а есть плач о подлинных, настоящих грехах, каких и не узнаешь в миру. Праведники наибольшие суть те, которые наиболее согрешили: тогда их слово исполняется огнем правды, а сердце источается в любви к слабому, «братскому» (в грехе). Является идея прощения и наконец всепрощения. Таким образом нужно вполне удивляться, что Некрасов, согрешив самую легкую формой греха, картами и Английским клубом, в тонком и нежном сердце своем нашел упрек себе, и чистый и прекрасный, и выразил его в стихотворениях «Рыцарь на час» и «Неизвестному другу», где так удивительно соединены гордость и скромность.²⁰ Плюшкины праведности таких тонов не знают: они или кичливы, или малодушно испуганы.

«Неласковая муза», «муза мести и печали», конечно, имеет такие же права на существование около ласковых и грациозных, около хвалебных муз, как гроза — около затишья, буря — около солнечного дня. Мир был бы беднее, если бы их не было; и хотя мы все стереотипно повторяем строку, где говорится о «Боге — в тихом веянии ветра», но не забудем, — что Иову Он говорил «из бури». Наши религиозные представления, и за ними этические, страшно покачнулись в сторону «тихости», «кротости», «прощения», каковые качества напоследок времен начали переходить в «слащавость», «бесхарактерность», сахаристость самую безвкусную на всякий здоровый вкус. И стих некрасовский, и тоны, и темы его для пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годов были и этичнее, и эстетичнее, чем тоны всех поэтов-сверстников его. Не только они по сердцу пришлись своему времени, но решительно ничего красивого не было в те дни повторять тоны Анакреона или Пиндара, Парни или Делиля.³⁰

Весна слетела к нам с лазоревых небес:
 Воскреснули поля, и ожил спавший лес;
 Природа облеклась в зеленую одежду;
 Встречаем и любовь, и счастье, и надежду,
 Ходящих об руку в долинах и лесах*.

40

Это можно было петь в какую-нибудь бесцветную эпоху, слишком общечеловеческую, т. е. без своего дела. В «благословенную» эпоху, когда Сперанский

* «Сады, или Искусство украшать сельские виды». Сочинение Делиля. Пер. Александра Воейкова. Спб. 1816 г.

и Аракчеев попеременно несли «на раменах своих» Россию, эти песни были у места. Но была крайняя безвкусица перепевать эти напевы в пору освобождения крестьян, падения старого суда и проч.

10 Положение Некрасова среди Пушкина, Гоголя, Лермонтова неуместно. Это люди вовсе разных категорий, разных призваний, разной исторической роли. Сравнивать их так же странно, как спрашивать, что лучше, железная дорога или Жанна д'Арк. На нелепый вопрос вовсе не нужно давать никакого ответа. Эта ошибка была сделана при похоронах Некрасова и подняла споры, вовсе не удобные и скорее унижительные для доброй памяти нашего поэта, памяти своеобразной, оригинальной, высокой. Поистине, продолжали его мучительную предсмертную болезнь люди, которые кричали: «Он — выше Пушкина». Не «выше» и не «ниже», а совершенно в стороне. Кто «выше», Аннибал или Сократ, Суворов или Сергей Радонежский? Что за вопросы? И кому их разрешение нужно? На могиле его совершенно нравственно было крикнуть: «Сейчас мы любим этого умершего поэта более, чем Пушкина; он нам привычнее, он нам больше сказал; он нас подвинул больше, чем вся остальная русская литература». В словах этих была бы правота и истина, личная, биографическая, выражающая истинный биографический факт людей 1877 года. И не за что нам упрекнуть их, как и не для чего повторять.

20 Искренность музыки Некрасовской всего лучше доказывается тем, что тон его сейчас же почти угас в литературе с ним. Значит, он и исходил из его сердца, а не то, чтобы сердце его было только резонатором несшихся кругом его звуков; чтобы он подражал или увлекаем был эпохой. Он был ее двигателем — это во всяком случае. В жалобах «покаянных стихов» он только сетует, что не двинул дальше, больше. Но, нужно заметить, общее положение его окружающих вещей было таково, что он мог собственно только больше нервничать, а не то, чтобы в самом деле что-нибудь мог дальше двинуть. И вовсе не по практицизму своему, но по холодной закаленности натуры, по трезвости и ясности головы решал, что пустые пространства биографии отчего же и не заполнить охотой летом и картами зимою. Пристрастие к последним, очевидно, ему было передано в роду, — совершенно как передается расположение к алкоголизму; т. е. было передано как сумма нервных и умственных, страстных и почти счетных предрасположений и вкусов. Это принадлежит к числу тех недостатков, которые извиняются медиками, самыми компетентными здесь людьми. За потребностью, почти органической, карт последовало и общество большой картежной игры, к которому, однако, ни одним стихом он симпатии не выразил, и очевидно, с этим обществом не было его сердца. Мне представляется Некрасов совершенно правдивым существом, богато во все стороны раздавшеюся натурою; оригинальною, сильною, до типичности великорусскою, до приурочения к известной губернии, до невозможности представить его уроженцем какой-нибудь другой губернии, кроме четырех смежных: Ярославской, Тверской, Костромской, Владимирской. И, в конце концов — был натурою чуткою, нежною, деликатною (его стихотворения, посвященные памяти матери и вообще всемирному чувству материнства и чувству детей).

40 Из упреков настоящих на нем лежит только один: отношения к Белинскому, жесткие, своекорыстные. Это — темное пятно, не суживающееся от времени. Гордость поэта не допустила бы, чтобы мы его сузили или чем-нибудь «присыпали», чтобы было незаметно. Нет, это заметно и навсегда так останется. Достаточ-

но сознать, что Некрасов болел об этом. А насколько он это испытал, может быть, чем-нибудь для нас незаметным, никому не рассказанным (у него есть в стихах намеки на разные маленькие надувательства его крестьянами, к которым, очевидно, он за это не придирался) — это пусть останется между ним и небом.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

была бы несравненна с западноевропейскими по живописи и чистосердечию, по постоянному стремлению к благу, по великодушию, если бы она не проникнута была в ее великом и малом, «во всем», даром или ущербом художественного преувеличения. Чистосердечно ли оптическое стекло? Да, его природа такова, что оно «смотрит» на предмет, «видит» его; вот именно — *его* видит, а — *не* другое. ¹⁰ И — увеличивает размеры, «точь-в-точь» с теми самыми отношениями пропорций, как это есть в действительности. От сего получается тот результат, что вся русская действительность осветилась для русского читателя неправильно. Именно для русского читателя, и именно русская одна действительность. Мы стали ложно понимать и чувствовать свою действительность. «Гражданин, ложно понимающий отечество, — и уже бессильный, обессиленный литературою, понимать его не ложно». Фата-моргана, в которой литература прожила всю свою судьбу. И «так любя отечество», она свалила его, повалила его и растоптала пятками исчадия, как последнюю тварь и гнусность, будучи на самом деле сама гнусным обманом. Никогда этого не было во всемирной истории. Впервые это случилось с $\frac{1}{6}$ частью суши, таинственно-русскою. Она согнала с планеты, убила Русь. От превосходных качеств своих («реализм» и «правда»). И чем были гениальнее произведения, но с этою оптикою, тем оружие убивало вернее.

Одна полиция кричала, останавливала. Но уже тройка неслась. «Гоголевская тройка», вот она. Косолапый Вий проговорил: «вижу». И показал ведьме Хому Брута. Тьмы нечисти кинулись на него. Но рвали они не бурсака, а Русь.

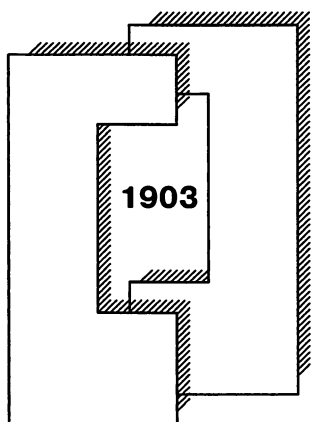
Ты ничего не видел, ты все видел ложь. Но уже Русь лежит бездыханна.

УСКОЛЗАЮЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ

Бельлетристов перестают читать!.. Давно пора. Ибо мертвее, старше, бессодержательнее, для души и тела во всех отношениях ненужнее теперешних бельлетристов — нельзя себе ничего представить. ³⁰

Приглядитесь к составу каждой книжки толстого журнала. Впереди идут, т. е. первую половину книжки занимают, эти так называемые бельлетристы. Они представляют «мораль в лицах»: что-то подобное средневековым интермедиям и «пещным действиям». Проводятся идеи «задней половины журнала», но до того в удобопонятной форме, что читателю не нужно шевелить челюстями и жевать: они сами проскальзывают, куда нужно, и производят надлежащее действие.

«Бельлетристики» этой никто решительно из серьезных подписчиков журнала не читает; серьезный читатель прямо читает вторую половину.



ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ <О Д. С. Мережковском>

В № 11 от 12 января «С.-Петербург. Ведомостей» некто г. К. Румынский подвергает г. Мережковского упреку в том, что он, будто бы желая «сильных ощущений, криков пытаемых, вида крови, запаха сжигаемого человеческого мяса» и т. п., «принял позу блюстителя чистоты веры», стал разыскивать в литературе «еретиков» и прежде других указал на меня. Так как подобная инсинуация, накидывая очень густую тень на г. Мережковского, при моем молчании могла бы вызвать подозрения, что и я согласно с инсинуацией считаю себя, так сказать, духовно теснимым со стороны Д. С. Мережковского, то для предупреждения подобного мнения и снятия с моего друга всякого заподозрения его в «великом инквизиторстве» (слова г. К. Румынского), я должен сказать, что обвиняемое место его книги «Гр. Л. Толстой и Достоевский» (т. 2, стр. XXXIV) предварительного напечатания было мне показано редактором «Мира Искусства», с предложением, не буду ли я иметь что-либо против этих слов, каковые при моем желании и он (редактор), и Д. С. Мережковский готовы выпустить. Но я по разным соображениям просил его оставить, находя вполне основательным и нимало для меня не опасным утверждение, что строй моих мыслей для их опровержения потребует со временем еще большего напряжения мысли со стороны гг. богословов, чем строй мысли гр. Л. Н. Толстого. Нужно заметить, «строй мысли» гр. Толстого, начиная с «Крейцеровой сонаты», представляет собою лишь решительную и всеобщую приложенную (к миру) форму монашества, — и с этой стороны едва ли представляет что-либо, нуждающееся в опровержении для богословов. Совершенно противоположна моя точка зрения, и она может представлять трудности для богословия. Затем лично с Д. С. Мережковским я об этом месте его книги никогда не говорил и удивляюсь, что он «хочет моего жареного мяса» (кровавое утверждение г. К. Румынского), когда каждое воскресенье он мирно пьет чай за моим столом. Фантазия г. К. Румынского смешна, но худо, что к смеху он присоединил злой умысел замарать совершенно чистого в литературном отношении человека.

ИЗДАНИЕ СОЧ. ВЛАД. С. СОЛОВЬЁВА

Со смертью Мих. Сер. Соловьёва связана не только потеря человека, прекрасного для всех, кто его знал, но и редактора «Полного собрания сочинений Владимира Сергеевича Соловьёва». Издание доведено до половины, и покойным ве-

лось оно отлично. Трагическая кончина одновременно с М. С. Соловьёвым его жены, причем у них остался только несовершеннолетний сын, исключает всякое предположение о продолжении печатания трудов покойного философа кем-либо из членов семьи Михаила С. Соловьёва, связанной с издаваемым автором не только узами родства, но и самой тесной дружбою. Если не ошибаемся, права издания были завещаны Владимиром С. именно только брату Михаилу. Таким образом, продолжение издания, столь интересного для читающих кругов России, впадает в значительную неясность. Ввиду этого позволительно пожелать, чтобы в дело вступились ближайшие друзья покойного философа, объединенные в редакции журнала «Вопросы Философии и Психологии» и в кружке важнейших членов Московского психологического общества. Было весьма неизлишним, если бы кто-нибудь из них сообщил в печати, будет ли продолжаться издание, и особенно продолжаться так же энергично и корректно, как до сих пор, и кому, приблизительно, будет вверена их дальнейшая редакция? В следующие томы, между прочим, могли войти и могли не войти, в зависимости от стараний и некоторых хлопот редактирующего изданные за границу богословские труды покойного, особенно его знаменитый труд: «Россия и всемирная (= католическая) церковь». Время, когда этот труд Соловьёва мог казаться острым и волнующим, прошло, к концу жизни самого философа его католические симпатии окончательно остыли, и трактат его об отношениях России и западной церкви, сохраняя только отвлеченный интерес, нам думается, может войти совершенно безобидным томом в «Собрание сочинений» покойного. Как об этой, так и о других подробностях издания было бы интересно что-нибудь услышать в печати от лиц, имеющих право на издание или имеющих намерение принять в нем прямое или косвенное участие.

О БЛАГОДУШИИ НЕКРАСОВА

С именем Некрасова у меня всегда почему-то связывается воспоминание об одном литературном обеде или, лучше сказать, полулитературном, полувоенном, где были исторические повествователи, генералы в отставке, и где что-то вспоминалось, и обсуждались текущие обстоятельства, литературные и политические. Должен сказать, что я всегда не любил самого процесса еды; просто, мне антипатичен вид едящего человека, и от этого всякий раз, когда мне приходится не дома обедать, я прихожу в сквернейшее настроение духа, и линия движущихся ртов производит во мне самое унылое настроение, как бы прорезываемое сатирическими мыслями. И в этот обед, о котором я говорю, было чадно и шумно, хвастливо и тупо, как приблизительно на всяком, я думаю, «общественном обеде». Но особенно глаз мой фиксировался на одном публицисте-литераторе с плотной фигурой и уверенным лицом. Дома, что ли, он ничего не ел, но он с какою-то жадностью придвигал к себе то жестянку омаров, то особого сорта икру, то дорогое вино, и ел, ел — так, что тошно было смотреть. Когда обед достиг, так сказать, культурно-политического центра и поднялись бокалы шампанского, то среди речей в пользу чего-то или в отрицание чего-то (шли годы значительного публи-

цистического смысла, около середины минувшего десятилетия), слышалось имя Некрасова. И вот публицист-литератор, с плотной фигурой и с большим вкусом к омарам, заговорил, что ныне «Некрасов уже всем понятен, всеми забыт, но что первый, кто взвесил настоящим образом его талант и печатно развенчал его петербургско-либеральные вирши — был он, в таком-то издании, кажется, иллюстрированном, и что, хотя это не было в свое время замечено и оценено, но что приоритет по времени развенчания Некрасова принадлежит ему». Нужно сказать, что этот литератор, с довольно громкой фамилией, впрочем, более прористекающей от созвучия ее с фамилией других, действительно, знаменитых литераторов, в ту пору девяностых годов являл собою фигуру, на которую до некоторой степени опиралось отечество. Именно, он был из тех, которые раскапывали гробы прошлого и воспевали покойников. За свои работы, о которых он говорил, что они вдохновенны, хотя мне, да кажется и всем (кроме наивных редакторов), они казались деланными, он получал огромные гонорары, хотя, может быть (по хвастливости), еще увеличивал их в рассказах. Во всяком случае, в речах его слышался сочный русский смысл, претензии были — на древний русский дух; все собрание было крайне русским, «народно-русским», хотя не без государственных оттенков. Высоты Шипки, Плевны, Балкан мелькали в речах, упоминались имена Хомякова и Аксаковых, хотя не упорно, хотя без настойчивости.

20 Энергичные и отчасти угрюмые лица обедавших как бы говорили: «Мы сами — Аксаковы, мы тоже — Шипка». Все вообще было глубоко неинтересно, за исключением этой речи исторического писателя, отрицавшего Некрасова и отрицавшего его как-то морально, «за недостаточную искренность, полную деланность и отсутствие настоящего русского чувства». Речь эта как-то особенно запомнилась мне и, так сказать, легла на сердце неувядающим цветком, который освежается всякий раз, когда какой-нибудь повод пробудит имя Некрасова. Это — как жгущая крапива на могиле. Жжется она — больно могиле; шевелится могила, и недобрым взглядом глядишь на крапиву. Впечатления заострились; стали недругами друг против друга. И, может быть, Некрасов был бы менее подчеркнут

30 в моем сердце, или подчеркнут не так решительно и бесповоротно, если бы не это навязчивое впечатление, одно из ничтожных, но которые имеют фатум завязать в душе и до известной степени душу перерабатывать, воспитывать.

Белинский сказал про Некрасова: «Какой талант у этого человека, и какой *топор* его талант». Сам Некрасов признавал свою музу «музою *мести* и печали». Между тем, просматривая его стихи теперь, когда уже завершилось все, судя о нем не под впечатлением единичного стихотворения, только что вот появившегося в свежей книжке журнала, а по всей сумме его стихов, невозможно не заметить, что *благодущие* — все-таки небо в нем, а гнев — только облака, пронсящиеся по нему; грозные, темные, серьезные, однако отнюдь не преобладающие,

40 не образующие постоянного угла настроения поэта. Невозможно без улыбки и глубокого доверия к сердцу автора перечитать его стихи, начинающиеся при сказкой.

Не водись-ка на свете вина,
Тошен был бы мне свет,
И пожалуй — силен сатана —
Натворил бы я бед.

Такого благодущия стихов и у Пушкина надо с усилием выискивать. В «Зеленом шуме» это благодущие развивается во что-то пантеистическое. Вернувшись из города, с заработков, муж находит изменницу-жену:

В мои глаза суровые
Лядит — молчит жена.
Молчу, а дума лютая
Покоя не дает:
Убить — так жаль сердечную,
Смотреть — так силы нет.
А тут зима косматая 10
Ревет и день, и ночь:
«Убей, убей изменницу,
Злодея изведи!»

Срам соседей, суета мирская, так же как и подлинная ревность, — изводят мужика. Но зимние вьюги минуют:

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум.
Как молоком облитые
Стоят сады вишневые.
Пригреты теплым солнышком 20
Шумят повеселелые
Сосновые леса,
И липа бледнолистая,
И белая березынька.
Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клен...
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему,
Слабеет дума лютая,
Нож валится из рук, 30
И все мне песня слышится
Одна — в лесу, в лугу:
«Люби, покуда любится,
Терпи — покуда терпится,
Прощай — пока прощается
И Бог — тебе судья».

Это — пантеизм любви. И как нов и неожидан, а вместе неуважимо светел мотив прощения: не хныкающего, не с высокомерною остаточного мыслью: «вот, я прощаю — потому что я свят, ее, хотя она и грешница». Право, это «благовестие» Зеленого Шума (и какой термин!) не меньше может сказать нам, не меньшему научить, чем другое благовестие, как-то уже слишком заглушившее в нас Зеленые Шумы и чуткую способность внимать им. — Самая бедность, на которой он 40

останавливается, слишком зная ее острые когти, разрешается иногда в стих кольцовской простоты и беззлобия:

В ключевой воде купаюся,
 Пятерней чешу волосыньки,
 Урожаю дожидаяся
 С непосеянной полосыньки.

(«Калистрат»)

Это благодущие переходит местами в смех, великорусский, здоровый: тот смех, без которого народ наш и не перенес бы всего того, что перенес:

10

У людей-то для щей — с солониною чан,
 А у нас-то во щях — таракан, таракан!

.....

Как бы нам так зажечь, чтобы свет удивить:
 Чтобы деньги в кошеле, чтобы рожь на гумне.

Или, того же тона, в другом размере, о «молодых»:

Повенчавшись, Парасковье
 Муж имущество казав:
 Это — стойлице коровье,
 А корову Бог прибрал.

20

.....

Есть и овощ в огороде —
 Хрен да луковица.

и т. п. Колорит почти везде не имеет кольцовской нежности, нежности Воронежской губернии, уже обвеваемой ветрами с Черного моря; он суровее, беспощаднее, но не от души поэта, а от северных губерний, где он рос и бродил, обвеваемый стужей Ледовитого океана. Однако каждый признает, что нужны были свои песни, и именно народные песни, и этим северным странам. Невозможно отвергнуть, что Некрасов был их певцом, давшим в стихе своем очерк северного человека, северной природы. «Мороз-Красный нос» есть эпопея великорусского севера и, вместе, лучшее стихотворение Некрасова по богатству красок, по раз-
 30 нообразию и трогательности тонов. Мы не станем на нем останавливаться по слишком большой его общеизвестности.

Север — суров, и наивно-лукав. Чувства в нем не вытягиваются в длинную пальму, не ветвятся, не раздаются в пышную зелень, а растут приземистой березкой, коротенькой, «ядреной», стелющейся по земле. Такова любовь у Некрасова. Она физиологична, коротка, простодушна, но очень тепла. «Для наших мест» она прелестна:

Вянет, пропадает красота моя!
 От лихого мужа нет в дому житья:

Пьяный все колотит, трезвый все ворчит,
Сам, что ни попало, из дому тащит!

Ведь в этих четырех строчках — $\frac{3}{4}$ «домашнего быта» русского народа. По уменью дать формулу, подвести итог множеству явлений, глаз охотника — Некрасова не знает себе соперничества.

Не того ждала я, как я шла к венцу!
К братцу я ходила, плакалась отцу,
Плакалась соседям, плакалась родной —
Люди не жалеют, ни чужой, ни свой!
«Потерпи, родная, — старики твердят, — 10
Милого побои недолго болят!»
«Потерпи, сестрица! — отвечает брат, —
Милого побои недолго болят!»
«Потерпи! — соседи хором говорят, —
Милого побои недолго болят!»

Это, по-северному, «накладывают» на человека, что на извозную лошадь, клади: «ничего, свезет: на то — одер». Но человек слабее лошади, и хитрее. Нельзя не улыбнуться дальнейшим строкам:

Есть солдатик — Федя, дальняя родня. 20
Он один жалеет, любит он меня:
Подмигну я Феде, — с Федей мы вдвоем
Далеко хлебами за село уйдем.
Всю открою душу, выплачу печаль,
Все отдам я Феде — все, чего не жаль!

А вот — кошка оглядывается на пройденный след и улыбается хозяину-драчуну. Читатель заметит, до чего великорусски речь и склад ума:

«Где ты пропадала?» — спросит муженек: ... —
Где была, там нету! так-то мил дружок!
— Посмотреть ходила, высока ли рожь!
«Ах ты, дура баба. Ты еще и врешь»... 30
Станет горячиться, станет попрекать...
Пусть его бранится, мне не привыкать!
А и поколотит — не велик наклад —
Милого побои недолго болят!

Встань из гроба Пушкин и перечти это стихотворение — он пожалел бы, что оно не в «Собрании его сочинений». Тут такая бездна живописи, краткой, точной, с любовью сделанной; тут — и быт народный, и психология, и народная судьба. Заключительное:

Милого побои недолго болят

в устах сытой кошки, которую с молодую «драли» под эту самую присказку, отдает и злостью, и мезтью, но все какой-то коротенькой, без романтической разрисовки; злостью и мезтью, расплывающейся почти в благодушие. «Просто — так было», и никаких дальше рассуждений. «Так повелось, сестрица, дочка, соседка, что девиц в нашем краю без их воли замуж выдают; это еще от святой старины и от самих угодников Божьих, которые воли человеческой не возлюбили, волю человеческую изрекли грешною». — «Ничто, родименькие: я к Феде сбегала: так-то еще из старинки повелось, из древней старинки. И в сказках об этом называется, и от соседей я об этом слыхивала». И обошлось к взаимному удовольствию. Корельская береза коротка, но тверда.

Мало кто заметил, что в так называемых «гражданских стихах» Некрасова есть бездна этого же благодушия. Прежде всего, в них есть просто доброе чувство, без всяких осложнений, — как вздох облегченной груди:

Родина маты! по равнинам твоим
Я не ежал еще с чувством таким!
Вижу дитя на руках у родимой,
Сердце волнуется думой любимой:
В добрую пору дитя родилось,
Милостив Бог, не узнаешь ты слез!
С детства ничем не испуган, свободен,
Выберешь дело, к которому годен...

Это просто доброе чувство при виде доброго поступка, счастливого положения, — без всякой «мести и печали». Если затем мы возьмем его «Песни о свободном слове», то и тут увидим гораздо меньше собственно гражданского чувства, так сказать, юридического восторга, а увидим, скорее, радость рабочего по облегченному труду, осложненную почти школьною резвостью, маленьким уличным озорством. «Песни» эти полны неувядающей свежести, и суть лучший монумент великой, хоть и кратковременной, эпохи. Оне состоят из восьми рубрик: «Рассыльный», «Наборщик», «Поэт», «Литераторы», «Фельетонная букашка», «Публика», «Осторожность», «Пропаала книга». Все рубрики полны живописи, олицетворения, одушевления.

Баста ходить по цензуре!
Ослобонилась печать,
Авторы наши в натуре
Стали статейки пущать.

Это говорит рассыльный, встречаясь со старым литератором на Николаевском мосту. Целый сонм кумушек слышится в сетовании пораженной, рассерженной «Публики»:

Нынче, журналы читая,
Просто не веришь глазам,
Слышали — новость какая?
Мы же должны мужикам!
Экой герой сочинитель!

Речь ее перебивает литератор, опытный журналист, толкующий о новых темах, новых настроениях, не то в кружке приятелей, не то с начинающими писателями:

В ледовитом океане
Лодка утлая плывет,
Молодой, пригожей Тане
Парень песенку поет:
«Мы пришли на остров дикий,
Где ни церкви, ни попов;
Зимовать в нужде великой
Здесь привычен зверолов;
Так с тобой, моей голубкой,
Неужель нам разное спать?
Буду я песцовой шубкой,
Буду лаской согревать!»
Хорошо поет собака,
Убедительно поет!
Но ведь это против брака, —
Не нажить бы нам хлопот?
Оправдаться есть возможность,
Да не спросят, — вот беда!
Осторожность! Осторожности!
Осторожность, господа!

Это несравненно по живости. Сколько бы ни упрекали нас, мы скажем: в чем же *новом* выразились 60-е годы у Майкова, Полонского, Фета? Все те же песни, как у Пушкина, та же «свирель», «роща», как в Галлии — и в России, как в XV веке у трубадуров, так и у петербургских литераторов половины XIX века. Но в приведенном стихотворении своя историческая минута сказала столь *индивидуально*, так *ново*, — что, конечно, именно он выразил вечную сущность поэта:

Ревет ли зверь в лесу глухом
.....
На все, поэт,
Родишь ты отклик...

Вот этого «эха» не было у Майкова, Полонского, Фета. А у Некрасова оно было, — да только *оно* и было.

Ай да свободная пресса!
Мало вам было хлопот?
Юное чадо прогресса
Рвется, брыкается, бьет,
Как забежавший из степи
Конь, не знакомый с уздой.

Читая опись этого маленького литературного озорства, столь законного в первую минуту, столь милого, наконец, — удивляешься вовсе не «музе мести и печали», а именно свирели мальчика, без всяких гневных, без всяких мужских, «гражданских» нот. В рубрике восьмой, «Пропала книга», поэт благодушествует и шутит даже над духовным и материальным крахом, естественно переносимым с запрещением книги, уже отпечатанной, но не пропущенной новой, тогда «последующею» цензурою (была отменена только «предварительная»).

10 Уж напечатана — и нет...
 Не познакомимся мы с нею;
 Девица в девятнадцать лет
 Не замечается над нею!
 О ней не будут рассуждать
 Ни дилетант, ни критик мрачный,
 Студент не будет посыпать
 Ее листов золой табачной.

Тут — все читатели, все время! Сколько живописи, и как она кратка! Если эпохи и события нарастают на народе, как на дереве круги древесины, то, конечно, 60-е годы именно в лице Некрасова выросли на русской истории новым поэтическим слоем. Стихи, темы, психология — все ново в нем, ничто не перепевает
 20 напевов прежних. Поразительно, как могло это отрицаться в свое время и вообще когда-нибудь, как заподозривалось в значительности, важности, в искренности. Некрасов был более поэт, в строгом, классическом значении слова этого, нежели кто-нибудь из его поэтических сверстников; разъяснить это есть тема критики, в отношении его не выполненная и законная.

Возвращаясь к «музе мести и печали», мы удивляемся, как она не назойлива у Некрасова, не тягуча. Решительно, это был поэт малого гнева. Он сказался только в раннем, еще 1846 года стихотворении: «Родина». Оно не похоже на «родины» ни Пушкина, ни Лермонтова, но тут уже Некрасову некуда было уйти от своей биографии. И кто смеет из нас бежать от своей «биографии», и подставлять на место мотивов из нее мотивы чужих биографий? Ведь это было бы горчайшей изменой своей «родине»!! И Некрасов воспел свою, особенную, — не Пушкинскую и не Лермонтовскую — «родину». Как это совпало с надвигавшимся переломом в целом его отечестве; т. е., хотим мы сказать, как в конце концов был провиденциален весь Некрасов как поэт:

40 Вот темный-темный сад... Чей лик в аллее дальней
 Мелькает меж ветвей, болезненно-печальный?
 Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
 Кто жизнь твою сгубил... о, знаю, знаю я!..
 На веки отдана угрюмому невежде,
 Не предавалась ты несбыточной надежде —
 Тебя пугала мысль восстать против судьбы,
 Ты жребий свой несла в молчании рабы...
 Но знаю: не была душа твоя бесстрашна;
 Она была горда, упорна и прекрасна,

И все, что вынести в тебе достало сил,
Предсмертный шепот твой губителю простил!
И ты, делившая с страдальцей безгласной
И горе, и позор судьбы ее ужасной,
Тебя уж также нет, сестра...
Из дома крепостных любовниц и псарей
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
Тому, которого не знала, не любила...
Но матери своей печальную судьбу
На свете повторив, лежала ты в гробу
С такой холодною и строгою улыбкой,
Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой!
И с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор;
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понутив голову над высохшим ручьем,
И на бок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий...

10

Это хорошо, как «Дума» Лермонтова, не уступает ей в силе и красоте. Но как здесь, в столь личном стихотворении, сказалось и чувство Русского и России о себе самой, между 1846 годом и 1877, когда почил поэт. Вот в истории литературы пример случая, каприза «Книги бытия», сливающего лицо человека с лицом народа, лицо певца с сюжетом воспеваемым! И посмотрите, какой мотив гнева — это не «общегражданское чувство», а личное: живая конкретная привязанность еще мальчика-поэта к теням замученных сестры и матери. Шалость его лиры потом, например, уже в приведенном отрывке —

20

В ледовитом океане,

да и вообще все «брыканье юного чада прогресса», объясняется до последней точки виденным и пережитым, например, хотя бы в сфере семьи, этою «благодатною» судьбою двух самых дорогих поэту женщин. «А когда так — то все на сруб!» — решил еще слишком благоразумно, слишком безгневно поэт и Россия тех дней. «Все было обещано, ничего не было дано», «все милые формулы и скверные дела», «прочь же, неправдоподобный флаг с нагруженного фальшивостями корабля». В ту приснопамятную пору произошло не так называемое «колебание основ»: дело в том, что сами «основы» уже ранее пропустили в себя негодное содержание, — и невозможно было выпотрошить эту начинку, не распарывая несколько самую «основу», туго и официальнейшим образом застегнутую на все пуговицы. Таким образом, борьба, по существу, происходила за отечество, за историю, за каждую порознь из мнимо оспариваемых «основ»: ну, например, в этом стихотворении —

30

40

В ледовитом океане,

по-видимому, чисто нигилистическом, почти татарском. Но ведь что же было делать, если в культурной России, из судьбы матери и сестры поэт увидел воочию, что в красивом футляре, с такой солидной надписью, как «брак», «семейство», вложены: позор, унижение, изломанная жизнь, распутство одной стороны и слезы — другой, текущие под всенародную присказку:

«Милого побои недолго болят».

На такую татарскую действительность под православным крестом он и ответил, да и вообще ответили русские журналисты того времени, как бы татарской вывеской (нигилистическая форма) над нравственным и человеческим содержанием (быт и жизнь этих людей по существу; например, в браке — любовь, но подлинная, без всякой формы). Таковы были недоразумения времени. Встречу двух волн, старой и новой, наш же поэт выразил в «Песне Еремушке», которую я позволю себе назвать знаменитой. Нянька — деревенская — поет песню укачиваемому ребенку, причитает привычное, тысячелетнее:

Ниже тоненькой былиночки
Надо голову склонить,
Чтоб на свете сиротиночке
Беспечально век прожить.

Проезжий поэт, он же Н. А. Некрасов, берет у нее малютку с негодующим чувством: «Эка песня безобразная», — и, предложив няне отдохнуть и уснуть, начинает другую:

Жизни вольным впечатленьям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремленьям
В ней проснуться не мешай...

И т. д. — целая программа пожеланий. У Некрасова не было только длительного поэтического подъема. От этого в прекраснейшие свои стихотворения, с середины или к концу, он иногда начинает брать чужие слова, то из поэтов, то даже из прозы, что было уже совершенно неудобно и роняло его как поэта. Так и в «Песне Еремушке», накидывая очерк желаемого, он вставил двустихие:

Братством, истиной, свободой
Называются они.

Но тот ошибся бы, кто подумал бы, что он противопоставляет русскому французское: у него просто не хватило словаря известных слов, к четырнадцатой строфе энтузиазм творчества угас, и он взял наскоро «fraternité, liberté», вставить неуклюже в середину их «истину». Заметно вообще, что Некрасов быстро утомлялся в писании стихов; «Эхо» в нем было коротко. Как много у него стихов с прелестнейшим началом, с вечно запоминаемой строкой, например, это:

Бес благородный скуки тайной

и которые кончаются тускло, да и в общем содержании запутаны, неясны. В душе его не было «дали». «Эхо» быстро ударялось о ближнюю стенку и возвращалось коротким, нерастянутым звуком.

Блажен, незлобивый поэт,

повторим мы его же стих в применении к нему, — как это ни странно покажется. Виденное или услышанное в нем не залеживалось и почти не перерабатывалось. Он не пел осенью о том, что видел весною: не запевал через пять лет о том, что испытал сегодня, он о весне пел по весне, а про осень пел осенью. В «Декабристах» Толстого есть наблюдения, мелочные, едкие, но эпически спокойно переданные, которые выразились в своих последствиях, в гневных последствиях, не ранее, как лет через десять после написания этого очерка. Вся «Исповедь» Толстого десятилетия зрела, но без передачи читателю малейшего штриха из того, что готовилось в душе автора. Вообще, если говорить о «музе мести и печали» серьезно, то ее куда больше у Толстого, Достоевского, нежели у Некрасова. Напротив, они в применении к душе своей могли бы взять первый стих «Еврейской мелодии» Байрона.

Душа моя мрачна...

Некрасов вовсе не знал этой Сауловой тоски. Открытое, простое сердце, без лабиринтов в себе, — он и был оттого так полюблен эпохой тоже простой, без лабиринтов в ней; «честными и мыслящими реалистами», назовем мы ее ее любимым, ее наивным термином.

Вдохновение его, я сказал, не задерживалось. Подъем чувства не жил в нем долго. Отсюда происходит уже названная нами выше слабость и какая-то странная запутанность изложения его длинных поэм, например «Коробейники», «Мороз-Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо». Он меняет в них размеры; вставляет в текст, без всякой нужды, только для облегчения себя, народные песни (*всегда другим размером*). Пугается и вязнет в теме, вдохновенно, с большими надеждами начатой. Чтобы он написал такое длинное произведение, как «Евгений Онегин» и стихах, — этого невозможно себе представить. Пушкин и Лермонтов *бременили* стихом: он в них рождался сам, и им трудно было *не писать, невозможно не писать*. Они задохлись бы, если бы рифмы не зазвучали, не легли на бумагу, не пошли в типографский станок. «Мцыри» Лермонтова довольно значительное стихотворение, — а между тем на третьей, на пятой, на шестой странице строки текут такие же густые, страстные, и, кажется, тянись сюжет — они потянутся бесконечно. Выражение Некрасова о себе:

...Мой неуклюжий стих

относится не к стиху собственно, который у него бывает часто прелестен, иногда гениально удачен:

Порвалась цепь великая,
Порвалась и ударила

Одним концом по барину,
Другим по мужику,

но это определение и самосознание поэта относится к компоновке стихотворений (особенно длинных), которая действительно выходила у него почти всегда неуклюжа, прямо — мало понятна и мало мотивирована. Он, как будто затрудняясь в рифме и особенно в размере, не находя слов в довольно бедном своем словаре (у каждого писателя есть собственный лексикон слов, которые у него всегда готовы, всегда на уме, толпятся во лбу и веют у кончика пера), начинал поворачивать так и этак ход рассказа, изложение содержания, уже применяясь, наконец, к найденной рифме, к вылившейся строке. Редкие стихотворения, как «Влас» (всегда недлинные), у него выходили целостно, монументально. Представляю себе его восторг, когда он поставил точку у «Власа»: ничего испорченного, ни одного лишнего слова, вдохновенно до последней строки. Так не радовался Пушкин «Евг. Онегину» и Лермонтов «Мцыри».

Все же это немножко сближает Некрасова с нами; он, как все, только талантливее. Тогда как те, Пушкин и Лермонтов, — вовсе необыкновенные, «демонические», что ли, или «божественные». Строй души Некрасова очень близок к земле, и это — ничего, это — хорошо, от этого он и был так возлюблен и справедливо возлюблен толпою. Разделим его радость, позволительный и исключительный восторг, что он дал нам такого великолепного «Власа», единственного в русской литературе стихотворения, *которое не уступает никому* и у Пушкина, и у Лермонтова. На вопрос, выключить ли из литературы нашей «Купца Калашникова» или «Власа», я не указал бы «Власа»: или никоторого, или обоих. Без «Власа» мне просто было бы скучно жить на свете, я обеднел бы на некоторое богатство в собственном и личном благополучии. Вот что значат «национальные» богатства, вот как они копятяся.

Указанная краткость «эха» у Некрасова едва ли не объясняется одной его биографической чертой. Грустная мать его легла мостом между нигде и ни в чем не соединенными народностями: русскою и польскою. Мы имеем родное в немцах, во французах, в англичанах, в итальянцах. Тысяча воспоминаний нас соединяет с ними, — воображаемых и реальных; литературных и житейских, то в виде старого гувернера, то оставившей богатые впечатления заграничной поездки. Но нет от нас нации более далекой и даже, наконец, вовсе неизвестной — как поляки! Если мы спросим себя: да что же так разделяет нас? то ответим: польский «гонор», этот и сословный, и исторический аристократизм, да еще неудавшийся, очень неэстетичный. Русь по разным историческим обстоятельствам, еще начавшимся от татарщины, несет действительно на себе «зрак раба»; но она не прикинула и не покорила в нем, а как-то извернулась и поставила его, наконец, как флаг и завет для себя, как идеал и гордость, братски связавшись в нем и страстно ненавидя все, что имеет хотя бы какое-нибудь поползновение сословно, лично, разбив звенья цепи, отойти в сторону от общей, довольно горькой, доли, но по общности и единству ставшей наконец национально милою, и как бы всемирно-милою. У нас «демократизм» есть не юридический термин, не политический, не программный, это — бытовая психология и почти мировая метафизика. Польша и поляки, где все «нопог» чужды нам не в частях своих, не в подробностях, а в целом и слитном своем составе. Мы и они по психологии как бы взаимно непрони-

цаемы. Мицкевич не соединил нас с ними, несмотря на дружеские в России связи, — ибо ушел под конец в ту же национальную хвастливость «мессианизм» Тоянского и свой. Замечательно, как худо в России прививается национальный «мессианизм», выраженный славянофилами и частью Достоевским: он подсекает главную добродетель России — скромность («зрак раба», не «заносись в мечтах»). И надо же было, — и я думаю это фатально, — что около самого любимого и самого демократического русского поэта, вечно возившегося с мужицким бытом, любимца студентов и гимназистов, встала, и неотделимо встала, страдальческая тень матери, дворянки-польки, заморенной русским самодуром. Это есть дорогое польское имя в русской истории, но неразруσιμο дорогое — ибо около него уже все кончено, и все что было — было хорошо именно в русском нравственном смысле: терпение, несчастье и т. п. Мне думается, если место могилы ее известно — город Ярославль ничем не выразил бы так почитание памяти поэта, как поставив хоть недорогой монумент на ее могиле. Да, думается, было бы хорошо и останки поэта перевезти туда же и, вообще, соединить в воспоминании и в увековечении замечательную мать и замечательного сына. Некрасов совершенно немыслим в красоте и силе своей, т. е. вообще во всей значительности, без этой особенной связи, и без особенной судьбы своей матери. «Муза» его там, около ее могилы; а «печаль и месть» этой музы было только разросшееся до национальной значительности негодование сына за свою мать; обобщенье (и действительное совпадение) обстоятельств личной биографии с обстоятельствами страны. Но я кончу о той черте Некрасова, о которой заговорил. Известно, что поляки — нация короткого «эха», быстро воспламеняющегося и недолгого впечатления. Некрасов воспринял в себя душу своей матери-польки. Отсюда не задерживающаяся, не залеживающаяся его впечатлительность; отсутствие упорно разгорающегося вдохновения; и отсюда же некоторые невольные его как бы франтоватые фразы:

Терпением изумляющий народ

или:

Видь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой...

и пр., или целые стихотворения, какие-то оперные («У парадного подъезда», «Убогая и нарядная»), которые более всего внушили подозрительности касательно его искренности и натуральности. Но это было наследство крови, которое он, так сказать, нес в горбе за спиною, даже не видя его: и не привлекая сюда никакой личной, сколько-нибудь сознательной психики, т. е. никакой вины. Это у него было, как у блондина белый цвет кожи.

Но нужно изумляться, с каким вниманием он выискивал чужое страдание, аналогичное тому, которое сам видел или перенес, т. е. подлинное, настоящее, не «литературное», и до какой высоты, простоты и правды восходил при передаче его. Перечтите под рубрикой: «О погоде» — 1) «Утренняя прогулка» (как хозяйка жильца-чиновника хоронит) и 2) «До сумерек», — разные уличные мелочи; также «Дешевая покупка», «Свадьба» и потом все стихотворения: «На улице».

Вот идет солдат. Под мышкою
 Детский гроб несет детинушка.
 На глаза его суровые
 Слезы выжала кручинушка.
 А как было живо дитяtko,
 То и дело говорилось:
 «Чтоб ты лопнуло проклятое!
 Да зачем ты и родилось».

Конечно, это не так великолепно, как «адмиралтейская игла» в «Медном всаднике». Но эта поэзия *terre-à-terre* * имеет свою невыразимую нравственную прелесть. Собственно, новое в истории лицо русского человека, не похожее на римское, греческое, немецкое, английское, польское, — более говорит этим стихотворением, чем даже «иглою» Пушкина. Ибо «адмиралтейскую иглу» так же можно было построить в Лондоне, как и в Петербурге, а в Эдинбурге она и светилась бы точь-в-точь как у нас. Великое дело — новое в истории лицо. Все можно сотворить, все можно сделать, всего великого или прекрасного достигнуть: но еще человек, еще другой и новый человек, или народ — это что-то драгоценнейшее всякого личного творчества. Русский мужик после римского пролетария есть большее историческое приобретение, чем около Сципиона другой Сципион, или чем после Сципиона — Цезарь. И вот это-то другое, новое и драгоценное, и рисовал Некрасов, ему послужил он.

...И дровни, и хворост, и легонький конь
 И снег, до окошек деревни лежащий,
 И зимнего солнца холодный огонь —
 Все, все настоящее русское было...

Такими штрихами, непременно лично подсмотренными, полны стихотворения Некрасова, и в них-то лежит золото его поэзии.

В СВОЕМ УГЛУ. ОТ АВТОРА

Редакция «Нового Пути» предложила мне в журнале особый и личный отдел, где я мог бы высказываться без того, чтобы редакция чувствовала себя связанною моими тезисами или частными взглядами, и где, с другой стороны, я мог бы провести такие свои мысли, которых редакция не разделяет. Это — как возможность. В общем же, конечно, мой «Угол» будет отвечать всему духу журнала.

Такой отдел удобен еще в том отношении, что, являясь журналом в журнале, он допускает помещение в одной книжке многих заметок одного автора и введение частной переписки; допускает краткую афористическую постановку какого-либо практического вопроса; допускает краткий, в немного строк, ответ на печатную статью или несколько ответов на несколько частных статей. Словом,

* будничный (*фр.*).

этот отдел расширяет рамки обыкновенного журнального сотрудничества и в некоторых отношениях приближает литературу к тому безыскусственному, свободному и разностороннему обмену мнений, какой составляет преимущество разговора между друзьями в кабинете перед объяснением с публикою на эстраде. Читатель извинит меня, если в некоторых случаях я значительно отойду от общепринятых в литературе способов изложения своих мыслей. Мне кажется, печатная бумага вообще несколько утомила современные вкусы. Ведь мы с большим интересом читаем частное письмо, чем газетный лист. Отчего журналу и журналистике не последовать этим изменившимся вкусам?

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ И «УТИЛИТАРНАЯ КРИТИКА»

10

Маленькое возражение Н. А. Энгельгардту на его проект «переоценки ценностей» литературных

Да не будут тебе бози инии разве Мене...

Есть эпохи монотеистические, суровые, как древний Израиль; есть эпохи политеистические, светлые, как Эллада и разнообразные, как она. Судить одну из них в свете принципов другой — едва ли основательно. Нужно и возможно брать каждую в ее собственном принципе, и — конечно, не упуская из виду односторонности принципа — стараться, однако, выявить ее особенную, иногда угрюмую и одинокую, но исключительную красоту.

Шестидесятые годы были такою монотеистическою эпохою, «об одном боге». Пишем с маленькой буквы, потому что мы говорим, конечно, об идеале, но чрезвычайно страстно веруем, — об идеале «обожеествленном». Таким идеалом в шестидесятые годы была «польза». Но какая «польза»? Не меркантильная, не американская, не польза своего «я», не «польза» как сумма удобств жизни. Предносился взору людей того времени «золотой сон» будущего; но «сон», который должен настать для всего человечества, и притом разом, и именно материально, вещественно, здесь, на земле. Люди неимущие, люди зависимые сгорали в идее имеющего наступить братства людей, имеющей осуществиться свободы людей, имеющего наступить довольства людей. Под давлением этой мечты предпринимались самые сумасбродные поступки. Ехали в Америку, бежали в Швейцарию, чтобы начать сейчас то «новое», которое у себя дома казалось отодвинутым на века или на десятилетия. В «Бесах» Достоевского рассказывается о двух таких нищих русских эмигрантах, пролежавших два года в какой-то американской больнице и размышлявших «о Боге». До чего это живуче, мне пришлось увидеть осенью этого года: именно, я здесь в Петербурге встретил точь-в-точь такого эмигранта эпохи 70-х годов, уже вернувшегося из Америки «с найденным Богом»: человека кроткого, боголюбивого, человеколюбивого, примирившегося с действительностью, «потому что он и Бога нашел, и через Бога примирился и с человечеством», вплоть до петербургских порядков. Можно его судить и так и этак: но великого и бескорыстного подвига всей его биографии отвергать нельзя.

Итак, идеал 60-х годов был «утилитарный», но в каком-то пророчесственном, священном смысле. Сообщил ли он колорит всей эпохе, и именно поэтический? Да. Живя теперь в серенькое и нерешительное время, время, не сотворяющее никаких идей, время не питаемых ни в какую сторону надежд, нельзя с особенною силою не почувствовать красоты 60-х годов, en masse *. Хорошо, что хоть догадались юбилейно помянуть Некрасова, как-то радикально забытого в течение долгих лет. Его «унылый стих» носился тогда над толпою и будил хорошие порывы. Потом пришли люди действительно меркантильные, но с миною благородных идеалов; они закидали камнями, заплевали, затоптали как его, так и многих других около него; до известной степени всю эпоху. То, видите ли, была эпоха «циническая, а не идеальная: отечества не любила, Бога не признавала, добродетели не сохраняла». Все это говорили люди, у которых пальцы ломило от обстригания купонов от «отечественных» процентных бумаг.

Итак, шестидесятые годы были обняты и подняты одною общею идеею, «утилитарною» в объясненном смысле; и всякое равнодушие или отступничество от этой идеи казалось изменою «братству» людей, так сказать, расстройством первого же шага на пути этого «братства». О, пусть это была иллюзия, но прекрасная иллюзия. В самом деле, нельзя же маленькие практические идейки, весьма и весьма осуществимые через 10—20 лет, предпочитать мировым, пусть даже «золотым снам». Пушкин сказал об «обмане», который иногда стоит «тьмы низких истин». 60-е годы и были такою пушкинскою эпохою, во вкусе и в смысле Пушкина, предпочитавшего всему «великий обман»; и что в том, что эти годы спорили против подробностей Пушкина, к тому же *непонятого*, просто даже *негитавшегося* в те годы. Кто же не знает, что перед самым открытием памятника Пушкину в Москве нельзя было за самую дорогую цену купить его глазуновского издания. Пушкин «не расходился»... Но это вовсе не то, как если бы его *гитали* и *понимали* и *отвергали*. А между тем *гтили*-то в 60-е годы — по героическим идеалам мудрого и неведомого Пушкина...

Критика была в 60-е годы «утилитарная»... и не помешала подняться Л. Толстому, Тургеневу, Гончарову, Достоевскому и целой толпе меньших, но настоящих поэтов. А вот в наши дни, когда мы приготовили «эстетические оценки», они никого не вызывают к жизни. Дело в том, что самая наша эпоха непоэтическая и никого не воодушевляет. Прошова́я эпоха, только с претензиями на эстетизм: «и близок виноград, да зуб неймет». Зуб у нас эстетический, а винограда-то на него не попадает. А 60-е годы, хотя и имели «утилитарные» для всего мерки, но это только так казалось: великая эпоха была истинно поэтическая, и она вздымала крылья индивидууму. Тургенев только кажущимся образом расходился со своею эпохою. С нашей он не завязался бы вовсе душою. А разойдясь, не сколько разойдясь со своею, — как он болел от этого! Т. е. как, значит, он чувствовал ее *родною* себе, себя — *родным* ей. Он был похож на изгнанников древней Греции, которые *умирали* вне отечества, хотя и казались его изменниками. «Нашему времени» и изменить нельзя; просто — нечему изменить: ни «эпоха» никого не любит, ни эпоху никто не любит.

Таким образом, кажущиеся «утилитарные» оценки литературных произведений в 60-е годы были только с виду такими, а на самом деле это были оценки,

* целиком (фр.).

вытекавшие из общей братской одушевленности одним идеалом, «монотеистическим», и полные ревности к «иным богам». Этих «иных богов» казнили в ту пору, как Израиль казнил «ваалов». Были ли они худы, эти «иные боги»? Увы, мы теперь знаем, с ученой археологической точки зрения, что «боги» Финикии или Египта, Эллады или Рима имели свою красоту и свой смысл, вовсе не видный евреям. Но это оттого, что мы только археологи, гробокопатели, что мы сами лишены и пророков, и пророчественного духа. Также в отношении 60-х годов: конечно, их оценки были неправильны, но лишь с точки зрения спокойного и равнодушного эстетизма, на каковую, прежде всего, не становились и едва ли захотели бы стать сами творцы-художники 60-х годов — Толстой, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Островский. Все ведь они были и великими материалистами, но тоже в священном и одушевленном смысле. Выбросьте у них у всех *материальную* заботу о народе своем, о стране своей, о будущем народа — и много ли в их трудах останется «звуков чистых и молитв»? Почти — ничего. Дело в том, что «молитвою» в то время и стал хлеб, земля, тело народное, свобода народная, благополучие народное, просвещение народное. Вспомните-ка некрасовское: «Сейте разумное, доброе, вечное». Это — программа русского учения, русской школы, поднявшая крылья тысячам народных учителей и учительниц. Это уж не министерские позднейшие «чехи»... Да, так вот как: «унылому» Некрасову, сему «куплетисту около Александринского театра», как его «определяли» эстеты 60-х годов, принадлежит стих вечного, бессмертного смысла.

Вся эпоха 60-х годов, имея действительно *одно* мерило для всех литературных произведений, и мерило *утилитарное*, в то же время оттенками этого мерила и способами его применения подымала крылья художественному творчеству целой эпохи и объединяла в одно прекраснейшее, почти религиозное братство людей тех счастливых лет. Да, «счастливых», приходится это сказать. Ибо что за печаль жить в эпоху, когда нет ни одной соединительной между людьми идеи! На «безвременьи» — мы вспоминаем о «золотом времени». Оно только казалось грубо. На самом деле это была деликатнейшая эпоха, с деликатнейшим отношением к ближнему, к человеку, к женщине, к народу, к ребенку. Я, не придумывая, а наудачу назвал целую рубрику предметов: а когда вдумаясь в каждое поименно, увидишь, что в 60-е годы родилось и выросло истинно доброе и впервые доброе отношение ко всему названному. Вспомним, как радикально была обрублена в те годы «порка детей», принципиальная, законная. «Люди 40-х годов» судили обо всем по Шеллингу, «знали наизусть Гёте и Гегеля» (формула похвалы того времени), а параллельно детей преспокойно пороли, дома, в школе, в гимназиях. Вот что такое эстетизм и что такое «утилитаризм 60-х годов» на частном примере. В 60-е годы положено было veto, и роковое, навсегда, бездне жестоких, бесчеловечных явлений.

Да будет же благословенна та «утилитарная, грубая эпоха» и ее вожди от Некрасова и Щедрина до Добролюбова и даже Писарева — позволю себе включить и последнего, пусть он был очень юн, очень неопытен — но как он был одушевлен в каждом своем шаге, во всякой своей строчке. Храните, люди, святое одушевление: к чему бы оно ни относилось, из него родится непременно золото. Временное забвение Пушкина в ту эпоху никакого радикального ущерба Пушкину не принесло. Эпоха была беднее «на Пушкина», но Пушкин во всей своей красе явился потом. Вообще критика и отвержение губит мишуру, а золото она толь-

ко «проводит через огонь» и очищает. Но ту эпоху должны поблагодарить: русский школьник, русская женщина, простолюдин русский и труд русский. Будем ли мы еще спорить, что ее должна поблагодарить и литература?

А «эстетические оценки»... ну, мы готовы слушать, говорите — какие оне и в чем заключаются? Мне кажется, русские не без причины не имели ни Винкельмана, ни Лессинга. Вообще, есть национальные преимущества и национальные же дефекты. Посмотрите на *универсальное* почти явление философии: германского идеализма не выросло в английской опытной философии, ни английской опытной философии среди германских философствующих гениев. Точно так же смакование эстетических достоинств не без глубокой причины не прививалось у нас, и когда начиналось — всегда казалось забавным. Мы непосредственно чувствуем, и целым обществом, разом, силу литературного произведения и правду его; мы чувствуем его грацию; и Веневитинова никогда не смешивали с Бенедиктовым или Некрасова — с Розенгеймом. Это мы и считаем достаточным, крича «браво» одним и шикая другим. И обыкновенно, такое народное приветствие или равнодушие у нас оказывалось истинным. Ну, и довольно, что в каждом из нас есть миллионная частица Лессинга: зачем нам растить или дожидаться целого Лессинга? А впрочем, придет он, мы тоже разом угадаем, в самом ли деле это Лессинг или только потуги на Лессинга. И плохо же придется тому, кто принесет только потуги и претензии.

ЗАМЕТКА О МЕРЕЖКОВСКОМ

Всякий раз, когда личное какое-нибудь сведение способно защитить доброе имя ближнего, публично осужденное, добросовестность и, так сказать, мировое чувство дружелюбия (все друг с другом связаны) понуждает передать в публику это интимное сведение. Кончая в одной из книжек «Русского Богатства» очередную часть «Литературы и жизни», г. Н. Михайловский, приведя несколько строк из работы г. Мережковского «Гр. Л. Н. Толстой и Достоевский», называет строки эти, совершенно спокойные, — «безобразно-неистойвой выходкой, непристойною тем более, что Мережковский знает огромность человека, на которого он, карлик, с таким бешенством замахивается». Прочитав слова эти, мне стало чрезвычайно грустно, что в юбилейный год литературной деятельности Толстого, когда будет вспомнано все доброе и все добрые, кто что-либо хорошее сказал о великом человеке, только имя самого внимательного и самого трудолюбивого критика, далеко оставившего за собою все «думы», и «впечатления», и «штрихи», какие писались ранее о Толстом, внезапно награждается бранью. Жадность к труду и добродетель труда, так сказать, заплакала во мне, и я позволю себе, чтобы отвести в сторону обвинение Михайловского, передать факт глубокой скромности Мережковского и благоговения его к величию личности и заслуг Толстого. В 1901 году Мережковский читал в Петербургском университете, в закрытом заседании Философского общества, отрывок из названного критического труда, где подвергал (как мне казалось) основательной и искусной критике те религиозные идеи Толстого, которые указывают «узкий путь» жизни, путь все большего и большего сужения и умаления наших потребностей, цивилизации, науки,

искусства. Как известно, кроме Мережковского, огромные части России не соглашаются с этими тенденциями «опрощения» Толстого. Когда настал короткий перерыв между двумя отделами чтения, то, встретившись с Мережковским, я сказал ему: «Все это так, и критика ваша верна относительно подробностей, но сам Толстой в жизни и в сумме трудов своих представляет такой великий религиозный факт»... Не успел я докончить, как Мережковский прервал меня с одушевлением, какого я не могу забыть: «Конечно! пигмей — я говорю о гиганте. Толстой — русский Микель-Анджело или Леонардо-да-Винчи, ни йоты менее». А известно, что Мережковский до страсти, до обожания чтит Леонардо-да-Винчи, которому посвятил среднюю часть своей трилогии «Христос и антихрист»¹⁰ в русской литературе». Словом «пигмей», к себе отнесенным, Мережковский поразил меня, ибо мы, гг. писатели, вообще не склонны плохо думать о себе. Это, во-первых, совершенно показало сознание Мережковским границ и почти ограниченности своих сил и непосредственный восторг к Толстому, что особенно ценно при идейном расхождении с ним. Слова эти, которых, вероятно, и сам Мережковский не помнит, ибо сказаны они были в такую торопливую и, так сказать, «забывчивую» минуту, как куренье в антракте, навсегда определили для меня Мережковского с той стороны, которая в нем менее всего известна: нравственно доброй и простой. Михайловский пытается именно ее подвергнуть сомнению, а с тем вместе, и замарать весь огромный двухтомный труд критика,²⁰ — вообще, «плюнуть» на чужой труд и чужую личность — прием критики, довольно у нас распространенный. Уже Сократ нас учил, что из двух — обидчика и обиженного — страдает собственно первый. Конечно, Михайловскому и на Сократа «наплевать», но, мне кажется, мир так обширен, что слюней Михайловского все-таки не хватит на него и где-нибудь останется чистое место. Оставляя его в стороне, скажу, что критическая работа о Толстом Мережковского включает в себе редкое и необыкновенно трудное качество — *само*-забывчивость критика. Русская критика вообще страдает излишествами субъективизма; наши критики говорят не об авторе критикуемом, а все о себе, излагают свои мысли или навязывают свои чувства «по поводу критикуемого автора». Если мне скажут, что в своих критических опытах я страдаю тем же, то я более чем соглашусь с этим. Именно, как русский писатель с опытами критики, я чувствую, до чего трудно (верно — по обстоятельствам исторического настроения) русскому перестать о себе и из себя говорить, а говорить о другом. Все мы иллюзионисты, и критика в строгом и научном и, наконец, самонужнейшем значении у нас просто отсутствует. Поэтому, как только я начал читать критическое исследование о Толстом Мережковского, которого других трудов, даже беллетристических, я никогда не дочитывал до конца (позволяю это сказать, дабы кто-нибудь в мнении моем не заподозрил пристрастие), я почувствовал, что это совершенно новое явление в нашей критике: критика объективная взамен субъективной, разбор писателя, а не исповедание себя.⁴⁰ Нужно ли это русской литературе — пусть судит каждый. Плодом этой объективной критики (пусть со множеством частных ошибок) было то, что великий писатель собственно «земли русской» выяснился как огромный, как небывалый еще факт цельной культуры европейской и христианской. На оценку моего, по крайней мере, чувства и суждения никто столько, как Мережковский, не потрудился, чтобы, так сказать, сорвать полотно с бронзового монумента, воочию 50 лет стоящего перед нами: ибо идеи Толстого он свел и сопоставил, и ука-

зал им место среди тысячелетних мировых умственных течений, среди духовной жизни всего человечества. Это он не сказал, не заявил, а разработал; он был архитектором около Толстого, тогда как раньше сюда неслись только восклицания, отрицательные или положительные. Будем уважать труд. Без уважения к труду нет культуры.

О ПИСЬМЕ гр. С. А. ТОЛСТОЙ

10 Есть некоторое патрицианство духа, как было патрицианство общественного и гражданского положения. И если разделение людей на патрициев и плебеев по гражданскому положению антипатично и пало потому, что было антипатично, то духовное патрицианство иногда не отрицалось человечеством, а потому оно и сохранилось везде, у народов самых демократических, в эпохи дикие, как и самые просвещенные. Лица, как Пастёр, Ньютон, Сократ, как жены наших декабристов или римская Корнелия, никогда не оспаривались; да как-то и невозможно себе представить время или группу людей, которые о подобных людях сказали бы: «Нам их не надо».

20 Письмо гр. С. А. Толстой по поводу новейших повестей г. Андреева и критики В. П. Буренина есть, прежде всего, поступок русской женщины, — поступок матери семейства, который сохранил бы всю свою силу, будь под ним подписано какое угодно женское имя. Но вполне привлекательно и до известной степени не 30 неожиданно, что голосом русской женщины, без сомнения имея за собою сочувствие тысяч и тысяч матерей, заговорила жена и друг великого писателя, которую все как-то бессознательно и не сговариваясь давно чтили как образцовую патрицианку нашего семейного быта. Тотчас по появлении рассказа г. Андреева «Бездна», около месяца назад, мне приходилось именно из женских уст слышать выражение такого отвращения, негодования и презрения к этому «творчеству», — перед которым письмо С. А. Толстой еще является сдержанным. Но письмо это действительно не одиночный голос: действительно отвращение к этому растиранию пальцами липкой и зловонной грязи и затем поднесение к носу читателя своей демократической «пятерни» — возмущает вкусы и нравственное чувство 30 наименее испорченной части общества, женской.

Поражает в «творчестве» — грубость и тупость. Тупость, наша северная русская тупость, «злая татарщина» души нашей, выражается в том, что у «творца» г. Андреева ничего не пробуждается в душе ни тогда, когда он изображает гимназиста, рисующего сальные картинки, зараженного скверною болезнью и толкающего столовым ножиком в живот проститутки, ни тогда, когда он рассказывает о студенте, насилующем девушку после трех оборванцев.

С кого они портреты пишут?

Где разговоры эти слышат?

40 Но это — тупость нравственного суждения. Грубость же художественного чувства выразилась в непонимании, что каждый предмет требует отношения

к себе, отвечающего своей природе, а не какого-нибудь другого. Ну что, если бы кто-нибудь изобразил нам идиота, колющего на дрова иконы или употребляющего полотно драгоценных картин на заплату кальсон! Просто — это неинтересно. Просто — это дичь. А художник, избирающий такие дикие сюжеты, — «злой татарин» литературы без всяких дальнейших прибавлений к этому определению. «Шантажисты прессы», прославившиеся в Париже, вызвали оттого к себе негодование целой Европы, что извратили прекрасную сферу труда и деятельности. Но чем, скажите пожалуйста, лучше поступает беллетрист, не менее извращающий и, наконец, доводящий до полного идиотства сцену художественного отношения к жизни?

10

Дурное в рассказах г. Андреева не то, что он рисует в них пол, а что он говорит о нем такое, что ни малейшим образом не вытекает из природы пола, а составляет фантазию исключительно г. Андреева, которую прищипывая к явлению, он клеветает на явление. Именно получается что-то вроде «шантажа в прессе». В музее училища барона Штиглица, среди деревянных средневековых статуеток самого архаического стиля я был поражен одною группою. Автор-художник, едва ли не монах, захотел представить зрителю, что такое в существе своем «соблазн»: для этого он соединил в группе две женские фигуры, или, точнее, одну — в двух возрастах: молодом, когда начинается «соблазн», и в старом — когда все его стадии пройдены. Старая фигура «соблазнительницы» нарисована с такою отвратительностью и вместе гнусностью, что невозможно на нее смотреть дольше нескольких секунд. «Мораль» статуеток заключается в том, что женщина вообще есть гнусное творение, около которого мы «пачкаемся». Гимназист и студент г. Андреева являют собою именно таких пачкунов, а самые рассказы изображают процесс этого пачкания. Я делаю это сближение между средневековыми фигурками и произведениями новейшего беллетристического «шика» для того, чтобы, отрицая их, — мы отрицали корень, из которого оба явления растут. Это — как рубка дров из икон. В основе у обоих, у беллетриста и монаха, лежит неправильное и, наконец, преступное отношение к полу, чуждое понимания и уважения.

20

30

— Пол есть зло, и я нарисую его как зло, и чем отвратительнее будет изображение мое, тем оно будет истиннее и поучительнее.

Таково рассуждение обоих. Ничего, если г. Андреев не знает о средневековых изображениях и даже если он рисует похождения, в самом деле или виданные или слыханные им, т. е. если он ни в каком случае не аскет. Он во всяком случае не уважает пола, и в этом главном пункте он вполне и до последней точки совпадает с аскетом.

Нет, собственно, грязных предметов, а есть способ грязного воззрения на них, и грязь, таким образом, лежит не в природе, а копошится в психологии человеческой, в человеческом воспитании. Природа невинна, и в совершенно нагом своем виде она не приобщается греху. Здесь, на этой почве, лежит союз искусства и нравственности. Что бы ни изобразил художник, произведение его остается нравственным, если он не осложнит его безнравственною психологиею. Ни роды Китти, ни «падение» Анны Карениной, ни подробности детских пеленок, рассматриваемых Наташей Ростовою, в «Анне Карениной» и «Войне и мире», никого не оскорбили. Итак, нет такой физиологии, которая была бы оскорбительна. Оскорбительное начинается, когда грязный мальчишка, усмотрев через

40

щель в заборе «соблазняющие» его картины, начинает другому мальчишке сообщать, что он увидел. Вот на такие рассказы очень начинают походить рассказы некоторых беллетристов. Тут есть именно неуважение к предмету изображения; цинизм психологии, который падает клеветой на неповинную природу. Начало этого движения лежит далеко. Тут особенно постарались французские писатели. Писатели, частью колоссальной силы, стали роковым образом повторять все ту же и ту же отвратительную порнографическую статуетку средневекового католического монаха, и в результате появилось не только загромождение литературы до последней степени грязными картинами, но и полное извращение воззрений общества на такой важнейший предмет, как родник бытия и жизни человека, на дивный, изготовленный природою станок, на котором ткется семья человеческая и самые важные ткани структуры общественной. Вполне этот родник священен. И что рубить дрова из икон, — то же есть и расправляться с этим родником на манер г. Андреева.

Не надо для охраны его никаких «мер», о которых у нас любят хлопотать при первом случае старательные люди. Но потому именно и «не надо никаких мер», что общество должно само стоять на страже того, что для него свято. Голос гр. С. А. Толстой поэтому раздался своевременно. Во-первых, он выразил только то, что тысячи раньше думали. А затем он показал, что русское общество здорово и без всякой о нем опеки сумеет собственным своим движением напомнить забывшимся их границы; что писатель имеет читателя и этот читатель умеет судить.

В конце концов, однако, что создало эту полосу в литературе? Увы, мы возвращаемся все к одной теме? Рассказы Андреева имеют своим потребителем огромный, необозримый теперь контингент бессемейного люда, который фактически не испытал чистого отношения к чистому роднику жизни; который несчастною своею жизнью уже подготовлен к ожиданию всяческой здесь грязи, и немножко возбужден в сторону этих ожиданий. Где есть потребитель — явится непременно и товар. Все эти зрелища мальчишек, возящихся с проститутками, и невозможных походов оборванцев, и присоединившегося к ним студента появились в литературе на той почве, что слишком разросся контингент людей без родства, без племени, без матери и сестер. Ибо возможно ли, имея сестру, уважая мать, любя жену или невесту, читать такое невыносимое трактование «женщины вообще», которая разлагается на серию этих дорогих нам всем любимых существ? Когда женщина перестала представляться сестрою, женою, дочерью, матерью... ну, тогда стало возможно всяческое на нее воззрение. Фактическое падение семьи, ее сужение или ее ненормальность есть вместе почва, на которой вырос факт падения литературы. Не всей ее, даже в сущности ее мелочных явлений, но очень ярких или очень кричащих о себе.

ЕЩЕ О «60-х ГОДАХ» НАШЕЙ ИСТОРИИ

Слышал и порицания и похвалы своим мыслям о 60-х годах. Получил (с юга, в письмах) и яростное отрицание моего на них взгляда. «Это — испорченное место нашей истории», — пишет один седой человек, сам живший в то время.

Споры о тех годах вообще были долги, сложны; были и политичны, были и психологичны. Я думаю, после гигантского усилия *сбросить* их с плеч нашей истории — все-таки надо окончить их *признанием*. Они внесли новое и сильное в нашу жизнь, внесли благотворное. Лично нам более всего симпатично в них как бы выпрямление русского характера, получившего в самых шероховатостях тех лет закал трезвости, ясного взгляда на вещи, простоты в отношении к людям. Человек 60-х годов есть человек не фальшивый — это до сих пор. Прямое, грубоватое отношение к делу, не дипломатическое и не риторическое — вот, так сказать, одежда, в которую переодели русского человека, русское общество, всю Россию — люди тех лет. Граница их начинается в метафизике и религии. Здесь ¹⁰ чувство «человека 60-х годов» как бы притуплено; он не понимает — и без претензий. «Не вижу», «не вижу», — мог бы сказать он с железным Виём Гоголя. Но вполне прекрасно, что «невидение» 60-х годов никогда не переходило в фальшивое видение, напр., в риторическую религиозность, в дипломатическую религиозность («для пользы дела»). Голое отрицание куда менее опасно, чем это прикрытое, лишь около сердца живущее, сомнение риториков и дипломатов. Нигилизм Базарова — это катаракт на глазу; нигилизм В. А. Грингмута, да, пожалуй, и М. Н. Каткова — это «темная вода» в глазном яблоке, атрофия самого нерва. «Не вижу» Вия не было вечным; «не вижу» 60-х годов относительно религии — ²⁰ не представляет ничего фатального для России. «Тут мое дело кончено, я дальше не иду, не умею идти», — могут сказать последние могикане тех лет, указывая на груды дел и начинаний в области материальной, земной, гражданской — дел, во множестве еще и сейчас не оконченных. «Их я продолжу, других — не начну», — вот честное *résumé* их около недалекой своей могилы, около могил друзей. Мы уверены, что чуткие среди них добавят вслух или подумают про себя: «Но я не стану мешать ничему новому, если только к собственному моему труду, совершенно определенному и навсегда нужному, оно не станет в положение враждебное и разрушительное».

ШАЛУН НАШЕЙ ПРЕССЫ

...После этого Ноздрёв повел Павла Ивановича ³⁰ на двор и показал ему прекрасные конюшни, в которых, по его словам, стояли еще третьего дня дорогие лошади...

Гоголь

Хотел и защищать, и пожурить своего полуприятеля, С. Ф. Шарапова, хотел для оправдания его в неприятных подозрениях, какие еще минувшим летом стали высказываться, дать целую «характеристику» его пера, темперамента, заслуг, достоинств и, конечно, маленьких недостатков. Но только вспомнил приведенный эпиграф из Гоголя и махнул рукой. «Ну, его»... К «борьбе» его с г. Витте имею ⁴⁰ сделать только маленькую ремарку. И представить себе нельзя, чтобы С. Ф. Ша-

рапов выступил с критикою финансовой системы Н. Х. Бунге. Нельзя представить себе, чтобы Бунге стал «защищаться», хотя бы косвенно и отдаленно, от ученой «критики» издателя «Сугробов». Изящный теоретик просто сказал бы: «Мальчик, сядьте на вашу парту». Этим я хочу указать, что наша финансовая политика сейчас отличается значительным *эмпиризмом*. Вот эта-то почва эмпиризма и позволила С. Ф. Шарапову развернуть во всем блеске свои «теоретические познания», блеснуть таким академизмом, который, во всяком случае, заставил думать о себе, считаться с собою эмпириков нашей денежной системы. Но весь спор этот, для меня не понятный и даже не интересный, я оставляю в стороне, имея к С. Ф. Шарапову некоторую докучу, частью личного, частью даже общественного характера. Дело в том, что я имею пожаловаться обществу и всему *orbis scriptorium* * на факт или на насилие, которому подвергся со стороны этого, безусловно, честного человека, не могущего уже потому запачкать руки в чужих деньгах (подозрения о нем), что это во всяком случае пошатнуло бы бронзовый ему монумент в Москве, имеющий некогда воздвигнуться между Кремлем и Обжорным рядом, — на который посматривая или который прозирая в будущем, он пишет каждую строку своих «Сугробов». Мог ли бы Агамемнон украсть курицу? Психологически невозможно. Поэтому С. Ф. Шарапов, продолжающий линию Хомякова, Самарина, Аксакова, Скобелева, а отдаленно — Минина и летописца Нестора, и бывший уже даровитым мальчиком, когда еще бегал с корректурами «Руси» и «Современных Известий», и тогда же из них набирался «духу» и сведений, — должен быть каждым рассудительным человеком мыслим не иначе как «рыцарь без страха и упрека». С этой стороны дело должно быть кончено и отрезано. Я могу представить его в виде юнейшего из братьев Иосифа, Вениамина, которому, как вы помните, в мешок хлеба подложили золотую Фараонову чашу. Но сказать, чтобы этот Вениамин нашей литературы «украл чашу» — представляет умственный позор говорящего. Вот отчего я не говорю о деле, которое сейчас изложу, что он «похитил у меня чужой и для меня ценный литературный материал», — а просто, как рыцарь-насилъник, «*veni, vidi, vici*» **. В пору еще издания «Русского Труда» я передал ему пачку рассуждений на религиозные темы, изложенные в частных ко мне письмах г. Г. П. Енишерловым, с предложением их напечатать. Письма эти местами переходили в целые трактаты, включая в себя, некоторые, листочков по 20 малого почтового формата. Они представляют не только высокий литературно-философский интерес, будучи, для меня по крайней мере, во многом новыми, но и для самого г. Енишерлова, очень мало и неудачно печатавшегося в нашей журналистике, имеют всю ценность, может быть, лучшего литературного труда. С. Ф. Шарапов не напечатал их ни в «Русском Труде», ни в последующих «Оттепелях», «Слякоти» и «Дожде», которые он издавал. И письменно, и при редких встречах устно, я просил его вернуть их мне. Он говорил, что куда-то их запрятал, не может найти и, наконец, объявил, что обязанность его вернуть мне эти письма ни на чем не основана и ни из чего не вытекает, так как он в «Сугробах» и «Оттепелях» хвалил Г. П. Енишерлова и тот его, по всему вероятию, любит и не менее желает, чтобы их напечатал он, Шарапов, а не я, Розанов. Меня это смутило и несколько возмутило, ибо письма были

* пишущий мир (*лат.*).

** «пришел, увидел, победил» (*лат.*).

слишком частного и личного характера, и мне казалось, что даже Г. П. Енишерлов не может их изъять у меня и передать Шарапову. Зная г. Енишерлова как человека совершенно другого типа и склада ума, нежели С. Ф. Ш—в, я был вполне уверен, что и он понимает невозможность изъятия корреспонденции из рук адресата. Поэтому я написал ему, чтобы он высказал одновременно в письмах ко мне и Шарапову свою юридическую волю касательно принадлежности писем. Немедленно ответил он мне следующим письмом:

Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

На запрос Ваш о разрешении напечатать некоторые выдержки из частной моей с Вами переписки, прошу Вас позволить мне еще раз Вам напомнить, что переписку эту, вдохновенную Вашими статьями, я *считаю Вашей полною собственностью* (курсив Г. П. Е—ва. — В. Р.), которою Вы можете неограниченно распоряжаться после моей смерти; при жизни же моей я не желал бы видеть что-либо в печати из писанного мною в моих частных письмах, так как не вполне еще утратил надежду обработать эти темы для печати более обстоятельно и научно, почему и нахожу появление в печати отрывочных набросков этих тем несвоевременным и вредным.

С истинным и глубоким уважением Георгий Енишерлов.

В. В. Розанову.

Из подписи под письмом: «*В. В. Розанову*» можно видеть, что это — дублет другого такого же письма, с подписью «*С. Ф. Шарапову*», — как это я и просил своего корреспондента сделать. Но и никакого результата не последовало: С. Ф. Шарапов не возвращал мне писем. Вместо этого, он прислал мне пачку каких-то литографированных листов со своими рассуждениями о финансах, которые, предположительно, я должен был прочесть. Так как я никогда не читал и печатных трудов моего приятеля, зная его за друга Скобелева и Агамемнона, то и написал ему, наконец, резкое письмо, где с досады передал кстати о том, как целый вагон дачной публики, держа его «Оттепель» в руках, кричал, что он «снюхался» и «взял взятку» и «больше не патриот». «И сколько я вас, С. Ф., ни защищал, ничего не мог сделать». Событие я преувеличил, ибо разговор хотя действительно был в вагоне, но маленький, и все забыли о Шарапове, как только подъехали к буфету с пирожками. Просто С. Ф. меня замучил, ибо страстное мое желание вернуть драгоценнейшую переписку встречало со стороны его очевидное нежелание возратить и еще со ссылкой на такой казус, что он ее «затерял», «засунул». В ответном своем письме (мною тщательно хранимом) С. Ф. Шарапов, наконец, прямо сознался, что искомая и оспариваемая корреспонденция у него находится налицо, не потеряна. Письмо было исполнено, кроме того, разных живописных подробностей, которые, с очевидностью, освобождают нашего Вениамина от подозрения: «Мог ли он взять Фараонову чашу», если даже она и очутилась в его мешке.

Но, при всем удовольствии от зрелища невинности и необыкновенных «успехов» С. Ф., мне-то было так же грустно, как Чичикову, когда ему показывали лошадей Ноздрёва, т. е. конюшни, в которых когда-то стояли прекрасные лошади, но не подъехала ни бричка, не входил никакой знакомый, между тем как друг и хозяин уже раскуривал знаменитый черешневый чубук. Покупателя мертвых душ от дружеского чубука Гоголь спас исправником; я, соответственно более либеральным временам, предпочитаю обратиться к обществу и «братьям-писате-

лям». Жалоба моя к ним начинается с конца рассказа, состоящего, как, конечно, догадывается читатель, с того, что я так и не получил корреспонденции Г. П. Енишерлова, во-1-х, найденной С. Ф. Ш—вым, и во-2-х, отданной именно в мое распоряжение самим корреспондентом. Слова г. Енишерлова, что он «надеется обработать в печатных сочинениях темы этих писем», указывают на их действительную ценность, многозначительность; а на мою оценку, совершенно расходящуюся со взглядом автора, они превосходно изложены, как это редко удается сделать для печати. В других его письмах, не приведенных, он разрешил мне и печатание их, тем более, что они не имеют в себе абсолютно ничего *лигно* (автора их я никогда не видел, хотя по корреспонденции, особенно последовавшей за письмами, лежащими у Шарапова, я хочу назвать, и вправе назвать его своим другом). Вот ряд фактов, литературных и общественных, о которых мне хочется, чтобы печать имела свое мнение.

1903, февраль.

ПАМЯТИ ЕВГ. ЛЬВ. МАРКОВА

Выход из рядов братьев-писателей такой личности, как Евг. Льв. Марков, заслуживает быть отмеченным более, чем только некрологом. Позволительно задуматься, чем был покойный писатель и что Россия потеряла в нем. Отодвинем в сторону общеизвестные рубрики его ценности: обширное и разностороннее образование и многочисленность написанных трудов, и спросим: нет ли еще чего-нибудь, что составляло бы его личную и особенную ценность?

Покойный, будучи романистом, публицистом и путешественником, не выдвинулся в первый ряд литературы, оставаясь всегда только писателем видным, голос которого выслушивался с уважением, а иногда и долго помнился. Это зависело оттого, что у Маркова не было специального призвания, специальных тем; и от этого он не провел в литературе никакой специальной, ему одному принадлежащей, тропы. Отсутствие очень большой новизны и оригинальности поставило его во второй ряд. Но что дало ему в этом втором ряду место твердое, никогда не менявшееся, положение видное и очень уважаемое?

Марков был писателем редкого здравомыслия и уравновешенности и редкой точности и верности нравственного чувства. Он не подымал новых тем. Но когда около какой-нибудь темы происходила литературная свалка, слышались голоса резкие и противоположные, начинали замешиваться нечистые чувства, — раздавался вдруг чистый великорусский его голос, с отливом южной мягкости (покойный был уроженец и житель Курской губернии), и тогда на него невольно все оглядывались и часто поправлялись в крайностях своих воззрений. Я упомянул о точности и верности его нравственного чувства. Но его не все имеют мужество высказать. Иногда в общественной жизни накапливается, как по ранней весне грязи, около доброй цели, доброго намерения, доброго закона целая гора сорных человеческих дел и делишек. Из уважения к доброй сердцевине дела все молчат о покрывающей его грязи. Так было с судом присяжных, около которого очень

скоро образовался целый затор плохого судебного красноречия, всяческих софизмов, безразличия к преступлению — в сфере, долженствующей быть всего более к нему чуткой. Всем был мил и дорог новый суд, всем были несносны «присяжные» говоруны. Но запутавшееся между сочувствием и антипатией общественное чувство или опасалось поторопиться с резким словом, или не умело его выразить так, чтобы с порицанием злу не было сказано и порицания добру, столь тесно с ним связанному. В «Софистах XIX века» Марков сказал нужное слово. Требовалось именно его здравомыслие и, так сказать, самоощущение этого здравомыслия, дабы произнести в 1875 году то осуждение, которое повторили, может быть, и талантливее, но позднее Достоевский в «Братьях Карамазовых» (изображение суда над Дмитрием Карамазовым, с речами прокурора и адвоката Фетюковича) и Л. Н. Толстой (в «Воскресении», общее изображение суда над Екатериною Масловой).¹⁰

Уравновешенность его ума сказалась в стойкости его педагогических идей. Скромный учитель естественной истории в Туле, он был зрителем-соседом творческих порывов в педагогике, которым отдался с энтузиазмом наш великий романист. Марков сумел отделить то, что принадлежит в этих порывах не методу Толстого, а гению Толстого, и объяснялось этим гением: а у всякого простого человека, каковым мы должны мыслить обыкновенного школьного учителя, при соблюдении того же метода занятий, но без воспособления вдохновенности Толстого, дало бы самые скудные и, наконец, уродливые результаты. «Не боги горшки обжигают»: есть тысячи простых дел, к которым всегда будут приставлены простые люди; и самые нормы этого дела должны выработаться в вековом труде и опыте именно этих людей, без особенного гения и творчества. Резко восстав в 1862 г. против обобщения и приложимости яснополянских опытов, Марков остался неуступчив и в отношении к наступившей через восемь лет после этого системе Д. А. Толстого. Тут сказалась его благородная гордость, не позволившая небольшому чиновнику слиться с обширною системою. Директор симферопольской гимназии и народных училищ в Крыму, он произнес в присутствии самого министра, посетившего в 1870 г. Крым, речь о среднем образовании, где отрицались несбыточные (и несбывшиеся) надежды классицизма, и принужден был подать в отставку. Это могло бы бросить его, говоря западным языком, в «оппозицию», по крайней мере, журнальную. Но Марков как спокойно не согласился с наступавшим непохвальным режимом, так сохранил это спокойствие и в стороне от учебных дел. В критике Л. Н. Толстого он стоял на почве западноевропейского опыта, не допускавшего таких личных порывов в учителе; оставшись в стороне от насаждавшегося у нас классицизма, он противодействовал слепому, некритическому пересаживанию к нам образцов прусской школы. Не забудем, как мало обнаружили самостоятельности в отношении к министру и министерству того времени даже профессора университетов, и мы оценим всю чистоту и твердость шага провинциального гимназического директора. Его книга детских и школьных воспоминаний: «Барчуки. Картины прошлого» — полна самого ценного педагогического материала, данного не в рассуждениях, а в картинах. Здесь то же обилие свежей наблюдательности и здравомыслия, как в прекрасных и мало у нас оцененных школьных воспоминаниях г. Дедлова.⁴⁰

Марков никогда не был консерватором, а между тем на него усиленно наводились тени этого направления. Он был хорошим выразителем времени 81—94 го-

дов, но без всяких подчеркиваний, без единой крайности, без всякого чувства мести (сильно в те годы разыгравшегося в литературе) по отношению к пережитому двадцатилетию 1861—1881 гг. Точнее сказать, во все время царствования Александра II он был как бы уже зародышем духа царствования Александра III: спокойного и положительного отношения к родине, отношения уважительного, но без ослепления. Отсутствие нервности не сделало его первостепенным бойцом в которой-нибудь эпохе. Но от обоих их он понес на себе спокойный и лучший свет.

Г-н МЕНЬШИКОВ И ЕГО ОБВИНЕНИЯ

10 «Нов. Путь» служит идейным выражением группы писателей; и она не может не поднять и не разобрать внимательно хотя одно сложное и ядовитое против себя обвинение. В сущности, мотив обвинений понятен: бессилие хорошо себе усвоить и примкнуть к тем вовсе не односложным идеям, какие с «Новым Путем» падают на старую, выпханную и выдохшуюся почву нашей журналистики.

Я этого не понимаю,
Стало быть — я не умен

этого скромного силлогизма все избегают и вместо его построят если не всегда с субъективную верою, то по крайней мере с объективную выгодою — другой:

20 Я несомненно умен,
Однако — этого я не понимаю,
Стало быть, это глупо.

Обвинение изложено в «Письмах к простоватым людям», которых их автор из любезности называет «ближними», и помещено в самой распространенной из здешних газет. Построено оно очень элементарно. Есть детская игра, называемая: «В свои соседи». Каждый выбирает себе соседа, быстро перебегают к нему. Представим, однако, распорядителя игры, который, сократив в ней принцип «соседства», заставил бы не выбирать его произвольно, а — *навязывать* его. Около доброго человека — он посадит злого; а затем сделает умозаключение:

30 Он сидит со злым,
Следовательно — он зол.

Г. Меньшиков, автор фельетона, в сущности — чрезвычайно элементарный, но вместе почему-то чрезвычайно злой или озлобленный человек. Прием его критики — марионеточный, детский. Только дитя, посадив меня возле черта, может сказать: «Ты — черт». Все рассмеются на это. Но г. Меньшиков и пишет «Письма к простоватым» или... без любезности — просто «к очень глупым людям», что таковые в действительности существуют и их можно «подвести под впечатление» самым несложным приемом. Я заметил, что мотив вражды к «Нов. Пути» — непонимание его идей. И позволю себе полным текстом, без всяких пропусков, перепечатать фельетон, отмечая в подстрочных примечаниях, чего

автор не понимает или где он делает какие-то пассы над бедным своим читателем*.

Титан и пигмей

«Ты, почва, удобренная для Развития,
а я — Бог».

«Homo Sapiens». 362

Найти скрытое в природе лицо Создателя — вот замысел старого искусства; отсюда не только Мадонна и Христос Возрождения**, но и великие храмы, и великая музыка, и великая философия, и великая наука***. В общем стремлении к Божеству дух человеческий во всех направлениях преображался, хотел быть достойным своего Начала****. 10
Найти скрытое в природе лицо дьявола — замысел нового искусства, и отсюда черта искажения во всем, что творят декаденты*****. Г. Врубель не даром сделался иконописцем сатаны*****. В самом деле возникла уже действующая, хотя не провозглашенная, не до-

* Далее в рукописи следует помета Розанова для публикаторов: «Из „Писем к ближним“ вставить».

** 1) Почему?! И Христос и Мадонна — взяты из Евангелия. А «скрытое в природе» лицо — это и есть «демонизм» по собственному же (см. ниже) определению автора, где он г. Врубеля, нарисовавшего «минеральное лицо», «минерально-образного человека» — называет «иконописцем сатаны» (Примечание Розанова. Здесь и далее сохранена авторская нумерация примечаний). 20

*** 2) Автор ужасно любит «благородные имена», и произнеся, напр., «храм», сейчас около него напишет еще: «наука, философия, музыка». Подколесин, в «Женитьбе» Гоголя, увлекается также: «Сицилия, вы сказали? Какое это прекрасное слово — Сицилия!».

**** 3) Никакой мысли. Просто — «благородно». «Сицилия»...

***** 4) Да позвольте: прежде всего имеем:

1) природа, вещество — минералы — растения — животные

2) лицо, в них открываемое.

Теперь, как же вы узнаете, где это лицо? Врубель, положим, нарисует сирень или минерал «с лицом», «олицетворенные» — и поклонятся ему: ну, он и поклонился «скрытому в природе лицу Создателя»? Но вы говорите: «Это он поклоняется черту». Да как же вы это открыли? 30
Ведь вот если бы в одной сирени или в одной минеральной массе было два, и равномерно открытые лица, то видя Врубеля в коленопреклоненной позе перед одним, вы бы могли сказать: «Это он выбрал герта, а Бога — оставил». Без этого, при одном лице в сирени, в минерале — восклицание Меньшикова есть бессмыслица, и однако посмотрите, какое это обвинение!
***** 5) Тогда Лермонтов в «Сказке для детей», в «Демоне» пишет акафисты Сатане, начинает «черную мессу»? Почему Меньшиков не договаривает, что Пушкин, написавший стихи:

Тогда какой-то странный гений

Стал тайно навещать меня.

Печальны были наши встречи:

Его улыбка, чудный взгляд,

Вливали в душу хладный яд.

40

Был «декадент» à la Врубель, занимавшийся, но только в стихах, «иконопочитанием Сатаны»? Да, наконец, неужели Меньшиков не знает, что особенно в старинных наших церквах обычно изображен бес. Страшный суд со множеством нарисованных там бесов: а Notre

зревшая до культа какая-то новая религиозность, какая-то вера, вывороченная наизнанку*. На Западе, как известно**, кое-где уже служат черные мессы, приносят — в формах омерзительнейшего разврата — жертвы Сатане, поют ему псалмы и гимны***. Как все это ни страшно себе представить, все это естественно. Если декадентство есть «падение» или «отпадение», то первый Павший натурально становится их вождем и богом****.

В прошлом письме я высказал эту мысль робко*****, как личное мнение, но на днях вышла последняя книжка декадентского журнала («Новый Путь»), который по-видимому придерживается того же взгляда. На видном месте***** без всяких оговорок и отрица-

10 Dame de Paris по всем карнизам внешней архитектуры имеет отвратительнейших, чудовищных обезьянообразных дьяволов. Я ему не объясню смысл этой символики: но нельзя же писать фельетон во всеуслышание России, уверяя: «кто описывает демонов — им поклоняется». И еще с отвратительными, истинно преступными (в литературе, для литературы) ниже намеками на разврат.

* 6) «Возможна», а «не провозглашена», «не созрела» — а Меньшиков пишет о ней анекдоты. Все это похоже не на историю, а на сплетню.

20 ** 7) Кому «известно»? Вот мне ничего не известно. Чрезвычайно подозрительна и ниже встречаемая необыкновенная осведомленность г. Меньшикова с самыми гнусными подпольными явлениями западного разврата. Что за вкус туриста, путешествуя на Западе, смотреть не сокровища тамошних искусств, которых осмотреть — жизни не хватит, а какие-то скрываемые мерзости, особенные, поражающие воображение, — и до которых ведь, вероятно, и добраться нелегко, ибо в гидах они не указаны и официальные проводники чуда не видят. «Такой уж вкус»... Конечно, выходя из лупанара, каждый может сказать, что он там был «из любопытства»; но доверию читателя есть пределы и обычно он думает, что кто много «любопытствует» в таких местах — не совсем платонично в них любопытствует. Вспомнил бы Меньшиков, что из-за «любопытства» и Ева, и жена Лота погибли.

*** 8) Нужно заметить, такие эпитеты как «омерзительный» в глазах критического читателя не дорого стоят. «Там ужасно омерзительно», скажет, выходя из лупанара, посетитель: «я — любопытствовал, а теперь — ухожу». Только и скажет читатель: «Гм... гм...».

30 **** 9) Какие обвинения!! Бедных «колдуний» по одному такому слову жгли в средние века; но и выслушать это перед лицом всей России — не легко. Автор уравнивает: «декадентство есть падение и отпадение, и первый Павший есть ваш вождь и бог», гг. Мережковский, Минский, Розанов, философско-религиозные собрания, священник У—ский. Автор знает (впрочем, знает ли?), что восставшие против Испанского владычества нидерландские патриоты были названы «гёзами», «нищими». Можно ниже построить такой вывод: «гёзы» значит «нищие», а нищие — воруют; поэтому Эгмонт и Горн, казненные герцогом Альбою, были наказаны за воровство. А если бы кто-нибудь сказал, что они были наказаны за патриотизм, то г. Меньшиков целый фельетон хлопал бы глазами в недоумении: «нет, не за патриотизм, потому что гёзы значит нищие — значит, не за патриотизм». Но посмотрите, как страшно обвинение, — и целой группы лиц, поименно называемых, между которыми один — священник.

40 Вспомнишь «святейшую инквизицию» и ее жертвы. Отчего думать, что тогда не было таких же обвинителей, или придураковатых, или лично-ненавидящих.

***** 10) «Робкий» человек, а особенно ум — «милостивый». «Блаженны милостивые! Блаженны чистые сердцем». И под припев этот — огоньком, огоньком личных недругов, впрочем и виновных-то только в презрительном молчании по адресу уже неоднократного своего обвинения.

***** 11) Ну, где-то там в хронике, на «задворках».

ний журнал печатает аттестат себе, выданный отцом Иоанном Кронштадтским. Аттестат гласит, что «новые пути», провозглашенные декадентским журналом, открыты сатаной, и мысли его — сатанинские мысли *. Журнал молчаливо, но кажется **, не без гордости, присоединяется к этой характеристике. Говорю «присоединяется», так как молчание в подобных случаях похоже на знак согласия ***. Но неужели, воскликнете вы, декаденты верят в чертей серьезно? На это замечу, что если бы они совсем не верили в них, нечего было бы им столь мучительно разыскивать образ дьявола, напрягаться до сумасшествия в попытках исказить природу. Само собою декаденты верят не в того черта, которого Вакула поймал в мешок, а в некий дух зла, «дух отрицанья и сомненья». Отрицайте черта, как зоологическую разновидность, как двуногое рогатое и хвостатое, — но есть черт метафизический, как явление, как идея. Не будем спорить о том, что случилось с бесами, погубившими свиней в Тивериаде, но безумие, вселившееся тогда в грязных животных, продолжает переходить в более или менее толстокожие создания. Конечно, не одни декаденты одержимы бесами. Все мы во власти сил, выводящих нас из гармонии с миром, из идеала, из блаженства — разница та, что мы, обыкновенные смертные, еще не отказываемся от борьбы с этими силами, от надежды преодолеть их, тогда как титаны «новых путей» именно эти силы считают божественными. Старая религия и культура понимаются нами как тысячелетние плотины, обеспечивающие правильное течение духа человеческого,

10

* 12) В силу глубокой почитаемости — и прежде всего для вождей журнала — личности Иоанна Кронштадтского, полемика с ним неудобна. Но мнение таково, что оно само за себя говорит. Привести же его для читателей «Нов. Пути» было очень важно, так как на его страницах обсуждались, в прениях Религиозно-философских собраний, мнения Страхова и Л. Н. Толстого, о которых приблизительно также, как и о «Нов. Пути», выразился в проповеди же Иоанн Кронштадтский. Муж света, силы и дивных, чудных (в буквальном, а не аллегорическом смысле) даров — Иоанн Кронштадтский наивен в суждении о вопросах идейного порядка, теоретического. Он свят и чист как младенец, как сверхъестественный Младенец-Старец. Все вожди «Нового Пути», несмотря на глубоко почувствованное от него оскорбление, издали земно ему кланяются — как благодетелю народа русского, помощнику болящих страдальцев, светозарному явлению века сего.

20

** 13) Да разве можно в таких опасных изветах писать: «кажется»? Ну, а что если нам «кажется»... Опускается перо обвинять.

30

*** 14) Поразительно! Ну, мы бросим жестокому обвинителю: всем руководителям журнала тоже «кажется», что они в качестве судий имеют так называемого «кота», который не только имеет «любовь» и играет «в любовь», но и кой чем от нее пользуется помимо любви. Пусть г. Меньшиков взвесит, что наше обвинение никак не тягостнее его (см. выше об «омерзительнейшем разврате»), что она не падает, как его обвинение — на целую группу лиц, из которых одно — духовное лицо; и поймет, что решительно есть граница для обвинения в печати. Нарисовав ему это «например», — конечно, мы берем свое обвинение или «заподозривание» назад.

15) Все — уравниения. Читатель — и особенно воскресного фельетона — конечно не остановится на «похоже» и «кажется», а переведет все это в факты: «слышали — *Новый-то Путь?* Сам сознался с гордостью, что служит Сатане, проводит культ Дьяволу, а Перцов, Тернавцев, Мережковский, Егоров, Минский, Розанов и другие видные члены Религиозно-философских собраний предаются омерзительнейшему разврату. Меньшиков вывел их на свежую воду в фельетоне, где приведены омеры и цитаты. Чего только полиция смотрит?»

40

16) Здесь и ниже — все уравниения: декаденты = «Новый Путь» = Врубель и его сюжеты (два — из десятков картин — на двух выставках).

новая же религия провозглашает самого человека богом и все преграды на пути ниспровергает. «Я — Бог!», — торжественно объявляет Эрик Фальк, герой самого модного и знаменитого теперь романа.

Я только что прочел этот немецко-польский роман* и думаю, что его полезно было бы прочесть многим. Несравненно яснее, чем из темной, похожей на бред философии Ницше, вы поймете, что такое в самой действительности есть «сверхчеловек» и что обещают нам новые сатанические пути. Нужно заметить, что названный роман написан декадентом и резко выдается вычурно-оригинальным стилем. Издан роман декадентской фирмой «Скорпион», занимающеюся только декадентскими вещами. На обложке книги назначался декадентский, не пропущенный у нас цензурой рисунок: мужчина, попирающий ногами нагие женские тела. Из всего этого позволительно заключить, что название романа — «Homo Sapiens» — вовсе не ироническое; что, выводя сверхчеловека, называющего себя Богом, и автор, и издатели совсем серьезно считают Эрика Фалька идеалом человеческой природы — homo sapiens. А между тем, что это за негодяй — простите грубое выражение, что за сверхживотное, хотя бы одержимое бесом!

Припомним его подвиги. Писатель Эрик Фальк, председатель центрального комитета социалистического союза, занимается совращением женщин. Не любя, просто чтобы «проследить биогенезу» страсти, он обольщает совсем молоденькую девушку-подростка, сестру своего же товарища социалиста, невесту другого товарища, пользуясь тем, что того засадили в тюрьму. Молодой, красивый, сильный, увлекательный Эрик Фальк — пишет романы, ухаживает за женщинами и богатеет. Приезжает другой товарищ, художник Микита со своей невестой, очаровательной Изой. Микита более чем друг, почти брат, — но Фальк не удерживается, чтобы не влюбиться в его невесту. Правда, он делает попытки бежать от новой страсти, но с ближайшей станции возвращается назад и овладевает Изой. Жених стрелается от отчаяния, а сверхчеловек с его невестой едут в Париж. В первый же год сверх меры счастливого брака Фальк, будучи в Польше, кружит голову прелестной Марит, дочери управляющего. Обманывает ее, уверяет, что не женат, обольщает и тотчас признается, что обманул ее. Та в отчаянии бросается в пруд. Кроме Янины, Изы и Марит в романе заметно присутствие и других страдающих от любви к его герою женщин. Вслед за француженкой, немкой и полькой является еще русская — социалистка Ольга и др. Подвиги обольщения сопровождаются великолепной философией и самым утонченным, в стиле Достоевского, психологическим анализом. Эрик Фальк на высоте демонического сознания. Он, видите ли, сверхчеловек, он — Бог, и гибель ближних для него ничто. «Я выше Бога, потому что я последняя волна сущего», — говорит он по совершении многих мерзостей. «Я хочу погубить и разрушить весь мир!». «Я природа, я разрушаю и даю жизнь. Я шагаю через тысячи трупов». «Я совсем не человек. Я сверхчеловек — бессовестный, жестокий, прекрасный и добрый. Я природа. У меня нет совести, у нее тоже нет. У меня нет жалости...». «Он (Фальк) был какой-то гневной, страшной силой, сатаной, посланным на землю с целым адом мучений». Как-то он видит, что из тучи падает молния и расщепляет скромную иву на берегу пруда. Он кажется себе молнией, а девочка-подросток, только что им загубленная, — это скромная ива, и не его вина, что она гибнет. В сверхчеловеке, видите ли, просыпается от времени до времени некое повелительное начало — «пол», и чтобы достичь целей пола, он не останавливается ни перед чем. Прежние обольстители, конечно, тоже лгали, но не возводили это в новую мораль, — сверхчеловек же прямо говорит: «Я Бог, это мое право». Есть нечто сдерживающее обык-

* С. Пшибышевский. Homo Sapiens (примечание М. О. Меньшикова).

новенных людей как якорь среди бури — это старая религия, но сверхчеловек искусно прививает бедной девушке сомнение в религии, отвращение к дурнопахнущему деревенскому костелу, разрушает ее веру в невинность и овладевает ею. И ему даже не жалко, что она тотчас после удовлетворения его страсти бросается в омут. Автор настолько талантлив, что не утаивает всех последствий широкого поведения своего героя. Естественно, что обиженные титаном пигмеи восстают против него: отец утонувшей Марит, жених Янины, брат ее и наконец сама Иза, жена героя. Вокруг героя создается действительно ад, в котором сверхчеловек чувствует неминуемую гибель. Тщетно он спасается в пьянстве от грызущей совести, от сознания не только подлости, но и глупости своих сверхчеловеческих дел. «Они любят меня, догадывается он, потому что думают, что я велик, а я просто вошь». Но проблески раскаяния — или, точнее, сострадания к своим жертвам, тонут в идее, что ему все дозволено. «Я — Бог», — говорит он, несмотря на то, что божественными свойствами такого самобога является жалкая придурковатость и сплошная низость. 10

Кончая эту удивительную книгу, вы выходите точно из скверного кошмара. Вы невольно спрашиваете себя: за что автор так унизил и оплевал своего героя? За что изобразил его таким презренным? Но из тех соображений, что приведены выше, мы должны думать, что совсем наоборот: и автор, и издатели считают Фалька действительно полубогом, а если он кажется отвратительным, то лишь по нашей с читателем пошлости и отсталости. Даровитый автор не мог изобразить сверхчеловека победоносным до конца: против полубога подымаются обыкновенные люди, и сам полубог еще не на высоте своей сверхчеловеческой жестокости. У него есть еще остатки стыда и жалости. Но подождите, придет время — и явится действительно беспощадный зверь. Придет время — и глупенькая Марит и пылкая Иза поймут, что обманывает их Эрик только из снисхождения: на самом деле они должны без всяких условий отдаваться ему и считать его измены делом верховной воли. Последняя его жертва — Ольга — с русской прямолинейностью так, кажется, и решила. Она во всяком случае остается при сверхчеловеке и по всему видно, что ей придется взять его на свое содержание. Он разорен и брошен женой, — куда же ему деваться? 20

В ницшевском сверхчеловеке, как видите, ничего нет нового, кроме сомнительной философии. С тех пор как свет стоит, на свете водились Дон-Жуаны, но при господстве старой веры им нечем было прикрыть своего цинизма. Теперь к их услугам Заратустра. «Also sprach Zaratustra!». Новое евангелие базельского философа написано нарочно темным библейским слогом, и легенда пророческая нарочно перевита здесь чудесами, закланиями, предсказаниями. Все, кто читал или пробовал читать эту полную огня и дыма небольшую книгу, согласятся, что она написана как Сутты, как Коран — по типу священных книг и имеет притязание дать ни более, ни менее как новую религию человеческому роду. Пожалуй это и была бы новая религия, если бы Ницше не сделал маленького промаха. Он полагал, что новая религия есть простое отрицание старой, и достаточно сказать вместо «не укради» — укради, вместо «не убий» — убий, как вас сочтут за нового Моисея. Но это забавная и для нашего философа роковая ошибка. Новые религии возникали всегда не как отрицание старых, а как их утверждение — что так ясно высказано Христом. Отвергаются обряды, каноны, внешний культ, но то, что составляет истинное зерно веры — нравственный закон — передается из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, обрстая новым культом. Конфуций настаивал на том, что он не делает ничего нового, а лишь напоминает заветы древних мудрецов, тогда забытые. Учение Будды заключалось в нравственных преданиях браминского монашества. Магомет не дал ни одной истины, которой не было бы у еврейских пророков. Но Ницше был вовсе не пророк и не 40

вероучитель, а только философ, и при том самой жалкой из всех школ — цинической. Напрасно думают, что, провозгласив себя врагом Христа, Ницше восстанавливает этим языческую *религию*. Ницше одинаково восстает и против Сократа, и против Будды, т. е. против нравственного начала, находившегося в самом язычестве. Но хороша религия без божества, без всякого закона, кроме личной похоти: «Я хочу; я Бог!». — Пожалуйте в таком случае в особое помещение, справедливо могут сказать современники нового вероучителя. На одиннадцатой версте от Петербурга всегда проживают несколько подобных «богов» и им недостает немножко школьной учености, чтобы провозгласить: «Also Sprach!».

- 10 Я не считаю современный поход на христианство чересчур опасным потому, что верю в вечную непоколебимость нравственного начала. То, что для многих из нас звучит как мертвая мораль, как прописная истина, на деле есть живой закон, столь же неподвижный как тяготение. Откровение бесчисленных родов человеческих всегда одно и то же. Оно в том, что истинное блаженство требует благородных отношений к Богу и людям. Инстинкт жизни немолчно подсказывает, что закон любви должен быть исполнен. Я думаю, человечество только и держится на земле этим законом. Сколько бы ни провозглашали циники — «падающего толкни!» большинство людей всегда будет склонно падающего поддержать. Зло свирепствует на земле, но если бы сумма зла хоть на миг возобладала над суммой добра, человечество погибло бы. Стихия человеческая колеблется. Как волнующийся океан, покорный земному тяготению, она вечно тянется к неясному всемогущему закону — воле Отца. Бесчисленные восстания против природы неизменно оканчиваются судьбою первого восставшего. Декадентство на время может заворочить искусство, философию и науку, оно может внести много нелепых идей в религию, но нам недаром светило солнце. Продолжительной тьмы мы не вынесем, не захотим ее.
- 20

ОТВЕТ г. МЕНЬШИКОВУ

- В воскресном фельетоне, под рубрикою «Тоже стиль модерн», г. Меньшиков подвергает не только тяжелым, но и ответственным обвинениям протоиерея А. У—ского за целый ряд его богословских и нравственных мнений. Не все читатели знают, что *сам* прот. У—ский *нигего не пегатал*, никогда и ни с какими редакциями в сношения не входил, а изложил приведенные г. Меньшиковым мнения в частных, интимных ко мне письмах; и моими же частными к нему письмами и печатными статьями он был приведен как к *темам* своих суждений, так и к *ходу* своей мысли. Самое *опубликование* этих мыслей принадлежит мне, и сделано в книге «В мире неясного и нерешенного» 1901 года и в № 2 журнала «Новый Путь». Читатель видит, до какой степени здесь мало *лигно принадлежащего* прот. А. У—скому. Мне всегда было дорого, чтобы мысли мои, касаясь религиозных вопросов и в значительной степени будучи *новыми*, тем не менее не порывали *возможной традиции* в церкви, примыкали бы к церковным же мнениям, хотя их и преобразуя иногда, но *допустимо* преобразуя. Отсюда — постоянное мое желание заручиться авторитетом богословов, отсюда — опубликование мнений их, хотя бы выраженных в частных письмах, иногда выраженных торопливо и пламенно. Я ловил эмбрионы мысли, предавая их жизни печатного станка. Вот обстановка дела, во всяком случае снимающая с А. У—ского всякую ответствен-
- 30
- 40

ность, *каковы бы ни были его мнения*. Но и мнения эти, только выдернутые в розницу, могут представить что-нибудь необычайное. Они становятся почти обыкновенными и *вполне возможными*, с церковной точки зрения, как только около них сделать некоторые напоминания читателю.

1) У—ский, который признает, что 1) «язычники пошли в ад», 2) что оне, «поверив *проповеди* Христовой, вместе с благоразумным разбойником ныне находятся вместе со Христом во царство его» (8-й столбец фельетона г. Меньшикова, вызывает обвинение г. Меньшикова: «Из слов батюшки ясно как день, что Христос *для того только* (?!) и приходил на землю, чтобы *оправдать язычество* (?! не их *язычество*, а самих *язычников*, после того как они уверовали и покаялись 10 „подобно благоразумному разбойнику“; ведь об этом же сказано!!). До сих пор никому не приходило в голову, чтобы Христос мог оправдать, — *не простить, а оправдать, т. е. признать правым, — неистовый разврат и неистовую жестокость* всех этих разбойников язычества — Тивериев, Неронов, Калигул, Комодов и пр. и пр.». — Фельетон читается быстро, читается скользя, — и совершенно правильное, человеколюбивое, глубоко христианское мнение У—ского, приравнивающее язычество *после Христа и вследствие Его проповеди* к судьбе блудного исправившегося сына, к судьбе доброго покаявшегося разбойника, уживается рядом с чудовищным обвинением, будто, *по мнению священника*, Христос суждением своим сливается с распутством, зверством, безумием и язычеством. 20

«Иди к *язычникам*», — сказал Савлу-Павлу Христос; «истинно, истинно говорю вам, что и в Израиле я *не нашел такой веры*, как в этой женщине», — сказал Христос о *язычнице* хананейнке. Замечательная мысль (которую поэтому я напечатал) священника А. У—ского и ударяет как в центр в эти слова, в эти события, дабы из них объяснить христиан-языческую иудейскую драму. Оно дает величие Христу, но не топчется ногами, грязными, презирающими, жестокими, и на язычестве. Там были Сократ, Аристид, Коллатин, Корнелия — мать Гракхов. Ведь У—ский не говорит о Нероне: для чего же г. Меньшиков упоминает о нем!? Так в средние века в дома бедных евреев подбрасывали иногда труп убитого ребенка: 30 и влекли несчастных в инквизицию.

2) У—ский находит смысл и позволительность с христианской точки зрения одобрить порицание закона философом Ницше. Ницше, вероятно, не более симпатичен *в полноте своих взглядов* У—скому, как и мне: уже по его аристократизму, по его теории: слабого надо еще толкнуть. Но *полнота* взглядов — одно, и *частное утверждение* — другое. Неужели г. Меньшиков не читал пламенного послания ап. Павла «К Галатам», которое, как таран стену, пробило и разбило почву *законности и закона*, бросило под ноги ссылку евреев, что они имеют закон от Моисея, от Бога, и, поступая по закону, — будут оправданы и Христом. (Центральные слова послания: «А если *законом* оправдание, то Христос *напрасно* умер»). Отчего, написавши эту часть фельетона, г. Меньшиков не припомнил 40 знаменитых учений о «благодати», об «оправдании верою», этом коренном фундаменте христианства? Св. У—ский, проникнутый, конечно, не Ницше, а апостолом Павлом, на созвучие почти одно — и ответил не мертвенным рассуждением философа, а пламенным исповеданием русского священника (цитирую):

«Мне привел Бог в своей священнической практике встретить два случая, когда я судил о человеке уже не по понятиям греха и добродетели, а только по сознанию милос-

ти, — от прилагательного *милый*, — дороговизны, бесконечной ценности известного индивидуума для своего сердца (NB для примера возьму, когда муж прощает виновную перед собою жену, отец — страшно преступного своего сына, прощает как все же *милым* своему сердцу, по *милости* своей. — В. Р.); когда всякое сознание о грехе и добродетели куда-то совершенно и бесследно исчезло, испарилось, улетучилось, померкло, как меркнет свет звезд при появлении утреннего солнца. Что это за чудное состояние — не видеть, не чувствовать и даже не иметь силы или способности, или душевного органа к тому, чтобы чувствовать в своем ближнем грех! Это истинное ощущение искупления. И, конечно, не иначе и Христос Искупитель (какая *вера* в Него! Есть ли она у г. М—ва? Его слова 10 о Христе нигде не восторженны, везде холодны, точно это *мудрец*, а не *Бог*. — В. Р.) отнесется к искупленному Им человечеству, как и обещал. Он устами (вот она, вера в „глаголавшего в пророках“. — В. Р.): „Я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не вспомяну более“ («Нов. Путь», февраль, стр. 145).

Неужели это язык Ницше? Неужели пишет это циник, безразличный к добру и злу? И, как резюме его взглядам, можно ли подвести итог г. Меньшикова: «Можете вместо помощи несчастным — душировать их. *Падающего толкни* — учил Ницше, и знай — прибавляет батюшка, что не несешь за это никакой ответственности». Русский священник — проповедник разбойничества?! Есть ли человеколюбие в таких обвинениях?!

3) У—ский сказал, что нарушитель закона, данного Сыном Божиим (да *кто* же из нас не нарушает его? Кто исполняет *всё* слово Христово? — В. Р.) — еще не пропал, а имеет ходатаем за себя Духа Святого. Во всяком случае, это сказано с верою (живою, личною, глубокою! Неужели не слышится это в тоне слов?! — В. Р.) и в Сына, и в Духа! Это вызывает опять обвинение священника в проповеди разбоя: «Какое утешение для преступников! Какое *поощрение!*». Да, ответим смело обвинителю: в *утешении* и преступник нуждается, без возможности утешения *никогда* бы он и не покался! Писателей не зовут исповедать людей на эшафот, перед казнью, а священников — зовут! И они знают из опыта, что значит утешать тягчайшего грешника. Их посылает государство, отечество! Их утешает — народ милостынею, и никто этого не принимает за *поощрение* преступления». Г. Меньшиков на этом возводит тяжелое догматическое обвинение на священника: «Существует, видите ли, *антагонизм* между вторым и третьим Лицами Пресвятой Троицы». Да не антагонизм, а *неслиянность* Лиц («не раздельны и не *слиянны*», читаем в Исповедании веры), конечно, есть, утверждена, в отношении к Духу Святому, в Евангелии. Кто же не помнит *знаменитых* слов Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: *хула* (какое слово!) на Сына Божия простится вам, но хула на Духа Святого (= разница, другое, „не слиянно“) не простится ни в жизни сей, ни в будущей». Слова эти считались всегда таинственными, но по самой этой таинственности их все помнят.

40 Опускаю другие обвинения: все они покоятся на незнании учения церкви. Напр., даже признание У—ским невозможности теперь *Вселенского* собора, так как нет теперь *единого* вселенского христианства, а три исповедания: католическое, православное и лютеранское, г. Меньшиков ставит ему в вину. Но ведь это не У—ского мнение, а решительно всех богословов. Не Хомяков ли упрекал католиков, что они посмели собирать *новые* соборы, не будучи в *единстве* с православными? Дело в том, что православие признает именно *церковью* католичество, да

даже и протестантство; и не чувствует *само* себя вправе собраться на *вселенский* собор за отсутствием *единой* церкви. На этом *единственно* и основано, что Восток после *семи* соборов не решался (именно после *разделения* церквей) собраться на восьмой, с наименованием и авторитетом «вселенского».

4) Перехожу к самому тяжкому обвинению — касательно брака и интимной его стороны. «Ну-с, позвольте на этом остановиться», — заканчивает г. Меньшиков характеристику свящ. А. У—ского, думая, что таких слов никто не мог сказать, кроме декадента и ницшеанца. Вот эти слова: «Признаю и исповедую, — говорит отец протоиерей, — что и в этот интимный момент с женою своею я так же должен мысленно, умом и сердцем, предстоять перед Богом, как предстою пред 10
Ним, когда во время священнослужения нахожусь в храме, перед престолом алтаря Господня». Но достаточно было бы г. Меньшикову открыть 22-й стих главы 66-й пророка Исайи и прочесть слова: «Ибо как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут перед Лицем Моим, — говорит Господь, — так будет и семя ваше и имя ваше», — чтобы увидеть, что священник только переложил своими словами слова Бога, через пророка сказанные. Удар обвинения скользит мимо головы священника и падает... на пророка, Бога.

Дело в том, что в течение вот уже приблизительно 4—5 лет споров диалектика около инкриминируемого вопроса, идя извилистыми путями, вызывая недоумение за недоумением и посильное искание на них ответа (*родник* этих исканий — 20
приостановка детоубийства и *искоренение* домов терпимости в европейской цивилизации, в христианском мире), давно заставила звучать в устах и печати формулы, мысли, дотоле непривычные, глубоко новые. Чтобы показать *пример* этого, напомним г. Меньшикову один вопрос, с которым в присутствии многочисленного собрания я обратился к епископу Иннокентию в одном из религиозно-философских собраний, конечно, извинившись за вопрос и указав, что я делаю его в целях *анализа неясного* положения вещей: «Если в венчании *гистосердегтно* (об этом-то и был *вопрос*) благословляется чадородие и весь круг его моментов, то отчего *исполнение* благословленного не допускается или не может быть допущено в этом же храме, *где оно благословлено*»? И преосвященный Иннокентий без 30
испуга и ужимок на разумно вытекший из хода спора вопрос отвечал разумно же и спокойно, при полном внимании спокойно слушавшей публики. Есть акушерство, наука. Неужели же мы станем за его манипуляции винить акушера в сладострастных касаниях!!! *Est modus in rebus, in verbis, in sententiis* *.

Но, наконец, вовсе не один А. У—ский принял мою точку зрения. Профессор канонического права в здешней Духовной академии, пылкий и жадно ищущий истины, иеромонах Михаил, читающий в Соляном городке лекции по волнующим общество религиозным вопросам, так выразился о браке.

«Свят ли брак? Да, свят и чист. Именно поэтому и больно видеть, что защитники будто бы церковной истины, точно отчаявшись будто бы показать *внутреннюю святость* 40
брака, ссылаются на внешний факт освящения, *как на первый и последний аргумент* (курс. о. М—ла). Да, брак чист, но *не потому только, что он освящен благословением церковным*, а потому, что церковь и благословляет только то и *помогает быть святым только тому, что может быть святым в самом существе своем*; что без помощи церкви и благодати ее не свято „в факте“, но в своей сущности, в возможности *велико и свято*» (его

* Есть мера в вещах, в словах, в мнениях (*лат.*).

курсивы). Это — на стр. 553 статьи «Психология таинств», в «Миссион. Обозрении». И далее: «И поэтому-то брак — святыня, он — истина, в этом — оправдание его. Но кто-нибудь возразит нам: это подмена предмета доказательства, ибо вопрос идет о физической стороне брака, а вы говорите о чем-то другом. Нет, мы говорим именно о чем нужно. Я утверждаю прежде всего, что брак может быть *свят и в физическом моменте и здесь он требует подвига благолепности*» (стр. 568). Слова — почти буквально повторяющие А. У—ского. И о. Михаил так кончает: «Признать святость брака в физической его стороне, это, по-видимому, камень, лежащий „на падение многим“».

10 В Москве читал публичные лекции о браке г. Струженцов (напечатана в «Богословск. Вестн.»). О. Михаил в Петербурге читал позднее его, и г. Струженцов в последующей статье «Богословск. Вестн.», упрекнул его, зачем, во-первых, он, монах, взялся судить о подробностях брака, и зачем — почти назвал «святыми», каковой термин *необычен и непривычен* в духовной литературе и *не встречается* у отцов церкви. Но он не добавил осторожно: «Невозможен, невероятен, неистин». Люди духовного образования в словах *тожны*. А *тожное*-то слово и не допускает сказать, что весь и во всех подробностях круг моих мыслей и терминов о браке *невозможен* с религиозной и с церковной точек зрения.

20 5) Сверх всего сказанного г. Меньшиков, не обвиняя прямо, сближает косвенно, через проводимые аналогии, параллели вообще всех сотрудников «Нов. Пути», в том числе и меня и свящ. А. У—ского, с каким-то существующим на Западе «культом Сатаны», «черной мессой», «омерзительнейшим развратом», «философией Нитцше, который назвал себя сам антихристом». За себя скажу, что до сих пор, несмотря на множество переводов Нитцше, не прочел (по антипатии к слогу, к стилю) ни одного его сочинения; и знаю их лишь по изложениям, да и теми особенно не интересуюсь. Думаю, что не ближе меня к Нитцше стоит и от. А. У—ский. Но затем сделаю и общий ответ: да какое нам дело, что на Западе существует? И почему мы виновны в гадостях Парижа? Что за игра «в свои соседи», но только не шутивно и произвольно выбираемые, как в известной детской игре, а насильно навязываемые и совершенно серьезно.

30 Обвинение, что мы придерживаемся «культы Сатаны», основывается, между прочим, на двух картинах г. Врубеля: «Демон». Во-первых, Врубель в «Нов. Пути» не участвует, кажется, даже ни с кем и не знаком. А во-вторых, Господь с ним — пускай пишет, что хочет. Он будто бы «иконописец Сатаны»! Да почему?! На той же выставке «Мира Искусств» выставлено, на одну картину «Демон», несколько прелестных эскизов Божией Матери и ангелов, в традиционном церковном освещении, в церковной концепции. Притом, как не обратил внимания г. Меньшиков, что и в церквях рисуют иногда Страшный суд, и там — множество бесов. Неужели же наши церкви суть «храмы в галереи Сатаны»?! Да и почему г. Меньшиков не досказывает, что пели «акафисты Сатаны» и Пушкин, 40 и Лермонтов, которые посвятили несколько стихотворений теме «демона». Просто, это есть художественная тема, живописная, а не религиозная.

Сотрудников «Нов. Пути» он обвиняет в поклонении «Духу зла», «Первому Падшему». Да ведь там именно г. Мережковский, в «Судьбе Гоголя», говорит, что *демонического* начала, как положительного и *красивого*, не существует вовсе, что все это — чичиковщина и хлестаковщина. Ну какой же «культ Хлестакову» или «черная месса, с омерзительным развратом, Чичикову»? После всех обвинений г. Меньшикова чувствуешь, право, себя невинно-чистым, как бы вымывшись

в бане. У нас есть грехи, недостатки, слабости, но вовсе не те. «Назови мне своих друзей, и я скажу, кто ты». Я вынужден защищать группу писателей, ибо обвинен соединенно с ними.

Эти обвинения, к сожалению, распространились и в других органах печати. Сегодня кн. Мещерский написал ряд чудовищнейших обвинений против протоиерея А. У—ского, называя (хорошая пощада священнику!) его «сатаной в образе протоиерея» за мерзостнейшие слова о связуемости молитвы и полового общения. Между тем все это было напечатано в самом «Гражданине» за 1900 г., № 19, в виде «Письма в редакцию», с очевидным сочувствием редактора, т. е. кн. В. П. Мещерского*.

10

Позднее все эти письма были мною собраны в книге «В мире неясного и нерешенного»! Таким образом, если позволительно сказать, что «Сатана говорит в образе протоиерея», то отчего же не добавить, что «сатана издает и редактирует в лице князя Мещерского»?

ЗАМЕТКА

<Еще о Д. С. Мережковском>

В «письме в редакцию», по поводу «пигмеев» и «гигантов», Д. С. Мережковский как будто несколько сетует за передачу мною слов его из частного разговора. Конечно, я приношу ему в этом извинение. Далее, ни в каком случае я не думаю и ни в какие годы не думал, чтобы он был «пигмеем» перед «Полифемом» — Михайловским и, хоть средней величины, мною. Вообще печатные измерения друг друга не красивы. Все мы малы перед Богом, а в отношении друг друга — «равны», «равны, как люди», по прекраснейшему выражению Мережковского. Безвкусная идея мерить аршином или своим «демократическим вершком» со товарища-писателя пришла г. Михайловскому («карлик Мережковский»), к которой я не только не присоединился, но именно негодование на которую и вызвало мою статью. Далее, не могу у Мережковского не отметить с крайним сочувствием его слова об отношении нашей публики к Л. Н. Толстому, отношении, в котором не было сохранено ни ума, ни гордости, а уж любви к великому человеку было всего меньше.

20

30

СЕРЬЕЗНЫЙ КРИТИК

Г-н А. Басаргин (псевдоним, под которым если не ошибаемся, скрывается один из самых ученых представителей нашей русской богословской науки) в ряде фельетонов в «Моск. Вед.» (№ 52, 59, 66 и 72) разбирает некоторые идеи,

* Мы не находим удобным перепечатывать эту статью для наших читателей. Заметим только, что указание г. Розанова совершенно справедливо, и кн. Мещерский сам может в этом увериться, справившись в указанном номере своей газеты. *Ред.*

высказанные в «Нов. Пути», и которые ему представляются смелыми или неверными, но у которых он не отрицает искренности. Мы не можем здесь вступить в полемику с почтенным автором, тем паче, что обязанность этого лежит на Д. С. Мережковском, которым исключительно он занимается. Но справедливость обязывает нас сказать, что это есть единственное, что заслуживало бы ответа из бездны шумных отзывов печати, какими был встречен «Нов. Путь». — «Нов. Путь», сколько бы он ни имел в себе неосторожностей и ошибок, — родился все-таки как вдохновение, и входит вдохновенно в ряды старой журналистики. У него могут отрицать что угодно, даже здравый смысл, но этого отрицать не могут и едва ли смеют. Мы любим то, что говорим, и верим в то, что говорим. — Статьи г. Басаргина мы отмечаем, как единственные почти — серьезные, *думающие*, среди тех «хи-хи-хи» и «го-го-го», которыми нас встретили разные «Quidam»*, «Залетные», гг. И., С., Г. — и прочие инициалы и маски.

Повторяем, мы разбирать г. Басаргина не станем, но выпишем формулу, которая нам кажется удачно и достойно запоминания. Дело идет о *нагале индивидуальной органической (а вместе и духовной, конегно) жизни на земле*: «А между тем зародышевое биологическое начало пола, если рассматривать его, как это делает г. Мережковский, в направлении не центростремительном, и центробежном, не атомистически, а космически, неизбежно разрастается до великого целого, до *Пана*, которое охватывает *всё* и становится *двуполым* древним (*языгеским*) *божеством*, теснящим в сознании Бога христианского».

Конечно, подробности этой формулы — на ответственности г. Басаргина. Но основное положение дел выражено им верно. Несправедливы только слова его о христианстве: *Пан* вовсе не был бы таковым, если бы исключал («теснил») собою факт такого огромного протяжения, как христианство. Что это был бы за *Пан*: самый маленький *паненок*. *Пан всё* охватывает, отсюда и двусмысленное его имя, одновременно и собственное, и нарицательное: но только в его обволакивании само христианство становится, как выражается г. Басаргин, из бледного — «розовым», а также и появляются в нем (без пугающих уклонений) «астартические признаки» (тоже — термин г. Басаргина). Тут дело не в словах, не в фетишах, а в существе. Возьмите ладонь и в яркий летний день поставьте ее перед солнцем: глаз ваш не оторвется от просвечивающего через кожу алого цвета. Это — внутренняя горячая кровь, бегущая, живая... «Розовый цвет», на место бледного, и есть как бы появление этого вечного алого цвета крови, на месте кожи, сухой и холодной, которую мы раньше знали в области тех же религиозных представлений. Мы хотим христианства горячего, бегущего, отзывчивого, чуткого, до которого вздох человеческий, а не только стон человеческий, доходил бы. А ведь не доходили часто до сердец представителей христианства ни стоны человека, ни рев народов. *Бывало* — вспомните; и, может быть — *есть*. Да В. М. Скворцов может рассказать об этом хорошие сказки, стоит ему покопаться в архиве своей памяти и в портфеле редакции «Миссионерского Обозрения». *Amicus Plato, magis amica veritas***.

Также «астартизм» не включает ничего в себе, кроме подчеркивания, утверждения, повсеместного распространения и, может быть, только небольшого еще продолжения следующих слов епископа Порфирия Успенского,

* «Некто» (лат.).

** Платон — друг, но истина — большой друг (лат.).

записанного им при посещении афонских монастырей: «Достоинo внимания, что афонские отшельники любили и любят изображать в своих церквях семейные добродетели и занятия. Представлю примеры: Иоаким и Анна угощают левитов и священников, пестуют Марию и любятcя ею. Пресвятая Дева слушает благовестие Архангела с веретеном в руках, прядущая червленицу для храма. Спаситель и Матеръ его присутствуют на браке в Кане Галлилейской. Апостолы Петр и Павел обнимаются и лобызаются после примирения. Весьма семейна икона Богоматери, питающей Младенца своего сосцом: *обнаженным* (курс. епископа Порфирия). Умилителен образ Ее, называемый *Сладкое Целование* (курс. еп. П—ия): Матеръ и Сын лобызают друг друга. Эти картины и иконы *внушили мне мысль дать новое направление церковной живописи*, так, чтобы она была семейная и общественная, а не монашеская только. Домашние добродетели и общественные доблести послужат прекрасными и назидательными предметами для храмовой живописи». — Цитату я вот во второй раз, во втором журнале повторяю: ну, что бы мою мысль подхватить, подчеркнуть, развить в каком-нибудь духовном журнальце, в «Христианском Чтении», в «Православно-Русском Слове», в «Вере и Разуме». Что бы написать на эту тему статейку г. К. Сильченкову, проф. А. П. Рождественскому, С. А. Соллертинскому, А. И. Бриллиантову; что бы избрать ее темой для актовой речи в Духовной академии, для беседы с народом в Соляном городке? Все промолчали. Все точно воды набрали в рот гг. богословы. Только раз, когда я упомянул в Религиозно-философском собрании, что, напр., нашим венчающимся в церкви жениху и невесте и обернуться не на что вокруг, ибо даже «Брак в Кане Галилейской», первая и самая умилительная картина выхода в народ, в общество, в город Спасителя, никогда, решительно никогда не изображается в наших церквях, то встал иеромонах Михаил и обличил меня в неправде упрека ссылкой на то, что ведь сам же я указал на Афон и на наблюдение еп. Порфирия. Братья мои, возлюбленные читатели: одна-то одишельная гора с такою живописью между морями Ледовитым и Черным, между океанами Атлантическим и Великим. Вот вам и искренность, вот вам и рассуждайте, вот вам и плачьтесь перед «Камнем Петровым», вокруг которого и под которым я вижу только спящих, а на попытку их разбудить слышу сквозь сон производимое: «Врата Адовы, не одолевайте нас, все равно не проснемся». И плачешь, и плачешь около этого «камня»...

Будемте, христиане, слушать по-христиански; с сердцем незлобным, с сердцем отзывчивым. Возвращаюсь к г. Басаргину и г. Мережковскому. «Астартизм» последнего и есть только технический термин (мне тоже его приходилось употреблять и, по крайней мере, я говорю за себя), а вовсе не древний религиозный образ, для целой категории понятий, которая может быть и сужена, и расширена, и выражает просто ту «алуую кровь» под кожей, о какой выше упомянуто; выражает как бы теплое и нежное молоко, которое размягло бы наши христианские груди и побудило бы нас — ну хоть не хихикать в ответ на серьезную мысль, не торопиться кричать «ересь», когда упрасивают, и то вслед еп. Порфирию, начать изображать Богоматеръ, ну хоть в здешних петербургских церквях, в связи именно *питания*, т. е. *явного материнства*, с Предвечным Младенцем, а не в связи *няни* с ребенком на руках, только *державшим* его на коленях. Ибо ведь так держать можно и *не своего* младенца, а *гужого*. Для чего же живописно обкрадывать

Евангелие? Уж лучше ничего не изображать, как делали евреи, чем изображать не то, что требуется религиозным поклонением.

Это — только один пример; подобных — бесчисленное множество. Возвращаясь к прекрасной формуле г. Басаргина. Что же он сделает, как возразить *по пунктам и ответливо* на мысль г. Мережковского, пока *биологическое начало пола действительно есть*, и в нем есть уже душа с «врожденными идеями» ее, к которым Декарт и Кант причисляли, 1) бытие Божие, 2) бессмертие души, 3) воздаяние за гробом. «Биологическое начало пола» — и пророк и законодатель: вот ведь чего нельзя *унигижить* и нельзя *забыть*. «Каков в колыбельку, таков и в могилку», — говорит наш народ. Т. е. вся *биография* человека и все его великие *подвиги*, без случайных приключений, в невольной и необходимой, т. е. именно в великой их части, уже выходят из лона матери и лежат готовыми, но только не раскрытыми, «в колыбельке». Неужели это не многозначительно? И колыбель маленького ребенка не есть ли в то же время колыбель великого спящего Пана? Вы просите нас «не теснить» себя; но не тесните же и сами нас. Уничтожьте только это «биологическое начало пола», уничтожьте его космически, не индивидуально: и вы умертвите весь мир. Не будет Пана — и не будет *ни-зего*. И как приходит в голову Басаргину и о. Михаилу протестовать против этого Пана, когда и они покоились в лоне матери, и там, именно там, заронены были им «врожденные идеи»: загробное житие, наказание и награда, Бог: около каких «идей» ими полученные в академиях кафедры уже есть только «прикладная вещь». Не совершают ли они греха против пятой заповеди: «чти отца твоего и мать твою», и греха не частичного, а как бы мирового, космического? Ибо поистине простительнее и легче отвергнуть свою личную мать или наговорить ей грубостей, — нежели отвергнуть теоретически и наговорить грубостей всемирному отчеству и материнству? Помешались на «прелюбодеянии», помешались на седьмой заповеди: смотрите, ни у кого нет испуга, и во всей богословской литературе никогда не упоминается пятая заповедь, более грозная, высшая чем «не убий». В слова «чти отца и мать» входит и родина, дорогое наше отечество: и отечество всех инородцев наших, которые «да чтут мать-отечество» свое, на Висле, за Кавказом, около о. Саймы, — и мы не смеем у них, не отрицаясь Бога, погасить ни ниточки их «родной любви»; и входит сюда все органическое, растительное и животное, материнство и отчество, с человеческим во главе. Мы возвращаемся к Пану: «чти отца и мать» требует полного благоговения всякого пишущего, каждого говорящего, ко всему кругу и фактов и явлений лона человеческого. Пошлое и преступное слово «похоть» (порицание в самом термине, тенденциозный перевод греческого слова: «ἐπιθυμία», — которое выражает факт без унижения его), — как бы затемнило наши рассудки. Мы только одно и видим (постоянные обмолвки об этом делает и г. Басаргин) здесь: «страсть», «сладострастие», «сладость», — не замечая ни «врожденных идей» внутри «страсти», ни семейно-зиджительной их силы. Мы пробуем *на вкус* то, что необходимо для *жизни*. Ну, кто же пишет главу физиологии: «О питании» с точки зрения повара, а не с точки зрения ученого. Весь страх перед «астартизмом» (система понятий) зиждется на совершенно ошибочном принятии субъективного вкусового ощущения за зерно космического факта. Повара появились оттого, что есть у человека «вкус», и вкус ему *дан* для того, чтобы не забыл он, не оставил, не пренебрег пи-

таться. «Сладкое» есть обратное боли, и как боль нас останавливает от вредного (ресницы и веки, глаза, его общая чувствительность, тысяча вообще болевых ощущений организма, предостерегающих от опасного), так сладкое и вкус сладости даны нам как притяжение к полезному. Полезнее для *рода человеческого*, кажется, нет ничего, как размножиться: и вот отчего, вовсе не самим человеком, соединена с этим сладость. «Сладко — значит грех!». Тогда питайтесь гвоздями вместо хлеба: это достаточно больно и, по вашей теории, приведет вас к раю... «Сладко» не значит ни «грех», ни «святость», а только — «нужно»; а вот *нужное* — это уже *правда, праведное, должное*; и по этой цели, по этому объекту, к которому гонит нас «сладкое» — и оно само есть *тень* или *пособие, орудие* праведности. Если «вообще сладкое» вредно, именно по качеству сладости — ну, сдерите с себя одежды, питайтесь преднамеренно заплесневшим хлебом, вытаскивайте вату из ватного пальто и подпарывайте мех на шубе! Право, вся борьба против пола идет из развращенного воображения, которое забыло всю биологическую, всю космическую сторону дела, и помнит только гастрономическую. Вот уж поистине повар, который не только поставляет кухонную плиту на место желудка, но воображает, что и целый дом, с его этажами, с его жителями, с разнообразными занятиями этих жителей, «вертятся около его плиты и даже ради плиты созданы Предвечным творцом». Послушать, так на «седьмой заповеди» переломилась эра языческая и христианская, послушать еще — так разница «до грехопадения» и «после грехопадения» основывается только на соблюдении и нарушении «VII заповеди». Сотворив Адама и Еву, Бог дал им запрещение: не нарушьте VII заповеди: они нарушили — и пали. Право, ведь таково всеобщее понимание грехопадения; почти всеобщее. Но тогда почему же в *десятисловии* Синайском она не первая? даже почему — не единственная? Но знаете ли, она есть точно заповедь первая и заповедь единственная во всех наших богословствующих журнальцах, которые не знают иного греха кроме «плодиться и множиться», и иного «Соблазнителя», «Лукавого», кроме внушившего человекам: «плодитесь, множитесь, *наполните* землю». Вот главный секрет почти всех наших богословов, что они грызут только одну эту мочалку, — и из «VII заповеди», закрывшей от них землю и небо, соделали себе Бога Единопоклоняемого.

Перечтите все их труды; прислушайтесь ко всем их речам: нет помина о гордости, о скупости, о сребролюбии, о любви к комфорту, о «послушествовании на друга своего свидетельства ложна», о «родительстве» мы уже упоминали; но как у маниака, одержимого «*idée fixe*», вечно выскакивает идея вроде того, что вот он (маниак) «стеклянный и, пожалуй, разобьется», так у этих «рабов старых заученных тетрадок» вечно выскакивает на языке и в уме страх, что они «разобьются» от «женщины» или об «женщину». И они, как умалишенный в палате, ходят на цыпочках, оглядываются, «умерщвляют» себя, дабы не только не приблизиться, но и угасить в себе желание приблизиться к женщине. «Адам, отворачись от ребра своего, Евы», «Адам, отринь и оклевети план сотворения твоего» — вот заповедь новая и странная.

Желательно было бы, чтобы г. Басаргин или о. Михаил, так тщательно разбирающие нас, не штрихом, не кавалерийски, а «медленным пехотным движением» победили это наше главное о них самих недоумение.

ПРОСТАЯ РЫБАЧКА

Я прочитал статью г-жи Лухмановой под истерическим заглавием и совершенно истерического содержания: «Кто дал им право?». Статья кричит как кликуша: «Кто дал им право искать сердце (*где? где?*), нащупать, где оно бьется, раскрыть его и плюнуть туда?..». «Кто звал быть нашими пророками Меньшиковых, Розановых, протоиерея У—ского, Мережковского и других? Зачем свои узкие взгляды, свои ничтожные личные мнения, свои плотско-пристрастные взгляды о чистой, святой вере вынесли они на базар печати?..». «Мы не хотим, чтобы разбивали нашу веру, пугали нас?..». «Скажите, что если человек изучил наизусть все священные книги, он остался язычником, если нет в его сердце просветленной веры. Скажите, что рыбаки, а не ученые фарисеи покорили сердца людей. О, ради Бога, скажите *им*, чтобы они замолчали».

Позвольте. Протираю глаза. Да почему же вы, г-жа Лухманова, воображаете, что я должен замолчать по вашему требованию, а не вы должны замолчать по моему требованию? Что за привилегия издавать запретительные крики? Точно г-жа Лухманова — директриса печатного пансиона, а писатели — пансионерки на полном ее иждивении и под ее присмотром? Крик никакого бы внимания не заслуживал, если бы он не был написан, так сказать, коллективным и безличным языком, если бы г-жа Лухманова не притворилась «простой рыбачкой», якобы говорящей от лица не то Петербурга, не то России даже: «Да, у нас, у средних людей, не сильная, но пламенная вера! Да, слаба в нас искра Божия, но она в нас есть и приходит минута — она приводит нас к алтарю, и мы, умиленные, молимся просто, без больших молитв, но молимся и устами, и сердцем, горячо и искренно, грешим и каемся, верим в прощение и любим Христа».

Ох, уж эти, «грешащие и кающиеся», Магдалины ли, «рыбачки» ли. «Я — рыбачка, я погрешила вчера и сегодня каюсь: не мешайте мне, Мережковский и Розанов». Для покаяния есть свой угол, и зовется он исповедальней, а для философствования есть свои совершенно другие углы и называются они печатью, литературой. Нельзя же ради г-жи Лухмановой, «которой хочется покаяться», закрыть академии и университеты; да и очень громко она кается, на всю улицу, прямо останавливая движение народа и экипажей.

«Мы — темные дети Божии, мы — простые люди», — продолжает она далее. И мы бы не обратили на ее истерику (деланную, конечно) ни малейшего внимания, не будь в ее статье этого гонора и претензии говорить от имени великих в скромности и простоте своей русских людей.

Какое же вы «темное дитя Божие», г-жа Лухманова?! Да вы автор пресоблазнительной, как рассказывают, пьесы, переведенной с французского и с шумом дававшейся в этот зимний сезон: «Ночь г-жи де-Монтесон». Говорят, в партере девицам платочками приходилось закрываться.

А вы кричите: «Не надо нам ваших умных споров! Не надо нам вашего грызущего остроумия! Не надо нам ваших статей!» И проч. Ничего не надо. Хорошо. Но почему же надо «Ночь г-жи де-Монтесон»?

Не понимаю. Во всяком случае, кроме этой «Ночи» и покаянных о ней слов, нужно же России что-нибудь более содержательное и более разнообразное. Она вопит против самых споров в печати и в обществе на религиозные темы. Они не

в этот пост начались. Г-жа Лухманова совершенно забыла, что богословская и философская русская литература, имеющая свои традиции, идущие от Хомякова и Соловьёва, от Гоголя, Достоевского и Толстого, никак не может ступать перед переводными французскими пьесами. И если она в самом деле «изречений отцов церкви не помнит», как и «подробностей вселенских соборов», то что же, неужели же и всем другим по ее образцу надо все это забыть? Кроме «будьте просты, как голуби», есть еще и другое изречение Христа: «Будьте мудры, как змии». Мы ему и следуем. И в праве следовать.

Церковь одинаково возрастала как в красоте и силе молитвы, так и в мудрости мысли, последовательной и всеобъемлющей. Истериичные вопли г-жи Лухмановой совершенно нелепы относительно всей истории церкви. Истерику умеют успокаивать и шаманы, а Церковь обнимает небо и землю, судьбу души и народов. Церковь не для г-жи Лухмановой и ее личных вкусов, а для народа русского и его духовных нужд, в которые входят и нужды умственные. «Сердце» могут успокаивать и пашковцы. Для «сердца» вообще есть много лекарств, даже не непременно религиозных. Послушать бы г-жу Лухманову, надо бы задержать занавеской акты вселенских соборов и многотомные труды тех самых учителей Церкви, на лики которых, не умея их назвать по имени, она сама молится. Мне кажется, она не только не помнит «учителей Церкви и вселенских соборов», но она отчетливо и не знает, пашковка ли она, хлыстовка, православная, лютеранка, католичка. Ибо ее «грешим, каемся и верим в прощение Христа» могут повторить люди всех вероисповеданий христианских и всех христианских сект. В этом скомканном виде я не узнаю православия, которое есть не только молитва и храм, но и научение мудрым. Между тем эта петербургская шаманка кричит от его имени.

В «Деяниях апостольских» рассказывается, как некая женщина, подняв среди верующих крик, воздвигла гонение на апостола Павла. Г-жа Лухманова, сама того не понимая, кричит против Церкви, ее величия и всеосмысленности.

О ЛИБЕРАЛИЗМЕ КАК НЕКОТОРОМ ОБЩЕМ ДУХЕ

Некоторые идеи, преимущественно практического характера, не даются чистому мышлению, — оне созидаются *испытанием*. Несколько лет назад мне пришлось вести полемику с покойным Вл. Соловьёвым по вопросу о свободе, под которую разумелась обеими сторонами известная, не допускающая уменьшения, доля «либерализма», «либерального духа» в обществе, в печати, в законодательстве, в сферах духовных и вещественных. «Что такое свобода *без веры* (совершенно определенного, как бы кристаллизованного, идеала): она — *не нужна*», — писал я. Вл. Соловьёв жестоко меня осмеивал, но едва ли сумел опровергнуть. Вера, *fides*, не непременно религиозная, но, например, научная, философская, общественная, хотя в том числе и религиозная, мне представлялась некоторым субстратом, содержанием свободы, как бы легкими по отношению к воздуху. Воздух нужен, когда есть дышащее, легкие. А когда не родилось существо с лег-

кими, воздух, пожалуй, и не нужен. Вера есть *prior* *, свобода — *posterior* **. Так я рассуждал, и Вл. Соловьёв ни в чем меня не переубедил своими сарказмами. «Либерализм», «пустой либерализм» мне представлялся звенящею погремушкой, которую стоит только бросить под ноги. Читатель, знакомый с обществом и печатью, знает, что слова «либерал», «либеральный», «либерализм» действительно вызывают у многих двусмысленную улыбку или снисходительное пожимание плечами. «Что же тут спорить? Тут нет *идей*, а только какой-то неопределенный *дух*».

10 Некоторое неуважение к «либерализму вообще» распространило долю неуважения и на некоторые наши старопочтенные журналы вроде «Вестника Европы», о которых приходилось говорить и думать, что они не столько имеют определенный *программный* (кристаллизованный) идеал, сколько существуют тем, что по поводу всякого события, мероприятия, предположения развивают некоторый «либеральный дух». Все это казалось старо, недостаточно, неинтересно. И может быть, очень многие круги людей думали, когда же настанут «честные похороны» этих старых и ненужных более «либеральных ворчунов».

20 Некоторые идеи опровергаются не идеями же, а испытаниями. «Вестн. Европы» в последней книжке делает именно «либеральную защиту» явления, с идейным содержанием которого он не имеет ничего общего. Он развивает «общий либеральный дух», без всякой мысли самому им воспользоваться, но чтобы им воспользовались другие. И хотя это на *теоретическую* оценку кажется бессодержательно, но *на самом деле* как это *нужно!* И не только как это *практически* — *нужно*, но *нравственно нужно!* Без меры свободы, именно не уменьшаемой, не сжимаемой далее, просто невозможно дышать и поистине не хочется жить, становится постыдно жить. Статья эта «Из общественной хроники» вся посвящена разным полемическим инцидентам, разыгравшимся в последний месяц на страницах «Нового Времени», с одной стороны, и почти всей нашей охранительной печати, московской и петербургской — с другой.

30 Почтенный журнал именно ссылается на мнения Вл. Соловьёва о национализме, защищая взгляды на этот же предмет г. Сигмы, и выступает с указанием на статьи «Моск. Ведом.» и «Гражданина», по поводу участия духовных лиц в Религиозно-философских собраниях, как на пример печатного призыва к насилию над совестью. «Новое Время», — говорит хроникер журнала, — защищает свободу, как естественное право человека, тогда как мы понимаем ее в смысле права, признанного и гарантированного государством». Обращаясь к нашим общественным и литературным правам, он находит, что элементарнейшее условие искреннего и глубокого обсуждения насущных вопросов философии, веры и практики, именно безопасность обсуждения самым диким образом отрицается некоторыми представителями печати же и самого общества. «И пока все это есть, пока стоит налицо этот факт угнетения, до тех пор не может исчезнуть в среде общества настроение, именуемое либерализмом, не может прекратиться борьба между ним и враждебными ему течениями».

Вот очень принципиальный взгляд, который убедил меня более всего остроумия Соловьёва в наличной необходимости и, наконец, в *нравственной* *необхо-*

* важное, первичное (*лат.*).

** вторичное (*лат.*).

димости «либерализма» просто «в самом себе», «либерального духа», который стал бы привычен, повсеместен, а наконец, и *обеспечен* для всех, наравне с незагрязненным воздухом городов, известной долей вежливости на улицах и с безопасною ездой на железных дорогах.

Пока есть, как говорит журнал, *дух притеснения* «в самом себе», живущий в обществе, в печати, в учреждениях, «мероприятиях», и дух именно бессодержательный, не кристаллизованный в идею, живущий «придирами» к обстоятельствам, к предположениям, к законопроектам, до тех пор имеет полное реальное основание жить либерализм, — вовсе и не стараясь даже кристаллизоваться в систему, программу: совершенно достаточна и определена и нужна его роль — стоять при дверях и не допускать их захлопнуться перед другими. Да, приходится признать, что не *fides* есть *prior* в отношении к свободе, а именно свобода есть *prior* самой веры. Что не для веры нужна свобода, но что вера как убеждение родиться не может без некоторого предварения ее свободой. Сперва воздух, а потом легкие, в порядке космического образования. Мы не будем приводить всей аргументации журнала и в защиту подчиненных окраинных национальностей, и длинную его защиту духовных лиц, принявших участие в Религиозно-философских собраниях. Лиц этих, почтенных и саном, и образованием, «Моск. Вед.» и «Гражд.», обвинили за простое собеседование со светскими образованными людьми о предметах веры, в том, что будто бы они «поносят и продают свою церковь». Обвинение в высшей степени презренное само по себе; но всякий поймет, насколько для людей, непосредственно находящихся на службе церкви, — оно опасно, не говоря о том, как оно мучительно. Журнал продолжает:

Мы очень далеки от согласия с писателями, взявшими на себя почин Религиозно-философских собраний; мы готовы допустить, что не все, сказанное ими в этих собраниях, заслуживает сочувствия, как не заслуживает его многое в их статьях и книгах; но мы решительно отказываемся понять, каким образом сколько-нибудь уважающий себя орган печати может предпочесть честному спору мало похвальный призыв к воздействию власти. Доступные для всех, благодаря воспроизведению их в «Новом Пути», дебаты Религиозно-философских собраний могли сделаться предметом всесторонней свободной полемики. Только она могла отделить ценное от незначительного, зерно от мякины и подвести итоги работе, во всяком случае не излишней. Вопросы, обсуждавшиеся в Религиозно-философских собраниях, выдвинуты самую жизнью; они не перестанут занимать умы и волновать сердца, какие бы препятствия ни встречало их обсуждение.

Так пишет почтенный журнал. Тут же уместно обратить внимание читателей на прекрасную статью в последнем номере «Церковного Вестника», органе С.-Петербургской Духовной академии, под заглавием: «К вопросу о современных настроениях». Помещенная на первом месте и без подписи, она говорит как бы от имени самой академии. И голос, свежий и чистый в защиту свободы мысли в области религиозной, показывает, что время, когда светские Асоченские запугивали даже митрополитов (Филарета) и епископов, минуло.

СРЕДИ ИНОЯЗЫЧНЫХ (Д. С. Мережковский)

Не без внутреннего стеснения, и имея в виду лишь пользу *дела*, — я согласился на предложение г. редактора «Н. Пути» дать в перепечатку настоящую статью свою, уже напечатанную в № 7—8 «Мира Искусства». По его специальным задачам и содержанию, последний журнал *вовсе не читается* нашим духовенством; между тем статья эта, будучи, конечно, обращена вообще к русскому обществу, в частности «просит рассудить» гг. духовных положение вещей, ход спора, силу тезисов, к ним обращенных Д. С. Мережковским. — «Несмотря на обилие речей г. Мережковского, я не ясно понимаю» или «не понимаю вовсе, что он говорит», или «чего он хочет»: так заявляли не раз (напр., М. А. Новосёлов) в религиозно-философских собраниях. Ну, вот как бы в ответ на эти недоумения, и перепечатывается эта статья в «Нов. Пути», который уже читается всеми участниками и гостями *религиозно-философских собраний*, да и вообще обильно читается духовенством.

В. Р.

Года три назад, на видном месте газет печаталось о трагическом происшествии, имевшем место в Петербурге. Англичанин со средствами и образованием, но не знавший русского языка, потерял адрес своей квартиры и в то же время не помнил направления улиц, по которым мог бы вернуться домой. Он заблудился в городе, проплутал до ночи; и как было чрезвычайно студеное время, то замерз, к жалости и удивлению газет, публики, родины и родных.

Судьба этого англичанина на стогнах Петербурга чрезвычайно напоминает судьбу тоже замерзающего, и на стогнах того же города, Д. С. Мережковского. Еще этой зимой я читал перевод восторженного к нему письма, написанного из... Австралии! Автор письма называл его самым для себя дорогим, ценным, глубокомысленным писателем, из всей современной всемирной литературы. Он писал это по поводу «Смерти богов» и «Воскресшие боги», — двух романов, только что переведенных на английский язык и как-то попавших в Мельбурн.

Помню, однажды, в сумерках вечера, попрощавшись с г. Мережковским на улице, я отыскал себе извозчика, и когда затем, нагнав его, идущего по тротуару, вторично ему поклонился, то с высоты пролетки следя за его сутуловатую, высохшую фигуркою, идущею небольшим и вдумчивым шагом, без торопливости и без замедления, «для здоровья и моциона», я подумал невольно: «так, именно так, — русские никогда не ходят! ни один!». Впечатление чужестранного было до того сильно, физиологически сильно, что я, хотя и ничего не знал о его родоплеменности — но не усомнился заключить, что, так или иначе, в его жилах течет не чисто русская кровь. В ней есть несомненные западные примеси; а думая о его темах, о его интересах — невольно предполагаешь какие-то старокультурные примеси. Что-нибудь из Кракова или Варшавы, может быть, из Праги, из Франции, через прабабушку или прадеда, может быть, неведомо и для него самого, но в нем

есть. И здесь лежит большая доля причины, почему он так туго прививается на родине, и так ходко, легко прививается на Западе. Сюда привходит одна из трогательнейших его особенностей. Что бы ему стоило, и без того уже почти «международному человеку», по образованию и темам,— всею силой души отдаться западной культуре, «отряся прах с ног» от своей родины, где он был столько раз осмеян и ни разу не был внимательно выслушан. Мало ли в России было эмигрантов из самых старых русских гнезд, часто оставлявших не только территорию отечества, но и его веру. Для Мережковского это было бы тем легче, что, воистину, он долгое время из всей России знал только Варшавскую жел. дорогу, по которой уезжал за границу, да еще одно-два дачных места около Петербурга, где отшельнически, без разъездов по сторонам, проживал лето. Когда я его впервые узнал лет семь назад, он и был таким международным воляпюком, без единой-то русской темки, без единой складочки русской души. У него был чисто отвлеченный, как у Меримэ, восторг к Пушкину, удивление перед Петром; но ничего другого, никакой более конкретной и осязаемой связи с Россией не было. Заглавие его книжки «Вечные спутники», где он говорит о Плинии, Кальдероне, Пушкине, Флобере — хорошо выражает его психологию, как человека, дружившего в мире и истории только с несколькими ослепительными точками всемирного развития, но не дружившего ни с миром, ни с человечеством. Он был глубокий индивидуалист и субъективист, без всякого ведения и без всякой привязанности к глыбам человечества, народностям и царствам, верам, обособленным культурам. Ничего «обособленного» в нем самом не было; это был человек без всякой собственности в мире, и это составило глубоко жалкую в нем черту, какую-то и грустную, и слабую; хотя в себе сам он ее и не замечал. Все потом совершилось непосредственно: сейчас я его знаю как человека, который ни в одном народе, кроме русского, не видит уже интереса, занимательности, содержания. У него есть чисто детский восторг к русскому «мужику», совершенно как у Степана Трофимыча (из «Бесов» Достоевского), где-то заблудившегося и читающего с книгоношею Евангелие мужикам. Год назад, собирая материалы для романа о Царевиче Алексее, он посетил знаменитые Керженские леса Семеновского уезда, Нижегородской губернии, — гнездо русского раскола. Невозможно передать всего энтузиазма, с которым он рассказывал и о крае этом, и о людях. Все звали его там «болярином». «Болярин» уселся на пне дерева, заговорил об «Апокалипсисе», излюбленной своей книге — и с первого же слова он уже был понятен мужикам. Столько лет не выслушиваемый в Петербурге, непонимаемый, он встретил в Керженских лесах слушание с затаенным дыханием, возражения и вопросы, которые повторяли только его собственные. Наконец-то, «игрок запойный» в символы, он нашел себе партнера. «Как же, белый конь! бледный всадник!! меч, исходящий из уст Христовых и поражающий мир!!! понимаем, без этого и веры нет! тут — суть!!». Можно сказать, народ упивался «болярином», который его слушал и разумел и даже вел дальше, говоря о каком-то «крылатом Иоанне Крестителе» (в некоторых древних русских церквах, напр., в Ярославле, есть изображения Иоанна Крестителя — с огромными крыльями), а «болярин» в свою очередь наконец-то, наконец, нашел аудиторию, слушателей, друзей и паству! Прямо из Таормины (чуждое местечко в Сицилии, с классическими остатками), попав на Керженец, он не нашел здесь разницы с собою в темах, духе, в настроении духа. «Что Запад, — там уже все изверилось: Россия — вот новая страна веры! Петербург,

с его позитивизмом и общественными вопросами — это отрывок Запада: но коренная Россия, но эти бабы и мужики на Керженце, с их легендами, эти сосновые леса, где едешь-едешь и вдруг видишь иконку на дереве, как древнюю нимфу в лесах Эллады: эта Россия есть мир будущего, нового, воскресшего Христа, примирения нимф и окрыленного Иоанна, эллинизма и христианства, Христа и Диониса. Ницше был не прав, их разделяя и противопоставляя: возможно их объединение!! Западные народы просмотрели Христа истинного, цельного, полного, усвоив в Нем только одну половину, аскетически-темную, но не увидев в Нем же стороны белой, воскресающей, оргийной, Дионисовой».

10 Здесь я теряю возможность следить дальше и излагать мысль Мережковского. Она ясна в своей заглавной теме, но непонятна и им самим не высказана в своих *документальных* основаниях. Михайловский, в одной из критических статей о Мережковском, статей грубых и плоских, передает правильно от них *впечатление*: «в каждой строке автора бьется одна и та же, очевидно очень ценная мысль: но так и остается на степени скрытого пульса».

Я знаю Мережковского более, чем читатели, только знающие его печатные труды: но я никогда не слышал и не знаю того «в высокой степени ценного, что бьется в каждой строке его последних произведений, а высказаться — не может». Не хочет ли он, не может ли высказаться, об этом мы не имеем средств судить. Но я не знаю другого литературного явления, чем «Д. С. Мережковский» (беру попен * взамен «орегα ομπία» **), которое бы так вразумительно и наглядно подводило нас к постижению другого, тоже никогда не разгаданного, огромного исторического явления. Я говорю о знаменитых и древних Элевзинских таинствах, — которым малые аналоги были и в разных других пунктах Греции, в Самофракии, на Крите, в Сицилии и пр. Это не были «таинства» эпической древности: Гомер ничего не знает о них. Итак, это было явление образованной Греции, явление греческого образования и фаза культуры. Кто-то, тогда-то их завел, начал, а имя «таинства» они получили не в том смысле, как мы теперь понимаем это слово: нечто совершаемое и могущее быть совершенным одним священником. Наши таинства (все) совершаются на глазах всех людей, а чин (порядок) совершения таинства напечатан в каждом требнике, продающемся в каждой лавке. «Таинства» в Греции, напр., Элевзинские, буквально совпадали со своим именем и обозначали сокровенную, в безмолвии и темноте хранимую вещь (или действие), которая не открывалась никому, кроме членов содружного общества. Они одни, «посвященные», и знали это. Известно, что в истории чрезвычайно много разболтанных секретов, личных, кружковых и политических «тайн», которые стали явными. «Тайны Версальского двора» или личные тайны, напр., Казановы, давно рассказаны и напечатаны, хотя в ограниченном количестве экземпляров. Болтливость человеческая, с одной стороны, и любопытство человеческое, с другой — желание узнать и желание похвастать: «а вот — я знаю, чего никто не знает», можно сказать, дало историкам как бы рентгеновские лучи ранее Рентгена. Но было что-то особенное, специфическое в Элевзинских таинствах, в силу чего их никто не захотел рассказывать, из посвященных в них тысяч людей, мудрецов, писателей, историков, риторов, поэтов, как, впрочем, и обыкновенных

* имя (лат.).

** все сочинения (лат.).

смертных! Очевидно, «ἑλευσίνα» * не снаружи только носили имя «тайнств», не по наречению от человеков и условию между ними: но в самой сердцевине их в точности содержалось таинственное как нераскрываемое. И таким образом охраняла их не скромность человеческая, но они сами неизглаголанной сущностью своею охранили свою сокрытость. «Тайны», настоящие, не мнимые, и пребывали в тайне, несмотря на всю слабость и любопытной, и болтливой человеческой природы. «Тайн» нельзя было раскрыть: не потому что страшно, не потому что стыдно, не потому что было запрещено: все эти три категории мотивов не оберегли же других в истории рассказанных «тайн», но оттого, что — нельзя, невозможно! «не изреченно»! И не только рассказать их было невозможно, но и передать, напр., в рисунке. Особенно ценится в науке одна ваза, изображающая, так сказать, «отпуск народа» или напутственное благословение после таинств, т. е. в момент, когда «тайны» уже нет, она прошла; когда нечего и видеть, и узнавать. Между тем, кто видел собрания древних vaz в Неаполе, в Риме, в Петербургском Эрмитаже — знает, что их так много сохранилось, как у нас глиняных горшков на горшечной ярмарке: мириады! И нет ни одного взмаха кисти безымянного художника, который хотя бы анонимно передал потомству исторический секрет! — Заметим для историков, что построение «Святого святых» равно в Скинии Моисеевой и в Соломоновом храме представляет наибольшую, известную в истории, аналогию этим «тайнствам». За завесу его также никто не проникнул, кроме первосвященника раз в год: но он там ничего не видел, ибо «Святое святых» не имело окон, ни дверей; а завесы его так заходили друг за друга, что ни единый луч света не мог куда проскользнуть. Во всяком случае закон сокровенности, как главный, равно выражен в эллинском секрете и в иудейской святыне. Что же это такое, само себя охраняющее в тайне? Рассказчиков этого мы не имеем, а рассказчиков о действии этого на «посвященных» есть несколько, и слова их еще увеличивают наше удивление. «Жизнь» для эллинов будет невыносима, если отнимутся у них священные мистерии, связующие человеческий род, — выразился проконсул Претекстат (записано у церк. ист. Зосимы, IV, 3). «Много прекрасного произвели Афины, но прекраснее всего эти мистерии, возвысившие нас до истинной человечности», записал Цицерон («De legibus» **, II, 14). «Участие в этих таинствах освобождает душу от земных пут и возвращает ее к небесной родине. В энтузиазме, их сопровождающем, есть какое-то божеское вдохновение... Таинственный характер священнодействий возвышает благоговение к божественному, соответствуя Его природе, ускользающей от наших чувств; а музыка и другие искусства, во время их совершения, сближают нас также с божественным. Хорошо сказано, что человек особенно подобится богам, когда благодетельствует, но еще лучше сказать: когда блаженствует, т. е. радуется, празднует, философствует, предается музыке», сказал Страбон («География» X, 3). Казалось бы, как такого не рассказать? не дать человечеству явно и днем, устно и письменно, теперь и навсегда того, без чего «жизнь невыносима»?! Но «посвященные» промолчали: промолчали люди «с примиренною совестью и незапятнанною честью», каковые одни только допускались к «тайнствам». Один немец написал обширное двухтомное исследование о них, озаглавив его именем одного исто-

* Элевсинии (грец.).

** «О законах» (лат.).

рически известного жреца этих таинств *. В исследовании этом собраны и критически расследованы все до малейшего известия и слухи о них: и оказались как одни, так и другие настолько сдержанными, что трудолюбивый немец пришел к «положительному и непререкаемому выводу», что в «таинствах» нечто *показывалось*, были *видения*: но каждый из зрителей («посвященных») толковал их по-своему, и не было никакой «тайной науки», «тайного знания», «тайного объяснения» их, которое давалось бы участвующим. Но у читателя его заключений невольно возникает вопрос: отчего же тогда «таинства» эти «суть лучшее в Греции» — неужели наиболее пластическое?! Но вот, во всяком случае, комбинация 10 трех признаков: 1) увидеть можно; 2) рассказать нельзя; 3) а кто им причастился — стал ощущаемо ближе к Богу или «божественным вещам».

Я так подробно остановился на этом общеизвестном и обширного значения факте, чтобы показать, что в самом деле есть в мире... *истины ли, ценности ли*, которые никак не могут быть выявлены, *не выявляются сами по себе*, и вместе могут стать... скрытым пульсом жизни нашей, мыслей наших, нашей веры и самых страстных и прочных тезисов. В философии Декарта нет «таинств», у Бэкона нет «умолчаний», у Канта их нет тоже: но ведь кто же не знает, что все эти философы, по крайней мере первый и последний, томились тем, что они знают только феномены, тогда как суть вещей, даже исследуемых ими, от них скрыта, *хотя она есть*. В «таинствах», кто бы их ни открыл и ни начал в Греции, в таинственном «вот закон (метод построения и освящения) жертвенника», «таков закон храма» у Иезекииля в видении, или в тайной мысли, с которою Моисей построил скинию, дав до последнего гвоздика ее *непременный* план: во всем этом проглядывается такое особое ведение, которого не было дано ни Канту, ни Декарту, не говоря об эмпириках. Но ведь в Греции *кто-то* начал (учредил) Элевзинские «сокровенности», человек смертный, человек обыкновенный: и в наше время, да всегда (как равно возможно, что и *никогда!*) может появиться человек, который набредет на подобное, если и не то же самое, открытие, и тогда непременно в отношении его почувствует то же, что древний грек: «этого нельзя *рассказать*», «это можно было бы только *показать!*», но непременно одним «*посвященным!*»! Когда читаешь десяток страниц за десятком у Мережковского, и наконец большие тяжелые его тома, и видишь усилия человека, страсть его, удрученность какою-то истиною, и вместе недосказанность вас раздражающую, которая вырывает положительно крик: «да *кто же, кто это такое* наконец?!» — то невольно приходит на мысль, что у автора дело заключается именно в *показе*, а не *рассказе*: что книга давно уже кончилась, напрасно шуршат ее листья; но автор *боится ли, стесняется ли* перейти к какому-то действию. Да он почти это самое, почти этими самыми словами говорит о себе, о своем времени, о задачах эпохи и чело- 40 века. Но читатели и зрители молчат, ожидают. Вопрос, кажется, не в мудрости Мережковского, а в мужестве Мережковского; и томительное недоумение не длилось бы так долго, если бы сверх первого у него было и второе. Молчание так же может разразиться *смешным*, как и потрясающим. И вот опасение-то первого и удерживает его, может быть, от второго. «Нужно иметь мужество, чтобы пройтись перед улицей нагишом: одного из тысячи после этого венчают. Аполлона

* Лобек. *Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum causis libri tres*. Regiom. 1829.

венчали бы; но 999 из тысячи, но всякого смертного, но меня — побьют камнями, освищут, заплюют». В самом деле — трагедия: иметь *секрет* мага, но не быть магом.

Вернемся от этих гаданий об его писаниях к тому, что есть в них обыкновенного и ясного. В разные эпохи и разные люди пытались *примирить* мир христианский и вне-христианский, до-христианский: через уменьшение *суровости* требований первого, через *обеление* некоторых сторон второго. «Я христианин, но люблю читать и *классиков*», «я *добрый католик*, но философия Платона меня трогает не меньше, чем *отцы церкви*». Некоторые *уступочки*; стирание всего *острого* равно в христианстве, как и в язычестве; вяленькое благодушие — вот, что всегда клалось фундаментом примирительных между христианством и язычеством построений. «Нагорная проповедь ведь не отрицает геометрии Эвклида, ни Эвклид — небесного учения нашего Спасителя» — так примиряли два мира, «безнравственный и умный» мир язычества и нравственный мир христианства. Отбросив некоторое «юродство» христиан, легко соединяли их религию с культурой языческой, выбросив из последней «блестящие пороки». Между тем явно, что если развились две культуры столь могущественно и самоуверенно, то, очевидно, каждая из них питалась некоторой *остротой* собственного запаха; что в «юродстве»-то и лежит корень обеих вещей, христианской и языческой: в «юродстве христианском», «юродстве языческом». Было и остается нечто весьма непереносимое для обыкновенного *третейского* суждения, и в христианине-затворнике-молчальнике — «питающемся акридами и медом». — «К чему эти излишества!» — сказал бы о таком прохожий. Но в *излишествах-то* и суть дела: это лишь сконцентрированная форма того, что *разрознено* во всех христианах есть, было во всех христианских эпохах. И *непереносимы-то* для первых христиан были вовсе не Эвклид и геометрия, а совершенно другие специальные выразители специальных сторон античной жизни. Новизна и великое дело Мережковского заключалось в том, что он положил задачей соединить, слить *остроту* и остроту, острое в христианине и острое в язычнике; обоих их «юродства». Открыть (перефразирую задачу так) в «величайшей добродетели» — «соблазнительный порок», а в «соблазняющем пороке» — «величайшую добродетель». Я заключаю в кавычках обычные штампы, привычные человеческие определения: ибо, очевидно, исполнилась задача Мережковского, все в этой области стало бы так одно в отношении к другому, что к одной и той же вещи, поступку приложимы сделались бы всякие имена. Открылся бы, так сказать, «пантеизм» единичных вещей: «сколько богов (и демонов) в каждой вещи»!

Из этого содержания вещей нам, христианам, видна только одна часть, да и язычникам была видна часть же. Задача эта ведет уже не к вялому, через уступочки, а к *восторженному* признанию, к *утверждению* обоих миров; ведет к прозрению, как бы через прозрачный, сзади освещенный транспарант — уже в язычестве и его «тайнствах» («юродстве») — христианства, а в христианстве, при его раскрывшихся наконец тайнах — язычества. Оба мира имеют свой ноуменальный секрет, не рассказанный, не выведенный, «скрытый от мудрых мира сего» и тогдашнего: и секреты эти как бы в длани одного Господина. Здесь задача Ме-

режковского и достигает своего апогея: найти в Христе (я не отвечаю за его задачу, а только принимаю на себя смелость формулировать ее) лицо древнего Диониса-Адониса (греческое и сирийское имя одного лица, мифического, «угадываемого»), а в Адонисе-Дионисе древности прозреть черты Христа и, таким образом, персонально и религиозно слить оба мира от слияний художественных, поэтических, философских, вообще краевых по метафизике и *вялых* по темпераменту, какие они делались до сих пор в истории.

В подтверждение своей мысли, конечно, Мережковский мог бы сослаться на то, какая вообще малая доля Евангелия получила себе историческую разработку и обработку. Возьмем притчу о десяти девах, ожидающих со светильниками жениха в полночь. Какая картина для пластических повторений, для поэтических воплощений, для размышлений моралиста и метафизика. Но вот мы наблюдаем, что тогда как притча о богатом и Лазаре выступила живописью на церковных стенах, создала вокруг себя легенды, дала начало множеству биографических, житейских копий, и служит опорой постоянных ссылок, постоянной аргументации у богословов, — эти самые богословы просто не имеют ни внутреннего желания, ни художественного искусства как-нибудь подступить к притче о Женихе и его десяти Невестах. Между тем притча эта изошла из уст Спасителя. Ведь Он не сказал же ее «только так». Невеста мыслилась именно как невеста, а не как манекен с накладными волосами и щеками из картона. Живое, жизнь, кровь и плоть, опущенные долу глаза и длинные таинственные ресницы, как и покрывало Востока, их закутывавшее, — все было в мысли Христа не как *попеп*, а как *res viva* *. Мы имеем службы церковные, где священник изображает собою Христа; а движения его, слова, «выход большой и малый» знаменуют собою служение миру Спасителя. Что если бы в такое же церковно-драматическое движение, пусть однажды в год в воспоминание дивной притчи, была воплощена эта аллегория о десяти девах, срастающих в полунощи жениха? Мережковский несомненно может указать, что в таком литургийно-церковном воплощении дивной притчи мы получили бы как бы волос, пусть один, с головы Адониса, павший на нашу почву, да и прямо найденный среди наших евангельских сокровищ. Или предсмертное возлияние блудницею мира на ноги Спасителя в дому Симоновом, и отирание ног Его волосами своими. Опять Мережковский может спросить: какое же это получило литургийное воплощение себе, как получило же подобное воплощение омовение Спасителем ног апостолов? Да и это самое омовение, и вся Тайная Вечеря протекла в ночи: между тем как у нас вкушение Тела и Крови Спасителя происходит (за позднюю обедней) в 12 часов дня, самую рациональную и будничную часть суток; и не «возлежа» вокруг Трапезы Господней, а стоя... точно перед зеркалом в присутственном месте. Словом, в мистике Евангельской, без сомнения, многое обойдено молчанием, не пошло в разработку. Мережковский может указать, что и до сих пор мы имеем в сущности то же сухое книжничество и фарисейство, но только не Ветхозаветное, а Новозаветное: как будто, под ударом укоров Христа, фарисеи и книжники, поговорив между собою, решили *согласиться* с Ним и пойти за Ним; и тем однажды и навсегда победить Его *в главном*; победить — и господство свое над Иерусалимом превратить в господство над миром, несокрушимое и вечное. Они стали *позади* Его, «как ученики»,

* живое дело (*лат.*).

и изрекли: «гряди Ты вперед, мы — за Тобою». И все осталось, после этого выверта, в мире по-прежнему: все тот же перед нами Христос и книжники с фарисеями: ибо как Он оспаривал не *доктрину* фарисейскую, а *душу* фарисейскую, то соглашение с доктриною (учением) Христа их фарисейских душ в данном историческом моменте равнозначуще стало соглашению Христа с душою фарисейскою. Ибо подойдешь ли ты ко мне, или я к тебе, обнимешь ли ты меня, или я тебя: все равно — мы одно в объятии. «Ты дал нам ключи Царства Небесного», «Он дал нам власть вязать и решать», «нарекать одно — добром, а другое — злом», услышал мир от старых формалистов, ритуалистов, постников и молитвенников.

Против всех этих указаний Мережковского было бы трудно спорить. Но, и согласившись, мы все же имеем в них слишком малое для его темы. Ему предстоит, очевидно, сделать то, что некогда сделал Толстой: тот выпустил Евангелие со *значительными пропусками* неудобного для него текста, и с *переменами перевода* некоторых речений Спасителя, чтобы указать в нем людям свое «Учение о смысле, жизни». Мережковский, сколько мы знаем, имеет взгляд на Евангелие, как на книгу, в которой перемене или пропуску не подлежит «йота». Итак, ему предстоит выпустить Евангелие в окружении нового комментария: заметить, подчеркнуть и дать истолкование бесчисленным изречениям Спасителя и событиям в жизни Его, которые до сих пор или не попали на острие человеческого внимания, или истолковывались слишком по-детски, или наконец прямо перетолковывались во вкусе и методе старых фарисеев и книжников. Наконец, здесь очень много значит *тон, оживленность* перевода. Перевод св. Писания на *мертвый церковно-славянский язык*, можно сказать, определил уже изначала *мертвенное* его восприятие, *неживое* к нему отношение. Не забудем, что на языке этом нет и никогда не было ни одного поэтического произведения; ни одной песни, ни сказки, ни былины; что «Слово о полку Игореве» написано на древне-русском, а не на церковно-славянском языке; и, словом, что четыре Евангелиста восприняты были на языке, как бы нарочно приготовленном для изложения предметов величественных и сухих, не интересных, не «хватящих за сердце», а только «важных, серьезных» и «должностных», и мы поймем, до чего от влияния самого языка перевода Евангелие представилось сознанию читавших его как некоторый «божественный» *Cogrus juris* *, как вещание и завет «Судий мира» в потусветной тоге. Ни один цветочек не мог удержаться, если он был на ветви этого слова: но как в старом ящике, в котором везут из-за моря фрукты, эти фрукты опадают, оставляя ветви голыми, и, словом, все ссыхается, распадается и теряет свежесть и ароматистость, — так и Евангелие, кириллицей начертанное, не могло не распастись на «тексты» и в этом виде дать лишь неистощимый запас для разных споров и доказательств «книжнического» характера. Словом, как Евангелие «в издании» Толстого положило начало толстоизму как направлению религиозной мысли, как явлению церковной (или ех-церковной) жизни, так лишь Евангелие «в издании» Мережковского могло бы дать торжество его теме: примирению христианства и язычества в лице Едино-поклоняемого, Обще-поклоняемого Христа-Дио-

* Свод законов (*лат.*).

нуса. Без этого, до этого мы имеем попытки с весьма проблематическим исходом. «Дай вложить персты и осязать», — отвечаем мы невольно на все уверения.

Впрочем, и как попытка — его усилие велико. «Икар, Икар, не приближайся к Солнцу», — много значит уже и услышать позади себя эти крики. Мы можем к попытке его подойти критически с другой стороны: со стороны естественности и невольности (исторической) его задачи. Здесь мы введем в рассмотрение его темы одного его антагониста, который первый дал, в публичных лекциях в Соляном городке, определение его тенденций. Это — молодой и пылкий, но недостаточно осмотрительный монах, переведенный недавно в Петербург из Казани и читающий в здешней Духовной Академии каноническое право. Он назвал проповедь Мережковского «дрянным учением»; его тенденции соединить Христа и Диониса — безнравственными, извращенными. Он остановился на определении Христа в известном стихотворении гр. Алекс. Толстого «Грешница»:

В Его смиренном выраженьи
Восторга нет, ни вдохновенья,

и, приведя его, *воскликнул*: «вот истинное и глубокое понимание Лица Христова и самой сущности христианства».

Примем этот тезис о. Михаила, бесспорно в то же время тезис всего исторического христианства, и посмотрим, до какой степени именно он и толкнул Мережковского к его специфической задаче, как «единоспасительной». — «Господь мой и Бог мой», — воскликнул невольно он, как бы уцепясь за ноги Распятого и Воскресшего, и защищая *божество* Его против *отрицания* в Нем божества со стороны таких людей, как о. Михаил. «*Вся Им быша и без Него ничто же бысть*»: вот определение Бога не только метафизическое, но и по Слову Божию. Полнота, *закругленность*, «богатство» Его входит даже в филологию слова «бог», «Бог». «Не пиши *бог* с маленькой буквы как одно из простых нарицательных имен, а напиши Его большими буквами, как бы распространяющимися по всем вещам мира» — таков, в сущности, лозунг Мережковского. Его тенденция существенно *увеличительная, громадная, раздвигающая*: тогда как о. Михаил и все, «*иже до него и с ним*», век за веком все суживали Бога, расхищали Его богатства, соделывали Его бедным, неимущим, ничего почти не имеющим. Шаг за шагом теснили они Бога и вытеснили из мира, суживая владения Его, власть Его, дыхание Его — до затхлых коридоров каких-то «духовных» департаментов, одной «духовной» канцелярии, и даже наконец одного «столоначальничества» в ней, как некоего специфического места богословского скряжничества. Вот уж «соделали богов литых, по образу и подобию своему», можно сказать об этих «духовных» Плюшкиных. Гр. А. Толстой, конечно, не был гениален, и начертав:

В Его смиренном выраженьи
Восторга нет, ни вдохновенья,

не сказал ли этим, что «все восторженное и вдохновенное» на земле не от Христа и против Христа? Так что из собственных его стихотворений неудачные, «не вдохновенные», пожалуй, «от Христа и в христианском духе написаны», а вдохновенные, как

Колокольчики мои
Темноглубые,

— все «от Велиала». Обмолвка Толстого, не умная, но удивительно отвечающая историческому положению вещей, как они сложились в мире, и объясняет, каким образом все талантливое и вдохновенное, наконец, просто все *искреннее*, одно за другим отталкивалось от себя «подлинными христианами», и тем самым очутилось и сбилось в великий стан «антихристианства», «внехристианства». Стан, победа которого предрешена уже просто тем, что в самое определение его входит: «талант, вдохновение, искренность», тогда как круг христианства определился условиями: «скудно, не вдохновенно». Ну, где же Тредьяковскому победить Пушкина, хотя он и был «действительный статский советник», а Пушкин какой-то регистратушко. У христианства и остались одни «чины», претензии, титулы; а все «богатство» Бога (см. филологию словопроизводства) очутилось собственностью людей без чинов, но с силами. «Диониса, Диониса сюда!» — закричал Мережковский обо всем этом лагере: «таланта, вдохновения, и Того, из Коего по древним проистекает всякое в мире вдохновение, но не как собственность и мифическое изобретение древних, а как нашего подлинного, исторического Христа! Мы — христиане; но от Христа текут не только бедность и бездарность, художество и художородность, Он не принес на землю скряжничества: но *Им* *вся быша, и без Него никтоже бысть*».

Вот и вся тема Мережковского в ее историческом обосновании.

«Скряжники» довели христианство до атеизма. Соделав «литого Христа, по образу и подобию своему» и Плюшкинскому, они подвели христианство к краю пропасти, куда еще один прыжок — и ничего не останется. Мережковский, может быть, говоря иногда бестактные слова (впрочем, я их не знаю), спасает то самое судно, на котором наивно и благодушно плавают сам о. Михаил, не подозревающий, за неимением морских карт, его географического положения.

Власть Христа, «область Христова» уже сейчас лишь номинально, а не *эссенциально* (не «по существу») распространяется на такие области, как семейство, брак, единение полов, и далее — как наука и искусство, и, наконец — как весь технический и материальный быт народов. Всмотримся во вздохи «бездарных»: они ведь сами вздыхают, прерывая вздохи скрежетанием зубовным, зачем все это (семья, брак, искусство, наука, экономика) принадлежит им лишь платонически, по одному имени: «*искусство* христианских народов», «*семья* у христианских *народов*»; зачем везде они (скряжники) являются не подлинными обладателями, а лишь в качестве «имени прилагательного» около иных и единственно значащих имен существительных: «народ», «искусство». «Ах, *если бы* нам это все, но не платонически, а *эссенциально!*» — вот вздох богословов и богословия за много лет уже, за многие века. Мережковский, со своим «Дионисом», и предлагает им все это невероятное богатство, предлагает *эссенциально*; но требует... Или, точнее, он ничего *сам* и *от себя* и *ради себя* не требует, а просто предлагает *самим христианам* разрешить почти математически-точную задачу:

- 1) кто хочет обладать кровью — должен быть сам *кровен*;
- 2) кто хочет обладать плотью — должен быть сам *плотянен*;
- 4) кто хочет обладать богатством — должен быть именно *богат*,
- 5) и *вдохновенен*,

6) и обилен,

7) богом и «Богом» быть: дабы стать Отцом и «главою» церкви обильной, «божественной».

И тогда — все пожелания богословов и богословия исполнятся. Бог — вечен и одно; но *сознание* Его «верующими» может быть различно: и вот *герты* этого-то сознания непременно сформируют *тип*, или *инаге* «предикаты», религии-церкви. Если вся боль богословов свелась почти к воплю: «отчего мы не по *существованию* владеем миром», то позади его лежит та ошибка их же, что вообще все *эссенциальное* они выпустили, враждебно вытолкнули из собственного представления «Бога» и, приняв Его как великое *Nomen*, образовали не *Religio*, а *номинализм* с религиозными претензиями.

Ну, хорошо: согласимся с о. Михаилом, что «ни восторга, ни вдохновения» религии не нужно; что, не содержась в исповедуемом Боге, они не содержатся и в исповедующей Его церкви. Отлично, мы успокоились. Но что же у нас осталось? Например, не осталось ли у нас пронырство, каверзничество, — добродетели холодные, качества ледяные, в которых непременно напутает «вдохновенный», а вот без вдохновения человек весьма далеко может пойти в практике этих душевных способностей или «немощей»? Да, принципиально они не исключены. Обратим внимание. Действительно, не найдется ни одной строки во всей необозримой богословской христианской литературе за 2000 лет, «потворствующей разврату»; ну хоть бы пятистишие за 2000 лет:

Шопот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени...

Ни одного такого или приблизительно подобного пятистишия в 390 томах *in folio* «*Patrologiae cursus completus*» * Миня, который обнимает всю совокупность трудов древних писателей христианства. Ни цветочка. Ни лучика. Ни росинки.

30 Была же причина, так радикально подсекшая

Шопот, робкое дыханье.

Но сказать и исповедать, что так-таки нигде, ну хотя бы у Тертуллиана или вообще кого-нибудь, из *западных* отцов (ибо о восточных мы не смеем говорить), не было решительно ни одного слова «пронырливого» и «каверзного» — этого сказать невозможно. Познаем истину из взаимных упреков. Ни один восточный апологет не упрекнул западного богослова в «потворстве чувственности», в дифирамбах «робкому дыханью и вздохам»: до такой степени их действительно не было! А вот упреков в «пронырстве и каверзничестве» — сколько угодно. И значит, подлинно эти качества были! Были они в одной западной части христианского мира, и может быть, не вовсе лишена их и другая. Не смеем здесь указывать,

* «Полный курс патрологии» (*лат.*).

но вправе сослаться на о. Михаила. На магистерском диспуте в Казани, перед зачитою диссертации, он произнес речь: «Две системы отношений государства к церкви. Римское и Византийско-славянское понимание принципа отношений государства к церкви» (Казань, 1902). В ней изображены идеалистические течения Византийской истории, как они выразились в совместной работе государства и церкви. Государство имело самое возвышенное воззрение на церковь, и то *помогало ей силой* (школа Юстиниана Великого, партия, группировавшаяся около Св. Софии), то само, так сказать, сгибалось и мякло в руках людей церкви, отказываясь даже и для себя, в своих собственных недрах, от жестких и твердых форм юридического существования (партия, группировавшаяся около Св. Непорочности, т. е. Церкви Влахерны вместе со Студийскою обителью). В конце концов победило второе течение, наиболее идеалистическое, небесное. И вот результат этого, т. е. результат того, что государство как бы передало в руки церкви, в лице ее самого кроткого и нежного, идеалистического течения, некоторые свои функции. «В последние дни Византии создан институт *вселенских судей*. Вселенские судьи, ведавшие важнейшие преступления граждан, были в большинстве священники. Они перед Евангелием давали обещание судить по правде и судили в обстановке, не похожей на суды мира сего. Суд часто происходил в церкви; на первом месте между книгами закона было Евангелие, и суд производился более по правде Христовой и апостольской, чем по институциям и пандектам. Имена Тита и Кая, которые так часто встречались в прежнем римском праве, — заменены были здесь именами Петра и Павла» (стр. 18). Так рассказывает о. Михаил одну половину дела и продолжает о другой: «Но сами вселенские судьи через несколько времени оказались под судом за лихоимство и неправые суды. Убийства, ослепления, кровь, казни и пытки — все это было кощунственным ослеплением Евангелия, хотя это Евангелие и заменило в судах свод законов» (стр. 19). Так на двух страничках рядом изображает историк, канонист и монах царство «бедных» по принципу, «не вдохновенных» по обету, которым, за исключением горячих сторон души, остались холодные: корысть, коварство, хитроумие и хитро-сплетения.

«Нет оргийного начала в религии» (тезис о. Михаила): это значит только, что в ней оставлены одни холодные качества, между которыми из первых — дипломатия, казуистика, суд и администрация. На вопрос, почему так обильно эти качества привились повсюду к европейскому «духовному строю», отчего волосьи жилы повисли на арфе Давида, — и можно ответить почти восклицанием Мережковского: «нет и не было здесь бога вина и веселья, веселого и опьяняющего, который... чему-чему ни научил бы людей, но уж во всяком случае не научил бы их юриспруденции». Тут и входит струя «сладких соблазнов» (не в худом смысле), которые несомненно включены в природу Диониса-Адониса: она острым и горячим своим дыханием убивает то смертное начало в смертном человеке, которое помешало служителям Влахерны и Непорочности выполнить не то, что небесную свою задачу, но хотя бы соблести обыкновенную человеческую добросовестность. Вечен плач богословов: «почему *мы* не таковы, как наши *принципы*». Но потому и не «таковы» вы, что принципы ваши лишь *алгебраически*-прекрасны, а не *истинно*-прекрасны; что они хороши — если их написать, а для исполнения... они *сами* не дают силы, ибо не эссенциальны, а номинальны, не вдохновляют и, словом:

Восторга нет, ни вдохновенья.

«Византия оклеветала те принципы, которые дают ей место в истории культурного самосознания человечества... Византийцы убили ту правду, которую жива была Византия, сами лишили себя света и разрушили грандиозное здание, какое создали. Учреждения, формы жизни приняли культурные начала Влахерны, но не нашлось людей, чтобы вместить эти начала. Сами вселенские судьи очутились «под судом за лихоимство» и т. д. и т. д. Так плачется автор. Все — «не по существу»; «только — форма», «шелуха и шелуха», «нет Диониса» — подводит итог этим «плачам» Мережковский*.

- 10 * Касательно этой статьи надлежит заметить следующее. Св. Евангелист Марк предварительно повествованию о Предтече Господнем Иоанне, приводя ветхозаветное пророческое место, говорит: *вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою* (Марк. 1, 2; сравн. Малах. 3, 1). Здесь «Ангел» относится к Предтече Иоанну. Ангелы изображаются с крыльями, поему и св. Иоанн иногда изображается на иконе окрыленным в некоторых древних русских церквях. — Сопоставление в статье священных христианских имен с античными мифологическими «представлениями» следует понимать, конечно, не по существу, а лишь потенциально. Язычники *славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся* (Римл. 1, 23). Истинный Бог Иисус Христос неизменяем; всегда «новый», Он *и вчера, и сегодня, и во веки Тот же* (Евр. 13, 8);
- 20 в Нем *ей и аминь* (Откров. 22, 20). — У народов древних, до-христианских, данное еще в земном раю божественное обетование о Спасителе, Избавителе мира, истинные понятия о Боге Вышнем, с течением времени, по мере того как народы все более и более «отходили на страну далеке», затемнялись, помрачались. Но Создатель «не забывал убогих Своих до конца» и, хотя отрицательным путем, Он руководил их к Небу. Конечно, у народов древности, «не имеющих закона», было представление неясное о спасительном Промысле Божиим. Указателем этого могут служить выражающие идею чего-то тяготеющего над ними слова «*μοῖρα*», «*fatum*», «*fortuna*» и др. Ведь душа человеческая, по выражению древнехристианского церковного писателя Тертуллиана († в начале III ст. по Р. Хр.) есть «христианка»; и язычники, будучи *сами себе законом и по природе делающие законное* (Римл. 2, 14), временами обращали взоры
- 30 в «превыспренность». Отсюда и объясняется их духовное миробытие, их религиозные искаженные верования, мифология. Помраченные черты Искупителя-Христа, допустимо, могли отразиться в Адонисе — Дионисе — Вакхе древности. Но пришел в мир Спаситель Христос Иисус, рассеял тьму «людских невежествий». Совершилось величайшее в мире чудо, которого решительно никто не признать не может и пред которым совершенно бледнеет, как мираж, всякое дионисово начало. Простые рыбаки-апостолы привели ко Христу эллинских мудрецов и всю эллинскую мудрость и «буйством Евангельской проповеди» покорили «все концы вселенной». *Когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Немудрое Божие премудрее геловеков и немоцное Божие сильнее геловеков* (1 Коринф. 1, 21, 25). — Конечно, в христианстве нет струи «сладких соблазнов», входящих в природу Диониса. Христианская религия есть особенная религия — бо-гооткровенная, принесенная с Неба. В ней есть спасительная благодать, *немоцная вратующи и оскудевающая восполняющи*. Она первая идет навстречу каждому человеку, желающему с ве-

В другом месте («Психология таинств») тот же о. Михаил пишет о браке, что он свят и чист, насколько из него исключена страсть; то есть опять же: «нет Диониса — будет *добродетель*. Но «добродетель» ли будет? не просчитался ли он как «психолог» таинств, просчитавшись как историк и канонист? Несколько лет назад печатался рассказ: уже подходивший к пристани пароход (на Волге) вспыхнул пожаром, и сгорел — как куча стружек. На нем обгорела жена одного художника, ехавшая с детьми. Она выскочила на пристань, едва подошли к ней — и *спряталась за поленищами* дров, обычно заготавливаемыми на берегу для пароходов. Когда ее там нашли, она закричала: «не приводите сюда детей — *они испугаются*», т. е. при виде обгоревшей матери. Несчастливая, но и прекраснейшая из женщин, чуднейшая из тварей Божиих. До того она насыщена была заботой о детях, что всего за несколько часов до смерти (она скоро скончалась от ожогов) думала: как бы они не *испугались* изуродованного огнем вида матери. Это уже не «судьи Влахерны». Но откуда взялась эта необыкновенная и, смею сказать, неслыханная любовь к ближнему, к другому человеческому существу? Да из того, что это «иное человеческое существо» было из ее крови и сотворено было *в ее недрах*, — о чем всем один единомышленник о. Михаила, М. А. Новосёлов, выразился, критикуя Мережковского же:

«Их конец — погибель, их Бог — *грево* (его курсивы) и *слава их в сраме*: они мыслят о земном» («Нов. Путь», июль, стр. 277). 20

Так вот как именуются эти недра, дающие такую неслыханную любовь. Но, озирая неудачи Византии, хотя бы в цитатах из о. Михаила, не вправе ли был бы Мережковский перефразировать:

«Ваш конец — гибель, ибо ваш бог — *Номеп*, и слава ваша в лжесловесничестве: ибо вы мыслите о воздушном и химерическом».

Да, эта мать, сгоревшая, не ознакомленная с «психологией таинств», по о. Михаилу, некогда просидела лунную ночь, не хуже Фетовской:

Шопот, робкое дыханье,
Трели соловья...

В юном художнике, потом ее муже, она увидела «Адониса», точь-в-точь его: сквозь черты, обыкновенные, человеческие, ни для кого, кроме нее, не интересные, она прозрела «бога», «ангела»: 30

рою принять ее. Как *Пиво новое*, Божественная благодать нравственно смягчает человека и постепенно возрождает его для жизни духовной: *Дух дышит, где ховет, и голос его слышит, а не знает, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа* (Иоанн. 3, 8). Христианский Бог есть *Любовь* (1 Иоанн. 4, 8), и принципы христианской религии — истинно-прекрасны. «Законы — святы», но исполнители их не всегда на подобающей высоте. — Притча о богатом и Лазаре одною своею стороною — богатством и бедностью — ударяет по самому жизненному нерву, касается области социальной; притча же о десяти девах पहले всего выражает момент эсхатологический, более или менее далекий от внимания члена Церкви. Этим и можно объяснить распространенность первой названной притчи и в меньшей степени *жизненное развитие* второй. К притче о десяти девах приурочена церковная песнь: *Се, жених грядет в полунощи...* 40

Примегание архимандрита Мефодия.

И лобзания, и слезы...
И заря! заря!

И сокровенное для всего мира, для отца и матери, подруг и даже детей, она раскрыла для него, как *единого и исключительного* во вселенной существа; раскрылась — и зачала, и понесла; а потом умерла с испугом: «как бы они все не *обеспokoились* — видя меня болеющей и умирающей».

10 Так вот почему «муж и жена — одно», а не по предписанию «судий Влахерна»; и отчего это святое соединение — «тайнство», а вовсе не по определению, вышедшему из того же судилища. Не слова святы, а вещи. «Исключите страсть — и будет добродетель!» — учат человечество аскеты. Так ли это? «Трелей соловья» не заслушивался Домби-отец, когда зачинал Домби-сына, как бы прочитав из о. Михаила эти тезисы:

«Муж и жена сходятся всегда и обязательно в целях созидания новой жизни в детях.

Ребенок и любовь к нему, хотя бы будущему, есть с самого начала несознанная причина связи между супругами, какая соединяет двоих в плоть едину.

Мысль о ребенке необходимо предносится мужу и жене в их отношениях, — конечно, если этот брак не для похоти.

10 По требованию церкви, для брака нужно святое бесстрастное настроение как *conditio sine qua non* *. Для того чтобы брак был свят и ложе не скверно, чтобы от страстного не родилось страстное, человек должен победить свою страстность, похоть, даже в момент зачатия ребенка, — более всего в этот момент» («Нов. Путь», июнь, стр. 252 и 253).

30 Вся Европа плакала, читая, как рожденный приблизительно по таким предписаниям Домби-сын хирел. Чудными глазками смотрел он на пылающий огонь камина и чах — неудержимо, как этот огонь, по мере перегорания в нем угольев. Без болезней и боли, он умер — как многие дети, как вообще дети, бесстрастно (без «Адониса») зачинаемые. А общества европейские, без согласования с принципами Влахерны, назвали откровенно Домби-батюшку негодяем, а такой брак, в целях поддержания фирмы «Домби и Сын» заключаемый, называют «браком корысти», «браком-гадостью», «браком как обманом и жестокостью». О. Михаил никогда не имел детей. Он не имел дочери, и не может вовсе представить ужаса и отвращения родителей при открытии, что с выходом замуж их дитя получило лишь производителя-Домби для производства Домби-сына, имеющего поддержать знаменитую фирму; или, как формулирует о. Михаил:

«Цель брака — будущие люди, дети. Вступая в брак, им передоверяет человек дело служения Церкви, в лице их он хочет дать жизни лучшего слугу, чем сам» (*ibid.*, стр. 250).

40 Благочестивые пожелания. Но слабость их в том, что целый час и наконец вечер предаваясь таковым размышлениям, никак не почувствуешь того специального в себе движения, волнения, которое и «прилепило бы мужа к жене», до плоти единой, между тем как это может сделать единая соловьиная трель, проравшаяся в оставленное незакрытым окно.

* обязательное условие (*лат.*).

Бедный Филиппов, издатель «Научного Обозрения» и магистр каких-то наук, погиб, начав производить опасные опыты, основанные на совершенно глупой и, очевидно, неверной мысли Бокля: «усовершенствование орудий войны сокращает войну». Сравнить только войны Наполеона с войнами Фридриха Великого, а эти последние — с рыцарскими ломаниями копий. Но Бокль написал: «History of civilization» * с мириадами цитат, и напечатал в Лондоне: достаточная причина, чтобы петербургскому магистру наук сойти с ума от восхищения, покорности и всяческих рабских чувств к заморской мысли, которая в самой Англии никого не заинтересовала. «Никто не бывает пророком в отечестве». Жалкая смерть «магистра наук» заинтересовала прессу, хотя бы легким интересом дня, и если никто при жизни не знал, кто и что Филиппов, все узнали о нем, по крайней мере, после смерти и по поводу смерти. Так вихрь улицы несет всякий сор, какой на ту пору будет выброшен из окна. И вот это-то «вихрь улицы» более всего и мешает «восстанию пророков в отечестве»: он поднимает легкое и носит-носит его, показывая глазам зевак; а тяжеловесное камнем падает на землю, непосильное крыльям воздушной стихии. И прохожие топчут ценность, в то же время любуясь красной тряпкой или разноцветным перышком, носимым туда и сюда. Бэкон на этом построил свою гипотезу, конечно ошибочную, что от древних литератур, греческой и римской, до нашего времени дошло только малоценное, а все тяжеловесное забывалось и исчезло без возврата. Из греков и из римлян выбирали избранные умы, Свида, Фотий, Августин; выбирали из них и хранили избранное тихие, созерцательные времена. «Вихря улицы» еще тогда не образовалось. Но вот он настал в Европе, понес легкое: и подите-ка, переборите его! Так же трудно, как повелеть: «стой, солнце, не движься, луна». Побудить ветер может только ветер же: нужно возникнуть чему-нибудь тоже легкому, но легкому, так сказать, обратного смысла, дабы овладеть вниманием улицы, перенести его на другие предметы, к другим горизонтам. Но качества «легкости» останутся, т. е. главный враг серьезного. Это — то же, что «фарисейство», о котором выше мы объяснили, как оно победило Христа. Однажды и навсегда фарисейство и «легкость» победили искренность и серьезность, и как одно убило религию, вообще всякую на земле религию, так второе на наших глазах убивает литературу, и трудно предвидеть, как далеко пойдет омертвление последней.

Мережковский попал именно в полосу этого омертвления, особенно быстрой и сильной фазы его, по крайней мере у нас. Можно представить себе, как принята была бы его мысль в пору Герцена, Грановского, Белинского. Бедные, ведь они все питались, до ниточки, западной мыслью; туземная почва не рождала ничего, кроме альманахов и «альманашников». Вся русская мельница 40-х годов молотла привозную муку: молотла превосходно, с энтузиазмом и добросовестностью. И выходил хлеб, достаточный для туземного прокормления. Можно представить себе, как заработала бы мысль Герцена, Грановского, Белинского, если бы ей представилось это особенное сцепление тезисов, сделанное Мережковским, где мир древний и новый становятся один к другому в совершенно новое отношение, еще ни разу не показанное в истории. Теперь... только староверы на Керженце, да еще о. Михаил и «Миссионерское Обозрение» внимают нашему литератору. «Ни

* «История цивилизации» (англ.).

Христос, *ни* Дионис» — отвечает согласно ему литература на его призыв «и Христос, и Дионис».

Вот связь таинственная, в пользу Мережковского: на Керженце или страницах «Миссионерского обозрения» все же чувствуют вопрос о Дионисе, именно потому, что там не умер и Христос. В его *зерне* античный мир разгадываем только через призму христианства. Лишь через Христа и веру в Него мы можем дойти и до постижения... «Элевзинских таинств». Там, где умер Христос и христианство, окончательно, неживимо, — не могут воскреснуть и Адонис, и адонисово. Исчез самый вкус к этому. Мы не всегда замечаем, что, напр., проблема пола, страсти, брака, — так или иначе все же воспринимается духовными писателями, и притом одними ими во всей литературе: вне их круга, т. е. вне круга религии, христианства, вопрос этот никак, вовсе не воспринимается, нет ни малейшего и ни у кого чувства к нему, органа соответственного обоняния. Это показывает, что, хотя (тезис о. Михаила) христианство и «убило оргийное в человеке начало», однако само оно еще полно запахом убитого. Не много времени пройдет, улетучится окончательно этот запах, и поле победы покроется тою мглою косной и холодной, из которой уже сейчас несется крик: «*ни* Диониса, *ни* Христа, а давайте нам анекдоты о Филиппове, как он делал опыты и умер, вычитав какую-то из Бокля глупость». Я хочу сказать, что Мережковский прав в той части своих утверждений, где он говорит, что окончательная победа Христа, как Он до сих пор понимался и понимается, каким-то образом ведет к исчезновению и Самого Христа. Сперва — Голгофа, потом — один Крест, и наконец — пустыня, в которой ни Креста, ни Голгофы, *нигего*.

Вот в эту-то пустыню «после Христа» и врезывается его проповедь, никого не пробуждая к вниманию. От нее больно духовенству: и отсюда слышатся на него окрики. Но вне духовенства решительно никому не больно от нее, как и не сладко от нее. И Мережковский, со всем богатством совершенно новых тем — тем, наконец, житейски важных, ибо они или *рушат*, или *преобразовывают*, но ничего не оставляют и прежнем виде — являет сам вид того жалкого англичанина, который года три назад замерз на улицах Петербурга, не будучи в силах объяснить, *кто он, откуда* и чего ему нужно.

ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ЗОЛЯ

Насколько много шума произвела смерть Золя в прошедшем году, фатальностью поразив всех своей неожиданностью, настолько же тихо протекает годовщина этой смерти. Заметно, что Золя более шевелил впечатлительность человеческую, нежели занимал ум кого-нибудь. О нем не появилось больших и сложных исследований. Смерть его была сенсацией, но не вызвала длинной задумчивости в европейских обществах, не повлекла за собою грустной тени. Редко у кого на столе или в альбоме любимых лиц встретишь его карточку. Длинных разговоров о его произведениях в посмертный год не слышно было. Его не начали вторично перечитывать и опять обдумывать, когда телеграф принес и разнес по миру роковое известие. Можно сказать, насколько заставлял о себе говорить всякий вновь

печатавшийся роман Золя, настолько мало заставил говорить, и особенно — думать о себе весь Золя. Как будто его романы, каждый порознь, представляли больше интереса, нежели общая рубрика под заглавием: «Золя и его литературная деятельность». Замечательно, что он умер немножко похоже на то, как писал: «Приехал, затопил сырой камин, угорел и умер; жена едва спаслась», — это решительно, документально и бесповоротно, как многие мазни его упрямой кисти, как наблюдения его глаза, как эпилоги некоторых его романов.

Труды его и жизнь его и велики и малы, и грустны и веселы. И это я говорю не риториче- 10
 Мало у кого литературная деятельность так правильно отразила лицо автора. Золя во всяком случае прожил замечательно удачную и, следовательно, веселую жизнь, ставши тем и сделав то именно, чем хотел быть, что задумал делать. Всеми нами несколько играет судьба, жестокая, беспощадная. Золя скорее сам беспощадно расправился с своей судьбой; он держал над ней арапник, и в фигуре камина она как будто хитро укусила его, измученная ударами решительного человека. Биография его в этом отношении поучительна и даже воспитательна, в век несколько хныкающий и безвольный. Из бедности, из ничтожности рождения и положения, он поднялся в фигуру, видимую всею Европою. Никогда и ничего он не сказал с чужого голоса; если что и усвоив, то усвоив буквально как собственность, которою он владел, как собственною сработанною вещью. Такова 20
 была его программа экспериментального романа. Он взял и термин, и идею едва ли не из физиологии, вообще из мира опытных наук; но вся его пропаганда этой формы романа шла с таким упрямством и горячностью, как если бы она вся от начала и вершины изошла из его ума. И в других случаях этот крепкомысл никому не подражал, никого не копировал, никого даже не боялся: осуждения, на него сыпавшиеся, иногда в крайне язвительной и, наконец, удручающей форме, никогда не могли пошатнуть его крепких нот.

В этом отношении он столько же (если не более) был сильною историческою 30
 фигурою, нежели в собственном смысле литератором. «Литератор» — человек пера, уединенный созерцатель или мечтатель. Может быть, он не таков в своей идее или возможности, но он таков в своем положении и наличном характере. Кто серьезно считается с «литератором», как с политической силою? Тургенев, Пушкин и Лермонтов, Теннисон и Диккенс были люди общества, салонов или самоуединявшихся кружков. Жизнь вся взята в руки чиновником, который если и сторонится, то перед грубым толчком какого-нибудь уличного крикуна. Золя вот именно и взял в себя (точнее имел от рождения) много от этого уличного крикуна, от его резкости, грубости, но и силы. Все время, как он писал, Золя, в сущности, кричал. Что Золя пишет, об этом зналось заранее. Когда появлялась его книга — она появлялась возами, как реклама — приглашение на митинг. Но у другого это вышло бы искусственно и несимпатично. Между тем Золя уже так 40
 сделан был, с таким граммофоном во рту, что все, что бы он ни подумал, — он думал вслух, а что у него было «вслух» — гремело как американский оркестр в тысячу инструментов. В этом отношении невозможно не оттенить его Амьелем, который ухитрился всю жизнь прожить шопотом; быть десятки лет мудрейшим человеком в Европе и внятно выговорить об этом только по смерти. Насколько грустен и привлекателен Амьель (однако не для всех же?), настолько Золя для очень многих людей положительно был непереносим этим шумным характером голоса, деятельности всей фигуры. Ведь век наш далеко не с здоровыми нервами;

и вот на них-то он производил часто режущее, неприятное впечатление. «Осторожней, скрипач: ты ведешь по струнам не смычком, а пилой».

Золя был глубоко культурный человек, — не в том смысле, что на нем самом культура нарисовала особенно сложный и тонкий свой узор, а в том, что он все время работал страшно напряженно и успешно в самом «пекле» двигающейся вперед культуры. Так иногда издали видишь свалку людей, в которой ничего не можешь разобрать, кроме движения и криков: и подойдя ближе, замечаешь, что в этой толпе, совершенно закрытая другими фигурами, движется исполинская фигура силача, потрясающая десятки людей, ее облепивших. Вот таким работником, силачом культуры, все время был Золя, с ограниченностью обыкновенного работника, наделенного только страшными мускулами, но и с его ролью, с принадлежащею ему особой честью. Книги его не будут поставлены на полку уединенного любителя мудрости и поэзии; но невозможно написать «Историю Европы за вторую половину XIX века», не посвятив Золя длинных страниц и даже не поговорив обстоятельно об его отдельных романах.

Что же такое представляют они собою? Новое, могущественное и нужное. Поэт или художник до Золя, всякий рисовал собственно человека. Золя начал первый рисовать человечество. Здесь его и малость и величие. Умом, характером, пронизательностью, всею суммою качества души, которую мы обозначаем именем: «развитие», Золя неизмеримо уступал великим светилам европейских литератур, из которых для оттенения назовем хоть Шиллера, Гёте, Гейне, Пушкина, Лермонтова, Толстого, Диккенса. Золя около них просто топорен: точно животное, а не человек. Мы позволяем полными буквами написать это свое о нем понятие, в котором, как ниже увидит читатель, нет ничего унижительного. Мне кажется, он не только не мог бы создать, но не мог с полным разумением даже и прочесть такие вещи, как «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», или «Тамань» и «Ашиб-Керим». Многие всемирно знаменитые произведения литературы его никогда, вероятно, не заинтересовали, не могли бы тронуть. Совершенно невозможно представить себе Золя, зачитывающегося Дантом. В этом отношении он положительно не только не возвышался, но даже стоял ниже множества европейских читателей, обыкновенных, средних, но с любовью к литературе и вкусам к слову, к поэтическому образу. От этого происходило то, что имя Золя, наравне с похвалами ему, трепалось и ругалось множеством обыденных читателей; что публика нисколько не благоговела перед ним, как имеет тенденцию припадать на колено перед всяким европейским именем. Некоторыми штрихами умственного и сердечного развития Золя стоял ниже всякого почти своего читателя, конечно, удивляя его, увлекая и восхищая другими, о которых пока мы не говорим.

Вся литература до Золя уходила в глубь человека. Не всегда в героическое (хотя очень часто), иногда в порок, в слабость (часто у Диккенса, напр., в «Давиде Копперфильде»), наконец в преступление: но непременно *вглубь*. Все движение литературы было вертикальное, сверлящее и разрыхляющее. Наряду с великим познанием человека литература эта нарисовала и величайшие идеальные образы. Иногда она их подкрашивала, но в большинстве открывала это идеальное в подлинном человеке. Гамлет, Вертер, Фауст, многие тургеневские лица, некоторые персонажи Диккенса показали читающему человечеству столько душевного сияния, такие великие образы или умственного утончения, или доброты

и деликатности, что старая присказка «богоподобный человек», право же, могла иногда показаться правдой. И все это было достигнуто, что «человек пера» не имел собственно другой темы, как изучение человека и размышление над человеком. Не над человечеством, а именно над единичным, случайным, встречным человеком. Вся литература состояла в тончайшей рисовке душевного лица человека, и тех колебаний, которые она испытывает в мириаде житейских комбинаций. Все эти комбинации, сама жизнь, никогда (исключения были, напр., у Теккеря, но не принципиальные) не служили главной темой, так сказать, подлежащим и сказуемым литературного предложения. Вся литература была *портретна*: и жизнь была лишь рамою, то бедною, то роскошною, но непременно подчиненною существованию вставленного в нее портрета. «Эгмонт», «Гец фон-Берлихинген», «Вертер», «Фауст», «Манфред», «Чайльд-Гарольд», «Евгений Онегин», «Рудин»: это ряд *лиц* названных, которые в то же время суть названия литературных произведений. «Отцы и дети» могли бы быть названы: «Базаров», а «Преступление и наказание» часто называют «Раскольников». Даже романы, рисующие больше эпоху, назывались именем: «Обломов». Таким образом, если даже романисту приходилось говорить о типичной складке жизни, он делал это через *олицетворение*. Все же он рисовал портрет, и не как *пример* эпохи, а скорее в портрете он давал олицетворенную эпоху. Т. е. самую жизнь, самую историю поэты и художники рассматривали не как коллективное и смешанное явление, а как некий единоличный дух, раздробленный на типы и характеры, из которых один брался для воплощения целого. Как будто жизнь рыцарская имела у себя лицо (Гец фон-Берлихинген), лень русская была лицо же: а не было это просто совокупностью материальных, экономических, географических и этнографических условий, которые равно формируют всякого Ваньку и Машку. Все были Иоанны и Марии, Ванек и Машек вовсе не было. Все выходило крупно, красиво, многозначительно; и была бездна истинного в этом, ибо человечество есть подлинно Иоанн и Мария, сколько бы подлые условия ни дробили и ни мазали великолепное его лицо.

Золя просто не был способен ни продолжать и выполнить эту тему, ни даже хорошенько понять ее. Рождаются иногда люди с такой односторонностью: и она бывает нередко провиденциально нужна для начатия совершенно новой в истории темы. «Экспериментальный роман» только в руках и в устах Золя и имел и имеет какой-нибудь смысл. Золя был животен, не в нарицательном, а в одностороннем смысле, — даже в смысле некоторого преимущества. Рефлексия Фауста или Гамлета, даже как дробь, никогда не посещала его. Все у него пошло в зоркий глаз, твердую выю, огромное туловище, неодолимые ноги, неустанные руки. Он взял свою тему со *сгрус** человечества, когда все до него брали для изображения и размышления только *сарит*** . Он не только начал изображать, но и почувствовал с необыкновенною даже, пожалуй, мистической глубиной человечество как громадное коллективное чудовище, около страданий, нужд, грязи и могущества, которого все выпренности Фаустов и Гамлетов — то же, что рвущаяся паутина в углу громадного, сырого и недостроенного здания. Невозможно в этой мысли, скорей — чувстве, Золя отрицать даже некоторой «боже-

* тело (*лат.*).

** голова (*лат.*).

ственности», тоже в своем роде «фаустовщины», но какого-то второго, последующего этажа, не того, в котором трудились Гёте и Шиллер. В толпе и массе есть великая мистика, есть своя «святыня»: но заведует ею Бог, ведущий человечество, тогда как единичным ведомым в этой массе лицам она остается вовсе неизвестна, не интересна, не нужна. Здесь Золя со своей генерацией Ругонов, «Брюхом Парижа», «Лурдом» и «Римом», «Нана» и «Fecundité» * положительно велик. Кто брал такие темы? Всякий Париж делал местом приключения своих героев, но никто даже не пытался, так сказать, изобразить приключения самого Парижа. И Золя брал это не как Вальтер-Скотт свои исторические перспективы, а как живое и чудовищное лицо, или, точнее, как именно мистическое безличное или слабо-личное чудовище. Машины, рынки, разврат — все выступало в качестве «подлежащего и сказуемого» литературного произведения, а «Нана» или «Ругоны» были незначущим именем адресата на полном содержательности письме. И это не имело у него, или не главным образом имело смысл обличения: а именно изображения, воплощения, с слабыми и во всяком случае второстепенными тенями отвращения или негодования. Сама Нана, как и ее судьба, — неинтересны; но Золя разрисовал в видную для всей Европы фигуры одну из цифр статистики разврата, и вместе с тем вывел одну на образующих, несомненных линий современной цивилизации. Показал, так сказать, «устой» ее, говоря языком Златовратского: и уж ее «устой» вышел гнил и зловонен, но не Золя. В романах Золя, конечно, мало было и олеографии, но местами — и настоящее мастерство. Художник выросал в нем, он писал истинно мистические страницы биографии «чудовища». Везде человек у него притупился, принизился, стал «примером» движущейся цивилизации, так в грамматике есть «примеры» склонений и спряжений. Для этого, для всех этих особых задач литературной живописи, конечно, надо было экспериментировать и экспериментировать. Ну, как писать «экспериментально» Фауста, Рудина, «Преступление и наказание»? Ничего не видеть — просто это было бы смешно. Вот отчего все его рассуждения об «экспериментальном романе» казались людям прежней, портретной литературы, какими-то неумными приложениями к поэзии вне физического кабинета или физиологической лаборатории. Но для Золя, который и нес в человеке и человечестве, в цивилизации, в городе, в государстве именно физическую и физиологическую сторону, *которая есть*, — это было понятно, разумно и необходимо. Он был Клодом Бернаром социальной статики: ему и нужны были дух и приемы его науки.

В темах и всей своей работе, во всей биографии Золя был глубоко добросовестный человек, и это составляет положительную в нем черту, вовсе не непременную в писателе. В этом отношении он стоит неизмеримо выше Гюго, для которого его «я» вечно парадировало впереди всех дел человеческих («Париж будет назван некогда городом Гюго»). В Золя была самоуверенность честного оувтиег **, который знает, что он заработал сам плату: но не было вовсе столь трудно неустрашимого во франкузе тщеславия, и которое при его литературном положении было бы вполне объяснимо и почти извинительно. Но он был занят своими темами больше, чем собою, и любил себя именно как оувтиег'a около многоценной работы.

* «Плодородие» (фр.).

** рабочий (фр.).

Ив. С. ТУРГЕНЕВ (К 20-летию его смерти)

Имя Тургенева без вражды, без полемики, без ясных причин, тихо замерло в сознании живущего сейчас поколения. Мало кого называли так редко, как его, в литературе, в беседах истекших двух десятилетий. Конечно, печаталась всякая записочка, подписанная его именем; никакое воспоминание о нем не получало отказа в печатном станке. Но это все знаки академического почтения. Тургенев вошел в то безмолвие исторического почитания, где так же тихо, как в могильном склепе. Его статуя поставлена в пантеон русской славы, поставлена видно и вечно; ее созерцают, но с нею не переговариваются ни о чем живом живые люди. 10

Уже когда его хоронили, в нем хоронили великое литературное имя, а не оплакивали порыв, который остался бы незавершенным или незащищенным, за смертью своего начинателя или самого видного двигателя. Тургенев был литератор *pur sang* *, в редко наблюдаемой чистоте. С его смертью умерло его слово; выпало перо из рук несравненного рассказчика; прекратились томы его изящных творений, которые несколько десятилетий доставляли умственное и эстетическое, частью философское наслаждение решительно всему образованному русскому обществу. Потеря в нем русского образования — была чрезвычайна. Хотя Тургенев важнейшую часть своей деятельности принадлежит послереформационной эпохе, но его корни, воспитание, настроение духа и даже самый внешний облик лежат в старом барском укладе русской жизни, который он нежелчно ненавидел, без грусти с ним простился, сохранил его драгоценнейшие черты в своих рассказах и внес весь аромат его особой культуры в новую, более грубую и более сильную фазу нашего исторического существования. 20

Известно его великое уважение к Пушкину. Пушкин был зенитом того движения русской литературы, которое прекрасно закатывалось, все понижаясь, в «серебряном веке» нашей литературы, 40—50—60—70-х годов, в Тургеневе, Гончарове и целой плеяде рассказчиков русского быта, мечтателей и созерцателей тихого штиля. Отсутствие бури, порыва, который так ясен у Толстого и Достоевского, который был в Гоголе и Лермонтове, отсутствие этого порыва соединяет всю группу названных писателей, которые начертали великий и подробный портрет своей родины, довели до величайшего одухотворения и изящества русский язык, и в общем выковали почти всю русскую образованность, на которой спокойно, почти учебно воспитываются русские поколения, чуть-чуть скучая, как и всякий учащийся скучает над своим учебником. С Гоголем, Лермонтовым, Толстым, Достоевским вошло неправильное, но и гениальное, не педагогическое, но манящее начало в русское образование. Трудно их не только сейчас, но и когда-нибудь обработать для русской школы, но над ними всегда будет тайно задумываться все бродильное начало Руси. Если те писатели, спокойные, дали ей образы, как она жила и есть; то эти тревожные писатели пробовали, каждый по-своему, начертать ей закон и... *fatum* что ли, пророчество. Динамическое начало Руси — в них; статическое, очень красивое — в тех, от Пушкина до Тургенева. 30

* чистокровный (*фр.*).

Несмотря на всеобщий авторитет тургеневского языка, который признан классическим, эту похвалу надо ввести в некоторые границы. Язык его, кроме безусловной правильности и изящества, отличается теплотой и мягкостью, пожалуй большими, чем у кого-нибудь из его плеяды. Русская душа глубоко живет в этом языке. Но именно в ее тихих, не порывистых сторонах, которые есть. Теперь, когда мы имеем творения Тургенева рядом с таковыми же Толстого и Достоевского, мы не можем не отметить некоторую излишнюю неподвижность его языка, утомительную ровность, недостаток на всем почти протяжении — одушевления. У Тургенева не найти *великолепной* страницы: а такие есть у обоих названных писателей («Сон смешного человека», главы «Бунт» и «Великий инквизитор» у Достоевского, у Толстого — множество отдельных мест, которые не нужно перечислять за их общеизвестностью); хотя есть длинные страницы, десятки, чуть не сотни страниц, особенно у Достоевского, под которыми Тургенев, ради сохранения литературной репутации, никогда не подписал бы своего имени. Язык его равно хорош везде, но не имеет в себе вершин. Язык особенно Достоевского, а местами Толстого, ниже общим уровнем, но он имеет в себе отдельные пункты такой несравненной высоты, на которые Тургеневу едва можно было, закинув голову, взглянуть. Эти особые вершины языка уже есть у Гоголя в знаменитых его то «отступлениях», то «лирических местах», где ткань книг вдруг прорывается и из разрыва несетя ввысь слово такого восторженного напряжения, а наконец и могучей силы, каких мы напрасно искали бы у наших «тихих» писателей. Не говоря о Толстом, рассказ которого везде несравнен по живости, и большие романы Достоевского читаются теперь живее и интереснее, нежели значительно потускневшие от времени рассказы Тургенева. «Преступление и наказание», многие сцены «Братьев Карамазовых» и «Бесов» читаются так, как если бы они сейчас были написаны. Их психология — вечна, но и кроме этого самый язык то сарказмом, то одушевлением, то неожиданностями душевного анализа и наконец выразительностью рисовки волнует вас, занимает.

Значение Тургенева — в полной и удивительной гармонии не гениальных, но необыкновенно изящных способностей. Насколько он уступает и Толстому, и Достоевскому в силе, настолько же их превосходит в учительных качествах, в разносторонних сведениях вечно учившегося и хорошо учившегося человека; имеет преимущества спокойного, никогда почти не волнуемого, по крайней мере, не мятущегося ума. У него есть необыкновенно грустные страницы — о смерти, природе безжалостной и всеильной (см. «Старуха» в «Стихотворениях в прозе» или конце «Призраков»). Овладей это чувство Толстым или Достоевским и оно на годы подчинило бы их, растравило им душу, вызвало бы крикливые, мучительные и великолепные создания (так это и вышло у Толстого, в «Смерти Ивана Ильича», и в сложных картинах смерти Андрея Болконского и Карениной).

У Тургенева все кончилось штрихом, страницей; прошло облачком, не разрушив небосклона. Таково элегическое окончание «Отцов и детей» или «Первой любви». Тургенев как будто никогда не был поражен исключительной идеей, исключительной по красоте, величию или ужасу. Его ум всегда господствовал над встречаемыми или приходившими самому ему на ум идеями: он ими управлял, а не то, чтобы идеи поднимали в нем неожиданный или опасный пожар. «Не горит этот феникс, не расшибется этот Икар», можно было подумать о нем во всякую минуту и во всяком положении. Самая образовательная сторона в нем, по

которой он стал всего дороже русскому человеку, заключается в том, что свое высокообщечеловеческое развитие, до некоторой степени универсальную по интересам душу, он до того пропитал запахом полей русских, складочками русского темперамента, особыми приемами русского ума, что, как ни в ком еще, всемирное и русское в нем срослись, соединились, сроднились. Мы не можем назвать еще ни одну фигуру в нашей литературе, где «европеец» и «русский» кончались бы так незаметно, неуловимо один в другом. «Гамлет Щигровского уезда», «Степной король Лир» — это своим заглавием уже говорит о таком соединении. Тургенев знал и любил, и понимал Европу, как только лучшие, способнейшие из европейских; и одновременно этот помещик Орловской губернии, этот страстный охотник за вальдшнепами и дупелями был пропитан родиной, как немногие русские. Таким образом, двухвековое слияние России с Европой, процесс многозначительный, трудный и не лишенный опасных сторон, в Тургеневе нашел себе классическое завершение. В нем и Европа явилась в самых изящных своих сторонах, только нужных и исключительно нужных нам, и Россия в нем выразилась в таких чертах ума и характера, которым нечего меркнуть перед европейским светом. Для этого классического соединения, личное в нем «я» должно было быть именно не гениально, даже не упорно, и вместе он должен был обладать 10
чрезвычайными, исключительными способностями усвоения всего хорошего и доброго вокруг себя, изящного и благородного. Личность Тургенева просто как человека, как фигуры историко-литературной, едва ли менее значительна, чем 20
собственно содержание его трудов.

* * *

Едва ли можно найти даже во всемирной литературе другого писателя, который бы столько посвятил внимания, заботы, разумения, почти философской обработки чувству любви, влюбления. «Гости давно разъехались. Часы пробили половину первого. В комнате остались только хозяин да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович. Хозяин позвонил и велел принять остатки ужина. — „Итак, это дело решенное, — промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закуривая сигару, — каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви. За 30
вами очередь, Сергей Николаевич“» («Первая любовь», начало).

Это — почти турнир, но не с копытами в руках, а как бы с букетами роз. «О, лазурное царство! О, царство лазури, света молодости и счастья! Я видел тебя... во сне. Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми выпелами... Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. Не ветром двигалась она, ею правили наши собственные, играющие сердца. Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. Упоительные благовоения неслись с округлых берегов: одни из этих островов осыпали нас дождем 40
белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались радужные длиннокрылые птицы. Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки... Женские голоса чудились в них... И все вокруг: небо, море, колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — все говорило о любви, блаженной любви!

И та, которую каждый из нас любил, — она была тут, невидимо и близко. Еще мгновение — и вот, засияют ее глаза, расцветет ее улыбка... Ее рука возьмет твою руку и увлечет тебя за собою в неувядаемый рай. О лазурное царство — я видел тебя во сне» («Стихотворения в прозе»).

Так написал Тургенев в глубокой старости, в 1878 году. «Видел во сне», — это только другое выражение для признания: «об этом я думал, этим томился, это составило мой интимный мир, только частицу которого я успел рассказать». Мы должны здесь отвлечься от себя, от своих преимуществ, а может быть и слабостей, и войти в душу другого не со своею оценкою, а только со своим постижением. Конечно, у нас так много забот, что «лазурное царство» влюбленных и влюбленности мы замечаем только мимоходом, отдав ему 2—3 года молодости и не интересуясь нисколько им всю остальную жизнь. Но мы не вправе отказать в истине той мысли, что как есть дар и бездарность к музыке, дар и бездарность к поэзии, дар и бездарность даже к практическому ведению дел, к дипломатике или философии, так равно есть бездарность и есть же специальный дар к переживанию, испытыванию любви. И как суть философии мы можем узнать не из речей о ней обыкновенного человека, для которого она «между прочим», а из беседы о ней Платона, Декарта или Лейбница, так и о любви мы не вправе судить по своим кратким переживаниям ее, или даже на почве отсутствия всякого ее переживания, а лишь из рассказов о ней или объяснений ее таких же избранников. Есть несомненно талант влюбленности, и им обладал Тургенев. В своих произведениях он изобразил эту фазу возраста человеческого и души человеческой с изумительным богатством индивидуальных оттенков. Нужно заметить, что время его, время сильных общественных и исторических столкновений, было вообще благоприятно для проявления сильных выражений любви: противоположность убеждений, противоположность общественных положений, при загоревшемся чувстве, которое, как известно, не согласуется ни с убеждениями, ни с положением, давало особенно обильную пищу ее пламени. 60-е годы и к ним ближайший резкий столкновением, в них происходившим, давали обильный материал для этого огня, и, можно сказать, Тургенев рисовал вовремя. Его «Первая любовь» с началом, какое мы привели, как и «Лазурное его царство», поразили бы до последней степени читателя наших дней, если бы он, открыв январскую книжку «Вестник Европы», нашел в ней это или что-нибудь подобное. «Что за археология! Точно мы живем во времена странствующих рыцарей, для которых существовали эти праздные вымыслы и неинтересные, ненужные чувства».

Тургенев взял, однако, любовь не в полном круге ее течения, а только в фазе загорания и обыкновенно несчастного крушения. Никто не описал столько несчастной любви, как он; и рассказы его, везде немного меланхолические, можно определить как неумолимое исписывание надписями великолепного надгробного мавзолея, воздвигнутого над любовью. «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Первая любовь», «Рудин», «Фауст», да и все почти множество его мелких художественных вещей посвящено не успехам любви, а разочарованиям любви; ее кратким вздохам и последующим слезам. Здесь, в изображении не семейной любви, а первой романтической, он опять сближается со старыми рыцарями, которые знали влюбленность и пренебрежительно относились к более устойчивым и спокойным формам этого чувства.

Замечательно, что сколько ни есть произведений у Тургенева, во всех их старшее поколение, уже пережившее любовь и вышедшее из ее магии, представлено не то чтобы дурным, не то чтобы злым, а каким-то точно закаменевшим, лишь с одними привычками жизни, но без всякого смысла жизни и чувства жизни. Это что-то до того жалкое, мизерное, как будто те люди и никогда не жили тою самою любовью, которую он попевает в младшем, «лазурном» поколении выведенных лиц. Пигасов, Пандалевский, Сувенир — это одни насмешки, клички, но не образы, не имена. У него проходит ряд привлекательных девушек: но посмотрите, что сказал Тургенев о матерях безусловно всех их. У него не выдалось о них ни одного доброго слова, ни одного внимательного на них взгляда. Здесь 10 сказывается чрезвычайная его слабость и какая-то неустранимая молоджавость в сравнении с Гончаровым (бабушка в «Обрыве») и особенно с Толстым, которые знали душу старости и постигали особый старческий идеализм. Он не тот, что в «лазурные» годы, однако имеет и свою, не заменимую ничем иным, прелесть. Свою односторонностью Тургенев более чем какой-либо другой писатель способствовал установлению одной нашей литературно-общественной односторонности: у него все «герои» молоды; даже только в молодых-то и есть ум, энергия, чувство. Тургенев действовал очень долго и очень влиятельно, — и вот от него более чем от кого-нибудь пошло представление, что и в самом деле все умное и прекрасное содержится только в людях до 35-ти лет, которым старшие 20 только мешают жить. В этом поддерживал его и Достоевский, у которого «герои духа» тоже все от 20-ти до 30-ти лет, не старше. Толстой с неизмеримо большей опытностью раскидывает перед нами панораму движения взрослых, зрелых или старых людей, следуя в этом и деревенской мудрости, которая не дает слишком большой аттестации тем, «у кого на губах молоко не обсохло». Но эту долю своего зрелого суждения Толстой не имел силы перевесить тенденций Тургенева и Достоевского, давших целую плеяду юнцов, то действительно прекрасных (у Тургенева), то гениальных (у Достоевского — Раскольников, Иван и Алеша Карамазовы, Шатов, Ставрогин).

Быта, жизни, зрелой связанности зрелых людей, чего всего так много у Толстого, Тургенев почти не описывал же, или изображал слабо и неполно, афористично и акварельно. Точно он сам вечно жил «на хлебах» и изобразил каких-то идеальничающих «нахлебников», за которых и которым все приготовят их мамы и папы. Лодочка с «лазурными» людьми ведь и в самом деле плывет сама, без труда гребцов и предусмотрительности рулевого. Все уже управляется «движением сердца» счастливых. Но от этого несколько чахоточного характера идеализм его героев почти выигрывает. В «Накануне», «Отцах и детях», «Рудине», «Дворянском гнезде» мы видим людей, силы которых не только подняты высоким чувством любви, но около них вообще убрана вся трудная, хлебная и работная, сторона жизни. Мы назвали Тургенева великим европейцем и счастливым русским. Он дал чудную русскую обработку многим европейским идеям. В самом деле, эти идеи, весь дух европейской цивилизации он ввел в русские души в самую лучшую, «героическую» фазу их возраста, и заботливо из процесса перегорания этих идей убрал все сорное. Дал, так сказать, «субботу покоя» на Руси европейскому идеализму. Все это, понятно, односторонне и неестественно, как мало естественны же лица и общественная ситуация у Достоевского. Но по- 40

следствия односторонности этой — благотворны. В рассказах и повестях Тургенева мы входим в мир какого-то рыцарского идеализма, одетого густою русскою плотью. Идеи философские, исторические, общественные смешаны с ароматом любви, и через призму этой «лазури» кажутся лучше, чем может быть есть на самом деле. Мы любим тревоги влюбленных, как любим самих влюбленных; а они тревожатся и самое чувство в них загорается на почве идейных столкновений. Таким образом «талант влюбленности» у художника слова дал лучшую атмосферу, лучшую «совокупность условий» для передачи на родину западных идей, ничего общего с любовью не имеющих. Труды его напоминают прекрасную афинскую «академию», или, пожалуй, так счастливо устроенную школу, где ученики и ученицы усваивают уроки от наставников и наставниц, в которых они влюблены. Все одурены, в тумане, но это только фаза возраста и удача минуты. Все заняты нисколько не возрастом своим или одурением, а теми спорами, точное содержание которых мы читаем в монологах и диалогах Потугина, Рудина, Лаврецкого, Базарова, Инсарова, Шубина, «Лишнего человека». Все за этими их диалогами следили. Споры в повестях Тургенева были три-четыре десятилетия беседами каждой русской гостиной, кабинета, спальни; возможно ли исчислить и оценить, насколько они воспитали и образовали русского человека, русский ум и сердце.

И вот почему, — подведем свой итог, — он был одним из величайших бессознательных педагогов. «Педагогия» редко удается преднамеренно; зато не преднамеренно она иногда поразительно удается. Ученики, которые бегут из школы и зажимают уши перед «должностным» учителем, — раскрывают и сердце, и ум перед таким учителем, как Тургенев. И в этом — не зло. Какого официального педагога мы можем представить себе, который мог бы наставить юношу и девушку так полно и закруленно, как Тургенев. Есть ли средства у государства, чтобы оплатить таких учителей. Но Бог заботится о человеке, когда он не может помочь себе. Такие педагоги ничего не требуют, ни даже стула себе, ни кафедры. Они учат бесплатно, безвозмездно, только за благодарность себе человеческую: и откажем ли мы в ней им, может ли отказаться и государство, чтобы почтить этих особых, бескорыстных учителей своего населения соответствующим образом? Нам хочется указать, что плеяда русских писателей, состоящая из 5—7 имен, за вторую половину XIX века, давно ожидает себе благодарного памятника, и именно не разрозненно, а памятника общего, всей группе.

Тургенев, Гончаров, Островский, Достоевский, Толстой, и может быть еще несколько около них, могли бы получить себе один общий монумент, монумент-картину, а не монумент-портрет. Мы почему-то ограничили себя воздаянием «каменной памяти» одному золотому веку нашей литературы, от Карамзина до Гоголя включительно. Форма этих писателей, язык их, яркость действительно несравненны с последующими. Но не забудем, что все содержание собственно развития русского, каково оно есть сейчас, идет уже от «серебряного периода» русской литературы, уступавшего предыдущему в чеканке формы, но неизмеримо его превосшедшему содержательностью, богатством мысли, разнообразием чувства и настроений.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВОПРОС В ОСВЕЩЕНИИ Н. П. ГИЛЯРОВА-ПЛАТОНОВА

*Н. П. Гиляров-Платонов. Университетский вопрос
(«Современные Известия» 1868—1884 гг.). Издание
К. П. Победоносцева, С.-Петербург. 1903*

Невозможно было сделать лучшего подарка нашему обществу и учебному нашему ведомству, чем какой делает К. П. Победоносцев, выпустив как раз к открытию учебного сезона этого года сборник статей покойного Гилярова, написанных в те приблизительно 16 лет, когда и сложился теперешний университетский порядок, и возникли все трудности и «осложнения», с ним связанные. Перед читателем как бы положена пачка номеров «Современных Известий», в которых под животрепещущими впечатлениями минуты были написаны с понятным одушевлением статьи человеком, который уже не занимал кафедры, но был одним из блестящих ее представителей, если и не в университете, то в совершенно однородном с ним в учебно-ученом заведении. Гиляров, судя по посмертным о нем воспоминаниям, оставлял неизгладимое впечатление в своих слушателях. Он занимал кафедру истории раскола в Московской духовной академии, и принужден был оставить ее по неудовольствию митрополита Филарета, который желал, чтобы он читал свою науку сатирически, то есть открывал бы и порицал «заблуждения» русских сектантов, когда он хотел читать ее научно, то есть определять корень и логику возникновения, развития и стойкости русских сект. Во всяком случае претерпенное им служебное неудовольствие из-за преданности науке и научному методу раз и навсегда доставило его в ряды упорнейших и принципиальных защитников самостоятельности и свободы университетского преподавания, а обширный ум и положение публициста, которому необходимо было отзываться на разнообразнейшие вопросы текущей жизни, сгладило в нем всякие суеверия своей профессии и дало силу видеть положение учебных дел как оно есть, а не как могло бы представиться заинтересованной стороне или узкому специалисту.

Во второй раз путем издания *, К. П. Победоносцев выдвигает вперед имя Гилярова, как бы призывая внимание общества к его замогильному голосу. Редко русскому писателю, и особенно с такою неудачной прижизненной судьбой, какая выпала московскому ех-профессору, приходится получить хотя бы по смерти такую усердную, настойчивую и авторитетную рекомендацию. Не будь этих рекомендаций, о Гилярове едва ли бы кто-либо вспомнил в наши дни, за исключением разрозненных любителей и почитателей. Но, какими бы неровностями ни отличались отношения самого общества и литературы к нынешнему издателю трудов московского публициста, едва ли кто-нибудь ему откажет в образовании чрезвычайно обширном и уме в высшей степени компетентном. Гиляров невольно обращает на себя внимание, если почти давая его мыслям предпочтение перед собственными (ибо почему бы самому «издателю» газетных статей Гилярова са-

* Н. П. Гиляров-Платонов. Сборник сочинений. 2 тома. Издание К. П. Победоносцева. Москва. 1899—1900.

мому не написать, за зиму, по тому же университетскому вопросу собственную журнальную статью), за ним становится один из самых замечательных наших государственных людей XIX века.

Анализ и анализ — вот сила Гилярова; ум вечно копающийся, ум страшно критический — вот его привлекательность для читателя и мыслителя. С этим неразрывно соединена его завидная и никогда не покидавшая его уравновешенность. И Аксаков и Катков, два знаменитых современника Гилярова, коих нередко он бывал сотрудником, оба знали страсти ума и подчинялись им, иногда поработались; оба знали фанатизм воображения и иллюзий. Гиляров был постоянно трезв, и из трех суждений — его, Аксакова или Каткова — по какому-нибудь текущему вопросу можно было на тот день и час увлечься последними, но невозможно было, завтра или послезавтра, не отдать предпочтения суждению Гилярова, проистекавшему не из таланта только судьи, но из внимания и всегда любви к предмету суждения. Вот отчего через двадцать лет по смерти всех трех (они умерли приблизительно в одно время), едва ли кому (не из родственников наследников) пришло бы на ум переиздавать вообще или в отношении к данному вопросу газетные статьи Аксакова или Каткова. «Красноречие и красноречие, а дела нет». Напротив, при простом и прекрасном языке, у Гилярова нет никакой особенной стилистики: зато много мысли, много дела, много помощи и человеку наших дней, если он трудится над теми же темами.

Анализ и критика Гилярова не сухи, не рационалистичны, не педантичны. Школа, эта старая бурса, выковавшая и ум Филарета, дала сильными своими сторонами (которые в ней были, вопреки критике, более художественной, чем основательной, Помяловского) отличную формальную обработку его способностям. Но, сын сельского священника, с многотрудною житейскою судьбою, с разнообразными занятиями (профессор, цензор, публицист и газетчик), он, так сказать, оброс опытом, бытом, страданиями, неудачами, разочарованиями, все-таки и кое-какими надеждами. Получилось превосходное соединение сильной логики, первоклассной эрудиции и житейского человека, доброго, отзывчивого, не фанатичного, не исключительного. Получился вообще самый высокий калибр даровитой русской природы, да еще неудачной на жизненном поприще, и отсюда сострадательной, внимательной к тому, что падает или готово упасть, а не что мощно и самонадеянно высится. По симпатиям своим Гиляров всегда на стороне скорее слабого, непризнанного, отвергаемого. Сам далеко не признаваемый при жизни, он понял, как часто на Руси затеривается невидный кусок золота и пухнет на виду у всех куча соломы. Вот это-то положение его и вытекшие отсюда его симпатии положительно делают его привлекательнее, нежели обоих его знаменитых современников.

* * *

Нигде так не требуется учиться, как в России. И нигде не учатся так плохо и мало, как в России. Я знаю, что мне сейчас вскричат: «Мы имеем Менделеева, Чебышёва, Бредихина; наши женщины...» и проч. Действительно, отдельные точки у нас поднялись очень высоко, но это честь русской даровитости, а не честь русской школы. Силы школы собственно отражаются на образовательном

уровне всей страны. Покажите мне не Бредихина или Пирогова, а списки посетителей Публичной библиотеки; дайте мне отчет о книгах, какие спрашивались, и в каком количестве каждая спрашивалась, по всем читальням и библиотекам России. Дайте мне не впечатление слушателя публичной лекции, а рассказ, да подробный, под вечерок усталого букиниста или приказчика книжного магазина. Словом, дайте мне не эффект, а статистику: и статистика эта покажет, что мы (замечание Пушкина) ... «ленивы и нелюбопытны». Хвастовства насчет нашего образования и «стремления к свету» было много, особенно за последние сорок лет; но сквозь этот дым самовосхвалений да прорежется простое и грубое, горькое слово: нет более ленивого, умственно-косного, неподвижного и в то же время самолюбующегося общества, как наше русское. Насколько смиренен русский мужик и думает, что он «темнота» и в то же время чтит образование, называя его «светом», настолько же чуждо смирения и скромности наше «образованное общество», не весьма и ценящее образование, предпочитающее ему «индивидуальный талант» и особенно в случаях, когда настоящего таланта и тени нет, смотрящее и на книгу, и на школу «назад через плечо». «Я и так умен, чему же мне учиться»: ей-же-ей это психология и credo ⁹/₁₀ русской «интеллигенции». Святые она имеет заслуги; но и черны ее пороки, если назвать сгущенным именем ее чрезмерные и трудно одолимые слабости.

Отражается в этом школа. Если дар, гений пробивается к открытиям, к все-светному значению, то это никогда не благодаря школе, а очень часто вопреки школе. Декарт и Лейбниц выросли среди плачевных училищных порядков; Эразм и Рейхлин, да и почти все гуманисты поднялись с какими-то домашними учителями или по ланкастерскому способу, почти без школы, вне класса, без учителя или учебника. Слабосильное и ленивое наше общество, точнее — «толпа» общества, решительно есть продукт бессильной, апатичной русской школы. Все думают об основании новых университетов; дай Бог, и особенно дай Бог их на Волге, в Ярославле или Саратове. Но невозможно же забыть, что все-таки и сейчас мы имеем восемь университетов и четыре духовных академии; а где настоящие и вполне уже *сейгас возможные* плоды их работы; общество, если не обширное, то умное в незначительной своей численности, стойкое, оживленное, содружное; а главное, и что легче всего, — по крайней мере, читающее и читающее, размышляющее с незатейливою целью «поумнеть»:

От ликующих, праздно болтающих
Уведи меня...

Вспомнишь стих, не беспричинно ставший знаменитым, старика Некрасова. Когда мне случается бывать в толпе зрелых гимназистов с пробивающимися усиками или такого же вида студентов и слышать неумолкаемый их гул, всегда я думаю почти одну и ту же мысль: «Всем вы наделены и все у вас есть, и, может быть, не шутя, есть в смысле дара: но все, что и есть в вас, не удержится, а рассыплется песком вследствие отсутствия одного и главного таланта: умения и склонности молчать, уменья и предрасположенности слушать и наблюдать».

Ленивая и бесталанная наша школа: вот что лежит в основе почти всех недостатков и нашего общества, почти невинных вследствие их невольности. 12—16 лет только и знать, что встать (с парты) и изложить кое-как вчера заученное:

ну, это до того просто и несложно, что очевидно все остальные способности мальчика-юноши, т. е. в сущности бесчисленный мир способностей, даже не задеты школою. А воля? А сердце? А хоть зачатки, вполне возможные и в юноше, «мудрости», т. е. осторожности и самокритики? Для школы просто всех этих вопросов не существует, т. е. для нее не существует, как объекта воздействия и культуры, «человека», а просто есть мешок или мешочек или кошелек (смотря по рангу школы) для записывания в него программы. И ничего больше. Даже не приходит ничего больше в голову. И вот эти мешочки с разными сортами программы, именуемые «питомцами разных школ», вследствие совершенно дикого и запущенного, вполне случайного развития у них $\frac{9}{10}$ способностей души, и являются какими-то наивными крестьянами (в смысле умственной культуры) с крайне нездоровыми, городскими инстинктами и вкусами.

Наша школа плохо работает, за исключением самой начальной: это должно быть лет на 20 постоянною мыслью, *idée fixe*, даже до болезни, до слез стыда и покаяния, наших ведомств всех цветов мундира и «духа» и «призвания». Семинария, гимназия, университет, духовная академия — это стыд и стыд, слабость и слабость России. И уж тут «кто может — помогай». Без подобного сознания, чистосердечного, на протяжении всей России, и сознания, проникающего как учащихся, так и, главное, самих учащихся — нам шагу ступить нельзя. Золотой день наступил бы для России, если б и молоденькие ее усики, как и седые бороды, вдруг сказали бы себе: «А ведь мы плохо учимся; ведь мы Бог знает куда деваем свое время, когда жизнь так кратка, а область ученья бесконечна, и бесконечно интересна».

* * *

Решительно каждая страница сборника Гилярова дает тему для размышления; и, будучи только эскизом мысли, могла бы быть развита в книгу. Поразительно, что уже в 1873 году Гиляров предсказал буквально то, что свершилось с организмом гимназии на наших глазах, на переломе XX века.

«Реформа, — писал он, — будет ли хороша или дурна в себе, не приведет к благу. Она падает на почву, враждебно предрасположенную. Но чего ждать, когда с отвращением и озлоблением примут реформу те самые, которые должны будут исполнять ее? Говорим это с огорчением, ибо в необходимости реформы мы убеждены, и притом реформы коренной. Несмотря на наши бесполезные предупреждения, реформа будет, разумеется, произведена, и по рецепту, всего вероятнее, довольно родственному с тем, который предлагается г. Любимовым. Но тем менее сомневаемся, что за этим, рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, произойдет реакция — новая реформа, а с нею и новое изменение всей системы образования или падение классицизма. Струны и теперь натянуты сильно. В интересе именно классического образования поднимаем — увы, знаем, что бесплодный — голос не натягивать положения еще сильнее. Надобно прислушиваться к окружающему. Надобно иметь терпение постепенности. Вся реформа, производимая теперь в просвещении, именно страдает более всего этим недостатком крутости, нетерпеливости и исключительности. Выписанные из-за моря учителя классических языков оказываются, по экзамену, не знающими предметов, на которые приглашены. А они, между тем, учили невозбранно, и под особым покровительством начальства, целые два года».

Право, приходится слить эту классическую реформу с проделками «Когана, Горвица и К³» в турецкую войну 1877 года: только тут кормились протухлой педагогикой, бессовестного изготовления, дети в 10—13—15 лет!

«Какие анекдоты, — продолжает Гиляров, — по части знания классических языков рассказываются о новоиспеченных педагогах — об этом лучше умолчим. А публика все эти рассказы собирает и объясняет по-своему... Обратим еще внимание на факт, о котором забывают как защитники, так и оппоненты реформы: забыта публика, забыты отцы, матери, братья, сестры учащихся» (стр. 87 и 89).

Это — плачевно и пророчественно, как голос Кассандры среди уверенных троянцев. «Илион» нашего классицизма, впрочем, пережил на 10 лет Трои: та пала через 10 лет, он — через 20. Гиляров, читавший на пяти языках, кроме своего родного, и знавший древние языки, как мы французский, оспаривал, однако, их всеспасительность. «Смеем причислить себя никак не к реалистам: но только бессмыслие может утверждать, что в древних языках, и в частности латинском, в них самих, помимо всяких условий, кроется таинственная сила, развивающая умы. По нашему скромному мнению, такую таинственную силу позволительно приписывать лишь снадобьям, о которых публикуется в газетных объявлениях, под восклицательным заглавием: „Нет более седых волос“» (стр. 106 и 107). Он объясняет свою мысль тем, что логическая выправка, действительно даваемая изучением этих законченных языков, с их внутренней логикой, собственно нужна только детскому уму, не имеющему пока никакого фактического материала для подобной же логической над ним работы. Но раз ум обогащен сведениями, работа над языком вполне может быть возмещена работой над сведениями истории или какой угодно другой науки. Классицизм, у нас введенный, и, по мнению Гилярова, так же мало напоминал Грецию и Рим, как чахоточные легкие напоминают здоровое легкое. Все тут — обратно!

«У прародительницы образования, Греции, наука была действительным цветом жизни, если можно так выразиться; была утончением ума и способностей, не переходившим ни в отвлеченность, ни в односторонность и нарушение гармонии и равновесия в развитии вообще. Грек ученый от неученого отличался количественно, только степенью, а не качественно, как в наши дни. Отсюда и соотношение между разными отраслями знания и между всем знанием и искусствами, и между разными отраслями искусства, начиная с художеств и кончая ремеслами, было теснее, чем в наше время. В этом и выражалась та красота, та стройность греческого мира, которая признана за его отличительную историческую черту. Образование не было только знанием внешним, но просветлением самой жизни, и не ограничивалось одним знанием, но было и искусством, и практической деятельностью; грек образованный — это значило и танцор, и музыкант, и борец, и хороший воин, что не мешало, однако, и специальности».

Все это писалось в 70-е годы прошлого века, когда сама классическая реформа до известной степени была проведена Толстым, Катковым и Леонтьевым в противоборство грубостям эмпиризма и практицизма. Тонкий и, главное, спокойный ум Гилярова умел рассмотреть в этом кажущемся загроубении общества глубокую историческую истину, глубокую и, главное, прекрасную необходимость: именно — возвращение к здоровой цельности Греции, как он определил ее выше:

«И в настоящее время, — пишет он сейчас же после сделанной характеристики древнего классицизма, — наука приходит, наконец, если не к сознанию, то к ощущению необходимости поставить себя в более тесную связь с жизнью. Наклонность науки к так называемому реальному направлению несомненна, и несомненно желание так называемой популяризации — наклонность и желание ограничить себя житейскими предметами знания и пустить самые знания в общежитийский оборот. Сюда же должно причислить материалистическое направление: оно, в сущности, есть неизбежный протест против сентиментальности и идеализма. Но конец этих стремлений все еще далек. Ученый у нас все еще жрец; специальности еще слишком разъединены и независимы и мало знают одна другую.

10 Знание еще не дополняется развитием; голое умственное развитие еще далеко не дополняется развитием нравственным и физическим. Наука находит возможным в воспитании довольствоваться собою без искусства; искусство считается украшением, а физическое развитие приятною роскошью. Самое направление к реальности довольствуется смещением реального с материальным и утилитарным, упраздняя нравственные вопросы и обращая науку в орудие практических целей; успев усмотреть смешное в науке для науки и в искусстве для искусства, но не догадавшись, что наука и искусство есть потребность жизни, сама жизнь и развитие в своем высшем и полнейшем проявлении есть облегченное духовное дыхание и в этом смысле самостоятельно. Как физическое дыхание не есть орудие кровотожения и питания, хотя и ведет к нему, но есть необходимое проявление

20 органической жизни, и в этом смысле самостоятельное, несмотря на свое утилитарное положение, так и наука с искусством. Забавно наслаждаться формальным процессом дыхания, усиливаться дышать для того, чтобы дышать, но смешно и ограничивать свое дыхание. Для практической, мол, цели правильного кровотожения и этого довольно. То же и в науке с искусством. Безумно было бы обоготворять их, создавать кумир, которому якобы сама жизнь есть только орудие, вместо того, чтобы видеть, напротив, в них проявление жизни: но забавно же и искать в них исключительно утилитарных приложений к добыванию хорошо испеченного хлеба или просторных сапогов» (стр. 53—54).

Если бы советы этого спокойного ума были выслушаны в свое время! Наш школьный классицизм ломился вперед, как партия, как победа, а не как высшее

30 государственное или философское созерцание. Побеждая Бюхнеров, он сам был русским Бюхнером; думая искоренить Базаровых, шел прямолинейно и без оглядок, как Базаров, без пощады к другим людям, к чужим мнениям, наконец, к потребностям и нуждам законным, но каких не имели люди, его вводившие. Статьи Гилярова за 1881 и 1883 гг. все вращаются около бывших тогда усиленных беспорядков, примыкающих к моменту министерства А. А. Сабурова. «Целый год прошел без занятий», — скорбит публицист в одном месте. Тут, кроме его мыслей, напечатаны письма в редакцию за подписью «Отец», за подписью «Студент». Все это ценно, как материал. Уже и тогда, 20 лет назад, и профессора,

40 и студенты, и общество, и администрация проникнуты одним скорбным и раздраженным чувством: «Университет упал и все падает». Люди винули друг друга, указывали в разных местах причины, но все сходились в одном — «университет падает». Перечитывая длинный ряд этих жалоб, ищешь итога, ищешь формул и тезисов; и у меня возникло их несколько. Позволю их предложить вниманию читателя:

1) Что, если бы образование стало искомым? А не то, чтобы оно само искало себе слушателей?

2) Что, если лекции не слушаются, с них бегут, на них не являются, то не полезнее ли миллионы, сюда затрачиваемые, перебросить до более благоприятного времени в деревню, в сельскую школу, деревенскому учителю и ребятишкам мужицким? Одни не хотят супа, отворачиваются от него: придвинем хоть снятое молоко тем, которые остаются пока вовсе без корма. Кстати, эта вторая проблема привела бы к решению и первую.

В самом деле, каждый-то Божий день прислуга, забирая из дома самонужнейших три рубля, идет утром за булками, в 11 часов за говядиной. И как осматриваешь, что она принесла: и хороша ли говядина, и свеж ли хлеб, и не дорого ли дано за все. Но представьте, что булочник и мясник сами приходили бы чуть свет к дверям нашей квартиры, и без всякого вопроса о нашем аппетите наваливали бы горы булок и говядины в кухне. Право, это произвело бы такое противное ощущение во мне, что я перестал бы дома обедать. В деле ученья происходит что-то похожее на это. У нас книжка бегаёт за человеком, школа за учеником, профессор за студентом; какое-то всеобщее ухаживанье высшего за низшим, зрелого за незрелым, выученного за невыученным. И ученик — студент или гимназист — бегут от учителя, как курица от повара, который ее хочет зарезать. Явление до последней степени дикое и ненатуральное и, между тем, оно на глазах у всех.

Наука точно склонила свою гордую голову. Ученый точно присел на корточки, ползет и шепчет, ко всем приставая, — как до известной степени уличная дешевая краса. Все стало ужасно дешево! Все страшно подешевело, и верховный закон «спроса и предложения» сбросил с пьедестала самые недоступные когда-то таинственности! Здесь университет без вины виноват: он несет последствия, так сказать, понижения умственных ценностей на всем мировом рынке. Ужасно странно было лет десять назад слушать протесты московских студентов-медиков против знаменитого Захарьина. Им бы учиться у него, а они требовали, чтобы он перестал их учить, вышел из состава профессоров. Знания Захарьина лишь за большую цену открывались пациентам: так посмотрите, с какой робостью этот пациент, внеся сто рублей, входил в кабинет доктора, чтобы дать осмотреть себя, и уж можно представить себе, как, затаив дыхание, он слушал его советы! Так ли входил студент в аудиторию Захарьина? А ведь, в сущности, он приходил еще за драгоценнейшим: за умением лечить, за осмыслением всей своей деятельности, да наконец — за карьерой! Да, но он сумму этих данных везде найдет, да и здесь получает их даром, а пациент за все заплатил, и своего здоровья он нигде не найдет, кроме этого кабинета. Вот разница, о которой нужно подумать всему педагогическому миру при зрелище, как ученики бегут от них.

Теперь образование, можно сказать, лезет из всех щелей цивилизации: из газеты, книги, лекции, товарищеской беседы, «просветительного кружка»; и аудитории опустели. Тот же Гиляров вот в ряде газетных статей насаждал мудрости, которую через 20 лет по листкам собрал и издал К. П. Победоносцев, сам бывший профессором, и который едва ли предпринял бы издавать, под старость лет, какой угодно университетский курс «публичного права и общественных наук». Таким образом, по оценке консервативнейшего государственного человека, учнейшего и старца, в газетах больше образовательного содержания, чем в университетском курсе, — конечно, не во всех газетах и сравнительно не со всяким курсом, но это уже частности, не изменяющие общего положения вещей. Университет и начал падать: как русский хлеб, когда его повезли из Америки и из Австралии.

Он перестал быть исключительным, дорогим, искомым. И положение дел в университете весьма напоминает положение наших землевладельцев; у них и руки есть, и трудолюбие, и земля; но «нет цен» — и роскошные хозяйства бросаются, а возможный «Микула Селянинович» идет в чиновники, поступает в банк; ищет бумажного дела и хорошего жалованья.

Вот если бы университет снова начал давать единственное, исключительное, чего нигде не найти; если бы он поднял философию ли, науку ли в какой-то следую-
 10 щий этаж, над тем, где движется теперь общее образование, — я думаю, в него бросились бы как в диковинку, редкость, как в склад сокровищ, нигде в ином месте не находимых. Но об этом трудно гадать: это что-то экзотическое, вроде философии Платона, «тайной мудрости» пифагорейцев, куда допускались избранные, после «искуса», куда толпа не входила. Но наука давно стала без «тайн» и похожа на оголенную женщину, которую со всех сторон и все задаром осматривают. Во всяком случае судьба университета внутренним образом могла бы перемениться только после каких-то глубоких перемен, почти потрясений, в самой науке.

Или вот еще возможность: сделать, чтобы профессор учил не как нанятый ремесленник тех, кого ему привели, кого дали в выучку, но кого он сам себе, как артист знания, выбрал, положим, хоть со второго курса после первого «опытного»,
 20 «испытательного» года. Университет мог бы распаться на личности преподающие, которые так же сосредоточивали бы около себя талантливых, и только талантливых учеников, как покойный Лист музыкантов, как вообще виртуозы музыки сосредоточивают около себя не вообще музыкантшающую толпу, а обещающих нечто слушателей. Консерватория, как порядок и система, как учреждение и заведение, не господствует над профессором; но как университет господствует, до подавления, над профессором, хотя бы он был европейским светилом, был Буслаевым или Пироговым! «Класс такого-то композитора», «я прошел классы такого-то пианиста», это аттестация, которая на все оценки чего-нибудь стоит. Но что значит: «Я кончил курс в Московском университете»? — Ничего не значит.
 30 Это толпа, без искр, без таланта, без определения себя. Все ценят отзыв: «Он был ассистентом Захарьина», и вот к этому уже все рвутся, когда в аудиторию того же Захарьина никто не рвется, ибо в ней Захарьин «нанят», а мы в нее «согнаны». Итак, переделка университетского преподавания из безличного, лекционного, аудиторного, на что-то вроде: «Я прошел выучку проф. Платонова», «был пять лет в руководстве Боткина», «меня руководил Герье»: что-то вроде разбивки университета на «пансионы» или «школы» отдельных и уже непременно высоких светил науки — может быть, что-нибудь обещало бы в будущем. Руководитель-профессор набирал бы себе в «подручных» специалистов других кафедр, уже следя за их деятельностью. Таких 20—30—40 пансионеров образовали бы
 40 «университет», при общей для них библиотеке и кабинетах. Но главное, в «пансион» попадет только тот, кто «понравился г. профессору» совокупностью духовных даров своих, обнаруженных отношением к науке, непременно талантом, призванием. Без «призвания» может гранить улицы, охотиться по ночам за девицами или читать книжки в библиотеке; может перебираться в другой университет, с надеждой там кому-нибудь «понравиться», заинтересовать кого-нибудь своей «духовной личностью» и попасть в «приют науки», вместо теперешней всем открытой площади наук, которую топчут все проходящие и между ними

проходимцы. Нужно вообще университету что-то духовно-аристократическое; пусть нищий-голяк идет сюда, но с золотой головой. «Я студент» — пусть это значит: «Меня увидел и взял за руку и ведет Буслаев, Бредихин», а не значит: «Получил аттестат зрелости и зачислен в заведение номер такой-то: днем пью пиво, ночью ловлю девиц». Пусть «студент» значит отличительное, личное, избранное, над чем уже звезда горит, а не та «мгла» неизвестного, над которой не носился Дух Божий.

С. А. АНДРЕЕВСКИЙ КАК КРИТИК

Трудно придумать больший контраст, чем какой существует между юриспруденцией и поэзией, — в обширном смысле литературы, т. е. царства вымысла, воображения или тонкой игры ума. Душа первой — логика; душа второй — если не отрицание, то преодоление логики, некая высшая метафизика мысли, где ни Аристотель, ни Бэкон не сумели бы разобраться. Метод первой — последовательность и точное согласование с действительностью: пути, над которыми пролетает, но по которым не проходит поэзия. Вот отчего нередки случаи, когда поэт становится богословом и богослов — поэтом; почему история одевается в убор поэзии, а поэт иногда изумительно воскрешает историческую эпоху. Но юрист и поэт, и даже только юрист и писатель «с призванием», «настоящий» — явление до последней степени редкое, трудное, так сказать, для творческих сил самой природы. «И как ты, матушка, уродила такого?!» — хочется сказать Природе-Родительнице, *Naturae Genitrici* древности, видя юриста, с пылающими щеками, склоненного над «заветной тетрадью».

Тут который-нибудь дар должен быть подчинен другому; который-нибудь из даров должен быть не настоящим, а только кажущимся даром. В литературе нашей заняли видное место три юриста: гг. Спасович, Кони и Андреевский. Из них первый и самый старый всегда благоразумно держался канвы учености, истории и государственоведения: предметы, достаточно близкие или, во всяком случае, не противоречащие юриспруденции в ее существе. Г. Спасович может быть неприятен направлением своего ума, «убеждениями»; он может показаться софистичным в своей аргументации. Но невозможно отрицать, что его всегда интересно читать и слушать; что он всегда говорит о предмете, хорошо зная его вещественную, материальную сторону; что он не скажет ничего наивного и что если иногда вызовет в нас гнев, то зато часто и научит нас, хотя бы обширностью своих сведений. «Неприятный, но нужный человек», — могла бы резюмировать литература впечатление от этого своего гостя «из юриспруденции». Г-н Кони похож на тех патрициев золотой римской эпохи, которые долгом чести фамильной и служения родине считали толкование древних и мало кому понятных правил «XII таблиц» всякому смертному люду, своим клиентам и чужим. Для него юриспруденция есть как бы часть филантропии: и самый видный его литературный труд, самое сердечное его слово сказалось о филантропе николаевских времен, медике тюремного ведомства, д-ре Гаазе. Его самого до некоторой степени можно назвать Гаазом юриспруденции, который являет перед обществом и литературой добрую и светлую половину лица своей науки, предоставляя другим возиться с тайною

его половиною, которая есть и даже главным образом есть. «*Ars boni et aequi*» («мастерство добра и справедливости»), научающее *honeste vivere, alterum non laudere, suum cuique tribuere* (честно жить, другому не вредить, каждому воздавать должно) — это красовалось только на фронте знаменитых римских Пандект: за фронтом следовали узкие коридоры, низкие душные своды, где томилось часто именно справедливое, «*bonum et justum*» *.

Невозможно не заметить, что как г. Кони, так и третий юрист-писатель С. А. Андреевский, о котором мы собственно будем говорить здесь, представляют науку свою затушеванною. В них дар юридический подчинен общественному и литературному. Мы сказали, что чистая юриспруденция, безусловно, несовместима с поэзией. Но в наши дни юриспруденция как бы допустила анархию в себя, — принцип революционный по отношению к давящей юридической норме: это на почве закона же допущенная «защита» частного интереса против закона. Все писатели-юристы суть писатели-защитники, а не обвинители. С адвокатурой, лукавой и гениальной (мы говорим о ней, как об явлении, а не как о частной способности), но по временам, нельзя в этом отказать, и глубоко нравственной, ворвалось в юриспруденцию начало лирическое, субъективное и личное: ворвалось, чтобы запутать, а по временам, быть может, и убить самую «душу» юриспруденции. Совесть и закон, «обстоятельства проступка», ставшие главнее самого проступка: все это сбивает с позиции самую суть «вины и обвинения», «преступления и наказания».

Г-н Андреевский более интимно и более глубоко вошел в литературу, нежели оба названные юриста: хотя он из них и не наиболее литературно талантливый. Но литература ему ближе, роднее, чем им. Нельзя представить себе ни г. Спасовича, ни г. Кони за стихом: между тем г. Андреевский и поэт. Его нельзя назвать «гостем в литературе»; скорее он в юриспруденции «гость», вышедший из литературы. Книга его критических очерков, посвященная Баратынскому, Достоевскому, Гаршину, Некрасову, Лермонтову, Толстому, Тургеневу, Гюи де-Мопасану, Марии Башкирцевой, Грибоедову и затем «новому театру» г-на Станиславского и упадку стихотворчества в наше время — дает читателю высокое умственное удовольствие. В ней есть один только недостаток, как и вообще в духовной личности автора: это — отсутствие чего-нибудь специального, упорного и вечного. Г-н Андреевский навсегда останется «другом» других, а не самим собою; не писателем, а «другом»-критиком, который говорит чрезвычайно занимательно, наконец — поучительно о других писателях: но не возбуждает вас собою, не приковывает к самому себе. «Какой умный собеседник, как я рад, что его слушаю, читаю его книгу», — эта благодарность читателя срывается не раз с ваших губ, по мере того как вы откидываете одну маленькую (малого формата) его страничку за другою; но это чувство никогда не перейдет в более сильное: «Какой поразительный человек! Где мне увидеть, сказать с ним несколько слов; какие у него глаза, голос?» Умный автор собеседник именно играет перед нами умом, изысканно образцованным; наконец, вы слышите прекрасные струны, звучащие в лирическом сердце; вы чувствуете теплоту его, любовь и знание литературы, находите в нем новые для себя мысли; но он не наваливается на вас тяжелым многозначительным существом, давление которого сколько-нибудь изменяло бы вас, заражало;

* «доброе и справедливое» (лат.).

обедняло или обогащало. Он не убивает частиц вашей души и, сообщая вам много интересного, не внедряется в вас, как отныне новая частица нашего собственного существа.

Лирик, и умный лирик, который много часов, может быть, лучшие часы своей жизни провел над книгой, — кажется, изящно переплетенною, и сидя в изящной обстановке уютного кабинета, — таково впечатление от «Очерков» г. Андреевского, которые предварительно были «Чтениями», т. е. сказаны были перед избранною, вероятно, литературною, аудиторией. К нему подходит, но только обратно, то определение, которое он высказал в одном из прекраснейших своих этюдов — о Мопасане. Говоря о молодости знаменитого романиста, он отметил, что, посещая флюберовские «воскресенья», Мопасан всегда молчал, слушал, но не принимал живого участия в профессионально-литературной болтовне, там слышавшейся, — так что никто и не прозревал в нем будущего или возможного писателя: и в то же время, однако, он с бесконечной жизнерадостностью отдавался прогулкам, странствованию по разным закоулочкам Парижа, любил поле и лес, любил приключения среди людей; и под конец все это с несравненной свежестью и неиспорченностью, неискаженностью впечатления начал передавать в новеллах-рассказах.

«Мне кажется, я ем этот лес!», — воскликнул раз Мопасан, неотвязно-жадно смотря на спускающиеся сосны с покатоности горы. Вот такого-то восклицания: «Я ем лес» и нельзя вложить в уста С. А. Андреевского, «я съел все эти книги», — это, напротив, он мог бы сказать о своей библиотеке, вероятно, небольшой, но чрезвычайно изящно подобранной. Представьте кучку писателей, накрепко запертых на ключ и среди них чуткого их «друга», вслушивающегося в их разговоры, наблюдательного, умного, умеющего сочувствовать и понимать: и вы получите весь материал «Литературных очерков» г. Андреевского.

Ни одна из статей сборника не читается без интереса. Характеристику Лермонтова можно счесть одною из лучших во всей нашей литературе: «Остановимся теперь на другой стороне этого великого дарования, более глубокой и менее исследованной, — на стороне сверхчувственной. Пересмотрите в этом отношении всемирную поэзию, начиная от Средних веков. Здесь мы несколько не сравниваем писателей по их величине, а лишь останавливаемся на отношении каждого из них к вопросам вечности. Дант — католик, его вера ритуальная. Шекспир, в „Гамлете“, задумывается над вопросом: „есть ли там сновидения?“ а позже, в „Буре“, склоняется к пантеизму. Гёте поклоняется природе. Шиллер — прежде всего гуманист и, по-видимому, христианин. Байрон, под влиянием „Фауста“, совершенно запутывается в „Манфреде“; эта драматическая поэма проникнута горчайшим пессимизмом, за который Гёте, отличавшийся душевным здоровьем, назвал Байрона ипохондрикком. Мюссе — сомневается и пишет философское стихотворение „Sur l'existence de Dieu“*, где приводит читателя к стене, потому что заставляет все человечество петь гимн Богу, чтобы Он отозвался на бесконечный призыв любви, — и Бог, как всегда, безмолвствует. Гюго красиво и часто воспевал христианского Бога, и в детских стихотворениях, и в библейских поэмах, и в романах. Но всякому чувствовалось, что Гюго любит этот образ как патетический эффект; в конце жизни и Гюго сознался, что пантеизм, исчезновение

* «О существовании Бога» (фр.).

в природе кажется ему самым вероятным исходом. Пушкин относился трезво к этому вопросу и осторожно ставил вопросительные знаки. Тургенев всю жизнь был страдающим атеистом. Достоевский держался очень исключительной и мудреной веры в духе православия. Толстой пришел к вере общественной, к практическому учению деятельной любви. Один Лермонтов нигде положительно не высказал (как и следует поэту), во что он верил, но зато во всей своей поэзии оставил глубокий след своей непреодолимой и для него совершенно ясной связи с вечностью. Лермонтов стоит в этом случае совершенно одиноко. Если Дант, Шиллер и Достоевский были верующими, то их вера, покоящаяся на общеизвестном христианстве, не дает читателю ровно ничего более этой веры. Вера, чем менее она категорична, тем более заразительна. Все, резко обозначенное, подрывает ее. Один из привлекательнейших мистиков, Эрнест Ренан, в своих религиозно-философских этюдах, всегда сбивался на поэзию. Но Лермонтов даже и не мистик: он именно — чистокровнейший поэт, „человек не от мира сего“, забросивший к нам откуда-то, с недостижимой высоты, свои чарующие песни... Смелое, вполне усвоенное Лермонтовым, родство с небом дает ключ к пониманию и его жизни, и его произведений... Неизбежность высшего мира проходит полным аккордом через всю лирику Лермонтова. Он сам весь пропитан кровною связью с надзвездным пространством. Здешняя жизнь — ниже его. Он всегда презирает ее, тяготится ею. Его душевные силы, его страсти — громадны, не по плечу толпе; все ему кажется жалким, на все он взирает глубокими очами вечности, которой он принадлежит: он с ней расстался на время, но непрестанно и безуспешно по ней тоскует. Его поэзия, как бы по безмолвному соглашению всех издателей, всегда начинается „Ангелом“, составляющим превосходнейший эпиграф ко всей книге, чудную надпись у входа в царство фантазии Лермонтова» (стр. 201—202).

Конечно, все это приблизительно и каждый думал о Лермонтове; но, во-первых, ни у кого из критиков не сказалося это определение Лермонтова так полно, закругленно и без колебаний; никто не сказал, что «связь с сверхчувственным» у Лермонтова есть самая главная черта и что ясностью этой связи он превосходит всех поэтов всемирной литературы. Да, наконец, давно ли еще определяли даже корифеи критики Лермонтова, как «героя безвременья» николаевской эпохи, который «тосковал» не столько о небе, сколько об освобождении крестьян, которое долго не наступало («Герой безвременья», этюд Н. Михайловского, обстоятельно разбирающий всю литературу о Лермонтове). В статье «Поэзия Баратынского» г. Андреевский столь же центрально и точно отмечает, что этот ранний поэт еще пушкинской эпохи был предшественником европейского пессимизма, как он выразился в поэзии Луизы Аккерман и в философии Шопенгауэра, а вовсе не был только писателем элегий как известной формы *минутного* настроения и поэтической забавы. Проведя параллель между личным характером и биографией их и Баратынского, г. Андреевский замечает: «Точно будто для их глубокого и печального взгляда на мир именно требовалась та тишина и ясность, среди которых созерцание легче открывает горестные тайны вселенной...» (стр. 5). В статьях о Достоевском и Толстом им рассеяны наблюдения, которые вовсе не приходили на ум другим. Известно, что в «Дневн. писателя» Д—кий чрезвычайно жестко, даже беспощадно отнесся к «религиозным исканиям» Левина, которые были только замаскированной формой новых религиозно-творческих попыток самого Толстого. «Бр. Карамазовы» появились после «Анны Ка-

рениной», почти вслед за нею. И вот г. Андреевский точно отмечает, что в уста старца Зосимы, да и во всю фигуру Алеши Карамазова Д—кий влагает, в сущности, чистейший «толстоизм», *rig sang*. Противопоставлять Д—кого Толстому, как «правоверного» «заблуждающемуся» — принято до сих пор. Это — графарет критической мысли. Поэтому в высшей степени ценно следующее наблюдение нашего критика: «Очень интересно, хотя бы в самых общих чертах, провести в морально-религиозной сфере параллель между обоими писателями.. Выразителями идеалов Д—го являются Алеша Карамазов и старец Зосима. За что же держатся оба эти лица в своей вере? За ту же любовь, на которую указал и Толстой, как на сущность своего отношения к Богу. Алеша в особенности близок к Толстому. Этого своего героя Д—кий определяет так: „Был он вовсе не фанатик и, по-моему, по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение: был он просто *ранний геловеколюбец* (курсив Д—го), и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представляла ему, так сказать, идеал исхода для души его, рвавшей из мрака мирской злобы к свету любви“. Таково определение самим Достоевским любимого его героя. Старец Зосима также представляется иноком, в сущности, очень либеральным, отличающимся величайшею терпимостью ко всяким возражениям против внешней стороны религии и вообще терпимостью к „мирской злобе“. В самом монашестве Зосима видит не что иное, как тот же образ жизни, который Толстой указывал в пору „Анны Карениной“, „Чем люди живы“ и „Исповеди“. В беседах и поучениях старца Зосимы „об иноке русском и о возможном значении его“ говорится: „В мире все более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целостности людей, и воистину встречается мысль сия даже уже с насмешкой, ибо как отстать от привычек своих, куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же по-выдумал? И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше... Итак, отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием, и достигаю тем, с помощью Божией, свободы духа, а с нею и веселья духовного!“. Конечно, это только имеет конкретность русского монастыря в тоне поучения, в слоге, в стиле речи „старопечатном“. Наберите эту самую мысль „гражданским шрифтом“, уберите причуды „слога Феодора Михайловича“, скажите обыкновенным человеческим языком, простой журнальной речью — и вы получите скелет или части скелета „учения Толстого“». — Критик продолжает: «И в других поучениях Зосимы также постоянно встречаются тезисы Толстовской религии: „Помни особенно, что не можешь ничьим судьей быть“. Или: „Если спросят тебя: взять ли силой, или смиренною любовью? Всегда решай: возьму смиренною любовью. Смирение любовное есть страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего“» (стр. 56 и след.). Все эти наблюдения чрезвычайно ценны, — особенно теперь, когда, повторяем, Д—го так любят зачислять в «правоверные» и несколько укорять этим правоверием тоже гениального писателя «отщепенца от народа своего и своей веры», Толстого. Замечу, чтобы еще более подтвердить наблюдение г. Андреевского об этом параллелизме, что единственный раз, когда мне привелось беседовать с гр. Л. Н. Толстым, он передавал мне о глубококом своем впечатлении от образцов чистой и высокой жизни, какие приходилось наблюдать ему в монастырях наших, которые он посещал чаще чем Достоевский (одна поездка в Оптину) и едва

ли знал их не лучше его. Между прочими его рассказами достоин записи один, так как связан с сюжетом одного из его достопримечательных рассказов. Монах, любимец народа (*не* от Амвросий Оптинский, а другой) поднялся, чтобы идти в келью; народ бежал за ним, останавливал, просил благословения и наставлений. Монах был очень стар и слаб, и вот к нему, задыхающемуся, подходят еще трое ли мужиков или мужик из семьи, где было три члена — этого момента рассказа точно я не помню. Подходит и повторяет вечный вопрос: «Как жить? Как спастись?». Между тем старец почти падает, — и, вытягивая из рук просителя подол хламиды, спрашивает: «Да сколько вас?» — «Да трое, батюшка!» — «Ну и молитесь: три вас, три нас — спаси нас». Таким образом, монах это ответил от 10 чрезвычайной усталости, — и, конечно, от великой простоты душевной, как собственной, так и вопрошавших, от простоты и величия веры. Зрелище это, картина усталого монаха, и хоть краткая, — все же поучения, без которого он не оставил мужика, — вся эта сцена связанности народной и веры народной поразила Л. Н. и дала сюжет для его известного рассказа «Три старца». Но вот наблюдение, которое при этом сделал зоркий взор Л. Н. «И всегда-то оно так: возьмут праведного старца, усадят его где-нибудь около ворот, в келейке, чистенько, уютно — для корысти своей» (тут Л. Н. насмешливо улыбнулся): «Ну, а он тоже себе корысть делает — из их корысти: они его посадили для дохода, и он это знает, и сидит: но уже делает свое святое дело, подлинное, нужное». Он хотел сказать, что мудрый перемудряет хитрого: все началось с денег, имеет металл подкладкою: но дух Божий побеждает и бросает металл в подножие святого дела. Может быть, «старца» народ и не нашел бы в лесу, а в монастыре — увидит; монастырь «пользуется» старцем, а старец «пользуется» и уже в обратном смысле — монастырем.

Наиболее души г. Андреевский вложил в этюды о г-же Башкирцевой и в статью «Вырождение рифмы». — «Чем далее от конца XIX века поэт, тем более вероятности встретить у него поэзию; и чем он ближе к нам, тем вероятнее, что мы натолкнемся на пустозвонство, версификаторство, а не поэзию». Однако, отсюда 30 вывести, что «в мире» умирает поэзия, — как делает г. Андреевский, — едва ли основательно. В Германии вовсе не было поэтов от времени Реформации до половины XVIII века, и вдруг расцвели Гёте, Шиллер и целая плеяда меньших, но все же замечательных поэтов. Вообще появление великих поэтических талантов есть тайна истории, которой не постигая мы не можем ничего и предсказать. В этом очерке, как и во всем томике своих нигде не паразитических, но всюду привлекательных и местами поучительных этюдов, г. Андреевский является преобладающе меланхоличным. Он сам может быть назван «немножко Баратынским» нашей критикой: «Жизнь излишне спокойная, обеспеченная и созерцательная» вызвала и у него соответствующую «печаль», как, впрочем, ранее 40 всего подобная жизнь вызвала и Эклезиаста. А между тем, заметим мы Баратынскому и Андреевскому, и даже подняв очи на Эклезиаста — не усомнимся сказать: «Как весело там, где есть не только труд, но и нужда ежедневно трудиться, где есть определенные цели достижения, не только «вообще существование». «Вообще существование» есть вещь действительно меланхолическая, и, между прочим, замедляя пищеварение, действует отрицательно на печень, где греки помещали «черную душу», т. е. дух недовольства, хандры и, вероятно, «философского пессимизма».

О «ДВУХ ПУТЯХ» МИНСКОГО

Острая и тонкая речь г. Минского о «Двух путях добра» показалась мне, когда я ее слушал, чем-то действительно победным над старым антагонизмом между браком и девством. Иллюстрация его о *герном* цвете, так же прекрасном и нужном, как *белый*, а также и о том, что можно объехать землю вокруг, поехав *направо* и *налево*, — горели в уме, покоряли мысль. Лишь несколько времени спустя я увидел несовершенную *тогность* взятых им аналогий и отсюда — ошибочность всей аргументации. Слушатели да будут внимательны.

Ведь, кроме белого и черного, есть *желтый, зеленый, красный* и еще *множество цветов*; ведь можно объехать землю, поехав не только на восток или на запад, но на юг, север и еще по направлению ровно всех 360° круга. Что это значит? Это значит, что в приведенных Минским примерах мы не имеем *антагонизма двух устремлений*, а просто *серию разнообразных фактов*, которые входят не в «два пути добра», как он нам пытался открыть, а в 25 сортов, а то и в 2500 сортов просто «хороших вещей». Совершенно иное в отношении брака и девства. Мы здесь имеем *только два* устремления, не три и не шесть, а только два. И иллюстрации Минского, если на них распространить закон полярно противоположного устремления, прочтутся не так, как он сказал нам, а следующим образом: «Репин нарисовал „Запорожцев“, и это хорошо; но лучше, если бы он их не нарисовал»; «Колумб поехал на запад и открыл Америку, что есть благо; но лучше, если бы он никуда не выезжал из Испании».

Вот формула отношений брака и девства, и всякий видит, что она невозможна.

Беря черный и белый цвет, Минский берет разницу, а нужно взять антагонизм, состоящий в требовании *небытия* противоположного. Вопрос касается не качества, а существования. *Нужно перестать быть девственным, чтобы стать брачным*; нужно *воздержаться* от брака, чтобы сохранить девство. Или, в переводе на его пример: Колумбу надо вовсе никуда не плыть, чтобы оставить, так сказать, Америку в девственной неизвестности, и надо было непременно поплыть, чтобы эту девственную неизвестность нарушить. При этом — поплывет ли он на восток или запад — было все равно. Таким образом, у Минского вовсе не «два и противоположные пути добра», а просто разносортность хороших вещей в пределах одного и того же доброго пути. Он вовсе не философское открытие нам показал, а высказал вещь, хорошо известную приказчикам Гостиного двора, которые спрашивают покупательниц: «Чего изволите? есть и желтое и голубое, есть шелк и шерсть»; на что покупательницы, не ознакомленные с открытием Минского, отвечают: «Дайте мне и голубое, и желтое, и шерсти, и шелка». — Минский сказал нам пустяки, но таким тоном, как бы делает метафизическое открытие.

Вот если бы он показал нам, что в отношении одной и той же цели и в сфере одного и того же предмета или лица равно хороши и такое-то бытие, и ему противоположное небытие, — он, действительно, совершил бы метафизическое открытие, уничтожил бы понятие зла, показав, что есть не оно, а только «два пути добра». Если бы он показал нам, что и Терсит, и Ахиллес равно доблестны на поле битвы, — его философия бы торжествовала. Если бы убедил нас, что равно доволен прислугой, которая его обсчитывает в хозяйстве и которая не обсчитывает, — мы бы ему поверили. Но он прекрасным языком и с великой увлеченнос-

тью провел перед нами. несколько обманчивых аналогий, которые завладели умом нашим на несколько часов, но рассеялись при первом внимательном рассмотрении.

Вдумаемся еще в следующую черту: ведь брак, по всяческому учению и даже по собственному взгляду Минского, не равно высок с девством, а или ниже его — в Новом Завете, или выше — в Ветхом Завете. Тут есть антагонизм, борьба: тут слышатся порицания — этого невозможно отрицать. Между тем восточное направление кругосветных путешествий нисколько не порицает западных: белый цвет не говорит собою, что «худ» черный цвет. Здесь не завита душа, она не «раздирается» в алканиях противоположного; словом, тут, по моему мнению, нет идеала, а только факт. Между тем и Минский не отрицает, что брак и девство суть идеалы, некоторые *идеальные* факты, и не было бы его речи и моих, если бы мы с ним не *боролись*. Между тем путешественники на восток не ведут полемики с путешественниками на запад.

Это об общей теории Минского. Перейдем к подробностям его взглядов.

Говоря об идеале Мадонны и подсмеиваясь над «Песней песней», говорит ли Минский о монашестве, об аскетизме и об отношениях аскетов к полу? Нет, он говорит о тонком духовном сладострастии, которое больше всего запрещено и пугает монахов. Он для иллюстрации упоминает о Пушкине в отношении к его невесте — и это разъясняет все. Он говорит о влюбленности в деву: категория чувств, вовсе не вписанная в обеты монашества; говорит о деве, которую влюбленный Пушкин *in facto*, а рыцарь — в мечтах своих превращает в жену. Увы, и Свидригайлов или Ставрогин, знаменитые сладострастием герои Достоевского, восхищались больше всего именно и специально перед невинными девственницами, но я не знаю, выше ли это и особенно чище ли неутомимо текущего брака Авраама, Исаака, Иакова, Давида, Соломона и др. Богородица родилась от Израиля, вечно плодородного; фактическая Богородица для меня, и, вероятно, для всех, выше мечтательной Беатриче Данте, чего-то высокого, но абиологического, антижизненного. Тут я вспоминаю сады Адониса, деревья которых не давали плодов. Романтизм западноевропейский, — ибо Восток не знает культа Мадонны, — весьма подобен им. Это — что северное сияние над полюсом, странами ледяными, странами смерти. Идеал девства в виде ли западного поклонения «Мистической Розе», или в более строгой форме восточного *запрещения* взирать на *всякую* «Розу» — есть в своем роде «Песнь песней» смерти. И если мы не в силах отрицать, что вождь и сотворитель смерти есть «древний Змий», Дракон Апокалипсиса, то я предлагаю слушателям задуматься над вопросом, не есть ли сладкий зов аскетизма таинственная сирена этого Дракона, завлекающая неосторожных путников?.. Еще раз напоминаю, что это есть принцип абиологический, авиталистический. Физиологически, анатомически, а в храмовом убранстве ⁴⁰ живописно — аскетизм атрофирует осязаемое и видимое выражение пола *. Даже невинные Адам и Ева, представленные в раю, всегда на стенах церковных

* В. В. Розанов понимает находящиеся в церквях иконы византийской живописи, преимущественно аскетического характера. Но ведь есть же в храмах иконы и более светлого, жизне-радостного вида: напр., Рождество Божией Матери, Рождество Христово, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородице и др.

Примечание цензора.

изображаются прикрытые то веткой дерева, то каким-нибудь другим предметом. А еще В. М. Скворцов борется с последователями Селиванова в «Миссионерском Обзрении» — но ему надо было бы сперва переделать вид наших церквей, и тогда он получил бы истинное и неложное основание для своей борьбы. Всякий гонимый, войдя сюда, может воскликнуть: «За что меня гонят? Не окружили ли они себя предметами поклонения, объединенными в одном и объединенными безусловно, именно: я вижу, что здесь лишены того, чего и мы не имеем».

Как это противоположно обрезанию! И без объяснений понятно, что едва возшла звезда Завета Нового, закатилась звезда Завета прежнего. Он стал «ветх», т. е. изношен, стал *не нужен*. Шопотом это все говорят, все говорит: живопись в храмах, уставы монастырей, странная организация брака, в котором ни муж, ни жена, ни ребенок не играют роли, а только один обряд объявлен нужным, неприменным и святым. Но пришел Селиванов, добросовестный тульский мужик, и произнес вслух прежний шопот. Все испуганы, заметались. Но поразительно: никак не умеют победить, искоренить скопчества. Нужно начать религиозный переворот, надо начать «преображение христианства», как я ранее выразился, и скопчество растет, как летом снег.

В речи Минского есть и прямые ошибки, притом опасные. Это о пресловутом избиении камнями девушек в Ветхом Завете. Ошибка эта повторяется и всеми христианскими богословами, с понятною ссылкой, что «мы более милосердны, ибо только укоряем, а не побиваем». Законы о побииении камнями девушек согрешивших не приводились в исполнение по неимению самого объекта для него. Девушке израильтянке некогда было «грешить»: она выходила замуж между 8-ю и 13-ю годами; 13^{1/2} лет девушка становилась «богерет», перезрелую, «старую» девою, и выходила с этого времени совершенно из-под власти отца, становясь собственностью каждого, кто, бросив ей яблоко или финик, произнесет: «Освящаю тебя в жены себе этим фиником». Назавтра такой «освятивший» мог дать ей разводное письмо. И таким образом, «падения» девушки буквально никогда и ни в каком случае произойти не могло. Но не торопитесь обвинять евреев за эти «освящения» на день. Не торопитесь, вспомнив нашу страшную проституцию, и что таковые — «освящения» были исключительны, как у нас изнасилования, а общим и настоящим там явлением был брак долгий и верный, чистый и святой. Особая похвала и награда в будущей жизни обещалась всякому, кто брал в жену себе слабую, некрасивую, слепую, глухонемую: при полигамии это не было страшно для мужей, и спасая душу, евреи не оставляли сиротами на улице несчастнорожденных девочек-уродцев, но и им всем давали детей, хлеб и теплый угол. Это было великое учреждение. Вот что значит истинное человеколюбие, выраженное в законах, в противоположность прописному человеколюбию, о котором нам говорят в проповедях и от которого, право, никому ни тепло, ни холодно. Докончим же об евреях. У них считался самым угодным Богу брак дяди и племянницы; при раннем замужестве дяди и племянницы сравнивались в годах. И вот трудно себе представить племянницу, которая не была бы взята в замужество которым-нибудь из дядей с отцовской или с материнской стороны. Кого же побивал бы Минский в Ветхом Завете? Израильтянки весело бы ответили ему: «На что нам любовники, когда у нас преизбыествуют мужья!». Или, как описала дело Анна, мать Самуила, в молитве к Богу: «Рождают даже бесплодные, а плодородные изнемогают в рождениях».

Говорят богословы, высказал мне проф. Налимов в беседе: «Это оттого так multiplied Израиль, что он ждал Мессию». Но ведь мессия должен был прийти из колена Иуды, а так multiplied и остальные одиннадцать колен Израилевых*.

Вернемся к «Мистической Розе» Минского. Посмотрите, как она заставила всех забыть о судьбе Повало-Швейковского, и на вопрос мой: «Нужно ли ему было оставить жену и детей или лучше послушаться церкви?» — никто не ответил. Только о. Михаил сказал, «что он сердится на меня за этот вопрос». Он сердится... ну, а Повало-Швейковскому, конечно, не было причины «сердиться», когда у него отняли жену и детей, и пятерых детей лишили без вины прав, имени и наследства; «лишили всех прав состояния» только без ссылки в каторгу или Сибирь. «Я сердит на вас, зачем вы это рассматриваете и неудобно спрашиваете нас», — говорит о. Михаил. Единственно, когда начинают чувствовать богословы, — это когда им больно. В причинении им боли заключается весь возможный грех мира, главный грех. Я уже формулировал в прошлом году, что они безотчетно чувствуют себя, как *боги*. «Будете, яко божи». Это сбылось. И здесь мы вторично приглашаем подумать слушателей, не совершилось ли в самом деле великое *qui pro quo*** , и знают ли хорошо богословы *a*-виталисты, кому они служат. «Размышляйте, ищите», — закончил я и предыдущий доклад мой.

Проф. Заозерский рассказывает в статье «На чем основывается церковная юрисдикция в браке» об одной своей летней прогулке:

«Года два-три назад мне случилось быть на московском Калитниковском кладбище. В сопровождении одного из священников кладбищенской церкви я долго ходил по этому кладбищу, рассматривал его разнообразные могильные памятники. Это было в середине мая, погода стояла чудная, и приятного настроения, ею навеваемого, не в силах было преодолеть и это поле костей человеческих, покоившихся под зеленеющими холмиками могил с водруженными на них крестами, изящными памятниками, тогда утопавшими в венках и цветах. Мирным сном покоятся эти кости не только в уютных, но иногда и комфортабельных уголках. Эти уголки навещаются признательными родичами, здесь льются их слезы печали, признательности, благодарности, здесь возносятся с кадильным дымом священника пламенные молитвы к небу о даровании новой блаженной жизни мирно покоющимся в этих уютных и комфортабельных уголках. Прочь уныние, прочь безнадежность! Эти умершие здесь временные поселенцы и дачники, отправившиеся сюда в свои дачи, в сопровождении милых сердцу родных и друзей, ими благословляемые. Но вот я и спутник мой подошли к краю огромного кладбища: по ту сторону кладбищенской межи открылась чудная панорама окраин Москвы, но внутри по эту сторону межи пред нами ряд холмов, из кото-

* Ответ профессора верен. Но при этом надобно заметить следующее: у евреев к концу ветхозаветного периода, особенно после плена вавилонского, постепенно забывалась родовая принадлежность к определенному из двенадцати колен Израилевых. Вследствие этого евреи, в массе, причисляли себя или к колену Иудину, или Левиину; из первого колена, по обетованию Божию, должен был произойти Мессия, — из второго же происходило еврейское священство. Отсюда понятно, что по причине сгруппирования евреев в двух названных коленах, в особенности же в Иудином, «так multiplied Израиль».

Примечание цензора.

** одно вместо другого, путаница (лат.).

рых 2—3 недавно насыпанные. — „Что это за холмы“, — спросил я священника. — „Это могилы младенцев из воспитательного дома“, — отвечал он. — „Сколько же их тут, под каждым холмом?“. — „Много, но не знаю сколько, — отвечал он, — обыкновенно нам присылают время от времени по несколько плотно закупоренных ящиков с трупиками, и мы, не раскупоривая, отпеваем и хороним их в этой могиле“. — „Но как же вы отпеваете, не зная, что в этих закупоренных ящиках?“. — „Нам каждый раз присылают именной препроводительный список этих младенцев, по этому списку мы и отпеваем“. Эта грустная повесть священника навеяла на нас обоим тяжелое настроение, и мы поспешили оставить кладбище... С тех пор к виденным мною холмикам, вероятно, присоединились новые. Конечно, 10 эти, как и прежние, скрывают под собою трупы младенцев — плоды незаконных связей лиц, в числе которых, без сомнения, были и есть осужденные § 253 Устава Духовн. консистории на всегдашнее безбрачие, или же только уstraшенные этим законом и, не имея дара воздержания, сохраняя фиктивное законное супружество, вступали в кратковременные преступные связи и препоручали воспитательному дому над плодами этих связей созидать холмики Калитниковского кладбища. Пусть же эти холмы послужат вещественным доказательством непригодности кары, состоящей в осуждении на всегдашнее безбрачие лиц, виновных в оскорблении святости брака прелюбодеянием, не имеющих, по выражению епископа Феофана, дара воздержания. Проектируемая нами замена этой кары 20 эпитимьею имеет в виду не ослабление силы евангельского закона, а только смягчение наказания за нарушение его, с целью сделать иго Христово удобоносимым и приостановить увеличение могил безвинных мучеников-младенцев».

Так полагает г. Заозерский. Страница, которой устыдился бы Тацит. Этот в своем роде игрок на лютне при пожаре брака, им описываемом, проговаривается: он говорит, что строгость евангельского закона смягчится лишь ввиду могил, и, следовательно, он проговорился, что могилы — употребим его слова — «безвинных мучеников-младенцев» — воздвиглись в силу *неослабного* церковью исполнения евангельского закона.

На этом и захлопываем клетку с сидящим в ней богословом, переспросив отца 30 Михаила, — не сердится ли он опять на нас. Я говорю, что «боги» боли мира не чувствуют, а чувствуют только упрек себе. «Года 2—3 назад», — небрежно замечает Заозерский, и, не поднимись маленький штурм против брачных норм в печати, он сказал бы, как в прошлый раз священник Альбов: «В Евангелии ясно написано: нельзя разводиться иначе как по вине прелюбодеяния, и кто женится на разведенной — прелюбодействует. Слово Христа непререкаемо, и мы должны или отречься от Христа, или исполнить Его слово. Если это и трудно, что делать: Церковь не может не повиноваться Христу». Так, этими словами о. Альбова, говорил и г. Заозерский три года до нынешнего, а церковь — 1½ тысячи лет. Значит, холмы, что на кладбище, опять же не эмпирический факт и даже не консисторский, а подлинный — религиозный, по принципу и идее. Но... «по плоду узнается 40 дерево». Где мне, слабому существу, делить и разграничивать края консистории, церкви, христианства, Евангелия, Христа. Я слабый человек. Я ничего не умею: прогулявшись с Заозерским, я только его словами скажу: «Строгие они все, такие строгие, что и перед детской кровью они не остановились, из невинных холмы насыпали. Там эти холмы, где-то в середине их. Они препираются и сваливают один на другого: Заозерский — прямо на Евангелие, о. Альбов и проф. Налимов,

верно, свалят на консисторию, консистория — укажет на Евангелие. Но я глупец, а они мудры и пусть уж разберутся между собою сами: мое же дело прочитав «Да воскреснет Бог, и расточатся *врази* Его» — и отойти в сторону, отойти со страхом. Неужели и это нужно объяснять? Я сказал, что аскетизм есть «Песнь песней» смерти, сказал, что это — сирена. А вот и остров с мертвыми костями, как это было и вокруг древних сирен.

«Кланяюсь св. Софье, праху отцов моих и вас не забуду, но не могу оставаться здесь и еду добывать другого престола». Так сказал, кажется, Мстислав Храбрый новгородцам, отъезжая на юг. Идеалу девственному и идеалу семейному надо 10 разделить, проститься и разъехаться. Ссора прекратится сейчас, как только девство перестанет уверять, что оно есть вместе «и брак», и перестанет держать его, то ссылаясь на изображения Богоматери, то на изображения благословения детей, то на нераспространившиеся попытки афонских монахов дать образцы семейной живописи, — перестанет, я говорю, держать брак в своих ледящих объятиях. Да, попытки были, но везде — *не удалась*. Ссылаясь на афонскую живопись, о. Михаил, однако, и не произнес, что они изображают иногда Богоматерь, по словам Порфирия Успенского, «питающую Христа сосцом обнаженным». 20 Ведь это у женщин обрезают груди последователи Селиванова, а о. Михаил обрезал молчанием. «Несносный вид» для них все материнское, все супружеское, все отеческое — кроме венчания, т. е. кроме собственных их действий. Мы же, семейные люди, едва перестанут нас обнимать девственники, благословим их, и даже не вспомним прежнего себе худа. Взвесим свое право. Если немногие тысячи девственников, без обращения за помощью к семейным людям, выработали и уставы себе собственные, и законы о себе, и живопись себе, и молитвы, и напевы, — то миллионы и миллиарды брачных имеют ровно такое же, в сущности — еще большее право, тоже вполне самостоятельно и нисколько не советуясь с девственниками, или, точнее, оставив в стороне все данные прежде советы, выработать и уставы для себя, и новую себе музыку, — не бойтесь: благочестивую — и дать начало новым художественным вдохновениям. Религия, до сих пор 30 составлявшаяся девственниками, на десять возможных и нужных шагов сделала только первый; но еще остаются девять шагов, и их сделает семья. Тут новые примирения: во многом с евреями, в небольших дробях даже и с язычеством, тут — прозрение в пятую новозаветную книгу, в Апокалипсис, которая ведь стоит перед церковью, как храмина, в которую она не имеет пути войти, как книга запечатанная, как замок, от которого потерял ключ. Сделаем маленькое историческое объяснение. «О, царь! Здесь мы приносим бескровную жертву, а за стенами храма этого льется кровь христианская». Так сказал митрополит Филипп Иоанну. Слова эти не вправе ли повторить и семья, прощаясь с девственным идеалом: «Ты начал в истории бескровные жертвы, содрогнувшись перед жертвами 40 животными, как грубыми и Богу неугодными, хотя и читал ясные слова Божии в Писании о неукоснительном принесении Богу именно животных жертв. В них лежала тайна, и именно тайна искупительного спасения самого человека, и именно крови его, плоти его как священных, так и неприкосновенных. И пока эти, Богом назначенные, жертвы хранились, не было принципиального и предвиденного, не было хронического пролития крови человеческой. Кому при старых жертвах пришло бы в голову, что пресвитер, такой с виду добренький и, по его словам, сам грешный и всегда в слезах покаяния проводящий жизнь — может судить

и рассуждать о грешности младенцев, и, напр., в Петербурге ни много, ни мало целую $\frac{1}{3}$ всех рождающихся отрывать от семьи, от отца и от матери, объявлять их плодами блуда, их родителей развратными, и якобы охраняя седьмую заповедь, всей этой $\frac{1}{3}$ рождающихся детей указывая и прямо приказывая нарушать пятую. Ибо если церковь не уважает их родителей, вправе ли уважать их дети, обязанные повиноваться церкви? Мы заметили, как эстетически описал Заозерский судьбу множества из таких детей, но его описание никого из приносящих бескровную жертву не беспокоило. Овцы и телята, и голуби Ветхого Завета возопили бы на улицах: «Если мы угодны Богу, то кольми паче угоден ему всякий младенец человеческий?!». Но в Новом Завете некому этого закричать, и главное — не на что опереть этот крик. Уже нет Богу жертв крови, т. е. кровь не угодна Богу, не священна, не свята. Около бескровных жертв вервие плетется словесное, длинное, запутанное, в котором и не разберешься и которое имеет все один смысл, все один уклон: «Успокойтесь! потерпите! ну, что же, деточки умирают, ну кто же не умирает, потерпите, ибо и Господь наш потерпел еще больше на Голгофе, в пример и образец всей твари».

Читал я, что при построении Соломонова храма все сотни, тысячи работавших сохраняли гробовое молчание. Ни звука голоса не было слышно, ни слова человеческого. Какой символ! Слово — предатель! словом — чего не оговоришь. И разве мы не слышим здесь на все наши речи, на все указания — только одне оговорки и отговорки, без всякой ответной боли. «Будете, яко бози». Что земным богам заботиться о человеках.

Все останется по-старому, пока мы не разделились честно, с взаимным уважением, с взаимным признанием. Я беру назад все слова, какие неосторожно сказал о венчании: что же, церковь, аскетизм выразили через него столько любви к браку, сколько в них ее было. Заставьте меня сложить чин пострижения в монашество, я создал бы чин коротенький и холодный, да еще и подсказал бы аскетам: «Не очень исполняйте ваши обеты». Как и аскеты, сложив чин венчания, говорят же: «Только повенчайтесь, а там хоть и никогда не начинайте супружиться: это даже лучше; храните девство, воздерживайтесь в браке, насколько возможно». Монашество, конечно, не приняло бы моих советов в напутствие; оно само себе построило невыразимой красоты обряды и создало уставы, обеспечивающие исполнение обетов. Так и при разделении, о коем я говорю, что оно должно настать, семья в полном праве отказаться от всего, что дали ей, и начать сама для себя вдохновенно творить.

Ну, вот из еврейских образцов хотя бы один: когда еврейка разрешится от бремени, в самый вечер того дня учитель, начальник школы, отправляет маленьких своих учеников в ее дом, и они говорят заученное приветствие новорожденному, как будущему товарищу в жизни. К роженице же самой сходятся юноши, изучающие уже серьезные части Торы, т. е. закона, и пока она лежит в постели — читают ей из закона и из повествовательных книг места, относящиеся до женщины, до ее трудов в рождении. Не правда ли, как это осмысленно и благородно. Когда я однажды предложил в печати ввести в ектению только *общее и безразличное* прошение о женах рождающих, то «Православно-Русское Слово», редакторами коего состоят здесь присутствующие священники Лахостский и Дёрнов, дали ответ, которому трудно поверить: именно, что «тогда пришлось бы вставить в ектению моление и о страдающих ломотой, ревматизмом и лихорадкой». Таким

образом, рождение и ломота в костях в очах русского образованного священника, по-видимому, не различаются в значительности. Что же они *благословляют* тогда в венчании?! Да конечно, нечего и благословить: кто же будет благословлять на заболевание лихорадкой?! И вот я наблюдаю множество разрушающихся так скоро после венца семейств, иногда до венца живших пресчастливо. И французы говорят: «Le mariage est la fin de l'amour» *. Обвенчаться — точно «сгладить» любовь и согласие бывшего жениха и невесты. Поразительно, что и духовенство, ведь весьма внимательное и благоговейное во время венчания, супружескою жизнью живет не всегда счастливо. И я знаю очень многих диаконов и священников, кинутых женами, несмотря на весь зазор для духовных такого события.

Возвращаясь к евреям: итак, раввин-учитель посылает мальчиков, а потом юношей, приветствовать *поименно* каждого и новорожденного, и роженицу. Но вот входит в синагогу 14-летний мальчик, объявленный жених: все, даже старцы, даже потерявшие родных мужчины уступают ему почетное право первому раскрыть и читать Тору. После него уже подходит вдовец, оплакивающий жену, сыновья, оплакивающие родителей. Вот что значит выдвинуть древо жизни вперед перед деревом познания и поставить ногу семени жены на главу змея. Жениху подносит невеста *талес* — покрывало, в котором он будет каждодневно молиться и в которое будет завернут по смерти и ляжет в могилу. Неужели мы не будем так благородны, что не воскликнем: «Это и трогательнее, и благороднее наших предбрачных обысков и оглашений». Я не хочу этими ссылками указать примеры заимствования, а указываю необходимость и возможность нового творчества. У нас до того мысль застыла на одном венчании, что всегда слышится вопрос: «Да разве что еще возможно сделать?». А когда и начинают думать, то о введении новых слов в венчание. Между тем есть новые пути, новые категории работы около брака. Ну, например, хоть мена имени новозаветного на ветхозаветное. Брак, в общем смысле, есть таинство и Ветхого завета, ибо там его незыблемый камень: и если при принятии монашества меняется имя, это еще удобнее и необходимее в браке, ибо это действительно есть рождение в новую жизнь. И много подобного возможно будет сотворить, но я останавливаюсь, извинившись за отнятие у вас так надолго внимания.

МОММЗЕН И РЕНАН **

I

Когда в 1871 году в Пруссии собирались подписи лиц, высказавшихся за бомбардировку Парижа, то Моммзен, сам член парижской Академии надписей, не раз пользовавшийся гостеприимством всемирного города, расчеркнулся тоже

* «Брак — конец любви» (*фр.*).

** В «Мире Искусства» были помещены портреты Моммзена, раб. Ленбаха («М. И.» т. II, стр. 143 и т. VIII, стр. 336) и Ренана, офорт Цорна («М. И.» т. VII, стр. 138). *Ред.*

в этом списке, наряду с сотнями и тысячами штатских вахмистров. Уроженец датского городка, он ранее одобрил разгром своего отечества Пруссией.

Трудно сказать, внес ли он в свою гражданскую деятельность впечатления из «Romische Forschungen»*, идеи римского цезаризма и полновластия; или наоборот, он вносил в изучение Рима прусский дух, как он сложился во времена Бисмарка, Мольтке и Вильгельма «Великого», но несомненно, который-то из этих процессов имел в нем место и сложил главные черты того учено-политического портрета, который обозначается двумя именами: «Теодор Моммзен».

Судя по тому, что Антигона, Димитрия Полиоркета, Птоломея, Эвмена и других преемников Александра Великого он неизменно называет маршалами, как бы это были Мюрат и Даву; что слово «генерал» пестрит страницы о карфагенянах и самнитах; что Цицерона и Помпея он характеризует так уничижительно-страстно, как если бы это были бедственные Жюль Фавр и Мак-Магон, — мы почти без ошибки можем предположить, что не Рим впечатлениями своими залил для него зрелище современности, а современность, могуче бившаяся в груди историка, из нее разлилась на равнины и предгория архаической Италии, северного побережья Африки, переднюю Азию, и осветила прусским светом весь античный мир. Известно, что в XVIII веке французы и немцы невольно, неодолимо и безотчетно переделывали себя и все свое то в римлян и римское, то в греков и в греческое; куафюровались à la grec и à la romain**.

Время этого давно прошло, и ныне сановники государства никак не назовут себя «консулами», каковое имя приняли Бонапарт и его два товарища. Но произошло, и столь же невольно и безотчетно, «вторжение пруссаков в Рим». Цезарь показался Вильгельмом Великим, только еще характернее, идеальнее; оказался прототипом и идеалом того, что надлежало бы совершить, но не всегда удавалось Вильгельму; Цезарь был, конечно, даровитее Вильгельма, но взамен Вильгельм «покорил Цезаря» в том отношении, что наполнил все его огромное существо прусским содержанием, так сказать, трепетанием вот сейчас живущего мозга, мускулов, забот, тревог и торжества. В очерке Цезаря под пером Моммзена получилось столько жизни, реальной жизни, что этому не мог не удивиться мир; и в науке истории, в искусстве исторического изображения это был в своем роде единственный «портрет». Но художественной объективизации и постижения «духа истории» тут едва ли было бы не напрасно искать: Цезарь — как живой перед нами, мы делаемся зрителями его триумфов. Почти слышим лязг оружия и крики воинов. В этом необыкновенно живом трепетании самая суть знаменитых страниц о Цезаре.

Но «дух истории»?..

Возьмите «De bello Gallico»***: тупая, неодолимая, нигде, ни в одной строчке не патетическая речь самого полководца о себе, речь, почти арифметически правильная и алгебраически спокойная, говорит за то, что в знаменитой моммзеновской характеристике больше прусской действительности и меньше римской действительности; что это в своем роде историческая «шиллеровщина», т. е. пафос мещанина девятнадцатого века, бюргера и члена парламентской партии,

* «Римские исследования» (нем.).

** по-гречески, по-римски (фр.).

*** «Записки о галльской войне» (лат.).

окруживший лицо, существенно не патетическое, бронзовое, великое и... совсем, совсем с другим устроением души, чем какое нарисовано историком; с устроением, может быть, никогда не разгадываемым, но которое, в таком случае, пусть лучше и останется неразгаданным, нежели неправильно угаданным: точнее — нежели рассказанным слишком «по-братски», «по-свойски», «по-христиански». — «Ты мне не брат», — сказал бы Цезарь, удивленно отстраняясь, Моммзену.

В Моммзене нужно различать две стороны: несравненного лингвиста, юриста и археолога и затем изобразителя синтетической истории, т. е. целостных судеб и характера Рима. Только третьей стороны истории, так называемой «философии истории», — пожалуй, самой проблематичной, но и самой ее влекущей стороны, он никогда не касался и не имел самого инстинкта ее коснуться. Он, проживший без малого век (род. в 1817 году), начал с величайшей подробности: с собирания эпиграфического (надписи) материала в римских провинциях, притом не ближайших, в пределах бывшего Неаполитанского королевства (изданы в 1852 г.) и затем Швейцарии (древней Гельвеции, изданы в 1854 г.). Дело это было новое, и на фундаменте, заложенном Моммзеном, по его плану или под его руководством, оно было завершено в 14-томном издании «Corpus inscriptionum latinaeum» Берлинской академии наук (в 63 году). Его находки были иногда чрезвычайно счастливы и значительны. Так, он нашел, издал и объяснил знаменитую Анкирскую надпись, в которой Август сам изложил свои *res gestas* («деяния») и слог которой, заметим украдкой, тот же тупой и величавый, как в «De bello Gallico». Заметим вообще, что отсутствие патетичности, буквально «непробужденная душа» (Будда избрал себе в собственное имя: «Пробужденный», и вообще эта черта «пробужденности» знаменует дух всевозможного рода религиозных «открывателей»), и вместе какие-то бронзовые, бесповоротные «деяния» — едва ли не «гений» Рима. Вспомним, как Сулла назначил избивание нескольких тысяч пленных в храме Беллоны, и в то время, как оттуда неслись вопли умирающих, держал речь перед сенатом. Это не «шик» жестокости (как описывает Моммзен); в римлянах, по крайней мере, до империи, не было вовсе актерской черточки. Это было именно «не чувствую» тупого человека, «непробужденного», хотя и колоссального в силах. Кто чувствует суть Рима и немножко заражен «философией истории», в конце концов не может не повеселиться человеческим удовольствием, когда разные «культы Цибелы», разные Мессалины и Пoppей пришли и смахнули своими юбками всю эту бронзовую величавость, всю эту несравненную монументальность, но не дышащую, без слез, восторгов и поэзии, без всякого конечного в себе смысла, без чуточки (подлинной) религии. Моммзен, да и вообще историки негодуют на эти «восточные культы», вдруг все замутившие в ясном, «юридическом» Риме.

И поразительно, с какою скоростью, до чего бессильно повалились все эти «*duumviri*» и «*triumviri*» *, сенат, комиции, перед первыми же, нервно-экзальтированными волнами, повеявшими из Фригии, из Лидии, из стран Сирии и Малой Азии. Как гигантские глыбы северных снегов тают и исчезают под лаской тончайших и неуволимейших солнечных лучей, вовсе и не горячих даже, а только нарушающих «термическое равновесие» в стране, так и Рим, эта чудовищная амфибия с тремя градусами теплоты в жилах, померк в очах, повис в мускулах,

* «член комиссии двух» и «член комиссии трех» (лат.).

едва начала вливаться в его жилы первая же более горячая кровь от покоренных, от разоренных, от разграбленных и почти убитых восточных народцев. Одолела его не сила: в этом он был неодолим; одолела его мечта, иллюзия, сердечный зов: против этого он не имел заклинаний и против этого не действовали ни его легионы, ни преторские эдикты. Замечательно, что Моммзен не написал, вовсе выпустив, эту самую интересную часть внутреннего разрушения Рима. После трех томов «*Römische Geschichte*» * (1853—1855 гг.), доведши историю Рима до смерти Августа, он выпустил, по достаточно долгом промежутке (1885 г.), сразу пятый том, историю и особенно описание римских провинций перед Диоклетиановой эпохи, т. е. он пропустил, не имея вкуса, а вероятно и постижения, всю историю 10
духовного перелома Рима: тягостную, единственную во всемирной истории и, пожалуй, самую интересную в судьбах собственно самого «Вечного города». Тут уже кончалась «Пруссия» и начиналась «Германия»; а известно, что «Германия» во многом непостижима для Пруссии, и Бисмарк с Гёте только по недоразумению соотечественники. Вот этого-то «гётевского элемента», величаво-германского», высоко-человечного, универсально-значительного в Риме, — его Моммзен не постигал, почти не знал, или, и вида, отрицал: с этим едва ли кто будет спорить.

II

Кончим о специальных трудах Моммзена. Первый авторитет века в эпиграфической области италийских племен, он едва ли кому уступал первенство и в талантах, и в знании римской юриспруденции («Римское государственное право», 1871—89). Он более, чем кто-либо, способствовал тому, что даже на историко-филологических факультетах для специалистов-филологов, римская история стала излагаться как генезис римских правящих учреждений, как древности римского права, и уже из гениального их механизма объяснялись и всемирные успехи римлян, и римские нравы как первой республиканской, так и второй императорской половины. Юриспруденция стала «душою Рима», — что, может быть, и отвечает делу, но во всяком случае душа эта уже слишком прозаична. Бесспорным остается то, что Моммзен есть гениальный изобразитель «Судеб римского 30
правительства», изъяснитель «Римской правительственной системы», но в которой совершенно меркнут, отодвинутые на третий план, а то и вовсе зачеркнутые «Народная римская история», «Религиозная (или хоть сказочная) римская история», которая — пусть и в небольшом объеме — однако все-таки есть. Достаточно сказать, что в лице Цезаря, одолевшего Помпея, одолела все же партия Демоса, партия Мария, и пока мы обращаем внимание исключительно на правительственный римский механизм, мы все не понимаем, где же сокрыт и в чем именно заключался тот исторический «пафос», тот горячий пар, который двигал от перемены к перемене, от переработки к переработке колеса и винты этого правительственного механизма. Голод, как только голод, и голодная толпа, как 40
только таковая, это еще не объяснение. Нужно было, очевидно, войти в италийскую толпу, в эту смесь исчезнувших этрусков, перерожденных греков, да и лати-

* «Римская история» (нем.).

нян, но тоже переродившихся, начать слушать их сказки, суеверия, странствующих «оракулов»; все это область скорее братьев Гриммов, чем Моммзена. Моммзен, как представитель (и патетический) только римской правительственной системы, можно сказать, смотрел на «Romisches Volk» *, на толпу римских улиц, как член прусской палаты господ смотрит на отрицающих немецкую «культуру» чехов: «По башкам этих дураков палками!». Но это едва ли истина, ибо не только толпа эта стояла за спиною Цезаря и толкала его вперед, но в ближайшее к нему время она шла за спиною и того великого переворота, который при Константине Великом получил штемпель, ярлык, «заголовок» страницы исторического учебника и венец. Но это уже неуловимое и поэтическое истории; а Моммзен никогда к этому не имел сочувствия.

Сверх обработки права и эпиграфики Моммзен специальными исследованиями коснулся решительно всех уголков римской истории, например, системы весов, мер, монетной системы. Моммзен знал уголки и закоулки Италии и Рима, современные Цицерону, а особенно древнейшие, лучше, чем Цицерон **; знал и всю конечную, исполнившуюся судьбу Рима; к тому же он имел в себе «политическую жилку», большею частью у историков отсутствующую; знал, что такое «дух партии», тревоги партии. Можно же представить себе, как вошел он, каким горячим конем в эпоху, когда Клодий бродил по улицам Рима, наводя трепет на все честное и спокойное; когда тонкий и изящный Цицерон видел, что наступает время, когда хулиганы перервут всю паутину его красноречия, да и ему самому перервут глотку; когда с противоположных сторон выступали характеры, почти равной силы и мучительного соперничества, как Марий *** и Сулла; когда главами политических партий и политической программы являлись Сципион, с одной стороны, Тиберий и Кай Гракхи — с другой. Но не следовало забывать, что весь Рим, вся страна, вся эта колоссальная история есть явление столь же *sui generis* ****, как знаменитые римские *interrex*'ы, «междуцари» в республиканскую эпоху, эти, как бы Ромул и Рем, восстававшие из гробниц на несколько дней между выборами одних и других консулов. Что это такое?! Какая чудовищная, неповторимая, невообразимая логика лежала под этим?? «Не вемы».

Вот такое «не вемы», «темно», «не постигаем» необходимо удерживать в себе, молчаливо и скромно, собственно при всем созерцании (и изображении) римской истории. Тут никакая эпиграфика и юриспруденция не помогут; и даже их великолепное знание при самоуверенности может почти повредить, сообщая опаснейшую самоуверенность. Каким образом люди до Рождества Христова, до

* «Римский народ» (*нем.*).

** Труды последнего, часто касающиеся римской истории, без труда и во множестве направляются современными историками.

*** В Ватиканском музее есть портрет-бюст Мария, очевидно почти маска по множеству 40 подробностей, невозможных для изобретения: голова небольшая, волосы короткие, все лицо «мечком», вовсе без углов, без плоскостей в себе. «Свирепый Марий», так и хочется сказать, но свирепый во вспышке и без всякой свирепости в системе. Общее индивидуальное впечатление невозможно передать лучше, как сказав, что нет ни лица, ни портрета еще до такой степени сходного с лицом покойного Андрея Бурлака: точно два брата — один пошел в комедию, другой в трагедию, но только в трагедию действительную, совершившуюся.

**** своеобразный (*лат.*).

открытия Америки, до университетов и даже не имея ну хоть уровня нашего гимназического образования, сотворили юриспруденцию, выработали учреждения, каких не только что повторить или которым подражать, но даже их и постигнуть основательно не умеют первокласснейшие умы самых просвещенных народов: каким образом городок, поселок на берегу ничтожной реки мало-помалу одолел все монархии мира и сотворил из себя цивилизацию, — это навсегда останется чудом, на которое историк (пусть атеист) может только помолиться, но которого ни рассказать, ни объяснить он никогда не сумеет. Здесь то же бессилие рассказчика и философа-историка, даже самых гениальных, как, например, бессилие Васнецова или Нестерова нарисовать еще, сотворить вторичную «Иверскую Божию Матерь», как она есть, существует одна, «матушка». Мы этой аналогией хотим сказать, что «*res gestae*» * некоторых особенных народов суть подлинные «чудотворные иконы» прошлого, не разбираемые, не анализируемые, не подражаемые, «не рукотворенные» буквально, как и какая-нибудь икона, «найденная крестьянами поутру на дереве» или «плывшая такого-то числа по реке, а с тех пор стоящая вот в этой церкви». Иногда, подумаешь, ищут чудес: одни в спиритизме, другие в гипнотизме. Маленькие чудеса, мелкие какие-то. Историки в том отношении счастливы, что имеют постоянно обращение с полным и великолепным чудом, гораздо удивительнейшим, чем всякое «верчение столов» или «переписка духов», но уже чудом божественным, неизъяснимой прелести и красоты, небесным, хотя оно и происходит на земле и, как и подобает божественному, чудом разумным (рациональным), хотя в некоторых частицах страшным.

В истории Рима, между прочим, замечательна одна особенность: точно он вечно «пятился вперед», шел с глазами, назад обращенными (знаменитый римский «консерватизм»), и тупою, не видящею спиною вперед. Моммзен сам отмечает, что после войны с Антиохом III римляне все еще не догадывались, что они выброшены на всемирную сцену; все еще они действовали, мыслили, как латинцы; более всего пугались выхода из Италии, почти старались отвязаться от падавших одно за другим царств к их подножию. Не было в истории народа, с таким полным отсутствием всемирной мечты, таким полным равнодушием к всемирному владычеству, как римляне. В Сицилию, в Африку они перетаскились точно рак, зацепившийся клешнею за чужой палец, — и вот его перебросило Бог весть куда. Римляне точно не понимали, что с ними делается, и вечно пятились и пятились спиною... вперед. Властолюбие... да у всякого польского короля было его более, чем у Сципионов и Эмилиев. «Всемирное чувство» появляется только при императорах и то не первых, едва ли ближе Антонинов; Август называл себя «*pater patriae*» **, честнейшим образом исполнял магистратские свои обязанности (чиновнические, не царские). Все их Сципионы и Эмилии только и думали, как бы вернуться на родину, не показываться вон из Италии. Не было еще народа так мало странствующего, бродячего, мечтательного, «ищущего приключений».

Поразительно, что Италию они не завоевывали, а только скрепляли городок за городком и область за областью с собою договорами; и вообще договор всегда шел у них впереди меча, т. е. завоевания в известном нам смысле, что вот «подняли флаг над чужой землей», им было почти психологически незнакомо, вовсе

* Подвиги (лат.).

** «отец отечества» (лат.).

чуждо. Римская история есть, кажется, единственная, в которой совершенно отсутствует момент «нашествия», «набега». Они вечно ползли. История римских завоеваний — это почти история инженерного, саперного искусства; и только труд саперов охранялся войсками. Даже когда мир был уже покорен, его местечки, страны, народы потеряли почти только право самостоятельной инициативы войны, но сохраняли полную автономию, «самость» местной жизни. Между прочим, это видно из нумизматики: какие-нибудь полуобразованные страны, вроде Босфора Киммерийского, все еще чеканят свою монету с двух портретах: на одной стороне варвар Рископорид, от I до VI, на другой римский кесарь, I—II—¹⁰ III века по Р. Х. Кипр чеканит свою монету с изображением храма Афродиты Пафосской на обороте и портретом Веспасиана на лицевой стороне. Антиохия и Берит чеканят монету с сирийско-финикийскими бетилами (конусообразный камень в алтаре или под балдахином — предмет поклонения) и с портретом Траяна; Александрия сохраняет свою монетную систему до Константина Великого. Таким образом, и тени идеи нивелировки не было. Рим менее нивелировал собою Сирию, Египет, Грецию, Малую Азию, Понт, как, впрочем, и итальянские области, нежели Рим Виктора Эммануила, например, Кампанию или Сицилию. Язык, вера, нравы, управление, распределение налогов и полное местное «я»²⁰ были сохранены за каждым местечком, и не по страху встретить сопротивление при нивелировке, а по отсутствию самой идеи — «подавить и выровнять». Таким образом, обычное представление, что вот «железный Рим простер длань над миром» до чудовищности, до противоположности не верно. Нерон оттого и сердился, когда ему шикали (в театре), что ему все-таки шикали, чего не позволяют у нас даже в казенных театрах, и расправлялся он с «недругами» все же не как самодержец, а как частный человек, сутяжничая, обвиняя, оклеветывая, т. е. как частный человек обвиняет частного человека, но только с перевесом злости и влияния, с толпой и толпами льстецов, рабов, прислужников. Но это уже нравы, а не государственный строй; анекдотическая история двора, а не серьезная история правительства. Все еще стояла республиканская волчица на Капитолии;³⁰ выбивалось «s. c.» (senatus consultu — «по повелению сената») на монете. А если сенаторы бездействовали, были вялы, ничтожны, то ведь мир был покорен, не было цели, полета в истории; история почти стала полицейской хроникой без политического в себе движения. Задача Рима умерла. И умерли римляне. Зачем Геркулес, когда нет «подвига Геркулеса»? «Я думаю, как увеличить мускулы блохи, чтобы она могла вернее избегать врагов», — говорит природа у Тургенева; но когда врагов нет, природа делает ноги самые коротенькие. Меч римский притупился, храбрость исчезла, когда в них исчез всякий смысл, когда история пошла к совершенно другим новым целям.

III

⁴⁰ Почти одновременно со смертью Моммзена Франция поставила памятник Ренану. Он также посвятил свою жизнь истории, но ее другой, восточной части, именно той, которая расштала и в конце концов опрокинула Рим. Он так же имел отношение к Германии, как Моммзен к Франции, но как оно противоположно к требованию «бомбардировать Париж»! Ренан всегда восхищался ум-

ственною культурою немцев, их идеалистическою философию, их успехами во
 всех областях науки и не переставал указывать соотечественникам на эту культу-
 ру, как достойную изучения и усвоения. Если считать исходным пунктом и цент-
 ром его ученой деятельности научную экспедицию в Финикию, то Ренана можно
 назвать таким же историком семитических племен, как Моммзена италийских.
 Филология для обоих была основою, но у Моммзена она осложнилась глубоким
 изучением права, а у Ренан столь же глубоким вниканием в сущность религии.
 Характер обоих ученых, первых светил науки за весь XIX век, выразился столько
 же в выборе любимых наук, сколько и питался потом постоянно сферой созерца-
 ния и изучения. Насколько Моммзен сух, груб, а во вкусах и топорен, при всей ¹⁰
 несравненной своей учености, настолько же Ренан нежен, глубок, разнообразен:
 волнует читателя самым разнообразным и всегда тонким волнением. Моммзен
 есть только специалист римской истории; Ренан был выразителем просвещения
 Франции, и вообще европейского просвещения XIX века *. Как знаток семити-
 ческих языков и археологии Ханаана, вообще, как ученый специалист, он не усту-
 пает нимало Моммзену; он также в этой области не знал поправляющих себя,
 а только поправлял других. Но постоянное вращение в памятниках религиозной
 культуры как истончило и ублаговонило его душу! Говоря языком древних, при-
 роду души его можно назвать «влажною», а Моммзена — «сухою». Ум Ренана,
 позволим сказать, гений Ренана, точно вечно испаряется: он насыщает окружаю- ²⁰
 щую атмосферу гораздо далее границ точного своего местоположения. Эта-то
 душистость и соделала его «представителем просвещения», чем не был и не мог
 стать Моммзен, только просвещенный сам, ограниченно и деловито, без игры
 лучей, значительной для всей эпохи. И Ренан так же любил Францию, как Момм-
 зен свою Пруссию, но насколько более одухотворена была его любовь, лишен-
 ная вовсе горделивых или хвастливых выходов, любовь скорее грустная и прови-
 девшая (до 70-го года и после него) большие беды для отечества, действительно
 потом наступившие. Его политические статьи, разные философские и публици-
 стические очерки никогда не имеют вида программы, не суть писания члена ³⁰
 партии, а голос просвещенного человека к просвещенному обществу. Темы, кото-
 рых касался Ренан, иногда кратко, но никогда не скользя по поверхности, пре-
 восходят чрезмерно и обилием, и глубиною, и всечеловечностью темы, занимав-
 шие Моммзена. Невольно приходят на ум киммерийские монеты и хочется
 назвать Моммзена «Рископоридом», а Ренана хочется сравнить с Траяном или
 Адрианом на той же монете. Фаза ли исторического роста нации здесь сказалась,
 или разница кельтического и германского духа, или, наконец, зрелище успехов
 в одной стране и неуспехов в другой, но Моммзен, именно как Рископорид, пора-
 жает варварством и неотесанностью около Ренана — человека, которому ничего
 не недостает, чтобы Франция сказала о нем: «Вот для чего я потела, трудилась ⁴⁰
 и страдала ряд веков: чтобы выработать душу, так созерцающую, волнующуюся
 и творящую». В самом деле, за исключением Пастера, едва ли можно назвать
 другое имя, в котором силы, здоровье и высота галльской крови сказались бы
 так полно и удачно, как в Ренане, так закруглено и универсально.

* Говоря о Ренане, мы почти выпускаем из соображений его «Жизнь Иисуса», книгу, на
 всяческие взгляды, стоящую гораздо ниже своей темы и заголовка.

Старая страна! старая страна! — тут сказались ее преимущества. Если не объединять (как и нельзя) «пруссский дух» с «германским духом», то эти македоняне христианского мира имеют чуть ли всего не три века «истории своего духа». Это так коротко, что можно остаться Рископоридом. Напротив, Франция, несмотря почти на непрерывные вековые неудачи, временами переходившие в унижение, все же есть страна, отечество и государство еще Меровингов, с непрерывной и единой линией духовного развития, законов и правления от Хлодвига до Гамбетты. Это такое протяжение, такой ряд потрясений, переворотов, комедии и трагедии, что зритель уже невольно воспитывается на нем.

¹⁰ Есть преимущества в старости, между прочим, образовательные. Все молодежь может быть прелестным, но оно непременно остается грубоватым, уже по неопытности сердца; а опыты сердца кого не умудряют, не смягчат и не разовьют. Замечательно, что великие германские идеалисты, как Шиллер, в самом идеализме своем имели жестковатость, точно весенний поток, который хочет что-то сломать. Идеализм Ренана имеет старые краски. Он уже бессилён, не предпринимает нового; он только постигает или предупреждает, но в этом покое и благоразумии старости есть какая-то скрытая своеобразная краснота.

Так иногда оранжевые листья, густо усеявшие аллею в конце сентября, нравятся более, чем коротенькая и колючая мурава в апреле...

20

МОСКОВСКИЕ ИДЕАЛИСТЫ

Проблемы идеализма

*Сборник статей С. Н. Булгакова,
кн. Е. Н. Трубецкого, Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, С. А. Аскольдова,
кн. С. Н. Трубецкого, П. И. Новгородцева, Б. А. Кистяковского,
А. С. Лапто-Данилевского, С. Ф. Ольденбурга, Д. Е. Жуковского. —
Под редакцией П. И. Новгородцева. — Издание Московского
психологического общества. — Москва, 1903 г.*

³⁰ В противоположность так называемой «точной науке», в которой опыты и наблюдения, сделанные, положим, в Калифорнии или Японии, без всякого «сопротивления среды и пространства» передаются в Петербург и Москву и здесь вызывают ряд последующих опытов и наблюдений, проверяющих или развивающих далее японские или американские опыты, — так называемая «философия» всегда теснее связывалась с каким-нибудь пунктом страны, городом. Была «афинская философия» (Сократ, Платон, Аристотель); была, в Греции, колониальная «элейская», названная по имени итальянского городка Элеи (вершина ее — Парменид); в новой Европе приобрела знаменитость «шотландская философия». Но не только нелепо говорить, но и совершенно невозможно себе представить «афинскую физику», «элейскую геометрию» или «шотландскую астрономию». «Точная наука», таким образом, или вовсе не связана или связана ⁴⁰ чрезвычайно слабо с «пространством и временем», нося черты международной

или универсализма. Напротив, философия, по-видимому, имеющая гораздо более универсальные притязания, если и не вполне зависима, то очень тесно связана с данной народностью, страной, часто даже просто с городом. Это должно вызывать в нас недоумение: самое «небесное» — так коренится в «земле»! и самое, казалось бы, «земное, грубое» (точная, материальная наука) является почти не связанною земными условиями. Между тем дело объясняется проще и не так унижительно для философии: последняя имеет «душу» в себе; почти хочется сказать интимно, простонародно: «душку». Напротив, универсальность «точных наук» проистекает из гораздо меньшего их одушевления, из их сравнительной стихийности, почти минеральности. Минерал «родины» не знает, тогда как географическая часть ботаники и зоологии учит нас, что, за немногими исключениями всемирно распространенных растений и животных, всякий почти цветочек, каждое животное имеет «родину», «отечество». Есть «альпийские растения». И несмотря на молодость своего распространения, им нет причины склонить цветущую головку перед полевым шпатом или горным хрусталем, который ров-
но таков же в Исландии, Австралии, как и у нас на Урале.

Философия всегда была чрезвычайно местна: и это оттого, что важнейший для нее импульс всегда давался беседою, частным разговором. «Беседа двух физиков»... конечно, может представлять большой интерес, но трудно представить такую беседу, открывающую собеседнику совсем новую сторону знакомой обоим им науки; или которая стала бы источником поворота мысли! Напротив, «беседа двух философов» есть не только высоко интересное явление: но частые беседы двух-трех-четырех философов в Афинах, Элее или Эдинбурге именно и полагали начало целой «школе мысли», получавшей иногда всемирно-историческое значение. Мы сказали, что в философии чрезвычайно много «души». Иногда это последнее слово («душа»), так измучившее своею неразгаданностью философов, хочется перевести как можно грубее, совершенно материально. «Душа» есть «дух» в смысле «запаха» или «ароматичности». Не торопитесь смеяться над этим кухонным определением. Цветок наполняет своим запахом, специальным и ни с чем не смешиваемым, целую комнату: совершенно как и «душа», это запах «не имеет измерения, длины и толщины, не имеет осязаемости, невидим». Слишком много сближений, чтобы не задуматься, не есть ли в самом деле «дух» человека что-то близкое и смежное, хоть отдаленно подобное этому «духу», «воздуху», идущему от цветов. И как от маленького цветка запах наполняет комнату, так и «дух» человека, в конце концов удивительнейшего создания природы, необъятно высшего, чем фиалка, доходит до звезд, объемлет собою вселенную: это — его мысль, любопытство, поэзия, молитва.

Во всяком случае, как нельзя смешать запах фиалки и розы, и «дух» или «душа» у каждого человека глубоко своя. Я сейчас и подойду к «местным зарождениям философии». Где-нибудь в Элее, в Афинах, в Эдинбурге, наконец в Москве появляются один-два человека глубоко родственного, взаимно «симпатичного» сложения души; рождается, говоря языком ботаников, маленькое «семейство растений», весьма отличающихся от окружающих, а друг к другу близких. Такие люди-растения, люди-цветы «с полуслова» понимают друг друга, тогда как вчуже, вдалеке их мысль и душевное настроение кажутся нередко странными и трудно усвояемыми. Замечено, что философия очень трудно передается из страны в страну: да еще и вопрос, передается ли она когда-нибудь настоящим обра-

зом, не теряет ли она при такой передаче и усвоении лучших, хотя и неуправляемых (для «чужестранца»), так сказать, лепестков своих, своих специфичностей. Подлинные, индусские буддисты, верно, многого бы не одобрили и многого даже не поняли в передаче из настроений Шопенгауэром. Перехожу к «зарождениям» философии. «Точная наука», которая почти не имеет «души» в себе, стихийна и минеральна, она не находит никакой для себя пищи в индивидуальных особенностях физика или астронома. Кто открыл новый спутник планеты, или кто вычислил орбиту такой-то кометы? Право — это неинтересно. Вычислила орбиту математика, а спутника открыл глаз. Здесь есть логика и знание, есть универсальные, стихийные качества человека, которые действуют как машина и растут как пирамида складываемых кубиков. Но возьмите «портрет» (в литературном смысле) Вл. С. Соловьёва: здесь «душа» творца до того неразделима с «сотворяемым», что чем больше воспоминаний и мемуаров нам оставлено о философе, тем становится понятнее и его философия. Теперь, введите «знаменитого физика» и «знаменитого философа» в какой-нибудь город, положим в Москву. Физик ни сам не «заразится» ничем от города, ни собою города не «заразит». Что, например, Столетову (знаменитый, недавно умерший, физик тамошнего университета) скажет Кремль, Обжорный ряд, памятник Минину и Пожарскому? Ничего. Тут взаимная глухота. Физик оттого и универсален, что он абсолютно неместен, апатичен местности. Но философ, но Вл. Соловьёв? Неуправляемыми волнениями души, чертами образа своего, нервной, сомневающейся речью он войдет на Маросейку, Остоженку, Зубовский бульвар. Он будет жить не только положительными своими взглядами, напр., тем, что «дал философии», «приобрел для философии». Он, пожалуй, чуть ли не сильнее будет жить именно тем, о чем скорбно вынужден сказать: «Не знаю», «Недоумеваю», «Говорю, но плохо верю». Может быть, именно эта-то колеблющаяся часть его «философских приобретений», которая в точной науке была бы просто «нуль», «напрасно потраченное время», «начатая и испорченная работа», — именно это-то, может быть, и заразит самым могущественным заражением окружающие головы и станет могучим «бродилком», могучею закваской «школы Соловьёва». Но очевидно, это до того не отделимо от личности Соловьёва, от веденных им и нигде не записанных «бесед с глазу на глаз», что возникновение, напр., «школы Соловьёва», как местной «московской школы», было бы возможно и вероятно. Впрочем, я беру его личность, как пример, как разъяснение всемирно-знаменитых явлений («элейская школа», «шотландская школа»), не предполагая вовсе на этот раз говорить о нем.

Обширная книга, лежащая перед нами, во всяком случае свидетельствует о наличии целой школы московских идеалистов как группы людей, связанных значительным родством мысли, единством или близостью тем, и, так сказать, психологией одного или приблизительно одного возраста и условий философского воспитания. Группируется она около Московского психологического общества, основанного покойным профессором тамошнего университета, М. М. Троицким (лет 20 назад), но особенно оживленного во время долгого «председательства» тоже теперь покойного Н. Я. Грота (оба — профессора философии Московск. университета). М. М. Троицкий был изумительно блестящий лектор, чтения которого собирали всегда множество слушателей; но как у Майн-Рида был «всадник без головы», так и М. М. Троицкий, между прочим, и мой дорогой наставник, всю жизнь, весь упорный свой характер и значительную

эрудицию положил на то, чтобы показать своим довольно несчастным (в философском отношении) слушателям философию тоже «без головы», состоящую лишь из одного туловища, рук и ног, которую неизвестно зачем таскает по полям всемирной истории глупая лошадь, т. е. люди, занимающиеся философией. Человек духовного образования, шестидесятых годов, он признавал в философии только опытную английскую психологию, и не только отрицал, но нравственно порицал (как «шарлатанство») и жестоко высмеивал как философию немецкого идеализма, так и школу французских мыслителей после Декарта. Но не в этом важность, а в том, что за какое дело ни возьмется М. М. Троицкий, дело это ляжет таким камнем, что его и своротить нельзя. Объяснялось это высокомерным, гордым его характером; тем, что он не умел спорить, взаимодействовать, а умел только презирать и подавлять; и при его изящной речи и огромном самообладании последнее удавалось. Основатель и первый (очень недолгое время) «председатель» общества, он мог его переносить почти только, как покорных слушателей его, в сущности, нелепой «системы»; ибо «безголова» была, конечно, не философия, в таком виде разрисовываемая им, а уже гораздо вероятнее его собственные «философские воззрения». Между прочим, он был чрезвычайно преисполнен «академизма», и философия для него заключалась в писании томов и томов какой-то «опытной психологии», с полным устранением всего житейского, жизненного. Когда вскоре после него сделался председателем общества Н. Я. Грот, молодой, только что переведенный в Москву, профессор, то он сделал ему сцену (и, кажется, вышел из состава членов общества) за то, что тот предложил избрать в почетные члены «Психологического общества» гр. Л. Н. Толстого. Я лично помню, как с удивленными глазами молодой, приезжий ученый жаловался, что Троицкий упрекал его громко и открыто в «искании популярности» (себе и «обществу») выбором Толстого, который «какие же сочинения по психологии написал». До чего все это неуклюже и нелепо, не надо объяснять читателю: ибо ведь именно по «опытной»-то «психологии» (конек Троицкого) творец «Войны и мира» и «Карениной» есть (и был в 1881 г.) первый всемирный авторитет. Но Троицкий требовал благоговения перед собою, согласия с собою, а сам был «без головы». В Н. Я. Гроде явился человек, точно нарочно созданный для настоящей постановки «Психологического общества». Позволю себе быть откровенным. Хотя сам он написал очень много книг, и вообще непрерывно писал, но совершенно невозможно было понять, чего он держится и какую исповедует философию; первый его труд: «К вопросу о *реформе* логики», изданный в Лейпциге (сам он в ту пору был профессором в Нежине), самым заглавием своим, как и странным местом издания, вызывает неудержимую улыбку. А если принять во внимание предисловие его к этой большой книге, где он откровенно сознается, что спешит ее напечатанием, ибо во время ее писания несколько раз менялись его взгляды на материал книги, и если еще он замедлит, то они и еще раз изменятся, и т. д. до бесконечности, так что и напечатать ее не придется: если, говорю я, принять это во внимание, то улыбка перейдет в самый искренний и чистосердечный смехок. Я помню время его вступления в Москву, и шум неодобрения, так сказать, несшийся до его приезда. Но он приехал и все рассеялось. Достаточно было видеть и немного поговорить с ним, чтобы заметить, сколько было, так сказать, «философического» в этой-то именно его не философичности. Царила (в университете) «опытная психология» Троицкого, неуклюжая, лежащая, гордая, са-

модовольная. Между тем в Москве, в поколении старших людей (профессоров и их друзей) было во множестве идеалистов, еще старого гегельянского закала, которые решительно негодовали на положение философии, созданное долгою и властительною профессурою Троицкого. Когда передвигался в Москву Грот, то всем это казалось... облаком без электричества. Все знали почтенного его отца, академика, знаменитого филолога и думали, что идет только «сын своего отца». Едва ли назначение его на кафедру не было административным распоряжением гр. И. Д. Делянова, к философии имевшего мало отношения, а с профессорскою коллегией не церемонившегося*. Но, повторяю, лично появившись, Н. Я. Грот

10 быстро рассеял все о себе недоумения. За долгую свою жизнь я не помню лица (или немного помню таких же лиц) столь правдивого, мужественного в речи и взглядах, совершенно открытого, доверчивого и как-то предрасположенного уважать каждого, кто бы к нему за каким делом ни относился. Как будто он вырос в патриархальной чистой немецкой семье «без греха, проклятия и смерти» (символы грехопадения). Едва он появлялся, как было очевидно для каждого, до чего иметь с ним дело приятнее и полезнее (в смысле достижения результата), чем с кем-либо. Группа московских (старых) идеалистов сейчас соединилась

20 вокруг него и поставила его председателем «Психологического общества». Отсюда началась, мне кажется, имеющая историческое значение, деятельность Н. Я. Грота. Он стал в буквальном смысле «душою», «душевностью» не только московских идеалистов, но без всякой вражды и соперничества потянулись сюда и петербуржцы, а наконец и все, преданные философии по всей России. Так как он сам необыкновенно любил писать, то малейшее движение «сочленов общества» в сторону литературного выражения повело к основанию журнала «Вопросы Философии и Психологии». Тут-то, при основании журнала, и выразилась, можно сказать, провиденциальная философичность нефилософичности «председателя общества» и вместе редактора журнала. Шел или намечался перелом от позитивизма к идеализму. Сам Грот был и позитивист, и «идеалист в душе». Будь он одно или другое, будь им определенно и фанатично — он все бы задавил

30 прежде всего как редактор. Настало бы нечто гибельное, как при Троицком. Но он назвал основанный журнал «Вопросы Философии» (как насмешливо в рассказах подчеркивал Страхов). «Что я знаю (— убежден в чем)? Я *ниче*го не знаю!», — мог он сказать с Сократом. В критическую, в ломающуюся, в сомневающуюся эпоху это и было (в редакторе и председателе единственного в России философского общества) золотым исповеданием. Но я не помню человека, в котором бы таковая формула исповедания сказывалась так непосредственно, с «небесной ясностью». Там, где исповедания нет, или мало, — есть его претензии, его скверный суррогат; есть фанатизм мнений (таковой и был, в сущности, у Троицкого, ибо его афилософичность нельзя же назвать философиею). Но Грот вечно самым

40 трудолюбивым образом занимался «философическими вопросами», был очень учен; все в новые и новые фазы воззрений входил, как и при «реформе логики». И никому это не мешало, и ничего это не стесняло: ибо автор, редактор и предсе-

* Пишу я по личным воспоминаниям, как кончавший студент-филолог Моск. университета; но позднее я много беседовал о Гроде как с Н. Н. Страховым, служившим в Ученом комитете м. н. пр., так и с профессорами и друзьями Грота. Во всяком случае, в тоне моих объяснений нет ошибки, хотя в деталях объяснения они могут встретиться.

датель знал, что за одним воззрением может быть и другое, а затем родится третье и т. д.; и что нельзя же из-за этого задерживать (как и он издание «Реформы логики») выход книжек журнала, а надо брать материал как он есть, лишь бы он был литературен, и если позитивен — то без грубостей и особенно без личных обид (что у «позитивистов» при полемике встречалось), а если идеалистичен — то это еще лучше, но лишь бы без язвительностей в сторону школы опыта и наблюдения, которая имеет свои заслуги, даже, пожалуй, основания, и, особенно, ряд добросовестных в своих рядах тружеников. За спиной Грота сейчас же встали, я думаю, глубочайше ему преданные люди (ибо невозможно было не сознавать огромной исторической значительности его фигуры) — г. Лопатин, кн. С. Трубецкой и Е. Трубецкой, люди уже крепкого взгляда, настоящей литературно-философской работы. Но из них всех покойный Вл. Соловьёв (в беседах со мною) особенно выделял покойного Преображенского, говоря, что хотя он почти не пишет, а занимает (ради средств к жизни) какое-то служебное место при московской думе, — но несравненен по огромной философской эрудиции и по настоящему призванию к философии. В «Вопросах» я помню только блестящую статью Преображенского о философии Нитцше, — самую раннюю, кажется, в длинном ряду последующих, из которых русское общество ознакомилось с этим долго непризнаваемым на родине и у нас долго же неизвестным мыслителем. У Преображенского была музыка в душе, а не одна компиляция. Кстати, уж увлекся воспоминаниями: тот же Соловьёв особенно выделял кн. Е. Трубецкого, и на мои вопросы о кн. С. Трубецком, авторе прекрасных трудов по истории греческой метафизики, все указывал на последнего и говорил о его большой работе о бл. Аугустине.

Сам Грот, давая ход позитивистам (как редактор, как председатель), лично больше имел влечения к идеалистам. Вл. Соловьёв едва ли не был, хотя и издали (он только часто наезжал в Москву), могучим светилом, лучи коего поднимали из московской почвы много идеалистических «испарений». Во всяком случае Соловьёв вечно отвлекал к жизни и житейскому (к связанности с жизнью) представителей московской философской кафедры, каковая по вечной тенденции всякой профессуры могла бы просто засохнуть в никем не читаемых диссертациях. Он сообщал поэзию в философию; он увлекал философию на темы религиозные, политико-общественные. Сам острый философский ум, он и в «диссертационные» беседы московских ученых вносил превосходный чекан, полемику, помощь, указания, ответы. И живостью, и силою он превосходил московских друзей, сам, впрочем, будучи москвичом по рождению и воспитанию. Нельзя найти следов «школы Соловьёва» в Петербурге, в смысле верных хранителей и развивателей его философии. Здесь о нем появлялись или только мемуары, или «благочестивые посмертные» изложения частей его мысли. Но в Москве заступ его копнул глубже. И не смешно говорить (если и не имеем для этого полного права) о школе «московских идеалистов», как «школе Соловьёва». Традиция здесь ясна: не только реакция вообще против русского позитивизма, но и против местного, чрезвычайно фанатичного и жесткого, и вместе очень влиятельного действия Троицкого (не забудем, что он был чтец лекций, исключительно талантливых по изложению). Реакция эта выразилась в дружном интересе к всегдашним темам германского идеализма, в друзьях-сверстниках Соловьёва; затем группа преданных «идеализму» молодых профессоров, товарищей Грота, дала во

втором поколении ряд молодых ученых и писателей, теперь почти только выступающих, или недавно выступивших с пером. Позволю себе привести маленькую как бы рекомендацию, предпосланную «Проблемам идеализма». Она лучше всякого объяснения введет в историческое положение «московского идеализма», некоторые подробности о котором я сообщил выше. «От Московского психологического общества. Выпуская в свет настоящий сборник, московское психологическое общество с особенным удовольствием дает место в ряду своих изданий этому серьезному коллективному труду. Являясь выражением взглядов лишь одной группы его членов, принадлежащих к идеалистическому направлению, этот труд должен был, однако, встретить поддержку и со стороны всего Психологического общества, ввиду того выдающегося интереса, который он представляет. Следуя в своих изданиях принципу безпристрастного отношения к различным философским течениям, общество выражает этим свою веру в неподлежащее сомнению торжество истины, которая в самой себе носит силу как своего утверждения, так и непреходящего значения и господства. Председатель Московского Психологического общества Л. Лопатин».

Тут, можно сказать, как живая перед нами вся гротовская эпоха московского идеализма. О чем говорится в предисловии — и разобрать «философически» нельзя. Просто: «Читайте, хорошая книга». Между тем «разобрать нельзя» у автора очень известных и определенно идеалистических книг. Но «традиция Грота», мягко руководительная и во все стороны эклектическая, так сказать исторически-принудительно отразилась на тоне предисловия. О какой «истине» говорит центральное слово предисловия? Позитивисты ее могут зачислять в свое имущество, идеалисты — в свое. Ну, а как Л. Лопатин? А он говорит, что «истина в себе самой носит силу как своего утверждения, так и непреходящего значения и господства». Сказать такой «тост» еще можно во время «философического» обеда, с шампанским или фалернским в руке; а в предисловии к книге как будто этого маловато. Но уже Грот говорил: «Работайте, а не философствуйте»; и мы видим в полноте своей прекраснейший факт, настоящую книгу, «сработанную» Психологическим московским обществом, вся ответственность за содержание которой полно и свободно (это-то и главное!) возложена на авторов статей. «Книга хорошая, читайте и критикуйте сами», — как бы говорит тень Грота из могилы; тогда как покойный М. М. Троицкий, увидь он эту книгу, изданную им основанным «Обществом», — перевернулся бы в могиле. Но ведь по «английской опытной психологии» после смерти от нас «бысть один прах». Так что «идеалисты» настоящего сборника, порадовав Соловьёва и Грота, не огорчили и «горсть земли», кою стал красноречивый московский профессор.

Но какое я имел право сказать так определенно о туземной «московской группе» идеалистов? Объясню опять все воспоминанием, так как уже стал на эту почву. Года два назад из Петербурга поехал в Москву тоже один «идеалист», с кучей статей, рукописей, тем и проектов, — и вошел в личное общение с тамошними учеными. «Пишите, страницы нашего журнала вам открыты», — предложили они ему, очень известному писателю. «Значит, заинтересовались вашими темами? признали их основательность?», — спрашиваю я. Ответ его поразил меня странностью: «Нет. По доверию к моему перу предложили мне писать. Но настроение души моей, но вопросы, меня мучающие, — их невозможно им объяснить. Они встречают полное недоумение или легкую улыбку. То, что вам понятно

с полуслова, о чем мы никогда здесь и не сговариваемся, так все понятно само собою, т. е. в смысле темы и вопроса, — для них не представляет ни интереса, ни значения, ни любопытства. Студенты меня понимали, профессора — ни-ни!».

Значит, неуловимые влияния, оттенки душ, индивидуальный аромат, длинные ночные беседы, споры с глазу на глаз подготовили в Петербурге почву для одного идеализма, и в Москве — совершенно для другого. В книге «Проблемы идеализма», которая представляет реакцию от позитивизма к идеализму, нет не только многих, но ни одной ссылки на писателей, из которых каждый лет 30—40 литературной деятельности положил на защиту идеализма: на Страхова и Данилевского. Это — петербургские идеалисты, и их традиции как будто не существуют для Москвы. Через голову Петербурга, они берут подтверждения из Германии, Англии, умалчивая о соседнем почти городе. Самая книга имеет такой вид, как будто «идеализм» вот-вот только рождается на Руси. И между тем статьи принадлежат ни в каком случае не профанам по философии: из ссылок видно, что и древняя философия, и самые новые явления в философии им равно хорошо известны.

Этот «возрождающийся идеализм» представляет чрезвычайный умственный и общественный интерес, уже по энергии своего литературного выражения и по многочисленности голов, дружно двинувшихся в одном направлении. Мы оставляем за собою право указать со временем авторам сборника некоторые пункты возражения: 1) а что же, так называемый «идеал», есть ли что-нибудь *анти-*«натуральное», так как авторы свой «идеализм» противопоставляют натурализму (в истории, в жизни, в природе); и 2) а так называемые «низшие нужды» человека в истории, например экономические, должны ли быть принесены в жертву или даже заменены «высшими интересами»? Авторы сразу увидят из двух этих указаний, что если путь их прекрасен, то и встречающиеся на нем тернии чрезвычайно колючи; и что «материализм» не торжествовал бы так долго, если бы в нем самом не содержалось некоторое идеальнейшее начало, совершенно не упразднимое.

ТЕНОР ЖУРНАЛИСТИКИ

Ох, искушение...

Петербургский. «В лесах»

Кто не помнит чудесной панорамы староверческой жизни, набросанной талантливым Печерским в его 4-томном романе-хронике «В лесах»? Старицы, купцы, нарядные девушки — все сливается в живую, колоритную, оригинальную картину. Но Печерский имел тонкий глаз наблюдателя. Среди «черничек», вздохов, акафистов, непрерывного «умерщвления плоти», он вставил фигуру странствующего регента, отличавшегося удивительным тенором, и которого за его дар наперерыв звали к себе разбросанные «по лесам» обитатели «древнего благочестия». Известно, как Кречинский очаровал отца своей невесты разговором «о породистых телушках». — «Вот будет хозяин», — мечтал возможный тесть. Регент

Печерского также очаровывал старые окладистые бороды («лопатай») своим «сладкопевчеством». Но дар у него был двойной. Он не только имел сладкий голос, но и сладкие вкусы. Серенький, небольшой, мешочком, едва спускалась ночь, не севильская, а нижегородская, как «сладкопевец» спускался с палатей, осторожно одевал мягкую обувь и незаметно прокрадывался на свиданье «без последствий» к какой-нибудь черничке или созрелой деве, с которою неувлимым образом он завязывал отношения во время дневных, вечерних и ранних утренних служб. И вот, когда случалось, что идущая «дозором» настоятельница женской «обители» находила его «не за делом», пристыженный регент проговаривал характерную фразу:

— Ох, искушение!..

т. е., что это не он «волею своею» впал в грех и соблазн, но что нашло на него «искушение», перед которым бессильны человеческие добродетели. «И уж вы, отцы, простите»...

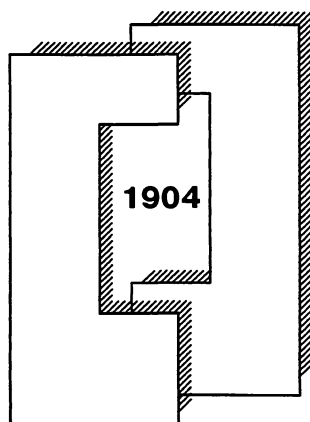
«Отцы», которые всякого другого не пощадили бы, только сетовали на регента, ругали его, но никак не могли его прибить, ибо от талантов его решительно зависела красота всего их, страстно любимого, богослужения.

Такое соединение сладкого песнотворчества с женолюбивыми вкусами, набросанные рукой Печерского, напоминает мне г. Меньшиков в его «Письмах к глуповатым людям», какие он ежевоскресно помещает в главном органе петербургской ежедневной прессы.

— «Кофе и Меньшиков», — говорит каждое воскресенье утром горничная своей барыне и барину. Я думаю, «барин» не особенно бросается на срочное «Письмо», но барыни, эти всероссийские барыни, много чувствовавшие, разнообразно жившие, глубоко страдавшие, отодвигая кофе, берутся за тенора!

— «Сладко... Еще перечту»...

Я не вспомнил бы о нем, если бы сразу в двух журналах не пришлось этот месяц прочесть двух статей о нем, таких волнующих, что у меня попадали из рук вилка и нож, ибо полученные книжки я разрезал и проглядывал за завтраком. Особенно же г. Михайловский, почтенный «Николай Константинович Михайловский», делает истинную вивисекцию над петербургским «тенором». Я боюсь, что он повредил у него голосовые связки, и на некоторое время Меньшиков будет говорить тихо, как Вильгельм германский после операции. Я думаю также, что многим барыням в Петербурге и даже в окрестностях Петербурга после «проклятой статьи» не будет спать целый месяц.



ПЕЧАТАНИЕ СИТЦЕВ

— Кубовая материя, сударь, кубовая материя, — говорил мне мужичек-рабочий, ворочавшийся около какого-то допотопного механизма и мявший в руке что-то похожее на матерю.

Я был студент, неопытный.

— Какая кубовая материя?

Он развернул полосу, состоявшую из синих и красных квадратов, в клетку.

— Печатаю ситцы.

— «Печатаешь» ситцы? Но ведь Гуттенберг изобрел печатание сочинений? ¹⁰
Прежде писали, а после Гуттенберга стали печатать.

— Не знаю.

— Не знаешь. А с другой стороны, о ситцах я слышал, что их ткут. «Ткут материи», «тканье материи». Не видал, но слышал. А ты говоришь, что материи «печатают». Как странно!

— Печатаем. В две краски, — красную и синюю. Материя подходит под эту вот сторону куба, и она кладет на белое полотнище красные квадраты, а потом материя заворачивает, а куб тоже поворачивается — и кладет синие квадраты. И выходит в клетку, а материя, как она печатается кубом, называется в торговле «кубовою» и стоит дешево. ²⁰

Я взглянул. Действительно, как просто: куб поворачивается, материя тоже поворачивается, и разом, аршинами, охватывает цветную матерю. А я был уверен, рассматривая еще ребенком красненькие и голубенькие цветочки на подушке (наволочке подушки), что их разрисовывают кисточкой и потом дают высохнуть. Но неужели и синие изразцы тоже не разрисовывают? У нас была сладкая лежанка, всегда-всегда горячая: и бывало не насмотришься на синих, по белому, птиц и зверей. Хвостатую, должно быть фазана или «жар-птицу», до сих пор помню. Я всегда лежал на лежанке и — глупое занятие! — пускал слюну по свободному краю. «Далеко ли дотечет?». Это меня ужасно занимало. Разбаливалась голова от усилия, — а я все пускал. Мама бранила, но сечь не рещалась. ³⁰

* * *

Так вот как, не «рисуют» картинки, а «кубом»... Может быть, в точности много выходит, так что в красно-синие наряды успевают обрядить 140 миллионов, когда прежде, «разрисовывая от руки», принаряживали всего несколько сот тысяч каких-нибудь «древлян» или «кривичей».

«Кубовые» эти материи чаще и чаще приходят мне на ум, когда я беру, для очищения совести, журнал, газету, а очень часто даже и книгу, с благочестивой целью поучиться.

— Нет, это решительно не литература, а какое-то «печатание ситцев». Никакой разницы в производстве. Тоже берется какой-то механизм, приблизительно доска, и прикладывается к бумаге так, к бумаге этак: и вышло — «сочинение». Что-то подобное есть. «Кубовая материя, сударь», — говорил мужичок. «Писатель» давно стал таким печатающим «кубом», у которого одна сторона выкрашена в синюю краску, а другая — в красную. Бумага, т. е. будущая «книжка» ¹⁰ журнала, осмелюсь сказать, «листок» газеты, решаюсь подумать) шлепается то о правую синюю, то о левую красную сторону писателя: и выходит... в самом деле выходит, чорт возьми, книга, с оглавлением, предисловием, даже с примечаниями и, следовательно, эрудицией. — «Так вот как делается алгебра», — мог бы сказать Петрушка...

Я хочу этой шуткой сказать необыкновенно грустную мысль, что от усталости ли человеческой, от множества ли печати, или во исполнение магического слова, принесенного на землю некогда: «к концу времен — охладет в людях *любовь*» (энтузиазм, всяческий порыв): но менее и менее становится видно в литературе *лигности* человеческой. Точно пишет «вообще человек», «куб», а не Иван Иванович, человек таких-то манер и характера, имеющий миленькую жену и кучу розовых херувимов. Чорт знает, *кто* пишет: мужчина, женщина, старый, молодой, эллин, иудей... *Низего* не разберешь. Видишь только — *тему*, и что ее ворочает какой-то «куб»...

* * *

Душа скрылась из литературы; и работают какие-то «общие способности». Все индивидуальное, «мое», «не чужое» — меркнет! Неудержимо!! Работать начинают в *каждом* именно «не его», а «чужие в нем» качества души. Посмотрите, как притупилось в *каждом зрении*, наблюдательность; даже *интерес* смотреть, взглянуть! Тема, необъятная в сложности, вызывает только скользющую о себе ³⁰ мысль; не думайте, что это *неспособность*: нет, действительно ни на *нее*, да и ни на *кто* «не хочется взглянуть». «Не хочется» взглянуть: «не хочется» подумать. Бедный человек, чего же тебе «хочется»?

Умереть?

ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ

Мысль о великой драме царевича Алексея и царя Петра так и закипела во мне, едва я прочел первые страницы нового романа Д. С. Мережковского «Петр и Алексей» в книжке «Нового Пути». И по одной особенной причине.

Автор на первый фон выдвинул фигуру царевича — доброго, милого, тихого, сонного:

«А мухи все жужжат, жужжат, и маятник чикает, и чижик уныло пищит; и гаммы доносятся сверху и крики детей со двора; и острый, красный луч солнца тупеет, темнеет; и разноцветные фигурки движутся; французские комедианты играют в чехарду с березинскою бабою; японский поп подмигивает птице Малкофее (рисунок на изразцах комнаты). И все путается, и глаза (царевича) слипаются. И если бы не эта огромная липкая черная муха, которая уже не в рюмке, а в голове его жужжит и щекочет, то все было бы хорошо, спокойно, и ничего бы не было, кроме тихой, темной, красной мглы».

Это комната царевича, — комната, которая всегда есть «образ и подобие» живущего в ней. А вот и он сам:

«Оставшись один, царевич медленно заломил руки, так что все суставы пальцев хрустнули, потянулся и зевнул. Стыд, страх, скорбь, жажда раскаяния, жажда великого действия, мгновенного подвига (он только что говорил с приверженцем своим, старой веры человеком, который сочинил нечто вроде молитвы-заклинания против „вражьей силы“ его отца) — все разрешилось этою медленною, неудержимою до боли, до судороги в челюстях, и более страшною, чем всякие вопль и рыдание, безнадежною зевотою».

Кто не думал из русских о драме несчастного царевича, которая как бы олицетворяла в себе драму всей старой Руси при Петре, в то же время явившись центральным по ужасу, несправедливости, по несчастию и по необходимости событием среди всех кровавых, *неумолимых* событий того времени?! Отец и сын рассорились, разделились, противоположились: и не было (действительно не было!) средств, путей, способов примирения. Все, что могли бы придумать для этого люди, развалилось бы, как глина около железа.

Д. С. Мережковский только не назвал, но нарисовал суть расхождения. Дело было не в расхождении идей; не в разных стремлениях; не в том, что одному нравилось все новое, а другому нравилось все старое. Это все — на поверхности. Дело было в органическом, физиологическом расхождении: и было, поэтому, непоправимо иначе как смертью одного из них... от болезни или от рук. Царевич не захворал, не умер; он все «скрипел» (нравственно, духовно, физически); и в *factum* истории русской вмешалась кровавая рука, которая *доделала* то, чего не сделала *нужная* бы, милостивая, благодетельная в этом случае (для всех сторон: для сына, отца, России) болезнь. В первый раз из этого ужасного случая, ужасного исторического сцепления я начал себе хоть как-нибудь объяснять сочетание «божественного милосердия» с преждевременною иногда, детскою болезнью и смертью, всегда поражающею, как жестокость и бессмыслие.

Царевич не любил нового, потому что оно нарушало тишину его комнаты; гнало прочь муху, жужжавшую у него в волосах. Умри Петр раньше, вступи на трон он: он вовсе не стал бы побороть Петрово дело, отменять реформы; он распустился бы, как сахар, в сироп: и все, вся Россия, уже сколоченная железною рукою в далекие океанические плавание, уже собранная вновь точь-в-точь, как и московские цари «собирали Русь», но только иначе и для других целей, — эта Россия тоже распустилась бы, завалилась, покрылась «мухами», «загаживающими» ее... и вероятно умерла бы; т. е. если бы не привзошел другой великий возбудитель. И если нужно было России жить, если для этого было Провидение, царевичу нужно было умереть.

Но как ужасно! Ведь отец и сын...

А разве не ужасно другое: отечество и царь?..

Мы можем только сопоставить, спросить: а ответить — душа леденеет. Есть вопросы, на которые *нельзя* ответить: пусть Бог творит, что ему угодно, — а мы только смотрим, жалостно сжимаем руки, не можем благословить, не можем и проклясть; не умеем, даже не хотим молиться, и только вздыхаем.

«Ἀνάγκη — необходимость, рок»

— вот эпитафия на могилу страшного события, жалостной смерти.

Отнюдь я не за Петра в этой ужасной драме. В поразительной сцене свидания сына с отцом Д. С. Мережковский тонко подметил, как *любил* сын отца. Это тонко, это хорошо; это давно нужно было сделать. Царевича Алексея слишком осуждают историки-прогрессисты и гипнотизировали читателей мысль, что это была кукла, которая в сущности и не умирала живою смертью, а просто выброшена была на задний двор, за негодностью. Романист и поэт лучше понял дело, — жалостливее и истиннее. Негодность Алексея была именно для трона только, царственная, а человечески он все качества имел. Ну, пусть я худой писатель: исключите из литературы; но чтобы меня за это повесить, замучить, отнять самое право жить и быть счастливым: это что-то до того ужасное, чего ни у львов, ни у тигров нет. Это нероновщина, иудино, сатанинское. Это против Бога, человечества; это в своем роде, хоть она и с одним лицом происходит, революция не меньшая, чем как если бы завалилась и развалилась Россия.

Не трясите небо ради сохранения земли. Я слаб, но и добр: задавить меня за бессилие — это значит до того смутить небо и землю, так ужасно запутать законодательство *взгной* его *стороне*, что жить станет безнадежно, страшно, что не захочется жить. Если царевича Алексея только за то, что он не мог поднять на рамена дело Петра и понести дальше, вообще понести, можно было задавить: ну, тогда давите меня, как бездарного писателя, моего читателя — как не очень меня понимающего; и вообще неизвестно, где это можно окончить.

«Решилась (погибла, пошатнулась) Россия», — кричит смоленский мужик в «Войне и мире», когда французы действительно начали штурмовать город, чему он долго не верил. Он бросил свою лавочку и имущество. В бессмыслии, душевном страхе, не понимая, что делает, он хватает полено и начинает бить жену. Не от жестокости, а потому, что ужасно вокруг, не для чего жить.

— Если *решилась* Россия, то и я, мужик России, решился.

Ну, а если бы *в самом деле* «решилось небо»: то ведь тогда Россия, Франция, да и самая планета и ее всяческая суть «решилась бы тоже. Тогда и России не надо. Если царевичу Алексею, *без своей вины, без заслуженности* нужно было умереть (а он смерти своей несомненно не заслужил), то на кой чорт и России существовать?

Воображение работает; и эта невинная смерть человека в исходном моменте «новой России» навеивает религиозные страхи, суеверия. Понимаешь, как образуются «легенды», потому что в самом деле образуется легенда. Помните, в старое злое время, когда по земле ходили еще «колдуны», — строя город, считали нужным для его будущего благополучия зарыть в землю живого человека. Но тогда («злое время») верили, что от этого будет добро, а теперь верим, что от этого выходит зло. И кости царевича как будто все шевелятся в могиле и не дают, доселе не дают покоя и мира душе живущих. Со смертью этой произошло в «новую Россию» роковое начало, — именно временности и сокрушимости. Все ожи-

дают, до сих пор ожидают, что «дело Петра» где-то имеет себе окончание, и «новая Россия» должна смениться «новой Россией». Суровой расправой с сыном Петр внес принцип: «цель оправдывает средства», который стал практиковаться и потом. Но лучшие русские люди не мирятся и едва ли когда помирятся с этим принципом, и вечно бывают возмущены или смущены его практикой.

Петр был «тучегонитель»: так греки называли своего страшного Зевса. Г. Мережковский по-видимому готов внести в роман много физиологии: и портрет Петра, с этой подпочвы показанный нам при первом же появлении, глубоко заинтересовывает, заинтересовывает новым интересом. Конечно, «матушка физиология» есть как будто «покров Пресвятыя Богородицы» над всяческой психологиею, и по зависимости от последней — самой историей. Петр был необыкновенен даже физически: не одною громадою роста и силою, но, например, этими пухлыми, почти шарообразными щеками, а вместе и нежною, странною, невиданною ни у кого (я никогда не видел у мужчин) ямкою на подбородке. Сверх грозы в нем было и таинственное очарование. Словом, это был необыкновенно рожденный человек, и Наталья Кирилловна есть настоящая «мать Новой России», давшая ей «такого сынка»: тут обстоятельства, воспитание, немецкая слобода и проч. суть лишь помогающие обстоятельства, а не первоначально зиждущие. «Каков в колыбельку, таков и в могилку»: и детская колыбель в комнатке Натальи Кирилловны и несла в себе «Новую Россию», которую могла погубить только какая-нибудь скарлатина, дифтерит, а уже не могли погубить ни стрельцы, ни старoverы, ни Карл XII.

Обратно, царевич Алексей, рожденный от вялого брака с нелюбимою Евдокиєю Лопухиной, только звал на себя мух. Тут вина, конечно, не в несчастной царице, а в том, что ее не любил Петр. Царевич, вяло зачатый и рожденный, мог сказать только одно заклинательное слово Петру, которое должно было остановить «тучегонителя»: «Батюшка, да ведь я — *это ты* в несчастный период твоей жизни; ты не любил, скучал, отвращался от родной моей матушки: и вот вышел я, как твоя хиленькая любовь, такой же хиленький, бездарненький, но добрый, но милый, но умный даже. Только я ничего не могу; не могу не только продолжить твоего гигантского дела, но и вообще ничего. Пусти меня в монастырь. Я ни для чего не опасен; ни для кого; меня вон мухи поедают, и я не могу их отогнать: могу ли я согнать с лица земли твои подвиги».

Да, монастырь, если не детская скарлатина, вот что могло разрешить драму между отцом и сыном. Поразительно, что никто из духовных лиц не подсказал Петру этого решения. Петра мы тоже очень судить не можем. Дитя его была Россия, дитя тоже слабое, незащитное (какою он нашел ее). И он, гигант, поднялся на защиту этого «найденного при дороге» дитяти и порешил родного сына, который бы заморозил, погубил то найденное в несчастии дитя. Петра судить тоже невозможно. Россия не имела более любящего ее человека, и не России судить такого царя, хотя бы перед Небом он был и виновен. Но пусть же Небо его и судит, или пусть судят другие народы, но не наша Россия. Для нас образ его, «лик» его, хотя бы и страшный, хотя противо-небесный, священен и не касаем.

Роман г. Мережковского, обещающий новый пересмотр «дела Петра и Алексея», захватывает читателя самым живым волнением. Уже давно мы не имели большого романа из русской жизни. А тут и эпоха взятая до того живописна, так идейно важна, и в сущности так еще не обсуждена, что каждая глава (я прочел

лишь первую, и пишу под живым ее впечатлением) рождает тучи мыслей. До сих пор живопись удачна, кроме 3—4 первых страниц: в рисовке старика Докукина много ума («неинтересное лицо», «берет взятки», а в сущности — святой человек, русский Муций или Сцевола, который вот-вот погибнет за старую Русь), но его следовало бы очертить более свободно в движениях кистью. Г. Мережковский все опасливо придерживается за документ — и это связывает его. Но там, где он меньше стесняет себя документом или где документы слишком многочисленны, так что можно начать созидать: перечитав и отложив их в сторону, — там теплое чувство поэта и воображение художника делают то, чего никогда не удастся сделать историку. Получается дышущая фигура, взглядывая на которую вдруг объясняешь себе множество документов.

АМЕРИКАНИЗМ И АМЕРИКАНЦЫ

Война северных штатов с рабовладельческими южными, совпавшая по времени с освобождением у нас крестьян, пробудила симпатии России к северо-американской республике. Развитие у них реального и технического образования именно в то время, как Россия всячески стесняла у себя реализм и реалистов в школе, поддерживала эти симпатии. Но эти чрезвычайно частные и временные причины закрыли от глаз наших, и не слишком внимательных к предмету, целую пропасть, отделяющую вообще старые европейские культуры, и в их числе нашу, от американской, от американизма. Да, как можно говорить об европеизме, так можно говорить об американизме: оба эти факта огромного протяжения и неуловимого духовного смысла. «Европеизм» есть человечность, — как это понятие выработалось и утончилось в благородных европейских литературах XIX века, в европейской науке, в ее философии: в столкновениях идейных, политических и религиозных. Увы, ни романтизм, ни классицизм не перебросились через Атлантический океан. Когда Жуковский писал «Сельское кладбище» — американцы торговали; когда Байрон пел Чайльд-Гарольда — американцы опять же торговали. Пришел Гюго с «Эрнани» * — и все же американцы только торговали. Канта сменил Шеллинг, Шеллинга — Гегель, у англичан выросла и умерла величайшая из идеалистических философий, так называемая «Шотландская философия»: и все это время американцы только открывали банкирские конторы. Понятно, что они накопили в это время горы долларов. Если справедливо, что американцы идут на Европу (хотя бы идут пока духовно, гневным сердцем), то это, прежде всего, идет банкир на профессора, слесарь на астронома, биржевой маклер на старого геттингенского или московского идеалиста. Тут расхождение огромное. Тут отсутствие взаимного понимания. Хотя бы уже потому, что все европейские страны имеют каждое тысячелетие свою национальную церковь, с неизмеримым и ежедневным ее влиянием (молитвы, служба); что они пережили, как Византизм, католичество и Германия, необъятной глубины религиозные споры, доходившие в страстности своей до религиозных войн (а сколько за время их передумалось!

* «Эрнани» (фр.).

перечувствовалось! — и в каждой семье!); уже по этому своему прошлому Европа есть неисправимый идеалист. Законы «атавизма» действительны не только в отношении пороков. Это есть семена прошлых веков. Живущие или временами воскрешающие сейчас. Несмотря на скудость собственно школьного у нас образования, и Россия есть в точности и в самом строгом смысле культурная страна: по сложности истории своей, которая есть история государства, веры, искусства, народных песен, народной архитектуры и живописи, пусть лубочной — это все равно! Ибо дело не столько в том, как сделана икона, Рафаэлем или суздальцем, а в том, что с верой и надеждой на икону эту молились тысячу лет, молились души скорбные и угнетенные, каждая со своей надеждой, с своеобразными словами! Это и образует культуру, а не арифметика, которую можно выучить в год. 10
Образуют культуру богатство духовного опыта, долголетность его, сложность его. Деревня может быть культурнее фабрики, ибо в ней есть песня, воспоминания-история, быт, семья, деды и внуки; чего всего нет на фабрике, состоящей единственно из рабочих и нанимателей. Школою мы уступаем едва ли не всем народам, и это есть вина наша, слабость наша, глупость наша. Но культурою, в смысле поэзии и мудрости, мы никому не уступаем — и наш былинник новгородский, или малороссийский бандурист, есть родной брат шотландскому барду, без всякой уступки, хотя, конечно, и без всякого самовозношения. Будем скромны. Но в скромности совершенно твердо признаем, что глубиною и тонкостью 20
души мы никому решительно не уступаем. Что и отразилось, но отразилось уже вторично и зависимо, в благородной нашей поэзии, литературе, в живописи, в музыке. Все это — дети своего народа, отнюдь не отец его. Отец нашей литературы — народ, деревня.

Янки ничего этого не понимают, это им невозможно растолковать. Знаменитый спор между сапогом и Пушкиным, прошедший в дикий период нашей критики, теперь повторяется чуть ли не в международном столкновении. Суть «янки» и состоит в том, что, торжественно поставив огромный сапог из американского бизона на академический стол, он увенчал его лаврами, снятыми с голов Гомера, Данта, Шекспира, Мильтона. Американская нация есть вообще не мечтательная 30
нация, а мечта родит и поэзию, и философию. Даже она родит большую политику. Римляне уже с деревеньки на Mons Palatina * были великими; а Штаты раскинулись почти на целом материке — при полной бессодержательности (кроме мордобития перед выборами) своей государственной истории... «Государственной»... даже нельзя с определенностью и уверенностью сказать, что они есть «государство»: до того их строй напоминает собою просто громадно-развившуюся администрацию богатейшей торговой компании — и только. За *это* они идут на Восток? За какую *свою* веру? *отечество*? Какого Рафаэля или Канта несут туда? Они идут с торговой конторой, каких чрезвычайно много и в Японии; и японцы, такие же плоские прозаики, такие же желтые «янки», тоже реалисты и техники 40
до мозга костей — крепко пожимают им руки как в сущности совершенно *одно-родной* цивилизации, как культуре совершенно *в их уровень*. Да, американцы даже и на один вершок не превосходят японцев (кроме обширности территории и населения): одни представляют собою *последнюю* минерализацию духа, его окостенение, «выветривание», как говорят геологи о горных породах; другие

* Палатинский холм (лат.).

представляют какую-то изначальную «желтую глину», в которой «дух Божий на небе». Превосходство обеих наций (особенно японской) над нами в техническом отношении есть только последствие этой специализации. Они смотрят расширенным глазом, шупают утонченным осязанием; — ну, именно потому, что они *только* смотрят и шупают, *не задумываясь, не воображая*. Оба народа без *воображения, без творческой фантазии, без* страшного чувства *ответственности*, — как показали американцы в войне с Испанией, и японцы — в кровавой, разбойнической расправе все же с родственным и единоверным Китаем. Они умеют больно кусаться, эти крысы и мыши; они могут поесть наши хлебные запасы; разорить нашу бедность, кое-как сколоченную, скажем так. Но во всемирном смысле жизнь их была и останется отрицательной, без творчества, без идеала, без духа. Наступившая война — это разорительная, разрушительная война в отношении к идеалу, к человечности. И вот сознание чего, я думаю, может укрепить наши мускулы. Сознание это — правое, без ошибки.

НАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ И НАЦИИ ПОЭТИЧЕСКИЕ

В очерках Японии и японской жизни г. В. Серошевского я прочел следующий поразивший меня диалог:

«Очень часто я замечал японцев в отелях и собственных их домах, погруженных в глубокое раздумье.

20 — О чем думают они? Скажите мне... — спросил я как-то интеллигентного, хорошо мне знакомого туземца. — Не думают ли они о будущей жизни, о смерти?

— Это чересчур грустный предмет... Об этом следует думать старикам.

— Так, может быть, размышляют они о начале вещей?

— Напрасная трата времени! Этого никто не узнает!..

— Так, может быть, они разбираются в самих себе, в своих чувствах?

Японец иронически улыбнулся.

— Скажу вам правду: они думают о делах!».

30 Есть нации, как бы сделанные, и есть нации, выросшие из самое себя. Рост последних труден, медленен и бесконечен — в содержании, в смысле. Первые или вовсе не имеют роста, или могут за то почти вдруг, механически, переделаться из одного вида в другой. Наша Кострома, знавшая Сусанина, все стоит бочком, старенькая, ветхая, бесконечно медленно видоизменяясь. Чикаго в несколько десятилетий вырос в торговую столицу: но перемены пути сообщения около этого города, вообще изменись кое-что в условиях его существования — и он потухнет так же быстро, как вспыхнул. Япония в 40 лет из азиатского народа стала технической в уровень с Европой. Но не думайте, что она выросла до Европы. Она не знала ни одной из фаз европейского роста, не пережила ничего из европейских настроений, страданий, увлечений, мечтательности. Таким образом она не приняла вовсе в себя стимулов европейского развития: но как бессмысленная бледная восточная статуетка — сменила одну гримасу на другую.

40 Отойти Европа от нее, исчезла как копируемый образец — и Япония замрет в фазе

развития, которую переняла и из которой у нее нет внутренних мотивов передвинуться туда или сюда.

Желтая раса есть величайшее воплощение земли, одной земли, без неба, т. е. без мечты, без фантазии, без неуловимого в себе, без теней и полутеней существования. Все их рисунки в одной плоскости: они не знают перспективы. Потому что нет перспективы в душе их, нет глубины, углубления. «Срединное царство», определило себя величайшее из желтых племен; «золотая середина, aurea mediocritas», — передразнивают не без сарказма европейцы такое состояние, такую идею. Пороки европейские бесконечны — не будем этого скрывать. Но лишь потому, что арийцы, европейцы во всем вообще бесконечны; не знают 10
удержа; и повернутые лицом к дурному — также нисходят в аид, как будучи повернуты лицом к добру — восходят до неба. Мифов об Икаре, который захотел крыльев, чтобы долететь до солнца; о Прометее, сопернике богов; таких историй, какая была с одним греческим философом, который бросился в вулкан, чтобы разгадать причину непостижимых землетрясений и извержений, разгадать без передачи людям, только для себя: ни историй этих, ни мифов не знала желтая раса. Она знала своих «срединных философов»: как есть, пить, множиться, засеять рисом поля и съесть этот рис — после этих забот они ставили точку. Много есть чистоплотного в их учении, морально чистоплотного; есть хитренькие, как их игрушки, «правила мудрости». Но все это — «правила мудрого поведе- 20
ния», утилитарного для себя и для других. Бесконечного — нигде нет. Их Конфуций не спускался в «Ад», как наш Данте, родной нам всем европейцам Данте; и не влекся за Беатриче к Раю. Конфуций и Беатриче... итальянка бы плюнула, взглянув на скулистую голову «срединного философа»; Конфуций, взглянув на нее, пожевал бы губами и спросил бы: «сколько она имеет или может иметь детей».

У европейцев рост — для чего-то. Ряд поколений растет, чтобы дать Лютера, Рафаэля, Шекспира. Рафаэль был бездетен, Шекспир имел какую-то декадентствующую форму семьи (см. в завещании его слова о жене). Вообще у европейцев самый смысл рождения другой: он, если позволим расширить общеизвестное 30
понятие, пантеизировать (от «пантеизм») его — всегда мессианский: уходит в надежду на что-то небесное, иное, чем обычно человеческое, что дает ряд сменяющихся генераций. Желтые видят цель в самодовлеющем рождении. Чтобы было больше мяса на земле, голов, туловищ. Непонимание вообще гения — это не частность в них, не случайность, это самое зерно «желтизны» их. Когда-то среди бесчисленных европейских фантазий появилась и такая, что для «всеобщего уравнивания людей полезно бы своевременно Шекспиру отрубить голову». В Европе всякая мечта достигает даже уродства. Но по «срединной философии» такое сравнение «гор и долов», через посредство срубания особенно умных голов, голов фантастических (Шекспир, Рафаэль, Лютер) могло бы совершиться 40
или совершаться без всякого увлечения, «как по закону», ровненько и спокойно. Не задумались же они, без особенного волнения страстей, уложить около 14 миллионов голов во время восстания тайпингов. «Все по нужде, все по обстоятельствам; ничего не было лишнего».

Вот в этом совершенном непонимании гения, мечты, фантазии, а в конце концов и вообще идеала — и лежит самая враждебная, несносная, а при случае и опас-

ная для Европы сторона историко-культурной «желтизны», если в самом деле пришло время развернуться ей. Персы — они арийцы. У них был Зороастр. Они поклонялись звездам: а сколько здесь мечты! Арабы — они создали кипучий ислам, сотворили бесконечную прелесть Шехеразады и поэтические предания Гарун-аль-Рашида. Все это — белый, наш мир. Он не имеет ничего общего с желтым, «серединным», рассудительным, бессердечным миром: где самое добро есть добродетель правильных весов, верно размеривающих товары. Мы, мечтательные и увлекающиеся арийцы, нашли прекрасное в самих монголах, отдав честь им: но это именно *мы* нашли в них, и прекрасен здесь — собственно образ и туман нашего восхищения. Разъедините предмет восхищения и лицо восхищающегося, закройте душу вселюбующегося арийца — вас пронзит скука монотонного зрелища «желтых» добродетелей. Все — навоз и навоз; все — рис и рис; все — дети и дети; а как головка покурчавее, позолотистее: так — прочь ее! «Этакие у нас прежде не родились; мы все маленькие, старенькие, сморщенные: и этого мы не можем потерпеть по правилу тысяча сто первому такого-то мудреца XIII века».

Механические народы — вот определение желтых племен. Не увлекайтесь их храбростью: это не первый порыв, а методическое действие отлично сделанной машины, где каждый штифтик превосходно выполняет свое назначение. Ведь так и желтые монголы разбили русских князей: ибо последние все ссорились, у них было множество страстей и мыслей помимо единой наставшей нужды — самообороны. Богатство-то души, разнообразие ее — и погубило русских на Калке, на Сити. Монголы имели одно тупое движение: вперед — «и чтобы задавить». В этом моноидеизме, одномыслии — конечно, ужас с точки зрения неба; но с точки зрения земли — это ужасная сила. Прижмите пальцем какой-нибудь клапан в машине: он будет держать нужное место нервно, то слабо, то сильно, вообще — плохо. Медная бляха лучше это сделает. Вот у монголов и есть эта сила и мастерство мертвой частицы, которая безнервно и потому превосходно выполняет разные механические назначения. Отсюда организация их страны и строй их армии. В войну, да и в управление страной, в законодательство, в административную входит, помимо духовного первого двигателя, множество чисто механического начала, бездушного. Не знаю, переняли ли японцы у Европы чиновничество; но вот уж у кого оно вышло бы идеальным, пунктуальным. Да ведь в Китае и составляет стержень жизни — чиновничество. Борьба монголов с арийцами, если ей суждено разыграться, — есть, в душе своей, борьба желтых чиновников с белыми мечтателями, романтиками, фантастами. Но бесконечное бессилие желтых начинается именно с кульминационного пункта их успехов: именно в том, что мечта и вдохновение есть изобретатель даже самой техники. Дело в том, что если житейские вещи, социальные, имеют нижним этажом в себе механику, то за то механика в вершине своей обратно становится почти безумною (не теряя своей точности), мечтательною, фантастическою. Начинаются «мнимые величины» (категория алгебраических величин) в ней, где уже монгол тупеет и ничего не видит, а ариец тут-то и входит «в свою сферу». Вот отчего и в самой технике вершина, последняя вершина — принадлежит не земле, а небу же; и тому, кто умеет на него смотреть.

ФЕВРАЛЬСКИЕ ПОТЕРИ

На кратком протяжении неполного месяца Россия потеряла треть лиц, известных всему грамотному люду: по крайней мере, всей России заботливой, размышляющей, читающей, следящей за событиями. Одна потеря — чисто литературная; другая — строго ученая; третья — исключительно государственная. В преклонных годах сосуды теряют эластичность, становятся жесткими и хрупкими. Некоторое излишество волнения, сильное впечатление — и не выдерживает сердце, разрывается артерия. Волнение, доходившее до большой остроты, вызванное азиатской войною, на месяцы или немногие годы, но все же ускорило кончину

10

преимущественно Н. К. Михайловского, Б. Н. Чичерина и П. С. Ванновского. Да не посетуют, что мы сопоставляем эти три имени. В разных сферах, разными качествами, не за одни и те же заслуги, но все трое они были бесспорно очень дороги обширным слоям русских. Смерть обобщает смысл жизни. Рамки партии или корпорации распадаются; и из них выходит лицо специальных талантов и признания, чтобы войти в более обширную рамку, именуемую «Россия». Нет званий и сословий для истории, нет партий: в ней есть и движутся и оцениваются только русские люди, и в отношении заслуги для отечества.

С выбывшим из строя ее Михайловским радикальная партия в нашей журналистике «потеряла голову», — не в смысле ее возможной растерянности, но в том более определенном и ценном смысле, что в самом деле вышла из ее строя голова, которая обдумывала и направляла все течение дел в этой фракции литературы. Всему давала тон, истолкование, указывала направления. Не знаем, что будет завтра. Но пока, сейчас предвидится в целом литературном направлении, и притом самом бойком, передовом, нечто вроде бессловесности. Просто нельзя придумать сейчас, кто же скажет яркое, сильное слово в пределах этого направления, которое было бы не только слышно в своих рядах (они-то, по специализованности уха, всё и всякого у себя услышат), но слышно и слушаемо было бы Россиею. Михайловский был единственным писателем радикальной партии, который имел интерес и значительность вне ее, представлял литературное явление общерусской значительности.

20

30

О чем бы он ни писал, статьи его всегда прочитывались. Не всегда дочитывались до конца: но просмотр книжки журнала всегда начинался с его статьи. Можно было предвидеть приблизительно, о чем скажет он «по поводу того-то» (и от этого не всегда требовалось дочитать его статью): но в самой манере сказывания была известная привлекательность, стильность; попадались меткие определения, злые сарказмы, точные и важные формулы, — вообще так или иначе задевал вкус, ум, убеждения читателя. Все это волновало, раздражало, иногда привлекало. После смерти Михайловского в литературе станет несколько скучнее: позволю сказать эту краткую похвалу всегдашнему своему литературному противнику.

40

Со смертью Б. Н. Чичерина из рядов русской науки вышла величина, едва ли уступавшая, или уступающая только немного, покойному историку С. М. Соловьёву. Он не создал труда, столь монументального и так элементарно-нужного, как «История России с древнейших времен». Но зато Соловьёв весь и выразился в одном этом труде, без всякого многообразия, без всякого разнообразия. Труды

Чичерина разбросаны по всевозможным областям человеческого ведения, хотя имеют ясное сосредоточение в государствоведении. Мне думается, мы чрезвычайно умалили бы значение покойного, если бы сравнивали его с Блюнчли или Робером Модем у немцев; скорее напрашивается сравнение с Тэнном. Заметим, что Чичерин писал чрезвычайно изящно, не говоря об эрудиции, в которой он не уступал, вероятно, никакому европейскому светилу. Он дал пример, образец, пожалуй, первое воплощение «европейской кафедры» в русском университете, — вообще европейской науки, европейского стиля мышления и писания. С этим неразделима его некоторая бледность (литературная), малораспространенность, малоизвестность. В нем слишком мало было русского: русского — самородного, русеизма в талантливости. Хотя вообще-то, в европейском и общечеловеческом смысле он был чрезвычайно талантлив. Но в нем не было русской нелепости, русских странностей, русского увлечения и неблагоразумия, однако же и русской сметки, остроумия, злости, сарказма, веселости. Ничего не было русского в его литературном лице, — твердом, спокойном, правильном, не улыбающемся, скучноватом. Со всеми перипетиями литературной судьба Чичерина связана некоторая доля скуки. И никогда около этого блестящего, пожалуй, великого таланта не загорелось «литературной свары», не поднялось ни разу крика негодования или увлечения. Исключения бывали, например, когда он в 1881 г. вместе с В. И. Герье выступил в поход против земельной общины. Но в таких случаях его быстро закидывали гнилым картофелем (иносказательно): и как он не умел с этим бороться и только гордо молчал, то настоящей литературной «истории» все-таки не выходило. Он был всегда либералом; судя по труду его «О народном представительстве», написанном еще в 60-х годах, он был русский конституционалист аристократического пошиба. Он сам был «князь ума». Но все это было глубоко неестественно на русской почве; не привилось, никого не заняло. Все и всем показалось скучно, не интересно, не трагично, не комично. Никто очень не сердился на него, и никто очень не смеялся над ним. Он писал много и блестяще. Но читали его мало. И вообще за 40 лет его литературной деятельности он вовсе «не принимался в расчет, или принимался едва-едва».

Как уст румяных без улыбки,
 Без грамматической ошибки
 Я русской речи не люблю.

Это применимо у русских не к одним лицам, несносным в правильности своей, а столь же и еще более применимо к литературе и науке. Чичерин при своем уме, образовании был как-то непоправим, «безгрешен». А маленькие человечки вечно хотят «править корректуру» в человеке, в мнениях, идеях. Не найдя такой пицци для себя в Чичерине, они просто его забыли, — еще при жизни, и даже сейчас, как только он литературно родился. В оправдание русских скажем, что, будучи оригинален в мышлении; не был эстетически-творческою натурою и поэтому же не оказался умственно-творческою. «Это, вы знаете, идея Чичерина!». «Это — мысль Бор. Ник.»; «так смотрит Чичерин», «так объясняет Чичерин»; «это — система Чичерина», «это — конек и слабость вашего Чичерина»: таких выражений никогда нельзя было услышать о скончавшемся ученом, философе, юристе. Он

был каким-то «Салюсбери» из Тамбовской губернии — величественным, одиноким, сухим, холодным, неприступным, привлекательным, составлявшим славу своего отечества. «Ну, а каким ученым может похвастать Россия?» — на такой вопрос иностранца, без боязни осечки, назвали бы «Россия гордится Б. Н. Чичериным». — Но что же собственно он сказал такого, в роде Бокля или Спенсера?» — «Он даже еще учнее и Бокля, и Спенсера. Но он неприступен. На него никто не путешествует. И никто не знает, что находится на ледяной вершине этой горы».

В высшей степени желательно посмертное издание сочинений покойного. Они дадут всей читающей России несколько томов непрерывно изящных книг, принадлежащих уму самого высокого калибра, хотя бесцветного стиля. Но все равно: читаем же мы переводные ученые сочинения, переводные книги по истории политических учений, по теории государствоведения, по философии. В это «собрание сочинений», может быть, возможно было бы ввести некоторые записки его, которые обильно распространялись в обществе в гектографированных изданиях и посвящены некоторым волновавшим общество вопросам, например инородческому, еврейскому, университетскому и т. д. Даже возможно, что после издания этих полуживых (лишь условно-напечатанных) «записок» почившего, весь его духовный образ стал бы определеннее и интереснее; несомненно, он стал бы живее и привлекательнее. Ибо живой и непрерывный интерес Б. Н. Чичерина к практическим вопросам политической и общественной России, — хотя он никогда не смог повлиять на их ход, — составляет важную долю его исторической памяти.

* * *

Сбросим для совершенно новых тем и иного человека эти литературные и ученые припоминания и соображения. 20 февраля, под звуки погребального марша, необозримая народная толпа провожала останки ген.-адъют. Ванновского. Как редко и исключительно зрелище короля двух царств, так ведь почти столь же редко и зрелище министра преемственно двух министерств. В лице Ванновского русское общество провожало к могиле государственную доблесть: ведь не в предположении специального «признания» к учебно-училищному делу призван был П. С. на пост министра народного просвещения. Специального таланта именно к этому в нем невозможно было предположить, но в трудную минуту этого ведомства на нем остановилось внимание, как на представителе государственной доблести в ее самом общем значении. — Чутко сердце народное, а общество — оно отпрыск народа, и также не лишено этой особой чуткости. Множество гимназистов с ранцами и книгами, очевидно выйдя из дому, чтобы пойти на уроки в гимназию, увидя погребальную процессию своего бывшего министра, свернули с пути и пошли за гробом. Столь же много шло за гробом студенческих мундиров, вразброд. Думало о недосмотре, по которому не были вообще на это утро отпущены питальники учебных заведений проводить до могилы своего старого 82-летнего начальника.

Кто знает и возьмется ответить, был ли Ванновский либерал или консерватор? Вот вопрос, который все решает в пользу ума, дарований Ванновского, в пользу

того, что я в нем назвал «государственной доблестью». Он был начальником штаба Руцукского отряда, командуемого Цесаревичем-Наследником, впоследствии Императором Александром III. Не признанный лично Государем, возможно, что он кончил бы жизнь в средних рангах военной организации. Он не был виден, не занимал очень видного места в турецкую войну. Но война дала близко узнать будущему Государю обыкновенного смертного; он увидел в нем: 1) ясный ум, 2) необыкновенную распорядительность, 3) неусыпное трудолюбие. В простом еще смертном он рассмотрел будущего организатора армии: и судьба «обыкновенного человека» вылилась в необыкновенную и глубоко благотворную для родины биографию. Мне, как профану, приходилось беседовать лет 12 назад о нашей армии с людьми военными же; я высказывал сомнения, навеянные турецкою войною: «опять, верно, окажется оружие хуже турецкого», «опять то же интендантство» и проч. К удивлению я встретил резкий отпор и, следя за ходом отпора, — доведен был до личности министра, как центра всего дела: «Да почему же? Ведь и Милютин был — ума палата, а подготовленность армии оказалась слабою?». Тут-то меня и подводили к личности министра. Мне говорили, что с милютинских времен в армии все переработано, улучшено; все фактически улучшено, отнюдь не на бумаге, не в кабинетных только расчетах... Тогда я спрашивал о личности министра, и необыкновенно то уважение, с которым говорили о нем, и особый оттенок и направление этого уважения. Указывалось: на колоссальную его память; внимание, не упускающее никаких подробностей; на постоянное отделение важного от неважного; требование краткости изложения и краткие же и быстрые решения дела. Все это были приемы первостепенного работника. Труд и труд на пользу государства, и безмерная любовь к нему, — вот это и создало основные черты личности и биографии покойного, вошедшего большим столбом в храмину русской истории.

Государственная доблесть и залила в нем более мелкие рубрики и вопросы о «направлении», о «консерватизме» или «либерализме». Как Россия не есть партия, так и человек, служащий России, — когда он в самом деле стоит на высоте этого служения, — непременно должен выйти из этих партий. Мне кажется, в огромной толпе, шедшей за гробом Ванновского, где я с таким удивлением рассматривал, — сверх множества молодых лиц студентов, гимназистов, слушательниц высших женских учебных заведений, — еще рабочих (верно из военных мастерских) в дурной одежде и с запачканными лицами, мне чуялось в этом странном соединении всех возрастов, сословий и званий около гроба министра двух министерств — пробуждение этого общерусского чувства, готовность всякого русского почтить истинное и правое служение человека государству. К такому служению указанные категории лишь бывают довольно равнодушны; но очевидно лишь по предположению своекорыстности в служении, известной доли «карьеризма», увы! — так трудно устранимого из «службы». Очевидно, однако, что идея «государства», как «отечества», высоко чтится и этими категориями лиц, то слишком бедных, то излишне «книжных», и в которых привычно предполагают отсутствие горячего интереса к «отечеству» и «государству»; предполагается международность, безнациональность идей и чувств. Но вот умер человек, слишком национальный, слишком государственный: и посмотрите, его почтила толпа, как едва ли почтила бы она вождя только своей партии, общественной или литературной. Мне было дорого наблюдать (да вероятно и не мне одному), что огром-

ный факт «Россия» очевидно высится у всех этих то юных, то рабочих людей над подчиненными фактами партий, направлений. Умер несравненный слуга отечества: и все преклонилось перед ним, поклонилось ему. В лице его в сущности поклонились отечеству, государству: и вот эта зрелость и солидность чувства и была дорога для зрителя и наблюдателя.

Преобразования в военном министерстве, — кстати совершающиеся частью в секрете, — были видны только в пределах его, известны и понятны только военным же. Деятельность, деловитость, энергия Ванновского раскрылась для всей России только с назначением его министром народного просвещения. Тут только личность его объявилась воочию всех, как это бывает, когда с готовой статуи сдергивается закутывавшее полотно при открытии памятника. Он без сомнения был и в учебном ведомстве тем же Ванновским, как и в главном штабе, как в канцелярии военного министра, на полях перед войсками и во дворце; не перерождаются же в 75 лет. Все ахнули, удивились, испугались, восхитились, когда 77-летний старец, оказавшийся свежее и бодрее юных, стал разбрасывать вековой мусор захудалого ведомства: и потянул сюда свежий наружный воздух. Закашляли злым кашлем старички, привыкшие к затхлым департаментам; запершило у них в горле от свежего воздуха. «Простудимся! Не привыкли!». «Погубил нас Ванновский!» — заворочались «старые педагоги», праздновавшие то 40-летние, то 50-летние «юбилеи» в своем роде толстовского «неделания», но только не «Христа ради юродствуя», а гладко округляя пенсии, наградные, командировочные и проч., и проч. От ведомства, которое всегда служило чиновникам, которому такие пустяки, как учащиеся дети, их родители, общество, да пожалуй и «отечество-Россия» даже и в голову не приходили, вдруг это ведомство пробудили от сна и сказали такую новость, что оно существует в России и для России, существует для учеников, родителей, для общества и вообще для чего-то другого, а не для себя. Известный наш филолог кн. Мещерский, проповедующий розгу, не оставляя этой проповеди, в то же время в противовес Ванновскому предложил другую программу: «Истинно сердечного отношения к ученикам». Интимно, конечно, он думал, что спасение захудалого ведомства заключается в сердечно-участливой порке; но так как о розге говорилось, положим, в среду, а о сердечности к ученикам — в субботу, то плохо памятливые читатели его «Дневников» так и думали в самом деле, что в пустой, лишенной всякого содержания, формуле Мещерского скрывается какая-то панацея учебного ведомства.

В деятельности ген.-адъют. Ванновского в качестве министра народного просвещения и нужно, как он сам поступал, отличать «существенное от несущественного». Существен был впуск свежего воздуха. Его столько хлынуло в отворенную дверь, что им и по сей день дышат все в нем. Возврат к прежнему затхлому и застоявшемуся положению стал невозможен и невыносим. Как и всякая крупная работа, начатое им преобразование стало незатираемо, неистребимо. Отсюда тот факт, что с выходом его в отставку ничего в сущности не изменилось; не пошла дальше работа, но и назад она не пошла же. Но как она была едва начата, то в учебном ведомстве все застыло в полуизмененном, но недоделанном виде, в положении нерешительном и неустойчивом. Реформу очевидно надо доделать, — и в направлении, данном Ванновским, но без тех частности, которые уже представляют в его работе «несущественное». Ни в каком случае он не мог бы объяснить и доказать, что так называемое классическое просвещение, в его доблесных возмож-

ных формах, не нужно, и навсегда не нужно, России и никому из русских. Но мог бы он этого доказать и даже начать доказывать по простому незнакомству с этим образованием, а он был человек скромный. Но с тою прямою, честностью и несокрушимой энергией, с какими он начал освежение всего ведомства, — без сомнения он сам же усмотрел бы и исправил недостатки в строительной своей работе; он понял бы через 2—3 года, что страна с тысячелетнею историею и занимающая $\frac{1}{6}$ часть суши не может ни в каком случае ограничиться одним педагогическим американизмом, одной техникой в школе, без обогащения и оплодотворения ее философиею, культурою, благовонными частицами этой культуры, среди которых христианство, эллинизм и романизм (латинизм) занимают первенствующее место. Пусть он установил бы только реальное образование; на несколько (немного) лет дал бы царство технике. Пусть бы это совершилось. Но уже то, что эта исключительная и односторонняя школа стояла бы здорово и на здоровых ногах, то, что она дала бы русским конкретное представление о настоящем живом училище, где дети учатся, а не томятся, где учителя учат и воспитывают, а не «служат», где учебники написаны человеческим языком: все это, говорим мы, создало бы настоящую почву и для водворения у нас живого и действительного классицизма, раз души русские пробудились бы к нему, потребовали бы и его. Да строгая критика и парирование этих односторонностей преобразования начались во время уже самой реформы, идя от действительных филологов, от историков, от представителей университета.

Учебное ведомство едва ли не следует у нас считать исторически испорченным, т. е. испорченным не разом, не тем или иным неудачным преобразованием, не реформою, например, в 70-х годах, а целым рядом неудачных или полуудачных министерств. Всегда собственно ученье и воспитанье стояли на втором плане; гимназии были скорее местом тихого времяпрепровождения учеников. Если в гимназии тихо, «историй» не случается, — то все благополучно. Что они делали, в этой «тихости», ученики, и даже делали ли вообще что-нибудь, было уже второстепенным вопросом. Активности, натиска на науку, как и настоящего расцвета добрых движений душ, здоровых сил отрочества и юношества — не было. В гимназии сидели, а не работали. Настоящего соревнования не было; было сиденье с согнутой спиной над книгой. Когда пришел человек со стороны, из другого совсем мира, из доблестного мира нашей доблестной армии, он удивился, изумился увиденному. И вот это-то удивление и изумление мощного по положению и власти человека (дивились и ранее, но бессильные люди) и составило историческую минуту, исторический перелом в наших учебных делах. Не будем жалобно сетовать, что они теперь стоят в полуопрокинутом положении, не подаваясь ни туда, ни сюда. Таковы вообще критические эпохи, переломные, нужные, важнейшие в истории. Пусть все и постоит в таком положении, ну хоть 10—15 лет.

40 Душа русская отойдет, остынет от того смешанного полуотчаяния, полужужаса и отвращения, в каком она находилась, когда в школе «все было тихо». Исчезнет главное зло: нелюбовь учеников к школе, недоверие родителей к школе. Учения, и хорошего учения, т. е. энергического, с «приступом на науку», потребуют и сами ученики, и их родители: Митрофанушка ведь никого не соблазнит; ни сидящих отцов, ни 15-летних мальчиков. Раз измятые чувства выправятся, озлобленные и извращенные мысли разрядятся в невидимый туман; раз успокоится душа русская — она сотворит из своих недр спокойную русскую школу; почему

знать — может быть школу даже не без идеальных в себе черт. Ибо и дар учения у русских есть; и дар передачи, основной педагогический дар — опять же встречается, до энтузиазма, до пламенности. Посмотрите, вне школы, как мы все учимся друг у друга, как пламенно иногда учим; а ведь школа есть именно это самое ученье, эта «пропаганда», получившая только формы, строй, упорядоченность, законность. И неужели «пропагандировать» тайны алгебры и механики, над интересом к которым не корпели, а именно, бессонно работали первые гении истории, не интереснее несравненно, чем распространять какие-нибудь плохенькие и недостоверные политические или моральные идейки. Подумать только, что программа гимназии, надлежаще составленная и проходима, — она ведь включает в себя все гениальное и исторически-всемирное, что есть у человечества, и что поглощало гении Колумба, Галилея, Ливия-Геродота, Архимеда, апостолов. Но мы из всего этого сделали «воляпюк», рвотное. И сетовали, когда учеников рвало. И брызги рвоты летели на нас, на родителей, на школу.

СУДЬБА РУССКОГО УЧЕНОГО

Издан первый том задуманного Московским психологическим обществом издания избранных сочинений покойного своего председателя Н. Я. Грота. Превосходно выполненный портрет живо передает черты вечно юного и вечно подвижного этого ученого; а обширная (60 страниц) биография его, написанная В. И. Шенроком, дает яркую картину детства, юности, учения и плодотворной общественной деятельности этого любимца общества, друга ученых и писателей. Ниже я займусь исключительно этою биографией, а пока скажу о самом издании. Сердце бьется при взгляде на первый том. Во всяком случае это хорошее чтение; а для многих, даже чрезвычайно многих русских, это будет и избранное чтение. Я не хочу кривить мыслью даже и над гробом человека и скажу прямо, что лично не имею соучастия с его философиею. Но, оговорив и отстранив личное свое мнение, я могу тем свободнее сойти в круг мыслей, какие приблизительно существуют или возможны у читающего русского общества относительно трудов покойного. Он принадлежит к интереснейшей эпохе русского философского движения, именно: моменту перелома от позитивизма к идеализму. Если, может быть, он и мало помог внутренне совершиться этому перелому, то за то внешним образом он, так сказать, устлал розами путь этого перелома, когда он мог быть посыпан терниями. Почти вся печать наша (периодическая) в 70-ые, 80-ые, 90-ые годы, да в значительной степени еще и сейчас, захвачена была позитивным направлением; философиею без философии и даже с ненавистью к философии. И не создай Н. Я. Грот «Вопросов Философии и Психологии», то даже Вл. Соловьёву не всегда можно было бы найти место помещения для какой угодно блестящей своей статьи. Идеализм был у нас неприютен в том простом и самом тесном (и вместе ужасном) смысле, что он не имел ни дома, ни квартиры, ни даже хоть кой-каких меблированных комнатик себе, обитая буквально на улице, под небом, дождем и снегом и бессильно обивая пороги тех апартаментов, где заседали, реферировали и просвещали общество мудрецы «позитивного» закала

ума. По указанию смелого парижского инженера, труд философский, задача философствования почти свелась к труду переплетному: переплести «в один корешок» все ранее отдельно переплетавшиеся и порознь стоявшие в шкафах книжки, начиная с «арифметики» и кончая «подготовительными материалами для социологии». Так как такое «переплетение» было по плечу всякому, то сразу явились у вас десятки, сотни, а считая с окончательно неудачными — даже тысячи философов; ибо все Молчалины, 80 лет назад певшие своим Софьям: «Стонет сизый голубочек», — преобразились теперь в «позитивистов», приносивших в один из наших ежемесячников свои первые рассуждения: «Еще о классификации наук по Огюсту Конту» или «Опять о теологическом, метафизическом и позитивном периодах умственного состояния человечества». Впрочем, я впадаю в сатиру, от которой давно дал себе зарок. Теперь времена уже изменились. И может быть сатира моя чрезвычайно несвоевременна. Но я помню же период начала 80-х годов, и до какой степени душно, скучно, уничижительно было в то время положение каждого, кто не хотел войти в общий «позитивный» табун. Тут-то Грот, эклектический, мягкий, с врожденною и неустранимою вежливостью в душе, и оказал несравненные свои услуги. Но перейду к «Сборнику», первый том которого перед нами.

Из философских статей покойного для первого тома предположенного издания выбраны наиболее интересные статьи, составляющие, так сказать, «введение» к мышлению покойного Н. Я. Грота и даже, пожалуй, «введение» к его личности. Ибо в философии именно, и только в ней одной, личность мыслителя играет первенствующую роль. Вот эти статьи: «Философия как ветвь искусства», «Отношение философии к науке и искусству», «К вопросу об истинных задачах философии», «О направлениях и задачах моей (Н. Я. Грота) философии: по поводу статьи архиеп. Никанора», «Значение чувства в познаниях и деятельности человека» (две статьи на одну тему). Это — статьи «вводные». Затем идут чисто философские, так сказать догматические: «К вопросу о критериях истины», «К вопросу о классификации наук», «Что такое метафизика», «О времени: критическое исследование». И две очень важные статьи полемического и критического содержания: «О философских этюдах А. А. Козлова» и «О второй части книги Л. М. Лопатина: Положительные задачи философии». Как может видеть читатель, и как объясняет сам Грот в статьях первого порядка, покойного уже чрезвычайно рано занял вопрос: неужели чувства человека, занимающие такую обширную часть его душевной жизни, не входят вовсе зиждущим началом в построение философии? Пожалуй, это тот же вопрос, какой задал себе Кант о предопытных категориях разума, но приложенный к другой части нашего существа; тот же, пожалуй, это вопрос, какой понудил Н. Михайловского дать место и соучастие «субъективному моменту» в социологии. Здесь скрыт вечный росток (или вечное поползновение?) к идеализму: наше «я» — не умирающий ангел, который никак не может допустить ни бездушности, ни загробления, ни бесчеловечия (в социологии) в лучшую из деятельностей человеческих (умственную). Конечно, допустив в философию такой «субъективный» элемент, как чувство, сердце, — мы допускаем возможность чрезвычайных ошибок; таковы были философские иллюзии Фихте и Шеллинга, социальный иллюзионизм Фурье и пр. Но он всегда поправим, завтра же поправим приятелем философа. Он зато придает такую живость и философии, и социологии, а вместе и такой сообщает им практицизм, какого никогда

без «субъективного элемента» они не получили бы. Говорят, все субъективное не вековечно, а истина и следовательно задача науки и философии — в вечном. Так. Но что вечнее, камень или растение? Растение завтра умирает, но растительность (как род) гораздо устойчивее камней. Зеленый луг, цветущий, напр., около Пестума сейчас, как и до Р. Х., гораздо вековечнее давно разрушенных, вовсе разрушенных до песка, до пыли, до невидимости прибрежных скал Тирренского моря. Цветок переживает скалу, как, может быть (мы надеемся), и жизнь переживет нашу планету.

Во всяком случае многочисленные любители философии в нашем отечестве найдут в изящно изданном томе трудов покойного обильную пользу для размышления, спора, согласия. Для оценки философской личности покойного чрезвычайно ценна статья, написанная в ответ на некоторые упреки архиеп. Никанора, автора замечательной, в своем роде единственной у нас книги: «Позитивная философия и сверхчувственное бытие». Это, можно сказать, философская биография Н. Я. Грота, написанная им самим. Она любопытна, жива, поучительна, и чтение тома можно бы начинать с нее. Мы здесь позволим себе, однако, остановиться на более для нас привлекательной житейской биографии покойного; ибо, думаем, именно биография эта и была «субъективным добрым ангелом» около мировоззрения покойного, которое ломалось, как тонкий осенний или весенний лед всякий раз, как на него ступала чья-нибудь нога. Историю этих «ломаний» своей мысли он сам рассказывает так трогательно и чистосердечно, что к краткому резюме: «она — вся сломалась» нам нечего прибавить.

Грот кончил свою жизнь необыкновенно грустно. Года за три до смерти, помню, я его видел в Петербурге. Это был совершенно цветущий молодой человек (на вид), и никакого подозрения о близкой смерти у говорившего с ним не могло быть. Он был в возрасте полных сил, средних лет, но необыкновенная свежесть организма, при замечательной красоте лица, давала впечатление не среднего возраста, а именно молодости. Однако молодость эта была скорее вечно молодых его надеждах. Он не скрывал страшного переутомления, которое стояло позади, и очевидно оно-то преждевременно и свело его в могилу. Упомянув, что с каждым годом семья его возрастает на одного человека, он жаловался на чрезмерную тесноту средств, почти нужду. Он не жаловался, а рассказывал — и впечатление получалось тягостнее, чем если бы у него были жалобы. Все сложилось само собою. Профессорского жалованья не увеличишь: это — положенный «штат», на котором служба одинаково получают Поприщин и Ньютон; за редакторство («Вопросов Философии») он или ничего не получал или очень мало: это было — любительство, поэзия, слава его, но бесхлебная слава. К истинному мучению слушателя, он рассказывал, что было бы совсем плохо, не приди на помощь частные занятия по разбору архива каких-то сословно-семейных документов: занятие, не имеющее ничего общего ни с философией, ни с психологией, ни с журналом, ни с кафедрой. Это занятие было все равно (для специалиста), как если бы в добавление к профессуре он открыл в доме у себя прачешное заведение. «Злая татарщина!» — мелькало у меня. Он, однако, надеялся на скорую перемену материальных обстоятельств, может быть так и не наступившую; отсюда проистекло его оживление, может быть на час, может быть на дни, может быть и даже на верное (судя по сообщениям в биографии г. Шенрока) — обманувшее его.

«Он таял, как свеча, — пишет его биограф, — постоянный искусственный подъем энергии совершался уже на счет основных, а не запасных сил организма». Почти каждую зиму, начиная с 91-го года, он подвергался нервным припадкам удушья, сопровождавшимся упадком сил. В последние две зимы приступы лихорадки, ревматизма и ларингита заставляли его нередко пропускать лекции. «Но усиленная переписка с заграничными учеными и необходимость работать, кроме исполнения профессорских обязанностей, в архиве московского дворянства для нужд своей большой семьи неумолимо подтачивали его силы». На 1900 год ему обещана была годичная заграничная командировка. Это подняло 10 необычайно его энергию, готовую всегда вспыхнуть при первой надежде. У него загорелось множество новых планов; однако лето он решил посвятить безусловному отдыху, частью по требованию докторов, частью под свежим впечатлением трагического конца его товарища, профессора Корелина, сделавшегося жертвой переутомления. «Вы не смотрите, — говорил близким людям Грот, — что я бодр и весел; у меня все органы поражены, и я нуждаюсь в основательном отдыхе, чтобы меня не постигла участь Корелина. Все лето буду лежать на траве, под деревом и только отдыхать, отдыхать!»... «Видно было, — говорит биограф, — что он считал близкую опасность благополучно миновавшей». Но это оказалось не так. Предстояло принять меры против опасности, медленнее наступавшей и более неотвратимой. Он решился покинуть вовсе Москву. «Это была тяжкая уступка его переутомлению. Он хотел устроиться в Харькове, где он лучше мог сбросить свои силы, которым в Москве, вследствие условий жизни, хлопот по журналу и Псих. Обществу, менее угрожало. К этому присоединились и практические соображения: близость Харькова к его летнему убежищу, возможность более дешевого устройства и проч. Носили слухи, что к приезду Грота осенью в Москву решено было почтить его прощальным обедом... Многие были поражены необычайной новостью: «Грот оставляет Москву!» — «Как же это, — спрашивали многие, — создал Психологическое общество, создал журнал, заслужил огромную популярность и уважение, — и все бросает!». Когда эти слова были переданы Гроту, он, уже чувствуя себя серьезно больным, нетерпеливо возразил: «Ну, да! Ну, да! Создал и Общество, и журнал, а теперь устал; что же тут непонятного?». Он торопился выехать из Москвы и все делал сам, приготавливаясь к отъезду. Но это, уже ничтожное для здорового организма, переутомление с хлопотами выезда — оказалось для надорванных его сил роковым. Едва приехав в деревню, он почувствовал себя худо и через десять дней (23-го мая 1899 г.) его не стало. В сущности он был похож на чрезвычайно зарумяненное яблоко, все съеденное внутри червем, т. е. он был совершенно болен, почти умирал, и только (для собеседника) кожа его блестела молодостью, а глаза — живостью и предприимчивостью. Может быть, и физических-то сил ему было отпущено в меру: и он только ярко горел, и быстро сторел весь. И труд его, и все биографические перипетии вынес 40 бы человек «пожиловатее». Но этой «жиловатости» вовсе в нем не было. Скорее его организм был похож на красивую фарфоровую куклу, быстро обтрепавшуюся и наконец разбившуюся в руках ребенка-баловня, каким была его биография.

Об отъезде его из Москвы, просто по бедности и усталости, мы впервые узнаем из этого теперь вышедшего первого тома его сочинений. «Злая татарщина» — как не сказать этого! Невозможно представить себе человека более на месте, чем как был он при Обществе и журнале, единственных точках философского идеа-

лизма у нас за промежуток более, чем десяти лет. Если вообще умственная жизнь России чего-нибудь стоит, то без всякого преувеличения можно сказать, что Грот был в этой жизни одним из важных, необходимых колес. Необходимое колесо в умственном движении страны, обнимающей шестую часть земной суши и имеющей 130—140 миллионов населения! И какова его судьба? Он, видите ли, он не держался ни «zweikinder-system», ни «keinkinder-system»*; этот рабочий, ломовик, не придерживался предостережения Мальтуса и Д. С. Милля, что «средства пропитания увеличиваются только в арифметической прогрессии, тогда как население имеет несчастную тенденцию возрастать в прогрессии геометрической». И умер, заработавшись, не пропитавшись, сваясь от усталости, как кляча под непосильным возом. ¹⁰

А как было светло начало бега этой свалившейся к 1900 году «клячи»:

«С каким удовольствием я иногда проезжаю через Кремль и размышляю, что нахожусь в Москве, в сердце России, составляя один из кусочков ткани этого сердца. Но я еще не наслаждаюсь Москвою вполне. Сначала надо потрудиться хорошенько, чтобы приобрести досуг и возможность жить посвободнее. Я еще ни разу не имел времени пойти прогулять без цели в Кремль и насладиться спокойно видом Москвы: ни разу еще мы не были ни в музеях, ни на выставках и галереях».

Так писал он, переехав на профессию в Москву. Это были дни кануна подъема всех его сил как общественного деятеля и журналиста в Первопрестольной. Вот строки его из Нежина, более ранние, когда он впервые окружил себя семейным кругом: ²⁰

«Прошла пора, когда я смотрел на жизнь, как на чашу славы и богатства. Самая лучшая цель жизни — уровновесить умственные, теоретические моменты с моментами спокойного семейного счастья. Немцы давно это поняли, и они на женитьбу смотрят как на долг, в тот момент, когда они приобретут первую трудовую копейку. Это стимул к новой работе. Вот и теперь у меня серьезная цель в жизни — сделаться достойным милой, идеальной девушки. Я знаю, что меня ждет награда в будущем и это удешевит энергию моих добрых намерений».

Любовь, по словам его, отразилась на его даре речи: «Сегодня читал лекции с особенным одушевлением. Законы Вебера, Фехлера, Вундта излагались мною самым красноречивым образом» (XLII стр.). И везде этот ясный, немного наивный, бескорыстный и доверчивый дух чувствуется в нем. Вот он за границей, в Берлине, и биограф, пользовавшийся письмами его к брату, Конст. Як. Гроту, так передает первые шаги еще набирающегося учености молодого человека: ³⁰

«С своими новыми друзьями Грот прошел формальности матуриляций и вступил в трудовую университетскую жизнь. Вначале восторженное благоговенье перед светилами германской науки внушило новичку студенту некоторый страх. Но это неизбежное смущенье скоро уступило место сознанию собственных сил, и не далее, как через месяц, мы видим Грота центром общего внимания на разных философских собраниях, где его уже успели заметить и оценить, как молодую, многообещающую силу, и вместе с тем к нему уже начинают относиться с симпатией как к человеку. Его расспрашивают о состоянии философской науки в России, произносят в честь его приветственные тосты в застольных ⁴⁰

* «система двух детей», ни «система без детей» (нем.).

беседах и вообще относятся к нему сердечно и дружески: некоторые берлинские ученые приглашают его к себе и завязывают с ним частное знакомство. В одном письме к брату он очень интересно описывает вступление свое как гостя — в Берлинское Философское Общество, на заседание которого, соединенное с обедом, он был введен одним своим знакомым. Здесь, в числе 15 человек, присутствовали выдающиеся философы, напр. Мишле, Меркер, Кирхман, Шасслер, Фредерикс и др., отнесшиеся к молодому русскому ученому с живейшим сочувствием. Председательствующий, профессор Меркер, представил обществу Николая Яковлевича, предложил за него, единственный в этот раз, тост, как за представителя русской философской науки в Берлинском Философском Обществе. „Чокнувшись со всеми, — рассказывает Н. Я., — я обратился к собранию с выражением благодарности, и сказал небольшую речь о состоянии философской науки в России, — речь, которая им очень понравилась, так что они выразили надежду, что я когда-нибудь буду держать более подробный Vortrag * по этому предмету“... Вскоре Грот завоевал в философском кругу Берлина такое сочувствие и возбудил такие надежды, которые обязывали оправдать составившееся о нем лестное мнение и заставляли его усиленно работать. Особенно тепло отнесся к нему известный Лацарус, выразивший желание, чтобы Грот сделался сотрудником по русскому отделу издаваемого им „Zeitschrift für Völkerpsychologie“».

В этих отрывках, как живой рисуется Н. Я. Грот. Грот и дремливость были несовместимы. Где бы он ни появлялся, начиналось движение. Не очень сильное, но упорное, не к которой-нибудь вдруг выявившей и ставшей насущною целью. Этой черты деятельности фанатиков в нем не было. Начиналось легкое брожение веселящего шампанского. Скептицизм рассеивался около столь уверенного человека, лень спадала около человека вечно подвижного. Гулять ли, пить ли (в ученические годы) предстояло, — учиться ли, писать ли диссертацию или образовывать общество, журнал: для всего был хорош этот человек, к которому так шел бы стих старика Богдановича о Психее:

Во всех ты, Душенька (= Психея), нарядах хороша!

И вот такой чистый и умный «Ребенок», если это нарицательное имя позволено, олицетворив, переделать в собственное, как древние сделали это с названием «души Психеи», — этот всех освежавший ребенок ушел, когда на воз ему москвичи наложили тяжелых московских лыжников.

И пусть читатели всей России поддержат ошибку или грех Москвы, ошибку или грех нашего учебного ведомства. Как мы слышали, самый выход последующих томов сочинений Н. Я. Грота поставлен в зависимость от того, разойдется ли и окупит издержки издания 1-й том.

ОДИН ИЗ ДОБРЫХ НАШИХ НАСТАВНИКОВ

Недавно умерший Самуил Смайльс, автор «Самодеятельности» и «Характера», заслуживал бы гораздо более внимания, чем с каким отнеслась и по-видимому готова отнести к его смерти наша печать. Англичанин по происхождению, он был (в важнейших трудах) переведен на все почти европейские языки.

* доклад (нем.).

Но особенно для нас, русских, лет 20, 30 назад он сделался почти своим родным писателем. В высоких слоях литературы, правда, слегка подсмеивались над его элементарностью; велемудрые критики не находили в нем никаких таких особенных «иероглифов», над распутыванием которых они могли бы ломать голову, или блеснуть тонкою оценкой его. Но значение его собственно для общества, для читателя было огромно.

Лет 20—30 назад небольшие и простенькие книжки Смайльса, — изданные, я помню, в маленьком формате и довольно крупною печатью, показались для тысяч русских подростков, юношей и начинающих трудолюбцев так же новы, занимательны и нужны, как впервые появившийся «Робинзон Крузо». Смайльс ввел (юношей, отроков) в занимательность человеческого труда, в приключения трудолюбия, которое имеет свои подвиги, падения, поднятия, опасности, уж никак не менее грозящие, нежели «великаны» и «ведьмы», одолеваемые средневековыми палатинами.

Честный англичанин. Собрат Диккенса. Сын прежде всего несокрушимо здоровой родины. Только ее чудные огороды с чудовищными (по величине) овощами, стада громадных животных, свежие парки, прохладный климат, ревущее море и визжащая машинами промышленность — могли родить эту в своем роде религию порядочности, пунктуальности, труда и добровольной ответственности. Смайльс до известной степени разработал «азбуку» и первые «склады» этой особенной цивилизации, и разработал в пору ее высшего расцвета, наступившего после уничтожения «гнилых местечек» и с выступлением на политическое и гражданское поприще больших промышленных центров. Огромное напряжение, может быть, самого доблестного духа, это сочетание прохладного климата, прелестного воспитания, добрых и продолжительных традиций, — создало в Англии какую-то добродетель труда, благочестие инициативы, святость энергии... в приобретении самообеспечения! В то время как решительно везде промышленность и торговля несколько деморализуют душу, а человека книги или человека шпаги несколько как будто унижают, — в одной Англии рубрика труда поставлена была так высоко, и вместе так национально изящно, доблестно, горделиво, — что, казалось, с этого проявления личности человеческой снято было «проклятие» («проклята земля из-за тебя», «в поте труда будешь добывать хлеб свой» — слова Адаму). Лучшая, не для одной Англии лучшая «История Греции» написана была человеком, служившим в банке (Грот); и сколько еще экономистов, физиков, политиков поднялись в Англии из конторы или мастерской, и потом не чувствуя никакой потребности стыдливо разорвать с местом своего трудолюбивого рождения. Повторяю, там труд более свят, нежели где-либо на континенте, не говоря о том, что он — старее, традиционнее, национальнее, всеобщее. И вот отчего, как из страны мореплавателей вышел Де-Фоз со своим «Робинзоном», так из страны трудолюбия, свободного и гордого трудолюбия, вышел Смайльс со своею «Самодетельностью» и «Характером».

Действие книжек я не могу назвать иначе, как волшебным. Я не верил глазам, что читаю, в те 15—16 лет, когда, помню, от волнения вышел, все вода глазами по строкам, из комнаты в сад, и ходя взад и вперед по дорожке, отвертывал маленькую страничку за страничку. Конечно, читать пришлось медленно: ибо после каждого рассказа («пример самодетельности») книжка опускалась, а в воображении вырисовывались все подробности фигуры, поведения и биография

поразительного лица. Отрочеству свойственна борьба, момент — преодоления. Вот на эту-то потребность, если не самому преодолеть, то хоть посмотреть, как другой «преодолеывает», — и ответил Смайльс. И нельзя не сознаться: самым плодотворным образом; ибо как жили и «преодолевали» его герои, в сущности мог каждый начать завтра же жить. Особенно (и опять тут психология отрочества, которую он сумел, конечно не преднамеренно, задеть), особенно приковывали случаи самопожертвования. Я не могу передать волнения, охватившего меня при чтении жизнеописания Палисси, изобретателя фаянса (или обжигания фарфора): он был француз; не был богат, хотя не был лишен средств; опыты, постоянная топка печи, поглощали его средства, с трудом возобновляемые. Была семья, и естественный риск остаться не одному, а с близкими, голодным. И вот франки уходят, а опыты все не удаются, хотя верная идея горит в уме изобретателя. И я помню, тот момент, когда он, истратив последние деньги и не имея более дров, стал кидать в печь мебель, чтобы докончить опыт, — вызвал у меня такой энтузиазм, как бы это был лучший подвиг Александра Македонского, или кого угодно еще.

Восхитительную сторону книги Смайльса составляло то, что говорит в ней 1) серьезнейший человек, 2) о теме, его в высшей степени занимающей, его увлекающей, 3) и так, что это совершенно понятно и в прямом своем смысле, и в духе, в намерении — мальчику 15–16 лет. Только англичане (народ чуть ли не наивный, чуть-чуть) знают тайну этих простых и мудрых книжек. У нас их начал писать гр. Л. Н. Толстой, известными своими рассуждениями и простенькими рассказами. У него все это обратилось, однако, к выкапыванию «устоев», — может быть и действительно не очень здоровых, не очень свежих. Представьте те же книжки, такие же, но направленные к насаждению самой первобытной, самой нужной, и для мальчика вовсе не архиизвестной морали. Вот так-то и создаются нравы улицы, нравы семьи, нравы дома — до последнего дворника. Мы иногда кричим: «хулиганы пошли». Но они не «пошли», а только вылезли из-под лавки и сели на лавку. Что же мы, образованный, культурный класс, сделали для улицы, прислуги, служащих? Построили «чайные»? Выдумали такие крошечные бутылочки для «казенки», что она выпивается разом, как разом выкуривается папираса?

* * *

Мое впечатление от Смайльса — не единично и, конечно, не исключительно. В статье «Русская армия спасения на русский лад» мне пришлось рассказать о священнике Новгородской губернии, который, устроив три училища на свои и собранные деньги, стал готовить к фельдшерской, огороднической и домоводственной деятельности девушек, кончивших с успехом курс начальных училищ; стал из них готовить сельских сестер милосердия. Когда он мне рассказал все о своем деле и уже встал прощаться, то, задержавшись, спросил: «А читали вы „Самодетельность“ Смайльса?». Тут я не мог не улыбнуться улыбкой римского авгура. Моментально я понял, что встретил в седеющем уже священнике такого же энтузиаста «Самодетельности», — каким сам был в 17–15 лет: однолеток со мною, он приблизительно и учился в те же семидесятые годы, когда

книжка пошла в ход. Достаточно было обменяться с ним немногими словами, чтобы убедиться, что это было в самом деле так. Смайльс и (почему-то) Крылов — были для него столпами образования в народном и полезном духе. И конечно — это основательно.

Дух труда, живительного труда, — труда как нравственной стихии: до чего он не развит и до чего даже в идее не разработан у нас. Не говоря о «приложениях». С чего начать? Совета «трудиться»? Ну, это — каторга. Почему это не каторга? Разве тюремщик усовершенствованной нынешней тюрьмы, сдавая столярный материал заключенному, не говорит: «трудись»? И мы все друг другу не говорим ли: «давайте, потрудитесь», — и, отвернувшись друг от друга, — смеемся данному совету, и все не исполняем его. Не так давно вышла книжка (довольно толстая): «О происхождении религии» Гефдинга. Автор — знаменитый психолог, историк и культуровед. Прочитывая ее, я удивлен был, отчего он так много рассуждает, как бы мысленно построя, из каких элементов должна была произойти «религия», как он ее себе представляет, какое он об ней имеет понятие. Мне казалось, что автор имел перед собою и более легкую и более интересную задачу; наблюсти в истории несколько случаев религиозного человека, несколько биографий, хорошо известных, рассказанных самими автобиографами. Ньютон, Паскаль, Пастер, наш Н. И. Пирогов, наконец наш Л. Н. Толстой: вот только пять фигур, которые сколько интересного могли бы рассказать «о происхождении религии». Человек, от полного индифферентизма религиозного поднявшийся до постоянного религиозного ощущения (Пирогов и Толстой), или сохранивший глубокую религиозную настроенность при самом обширном и творческом научном образовании, — вот кто подлинно мог бы рассказать «суть религии» и «как она происходит»: рассказать притом языком и через посредство понятий и слов, для всякого образованного человека уже понятных. Перед этим материалом как тускл, безграничен, как вообще недоступен исследованию и часто лжив материал, извлекаемый из разных этнографических наблюдений, то над дикарями, то над фетишистами, то над больными истеричными, то над древнейшими религиозными памятниками, где прежде всего язык и душа исследователя и исследуемого до того разнятся, что их взаимное постижение почти невозможно. Возвращаюсь от примера к своей теме. И в сфере труда — тоже: надо подсмотреть случаи, биографии, обстановку людей, которые непрерывно трудились, которые довели труд до поэзии и философии. И вместо «трудись» — дать человеку эту обстановку или развить в нем эту психологию.

«Трудись» может быть каторгою. Разлейте этот принцип каторги в народе, и вы развратите его до мозга костей. Разве негры в южных штатах ни трудились? Не трудились римские рабы? И наши крепостные, дворовые, как, напр., они описаны в одном отделе «Семейной хроники» С. Т. Аксакова (молодой Куролесов)? Разве не на принципе труда были построены военные поселения Аракчеева и не на нем же строились социальные утопии Фурье и Сен-Симона, оттого и не принявшиеся, что едва ли не при первом же шаге осуществления оне вызывали чувство непобедимого отвращения у своих «граждан-работников»? Дело в том, что работа, присущая только живому существу, не известная (в настоящем смысле) вовсе в механической, формальной природе — и должна быть живою, органическою, психофизическою; и она никогда не может быть успешна, если она дана только формально и механично. Смэйльс в своей «Самодеятельности», пожалуй,

подсмотрел эмпирически самый главный принцип работы: чтобы в центре ее стояло «я». Все биографии замечательных работников суть примеры «самоработы». «Я» — маленький царек, притом — праведный (не сомневайтесь в этом). В сущности, побуждений для человека стать непременно худым не так много. Сбросив со счетов всяких дегенератов, вырожденцев, атавистов, мы все-таки получим основной остов человечества, несомненно предрасположенного к добру, не горячо, но предрасположенного. Увы, от этого остова откальвается огромная глыба «в худую сторону» от того, что при первом (детском еще) движении к добру встречает какое-нибудь легкое препятствие или легкое искажение. И потом постоянно идет, или идет долго, по этой искаженной линии. Напр., первое, чего вы потребовали от ребенка — он не мог исполнить; вы не рассмотрели, почему, как (высокомерие взрослого), а между тем он в самом деле не мог. Между тем он поставлен под условие награды и наказания, пусть даже в легкой форме вашей ласки или хмурого лица. Первое его незначительное движение, первый шаг в работе будет (может быть) обманом. Но ласку за лукаво исполненную работу уже он получил, и она встала перед ним соблазном. Вот вы в психологию восьмилетнего-семи-

10 летнего ребенка ввели яд: и попробуйте это потом вытравить: как трудно будет! Но возвращаюсь к работоспособности. Идеи труда и «самодетельности», так хорошо привившиеся у новгородского семинариста, вовсе не привились у меня, 20 гимназиста. Семинарии имеют в себе большие недостатки; но в одном отношении, что они менее связывают уставом и программю и учителя и ученика, что они вообще имеют менее формальный, менее удушливый строй — в этом отношении они издавна и коренным образом превосходят гимназии. От этого отсутствия формализма, с одной стороны, в семинариях оканчивают благополучно курс такие чудища невежества, что, встретившись с ними в жизни или даже литературе, только руками разведешь. Бывает это. Но бывает и другое: из семинарий в глубоко цельном, не расстроеном, не искаженном виде выходят истинно даровитые, хочется сказать — гениальные личности, каких между прочим много видели у себя на службе наш государственный строй и наша наука. Семинария 30 мало формирует и мало мнет. Гимназия делает чрезвычайные усилия формирования: но как всемирный секрет этого не найден, то она только страшно мнет отрока и юношу, и одних — раздавливает, а других — до последней степени ожесточает и восстанавливает против себя.

Идеи Смайльса, с которыми я так счастливо и рано познакомился, сейчас же пали в проклятый бурьян гимназического учения. И началось с самого простого: с невозможности приготовить на завтра все пять уроков. Т. е. с невозможности исполнить первый же «труд». — «Как под впечатлением Смайльса не приготовить? Песок — а не человек», — скажет читатель. Да ни под каким «впечатлени- 40 ем» не приготовил бы, хоть бы то было ангельское, или хоть бы Иисус Христос для этого еще раз пришел на землю. Слушайте: учился я по латыни на три. К каждому уроку я отыскивал по лексикону до 70 новых, мне неизвестных слов и выписывал их в тетрадочку. На это уходил почти вечер. Выписывал я так много слов потому, что у меня была слабая память и новые слова я только на день, на неделю запоминал, а потом они точно куда-то проваливались. Хорошо. Надо приискать слова по-гречески и по-латыни: вот около 120—130 слов, и ведь надо же их отыскать в лексиконе, поперелистать его. Перелистываю, тружусь. Пытаюсь учить: выучиваю из 130 девяносто, и то чуть-чуть помню, страшно трудно.

Теперь надо переводить (из перевода и «неизвестные слова»), но как же я перевожу, когда, стыдно сказать, уже более года слушаю, как ученики на перемене переводят. Сам же смотрю в текст, и такие там частицы наставлены, такое соотношение слов, до того придаточные предложения вкраплены в главное, что, ей-ей, сколько лет я, бывало, каждый раз, как натуживаюсь переводить — убежден был, что даже и учитель этого особенного и особенно страшного места не сможет перевести. И всегда удивлялся на другой день, что они (учитель и ученики) ничего себе, переводят. Сделают какую-то маленькую мысленную перестановочку слов и переведут. Но так же, как «не выходит» перевод, не выходит и задача по алгебре. Если читатель скажет, что я сам виноват, то, конечно, отрицать этого я не стану: но мы были все так виноваты. Но почему же мне ставили «три»? А как же мне не поставят «три», когда, прослушав перевод на перемене, я могу и перевести, да и из «слов» знаю если не все 70 (от страха перепутаешь некоторые «плохо выученные»), но хоть 30, 40. Ну, и ставят не «пять» и не «четыре», а «три». Эти «тройки» есть самая ужасная вещь в гимназии, источник всей анархии. Учащийся «на три» знает на самом деле предмет «на единицу» и уже давно едет на подсказываниях и на чужих переводах. Он давно упал, но его еще долго везет «система», та печальная «система», которая принимает (и не может не принимать, «формально» — не «в праве») ученика, знающего предмет «на единицу» за знающего... ну, «урок», что ли (стыдно же сказать: «предмет»), «на три». Меня надо было года два назад оставить на второй год в том же классе, да и, оставивши, взяться за меня вплотную, велеть переучивать весь предмет заново. Вот тогда можно бы практиковать «самодетельность» и «характер». Но никакой почвы для этого не было. Я все «тащился» и переходил из класса в класс, а наконец кончил курс, ни разу не придя в гимназию с сознанием: «вот, я все выучил; и хоть спроси учителя — сейчас могу отвечать по всем пяти предметам». Читатель скажет: «вы исключительно виновны». Но, увы, лучшие ученики, отлично переведившие по-латыни, списывали задачи у других учеников, а «сочинения» я им писал, в благодарность за переводы. Так и менялись. Все были цыгане. И все воровали. Пусть уж читатель оценит, во что обошелся нам, всему составу класса, этот хронический, ни на один день не прерываемый обман. И еще смешанный с такими ужасными впечатлениями: ибо горели ведь в нас, не обманно горели все слова Смайльса об абсолютной, героической добросовестности в труде, о том, что без этого и человек — не человек, что только позорная жизнь трутня начинается обманом и «даровщиной» (а ведь таковы были наши «переводы» и «задачи», а у других — «сочинения»). Представьте психологию Кречинского за минуту перед открытием подлога; да представьте, что Кречинский — и не совсем Кречинский, что он имеет за собою мать, сестер, родину, общество, а впереди — надежды, университет, «науку», «Смайльса»: но ежедневно на пять часов он уходит в положение Кречинского, с его страхом, презрением к себе, желанием забыть позор и невозможностью забыть, желанием не повторить его — и абсолютно нужно повторить. Всем ведь известно, что в 80-х годах, по публикациям самого министерства, «выкрадывание тем» из канцелярий директорских и попечительских сделалось почти всеобщим в империи, проявилось во всех учебных округах как настоящий показатель «нравственной и умственной зрелости». А в нашей гимназии такая кража еще и на ум не приходила; т. е. о ней не сговаривались, не гадали, просто ничего не думали. Таким образом мы были еще «зелененькие»

сравнительно с империей. Говорят, «горничные» нас развращали: куренье табаку, пиво, билиард. Господа! Да портерная-то и была местом, где мы духовно выздоровливали: расстегнутый мундир, грубые речи, одурманенная голова; но какая же, однако, ложь? Никакой. Кругом — сарай. Но, однако, это не то, что ядовитые оранжереи. В сарае все-таки растет нормальная крапива; там вполне нормальные половые, буфетчики, горничные, наше (гимназистов) милое и здоровое общество. Но там не растет сугаре, капля которого останавливает нервную систему: как останавливалась и отмирала она у нас вся, едва в мундирчиках и с ранцем мы переступали порог гимназии.

- 10 Так Смайльс, выросший на чистой и благодатной почве Англии, на почве Джона Нокса, пресвятерианства, «Долгого парламента» (особый термин в истории Англии), Кромвеля, Смита и Рикардо, фантастическим образом смешался со злаками, выросшими на исторической почве Никиты Пустосвята, старообрядчества, «самосожигателей», «дней Александровых прекрасного начала», декабристов и жен их, которые «рыдали и целовали цепи узников». Иногда мне думается, что вся наша история есть какая-то оперная. Что у нас был или героизм, но не за «настоящее», не на «настоящей» почве, или была «настоящая» почва, но уже такого духа и направления, что лучше бы ей не рождаться. Аракчеев был «настоящее»; и он переломил феерических декабристов. А наша маленькая гимназия
- 20 была отдаленным, замершим почти эхом этого столичного гула.

Но старику Смайльсу все-таки великое спасибо. Мы поклонились ему не делом, а мечтами. Но и мечты бывают дороги.

ПОМИНКИ ПО СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ И СЛАВЯНОФИЛАХ

- Есть идеи прилипчивые, навязчивые. Может быть, и не вполне основательные, ни в каком случае не глубокие, но которые как-то саднятся в уме, — и верно в них есть какая-нибудь истина. Вот уже много лет, всякий раз, как мне приходится думать об А. С. Хомякове, столетний юбилей которого мы недавно почтили речами и статьями, приходит на ум странный, можно сказать, необычайный способ его смерти. Человек универсального, пылкого и самоуверенного ума, он
- 30 не только оспаривал исторические мысли Т. Н. Грановского, копался в санскрите, изобрел способ утилизации снега, но также и придумал «верно действующее» средство от холеры. И умер от холеры!!! Когда читаешь его биографию, такую трогательную, серьезную, всю исполненную напряжений и надежд, и доходишь до этого конца: «умер от холеры!» — то до того растериваешься, факт до того поражает ум, что впадаешь во что-то похожее на истерику и начинаешь смеяться. Человек — всех лечил в Москве (т. е. советовал всем лечиться), а в деревне и на-верное уже и фактически лечил! И умер именно от этой болезни, сопровождае-мой, как известно, ужасными страданиями. «Будь скромнее, человек!» — как бы прошептала смерть над этою могилою; или, как сказал Ф. М. Достоевский на памятном Пушкинском празднике в Москве: «смирись, гордый человек!». Во всяком случае, это поучение о скромности никак не умеет отделиться в уме моем от идеи о Хомякове; предательская холера 1869 г. скалит скверные зубы за его
- 40

бронзовым монументом и говорит: «как он ошибся! как он ужасно ошибся со своим снадобьем! И ошибся не только в расчете на меня и мою податливость, но и вообще в расчетах своего пылкого, пусть очень острого, но слишком самоуверенного ума».

Годы пронеслись после его смерти; годы — скажем о России — многих испытаний! И как-то не верится на слово; как-то хочется проверки делом. А вот перед проверкою *делом* большинство его возвышенных и благородных теорий: исторических, общественных, не говоря уже о научных, оказывается не реальнее и не целебнее, чем знаменитое средство от холеры. Едва умер сам изобретатель его, никто более не проверял и не занимался научною ценностью снадобья. Все просто его забыли. Огромное множество его идей, всё так называемое «славянофильство»... да дайте осязаемые плоды его в руку? Напр., школа, университет, гимназия, народное училище? Но ведь из ста народных учителей и учительниц, довольно-таки самоотверженно зябнувших и голодающих в деревне, 99 не заглядывали ни в Хомякова, ни в Данилевского, ни в Страхова. До последней степени очевидно, что человеческая волна, идущая сюда, имеет импульс свой совсем в другом месте. Посмотрите мелькающие в журналах статьи: «Что читать народу», «Книжный поток», «Как я читал (или „читала“) русских поэтов деревенским мальчиком»: увы, и обложки журналов, и тон статей ни малейшего не оставляют сомнения, что все эти во всяком случае добрые сеятели пришли совсем из другого лагеря. Гимназии? Но Н. Н. Страхов был членом ученого комитета мин. нар. просвещения в самую удушливую его пору, в 80-х и 90-х годах; а Данилевский и И. С. Аксаков ничем не обмолвились против педагогического прессы, надавившего на всю Россию. А витии были великие. Словом, в деле воспитания и учения руководители были Ушинский, Стоюнин, был замечательнейшим педагогом Н. И. Пирогов: но из славянофильства ни единого зернышка добра или даже хотя бы «благопожелания» не вывалилось на эту часть родной нивы. Возьмем ли земство? Но не напоминая ярких фактов, все мы знаем, что и здесь больницы, школы, дороги, кустарные выставки, мелкие технические школы и пр. и пр. шли, как и «чтения с народом», от людей совсем иного закала и направления. Остается еще одна и почти специальная область славянофильства: православие и дух его. Но и это стоит на своем корню; и есть около него славянофильство или нет его — оно ничего от этого фактически не приобрело и не потеряло. Серафим Саровский и Амвросий Оптинский были современниками зарождения и расцвета славянофильства, но едва ли принимали его близко к сердцу. Славянофильство, правда, их принимало к сердцу: но ведь это не одно и то же, что *сотворить* что-нибудь подобное. И учитель словесности «принимает к сердцу» Пушкина, но Пушкин остается Пушкиным, а учитель словесности остается учителем словесности. Таким образом фрукта, дела — нет и нет в запасе славянофильства! А «словесности» — после перенесенных Россией испытаний — как-то не верится...

Дело Гоголя — именно практическое — необъятно! «Куда ни глянем — все от него имеет начало»: как не повторить это слово, сказанное лет 20 спустя после кончины Петра Великого, к нашему Гоголю. А кажется, только «писал и писал». Действие Пушкина, да даже и живых или недавно живых писателей, всей плеяды 50–60-х годов, всего этого «реального романа», также очень велико. Ну, хотя бы в том отношении, что впервые западный мир они ознакомили с русскою душою. Да и сколько дали русской душе Тургенев, Гончаров, даже Лесков или Ост-

ровский, Достоевский, Толстой: право, если мы не задохлись в неудачной нашей школе, мы этим очень многим обязаны названным писателям! Сколько утешения; сколько тайного, незримого развития, уже неодолимого, незаглушимого!

Но отчего же это в реальную Россию не вошло славянофильских дрожжей? Почему земцы, почему особенно народные учителя — не славянофилы? Дрожжи — двигают. Но дрожжи — кислы, неприятны на вкус. Все славянофильство, от корня его до самой вершины, слащаво и несколько приторно: не ощущали ли вы этого непосредственного и неперемного впечатления от каждой решительно славянофильской книги и статьи? Хомяков, оба Аксаковы, Киреевский, Данилевский, Страхов — ничего кислого, горького, терпкого. Напр., все без исключения славянофилы имеют много порицания для современности: но чувствуешь, что за этим порицанием, нисколько не жгушим, *не большим*, лежит столько сахара, что порицаемый (или порицаемые вещи) никогда не закричит от боли. Напр., возьмем знаменитый стих Хомякова («Россия», 1854 года, — ходило в рукописи и напечатано только потом):

20 В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна.
О, недостойная избранья,
Ты избрана...

Ну, и всякий успокаивается, если «избрана»! Что за дело до слагаемых, если итог благополучен! Дело в том, что, конечно, «избрана» не сорвалось бы как пророчество будущего с языка у человека, если бы весь перечень «грехов» выше не был сделан так себе, лишь для того, чтобы не слишком уже сладко показалось заключение, — да, наконец, чтобы ему просто поверили!! Видите, как порицает отечество: это ли не Кай Грахх перед сенатом. Это — не поэма «Россиада», а гражданское стихотворение 1854 г.: и уж если в заключении его все-таки сказано, что «избрана» и далее:

И бросься в пыл кровавых сеч!
Борись за братьев крепкой бранью,
Держи стяг Божий крепкой дланью,
Рази мечом — то Божий меч

(То же стихотворение «Россия»)

— то даже сам генерал-губернатор Москвы, гр. Закревский, мог найти стихотворение патриотическим и даже сделать из него в рукописи подношение куда следует: «вот патриотический голос Москвы».

40 Схема порицаний лишь отвлеченно жила во всех славянофилах; и это вовсе не то, что «незримые слезы», до которых Гоголь дошел через свои рассказы. От «перечня» Хомякова никому больно не стало. Пропись без имен, без адресов и примет. Бранись сколько хочешь. А вот Гоголь понаписал всем адреса. Понаписал всех приметы. То же делал позднее Щедрин. А об «избрании России» умал-

чивали. И уж если к «призванию» Россия сколько-нибудь придвинулась, то от того, что всякому почтмейстеру во всяком Царевokokшайске сделалось за себя совестно; вздохнул он, сам пообчистился, а главное, хоть сынишку в гимназию отдал: «пусть учится другому, чем я». И вот придвинулась Россия все же к кое-каким школишкам, к кое-какой медицине; придвинулась от обличителей с перцем и уксусом; а от обличителей с сахаром — ровно никуда не придвинулась. Так и пошла генерация добра на Руси: от желчи, кислоты, горечи. Это — бродило, это — дрожжи. А от сладкого решительно ничего не выросло: ибо все это — пресно; порицания — без страдания, да и призыв, пожалуй, без энтузиазма. Разве сравнятся военные крики в последних строках приведенного стихотворения Хомякова с известными словами Некрасова — «Внимая ужасам войны»: 10

Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей.

Вот и любовь тут примешалась: та «любовь», о которой Хомяков исписал так много страниц и почти томов, а когда зашло дело о *конкретном*, напр., о войне, то и не нашел ей места, оставшись при том же холодном, схематическом: «рази!». Ну, конечно, во время войны «рази», а во время мира: «люби», — но все это скучно и ужасно пресно. Все вообще славянофильство похоже на прекрасно сервированный стол, но в котором забыли посолить все кушанья. И они все, от этой одной ошибки повара, получили удивительно сходный, однообразный и утомительный вкус; попробовать еще — ничего, но есть по-настоящему — невозможно. Таковы их стихи, рассуждения, пафос, негодование. «Не солоно! Ни капельки соли!». И всякий кладет ложку; или, переходя от сравнения к делу — редко кто славянофильскую книгу дочитывает до конца или даже до середины. Горестная судьба! 30

К 1-му мая, юбилейному дню рождения Хомякова, и в юбилейный 1904 г. появились: книга проф. Л. Е. Владимирова: «Алексей Степанович Хомяков и его этико-социальное учение» (Москва) и ряд статей о нем известного сотрудника «Моск. Вед.» г. Басаргина. Последний приурочивает статьи свои к названной книге. Нельзя не радоваться всякому серьезному труду, посвященному хотя бы в юбилейные дни памяти исторических русских лиц. Статьи и книга — серьезные, местами патетичны. О них можно было бы, однако, много спорить. Напр., знаменитое, высказанное Хомяковым, определение православия, в отличие от католицизма и протестантизма, как учение: 1) кротости, 2) мира, 3) смирения, едва ли составляет *догматическую* его разницу от западных исповеданий, а не вытекает из исторического положения православной церкви, православных народностей, находившихся (на Балканском полуострове и у нас во время монгольского ига, да и позднее, что касается простого народа, находившегося в тяжелой крепостной зависимости) в положении угнетения. Увы, узники часто бывают лучше тюремщиков, ученики — учителей, солдаты — офицеров, и вообще «наковаль- 40

ня» имеет великие моральные преимущества перед «молотом». Это психология положения, а не последствие исповедуемого учения. Присоедините к этому мягкий славянский характер; прибавьте меланхолический шум северного соснового леса; осложните вообще психику угнетенности с вековой жизнью в близости с природою, — и вы получите подлинное разъяснение «коренных черт православия», не нуждающееся в том пособии, что на Западе «исповедывали *filioque*», а на Востоке его не было. Что касается до «соборного» начала, то, конечно, оно выразилось на Западе, где были соборы: Клермонский, Флорентийский, Базельский, Констанцкий, Вормский, а не на Востоке, где всегда церковь управлялась 10 единолично местными патриархами. Впрочем, это вытекает и из идей Хомякова, где «соборности» тоже уделяется поверхностное, без энтузиазма, место, — а с энтузиазмом указывается «решение единоличной совести», в иллюстрации — ну, хоть приснопамятного гр. Закревского, современника Хомякова. Но здесь мы должны войти в некоторые подробности, так как это связано с некоторыми подробностями земского самоуправления, шире или уже понимаемого. Здесь Хомяков, проф. Владимирова и г. Басаргин сливаются в согласный хор, и мы дадим место: проф. Владимирова — как истолкователю Хомякова, и г. Басаргину — как истолкователю проф. Владимирова.

«На высшей точке государственного строения, — пишут они согласно, — русский народ ставит *живую единственную совесть* (курсивы здесь и ниже г. Басаргина). Русский народ, по-видимому, не верит в отвлеченные формулы, так же как не верит в механизм учреждений, сам-де по себе обеспечивающий применение воплощаемых ими начал. Русский народ отлично понимает, что в государстве все приводится в действие человеком; что государство получает содержание, направление и одухотворение от человека, его совести, ибо в большинстве человеческих дел единственным обеспечением правильного действия служит совесть действителя. Вся традиция человеческой жизни ведь и состоит в постоянных, на каждом шагу, столкновениях между неподвижною, условною формулой права и живым голосом совести человеческой».

Но чуткая совесть — неумела, неловка, неискусна: а искусство, а дар принадлежат человеку без совести. В «трагедии человеческой жизни» (о ней пишут 30 гг. Басаргин и Владимирова) пусть они расчислят, много ли приходится случаев соединения высокой даровитости и совести, и не на всяком ли шагу встречается их плачевное разъединение («первородный грех», как мы думаем; первородный грех — в этой слабости, немощи человеческой). Да и потом: почему уединенной жизни в кабинете присуща «совесть», а как улица, толпа — то и «бессовестность»? Не Клермонский разве собор решил *толпою*: «идем освободить Св. Землю». Нет, именно в толпе-то (вспомним Минина на площади Нижнего Новгорода) и бывают нечаянные и святые движения народной души: личное — вдруг забывается, забывается — эгоистичное, и являются манифестации общечеловеческого, общенародного. «На *ура* пойдем за правду!» — почему это не так?

Цитируем дальше.

«Старые народы, народы рассудка, стоят *за форму* (курс. г. Басаргина): она исключает, по их взгляду, произвол. „*Dura lex — sed lex*“, „жесток закон — но он закон“! Народы молодые, народы чувства стоят *за совесть*: она отступает от правила, но зато прислушивается к голосу человеческой души (а если не прислушивается? — В. Р.). Формула коренится

в компромиссе, т. е. в силе; совесть отражает в себе безусловное, божественное веление. Формула есть стена и ограда фарисеев; совесть — истинная арена человеческой души, христианского верования, христианской любви. В этом и смысл слов Хомякова, сказавшего: «Наша такая земля, которая никогда не пристрастится к так называемой практике гражданских учреждений. Она верит высшим началам, она *верит человеку и его совести*; она не верит и никогда не поверит мудрости теловетеских постановлений (курсив автора). Оттого-то и история ее представляет такую, по-видимому, неопределенность и часто такое неразумение форм; а в то же время, вследствие той же причины, от начала этой истории постоянно слышатся человеческие голоса, выражаются такие глубоко-человеческие мысли и чувства, которых не встречаем в истории других, более блестящих и, по-видимому, более разумных общественных развитий».

Доселе — Хомяков и проф. Владимиров.

«Вот именно!» — патетически подхватывает г. Басаргин, и пишет на ту же тему статьи. — Мы их не будем приводить. Мысль достаточно закруглена и в сделанной цитате. Остановимся на ней.

Во-первых, в русской истории было не только «неразумение форм», но между прочим и «неразумение» хорошего пороха в Крымскую войну, и дальнобойных ружей в минувшую турецкую: от какового «неразумения» раздавались «истинно человеческие голоса» не только В. В. Верещагина («На Шипке все спокойно»), но и многого множества других: но все то были «плачи Иеремии», плачи не вовремя, запоздалые. Теперь, какую нужно «совесть» иметь (дело идет все о ней), чтобы и впредь, на все предбудущие времена, отечеству своему советовать это же «неразумение» западных премудростей, будут ли то Пастеровские прививки, электрическое освещение или «гражданские учреждения» (ведь это все одного порядка вещи, «премудрость»). Хорошо было Хомякову в своей деревне, Басаргину — в «Моск. Вед.», а вот обывателю нашему нужна и конка, и лекарь, и окружный суд и пр. Решительно обывателю нужно и «земство», с разными самоотверженными учительницами, врачами. Ах, холера, холера: подсидела она Хомякова. Как плакались на худой порох в Крымскую войну и на краткострельные ружья в турецкую, так большую слезу вылил и малоизвестный поэт Б. Н. Алмазов, прислушиваясь к причудливым идеям Хомякова. Мы приведем его, и уже никак нельзя сказать об этом стихотворении, чтобы его также «забыли посолить», как вообще всех славянофилов и все славянофильство:

По причинам органическим,
Мы совсем не снабжены
Здравым смыслом юридическим,
Сим исчадьем Сатаны.
Широки природы русские,
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал.
Мы враги сухой формальности,
Мы чувствительны душой, —
И при виде «благодарности»
Не владем мы собой.

Вот по этой-то причине я
 С умилением гляжу
 На управу благочиния,
 В ней одной лишь нахожу
 В дни печали утешение:
 В ней одной лишь не погиб
 От напора просвещения
 До Петровского «кормления»
 Совершенно чистый тип.
 Не к пути земному, тесному,
 Создан, призван наш народ,
 А к чему-то неизвестному,
 Непонятному, чудесному,
 Даже, кажется, небесному
 Тайный глас его зовет.

10

Смех поэта, историческая неправда и какой-то гнусный воровато-ханжеский тон излагаемой «теории» прелестно соединены здесь. Переходя к прозе, в чем основная ошибка гг. Басаргина, Владимирова, Хомякова? Нигде не открывается на нее такой возвышенной точки зрения, как в религии. Ну, да: «форма» — это действительно слабость, несовершенство: возможность сухости и по существу — неправды. *Возможность* этого, а не *необходимость*, не требование: заметьте. Итак, усовершенствуйте «форму» и старайтесь (главное!) праведно к ней отнестись: не переводя ее в формализм («форма все поглощает»), а удерживая на степени упорядоченности. Спор против «форм» — ведь это требование устранить контроль в денежном хозяйстве. Это — постановка на месте «Вексельного устава» — «сделок по душе»: которым прежде всех обрадовались бы кулаки. «Мир» кулаками и закрепощен не по векселю (крестьяне и подписать его не умеют), а «по душе». Да и что за односторонности: уже если «формальное начало» есть сухое и юридическое, то не прежде ли всего его предстоит выгнать из области, где все основывается и должно бы основываться действительно на любви, согласии, взаимной уступчивости — в браке? Теория Басаргина, Владимирова и Хомякова падает прежде всего сюда и, разрушая «формальное в нем начало», проповедовала бы «свободную любовь». Но о такой проповеди из их лагеря не слышно. Теории трех названных славянофилов наивны или, точнее, наивничают: они навевают мечты какого-то золотого века, когда вокруг нет никакого золотого века, проповедуют какой-то пастушеский быт среди фабричного производства и удушливой канцелярии. Они возвращают к моральной анархии, когда мы живем в имморальности; к анархии бытовой, когда мы живем среди бытового безобразия. «Форма» и входит сюда бедным, слабым, ограниченным, бездарным началом: но все же каким-нибудь началом. С помощью «формы» я все же могу возразить вору, а без «формы» не могу. Взойдем к религии. В тоне славянофилов по части «учреждений» есть доля ханжества и хитрости: но есть и доля искреннего, мечта, слезы (увы, это смешивается иногда). В чем же ошибки этой доли «слез», мечты: они судят о виновном состоянии как бы невинном, о состоянии падшего человечества под условием как бы не падшего, безгрешного. Вполне основательно, что вообще «легальное начало», «юридическое» несимпатично, грубо, повер-

20

30

40

хностно. Это суковатая палка, скверная. Кто ее не старается избежать? Кто хочет идти в суд?!! Народ справедливо ужасается этого. Весь этот ужас, неприязнь, отвлечение суть осколки (в душе нашей) первобытной невинности и чистоты; осколки, но не цельное зеркало. В двух областях, семье и школе, я вот уже много лет проповедую устранение формального начала: и кто же оспорит, что если уже *где* быть ему отмененным, то действительно — *тут*, где слишком связывает людей естественная привязанность и естественный интерес. Где есть *jus naturale et divinum* * — не нужна *jus civile et humanum* **. Такова моя скромная личная мысль. Но поистине семья и детское воспитание есть уже *в быту* самом — тоже осколки первобытного счастья: и закон рая уместен в раю.

10

В ЧАЯНИЯХ «ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ»

...Но всякий раз, как ангел возмутит воду, уже другой входит ранее меня в воду...

Жалоба расслабленного

Одною из важных задач самого *существования* журнала «Новый Путь» мне представляется некое «движение воды» или его возможность, на него надежды в обширном и коренном русском сословии — духовенстве. Сословие это лобасто, а только туго заросло костью, — позволю это грубое, но любящее сравнение. Много здесь встречаешь жесткого, колючего на свои мысли; встретишь резкости, каких не найдешь в других отделах литературы. Но зато и забирает эту почву плуг туго. Здесь не грозят «птицы, расклеывающие по дороге». Но только камениста эта почва, или, точнее, она покрыта сухою корою; и нужен ливень, а не роса, чтобы добраться через кору эту до лежащего под нею чернозема.

20

Я позволю себе заняться отметкою некоторых явлений в духовной литературе. Уже целый год (еще начиная с 1903 года) профессор (кажется — профессор богословия в киевском университете) протоиерей *П. Я. Светлов* дает, можно сказать, наслаждение читателям «Богословского Вестника» (во всяком случае — самый лучший наш духовный журнал; см. здесь особенно интересные статьи о германском богословии — высокообразованного псаломщика при берлинской церкви), в статье: «Идея Царства Божия в ее значении для христианского мирозерцания», — где первое понятие («Царство Божие») мыслится не как противоположное, конечно, а все-таки как отделяющееся и отличное от понятия и истории и факта церкви. (Май, 1904 г., 1-я стр.). Всякий поймет, как это важно: ибо первое вечно и равно себе, а вторая тогда объясняется в своем движущемся бытии.

30

* право естественное и божественное (*лат.*).

** право гражданское и человеческое (*лат.*).

Автор, между прочим, много посвящает усилиям русских мыслителей, богословов, поэтов и наконец романистов (Ф. М. Достоевский) выяснить идею этого «Царствия Божия». Задача наша здесь, впрочем, не изложить, а только обратить внимание (если кому случайно не попадутся в руки книжки все же специально-академического журнала) читателей, по преимуществу светских, на статью, прекрасную и литературную вовсе не только с богословской стороны. В последней майской книжке автор оценивает труды Вл. Соловьёва, приветствуя их, но не по всем их разделяя (напр., об уничижительном взгляде на протестанство, о старокатолицизме и проч.). Конец статьи посвящен взгляду на *scriptura viro-
obscurogum* *, и мы позволим его цитировать, так как автору, протоиерею и профессору богословия, очевидно, эти «*scriptura*» с особенной обстоятельностью известны (курсивы — везде автора).

«Вл. Соловьёв представляет в богословии величину слишком оригинальную, не похожую на все то, что мы привыкли здесь видеть, и потому я хорошо понимаю прямо-таки нежелание некоторых присяжных богословов признать в Соловьёве доброго товарища, богослова. „Вл. Соловьёв был собственно философом, — рассуждают они, — и потому даже чисто-богословские вопросы, коих приходилось ему касаться (!), рассматривал главным образом с точки зрения своих предвзятых идей“». Вл. Соловьёв совершенно не отвечает идеалу стереотипного православного богослова: «православный богослов *должен* задаваться *одною* задачей — всесторонне и глубоко изучить Св. Писание и святоотеческие творения, изошрить свой ум философской эрудицией, обогатить его основательными познаниями из области богословских и иных важнейших наук и оставаться всегда верным общеобязательным вероопределениям и вероизложениям православной Церкви». «Человек же, ставящий своею задачей (подобно Соловьёву) прямо прокладывание новых в богословствовании путей, но недостаточно внимательный к вышеуказанной единой его задаче... станет так богословствовать, что придется страшиться за судьбы православно богословской науки и православной церкви, коль скоро подлежащая власть в своей, обязательной особенно для нее, ревности в деле Божиим не обуздает практикующих такое богословствование» **. Вл. Соловьёв как раз «практиковал такое богословствование», столь страшное для излишне беспокоящихся за судьбы «православной церкви»; Соловьёв — весь олицетворение полного и решительного отрицания стереотипного идеала богословия, заключающегося в *едином* охранении истины, без движения и без прироста в ее познании. В этом смысле Соловьёв, слава Богу, не богослов; но это несколько не мешает ему быть богословом в истинном смысле слова. С исключительно охранительною целью богословие неизбежно становится тюрьмою, если не могилою, христианской истины, а богословы-охранители — тюремщиками и своего рода могильщиками истины. Есть другой, хотя и слабо наметенный у нас, тип богословия, где задачу богословия полагают не в одном охранении, но в обязательном для христиан совершенствовании в истине, возрастании в познании ее. Среди еще немногих богословов этого типа Владимир Соловьёв является в точном смысле слова *выдающимся богословом*. Выдающимся

* сочинения темных людей (лат.).

** «Миссионерское Обозрение», 1904, № 7, стр. 1055, 1056 (Из «странной рецензии» проф. А. Гусева).

здесь богословом Вл. Соловьёв является по необычным размерам своей заслуги перед богословской наукою и церковью в деле уяснения христианской истины вообще и для современного образованного человечества в частности: один Вл. Соловьёв, при всех неблагоприятных условиях, с одною только Божиею помощью далеко подвинул понимание христианства, — дальше, чем это удалось сделать многим и многим «настоящим» богословам (которые, впрочем, и сами не всегда бывают виноваты в малопродуктивности своих трудов). На такую оценку Соловьёва дает право выше изложенное учение его о царстве Божием, в котором скрыт ключ к пониманию христианства в его целом.

«Эрудиция Вл. Соловьёва была разносторонняя и громадная, но свое понимание христианства Соловьёв черпал не с полок книжных шкафов только, в отличие от некоторых богословов, а прежде всего в недрах своей богато одаренной духовной природы, своего „природного человечества“, насквозь осиянного ярким светом его чистой и глубокой христианской веры. Соловьёв был не просто только ученым, но вместе с тем глубоко верующим богословом, имевшим тот „ум Христов“ (1 Кор. II, 16), которым наиболее и лучше всего обеспечивается понимание христианства.»¹⁰

Соловьёвым много сделано для духовной науки, но могло быть сделано и гораздо больше в более благоприятных условиях литературно-богословской деятельности, чем каковы наши. Тернист путь у нас живого религиозного слова в важнейших областях научно-богословского знания, и не многие находят в себе мужество вступать на путь этот.²⁰ Слишком много энергии отнимается здесь на борьбу со всевозможными неблагоприятными обстоятельствами, нужной для дела! При множестве врагов видимых и невидимых, бодрствующих над богословскою наукою, особенно под маскою ревнителей-друзей, ученый труженик-богослов напоминает в своих тяжелых трудах созидания разумной христианской веры иудеев по возвращении из плена, строивших стены иерусалимские, когда одною рукою строили, а другою защищались от врагов, мешавших их делу. Вл. Соловьёву приходилось трудиться именно в таких же условиях, „сражаясь на оба фронта“ по его выражению (и с лжеверием, и неверием)... Вот почему с этого тяжелого и небезопасного пути многие крупные силы в богословии предпочитают целиком уходить в эсotericкую, никому, кроме немногих специалистов, недоступную область науки, заживо закапываться в ней от людей и жизни! Сказанное в одно время Вл. Соловьёвым по случаю смерти одного из подобных богословов (проф. В. В. Болотова) за несколько недель до своей смерти в известной степени приложимо и к нему самому. Жизнь прервана на половине пути, писал Вл. Соловьёв почти накануне своей смерти, „но и в пределах этих лет подвижничество могло бы быть плодотворнее при других исторических условиях умственной жизни“... Явление не случайное, что „атлет науки с богатырскими силами“, как В. В. Болотов, „разменялся на мелочи и не успел остановиться на задаче, его достойной“. Какая ж тому причина? Отвечая на это, Вл. Соловьёв пишет горькую правду и для нашей русской богословской науки, переживающей плачевные времена:

«В других странах богословская и церковно-историческая наука представляет могучее собирательное целое, где всякая умственная сила находит и всестороннюю опору, и всесторонние рамки для своей деятельности и, свободно развивая свои личные возможности, вместе с тем постоянно прилагает их к общему делу; там есть, из преданий прошлого и современной систематической работы слагающаяся, живая и правильно растущая наука, и отдельные ученые в меру своих сил входят в эту общую работу, участвуют в этом росте целого... У нас и в других науках, особенно же в науке богословско-церковной этот»⁴⁰

рост целого отсутствует... Поэтому наши лучшие ученые, особенно в области духовной науки, похожи не на притоки могучих рек, текущих в моря и океаны, а только на ключи, одиноко бьющие в пустыне.

И хорошо еще все-таки было бы, если бы ученые богословы оставались, по крайней мере, ключами, одиноко *бьющими* в пустыне, — наблюдается нечто худшее: сплошь и рядом там и сям видишь, как перестают биться и эти небольшие ручьи и ключи живой религиозной мысли, пересыхают, забрасываются грязью и мусором, замерзают под суровым дыханием лютой непогоды... Немногие, наиболее сильно бьющие ключи, вроде Соловьёва, избегают этой участи.

- 10 В заваливань живых ключей знания камнями и грязью критика соперничает всегда с независимыми от авторов обстоятельствами, а потому здесь естественно как-то сама собою вспоминается критика, особенно — духовная критика религиозно-философских воззрений Вл. Соловьёва» («Богосл. Вестн.», май, стр. 36—40).

- Действительно, только теперь, когда вышли почти все восемь томов трудов Вл. Соловьёва, оценивается огромное их общественное, их историческое значение. Человек громадной подвижности и европейской образованности, он самым *фактом* своей деятельности и писаний, фактом *лигности* своей сделал невозможным дальнейший стереотип прежнего богословствования. Рассыпан из «форм» его «набор»: не можем сделать лучшего сравнения, как с этим типографским беспорядком. До сих пор, в сущности, наша богословская литература ограничивалась двумя задачами: увещанием к благочестию и без того благочестивых, и побиванием «мужичков» (см. «Миссионерское Обозрение» и варианты его в духовной литературе). В торжественные дни или в торжественной книге выходил автор и писал или говорил, «похвалу себе», «*laus sibi*», которая часто напоминала известную «*Laus*» *... Эразма Роттердамского. Именитое купечество, аристократические старушки, «полные генералы» в отставке, «ныне пишущие исторические воспоминания о своей службе, знакомствах и походах», — слушали благоговейно тихую речь «владыки» или читали его книгу с золотым тиснением. Эта книга с золотым тиснением была убаюкивающая. «Мы»; «все знаем»; 20 «всех победили»; «не оставили и науки» — и вот цитаты не только латинские и греческие, но и еврейскими буквами. На чудище цитат целую страницу только поглядывали с благоговением, как на удостоверение в «полной учености». В сущности, у нас установилось нечто гораздо более «окончательное», нежели даже папство: там все же тревожились, боролись, смущались, слышали возражения. Тогда как у нас было безмолвие и «благолепие» красноречия. Что Рим при Урбанах сравнительно с уездным городком под благопопечительным оком исправника: тут — и тише, и абсолютнее, и достовернее. Но мы увлекаемся, когда хотели только цитировать.

* * *

- 40 Полемика, по существу очевидная в своем исходе, с «Православно-Русским Словом», редактируемым *белыми* священниками оо. Дерновым и Лахотским, касательно возможности и уместности включения в церковную эктению на литур-

* Похвала (*лат.*).

гии особого прошения о здравии и вспомоществовании женам, ходящим «в тягости» и «разрешающихся от бремени», — благополучно кончилась прекрасною статьею *монаха* архимандрита Мефодия (Великанова) в майской книжке «Православного Путеводителя». Автор приводит интересные исторические, этнографические и филологические данные, — равно из сравнительного эпоса, — касательно *жен рождающих*. Везде собственно *болезнь* (не *самое* рождение, а лишь *сопровождающая* его боль, страдание) считается «от лукавого», посему — нечистого (от «нечистого духа»); и в соответствие этому везде, даже в язычестве (напр., особенно в Японии) приходит местное духовное лицо, чтобы «очистить» родильницу поспешнее от «приразившейся» ей «нечистоты», «страдания» (дробь смерти), и особенно оградить как ее на одре болезни, так и рожденного младенца от возможных «чар», «недоброго взгляда», «зависти» и проч. (у арх. Мефодия приведены для этого многие данные). Тут залегло очень много и наивного, а частью и вероятного предположения о «недобрых и старающихся вредить» духах-атомах: ведь наши «микробы» есть только анатомическое разрешение вопроса об этих «злых эльфах», «маленьких бесах». Мы узнали *тогный вид* и *объем* их: а действие их оказалось даже злее и всеобъемлющее, чем говорили всякие «мифы». Переходим к *прошению* за родильниц. Удивительно, что *семейные* священники (редакторы «Правосл.-Русск. Слова»), которые и сами рожают, которые имеют *супруг*, не выказали никакой чуткости, никакой деликатности в этом вопросе. Они сравнили (в № 1 журнала, появившегося года два назад) роды женщины с... лихорадкою, тифом, ломотою, чахоткою, ревматизмом и посмеялись, что «если уже за родильниц молиться, то и за чахоточных, и за ревматиков: тогда что выйдет из эктении и литургии?» Но вот наставление, прописанное им ученым *монахом*:

«В нашей периодической литературе в последнее время стали раздаваться голоса, что св. церковь, чрез таинство брака освящающая совместную христианскую жизнь супругов, должна внести молитву при богослужении за „плодоносящих“ и „рождающих“ матерей. Несогласные с таким мнением говорят, что при допущении такой молитвы следовало бы молиться в церкви за чахоточных, ревматиков и др.

На самом деле в христианском браке, цель которого заключается преимущественно, при выполнении земного поприща, в чистом нравственном сожитии, в благословенном рождении и по закону Господню воспитании детей, одну из важных сторон занимает материнство. В благочестивой семье мать детей — это, по своему смыслу, великое слово: „ее святое назначение наш гений из плен принять, направить душу поколенья, отчизне граждан (*гленов церкви*) даровать“. „Сколько горьких слез украдкой“, по словам поэта, матери приходится проливать над колыбелью любимого малютки. „Одне я в мире подсмотрел, — говорит Некрасов, — святые, искренние слезы: то слезы бедных матерей“, при известии о смерти детей их на войне. „Родная матушка плачет, что река течет“ (народн. п.). Мать, истинная мать, есть первая на земле заступница детей своих после Бога Вышняго и Святых его: „*Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына трева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя*“ (Исаии 49, 15), говорит Господь Бог. „Стара“ мать Остапа и Андрея всю ночь целиком, последнюю ночь, одна, сидит у изголовья детей своих, заливаясь горячими слезами, и думает думашку, что больше уже не увидит милых сердцу ее детей. Какую великою радостью радуется „родившая“ (сравн. Еванг. Иоанн. 16, 21) и как невыразимо радостно „плодоносящая“ передает своей подружке весть: (младенец) „взыграл“ (сравн. Еванг. Лук. 2, 41), „поворошился“. Когда прапраматерь наша *Ева родила Каина*, то *радостно сказала*: „*приобрела я человека от Господа*“ (Быт. 4, 1).

В священном Писании живыми, картинно-яркими чертами изображается пребывание младенца в материнском лоне. *„И я в утробе матерней образовался в плоть в десятимесячное время, сушившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном“* (Премудр. Солом. 7, 2); *„Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в греве матери моей... Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы... Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было“* (Псал. 138, 13, 15–16). Соломония, мать семи братьев-мучеников Маккавеев, при виде казни сыновей, говорила им: *Я не знаю, как вы явились во греве моем; не я дала вам дыхание и жизнь; не мною образовался состав каждого. Итак Творец мира, Который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за Его законы* (2 Маккав. 7, 22, 23). Женщина *грез гадородие* может даже *полугитть спасение, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием* (Тим. 2, 15). Вот какое значение имеет материнство вообще и „плодоношение“ матерей в особенности. Из всего этого нельзя не видеть, что мысль о молитве за „плодоносящих“ и „рождающих“ матерей согласна с богооткровенным учением, и молитва за них и по существу, и по внутреннему своему смыслу и значимости, и по своей серьезной важности для дела „Царствия Божия на земле“ далеко не равносильна молитве за чахоточных, больных и т. под. Ставить материнскую болезнь рождения с болезнями обычными — значит или не понимать сущности дела, или смеяться над матерями» («Молитвы св. церкви о жене-родительнице», архимандрита Мефодия Великанова, в «Православном Путеводителе», май 1904 г.).

* * *

Весьма интересны рассуждения проф. Н. Заозерского: «К тревожному вопросу о браке и детстве» в двух книжках «Душеполезного чтения», обсуждающие прения на эту тему в пяти заседаниях «Религиозно-философских собраний», напечатанных в «Н. Пути». Они вызывали бы длинный спор. За невозможностью его, ограничусь одним. Автор здесь, как и во всех своих о браке статьях, долбит: «VII». Надо читать: «седьмая заповедь». Он воображает, что если «VII» *знагится и исполняется, и предписывается* 1) в монастыре и 2) в семейном доме, то через это становится:

Монастырь = семье.

Он пишет наивно, упрекая представителей духовенства и духовной науки на собраниях:

«Специалистам Богословам (с большой буквы у автора: точно это — орден духовный, или — регалия) мы должны поставить на вид то, что они со всею ясностью не опровергли мысли своего главного противника (? В. Р.) В. Розанова, будто между Ветхим и Новым Заветами существовало отношение противоположности, будто один Завет отрицает другой, — именно по вопросу об исполнении заповеди Божией: *раститесь и множитесь*. Ведь г. Розанов прожужжал всем уши, проповедуя эту мысль. На собраниях Религиозно-философского общества не только не обсуждена и не осуждена была эта мысль, но как будто даже безмолвно разделялась богословами. Им не стоило никакого труда указать на то, что г. Розанов, защищая *эту заповедь, разоряет* в то же время две другие ветхозаветные заповеди: *„не прелюбодействуй“* и *„не пожелай жены искреннего твоего“*. Этот грех г. Розанова перед Ветхим Заветом послужил основанием для его собственной теории

„поклонения полу“ — языческой по существу, как и выразил это ясно г. Мережковский, — но задрапированной, так сказать, покровом заповеди Божией: *раститесь и множитесь*. По теории этой выходит: каждый блуди и прелюбодействуй, ибо-де в этом не только нет греха, но одна добродетель, исполнение заповеди божией.

Нужно было со всех ясностью и силой раскрыть этот грех г. Розанова против Ветхого Завета.

Второй еще более тяжкий грех г. Розанова против Нового Завета и церкви не только не был богословами поставлен на вид, но даже как будто был покрыт согласием. Этот грех в следующем: г. Розанов прожужжал уши проповедью о том, что Новый Завет и церковь будто бы презрели заповедь: *раститесь и множитесь*, и проповедуют смерть вместо жизни. 10

Как же было не поставить на вид этого ужасного греха и не утвердив почвы, не поставив, так сказать, г. Розанова на истинный путь, решаться рассуждать с ним о новозаветном учении о браке» («Душеполезное чтение», стр. 364—365) *.

* Выше несколько, на стр. 363, г. Н. Заозерский сам говорит, ссылаясь на «прекрасный реферат Н. М. Минского», следующею цитатою из него: «Все выслушанные нами до сих пор нападки на церковный идеал девства представляться в сущности полное повторение доводов, цитат, которыми в свое время реформация ополчилась на монашеский идеал в католичестве. Реформация победила, устроила жизнь на основах семьи и общественности, заложила рогаткой путь аскетизма. Но если бы реформация была права и в этом отношении, — как во многих других была права, — если бы идеал девства был извращением природы, то ложь, однажды изобличенная, уже не возникла бы в том же сознании. И наоборот: если идеал девства имманентен человеческой природе, то изгнанный из религиозной сферы он необходимо должен был возникнуть в другой области. На этот вопрос история отвечает с осязательною определенностью. Именно в протестантстве идеал отречения с необычайной силой возник, вспыхнул в философском пессимизме, в тех учениях, которые, в отличие от других философских систем, не заплесневели в кабинетах профессоров, а вышли на улицу, овладели фантазией толпы, изменили лицо земли... Благодушная односторонность реформации привела к односторонности пессимизма, к отрицанию общественности, к отчаянию. Замечательно, что великий враг христианства, Ницше, разошедшийся с Шопенгауэром во всех пунктах, однако в культе целомудрия остался ему верен. „Никогда еще, — восклицает Заратустра, — не встречал я женщины, от которой хотелось бы мне иметь детей; пусть же будет Вечность тою женщиною, которую люблю я, ибо люблю тебя, о Вечность“. Природа, прогнанная в дверь христианства, вернулась в окно буддизма (т. е. идей Шопенгауэра, внесшего в Германию буддизм); прогнанная оттуда (т. е. когда пала философия Шопенгауэра), она проникает сквозь щель ницшеанства, и так без конца». Это — в цитате профессора Н. Заозерского, который в другом месте той же статьи жалуется, что «не официальные богословы, а поэт-философ Н. М. Минский дал отпор Розанову». Хорошо. Так уж наверно же г. Н. Заозерский согласен с г. Минским (иначе зачем приводит цитату?), который, говоря, что «идеал девства, идеал аскетизма» тождествен и имеет один психологический корень с «пессимизмом», «философией Шопенгауэра», «буддизмом», «ницшеанством», «с отрицанием общественности» и «отчаянием», — что же иное говорит, чем я? Но мне этот идеал не нравится, а Минскому и Заозерскому нравится. Разница между нами во вкусах, но в диагнозе разницы нет. И, стало быть, г. Заозерский вместе со мною «страдает ужасным грехом обвинения христианства в пессимизме». Тогда как Ветхий Завет, не потрясши корня многоплодия, естественно не был доступен и пессимизму. Через детей и жен он был соединен со всею землею, и был погружен в подробности, в любовь к конкретному, тогда как Ницше и Шопенгауэр характерные пустынные. 20 30 40

Ах, богослов, богослов! Есть у меня старые часы, со сломавшимся механизмом и почти стертым циферблатом: последние две цифры, XI и XII, на нем стерлись. Неужели же, придя ко мне, богослов сказал бы: «Это — изображение скрижалей Моисея. Ибо в храмах, на соответствующем месте стены или свода, мы зрим:

10	V	
	I	VI
	II	VII
	III	VIII
	IV	IX
	X	

А у вас то же изображено, только не вертикально, а в ряд и по ободку:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Из чего ясно, что у вас — то же изображение, что и в церквах, лишь иначе написано; т. е., что *циферблат* = *скрижалям*».

Не понимаю, как это он экзаменует студентов и как студенты его не собьют в науке. «VII заповедь есть в монастыре и семье: ведь монастырь не отличается от семьи»; «как подобно этому и Ветхий Завет в отношении заповеди: *раститесь и множитесь* говорит, имея VII и X заповеди, то же, что и каноническое право».

²⁰ Ах, профессор! Стыдно, профессор! Да если Иаков, имевший двух жен, да еще родных сестер, за собою замужем, к этому «приложил» и двух наложниц (Валлу и Зелфу), то неужели же «раститесь и множитесь», которое он *знал*, как и я, и ему это *позволено* было, как и мне, — неужели он и я — *патриарх* и (в случае двоеженства) *каторжник* — живем «под тем же самым законом и заповедью»? Не очевидно ли, что имеет значение, *соединяющее* и *противопологающее*, не «VII», а то, что мы очертим циркулем, положим означенным цифрою VII, и что внутри кружка начертанного *напишем*. В Ветхом Завете:

1) Детоубийства не было.

2) Девушки и вдовы рождали, никого не спрашиваясь.

³⁰ 3) В близком родстве (двоюродные, дяди и племянницы) женились.

И, что особенно убедительно, особенно для медленных мышлением, ибо тут *очевидность* разницы выражена арифметически:

4) Женились не три, а сколько угодно раз.

5) Одновременно имели не одну, а двух, трех и до четырех (Иаков) жен.

6) А в *священной* книге Ветхого Завета говорится, как о живом и наличном, при том *не порицаемом факте* — о супружестве Соломона (дивился же я, прочтя эту цитату в ученом и одушевленном комментарии Георгия Властова «Святая летопись» и проч., — дивился, что комментатор не дивится цитате):

⁴⁰ «Есть шестьдесят цариц, и восемьдесят наложниц, и девиц без числа» (*Песнь песней*, гл. VI, ст. 8).

И при том Соломон, творец нескольких *канонических священных книг*, вызывал к себе то же приблизительно отношение в Ветхом Завете, каким мы окружаем Василия Великого (давшего правила брака). Соломон и Василий Великий! Толпы жен и наложниц (за то, что он из *идолопоклонниц* их брал, летописная «Книга царств» его упрекает; но за *число* их — упрека нет, это — поразительно!

это — точно! и ни один из *пророков* израильских память царя этого не упрекнул за сластолюбие!); так, толпы жен и наложниц, и — монахи! Да, но для обоих было:

VII

и проф. Заозерский успокаивается. Удивительно! Удивительно, как такие наивные люди могут преподавать в духовных академиях. И без всякого *внутреннего* чувства ответственности перед слушателями. Или «попу наука не нужна, лишь бы долбил»? Напрасно. Слушатели могут быть очень зоркие; могут быть насмешливые.

* * *

После полемики — немножко отдыха. Это, пожалуй, та же полемика, направленная в сторону г. Стародума из «Русск. Вестн.», предложившего за статьи об «Юдаизме» меня «колесовать и четвертовать», или, менее картинно и более дословно, нарекшего меня «духовным проходимцем», «эротоманом» и еще чем-то. Бедный — он ничему не учился, как пр. Заозерский ни о чем не размышлял. Мирно держал он стремя у Комарова, когда тот садился в седло, и светлил шпоры суконкой. Потом барин позвал его из кухни в критику и предоставил отдел журнала: «Можешь за Белинского»? — «Могу». «И за Гейнце можешь?» — «Могу-с». — Вот почему Гейнце-Белинскому, в ответ на его: «колесовать», я приведу письмо *старого* священника, которому я ответил закрытым письмом, но, по не-
 прописанию *губернии* на адресе, и по *трем* в России почтовым пунктам с тем же
 именем, письмо я получил обратно. Между тем я так тронут милым и приветли-
 вым словом незнакомого батюшки, что принимаю на себя смелость ответить ему
 через журнал, очевидно, им читаемый. Вот это письмо:

«Милостивый государь! Вы в корень смотрите нашей жизни. Христианство право-
 славное (тут, конечно, не о нем говорится в целом, чистом, святом, а о течениях в нем,
 выражаемых такими богословами, как оо. Дернов и Лахотский или профессора Гусев
 и Заозерский. — В. Р.) в культурный рост нашего отечества вносит, свою в некоторых от-
 ношениях непригодностью (напр., в отношении семьи в законодательном и су-
 дебном, а также и в молитвенном отношении; см. выше рассуждение арх. Мефодия) не-
 которые невыгоды. Помогите вам мудрость ваша (не изменяю слова, хотя оно выше
 предмета своего) выйти победителем в борьбе.

Знаете, один вопрос, чудной поэтической мелодии и несказанной прелести, держит
 в своей власти Христову любовь и истину в месте ее единственного и вечного прикосно-
 вения с жизнью: священник может быть женщиной! Великие, убедитесь! В этом путь
 приближения к Богу добра, счастья, лучезарного мира, Богу дружбы, Богу ненавидящему
 смерть.

Отъезжая из Петербурга, где временно по делам находился, увожу с собой одну ра-
 дость: прочел вас в „Новом Пути“. Сил, здоровья вам. Престар(елый) свящ. *Фирс С-ов.*

О вас молюсь у себя дома. Боже мой! какие события (письмо получено по городской
 петербургской почте в феврале, т. е. при начале войны с Японией). В добрый час. Господь
 не оставит нас».

В древней церкви были *диаконы*, позднее не сохранившиеся, но, очевидно,
 могущие быть восстановленными. Особенно они принимали на себя устройство

и заведывание делами милосердия в приходе. При Соломоновом храме постоянно жили женщины, напр. известная пророчица Анна, встретившая рожденного Спасителя. Храм вообще должен быть несколько жилым местом. Как прекрасен *монастырь*, со многими *жилищами* в нем, сравнительно с одиноким и точно *томящимся* в одиночестве обычным приходским, на улице или на площади, храмом. Проходя, по здешней лавре, с ее постройками середины XVIII века, столь не похожими на неинтересную архитектуру XIX века, видя расходящиеся и сходящиеся аллеи, обсаженные высокими деревьями, — всегда особенно любуешься то группами священников и монахов, медленно движущихся по аллеям, то проходящими через лавру (через дворы внутри ее) редкими фигурами женщин, иногда ведущих с собою мальчика или девочку. Священное, но не *пустое* место. В католических храмах, в Италии, я замечал, что внутренность храма соединена бывает, переходами или сенями, с жилищем священника: он выходит к литургии *откуда-то изнутри*, а не через наружную дверь с улицы. Храм воздвигнут из *камней*; прекрасны во дворе его *деревья* (часто у русских вокруг храма, во дворике при нем, деревья: не цветы, не луг, *не сад*, а как бы *нагало рощи*); прекраснее всего, конечно, человек; но недостает еще обители, всегда близких человеку, *домашних* животных. Это необходимо для *округленности* и полноты. Вспомним, в Апокалипсисе, видение Дома Божия на небесах: «и я увидел Престол... и вокруг него и на нем четырех животных, с лицом как бы орла, как бы тельца, как бы льва и как бы человеческим». В Соломоновом храме, т. е. в его ограде, были особые «овчие врата»: через них на храмовую гору прогонялись целые стада блеющих агнцев. Вид их невинности (кого не трогало *лигико* овечки — такое изумительно кроткое, точно воистину детское), — итак, говорю, вид невинности животных должен был располагать к созерцательности молившихся в храме. Это «вечерний звон» Ветхого Завета. Там были — конечно, в многочисленных внутренних дворах, отделениях храма — расположены четыре главных категории жертвенных животных: агнцы, тельцы и телицы, козлята и козочки, и голуби. Храм имел четыре печати, с изображениями на каждой из них по одному из этих жертвенных животных. Самые животные, целые их стада, с самого рождения невинные, не подлежащие труду и работе, никогда не обижаемые и не пугающиеся человека, располагались «гнездами» («о гнездах в храме» — целые главы в разных местах *Мишны*), т. е. они не жили *стадом*, *в куге*, и не жили *одиноко*, *единицами* в шатрах, а, вероятно, за крошечною изгородью жила голубиная, овечья, козья семья, семья тельцов. Но я возвращаюсь к «диакониссам». В Ветхом Завете были пророчицы («пророчица Анна», «пророчица Деворра» и другие, не называемые по имени). И у нас нечто есть подобное — «игуменья». Это также *сан*, принадлежащий *женщине*, *деве*. И церковь *in pleno* * была бы неполна без женских монастырей, без «матерей-игуменей». Замечательно название «мать», применяемое здесь к деве, народно, обычно, служебно. Конечно, если будущему суждено двигаться, христианство подвигнется особенно в семейную сторону. Это — полнота, это — закругление. «Мать-игуменья» у нас, «пророчица» в древности; а отчего для будущего нельзя помечтать о «матери-диакониссе»? Но — не ограничивая ее делами приходского милосердия (и *диаконы* в древности в службе не участвовали, а лишь в *хозяйственной приходской* службе), а и введя помощницею священника в храм? Уже теперь, церквах в двух в Петербурге, введены в хоры пев-

* в полном составе (*лат.*).

чих — девы. Мы знаем, что нередко певчий в храме носит *стихарь*. Вот наденьте на деву эту золотистую, серебристую, характерную церковную одежду, и вы уже имеете тень подступа к диакониссе в том виде, как она нам брезжится. Именно апостол настоял, что «в Господе Иисусе несть ни раб, ни свободь, ни эллин, ни иудей, *ни мужеск пол, ни женск*»: т. е. он указал мировое *единство и слияние*. В письме своем священник и пишет, что через женщину особенно привходит в мир *связь с жизнью, любовь, милосердие, нежность, деликатность*. Несомненно, введи церковь в литургийное служение и женщин, *обогати ими клир* — милосердие *приходское* полилось бы от церкви, от духовенства щедрейшим ключом. Самое служение храмовое стало бы сейчас же нежнее, глубже, мелодичнее. Может быть, оно стало бы и пышнее. Во всяком случае, как «четою», «гнездом» сотворил человека Бог, так четою он должен и восхвалять Его, благодарить Его. А эта благодарность льется, конечно, через молящихся, но еще непосредственнее *через служащих в храме*. Мы, впрочем, только набрасываем мысль, оставляя ей свободно двигаться в будущем.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

<Л. Андреев>

Новый рассказ г. Л. Андреева: «Жизнь Василия Фивейского», появившийся в сборнике товарищества «Знание» месяца три назад, обратил на себя горячее внимание многих читателей. Авторы, пишущие или могущие писать рассказы, получали (мы слышали) заказы от мелких издательских фирм: «Напишите нам рассказ, по-своему, но вроде как: „Жизнь Василия Фивейского“». Запросы чрезвычайно наивные, но хорошо выражающие силу произведенного впечатления и степень популярности нового рассказа. Действительно, он врезывается в память, как живой. А тема его, пусть и очень старая, хоть и остается по-прежнему без ответа, но мучает новым сладким мучением.

Где-где, а именно в России, в русском селе, даже именно в среде русского сельского духовенства должен был возникнуть рассказ этой темы и этой канвы. Канва эта — повторение истории Иова, но просто как параллель той, совершившейся некогда в Аравии, без всякого подражания, без всякой аллегоричности и попытки церковной поучительности. Автор, в начале рассказа, и вспоминает ту древнюю историю; но русские подробности, русские лица, русская обстановка — все до того захлестывает всяческие исторические воспоминания, что сравнение с Иовом едва мелькает у читателя, как и у автора, но сейчас же и забываешь параллелизм, подавленный просто русскою картиною, куском отрезанной русской действительности, которая бьется перед глазами и требует к себе безраздельного внимания без параллелей, без сравнений.

На долю Василия Фивейского (мне случилось знать, и именно сельского священника, точь-в-точь с этою фамилией, но очень благополучного), на долю этого русского сельского «попа» (так неизменно называет его автор) выпало никак не меньше, а в сущности даже больше несчастий, чем сколько навел их на Иова сатана, которому на время «предал душу праведника» Бог. Там было, во-первых,

исцеление, а во-вторых, и самая мука заключалась в своей болезни, да еще в быстрой, грозной потере детей и имущества. Таким образом, там черное пятно легло между светом и светом. Василий Фивейский не знал никакого света: на него легло «роковое» (термин автора) и давило его, в сущности высокую и нравственную личность, все большим и большим давлением, сперва до непереносимой душевной боли, наконец, до сумасшествия, потери веры и смерти. И все — в совершенно возможных, почти не исключительных контурах жизни русского села, русского сельского «попа». Порознь это самое, что скопилось над головою Фивейского, встретишь то там, то сям; встретишь, услышишь — и не удивишься. Утонул у него, купаясь, 7-летний сын, черненький и задумчивый мальчик; «матушка», безумно привязанная к сыну, затосковала глубокою сердечною тоскою, и чуть-чуть помешалась, и предалась запою. Все это родные картинки. До того привычные, что, хотя я едва знаю краешком жизнь духовенства, мне выпало знать и отца дьякона, сын которого утонул на глазах отца, купаясь вместе с ним (говорят, от разрыва сердца: мальчик очень долго купался, и окунувшись — не поднялся; отец мертвым вынес его на берег); знал и пьющую запоем «матушку» из благополучного и нравственного семейства, притом почти мудрого священника. Все, одним словом, у Л. Андреева свое, родное, не выдуманное. И дальше все вероятное, правдоподобное. Попадья мучится желанием воскресить утонувшего Васю: но, уже душевнобольная, рождает идиота, чудовищного, пугающего видом и нравом. Была еще дочка у них, Настя: она — точно тень в семье, не замечаемая (все заняты своей мукой), но, пожалуй, еще худший, чем брат ее, уродец. С детства она вывертывала руки у кукол и подолгу секла их крапивой. Ее злые, молчаливые глаза только пугают всех дома. Вся больная привязанность к «черненькому Васе» оттого и возникла у отца и матери, что он стоял один оазисом и надеждою в черном, мрачном, западающем доме отца Василия. Дальше что же? Няньча идиота, и сестра Настя вдруг начинает копировать его, копировать перед зеркалом его лицо и жесты. В сущности, она растет в пустоте. Она и он: и из двух существ одно остается недвижно в своей бессмысленной природе, а другое, еще живое и сознательное, может быть по закону дарвиновской зоологической «подражательности», начинает уподобляться ему. Мать, заметив гримасы дочери перед зеркалом, с испугом выбежала в морозные сени и не смела войти в дом до возвращения мужа. Тот приходит. Происходит мучительный, краткий разговор отца с девочкой:

— Да, мне нравится лицо братца. Он ест тараканов — я ему дала их целый десяток. Отчего вы его не убьете, ведь он идиот? И маму надо убить: она пьет.

С мукой поднял отец на руки дочь и тащит в другую комнату, в спальню, что ли, и шепчет ей через плечо:

— Жалей маму!

И действительно, из всех лиц, выведенных г. Л. Андреевым, на «матушку» пала самая скорбная тень.

— Эту пьяницу совсем бы в церковь пускать не следовало. Стыд! Это проговорил, настолько громко, чтобы она слышала, церковный староста Иван Порфирыч, фигура характерная и сильная, которая хорошо оттеняет гибнущего «попа» и своим двухэтажным домом, и вечной трезвостью, и во всем удачею, и полною душевною деревянностью. Это ему заметил о. дьякон об Иове, и что о. Василия пожалеть надо. Но тот ответил:

— Нечего рассказывать. И сами знаем. Так то Иов, праведник, святой человек, а это кто? Какая у него праведность? Ты, дьякон, лучше другое вспомни: Бог шельму метит. Тоже не без ума пословица складена.

И он перестал подходить под благословение своего «попа».

Тонкою акварельною кистью г. Л. Андреев провел бледные и прекрасные нити, связывающие две эти души, матушки Анастасии и батюшки Василия. Эта часть живописи в рассказе, пожалуй, самая лучшая, хотя она не так выпукло бьет в глаза. Оба они — нервные и чуткие души; даровиты сельской тихой даровитостью. Любили ли они друг друга, т. е. были ли когда-нибудь влюблены? Об этом ничего не сказано, этого ни из чего не видно. Оба до того несчастны, что вопрос о «любви» как-то и не смеет прокрасться сюда. Скорее обычною «поповскою судьбою» они были поставлены друг около друга, торопливо, едва зная один другого, без выбора, в те 2—3 месяца, какие бывают оставлены кончившему семинаристу «для женитьбы» перед посвящением. Но, чуткие и нежные, и уже оба с задатками душевной болезни, они быстро почуяли друг друга и сиротливо прижались один к другому, с предчувствием гибели. Обыкновенного мужского и обыкновенного женского нет у них или оно выражено чрезвычайно слабо, как и вообще у духовенства; все заливается здесь общечеловеческим; заливается высоким долгом службы, значительностью сана, простым указом торопливого, не думая, материнства. На почве этой обстановки вырастают изредка холодные (я знавал — лютые) драмы, но большей частью улаживается «как-нибудь»; реже, очень редко поднимаются нервным вздохом две жалующиеся судьбы. И когда обе стороны благородны, они бросаются друг другу в объятия и замирают крепко, как это и вышло у Василия Фивейского и его матушки Анастасии. Мешаться она начала с того яркого солнечного полудня, когда принесли на огород ее мертвого мальчика, и она видела, как тельце его перекатывалось в простыне («откачивали»). Блеск реки и солнце в полудне — и его трупик, все это поразило ее испугом, и стало перед нею точкой, дальше которой не пошла ее жизнь, не двинулась душа. И как только подымается солнце к зениту, ярче день, ярче зелень, тоскует мать, тоскливее припоминает ту последнюю в ее жизни точку, и забивается в темную комнату, и чтобы еще довершить в воображении яркость представления о том, как захлебывается водою ее сын, она напивалась в этой темноте до пьяна. Все знакомые картины, все родная судьба. У священника — все же служба; у него — семинарская выучка, и хоть возможное, облегчающее, утешающее сравнение с Иовом. У матушки — совсем ничего. У нее — все в факте; идей нет, идеи невозможны. Она глуше стучается в стену (несчастья), самый полет до стены короче. И она мешается раньше мужа. Но и она знала искушения надежды. Первый раз это случилось, когда после мучительного и неотступного решения иметь еще сына — она стала в самом деле беременною. Безумие как бы временно оставило ее, она успокоилась и вся засияла счастьем. Неся вперед округлившийся живот, она гордо проходила в церкви перед старостою. Дома оставила тяжелую работу, сберегая себя. А летом на целый день уходила в лес искать грибы, — и все по грибам загадывала о будущих родах, которых несколько боялась. И все кончилось таким неслыханным несчастьем, хуже — чем если бы она родила мертвого или чем если бы, родив живого и разумного, она с надеждой, с будущностью — умерла в родах. И вот, силы обоих подкосились. О. Фивей-

ский, — это было раннею весною, — долго бродил где-то, бродил по полю, без дорог, как это случилось с ним, и вернулся домой угрюмый, мокрый, в грязи.

«В доме готовились к Пасхе и попадья была занята, но, прибегая на минуточку из кухни, она каждый раз с тревогой смотрела на мужа. И веселой она старалась казаться, а скрывала тревогу...

А ночью, когда по обыкновению она пришла на цыпочках и, трижды перекрестив изголовье, хотела уходить, ее остановил тихий и испуганный голос, не похожий на голос сурового о. Василия.

— Настя! Я не могу идти в церковь.

10 В голосе был ужас и что-то детское и молящее. Как будто так огромно было несчастье, что нельзя уже и не нужно было одеваться гордостью и скользкими лживыми словами, за которыми прячут люди свои чувства. Попадья встала на колени у постели мужа и взглянула ему в лицо; при слабом синеватом свете лампы оно казалось бледным, как у мертвеца, и неподвижным, — и черные глаза одни косились на нее; и лежал он навзничь, как тяжело больной, или ребенок, которого напугал страшный сон и он не смеет пошевелиться.

— Молись, Вася, — прошептала попадья, глядя его холодные руки, сложенные на груди, как у покойника.

— Не могу. Мне страшно. Зажги огонь, Настя».

20 Долго ходил он среди огней, которые велел все зажигать больше и больше. Жена с тоскою поняла, правда — на мгновение, что он одинок, что ни она, ни все добрые люди, если б они сошлись со всего света и говорили ему всяческие слова любви и утешения — не вызвали бы его из этого особенного одиночества.

«— Вася!

— Завтра поговорим. Ну, ступай к себе. Нужно ложиться.

Умоляюще смотрела она на него. Он погладил ее, как ребенка, по голове.

— Так-то, попадья. — И улыбнулся. А лицо было так же мертвенно и страшно.

Наутро о. Василий объявил жене: он снимает с себя сан и осенью, собравши денег, они уедут — далеко, еще не знаю куда. А идиот останется: он будет отдан на воспитание.

30 И попадья плакала и смеялась, и в первый раз после рождения идиота поцеловала мужа в губы — краснея и смущаясь».

Есть мистика местоположения, просто — географического места. Переехал в данный город — и все стало черно. Переехал в другой — вдруг посветлела жизнь. Позвольте, вы верите же в «счастливую картину», в «удачный день» и «неудачный день»? Отчего это не перенести на местности? Когда удар за ударом постигает человека в том же положении, месте, с одними и теми же людьми, в привычной обстановке, годами сросшейся с ним — единственное средство вырваться из этой цепи несчастья — действительно, сняться с места и уехать. Дает ли новое окружающее новые источники жить, обновляется ли душа просто при виде других лиц, местности, вещей, но только действительно с переездом начинается что-то новое; и когда прежде было чрезвычайно несчастное, это «новое» кажется или есть на самом деле лучшее и не только индивидуумы, но цари и царства «меняли местности», напр., Киев на Владимир, Рим на Константинополь. «Там будет новое! Там другая заря!». И действительно она наступала.

Оба Фивейские ожили при одной этой мысли о перемене. Не было ничего впереди. И вдруг «что-то». И матушка стала спокойнее, тверже, дни запыля реже возвращались и были короче. Шло уже лето. Работал он на поле; а работал он в длинной рубаше, как мужики, и на одной линии с мужиками. Работа спорилась, когда звякнул колокол в селе в неурочный час. Оглянулся он на село и видит: на месте, где стоял его маленький, приплюснутый домик — стоит столб дыма. Сбросив с телеги снопы, поскакал он к дому, и уже сердце его заранее сказало, и отчего случился пожар, и что случилось во время пожара. Идиота вытащили, Настя выбежала, а попадью, в темной комнатке которой и загорелось, верно от спички (она была «больна» в этот день привычной своей болезнью), всю обгорелую вытащили вон. Он прошел прямо в дом дьякона, где лежала она. Глухо стонущая масса и огромный белый пузырь, в который превратилось ее когда-то знакомое и дорогое лицо, — вот что он видел перед собою.

«Разошлись все, тоскуя и плача, и унесли заснувшего идиота. Один о. Василий остался с умирающей — на всю короткую летнюю ночь, в приход которой не верила попадьа. Он сел на колени и, положив голову возле умирающей, обоняя легкий и страшный запах горелого мяса, заплакал тихими и обильными слезами нестерпимой жалости. Он плакал о ней, молодой и красивой, доверчиво ждущей радостей и ласк; о ней, потерявшей сына; о ней, безумной и жалкой, обьятой страхом, гонимой призраками; он плакал о ней, которая ждала его в летние сумерки, покорная и светлая. Это ее тело, необласканное, нежное тело пожирал огонь, и оно так пахнет. Что она, кричала? билась? звала мужа?»...

Тут в бедного сельского попа, доселе странного только, нелюбимого и не сколько пугавшего людей, привходит первое помешательство. Ничем оно не выразилось, кроме странного притока экзальтации. Так в древние времена Руси, от которых не дошло до нас цельных биографий, да и народу, конечно, не видна она вся, как видна творящему романисту, а только ее частица, остаток или середочка, — так, говорим мы, в эти древние русские времена из «попа Василия Фивейского» мог возникнуть образ подвижника, святого. Ему осталась только молитва и он ушел весь в молитву. В сельских церквах служба бывает только по воскресеньям, но он начал отправлять раннюю службу ежедневно. Пришла зима, и служба эта начиналась еще задолго до света и вся происходила как бы ночью. Дьякон отказался ему сослужить, и приходит в церковь только псаломщик, который и понимал, что о. Василий несколько нездоров, и был увлечен, однако, его энтузиазмом, и сожалел его общечеловеческим сожалением. Они входили в холодную церковь. Долго отогревались. Зажигали два огарка восковых свечей, и начиналась служба, фантастическая и таинственная по своей исключительности. Дочь Настю о. Василий отправил к сестре. Что касается до идиота, он его оставил с собою.

«— Чтобы я людям свой грех подкинул? Нет. Мой грех, со мною ему и быть надлежит. И они остались вдвоем в недоделанном доме, с двумя некрашеными табуретами, почти не отопляемом, при глухой кухарке.

— Важно заживем мы с тобой, Василий.

Идиот облизнул губы длинным, как у животного, языком и загугукал прыгающими однообразными и громкими звуками:

— Гу-гу! Гу-гу!».

Начинается фантастическая, болезненная, надорванная жизнь вдвоем. О. Василий читает Евангелие, читает уже не так, как мы, а с силой человека, для которого воистину Евангелие и пришло на землю. Он читает идиоту об исцелении слепорожденного:

«Я свет миру». Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: „пойди, умойся в купальне Силоам“. Он пошел и умылся и вернулся зрячим.

— Зрячим, Вася, зрячим! — и, сорвавшись с места, быстро заходил по комнате. Потом остановился посреди ее и возопил:

10 — Верую, Господи! Верую!

— Гу-гу-гу! Гу-гу-гу, — хохотал идиот. Рот его раскрылся до ушей, животный, отвратительный».

Уже немного оставалось о. Василию терпеть. Превосходно набросана г. Л. Андреевым картина, как в селе зарождается необъяснимо откуда взявшаяся тревога, что «быть беде»; и первый ее почувал своим здоровенным чувством староста. Все чего-то ждут. Беда разрешается уже почти без внешнего повода, без какого-либо нового толчка, перенесенного о. Василием. В сущности она исходит от излишества веры. Все мы верим «так себе»; но о. Фивейскому вера по-настоящему была нужна, и он по-настоящему верил. Хоронили случайно погибшего крестьянина Семена; вдова и двое детей стояли около гроба. О. Василий вздумал воскресить его. Помешательство это? Вера? «Излишество веры», как мы сказали? Но слово наше не заключает ли в себе пошлого, слабого скептицизма, а в о. Василии его не было. Итак, он был прав на путях своих, поверив, что «если горам скажете: двиньтесь — они двинутся». Но мертвый не воскрес. Следует страшная сцена последнего, уже окончательного сумасшествия и смерти «попа Василия», который, распугав народ и выбежав из церкви, разбился о придорожные камни.

Так окончилась «Жизнь Василия Фивейского». Что мы о ней скажем? Что скажем о самом рассказе? Автор задал много тем, и есть что сказать о самом художестве его, технике работы. Мы отложим рассуждение о последней, которая в сущности теряется в значительности перед темой, очевидно завладевшей и автором. Дано страдание. У Достоевского, в его знаменитых «надрывах» в «Братьях Карамазовых», в фигуре Илюшечки, да и раньше в судьбе Нелли и ее матери («Униженные и оскорбленные») и наконец исходным образом еще в семье троих Раскольниковых дана эта же тема: страдание. Право, иногда подумаешь, точно Россия хочет выработать новую религию, «религию жалости», что ли: так часты эти темы в ней, так навязчиво преследуют высокие русские умы. Рисунок г. Л. Андреева, однако, не носит в себе никакой подражательности или даже зависимости от Достоевского. Здесь совсем другая обстановка, иная живопись, — и только тема та же. Но тема эта была и у творца «Книги Иова», т. е. она всемирна и принадлежит человечеству, а не человеку. Достоевский давал (в Нелли, в Илюшечке) точно щипок боли, а не ее историю. Л. Андреев дал именно историю, без нажимов, тягучую, органическую. «Иово страдание» он в сущности выразил через краски почти естественно-исторические, нарисовав эту самую всемирную боль в обстановке захудания, сословного, местного, бытового, экономического, а главное — в картине нервного и физиологического истощения природы, «вырождения». О. Василий от начала бессилен. Страдание им не может забыться,

и «всеисцеляющее время» для него не есть лекарство. Раны его только раскрываются, но не закрываются. И всякое новое несчастье есть шаг к гробу, а не перемена пути, как у других, как у многих. Он был страшно одинок. Автор мастерски выбрал для темы своей соответственное лицо. Мужик, мещанин, торговец, помещик, чиновник, офицер — все они имеют «ближних», на плечи которых распространяется часть боли, на них падающей; все они имеют товарищество, друзей, сослуживцев, — как и возможность двинуться туда или сюда. Но русский сельский «поп» умирает на месте, на котором его посадили (исключения очень редки и всегда болезненны). Вокруг него — деревня, дьякон и псаломщик: т. е. круг людей его просвещения, интересов, горизонта сужен бесконечно. А «попы» сельские несут в себе не только всю силу веры, но и бывают во всех смыслах весьма и весьма не «темны». Он живет, пашет, хозяйничает, как мужик, но он вовсе не мужик. Двенадцать лет школы в сущности чрезвычайно разобщили его идейно с деревней, селом. Школа? учение? проповедь, назидание? Да, он это и дает все, но где же здесь отношение равного с равным, где соотношение одной волнующейся духовной атмосферы? Мученики, — но ведь те шли именно толпой, товариществом: именно эта-то почва силы и ободрения и вынута из-под «попа». За пределами села для него начинается только иерархия высших властей, т. е. во всяком случае не товарищеских: начинается зависимость, ответственность и испуг. Положение священника в селе можно сравнить с положением сторожа на маяке: он производит свет, нужный кораблям; священник производит свет, нужный стране, отечеству. Но одинок он почти как сторож на маяке, среди волн вечного одинакового моря, монотонного, монотонно-шумящего. Но сторож может отказать от своей службы. Сельский священник умирает там, где начал служить, и это он знает и никогда уже не заглядывает за горизонт.

Если назревает «религия жалости», то должна она ответно позвать не одни холодные сожаления, а помощь. Жалкое — это всегда побежденное. И надо искать победы. «Религия жалости», раз она выразилась как тезис, как картина и констатирование действительности, требует как непременно дополнения себя «религии энергии». Скажем ли мы «религия», «философия», это уже будут степени, а направление одно. Неужели Василий Фивейский есть решительно гибнущее существо, без света для него и помощи, как «Иов во власти сатаны»? Мне думается, «сатана» нашей жизни заключается именно в чрезвычайной разобщенности русских людей, в глубочайшей их индивидуализации, сперва социальной, а затем уже и психической. У г. Л. Андреева хорошо отмечено одиночество его «сюжетов»; да и у Достоевского — Раскольниковы, Нелли с матерью, и решительно все другие страдающие люди — суть глубокие одиночки, без единой руки, держащей их руку. В этом вся и загадка. В сущности, такие масштабы, как «Россия», «Отечество» — совсем несоизмеримы с Акакием Акакиевичем, Макаром Девушкиным, «Родею Раскольниковым», выгнанным из службы капитаном (отец Илюшечки). Это — как «небо» над всеми людьми. Ну, что мне «небо» или что «небу» до меня: осветит солнцем — но не непременно меня; убьет громом, но тоже потому, что попался. Равному нужно равное — вот великая идея «товарищества» *terre-à-terre**: это и есть идея, поборающая «сатану» нашей жизни, который держит в когтях все слабое, безвольное, все пассивное, и вместе прекрасное и тонкое душою. Замечательно, что в мире нашей «старой веры», как и разнооб-

* сугубо практического (*фр.*).

разного сектантства, которые обнимают собой миллионы людей, вовсе не видно и не слышно об этих типах индивидуального захудания и гибели; что вот несчастье — и сломился человек; погибли дети, погубила жена — и погиб сам. Их держит община, не большая, но теплая внутри. Община — что шуба; как семья — это рубашка. Без них человек — наг, гол; и малейшая стихия губит его. Во многих ли семьях не умирали дети? Разве очень большая редкость рождение слабоумного? Мне известен случай, где дифтерит, осложненный скарлатиной, выполол половину многочисленной семьи; известен другой случай, где двое детей сгорели в даче, при спасшихся отце и матери. Какие воспоминания! Возможно ли после этого жить? Оказывается — возможно; хотя жизнь грустна, хила, уже не может биться радостью. Итак, о. Василий погиб, потому что и от начала он не был богат силами, и что «рубашку» он имел на себе, а вот «шубы» около него не выработала история. И среди цивилизованного государства, 1000 лет спустя после «Рюрика, Синеуса и Трувора» он умер жалко, как где-нибудь в «Голодной степи» около Аральского озера. Он — светил, а ему — не светили.

НОВОЕ ИЗ ПРОШЛОГО гр. Л. Н. ТОЛСТОГО

31 марта этого года скончалась графиня Ал. Ан. Толстая, воспитательница единственной дочери Императора Александра II, Марии Александровны, и вместе родная тетка и интимный друг Л. Н. Толстого. Г-н Ив. Захарьин (Якунин) воспользовался богатым материалом личных воспоминаний, писем и автобиографических записок покойной, и в статье своей, посвященной ее памяти («Вестн. Евр.», июнь), сообщает очень много любопытных данных о нашем великом писателе, и некоторые из его писем.

Переписка между покойной А. А. и гр. Толстым, — пишет г. Захарьин, — продолжалась почти сорок лет. В ней были антракты и перерывы, происходившие иногда от случайных причин, а иногда и от охлаждений между ними — по большей части непродолжительных. Еще в 1865 году, три года спустя после женитьбы, гр. Л. Н. Толстой писал графине А. А., между прочим следующее: «Я — счастливый муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желанья, кроме того, чтобы все шло по-прежнему. Вас я люблю меньше, чем прежде, но все-таки достаточно для того, чтобы вы не оставляли меня, — все-таки больше всех людей (а как их много было!), с которыми я встречался в жизни». Позже и по другому поводу Л. Н. писал графине: «Хотя мы и воображаем, что сердимся друг на друга, но я знаю, что мы не перестанем любить друг друга, — и чувствую это за себя». Писано это было уже в 1886 г., а в письме, написанном годом ранее, именно в 1885 году, можно было ясно видеть и причину, из-за чего эти близкие между собою люди могли «сердиться» друг на друга: «Надеюсь, — писал Л. Н., — что вам не неприятно будет возобновление общения со мной. Только, пожалуйста, не обращайтесь в христианскую веру. Я думаю, у вас много друзей необращенных, или „оглашенных“, — причислите меня к ним по-старому»... Но графиня, будучи очень религиозной женщиной и глубоко верующей, не воздержалась все-таки, чтобы не попытаться «обратить» своего друга и родственника, — и эта попытка, сделанная ею в 1897 году, в последний приезд Л. Н. Толстого в Петербург, и послужила поводом к окончательному разрыву.

Из рассказов графини о Л. Н. Толстом г. Захарьин приводит между прочим следующий, относящийся к пребыванию их обоих за границей в 1856 году.

Мы переехали во Франкфурт. Однажды у меня в гостях сидел принц Александр Гессенский с супругой. Вдруг, отворяется дверь гостиной и появляется Л. Н. в самом странном костюме, напоминающем те, в которых изображают на картинах испанских разбойников. Я так и ахнула от изумления... Л. Н. остался видимо недоволен моими гостями и в скорости ушел.

— Qui est done ce singulier personnage? — спросили мои гости с удивлением.

— Mais c'est Léon Tolstoy.

— Ah, mon Dieu, pourquoi ne l'avez-vous pas nommé? Après avoir lu ses admirables écrits nous mourrions d'envie de le voir *, — упрекнули они меня.

Уже и в это время его литературная известность была прочно установлена, благодаря главным образом конечно, его «Детству и отрочеству» и его «Севастопольским рассказам», появившимся тогда же на немецком и французском языках.

Десять лет спустя, в 1866 году, Лев Николаевич сильно заинтересовал однажды, как писатель, и наших великих князей... Это произошло в подмосковном царском имении Ильинском, где летом того года жила семья императора Александра Александровича: там же, при своей воспитаннице великой княжне Марии Александровне находилась и графиня Александра Андреевна. Приезд Л. Н. был неожидан. Когда великая княжна и ее тогда маленькие братья великие князья Сергей и Павел Александровичи узнали, что у графини сидит Л. Н., то непременно пожелали увидеть его; но так как они были очень застенчивы и не решались нарушить принятый этикет, т. е. прямо войти в ту комнату, где он сидел с А. А., то ограничивались лишь тем, что заглядывали, как бы нечаянно, в окна и в двери... Наблюдаемого ими писателя это очень забавляло.

Покойная графиня распределила все письма Толстого на три группы: 1) имеющие частный, личный интерес; 2) представляющие интерес литературный и общественный, и 3) не подлежащие вовсе оглашению. Вторая группа, вместе с автобиографическими записями покойной, передана ею в Академию Наук, и, без сомнения, в свое время последняя опубликует этот ценный материал. Известно, что в 1878 г. гр. Л. Н. Толстой задумал писать «Декабристов», — и вот отрывки из двух писем его, написанных к своей тетке по поводу писем гр. В. А. Перовского, начальника экспедиции в Хиву в 1839 г., приходившегося ей родственником:

«У меня давно бродит в голове план сочинения, местом которого должен быть Оренбургский край, а время — Перовского. Теперь, я привез из Москвы целую кучу материалов для этого. Все, что касается В. А. Перовского, мне ужасно интересно — и должен вам сказать, что это лицо, как историческое лицо и характер, мне очень симпатично. Что бы сказали вы и его родные? и дадите ли вы и его родные мне бумаг и писем, с уверенностью, что никто, кроме меня, их читать не будет?».

Гр. А. А. Толстая поспешила исполнить желание племянника, и переслала ему письма гр. Перовского. Ознакомившись с ними, он писал ей:

* — Кто этот странный человек?.. — Ведь это Лев Толстой. — О Боже мой, почему же вы не сказали? После того как мы прочитали его великолепные сочинения, мы умираем от желания видеть его (фр.).

«Очень-очень вам благодарен за ваше обещание дать мне все сведения о Перовском... Личность его вы совершенно верно определяете à grands traits*; — таким я и представляю его себе; и такая фигура — одна, напоминающая картину. Биография его была бы груба; но с другими, противоположными ей, тонкими мелкой работы, нежными характеристиками, как, например, Жуковский, которого все, кажется хорошо знали, а главное, с декабристами, — эта крупная фигура, составляющая тень (оттенок) к Николаю Павловичу, самой крупной и à grands traits фигуры, — выражает вполне *то время* <...> Я теперь вновь погружен в чтение из времени двадцатых годов, — и не могу вам выразить то наслаждение, которое я испытываю, воображая себе это время. Страшно и приятно думать, что то время, которое я помню, — тридцатые годы — уже история!.. Так и видишь, что колебание фигур на этой картине прекращается — и ее все останавливается в торжественном покое истины и красоты...

Молюсь Богу, чтобы Он позволил мне сделать, хоть приблизительно, то, что я хочу. Дело это для меня так важно, что как вы ни способны понимать все, вы не можете представить — до какой степени это важно: так важна для вас ваша вера, и еще важнее, — мне бы хотелось сказать, но важнее ничего не может быть. И оно — то самое и есть».

С таким великим энтузиазмом относился гр. Л. Н. Толстой к задуманному произведению, которого ему не суждено было написать (кроме отрывков). Как известно, по крайней мере по слухам, он не нашел в фигурах декабристов достаточно характерных русских черт, да и вообще достаточной важности, чтобы можно было из них сделать центр большого эпического создания.

Живя постоянно в Петербурге, графиня А. А. Толстая не помнила Л. Н. в детстве, так как учебные годы его проходили в Москве, Казани, а затем он уехал служить на Кавказ. Но начиная с 50-х годов, они стали чаще видеться. 1857 год в марте графиня жила в Швейцарии, в Веве, с вел. кн. Марией Николаевной. Вокруг графини сплотилось небольшое русское общество, предпринимавшее коротенькие путешествия в горы и по озеру, в Женеву, и в одно из этих путешествий, в Люцерн, произошел эпизод, давший повод к прелестному рассказу нашего романиста, носящему название этого города. Вот выписка из ее «Воспоминаний», сделанная г. Захарьиным. «Однажды вечером, — передает со слов графини автор воспоминаний о ней, — когда довольно многочисленное общество путешественников, состоявшее из всевозможных европейских национальностей, и преимущественно из англичан, сидело на балконе одной из лучших гостиниц за обедом, к балкону подошел один из странствующих артистов, старик, и стал играть на скрипке. Играл он очень хорошо и публика слушала его с видимым наслаждением, но когда он кончил и сняв шапку протянул ее в сторону публики для получения вознаграждения за свою игру, то все отвернулись в сторону, и бедный музыкант не получил ничего. Л. Н. Толстой, находившийся среди публики, быстро встал с своего места, спустился с балкона вниз, подошел к музыканту, взял его под руку, вззошел с ним вместе обратно на балкон, усадил его рядом с собою и приказал подать им обоим ужин... Находившиеся на балконе чопорные англичане с своими дамами окаменели от изумления».

Здесь гр. Л. Н. Толстой является тем же непосредственным экспансивным человеком, который весь отдается переживаемому впечатлению, как и в письме о гр. Перовском и его современниках, которое мы выше привели. Известно, как

* крупными мазками (*фр.*).

многие иронизировали над его простонародным костюмом и занятием кладкою печей и сапожным ремеслом в позднейшие годы; но и тогда он был всего только тем же живым, искренним и непосредственным человеком, как всегда. Но когда все сдерживаются, вдавливая себя в форму, и можно предположить — ломаются в этой монотонности (ибо ведь это не легко), Л. Толстой без формы и ломанья жил в каждую эпоху жизни, как ему хотелось и как находил он нужным. Вот его письмо от 1858 г., еще до женитьбы:

«Бабушка! Весна... (хотя гр. Толстая была ему теткою, но, будучи гораздо ее моложе, он усвоил привычку называть ее „бабушкой“).

Отлично жить на свете хорошим людям; даже и таким, как я, хорошо бывает. В природе, в воздухе, во всем надежда, будущность, и прелестная будущность... Иногда ошибаешься и думаешь, что не одну природу ждет будущность и счастье, а и тебя тоже, и хорошо бывает. Я теперь в таком состоянии, и с свойственным мне эгоизмом тороплюсь писать вам о предметах, только для меня интересных. Я очень хорошо знаю, когда хорошо обсужу здраво, что я старая, промерзлая и еще под соусом сваренная картофелина; но весна так действует на меня, что я иногда застаю себя в полном разгаре мечтаний о том, что я растение, которое распустилось вот только теперь вместе с другими, и станет просто спокойно и радостно расти на свете Божиим. По этому случаю к этому времени идет такая внутренняя переборка, очищение и порядок, какой никто, не испытывший этого чувства, не может себе представить. Все старое — прочь! Все условия света, всю лень, весь эгоизм, все пороки, все запутанные, неясные привязанности, все сожаления, даже раскаяния — все прочь!.. дайте место необыкновенному цветку, который надувает почки и вырастает вместе с весной...».

До сих пор это письмо весной пахнет. И не тон ли это Левина из «Анны Карениной» в его молодых весенних чувствах? А вместе не видим ли и здесь только правду и только непосредственность в великом нашем писателе, который точно олицетворяет собою Русь, и барина ее и мужика ее, как воплотил ее писателя, мыслителя и воина.

* * *

Продолжим воспоминания о гр. Л. Н. Толстом, графини Ал. Ан. Толстой, переданные г. Захарьиным.

Все помнят, в «Воскресении» его, как Нехлюдов приезжает в Петербург хлопотать через важных особ за участь узников, подсудимых и проч. Оказывается, эта черта автобиографическая. Г. Захарьин пишет, передавая со слов покойной его тетки: «Большая часть приездов Л. Н. Толстого в Петербург, в особенности за последние пятнадцать лет, рассчитывалась на свидания с графиней по делам более или менее важным, заключавшимся в различных ходатайствах за людей, ему знакомых, а иногда о прощении разных политических преступников или же о возможном смягчении их участи. Случалось в большинстве случаев так: Л. Н. обращался к графине со своим ходатайством письменно, если долго не было ответа, или же ответ был неопределенный, без решительного, однако, отказа, и Л. Н. замечал, что дело лишь откладывается в долгий ящик, — тогда он приезжал в Петербург сам, рассчитывая прежде всего, конечно, на бесконечно доброе сердце

графини и на ее влиятельное положение при Дворе. Об этом ее «влиянии» Л. Н. упоминает, и сам не раз даже и в своих письмах к ней. Вот начало такого письма от 1873 г.:

«Очень-очень благодарю, дорогой друг Alexandrine, за письмо ваше и за ходатайство о Б-ве. Он был у меня, когда я получил ваше письмо, и вы бы порадовались, увидав покрасневшее от волнения и радости его доброе седое лицо, когда я сообщил ему то, что до него и (сына) касается...

Верно я написал не то, что хотел, если вышло так глупо и смешно. А я хотел сказать серьезное и приятное вам: то, что ему сказали в Петербурге, что вы, именно вы, делаете много добра своим влиянием. Когда он мне сказал это, я был рад, и хотелось это вам сказать».

Конечно (да и по тону и содержанию письма видно), что Толстой как бы входил в темницы из чистого христианского сострадания к узнику, не принимая к сердцу содержания вины, преступления. Он, как и его тетя, ходатайствовали об облегчении участи без всякого соучастия с образом мысли заключенного. Это особенно видно из хлопот за старообрядческих, так называемых «архиереев», которые мы приведем дальше: нельзя же заподозрить Толстого «в двуперстии».

Следующий отрывок полон глубокого философского и религиозного интереса. Всегда приходится в случае ропота на жизнь, на тяжесть, на несчастия и даже на *несправедливости*, слышать довольно безучастный и даже иезуитский упрек: «Как, вы не хотите *терпеть*?! Значит, вы *не христианин*, ибо Христос нам указал *путь креста* (= терпения, страдания)». Еще недавно г. Басаргин (псевдоним — не скрываемый — одного профессора) в «Моск. Вед.», в ряде фельетонов высказывал целую теорию, что самое стремление человека к *счастью* есть в нем черта *языгеская*. Мнение это походя повторяется едва ли не людьми, весьма благополучно устроившимися (ибо кто *сам* страдал, захочет *снять* муку со всякого другого) — и вот прекрасное его обсуждение Толстым (письмо относится к 1883 г.), вставленное попутно в письмо к глубокой христианке:

«Я не отвечал вам долго, дорогой друг, оттого, что был эти дни в Москве и измучился как всегда от городской, *ужасной* для меня суеты.

Я не так понимаю, как вы, слово *крест*, который мы несем. Если Богу угодно будет то, что я задумываю, вы прочтете; на словах, тоже, к слову сказать, можно, но писать (зачеркнуто — „не хочу“) нельзя. Скажу только, что „Возьми крест свой и иди за мной“ — это *одно* нераздельное слово. „Возьми крест свой“ — отдельно не имеет, по-моему, смысла, потому что крест брать и не брать не в нашей воле: он лежит на нас; только не надо нести ничего лишнего — все то, что не крест. И нести крест надо не куда-нибудь, а за Христом, т. е. исполняя его закон любви к Богу и ближнему. Ваш крест — Двор, мой — работа мысли — скверная, горделивая, полная соблазнов... Но — будет!..

У меня две просьбы к вам, т. е. через вас к Государю и Императрице. Не бойтесь! Надеюсь, что просьбы так легки, что вам не придется мне отказать. Просьба к Императрице даже такова, что я уверен, что она будет благодарна вам. Просьба через нее к Государю — за трех стариков, раскольничьих архиереев (одному 90 лет, двум — около 60, четвертый — умер в заточении), которые 23 года сидят в заточении в Суздальском монастыре. Имена их: Конон, Геннадий, Аркадий.

Когда я узнал про них, я не хотел верить, как и вы, верно, но поверите, что четыре старика сидят за свои религиозные убеждения в тяжелом заключении 23 года... Вы знаете

лучше меня, можно или нет просить за них и освободить их. А как бы хорошо было освободить их в эти дни!.. * Мне кажется, что нашей доброй Императрице так идет ходатайство за таких людей.

Другая моя просьба к вам, чтобы мне были открыты архивы секретных дел времен Петра I, Анны Иоанновны и Елизаветы. Я был в Москве преимущественно для работ по архивам (теперь уже не декабристы, а 18-й век — начало его — интересуют меня), и мне сказали, что без Высочайшего разрешения мне не откроют архивов секретных, а в них все меня интересующее: самозванцы, разбойники, раскольники... Как получить это разрешение? Если вам не скучно, не трудно, не неудобно, то помогите мне, научите меня; если же хоть немножко почему-нибудь неприятно, пожалуйста, ничего не делайте и простите меня за мою indiscretion... **

Как вы живете и чувствуете? Ваши письма всегда мне радостны. Чем старше, тем сильнее чувствуешь старую дружбу. Дай Бог нам всего лучшего! Целую вашу руку. У нас, слава Богу, все благополучно. Соня благодарит вас за любовь и платит тем же.

Ваш Л. Толстой»

Уже по содержанию этих писем можно судить, какую прекрасную личностью была сама покойная графиня. Будущий историк литературы и нашей общественности не пройдет молчанием эту фигуру, стоявшую около Толстого, и от которой проливалось так много мягкого добра, вовсе не видного, однако, широким кругам общества, писателей и деятелей. Г. Захарьин так рисует ее личность:

«При всем своем мягком характере и бесконечно добром сердце, покойная А. А. не могла переносить лишь двух вещей: современного неверия с его новейшим „евангелием“ и новой „верою“, и вообще великосветских сект и чудачеств. Она была сильно возмущена и оскорблена в глубине своих верований, когда прочитывала некоторые места в последней повести своего давнего друга... Второе, чего она не могла выносить, это — модной, босаяческой литературы со всем ее цинизмом и пошлостью. К декадентам она относилась более снисходительно и смеялась иногда до слез, читая их полоумные стихи и прозаические произведения — в цитатах В. П. Буренина. Она была глубоко религиозною женщиной и строгою хранительницей изящного наследия и традиций былого времени, не позволяя никому и никогда глумиться или иронизировать в ее присутствии над ее верою и над сокровищницей ума и талантов минувшего века, три четверти которого прошли на ее глазах. Она была, можно смело сказать, одною из блестящих русских женщин девятнадцатого столетия».

К ее прекрасным чертам, как женщины и человека, относится скромность. Здесь мы должны бережно отметить, что если хлопоты Нехлюдова в Петербурге («Воскресение») очень напоминают его собственные поездки сюда, — то ни малейшей черты его родственницы и друга он не положил в ироническое изображение тех великосветских дам, к коим Нехлюдов должен был обращаться. Так что здесь истина и вымысел смешаны, как и у Гёте в «Правде и поэзии моей жизни». Отметим, что одна из дочерей Толстого, Александра Львовна, была крестницею этой «бабушки»-тетки, и получила имя в дорожную память крестной матери. вот

* Графиня Александра Андреевна помнила, что письмо было получено ею в конце великого поста, на Страстной неделе. *Примеч. г. Захарьина.*

** бестактность (фр.).

отрывок из «Записок» (переданных в Академию Наук) графини, что покойная сама очертила свои отношения к великому писателю:

«Наша чистая, простая дружба торжественно опровергала общепринятое мнение насчет невозможности *дружбы* между мужчиной и женщиной. Мы стояли на какой-то особенной почве и, могу сказать, совершенно правдиво, заботились главное о том, что может облагородить жизнь, — конечно, *каждый со своей* точки зрения. Льву случалось упрекать меня в том, что я не впускаю в тайник моего сердца и не поверяю ему того, что лично меня занимало; но это делалось с моей стороны без расчета или намерения: его натура была настолько сильнее и интереснее моей, что все внимание невольно сосредоточивалось на нем, а я была лишь второстепенным лицом, *domnant la réplique* *. Как уже сказано было, религия была главным предметом наших разговоров».

Графиня была тверда, как женщина, в религиозных своих воззрениях. И она, конечно, слишком имела право пережить и удержать в себе то же отношение к религиозным истинам, которое сам Толстой описывает, как в высшей степени *удовлетворяющее*, в отношении вообще истории, жизни (см. его письмо выше о времени Перовского): «Так и видишь, что колебание фигур на этой картине прекращается — и все *останавливается* в *торжественном* покое красоты и истины». Вот этого *праздника* души своей она и не хотела сменить на неясные будни. Впрочем, может быть, мы несколько вдаемся в оценку пережитых настроений. Лучше будет держаться фактов. Г. Захарьин отмечает, что и для самого гр. Л. Н. Толстого в некоторые периоды его жизни добрая тетушка была ангелом-охранителем в Петербурге. Часть ее «Записок», говорит он, «еще не скоро может быть оглашена. И только *тогда* (курс. авт.) русская читающая публика узнает, между прочим, и о той неоцененной услуге, которая была оказана графинею Ал. Ан-ной Льву Николаевичу — за время нахождения на poste министра внутренних дел графа Д. А. Толстого...».

Многозначие, вставленное автором, скажет все, что нужно читателю.

Вернемся к фактам или освещению фактов, ранее известных из биографии Толстого. Оказывается, ясно. Полянскую школу он завел не только для крестьянских ребятишек, но и для того, чтобы великим сокровищам русского вдохновения и ума открыть новую аудиторию, дать новых читателей и учеников: «Я хочу образования для народа, пишет он ей, только для того, чтобы спасти тонущих (в темноте) Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых». Письмо это было препроводительное при посылке написанной им «Азбуки».

* * *

Кончим интересные сообщения графини Ал. Андр. Толстой об ее племяннике в передаче их г. Захарьиным. В 1882 г. супруга великого писателя приехала в Петербург хлопотать о разрешении печатать «Крейцерову сонату». Г. Захарьин делает следующее извлечение из дневника покойной фрейлины Двора.

«Жена Л. Н. приезжала в Петербург с решительным намерением добиться свидания с Государем, чтобы пожаловаться на московскую цензуру, причинявшую Толстому и е

* дающий реплики (*фр.*).

семье неприятности и убытки. Император принял графиню Софью Андреевну весьма любезно, представил ее Императрице, долго беседовал с ней и дал затем согласие на все ее желания. К сожалению, это доброе расположение Государя скоро прошло по следующему поводу: Государь разрешил между прочим печатание „Крейцеровой сонаты“ в собрании сочинений гр. Толстого, но отнюдь не отдельной книжкой, и вдруг, неизвестно по чьей вине и, конечно, помимо граф. Софьи Андреевны, эта „Соната“ появилась в отдельной продаже. Враги поспешили доложить об этом Государю и когда я решилась было защитить Толстых, то было поздно; Государь не дал мне и докончить объяснения и разразился на их счет довольно жесткими словами».

Всегда, когда есть crimen *, юристы спрашивают: «cui prodest»? ** И по указани- 10
ниям этим ищут виновного. Здесь ясно сказано: «неизвестно, по чьей вине явились в продажу». А если сопоставить это место с указанием на угрожавшие неприятности гр. Л. Н. Толстому, от которых покойная охраняла особенно в эти-то годы, когда произошел и странный безымянный выпуск книжки, и поспешный об этом донос Государю, то самое историческое событие может быть несколько демонстрируется. Книжку мог напечатать, если не непосредственно, то через подставных лиц, якобы «почитатель гр. Толстого», именно сам доносивший. Графиня Ал. Ан. Толстая вспоминает, что кристально чистая душа императора Александра III могла со всем примириться и за все простить, но не выносила обмана. 20
Именно на этой-то стороне души благородного императора и была основана интрига: утопить в глазах его нравственный авторитет Толстого или Толстых, обвинить их в обмане, и еще с корыстными целями мелочной наживы. То, что говорила покойная о крайнем раздражении Государя, указывает именно на эти подробности, на эту обстановку обвинения Толстых: и интрига врагов его с «отдельным напечатанием Сонаты» удалась блистательно. Добрая графиня была в страшной горести по поводу этого гнева Государя Александра III, ибо лично именно от него она пользовалась особенным расположением, начав служить еще при его деде, императоре Николае.

Рассказы покойной о частной жизни Толстого отличаются также живыми и интересными подробностями, характеризующими нашу провинциальную жизнь 30
как раз в эпоху преобразований, а также нравы и невежество местной администрации. В июле месяце 1862 г. Толстой жил для лечения кумысом в Самарской губернии, а семья его оставалась в Ясной Поляне. Незадолго перед тем он оставил должность мирового посредника, на которой почему-то вызвал против себя смертельную ненависть в уездном своем дворянстве. Вот что случилось в его отсутствие:

«К дому подъехало ночью несколько троек, в экипажах и телегах, с жандармами и местными полицейскими чиновниками, оцепили дом, подняли все на ноги, всех арестовали, — и приступили к самому тщательному обыску, вскрывая письменные столы, взламывая замки в конторках, перерывая все книги в шкапе, все вещи в подвале, в кладовых, 40
в кабинете и проч. За отсутствием Л. Н., тогда еще не женатого, в доме находились его тетушка и родная сестра Марья Николаевна; последняя спала в кабинете Л. Н.; ее грубо разбудил частный пристав (из Тулы) Кобеляцкий и, не выпуская из кабинета, приказал

* преступление (лат.).

** кому выгодно? кому полезно? (лат.).

одеться и находиться тут же до конца обыска. Жандармский полковник Дурново, крапивенский уездный исправник и местный становой хозяйничали в физическом кабинете Л. Н., в школе, в типографии и других комнатах дома, расставив везде часовых, объявив всех арестованными и не позволяя обыскиваемым лицам не только иметь между собою какое-либо сообщение, но даже и переходить из одной комнаты в другую... Жандармские и полицейские чины были вооружены, ругались, шумели, распорядились в доме, как хозяева, требовали себе есть, а лошадям корму, словом, вели себя как в неприятельском городе, только что взятом с боя, после упорного сопротивления. Они при этом не предъявляли никому никакой бумаги или распоряжения, на основании которого они явились для обыска. Легко, конечно, представить себе испуг дам и всех служащих. Престарелая тетушка Л. Н., не спавшая ночью, первая услышала шум подъехавших экипажей и, вообразив, что это возвратился с кумыса Л. Н., вышла на крыльцо дома, чтобы встретить его, но, увидав недобрых гостей, упала без чувств и долго потом хворала»...

Действительно, насчет «бумаги и распоряжения, с подписями и за печатями», следует задуматься. Ведь без них может разыграть такую вещь какой-нибудь новый Дубровский, описанный Пушкиным, может совершиться грабеж уединенного поместья, когда обитатели его будут думать, что это они «обыскиваются»...

Вызвался этот наезд тем обстоятельством, что хотя занятия в Ясно-Полянской школе и прекратились на лето, но не вполне, и человек десять приглашенных студентов жили при школе и в самом доме Толстого. Типография была там для печатания педагогической газеты «Ясная Поляна», об издании которой шли хлопоты. Г. Захарьин приводит и еще несколько дополнительных объяснений этого инцидента:

«В это время Герцен и его „Колокол“ были в среде интеллигентного русского общества очень популярны и считались преступными и опасными в глазах III отделения; и вот кто-то, должно быть, донес, что Ясная Поляна имеет сношение с Лондоном, так как господа, обыскивавшие особенно усердно, искали номеров „Колокола“ и прочитывали все письма, какие только извлекали из ящиков письменного стола в кабинете Л. Н., и между прочим такие, которых никто в жизни не должен был читать и знать. Мало того: из Ясной Поляны все эти непрошенные гости поехали в другое имение Л. Н., находящееся по соседству, в его деревню Чернскую, и там, вскрыв письменный стол, прочитали все бумаги его умершего брата, которыми Л. Н. дорожил, как святынею. Затем вернулись в Ясную Поляну, успокоили дам и студентов, что и там, в Чернской, ничего подозрительного не нашли, прочитали всем нравоучения, чтобы они и впредь вели себя также добропорядочно, потребовали для себя обед — и уехали. Передавая об этом оскорбительном событии графине А. А. Толстой, Л. Н. добавлял: „Я часто говорю себе: какое огромное счастье, что меня не было дома! — Ежели бы я был, то теперь, наверно бы, уже судился как убийца“. Эту резкую фразу Л. Н-ича, сказанную 42 года назад, легко объяснить себе, если припомнить все оскорбительные перипетии, которым подверглись самые близкие к нему в то время лица — его родная тетушка и родная сестра. Достаточно сказать, что частный пристав города Тулы Кобеляцкий позволил выйти из кабинета в гостиную и позволил лечь спать сестре Льва Н-ича только тогда, когда перечитал вслух, в ее и двух жандармов присутствии, все те интимные письма, о которых упоминалось выше (которые не предназначались никогда к опубликованию), а также дневник и все то, что писал — и тщательно хранил от всех — сам Л. Н., с 16-летнего своего возраста»...

Немедленно Л. Н. Толстой обратился, прося защиты, в Петербург, и просил свою тетку сообщить все подробности этого происшествия Б. А. Перовскому, гр. А. Д. Блудовой и др. Он просил не о наказании оскорбителей своего дома, а исключительно о восстановлении своего доброго имени в глазах окружающего крестьянства, к обучению детей которого он только что пламенно приступил. Он писал гр. Ал. Ан. Толстой:

«Дела этого оставить я никак не хочу и *не могу*. Вся моя деятельность, в которой я нашел счастье и успокоение, испорчена. Тетенька от испуга так больна, что, вероятно, не встанет. Народ смотрит на меня уже не как на честного человека — мнение, которое я заслужил годами, — а как на преступника, поджигателя или делателя фальшивой монеты, который только по плутоватости увернулся... 10

„— Что, брат? Попался!.. Будет тебе толковать нам о честности, справедливости, — самого чуть не заковали“.

О помещиках — что и говорить: это стон восторга. Напишите мне пожалуйста поскорее, посоветовавшись с Перовским или Алексеем Толстым, или с кем хотите, — как мне написать и как передать письмо Государю? Выхода мне нет другого, — получить такое же гласное удовлетворение, как и оскорбление (поправить дело уже невозможно), или экспроприроваться, на что я твердо решился. К Герцену я не поеду; Герцен сам по себе, и я сам по себе. Я и прятаться не стану, а громко объявлю, что продаю имение, чтобы уехать из России, где нельзя узнать минутой вперед, что тебя ожидает». 20

Длинное письмо это, сообщает г. Захарьин, на восьми больших страницах. В конце его гр. Л. Н. Толстой говорит, что, уезжая, жандарм пригрозил новым обыском, пока не найдут, «ежели что спрятано». — Л. Н. добавляет: «У меня в комнате заряжены пистолеты, и я жду, чем все это разрешится».

Незащищенность гражданской и обывательской личности получает себе в этом описании такую картину, которой нельзя подыскать параллелей... разве что или вернувшись к временам, воспетым Лермонтовым в «Купце Калашникове», или перешагнув в Азию, в места независимых князьков Бухары и Хивы. И все это местные административные воротилы делали при столь кротком Государе, как Александр II, воспитаннике Жуковского, и когда уже этот Государь ясно выразил свою волю обновить Отечество. Это было с Толстым, имевшим связи с Петербургом, можно представить, что бывало в эту же пору, не говоря о раньше, а может быть, и позже, с людьми без силы, без связей, которым и пожаловаться некому, а остается только промолчать и заплакать. 30

К великому сожалению, не только органы администрации, может быть, подыгрывавшиеся к местному дворянству, о «восторге» которого пишет Толстой, но и органы суда стояли на этом же уровне. В 1870 г., во время поездки Толстого в свое самарское имение, случилось в Ясной Поляне несчастье: бык, пасшийся в общественном стаде, насмерть забодал человека. В недосмотре виноват был пастух; в слабой степени мог быть виновен приказчик: но судебный следователь «выждал возвращения Л. Н. из Самары и тогда приехал в Ясную Поляну на следствие и произвел Л. Н. формальный допрос по обвинению его в неосторожном убийстве». 40

Составив для себя заранее вопросные пункты, он попросил Толстого точно и подробно объяснить ему: законный ли он сын своих родителей, бывает ли у св. причастия, что побудило его к преступлению и проч. И затем попросил

с Л. Н. подписку о невыезде никуда до окончания дела «по обвинению его в явно противозаконных действиях, от которых произошла смерть человека»... Раньше, чем подписать бумагу, Толстой запросил о невыезде товарища прокурора в Туле, и тот ответил ему, что в случае, если он откажется дать подписку, его придется посадить в острог.

Этот судебный следователь был совершенно еще молоденький человек, и Толстой не называет его в письмах иначе, как «мальчик». В письме к другу своему, графине Ал. Ан., великий писатель выразил горечь человека, семьянина, гражданина:

- ¹⁰ «Страшно подумать, — пишет Л. Н.—ич к графине Толстой в своем письме по этому поводу, — страшно вспомнить о всех мерзостях, которые мне делали, делают и будут делать... С седой бородой, шестью детьми и сознанием полезной и трудовой жизни, с твердой уверенностью, что я не виноват, с презрением, которого я не могу не иметь к новым судам, сколько я их видел, с одним желанием, чтобы меня оставили в покое, как я всех оставляю в покое... Невыносимо жить в России — со страхом, что каждый мальчик, которому лицо мое не понравилось, может заставить меня сидеть на лавке перед судом, а потом в остроге»...

- ²⁰ Пусть этот голос великого писателя и человека будет выслушан всеми, «кому ведать надлежит», как голос населения России. *Quod licet Jovi, non licet bovi**: а если уж и «Jovi» так приходится, то очевидно «bovis» идут только на голенища «казне»... Мы позволили так долго и подробно занять внимание читателей этими любопытными воспоминаниями и фактами оттого, что в них содержится волнующий интерес не только в отношении к любимому, дорогому писателю, но и потому еще, что факты эти необыкновенны, как в смысле их констатирования, так и возможного над ними размышления.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

<А. Чехов, С. Юшкевич>

- ³⁰ Второй выпуск «Сборника» товарищества «Знания» содержит в себе «Вишневый сад» А. Чехова, несколько стихотворений Скитальца (псевдоним), небольшие рассказы А. Куприна и Е. Чирикова и довольно значительный по объему очерк г. С. Юшкевича «Евреи». По мастерству живописи, по опытности, по разлитой в нем мысли «Вишневый сад» Чехова без всякого сравнения господствует над всеми остальными статьями «Сборника». Красивая рамка природы, в которую автор вставил картину русской жизни, еще более оттеняет ее грусть. Вишни цветут, а люди блёкнут. Все разъезжаются, ничего не держится на своем месте, всем завтра будет хуже, чем сегодня, а уже и сегодня неприглядно-неприглядно... Право, местами и иногда Россия напоминает собою варшавские сапоги, поставленные для армии: пошел дождь, и подошвы, которые казались кожаными, спус-

* Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (*лат.*).

тили лак и растворились в мокрый картон. В рассматриваемой пьесе, — не понимаешь, для чего любовь, мысли, быт, нравы, деньги, — всем этим людям? На человеке ничего не держится. Единственная крепкая ухватка — это Лопахина за деньги: но совершенно непонятно, для чего же ему они? Деньги для денег? Но это знал уже Плюшкин, и этот новый человек новой России, хотя очень энергичен и умен, — однако умен и энергичен как-то глупо, ибо в высшей степени бесцельно, бессодержательно. Он засеял тысячу десятин маком и сорвал с земли сорок тысяч рублей. Ну, хорошо, сорвал: но что дальше, что же он из них сделал? Настоящий вопрос о деньгах начинается с той минуты, как они положены в карман. Если из кармана им некуда *определенно* перейти, целесообразно, духовно: совершенно не нужен был и труд собирания их. Лопахин так же собирает деньги, как Епиходов (превосходная фигура, особенно на сцене) читает «Бокля», Любовь Андреевна привязана к парижскому альфонсу и Трофимов учится в университете. Каждый из них точно состоит не при своей роли. На сцене, однако, замечательно симпатична, хотя и бездеятельная, безвольная фигура студента Трофимова, который никак не может кончить курса и даже не может найти (при всеобщем отъезде) своих галош, так что ему находит их Варя:

— Возьмите вашу гадость (выбрасывая ему).

Он спокойно осматривает их и кричит барышне:

— Не мои.

Хороша эта фигура, потому что это какой-то невинный Адам. Едва ли художественно автор вложил в уста этому действующему (вернее — бездействующему) лицу монолог замечательной энергии, очевидно, грустный взгляд самого Чехова на Россию:

...У нас, в России, работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезные, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем громадное большинство из нас, девяносто девять из ста, живут как дикари, чуть что — сейчас зуботычина, брань, едят отвратительно, спят в грязи, в духоте, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота... И очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, где читальни? О них только в романах пишут, на деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина... Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий, боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим!

Мы не пережили великих одушевлений, великих вдохновений. Посмотрите, долго ли тянулось так называемое «смутное время»; однако великая безнадежность, прошедшая всего лет на десять по России, самым страхом и опасностью своею вызвала каких людей и какие события! Ибо если имя Минина мы запомнили, то не должны забывать и того, что были сотни Мининых, по городам, по пригородам, — и только одно из них случайно стало ярче и памятнее остальных. Это — всего три года и опасность только с гражданской, политической стороны. Не думайте, что «школьный учитель» Германии, как и ее Гумбольдты, Риттеры, Лессинг и Гёте явились без причины и основания: вся почва Германии была со-

грета колоссальным реформационным движением; и как горячая зола вулкана растит дивный виноград и фрукты, так и там, на этой согретой великим движением земле, произросли цветущие города, наука и философия, изумительная трудоспособность. Маленькая высококультурная Швейцария знала Кальвина и Цвингли, выслушала все слова Руссо. Теперь это мертвые камни. Но они дышали в истории, в них верили, они сами верили. Вулкан извергал: а теперь по его склонам, пусть потухшим, цветут сады. Ей-ей, я не могу понять хорошенько, для чего же мне, в России, иметь сто миллионов капитала или всю жизнь как вол трудиться? Для того, чтобы быть «хорошим человеком»? Но я, может быть, и без того хорош.¹⁰ Право, я не могу понять богатства и неутомимого труда в иных целях у нас, как чтобы вот взяли меня выставили в хорошей пьесе или в хорошем романе.

Как биолог, как доктор, г. Чехов лучше обыкновенного смертного знает, что нервы лежат в основе и красоты мускульной, и свежести кожи, и даже исправности внутренних органов. Хорошо: это так в организме единичном, но не так же ли это и в организме коллективном? Купцы, вышедшие из старообрядчества, дали кое-что больше, чем собирается дать России Лопахин. Укажем только на Солдатёноква, на Кожанчикова. А ведь численностью они тонут в массе «всероссийского купечества». На Воробьевых горах (около Москвы) я прожил два лета, на расстоянии десяти годов: и в оба раза до чего любовался чистотой их комнат,²⁰ множеством образов и лампад (точно домашний храм, дом — полупревращенный в моленную), обращением тихим и семейным с женой и детьми; о пьянстве даже духа нет! А вот и культурная сторона, сами хозяева сытенькие, дома у них большие, просторные, не завалившиеся, и, главное, какая прелестная, уже высококультурная внешняя черта: три березки перед окнами дома. И не понимаю, откуда это взялось: ведь не в состав же «старой веры» входит; там об «Исусе», «двуперстии», и вообще совсем другое. Но связь — есть; но связь — открылась. Старообрядцы знали своих Кальвинов и Цвингли, пусть «темных», едва грамотных, и быт, община, хижина, земледелие сложились у них, как около Берна или Женевы. Таким образом, у них «цвет кожи» (быт, жизнь, экономика),³⁰ свет потому, что нервы были некогда глубоко, по-европейски, потрясены. У нас же? Да вся Россия есть только, *en grand*, «семейная хроника» С. Т. Аксакова. Если, как смеялся Гоголь, Бетрищев пишет «Историю генералов 12 года», то скажите, пожалуйста, что же ему еще писать?.. Все пишем то, что требуется, а в сущности — ничего не требуется. Торгуем помаленьку, учимся помаленьку, разговариваем потихоньку: все — как съестная лавочка в уездном городке, где достанешь леденцу, подсолнечников и дегтя. Литература раздражается: «Тем для литературы нет». Действительно, нет. Вся литература наша есть или глубокая лирика от скуки, ничегонеделания и тоски (Лермонтов, Гоголь, Тургенев; сюда и Чехов входит); или «оды» в ожидании чего-то «грядущего» (преимущественно старая русская литература). Или глубокое, но личное творчество, из своего «я» возникающая и с историей общества русского лишь проблематично связанное (Толстой, Достоевский). Или — правописание, сатира, раздражение (начиная с Гоголя, и сюда также входит Чехов); но все это есть гнев на вялый цвет кожи, когда вопрос не в ней, а в нервах. А «нервы» русские... Ну, им и конца не предвидится. Кажется, никогда и ни от чего не лопнут...

Боли нервной, и притом всеобщей (национальной), никогда у нас не проходило, как она была решительно у всякой европейской страны. Вспомните борьбу

Нидерландов с Филиппом II; и сам этот Филипп II поднялся последним звеном в длинной, на жизнь и смерть, борьбе кастильцев с маврами... Поразительно, что нельзя указать страны на Западе, которая не пережила бы почти полного уничтожения, не пережила бы смертельных испугов за самое существование свое; страны, в нервном отношении не пережившей полного перевертывания вверх дном (средневековый католицизм и Renaissance). Пахарь поднимает землю плугом и что же делает?! Дёрн кладет травой вниз; все травы — прямо в гроб, преобразены в навоз. Земля перевертывается. А по осени вырастает высокая, красивая, сытная рожь. Никто не оспорит, что поле русское от «Рюрика, Синеуса и Трувора» живет пока как поле, как первоначальная степь; что почвы в России никто не «перевертывал». Мы не говорим о «правительстве», которое такие перемены знало (при Петре), — но быт народный глубоко не задевали. И вот мы видим на поле русском — там василек, там — иммортелька; много бурьяну, местами — совсем ничего. Это наши Пушкины, Гоголи, всеобщая безграмотность, «аглицкие клубы», московские расстегаи и картузы; «Минин, указующий Пожарскому на кремль» (памятник в Москве), кое-какая пресса, «народные дома» и «чайные», и отвратительнейшие петербургские извозчики, каким подобных можно встретить не ближе Аргентинской республики. Тут приютился и «Вишневый сад». Прекрасная, но бессильная живопись. Грустное произведение; но сколько уже их есть в русской литературе, безмерной яркости, силы и красоты. Ударяли они (начиная от «Горя» Грибоедовского) по русской впечатлительности: и рванется русская душа от стыда за себя (вечный мотив), но рвануться ей некуда, солнца нет. «Солнце» пытались показать только славянофилы (у других и попыток не было), но оно оказалось, более или менее, похоже на «луну, сделанную в Гамбурге», т. е. что-то не настоящее. Солнце потянуло бы. Солнце землю держит. А без него как будут «двигаться малые миры»? Не способны мы, русские: но вечно покуривали успокоительный гашиш и мало работали. И видим мы иногда хорошие сны (Пушкин, Тютчев, те же славянофилы, «Тройка» Гоголя, «Русь, о Русь» его же). А вот в натуре у нас — скверный шалаш, оборванный рабочий и тусклые сонные очи...

* * *

Во втором «Сборнике», кроме «Вишневого сада», останавливает собою внимание длинный беллетристический очерк г. С. Юшкевича: «Евреи». Мы порадовались самой этой теме. Не нужно, чтобы окраины наши и вообще другие народности проходились молча русскою литературою: это-де задача их местных литератур, литератур на других языках. Нет, это не так. Уже раз они вошли в Россию, как в «родину», то пусть найдут себе, пусть даже и не горячее, но все же «родное место», и прежде всего, конечно, в литературе. Короленко в рассказе «В дурном обществе» показал нам уголки Волыни и Подолии. Максим Горький тоже расширил этнографию русской литературы, введя сюда быт, лирику, голоса южных портовых городов и рыболовных промыслов. Все это нужно, все это «пожалуйте». «Пожалуйте» и евреи г. С. Юшкевича.

Рассказ написан тепло, с одушевлением, — и написан евреем, судя по везде почти неправильному русскому языку, напр.:

«Погруженные по сердцу в труд, измученные, в длиннополых сюртуках, как армия бессмысленных рабов, служившая неведомому хозяину, — никто не бросал на миг дела: Что им был весь прекрасный труд? Что им была жизнь?».

Или:

«Ему казалось все поборимым» (казалось, что все он может побороть).

Еще:

«И то, что он начинал свыкаться с неизбежностью безумного труда, который раздавил и рассек его, что со всех сторон чужая жизнь билась в его душу и вырывала у нее участие, он сам пришел к норме, как приводится к правильному бегу молодая лошадь, если перегрузить ее тяжестью».

Таким образом, мы имеем еврея, говорящего как бы от лица евреев, и, конечно, это важно и интересно. К сожалению, очерк не ограничился этнографическим характером, а как бы пытается принять формы беллетристики: появляются лица, судьба их. Но это до того спутано, сбито все в теснейшую кучу, и все лица до того этнографически друг на друга похожи, что, напр., читая о судьбе какой-нибудь девушки (все они печально кончают), отвертываешь страницы назад и ищешь: «Да из которой же она семьи? Кто были сестры и родители ее?». Конечно, раз даже лица не запоминаются и не индивидуализируются в впечатлении читателя, — беллетристика является очень сомнительной. Рассказ его шел бы в статью «Географической энциклопедии» или в главу «Политической экономии и статистики», но около романов, повестей и стихов он кажется чем-то инородным. От этого и цель автора не достигнута. Автор выводит Вильну или вообще какой-то большой город в «черте оседлости» и показывает его еврейские кварталы: весь ужас нищеты там, пробегающие струйки сионизма и во множестве — «падения девушек». Молодого Нахмана, сперва бывшего извозчиком, а теперь собирающегося торговать из корзины лепешками, ленточками и ситцами и ищущего для этого (у него было 60 руб. капитала) «компаньона», — старик Шлойма выводит ночью из коморки своей и, показывая на убогие квартирки, говорит:

— Вот квартира первая — это Бейлы. Торговка. Две дочери работают на фабрике. По вечерам выходят на улицу (т. е. дорабатывают пропитание проституцией). Голодают. Пойдем дальше. Вот квартира вторая. Три старухи калеки. Живут подаванием. Голодают. Пойдем дальше. Вот квартира третья, квартира Арона. Биндюжник. Большая семья. Голодают. Квартира четвертая. Слепой Мотель. Дочь в «доме» (т. е. дом терпимости). Голодает. Квартира пятая. Столяр — большая семья — голодают. Шестая. Маляр — семья голодает. Седьмая. Сапожник — семья голодает. Восьмая. Разносчик. Дочери продаются. Две уже в «домах» (терпимости). Голодает. Квартира девятая. Воры. Квартира десятая. Шулерский притон. Одиннадцатая...

— Довольно, довольно, — пробормотал Нахман.

— Пять девушек. Сироты. Продаются. Двенадцатая...

40 Бедный друг наш, — но, все это этнография, и не придете же вы в живое трепетание нервов, если я скажу: «В селе Вознесенском крестьяне Семен, Иван, Петр... живут впроголодь», или, как заменяет итогами статистика: «В селе Вознесенском 11 голодных крестьянских домов, из них трое хозяев в городе на заработках, а одна крестьянская девица попала в услужение, потеряла себя и посту-

пила в дом». Нет лица, есть цифры; нет судьбы, а есть счет. Это не трогает, т. е. трогает общим состраданием, что вот, «есть такой угол в России», на каковой «доклад», если его обратиться к «начальству», то начальство скажет: «Есть у нас, в России, еще тысячи таких углов, даже несчастнее: может быть, вы пожертвовать собираетесь? Так вот расписная книга и пожалуйста деньги: мы, в благопечительности своей, давно денежные сборы устроили». Этим скудным и едва ли желательным для автора результатом ограничивается его рассказ. Прием живописи, если она должна была тронуть, совсем другой: подробности, частности, интимный мир единой личности и широко раскинутая картина судьбы единичной семьи. Тогда это врезалось бы в память. Стало бы у двери истории, как неуходящий нищий. 10

Кое-что есть заметить русскому в очерке г. Юшкевича. Например, известно, что хотя в Западном крае есть, конечно, много фабрик, однако не создано типа еврея-фабричного рабочего. Т. е. хотя еврей-фабричные и есть, конечно, — однако они в этом положении или не остаются долго, или вовсе сюда не идут. Напротив, еврей-ремесленник, или торгаш, или еврей-«гешефтмахер», занимающийся какими-то тусклыми и неуловимыми «посредничествами», явление повсюдное и массовое. Это приписывалось исключительно изворотливости еврейской и их безморальности. Г-н Юшкевич, едва ли думая что-либо опровергать или утверждать, а рисуя просто торопливые картинки, дает нам увидеть подлинный мотив этих излюбленных еврейских занятий. Он лежит в восточной любви евреев к пестроте и подвижности; и в том, что еврей так же не выносит чужую руку положенного на него «тягла», как степная лошадь сбрасывает седло. До сих пор еврей суть «не прирученные», не «домашние» животные: а всякая цивилизация есть до известной степени «народный дом», огромной сложности и давности, и вот к этому-то постоянному жилью чужих народов они не то чтобы не хотят, а никак не умеют прикрепиться, не умеют стать в правильные и постоянные отношения в сущности ни к какой постоянной и устойчивой цивилизации. В то же время — взирая на нее с чисто диким чувством изумления, как на какое-то сказочное великолепие. Тут автор показывает много нового и любопытного. Приблизительно 30

...Ночная жизнь города только начиналась, и люди в блеске жемчужного света от электрических солнц и ауэровских горелок, казалось, выступали как радостные видения, как триумфаторы (?!!). С победительным (!!) звоном летели конки, и лошади отчетливо выбивали подковами по мостовым, закованным в гранит, мчались кареты на шинах и чудные женщины шли навстречу, и все улыбались (?!). Высокие ряды холмов, изящных, хрупких (?), державно (!!) протянулись своими окнами, в которых мелькали державные (!) люди, свободные, счастливые. Все казалось великолепным, живописным, и гуляющие почтительно расступались друг перед другом, точно отдавали честь себе, виновникам этого великолепия, этой феерии (стр. 197). 40

Бедные еврейские девушки во множестве «падают» не от одной нужды, но и от истинно-мистического тяготения ко всему этому звону и блеску, довольно-таки скачному для нас.

— Я сейчас пойду домой, — громко говорила она (17-летняя девушка), как бы рассказывая, — и подожду, пока все уснут. Потом выйду за ворота и буду смотреть в улицу, которая ведет в город.

— Хотела бы быть им, — прошептала Лея...

— В город, — продолжила Неси, и это походило теперь на сказку, — где так светло ночью, что кажется, он горит. И никто меня не увидит. Я буду смотреть на огни и мечтать о жизни...

И еще через несколько страниц дальше та же девушка говорит:

— Вы видите город, Нахман?

— Я вижу, — вдруг разочарованный ответил он.

— Он горит как на солнце. Посмотрите на окна. Мне кажется, там пляшут.

— В городе еще не спят, — поддержал он.

10 — Там пляшут, — уверенно выговорила Неси, повернувшись лицом к городу, — и мне хочется плакать от злости, что я родилась здесь, а не там.

— Где там? — удивился Нахман, оглядывая ее (НВ. Он в нее влюблен).

— В городе, в городе. Каждую ночь я стою здесь и стерегу огни. И с каждым днем я чувствую, как руки мои становятся длиннее. Я скоро достану его...

Таким образом, бабочка, падающая на огонь, есть буквальное сравнение для множества этих девушек, дочерей крайнего мещанства, полуголодных ремесленников и торговцев. Семья уже не имеет силы держать их, и сестры или родители рассказывают о сестрах или дочерях: «Пала во столько-то лет», «выходит на улицу» и проч. Социальный строй вообще уже здесь страшно распатан. Все чуть-чуть

20 лепится и может рухнуть завтра же, разом, превратившись в банду насилия и мятежа — в мужской половине, и в колоссальный уличный разврат — в женской.

Нахман, герой рассказа, пробирается в один из «новых ковчегов», которыми уставлен еврейский квартал:

— Где здесь Шлойма живет? — обратился он к мальчику, шедшему ему навстречу.

— Шлойма? — переспросил тот и остановился. — Какой? Тут их много. Есть «наш Шлойма», есть Шлойма буц, Шлойма халат, Шлойма картежник...

— Мне нужен Шлойма сапожник, — с улыбкой перебил его Нахман.

— А, «наш Шлойма». Я сейчас догадался. Идите прямо. У дверей увидите кадку с водою.

30 Входит. Не застает. Жена отсутствующего спрашивает:

— У вас дело к Шлойме?

— Да, дело.

— Чем вы занимаетесь? Работаете на фабрике?

— Нет, нет. Я служил у хозяина, собрал немного денег, а теперь ищу компаньона торговать в рядах.

— Ага, — загорелась черноглазая, — и у вас уже началось. Все хотят свободы в жизни. На что уж тут худо нам, но и мы мечтаем.

40 Нахман, молодой и дюжий работник, не только отлично жил у хозяина, торговца железом, но тот долго упраскивает остаться у него, не уходить от него. Полное обеспечение, но тот бросается в приключения; и вот, смотрите его психологию:

Новая, полная особенного интереса жизнь началась для него. На рассвете приходил Даниэль, высокий, больной человек с фигурой цапли, и оба, подхватив большую корзи-

ну с товаром, отправлялись в путь. Теперь он не чувствовал себя под гнетом, рабом чужой воли. Шел хозяин с товаром, который будет продан, вновь куплен, вновь продан... Как токи, здесь пробегали люди по всем направлениям, куда-то уходили, возвращались и вновь уходили, — и это было чудесно и красиво, как во сне. То здесь, то там разносились бойкие голоса торговков, лавочники раскрывали тяжелые двери, на тротуарах возились мелкие торговцы, тащились телеги с зеленью, с рыбой, с молоком, и Нахман, упившись окружающим, принимался с Даниэлем за работу.

«На людях — и смерть красна» — отчего это не так же для еврея, как, например, для русского, только в несколько ином стиле. Как посетителя Монако опьяняет же блеск золота и передвижение из руки в руки сумм, опьяняет даже зрителя, т. е. платонически, так позвольте же бедному еврею «упиться» видом этого Толкучего, с торговками, с сеledками, с гамом, грязью: право, ведь не чище и не упорядоченнее и базары Дамаска, Константинополя, и, пожалуй, в древности базары еще Ниневии и Вавилона. Тут есть атавизм нравов, атавизм эстетики — для нас грязной, для них великолепной. Не забудем, что это все нищие, почти нищие.

Он раскладывал свой товар и, оглядывая его, испытывал чувство ребенка, которому дали блестящую игрушку. Ласково смотрели на него ситцы, хорошенькие, пестренькие, дешевенькие, и ему казалось, что лучших не было во всем ряду. Ласково смотрели на него кошельки, куклы, галстуки, чулки, и он не уставал их перекладывать, чтобы сделать заметнее, красивее.

— Ситец, ситец, кто хочет лучшего ситца, лучшей российской фабрики.

И, помедлив, отрывисто выпалил:

— Семь копеек, семь, семь, семь! Подходите, девушки, барышни, хорошенькие дамочки. Кто не слышит? Семь, семь, семь!

Торговля имеет почти азарт карточной игры, — почти, но лучше: здесь нет голых денег, нет животной праздности господ, перекидывающихся картонными квадратиками. Здесь есть труд, утомление, но они скрадываются поэзией «удачи» и «неудачи» и, наконец, действительною живописностью всевозможного народа.

Нахман отвернулся и, насвистывая, стал оглядывать ряд. Мужчины и женщины, все будто сбились в одну кучу, и отсюда казалось, что они ловят людей, душат их, а те откупаются. Крик стоял стройный веселый, и чувствовалось, не было такой силы, которая прекратила бы ликование торговли. Все в ряду знали, что отравилась хромая беременная девушка, брошенная своим возлюбленным, — все были знакомы с ней, знали ее несчастную жизнь, но никто не отдал ей частицу своей души (стр. 216).

Ведь не всякий, даже хоть и кой-как, сможет торговать. И есть талант торговли, где она перестает быть только прокормлением, ремеслом, а становится артистическим делом, вовлекает в себя страсти души, как красноречие вызывает страсти у оратора, как тонкости юриспруденции — у юриста с «призванием». И вот у евреев есть именно этот сорт таланта к торговле, вовсе не вытекающий из Плюшкинской жадности. Торговцы, не имеющие силы живо вспомнить и пожалеть отравившуюся девушку, когда успокоились и нервы у них улеглись, мигом помогли старухе, которая не в силах уплатить пошлину в 10 коп. за место.

Не переставая плакать, старушка рассказала: что базарный опрокинул ее корзину с лимонами и прогнал с места.

— Дети, — произнес коренастый торговец, — соберем по грошу десять копеек и заплатим за место Двойры. Я даю копейку (стр. 218).

Одно неудержимое впечатление было у меня при чтении, во всяком случае, полезного очерка г. Юшкевича. Все время, глядя на эту толпу евреев, я чувствовал маленькую детскую психологию. Точно маленькие зверьки, как каша «морских свинок» в огромной клетке Зоологического сада. Очерк автора не прикрашивает предмета. Какое прикрашивание, когда почти все женщины и девушки собираются в проституцию, с объяснением: «Зима не выгонит, весна выманит: и толкает, и манит». Но все здесь не перестают тесно жаться друг к другу. Как дан прекрасный очерк ребеночка Блюмочки, которая всех жалеет в «Ноевом ковчеге», страшно боится смерти, а когда кто-нибудь умирает, забивается в пустую комнату и молится Богу «о здоровья всех». Все сбиты в кучу, и не только общим несчастьем, а именно этою миниатюрною психологию. Зверьки ведь часто благодушнее людей. Во всей толпе нет ни одного жестокого, черствого типа; нет эксплуататора, над голытьбой господствующего. Нет у них и вражды к этой Вильне, где жизнь так горька для них и отцов их. На призывы к сионизму Нахман дважды отвечает:

20 — Наша родина здесь.

Я и раньше слышал от русских, живших долго в Швейцарии и Берлине, что — не в целях сокрытия народности, ибо лицо еврея есть паспорт его, — а с действительным чувством родины, приезжавшие туда учиться евреи и еврейки говорили немцам и французам:

— Мы русские.

Я думаю, между русскими и евреями нет пропасти. В городе Б., где я преподавал в прогимназии, я наблюдал, до чего русские дети ни малейше не смотрели враждебно или отчужденно на евреев, и обратно. Общий смех, общие шалости, всегда полное участие в играх. Зная литературную, вообще «цивилизованную» на этой почве вражду, я был поражен этим племенным, этнографическим миром; и хорошо его запомнил. Позволю себе на доброе слово Нахмана «здесь — наша родина» обратить к русским слово из другого разговора его с невестою:

— В жизни, Мейта, нужно быть добрым, милосердным... Мы сами слабы, беззащитны, но нужно быть милосердным...

Право, это может пригодиться, как правило, для всякого народа.

<О «НОВОМ ПУТИ»>

«Наши богоискатели», говоря языком «Миссионер. Обзорения», получают некоторое признание себя и в специальных духовных сферах. Недавно еще (см. июньская книжка «Богослов. Вестн.») проф. А. И. Введенский на торжественном диспуте, в стенах старейшей Духовной Академии, сделал ссылку на протоколы «Религиозно-философских собраний» в С.-Петербурге и, указывая на ход мыс-

ли, там выраженной, предложил диспутанту и товарищам по науке приступить к переработке «методов догматики» (речь его перед диспутом так и озаглавлена: «К вопросу о методологической реформе православной догматики»; произнесена она 9 апреля нынешнего года). В последней же книжке «Нов. Пути», где печатались эти протоколы, помещено письмо-статья за подписью «священника П.», под заглавием: «Странные люди», начинающаяся так:

Для большинства современных представителей церкви религиозные идеи главных деятелей «Нового Пути» Мережковского, Розанова, Минского и проч. — неместимы, странны, безумны. Некоторые делают вид, что им понятны эти идеи; в действительности им же доступно только внешнее логическое их выражение, дара же внутреннего озарения и проникновения в сущность «странных глаголов» им не дано. 10

И далее, в заключение довольно длинного письма:

Между тем, увидевшие новые горизонты веры, созревшие для новых откровений духа, небольшою кучкою вдохновенных пилигримов с затаенною надеждой приблизились к дверям спасительного храма. Они прошли сквозь пустыни неверия, чрез стремнины сомнения. С лона природы, из зеленеющих дубрав, с простора полей, с свободной выси горных хребтов, — богатые опытом прошлых народов, вместившие всю полноту их религиозного знания, — они притекли в Храм Единой Истины и здесь увидели мрачные сени, тишь многовекового застоя. Сквозь мрак с трудом разглядели дивные черты своего Бога. И вот теперь страстно просят хранителей храма потоками света спугнуть стужившийся сумрак, воздухом свободы обвеять атмосферу веков. А им на это говорят: «Странные люди!». У порога храма они сложили все собранные в долгом пути сокровища мира, умоляя жрецов принять и освятить эти дары, — а им в ответ: «Ничто мирское да не входит сюда!». Время идет. Они ждут. Неужели не примут их дары и возвещаемой ими истины не дадут места в храме? 20

Время идет. Нарождаются новые души с жаждою новых прозрений. Для них «странные люди» — желанные гости, дорогие вестники идущей религиозной весны. В смелых речах пилигримов они чуют воду живую, утоляющую заветные устремления сердца. От этих речей пробуждаются «спящие в гробах», загораются новым пламенем души, и пламень этот — верим — со временем широкими волнами обойдет всю землю нашу, им расцветится и «самый недоступный храм», наявстречу грядущему Солнцу — Христу. Да будет так! 30

Священник П.

Все это знаменательно. Значит, и часть священников, и часть представителей академической богословской науки (проф. А. И. Введенский — автор нескольких капитальных трудов) признает *raison d'être* за нашими «богоискателями». И кажется, это полнее и лучше выражает нашу терпимую славянскую натуру и самый дух кроткого православия, нежели поднимающиеся кое-где окрики на «богоискателей». Пусть их ищут. А где не найдут или найдут что дурное — во власти критики всегда остановить их, да, остановивши, — и поучить «плеточкой», говоря словами «Домостроя», конечно «плеточкой» словесной. 40

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

<Е. Милицына>

Удивительно, как связываются в уме явления. Я вторично перечел помещенный в февральской книжке (этого года) «Русской Мысли» рассказ: «Идеалист», подписанный женским именем «Е. М. Милицына» и посвященный «матери моей Н. С. Р.». Рассказ этот, всего две-три картинки из жизни сельского священника, судя по некоторым данным, едва ли не передает просто воспоминание русской женщины, вышедшей из духовенства в «образование», о доме отца своего; причем вставленный в рассказ длинный разговор «сына с отцом» о духовенстве и об образовании легко дешифрируется, если на место сына, кончившего семинарию и собирающегося в университет, мы поставим «дочь», собирающуюся «на курсы» и потом вышедшую замуж (другие инициалы посвящения, нежели инициал фамилии автора). Рассказ, по совокупности этих данных, имеет все значение факта. Но я позволю сказать о том, с чем он связался в моем уме. Года три назад появились сперва на немецком, а затем и на русском языке (с небольшими пропусками) знаменитые чтения (в Берлинском университете) Гарнака «о сущности христианства». Для науки истории церкви имя Гарнака имеет то же значение, как имя Моммзена для римской истории. Близкий друг и частый собеседник императора Вильгельма, он получил от него орден «Pour le mérite» *: император хотел чем-нибудь выразить особенное, лично испытанное уважение, может быть — благоговение, к этому человеку, который не только заново переработал все отделы церковной истории, открыл множество новых памятников древне-христианской письменности, указал настоящее значение и место ранее известным, но и имеет (в религиозном отношении) душу так благоустроенную, с таким спокойным и высоким сиянием ума, как это бывает только у счастливых соотечественников Гёте и Гумбольдта. Между прочим Гарнак этот выходец из России. Сын профессора богословия в Дерптском университете и сам воспитанник этого университета, он затем перенес учебные и ученые занятия за границу и, переменяв несколько раз университет, был в 1889 году позван в Берлинский университет. Таким образом он знал несколько Россию, и когда говорил в чтениях «О сущности христианства» о сравнительном характере трех главных в Европе церквей, то не мог не обратить несколько подчеркнутого внимания и на нашу «русскую веру». Был он в переписке с знаменитым петербургским профессором В. В. Болотовым, высоко ценя его труды, как и труды других наших ученых, Иванцова-Платонова, Лебедева, Глубоковского, давая о них в своем журнале пространные немецкие рецензии. Таким образом, он не чужд России; знает, по-видимому, русский язык; ни мало ей не враждебен. И вот, когда года три назад появились его «чтения», сейчас же переведенные на все главные европейские языки (у нас появились почти одновременно три перевода), русские не могли не быть удручены его отзывом о православии. С документальной стороны он знал его историю и учреждения, в русской и в греческой частях, так же хорошо, как например и Голубинский, знаменитый московский историк русской церкви. Вообще это не было поверхностное суждение по незнанию дела. И вот, проводя сравнительный анализ католи-

* «За заслуги» (фр.).

чества, лютеранства и православия, он говорит о последнем, что первоначально Евангелия до неизвестности «погребены в нем под языческими вставками». Читатель все и сразу поймет, если я объясню ему, что критика Гарнака, убежденно и страстного «евангелиста» на моральной основе, есть, в сущности, по мотивам и направлению, критика южно-русского штундиста о православии: только углубленнее и благороднее выраженная, выраженная гениально. Должен заметить, когда я сам читал книгу Гарнака — я был поражен целыми страницами совершенно новых для меня мыслей о предметах давно знакомых (например о жертвоприношениях); вообще, это — действительно Гумбольдт своего дела. Но в то же время недостаточность целого, все основной точки зрения, всех исходных убеждений автора, до того резали душу, что я мысленно переименовал заглавие книги: «О сущности христианства» в другое и истинно соответствующее делу: «Христианство без сущности». Он пытается убедить читателя, что в христианстве содержится преимущественно мораль; закон сердца. Что в центре ее стоит личность удивительная, неизъяснимая, не встречающаяся еще в истории — *но одной категории с нами*: можно сказать — тенденция всего протестантства, в котором в конце концов «человеческое» поглотило, поглотило и затушевало «божеское». Таким образом «суть» христианства вынута из него: все становится естественно-историческим процессом, без чуда (для меня столь явного, уж позвольте личную мысль) в нем! Когда именно в «чуде» этом, т. е., прежде всего, чуде словесном самого Евангелия и в чуде Лица, в нем описанного, и содержится «суть» христианства, без коего, поверьте, переворота от римлян и греков к «нам» не произошло бы. Но я не хочу критиковать Гарнака, а перенестись только к словам его о России и «русской вере», в каковое имя мне хочется (да и часто мы это делаем) переименовать холодный термин: «греко-российская церковь». «Оно полно языческих вставок», резюмировал свою мысль о нем Гарнак. И вот, если бы голос мой мог донестись до Гарнака, если бы кто-нибудь мог эти скромные строки перевести ему на немецкий язык, я бы попросил его перечесть теплое воспоминание русской женщины об отцовском священническом крове, и, вдумавшись в его подробности, перерешить исторично вопрос и для него, и для нас важный, о «сущности христианства», «сущности язычества», и, в частности, нашей «веры», якобы полной вставок из второго в первое. Ему видима и осязаема была история и устройство церкви по документам. Доселе — он Гумбольдт. Но есть документ, а есть еще и человек, о котором документ написан: и вот здесь проходит граница Гарнака, за пределами которой (увы, узкими!) он перестает видеть и понимать. Есть халат Афанасия Ивановича, мужа Пульхерии Ивановны, и он совершенно такой же, как и халаты, положим, Плюшкина и Акакия Акакиевича: в одно время шит, по одному покрою, из одинаковой дешевой материи и все три на вате. Но какая разница между носившими их людьми! Родившийся в Дерпте, учавший в Берлине, всегда в немецкой среде, он знал только одеяния нашей веры: а «сущности» ее он так же просмотрел, как он просмотрел, кажется, и «сущности» христианства, и потому именно, что не вошел, не обжился, не принял (да! да!) к дышущей русской груди, к домику русскому, к церковке; русской, к приходу русскому. Автобиографическое воспоминание русской женщины оттого при чтении и вызвало у меня параллельную мысль о Гарнаке, в смысле «поправки» к нему, что дочернее сердце в вере «отца», и, кажется — покинутой вере, но с любовью вспомянутой, подметило все то, чего не дано увидеть хотя бы и величайшей учености. Мы

все ищем. И Гарнак ищет. За это он получил «Pour le mérite»: т. е. что он не обыкновенный профессор, а исключительный. А разве «исключительные» люди, исключительные умы не пишут «сущность» положим языка в прибаутках, поговорках, песнях, дурачестве народном (Вл. Даль), или не отыскивают каких-нибудь бацилл даже в извержениях холерных больных. Итак Гарнаку как именно человеку неподкупной и настоящей «заслуги», «mérite», можно отправиться в «ученое полонничество» в русскую деревню, а к серии необозримых изученных документов присоединить и неприятзательное воспоминание: «как же верили, чем жили, чем держали нравственность наши отцы, на протяжении тысяч
10 верст, на протяжении семи-восьми веков».

Автор, я сказал, дает лишь две-три картинки, очевидно зрительно оставшиеся еще у ребенка-девочки, может быть не заснувшей в своей кроватке и видящей из-под одеяла, что делается в комнате «больших». Но мы понимаем, что картинка — часть целого. Не может зуб мамонта встретиться у допотопного хищника, а клыка кошки вы не припишете жвачному животному. Так в зоологии. Так в истории. Так в быту — и в зависимости уже от больших контуров веры, религии. Пусть же войдет сюда Гарнак; и прислушается, и раздумывает:

«Окончив положенное правило (обязательная домашняя молитва священника накануне службы), — батюшка, старичек лет 55, небольшого роста, в темной старенькой ряске, тихо ходил из угла в угол по своей выбеленной зальце, при свете лампы перед образами, и в его тихой походке, и во всей фигуре, сказывалась привычка долгих лет — ходить, когда думалось. Под его ногами поскрипывали половицы, и когда он доходил до шкафчика с посудой, шкафчик весь вздрагивал, и посуда звенела; но ко всему этому батюшка привык уже давно, и теперь, заложив руки в карманы подрясника, он тихо ходил и думал, и те мысли, какие приходили ему, также не нарушали тишину, окружавшую его; оне сливались с общим настроением беленькой зальцы и светом лампы в ней. — В соседней комнатке, батюшка знал, — горят также лампы. В полуотворенную дверь в нее, он видел свою матушку попадаю. Она стояла на коленях перед киотом, в котором сияли серебром старинные образа, и при свете лампад, горевших у них, читала акафист. Это был
30 рукописный акафист (NB: они до сих пор сочиняются, есть „одобренные“, а есть и не одобренные — „про себя“, и это может каждый), написанный когда-то, в минуты творчества, о. Андреем, и он помнил наизусть его выражения:

Радуйся, зарнице, будущего всех единения,
Радуйся, Благодатная, кротостью мир покорившая...

видя, как матушка кладет поклоны перед образами, мысленно говорил о. Андрей.

Радуйся, солнце, светило любви незакатное,
Радуйся, цвете прекрасный в небесном веселии.

Он продолжал тихо ходить, и скорее знал, чем видел то, что было за полуотворенной дверью. Там была вся прошлая их жизнь, проведенная вместе. В углу стояла их двухспальная кровать, которую матушка берегла, как воспоминание о молодых годах их супружеской жизни. — Много лет стояла эта кровать, убранная, как в первый год, под кисейным белым покрывалом и давно уже никто на нее не ложился. Матушка спала на сундуке; он — в своей комнате, на деревянном диванчике».

Вот отрывок, кусочек действительности, притом в целом, органическом ее виде, без разрушения тканей, — которую Гарнак в «Чтениях» наименовал как

«язычество». Он определенно говорит именно об этих вещах: употреблении икон в православии, восковых свечей и деревянного масла, о металле и камнях в украшении образов, и наконец о множестве в богослужении нашем не евангельских текстов, как эти акафисты, которых мы «не могли, не в праве были сами сочинять». Между тем автор рассказа, — по некоторым подробностям судя, чуть-чуть не «нигилист» — назвал самый рассказ: «идеалист», определяя так образ и веру отца. Откуда же как не из враждебного лагеря, и узнать истину, *minimum* истины. И если отсюда несется: «идеалист», «идеализм», несется в этих терминах, привычных уху Гарнака, ибо вышло из философии его страны и народа, — то не причина ли для него глубоко задуматься над «язычеством» нашей 10 «веры» и квалифицировать ее не этим жестким именем, нами пренебрегаемым, для нас презренным, но как-нибудь иначе?! «Идеал», «идеализм»: поставил ли где-нибудь границу и «точку» для него Христос? Сказал ли Он, Гарнаку или человечеству: «доселе — и не далее», «это — и не более»? Не учимся ли мы, что божественна (по источнику сотворившему) самая натура человечества (пусть и «греховная», т. е. слабая): и вот, услышав от Христа слово — насторожила уши и на дивный глагол в ответ из нее полились свои глаголы, не вторящие Христовым, но отвечающие на них, как «ау» отвечает на «ау» в лесу, в каждом дереве, камне, — и образует «лесные голоса». Так и история — что лес, с тайною в ней, как 20 в нем; с видениями, фантазиями, вымыслами, преданиями, страхами, умилениями: что все и отличает органическое «лес» от стольких-то «кубов сосновых дров», в каковые Гарнак ученым образом хотел бы превратить его. Переходя от иносказания к делу — хотел бы вынуть из «истории христианства» самую «душу» его: ибо, спрашивается, зачем же эта и «документальная история», которую он исследовал, когда *некому* на земле верить, *негде* верить, не для чего; нет того «идеализма», который подметила дочь у родителей — а Гарнак это назвал «суеверием», «пустяками» и «язычеством». Просто тогда не нужны не только «Чтения» Гарнака, но и самый предмет, о котором он читал. Если «лес» преобразовать в «дрова», то ведь можно и Гарнака преобразить в утилитарного «дровокола», а на месте берлинского университета поставить выгодную мельницу или лесопильню. 30 Зачем останавливаться и где остановиться? Но русский гений — уже позволю так выразиться — не только все хотел бы оставить Гарнаку и Берлину (и приумножить), но он обратно, сколько было у него сил, из самых дров восстанавливает опять лес; «документы» веры слагает в живую веру; и, наконец, не изумительно ли (это-то, это и называет Гарнак «язычеством»): он стихии природы, казалось бы бездушные, оживляет дыханием любви своей, проницания своего, взяв воск из-под пчелы и преобразовав его в «свечу Богу», выжав из маслины сок — влил его в сосуд, поставил фитиль и зажег огоньком Богу.

И жарка свеча
Поселянина
Пред иконою
Божьей Матери.

40

В четырех этих строчках (и как мы, русские, любим их!) не больше ли теплоты, небесного света, связи земли с небом («*religio*» = «связь»), нет: скажем лучше языком самого Гарнака: не больше ли «идеализма», нежели в годовом курсе его лекций?

То, что Гарнак так неосторожно (и неразумно) наименовал «язычеством», очевидно также не поняв «сущности» и его, как он опустил в «Чтениях» сущность христианства, есть не иное что, как глубочайшее проникание в сложение мира и земных вещей и отыскание среди них частиц связуемого с Богом. А ведь «сущность христианства» и есть «связь людей с Богом». Христос и пришел «связать людей с Богом». Не так ли? Это — и по Гарнаку. Были ли уже христиане, крещены и обучены катехизису люди, принесшие золото и ладон в пещеру к рожденному Христу? В некотором отношении они были первые христиане, а с тем вместе были и последние язычники. Не крещены и еще от «богов» своих, «божков» — не отреклись. Ничто еще не потрясло в них; а уже притекли к Христу, и в ладоне, и в золоте своем принесли и наши свечи, и серебряные наши на образах ризы. Не удивительно ли и не трогательно ли, что металл, предмет скупости, источник ссор, рассекается в ризу, источник соединения (молящихся перед образом) и отречения от богатства. Тут-то и секрет (мнимого) язычества: преобразование или бездушного, или вредного — в одушевленное и наконец благотворное, святое! Не так ли сотворил «из глины» человека и Бог, «вдунув дух» свой в него: но также поступает и человек, превращая воск — в свечу, и масло — в лампаду, «вдыхая дух свой» в них. И сам Христос, когда Он пришел на землю, не сотворил ли всю ее «ризою» Отцу своему, прибавив нечто к человечеству, именно «дух свой». Поразительно, что в самой природе вещей, до христианства и вне христианства, есть более и есть менее святые вещи, приспособляемые или вовсе не приспособляемые, напр., к «богослужению». Ведь масло в богослужении — оно древнее Христа. Почему же люди догадались? Почему Гарнак порицает нас, когда он не разобрал инстинкта, заставившего делать то же за тысячелетия до нас. Значит есть святость в самих вещах, есть вещи... с небесным блеском в себе, что ли: и в этом-то и лежит ключ к разгадке целой вереницы загадок, о которых даже не спросил себя Гарнак. Как и сама земля (планета) есть, если угодно, «фетиш» (употребим презрительный термин Гарнака в отношении многих подробностей православия), отчего на нее и пришел Христос — спасти ее с любовью. «Одна душа человеческая выше приобретения сокровищ всего мира». Имеем слово, объяснение: «Тако Бог возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного предал за него»: возлюбил еще до Христа, и уже по любви — прислал Христа. Гарнак же собственного-то существа мира и не любит, достоинство его отрицает, способности его к святости — смеется и ее презирает. Отсюда его, как и у штудистов, бедный «евангелизм», представление, что Евангелие легло золотым переплетом на пошлую и сорную книгу человечества, без связи этой книги и этого переплета, без догадки, что ведь были же качества в самых страницах книги, за которые ее и переплели в такой изумительный переплет? Эти «качества самой книги», т. е. былой, еще до Христа, жизни человеческой, в народах, в семьях единичных, в одиноком человеке, у Иова, у разбойника на кресте и, дальше — больше, в самой пчеле, около человека живущей, и в маслине, от плода которой он кормится, и суть презренно именуемое «языческим воззрением на вещи», но что Христос оценил иначе, сказал об одной язычнице: «Поистине, и в Израиле Я не нашел такой веры» (о хананеянке), и повторил Павлу в видении: «Иди к язычникам». Гарнак же, отвертываясь от них, идет не по путям Павла, а скорее Савла, и только не слышит Христова плача: «За что ты меня гонишь».

Я сказал, что некоторые особенные, таинственные вещи избираются человеком в «орудия (или пути) служения Богу». Золото, серебро — выбраны; медь — нет! нигде! Кажется, это только по дороговизне? Не по одной: какая особенная цена в пятикопеечной свечке, в фунте масла, которое за 30 коп. горит неделю? Но золото и серебро не окисляются, не изменяются, как и душа не должна бы изменяться в добром, не «окисляться» среди обстоятельств и житейских столкновений. Стихии огня и воды (в крещении) угодны Богу. Но ведь посмотрите, отирание водою, одно только отирание, как оживляет нервы (= «душу»). Значит, есть у нее особенная и таинственная связь с жизнью, с самым родником ее: ибо нервами мы живем, движемся, думаем, в конце концов — относимся и к Богу. Через огонь очищаются все вещи, огонь — последняя чистота. Но зоркий глаз человека, высмотрев все это, именно преобразил «дрова» опять в «лес», постигнув духовное сложение самой природы. Худо ли это? Почему это не угодно Богу? Как это докажет Гарнак? И вот — следы этого, которые везде окажутся. Механика «производительности», глава политической экономии, жесткая, беспощадная, нечеловечная, превращается тогда в трудолюбивый быт, с поэзией, сказками и мягкостью в нем. Автор нашей повести дает нам все это чувствовать; и мы должны помнить, что если это не выходит, своею обширностью и значением, за пределы сельского дома, то, во-первых, внутри даже единичного дома, где нет этого своеобразного одухотворения материальных вещей, вся жесткость экономики, пусть даже в отношениях единичного господина и единичного раба, скажется; а во вторых, велико ли и это самое «одухотворение» у нашего «идеалиста»? Мы приведем маленькие иллюстрации этих последовательных ступеней одухотворения. Воск около пчелы, возле пчелы — пчеловод. И вот прислушайтесь к речам между ним и батюшкой:

Подходит дед Гордей, пасечник, высокий старик в белой рубахе:

— Веселый лёт, батюшка, веселый лёт, — говорит он, указывая на улы. — Чует пчела хорошее лето... Человек не чует, а пчела, она — Божия, чует...

И начинает Гордей рассказывать, как земля в прошлую ночь сильно говорила, — тоже к хорошему году... какие голоса были слышны: перепела кричали, утки... дергач бил... соловьи... И не перечесть, и не переслушаешь всех голосов... Всякая букашка, всякая тварь отзывалась...

И долго говорил батюшке об этом Гордей. А мальчик, Павлуша (брат рассказчицы), слушает его...

Кто не помнит, из хронографов и летописи, как перед Куликовым боем старый опытный боярин тоже «слушал землю», — и ничего не сказал юному Дмитрию Донскому о грозных голосах, которыми «матушка сыра-земля» сказала ему о завтрашнем дне. Что это, правда ли, ложь ли? Что такое «народные приметы»? Простите за сравнение, но оно необходимо: собака «верхним нюхом» слышит пролетающую за несколько минут по воздуху птицу, а человек?! Для него это — невероятно, непредставимо, неизъяснимо. И может быть, у первобытного человека, который тысячу лет — без развлечения, без шума городов, без грамоты — только слушал, только смотрел, сравнивал и изучал одно миниатюрное поле предметов — и зрение и слух и постижение «примет природы» были тысячекратно могущественнее нашего; вот как у «лягавой собаки» — без всякого только уничтожения.

Пасечник этот ни за что не хочет умереть весной; «осенью — хоть сейчас умрет». — «И пришлось однако, — вспоминает его хозяин и священник, — умереть все-таки весной». Но вот его предсмертные заботы, воздушные, легкие, смеем сказать, — безгрешные:

— Как я теперь тебя оставлю, — говорил ему (священнику) Гордей. — Ты подумай только, когда я умирать собрался: не вовремя, ох, не вовремя!.. Теперь пчела ожила, а я умираю... Ты улей-то тот, сильный, ты оставь его, не дели... Поделишь — ослабнет; а вот еще улей есть, ослабел он, — говорил Гордей, навсегда оставляя землю и интересуясь одними только пчелиными делами на этой земле.

10 — Устроим как-нибудь, — стараясь отвлечь его от пчел, отвечает о. Андрей, — ты о душе подумай, Гордей; о милости Божией... Помолись о прощении грехов.

— Нельзя же так пчелу-то оставить, — упрямо твердил старик, полный тревоги за оставляемую без хорошего пасечника пчелу. — Ты Пахома не бери; Пахома я тебе не велью брать, — говорил он уж совсем ослабевшим голосом; — его пчела любить не будет, а меня пчела признала за своего (!); любила меня пчела...

Ученое исследование религии давно отделилось от религиозной народной жизни; стало объективным и отвлеченным, как бы исследование далекой звезды или допотопного скелета. От этого, даже при лучшей осведомленности и полной добросовестности, оно дает плоды сухие и недостаточные. Просто, оно не верно фактически, потому что не дает того, что лежит главною частью в действительной вере: ее аромат, смысл, жизненность. Племя русское, в тысячелетнем труде, страдании, вечно (для каждого) перед лицом смерти, без рассуждений, без философии извлекло для себя лучшее из «язычества» (уж если нужно употребить этот термин) и из христианства, соединив одно и другое в совершенно нерасчленимое целое. Здесь не бедность, как представлялось Гарнаку, а удвоенное богатство. Протестантизм, с силою оттолкнувшись от католичества, которое так же, как и наша «вера», богата наружными и вещественными выражениями религии, потерял вообще религиозную связь с природою, с космосом. Протестантизм — мораль, а не космогония. А человеку нужна не только мораль, но между прочим и космогония. Замечательно, что у протестантских народов, и только у них одних, выделилась пантеистическая философия и пантеистическая поэзия, Гёте и Шеллинг. Это то же, что «материалистические начала веры» у нас и католиков, но уже явившиеся за стенами церкви, как неудержимая мысль и неудержимое чувство человека. Эти начала и шеллингианства, и «Фауста», они есть и у нас, но написанные не гражданским шрифтом, а старым готическим (у католиков) и церковно-славянским (у нас); написанные не так тонко, как это мог сделать индивидуальный гений, но зато сильно, народно. Когда-то еще Шеллинг и Гёте будут усвоены в полях Померании, в горах Шварцвальда: нашему народу его сложная вера говорит... не это самое, но приблизительно это, в этом духе и направлении, множество «материалистических», «языческих» своих начал. Отсюда, как мно- 40 гими замечено, при весьма плохих нравах, при шаткости вообще единичной русской души и единичной русской жизни, такая глубина народной души у нас, такой «ум» в народе, не смешивающийся с ловкостью, изворотливостью, «умением жить». Откуда это у безграмотного, до азбуки? Ничему нельзя это приписать, как: 1) ежедневно слышанному им и 2) близости к природе, притом близости душевной, не утилитарной, а поэтической. Но ежедневно он только и знает... даже

не столько слова, как *вид* богослужения. И вот этот *вид* договаривает то, что он смутно и сам нашел, подслушал, подсмотрел в природе. Он вовлек, и в дым фи-миама, и в аромат мира и ладона, в горящих огнях, в окроплении водою, в золотых, упитанных жемчугом ризах — сопоклониться Богу и природе. «Зачем природа? Какое это отношение к поклонению не *в духе и истине*, как заповедывал Христос», — говорит Гарнак. Но Гёте и Шеллинг поправляют его.

Мы радуемся, что маленькая русская повесть живым чувством автора дала почувствовать все это непосредственно и неопровержимо.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

<М. Лемке>

10

Недавно вышла отдельным изданием довольно объемистая книга г. Лемке: «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия», содержащая факты журнальной жизни, включительно по 1864—66 год. Автор довольно основательно замечает в предисловии:

«Чтобы уяснить себе малейшие, еле заметные изгибы литературной мысли и даже формы, изучаются очень подробно биографии писателей, общие исторические и политические условия той или иной эпохи, и т. д., но доминирующее над всей литературой условие — цензура — очень часто оставляется без внимания... Можно сказать утвердительно, что русское общество не знает истории того института, через горнило которого прошла вся его литература... Но изучение истории цензуры безусловно важно еще и с другой точки зрения. Нет лучшего способа для исследования *всей в совокупности* (курсив автора) политики любого момента, как именно это изучение условий проявления человеческого духа в литературе...».

Эти слова предисловия очень манят читателя. Автор говорит несколько далее, что серьезных трудов, рассматривающих внешние условия печати с этой общесторической точки зрения, у нас очень мало, а таких, «в которых вскрывалась бы причинность этих изменений и моментов — еще менее». Г. Лемке не только прекрасно знает печатную литературу рассмотренных эпох, но и изучил богатый письменный материал, относящийся до истории цензуры в России, — и особенно документы, переданные в Публичную библиотеку на хранение из министерства народного просвещения за тот период, когда цензура находилась в ведомстве этого министерства.

Книга его очень интересна как чтение. Факты прошедшего, уже иным духом, нежели наш, производят на мозг освежающее впечатление — и от этого так любишь вообще историю. А здесь она переполнена живым и ежедневным волнением. Волнение это не простирается глубоко. Автор сетует, почему историки литературы занимаются мельчайшими биографическими подробностями писателей и менее обращают внимание на столь общий институт, как цензура. Но это — оттого, что в «мельчайших подробностях биографии» скрыт зиждущий, сотворяющий момент в отношении к занимаемому поэтом или мыслителем: а в том институте,

который изображен у г. Лемке, не содержится ни одного или почти ни одного мотива, темы, «направления» писателя. Он вообще похож на квартиру, занимаемую, положим, Фетом или Некрасовым: конечно, она так и этак удобна или неудобна для «поэта и гражданина», у него есть неприятности с хозяином или полное к нему удовольствие. Вообще, если ежедневно рассмотреть жильца, то как будто квартира есть главное: эти высокие стены, обои, которые он постоянно видит, маленький угар от печей, вид на Неву и пушку, из которой стреляют в 12 часов... Да, все это нужно знать, и, любя Фета или Некрасова, как не описать и квартиру, в которой каждый из них жил? Но, в сущности, это не важно; по крайней мере — не центрально. При одних и тех же условиях Пушкин пишет одно, Булгарин — другое, Огарёв и Брамбеус — совсем третье. Современниками были Щедрин и Катков. «Мелкие подробности биографии» действительно несравненно важнее темы, избранной г. Лемке, ибо они необыкновенно много объясняют историку, тогда как им избранная область скорее объясняет то, «чего не было» и «почему не было» (каких тем или в каком тоне не касались), нежели «то, что было» (подлинный предмет истории литературы). Цензура вообще подобна Дарвиновым «условиям» внешнего существования»: по знаменитому натуралисту, зайцы с короткими ногами в английских лесах были все съедены волками, а пережили «приспособленнейшие» — с длинными ногами. Хорошо. Но ведь не волки же их отравили, — а они выросли, по Дарвину же, «как случайное отклонение от нормы». Вот эти «случайные отклонения», наросты, или, в переносе на литературу, — гений или талант писателей и «мелкие биографические факты» — и изучаются историками литературы, справедливо оставляющими без внимания «не выживших зайцев», ибо их — нет! не видно! чего же их изучать!!? Ведь и сам г. Лемке, вопреки словам предисловия, все же однако занимается в книге именно теми литературными явлениями, которые «увидели свет». И только это одно у него и занимательно; что же касается того, как сановники переписывались о литераторах, все эти «разговоры» и «записочки», доклады и «донесения» Д. П. Бутурлина, барона М. А. Корфа, П. И. Дегая, Строганова и С. С. Уварова, то все это представляет любопытный материал для политического историка, а для обозревателя самой литературы — это глубоко скучные, бессодержательные страницы. Историк литературы не найдет здесь никакой пищи для ума своего и сердца (а в отличие от политического историка, он в значительнейшей степени ими живет и хочет жить), ибо прежде всего не может даже разграничить, где лежит убеждение автора «доклада» и где он делает просто «шаг по службе». Поразительно — и многому могло бы научить самого г. Лемке — что тот самый Строганов, который в бытность попечителем Московского университета создал для него золотую пору, кульминационный момент процветания, вызвал к жизни и деятельности всю плеяду ученых и профессоров конца 40-х (и позднее 50-х) годов, друг и покровитель Грановского, Кудрявцева, Соловьёва, Буслаева, и мн. др., в то же время, будучи уволен из попечителей гр. С. С. Уваровым, через жалобу Государю на распушенность печати, допущенную этим министром, был первым возбудителем и двигателем учреждения знаменитых «комитетов» 27 февраля и 2 апреля 1848 г., произведших в нашей литературе, между 1848 и 50-м годами, эпоху, называемую автором нашей книги «цензурным террором». Это тот самый Строганов, у которого, почти юношею, давал в доме уроки Ф. И. Буслаев и который, взяв лупу и показав начинающему ученому следы древней позолоты в прическе

бронзового Аполлона, которого репетитор за несколько целковых купил у старьевщика и принес показать патрону, объявил, что древние статуи золотились, что никогда этого потом не делалось, и что купленная вещь есть единственная в мире подлинная античная копия Аполлона Бельведерского (теперь стоит во дворце Строгановых, на углу Невского и Мойки). «Он такие вещи сделал в последнее время, которые искупить трудно», — сказал Грановский об этом любимце, кумире и действительно благодетеле университета. Вельможа и богач, не нуждавшийся ни в каком положении и никаком жаловании, ради оскорбленного самолюбия, которое именно для него было не более укола булавки, подверг опасности и наконец вверх в бедствие то самое образование страны, которому отдал свои силы и талант в предыдущие годы и которое столь глубоко понимал, ценил, ощущал! Что же мы будем говорить о Бутурлине, Дубельте, Бенкендорфе, Булгарине и прочих «*mauvais sujets*» * г. Лемке, когда образование для них было вещью незнакомою, чуждою, постороннею, было какой-то чужеземной страной, если уже не неприятельским лагерем, куда попадет ли шрапнель, будет ли там мор или «благорастворение воздухов» — для них было безразлично прежде всего по основной причине непонимания и отчужденности. Вот маленькая иллюстрация этой отчужденности. В 1850 г. в Одессе, на годичном акте Ришельевского лица, была прочитана и там же напечатана обычная речь, в которой профессор философии, сын православного священника, Михневич, излагал Шеллингову философию. Кажется, ничего? Шеллинг — идеалист, в Бога верил. Можно было разве иметь неудовольствие на то, что он немец. Просто даже в голову не может придти, что бы такое мог возбудить Шеллинг в далекой и купеческой Одессе? Но не могущее никому придти в голову, кто знаком с делом, пришло в голову комитету 2 апреля, которому был поручен негласный и всемогущий (ему даже был подчинен министр народного просвещения) надзор за литературою. И он, со своей стороны, тоже ничего противного цензурным правилам не нашел в содержании речи, но посмотрел на такое произнесение «вообще» и с высшей точки зрения.

«По неразрывной, в настоящем случае, — докладывал он, куда следует, — связи одного с другим, не излишне было бы предоставить ближайшему рассмотрению министра народного просвещения вопрос: может ли быть полезно и благотельно для умственного и нравственного образования юношества преподавать ему философию в таких отвлеченных и высокопарных фразах (!!), и не обращается ли это скорее во вред через наполнение молодых голов громкими (!), но пустыми (!!) словами, не имеющими никакой практической цели (NB) и только внушающими неопытным умам ложную самоуверенность, будто бы, научась рассуждать свысока о я и не-я (= субъективный и объективный миры в терминологии Шеллинга), о развитии бесконечного, о произведении мира силою человеческого духа и тому подобных метафизических утонченностях, они сделали великий шаг на поприще науки?».

На первый взгляд, колоритна и, так сказать, художественно исторична вся надпись *in toto* **, как она сказала и фразировалась. Но мысль со вздохом замечает главные слова: «высокопарные фразы», «громкие пустые слова». Кто не

* «шалопай, негодяй» (*фр.*).

** в целом (*лат.*).

учился философии Шеллинга, для того, конечно, они — «пустые слова» и «высокопарные фразы», как для не учившегося алгебре что значит $a + b$ и т. д., целое уравнение, как не «простая выборка букв из алфавита», без всякого мыслимого отношения к величинам, счислению и измерению?! Таким образом, сперва это кажется художественным букетом (и собиранием таковых увлекается г. Лемке); но потом кончаешь простой и бедной мыслью: да для чего же следить за философией поручено было не знающим философии? за литературу — не понимающим литературы? Или еще иначе и другое: да как были столь нескромны люди, философии не учившиеся, а о ней судившие, литературного образования лишённые, а между тем ввязавшиеся в образование? Поставьте Атилле перед Римом: и всегда вернешься к «великому переселению народов». Все это так азбучно, первоначально и наконец наивно, что ни вздохов, ни негодования не вызывает. Вопрос тут — не духа, как предполагает г. Лемке, а — администрации.

* * *

Нужно для обширнейшей, еще грубой и военно-организованной страны сапоги для армии, — а ей читают о Шеллинге! Нужна воловья кожа, чтобы сапоги носились год, а если не проносятся, то Канкрин завопит, что бюджет — бедный, вечно бедный наш бюджет! — лопается: и среди этого страха, проносятся ли сапоги год, или не проносятся, вдруг подносят к носу, что одесский семинарист читает будущим служакам отечества *об я и не-я* берлинского профессора Шеллинга! — «Чепуха! Розгами его! Кто такой? семинарист? Не поляк ли? Все равно — розгами, или по крайней мере — в карцер!». Я хочу сказать, что все «*mauvais sujets*» г. Лемке происходит не от какого-либо «злого духа», как он хочет предположить, даже не от злоупотребления, а от ужасно неуклюжего, неудачного смешивания задач управления и от перемешивания, перетасовки людей, где генералы занимались литературой, а литераторы вмешивались в генеральскую толпу, где те и другие хотели быть вместе, когда им всегда следовало оставаться врозь, и делали одно дело, когда оно общими их руками просто не могло быть сделано! С точки зрения (действительно важной!) сапогов для армии — литературы просто не должно было быть, ни философии и науки! Не абсолютно «не должно было быть», но с точки зрения, положим, интендантства, в графы коего литература и в точности не входит! Г. же Лемке все удивляется и ужасается, зачем это и интенданты не жились в музее Фета. Да ведь и «практические» публицисты шестидесятых годов «музу Фета» отрицали же; просто — говорил ей: «вон!». С точки зрения прикладного естествознания Писарев и Пушкину сказал: «вон!». Хорошо. Логика практики вообще исключает выпренности теоретизма, и всякая «программа», т. е. определенное и твердое намерение, какое в праве иметь государственные люди, как и публицисты, не допускает «отвлечений в сторону». А. С. Меньшиков, Бутурлин и проч., все генералы, все не литераторы, а государственные люди, с страшной последовательностью и выдерживали этот действительно неопровержимый принцип всякого вообще практицизма и всякой вообще программы и программности. И тут нужно войти в их право, чтобы по крайней мере понять, почему так самоуверенно и, следовательно, *самоубежденно* они действовали!! Готфам надлежало оставаться в лагере, а римлянам — увы, уже знавшим Горация и Овидия, —

следовало, не покидая уединенных, тихих вилл, править тот или иной стих любимого поэта. Но когда они спустились в одно поле, и римлянин стал хвататься за варварский лук, а готф взял в руки пергамент и стиль — что, кроме смеха, грубостей и оскорблений, могло получиться!!? Если г. Лемке обратился к изучению той «причинности явлений», которую он нам обещал в предисловии несколько торопливо, то он понял бы глубокую неосновательность того патетического тона, каким его книга написана, да и вообще пишут «очерки истории цензуры». Все они пишутся из одного лагеря, с одной точки зрения; когда лагерей два и есть две точки зрения: «музы» и сапогов, увы, столь необходимых, столь действительно и горестно необходимых!! Иное дело, и г. Лемке (как и г. Скабичевский, 10 другой автор «Истории цензуры») торжествовал бы, если бы ему удалось доказать, что, например, португальской армии можно ходить не в сапогах, а в туфлях или босиком, что исправность Сибирского пути вещь второстепенная, что цена на гвоздь, шпалу и рельсы не так еще важна, и для казны должно бы быть интереснее, отчего теперь не выходит VII том, когда вышли 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8-й «Сочинений Вл. Соловьёва»? Но он сам говорит в предисловии, что история литературы у нас «к сожалению, сильно сужена благодаря изучению преимущественно одной только ее части, изящной литературы» (стр. XII). Стоит ему это свое *prim desiderium* * расширить, и он перейдет от «практической журналистики» к шпалам, гвоздям, сапогам, и вообще войдет в психологию «генералов 1848—55 годов», 20 на которых так жестоко обрушивается. Не все ли равно, Писарев в каске или без каски, и утилитарист из интендантства, зовут ли его Димитрием Ивановичем и он пишет «Разрушение эстетики», или его зовут Димитрием Петровичем Бутурлиным и он не понимает, зачем преподают нагурфилософию Шеллинга? «Tout comprendre est tout pardonner» **. Разделенные — все они рыцари: Грановский или Белинский на своей чреде; Норов, Бутурлин — на своей. Но несчастье их соединило... Ведь и поезда, отлично пущенные, хорошие, доблестные каждый — крушатся только оттого, что бегут не по разным рельсам и не по одному направлению. Гром, несчастье, стукотня... Но не говорите же, что это «бес сидит в паровике, и он причинил все горе». А между тем историки, когда пишут на эту тему, 30 дают похожие на это объяснения.

* * *

Как устаешь за работою, все детали которой, трудности и часто неисполнимость видны только самому работающему. Не забуду, как сильно критиковал я учителей, будучи учеником, и как пожалел их, сделавшись учителем. Все поле одной и той же работы (учения) представляет различное зрелище с двух точек, откуда на него (поле) смотришь. И вот я помню, что всех нас, учащихся (людей 40 с большими недостатками, с большим неумением, людей — нельзя скрыть — вовсе иногда неспособных к своему делу, но уж «взялся за гуж...»), итак, нас менее мучило замечание со стороны или сверху, директора или ревизора, нежели проказа критиканства над преподаванием нашим малышам в 14, 16 лет! Кажется

* благое пожелание (лат.).

** «Все понять — значит все простить» (фр.).

бы — «только мальчик!» и что нам его суждения! Тем более, что оно совершенно безвредно и малыша можно смирить в угол или наказать единицу. Припомним Строганова и сознаем действительное и всеобщее падение человека, восскорбим об истинном и неустрашимом ничтожестве людей, Строганова, учителей-гимназии, а также ведь и самих учеников в «исправном приготовлении уроков», и особенно этих учеников, когда они вырастут, начнут служить — и вот у них тоже окажутся свои «служебные слабости»! Я помню, до чего эта критика учениками учителей (увы, всегда почти справедливая, за вычетом «знания всех обстоятельств дела») была язвительна для нас, и я уверен, точь-в-точь так же директор департамента, несмотря на все свое юпитерство, болит, воистину болит, когда его не уважают за «незнание дел» столоначальники... Скорбь человека, я думаю, одна на троне и в лазарете. Из этого мною испытанного положения учителя, когда его метко и безжалостно критикуют ученики, я вывожу некоторое объяснение и «худых случаев в истории цензуры». Не бронзовые же болваны были все эти люди, между 47—55 годами: а жалкие, неспособные, но уже в положении: «взялся за гуж, не говори, что не дюж», как и мы, взявшись учить и не умея, не переходили все-таки в акцизные, в банк или на железную дорогу. «Тянули ляжку» и служилые люди 50-х, 40-х, начала 60-х гг., едва ли с самочувствием олимпийского «всеблаженства»... И бюджет, как его ни вытягивают, — все плох. Откупа... неужели кто-нибудь не знал, не ужасался, что значило одному человеку предоставить на спаивание население целого уезда?! Но Канкрин говорил (его фраза), что «десять кабаков дают средства на содержание роты солдат». А там — немцы и турки, там — Венгрия и Франция: роты нужны, без рот нельзя, «золотой век» еще не настал, и Белинский, и Грановский, тоже как в своем роде «неуспевающие ученики», обещали, да не свели его на землю... Уже все так устроено и стоит!! Послушайте, ведь и Грановский, такой свет для своего университета, был «штатным ординарным профессором по кафедре всеобщей истории», в последний год жизни даже исправлял «должность декана» и вообще был — *terribile dictu!** — чиновником на жалованьи, с повинованием начальству и аккуратным хождением в должности! Так уже «стоит»! И вот в этом «стоит!» — граница для всех: Бутурлина, Норова, Кавелина, Соловьёва и проч.

Пушкин сочинил Алеко, ушедшего к цыганам, но ведь то именно вольный помещик, «господин литератор», да и его все же «сочинил» Пушкин, т. е. он — миф, а не действительность. На самом деле для русского помещика, для литератора, для генерала, для Пушкина, это «все так стоит» (и частью «стоит — от века») есть роковое ограничение личности, из коего через силу и лишь избранный гений может кое-сколько повыйти, чуть-чуть расшатать эти пути около ног и рук.

Байрон ничему не повиновался, но ведь он был богач, лорд и гений! Где же, у кого это богатство средств, такое сочетание порывов и возможностей?! И Пушкин умер... в ничтожнейших обстоятельствах, бессильный порвать их, для чего только бы стоило ему уехать в деревню или выпроситься за границу! Таким образом жалок не только Строганов в своей мести Уварову, но и Пушкин — в зависимости от общества, г. Лемке — в зависимости может быть от школы, прочитанных книг и литературного лагеря, в рядах которого стоит. И вообще все мы жалки: и не будем же побивать камнями одного Бутурлина, зачем он не бежал

* страшно сказать! (*лат.*).

к цыганам, сняв генеральские эполеты, а «правил должность над литературой, куда по долгу службы был командирован». «Шеллинг учил, что в некотором роде вся природа есть изведение человеческого духа». — «Что такое? Что за чепуха? Шеллинг — поляк! Запороть!! До смерти!!» Замечательны постоянные инструкции цензорам: «читайте между строк, ищите настоящую тайную мысль автора» (подлинные выражения о задаче существования комитетов 1848 г.). Если «тайная», то, конечно, пожара от нее не загорится. Но озорник на парте, из-за ладони показывающий язык неумелому учителю — он-то и есть кошмар, который и наяву, и во сне видит этот учитель. «Его-то, его-то поймай!» О, что явное! Что эти французы, немцы, их пушки, штыки; но эти славянофилы, которые на Собачьей площадке (адрес Хомякова) все видят и знают, этот насмешливый тон Белинского, меланхолия Грановского — это сводит с ума неудачных педагогов, ибо все у них — истинно, знание обстоятельств — есть, и есть настоящая нравственная правда, которой опровергнуть невозможно, а признать... еще невозможнее! Замечательно почти чувство мести, сказавшееся, напр., в расправе с Ю. Ф. Самариним за его начавшие ходить по рукам «Рижские письма», где осуждалась и высмеивалась наша политика в Остзейском крае. Вообще ничего, конечно, опасного в литературе того времени не было. Но был «психологический момент», действовавший так же бурно и страстно, как в трагедиях Шекспира или в комедиях Островского и Гоголя. В конце концов центральным образом дело заключалось в неуклюжести и неопытности механизмов управления. «Генералы» не очень справлялись с собственно принадлежащею им «амуниционною» частью. Они несомненно справились бы с нею если не хорошо, то лучше, если бы вовсе не отвлекались в сторону Шеллинга и Белинского. Но страх неуспешного дельца быть высмеянным в своем деле повлек их к нервному надзору за обществом, учеными и литераторами (не за литературой и наукою). Известно, что чем слабее сам педагог, тем он взыскательнее к ученикам. Смешалось то, чему следовало быть разделено. Рим овладел Грецией; и только остается ожидать времени исполнения Горацианского стиха:

Плененная Греция пленила (музами) Рим.

Вот, мне думается, немножко «прагматической истории цензуры», того «соотношения внутренних причин и следствий», которое г. Лемке вовсе не указывает.

ПИСАТЕЛЬ-ХУДОЖНИК И ПАРТИЯ

Смерть Чехова, во всякое время грустная, не почувствовалась бы так особенно остро, как ныне, будь иное литературное время. Но теперь, когда он стоял сейчас за Толстым, когда около Чехова и в уровень с ним называлось только имя автора «Слепого музыканта» (Вл. Короленко), и то почти переставшего писать; когда и в Европе торчит каким-то бесстыдным флагом только «всемирное имя» Габриэля д'Аннунцио, и больше, назвать некого, т. е. назвать сразу, без колебаний — потеря эта чувствуется чрезвычайно. Все талантливое — старо, уже почти

не пишет, во всяком случае ничего большого не обещает; а все новое, молодое — бессильно... И это не в одной нашей стране, не только у славян, но и у немцев, англичан, у норвежцев, у кельтов... И даже больше: это не в одной литературе, но также — и в политике, стратегии, наконец — не иначе в религии, в церкви... Пушкин спрашивал: «В чем этот таинственный закон, что в одну эпоху рождается столько гениев во всех областях творчества, в поэзии, в политике, а в другую, в следующую эпоху — вдруг не рождается ни одного гения и ни в одной области?». Вопрос великого поэта и мыслителя остался без ответа. Но во всяком случае мы теперь являемся зрителями, до какой степени точно это наблюдение: что и в области духа, как в области растительности — то урожай, то голод...

Недавно я прочитал Сенкевича — тоже европейское имя — письма о Риме, о Венеции, о Париже... Все так обыкновенно! Не говорю о таланте: нет просто глаза наблюдателя, нет ума вдумчивого человека. Его прославленное «*Quo vadis*» * — что такое, как не грубейшая олеография, фабричная, а не художественная работа. С двадцатой страницы ее читать невозможно.

В этом безвременьи, на этом безлюдьи — целой эпохи, всей цивилизации — Чехов стоял вовсе не гигантскою фигурою, как о нем посмертно «записали», без такта, перья, но благородным, вдумчивым, талантливым лицом. Талант его всегда был и остался второго порядка: этого изумительного, титанического творчества, какое мы, слава Богу, видели у Гоголя, Толстого, Достоевского, конечно, самых намеков на эти силы не было у Чехова, и он первый рассмеялся бы, если бы стали у него их искать. Но он умом и тонкостью натуры стоял выше своего, в сущности очень грубого, времени: и, мне думается, он был обижен, оскорблен, помят как мотивами своего непризнания в начальную пору писательства, так и мотивами последующего своего признания. Не для ремесленника, а для художника — разве много значит «признание», «одобрение»? Конечно, не много, но много значит понимание, мотивы оценки. Если вы назовете Чехова «великим Паном» (бог «Всего» в языческом мире), или Шекспиром, или Геркулесом, неужели это будет сладко ему? Вероятно так же, как если бы, пощупав его слабые мускулы, кто-нибудь ему сказал: «Э, да вы — «богатырь»! Он был «великий Пан», писал о нем один публицист; «он, если бы попал в дворянскую среду, вышел бы Пушкиным», писал о нем другой тоже публицист. Все эти суждения, какие привелось читать после его смерти, глубоко оскорбительны прежде всего для вкуса умершего писателя. «Неужели я не заслужил ничего, кроме шаржа?».

Покойного я не знал лично. А из воспоминаний лично знавших его людей меня поразило следующее:

— Что про меня писали! — волновался больной Чехов воспоминаниями. — Что писали! Нет, вы отыщите! Скабичевский посвятил мне в «Новостях» фельетон, в котором называл меня «беспринципным» писателем. За что? Когда я был «беспринципным»? В чем?

— Да стоит ли, Антон Павлович!..

Но он, заговорив о том, что мучило его незаслуженной обидой, не переставал:

— «Русская Мысль», — «Русская Мысль», которая через несколько месяцев печатала мой «Сахалин», что она про меня писала за книжку моих маленьких рассказов? За что? За что?

* «Куда идешь» (лат.).

Критика усмотрела в Чехове «второго Лейкина», и только. Но мнение это выражала так, что через 20 лет человек не мог забыть. Кажется, чтобы покончить с этой репутацией «беспринципного» писателя, Чехов и поехал на Сахалин.

— Я поехал в отчаянии! — говорил он.

Изобилие статистических цифр, даже мешающее художественности чеховского «Сахалина», — было продиктовано, по всем вероятностям, желанием Чехова доказать, что он «серьезен». — В «Сахалине» нет того художественного полета, какого мы вправе бы ждать от Чехова. Такой читатель, как Толстой, говорил о нем:

— Сахалин написан слабо.

Этим мы обязаны критике. Она связала крылья художнику. Она лишила Россию произведения, наверное бы равного «Мертвому дому». Художник-беллетрист ударился в статистику. 10

— Да, подите! — сказал он однажды автору этих строк. — Напиши я «Сахалин» в беллетристическом роде, без цифр! Сказали бы: «и здесь побасенками занимается». А цифра — оно почтенно. Цифру всякий дурак уважает.

Так можно «затравить» писателя.

(Воспоминания г. В. Дорошевича в № 183 «Русского Слова»).

Строки эти поразительны. Вся фактическая достоверность их, именно — жалоб Чехова автору воспоминаний, конечно, лежит на ответственности написавшего; но мы вправе вполне исходить из них, как документа. Лично нам он кажется вполне достоверным или правдоподобным, ибо, со своей стороны, и мы слышали в последний год его жизни о жалобах его на косность, тупость и недвижность тех журналов, в которых он печатался. Речь шла о «Русской Мысли». «Ничего здесь свежего и нового нет; никакое движение невозможно» (его слова). А припомним, как в «Палате № 6» он говорит устами доктора-мизантропа: 20

— На этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум служит единственно возможным наслаждением. Мы же не видим и не слышим около себя ума... (глава VI).

И опять, в другом месте:

— И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи; оставим их, Бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим; мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоело мне всеобщее безумие, бездарность, тупость, и с какою радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами. 30

С другой стороны, мы хорошо помним, как Н. Михайловский, останавливаясь на молодых рассказах Чехова, признавал в них талант собственно письма, но всякий раз сострадательно указывал, что ничего извлечь из этих рассказов нельзя, так как в авторе не видно сколько-нибудь определенных «убеждений». Было слишком прозрачно, что это значило в устах такого «направленного» критика. Прозрачно было и в смысле предостережения начинающему беллетристу, и в смысле зова, и в смысле некоторой угрозы. Ибо дирижерская палочка Михайловского махала не только над толпою сотрудников *своего* журнала, но с нею сообразовались сотрудники еще целого ряда других однородных журналов. 40

Собирая всю сумму этих данных, останавливаешься с большим вопросом относительно литературы и начинаешь думать, не лежит ли в ней самой причина того приблизительно вырождения, упадка талантов у нас и в Европе, какое мы отметили вначале? Ибо «твердость направлений» и в Европе та же, хотя, может быть, она и не высказывается нигде так жестко, как у нас. Литература разделилась на «программы действий» и требует от каждого нового писателя как бы подписи идейного «присяжного листа». — «Подпишись — и мы тебя прославим!». — «Ты отказываешься? Мы — проклинаем тебя». Всего этого нельзя осудить по существу. Литература и должна быть программна. Но это — дело очень сложное. И уж если партия хочет подчинять себе писателя, то она должна ответно давать ему удовлетворение в той умственной шире, духовной глубине, всяческой идейной роскоши, каких писатель, особенно начинающий, точно так же вправе для себя хотеть, как партия со своей стороны хочет «точности исполнения». Вопрос в том, вправе ли хозяин звать на пиршество, когда у него в доме заготовлен один сушеный хлеб? Зов пусть будет властен, но с условием, чтобы позванные ни в каком случае не остались голодными. Вот этого-то соотношения, да и самой догадки о необходимости его в нашей литературе да и во всех — нет. Партия вербует; зовет и зовет; *вы* (единичный писатель) должны ей помогать. А в чем она *вам* поможет — это не тревожит ее совести; что она вам предложит в качестве яств — об этом нет вопроса у публицистических «поваров». Чехов тосковал. Он жаловался. Вот В. А. Гольцев, слышно, изготовил уже в Историческом музее «комнату Чехова» и «принял на себя хлопоты по устройству погребения». Погребут. А в «комнату» положат сочинения и рукописи Чехова. Прекрасный гроб. А чем при жизни вы его кормили? Для своего воображения, для своего сердца, для своих дум, для своих общественных сомнений и тревог, для своей философии, что он получил от вас? А ведь философии было очень много у Чехова; прочтите хотя бы рассуждения о стоиках и стоицизме в «Палате № 6». Увы, г. Гольцев пишет чуть не сто лет, и кроме того, что он «подписал присяжный лист» такой-то рубрики убеждений, ничего решительно о нем неизвестно, никакой определенной мысли, ни одного ярко сказавшегося слова! Просто — гробовщик. Как гроб сколотить Чехову — он знает, а о чем говорить с Чеховым — он не знает. Итак, Чехов дал ему и «направлению» свое перо; но «направление», подчинив его себе критическими «шпицрутенами», ничего решительно ответно ему не дало, что для Чехова было бы ново, озаряюще, трогательно; что взволновало бы и соблазнило его неиспытанным соблазном. Чехов был «соблазнитель» для партии; вкусен. Но была ли партия для Чехова «соблазнительна», «чарующа»... об этом — просто смешон вопрос. И вот здесь начинается «роковое» наших партий, ибо на тот жесткий суд и осуждение — им нечего ответить.

Программу их мы признаем.

40 Право страстного и властительного отношения к писателю — опять же признаем.

Признаем все, чего она хочет, и «не токмо за страх, но и по совести».

Но затем начинается ревизия ее багажа. Оказывается, как скверные интенданты времен турецкой войны, она страдалец, как Чехов, солдат своих, «серую шинель» свою, кормит тухлой говядиной, заплесневелыми сухарями. Оставляет без воды и вина...

На этот неотступный вопрос — а уж позвольте и мне быть строгим «по программе» же: — что же именно Гольцев * сказал Чехову, чему научил его, какую ему «Америку» открыл, как вождь журнала? Что ему открыли такого интересного «Русская Мысль», «Р. Богатство», «Р. Ведомости»?! Где и в чем выразилась их личность, талант, не сливаемые с толпою, сколько-нибудь разграничивающиеся, так, чтобы невозможно было хоть целые кипы листов передвинуть по железной дороге из Петербурга в Москву или обратно, передвинуть из редакции одного журнала в редакцию другого без малейшего потрясения «образ мысли», без убыли — откуда уходит бумага, без прибыли — куда приходит бумага. Все равно! На протяжении годов, десятилетий, — открываете ли вы один журнал, берете ли дру- 10
гой; берете ли за 86 год, за 96 и верно за 1906: все равно, читаете то же, те же вздохи, экивоки, хандру... и ту же везде в сущности умственную трусость, боязнь которой-нибудь овцы отделиться от стада; боязнь что-нибудь принять на себя, ответить своим именем, а не ссылкой: «так думает партия», «я — как все». При всех усилиях вспомнить, разыгрался ли в котором-нибудь «кружке» яркий эпизод, с многозначительными последствиями, да даже просто с ярко сказавшимся словом, — при всех напряжениях памяти — ничего не припоминаешь. Существовали. Прозябали. Но — конечно, не жили!!

И вот то, что они не жили, а чужой жизни себе требовали — лежит грехом на партии. И из кровавых капель Чехова не одна алеет на блистательных одеждах его могильщиков. Слово мое жестко. Но пусть. Ибо и они ведь не были мягки к покойному, с требованием от него «направленного паспорта», где было бы про- 20
писано: «се — Чехов, либерал, ездил на Сахалин».

* * *

И еще вопрос: самое отношение к писателю. Чехов, конечно, не без причины начал через несколько месяцев печатать свой «Сахалин» в том самом журнале, где, всего за несколько месяцев, о нем писалась критика, которой он «не мог забыть 20 лет». Он вынужден был, как раб, задавить в себе все негодование художника, поэта, мыслителя и войти на правах товарища в толпу людей, его так же понимавших (см. его признания г. Дорошевичу), как осел соловья в известной 30
басне Крылова. Где же это основание? Да очень простое. Чехов — мыслитель; он — лирик. А между тем могущество «направления», сплотившего в руках своих самые видные журналы, отнимало у него всю молодую, свежую аудиторию, до которой могли бы донестись его звуки, его тоска, его мысли. Или пой свои песни свободно — но их никто не услышит; или ты будешь услышан: но пой песни по нашим нотам. Вот дилемма для соловья. Нет, несчастнее: вот дилемма для человека XIX века, который потерял всю соловьиную свободу, всю свежесть лесов вокруг, аромат трав: и видит только проволоку клетки, которая никогда не раскроется иначе, как рукою его поработителя.

* Лишь для очень обширных кругов читателей, не подробно знакомых с положением журналистики, заметим, что проф. В. А. Гольцев вот уже около 20-ти лет стоит во главе «Русской Мысли», где печатался Чехов, и не от себя лично, но как представитель журнала, он устроил и «комнату Чехова» и т. д. 40

Литература, конечно, не может быть чужда политических мотивов: но литература в том отношении неизмеримо ценнее и выше всяческой политики, что в то время, как последняя лишь «правит должность», — литература отражает и выражает полного человека. Снимите даже с Акакия Акакиевича, с Плюшкина те конкретные и уже вовсе не необходимые для чиновнического трудолюбия одного, для скупости другого — черты, какие им придал Гоголь; опишите в Акакии Акакиевиче только механизм исправляемой им службы, а о Плюшкине долбите: «деньги, деньги, деньги» — поэзия Гоголя рассыплется, ей не на чем будет держаться; останется голое имя порока или добродетели, и бич сатиры или лирики, который бьется о сухую палку с именем. Вот разница между политикой и поэзией. Политика входит в поэзию: но как скелет, одетый плотью, нервами, красотой, бледностью ланит, сиянием взора — что все уже не есть скелет и даже с ним не связано, а выткано таинственным организмом человека, в сущности — душою его, как ею же сложен, и параллельно, а не зависимо, и скелет его. Великие поэты, как Байрон, как Шиллер, даже как Гёте или Пушкин, не могут не быть «гражданами» и, следовательно, очень определенными политиками, с совершенно определенной программой; но они ее не заимствовали ниоткуда, не подписали «присяжный лист» партии, а она вытекла из всего склада благородной души их и из жизненного их опыта, из испытаний. И будьте уверены, сведите Байрона, Шиллера, Пушкина, Гёте в одну комнату и дайте им одну тему, один вопрос для дебатирования, — они никогда не кончили бы речей своих, горячих споров, с лихорадящими щеками, с блестящими глазами; а слушающему было бы чему научиться из этих споров, а если бы стенографировать их речи — вышла бы превосходнейшая политическая литература, не в уровень с «политическими» и «ежемесячными обозрениями» наших журналов. И Гёте, и Байрон, страшно расходясь в воззрениях, однако, страстно сошлись бы в некоторых утверждениях, а главное — все поняли бы друг в друге и все бы оценили, уважили. И у нас первоначально были в литературе как бы философские и поэтические *лигности*, т. е. литература разделялась не по программам вовсе, а как бы слагалась, туманно колеблясь, в несколько *духовных* личностей, с длинными чертами, с неясными гранями, — полных движения и перемен. Ведь лицо смеется и плачет, трагично и весело, убеждается и разубеждается, в противоположность кирпичу, который вечно убежден, что ему «надо лежать». Я хочу этим сказать не то одно, что в литературе действовали замечательные личности, а что она сама, эта литература, как бы распадалась на несколько философско-поэтических *олицетворений*. И вот эти прекрасные и глубокие олицетворения не позволили бы никогда коснуться себя, спуститься к себе такому жесткому, грубому и ограниченному явлению, как *партия*. Приняли бы в себя программу; но никогда не слились бы с программой. «Я, Пушкин — либерал»; «я, Лермонтов — протестующая личность». Фу! Здесь ходили тучи почерней теперешних; был штиль, была и гроза. Была ночь и был свет. И все это просто оттого, что человек не переставал быть человеком, не позволяя вынуть из черепа у себя глазное яблоко, состричь волосы, снять одежды, выдернуть нервы — и оставить один безжизненный костяк, линии которого показывают «линии убеждений». Что мне говорить с таким? Что всякому делать с такою «партией»? Можно только толкнуть ногой эту мумию, — в ответ на приглашение подписать «присяжный лист» ее. И не по разногласию: а просто по презрению ко всему существу дела.

Либералы наши давно только лежбчат, т. е. довольствуются занятым положением, не двигаясь шагу вперед, особенно — не двигаясь в сторону, не развиваясь, не усложняясь. Всякий рост есть *усложнение*: а где оно у них? Говоря языком 40-х годов, они потеряли в себе Humanität *: из них испарились все благовонные частицы воображения, сердечности, проникания внутрь вещей, даже простого «обмена мысли». «Beati possidentes» **, — говорят они дремливо, заняв места, где трудились, страдали и были в высоком беспокойстве Станкевич, Грановский, Герцен, Белинский и более даровитые из «шестидесятников». Ведь и про Чернышевского нельзя сказать, чтобы он не боролся, не придумывал, не спорил, не «реагировал на впечатления». Но на какие же впечатления «реагируют» все перечисленные выше органы, если не принять во внимание маленькую злободневность и усмешечки по поводу злободневности, т. е. какую-то такую «внутреннюю хронику» души, которую решительно нельзя отличить от блаженного сна. Вот эта-то сонливость, «неделание» в практике при отрицании «неделания» в теории — и составляет тяжелый исторический грех партии, куда попал Чехов; и был должен усиливаться в нее попасть, ибо, занимая места «пророков и законодателей» литературы нашей за век, — она одна видима, слушаема, внимаема.

Наверно слово мое бессильно. Но когда-нибудь над вопросом, здесь поставленным, задумаются: именно, что же в данный текущий момент русские воинствующие между собою литературные лагеря дают живой душе, с «верою, надеждой и любовью» входящей в них? Что дают таланту наши «направления»? Ему они не дают никакой пищи, содержательности; не дают в то же время и развернуться, как просто личности, суживая своими рамками. «Войди и умри»: как страшно это сказать о местах, о которых некогда говорили: «войди — и оживешь».

И между тем роковое положение еще утяжеляется тем, что, в частности, например программа «Русской Мысли» — добрая, нужная. Все буквы в ней верны; но все буквы не шевелятся. России точно нужны: и несколько бóльшая свобода, даже очень бóльшая; и земство, и самоуправление, словом — все «пункты», какие выставлены. Но в рядах партии нет... одушевления, что ли, или таланта в отношении к самым этим «пунктам». Здесь я не разумею талант *литературного* выражения, талант *мастерства* словесного, — а единственно и исключительно талант самой *души* (ведь «душа» от слова «вдохновенье»? И «вдохнул» «душу» в человека Бог). Говорю это не отвлеченно; но как бывший участник петербургских «религиозно-философских собраний» — говорю, испытав in concreto, что значила бы маленькая прибавка к свободному духу нашего общества и внешних наших условий. Помню и опасные походы против «Собраний» — «Московск. Ведомостей»; и тревожные «дневники» кн. Мещерского. Итак, «лозу» нашего консерватизма я испытал на спине своей. Но и она не погнала бы меня в лагерь, vis-à-vis стоящий: просто — никуда бы не погнала. Некуда идти. Не к кому. И вот это — чрезвычайно грустное положение как русского писателя, так и вообще русской литературы текущего момента, последних 10—15—20 лет. Поскучнело в нашей литературе. Вся литература несколько попустилась. И это отражается на положении талантов: они-то дают литературе кто сколько может, искорку от себя; а из литературы никакого тока в них не идет, дабы личная их искорка разрослась в пламя. Посмотрите, какие особенные таланты были в Курочкине, в Лес-

* человечность (нем.).

** «Счастливы владеющие» (лат.).

кове, в переводчике Диккенса — И. Введенском? Да и еще во множестве личностей даже меньшего калибра. Что особенного представляет собою Огарёв? Или — вне «Семейной хроники» — С. Т. Аксаков? Поразительно, до чего все другие сочинения, оставшиеся от Грибоедова, ничтожны, кроме «Горя от ума». Был великосветский шалун и потом дипломат: и не будь вдохновений, впечатлений от Батюшкова, Пушкина, Крылова (язык его басен), Жуковского, он мог бы навсегда остаться с «Грузинской ночью», с комедией, написанною совместно с Шаховским, и тысячью передаваемых из уст в уста острот, никогда не перейдя к труду великой его комедии. Ярки ли были творческие порывы в самом Жуковском? Как груб бывал Некрасов! Но все эти далеко не первосортные души получили во времени своем, в окружающей литературе — темы, толчок, порыв, технику; получили интерес жить и многозначительность положения. Катится могучая река: и неинтересный булыжник шлифуется в разноцветный узорчатый камешек, которым лобуетса путешественник.

Вот этого-то «гранения» времени и не переживают писатели наших дней, этого вдохновения, которое бы давало ветер в крыльях. Все мокро, серо. Дождит. И вязнут крылья в тумане, не подымая вверх.

Это очень применимо к Чехову, к грусти его, тоске его; к серости сюжетов, лиц, положений, какими наполнены его милые, приветливые создания. Все они похожи на степь с колокольчиками. Но «среди долины ровныя», как поется в песенке, не зеленеет «могучего дуба».

И между тем само общество, вокруг литературы, гораздо более, чем она, одушевлено. Общество вообще интереснее теперь, чем литература, — и это есть страшная и роковая для литературы черта. Как отозвалось оно на смерть Чехова! Это — хороший симптом. Общество не дремлет. И решительно нужно подняться литературе.

ПРАВИЛА ДОБРОДЕТЕЛИ И УСЛОВИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ

Огорченное человеческое сердце, в утомлении исторических трудов и неуспехов, сложило поговорку: «добрыми намерениями ад вымощен». Если вместо слова «намерение» поставить слово «совет», то эта поговорка получит конкретное и весьма уже практическое выражение: «ниоткуда не идет столько добрых наставлений, как из ада», или еще: «только аду может придти на ум давать бесильные советы там, где нужно и можно придти на помощь делом». Не правда ли, ведь это то же, что «добрыми намерениями ад вымощен». И между тем в такой новой формуле поговорка эта дает опоры для необозримой критики.

В литературе нашей составляет большую полосу знаменитый спор: «что больше способствует историческому преуспеянию человечества, нравственное ли усовершенствование личности, или перемена нынешних условий, среди которых живут все личности данного народа или данного времени?». Вопрос этот, решенный в пользу первого тезиса, подспудно лежит уже в знаменитой «Переписке с друзьями» Гоголя, где он в «письмах к друзьям» в сущности призывает порознь каждого из них потрудиться в том жизненном уделе, какой ему Бог послал, от положения сельского священника до губернатора, и тогда их общим трудом воспрянет Русь от «мертвых душ» к «живым душам»... Принимая во внимание спе-

циальное тогдашнее настроение Гоголя, я чуть не сказал: «воспрянет Россия от казнокрадства... к благоуханию св. мощей». Типы благотельных помещиков и изумительных откупщиков, какими заканчиваются «Мертвые души», уже написаны под действием заронившейся в Гоголе тенденции: посоветовать или указать, как может каждый человек в его положении, и притом не усиливаясь, изменить это положение, послужить на благо дорогого отечества и через это споспешествовать благопреуспеянию всего человечества. Таким образом Гоголь положил перо живописца и наскоро, нервно написал заключительное нравоучение к той длинной басне, которую красиво и долго рассказывал в великой «поэме» своей. Вот отношение «Переписки» и «Мертвых душ», как иногда кажется. Отношение басни и заключения, без всякого противоречия. 10

Вопрос не умер в литературе нашей, но с силою привился к ней. Достоевский и Толстой пошли (в отношении данной темы) по стезе Гоголя, но в их писаниях афористическая, краткая и не доказанная мысль Гоголя напиталась кровью и красками, запылала, заострилась и вылилась в целую пропаганду, полную и художества, и философии, и нежного религиозного блеска. Кто не помнит спора Достоевского, после Пушкинской его речи, с Градовским: смысл его был тот же, который уже сквозит в «Переписке с друзьями». «Смирись, гордый человек! потрудишься, праздный человек!» — это призыв к сердцу человека, к единичному человеку, к лицу его. Гораздо раньше, в «Бесах», устами одного из героев тот же Достоевский насмешливо заметил: «Вот, все вокруг (т. е. в его партии) говорят о социальной гармонии и мировом блаженстве; а не хотят заметить, что во всем уезде, на сто верст кругом, нет ни единого-то человека, который хотя бы чуточку уже осуществил в себе этот идеал гармоничного человека! Подлецы, все и кругом подлецы, а говорят о гармонии». В сущности то же он повторил и в Пушкинской речи: дайте мне гармоничного человека, и уже гармония сама выйдет из их совокупности. 20

В «Смерти Ивана Ильича», во «Власти тьмы», «Крейцеровой сонате», в «неделании», «трех упряжках», на которые должен разделять свой день праведный человек, в «непротивлении злу» и т. п. и т. п., Толстой еще шире, властнее и талантливее раздвинул эту же тему. Человек — вот это все. Какова голова, таковы и головы, каков герой, таков и народ. Сердце человека, его индивидуальный, неделимый ум — вот на обработку кого, на воспитание чего должны быть направлены усилия «пророка своего времени», будет ли он знаменитый писатель, священник, публицист и проч. То, что у Гоголя взяло час работы, у Достоевского взяло месяцы, у Толстого — годы. У Гоголя — это штрих, у Достоевского — тенденция, а Толстой уложил сюда полжизни. И какой жизни... 30

— Что же, по-вашему, мошенники в самом деле могут составить мировую гармонию? — спросит читатель, замечая мысль мою критиковать знаменитую тенденцию русской литературы. 40

Позволю себе на минуту принять роль Мефистофеля и обратно спросить читателя:

— Но ведь добрыми намерениями ад вымощен? Или, что то же, все эти «советы», как «жить лучше», «есть меньше», «ничего не делать» или предаваться «праведному труду земледельца», — по приговору огорченного и утружденного сердца человеческого как будто вышли из самого ада. Просто это... не нужно и не интересно голодному, усталому, а отчасти и развращенному человеку...

Шопот, робкое дыханье,
Трели соловья.
Серебро и колыханье
Сонного ручья...

— лучше уж песенку слушать. Все-таки поэзия. Все-таки отдых, что для мозольных рук очень и очень недурно. Господи, скучища-то какая! И никто не «потрудится» и никто не «смирится», а все будут жить: и губернатор, и священник, и публицист, и писатель ровно так, как жили вчера и сто лет назад. Какова дорожка, такова и тележка. По железной дороге ходят вагоны, а по грунтовой ездят телеги; а если шоссе, то можно и в коляске. Общие условия важнее частных усилий.

Мне сейчас укажут, и я сам когда-то в «Месте христианства в истории» обращал внимание на тот факт, что Христос проповедь свою обращал именно к единичной душе человека. Беседы с Никодимом, с самарянкой — это уединеннейшие беседы, а в них глубже всего раскрылось новое учение. Оно было вовсе не таково, по составу, но также и по способу выражения и обращения, нежели слова пророков, начинаемые: «Слушай, Израиль!» и всегда обращенные к целому народу, ко всему Иерусалиму. — Да, но это единственно Христову слову, с его тайнами, и удалось преобразовать мир через действие на единичную душу. Достоевский, Толстой, взявшись за то же, за этот же единственный, раз удавшийся способ действия (а ведь и писатели эти хотели «преобразования общества», хотели не малого, хотели именно великого), естественно потерпели фиаско. Они произвели некоторую муть в обществе — не больше. Просто, не обратил никто внимания, не последовали, кроме таких крошечных крупиц общества, и до того в себе бессильных, немощных, что не стоит о них и говорить. Что смог Христос, естественно не смог человек. Да и не Достоевский один или Толстой: Сократ, — разве после него не продолжалось неудержимое разложение греческого общества, в намерениях исцеления которого он и дал в личности своей великолепный образец идеала гражданина и мудреца? Да даже и не только Сократ: Соломон написал «Экклезиаств» (на него ссылается Толстой в «Автобиографии»), а след за ним, в разных Иеровоамах и Ровоамах, Ахазах и Ахавах, поднялись на народ «бичи и скорпионы» нечестивцев и началась такая мерзость в Иерусалиме, какую никакие пророки не умели удержать. И пророки эти, — а каково было их слово, чета ли им «Переписка с друзьями», — прогремели напрасно. «Дорожка» Иерусалима точно перестраивалась с грунтовой на железную: какие-то шли неуловимые социальные преобразования, не уловленные Иосифом Флавием и Филоном. Пророков избивали. А вот во времена «Судей израилевых» и без «Экклезиаства» было хорошо: всякий сидел под своей смоковницей, у своего виноградника, и, как записали летописцы: «народ тот был тих, и жил не по обычаю других народов, а беспечно — без судей, правителей, и не было в нем, чтобы кто обижал другого».

40

* * *

Увлекаемые неповторимым примером Христа, — неповторимым по бессилию человеческому, — проповедники даже столь искренние и наделенные всяческими талантами, как Гоголь, Достоевский и Толстой, вступали на совершенно не-

мощный путь «добрых советов», которыми «ад вымощен». Что же сказать о простых людях? Большая половина христианской письменности есть не аналитическая, рассматривающая условия жизни, а «советодательная»; и, можно сказать, ни одна публичная библиотека не вместит совершенно необозримых томов, на всех языках, и у всех народов, литературы под рубрикою: «О нравственном усовершенствовании человека». Один Фома Кемпийский, с переводами на десятки языков и с сотнями изданий, занял бы целое отделение такой библиотеки. Но это все светила. А обыкновенные проповедники? Да, кажется, человечество должно бы, будь оно даже камень, истаять в словах покаяния и уже давно даже превзойти ангелов в святости жития, если бы литература эта сколько-нибудь действовала. Но нет. Пророков при перестройке иерусалимских улиц с немощенных в мощенные стали избивать, а какую-нибудь Мальву или Кармен ни Фомой Кемпийским, ни призывом к «труду земледельца» не проймешь.

Шопот, робкое дыханье...

Право, поучительная мораль не сильнее этого Фетовского стиха. Да что я говорю об «избиении пророков». Вы лучше представьте себе «пророчества», не действующие на самих «пророков». Это как-то ужаснее. Я же приведу из жизни наблюдение, которое, проследя вереницу своих наблюдений, каждый тоже подтвердит. Что «милостынею стяжается царство небесное», — этого кто же не знает. Но вот поразительно: я видал всяких состояний людей, богатых и бедных, знатных и ничтожных, кухарок и господ, видал даже франтов и хлыщей, вынимающих из жилетного кармана или из котомки гривенник или грош и подающих нищему. За этим я любил наблюдать, присматривался. И вот не могу не передать моего долголетнего изумления, что решительно ни одного разу я не видал человека в рясе, солидного, с благостным лицом, который так же, как и все вокруг его, вынул бы копеечку и тоже подал нищему или калеке или просящему на улице ребенку. Ни разу! Точно это — сословное. Когда мне приходилось передавать это наблюдение другим, то я не помню примера, чтобы выслушавший мои слова не пришел тоже в крайнее изумление и не подтвердил, что и он также никогда этого не видал. Так что я первый только обратил на это внимание, а на самом деле это давно общеизвестно, но люди по рассеянности своей не сливали этих частных своих наблюдений в общий итог. Этим я вовсе не хочу кого-нибудь осудить или дать лишний «совет», так как уже в начале решил отвергать их силу. Но согласитесь, что для этого моего отвержения приведенный пример что-нибудь значит: если «пророчества» не действуют на «пророков», «увещания» — на «увещателей», то согласитесь: на кого же они действуют, и не есть ли такие советы в точности и непрекаемо — только

Шопот, робкое дыханье,
Трели соловья.

— Брось карты, игрок. Одне двойки и тройки на руках. С такими козырями заранее пишут проигрыш.

Вот что хочется сказать, после примера о милостыне и об аксиоме, что «царство небесное покупается милостынею», всем этим гениям от Гоголя и до Толсто-

го. Как литературные произведения, деятельность их хороша и будет изучаться школярами. Но, увы, Мальва остается Мальвой, пока есть рыбные промыслы; Кармен не исчезнет с сигарной фабрики; а тысячи чиновников, перечитав «Переписку с друзьями», скажут:

— В самом деле, надо усовершеншаться в душе. С завтрашнего дня перестаяю пить водку за обедом, буду называть жену не «Маней», а «Марьей Ильинишной» и читать на ночь по странице из Фомы Кемпийского.

А что нужно-то в жизни, ну, чтобы, например, хоть этот чиновник поскорее переписывал бумаги, или покорооче составлял их, или давал скорейшее движение «обороту бумаг», — то за увлечением Фоמוю Кемпийским и поступлением в «общество трезвости», он заснет окончательно на чиновном своем стуле, обрстет плесенью, весь погрузится в экстазы «самоусовершенствования» и приведет свой «стол» или «столоначальство» (от которого тоже кое-что или кое-кто в России зависит) в такое состояние, что его начальник отделения, продолжающий пить водку за обедом, скажет:

— С этим Иваном Ивановичем что-то попритчилось. Бумаги пишет не так и не о том, да и все дело остановилось. Просители плачут и анонимно жалуются. Ему уж почти вышла пенсия и, кажется, следует ему намекнуть об отставке.

Тоголь после «Переписки с друзьями» исчез для литературы. Потеря не малая, даже как деловая потеря, в своей особенной сфере. Никто не променяет дельца «Войны и мира» на проповедника «трех упряжек». Голицын, министр духовных дел при Александре I, впавши в ханжество, натворил Бог знает каких дел, так что его вынуждены были из министров сдать в почтмейстеры. И все вообще они от «самоусовершенствования» расклеили, каждый в отдельном местечке, «телегу» русскую, — каждый снял с нее весьма и весьма ценное колесо: и телега едет хуже и хуже, медленнее и медленнее, от этих «самоуглублений» их и всяческого самокопания, с которым нисколько не гармонирует благополучие целого.

И в то же время, посмотрите, от каких смешных уродцев и окончательных дурачков, выведенных в «Отцах и детях» в лице Кукшиной, Суханчиковой и пр., выросло такое здание, деятельное, здоровое, а наконец и благословляемое по деревням (последнее я видел и свидетельствую об этом), как медицинский женский институт в Петербурге. Поистине, мудрое мiра Бог обратил в безумное, а из бессмысленного в мiре создал Себе нужное и мудрое. Суханчикова — и Достоевский! Толстой — и Кукшина! Мудрецы почти как Будда и что-то, чего даже умным и сносным назвать нельзя, над чем смеялась вся Россия. Да, но Суханчикова и Кукшина стояли на верной, хлопотливой, заботливой дорожке:

— Что нам до совершенствования личности. Оставим личности свободу, быть какою хочет, но потребуем от каждого, чтобы он трудился над улучшением общих условий.

Узенькая, рациональная, не глубокая программка. Программка, которую и с куриным умом понять можно. Но не смейтесь над неглубоким. То-то и хорошо, что всем понять можно. Все и поняли, и исполнили программку грошовой цены, а когда муравьи зашевелились, понесли каждый, кто соломинку, кто кусочек земли, то в каких-нибудь 40—50 лет и воздвигнулось гордое и умное здание, попрочнее, чем от «Смирись, гордый человек!» Было дело в глухом городке Смоленской губернии. Сто верст до ближайшей железнодорожной станции. Моло-

дой чиновник, приехавший сюда всего три года, метался у постели молоденькой же жены, которая вследствие «неправильностей и осложнений» специального рода исходила кровью. Два доктора растерянно ходили по комнате и ничего не советовали: отчасти по нерешительности, отчасти потому, что дело было уже испорчено непринятием соответствующих мер в предыдущие месяцы, когда опасность, и грозная, явно надвигалась, и, в-третьих, и главное потому, что оба были страстные винтеры. Больше мужчин-докторов в городе не было. Несчастный муж позвал — увы, поздно! — земского врача-женщину. Высокого роста, полная, со значком на груди, едва узнала она, в чем дело, как заговорила:

— Да нужно ускорить естественный процесс. Изойдет больная или не изойдет кровью, — этот естественный конец непременно наступит, через пять часов или через час. И крови, если и хлынет она сейчас, потеряется все же меньше, чем если она хлынет через пять часов, в течение которых все время будет бежать тонкой и увеличивающейся с каждой минутой струйкой. Может быть, и смерть сейчас; но это — может быть, а через пять часов, даже через $1\frac{1}{2}$ часа, наверно смерть.

Она еще кой-что объяснила в механизме медленно, в зависимости от хода процесса, раскрывающейся раны. Все было просто, умно и убедительно до ясности: $2 \times 2 = 4$. Вошла энергия, ум и знание. Бедная больная была почти спасена. Естественный процесс кончился, она была жива, ей было хорошо временно. Кровь давно уже остановилась, как только окончился процесс. И она умерла только через несколько (немного) часов спустя — от истощения и обеднения кровью всего организма (уснула и не пробудилась). Когда я узнал, в чем было дело, я не мог надивиться халатности докторов, не приступавших к нужным манипуляциям только из страха: «вот сейчас хлынет! Сейчас — опаснейшая минута! Лучше — потом, хотя и удесятенно опаснейшая!».

Я расспросил позднее об этой женщине-враче. Оказывается, в то время, как гг. доктора «винтили» в клубе и по гостям этого городишка со сплетнями и составляли какую-то в городе против кого-то «партию», — женщина-врач, имея огромные физические силы, непрерывно объезжала по селам и деревням «пункты», и вот тут рассказывавший и прибавил: «её благословляют крестьяне; от крестьян ей отбою нет». И — кажется, я не ошибаюсь, — она была не чистокровно русская и едва ли православная.

Вот вам и «усовершенствование», и «углубление», и «очищение сердца»... Не сомневаюсь, что будь она выведена в «Бесах», Достоевский заглянул бы: «как мниши? как веруеши?» Будь она из персонажей «Анны Карениной» или «Смерти Ивана Ильича», и Толстой доложил бы читателю: «Это — негодная личность, ибо она имеет молодого любовника» (я не знаю, имела она такового или не имела: пишу для примера). А уезду, а больной умиравшей, а мужикам — и должно бы быть писателю и моралисту, если они хотят быть в мире с миром — должно бы быть решительно все равно, с любовником она или без любовника, и как она по части «православия и народности», лишь бы как врач: 1) лечила дешево, 2) усердно, и 3) искусно. Да мне думается, это и великая нравственная программа, ибо в точности оставляет свободу душе человеческой, не шпионит за душою человеком, как в конце концов делают оскорбительно все эти «соглядатаи»-моралисты, вечно копающиеся у ближнего в сердце и с невыразимым наслаждением вытаскивающие из него, как из помойной ямы, кто грязную старую тряпку, кто — дохлую крысу. И развели же, обличениями своими, воню в литературе и в жизни.

Точно в 12 час. ночи, когда санитары едут. А между тем... духовные милостыни не подают, смиренные — горды, и учащие «непротивлению» сами вечно волнуются и воинствуют. Так что уж если «тряпка» и «дохлая крыса» и лежит на дне человеческого существа, то право это как-то универсально и непоправимо. И решительно не для чего, перетаскивая вечную пададь с места на место, — заражать атмосферу целой улицы.

* * *

Но мне хочется настоять, что не только проповедь «личного самоусовершенствования» есть бессильное и неумное дело: а что это — если разбирать дело по ниточке — есть самая нахальная проповедь и возмутительно бессовестная теория.

— Вы говорите: «усовершенствоваться нужно, лично усовершенствоваться». Прекрасно. Вы «главноуправляющий» важного ведомства: «усовершенствуйтесь» же «лично», т. е. обратите внимание, — при вашем-то гении это вполне возможно, — до какого безобразия доведены самые формы делопроизводства в вашем важном ведомстве: бумаги вращаются, а дела никакого; все воруют, а кричат о святости. Где должен бы быть суд — бессудность, где должна бы быть администрация — один произвол и притеснения. А ведь в ум ваш верит вся Россия, даже заклятые ваши враги...

Замахал руками. Это я действительно сказал одному очень «ответственному» человеку, изумительному оратору, и который все приставал ко мне: «будьте лучше и вам станет лучше, не жалуйтесь, не сетуйте, даже не огорчайтесь». А я был жизненно заинтересован в упорядоченности его собственного ведомства, где нельзя было добиться даже смысла, не говоря о справедливости. Меня взбесило. Почему я, тысячная спица в колеснице России, должен «быть лучше», когда он, целое колесо России, представляет одну ходящую (и красноречивую) расслабленность. Но, говорю, он замахал руками. И это меня так же поразило, как и то, когда я впервые начал замечать, что духовные не подают милостыни.

Дело в том, что проповедь: «станьте лучше» — всегда включает в себя местоимение: «вы», «ты». Это — всегда обращение. Никогда это не самообращение. Ибо честное-то самообращение, в себе копание и обнаружение позорного «неделания», и заставило бы именно переменить те «общие условия», от которых действительно всё и все зависят. Нищий, бедный, раб никогда не скажет: «самоусовершенствуйся», хотя и подумает это, хотя это слишком, до боли именно ему нужно. Совет этот всегда есть аристократический, духовно-аристократический. А настоящий мотив призыва к самоусовершенствованию (всегда другого, всегда ближнего) лежит в позорной лени, тунеядстве и бездушии, при которых когда такой барин увидит железнодорожное колесо, переехавшее через человека, то скажет:

— Чего же ты кричишь? Переехали! Но ведь это Судьба, Провидение, — это не только у нас, христиан, но и у буддистов, у которых есть Карма. Если вы не должны молчать, как христианин, то должны промолчать, как философ. Во вся-

ком случае не надо было подходить близко к полотну дороги, и если теперь кишки из вас вывалились, то это — закон причинности...

И т. п. Дело в том, что «общие условия», которые переменить нужно, требуют труда, беспокойства, моего беспокойства: когда я так люблю читать Фому Кемпийского! «Усовершенствуйся, и от твоего усовершенствования улучшится мир», — это такая всеобнимающая схема, и на все века, что при ней можно не только за себя и лично заснуть, но и перестать тревожиться, напр., за всю Россию и за все ее будущее. Для лени это такой простор, такой океан ее, что и не переплывешь. Сразу сняты все ответственности, все долги: но, заметьте опять, — именно аристократические ответственности, верхние. И переложены все они на спины «тысячных колес» в колеснице, нас, сирот, рабов. Теория «самоусовершенствования» есть самая ленивая, плантаторская, барская теория, по которой «крепостные» (мы), так сказать на вечные времена, обязаны приносить «маленькие добродетели» к подножию этих господ своих, которые от них, от множества этих маленьких наших дел — прокормятся и будут сыты, ничего сами и не делая.

— Ты, часовой, стой. У тебя под охраной пороховой погреб.

А сам барин-генерал, обеспеченный неусыпностью часового, садится в карты проигрывать казенные деньги. И ведь тем вернее будет его покой и, так сказать, тверже игра, чем он полнее уверен, что «часовой простоит». А если эту уверенность снять? А если часовой любит курить? пьяница? Генерал бросит карты, выйдет сам посмотреть... и, может быть, не проиграет казенных денег и не пойдет под суд. Маленький пример, который можно раздвинуть в большую историческую панораму. Может быть, история не так жестоко судила бы иногда «больших генералов», если бы у них звучал упорный ответ «челяди»:

— Усовершенствоваться трудно. Тут и наследственность, и врожденные пороки, и неудержимые влечения, как и у вашего превосходительства к картам. У каждого за душой есть такие свои «картишки», и вы уж как-нибудь примиритесь с этим или перенесите это. Но вообще на добродетель нашу не рассчитывайте: может изменить. А чтобы измены не было и не потерпеть вам самим краха, со всем большим делом, вам вверенным тоже Провидением или Кармою — ибо вы отлично соединяете с религиею философию, — то не возбуждайте дурных возможных наших инстинктов, а устройте все для нас как возможно лучше: и 1) обеспечение, и 2) порядок, и 3) справедливость, и 4) плодотворное делопроизводство. Чтобы хорошо шла машина, чтобы машина была мудрого мастерства, а не первобытная наивность: и тогда около машины, около которой и ходить опасно, ибо она того и гляди оторвет палец или руку или и всего измелет — мы уже будем ходить трезвые, не заснем, не закурим. А если мы «не запьем и не заснем», то и деньги в целости принесем в дом, детишкам и жене, так что от мудрости машины, от совершенства фабрики подыметя и желаемое вами «самоусовершенствование», ну, например, семейный покой и мир. Да жалованье в срок и добросовестно выдавайте, а то я всякий раз, как контора не платит, от отчаяния напиваюсь в кредит и, придя домой, перебью жену и детей. Все от отчаяния и «неделания» вашего превосходительства, ибо слышно, вы фабрику совсем забросили и все «душу спасаете». У вас «спасенная душа» — от чтения, а у нас — «погибшие души». И именно от этого вашего эгоистического «душеспасения».

РУССКИЕ ИДЕАЛЫ

*Пл. Кусков. Наши идеалы. Разговор на палубе.
Москва, 1904*

Интересная маленькая книжка «Наши идеалы» г. Кускова, только что появившаяся на книжном рынке, имеет задачей своею показать и объяснить некоторые черты нравственного облика нашего народа. Все в ней дробно, взаимно переплетается, и не отличишь, где начинается «самодержавие», где «народность», где «православие» — эти члены знаменитой патриотической триады. Полное отрицание плаката, вывески; даже отрицание формулы и вывода. А между тем в миниатюрном, но жизненном снимке с русского народа, какой дает книжка, она служит всем трем идеалам, но служит так невольно и бессознательно, как дитя служит матери. Изложена она в форме подслушанного разговора на черноморском пароходе одного русского и одного иностранца, говорившего на неправильном французском языке; и относится к времени сближения между Россией и Францией.

— Зачем вам договор между нами и вами? — говорил русский. — Вы его желаете, на него надеетесь; думаете, что дело будет обеспечено, если бумажка подписана обеими сторонами. Между тем это с вашей точки зрения: мы, напротив, боимся договора, уверены, что он начнет все портить, ибо у нас, у русских, о «подписи документа» заходит речь лишь тогда, когда доверие разрушено, и один, хитрый, хочет обработать другого, простоватого. Договор у нас не есть документ обоюдно достоверного, а, напротив, именно орудие обмана, способ «провести другого», способ притеснить слабейшего. Согласитесь, что относительно Франции мы — лучше политически поставленная страна, по крайней мере в данное время. И желание-то «заключить письменные условия союза» с нашей стороны и было бы обнаружением и первым шагом всем воспользоваться от союза и ничего за него не дать. И уж, поверьте, мы бы воспользовались, подписав бумажку. Но в этом счастливом случае Россия действительно полна энтузиазма, она восхищена союзом такого Самодержца, как Александр III, с радикальной республикою. Мы готовы вам чистосердечно служить, помогать: и потому никаких письменных условий не хотим.

— Но ведь если все письменные соглашения у вас существуют в целях борьбы, притеснения, обмана, то это... согласитесь, что это что-то чудовищное в смысле национальной вашей нравственности?!

— Живем помаленьку. Все же договоров заключается менее, чем сколько есть дел без договора; и вот хотя среди их тоже случаются жестокие обманы, но русский, обманув по договору, как-то не совестится, вина во всем обманутого же, который не следил за ним и «за исполнением условий договора». Напротив, обмануть без договора — это и есть, по-нашему, обмануть доверие, воспользоваться слабостью, облопошить наивного. Я сказал, что и это бывает: но об этом — самые горячие покаянные слезы русского человека. Как Каин зарезал Авеля — то же ощущение. Я сказал, что дел без договора ведется более, 1000 штук на один случай с договором: и Россия не жила бы, все дела и отношения в ней давно бы рухнули, не будь все-таки в девяти случаях из десяти этих дел «без условий» —

полной и уже безукоризненной честности: честности с надбавкою, если позволите выразиться. Таким образом Россия не то, чтобы бесчестная страна, обманывающая доверие, не исполняющая обещаний: но в документальной своей части она действительно близка к этому, и это просто великое несчастье, что по каким-то причинам с самого же первого начала русский человек посмотрел на «бумагу с условиями», как на притеснение с одной стороны, верхней, и как на полное разрешение нижней притесняемой стороне «надуть по параграфам» этого договора, ничего не исполнить, все бросить и плюнуть на того, чья подпись стоит рядом с его на договоре.

— Ужасно, по крайней мере с нашей точки зрения!

10

— А у вас ужаснее — с нашей, ибо ведь решительно нельзя всяческое дыхание человеческое оформить в договоре, и мы, при честности по договору и психической готовности всячески поступить без договора, всего ожидать без договора — прямо не сумели бы дышать, не могли бы жить!! А теперь живем, хотя, например, торговые и промышленные наши дела, действительно, хрупки.

— Все наши дела, большие дела, почти только у старообрядцев ведутся по старому; и посмотрите — они не знают безденежья, у них нет кризисов, редки несостоятельности, как и пьяного, развратного и голого рабочего люда у них нет же. Труженик руками и труженик головой оба встают рано, оба кладут на себя большой крест, живут одним духом, одной жизнью, ходят в одной одежде, почти едят одну пищу, и только один распоряжается миллионом, а другой десятью рублями. Но, выключая старообрядцев, действительно вся Русь, едва прикасается к большим делам, — не имеет для них никаких форм, никаких схем, которые сколько-нибудь вытекали бы из ее духа и истории: и путается в заимствованных у вас шаблонах, как дикарь путается, взойдя на пароход, около его барометров, компаса, монометров и всяческих диковинок.

— Вы, однако, произнесли слово «дикарь»?

— Да, народ у нас пахнет деготьком. Он так и называет себя «черным народом», «темным народом», но это только в отношении вашего определенного и, может быть, условного света и условной же чистоты. На самом деле под этой жесткой корой, под смиренными эпитетами о себе — народ наш страшно горд, самоуверен, тверд, но все это в таких своеобразных формах, что вы, пожалуй, примете его за раба. Но ведь раб Эпиктет никак не обменялся бы натурой и положением со своим господином, имя коего пропало в неизвестности. В народе нашем есть страшная и едва ли для какого бы то ни было «света» одолимая уверенность, что под своею корою он несет сокровище абсолютной душевной ценности, прямо царствие Божие; что он — с Богом. И вот за это, что он — с Богом, он готов положить свою жизнь, душу, судьбу.

— Т. е. что он с церковью?

— У вас воздвиглись прекрасные готические соборы. Кельн, Страсбург, Вестминстерское аббатство, Notre Dame de Paris — вот манифестации вашей религии, да пожалуй — и она сама. Ну, а у нас «церковь не в бревнах, а в ребрах». Привожу вам поговорку, как ее слышал, и, сколько я размышлял над нею, я не могу ее объяснить иначе, как тем, что у русского человека, каждого единичного, есть страшная сила религиозной самоуверенности, страшная твердыня веры в свое темное, неведомое, тайное я, и он говорит: «во мне Бог живет», «я храм Божий», «я сам церковь». Наши писатели, как Тютчев в известном своем стихотворении:

Удрученный ношей крестной
 Всю тебя, земля родная,
 В рабском виде Царь-небесный
 Исходил благословляя...

или как Достоевский в утверждении, что «в каждом человеке *таится искра Божия*», только были тавтологичны этому народному утверждению. Оно было бы странно или смешно, если не было так смиренно, так, если позволю себе выразиться, глинисто, землисто, без всяких претензий и намерений. Таким образом это не грозит никакой церкви, хотя, согласитесь, не сливается ни с одной церковью. Здесь человек опирается не на величину своих сил, как вулкана, а только констатирует то, что он видит в бездонной глади океана души своей, как стихия светлой и тихой, не грозящей и самоуверенной. Я не умею выразиться, боюсь ошибиться. Совести своей народ ни за что не продает, и совесть свою он поставляет выше царств и престолов, и выражает это так просто и серо, что это никого не оскорбляет, многих смешит, но кой-кто над этим задумывается. То, к чему народ наш относит эту «церковь, сущую в ребрах», есть полужакт, полумечта. Тут много грезы, но есть и очень много действительности, даже больше действительности.

— Какой?

— Это можно выразить только поговорками же, и я вам приведу еще одну: «человек рождается не для себя». Около нее, как маленькое разъяснение или дополнение, приведу другую: «жить — Богу служить» В этих двух строчках выражается целое мирозерцание, потому что как оне ни кратки, оне приложимы на каждом шагу жизни, в малейших частностях быта; к ним можно обратиться за советом и помощью во всех решительных, роковых случайностях жизни. Страшусь, чтобы вы не вывели какого-нибудь ханжеского последствия из моих слов. Религиозная истина, содержащаяся в приведенных мною словах, более метафизического и менее морального содержания. С нею входит человек в мир для каких-то таинственных, ему неизвестных предназначений; он несет службу — кому? какому? темным силам? светлым силам? Ведь всего этого в пословицах не определено. Но он знает твердо, что он входит в мир, как новобранец — в строй солдат, т. е. входит не в хаос, а в план, в организацию, в систему, ключ и разъяснение которой ему никогда не будет показан. Отсюда громадные готовности русского человека, параллельные с страшными силами перетерпения несчастий. Я не спорю, что злые и ленивые люди слишком возложили много надежд на это его «терпение» и извлекли из него не лучшее, что могли бы, а худшее. Вообще великие особенности русского духа также допускают и злоупотребления собою, возбуждают даже насмешку над собой: но это уже худая обработка, какую мы, просвещенные вашим светом люди, даем драгоценному народному алмазу. Русский народ есть теперь единственный, последний уже в истории народ мудрецов, как древние халдеи, египтяне, как евреи; но — в своеобразных, северных, зимних, а не солнечных (как те народы) чертах. Этот народ мудрецов резко разделяется на две толпы: прощальг, отколовшихся от своей мудрости и начавших пропивать себя, как Исав продал свое первородство за чечевичную похлебку. Сюда относятся не только гольтьба деревенская, деревенские озорники, но и озорники городские; относятся сюда и мироеды, и миллионщики. Но меньшая часть стоит на своем,

хранит серьезный вид, и, поверьте, в судьбах России она еще скажет свое последнее слово.

— Какое слово?

— Не отвечу вам прямо, но отвечу вам косвенно. Сколько есть страдальцев за русскую землю, страдальцев среди больных и здоровых знаменитых и безвестных, богачей и бедняков. И без них, ей-ей, Русь давно бы пошла на слом: до того в ней вообще много плохого, слабого, бесстыдного, — этого я не буду от вас скрывать. Здесь нужны не рассуждения, а рассказы. Вот вам на выбор один. Жил в Перми купец, из крестьян, Адриан Пушкин, человек уже в летах степенных. Был серьезен, всеми в городе уважаем, и вечно читал большие книги, преимущественно церковной печати. И додумался он до каких-то религиозных сомнений, и взяло смущение его душу, и затревожился. Другой начал бы судачить с приятелями, издеваться, осмеивать, сеять смуту. Но у нас «церковь не в бревнах, а в ребрах», и соответственно этой вере каждый и держать себя должен прибранным, как храм Божий. Начал Пушкин подавать какие-то бумаги в разные правительственные учреждения: обер-прокурору Св. Синода, в Комиссию Прошений, митрополитам. Не получая оттуда ответов на свои запросы, он собрался в путь сам, оставив в Перми жену и детей. Представил в Синод какую-то картину аллегорического содержания, с просьбой издать; но Синод нашел ее не согласною с учением православной церкви и к печатанию не благословил. Так хлопотал он годы, все не рассказывая никому о своем деле, и прохлопотал все свои средства, ибо торговля давно была им заброшена, и семья впала в нужду. Тогда он обратился к городскому обществу с просьбой ссудить его некоторой суммой для одного дела, в высшей степени важного для правительства и секрет которого правительственным учреждениям известен, а частным людям сообщать его он не находит полезным.

Город согласился: заметьте, до чего это фантастично, а вместе и как-то трогательно. Однако новый городской голова потребовал непременно раскрытия секрета, на который городское общество тратило часть своих сумм, и вот тогда поднялось это дело, вытребовали раба Божия в Петербург, а из Петербурга переправили его, не заезжая домой, в Соловки. Здесь в нем принял участие губернатор, который очень жалел его, обещал ему содействие и освобождение, если только он оставит свою, в высших сферах не одобренную идею. «Не могу, — отвечал он, — я буду болен». Через 14 лет после заключения встретил его один просвещенный путешественник, который и поведал в печати о его судьбе. Сидел Пушкин где-то в башне, в потемках. Монахи, на увещание которым он был послан, сначала пускались с ним в словопрения, но убедились, что его сломить невозможно, и все их увещание свелось наконец к одному: «Поклонись ты нашим угодникам и ступай с Богом на все четыре стороны». — «Не могу». Семерых оставшихся в Перми детей и жену он не мог вспоминать без слез. Старшие сыновья уже учились в гимназии, когда его от них увезли. Жить было нечем: мать их взяла из гимназии и отдала в услужение. Все это путешественник-рассказчик слышал от самого заключенного, который при этом плакал. «И вот меня удивляло, — говорит он, — что ни малейшего озлобления против кого-нибудь, упрека кому-нибудь в его тоне не было». Пушкин считал, что виновато одно только время. «Время должно оправдать меня... И оно оправдает, я верю в это... Если же я заблуждаюсь, если все это только кажется мне истиной, то пусть соловецкая тюрьма

будет моею могилой». «Разговор еще продолжался, — кончает путешественник, — и Пушкин еще весь был растроган своими воспоминаниями о жене, о детях, когда подошли два солдата и один из них, остановившись перед Пушкиным, *погтительно* (заметьте!) промолвил: „Пора, время уж!..“» — «Что такое?» — спросил путешественник. — «В тюрьму пора», — объяснил Пушкин. «Я посмотрел на него и удивился: перед мною снова стоял загадочный человек с гордым, уверенным видом, для которого, казалось, не существует ни житейских привязанностей, ни симпатий?»

10 — Болезненный случай, — возразил иностранец на пароходе. — Я хочу сказать, что это был патологический субъект, помешавшийся на какой-нибудь сумбурной идее.

— Вы так осуждаете, не видав человека и не выслушав его мысли или плана? А он 14 лет просидел в заключении, никого не осудив. Измерьте разницу веры в человека у вас и у него И неужели вы воображаете, что так-таки «в 1904 году в городе Петербурге уже найдена вся и полная истина», так что более и искать осталось нечего, и задумываться, и сомневаться, и спрашивать?! Полноте! В лучшее время нашей собственной истории, в веке Колумба, Иеронима Пражского, Гуса, Виклефа, Рожера Бэкона, разных «алхимиков», «еретиков» и «утопистов», разве не томились совершенно такие же люди по германским, французским, испанским, английским, венецианским тюрьмам? А теперь о них собираются ма-
20 лейшие биографические сведения, и много дали бы ученые, чтобы иметь в руках их «сумбурные» рукописи, планы или те же «аллегорические картины». Я, однако, не спорю о возможности патологии здесь, хотя новейшая наука признала вообще большое участие патологии в произведении гениев, открываний, всякого рода изобретений. Но обратите же внимание на нравственную сторону дела: неужели вас не восхитит образ этого человека, столь полного энтузиазма и вместе столь полного спокойствия. Свобода... знаете ли, что только у нас она допустима до последних граней, ибо русский человек не злоупотребит свободой.

— Русский бунт ужасен, это сказал, кажется, ваш Пушкин, поэт.

30 — Бунт не свобода. Бунт — сумасшествие, социальное безумие, временное умопомешательство улиц. Неужели можно судить по белогорячечным минутам о виде и образе того же здорового человека? Минута пройдет. Белая горячка не длится ни годы, ни даже месяцы. Но здоровый русский человек способен к безграничной свободе по великому эпическому своему характеру, по чувству вкуса у него, который всегда отделит и осудит безобразное и смешное, по мерилу в нем нравственной оценки, которое безгранично. Многие замечают, даже из иностранцев, что русская литература есть самая этическая из всех. Между тем это есть единственное явление, которое русское общество сотворило своею охоткой, без указки и поощрения. Здесь наиболее выразилась русская душа, как она есть; что она думает, чего она желает. И, право, это может выдержать всемирный экза-
40 мен. К стати, знаете ли вы, что такое «Русь»?

— Русь?! Государство русское!

— Я справлялся у Даля, который записывал разговоры в разных местностях и по ним выводил общее или основное определение понятия, слова. «Русь = мир, бел свет, свобода, простор». У него приведены и примеры: сидит ямщик на облучке, одна нога в санях, а другая «на руси». Это значит — «на свободе». Дом у мужика стоит «на руси». Это значит, что он стоит на открытом месте, свободном со всех

сторон. Вернемся к договору и договорному началу. И дела все делаются у нас «на руси», то есть чтобы простор был в деле, чтобы не по пунктам и параграфам, а в *волюшку*, с надбавкой, но не по заказу. Как «заказ» — так это немеччина, другая страна, иной дух. И, знаете, даже наши отрицатели, величайшие противники русского духа и русской истории, не могут, не умеют не подчиниться глубочайшим образом этому же духу. В Женеве, Лондоне, Париже они все делают «на руси», без заказа, вне порядка, «в *волюшку*». Никак не умеют подписать «соглашения» с западными своевольниками, которые им кажутся настоящими рабами.

— Все это интересно. Не спорю, что кой-где есть трогательное. Но, знаете ли, все это... какая-то *ἀστολία*, «неуместность» в прогрессе нашей западной истории. 10
Греческим словом этим афиняне определяли характер Сократа. В вас, русских, есть что-то сократовское, мудрое. Но много и ужасно смешного, что, впрочем, было тоже и у Сократа. Вы вообще представляете собою какую-то неясную даль, как в дороге. Европа шла-шла. И дошла до вас. «Это что-то далекое и неясное» — вот ее впечатление. Кончились наши железные дороги — и уперлись в степь с колокольчиками, ковром трав и изредка мелькающим среди их татариним. Вы татары? Ей-ей, вы только татары!

— Может быть, это так же верно, как и то, что мы Сократы, то есть в конце концов самые утонченные, завершительные афиняне. Действительно, у нас как-то неумовимо философия переходит в свинство и свинство оканчивается филосо- 20
фией, и русский человек в одних частях татарин, в других — мудрец. Но ведь и Бог сотворил человека из глины и духа Своего, так что и в этом отношении народ наш наиболее богозданен. Египтяне, изображая человека, всегда оканчивали его головой животного: кошки, ибиса, собаки, коровы. Так им нравилось, хотя, по сохранившимся золотым маскам с мумий, лица у них были поразительно прекрасны. Вообще Россия немножко навозом пахивает, хотя два века наши чиновники и просвещенные люди только и усиливаются, чтобы настлать в нашем хлеве паркет. Между тем, не говоря об египетской мудрости, и христианам не следовало бы забывать, что их Избавитель и Исцелитель родился в яслях. И, знаете, никоим образом нельзя представить себе, никакой историк не расска- 30
жет и никакой песенник не запоет, даже во сне не может присниться, чтобы наш Христос, как мы Его знаем, как мы Его любим, мог родиться на паркете. Какое-то таинственное несоответствие, никем еще из историков не выясненное. Чиновники же наши, да и просветители не по разуму, в хлопотах о паркете незаметно искореняют самую возможность Христа; так сказать, убирают коврики, по которому единственно могли бы ступать Его ноженьки. И вот отчего мы в своем «навозе» упорны.

— Азия!

— Нет, но и не Европа.

— Какой-то обоюдосторонний нигилизм!

— Почему же не двустороннее утверждение!

40

Я изложил своими словами, немного распространив и разъяснив, часть содержания интересной книжки г. Кускова «Наши идеалы». Но все знают, что это уже очень старый писатель, обзор 50-летней литературной деятельности которо-

го был этим летом сделан в одной из наших газет, автор стихотворного сборника «Наша жизнь» и переводчик, с большими пояснениями философского характера, трагедий Шекспира «Ромео и Юлия» и «Отелло», участник еще «Времени» и «Эпохи» Достоевского и горячих битв того времени.

ИЗ ПРОШЛОГО НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

У Достоевского в «Дневнике писателя» за январь 1876 года есть крошечное как бы «Post-scriptum», озаглавленное: «Золотой век в кармане». Оно сделано после описания детского вечера и елки в клубе художников, которыми, по разным причинам, наш автор остался решительно недоволен. Подростки обоего пола, во множестве толпившиеся на вечер, не узнали старого писателя и «очень толкались». Можно бы, конечно, простить, но угрюмый писатель не простил, написал об их грубости, — и вот, уже кладя перо, приписал всего 30—40 строк: «Золотой век в кармане». В целом творчестве Достоевского, во всех 14 томах его посмертного издания, это есть одна из самых центральных точек, никем в критике, кажется, не отмеченная:

— «Ну что, — подумал я, — если бы все эти милые и почтенные гости захотели, хоть на миг один, стать искренними и простодушными, — во что обратилась бы тогда вдруг эта душная зала? Ну что, если бы каждый из них вдруг узнал весь секрет? Что, если бы каждый из них вдруг узнал, сколько заключено в нем прямодушия, честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств, добрых желаний, ума — куда ума! — остроумия самого тонкого, самого общительного, и это в каждом, решительно в каждом из них! Да, господа, в каждом из вас все это есть и заключено, и никто-то, и никто-то из вас про это ничего не знает! О, милые гости, клянусь, что каждый и каждая из вас умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, несравненно обольстительнее Алкивиада, Дон-Жуана, Лукреций, Джульет и Беатрич! Вы не верите, что вы так прекрасны? А я объявляю вам честным словом, что ни у Шекспира, ни у Шиллера, ни у Гомера, если бы и всех-то их сложить вместе, не найдется ничего столь прелестного, как сейчас, сию минуту, могло бы найтись между вами, в этой же большой зале. Да что Шекспир! Тут явилось бы такое, что и не снилось нашим мудрецам. Но беда ваша в том, что вы сами не знаете, как вы прекрасны! Знаете ли, что даже каждый из вас, если б только захотел, то сейчас же мог осчастливить всех в этой зале и всех увлечь за собой? И эта мощь есть в каждом из вас, но до того глубоко запрятанная, что давно уже стала казаться невероятною...». Затем он говорит знаменательно, что и гг. генералам не надо было бы даже переменять мундира, чтобы войти в этот золотой век, который уместит в себя все их регалии и, словом, ни с кого ничего не снимет, ни в чем не обидит, не умалит, а всех обогатит тем богатством, какого он сам внутренне желает. Только бы, замечает он, мы имели силу духа вдруг и разом раскрыть все то, что в нас таится и что гораздо лучше тех масок, какие мы показываем друг другу.

— «И были оба наги и не стыдились», — сказано в вековечной Библии о райском состоянии человеков. Достоевский говорит, в сущности, о подобной же

страшной (теперь и для нас) наготе человека, но только не физической, а духовной. Будем все, как есть; откроем все свои помыслы друг другу; скажем громко о страстях, пристрастиях, претензиях. Сказанные вслух, они выдохнутся в зле своем, тогда как теперь точат наше сердце. Зло похолодеет, атрофируется, будет уничтожено просто тем, что все его увидят и закроют от него, жалостливо и с болью, глаза рукою. А добро широко распухнет, ибо в сочувствии всех найдет необъятный импульс себе. О, и теперь это есть, но как-то криво и неполно вследствие искаженности вообще всех человеческих отношений, вследствие сковывающего всех взаимного притворства. История дел человеческих есть до известной степени история человеческих гримас, и Достоевский предлагает прекратить эту недостойную комедию. 10

Во всяком случае этот рецепт реальнее и живительнее пресловутого «непротивления злу». — «Давайте все быть, как есть». Ну, это полный реализм! Не язычество ли это? Да, пожалуй, это и есть настоящее и единственное язычество, ибо сразу из XIX века перенесло бы людей в век Гомера, Эдды и былин, когда люди именно были «как есть». Если с эстетической точки зрения история есть только принужденная гримаса, то со стороны ее сущности она есть преемственное построение разных условностей и придание им гораздо большего значения, чем какое отдается реальному миру.

Так или не так, но в последующей жизни своей, которой значительная часть 20 прошла в чиновных рядах, я убеждался ежедневно и годы, до чего правильно и универсально приложима мысль Достоевского. В самом деле, «золотой век» у нас «в кармане». Вы думаете, мы, чиновники, положим, контроля не сумели бы так обревизовать Россию, так досмотреть за всеми в ней постройками, инженерными предприятиями, вещевыми складами, что порошинка «казенного интереса» не пропала бы? Да мы знали более чем отлично всех, кто ворует, и где воруют, самые способы воровства и мотивы воровства, знали до такой степени, чтобы отличить, которое ворует для «семейной обстановки» жены и которое для нарядов любовницы. — «Но почему же вы не кричали? Не хватало?» — 30 изумится читатель. Но ведь «золотой век» из кармана еще не вытасчен. Как *частные люди* мы, конечно, все знали. Но как *официальные люди* мы столь же всеконечно ничего не знали! Золотое дело службы, ее «золотой сон» — были у вас в разговорах. Но вот мы надевали мундир, вступали в должность и... шекспировская даровитость пропадала. Мы имели вид тупиц, сонливых, равнодушных к делу, безучастных к людям, к России. Дожидались своих 5¹/₂ часов (момент окончания службы), сдвигали все «дела» в стол, запирали его и, поплевав немного около стола, — отправлялись кто на Петербургскую, кто в Гавань, кто на Пески.

Или учителя гимназий? Видел я их и как ученик — официально, и как товарищ — под углом «золотого века в кармане». Какая разница, какая неизмеримая 40 разница, точно две разные породы людей, точно самое рождение у них было разное! Да они на самом деле до того проникнуты желанием учить и уменьем учить, а если нет, то по крайней мере воспитывать, что, кажется, скажи Царь-Батюшка этим несколькими тысячам человек: «Вот, о вас много худого говорили, но я верю, что вы люди добрые; знаю, что содержание ваше скудное, но потерпите еще лет 10—15, ибо Россия темна и нища и помочь вам не из чего; а вы уж без всякого торга возьмите на себя бремя, как и я, как и все, на эти 10—15 лет и сделайте, чтобы через эти 10—15 лет не было темного человека в нашей России, и как хо-

тите это сделайте, как умеете, а только чтобы через 15 лет стоял на Руси бел-день вместо черной ночи...». И, поверьте, кинь эту *задачу* перед *громадой* учителей на *самостоятельное* ее разрешение, и через 15 лет Россия в ученом, образовательном отношении сделалась бы неузнаваема! Студенты праздны? не учатся? вольнодумцы? Да опять же брось их на настоящее дело, как бросают их в холерные годы, как теперь они работают в Манчжурии, и все преобразится не через годы, а через дни и недели, и они сотворят чудеса. Не забуду переданного мне рассказа, как мужики великорусского села поднесли икону Николая Чудотворца еврею-медику (студенту), не зная или не догадываясь о его происхождении (он был рыжий). Село было жестоко настроено и готовилось убить всякого доктора, который у них покажется, а смертность шла страшная. Никто и не шел. Студент же этот был сам с задатками чахотки (и вскоре умер), бедный до нищеты, и не только в это село вызвался пойти, но сейчас же и изодрал бывшее у него платье и белье для нужд больных, и как мужики увидели, что он всего сейчас же «решился» сам, то и подумали, что по крайней мере такой отравлять не станет (всеобщая гипотеза о докторах в холеру), и решили его не убивать. А затем сейчас же образовался около него штаб помощников (из мужиков) по уходу, и в несколько бессонных недель он приостановил же холеру, и мужики ему поднесли икону. А может быть, до этого случая он также безнадежно пропускал лекции или дремал на них, проводил время в пивных или бестолково толкался в коридорах университета, вместо того чтобы сидеть в аудиториях. «Золотой век» был... в «кармане», как он в «кармане» у контрольных чиновников, у учителей; но пришло дело, настоящая минута... и насколько лучше оказался тот же человек! Нет, Достоевский не бредил, и «золотой век» возможен не только на фарфоровых чашках, как недоуменно спросил он в том же «Post-scriptum»'е.

* * *

30 Под впечатлением недавнего фельетона кн. Васильчикова, где были приведены мысли его отца о самоуправлении, я перечел записку К. С. Аксакова: «О внутреннем состоянии России»*, представленную в 1855 г. Государю Императору Александру II, где всего полнее изложены основы славянофильского воззрения на государственный и земский строй нашего отечества. Я хотел писать серьезный разбор этой «Записки» и... положил перо и рассмеялся. До такой степени вся «Записка» полна кабинетных иллюзий, вне всяких веяний «матушки-земли, как ее Бог устроил». Ну, напр., это с пеною у рта уверение, будто русские от начала и извечно «чужды желания управлять собою» и не имеют вовсе в себе инстинкта власти и властвования, столь общеорганического, что в известных формах он встречается не только у льва, но, кажется, даже встречается у моллюсков. У одних русских, на этот раз «уродов» (ибо ведь «уродство» есть «исключение»), будто бы его вовсе нет, и это доказывается двойным призыванием князей — первичным в 862 г. и вторичным в 1613 г. Пусть так. Но разве не есть также русские народ-

* Перепечатана из «Теории государства у славянофилов. Сборник статей И. С. Аксакова, К. С. Аксакова, Аф. В. Васильева, А. Д. Градовского, Ю. Ф. Самарина и С. Ф. Шарипова». СПб. 1898.

ные явления вольнолюбивое казачество? Походы и удадь Ермака? «Господин Великий Новгород», весьма властительный относительно «пригородов»? Именитое боярство до Петра с его «местничеством» и именитое купечество после Петра, последнюю фазу которого описал Островский? Разве мы не видали «вельмож в случае» с их властолюбием до самозабвения? Ведь все это русские явления? довольно массовые! и гораздо более выражающие общерусский характер, чем механизм призвания на княжество. А мучительное властолюбие боярства, которое свергнуло Федора Годунова, Дмитрия I и ограничило Василия Шуйского и даже Михаила. Нет, в отношении постижения нашей истории все это — бумажные теориейки. Но и по моральной оценке стоимость рассуждений Аксакова не выше. 10 Он хочет соединить — и разделяет. Он противопоставляет «Землю» и «Государство» друг другу, порывает нити общего и, следовательно, нити общения между ними, как будто возможно их не на бумаге, а в самом деле разделить! Что такое «Государство» без «Земли», вне веяний «Земли», как не бездушное тело, бездыханное тело? Что такое «Земля» без «Государства» и «государствование» в ней, как не комок изуродованного тела, из которого вынута все твердое. И что за разделение? Да и для чего оно? Почему народность русская, «нрав и обычай» русские, русское слово, русская совесть, что все Аксаков выделяет в особую категорию «Земли», — отчего всему этому не дышать свободно и любовно в «Государстве» русском?! Владимир Даль был преисправным чиновником, пунктуальным и крикливым, — и вместе собрал «Пословицы русского народа» и живые говоры великорусского языка. Это ли не был «человек Земли»? Да и множество русских, и именно отличнейших русских людей, одновременно были и лучшими выразителями «общества» (категория «Земли» у Аксакова), и превосходными «служилыми людьми» (категория «Государства»). Нет, уж если любить — то не разделяя; если любить — то соединять, сливать, а никак не противопоставлять. В кабинете, в целях округленности теории, позволительно в виде «сочинительского» приема рассуждения и изложения начать классифицировать все по двум рубрикам — «государственности» и «земли». А *in concreto* все это так переплетено в каждом явлении национальном, в каждом человеке, что расчленив их, не дозволить им 30 слиться — решительно невозможно.

Но есть *принцип* как *идеал* — «государственности» и «земского начала». В каждом деле, конкретном и живом, бьются и борются между собою эти два идеала, два принципа: увлекаемые одним принципом, «дела» стремятся стать к зрителю, к народу, к обществу — официально, наружную, сухую стороною и показать высокомерное лицо свое; напротив, когда они (то есть *те же* дела) подчиняются другому принципу, они раскрывают свою интимную, внутреннюю сторону, всегда с маленьким моментом «покаяния» в себе (что человеческое совершенно?) и за то привлекая глубокое сочувствие к себе. Официальность, сухость, формализм (все признаки категории «государственности») могут быть присущи и частной жизни; в то же время как будто признаки только частной жизни — субъективизм, простота и открытость — могут передаваться в функции государственных дел. Вот такое-то смешение частного и общего, внесение частного одушевления в общее дело и составляет сущность вообще «Земли», «земства», «земского устройства» в противоположность бюрократическому. Таким образом, «государство» и «земство» не суть два отдела, как бы две разобщенные комнаты, наполненные каждая своим составом дел, а два способа жизни, два метода творчества. Причем 40

может сделаться, что в земские дела и самими земцами будет внесен дух «государственности» и, обратно, в само государство может быть внесен дух земства, и притом самими даже чиновниками. Достоевский, в «Золотом веке в кармане», и говорит, что всякий генерал может стать Шекспиром, не снимая даже эполет. Я заметил о «кичливости», присущей всему официальному и государственному; принцип «земского строительства», напротив, ео ipso * скромн, он идет не только вперед, но может двигаться и назад, и в стороны. Вообще он неизмеримо богаче подвижностью, приспособляемостью, ловкостью, и это просто оттого, что он всегда склонен к нотке «покаяния» в себе, без которого (как в государстве) невозможны ни боковые, ни обратные движения. Таким образом, при кажущемся своим бессилии, шаткости, непостоянстве, «земская душа» имеет вечные силы к обновлению и, до известной степени, искру бессмертия; а «государственная» — могуча, горда, но страшно хрупка, иногда от одного удара, и вообще причастна смерти и умиранию. Посмотрите, как народы живут вековечнее государств! Сколько последних переменилось в Италии, какова была судьба территории греческой, а тосканцы, римляне, греки прочны, как и евреи. Во столько же и «земское одушевление», «земский метод жить» в сущности более гибок и живуч, нежели способ «государственного существования».

Разве наши государи (я все критикую точку зрения Аксакова) не имеют в себе бездну «земского начала», даже, пожалуй, больше, чем многие и многие из «выразителей земли», из людей «быта и обычая», частного почина и проч.? По классификации Аксакова они должны бы быть какими-то великанами-машинами; когда мы видим в них (читайте мемуары) бездну обыкновенного, скромного, иногда скорбного (слеза «покаяния», присущая всему «земскому»). И поверьте, не сказал бы Пушкин, в ответ Чаадаеву: «Я люблю русскую историю, — такую, какую ее нам Бог послал», не будь в лице наших государей (а ведь их биографии составляют стержень истории) этой глубоко человеческой черточки, кладущей между ними и западными государями такую пропасть именно потому, что там это всегда — официальное, и только официальное лицо, рыцарь в забрале и латах, а у нас слишком часто — бытовой человек, имеющий трогательную «семейную хронику» за собою. Читайте воспоминания эмигранта кн. Крапоткина об императрице Марии Александровне. Как часто ей писал письма государь Александр II, и она ему, конечно, обратно; и как в этой переписке незримо ни для каких политиков и историков сказывалась *ежедневная* забота императрицы о наших бедных крестьянах, об их освобождении, и она не давала супругу и государю ни остановиться, ни замедлиться в начатой реформе.

«Земское дело» имеет совершенно особую душу в себе, сравнительно с «государственностью», и она более повернута в сторону того «золотого века», о котором афористически и так глубоко заговорил Достоевский. Поразительно, что тот же самый человек, быв в «земстве» и затем став на «государственную службу», являет различное лицо, и притом роковым и невольным для себя образом. Этому мы знаем много примеров. Традиции, порядок, закон официальности — что то же государственности — скрывают от людей лучшие, человечнейшие в нем черты. Он вдруг становится непогрешимым, когда раньше был «слаб, как все»; видали ли вы столоничальника, который громко бы сказал: «Я могу ошибаться».

* тем самым (лат.).

Они все — папы. Между тем как земский человек, будет ли то князь Рюриковой крови, все равно говорит: «Мы все от Адама, и я немощен, как прочие» — и (это-то, это-то и важно!) не видит себя униженным и оскорбленным, когда видит попытку заметить ему, поправить его, исправить его дело. Сущность «земского начала» и заключается в этом кусочке «золотого века в кармане», притом уже найденного и даже вынутаго из «кармана», воочию всем показанного, тогда как сущность «государственности» и заключает в себе ту убийственную и смертную сторону, что «золотая возможность» простосердечия, открытости, душевной ясности, нефальшивости внутренней — безнадежно уходит куда-то вглубь, точно проваливается, как вода, брошенная на песок.

10

Все замечают, что само «земство» у нас тоже имеет тенденцию превращаться в чиновничество же! Смертная, ядовитейшая в нем черта! В сущности, все нападки на земство даже и ограничиваются этою одною стороною: «Это опять чиновники!». — «И тут все, как в бюрократии!». Прелестно: значит, бюрократия-то есть уже признанное мертвое дело, признанное самими друзьями ее и врагами земства, если они кричат: «Это — как *мы!* это — *канцелярия* же!». Ведь лучшего признания *особой* земской души и *золотой* души нельзя сыскать. Значит, сами бюрократы кричат: «Покажите нам земство как *особое* и *новое* явление — и мы признаем его и подыдем на шит» (у германцев так провозглашали королей). Наконец, в этих сетованиях: «*Опять* бюрократия!» — сказывается окончательное осуждение, в самой бюрократии несущееся, бюрократии. Но в этих криках осуждения, в возможности их и что они безропотно выслушиваются земцами, и обнаруживается присутствие «новой и особой» души земства: ведь те самые князья Рюриковой крови, которые, как директора департаментов, суть *pontifices maximi* * машинного строя России, не морщатся и не ежатся, когда о них, как о земцах, раздается эта жестокая критика, раздается и от купца, и от мужика, от корреспондента и журнального «обозревателя провинциальной жизни». Все уже просто здесь (в земстве) и принципиально готово к сознанию ошибок: и вот в этом и заключается величайшее новое явление, его оригинальность и самобытность сравнительно с «государственными» способами делания.

20

30

Известно, что в нашей секте «беспоповцев» все духовные требы отправляют «старички», — ну, конечно, очень знающие и Писание, и предание, но только они просто «старички», а не священники, т. е. не несут в себе и на себе особенного оформленного и официально признанного «дара священства». Чиновничество (оно и пришло в Европу из Византии) есть в сущности светская и политическая форма как бы «даров священства»: получил — и уже имеешь их, и творишь все по власти и силе этих «даров», хотя бы лично и за себя был дряннейший человек, ни к этой и ни к какой службе не способный. Всякий понимает, какое преимущество для практической жизни в «старичках»: такого можно поправить; если он пьет — его можно сменить; за исправляемым им делом — следят. Тут живет община, весь сонм «беспоповцев», из которых, если очень-то внимательно взглядеться в дело, каждый несет в себе малую дробь «попа» же, «благодати и дара» священства, только не официально выраженного, и в силу этого дара, как бы с рождением полученного, и критикует своего «старичка». Так же чиновничество. Как с даром священства, которое стало официально и торжественно возлагаться на головы некоторых членов общины, вдруг со всех прочих членов ее спали

40

* верховные жрецы (*лат.*).

«кризы», т. е. жречество, достоинство, святыня и ответственность, и все превратились в слишком светских людей, так с «чиновничеством», этим титулованным и привилегированным гражданством, при раззолоченных воротниках и шитых мундирах (замена древних тог), вдруг со всех граждан свились их «тоги» (в переносном смысле) и все преобразились в простых «мужичков», в водовозов, золотарей и проч. и проч. «Чиновничество» есть неуловимо тонкое отнятие у всех нас «гражданства» в его святых, серьезных, ответственных чертах; «чиновничество» — это опять патриции, незаметно в историю прокравшиеся: но гордые не заслугами предков, не служением отечеству, не любовью к ним народа, а — «милостью» начальства, и только его одного милостью. Это — олигархия, каста, без посвящения, без Бога: но неудержимо ползущая в каждой точке кверху и скрепленная единственно этим законом и планом действенного ползания.

* * *

Как богат наш народ — остроумием, иронией, вкусом, седой мудростью, сказавшейся в его присказках, прибаутках, поговорках, пословицах. Песни — какая поэзия! Песни — погребальные, колыбельные, бытовые, всяческие! Самая история общества русского, «какую ее нам Бог послал», сколько в ней милых и трогательных черт наряду с забавами, но как-то не огорчительно забавными. Войдем же в департамент. Длинный коридор тянется как кишка, изгибаясь по очертаниям здания, к которому по мере накопления «дел» все прибавлялись одна к другой пристройки. По стенам коридора до потолка лежат ящики-папки с «делами»: пирамида российского существования. Из коридора ведут двери и направо и налево. Войдя в них, видишь комнаты и комнаты, анфилады их, и за «столами» сидят господа с геморроидальными лицами.

— Ничего, что геморрой. Чем больше геморроя, тем ближе к пенсии.

Ни шуточки. Ни смеха. Ни ниточки остроумия. Русь, неужели *ты* это, та же, что в сказках, песнях, пословицах? мудрая и живая? поэтическая и всех привлекающая? До последней степени очевидно, что 1) народность русская и 2) бюрократические формы русского существования нисколько не продолжают друг друга, не отражают друг друга, а почти искусственно сближены и связаны оба в один узел самым неестественным соединением. Русская народность, войди она в эти же самые залы, для этих самых «дел», заваливших бумагами до потолка коридоры, для тех же целей существования всякой администрации: 1) суда, 2) войска, 3) тишины и порядка, 4) просвещения, 5) дорог, 6) земледелия и проч., и проч., русская эта народность, позволь ей и здесь сохранить физиономию свою, выразить свой характер, нашла бы тотчас «шекспировские» упрощения, «шиллеровский» пафос, «вольтеровское» остроумие, — я все перечисляю рубрики «Золотого века» Достоевского, — и Россия из старообразной машины, почти без хода и опасной для самих механиков, около нее работающих, преобразилась бы в юное и могущественное существо, опасное для недругов и обогащающее и возвышающее сынов своих и работников. И лозунги перемены этой немудрены:

- 1) Простота.
- 2) Скромность.

- 3) Готовность к «покаянным ноткам».
- 4) Сознание, что мы все — от Адама, и несем слабость его, от вельможи до нищего, от дворцов до деревенской хаты.

И как общий этого итог: братство для всех, свобода для каждого.

«МЕБЛИРОВАННАЯ ПЫЛЬ» НА СЦЕНЕ МАЛОГО ТЕАТРА

Письмо из Петербурга

«Меблированная пыль» удачно совмещает в себе смешное и печальное, и дает в живых лицах хорошую литературную картину. Типы «шестидесятника» и «восьмидесятников», толстовца и «белоподкладочника», которые нам примелькались на страницах газет и журналов, примелькались в полемике и рассуждениях, получили кровь, плоть и мундир на сцене. Пьеса, от этого, смотрится с чрезвычайно живым литературным интересом. На двух студентов, играющих почти главные роли, брошена добродушная тень юмора: пожалуй, лучшее, что можно сделать в отношении «белоподкладочников», которые заменили науку ухаживанием и гимнастикой и предвкушают уже в университете удовольствия винта, которому станут предаваться в дальнейшей карьере всероссийских чиновников. Отчего покончил с собою бедный телеграфист-толстовец? В голове у него такая безнадежная мочалка, что ему как-то даже неестественно было бы дальше влачить свое тусклое существование. Напротив, шестидесятник с его «драть вас надо», обра-
щаемым поминутно к прожигателям своей молодости, полон такого крепкого здоровья и вовсе не смешного добродушия, — что, кажется, он переживет и восьмидесятников, и девяностых, и Бог даст вынырнет еще в 3-м после себя поколении. Несмотря на короткие бестолковые угрозы, впрочем довольно верно отражающие вообще нелюбовь 60-х годов к умственным и сердечным запутанностям, — представитель тех лет на сцене не дает ни малейшего впечатления глупого или тупого или даже самодовольного человека... А просто и прежде всего — здорового человека. Иногда кажется, думая о том практическом и шумном времени, что это наш Новиков, через головы Жуковского, Лермонтова и даже Гоголя, через весь романтизм и байронизм, — подал здоровую свою руку и сказал крепкое свое слово детям идеалистов 40-х годов, и сделал из них мыслящих реалистов в противовес говорунам-идеологам. Во всяком случае пьеса, отлично разыгрываемая на сцене Малого театра, пробуждает много литературных мыслей. Трагическая сторона пьесы, выражающаяся не столько в бестолковой смерти телеграфиста, сколько в судьбе ученицы музыкальной школы и продавщицы магазина, не оставляет слишком тяжелого впечатления. Хотя картина жалкой и безнадежной любви милой провинциальной девушки к питающему к ней отвращение купеческому сыну щемит больно сердце. Как тут помочь? как это устроить? — спрашиваешь себя. И не находишь ответа. А ведь такие коллизии вовсе не редкость.

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Уже давно у нас жалуются на оскудение в литературе. Нет новых талантов, нет новых идей. То есть нет таких талантов и идей, которые сразу стали бы общенациональными, ответив на какую-нибудь общерусскую потребность и удовлетворив общерусский вкус. Вся литература собственно разделяется на стариков и молодых. Первые повторяют те «вечные истины», которые всего энергичнее выражены в томе «Об уголовных наказаниях», и художественная разработка которых, в кружевах и со вздохами, никак не может составить литературного события. Молодые резко сгруппированы около яркой фигуры Максима Горького и в кружок «декадентов и символистов».

«Вечные истины» чаще всего и упорнее всего повторяет маститый отшельник Ясной Поляны. Гутенберг как будто для него изобрел подвижные буквы. Если к изданиям, печатающимся в России, прибавить издания, печатающиеся только за границу, но вышедшие из-под пера «Л. Н.», — то составитя целая отдельная литература. Если прибавить сюда и то, что печатается о «Льве Николаевиче» у нас и за границу, то выйдет литература уже обширная, которая не так давно получила себе отдельный каталог. «Tolstoviana» не уступает или немногим уступит «Darvinian»'е. И как «Darviniana» вращается в сущности около нескольких до крайности простых и ясных истин, в роде «борьбы за существование», «переживания приспособленнейших», «упражнения полезных органов», и ими объясняет весь мир, так «Tolstoviana» вращается тоже около несложных истин: «надо жить проще», «помогать ближнему», «не сопротивляться злumu», ибо «Бог правду видит, хоть и не скоро скажет», и ими думает урегулировать мир. Я сказал, что Гутенберг как будто изобрел свое искусство для этой вольной производительности. Но сходство есть и с другой стороны. Найдя великое средство давать в десятках тысяч экземпляров какую-нибудь строку, Гутенберг не стал печатать какую-нибудь свою, нетерпеливо ждавшую света, мысль. В буквальном смысле он был только мастеровым, ремесленником. С благочестивым чувством, большими готическими буквами, он напечатал в Майнце старую книгу, о которой всем детям было известно, что там сказано: «Бог сотворил мир», «Deus mundum creavit». — Вот такое «Deus mundum creavit» и Толстой перепечатывает в сотнях тысяч книжек — и тоже шрифтом жирным, выпуклым, четким, дабы каждый толстовец, в Тамбове или Лондоне, водя под строкой пальцем, мог повторять: «Deus mundum creavit». — «И когда они все, и в Тамбове и Лондоне, будут наконец знать, что Deus mundum creavit, они будут счастливы», думает старец с длинными волосами и сердитым лицом.

Счастливая Пушкинская эпоха, самодовлеющая, ясная. И «северный бард» пел:

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда

и проч. И когда читаешь Толстого, невольно вспоминаешь эту «птичку», придвигаешь ее к «Чем люди живы» и видишь, что это все — одна литература, ясная, очевидная, самодовлеющая; необходимая, как верстовые столбы в дороге, на ко-

торые путник, конечно, взглядывает, читает цифру, видит, что ямщик не заблудился; а грезит все-таки не об этих столбах, а о чем-то далеком, таинственном и сложном, что вызвало его трудную поездку. Так и жизнь, не говоря о человечестве, — но даже национальная, даже, наконец, личная. Ей-ей, я не захотел бы родиться от своей матери, если б мне всю жизнь предстояло: 1) не воровать, 2) не убивать, 3) не прелюбодействовать. Нет, в самом деле, представьте, читатель, что вам от сего дня и на все будущее время *запрещено*, — и так, что вы не можете не исполнить, — делать еще что-нибудь кроме этих семи или десяти благих дел: «верить в Бога», «идолам не поклоняться»... «на друга не клеветать», «чужой жены не желать». Неужели вы не воскликнули бы с некоторым ужасом, с некоторым отчаянием: «и только?? Чем же я буду жить!! И где же *обольстительность* бытия, о котором мне говорили поэты, сказки, да даже сказал и Сам Бог, заканчивавший каждый день творения словом: как это хорошо!». По крайней мере я бы сошел с ума от уныния, если бы вся моя последующая жизнь не могла выйти из рельс «десяти мудрых дел». Таким образом, эта в своем роде моральная «Птичка Божия не знает», которую перепечатывает «сто первым тиснением» гр. Толстой, не может насытить не только человечества, не только нации, но и насытить даже единичное существование.

Подобно тому, как все в «Darvian»'е смутилось, когда были открыты X-лучи и прочие диковинки лучистой энергии; так точно в «Tolstoviana» до некоторой степени все смутилось, когда было указано бескровным вегетарианцам на начало *страсти* в человеке, да пожалуй — и в мире. Они все говорили о благоразумии: им было показано — безумное и *сильное*. Безумное — и *красивое*. Безумное — и плодотворное. Вот сколько новых категорий, которые до того далеки от «пары рельс всяческой рассудительности», что к ним от этой магистрали никакого «подъездного пути» не устроить. Новый мир совсем противоположный. Начала *творчества, силы, красоты*: ну, скажите, бродил ли философскою мыслью своею, своей религиозной мыслью, гр. Толстой около этих родников? Хотя он сам был и красив, и силен, и изумительный творец. Но ведь и человек позднее всего задумался о себе самом, а хищные животные употребляют в пищу только травоядных. Сам Лев есть бесспорно лев, т. е. принадлежит к породе когтистой, с могучими клыками; но столь же бесспорно травоядное содержание всей его философии, моральной проповеди, пути жизни, им указываемого. А для «Tolstoviana» имеет значение именно то, чему он учит, а не то, что он сам есть. Напротив, во всех наших довольно тощих «декадентах и символистах», пожалуй, даже слишком много постного; но, как все травоядное царство признало льва «царем животных» и какая-нибудь робкая газель с замиранием сердца слушает издали ночные рыкания этого льва, или издали с восторгом глядит на его фигуру, так точно лично скромные и тихие наши декаденты открыли великое «начало бури» в природе. Открыли, признали и до некоторой степени углубились в него. Толстой с наибольшим презрением отнесся к этому новому в литературе явлению; хотя едва ли с столь же большим спокойствием. Действительно, ни откуда еще не грозит «его царству» разрушение, и притом разрушение столь верное и уже в самом зародыше своем торжествующее победу, как отсюда. Ведь королями рождаются, а не делаются. Ведь царство лежит уже в колыбельке. Можно сказать, яичко, снеженное декадентами, — сразу и для всякого беспристрастного наблюдателя — несравненно более царственного происхождения, царственной породы, чем вся

«Tolstoviana» с ее творцом и эпигонами. У декадентов один недостаток: нет в игре короля. Нет даже фигурных карт: одне двойки и тройки. Родив богатейшее содержание, найдя колоссальную задачу, они стоят перед нею с нищенскими силами. Точно перед алмазной россыпью — с первобытными мотыгами и кирками. Появись у них талант, как Гоголь или Лермонтов, талант именно только в технике письма, без гоголевского или лермонтовского содержания — и, без сомнения, их влияние залило бы литературу. Но этого нет. У них, пожалуй, более, чем у какого-нибудь литературного лагеря, безлюдье. И они не только не сумели победить даже, но грамотно объяснить обществу, кто же они такие и что нового при-
 10 несли с собою. Вот что соделало этот кружок каким-то прихотливым, бледным, экзотическим у нас растением. Точно орхидея, под которой нет земли.

Максим Горький из «новых» — фигура самая яркая. Один он составляет целое явление, целый лагерь. В то время, как декаденты все объясняются какими-то иностранными вокабулами, Горький каждую свою мысль «шлепает» даже не свинцовыми буквами, а какими-то прямо из доски вырезанными буквами. «Аз» — так уж «Аз», не смешаешь с другой буквой. Видно из Гамбурга, из Парижа, из Милана. Максим весь прочитан, ни одного в нем темного уголка не осталось; и притом с самого своего выступления он читался чуть не всем цивилизованным миром от первой и до последней буквы своего содержания. Тут лежит та
 20 опасная для всякой литературной репутации черта, что уже, очевидно, и после его смерти ничего не прибавится к той определенно сказавшейся репутации, какая сейчас у него есть; что в нем невозможно чего-нибудь разгадывать, угадывать, как в Шекспире, в Гоголе; что никогда не будет в истории литературы главы: «Максим Горький — после его смерти» или «отношение последующих поколений к Максиму Горькому». Максим Горький весь — современность, и притом — только современность. Это придало необыкновенную выпуклость ему, яркость, дало силу удара. Каждый писатель, более сложный, рассеивается множеством частиц своих в целом ряде поколений, которым будет казаться все нов и нов, тогда как своему поколению он не представлялся очень большим; напротив, своему поко-
 30 лению Максим Горький представляется страшно огромным: но сейчас же после «своего поколения» он представится стар, давно известен, и нисколько не интересен. Конечно, он еще молод и за будущее нельзя ручаться. Конечно, он и не виноват в том, что до такой степени сразу и всеми был прочитан и усвоен. Он, наконец, может сказать, в защиту своей «великости»: «ну, да — других жуют века; но ведь если меня сразу проглотили и переварили, то все же кишкам было со мною столько же работы, а от меня столько же питательности, сколько и от тех, на кого вы намекаете, как на настоящих великих. Только тут — сразу, а там — долго». Не спорим. И вообще от «великости» Максима мы не собираемся ничего отнимать, не только для виду, но и по существу, в душе. Нам хотелось бы видеть
 40 в нем больше загадки, больше таинственного. Слишком он ясен: вот что опасно. Мы не хотим сказать, что он плосок. Но фигуры его точно нарезаны на доске, на царापаны; а не так, чтобы их можно взять в руку, и, пощупав со всех сторон, сказать: «тут — все три измерения, длина, ширина и глубина». *Глубины* — особенно недостает; и в смысле именно «таинственной дали»...

Все же и «Максим» составляет лагерь, а не общепризнанное национальное достояние. «Общепризнанными» являются только Толстой и старички.

* * *

«В начале бе Слово»... как это изречение евангелиста Иоанна приходится часто повторять и в литературе. Слово должно рождать событие: а если события, потенциально в слове предустановленного, не родилось, то начинается какое-то бессмысленное клокотание звуков в горле, является какое-то заикание исторического народа, на которое больно смотреть. Что фактического, что практического таила в себе муза Гоголя и Лермонтова, — мы не знаем; но муза русская до них, включительно с Пушкиным, таила в себе нечто примитивно-доброе, первоначально нужное, что начало было осуществляться между 1856 и 1863 годами: и вдруг остановилось все и пошло вспять.

10

Дней Александровых прекрасное начало...

— как этот стих Пушкина запомнился! «Начало» и других «Александровых дней» также было встречено энтузиазмом, ожиданием, более грубым по выражению, ибо тогда уже вошла в жизнь наша демократия, но таковым же по существу, по содержанию. Как в начале царствования Александра I, так и в начале царствования Александра II все ожидали в сущности очень немногого, слишком законного: ожидали элементарно справедливых условий жизни, порядочного суда, порядочной администрации, порядочной школы, права говорить вежливую правду, и пр. и пр. Все то, что каждый народ в сущности получает при первом же выходе из пеленок первоначальной дикости. Римляне, греки, англичане, германцы имели и «добрую администрацию» и «добрый суд» чуть ли не при Сервии Туллии, при Солоне и при разных средневековых Альфредах, Генрихах и Оттонах. Русская литература, от фон-Визина и Новикова до Пушкина и Жуковского, все только и вращалась в этих примитивных добрых пожеланиях, *résumé* которых вылилось в программу 60-х годов. Таким образом, политическая программа 1856—63 годов была естественным, невольным и, наконец, неодолимым последствием всего русского умственного развития приблизительно за век. «Слово бе» уже от Новикова до Пушкина; но дело... вдруг оно застряло, остановилось, исказилось; и, обратно, повлияв на «слово» — исказило странным искажением его...

20

Все потенциальное становится реальным. Это уже аксиома природы. Некоторые элементарные условия доброго русского существования — все равно теперь, или завтра, или послезавтра их придется дать. «Слово» сложилось в уме; не может же оно не выразиться в звуках, в деле. Чем долее, однако, затягивалось «дело», чем казались «заказаннее» самые «пути» к нему, — тем общество более и более становилось маниакальнее, болезненнее, теряло всякое спокойствие и уравновешенность. Все умы русские, все русские пожелания сошлись в одну точку, в один угол: «такие-то и такие-то условия элементарного гражданского существования». И от угла этого, пока стену «не прорвало», русские также не могут отойти, как вода не может потечь вверх. В духовном отношении Россия напоминала длинный мешок, все огромное содержание которого сбилось в твердый комок, оставив пустоту во всем остальном неизмеримом его пространстве. «Комок» этой мысли ничего сложного в себе не представляет, ничего мудрого, в особенности — ничего сколько-нибудь таинственного. Все — ужасная азбука, в роде того, что в XIX веке двигаются паром, а не лошадьми, что нужно умываться мылом,

30

40

а не «водой из ручья» и проч. Просто — комфорт. Комфорт — общечеловеческого гражданского существования. Комфорт — это просто реестр «удобств», без всякой философии позади. Пока хохлы не в праве напечатать Евангелия на своем наречии, полька не в праве позвать ксендза для домашних уроков 11-летнему своему сыну, — мы, конечно, пользуемся меньшей «юридической обеспеченностью», чем этруски в эпоху Сервия Туллия. Это — трудно, об этом нельзя не вздыхать. С другой стороны, когда подумаешь, что для открытия дома терпимости не требуется никаких хлопот, а для открытия медицинского женского института в Петербурге потребовались годы работы, хлопот, что здесь перед «стеной сопротивления» разбили головы свои десятки и, пожалуй, сотни ученых, литераторов, даже наконец министров (гр. Д. Милютин), то... рассмеешься, а не заплачешь. «Ну, если превосходство учебного заведения перед веселым домом, науки перед проституцией — требуется доказывать: то что же вообще есть очевидного в нашем отечестве?».

Не было ничего и очевидного. И вот общество стало стеной перед стеной же, с желанием: «нужно же установить, чтобы хоть что-нибудь было очевидным, ибо иначе существовать нельзя». В самом деле, если человек не знает, куда нести ложку супу, не отличает в себе органов чувств, не знает понятий «внизу» и «вверху» и т. п., то самое существование его становится невозможным. А ведь не умные отечества выбрать между «одобряемостью» дома терпимости и медицинского института — напоминает подобное незнание.

И литература остановилась. Просто стало непонятно, и притом целому русскому обществу, для чего же работать головой, мыслить, страдать, учиться, поэтизировать, мечтать, философствовать, когда из всего этого ничего не выходит. Не было науки, но и тогда все-таки знали, что ученье лучше, чем разврат. Пришла наука, воздвиглись университеты: и вдруг для многих стало темно, лучше ли наука проституции? Значит — «vanitas vanitatum, как сказал Экклезиаст». Осталось повторять старческие изречения Экклезиаста: «суета сует», «ничего не нужно», «солнце восходит там, где заходит» и т. п. моральные «теоремы Пифагора». Хорошо еще, что русское общество не впало в цинизм. А могло бы случиться. Мог ли пойти такой моральный «кутеж», пропивание «последнего», что испугали бы японцев, что даже цыгане со своими таборами ушли бы «куда подалее от русских»... Но не случилось это. Чудными судьбами русские сохранили идеализм, самый высокий энтузиазм, и только жалко, что — энтузиазм к слишком элементарному. «Пустите!» — стоят они перед стеной. Мы заговорили об элементарности. Но это вытекает из всего существа исторического нашего процесса. Нельзя говорить «Б», не произнеся «А». Пусть дверь отворится. И завтра же исчезнут трюизмы, «толстовщина», маленькая мораль для домашнего обихода и красивые указания перстом на Экклезиаста. Если завтра — элементы гражданского существования, то послезавтра — новая литература.

Так это очевидно. Я заметил о маниакальном, болезненно-либеральном состоянии русского общества. Знаете ли, на завтра, после того, как будут удовлетворены «примитивные требования», явится настоящая консервативная и настоящая национальная литература в России. Не «печать», а именно литература, т. е. некоторая поэтизация и некоторая философия около исторических наших устоев. Так это и было между 56-м и 63-м годом, когда в противовес Чернышевскому и Добролюбову поднялись Катков и Н. Я. Данилевский. Т. е. поднялась страсть

против страсти, явилась целая система философии, чтобы опровергнуть «журнальные софизмы», весьма кусательные и весьма практически-действительные. Теперь иссякла богатая и творческая либеральная мысль, ибо все свелось к трюизму: «отворите! пустите!». Тут где же разыграться таланту, на каких темах? А консерватизм вовсе исчез, почти исчез даже, как печать. И Мещерский и Грингмут потеряли всяких подписчиков, и если б они немножко были философами, они, конечно, просили бы «отворить» дверь, ибо существование их моментально получило бы смысл и нужность в России, а подписка удесятерилась бы... Ну, зачем было в 1903 г. подписываться на «Моск. Ведомости» и «Гражданин»? А либеральной печати что было и указывать в этот год, как только... отмечать в своем «убыль луны» и света, «Еще — крещение»; «вот — схватили и потащили...». «Суета сует, как сказал Экклезиаст», — приговаривали «непротивленцы».

Бессмыслица. Толчея. Затор. Нет, пока

«Птичка Божия не знает» —

имеет свой «raison d'être». Позвольте сперва «птичку» хорошо усвоить, от океана до океана, от столицы до деревни; позвольте «птичку» заполучить, скушать — и тогда мы можем учиться дальше, усваивать «Наль и Дамаянти» и вообще отрывки «эпоса всех народов» и наконец, перейти к «чертовщине» Гоголя, к «демонщине» Лермонтова и «бесовщине» Достоевского. Наобещали же таких страстей русской литературе эти писатели. Но, вообще, оставляя «бесовщину» в стороне, как пугало, которого боятся только дети и вороны, — нельзя не отметить некоторой «туманной дали» у всех этих писателей, сравнительно со всей нашей литературой до Пушкина включительно. Это — облако, видное издали, но к нашим пажитям пока не придвинувшееся. Ведь Гоголь, Лермонтов, Достоевский буквально только *видны*, а чтобы русская душа *въелась* в них и *разработала* все их содержание, даже чтобы она хорошенько *узнала* это содержание, — конечно, никто не оспорит, что этого вовсе нет!! Давно цитируют наизусть Ницше, и «См. Also sprach Zarathustra» * — пестрит страницы журналов, газет, поэтов, прозаиков, философов. Кто же цитирует у нас наизусть *изумительные* монологи Достоевского, ссылается *влюбленно*, как на «Also sprach», на речи Раскольникова, Кирилова, Ставрогина, Карамазова... Кстати, из Достоевского ведь можно было бы выбрать маленький томик «учения», вот этих самых «монологов» и «речей» действующих лиц, а в сущности самого Федора Михайловича; речей поэтических, могоучих... И как к ним шел бы этот пророчесственный стих:

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
 Воспламенял певцы для битвы,
 Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
 Как фимиами в часы молитвы.
 Твой стих, как Божий дух, носился над толпой...

Нет, в самом деле, ни к единому еще лицу в нашей литературе нельзя так приложить, до полного совпадения, этого определения «значения поэта», — как

* «Так говорил Заратустра» (нем.).

к Достоевскому; не ко всякому ему в составе 14 томов, но вот, к этому томику «избранных речей». Это в своем роде «Also sprach Zarathustra»... Ведь и Заратустру не цитировали бы, напиши он 14 томов. Человечество нетерпеливо и во вдохновении не может отыскивать цитат по index'у rerum...

* * *

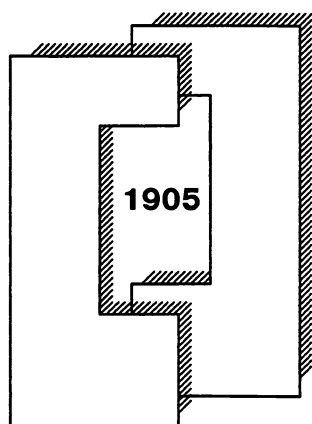
10 Кончим сказанное. Как только «плотину прорвет» и русские поедут в вагонах, а не на корове верхом (это в переносном смысле и в гражданском отношении) — так кончится эра и примитивно-либерального существования русской литературы. Кончится «классический» ясный как день, и скучный как день, период слова и мысли, настанет «романтическая пора» без малейших, конечно, аналогий с Западом, «романтическая» — в смысле «неясной дали», туманов, придвинувшихся, наконец, туч, из которых, ведь, Бог знает что может пролиться на землю. Но во всяком случае то «мессианство», то «новое слово, какое скажет Русь» — если позволительно его ожидать когда-нибудь, то только тогда, когда «закатится» солнышко рационализма, ясности, очевидности; и замерцают невидные днем звездочки. Не Тютчев ли это предчувствовал, предсказал:

Но меркнет день, настала ночь;
Пришла — и с міра рокового,
Ткань благодатную покровы
Собрав, отбрасывает прочь.

20

И бездна там обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами...

Мне кажется, я до некоторой степени объединил: 1) либералов, 2) консерваторов, 3) символистов, 4) Максима Горького. «Надо открыть дверь!». Это — для всех без исключения нужно; всем от этого будет лучше. Все на этом и должны настаивать. Ибо по ту сторону двери — сейчас все новое, и при том для всех лагерей — новые задачи, иное высшее творчество.



НАУКА И ЛИТЕРАТУРА В УСТАВЕ О ПЕЧАТИ

Высочайший рескрипт на имя т. с. Кобеко, назначающий председателем Совещания по выработке нового «Устава о печати» директора Императорской Публичной библиотеки, уже самым выбором лица определяет высоту тех задач, какие предлежат Совещанию, и тот дух, которым Совещанию предстоит руководиться. Это — необозримое поле науки и литературы, всемирные сокровища которой хранятся в нашем главном книгохранилище; работа гения человеческого, вдохновения человеческого сердца. Пусть не будут забыты журналы и газеты. Пусть даже о них говорят главным образом. Но не должна быть забыта и книга. Совещание должно охранить или, пожалуй, ему предстоит положить основной и нерушимый камень в России для нестесненного выражения философской и научной мысли, насколько она выражается путем печати, и для нестесненного пользования памятниками литературы уже истекшей.

Никого не может взволновать живым волнением или вызвать на непосредственное действие страница, появившаяся 50 лет назад. Между тем полное издание «Путешествия от Москвы до Петербурга» Радищева все еще ожидает своего часа; ожидают своего часа сочинения Герцена и Чернышевского, которые имеют один археологический, эстетический и философский интерес. Невозможно не думать, что запрет на их сочинения имеет в виду не столько пользу или безопасность наших дней, сколько является посмертной мезтью, намеревающеюся как бы изгладить из скрижалей истории такое-то неприятное, или ошибавшееся, или, наконец, даже временно-преступное лицо.

Нам кажется, Высочайше учрежденное Совещание должно прежде всего остановиться на этих памятниках литературы и мысли. 50-летняя давность, принятая законом нашим как срок прекращения фамильных прав наследников автора на сочинения своего предка, может быть принята удобною нормою и для прекращения «дальнейшего преследования» какой-нибудь нашумевшей в свое время книги. Что принадлежит истории, не подлежит более полиции, — по естественной задаче последней: охранять каждое «сегодня». Это касается книг русских авторов. Что касается до западной мысли, то уже самый штемпель: «Переведена с такого-то языка» — говорит собою, что книга, разумеется, содержит в себе множество мыслей и понятий, чуждых русской действительности и русскому образу мысли, и что читающий должен вносить сюда соответственные поправки. Это все, что должна сделать цензура: предостеречь, а вовсе не скрыть самое существование такой-то мысли. Мы хотим этим сказать, что переводы с западных языков, ну, хотя бы тоже по наступлении для произведения 50-летней давности, должны быть вовсе изъяты из сферы цензурного надзора, и должны быть изъяты

от такового вновь выходящие на западных языках книги, напр., объемом свыше 20 печатных листов. В русском теперешнем сознании так мало «малолетней» психологии, что цензурное нянчанье и пестование русской мысли во всем ее объеме представляет собою тоже какое-то археологическое занятие. Оно весьма напоминает заботы гимназического начальства о том, чтобы воспитанники IV—V классов не читали Тургенева, потому что там рассказывается про «любовь», — когда эти воспитанники слышат на улице и хорошо понимают смысл невозможных русских ругательств и даже их иногда сами повторяют. Мы в таких трудных временах, когда наивности вообще надо оставить. Нужно предоставить серьезным формам русской мысли свободу самостоятельно развиваться; чем меньше предметов заботы, тем тщательнее будет забота. Нельзя «объять необъятное», а литература страны, по достижении известного возраста, становится совершенно необъятною, не озираемою, не охватываемою никаким глазом (иначе, чем поверхностно) вещью. Цензура французской литературы, цензура английской литературы, цензура германской литературы самым предположением своим вызывает улыбку: именно, в отношении достигнутого объема, разнообразия и углубления этих литератур. То же наступило время признать и относительно русской литературы.

Собственно по именам, в схеме своей, всяческие западные отрицания известны и у нас, известны чуть ли не гимназистам. А серьезной начитанности, даже в сфере этих отрицаний, да и вообще всяческой серьезной начитанности, весьма мало у всего русского общества. Отсюда самые отрицания имеют форму тезисов, тем менее оспариваемых, чем менее известна вообще философия около этих тезисов. Они поэтому, как и всякие краткие афоризмы, действуют на волю и, если позволительно так сказать, и философия, и некоторые науки от этой их беспрекословной афористичности получили боевое значение, нисколько им не присущее по существу и не присущее вовсе на Западе.

КУНО-ФИШЕР. ИСТОРИЯ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ

Том III. *Лейбниц, его жизнь, сочинения и учение.* Перев. с нем. Н. Н. Полилова. С портр. Лейбница. 735 стр. — То же, том VII. *Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение.* Перев. со второго дополненного немецкого издания Н. О. Лосского. С портр. Шеллинга. 893 стр. Издания Д. Е. Жуковского. СПб. 1905 г.

Появление этих двух хорошо изданных томов должно приветствоваться всеми образованными читателями. Куно-Фишер, кажется, дал если не идеал, то во всяком случае образец истории философии. Это уже не «очерки», не «наезды» и не «обзоры», какие дают другие историки философии, а глубокая работа рудокопа. Шеллинг и Лейбниц родственны между собою, как, с другой стороны, родственны Декарт и Спиноза. Интерес к гениальному, а не к одному последовательному, постижению чувства и волевых движений, а не одной паутины мысли, интерес

к истории, к личности и быту, к народному творчеству, доверие к прозрениям и озарениям, а не к одним выводам — все это есть общая черта у обоих немцев XVII и XVIII—XIX веков. Философия Лейбница и Шеллинга гораздо менее умерла, чем философия Декарта и особенно Спинозы, эта сухая и бесконечная палка, утвержденная на земле и протянутая к небу. Француз и еврей проводили какие-то рельсы, когда оба германца разрабатывали страну. Тут во всем разница: в целях, результате, впечатлении от них, в господствующих душевных способностях обеих групп мыслителей. Декарт — великий механик мысли и истинный отец механических приемов изучения природы. Можно провести прямую линию от него до Ог. Конта, и, напр., наших грубых «мыслителей» 60-х годов. Лейбниц и Шеллинг — великие «сердцеведы» природы и суть творцы интуитивного в науке: от них связующая нить тянется до Пастера с открытым им миром микроорганизмов и до новейших в физике открытий, начиная с «Х-лучей» и до радиоактивности. От Декарта также нет никаких путей к Шопенгауэру и Гартману с их учением о воле, с их прозрением в мудрость староарийского Востока; напротив, Лейбниц и особенно Шеллинг уже прямо как бы указали на пути, по которым пошли эти родоначальники волюнтаризма в философии. Даже Ницше и его «сверхчеловек» связуемы с философией, которая выражала такой интерес к религиозному, такую чуткость, любопытство и доверие к «гениальным скачкам», к «перелетам» воображения и догадок. Напротив, от Спинозы и Декарта «пути были заказаны» к Ницше. Шеллинг и Лейбниц, в сущности, приложили к философии тот метод изучения или те силы души, которых работу в религии мы оцениваем как «антропоморфизм». Оба они были антропоморфисты-философы; «по образу и подобию» человека они старались угадать «образ мира». На этом пути, конечно, возможны были и в самом деле случились великие ошибки, но также возможны были и действительно произошли великие открытия. Не можем не указать, что наш Вл. Соловьёв, поэт, мистик, философ и публицист, был в значительной степени шеллингист; точнее, он был наш родной Шеллинг: так как сознательного следования Шеллингу у него не было. Но ведь в том и состоит самая сущность философии последнего, что она открывала «сродство душ», а не одни умственные заимствования.

О ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭТИКЕ

На страницах «Моск. Вед.» и «Русских Ведомостей» разыгралась полемика, которая употребляемыми в ней приемами выходит из всяких границ литературной этики. Исидор, епископ балахнинский, викарий нижегородский, напечатал в «Русск. Вед.» отказ получать «Моск. Вед.» после напечатания последними резких статей против церковной реформы. Мы также совершенно расходимся с «Моск. Вед.» во взгляде на церковную реформу и, однако, думаем, что читать их или не читать принадлежит молчаливому желанию каждого. Правда, таковые скромные решения у себя в комнате иногда выносятся на страницы газет, и последние имеют бестактность помещать у себя «заявления», и то не единичные, а коллективные, что вот «такие-то и такие-то милостивые государи» отказыва-

ются впредь читать или выписывать такую-то газету или журнал. Но никто не ожидал, чтобы в кучку этих «бастующих против газеты» милостивых государей попала и солидная фигура русского архиерея. Как будто епископ Исидор не имел других более членораздельных способов выразить свое несогласие с «Моск. Вед.» или негодование на «Моск. Вед.»! Затем, ближайший сотрудник «Моск. Вед.» г. Л. Тихомиров написал длинное частное письмо этому викарию нижегородского архиепископа, с изложением мотивов, почему редакция держится такого-то именно взгляда на ход церковной реформы и почему негодование его на эту редакцию неосновательно. Как известно, этот Лев Тихомиров, не только известный писатель, но и старый общественный, даже политический деятель, много писал о церковной реформе и ее необходимости. В частном написанном им письме он позволил себе выразиться неуважительно о митрополите петербургском Антонии «с его штабом» и о статс-секретаре Витте, которые будто бы стараются сделать церковь, насилуя ее, орудием каких-то скрытых целей ее. Конечно, все это, наверное, есть плод подозрительности к «интригам», каковою подозрительностью «Моск. Вед.» страдали еще со времен Каткова. Г-н Л. Тихомиров, может быть, и сам еще увеличил от себя лично застарелый предрассудок московской газеты. Но он литератор, и не понес свою изнурительную кабинетную тоску на страницы газеты, а выразил ее в частном письме, с полным доверием к адресату, называя его «Владыко святой» и прося его «благословения на дело Божие».

Каково же должно быть изумление, можно сказать, всероссийской публики, когда этот архиерей взял да и напечатал целиком, не спросив у автора разрешения, это частное к нему письмо г. Л. Тихомирова, со всеми в нем отзывами, весьма щекотливыми и даже ответственными. Весьма печальную услугу оказали ему «Русские Ведомости». Конечно, архиерей должен знать элементарные правила литературной добропорядочности, отнюдь не допускающей без разрешения за полной подписью публиковать чужие частные письма. Но если он позабыл об этом, то как литературная газета не напомнила ему об элементарной морали, мы не понимаем. «Писем в редакцию» всегда бывает много, и они бывают весьма различны. Если все дело пойдет так, как этому дали прецедент «Русск. Вед.», то мы скоро увидим газетные листы наполненными такой «литературой», которой место может быть только в сорной корзине.

ОКОНЧЕННАЯ «ТРИЛОГИЯ» г. МЕРЕЖКОВСКОГО

«Петр». Роман Д. Мережковского

Издание М. В. Пирожкова. 1905 г.

Закончена и только что появилась отдельною книгою последняя часть эпической трилогии г. Мережковского «Христос и Антихрист». Первая часть этой трилогии называлась «Смерть богов. Юлиан Отступник» и появилась лет десять назад; вторая — «Воскресшие боги. Леонардо да-Винчи» — появилась четыре года назад; и третья, печатавшаяся два последние года в «Новом Пути» и в «Вопросах Жизни», имеет название: «Антихрист. Петр и Алексей». Как известно,

в основу всех трех частей положено автором тщательное изучение каждой из избранных исторических эпох. «Романы» эти вообще суть продукты столько же учености и размышления, сколько художественного воображения; точнее, они представляют собою попытку исторически иллюстрировать некоторую религиозно-философскую идею. Если бы мы имели в них вдохновенный сплав этих трех богатств, учености, философии и художества, мы имели бы, вероятно, в трилогии великое или во всяком случае очень замечательное произведение. Но дары автора работают далеко не «сплавленно». В душе его нет того огня, который бы все соединил и преобразил. Документальная, ученая сторона остается сама собою; размышления идут сами собою, сказываясь «навязыванием» историческим 10
лицам и историческим событиям тенденций или смысла, который едва ли они имели; а художественное воображение... оно скорее тепло, чем пламенно, и, через силу ворочая неуклюжую руду разнородных материалов, едва сплавляет их краешками, а не дает единого и сложного металла. Лично мы считаем г. Мережковского гораздо более замечательным человеком, нежели замечательным писателем. Темы его, часто важные и истинные, выше его сил, и даже выше его умения хорошо их поставить и пламенно осветить. Невозможно не заметить, до чего он согбен, утружден этими темами; так и хочется сказать ему: «Отдохни, если не хочешь умереть». Некоторые его тезисы, формулы, как «историческое христианство», как «позитивная церковь», — впервые им введены в общественное 20
знание и литературный язык и, кажется, привились и укрепились. Это большая заслуга. Он первый показал, что «грядущий», «апокалиптический Христос», обещанный и указанный ап. Иоанном в Апокалипсисе, есть столь же реальная историческая сила, есть такой же центр всемирно-исторического притяжения, как и Христос уже пришедший, о котором рассказывается в трех синоптических евангелиях; и что раз существуют два центра притяжения, то и явления и силы исторические, так сказать, поляризуются, разделяются и противоплагаются в направлении этих двух полюсов. В трех исторических церквях Европы, православии, католичестве и протестантстве, есть тяготение только к «пришедшему» Христу 30
евангелий Матфея, Луки и Марка, с преимущественным выражением в каждой из них особенностей каждого из этих евангелий. Но именно в наше время, и вообще чем позднее, тем сильнее и обозначеннее, сказывается тяготение ко «второму Христу», Христу Апокалипсиса. Конечно, чем ближе к новому центру, тем «признаков» больше; больше чувства нового Солнца. Появляются, как перед Колумбом в плавании к Америке, новые птицы, новые травы, новые породы деревьев на островках, — в зависимости от «не открытого» еще, но «сущего» материка. Мы берем иллюстрацию, и читатель легко перенесет ее на мысль Мережковского. Конечно, о «грядущем Христе» учит и церковь, учат православные и католики; но так, как они учат о «сеятеле и зернах» и вообще о всякой евангельской истине. 40
Учат фактически «о надежде», — и в учении этом нет надежды. Нет в официальном учении, в языке учащих, в поведении учащих, «знамений» второго пришествия.

Тяготению к трем синоптическим евангелиям, к Иисусу из Назарета, распятому при Понтийском Пилате, и к строительству религиозному, как оно выразилось главным образом в работе вселенских соборов и в построении трех церквей — православной, католической и лютеранской, — г. Мережковский и усваивает наименование «исторического христианства», совершенно отвергая, чтобы оно

исчерпывало и оканчивало «дело Христово» на земле, чтобы оно замыкало круг христианства. Теперешнюю его фазу, успокоенную и фактическую, он называет «позитивную». Термин этот очень важен. Читатель из предыдущих строк моих мог видеть, что я далек от намерения преувеличивать дары г. Мережковского, но решительно нельзя отвергнуть, что некоторые его исторические и философские сближения и некоторые формулы имеют налет гениальности. В самом деле, кому могло прийти на ум сблизить и даже отождествить чурающуюся всего чудесного, всяческой метафизики, вполне атеистическую «позитивную философию» Огюста Конта с теперешним status quo христианства, где все же много и чудесного, есть полная вера в Бога, много благочестия и праведности, подвигов и заслуг. Г. Мережковский, однако, тонко заметил, что не в этих заслугах, подвигах, вере и даже чудесах дело. Конечно не может же религия походить на арифметику или инженерное искусство. «Религия» — это значит и «чудеса», и «вера», как строительное искусство — это значит и колонны, и своды, и арки. Не в этом дело. Но в религии все мы верующие, весь верующий христианский мир стоит перед «стеною» (термин Мережковского) таких истин и так сложенных, что уже ничто здесь не шевелится, не растет, ничто не вдохновлено, не пророчествует, не ожидает, не мечтает. Из позитивной философии Конта и из теперешней фазы христианства равно убрано, и на все века убрано, все мечтательное, фантастическое, всякая вера, «ожидание перемен», и особенно всякая тревога сердца и смущение ума. Конт и догматики равно «запрещают сомневаться» и указывают «верить», один — арифметике, другой — «сущим истинам», ну, напр., изложенным в каждом катехизисе. Обоих соединяет то, что они поклонились «сущему». «Грядущего»-то «Христа» и нет в обоих. Нет вообще зари, роста и необъятного будущего; позволим написать с большой буквы, как догмат и веру, — *Будущего*. Это и есть действительно «позитивизм», философский и религиозный. То же «блаженство душ» в обоих мировоззрениях; полный квиетизм, доходящий до мещанства: «буржуа» в рясах около «буржуа» в пиджаках. Сближение это очень важно. И едва оно сделано, а мы догадались, что это — действительно так, как сердце наше в значительной степени холодеет в отношении всего «позитивного христианства», как некоторые решительно не выносят и «позитивной философии». Тут разность психологий, темпераментов, что гораздо важнее разницы в построении «истин», в конструкции тезисов. Г. Мережковский, насколько мне известно, не борется и не возражает решительно ни против одного догмата и ни против какой «истины» сущих христианских церквей; но нельзя не заметить, что совокупностью работ своих он сделал их все внешними для нас, неродными, далекими, неинтересными, *психологически* ненужными. И вот эта его целостная работа, а не какие-нибудь отдельные строки его и утверждения, и заставляет несколько беспокоиться «сущих во ограде церковной» и спрашивать себя: «Уж не еретик ли пришел?». Но кусок ереси в каком-нибудь куске его книг нельзя отыскать. Тут он силен именно тем, что вышел из «позитивизма» и стал для его крючьев, для его досок неуловим, незапираем, даже необвиняем. «Сущие во ограде церковной» могут только, убедившись, что у него нет «куска ереси», говорить, что самый этот человек есть тем не менее еретик, «ибо он разлюбил нас, как братьев, и разлюбил все наше, всю нашу церковь, и куда-то идет, и куда-то зовет, а куда — мы не знаем».

Это и есть притяжение к «грядущему Христу». В этом отношении г. Мережковский не без предтеч. Нельзя, напр., не заметить, что и Влад. Соловьёв со сво-

ей «Повестью об Антихристе» уже значительно вышел из «позитивного христианства», а в одном прелестнейшем стихотворении: «В тумане утреннем неверными шагами», — он, пожалуй, сливается со всеми тревогами Мережковского, но только он далеко стоит ниже и позади его совершенною нерасчлененностью как *мотивов* своего выхода, — и притом выхода только *на минуту*, из «позитивного христианства», так и нерасчлененностью самого *предмета* или *цели* движения. Где Соловьёв шепчет, Мережковский уже говорит, хотя и его «говор» все еще ужасающе сбивчив, туманен и, да простит мне автор, — похож на холодную, головную истерику.

* * *

10

Признаемся, вся его «Трилогия» для нас далека от ясности, в чем, впрочем, мы обвиняем столько же себя, сколько и его. Он во всяком случае не сумел сделать сразу же ясною, кристаллическою мысль свою. Вообще и мышление, и образы г. Мережковского страдают постоянным пороком сбивчивости, многословия и тавтологий. Но нельзя все-таки не сказать, что «нечто» остается на месте всего этого многословия и туманов. Читая его труды, все же понимаешь главные контуры его движения, главные его волевые центры; и решительно нельзя, закрыв все томы его сочинений, сохранить прежней «кровной» связи, ну, хоть со вчерашним и сегодняшним религиозным «позитивизмом». Известно, что в то время, как на Западе книги его очень читаются немцами, французами, итальянцами, англичанами, — у нас они читаются гораздо менее и производят менее впечатления. Тем не менее в историю собственно русского религиозного самосознания, развития русских общественных религиозных верований, он вошел крупною величиною, и его отсюда никак не вытолкнешь и не обойдешь здесь молчанием. Если Хомяков и Влад. Соловьёв (кроме «Трех разговоров», содержащих и «Повесть об Антихристе») сделали очень много, то нельзя не заметить, что они только очищали плесень со старых камней, но новых камней не клали. У всех у них была роль собственно «реформационная», «лютеранская» в том смысле, что они хотели: 1) поновить, 2) улучшить, 3) очистить и 4) оживить, но оживить и очистить именно те камни, которые лежат тысячу лет, без всякой мысли и даже без всякого желанья положить новый камень. Точнее — с глубоким отвращением к такой новой кладке. Все они были «позитивистами», — этого термина Мережковского не обойдешь. Между тем Мережковский кладет существенно новые камни. Здесь, конечно, невозможно излагать его теорий, но указать на кое-что новое возможно. Например, два его последние романа, «Леонардо да-Винчи» и «Петр», оба открываются главами: «Белая дьяволица» и «Петербургская Венера». В отношении исторического материала, излагаемого в обоих романах, мы обе эти главы считаем неудачными, нехудожественными. Но видна мысль автора там и здесь вдвинуть один и тот же камень, для всего христианского мирозерцания — разумеется, новый. Поясно иллюстрацией. Покойного художника Сведомского, встретившись с ним в Риме, я спросил однажды: «Что же, вам позволили расписывать стены и потолок киевского собора картинами из Апокалипсиса?». Он рассмеялся: «Разумеется — нет. Попробовали было, но вышло такое соблазнительное зрелище, что все опять замазали и затерли». В дальнейшем разговоре он

20

30

40

рассказал, что попробовали изобразить «суд над блудницей», — но ее «блудные» формы показались совершенно невозможными внутри православной церкви.

Между тем, кроме этой порицаемой в Апокалипсисе «убежавшей в пустыню (уж не аскетизм ли?) блудницы» есть другая, высокопрославленная и, пожалуй, в фигуре еще более соблазнительная: это — «Жена, облеченная в Солнце, имеющая вокруг головы двенадцать звезд и кричащая в муках рождения». Всегда казалось мне это противоположением «пустынножительному блюду», исполненному тайных пороков, весьма описанных в «житиях», и прославлением лесного, полевого и городского, нормального и естественного рождения. По крайней мере, так написано в Апокалипсисе, и я не смею приставлять сюда «поправляющих» и «смягчающих» комментариев. О «жене» не сказано решительно ничего другого, кроме того, что «она рождает и кричит». В главном храме католичества, св. Петра в Риме, в литом из бронзы алтаре над усыпальницей ап. Петра, — и сделано прямо и буквально, до непереносимости для зрения, изображение самого акта родов, работы знаменитого ваятеля, имя которого я сейчас забыл. Во всяком случае, там в храме это возможно. Но возможно стало постепенно оттого, что там уже века храмы наполнялись статуями и обнаженного св. Себастиана, и кормящей грудью Младенца Мадонны. Ведь есть целое, а есть и его части. В алтаре, над усыпальницей св. Петра, представлена даже не полная женщина, а только именно самый акт родов, — и вот когда это сделано, физиологично и безлично, то какое «имя» подписать под изображением? Имя не началось, а человек начался, и католики говорят: «Это — жена апокалиптическая», а знатоки истории говорят: «Нет, это — любовница папы, такая-то, и изображена была по злобе к папе таким-то художником» (я слышал в Риме же полный рассказ), то почему Мережковскому не поправить их всех: «Полноте, это — *везное!* Это — у *всех, всегда*; это — белая дьяволица, как называли испуганные флорентинцы XV века откопанную из земли статую греческой Афродиты, или Венера Таврическая, привезенная из Италии Петру Великому и ныне находящаяся в Эрмитаже. Но и Венера, и Афродита, и рождающая жена — меняющиеся паспорта, даваемые одному и тому же существу, которое живет в каждом доме, есть в каждом человеке; и уже по самой вечности мы можем видеть в этом искру Божию в нас, частицу в нас Божества. Разбойник покаялся — и это считают «искрой Божией» в нем. Кречинский заплакал — тоже «искра Божия». Позвольте опаматоваться и взять разум в руки. Вот девушка, ей 15 лет, ничего она не напакостила, не украла, не обманула никого, ни на кого еще не успела рассердиться, ибо она юна сама и юным ей представляется мир. Я сдергиваю с нее покрывало и об этом прекрасном, застыдившемся теле говорю: «Вот *настоящая* искра Божия, в то же время — *божок* древности, в то время называвшийся Венерою и Афродитою, а для меня просто Таня, и не понимаю, отчего монахи зажмуривают перед нею глаза? Ведь на кающемся разбойника смотрят, отчего же на нее не посмотреть, во всяком случае, более невинную, чем разбойник, проливший слезу после того, как зарезал ребенка».

Такова новая мысль Мережковского.

Я соглашаюсь, что в ней есть соблазн, ибо ею «издираются книги в старых кожаных переплетах»; но от основательности и простоты этой мысли решительно нечем защититься. Он решительно и твердо, в этом пункте не колеблясь и не сбиваясь, вводит как мужскую силу, так и женскую обаятельность в религиозную сферу, даже конкретнее — вталкивает их в самое христианство. И так как этого

решительно не принимает «историческое христианство», «позитивисты» веры, то он и говорит, что это «грядущее», апокалиптическое христианство, т. е. одна из дробей его. И ведь действительно, например, того, что написала рука Иоанна Богослова, не решились кистью изобразить во Владимирском соборе. Кто же лучше понимает христианство, киевские ли живописцы, или Иоанн Богослов? Мережковский и говорит: «Иоанн Богослов». Тут с ним решительно невозможно спорить. Иеромонах Михаил, на памятной лекции в Соляном городке, пытался возражать против него, но ничего понятного, связанного и доказательного не мог произнести. Как «эстет» самых плохих веков, иеромонах Михаил только возражал бранью: «Это — некрасиво», «Мережковский учит нас безобразию, гадкому». Увы, и женщина в родах не эстетична. Монаху и незачем об этом говорить. Никто не просит. Но монах и даже все монашество отлетает, как пушинка, в сторону перед очевидными словами Библии: «Пусть все рождают», и перед заключительными словами последней евангельской книги, что вот «жена кричала в муках рождения; вокруг ее — солнце, около головы ее — диадема из 12 звезд». С написанным ничего не поделаешь. И все монашество, ввиду очевидных слов, приходится объявить, говоря словом Экклезиаста, «суетою и томлением духа».

Но ведь оно явилось как веяние, как поэзия, как голос сердца и идеал? Формы в нем — ничто, важен дух. Важен он один и везде. И как две тысячи лет, под тяготением к «пришедшему Христу» он выразился в идеалах аскетизма и напоследок в формах, в уставах монашества, так под тяготением к «грядущему Христу» он выразился уже у Иоанна Богослова в совершенно противоположных образах — и «Древа Жизни, приносящего плоды двенадцать раз в год», и вот «рождающей жены», а потом, все развиваясь, может получить себе тоже соответствующие «формы» и «уставы». В философии Мережковского оставлено в тени и без разрешения множество вопросов, откуда происходит часть сбивчивости его и неясности. Он, между прочим, никогда прямо и отчетливо не ответил: что же, было ли монашество совершенно случайным и непредвиденным явлением, развившимся вне всякой связи с лицом и с тоном учения Христа? Позволительно напомнить ему, что Христос ни разу и никому не улыбнулся. В страницах Евангелия вообще нет «шума городского» и грязи наших бедных, увы, вечно сорных улиц. Житейского сора и грязи нет там. Но ведь этот сор и грязь есть только след жизни, остаток жизни, признак живущих. «Матушки природы» и реализма нет в Евангелии, действительно нет, и это гораздо важнее и грознее, чем если бы там были посты, молитвы и самоистязания. Евангелие анатуралистично, ареалистично. Откуда и все попытки папы завязать, напр., связь с «экономическим движением», — конечно, риторичны, или софистичны, или заключают измену христианству (что едва ли), или обман рабочих (что вероятнее). «Ульцы и улицы» нет в Евангелии: кто же будет с этим спорить?! А когда «улицы» нет — нет и ничего, что есть на улице, наших домов, наших — увы — вечно милых домов, вонючих пеленок ребятишек, да и их самих, вечно «марающихся»... Ну, как взять человека «без вонючки»? Уже так создан. Моисей — тот и взял человека «со всем», прочитайте-ка правила гигиены, обязательно соблюдаемые, когда «народ Божий» становится лагерем. Замечательно, что в Апокалипсисе «святые перед Престолом Небесным» опять поют «песнь раба Божия, Моисея», и вообще там проходит какое-то трогательное возвращение к старой Библии. Но особенная и глубоко новая черта Евангелия заключается в том, что оно не только вообще все не улы-

бается, улыбающегося лица нет ни одного на его страницах, — но оно действительно берет человека строгими пальцами, и тщательно очистив от нечистоты, грязи, вони. Это ничего, что там «Лазарь в ранах» и «разбойник» все-таки раньше разбойничал. Это — иллюстрации для объяснения нравственных истин, а не само по себе. Быта там, «нравов» и нравоописания — вовсе нет. Сарра «смеялась» в присутствии Божиим. В Евангелии этого и представить нельзя. Все люди взяты в отвлеченной чистоте, в моральном училище; все они — ученики. Именно ученики, а не люди! Ну, скажите, как вы учеников гимназии пожените, хотя бы они уже и брили усы и бороду? Невозможно! «Невозможно и нам жениться», — говорят монахи, чувствуя что-то непроходимое между серьезным бытовым делом женитьбы и «ученичеством Христу». Нужно выйти из «училища Христа»: а тогда — пожалуйста женитесь. Мережковский скажет, что некоторые ученики Христа были женаты (Петр и Иаков). Правда. Но ведь это связи никакой с Евангелием не имело. Из них один, положим, был рыж, а другой черноволос. Об этом не упомянуто, но и о женатости их упомянуто вне всяких тем Евангелия, до того мельком, что могло бы, очевидно, вовсе быть не упомянуто. И как из «рыжести» или «черноволосости» учеников Христовых нельзя получить никакого вывода, так и из «семейности» некоторых апостолов решительно нельзя ничего получить, ибо это только упомянуто все. А темы Евангелия — совсем другие.

Монахи и пошли к этим до очевидности другим темам. Единственная книга, где нет «улицы», — Евангелие. У Гомера — есть, у Магомета — чрезмерно есть, даже у Будды есть, — ну, хоть запах лесов, куда он удалился. Вокруг Христа — ни запахов, ни вкусов. Ни сладкого, ни горького. За это и нарекают его «бесплотным», не определяя, в чем дело; а дело заключается в той страшной и никогда не слыханной новизне, по которой и началась новая «эра»: что был Некто, о Ком написано четыре книги, где уже более цветы не цветут, воды не плещутся, мужчины не любят жены, жены не красуются перед мужчинами, никто не заплетает косы, никто не распускает кос, и, словом, живут «как ангелы на небесах», без гомеровской или индусской или русской «грязи» и «вони». В последних-то и дело, и оттого, что это так важно, я и написал резкие, надобные слова. Христос поднялся. А «грязный» и «вонючий» мир, увы — неотделимо грязный и неотделимо вонючий, ибо он *живет*, и начал тонуть, опускаться; пожалуй, опускаться еще в худшую грязь, ибо и в Индии, и у греков жизнь во всяком случае была чище, плотнее и гигиеничнее нашей, и сами они были физиологически и здоровее и свежее нас. Мир заболел, покрылся утроенною проказою (посмотрите-ка на наши улицы «хулиганы»), но зато поверх его и над ним поднялся (я беру идеал) «строгий монастырь». Где отличительная черта, важнейшая всяческих уставов, — строгость и строгость, изощренная «незамаранность». Именно как «ученики», «класс» и «институтки»... Правильность и порядок. Ну, и красота, и торжество...

Спор здесь только заостряется и, пожалуй, становится опаснее. Мережковский склонен говорить (он прямо не говорит), что монашество — совершенно вне Христа и Евангелия, чужедный на них нарост. Но тогда непонятно, зачем же явился Апокалипсис? Христос «пришедший» прямо сливался бы тогда с «грядущим». И в учении церковном не договорено, и у Мережковского совсем не ясно, какая же между ними разница? Церковь говорит только, что «грядущий» Христос «придет во славе». Это сходно с тем, как евреи тоже ожидали и ожидают Мес-

сию «в славе», «сильным царем». Конечно, «древо жизни» и «жена в солнце и звездах» — некоторая видимая слава, спутники славы и могущества. Спор становится гораздо опаснее, если согласиться, что монашество лично связано, персонально соединено с Христом, верно Его заветам, постигло Его дух. Опасен этот поворот «философии Мережковского» потому, что тогда «улица», очевидно не могущая же превратиться в «пансион благонравных, никогда не женящихся учеников» или в спальню никогда не марающихся «купидонов», вместо реальных детей, — фатально выйдет из связи уже не только с «историческим христианством», с «позитивизмом» веры, но довольно явно отделится и вообще от «основавшего монашество» Христа и станет ожидать «грядущего Христа» скорее как 10
какого-то «противо-Христа». Недаром в то время, как сам Мережковский говорит (и вполне верит) о «Христе», о нем другие говорят, будто он проповедует «Анти-Христа». Конечно, он этого не проповедует, и все дело гораздо чище и честнее. По «личным впечатлениям» я знаю, что дело это даже безусловно чисто, искренно, правдиво, беззлобно, исполнено благонамерений, даже до тошноты, до «буржуазности». Но скверно и опасно повернулась вся «философия», совершенно вне воли «партнеров». Она повернулась как-то или к отрицанию «исторического» и «позитивного» христианства, или даже и более... к религиозному сомнению касательно вообще всей христианской эры. Т. е. в смысле, — нужно ли 20
было начинать эру? Вот, например, Мережковский написал трилогию «Христос и Антихрист». Кончил ее. Все слава Богу. Но где же у него, однако, «Антихрист»? Христос и — «пришел», и «грядущий». Но ведь церковь, на этот раз следуя Апокалипсису, и действительно сам Апокалипсис учат и открывают «Антихриста» не только в смысле духа века сего, ну, напр., государственных и церковных реформ Петра, — но лично, персонально; говорят о нем как о фигуре, времени и сроке. Христа мы видим, даже в удвоенном освещении, как «пришедшего» и как «грядущего». А где же Антихрист? Совершенно его Мережковский выпустил из своей религиозной концепции, серьезно и чистосердечно выпустил, чем и дал повод говорить, по крайней мере монахам: «Нет, уж если кто придет с белыми дьяволицами и возрожденными Афродитами и Венерами, со всеми этими мильми 30
Танями, пусть и невинными, но чрезвычайно соблазнительными, особенно для нас, монашествующих, последующих пришедшему Христу, — соблазнительными, то мы, люди строгого благовестия, назовем его никак не Грядущим Христом, а именно и специально Антихристом. И помним заветы ап. Павла, чистого девственника и даже положившего настоящий фундамент девства и монашества: если бы ангел стал вам говорить иное — анафема. Не поверили бы ангелу. А как поверить Мережковскому? Анафема!».

Повторяю, что дело от этого, т. е. от такового ответа, и твердого ответа аскетов, становится только окончательно скверно. И именно — скверно и даже гибельно для ответивших. Они «победили», удержав «status quo» христианства. 40
Позитивизм, догматики — все цело. Все цело, не шевелится, не движется, не растет. «Ересей» нет и не показывается. Но «монастырь» остается один, совершенно один, можно сказать, «возвращается к идеалу своему», и — вокруг него необозримая и бесконечная пустыня, *безлюдье*. «Пансион» немногих, и окрест — ничего. А весь мир, «улица» уплыла куда-то, «экономисты» говорят — к безбожию, а Мережковский — к «Грядущему Христу», которого я, грешный, тоже никак не умею отличить от «Анти-Христа». Тут все запутано. Мережковский ничего не догово-

ривает, и совершенно чистосердечно. Доля запутанности бесспорно лежит на его сочинениях, это все признают, Мережковский не сумеет этого опровергнуть. Но осталось «нечто» на месте толчеи. Совершенно серьезно и торжественно серьезно остается эта философия, по которой действительно мы находимся между какими-то двумя тяготениями, страшно сильным позади и столь же сильным впереди; что с каждой минутой мы переходим ближе к этому «впереди», и входим в сферу его новых феноменов, сил, понятий. Помните, как у Жюль Верна люди, которыми (в ядре) выстрелили в луну, потеряли связь с землей и вдруг ощутили новое тяготение к луне. Конечно, и в истории бывает подобное же. Эпохи, культуры и падают оттого, что «обнаруживаются новые тяготения», а не от того одного, что старый механизм умирающей культуры расхлябался. В этом отношении, как ни толчется в словах Мережковский, сколько он ни страдает «холодной истеричностью», нельзя не сказать, что горячо то место, на котором он стоит; что «дым и пламень» исходят из земли, которую он сам и своими усилиями и разумением отыскал. «Пожалуй, не слушайте кричащего: но обратите же внимание на место, где он стоит», — хочется сказать многочисленным его читателям и критикам, если из них многие или подняли камни, или затыкают уши.

Н. Л. КЛАДО (ПРИБОЙ)

штатный преподаватель Николаевской морской академии

СОВРЕМЕННАЯ МОРСКАЯ ВОЙНА. — МОРСКИЕ ЗАМЕТКИ О РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ

*Под ред. А. Н. Щеглова. С 116 рисунками в тексте,
67 гертежами и 2 картами. СПб. 1905. Стр. 484 + 38*

Уже пятнадцать месяцев длится кровопролитная война на Дальнем Востоке, и внимание русского общества особенно обостряется в те моменты ее, когда на арену роковой борьбы выступает флот, когда дело касается вопроса о господстве на море. Бой «Варяга» и «Корейца», морские сражения под Порт-Артуром, набег владивостокских крейсеров, осенняя агония и гибель порт-артурской эскадры... Сколько сердец и как мучительно переболело на этих фазах русско-японской войны, в которой так рельефно выяснилась решающая роль флота. И вот теперь приближается к Японии, может быть, великий мститель за своего погибшего собрата — балтийская эскадра, приковавшая к себе взоры всего мира.

И как кстати вышла в свет в эти дни интересная, посвященная морской войне, книга нашего талантливого писателя по военно-морскому делу, Н. Л. Клада, — книга, столь отвечающая общему настроению! С началом нынешней войны появилась на столбцах так называемой общей прессы масса специальных военно-морских терминов и понятий, в которых неподготовленной публике пришлось серьезно разбираться для уяснения хода военных действий. При таких условиях популяризация специальных знаний военного и мореходного искусства стала настоятельно необходимою, и газеты охотно давали место на своих листках соот-

ветствующим разъяснениям специалистов. В этой области публицистики пальма первенства, по справедливости, принадлежит популяризаторской деятельности Н. Л. Кладо, очерки которого, отличающиеся живостью и ясностью изложения, основательно знакомят читателя с сутью и деталями дела. Эти «морские заметки» Прибоя вместе с известным циклом, можно сказать, исторических статей «После ухода второй эскадры Тихого Океана» напечатаны во второй половине изданной на днях книги Н. Л. Кладо: «Современная морская война». В настоящую пору боевой грозы книга Н. Л. Кладо положительно должна явиться настольною, давая справки по различным отраслям военного мореходства и представляя собою в высшей степени умелую, ясную популяризацию специальных знаний по данному предмету. Описание вооружения военных судов, «наступательных и оборонительных средств корабля» (тарана, мин, артиллерии и брони), описание типов военных судов, организация эскадры и корабля, бой на море одиночный и эскадренный, вообще военные действия флота, — все это проходит перед читателем интересною панорамой, в освещении фактическими примерами; затем рассматривается детальное значение морской силы. Вторая половина книги заключает в себе приложения к основному труду: здесь говорится о десанте и перевозке войск морем, приведено много статей из Морского Устава и помещены вышеупомянутые очерки и статьи Н. Л. Кладо, печатавшиеся в прошлом году в «Новом Времени». Книга заключается конспектами, таблицами и библиографическим указателем сочинений, полезных для ближайшего ознакомления с различными отраслями военно-морского искусства. Текст книги иллюстрирован многочисленными рисунками и чертежами, значительно уясняющими изложение иногда сложного предмета. Столь необходимая в наше время, при всеобщем интересе к флоту, книга, надеемся, не заставит себя долго ждать новым изданием, в котором хотелось бы видеть устраненным один промах, столь досадный в такой богатой содержанием книге: именно отсутствие оглавления или краткого предметного указателя к тексту.

ЭЛЬПЕ. ДУША ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

Изд. А. С. Суворина. СПб. 1905 г. 660 с.

В новой книге нашего известного популяризатора г. Эльпе собраны его многочисленные статьи о биологической роли целесообразности в жизнедеятельности растений и животных и о психическом начале, являющемся руководящею основою этой жизнедеятельности. Горячий защитник психизма в биологии, почтенный автор давно уже ведет борьбу с биомеханическими теориями, по которым жизнь сводится к законам механики, физики и химии, явления жизнедеятельности животных объясняются инстинктом, волевое начало в психике заменяется простейшими импульсами, а смысл жизни заключается в борьбе за существование. Длинным рядом разительных фактов из жизни органической природы г. Эльпе наглядно опровергает все эти узкие, односторонние теории, которые, однако, возводились творцами их на степень кардинальных «законов»

жизни. Защищая в течение многих лет свою симпатичную точку зрения, т. е. необходимость признания биологией «психического начала как единственного носителя, выразителя и истолкователя жизни», г. Эльпе находил с течением времени все большую и большую поддержку в той нарастающей массе фактов, какие открывает неустанно прогрессирующая наука. Едва ли почти не единичный в данном направлении голос журналиста-ученого не остался «вопиющим в пустыне», и в последнее время в среде специалистов-биологов стали раздаваться авторитетные голоса о необходимости переоценки старых теорий, возросших на почве материализма, о том, что жизнь на физико-химические явления нельзя разложить без остатка.

Разрабатывая почву для научного идеализма, грядущего на смену отживающему материализму, г. Эльпе много потрудился над распространением своих заветных идей в читающей публике путем общедоступно написанных, ясно и обстоятельно мотивированных газетных статей, которые, особенно статьи о симбиозе (сожитии в растительном и животном мире), в свое время привлекли к себе всеобщий интерес. Перечитать их снова не мешает. И ввиду этого издание этих интересных очерков отдельную книгу, спасающее их от забвения в груде старых газетных листов, является особенно желанным. Эта книга, рисующая главным образом психический мир животных во всех его любопытных, подчас поразительных проявлениях ума, находчивости, любви, трогательной привязанности, дружбы и т. п., читается с интересом и наслаждением. Не распространяясь о хорошо известных широкому кругу читающей публики достоинствах популярно-научных произведений г. Эльпе, можем только пожелать счастливого успеха и этой книге.

КОГДА-ТО ЗНАМЕНИТЫЙ РОМАН

В витринах книжных лавок, в свежей зеленой обложке, появился роман Чернышевского «Что делать?». «Друг детства», подумал я о нем: ибо прочитан он был мною в пятом классе гимназии. Его потом спрятали блюстители нашего общественного и семейного порядка. Теперь почему-то снова выпустили. Едва ли кто теперь им зачитается. Написанный Чернышевским в тюрьме, он написан свежо, ярко, молодо, с верою в дело. Но в сущности и в свое время он был уже стар, археологичен, не интересен. Вот я только что прочел интересный этюд г-жи Балабановой: «Отель Рамбулье» — очерк общественного и литературного салона Франции XVII века. Если взять: 1) ее Фронду, 2) нравы двора Генриха IV с Маргаритою Валуа в центре и 3) строгих затворников Порт-Рояля, то мы получим только в аристократическом и красивом выражении все три тенденции наших тех 60-х годов и вместо романа «Что делать?»: 1) некоторый коммунизм семейных нравов, «обобщение жен». Валуа хотела бы быть женою всех, как сам Генрих, любимейший король Франции, — мужем всех; 2) сухой, суровый аскетизм на почве философского и политического протеста (Порт-Рояль, Рахметов); 3) шумная борьба общества против двора регентши Марии Медичи и ее любимца Мазарини (у нас «прокламации», лекции при городской думе и проч.). Сам

отель Рамбулье до известной степени напоминал собою знаменитые литературные собрания при дворе просвещеннейшей женщины нашей эпохи реформ — великой княгини Елены Павловны.

Десять—пятнадцать лет спустя после появления романа «Что делать?» о смысле и достоинствах его еще спорили люди серьезные и перешептывались многодетные матроны, как сейчас помню, высокой личной добродетели. «Перешептывались», потому что неудобно было говорить вслух о смело проведенной там тенденции некоторого «обобщения жен». Как известно, Чернышевский не только отрицал, но резко топтал ногами древнее чувство ревности: то чувство, на котором в сущности единственно держится личный брак, держится семья — как личное и исключительное, как «мое» и еще «ничье» явление. Его парадокс, что ревновать свою жену — такое же дикое и «основанное исключительно на пред-¹⁰рассудке» явление, как привычка старых бар не давать никому курить из своего чубука, поражал всех. Бедный Отелло: утешился ли бы он, узнав об этой теории? Увы, инстинкты человеческие текут вовсе не из убеждений, не из теорий. Я помню виденного в Крыму ревнивого лебеда, который, потеряв одну подругу, заклевывал всех других, каких подпускали к нему «для утешения». Но в те годы, в 60-е годы, прошла вообще подобная тенденция, и она едва ли была присуща одному Чернышевскому. Я не могу забыть, до чего был поражен и удивлен, когда один друг покойного Ф. М. Достоевского, друг и личный, и литературный, рас-²⁰сказал о нем:

— Странный он был человек и высказывал иногда идеи ни с чем не суразные. Помню тесную комнату, набитую друзьями-журналистами. Дым, чад, шум. Но вот все замолкли: Федор Михайлович заговорил своим нервным, надтреснутым голосом. Он говорил долго, все о «призвании русского народа», и что в нем «спасение» и это «народ-богоносец». Только тянулся он, тянулся и, подняв палец кверху и сам став на цыпочки, почти взвизгнул: «Да знаете ли вы, к чему способен русский парод в его великом смирении, отречении, поглощении и отсечении личного я в общем и братском и Христовом, он, и только он, дойдет и уже доходит иногда до общности жен, до единения в женах». Вот каким был Федор Ми-³⁰хайлович.

Рассказ этот о Достоевском был сделан не мне, а в небольшом кружке писателей, и сам рассказывавший жив еще, и вообще это достоверно. Все выслушавшие промолчали. А мне он запал в голову по одной особенной причине. Биографически, по письмам, мы знаем, до чего Достоевский ценил и возводил в культ «добрую старорусскую семью», насколько видел в этом источник всяческого личного покоя, личного добра и, наконец, общественной, национальной красоты. «Еще растленная семья», — с какой болью, точно кровью сердца, писал он одну маленькую статью в «Дневнике писателя». Можно сказать, последний кусочек⁴⁰ счастливой семьи, глубоко индивидуальной и как бы отрезанной от мира в своем блаженном эгоизме, увеличивал в мысли его «шансы русского будущего народа». Пусть он мыслил и работал не так, как наше «хладное» духовенство (консistorия), которое «семейным горем» не прошибешь. Итак — это одна линия Достоевского, совершенно бесспорная. Эгоистическая, своя семья, «моя» и «только моя» — идеал. «Мои дети! Моя жена!». Но кто не помнит и не поражаюсь, что, когда, сквозь лазурные слезы, он начинал рисовать человечество отрешенным от тягостных условий былого существования, как бы перенесенным на новую явив-

шуюся планету, где нет старого «греха, проклятия и смерти», где люди еще невинны и чисты как дети, — он вдруг начинал говорить, что «источник этой самой невинности заключался в том, что в них еще не рождалась ревность и дети и жены были общие». Что тут не окончательная глупость и безумие говорили в Достоевском и уж во всяком случае не порочное поползновение (ну, что в такой мечте? какая поживка в том, что «на луне»? да и не мог же он не думать о пользе человечества, о пользе нашей русской, развивая свои идеалы), — можно видеть 10 ну хотя бы из приводимых путешественниками рассказов, что «коммунальный брак» присущ первобытным народам, т. е. быту наивному и детскому состоянию... сравнительно с европейской психологиею, конечно, невинному!!! Таким образом, очень мало что понимая в таком устройстве и в этой идее, мы должны признать, что Достоевский своим пронзительным гением уловил какую-то метафизическую, еще никому не открывшуюся связь между: 1) невинностью и 2) отрицанием эгоизма пола, личности в семье и браке. Я подведу разумение читателя к некоторому приближению к этой идее через следующий мой литературный опыт. В 1898 г. я впервые, в журнале «Русский Труд», провел нечто вроде апофеоза семьи, нашей христианской и русской, нормальной и индивидуальной. Провел я это резко и упорно, не без серьезной цели вызвать и посмотреть: что скажут на это читатели, русские, христиане. Получилось согласие многих, но и резкая 20 критика, и вот эта резкая критика вся сводилась к одному упреку:

— Семья, именно когда она глубока и идеальна, имеет ужасный порок в себе, неустранимый, из существа ее вытекающий, даже из существа ее идеализма: именно — эгоизм, попечение только о себе, лютое забвение мира и ближних. Счастливая семья — ужасная семья, и лучший семьянин — ужасный человек. Правда, эта семья крепка, тверда, цветет и будет цвести своим соком, когда даже вокруг нее будет пустыня; но вот этой-то пустыни окружающего она не сумеет и не захочет предупредить. Семья, правда, камень общества, родины, государства; но только в смысле неподвижности ее, как мертвый кирпич в стене дома, а не как жилец дома. Всякий холостой, всякая блудница лучше семьянина в горе 30 отечества, в пожаре родины: они бросятся спасать, жертвовать собою, гибнуть для общего блага. Тогда как ваша счастливая семейка преспокойно будет кушать чай с вареньем при общей гибели.

Собственно, один только этот упрек, единственная эта критика достигала цели своей: ниспровержение апофеоза семьи. Тогда я критикам не отвечал (желая продолжать защиту семьи) и только теперь громко высказываю, что одна эта стрела (из многих пущенных) попала в сердце семьи.

Действительно эгоизм! Евреи потому и не имеют отечества, потеряли государство, что, при их апофеозе семьи, никогда государство, нация, страна, законы, власти и проч. и проч. не могли быть для многих из них, для какой-нибудь 40 обширной группы их, горячо дороги, до муки защищаемы. «Что мне Иерусалим, когда жива моя Хайка». И поэтому же, по этому апофеозу семьи, они не умирают «в рассеянии». Каждая семья — неуничтожимая, не распадающаяся, вечная клеточка! Но продолжу критику:

И если бы нация, как мечтают все священники и требуют, как предписывают и благоустраивают все чиновники, и к этому направлено все законодательство о семье всех европейских народов, — если бы нация, говорю я, сплошь и вся, без исключения и прорех, без мятежей и изломов, состояла из таких вот счастливых

семей, «пьющих чай с малиной», то нация исчезла бы, государство погибло бы, история остановилась, или, будь это от начала, не началась бы! Все потухло бы, человечество потухло бы: просто за отсутствием связанности, соединительных каналов между этими глубокими семейными колодцами, откуда ни солнца, ни звезд не видно! Не видно общего интереса, даже любви!!! Конечно — эгоизм моральный нуль! Не понятно, для чего, кому такая семья и служила бы? Самое ее бытие и продолжение — как кладка огурцов в рассол: бесчисленные ряды растут до неба! Но кто же будет их есть?!

Вот отчего, в течение многих лет как я пишу о семье и разводе, я, в противоположность оппонентам моим, не высказываю никакого страха перед «драмами семьи», «разводами» и пр. Это — соединительные каналы между «колодцами». Это — возникновение нации, государства, отечества. Это — начальное пробуждение и движение истории. Это любовь, но не между 1) родителями + детьми, братьями + сестрами, а 2) любовь в человечестве, вспыхивающая и как зарница освещающая разом весь горизонт, а не точки его. Тут растет мир, а не человек. Все связывается, ссорится, горит; сходится и расходится. И океан имеет течение. Реки текут. Только болото стоит, гниет, заражает: чиновники и священники имеют неосторожность проповедовать, что «лучшее в мире явление, семья, должна не течь, а стоять и благоухать тиной болота».

Возвращаюсь к Чернышевскому. Я скажу больше, чем знал он; точнее, я знаю фактически больше, чем он проповедовал: есть мужья, влюбляющиеся в любовников своей жены, а не только спокойные в отношении их. Все закричат: «Нет, не бывает». Но я спрошу: что представляет собою странное, всемирное и древнее, даже древнейшее явление любви, да еще безумной любви, до пожертвования своею жизнью, не в «холостую невинную девицу», а в супругу (не свою), счастливую мать прекрасных детей и верную спутницу своего мужа?! Сыновья Тарквиния Гордого ради такой пожертвовали жизнью и царством. Пусть мне объяснит кто-нибудь из физиков брака: что им от нее было нужно и что равное они не могли получить от которой-нибудь из свободных римлянок? Царскому сыну доступна всякая невеста. Но если физика тут ничего не объяснит, то объяснит метафизика: человечество бы умерло, будь оно системой колодцев «без связи». Кто-то должен «связать». Римское царство погибло, потому что фатально и случайно эту «связующую роль», которая в каждом веке, годе и городе выпадает на некоторых, на немногих, судьба возложила на «дерзких юношей». Они полюбили... чужую жену, не невинную, «обладаемую». Известно, до чего морщатся молодые люди, когда невеста их оказалась «с прошлым». Ну, это физикам понятно, тут они толкуют. Но разве не имела «прошлого» жена Коллатина? Увы, анатомически, физиологически, всячески она имела не только «прошлое», но и «настоящее в объятиях мужчины»... А как хотели к ней «посвататься» сыновья Тарквиния. Опять повторю: Ливий, Тацит, все анекдотисты указывают здесь «приключение молодых людей». Но ведь им открыты были тысячи девиц. Тут была любовь, глубины которой мы не знаем, а прозреть ее может всякий поэт и романист-психолог. Любовь именно не к невинной! Желание обладать тою, которую уже обла-
дают.

Из-за этого вешаются и стреляются до сих пор! Из-за чего «этого»? Страшно и назвать: из-за того самого «обольщения жен», о котором в каком-то туманном предвидении заговорил Достоевский.

Года три назад в корреспонденции из Парижа было передано содержание «превосходно написанной и превосходно разыгранной» новой пьесы: муж узнает, что близкий друг его, друг жены его и, кажется, воспитатель детей находится в близких отношениях с его горячо любимой им женою, в верности которой он всегда был уверен и вообще был «очень счастлив». По-моему, действительно счастлив... и непонятно, чего ему надо было! Таких бы я казнил за непонимание, за тупость, за отвержение мировых законов. Он застрелил любовника; в ту же минуту застрелилась его жена, закричав, что смерти этого дорогого человека она не может пережить! Ей-ей, такие драмы есть. Муж здесь прямо осел. Что он понимает? Что кто-нибудь тут понимает? Жена, если б она не любила мужа, была цинична, грязна — прямо бросила бы его. Ведь была же смелость умереть! Нет, мужа она любила, определенно, крепко. Но он, определенный индивидуум, вот такой-то духовный образ, привлек, связался с половиною, так сказать, духовных ее прядей, как бы с одною половиною волос ее, с одной косой ее, не поглотив ее всю и оставив совершенно незанятою и свободною целую половину ее воображения, сердца, привычек, убеждений, всего, всего — и столь же идеального, как части души, которыми она любила.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,

20 — поет Лермонтов о душе человеческой. Если она умерла за возлюбленного своего, то, очевидно, она не физически, не как «женщина», а как человек и, может быть, глубочайшими сторонами души любила его, — и тут чудная музыка, которую, как прозаик, я не умею передать, но рождается же поэт, который все это постигнет и расскажет. Поэт или музыкант. От совершенно невинной девушки, без «прошлого», и совершенно молоденькой, я услышал, прямо со страхом, и не на вопрос мой, про себя сказанные слова.

— Любить трех, четырех — почему бы я не могла? Могла бы! Я любила, была счастлива, очень. Высшего состояния я не знаю. Политика, поэзия — все ниже любви, ибо это есть поэзия, по самой жизни; единственное условие, при котором жизнь становится поэтичной. Я бы за ними ухаживала, берегла. Все бы им сделала, равно ко всем была бы привязана и принадлежала бы всем трем.

На мой изумленный взгляд, с ударением, в глубокой задумчивости (и тени улыбки не было: вообще выпадают такие патетические, секундные разговоры):

— Истинно могла бы! Нет, нет — никакого бы обмана не было! И вовсе не по чувственности — разве ее нельзя иначе и больше удовлетворить? — не потому, что они сами истинно прекрасны и так глубоко несходны, и так постижимы мне... И я была бы несчастна или недолго счастлива с каждым из них, ибо в них есть односторонность и узость, при честности, при прямоте. Но сыта, духовного сыта я могла бы быть только в тройных лучах этих несходных и равно порознь милых душ.

Пусть читатель думает — я привожу, что слышал. Мне кажется, мы самого «материала» любви не знаем; мало записано «случаев» и еще менее сделано подлинных настоящих признаний. Но я договорю о французской пьесе. Ну, соглашусь с физиками, что жена любила «еще и другого» по чувственности. Но отчего этот другой полюбил не девушку (мало ли их!), а вот... «общился любимым суще-

ством» (мысль Достоевского) с совершенно счастливым ее мужем, с которым она настолько не прерывала отношений, что он много лет «был совершенно счастлив»?!

Ревность, Отелло — это конечно факт! Но только факт: я не прибавил бы к нему никакого плюса. Искоренение, да притом полное, даже не зарождение ревности — это есть также факт, только не подчеркнутый философами и моралистами. Насколько возникает в мире любви к семейным людям (обоих полов), любви древнейшей, страшной, до риска жизнью, настолько вообще фактически вложено в человеке отталкивание от ревности и даже инстинкт к тому, о чем в экстазе заговорил Достоевский:

— Между ними не было источника почти всех несчастий человеческих: ревности. Все они были как дети, и ласкали рождающихся у них детей, потому что дети их были общие.

Это в «Сне смешного человека» («Дневн. писателя»), о котором опять мне пришлось услышать замечательный рассказ. Один писатель, сейчас живой, заговорил, что вот только Достоевский мог бы составить противовес и дать настоящую причину новым религиозным идеям Толстого. И прибавил: Толстой, вскоре после смерти Достоевского, желая что-нибудь, среди семьи своей, прочесть из него, открыл случайно «Сон смешного человека». Он до того был поражен силою, красотою и необыкновенною оригинальностью и новизною очерка, что, захлопнув книгу по прочтении рассказа, воскликнул: «Ничего подобного никогда я не мог написать».

Между тем тут именно и вложена та «несуразная мысль» Достоевского, которая в устном изложении так поразила его друга. Толстой даже не заметил ее; точнее: не заметить ее нельзя, ибо на ней-то все и зиждется, но в очерке Достоевского это «искоренение ревности» проведено с такою экстатическою силою, а главное — показаны столь великие моральные плоды его, невинность, чистота, безмятежность, что творец «ревностей» Позднышева, Каренина и Болконского не почувствовал никакого укола своей мысли, никакого оскорбления своему сердцу, вкусу, воображению. Есть вещи — и вдруг все плачут, хотя вчера их все — проклинали. Такова сила слова. Сила гения. Все помнящие «Сон смешного человека» знают, что он принадлежит к таким вещам.

Окончательное же и «уравновешенное» объяснение заключается в следующем. Все мы еще в университете слышали, при изложении систем философии от Платона и Пифагора до Бруно и Лейбница, что, по мнению седых мудрецов, человечество, homo sapiens * есть «малое отражение всего мира», «микрокосм» его. Это — не бриллиант, а корона необыкновенной сложности, куда вставлены все камни, содержащиеся в горах, и все металлы, извлекаемые из руд. К этому естественному богатству цивилизация прибавила еще необыкновенной сложности «работу», узор, рисунок, стиль и план. Но вернемся к природному составу человека. Что он есть вершина, «коронка» мира — это есть и религиозная истина, а не одна философская. Читайте в «Бытии» историю сотворения мира. Итак, все отражено в человеке, в его составе. Когда говорят о человеке, как о микрокосме, — и это есть возвышенная идея, никем не оспариваемая, — то почему profanum vulgus, «умственная чернь», не останавливается на том, что и в глубочайших его недрах, рождающих, содержится также не мало-бриллиант, который совершен-

* мыслящий человек (лат.).

но ответил бы требованиям канонического права, но эта же там «сложная коронка», которая скорее ответит вкусам Пифагора. Пифагора и Соломона, Давида, «праотцев» человечества. Лебедь, заклеывающий всех подруг после потери одной (и это нас трогает до слез), тогда найдет в человечестве свое отражение: он нашел его в Пенелопе греческой, Андромахе троянской, Дамаянти индусской, в нашей русской Ярославне («Слово о полку Игореве») и в великих героинях Эдды. Есть он и сейчас — ровно столько, сколько было в Греции и Индии, среди браминов и нибелунгов. «Сложная коронка» указывает, что каждый бриллиант горел, горит и будет гореть вечно; но «в своей оправе и в своем уголке». Это — вечная часть. В чем же остальное «целое»? Те же древние книги показывают нам, что одновременно с Дамаянти и Ярославною было совершенно иное сложение пола, по типу уже не лебединой привязчивости, а по другим космогоническим типам: все в удовлетворение требования, идеала и (по моему глубокому убеждению) закона Божия: «Человек есть последний, и в нем соединится все». Остается совершенно бесспорным, что любимейшая церковная книга нашего народа есть Псалтирь и что дивные эти песнопения, хвалящие Бога, зовущие Бога, как бы в богоприсутствии запетые, изошли от сердца, которому ничего не говорил пример привязчивого лебедя. Я сказал, что нигде нельзя поставить ни плюса, ни минуса. Анджело Пушкина был, с точки зрения VII заповеди, гораздо «богоугоднее» Давида, а в самом-то деле был ли он угоднее? Его проклинали люди, он был мучитель людей, он был Каин — вот его имя. Невозможно, при малейшей наблюдательности, не заметить, как люди, столь же мало помышлявшие об «умеренности и аккуратности» в данной сфере, как Пушкин или «праотцы» (они были все приблизительно одного сложения), отличались изумительной, совершенно не имеющей себе конца добротою, благодатью, готовностью все для другого сделать, правдивостью, прямою. Это «добрые волю», как говорит Бульба о запорожском стаде, перебодавшем ляхов. Я говорю не в шутку. Я долго наблюдал. И совершенно не знал исключений из правила: 1) умеренность и аккуратность в сфере пола — сухость, лживость, бессердечие, жестокость, часто бесталанность; 2) «еда и питье с блудницами» и доброта, открытость, товарищество к человечеству, «всем родня» и часто гениальность или большой талант. И это — в обоих полах. Тут и находит свое место «причина семьи» с точки зрения высших идеалов альтруизма и человечности, идеалов всемирности и братства. Тип семьи, и особенно моногамной семьи, никогда не обнимет собою человечества, но хотя он никогда и не сократится, не умалится. Навсегда это есть твердая, нерастущая и нестареющая часть. Человек есть микрокосм: и как полигамический, так и полиандрический (французская пьеса) тип семьи мало и ни в угоду чему никогда не сократятся, хотя никогда и не вырастут.

Константин Великий испек живую в натопленном зале свою жену Фаусту; она знала грозную власть мужа своего и все же полюбила скромного певца своих дней (наездника цирка; цирк занимал такое же место тогда, как опера теперь). Нам это кажется некрасиво: «наездник», «простой человек». Но вспомните «Эолову арфу» Жуковского, где также княгиня полюбила нищего-музыканта, «мужичка» почти, вспомните «Люцерн» ригориста Толстого: как он выше оценил странствующего музыканта, нежели завтракавших с ним лордов. Почему Толстой нравственно прав, а Фауста нравственно неправ? Любовь еще ценнее, тоньше и губительнее, и она еще щепетильнее в выборе «друзей» и «не друзей»,

нежели случайные вспышки «моральной души» Толстого. Никто столько не напутал у нас, столько несправедливого и жестокого не наговорил о любви, как вечно трактовавший о ней Толстой. Он ее преследовал как собаку, и бил как собаку: и она у него битая, льстивая, трусливая, опозоренная какая-то и гадкая. В этом отношении как выше и Тургенев, и Гончаров: которые знали не только «любовь — цемент семьи», но и любовь, как «известное чувство», как восходящие и заходящие звезды, как расцветающие и отцветающие цветы. Но возвращаемся к исходному пункту суждений наших, «старому другу» Чернышевскому. Очень наивно, очень грубо, очень деревянно — он указал свою «Верую Павловною» и кружком мужчин-аскетов, около нее занимавшихся медициною, техникою и политикою, что обычный тип полового сложения, который можно назвать толстовско-церковным (здесь эти антагонисты совпадают), «не отвечает моей натуре и натуре моей подруги». Он выразил это ужасно грубо, щетинисто. Очень многие и увлеклись им, «из молоденьких», но очень многие резко отвергли, и даже позорили за это его имя. Между тем истина состоит в том, что «натура моя и моей подруги» есть такая же часть, дробь, не имеющая вовсе возраста до «объема всего человечества», как он это проектировал в своих алюминиевых дворцах. Таковых не возникло. Но и «развала семьи», как пугались современники, не произошло от «Что делать?». Ничего не изменилось, ибо в этой именно области, как говорит Гёте, вы все и целое человечество

По вечным великим
Железным законам
Круг жизни свершаем.

Сам Толстой где-то обмолвился: «браки совершаются в небесах», т. е. без участия «звезд», что ли, мужчина ли, женщина ли «не находят своей судьбы». Мог ли применить это к Карениной и Позднышеву. Но я хочу договорить свою успокоительную мысль: сколько я наблюдаю вот много лет, нигде тип семьи, моногамически-верной, «по типу лебедя», не укрепился так, как именно в квартирках, где большая фотография Чернышевского висит среди разных Марксов и других «страшилищ», среди домашнего «иконостаса». Так я называю стенку либеральных и радикальных квартир, сплошь увешанную портретами «светил человеческой мысли», от Писарева до Будды. И все здесь останется по-старому. И я ничего не имею здесь прибавить, как эту крупницу мысли: судить здесь, и именно здесь, осуждать, порицать и еще более казнить — страшно, невозможно; глупо — как судить, почему планеты, кометы и звезды движутся не по одним эллипсисам; или безбожно — как осуждать творение: зачем созданы не одни лебеди, но и травоядные, и всеядные, и хищные.

МЕЧТА В ЩЕЛКУ

...Нет, это ужасно. Быть трусом не только при жизни, но и после смерти! Ну, хорошо, я рос, сперва — мамаша, потом — брат, заступивший место отца, милый Коля, теперь покойник. Всегда обеспеченный стол, столь же обеспеченный, как

плошка с молоком для комнатной собаки. В известный час дня, о котором я, конечно, знал, я входил в определенную комнату, садился на определенный стул, съедал две тарелки, жидкого и твердого, говорил куда-то в угол «спасибо» и возвращался в свою комнату, обыкновенно спал, затем пробуждался, приходил опять на тот же стул в той же комнате и выпивал два, а при смелости и три стакана чаю, опять повторял в угол «спасибо» и, вернувшись к себе, зажигал лампу. «Да, что такое? Завтра — уроки, надо приготовить уроки», и я раскрывал журнальчик, смотрел: «пятница» — такие-то «уроки», но, припоминая пять учительских физиономий, вместе с тем вспоминал, что один учитель что-то как будто задал, но не прямо, а косвенно, второй велел что-то повторить, третий задает так много, что все равно не выучить, четвертый — дурак и его все обманывают, пятый урок — физика и будут опыты. Тогда я облегченно вздыхал. О, это был радостный вздох, настоящий вздох бытия. «Значит, ничего не задано». Тогда я все пять книжек, по всем пяти урокам, клал дружку на дружку и совал в угол стола, чтобы завтра не искать. «Значит, все готово к завтраму?!». И с аккуратностью Акакия Акакиевича, человека законного и исполнительного, я захлопывал журнальчик, всовывал его среди пяти книжек, чтобы завтра тоже не искать, энергично повертывался к постели, брал на всякий случай катехизис или алгебру, засовывал меж листов палец и, спустив книгу к полу, как бы в истоме усталости или пламенного зубренья (это на случай входа в комнату брата) закрывал глаза... и бурно, моментально, фантастично — не то что уносился, а прямо как будто падаю в погреб — уносился в мир грез, не только не имевший ничего общего с Нижним Новгородом и гимназией, но и с Россией, Карамзиным и Соловьёвым (воплощение истории), ни с чем, ни с чем...

Так, царства дивного всесильный властелин...

Сумел же Лермонтов выразить настроение... Но это было до утра. Утром я вставал — тихий, скромный, послушный, опять выпивал два стакана чаю с молоком, брал приготовленные вчера пять книжек и шел в гимназию. Здесь я садился на парту и, сделав стеклянные глаза, смотрел или на учителя, который в силу чарующей, гипнотической внимательности моей объяснял не столько классу, сколько в частности мне; а на математике смотрел также на доску. Семь лет постоянного обмана сделали то, что я не только внимательно смотрел на учителя, но как-то через известные темпы времени поводил шеей, отчего голова кивала, но не торопливо, а именно как у вдумчивого ученика, глаза были чрезвычайно расширены (ибо я был ужасно счастлив в душе), и, словом, безукоризненно зарабатывал «пять» в графе «внимание и прилежание». Конечно, я ничего не слышал и не видел. Когда меня вызывали — это была мука и каинство. Но все семь лет учения меня безусловно любили все товарищи (и я их тоже любил и до сих пор люблю), и едва произносилась моя фамилия, как моментально спереди, сзади, с боков — все оставляли друг с другом разговоры, бросали рассеянность, вообще бросали свои дела и начинали мне подсказывать. Я ловил слова и полуслова, и как Улисс умел же плавать с протыней (кажется) Лаодикеи, морской нимфы — так я отвечал на «три», на «четыре с минусом» или на «два с плюсом». Сам я никогда и никому не подсказывал, потому что совершенно ничего не знал и притом ни по одному предмету. Совестно признаться, но уж теперь дело кончено. И там,

и здесь тоже было: «Так, царства дивного всеильный властелин»... Так же пролетели и четыре года филологического факультета. Этим только, т. е. столькими годами мечты, воображения, соображений, гипотез, догадок, а главное — гнева, нежности, этой пустыни одиночества и свободы, какую сумел же я отвоевать у действительности, мелкой, хрупкой, серой, грязной, — и объясняется, что прямо после университета я сел за огромную книгу «О понимании», без подготовок, без справок, без «литературы предмета», — и опять же плыл в ней легко и счастливо, как с покрывалом Лаодикеи... Странная судьба, странная жизнь. Но я заговорил не об ней, не об этой полосе жизни и счастья, а о часах покорности, действительности, когда у меня не было стеклянных (блаженных) глаз, а глаза робкие, тихие, я думаю (так я чувствую в душе, так было с внутренней стороны), глубокие, но в чем-то вечно извиняющиеся и за что-то просящие пощады, а вместе — хитрые и готовые на злость, готовые на моментальное бешенство, если бы меня не «простили» и не пропустили к той маленькой щелочке, к какой-нибудь нужной вещи, к которой я пробирался, извиняясь на все стороны. Странно, сколько животных во мне жило. Шакал и тигр, а право же — и благородная лань, не говоря уже о вымистой (с большим выем) корове, входили в стихию моей души. «Ему приснилось во сне, — говорится о каком-то литовском князе, заснувшем на берегу реки Вилии, — что он видит волчицу, вывшую таким страшным голосом, точно в ней сидело еще тысяча волчат». Вот это обилие в животном — еще животных, как в пасхальных яичках (подарки детям) вкладываются еще яички, все мельче и мельче, и так множество в одном — эта бездонность разумной и провидящей животности всегда была во мне, и отталкивала от меня, и привязывала ко мне. Мне случалось бывать шакалом — о, ужасные, позорные минуты, не частые, но бывавшие — вот бегут люди, отворачиваются: глубокая скорбь проходит по душе, и вдруг выходит лань, да такая точная, с тонкими ногами, с богоданными рогами, ласкающаяся, кладущая людям на плечи морду с такой нежностью и лаской, как умеет только лань.

Но бросим. Я все увлекаюсь. Это — перед старостью. Давно все это прошло. Давно все это не нужно. В конце концов я трус, ибо умел быть смелым только в мечтах, а жизнь прожил позорным ослом, не умевшим ни бежать, ни лягаться, ослом благоразумным, прошедшим неизмеримо длинный путь, и тут сказала моя человекообразность: однако во весь путь я именно являл фигуру осла, которого бьют и который несет какую-то чужую проклятую ношу. Меня давит решительно мысль, что после наступающей старости я взойду и на «могильный холм» в этой же фигуре осла и, так сказать, печальная эмблема длинноухого и, главное, с чужою поклажей животного станет монументом над кучкой земли, которая вспухнет над моим гробом.

Нет, если я не умел или не смог жить, как хотел бы, я хотел бы, по крайней мере, умереть, как хочу.

Правда, первые дни пусть я буду по-прежнему ослом. «Никакого шума» — это было лозунгом моей тихой и кроткой жизни. Чорт с ней — пускай так и останется. Т. е. пускай меня вымоют, наденут чистое белье — «ибо нужно на тот свет явиться чистым», ограбят мою душу... Это я говорю об одном, меня ужасно пугающем обыкновении. Именно когда умирала моя старшая дочка Надюша, то я, с неким «зароком» (не исполнил) положил ей на глазки, уже закрывающиеся, носимый всегда на шее серебряный образок, маленький и квадратный. Потом одел его

опять на шею, рядом со старинным и некрасивым золотым крестиком, которым тоже заветно обменялся с существом, которому обещался последней любовью (это исполнил). Так вот меня и тревожит, что так как это золото и серебро, то его, как обыкновенно, снимут с меня и взамен дорогого и милого здесь на земле оденут на шею двухкопеечный кипарисный крестик, «дабы идти к Судии Вечному в деревянном смирении, а не в золотой и серебряной гордости». Так поступали со всеми умершими, каких я видел. Всегда нательный крест снимали и надевали торговый, из лавки. Это я считаю позором и кошунством. Позвольте мне рассуждать при жизни и твердо заявить, что я хочу идти «туда» именно тем шагом, каким ходил по земле, ну, например, ослиным и трусливым, а главное — неся на шее именно те дорогие и точные эмблемы, какие здесь носил, а не торговые и деревянные, будто бы из «смирения и страха, как туда явиться». Страх я точно имею, но не хочу «прощения» завоевывать, семена ножками и просовывая вперед кипарисовый крестик не дороже двух копеек: «вот-де, Господи, всегда был в рубище» и «сейчас в рубище». Вообще — как есть, так и желаю идти, а с «эмблемами» не хочу расставаться, в «рай» ли или «ад» меня пошлет Господь. Вообще, все, что любил здесь, — желаю сохранить и там, не исключая даже слабо помнимые тени подсказывавших мне в Нижнем товарищей. Я принимаю «суд» только с моих точек зрения и уж непременно, во всяком случае, с горячее-шими моими привязанностями.

Ну, об остальном, кроме этих двух крестиков, — я не спорю и все принимаю с ослиным равнодушием, т. е. и сроки, и времена, и звуки, и позументы. Я до того позорный трус и осел, что хотя вот уже годы придумал себе особое местечко для похорон, но так как это вызвало бы споры и, следовательно, «шум и разговоры» надо мной, то вполне соглашаюсь, что, напр., на третий день меня с надлежащими словами и проч., провожатыми и каретами и проч. отнесут туда-то и опустят в могилу между статским советником Иваном Ивановичем и мещанкою Анфиною Федоровною. Не протестую. Лежу и соглашаюсь. Все пусть течет «как следует». Вообще от «как следует» никаких отступлений. Я притворялся при жизни, пусть притворно сойду в могилу. Но когда все разойдутся и меня немножко позабудут, т. е. неделек через восемь (через шесть, кажется, поминают) или через год с месяцами, когда окончательно «помянут» и скажут «а ну его к чорту, довольно возились и, кажется, все прилично»... тут, кто любит меня, пусть исполнит мою фантазию.

Прежде всего уважения во мне к людям и теплой благодарности — бездна. К счастью — я знал друзей и, конечно, и «там» их не забуду. Но дело в том, что только друзья мои подлинно и знают, что я был им друг. И пусть это будет интимно, внутренне. Пусть это будет одиноко и молчаливо. В общем же опять режущую несправедливостью было бы, если б с этими немногими друзьями смешались вдруг «вообще знавшие», ахавшие, хлопотавшие и проч., вообще «похоронная толпа» или «толпа помнящих людей». Я хочу войти «туда», так сказать, с пристально-определенными отношениями, в каких был и «здесь», т. е., с истинными как с истинными, а ложные оставляя «здесь», т. е. в частности, не допуская до моей могилы. Поэтому через год с немногим, когда уже все забудется, я бесконечно хотел бы убежать с места моих «как принято» похорон и похорониться вновь по моей мучительной и одинокой фантазии. До сих пор были всё «стеклянные глаза», а теперь пусть восстанут подлинные «внутренние животные».

Именно прежде всего я не хотел бы совершенно одинокой своей могилы. Но кто знает, с кем я хотел бы лежать, пусть догадается. Тут придется, или пришлось бы, вырыть и одну старую могилу. Меня тяготит, что это невозможно, вот уже много лет тяготит, и только утешает то, что все равно будет подземное сообщение. Но, затем, я отнюдь не хотел бы и решительно не хочу лежать на общем кладбище, где лежат люди-цыфры, для меня — цыфры, которых я не знаю и не могу ничего к ним чувствовать, хоть они, может быть, и хорошие люди. Факельщиком за чужими похоронами я не ходил не потому, чтобы не жалел, а потому — что не знал умерших. И лежать «среди гробов» считаю то же, что равнодушно и бессмысленно идти за гробом «не знаю кого», — и этим бессмыслием и равнодушием я не хочу ни оскорблять, ни оскорбляться. «Общее кладбище» пусть будет для кого угодно понятная вещь, а для меня оно не понятная — и отвергаемая всеми силами души.

Мечта моя — природа и одиночество, за исключением близости близких, вечной, несокрушимой. Но о близких, чьи гробы я зову, — о них я уже сказал. Теперь это кончено, и я воздвигаю мавзолей. Это должна быть высокой, сажени в полторы, кирпичной кладки стена, с заостренными гвоздями наверху, какие устраиваются в заборах, «через которые никто не должен перелезть». В этой стене вокруг могилы главная и упорная моя мечта, лелеемая, нежная, глубокая, как мои робкие глаза. Разделенность с живущими, как и «с окружающей жизнью», должна быть вторым вечным и несокрушимым моментом. Никакой связи с «Карамзиным и Соловьёвым», выражаясь иносказательно, не должно быть. И как перерыв, как «лестница» — прочь! должны быть убраны всякие надписи на стене, а тем паче на (никогда никем не видимой) могиле; вообще никакой «прописи паспорта» не должно быть около тела. Самое тело должно быть не просто в земле, а в свинцовом ящике, и вообще червей, гнили и растаскивания костей — не нужно. Это — возмутительно, что мы отдаем тела родных микробам и червям; говорим над ними прелестные слова по смыслу, а затем опускаем их в какие-то «почвенные воды», в гниль, холод и мразь... Возмутительно. И этого возмутительного я не хочу. Только неприятно «историю над телом затевать», а то через секунду по смерти я хотел бы (в предупреждение микробов), чтобы меня обмакнули в коллодиум или в часто употреблявшийся мною при жизни гуммиарабик, и затем — в свинцовый гроб, с запаиванием. Одежд как можно меньше, и кроме прощальных эмблем на шее, вообще хоть ничего...

Сверху — никакого соединения стен кирпичных, т. е. никакого потолка. Небо должно быть надо мною. И солнце. Но ноги должны быть повернуты к востоку, дабы я как бы встречал солнце — приветствовал, говорил ему каждое утро «здравствуй». При полном исполнении моего желания стены должны бы быть не вертикальными, а отвесно-пологими, раздающимися вширь кверху (воронка, опрокинутая широким краем кверху); это дабы солнце не только один час стояло надо мной, а чтобы весь день или его значительную часть светило лучами на землю. Но это — трудно. И последнее — чтобы земля была засеяна какими-нибудь возобновляющимися цветами, т. е. чтобы, умирая, они осыпали на землю семена, которые и без посадки, без углубления в землю, вырастали бы к следующей весне новыми цветами.

Всего лучше — это в лесу или в поле. И всего бы лучше вне градусов северной широты и восточной долготы. (Посмотреть градусы России, вне градусов России, но России не упоминать).

Много? трудно? Ну, оставьте так, «как следует». Терпел при жизни. Потерплю и после смерти. А мистические животные во мне пускай уж через пространства вопят как-нибудь к Богу...

Р. С. Теперь я стал к этой мысли спокойнее. «Все равно» — чаще и чаще надвигается мне на душу, по мере того, как я приближаюсь к старости. А сколько лет, сколько тягучих лет я плакал от оскорбления, что вокруг моего мертвого тела не будет каменной стены с гвоздным (главное! главное!) убором.

Р. Р. С. Чувствую, что решительно костенею. Только и интересуюсь, что нумизматикой. Куда бы старый хлам ни выбросили — решительно все равно.

10

ИЗ СТАРЫХ ПИСЕМ

Письма Влад. Серг. Соловьёва

Теперь, когда я вынул тоненькую пачку телеграмм и писем Вл. С. С-ва и перечел их, слезы наполнили мои глаза; и — безмерное сожаление. Верно, мудры мы будем только после смерти; а при жизни удел наш — сплошная глупость, ошибки, непонимание, мелочность души или позорное легкомыслие. Чем я воспользовался от Соловьёва, его знаний, души? Ничем. Просто — прошел мимо, совершенно тупо, как мимо верстового столба. Отчего я с ним никогда не заговорил «по душам», хотя так много думал о нем *до* встречи, *после* встречи и после *смерти*. Думал о нем, когда не видел; а когда видел, совершенно ничего не думал и просто ходил мимо, погруженный во всяческую житейскую дребедень. Когда я перечел эти маленькие писульки, где отражается его добрая и милая душа, решительная скорбь овладевает мною и жажда точно вырыть его кости из могилы и сказать в мертвое лицо: «Все было не так, что я делал и говорил в отношении тебя».

Писульки эти, собственно, не следовало бы издавать. В них нет содержания, оправдывающего *право* отнимать время у читателя. Но есть время и время. Бывает время *работы*, и его я не смею просить для этих писем; но есть время «так себе», ничем не занятое, когда тоже берется книга: отчего такого времени не попросить у читателя? Соловьёва очень многие знали, многие — чрезвычайно любили; и если простой почерк его писем взволновал меня, то иному безмолвному другу его может показаться милым, дорогим, памятным простой оборот его речи, как бы сказанной в комнате и без всяких особых намерений. Мне лично «литература частных писем» всегда казалась самою интересною и дорогою: интересна она потому, что если скажется в письме *дело*, то уже такой сердцевинной стороне своей, какая редко сказывается в книгах или, точнее, до которой в книгах никак не доберешься, надо много читать «посредствующего и ненужного»; а дорога эта литература оттого, что нигде так, как в частном письме, не скажется неуловимое, незаметное в человеке или писателе, что его характеризует. Это — как «родинка» на лице: не орган, не «черты лица», не «важное и существенное», но такое, что более всего припоминается, когда человека нет и нельзя более с ним встретиться, когда он умер или уехал и не вернется.

Все время, когда я знал Влад. Серг., я видел его *усталым*; и эта усталость была главной физиологической и психологической особенностью, которая вам кидалась в глаза. Кстати, друзья его прошли мимо краткого упрека, какой он им бросил иносказательно и почти посмертно в «Трех разговорах». Вот это замечательное место вполне автобиографического значения:

Г-н Z. Я вспомнил об одном печальном происшествии, о котором меня на днях известили.

Дама. Что такое?

Г-н Z. Мой друг N внезапно умер.

Генерал. Это известный романист?

10

Г-н Z. Он самый.

Политик. Да, об его смерти писали в газетах как-то глухо.

Г-н Z. То-то и есть, что глухо.

Дама. Но почему же вы именно в эту минуту вспомнили? Разве он умер от чьей-нибудь невежливости?

Г-н Z. Наоборот, от своей собственной чрезмерной вежливости и больше ни от чего.

Дама. Расскажите, если можно.

Г-н Z. Да тут скрывать нечего. Мой друг, думавший также, что вежливость есть хотя и не единственная добродетель, но во всяком случае первая необходимая ступень общественной нравственности, считал своею обязанностью строжайшим образом исполнять все ее требования. А сюда он относил, между прочим, следующее: читать все получаемые им письма, хотя бы от незнакомых, а также все книги и брошюры, присылаемые ему с требованиями рецензий; на каждое письмо отвечать и все требуемые рецензии писать; старательно вообще исполнять все обращенные к нему просьбы и ходатайства, вследствие чего он был весь день в хлопотах по чужим делам, а на свои собственные оставлял только ночь; далее, принимать все приглашения, а также всех посетителей, заставших его дома. Пока мой друг был молод и мог легко переносить крепкие напитки, каторжная жизнь, которую он себе создал, вследствие своей вежливости, хотя и удручала его, но не переходила в трагедию: вино веселило его сердце и спасало от отчаяния. Уже готовый взяться за веревку, он брался за бутылку и, потянувши из нее, бодрее тянул и свою цепь. Но здоровья он был слабого и в 45 лет должен был отказаться от крепких напитков. В трезвом состоянии его каторга показалась ему адом, и вот теперь меня извещают, что он покончил с собою.

20

30

Дама. Как! Из одной только вежливости?! Да он был просто сумасшедший.

Г-н Z. Несомненно, что он потерял душевное равновесие, но думаю, что слово «просто» тут менее всего подходит.

Когда я прочел это после смерти, я понял, отчего он так часто, между прочим, отвечал мне на письма телеграммами и вообще избирал этот дорогой способ разговора: в телеграмме нельзя говорить много, и краткость никто не примет за «невежливость». Между тем он положительно изнемогал от множества как висульки висевших на нем слов, писем, просьб и, словом, всего, о чем говорит в приведенном отрывке. Каждое им полученное письмо, при его-то «вежливости», было уже для него несчастьем; ибо на страшно утомленную голову, утомленный язык (внутреннее, мысленное словопроизнесение) ложилось новым и, главное, раздражающим утомлением, раздражающим — от заботы ответить!! Не-писатель этого не поймет, а писатели сразу поймут. Сам Аристотель не мог бы напи-

40

сать, ну, больше 100 томов in-folio *, т. е. не мог бы больше произнести, выговорить слов, строк, предложений. У писателей (допустим) могущественная голова, «каменная», «железная» (по выносливости, не по бесчувственности). Но и железо стирается от трения колес. Больше известного числа раз, ну, положим, чем на написание 100 фолиантов, человек не в силах «шевелнуть мозгами». Соловьёв писал много, постоянно. Много он и говорил, читал лекции, беседовал, разъяснял, спорил. Мозги все «шевелились», колесики словопроизношения (мысленного) терлись. И он был постоянно на границе «100 фолиантов» слов, если считать произнесенное и написанное (что все равно) и если бы все растянуть на аристотелевскую долготу жизни. И вдруг еще новая писулька. Или — звонок и посетитель! Опять — беги колесики, трись, а еще не дописано «Оправдание добра», только задуманы «Три разговора». Великие произведения древности, до почты, книгопечатания и визитов рожденные, оттого и несут в себе великое вдохновение, что позади их лежит великое молчание, великая тишина; т. е. свежесть, неистертость «колесиков» души механизма устного или душевного слововыговаривания и также свежесть и покой впечатлительности. Можно сказать: что писатель говорит и пишет в частных письмах, записочках, даже телеграммах, он отнимает у своих книг. И это отнятое бросается в воздух, рассеивается, пропадает. Напр., слог Соловьёва, который мог бы быть глубоко личным и оригинальным, есть прекрасный, оживленный, остроумный, но, тем не менее, обыкновенный журнальный слог (жаргон). В нем играет остроумие, веселость, шутка — свидетели талантливой его души; но этой ароматности каждых двух рядом поставленных строк нет. Формы красивых цветов остались, а опыление стерлось, влаги нет.

Вот отчего он так часто уезжал на Иматру; хочется сказать — *убегал* туда, и, нельзя скрыть, — *убегал* от друзей, которые все снимали и снимали с утомленного, помятого цветка благовонную влагу — как несносные насекомые-посетители. В приведенной его жалобе он почти и не маскируется: кто же просит у *романиста* «рецензий на присылаемые книги»?! Конечно, это не романист, но, напр., брат «романиста» (Всевол. Соловьёва), действительно писавший много рецензий, и иногда на такие неинтересные произведения или скучную поэзию, что это суть очевидно «выпрошенные рецензии». И за последние нельзя жестоко судить: каждому хочется жить, быть увиденным и оцененным. Это — как барышня на балу. «Кто-то меня заметит». И все «танцевали с Соловьёвым», не замечая, что кавалер их бледен, как мертвец. Тут — рок. Всем жить хочется. Но «общий кавалер» прожил менее своих «дам» и «vis-à-vis»... Ну, зачем, однако, он был так красив?

Из привычек его домашних сохранию две-три. Обычно я его посещал, на пути в контроль (на службу), в «Hôtel d'Angleterre» ** (Исаакиевская площадь); мешал, конечно (и тогда же это чувствовал), — но ни одного вечера и вообще рабочего времени у него не расстроил. Ходил он дома в парусинной блузе, подпоясанный кожаным ремнем, и в этом костюме имел в себе что-то заносное и старое, не имел вообще того изумительно эстетического выражения, какое у него бывало всегда, едва он надевал скюртук. — «Извините, я должен выйти...» — сказал он раз и взял огромный лист газеты, аккуратно начал отрывать в нем полосу.

* большого формата (лат.).

** «Гостиница Англетер» (фр.).

Я смотрел на него с недоумением. «Это — покойники, объявления о покойниках. И когда мне газетная бумага нужна для чего-нибудь пустого или унижительного, то как же... покойники? Вечная память! И мне страшно и больно было бы своими руками уничтожить и особенно огрызнить место, где в последний раз написаны их имена и их со скорбью читают родные». Не буквально, но это прекрасная мысль, в этой мотивировке и именно с религиозным страхом, была высказана им. Не правда ли, замечательно? Ведь это подумалось раньше, чем сделалось, вошло в обыкновение? *Нам* этого не пришло и на ум: значит, об умерших он думал благочестивее, чем кто-либо из живых, из «наших знакомых». Около окна его, замороженного или холодного, бились голуби. Взяв кусок булки со стола (на столе у него вечно была какая-нибудь сухая еда, икра или в этом роде), он открыл форточку и раскрошил голубям хлеб. Они знали это окно и прилетали на готовый или запасенный корм. Помню, с каким недоверием посмотрел я на эту привычку (было 1-е мое к нему посещение). «Вот изображает пророка у Лермонтова или библейского — который тоже кормил птиц или птицы его кормили: зачем этот театр?..». Мне не пришло тогда на ум, что ведь не для *меня* же и моего посещения прилетели голуби, что это, очевидно, *бывало, всегда* бывало и, следовательно, тут не театр, а трогательнейшая привычка, грациозная дружба философа и пророка без прикрас с зябнущими городскими птицами. Но я был подозрителен в то время и замарал его своей мыслью. Еще раз я его застал только что вернувшегося из поездки (на Иматру или в Москву). На столе лежала коробка фиников. Он дал звонок и, передавая коробку мальчику, дал ему адрес, по которому он должен был снести ее. — «Кто это?» — спросил я машинально. «Старушка одна. Одинокая и бедная. Я давно ее знаю (чуть ли не с дома отца) и вот уже сколько лет, когда приезжаю в Петербург, всякий раз посылаю ей фиников. Мне это ничего не стоит, а ей отрадна мысль, что она не забыта». О третьей его привычке мне рассказал известный священник Гр. С. Петров: «Раз мы с ним ехали на извозчике. Всего два шага. Он вынул и дает ему трехрублевую бумажку. Тот изумлен, я изумлен. Он и говорит: „Я — не разорюсь, и извозчик не развратится, потому что это редко. А как он обрадуется: ведь так же, как если бы нашел на дороге! Знаете, как они бывают довольны, найдя подкову или кнут. Отчего же не создать ему этого удовольствия“». Все эти случаи, эти благороднейшие привычки во внутреннем своем обиходе показывают удивительно добрую душу, о чем далеко не все знают и в чем, напр., я вовсе не был уверен, пока он жил и я его видел.

Первое наше знакомство было заочное. В 1890 или 91-м году, когда я был учителем в Ельце, он прислал мне, заказным письмом, рецензию на только что вышедшую из печати брошюру мою: «Место христианства в истории». Это был маленький печатный оттиск журнала «Русское Обозрение» (редакция кн. Цертелёва, его приятеля), к которому было сделано большое рукописное прибавление. Я был вполне уверен, что эта рецензия и появилась в печати, хотя, не видя книжечки журнала, не мог этого увидеть воочию. Однако, судя по тому, что в теперешнем «Собрании сочинений» ее нет, я думаю, что оттиск этот не был помещен. Вот он.

«МЕСТО ХРИСТИАНСТВА В ИСТОРИИ» В. Розанова. М., 1890 г.

Эта брошюра обращает на себя внимание и отдельными прекрасными страницами, и общею мыслью автора, который очень своевременно напоминает нам истину *единства* человеческого рода и *общего плана* всемирной истории. В последнее время, как известно,

печальный факт национальной розни возводится в принцип некоторыми модными теориями, утверждающими, что человечество есть пустое слово, а существуют только отдельные племенные типы. Автор начинает с характеристики двух главных исторических племен, арийского и семитического, чтобы показать потом, что вселенский идеал человечества и окончательная задача всемирной истории предполагает синтез арийского и семитического духовных начал, которые в этом своем единстве должны приобщить к себе и все прочие народы земли. Собственно характеристика двух племен у автора, видящего в арийском духе преобладание объективизма, а в семитическом — субъективизма, слишком обща и притом не раз уже была высказана и в иностранной, и даже в русской литературе. Но в дальнейшем развитии своей мысли автор высказывает много оригинального и глубоко верного. А главным образом он заслуживает признательности за то, что вовремя напомнил нам, что «в Вифлееме и Иерусалиме решались судьбы и Востока и Запада», что там «заложена была новая история и новая цивилизация, та, в которой живем, думаем и стремимся мы» (стр. 22) и в которой Откровение, воспринятое семитами, сплослось с высшим плодом арийского духовного развития (стр. 35). Этот синтез совершился вопреки иудейскому исключительному национализму, который погубил еврейство политически, но не помешал ему дать миру христианство. По поводу молитвы Ездры автор указывает, что падение Иерусалима «было наказанием не за частные грехи отдельных людей, но за грех, общий всему Израилю, за грех его перед другими народами, о которых он забыл, которых он не хотел приобщить к своему избранию» (стр. 21). Эту старую истину хорошо было лишний раз напомнить ввиду диких теорий, прямо или косвенно отрицающих солидарность племен и культурно-исторических типов в общей исторической работе.

Владимир Соловьёв

Как видно, автор в рецензии этой брошюры бурно провел ту прекрасную объединительную тенденцию, какой был предан в то время. Не забудем, что он явился в нашей богословской или религиозной литературе с объединительными тенденциями не только в отношении двух церквей, католической и православной (хотя это было главным образом), но включил сюда, хотя и отдаленно пока, еврейство и даже магометанство, которые всегда (особенно магометанство) выбрасывались христианством за борт каких бы то ни было религиозных концепций, каких бы то ни было положительных счетов. Вспомним только суровое суждение знаменитого светильника русской церкви XIX века, епископа Феофана-затворника. Он пишет в своем «Толковании на „Послание к Галатам“» (изд. 2-ое, 1893 г., стр. 261), что после пришествия Христа «ветхозаветный закон бысть в пагубу, и народ, держащийся его (т. е. еврей), злодей человечества». Если о евреях и Библии в семинариях и духовных академиях и говорится, и даже много, то приблизительно так же, как на уроках греческого языка говорят о Полифеме, Аяксах и Агамемноне, т. е. что «вероятно, их никогда не было, да и не нужно: но урок надо выучить»... Я хочу сказать, что говорится в каком-то величаво-красноречиво изложении, где проходят величественные «Иаковы и Ревекки», до которых какое же дело поллучившему недавно камилавку протоиерею и который до того рад-рад, что «владыка, кажется, ко мне благоволит». Что-то нереальное, риторическое, мечтательное. Вл. Соловьёв первый взял к сердцу «жидка», как генетически связанного с Ревеккою и Иаковым, в просторечии с «Ривкою» и «Яковом», — и только не дополнил воображением, что это был огромный шатер из верблюжьей шерсти, с страшно острым запахом домашних животных, где ходи-

ли, завидуя беременности друг друга, сестры-ревнивицы и, «чтобы преуспеть в очах Господа», дали в подложнице мужу своему кормилиц и нянь своих, сперва одна Валлу, а потом другая — Зелфу; и что все это не так далеко стоит от духа, идиллии и благочестия теперешних шатров Аравии и Туниса. Еще серьезнее, оригинальнее, смелее и новее было, что он, кажется, первый из европейских философов и христианских богословов, ввел в религиозную *свою* и своих читателей концепцию магометанство! Именно, он указал, что божественное слово, выслушанное Агарью о потомстве малолетнего сына своего, Измаила («он как дикий осел; *рука его — на всех, а руки всех — на него*»), суть в точности *пророческое слово* и покрывающее имевший через тысячелетие наступить факт *магометанства*.¹⁰ Ибо в словах этих не только очерчен характер и судьба израильтян *после Магомета*, но, и это особенно важно, что маленькие племена Аравии в эпоху Авраама и все время до Магомета *не являли вовсе* этих особенностей характера и исторической судьбы. «Таким образом, магометанство, — говорит Соловьёв, — лежит в *плане всемирного религиозного движения*; и Магомет *творил не свою волю*». Этим поразительным признанием он первый перекинул мост между евангелием и кораном, христианством и мусульманством, когда прежде их разделяла не просто пропасть, но какое-то огненное море.

* * *

К сожалению, за неответом моим, по незнании его адреса, — знакомство наше не завязалось в том же 1890 году. От скольких увлечений, ошибок он мог бы меня удержать; как мог бы расширить мой политический, да и религиозный горизонт! Он знал *действительность*, а я ее вовсе не знал; он был всегда *многолюб и многодум* и мог расхолодить мои увлечения просто своевременным указанием на такие-то и такие-то факты, на необходимость оглянуться на иные стороны, чем какая, всегда *в единственном гисле*, стояла передо мною! Познакомился я с ним лично только в 1895 году — после жестокой и грубой полемики, какую вели мы в 1894 году. О полемике мы никогда не вспоминали — просто как о том, что «прошло». Я думаю, ни он не настаивал бы на своих определениях меня, ни я не думал ничего из того, что высказал о нем. Все было — *проще, яснее и лучше*,³⁰ чем я представлял в нем (в личности его) со своей жестоко-национальной и жестоко-ортодоксальной точки зрения. Он был публицист, искренно и горячо любивший Россию (я воображал, что он — враг ее), притом работавший для нее с таким широким обхватом мысли, к какому, уже по уровню начитанности и научного образования, на котором я стоял, я ни тогда, ни потом не был способен; хотя не отрицаю, что от узости моих горизонтов происходили некоторые *плюсы* во мне, напр., в силе убеждения, в преданности даже ложным идеалам, которые он, вероятно, при знакомстве оценил и полюбил. По крайней мере, я все время чувствовал и думаю — не обманываясь, постоянную его ласку к себе.

Сношения у нас завязались по поводу желания моего напечатать письма К. Н. Леонтьева ко мне: в письмах этих, высоко ценя личность и дарования Соловьёва, Леонтьев, со своей ultra-консервативной точки зрения, жестоко нападал на идеи Соловьёва. Кстати, его *теократические* мечты Леонтьев находил *обаятельными* и величественными, какового вкуса к ним никогда не чувствовали⁴⁰

ни Катков, ни Ив. Аксаков. Не показывает ли это, что в скорлупу своего жестокого консерватизма Леонтьев заперся только с отчаяния, прячась, как великий эстет, от потока *мещанских* идей и мещанских фактов своего времени и надвигающегося будущего. И, следовательно, если бы его (Л-ва) рыцарскому сердцу было вдали показано что-нибудь и *неконсервативное*, даже *радикальное* — и вместе с тем, однако, *не мещанское, не плоское, не пошлое*, — то он рванулся бы к нему со всею силой своего — позволю сказать — гения. Он (Л-в) не дожидаясь немногих лет до нового поворота идей, вкусов и поэзии в нашем обществе, которое охватывается в одну скобку «декадентства» и, думается, самою неожиданностью своею, своими порывами вдаль, своими религиозными влечениями и симпатиями к древнему Востоку, вероятно, охватило бы его душу как «последняя и смертельная любовь». Не знаю, обманывает ли меня *вкус*: но чувствуется мне, что он был «декадентом» раньше, чем появилось самое это имя; что он писал свою прозу раньше «символических» стихов, но уже — как их *предварение*; и создавал свою необычайную «политику» для каких-то сказочных, а не реальных царств, где будут носить египетские короны и ассирийские жезлы... Может быть, этого и не будет никогда; даже наверное не будет. В эпоху Renaissance ведь как хотели бы быть греками и римлянами. Бредали именами и вкусами Брутов и Платонов, а сотворили в действительности слабые, робкие, но неувядаемо прекрасные эпизоды жизни итальянских городков XV—XVI века. Так и теперь: конечно-*прямых* целей своих мы не достигнем, но, когда мы или ближние потомки наши «будем сидеть на реках Вавилонских и *плакать*», над нами склонятся, *побогным образом*, ветви с плодами такого вкуса и аромата, каких мы не предвидели, которых не сажали и которые утешат нас в разочаровании относительно прямых целей. Все в истории бывает неожиданно, непредвиденно. И все выходит как-то лучше, красивее и мощнее, чем человек предполагал в своих кабинетных выкладках.

Кстати, Леонтьев переслал мне, при заочном знакомстве с ним в 1891 г., маленькое письмо к нему Влад. С. Соловьёва, как имеющее косвенное ко мне отношение. Вот оно:

30 «Очень рад, дорогой Константин Николаевич *, что Розанов пишет про вас: насколько могу судить по одной прочтенной брошюре **, он человек способный и мыслящий. Если позволят разные дела, связанные с народным голодом, я окончу интересующую вас статью *** к 15 ноября, так что наклейки, пожалуй, опоздают. Но это не существенно. Будьте здоровы. Душевно вас любящий

Влад. Соловьёв».

СПб., 3 октября 1891 г.

* Леонтьев — Константин Николаевич. О нем см. в «Вопросах Жизни» статью Н. А. Бердяева. Поразительно это любопытство и отсутствие какой-либо вражды к нашему «огненному» консерватизму в рядах партии, которую при жизни и, без сомнения, потому, что еще 40 исполнились времена и сроки», он умел только проклинать. Все это удивительно providentially; все это показывает, что Леонтьев «не туда зашел», сел «не на свой стул», или, по-ассирийски, «не на свой трон».

** Т. е. о «Месте христианства в истории», отзыв о которой см. выше.

*** О Леонтьеве. Последний писал мне, что его преследует fatum: что он замолчан в литературе; что есть так много людей, которые *лигно* высоко его ценят и придают мирозерцанию

Вот ответ Соловьёва мне на вопрос: не будет ли он чего-нибудь иметь против напечатания мною целиком * писем Леонтьева:

28 ноября. 92. Москва, Пречистенка, д. Лихутина.

«Многоуважаемый Василий Васильевич!

Пользуюсь первою свободно минутой, чтобы ответить на ваше любезное письмо. Разумеется, я ничего не имею против напечатания вами касающихся меня писем покойного К. Н. Леонтьева. Быть может, я отыщу несколько его писем ко мне, весьма интересных, и тогда пришлю их в ваше распоряжение.

Из замечаний ваших по поводу вероисповедного вопроса я вижу, что моя действительная точка зрения по этому предмету осталась вам неизвестною. Изложить ее в письме не нахожу возможным. Если когда-нибудь Бог приведет встретиться, то в разговоре это можно будет сделать и легче и скорее. А пока намекну в двух словах на сущность дела. Ввиду господствующей у нас частью фальшивой, а частью благоглупой и во всяком случае нехристианской папофобии, я считал и считаю нужным указывать на положительное значение самим Христом положенного камня Церкви **, но я никогда не принимал его за самую Церковь, — фундамента не принимал за целое здание. Я так же далек от ограниченности латинской, как и от ограниченности византийской, или аугсбургской, или жевневской ***. Исповедуемая мною религия Св. Духа **** шире и вместе с тем содержатель-

10

его большое значение или по крайней мере видят в нем большой интерес, а между тем ничего не хотят сделать для ознакомления с ним читающего общества. Между такими людьми он ук-

зывал и Соловьёва, который все «пишет», да никак не «допишет» о нем большую статью: и действительно, не «дописал». Большая и прекрасная статья Соловьёва о Леонтьеве (о ней см. ниже в письмах ко мне) появилась уже после смерти Леонтьева. «Наклейки», о которых ниже идет речь, суть «материалы» и «литература предмета» для всякого, кто о Леонтьеве захотел бы писать: это две тетради — книжки с наклеенными на листы печатными отрывками о разных статьях Леонтьева, полемики с ним и пр. На полях эти «наклейки» испещрены весьма любопытными замечаниями самого Леонтьева, острыми и задорными, во всяком случае ярко рисующими его личность и мирозерцание. «Наклейки» эти, не понадобившиеся Соловьёву, он переслал — опять в качестве «материала» для статьи о нем — мне. И оне у меня остались за его скорою, в том же 1891 году, смертью.

20

30

* Задумывалось это в 1892 году, т. е. вскоре после смерти Леонтьева. Но напечатать его письмо я собрался только в 1903 году, т. е. уже значительно спустя после смерти Соловьёва. *Ars longa, vita brevis est... <Искусство вечно, жизнь коротка... — лат.>*.

** Т. е. известные слова Христа ап. Петру: «Ты, Петр, — камень, и на сем камне созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее».

*** Т. е. ни католичество, ни наше православие, ни лютеранство, ни реформатская церковь (кальвинизм) не казались С-ву *истерпяющими и окончательными* формами религиозного сознания, даже — христианского сознания. Он смотрел на них всех как на *стадии, ступени*, — как на «бывающее», а не «сущее». Весьма замечательная точка зрения, к которой, чем дальше идет время, — тем большее число людей присоединяется. Все это было когда-то *дорого* человеку, все казалось когда-то полно. Но протекли века. И снова вздыхает человек. Снова смотрит на небо, ждет, спрашивает, ожидает. *Кристаллы «исповеданий»* тают в огненной печи новых сомнений, новых жажд; и ныне мы живем *не без веры*, но в полном *хаосе веры или вер*.

40

**** Это очень хорошо. Ему следовало *pegатно* яснее сказать и настаивать, что он нимало не связан с римскими, константинопольскими или аугсбургскими традициями; не отрицает их, но

нее всех отдельных религий, она не есть ни сумма, ни *экстракт* из них, — как целый человек не есть ни сумма, ни экстракт своих *отдельных органов* *.

Этот намек, хоть и темный, убедит вас по крайней мере в том, что ваши замечания, справедливы они или нет сами по себе, во всяком случае не имеют никакого отношения к моему образу мыслей. В надежде на возможность более пространный объяснения в будущем остаюсь с совершенным почтением

Ваш покорный слуга Влад. Соловьёв».

После этого, довольно дружелюбного, письма и разразилась (с 1 января 1894 г.) наша грубая и ненужная полемика.

10

* * *

Знакомство, на этот раз личное, возобновилось позднею осенью 1895 года, по инициативе Соловьёва и через посредство Фед. Эдуард. Шперка. Мотивом его, бесспорно, было то чувство любопытства к людям, вещам, странам и стихам, но в особенности к людям, какое было у Соловьёва. Генрих Морепоплаватель вечно плавал, открывая новые земли. Нужны ли оне ему были? Нисколько. Что же влекло его? Призвание, талант, порода его души. Есть люди интересные, живут — «по одной лестнице», а всю жизнь — не познакомятся. У Соловьёва, напротив, было какое-то «томление духа» (экклезиаст) по человеку... Его предсмертный труд — «Разговор под пальмами» **, столь грустный по тону, столь безнадежный — давно, может быть с молодости, капля по капле зрел в его душе. «Конец всемирной истории», «ничего не нужно», «ничего не возможно» — как с этими мыслями не

и не покоряется им: а их все свободно принимает как «привходящие» в *новое и мировое* веяние Св. Духа, «религию» Его, «Церковь» Его... Но *негативно* у Соловьёва не вырисовывалась эта благая концепция. В письме своем к нему я, сколько помню, писал ему о *невозможности* и *немыслимости*, чтобы когда-либо Россия стала католическою, что он с неприятностью и отверг, как предполагаемую, и неверно предполагаемую, свою мысль...

* Очень умно и тонко. С этой точки зрения можно понять некоторые его стихотворения, как, напр., прелестное: «В тумане утреннем неверными шагами», которые смыслом своим неизмеримо превосходят его церковные, в частности католические, тенденции. Тут мы можем понять и еще следующее: отчего, в самом конце своей жизни, Вл. Соловьёв без всякой особенной боли, без всякой ломки своего мировоззрения, публично выразил, что он оставляет мысль о соединении церквей, частью как преждевременную, частью как такую, в которой *нетерпеливой* нужды никакой нет: да просто — мысль эта не лежала на дне его души, а только плавала в его душе. Душа его была предана, и притом *всегда*, как он говорит, «религии Св. Духа» и, может быть, с нею очень и очень новым религиозным исканием. Вспомним, в стихах же его, удивительное *одушевление* громадного гранитного камня на пути к Иматре: точно атавизм какого-то древнего-древнего, седого-седого фетишизма. Когда его с удивлением спросили об этом стихотворении, он ответил со своим двусмысленным и, думаю, на этот раз дерзким смехом: «Что же, вы знаете, древние *поклонялись* камням, и даже это было первое на земле *религиею*» (в воспоминаниях о нем, помнится, — г. Величко или г. Энгельгардта).

** Печатался в «Книжках Недели» Гайдебурова; в отдельном издании заглавие переименовано на «Три разговора».

побежишь куда-нибудь, к кому-нибудь? Замечу касательно «Чающих конца», и в особенности близкого «конца», — что, во-первых, психология их впервые воочию объясняет нам настроение христиан I-го века, когда «Конца» ожидали вот-вот, сейчас, завтра; во-вторых, что между тем первым ожиданием и теперешним совершилась, без особенной уторопленности, вся европейская цивилизация и, в-третьих, что идея «Конца», как и другая родственная идея о «жизни будущего века», продолжении бытия нашего по ту сторону гроба, сотворена была и страстно пронесена по земле людьми одиночками, которые видели, что *лигное* бытие обрывается сейчас у ног их. Есть монахи по форме, а есть монахи по существу, — даже среди семейных людей, всегда в таком случае меланхолически-семейных, 10 встречаются эти монахи по существу. «Загробное существование», при котором *теперешнее, здешнее* и не очень нужно (идея «конца»), всецело создано ими; а «ангельские лики», облака реющих в пространстве «душек», каковых они узрят по ту сторону гроба, едва ли не есть «проложенное в вечность», перенесение на неопределенный «конец» тех подлинных реальных душ, от рождения которых они неблагоразумно (по моему взгляду) воздержались здесь. Вот отчего библейское еврейство (в котором этот монашеский чин все же встречался, но приблизительно в миллионной доле, сравнительно с временами новой Европы) 20 вовсе почти не знало идеи «конца», ни идеи «существования там, за гробом», и просто об этом ничего не думало. Невеста, не успевши выйти замуж, умерла на глазах жениха; какие грезы вспыхнут у него о «встрече там»... О, и будучи мужем, он будет думать о «встрече там» с 40-летней подругой своей: но совершенно иначе, без страсти, без непременно, без яркости, без разрисовки. Именно — как евреи, которые не отрицали «будущего века», но признавали его тем вялым признанием, которое почти равняется «нет».

Вл. Соловьёв, с идеєю «Вечной Женственности» и с «тремя взглядами» (см. длинное его стихотворение об этом «самом важном событии моей жизни»), был по существу, по таланту, по призванию — монах, с тем рыцарским, деятельным и мечтательным оттенком, как это выразилось на Западе. С тем вместе темперамент и вообще вся психологическая природа Соловьёва, внука русского священника и сына такого коренного «русака», каким был С. М. Соловьёв, может хорошо объяснить возникновение католического культа «Мадонны», который, конечно, коренится не в естественном рассказе о Богородице, а вот в этих не часто попадающихся, но чрезвычайно мощных и талантливых задатках и влечениях 30 человеческой природы. Этою стороною религиозного романтизма своего едва ли не более, чем богословскими трактатами, Соловьёв сблизил православие с католичеством, и сблизил его реальнее, более цепко для православия — ядовитее и неодолимее. Ибо в то время как к публицистическим и богословским усилиям его общество осталось равнодушно, во всяком случае не бежит им навстречу, под его поэзией, и в частности под этими нежными и как-то вечно правдивыми лучами его поэзии, заходила волна. Сонные воды Руси проснулись и зарумянились от 40 дрожащего, почти и несуществующего света его мечты, этой «Розовой Тени» его биографии.

Но я отвлекся. Генрих Мореплаватель все отыскивал новые земли, а Вл. Соловьёв все знакомился с новыми людьми, и черед естественно дошел до меня, с которым он полемизировал и не мог не иметь, поэтому, некоторой любознательности. Он быстро и чрезвычайно доверчиво подружился с замечательным по

даровитости, простоте и энергии молодым человеком, Феод. Эд. Шперком, сыном первого директора института экспериментальной медицины в Петербурге, который около этого времени вышел, не кончивши курса, из университета и стал заниматься литературой. Сам Шперк до того был искренен, открыт, а с тем вместе любознателен, предприимчив, верил «в звезду свою», что и всех, с кем соприкасался, делал таковыми же в отношении себя. Нужно заметить, при замечательном уме своем и непрерывном «умном» вдохновении Шперк до того не умел выражать на бумаге своих мыслей, что ничего нельзя было понять из того, что он печатал то в брошюрах, то в периодических, нечитаемых изданиях («Педагогический Листок», «Гражданин»). И это казалось мне, да и другим, чем-то необъяснимым в нем. Потом, какими-то чудесами, он выработал в себе и способность изложения (почти перед самую свою смертью). Но он был очень раздражен, что никто на «литературу» его не обращал внимания, брошюр его не разбирали; как человека — любили и уважали его, а как писателя — ни во что не ставили. В нем, как очень много претерпевшем на печатном поприще, развилась неприязнь, конечно временная и капризная, к «ничтожествам, печатавшимся до меня» (веря, и страшно серьезно, в «звезду свою», Шперк печатно высказывал, что не было философии и философов до него, Шперка: и в это почти верил!)... Эдва он усвоил способность сперва посредственно, а затем хорошо и, наконец, превосходно излагать свои мысли, как посыпались его укусы, сильные, больные, наглые, на все стороны. «Ежегодный сизифов труд» — так озаглавил он свою статейку об ежегодной библиографии Як. Ник. Колубовского по русской философской литературе. Замечательно, что у Колубовского он не только перед этим бывал, но передавал мне, что редко встречал такого привлекательного русского человека, как он. И нимало этого мнения не изменил после своего отзыва о библиографической его работе, которую назвал бездарною, исполненною ослиного терпения и лишенною какого-либо философского чутья компиляциею. Это была просто отместка за то, что Колубовский в нем самом, Шперке, видел только претенциозного юрода. Также он лично знал Волынского, бывал у него и кончил тем, что в отзыве о книге его «Русские критики» грубо осмеял, что «этот жид от всех русских писателей и публицистов требовал жидовского паспорта и, у кого не находил такового, того предавал казни в своей нелепой книге». Это было тем чудовищнее, что сам Фед. Шперк по матери происходил от евреев и очень долго любил их, уважал, считал выше древних греков: пока один печальный эпизод его биографии, в конце концов бывший причиной его преждевременной смерти, не заставил его с такою же силою возненавидеть их. Но при всех этих диких, страстных и, мне кажется, безнравственных выходках личная обаятельность этого молчаливого, застенчивого и вечно погруженного в думы юноши была так велика, что я чувствовал в себе точно паралич при порывах на него рассердиться.

40 Бранить его, конечно, я бранил, но без всякого внутреннего негодования. Он точно летел к «звезде своей» (к своему будущему) и ничего не замечал вокруг. Все он оскорблял, все обличал. Но кто знал (как я) длинный путь глубокой скорби, которым он прошел, и видел, до чего он прост и ясен в душе, до чего он любил все «милое и незаметное» (его термин) в жизни, в людях, в литературе, в стихах, до чего он привязывался ко всякому чужому несчастью, чужой неудаче, чужой болезни или нужде и за всем этим ухаживал, как сиделка за больным; до чего в нем отсутствовала поза и «театр», до чего будущее «величие Шперка в ли-

тературе» занимало и влекло его как подлинное величие, не ради самолюбия, а ради внутренних качеств, и до чего он действительно изумительно даровит, пронизателен и вдохновенен, — тот просто чувствовал... ну, именно паралич перед желанием осудить его. Так и я много раз (перед концом жизни) говорил ему, что «между нами все кончено», что «раз человек не признает никаких моральных законов, — что же с ним делать», «что я не хочу его ни видеть, ни говорить», но кончал тем, что ни с кем не говорил так безуданно, как с ним. Удивительный человек, и непонятно, что бы из него вышло. Только для меня очевидно, что он был рожден для огромных новых мыслей; что, отдаваясь иногда по капризу злу, он кончил бы страстным вдохновением к добру... А может быть, впрочем, в нем 10
вовремя умер духовный разбойник, не понимаю, растериваюсь. Только одно он давал впечатление: «сила, сила идет»... Да он так и говорил; когда я упрекал его за бесстыдную выходку против Соловьёва (см. о ней ниже), он смеялся цинично, восторженно («моя звезда»): «Что же, это — талант, а талант хочет действовать; а что там Соловьёв попал под удар или кто другой — просто это меня не занимает. Я был *вправе* написать, потому что был *в силах*. И что я поступил хорошо, это очевидно из того, что я написал *хорошо*». На Соловьёва он напал, но неожиданно и будучи дружелюбен с ним потому, что — как характеризовал его раньше, после первых ли шагов знакомства с ним — «это есть явление *эстетическое*, а не этическое» (в жизни, в обществе, в литературе). И с этой именно своей точки зрения 20
на него как личность он напал и на его «Оправдание добра», озаглавив заметку: «Ненужное оправдание». Логика его: «правда проста и самоочевидна, добро в защитах философов не нуждается; простые люди его так знают: а Соловьёв написал неуклюжую иезуитскую книгу, где на ста страницах доказывает, что белое есть белое или что белое не очень бело», и пр. Соловьёв сам нашел нападение сильным («талантливым») и отвечал на него едва ли не пространнее, чем было нападение.

* * *

Вот письма Соловьёва ко мне, относящиеся к началу личного знакомства.

Царское Село, 17 ноября 1895 г.

Многоуважаемый
Василий Васильевич!

По чрезмерной рассеянности в житейских делах я забыл название вашей улицы и номер дома, а бумажка, на которой записал их Шперк, потерялась, разумеется, еще раньше. Перед бегством своим в Царское Село хотел справиться в контроле, но не успел. Теперь пользуюсь свободной минутой, чтобы вас достать через контроль. Кроме желания продолжать знакомство, имею еще маленькое дело.

В известном вам словаре * черед дошел до *Леонтьева*. Лично я с величайшим удовольствием предложил бы написать о нем вам, но уверен, что это не было бы принято ни вами, ни, главное, редакцией «Словаря». Некоторая нетерпимость этого последнего об- 40

* Дело идет об «Энциклопедическом Словаре» Брокгауза и Эфрона, где Соловьёв вел философский отдел и поместил там ряд прекраснейших сжатых статей. В. Р.

наружилась для меня по поводу *Декарта*. Я предложил двух лиц, несомненно наиболее компетентных в России: Страхова и Любимова, но оба были отвергнуты. Страхов, конечно, и сам бы отказался. Думаю, что в настоящем случае вы тоже не взялись бы написать статью о Леонтьеве, удобную для «Словаря», и притом словаря более или менее западного. Отдать нашего милого покойника на растерзание людям, его не знавшим и предубежденным, было бы нехорошо. Итак, приходится написать мне самому. Но при этом нуждаюсь в вашей помощи, во-первых, для установления точной биографической рамки, во-вторых, для пересмотра его книг, которых при себе не имею, и, в-третьих, для литературы. Итак, не будете ли вы добры написать мне, в какой из двух вечеров на будущей неделе — четверг (23) или суббота (25) — лучше мне к вам приехать? Адресуйте: Царское Село, Церковная улица (угол Московской), дом Мёрдера. — Отправьте заказным. Пренебрежение к учреждению заказных писем несовместимо ни с покорностью Провидению, ни с уважением к власти государственной. Если Провидение многократно являло нам примеры почтовой неисправности, то, очевидно, затем, чтобы мы принимали достойные нас меры предосторожности, не утруждая Высшие Силы требованием помощи сверхъестественной. С другой стороны, если мудрое правительство учредило и поддерживает институт заказных писем, то, значит, он необходим, а так как в законе не указаны случаи его применения, то, значит, мы должны считать его необходимым во всех случаях. Между людьми смиренными и людьми гордыми существует вообще различие, что первые отправляют письма заказные, а вторые отправляют письма, не доходящие по назначению*.

Душевно преданный вам Влад. Соловьёв.

И устно, и в нескольких письмах я настаивал на том, чтобы Соловьёв написал в «Словаре» несколько страниц, «если можно — даже шесть», а если не будут давать, то все же как можно больше из того, сколько будет давать, например, пять или четыре. Удивительно, что дотянулось именно до шести страниц, сколько я и положил как максимум, почти невероятный для меня самого. Статья должна была выйти исключительно хороша как литературное произведение, чтобы редакция «Словаря» отвела столько столбцов писателю вовсе без успеха и имени, и притом относившемуся с такою непримиримой враждою к прогрессу и западной цивилизации, которых «Словарь» служил таким ярким и фактическим выражением и подтверждением. Леонтьева можно охарактеризовать почти в двух строчках: 1) гениальные силы, 2) ушедшие на безумную мечту. Кто эту «мечту» его, его программу отбросит в сторону, как безвредную по полной ее неосуществимости, тот непременно привяжется и будет очарован им как человеком, писателем и мыслителем. Ни Соловьёв, ни я не имели его в виду как «политика»: ибо сами были очень плохие, вялые и недаровитые политики, и потому чрезвычайно любили его как личность и талант, как писателя. Но все же — шесть страниц убористой печати — целая журнальная статья! Тут я мог увидеть, до чего Соловьёв добр, и мягок, и уступчив, когда настояния другого имеют явным источником любовь к третьему: сам он был все же слишком усталым писателем и много-темным человеком, чтобы написать столько и так, сколько написал, без

* До чего все это грациозно и мило. Если бы он обо всем так писал и ко всему так относился, то, думается, привлек бы всех к себе и своему. Но у него была и желчь, которая, кажется, всегда бессильна. В. Р.

боковых возбуждений. И происхождение этой статьи, действительно лучшей по полноте и законченности характеристики Леонтьева, я вписываю среди немногих или среди отсутствующих своих общественных заслуг. Добавлю еще, что Соловьёв был слишком робок, как бы застенчив, и перед грубоватою редакцией «Словаря», конечно, только враждебной к Леонтьеву, не стал бы настаивать на помещении слишком большой о нем статьи. Самое большее — вышло бы столбца три, и статья давала бы «сведения», как обычно энциклопедиям, а не целую философско-литературную характеристику. Вот письмо его, без даты, относившееся, очевидно, к этому времени:

«Спасибо, дорогой Василий Васильевич, за доброе письмо или, вернее, письма. Множество писания для печати помешало мне ответить на предыдущее письмо и поблагодарить за приложенные к нему материалы о Леонтьеве, — да и теперь могу написать только несколько слов. Искренно желаю вам и семье вашей всего лучшего в новом году. 10

Очень жаль Страхова, и даже что-то жутко. Не найдете ли возможным внушить ему, — так как против вас он ничего не имеет, — мысль о „христианской кончине живота“, для чего потребуются между прочим и примирение душевное со всеми ненавидимыми им — от них же первый есмь аз. *Раньше этого* непосредственное мое обращение к нему было бы нецелесообразно и даже опасно.

Статья о Леонтьеве должна быть готова 7 января. Около этого времени я *заеду* к вам, известивши телеграммой, чтобы прочесть. Тогда поговорим и об Ухтомском. 20

Душевно преданный вам Влад. Соловьёв».

Страхов в это время заболел — раком... Он худел, чуть-чуть слабел: но, не зная существа болезни, не особенно беспокоился. И напомнить ему «о христианской кончине живота» было решительно невозможно, не открыв существа болезни, т. е. не отравив черною отравкою нескольких месяцев жизни, какие ему остались и какие он мог все же провести «ровно», без смятения и муки. Кому нужно ставить людей в положение Ивана Ильича (у Толстого), для чего это нужно? Если жестокая природа нагнала на человека такие скорби, не дадим врагу победы по крайней мере над духом его. «Только души его не коснись», — говорит и Бог дьяволу, предавая во власть его тело Иова. Я, можно сказать, и руками и ногами отталкиваю самое существо таких болезней, как рак, т. е. отталкиваю мысль, чтобы они были сколько-нибудь заслужены благородным страдальцем, человеком: но, уже подчиняясь им как факту, как могиле, зачем же еще «печатать в газетах» об успехах врага?! Пусть приходит как вор и ворует нашу жизнь, ворует у друзей друга, у детей — отца, у матери — ребенка: но ни копейку на рекламу его «побед», а главное — самому человеку всяческое облегчение, напр., хотя бы вот в этом виде устранения предварительного страха. Совершенно не для чего утолщать смерть этим страхом: она и без того жирна, толста, сыта, самодовольна... Ну и пусть... Смерть и болезни в отношении бедного и благородного существа человека, и без того страдающего от бедности и социальных неустойчив, есть чудовище имморальности: и человек, даже уже в ее пасти находясь, пусть мечтает и живет, как жил, смотря в лазурь Неба и все еще надеясь, предполагая и замышляя. Не забуду, как Страхов за три дня до смерти едва слышным, коснеющим языком (я должен был подставить ухо ко рту его) говорил: «Ужасные ошибки!..». — «Какие, Николай Николаевич?». — «Да напечатали на обложке: „Из истории русского нигилизма“ — такие-то и такие-то годы, а надо — дру- 40

гие. Не досмотрел»... И отлично. Думать об этом гораздо лучше, чем о раке, который ест нас и доест, и пусть будет сыт: а мы будем сыты и литературой, и поэзией, и наукой, надеждами и ожиданиями. Мы слишком вправе надеяться и будем надеяться. Мы трудились...

Оставляю эти темы. Конечно, я сейчас же передал Страхову о желании Соловьёва помириться с ним. Ссора эта (из-за Данилевского и славянофилов) была такая же неумная и ненужная, как у меня с Соловьёвым, как вообще большинство литературных ссор. Собственно, для *настоящего неуважения* к человеку может быть почва только в неуважении к его деятельности, именно к аморальным ее чертам, сводящимся к двум: *лжи* и определенной, фактической *жестокости*. Угнетение человеком человека или внутренняя фальшь всей природы — вот что может заставить не подать ответно руки человеку, протянувшему ее. Страхов и Соловьёв вначале и очень долго были друзьями, причем Страхов по необыкновенно кроткой натуре своей, а также по изумительной образованности и осторожному уму был «почитателем-наставником» Соловьёва. Последний по впечатлительности своей природы, вмещавшей много воска, был способен воспринимать, и даже жадно воспринимать, эти «учительские» влияния. Можно было бы в его сочинениях отыскать множество следов и, наконец, прямых признаний, хотя и очень кратких, большею частью в шуточной форме, — как он радостно, бывало, шел навстречу этим влияниям на себя. Так он, между прочим, питал к концу жизни «слабость» к старцам византийского пошиба, а в ранние годы гимназии «препарировал лягушек по образцу Базарова». Вечно жаждая любви к себе, «обожания», он чуть ли не чаще еще вспыхивал сам влюбленностью и «обожал» других: черта, которая пусть не заставит никого улыбнуться, ибо не есть ли это благороднейшая эллинская живучесть и подвижность, великая нервность и отзывчивость, вечная взволнованность, достоинства еще более редкие, чем мудрость, и гораздо человечнейшие, нежели видная ученость. Мы любим в себе «гордые достоинства»: между тем вот эти скромные и человечные едва ли не важнее. Со Страховым он разошелся жестко, неуклюже: едва ли не от того он и разошелся с ним так неумело, что ранее стоял в застенчивом положении ученика. И с Данилевским, и со Страховым *нужно* было разойтись (это Соловьёв чувствовал, это я теперь чувствую), ибо их «святая простота», как и вообще наших славянофилов, прикрывала и стояла щитом около позорнейшей русской действительности, уже именно злой и именно фальшивой. Они были похожи на добрых старушек-домовладеллиц, у которых «заняло помещение» полицейское управление, притом самых недвусмысленных нравов. Но старушки-то эти были добрые и благородные, и нельзя было «класть охулку» на самый их дом, их имя, на старые гербы их, нельзя было кричать: «У Страховых, Данилевских, Аксаковых дело нечисто: обирают, шпионят, насилюют». Нужно было строго разделить кабинетный идеализм и житейскую нечистоту, к ней прицепившуюся, как паука с паутиною к орлу. В письме Соловьёва к Страхову (последний читал мне его) он, «мотивируя первый шаг своего похода против автора „России и Европы“», писал: «Нельзя истребить вшей, не пожертвовав полушубком, в который она забралась: и как за спину Данилевского прячутся гады и гадкое, то надо опрокинуть его авторитет и научную, даже моральную, компетентность». Мне эта параллель с полушубком не кажется сильным аргументом: в зиму примиришься и со вшами, только бы не замерзнуть. Нужно, однако, для оправдания Соловьёва вспом-

нить то время, когда он открыл этот поход, середину царствования Александра III, когда «Россия и Европа» и идея особых культурно-исторических типов стала, притом официально почти, аль-кораном нашей охранительной политики, жесткой внутри и строго замкнувшейся извне. Мы прели в своем четырехосном (о четырех осях) культурно-историческом типе (теория Данилевского), мирясь с начавшимся голодным вымиранием народа и худосочием центральной России, рабством церкви, униженностью печати и, словом, всем, что шло авангардом впереди заключительного апофеоза китайской и потом японской войны, которая неожиданно сорвалась, как у Кречинского его бриллиантовая булавка... «Свадьба Кречинского» есть наша историческая пьеса... Раннее, гневное, доблестное выступление против Данилевского и Страхова, которое я лично считал в ту пору нравственным падением Соловьёва, на самом деле было полно гениального предчувствия будущих громов и провалов, было истинно орлиным заглядыванием за горизонт «текущих дел», в которые были погружены все мы, «писавшие, служившие и разговаривавшие». Но, повторяю, Соловьёв это сделал как-то неуклюже и аморально, причинив бездну страдания ни в чем не повинным людям (полушубок) и едва ли достав скорпионами своего красноречия тех «вшей», которые умирают исключительно от персидского порошка, т. е. в переводе — от прекращения доходов, лишения жалованья и уменьшения милостей начальства, а никак не от «грома и молнии» патетической публицистики. Страхов был глубоко и «окончательно» разочарован в Соловьёве и на предложение мое и «наше» (семьи моей) сказал: «Ничего из этого (т. е. свиданья с Соловьёвым) не выйдет». И он прибавил несколько жестких слов о Соловьёве, о его избалованности успехами в обществе и в печати, при которых человек не помнит простой правды. Но по мягкости согласился с ним свидеться. Соловьёв и он обедали у меня: и тут уже Соловьёв не обращал никакого внимания на хозяев, весь предавшись примирительному порыву своему и ходя около Страхова, как нянька около больного ребенка — больного раком — он знал!! Страхов отвечал тем любезно-равнодушным тоном, который связывает отношения в вялый узел, не держащий крепко людей. Не забуду, как в прихожей Соловьёв одевал Страхова: именно как нянька ребенка и еще точнее — как сестра милосердия больного. Мне не пришло на ум, что «вялый узел» отношений можно было затянуть крепче, еще и еще заставив их встретиться. Но и сам я жил уторопленно-смятенною жизнью в те дни, и Страхов так быстро подходил к могиле, что «укрепление дружбы», обычно рассчитываемое на долгую жизнь, ни перед одним из нас не встало даже вопросом.

* * *

Следующие телеграммы и письма все без дат, и я не могу восстановить года, когда они писались:

Христос Воскресе, дорогой, хотя слишком мнительный Василий Васильевич. Не был у вас только по трем причинам: 1) всегда имею больше работы, чем времени; 2) почти всегда хвораю; 3) ездил в деревню. Сегодня, несмотря на крапивную лихорадку, еду в Москву.

Посылаю вам свое последнее издание.

В Москве пробуду недолго. Передайте, пожалуйста, мой сердечный привет и поздравление с праздником вашей супруге.

До свидания на Фоминой.

Душевно ваш

Влад. Соловьёв.

Следующее письмо и две телеграммы относятся к хлопотам, связанным с «Неделею» или «Русью», изданиями В. П. Гайдебурова (Гайдебуров II, малый, в противоположность большому — отцу, основателю «Недели»). Его теснил М. П. Соловьёв, бывший главноуправляющим по делам печати, и никак не хотел разрешить ему, кажется, издания «Руси» или соглашался разрешить на каких-то драконовских условиях. 10 Подробностей, о чем мы хлопотали, я уже не помню, но совершенно ярко помню следующее, что считаю положительно историческою чертою тех 90-х годов.

Сухой, высокий, строгий, юрисконсульт при канцелярии военного министерства, всю жизнь свою изучавший Данте и итальянское искусство, Соловьёв вовсе не был «службист», не был чиновник, не мог быть, а может быть, и не мог бы быть государственным человеком. Во всяком случае, на литературу он смотрел «с высоты Данте и итальянцев» и почти ничего не уважал из «текущего», в то же время безмерно любя красоту слова, красоту вообще, искусство вообще. Так как 20 пресса, т. е. в особенности газетный мир, пожалуй, является противоположным полюсом «спокойного искусства», — то он ничего в ней не ценил и в высшей степени был склонен трактовать ее, и в идейном и в людском ее составе, как Сципион Африканский какие-нибудь полчища кельтиберов или нумидийцев. Он видел в ней только политическое значение, вернее, возможность политического значения, и к этому последнему относился с крайнею враждою, будучи защитником сильной государственности приблизительно «по примеру Сципиона Африканского». Вообще ближе Сципиона Африканского, новее Данте — он ничего не понимал и был сущий младенец, сердитый на вид и кротчайший в душе, — в отношении всех его окружавших явлений. Помню, еще служа в военном министерстве, он меня чрезвычайно сухо принял, когда я в одно из воскресений пришел осмот- 30 реть его знаменитые миниатюры (2 огромных тома рисунков гуашью) на Данте и на «Гимны Богородицы» — Петрарки. Но уже при следующем свидании мы говорили, как друзья. Редко кого и в то время, и в последующее, до самой его смерти, я так любил и уважал. Образ его, сухой, высокий, с жесткой щетинистой бородою, коротко подстриженною, с коротко остриженными волосами на голове, в бедном пиджаке, среди квартиры-музея, где всякая вещица, всякая подроб- ность была кусочком, или напоминанием, или воспроизведением древности и искусства, — навсегда останется в моей душе каким-то «алтарем», куда я под- 40 ходил с наслаждением, страхом (строгий хозяин) и веселостью. В беседе с ним все дышало культурою, образованием; сведения его по истории, по литературе были необозримы. Всю жизнь провел на этом!! Он был несравненно радикальнее и либеральнее меня, — сказав мне новое насмешливое, напр., об Александре I («притворявшийся гуманист, который заставлял стоять перед собой в солдатском фронте даже родных братцев») и о Щедрина («Ну, этот, бывало... Вот новая книжка „Отечественных Записок“ — и, смотришь, целый угол какой-нибудь свя- тыни-гадости старого уклада нашей жизни отвалился, как его и не бывало»).

Щедрина я не любил, Александра же почитал: и всякий поймет, как ново мне было это слушать. Замечательно, что он совершенно не любил и не ценил К. Н. Леонтьева, византийца и старовера: Соловьёв именно стоял на почве Сципиона Африканского и Данте, т. е. Европы и просвещения, презирая, напр., все специально-русские суеверия и не чувствуя ни интереса, ни любопытства, напр., к нашему сектантству. Странная, обаятельная (для меня), жестокая и беспощадная «вообще для людей» натура.

Беспощадность его вытекала из совершенного презрения «к нынешним». Совершенно непредвиденно для себя и случайно (в министерство г. Горемыкина) он из тихих канцелярий военного министерства был выдвинут на пост главного управляющего по делам печати и, дотоле вовсе не зная этого мира, вошел сюда спокойно, как бы сейчас положив кисточку с гуашью. Оглянулся. Какие-то ему непонятные люди, чинуши и «газетчики», которые вечно о чем-то хлопочут и чего-то добиваются, когда можно так спокойно прожить, лет 20 разрисовывая поля около терцинов «Divina Commedia» *. Я думаю, в душе его, младенчески чистой и прекрасной, пронеслось ужасно много насмешливого при виде «сих окружающих», насмешливого и гневного. «Посмотрим, как эти карасишки будут жариться». Во всяком случае, получилось буквально столпотворение вавилонское, буквально сумасшедший дом, а отчасти и адское пекло — от столкновения этого жесткого, неуступчивого мечтателя, может быть, фантазера, «государственника» и эстета, с миром суеты, грязи, страстей, самолюбий и в глубокой почве своей с миром страшной силы и страшного правосознания. Вот уж Мальштрем... в стакане воды нашей худосочной прессы. Из «шагов» этого государственного мужа я отмечу следующие: 1) как мне передал, всего недавно, один его друг, он при упоминании собеседником слова «жиды» поправлял неизменно: «Не говорите так — *жидишки*»; 2) и в то же время, разрешив г. Пропперу издавать второе дешевое издание «Биржевых Ведомостей», создал, можно сказать, либерально-еврейский «Свет» (популярная газета Комарова); 3) и все это, продолжая свято хранить образ великой русской государственности, византийских колоколов и культа Девы Марии. Каша!.. Вот такую «кашу» месил он и во всем. Не могу забыть сосредоточенной его серьезности, как бы «собранных воедино» всех внутренних сил, с какими он собрал «комиссию» в подведомственном ему учреждении, предложив ей заняться рассмотрением вопроса: «сколько букв нужно считать в нормальном печатном листе». Он открыл, видите ли, Америку: недостаточную ясность в законе, дающую возможность «ускользать гадам» и «жалить змеям». По закону без предварительной цензуры имели право выходить книги, содержавшие более 10-ти печатных листов: и выходили! Но листы ведь могут быть большие и малые, с 40 000 букв в каждом, и с 30 000, 20 000, 15 000 и пр. «Лазейка! воры!». Какой-нибудь радикал мог выпустить «Конька-Горбунка», набрав ее крупным шрифтом детских букварей, всего по 10 тысяч букв в листе, в объеме большем «десяти печатных листов», и тогда цензор не просмотрел бы произведения Ершова. «Караул! грабят!» — воскликнула цензура, догадавшись: а «догадку» эту, никому раньше не приходившую на ум, преподнес ей мудрый рисовальщик Данте, целый месяц по поводу этого ходивший угрюмоей ночью. «Открыл, накрыл и вперед не будет. Государственная заслуга».

* «Божественная комедия» (лат.).

Этому-то Михаилу Петровичу пришла мысль или, точнее, настойчивое желание, совершенно бесцеремонно им и проведенное, — выбросить из литературы гг. Меньшикова, Дорошевича и (в менее настойчивой форме) Ник. Энгельгардта. О Дорошевиче мне передал издатель-редактор «Одесского Листка» В. В. Навроцкий. Г-н Дорошевич поднялся и сразу стал быстро выделяться в каком-то «запойном» московском листке: как с его статьей номер — расхватывается на улице до последнего листка. Навроцкий, издатель удивительно чуткий, энергичный и предприимчивый, «чисто русский человек», едва ли не греческого происхождения (чрезвычайно темный брюнет), поставивший дозволенный ему «листок объявлений» (отсюда заглавие — «Одесский Листок») на степень первого южнорусского органа печати, пригласил к себе и г. Дорошевича. Известно, что такое провинциальная печать, и много ли надо было администрации «напряжений», чтобы задушить, и без прямого запрещения (что хлопотливо), газету. «Запретить розницу», «запретить печатание объявлений», «приостановить на 6 месяцев» и существовать невозможно. Газету не «запрещали», для чего по закону требовалось соглашение трех министров, а ей единолично: 1) не давали пить, 2) есть и 3) выгоняли на улицу, где она «отходила на тот свет» в судорогах и конвульсиях, причем министерство внутрь дел благочестиво читало «requiem». «Я бдительно охраняло, но умерший сам умер, не захотев жить». Знаков насилия на теле не обнаруживалось, и протокол был чист. В. В. Навроцкий беспokoйно приехал в Петербург вследствие желания главноуправляющего по делам печати с ним «поговорить». А «разговор» состоял в том, что если Навроцкий уберет из газеты г. Дорошевича, то газета будет жить, а если не уберет, то, «пожалуй, умрет». В. В. Навроцкий просил меня (я у него недолго сотрудничал) съездить к местному (одесскому) цензору, тоже вызванному в Петербург «для инструкций» или «по делам». С изумлением я увидел чиновничка до того молодого, что он мне показался мальчиком. «Боже, и он нас всех цензурирует! Но ведь он ничего, кроме Дюма-fils, не читал». Но чиновничек, кроме Дюма-fils, оказался человеком сухоньким, аккуратненьким, к делу внимательным, с собеседником любезным, и приехал по сложной цели: во-первых, — для «инструкций», а во-вторых, — потому, что ему мог выйти и мог не выйти к Пасхе «следующий орден». В подробностях я, вероятно, путаю, — но общий итог подробностей давал это точное впечатление. — «Да за что, собственно, Мих. Петр. (Соловьёв) ненавидит Дорошевича? — спросил я. — Почему он его гонит из печати?!» Цензор пожал плечами: «Он его не гонит; но он спрашивает: какой Дорошевич писатель? Все его остроумие состоит из грубейшего шаржа Гоголя, и что у него через четыре строки в пятой непременно торчит гоголевское словцо, которое и придает смысл, сок и румянец этим пяти строкам. Выньте это гоголевское словцо — и пять этих строк умрут. Умрет вся страница без 5—10 гоголевских словечек. Умер, или даже, точнее, — и не рождался, весь и Дорошевич, если из него вытащить Гоголя. Мих. Петр. и спрашивает: что же это за писатель? Это пошлость, а не писатель. Это вымазанный дегтем Гоголь, который все пачкает, к чему ни прикоснется». Опять я не буквально помню слова, но смысл их был именно этот: главноуправляющий по делам печати, приводя в движение все силы российского государства, решился «выбросить из литературы» г. Дорошевича не по определенной вине его, не потому, чтобы считал его вредным, а просто потому, что он... ему не нравился, худо-

жественно не нравился, как читателю, как домоседу, отцу своего семейства и мужу своей жены!! Вот и плоды «занятия Дантом» в русской администрации. Мы в истории нашей до того привыкли или приучены к насилию, что вопрос собственно о нем никогда нам не представляется тяжелым вопросом, а есть недоумение только о том: надлежащее ли горло попало под стальные пальцы. Человек, с трупом в руках, обеспокоен только тем: брюнет он или блондин? Брюнет — «туда и дорога»; блондин — «мог бы жить; виноват, ошибся». Вторым *bête poire** Мих. Петр. был главный сотрудник «Недели», писавший ежемесячно в ней голубым по розовому и розовым — по голубому. «Все люди невинны, и, если бы не дурная погода, — был бы рай. Но как погода дурная, то надо открыть форточку»¹⁰ или «не надо открывать форточки», в одной книжке то — «открывать», в другой — «не открывать», но вообще «человек» и «форточка» и «все мы невинны». Он не обнаруживал того ума, энергии и знаний, какие в нем есть теперь, и едва ли не был искусственно младенцем в преднамеренно-младенческом журнале, рассчитанном на сельских учителей, титулярных советников и не вышедших замуж девиц: читатель впечатлительный и самый обильный. Мих. Петр. с той строгостью много пожившего и испытывавшего человека, к тому же опять преданного Данту, о котором и Пушкин сказал:

Суровый Дант не презирал сонета,

и проч., еще более, чем г. Дорошевича, возненавидел г. Меньшикова и решил его «изъять из литературы» всеми способами и до последней строки и окончательного издыхания. Тут я должен вписать черную страницу в собственный формуляр: каким образом я, будучи другом (почти) Михаилу Петровичу, любя и уважая его, кажется, имея на него по крайней мере идейное, по крайней мере дружелюбное, «свое домашнее» влияние, не только не рассорился с ним или «крупно не поговорил» по поводу этих явно бесчеловечных и граждански-бессовестных деяний и намерений, но и ничего при зрелище их не почувствовал!! Вот это проклятое русское равнодушие, в котором и я так виновен, — в сущности есть настоящий родник всех «трупов» в нашей жизни, злодейств и преступлений: что много из соседей не кричит караул, не выбегает «из своей хаты» и, словом, что у нас³⁰ есть какое-то пошлое (или святое?) скопище частных людей и вовсе нет гражданства, общества. С Михаилом Петровичем, я помню, говорил не только «крупно», но ядовито, злобно и господственно, когда дело касалось других тем, напр.: устройства семьи, развода и проч. Помню, как в белую петербургскую ночь, часу в 4-м утра, он встал с кресла, когда под самый конец сложного разговора о венчании я ему сказал: «Или это — не таинство, и тогда зачем оно? Как смеет государство придавать ему сакраментальную важность? А если оно есть таинство и это твердо в вероучении, то вся наша церковь повинна в симонии, так как ведь деньги, в строго выговоренной перед венчанием сумме, все священники берут, и это от митрополита до дьячка все знают». Тревожно он сказал: «Это только обы-⁴⁰чай!!». — «Обычай или необычай, но как церковь учит именно так и от ее взгляда на сакраментальность единственно венчания множество девушек и детей пошло

* страшилище (*фр.*).

с камнем на шее в воду, то уж позвольте и мне печатно размазать об этой симонии церкви, с которой на шее она также печально пойдет в воду, как безмолвные и растерянные девушки, при виде которых ни один батюшка не расплакался». А Соловьёв, — нужно заметить, — церковь «почитал» еще больше, чем государство. Но отчего вот так же и с более яркими аргументами, потому что дело было еще очевиднее, я не говорил ему, что, как частный человек, он может ненавидеть таких-то и таких-то писателей, но государство дало ему власть не для проведения личных вкусов, а для охранения своих государственных интересов и соблюдения пользы и, смею думать, удовольствий (литература, чтение) мирных обывателей? Так все ясно было! Невероятно, чтобы он не опомнился при кристальной чистоте души своей; чтобы по крайней мере не задумался, не стал менее решителен. Хотя как-то он никогда не «задумывался», а все — «решал», всегда только «шел». Думал он о Данте, а в делах — «указывал», «решал» и «подписывал». Таково было впечатление. Конечно, меня ли он не послушал: но гражданский долг обязывал разорвать с человеком, который «на большой дороге режет», а я с ним пил чай. И что поразительно: теперь я вот это пишу, но тогда самая мысль о протесте мне не приходила в голову, и равнодушным знанием я знал: «Глупо! просто — чепуха! со стороны — смешно; а он, бедный, так уверен. И ведь не имеет никакого права». Что он не имеет права так поступать, — это я сознавал и тогда.

20 Но он был кристально чист, я его искренно любил и уважал. И просто с ним «пил чай», не возмущаясь, не негодуя. Все мы — слишком частные люди, до бедствия — частные. Идиллия? «рай»? болота, вертеп? Все есть в «матушке-Руси», на все «матушка-Русь» похожа.

Гайдебуров (В. П.), редактор-издатель или, кажется, полуредатор, полуиздатель (в этом все дело: тут вмещались права других сонаследников отца-Гайдебурова, основателя «Недели»), решил обзавестись собственным, личным, другим органом, и для этого у кого-то купил или сам основал еженедельную «Русь», и как здесь, в правах основателя, или открытия, или ведения; он зависел от главного управления по делам печати, то Мих. Петр. Соловьёв и решил «понажать его», чтобы он в ежемесячных «Книжках Недели» расстался с г. Меньшиковым и еще (не в столь настойчивой форме) Ник. Энгельгардтом. «Или слушайся, или не живи». Гайдебуров был поверхностно дружен (на «ты») с Вл. Соловьёвым, которого за монашеский склад души, «девственно-дантовский», глубоко, с угрюмым лбом, чтит Мих. Петр. Соловьёв, хотя последние годы и недолюбливал его публицистики. Но как личность, как ученого, как философа, вне сотрудничества в «Вестн. Евр.», — Мих. Петр. стоял к Вл. Соловьёву в положении ученика, удивляющегося на учителя, считая его феноменом нашей литературы и жизни, человеком «старого», «исторического закала», и, словом, —

Суровый Дант не презирал сонета

40 звучало в отношениях, точнее, во взглядах строгого государственника «школы Каткова» к пылкому мистикку. Соловьёв, прежде чем просить Мих. Петр. (за Гайдебурова), решил захватить и меня, вероятно, предполагая по моим любящим о нем отзывам, что и обратно я могу на его повлиять. Об этой именно поездке говорят следующая его записка и две телеграммы:

Дорогой

Василий Васильевич.

Списался с Мих. Петр. — и результат: сегодня, 8 ч. веч. (не позже), вы должны находиться у меня в «Англии» * для дальнейшего, совместного следования к вышеозначенному подсановнику. Так как я обедаю не дома, то если, паче чаяния, опоздаю на несколько минут, подождите меня в читальной, распорядившись, чтобы меня об этом швейцар уведомил при входе моем. Статью вашу передал Гайдебурову. Прилагая забытую вами у меня перчатку**.

До вечера.

Ваш Вл. Соловьёв.

10

Лучше, если прибудете в 7^{3/4}, — постараюсь не опоздать.

Циркуляр действительно существует. Советую обратиться к Суворину. Рассказать положение и взять под будущие статьи. Завтра письмом. На днях побываю. Придумаем что-нибудь.

Соловьёв.

Завтра пятницу, десятом часу вечера, буду у вас.

Соловьёв.

Из всех хлопот наших, как и следовало ожидать, ничего не вышло. По-видимому, весь материальный мир, в том числе и государственности, есть мир каких-то надавливаний и ослаблений, нажимов и отжимов, где можно *принуждать* и решительно ничего нельзя выпросить. По крайней мере, я совершенно не помню случая, чтобы какое-нибудь мое ходатайство, просьба, нужда о себе или о ком-нибудь были в сфере «службы» и вообще деловых отношений когда-либо удовлетворены. Так что я так и считал, и считаю эту «государственность» каким-то адским местом, «гиенной огненной», где люди предназначены вечно «гореть» и страдать, пока не зальют или не согласятся залить весь этот очаг зла, где ничего, кроме «скрежета зубовного», не раздавалось никогда и никогда не будет услышано.

Следующее его письмо относится к статье моей: «Поздние фазы славянофильства. Н. Я. Данилевский и К. Н. Леонтьев». Первый отдел статьи, о Данилевском, не встретил никакого затруднения при печатании; напротив, вторая его глава, о Леонтьеве, была отклонена по полному незнакомству и публики, и литераторов с этим замечательнейшим из русских мыслителей и стилистов и была лишь много лет спустя напечатана в литературных приложениях к «Торгово-Промышленной Газете», редактор-издатель которой Мих. Мих. Фёдоров, хотя и был чиновником министерства финансов, однако оказался человеком гораздо более чутким и одаренным литературным вкусом, нежели литераторы ex professo ***:

Дорогой

Василий Васильевич.

Посылайте свою статью о Леонтьеве в редакцию «Московских Вед.». Цертелев предудомлен и согласен. С Ухтомским вожусь, но еще ничего не определилось.

* Hôtel d'Angleterre, на углу Исаакиевской площади и Малой Морской улицы, где постоянно жил Вл. Соловьёв. В. Р-в.

** Никогда в жизни не носил перчаток. Ошибка. В. Р-в.

*** по профессии (лат.).

Ни теократии, ни оттисков еще не мог добыть.

И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.

Ваш Влад. Соловьёв.

По приписке слов из Молитвы Господней, вне всякого отношения к теме записки, видно, до чего Влад. С-в, как сказано в Библии об Енохе, «вечно ходил перед Богом». У него это было «постоянно на уме», — как (позволю отрицательные сравнения) у вора воровство, у картежника карты, у ловеласа женщины: но в каком обратном и исключительном и редком направлении!! «Было на уме» с этою же неодолимостью страсти, врожденной слабости и, словом, вне распоряжения личности и благоразумия. Отсюда-то и вытекло все значение С-ва: можно отрицать все его труды *в их подробностях* (как я, лично, недалек от такого отрицания, по особым и длинным мотивам, которые объяснять здесь не место); но *самую лигноть его отвергнуть* — невозможно, как нисколько эта личность не умалится, не сократится, как бы ни поколебались все эти подробности его трудов. Мне не кажутся его силы (кроме умственных, ученых) громадными: но в этих небольших размерах или, точнее, в этом рыхлом и пухлом объеме его существа была, однако, заткана некрепкими нитями настоящая структура пророка, пророческого духа, даже настоящей небесной пророческой миссии. От этого биографический «портрет» его нимало не походит на другие портреты в нашей общественности и словесности, науке и философии; не сливается ни с которым, стоит одиноко. Именно пророк, хотя в слабом очерке... с придачею этой несчастной пухлости и вздутости, которая так затушевывала благородное существо дела и так многих и не беспричинно заставляла смеяться над его «пророческой ролью». Но нужно было уловлять внутренний нерв, — и тогда лица в отношении его стали бы серьезнее. В пору ту, совсем иную, чем как я сознаю себя теперь, и мне приходили на ум мысли «в этом роде» — и мысленно сам себе я казался иногда валаамовою ослицею, произносящею какие-то не свои, навеянные и нагнетенные «Бог весть — откуда» слова. Словом, самое то время, середина или конец девяностых годов, было как-то приподнято, одушевлено, совершалось страшное психологическое бореие внутри общества, и это отражалось конвульсивностью на многих душах, к которым, кажется, принадлежал и я. Написав ему какую-то деловую записочку, я приписал в конце ее слова, которые до того мне самому показались странными, что я (чего никогда не делал) записал их и затем перенес на поля ответного его письма: «Братья мы истинные по духу: ибо закричали о чудесах, когда мир их исключил; убоялись Антихриста, когда мир не боится и Христа, и стали вопиять по стогнам и торжищам... Грехом и горестью воспитал нас Бог в таинственных предначертаниях, упоил гневом и нежностью, *и мы пойдём и не утомимся, полетим и не устанем*». Последние подчеркнутые слова — цитата откуда-то, понравившаяся мне еще с университетской жизни и вычитанная, помнится (тоже как цитата без указания источника), в «Критическом Обозрении», профессорском журнале 1881—1882 гг. — Соловьёв ответил мне:

Дорогой мой
Василий Васильевич.

Не только я верю, что мы братья по духу, но и нахожу оправдание этой веры — в словах вашей надписи относительно Царства Божия. Кто одинаково знает по опыту и оди-

наково понимает и оценивает эти знаки, залогов или предварения Царствия Божия, — те, конечно, братья по духу, и ничто не возможет разделить их.

Книга ваша будет для меня теперь желанной пищей, — как следует я ее еще не читал. — К исполнению поручений ваших приступил. О результатах передам лично. Статья о Г-те очень интересна; жаль, что ее неудобно напечатать.

Будьте здоровы, голубчик.

Ваш искренно

Влад. Соловьёв.

К сожалению, тона этого, так горячо и интимно задевшего нас обоих, никогда я не возобновил. Почему? Просто непонятно! Я думаю — суета, мелочи жизни. 10
Очевидно, здесь вскрывался мостик в самую глубину его души, и я имел от нее ключ, и не вошел, и не посмотрел. Страшная потеря в смысле *видения, опыта*, возможного *наугения*. Но я не писал бы этих воспоминаний и не печатал бы этих, в сущности не имеющих содержания, записочек, если бы не это его письмо и не это вообще секундное прикосновение такими глубокими «днищами» души. Года на письме опять нет, и я думаю, оно относится к 96-му или 97-му годам.

Затем, вероятно, много времени спустя, произошел инцидент со Шперком, о котором я рассказал выше. Книгу «Оправдание добра» Соловьёв мне прислал в контроль с секретарем своим — при очень трогательной надписи. Мы были 20
вполне дружелюбны. Потом при личной встрече он просил меня прочесть в ней VII главу, еще которую-то и «Введение». Но я ничего не прочел — от суеты и мелких хлопот, как мне тогда казалось, но, как теперь объясняю и даже ясно вижу, — от неодолимого и все сильнее в меня внедрявшегося отвращения к чтению книг. Причина такого дикого и постыдного явления не может заключаться не в чем ином, как в преждевременно раннем чтении (лет с 10-ти), притом совершенно запойном, без оставления себе какого-либо досуга, в воскресенье, на вакации летом, сейчас же утром встав и ночью. От постоянного чтения родные меня называли «книжным червем», т. е. что я ползаю и лежу в книге и что вне книги (чтения) — меня просто нет. Так продолжалось лет 25—30, пока струна не лопнула или, точнее, не начала медленно перетираться; и именно к самому нужному времени (начало старости) у меня вовсе утратилась способность чтения, 30
кроме разве таких совершенно новых и оригинальных книг, как, напр., «Талмуд» или «Кабала» (если бы попалась). Да еще страницы Библии я люблю перечитывать. Но даже журнальную или газетную *о себе* статью я прочитываю с трудом, не всегда сразу по получении, а иногда на другой или третий день, и не всегда дочитываю. Соловьёв, видя, что я совсем ничего не читаю из его книги, даже «Введение», естественно, мог почувствовать себя оскорбленным (как и я бы себя почувствовал). Отсюда — предположение, что я мог сколько-нибудь быть солидарен со Шперком, о дружбе и «слабости» моей к которому он знал: но этой солидарности не было, хотя Шперк имел на меня какое-то такое особенное действие, что 40
я не имел сил и негодовать на него, как был бы должен, обязан. Книгу «Оправдание добра» Шперк взял у меня «просмотреть», и я не думал, что он будет о ней писать рецензию. В сущности, происхождение этой рецензии самое простое и пошловатое: 1) Шперк уже «просматривал» книгу, т. е. материал для рецензии и след. — для заработка (он, с женою и детьми, страшно нуждался в нем) был готов («чем читать и покупать другую книгу»); 2) Соловьёва он не любил и не

очень уважал, считая его «эстетическим, а не этическим явлением», лицом (см. выше), и 3) имел «зуб» на него (как и на меня) за то, что мы оба не читали (впрочем, Соловьёв читал) и особенно что мы ничего не писали о его великих, изумительных брошюрах, где он превзошел Канта, опроверг германскую философию, открыл великие глубины русского духа и, в сущности, где (в поэтико-моральной части) он только перепевал напевы Ницше (года за два до того, как о нем пошла молва в русской литературе, но Шперк «открыл» Ницше действительно сам и самостоятельно). Нисколько он и не скрывал, что будет на нас всех (и на меня) за это молчание нападать и нас пересмеивать. У него это имело обаяние открытости, борьбы: «Я теперь нищ, и вы не подаете мне копейки; когда я буду богач — я брошу вам камень». В нем была обаятельность начинающего разбойника, и ведь эта обаятельность есть, она бывает? По крайней мере у меня руки опускались перед нею. Вот два письма Соловьёва, написанные на другой и третий день после появления рецензии, которая мучительно задела его и по талантливости имела силу задеть:

Дорогой

Василий Васильевич.

В силу евангельской заповеди (Мтф. V, 44) чувствую потребность поблагодарить вас за ваше участие в наглом и довольно коварном нападении на мою книгу в сегодняшнем «Нов. Вр.» (приложение). Так как это маленькое, но довольно острое происшествие не вызвало во мне враждебных чувств к вам, то я заключаю, что они вырваны с корнем и что мое дружеское расположение к вам не нуждается в дальнейших испытаниях. Спешу написать вам об этом, чтобы избавить вас от каких-нибудь душевных затруднений при возможных случайных встречах.

Считайте, что ничего не произошло и что мы можем относиться друг к другу так же, как в наше последнее прощание на Литейном.

Что касается до Шперка, то, ввиду его молодости, я еще не решил вопроса, что педагогичнее: полная невозмутимость или нравственное негодование?

Будьте здоровы.

Искренно вас любящий

Влад. Соловьёв.

30

Письмо это не оставляло сомнений, что Влад. Соловьёв действительно предположил, что я, будучи прямо *дружелюбен* с ним, одновременно за спиной его делаю такие махинации. Прямо я пришел в ужас от этой идеи и, сообразив, до чего было больно ему почувствовать вокруг себя такой обман, — написал ему горячее письмо, что ничего подобного, конечно, не было, и не только я, но вся моя семья разразилась негодованием на Шперка, изумляясь непостижимой и неожиданной его выходке (он если и грозил походом на нас, то — отдаленно). Письмо мое рассеяло его подозрение, и он ответил мне следующим — последним, какое у меня имеется:

40

Дорогой

Василий Васильевич.

Слово «участие» относилось к тому факту, о котором я узнал от вас самих, именно что вы (зная Шперка и его отношение ко мне) дали ему мою книгу для каких-то его надобностей, прежде чем сами ее прочли. Эту несомненную обиду я решил вчера предать забве-

нию, а если вы это приняли за подозрение вас в *прямом уговоре* со Шперком против меня, то даю вам слово, что такого подозрения я не имел и не имею, и прошу у вас извинения, что невольно — вероятно, неясностью своего письма — ввел вас в эту ошибку и причинил вам огорчение.

Я решительно не желаю менять своих отношений к вам, и, следовательно, — все дальнейшее вполне зависит от вас одного.

Искренно вас любящий

Влад. Соловьёв.

Точно сказать, что это — именно последнее письмо, я не могу: по всему вероятно, порядок недатированных писем мною перепутан. Он был слишком устал, и я был слишком измучен очень тяжелою в то время для меня жизнью, чтобы мы имели *энергию* взглядываться друг в друга. Его странствующая жизнь, его бесприютность не нравились мне, почти отталкивали меня. В *трагическую* сторону этого я тогда не проникал. Мне он казался более суетным, чем был, более «литературным», «журнальным», без пророчесственной и священнической искры, которая в нем именно была, и была огромна: но я ее не видел, иначе как на секунду и сейчас же усомнившись. На этом именно моем непонимании был основан последовавший затем разрыв, вызванный моею о нем насмешливою статьею по поводу его «Судьбы Пушкина». «О вкусах не спорят» — и под защитой этой древней аксиомы я скажу тот простой факт, что к печатным его произведениям я не имел вкуса, кроме стихов, которыми зачитывался и тогда, и теперь. Склад его ума (на мой *вкус*, очень может быть, — неверный) и в связи с этим стиль его письма, весь дух его статей, — все, все в них казалось мне непоэтичным, нечарующим, только умным или ученым и, словом, без магии в себе. А по начинающейся усталости и старости я и тогда оставлял к чтению только вещи «с магией». Такими мне кажутся его стихи. Таким мне казалось всегда и все у Конст. Леонтьева (автор сборника «Восток, Россия и Славянство»). Находя подобное, я, как ястреб в воздухе, становил боком голову и следил в лазури небесной орла — и любовался, и любил, и наслаждался. В последнем анализе — ведь мы все делаем *для наслаждения*, даже — умираем за правду. Из этого волшебного утилитарного или эвдемонического круга не выходит и не имеет силы выйти даже и терновый венец. Так и чтения. Так и литературные увлечения. «Не нравятся» — это сильнее всякой причины и, в сущности, не нуждается в оправданиях, как и не может быть ничем подкреплено.

Фатальное и краткое это впечатление, в сущности, и легло между нами. Но хуже было и совершенно непростительно, что я за этою мне не нравившеюся («без магии») литературою не почувствовал *вкуса* и к самому его лицу, что было уже прямою и очевидною ошибкою, ибо в лице его, несомненно, была «магия», это «особенное и неясное, чарующее», к чему можно безумно привязываться. Но оно было самим им глубоко скрыто от мира, «застенчиво» спрятано. Кстати, VII главу его «Оправдания добра» я все же перелистал после его смерти и увидел, что там написано. Мне и раньше о ней говорили (юристы), что «это — совершенная новость в европейской литературе». Не могу цитировать, но скажу только, что там идет дело о «происхождении, генезисе и первой исходной точке нравственного в человеке и в человечестве чувства». Таким исходным пунктом, так сказать, начальною точкою, где впервые «зашевелилась и обнаружилась» эта

стихия человеческой природы, есть *стыд*, и именно — *половой стыд*. «Половая застенчивость» есть, таким образом, великое «А», с которого и началась вся последующая лестница нравственных добродетелей и нравственного развития; а самый *пол*, то, что ранее всего закрыл у себя человек, чего он первого застыдился, есть «А» реально-худых, аморальных в мире вещей. Без цитат все это тускло, но в цитатах читатель бы увидел, до чего все это движется «тяжелюю артиллериею». Об этом-то именно пункте юристы мне и говорили, что это «новое слово в европейской этике», — и говорили профессора университета. Бедный Соловьёв, который от мира скрывал и свою «магию», хороня ее как дар между собою и Небом.

¹⁰ Завтракать — он завтракал и в ресторанах, с «друзьями». Говорил о всех темах открыто, громко. Но вот, что в нем есть «дар пророчества», ну хоть какой-нибудь, — это сокровище своего сердца, величайшую радость жизни своей, свое утешение, свою гордость — только однажды он высказал (см. выше) в письме ко мне; высказал — и замолчал, и не «размазывал». Можно ли было бы представить себе, что, войдя на парадный обед, где, однако, собрались все его друзья и «почитатели», он, садясь, сказал развязно, громко и отчетливо: «Господа, вы знаете? Я — пророк, во мне есть что-то жреческое и пророческое». «Умер бы от стыда» — если бы сказал. «Зарделся бы от стыда» — если бы кто-нибудь об этом, в приветственном тосте, но тоже во всеуслышание, сказал ему и вместе всем гостям. А «наедине, в укрытости, в частном письме» — сказал бы. Это — застенчивость, *стыдливость*, а — не стыд: явления не только не тождественные, но противоположные, как черное и белое, как добро и зло, как день и ночь, как земля и небо!! Такова и застенчивость половая, в силу которой мы закрываем весь этот *интимный и глубогайший* мир в себе; закрываем, но не отрицаем, что он *есть*, и никто решительно не скрывает, — ни Адам, ни мы сейчас, — что он *проявляется, действует, не мертв*. Разве мы скрываем, что у нас есть *дети*: целомудреннейшие, «святые» женщины с гордостью показывают вереницу малюток, «своих» малюток, и показывают их тем, кто несколько не наивен и знает способ их происхождения. Как и Соловьёв «книжку стихотворений» своих дарит, а вот, садясь

³⁰ написать новое, — *запирался, бывало, на ключ*. И если бы кто-нибудь постучал в дверь, ответил бы или сказал бы вошедшему гостю, особенно *гужому и постороннему*: «Да — был занят», «писал *статью для журнала*» (мир суеты, поверхностное); но ни за что бы не сказал: «Был *во вдохновении!* писал *стихотворение*». Отчего? Слишком хорошо и — *священно*. Похоже на алтарь, на храм, а не на базар. Разве бы другу, самому близкому, и только *окончив стихотворение*, он сказал: «Садись и слушай» или: «Вот, прочти»?.. Да, другу, близкому, «кусочку души своей». Это — мир *интимного, неразрываемого, цельного, «своего я»*. Так и пол — не несется на базар, ибо он *по существу своему есть не базарное явление*: отчего нас так и поражает, так заставляет гнушаться собою проституция, как *глубогайшее*

⁴⁰ *извращение вещей* и как *обазарнение* святых, интимных и дорогих частиц, нашего «я». А думают: «Оттого, что это — разврат», что «это *по существу* такая вещь, которая все пачкает и даже запачкало наш рынок», где биржа, плутовство и грабеж. Не запачкало, а *запачкалось* около рынка, грязи, суеты, обмана, денег: запачкалось то, что *всегда должно быть гисто*, свято, уединенно, сокровенно, иметь окружением себе, крыльцом около себя такое «святое» явление, как семья, как муж и дети, родные и родство!! Таким образом, Соловьёва, да и не его одного, а тысячи людей, ввела в философский и этический обман самая шаблон-

ная терминология («проститутки *грязнят* рынок») и необдуманно составленные слова («стыд пола» вм. «застенчивость пола»), вообще — филология. И он *тайну* принял за *преступление!* Стихи его, стихи и все стихотворное творчество, «стыдливое», «застенчивое», «при запертых дверях», — вот что пусть опрокинет эту VII главу его «Оправдания добра», о которой я бесконечно сожалею, что не прочел ее сейчас же по получении книги: ибо до того очевидны и вместе так метафизически важны простые истины, ее опровергающие. «Покров Изида», «Таинства Изида и Озириса», «*Элевзинские таинства*»... сколько прозрений в историю он мог бы сделать, если бы не написал или вовремя отказался от этой VII главы. Он увидел бы, что с этого «самого интимного и дорогого человеку»¹⁰ и началась вообще религия, религиозное в человеке, а не пороки и преступления, которые скорее начались «с базара» и «на базаре» — и становятся всего омерзительнее, когда «и самое святое выносятся на базар».

Не могу не обратить этих слов в особенности к вниманию молодой и прекрасной (если не обманет) надежды нашей литературы, сына его покойного брата Мих. Серг. Соловьёва — Серг. Мих. Соловьёва. Он очень, по-видимому, размышлял над этими темами; ему — долго жить, много писать. Тема эта — великая, необъятная. В ней можно совершенно запутаться, войдя не в ту дверь. И мне хочется указать ему настоящую. Все изложенное мною о VII главе моральной философии его дяди и есть ответ, который мне тогда же хотелось, но я не мог дать на некоторые резкие, но полные непонимания его упреки в отношении меня, помещенные в письме-статье о любви и поле в «Вопросах Жизни» за 1905 год. «Покрывала Изида не надо *открывать*», т. е. подымать его перед миром, показывать, делать находящееся под ним базарным: не надо, ибо тогда тотчас «Изида и божество» превратилась бы в ничто, персть, может быть, — гниль, зловоние. Ей-ей, молитвы и не было бы, начни ее выбивать на барабане; но *самому и уединенно, ногою, крадугись*, можно и нужно «войти под покров Изида», «чтобы научиться всякой мудрости». И назавтра сказать, что ничего не было и нигде не был. Так именно хорошо был затаен Нафанаил, «которого никто не видел» — кроме Христа...³⁰

ПАМЯТИ КН. С. Н. ТРУБЕЦКОГО

Сколько непредвиденно-случайного, рокового видела Россия за эти два года! Могучая Судьба захватила нас железными клещами и влечет — куда? — никто, кроме Судьбы, не знает. Что-то невольное, еще вчера никем не предугадываемое и уже сегодня могучее, легшее на чашку весов, где весится наш жребий, и потянувшее ее необоримо, всё книзу.

Смерть кн. С. Н. Трубецкого, автора лучших философских в нашей литературе трудов: «Метафизика в древней Греции» и «Учение о Логосе», — даровитого и деятельного ученого, в последние два года выступившего смело, разумно и успешно на поприще гражданского служения сперва словом, а потом и делом,⁴⁰ принадлежит к числу таких роковых, непредвиденных и очень значительных

событий. Опять черный флаг над русским кораблем, — как это было у афинян, посылавших жертвы на о. Крит [к зна<менитому>] чудовищному Минотавру. Значение Трубецкого заключалось в том, что в наши дни, когда трудно быть даже услышанным, [приковать к себе внимание] обратить к себе взор и, наконец, страшно трудно получить авторитет, вес, внимательных и отзывающихся слушателей, — он получил все это. Он выступил за свободу (мысли, слова, учения) в те месяцы этих двух лет, когда для свободы было очень мало обещаний; поэтому, когда большими аршинами и торопливо начали отмеривать обществу [начали не столько даже отмеривать, сколько выбрасывать всякие «свободы», — освобожденное общество с понятным чувством как на вождя обернулось на Трубецкого] эту свободу и, наконец, — выбрасывать ее, как бросают балласт с падающего аэростата, — общество с понятным чувством доверия и уважения обернулось к нему как законному и надежному вождю, как одному из лучших вождей своих. Он был лицом, на котором «обеим сторонам» (приходится говорить теперь не о России, а об «обеих сторонах» ее) было хорошо, удобно и безопасно помириться. Можно сказать: не было еще лица, из видных теперь на горизонте, в котором было бы столько соединено залогов к миру [и успеху], и залогов надежных, обещающих, более или менее твердых. И вдруг все сорвалось. Какой-то «склероз артерий» (признак старости, даже дряхлости) у человека отнюдь не старого, склероз — которого не предвидел и не боялся доктор, его незадолго [свидетельствовавший] осматривавший, — и скоропостижная [моментальная почти смерть от кровоизлияния в мозг...] <смерть> в заседании Совета с председателем-министром. Все ахнули. Корабль наш сильно качнуло. Одним якорем меньше. А парусов не убывает, ветер сильнее, руль почти не действует... [не то приводы перетерлись, не то колесо слабо... Растерянности у одних и смелости у других сразу прибыло].

Трубецкой умер чрезвычайно счастливо для себя и чрезвычайно несчастно для России. Он умер в ту самую минуту, когда прекрасная и благородная его личность вполне [обозначилась] определилась, а слабость его сил и зыбкость всего положения еще не обозначилась. Он взшел на гору: все увидел с нее, всеми был увиден; а рокового спуска [с нее не испытал] «на ту сторону» не испытал. Писали о том заседании под председательством г. министра нар. просвещения, в котором он скончался, — что он требовал в нем «единства действий» в России, в частности в Петербурге и в Москве, относительно митингов в университетах: что положение ректора и Совета профессоров в Москве, не допускающих этих митингов, становится совершенно невозможным по трудности, раз эти митинги допущены и пока они допущены в Петербурге. Так как этим митингам в Московском университете противился именно сам ректор Трубецкой, то совершенно ясно, чего он требовал: применения этой же запретительной или, по крайней мере, противодействующей системы и в Петербурге. Какою иронией звучит слово над его могилой одного студента в Москве: что «в России все честное умирает слишком рано; рано умер и Трубецкой — от невозможного, [рабского] деспотического режима в нашей России». Уж если смерть его связывалась с текущими событиями и он преждевременно умер от излишнего волнения, то никак нельзя сказать, что он умер от строгих полицейских мер, тогда как господа студенты давали ему успокоительного опия. Я понимаю, что студент обязан быть радикалом: но что-

бы он обязан был ничего не видеть или обо всем врать — этой тяжести на душе студентов я не предполагаю. Я, напротив, слышал, что, когда один студент математического факультета IV-го курса явился после закрытия университета к ректору и спросил, чту это значит и надолго ли, то увидел совершенно расстроенного, как бы потерявшегося ректора (Трубецкого), который, быстроходя из угла в угол, между прочим, страшно порицал и печатать, говоря: «Нас (профессоров и правление университета) все бросили; эти п..... газеты только льстят студентам, вместо того, чтобы говорить их разуму и долгу». Да об этом можно было и думать, [потому что именно] по взволнованности и спешности мер, которые он принимал в Москве во всяком случае не в пользу расширения прав и свободы митингов, а против [них] митингов. Но он «умер от режима»... Пусть будет так. Пусть этот и ближайшие месяцы будет все так, как хочет Немезида — богиня совсем другая, чем спокойная Клио, которой пока повязывают повязку на глаза. 10

Счастливо для себя умер Трубецкой. Он несомненно был бы очень скоро [быстро] столкнут с кафедры, откуда пока ясно и слышно всем говорил; был бы столкнут и смят, и через него бы «поехали», грубо чертя колесом исторической телеги по благородному и выразительному лицу автора «Метафизики в древней Греции». Время теперь не Платонов и Сократов; время — Демосфенов, если мы талантливы и добросовестны, или — Цицеронов и Катилин, если мы «так себе» или совсем плохи. Так как уже многие начали сравнивать события нашей истории с временами Франции в конце XVIII-го века, то и мы скажем, что в Трубецком [мы] Россия потеряла одного из своих ранних жирондистов, который умер слишком своевременно для себя и безвременно для отечества. «Стихии» — те силы, без разума, которые и вообще-то движут всегда историю, — получили ббольшую власть над нами, когда умолк его бессильный разум. Он писал докторскую диссертацию о «Логосе», «мировом уме»... Ну, он умер вовремя, чтобы не увидеть, что дело вовсе не в «Логосе», а в тех «Στοιχεῖα», «стихиях», «элементах Сущего», — о которых говорили более ранние, [чем] нежели Платон, Аристотель и александрийцы, философы. «Στοιχεῖα» уже начали и ему мять бока; «Λόγος» его весьма и весьма страдал; ничего не мог, ничего не умел. [Но и как в индивидуальной жизни — так и в истории, чтб в Микрокосме — тб и в Макрокосме. Всего этого он уже не увидел; но нам все это придется перестрадать. «Стихии» — это большая страсть, большая сила.] Стихии... но ведь и сам Разум есть только одна из стихий Сущего, [и кроме] и есть еще стихии музыкального, пластического. Когда я шел за гробом Трубецкого, то далеко позади колесницы «Вечная память» в одних и тех же устах чередовалась с песенками иного содержания. [Может быть, я очень впечатлительный человек: но соеди<нение?> вырыв<авшееся?>.] И я подумал: вот этот напев, который слушают старики и гимназисты, и одни и другие подпевают, действует ли на меня, старого и спокойного человека, менее, чем убедительная профессорская речь, которую я слушал бы? И сердце мне [говорило] ответило: «Нет, это гораздо [сильнее] могущественнее всякой речи, потому что это безмысленно, потому что это без разума и языка, потому что это музыка, т. е. [влечение и потому что это] стихия, власть и очарование». 20
30
40

Т. Н. ГРАНОВСКИЙ

(К 50-летию его кончины)

4 октября исполнилось 50 лет со дня кончины Т. Н. Грановского. Время теперь так шумно и заботливо, что едва ли многие оглянутся на тихого профессора Московского университета. Но, может быть, никогда не было минуты, более нуждающейся в напоминании и некотором оживлении этой удивительно гармоничной и удивительно богатой тенями личности нашей истории.

Университету, науке, изящной словесности, и, наконец, образованному обществу, и даже обществу в политических его стремлениях — он принадлежит в мере, совершенно равной. Он стоял на том втором месте, откуда все видно: тогда как передовые бойцы часто вовсе не понимают общего плана и хода сражения, как не видят и цельной картины поля, лагерей и того, что лежит далее за лагерями и вокруг них. Неувлеченность есть великое преимущество, которым Грановский превосходил и был богаче, наконец, был сильнее таких друзей своих, как Герцен и Белинский. На нашем расстоянии, на расстоянии 50 лет, его духовная фигура представляется не только спокойнее, но и изящнее, умнее, нежели фигуры его запыленных, израненных, уставших и неправильно — как отсюда видно — повернутых товарищей: нисколько не представляясь менее оживленной, одушевленной, не представляясь сколько-нибудь более равнодушной, индифферентной фигурой. Нет, Грановский умер — всего 42 лет в скорбях столь же едких, в негодовании столь же длительном и не поддававшемся успокоению, как и знаменитый критик и знаменитый общественный агитатор и публицист. Но есть скорбь тихая и есть шумная. Грановский, при своих талантах, и не избрал бы себе положения профессора, если бы в натуре его была та психическая ажитированность, потребность водворота и быстрой смены ощущений, впечатлений, сведений и даже, наконец, все «обновляемого» *credo*, — какая составляет суть и стимул публицистики и политической деятельности. Натура существенно равнинная, натура в этом отношении глубоко русская, Грановский тихо тек, негодуя на берега свои и русло, ломаемый в течении, — но неизменно с склонностью двигаться прямо и ровно в одну сторону — к вечному и невидимому за далью, но существующему и притягивающему Океану. Перенесясь от географических терминов к историческим, от уподобления к уподобляемому, мы увидим, что это в самом деле было так:

А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой.

Этот стих Лермонтова не имел никакого места в личности и биографии Грановского. По всем своим симпатиям, по устройству души, по влечению талантов, по истинному призванию — Грановский был человек, так сказать, «окончательных, завершительных фаз» в развитии общества, которые дают человеку и зовут человека на обильное и непрерывное плодоношение, предлагая для этого комфорт и самую сердцевинную часть его — спокойствие души, незыблемость положения, большой досуг, материальную обеспеченность, уважение государства и об-

щества, всю ту сумму физических и психических благ, которая вырабатывается в страшном горниле истории через жертвы, страдания, через миллионы пережитых неудобств. Грановский же пришел страшно рано: с душою Плиния, Фукидида или Гизо, — он жил в эпоху каких-то Меровингов, пелазгов или первых патрициев. Все оскорбляло и не могло не оскорблять его в нашей общественности: крепостное право, бессудность, обезумевшее в самонадеянности чиновничество, страшное стеснение печати, слова, презрение всего властительного к науке и литературе. В этом как бы лагере монголов или старых галлов, раскинувшемся в фундаменте нашего строя, — бродили измученную тенью поэты, ученые, мыслители, люди слова, литературы и университета, едва терпимые и перегоняемые сюда и туда в зависимости от первой и иногда от капризной или выдуманной «государственной нужды». Эти тени, люди без признания, завели свою раннюю культуру: нечто вроде «ученических журнальчиков», тщательно скрывааемых от начальства. Чем был тоньше и малочисленнее слой, развивший эту культуру духа в себе, тем это развитие совершилось быстрее, нервичнее, деятельнее. Известно, как уторопленно живут чахоточные: румянец на щеках, вечное движение, поездки туда-сюда, блеск глаз, живая речь, повышенная температура и вдохновение. Между наивным Карамзиным с его «Бедною Лизою» и «Письмами русского путешественника» и между Грановским в его частной переписке, исторических характеристиках и естественно-исторических соображениях — лежит такая бездна, как бы то были люди разной веры, разной крови и разной государственности: между тем все перемены произошли в том тоненьком наземе, который тоще лежал на гранитных скалах нашей государственности. Это было несколько тысяч, чуть ли не несколько сот русских дворянских семей, которые 50 лет читали и писали, думали и стихотворствовали, ездили за границу и стремились к университету и вечно всюду заводили свои маленькие «классные журнальчики», где вздыхали и мечтали, надеялись и негодовали, прикровенно от приставленных к ним, к счастью туповатых и почти безграмотных, надзирателей. Культура эта — всего нескольких тысяч русских дворянских семей — была затоплена и частью сломана в 60-е годы XIX века, когда пришло новое варварство, новые «галлы» уже в «апартаменты русской науки и литературы», и стало вновь все перевариваться, в массивных размерах, в том же горниле неугасимой, дымящей и пламенеющей цивилизации. Руды подбыло, огонь как будто на время угас, все стемнело: конечно, — для лучшего горения и сияния и плодоношения в будущем.

Довольно бездарные историки «новой варварской эпохи», в 80-х и 90-х годах XIX века, подсмеивались над Грановским и даже сбрасывали его с пьедестала «настоящей науки» за отсутствие у него таких специальных работ и кропотливых изысканий, какие творили они сами и которые давали или давали бы некий «новый результат» даже для европейской науки. Эти историки, несмотря на ученость, «дивившую даже Европу», — на самом деле были младенцами в науке, напоминая попугая, птицу глупую, но которую владелец выучил 20 словам на 20 разных языках. При всех своих «изысканиях, вносивших нечто новое в европейскую науку», — они, сравнительно с Грановским и 40-ми годами нашего XIX века, стояли как бы в половине XVIII нашего века, когда Миллер, Паллас и Крашенинников тоже «производили изыскания новые для всего света». Нет: Грановский представляет собою именно зрелейшую, совершенно «поспевшую», сахаристую и сладкую форму духовной культуры; куда бы его ни перенести,

в Англию, Францию, Германию, — Маколей, Тъери или Нибур, Шлоссер и Ранке не почувствовали бы не только неловкости, стоя плечо с плечом около него, но оглянулись бы с удивлением и даже с частичной завистью на этого талантливейшего «молодого человека из варваров», который все у них понимает, на многое нужное им самим указывает и, главное, светится мыслью и сознанием, столь углубленным и изящно сложенным, какого во многих случаях недостает им самим. Я сказал: «Многое им самим указывает»: действительно, в 40-е и 50-е годы, когда писались только первые стихотворения и очерки Тургенева, когда Гоголь предавался своей необузданной фантастике и на литературном рынке появлялись то «Войнаровский», то «Нос», то «Пиковая дама», — Грановский писал об обширном введении, в качестве пособия для исторического понимания, элементов этнографического, естественно-научного и экономического; его тянули к себе не блестящие завершительные эпохи цивилизации, которые историку очень удобно «изображать и украшать», а эпохи переходные, тусклые, колеблющиеся, где рассказывать нечего, но которые зовут размышление, кропотливое изыскание, которые содержат в себе затерянный ключ и завершительных эпох. У Грановского было удивительное и собственно единственное нужное качество настоящего, первоклассного ученого: любопытство к факту, любопытствующий ум. Всем он представляется, по памяти блестящих лекций, излагателем. «Красноречие и красноречие»... Нет ошибочнее и пошлее, наконец, — нет оскорбительнее и несправедливее этого представления. Каждый согласится с нами с первого же раза, если мы укажем, что лекции Грановского вовсе лишены были театрального, выставочного осложнения; что сила их, и удивительная в истории притягательная сила, заключалась именно в том, что Грановский был глубоко сосредоточенным, созерцательным, бесшумным лицом. Все кинулись, в то чуткое время, в том художественном небольшом кружке, который составлял собою тогдашнее общество, — увидеть и услышать, как на кафедре творится наука в лучшем синтезе ее частных и общего освещения. Не дошло, из лекций его, ни одной на десятилетия памятной фразы, отчеканенной формулы, удивившего всех афоризма, взволновавшего всех восклицания. Никто не оспорит, что это — так именно. То есть никто не оспорит, что в лекциях его вовсе не было ораторского элемента и, следовательно, «красноречия и красноречия». Это убийственное для памяти Грановского представление должно быть совершенно оставлено и заменено той действительно истинной мыслью, что он, предвзяв десятилетия общественного развития, только приподнял занавес над ученым, отодвинул шторы в окне лаборатории, дозволив людям, друзьям и братьям подойти и увидеть то, чего сами они не могут или не умеют делать по отсутствию специальной подготовки и что имеет общую важность и общий интерес, оставаясь в то же время глубоко личным и частным интересом и делом ученого и профессора. Не он подошел к людям, а только дозволил им подойти к себе, не снимая фартука лаборанта и оставляя засученными рукава ученого шлафрока. Мы говорим сравнениями, они необходимы. В этой именно особенности его лекций, исключивших всякую декламацию, стоявших на противоположном полюсе с ораторским искусством и лежавших в сфере неизмеримо высшей — научного и частью философского искусства, и лежит причина настоящего их успеха, удивительной для современников и неразгадываемой для потомства притягательности; и что его повторить нико-

му не удалось, ему подражать никто не умел, и оне остались «уником» в нашей истории.

Планы работ, им оставленные и неисполненные по кратковременности жизни, показывают его настоящим мастером науки. Напр., еще со времени его путешествия за границу, т. е. когда он только формировался в ученого, его занимала мысль написать монографию о *gorode* в древней, средневековой и новой истории — тема Грегоровиуса и Фюстель-де-Куланжа. Самый выбор темы указывает зрелость и даже переспелость его ума; указывает, насколько он стоял впереди своего времени, когда история сводилась (почти) к истории личности и рассказу о событиях; рассказу и большею частью наивным объяснениям. Его монография об аббате Сугерие, посвященная раннему сложению французской государственности, указывает на эту же склонность ума: изучать, рассматривать, любопытствовать, а не рассказывать, не излагать, не очаровывать или увлекать. Интерес ученого везде был главным нервом в нем: кафедра, университет, публичные лекции — все было уже вторичною, зависимо выросшею инервациею, которая потому так притягательно и сложилась, что держалась на правильном и сильном корне. Наконец, отметим сдержанное его отношение к гегелианству, которому были подчинены все его друзья, и сам Гегель в особенности претендовал на объяснение всемирной истории: и мы увидим в Грановском огромную, трезвую, самостоятельную умственную силу, которая более роднила с поколениями последующими, с эпохой торжествующего естествознания, нежели с поколениями предыдущими 30-х и 20-х годов, Шеллинга, Шиллера, Лермонтова и Пушкина, с которыми решительно ничего не было у него общего.

Многих обмануло художество его в науке: именно всех, которые противопоставляют науку художеству, считая первую чем-то серьезным и солидным, а художеству придавая оттенок произвола, фантазии и чуть-чуть даже легкомыслия и поверхностности. Конечно, ни наука не такова, ни художество, не таково. Невозможно стать великим ученым без постоянно и сильно звенящей художественной струны; как художник вечно мыслит, ищет, обдумывает, т. е. имеет непрерывные качества ученого. Только оттого, что в наш немного варварский и очень безвкусный век почти нет ни мастеров науки, ни мастеров художества они как бы потеряли свои определяющие понятия, формулы их смешались, и можно говорить о том и о другом что угодно. На самом деле были совершенно правильны поздние фазы греческого и римского мастерства, как и итальянского «Возрождения», когда художник, мыслитель и ученый сливались в одном лице безраздельно, усиливая друг друга и нимало не мешая один другому. Только люди того времени неустанно трудились, не знали отдыха, увлекаемые порывом, творчеством и интересом. На самом деле если не терять по-пустому драгоценных минут уделенной нам жизни, если к серьезному труду приступить (как и следует непременно) чрезвычайно рано, если не тратить талантливейшей полосы жизни на «учебники» отвратительно задуманной и отвратительно организованной школы, которая у нас из человека высасывает весь сок до первого творчества, то в 40—50 лет, почти в $1\frac{1}{2}$ века самостоятельного труда, можно и усвоить бесконечное, и развить в себе силы во многих разных направлениях, все связывая и объединяя одушевлением одного «я». Платон был довольно изобретателен в метафизике: а после него нашли семь дощечек с одною и тою же, написанною на них, фразою. Т. е. он обрабатывал литературную форму своих диалогов едва ли не тщательнее,

чем мозаист слова Гоголь. Микель Анджело был равно силен с молотком и кистью, в мраморе и красках; Леонардо да-Винчи так же интересовали вопросы механики, как и искусства. Наше время страшно побледнело в способностях, и от этого одного «искусство разделилось с наукою». Конечно, нельзя и не нужно собирать в себя этого эклектически, чтобы сказать: «Вот как я богат». В Грановском этого и не было. Тогда как у преемников его, «настоящих европейских ученых», — наука была большая (подробная), но в ремесленных ее формах, без одухотворения и почти без смысла; в нем явился и только за раннюю смертью недостаточно выразился мастер науки, и у него она засветилась и внутренним философским, и внутренним поэтическим огнем.

10 Сравнительно с деятельными, пылкими натурами своих друзей, он стоял чуть-чуть затененным; и согласимся, что заслуги его в движении нашей литературы и общества меньше, чем у Белинского и Герцена. Но столь же он превосходит их гармониею и образованием, превосходит многосторонностью. Он меньше совершил для дела, но больше для идеала. В последнем отношении, за исключением разве его друга и биографа Станкевича, затруднительно кого-нибудь поставить рядом с ним. Удивительно, что слишком обильная деятельность как-то мешает, расстраивает «идеал». «Праздник — покой», нельзя не припомнить древнее удивительное определение. «Идеалы» наши суть наши «покой», «успокоенные» явления, без тревоги в себе, без возмущения около себя; созерцательные минуты истории и созерцательные лица ее. Но именно «созерцательные», отнюдь не пассивные, не ленивые, не сонные, не бездеятельные. Это — тишина этого мира, когда он смотрит в другой мир. Вот это «смотрение в другой мир» и затруднительно для слишком деятельной и слишком преданной своим дням натуры.

Грановский стал определенно на западническую сторону, но не принял излишних увлечений западников. Мы сказали, что он богаче тенями, чем кто-либо из его современников. В самом деле, самое дорогое, что было у славянофилов, — кроткая и живая любовь к родине — была ему присуща совершенно в той же степени, как и им. — «Весть о падении Севастополя, — писал он одному другу, — заставляла меня плакать. А какие новые утраты и позоры готовит нам будущее. Будь я здоров, я ушел бы в милицию, без желанья победы России*, но с желанием умереть за нее. Душа наболела за это время».

30 «Без желанья победы России, но с желанием умереть за нее», — вот формула, которая не вырвалась бы ни у Герцена, ни у Аксакова и в которой сказывается, насколько Грановский был спокойнее и сложнее их обоих, а в конце концов и справедливее обоих. Удивительно, что одним из мотивов его постоянного негодования на славянофилов было именно малое чувство родины в последних. Романтики-археологи, они не болели или болели как-то криво ее теперешними, переживаемыми болями:

40 «Не только Петр Великий был бы нам полезен теперь, — писал он к Кавелину 2 октября 1855 года, за два дня до кончины, — но была бы полезна и палка его, учившая русского дурака уму-разуму. Со всех сторон беда: нехорошо и снаружи и внутри, а ни общество, ни литература не отзываются на это положение разумным словом. Московское общество страшно восстает против Правительства, обвиняет его во всех неудачах и притом обнаруживает, что стоит несравненно ниже Правительства по пониманию вещей. Например,

* Намек на ее внутреннее политическое положение.

здесь сильно негодовали за публично выраженное порицание Корфа. „Как можно, — говорили в высшем обществе, — так компрометировать генерала“. Вообще наша публика более боится гласности, чем 3-е отделение. Погодин читал свое последнее письмо у Урусовых, а дамы с трепетом говорят: „Cela sent la revolution“*. Самарин, поступивший в ополчение, доказывает всю важность теперешних событий тем, что по окончании войны офицерам, служившим в ополчении, будет можно носить бороду: следовательно, кровь севастопольских защитников недаром пролилась и послужила к украшению лиц Аксаковых, Самариных и братии. Эти люди противны мне, как гробы. От них пахнет мертвечиной. Ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда. Самая оппозиция их совершенно бесплодна, потому что основана только на отрицании всего, что сделано у нас в 1½ столетия новейшей истории».

Эти безнадежные археологи-эстеты носили только флаги с надписью «Отечество», на самом деле имея очень мало чувства отечества. Вечно они кому-то подражали и лезли в пышные сравнения не то с великими римлянами, не то с знаменитыми византийцами, не то с достопамятными лицами старомосковской державы. И были заняты собою и собою, вместо того чтобы заниматься Россией и Россией. Тому же Кавелину, при вести о затеваемой «Русской Беседе», Грановский писал:

«Я до смерти рад, что славянофилы затеяли журнал. Капитал дает Кошелев. Ответственным редактором будет Т. Филиппов; критиком литературных произведений будет Ап. Григорьев. Конечно, этих имен достаточно, чтобы наперед предсказать характер и успех издания. Я рад потому, что этому воззрению надо высказаться до конца, выступить наружу во всей красоте своей. Придется поневоле снять с себя либеральные украшения, которыми морочили они детей таких, как ты. Надобно будет сказать последнее слово системы, а это последнее слово — православная патриархальность, несовместная ни с каким движением вперед. Иван Киреевский уже удостоился искомой награды и достиг своей цели. Здешние попы нарекли его Русским Златоустом. А этот Златоуст смело говорит о необходимости изгнать из государства всех иноверцев или по крайней мере подчинить их строгому надзору Православной Церкви. Из всей этой безобразной партии только у Петра Киреевского и у Ивана Аксакова есть живая душа и бескорыстное желание добра».

Известно, что столь же скептически и отрицательно относились к славянофильству и славянофилам и корифеи науки русской истории и народного словесного творчества — С. М. Соловьёв, Ф. И. Буслаев и Н. С. Тихонравов: а уж им ли было, по предмету изучения и любви, не слиться с этою школою? Но дело в том, что любовь к самой России у славянофилов была какою-то мертвою, неплодоносящею, недейтельною, как и вся оценка ими русской истории была фантастическою в одной половине и легкомысленно-поверхностною в другой. Но — мир праху их: кажется, самого воспоминания уже нет более о них. Действительность кое-чему научает самых глухих к ученью.

Также сторонился Грановский и от романтизма нашей «крайней левой», давая место пройти вперед Герцену и Бакунину. У него нет ни одного нравственно-го порицания Герцену, — тогда как именно нравственно-то он и разошелся с напыщенными и чванливыми славянофилами. Но он разошелся с ним умственно и поэтически. Герцен был философ и политик, в синтезе давший великого публи-

* «Это пахнет революцией» (фр.).

циста. Но Герцен все относил к нашим дням; всякое уравнение у него сводилось к вопросу: «Как поступать мне и теперь, нам и сейчас». Он был существенно не историк. Между тем не было бы ни науки истории, ни личности историка, если бы не было той истины, что могилы прошлого священны, как и битвы настоящего, и что настоящее скоро, слишком скоро ляжет могилою же, скромной и мало-заметной, в ряду бесчисленных других таких же. Прошлое имеет свою самостоятельность, притом идеальную и вечную, о которой может забыть текущий момент, может не принять ее во внимание, но которую сломить и упразднить вовсе не может ни этот текущий и никакой другой момент будущего. Нельзя стать историком, не нося как живые в себе эти «мощи» прежнего, конечно с большими ограничениями, отрицаниями, с идейным господством над ними: но, однако, — именно как живые, а не как «предрассудки, суеверия и ненужное». Герцен не умел удержаться на этой границе отрицания. Вместо того чтобы оставаться самостоятельным в себе, не отнимая самостоятельности и у могил, оставаться автономным в «теперь» и «сейчас», на что у всякого есть право, но без узурпации над всеми протекшими и истекшими «теперь», которые имели свою эстетику, свое «сredo», свои локоны и поволоку глаз, — он наступал грубо, как «современный публицист», на эту старую эстетику, наконец, — на эти умершие локоны и глаза, как бы то была фабричная кудель и стеклянные кукольные глаза. Грановский разошелся с ним нервно и болезненно. И боль этого расхождения Герцен едва ли почувствовал еще не сильнее, чем Грановский.

«Пикулин возвратился из-за границы и привез многое и много рассказал о нашем приятеле (А. И. Герцене), у которого прогостил две недели. Утешительного и хорошего мало. Личность осталась та же, нестареющая, горячая, благородная, остроумная; но деятельность ничтожная и понимание вещей самое детское. Для издания таких мелочей не стоило заводить типографии. Сотрудники у него настоящие ослы, не знающие ни России, ни русского языка. Если бы эти жалкие произведения и проникли к нам, то, конечно, не вызвали бы ничего, кроме смеха и досады. Его собственные статьи наполнены его остроумными выходками и сблизениями, но лишены всякого серьезного значения. И что за охота пришла разыгрывать перед Европою роль московского славянофила, клеветать на Петра Великого и уверять французских *réfugiés* * в существовании сильной либеральной партии в России? У меня чешутся руки отвечать ему печатно в его же издании, которое называется „Полярной Звездой“. Не знаю, сделается ли это. В первой книжке „Полярной Звезды“ напечатана переписка Гоголя с Белинским. Представь себе, что при всем том Александр Иванович мечтает о возврате в Россию и даже хотел в следующем году прислать сына в Московский университет. Каков практический муж?» (Из того же письма к Кавелину.)

Тон отрицательного отношения совсем другой, чем к славянофилам. Идейное расхождение есть; есть несходство взглядов, веры, всей оценки действительности. Но — «та же нестареющая, горячая, благородная, остроумная личность»; и сохранена нравственная к ней симпатия, чего не могло быть к славянофильству с его накладными волосами и вставными зубами.

Ни одна кафедра университетов наших не подымалась так высоко, как кафедра всеобщей истории в Московском университете, когда на нее сел Грановский. Рассказывают, что первая его встреча с Герценом произошла на одной из публич-

* беженцы (фр.).

ных лекций. Сам лектор протискивался к кафедре, еще пустой. Была давка. — «Куда же вы лезете, — обернулся на него широкоплечий Герцен. — Видите, нет места». — «Там есть одно незанятое еще», — ответил скромный Грановский, пробираясь дальше. Каково же было удивление Герцена, когда он увидел поднимающимся на кафедру того худощавого господина, которому дал грубый ответ. И до наших дней кафедра всеобщей истории в Москве пользуется особым культом: на нее страшно сесть, слушатели перед нею ожидают и требуют более, чем сидя перед другими кафедрами. Ее преемственно занимали Кудрявцев, Ешевский, в настоящее время В. И. Герье. Они не возвысили, не развили дальше ее блеска, но они поддерживали ее имя и авторитет с достоинством. Дух Грановского — я помню по 80-м годам прошлого века — и до сих пор носится в приснопамятных «Большой словесной» и «Малой словесной» аудиториях (где читалась словесность и история). Не любить всеобщей истории, быть совершенным в ней невеждою, быть к ней равнодушным, не читать по ней — это считалось позорным для студента-филолога, тогда как не знать латыни или греческого считается даже «честью» для некоторых «молодцов». Но память Грановского, хорошо поддерживаемая, удерживает от грубости в отношении этого предмета. И нигде еще, как в Москве, эта именно кафедра не пользуется таким авторитетом. Нельзя не сказать, что представители ее вообще в России сделали почти все от них зависевшее, чтобы уронить ее в глазах и слушателей, и читателей, и целого общества. Наука, которая объединяет в себе смысл и объясняет значение всех остальных кафедр историко-филологического факультета, у нас являет собою совершенно необработанную и ничем решительно не одушевленную глыбу мертвых, косных, бессвязных подробностей. Объясним все примером. Мы не имеем ни одного, кроме «руководств» г. Иловайского и подобных, изображений истории европейских народов; ни одной цельной истории Франции; ни одной истории католичества, как и ни одной же — реформации. Итак, этот отдел исторических наук у нас не начат, не рожден, не значит, не возбудил ни интереса, ни мысли, ни простого изложения, — прямо и решительно ничего!! Точно девяти кафедр в русских университетах и девяти ученых, непрестанно думающих и работающих над этим предметом, никогда не было; и точно нет самого «штата» их в «Уставе университетов»!! Никакого беспокойства, ни ответственности перед слушателями, читателями и Россией. Но на самом деле «штат» есть, есть некоторое «взыскиваемое» жалованье, и находится всегда убогий человек, который его захочет. По «Уставу», однако, для получения этой милостыни нужно произнести свое «Христа ради» — написать диссертацию. Эти магистерские «Христа ради» и докторские «Христа ради» в форме увесистых волюмов на скверной бумаге, портящих глаза непременно трех человек: 1) наборщика, 2) корректора и 3) официального оппонента на диспуте, составляют истинную скорбь русской научной литературы. Дошел черед, с этими волюмами, и до реформации: мы имеем «по архивным документам написанную» историю-диссертацию приблизительно 11 месяцев кальвинистического движения во Франции проф. Лучицкого. Казалось бы, автор, посвятивший лучшие годы молодости 11 месяцам замечательного исторического явления, мог бы заинтересоваться им в целом, и дать «Историю кальвинизма», «Историю Франции в начале новых веков», «Историю реформации во Франции» и пр. Ничего подобного! По-видимому, всякая другая тема для него была интереснее этой «невесты» в молодости, хотя он, кажется, живет, трудится и даже пишет или

переводит до сих пор! Можно ли требовать, чтобы студенты русские, или русские читатели, или вообще всякие русские чувствовали что-нибудь другое, кроме непобедимого же отвращения, которое профессора и ученые чувствуют к своему предмету и даже специально к избираемым предметам диссертаций! По этому примеру мы можем сказать, что диссертации по всеобщей истории в России существуют, но что науки всеобщей истории в России не существует. Между тем как она уже обозначилась у Грановского и была именно в виде интереса к *целому* этой науки, к ее методу, к наиболее любопытным и вполне связанным ее точкам. К сожалению, потомки и преемники Грановского в нем самом увидели только то, к чему они, может быть, сами рвались, и только им это решительно не удалось: «красноречие, красноречие». От него, например, остались собственноручные конспекты читавшихся в университете лекций, а также целые курсы, но только не *manu propria scripta* *, а в записях студентов, с понятными недостатками против изложения, но, однако, сохраняющие подлинную мысль Грановского и подлинный его взгляд на отдельные исторические эпохи. Все это, находясь в рукописном материале, даже не опубликовано. Как не опубликованы же и планы (рукописные) задуманных им работ! Я помню хорошо, что в студенческие свои годы (78—82-е годы) у одного из московских букинистов я видел переплетенную, чрезвычайно толстую и хорошо переписанную тетрадь лекций Грановского.

20 Не зная, как студент, «библиографии» его, и предполагая это или где-нибудь напечатанным или хранящимся в каком-нибудь книгохранилище «в подлиннике», — я не приобрел ее, да и денег не было. Весьма сожалею, что тогда же не сообщил об этом «г. профессору», да тогда еще и не было сколько-нибудь сносной связи между профессором и студентами. Вообще этого я не сумел сделать. Но помню, я долго смотрел на тетрадь: это были именно лекции, и именно Грановского. Неужели никто, кроме неимущего студента, не видал их у букиниста. Меня тогда же брало недоумение: «Что это — видно? просмотрено? оказалось испорченным манускриптом, негодным к изданию?». Ничего я тогда не мог себе сказать и ничего до сих пор не знаю по отсутствию «библиографии» самого замечательного из русских наставников юношества, и который зажег было светоч науки всеобщей истории у нас, зажег его с душою, со смыслом: но этот смысл сейчас же после его смерти вылетел, и душа умерла — как умирают бабочки холодной осенью.

СОФИЯ БЛАГОДУШНАЯ. КАК ОН ПОШЕЛ В НАРОД

Повесть из жизни русского заграничного духовенства (Церковные вопросы и реформы)

Том второй. С.-Петербург. 1905

Первый том этого беллетристического сочинения, скрывающего под легкими формами бытовых сцен и диалогов критику церковно-административного, церковно-законодательного и церковно-богослужебного (литургического) строя,

* написанный собственной рукой (лат.).

порядков и традиций, справедливо обратил на себя большое внимание общества и печати. В книге даны подробности, не оставляющие сомнения об авторе как духовном лице с высоким образованием и вместе с молодой, по крайней мере, не старою душою, рвущуюся к обновлению. В настоящее время, когда все наше духовенство полно толками о созыве — более или менее в близком будущем — церковного всероссийского Собора и когда сделан духовенству официальный запрос о предметах совещания на этом Соборе, появление такой книги весьма своевременно и вместе представляет хороший, здоровый симптом. Прочсть ее следует каждому, имеющему какое-нибудь отношение к церковным вопросам или связь с церковною жизнью. В только что вышедшем втором томе автор вымышленного очерка, разошедшись со своим заграничным начальством, едет в Петербург сперва за «объяснением», а потом, когда он увидел себя до всякого разбирательства дела уже переведенным на другое, ему ненужное место — преподавателя захолустной семинарии, — и за гордою отставкою. Том состоит из четырех глав-очерков: «Начальство в Петербурге», «У начальника», «В деревне», «В поле». Понятен интерес, возбуждаемый уже самыми заголовками. К чести автора надо сказать, что, хотя он и очутился «в отставке» и «обижен», он нигде не дал в характеристиках лиц, стоящих во главе нашего духовного управления, места нападкам или упреку. Жесткое и презрительное сказалось у него только в характеристике заведующего школьным делом «Ведомства»: личность мелкая и деспотичная, не допускающая «вопросов», а «возражения» принимающая за бунт. Таких много в третьем ряде наших административных кресел.

Вся сила книги лежит в глубоком чувстве автора к нашей русской земле, в чувстве, которое, пожалуй, и не смогло бы сохраниться в такой высокой температуре, не живи автор долгие годы оторванным от родины. Вот он, претерпев мытарства на службе, уходит «в народ»; попросту переселяется в село к академическому товарищу, и идет по лугам.

«О, Россия, Россия, страна родная, — я верю в твое возрождение! Не можешь ты вечно пребывать в таком состоянии неурядиц и нищеты. Я верю, что ты, как феникс, возродишься из пепла и, обновленная, заживешь новой жизнью. И скажут о тебе иностранцы детям своим: вот эта страна, где есть еще правда, и святость, и идеализм, где искренне желают мира всему миру, где царствует любовь, и кротость, и истинное братство народов, где искренно призывают Господа, без принуждения, каждый по изволению своего сердца. И благословят тебя народы, и будешь ты образцом для подражания, предметом восхищения и умиления» (стр. 154).

Золотые и, может быть, наивные мечты! А прошлое и память прошлого? Привычки прошлого? Автор забыл старое слово о наследственности грехов, как и о железной последовательности наказаний за грехи, однажды совершенные. А в нашей истории их было довольно по части грубости и жестокости, и не нашему, может быть, даже не ближайшим поколениям вкусить золотых плодов свободной и одухотворенной культуры и гражданственности.

Центр книги лежит в длинной беседе молодого служителя церкви, — с старым-старым «Высшим начальством», которое его тихо выслушивает и делает возражения, призывающие к осторожности, не доверяющие молодым порывам. Так как здесь назван Св. Синод, то лицо «Высшего начальства» совершенно прозрачно. Юный служитель церкви развивает, — если все взвесить, динамическое

понятие о церкви, в противоположность господствовавшему до сих пор статическому представлению о ней, и доказывает, скорее навеивает мысль, что святость и принцип святости может так же принадлежать движению, как и стоянию или застою. «Бог есть Бог живых, а не Бог мертвых», — припомним мы, в помощь автору, вечное слово нашего Учителя.

Но горе в том, что все у нас тускло, чуть ли не атеистично. Вот где горький узел вопросов! И мы держим в руках догорающую восковую «свечечку», вынесенную из катакомб, древнюю; и все видят, что она догорает уже, что ее немного осталось, и дожидаются со страхом ее конца: ибо, когда она погаснет, все погрузится в темь. Вопросов много. Вопросы огромно трудны. Но, конечно, — не мы станем гасить порывы автора, — хотя и не смотрим на решение этих им вопросов с тем энтузиазмом, с каким он сам на них смотрит. Еще раз: духовенству и светским лицам, работающим около стены церковной, нужно непременно прочесть талантливые и одушевленные, местами задирающие страницы остроумной «Софьи Благодушной».

В. ГОРЛЕНКО. ОТБЛЕСКИ. ЗАМЕТКИ ПО СЛОВЕСНОСТИ И ИСКУССТВУ

СПб. 1905. стр. 236

Г-н Горленко принадлежит к той вымирающей породе писателей, которые в наше то смятенное, то злободневно-сплетничающее время, отойдя куда-то в сторону, делают любовно и неторопливо свое любимое дело. Так и он: крепко огородив свой небольшой сад, спокойно ухаживает за любимыми деревьями, лишь изредка поглядывая через забор, когда шум улицы и города становится слишком назойлив. Имя автора не утомило слуха читателей, и лишь немногие, присмотревшиеся к его кратким заметкам о литературе и более сложным трудам, посвященным истории живописи, — знают, что ничего «ложного» и «недобротного» не выйдет и не может выйти из-под пера г. Горленка; что он только тогда позовет читателя слушать себя, когда имеет сказать нечто любопытное, новое, незатасканное.

Книжка состоит из отделов: «Литературные очерки», «Моралисты и кое-что из области морали», «Малороссия», «Искусство», «Дела франко-русские» (о переводной русско-французской литературе), «Писательницы», и в приложении издан «Гимн хозяину» М. И. Глинки, на слова Н. А. Маркевича, найденный автором в рукописях черниговского земского музея. В «Литературных очерках» большинство страниц посвящено биографиям писателей, точнее — немногим избранным точкам или чертам этих биографий, мало известным, или мало освещенным («Гоголь и иностранцы», «Роман Бальзака и киевской помещицы», «К биографии гр. А. К. Толстого», «Легенда о Гамлете», «Поэт, открытый Гоголем», «Собственные романы романистки», «Новый труд об Эдгаре Поэ», «Первая повесть Сенкевича», «Матери поэтов»). В последней статье сопоставляются матери Гёте и Жорж-Занд. Какое восхитительное впечатление оставляет эта старушка «Аиа», как называли друзья Гёте его мать: право же, хочется, не обижая сына, сказать,

что она стоила его, что она не была его меньше, но только она «прожила свою песню», тогда как он «воспел жизнь» и ее, и свою, и друзей своих, — наконец символически — жизнь человечества и природы. В «романах романистки» автор передает об удивительном факте совестной и равно пламенной любви г-жи Сталь к итальянскому поэту Леонти и португальскому герцогу Пальмеле: психологический факт, возможность которого многие отвергают, между тем как он вполне удостоверен одновременную корреспонденцию знаменитейшей из французенок. Оценке громадного труда об Эдгаре Поэ Лебриера «Edgar Poe, sa vie et son oeuvre» * — автор предпосылает колкое и верное возражение биографам, которые подходят к поэтам с исключительной судьбою и характером произведений, 10 готовясь приложить к творчеству их медицинские измерители. Так у нас случилось с Гоголем, и русскому читателю, имея своего родного поэта в виду, не лишнее прочесть эти умные строки г. Горленко.

Несомненно, некоторые гении (Руссо) имеют болезненное сложение, как впрочем и «некоторые» чаоторговцы, домовладельцы, чиновники и даже «сами» медики; другие гении (Ньютон, Кювье, Гёте, Вольтер, Сталь) здоровы, «как сорок тысяч братьев», употребляя фразу Гамлета. Что же следует из «болезни» некоторых гениев? Ничего, как и из здоровья других гениев.

Книжка очень дешева, но ее можно бы издать изящнее и особенно тщательнее в типографском отношении. На каждых двух страницах попадаетея 1—2 не- 20 сносных опечатки: «соединил все заработанное (вместо „разработанное“) в печати» (стр. 89) и т. п.

А. В. НИКИТЕНКО. МОЯ ПОВЕСТЬ О САМОМ СЕБЕ И О ТОМ, «ЧЕМУ СВИДЕТЕЛЬ В ЖИЗНИ БЫЛ». ЗАПИСКИ И ДНЕВНИК. 1804—1877

С портретом автора. Издание 2-е, исправленное и дополненное по рукописи под редакцией, с примечаниями и алфавитным указателем М. К. Лемке. С.-Петербург. 1905. Два тома. Книгоиздательство М. В. Пирожкова. Исторический отдел № 12

Г-н Лемке, редактор настоящего издания и автор известной «Истории цензуры в России», — не только большой либерал, но и прилежный компилятор, библиофил, библиограф и, вероятно, коллекционер. Надеваем все это ожерелье эпитетов на него без всякой иронии, которой он ни в каком случае не заслуживает. Смелые и порывистые свои мысли не помешают ему рассматривать всю литературу в микроскоп, и искать козявок на шкуре мастодонта. К известному и, позво- 30 лительно сказать, знаменитому «дневнику» Никитенки он составил указатель: 1) имен и 2) периодических изданий и сборников, о которых говорится на протяжении двух громадных томов. И через это из книги, прекрасной для чтения всякого образованного человека, сделал еще настольную книгу для всяческих

* «Эдгар По, его жизнь и его творчество» (*фр.*).

исторических и литературных справок. Подобные компилятивные работы, не давая славы их авторам, высочайше культурны, ибо лишь с них начинается литература не как случайность гениальных порывов, а как тихая и упорная работа рудокопов, чрезвычайно трудно останавливаемая. Гг. «библиографы» не только не дадут ничему затеряться, все отметят, подчеркнут, но и горой станут за сохранение своих «сокровищ». Это — муравьи-стражи литературного муравейника. Литература высоко культурных народов, итальянского, английского, французского, а уж особенно германского, имеют чудовищные компилятивные работы и издания, облегчающие всякого новичка, приступающего к делу, в труде его и помогающие всякому старичку в сложнейших изысканиях. Отсутствие же таких работ есть первый признак свежести, молодости и некультурности литературы и народа. «Дневник» Никитенки есть одна из лучших образовательных и воспитательных книг в русской литературе, и, наряду с «Записками» Пирогова он должен для каждого русского, в годы между зрелостью и ученьем, стать на несколько месяцев дорогим настольным другом. Равно здесь привлекательны и зритель, т. е. Никитенко, и зрелище, т. е. Россия за самый интересный период ее существования — во всех подробностях будничного, мелочного и вместе громадного бытия своего. Писатель, государственный человек (по складу ума), глубоко религиозный мыслитель, — Никитенко дает спектр цветов от Амьеля до Гизо: богатство редкое и исключительное! Возьму что-нибудь на выдержку:

«1 января 1875 г., среда. Все ложь, все ложь, все ложь в любезном моем отечестве. У нас есть хорошая, восточная православная религия. Но в массе народа господствует грубое суеверие; в высших классах или полный индифферентизм, или неверие под маскою новых идей или научного высокомерия. У нас есть законы; но кто их исполняет из тех, кому выгодно неисполнение их или кто поставлен блюсти за их исполнением? У нас есть наука; но кого она серьезно занимает и кого она настолько возвышает нравственно, чтобы он не был готов пожертвовать ею для так называемых существенных материальных целей? В последнее время у нас появились учреждения с либеральною закваскою; но им предоставлено свободы настолько, насколько угодно это произволу какого-нибудь высшего чиновника, который готов доказать как дважды два четыре, что в этих учреждениях скрывается великое зло для государства и что нужно их так обставить и ограничить, чтобы они сохранили свое имя, но не могли бы делать того, что скрывается под этим именем. У нас множество разных промышленных обществ, ассоциаций, которые обогащают пять или шесть человек, поставленных в их главе, и разоряют тысячи людей. Да можно ли перечислить у нас все противоречия наружного с внутренним».

И, остановившись на внешней военной мощи России, которая одна бесспорна для целой Европы, он говорит печально:

«Но есть еще одно, в чем мы не лжем: это состояние наших нравов. Тут мы не обещаем ничего, а прямо заявляем, что у нас нет общественного духа ни на йоту, тут открыто и неллицемерно мы воруем, пьянствуем, мошенничаем взапуски друг перед другом».

Так говорит наш Тацит; Тацит нашего бюрократического строя. В самом деле, и по положению и по духу у них есть сходство, есть сродство.

А вот чудная жанровая картинка. Ее так и хочется сделать «сюжетом» на литературном чтении; а художник с воображением какой узор соорудил бы на ее канве. Будь я Боккачио и помоложе, — у меня не ускользнул бы этот сюжет. Пользуйтесь же, гг. беллетристы:

«18 июня 1865 г., пятница. Прекрасный летний день, с великолепным теплым дождем. На музыке беседа с Егором Федоровичем Тимковским. Ему 72 года и на службе он 50 лет без малого. Рассказывал много любопытного об отце Иоакимфе Бичурине, с которым я был довольно хорошо знаком. Тимковский выручил его из валаамского заточения, где он пребывал после разжалования его из архимандритов в монахи за его великие пекинские проказы. Нессельроде, по просьбе Тимковского, причислил его к министерству иностранных дел по китайским делам, так как он прекрасно знал китайский язык, проведя в Китае 14 лет, хорошо изучил и самую страну. — „Так как вам хорошо известно все, касающееся отца Иоакимфа, — сказал я Тимковскому, — то скажите, точно ли он вел себя в Китае так дурно? Ведь про него рассказывают ужасы: что он никогда не служил в церкви, что он даже распродал церковную утварь, что он пил и напропалую гулял с китайками в неподобающих местах и пр. и пр.“. — „Да, — отвечал Тимковский, — все это большею частью справедливо. Он был очень даровитый, умный и даже добрый человек, но страшный эпикуреец и гуляка. В духовное звание он попал случайно, будучи побочным (незаконнорожденным) сыном архиепископа или митрополита Амвросия, который и доставил ему звание архимандрита в Иркутске, когда тому было всего 22 года (верно, чтобы замалить грех мамы? В. Р.). По ходатайству того же Амвросия он был определен в китайскую миссию и отсюда-то начинаются пекинские подвиги о. Иоакимфа. На Валааме, будучи лишен сана, он спал, гулял и попивал. Когда бывало, по утрам, к нему зайдет в келью игумен и станет звать его к заутрени, он обыкновенно отвечает ему: «Отец игумен, идите уж лучше одни в церковь, я вот более семи лет не имел на себе этого греха». Потом его часто видели прогуливающимся у Симеония в монашеском подряснике, но в круглой шляпе, с двумя нимфами под руку. Такой был греховодник этот почтенный отец Иоакимф! За стаканом пунша, сидя у меня в Лесном, на даче, он любил рассказывать про разные скандалы пекинские, не скрывая и своего участия в них. Однажды он сильно рассердился на меня, когда я выразил ему сомнение насчет красоты китайских женщин. «Вы судите о них, — ответил он, — по картинкам на чайных ящиках. Это такие красавицы и такого приятного обхождения, что подобных им не найти в Европе». Вообще он питал какую-то страсть к Китаю (очень просто: обручился с ним! Самая крепкая связь. В. Р.) и ко всему китайскому, и свое собственное лицо и бородку как-то ухитрился подделать под китайский лад. Во время войны англичан с китайцами он никак не хотел верить, что первые победили вторых, и постоянно утверждал, что англичане надувают Европу ложными известиями на манер наполеоновских бюллетеней“» (Т. II, стр. 241–242).

Ну, не удивительная ли картинка? И сколько в них трогательного? И добродушия: в Никитенко к Тимковскому, в Тимковском — к отцу Иоакимфу, в отце Иоакимфе — к Китаю. «Каждый за каждого, а Бог за всех». Русский Тацит мне нравится больше римского.

НА ЧТЕНИЯХ Г. БЕРДЯЕВА

В Петербурге, то в зале Тенишевского училища, а то в Университете в заседаниях философского общества, то на «средах» Вяч. И. Иванова — сего «поэта страсти нежной», — Н. А. Бердяев читает эту зиму ряд лекций, посвященных ли-

тературе, философии, мистицизму и религии. Везде, где он обещает быть, залы бывают полны, хотя не переполнены. Лектор читает хорошо, но не отлично. Каждое слово бывает слышно, но нет разрисовки речи настоящего врожденного или многоопытного оратора. Чтения на вечерах г. Иванова — почти частные, в Университете — для избранных; но в Тенишевском училище было вполне публичное. Однако и на этом чтении «для всего Петербурга» нас приятно удивило отсутствие шумящей молодежи, — той молодежи, студентов и курсисток, которые стеной стояли и на лестнице, и в проходах на лекции С. Н. Булгакова о Чехове в том же зале год тому назад. Многим, но не всем известно, что Булгаков и Бердяев были когда-то «кумирами молодежи», — причем Булгаков «оставил штат за собою», а Бердяев... не то оставлен был этим «штатом», не то сам распустил его и вообще разошелся с молодежью. На меня ложится хорошее впечатление от его лекций. Нравится состав слушателей и отношение их к лекции. Что-то не модное, но умное и задумчивое. Нет «подъема нервов», работает тихая мысль. В особенности нет этого шиканья и топанья, которое оглушало меня на лекции С. Н. Булгакова, и временами превращало «ученое чтение» в ученую конюшню.

Бердяев, как и Булгаков, оба составляют крупное и важное течение литературной и общественной жизни, которое хорошо определяется заглавием одной из книг С. Н. Булгакова: «От марксизма к идеализму». Когда-то оба были марксистами. И стали «разочарованными марксистами». Оба сделали шаг от «исторического материализма», т. е. от материалистического истолкования истории и материалистических идеалов в жизни общественной и политической, — к высшим запросам души, ума, совести. Оба расстались с марксизмом, экономизмом, без гнева, без мести, но — нельзя скрыть — с некоторым высокомерием... Кажется, обоих вытолкнуло из лагеря «многокопытных» экономистов то, о чем Некрасов обмолвился вещим словечком:

Бес благородный скуки тайной.

Сделаем комментарий к Некрасову. С «экономистами» весело, здорово, работно, гигиенично; сами они — наиболее здоровая часть населения и интеллигенции. Но... «скучно» с ними и у них, ибо и они сами и все у них — это что-то бескрылое и недалекое. Возвращаюсь к лекциям.

Они не имеют того «энергизма», какой есть во всяком чтении С. Н. Булгакова, натуры бурной и буйной, гипнотизирующей слушателей и срывающей у зала то гиканье и аханье, какое превращает иногда «ученое чтение» в нечто совсем другое. Но чтения Бердяева одухотвореннее, умственно разработаннее, тоньше. Видно, что его натура более пассивная и размышляющая, нежели натура Булгакова, более стремительная, и даже стремительная до удара кулаком по столу (жест, к которому он не раз прибегал). Я все соединяю этих чтецов, так как литературный их путь, «от марксизма к идеализму», в сущности, один, и только они двое так определенно и выпукло идут по нему. Зато менее культурный ум Булгакова более прям и честен: ударить-то он ударит по столу, напугает, но поведет прямо, прямою улищею, без переулочков, без «путанья» и уклончивостей. Пассивная, одухотворенная, эстетическая натура Бердяева, напротив, знает уклонения, путанности, «подпольный мир» философии, морали и, может быть, политики. Бердяев привлекательнее, Булгакову можно более довериться. Чтение

Булгакова слушать не хочется, а когда он кончил, хочется ему пожать руку, сказав: «Хорошо, брат». Бердяева, напротив, дремля или опустив голову, слушаешь, заслушиваешься; мелькают около «средних мыслей» или «обыкновенных мыслей» глубокомысленные афоризмы, интригующие намеки, и вся вообще умственная ткань его узорна, тонка, изящна: а когда он кончил — учтиво поблагодарить его за удовольствие и проститься, сказав: «Вам, Иван Иванович — направо, а мне — налево». С Бердяевым вообще надо говорить «попридерживаясь», слушать его «попридерживаясь» и, словом, все дела с ним иметь «попридерживаясь». Таково впечатление от формы ума его, от стиля его речи, от него en tout *. Ну и что же? Ведь он и не зовет никого быть с собою, а только открыл ряд лекций: это — безусловно интересно. И как любитель умственной культуры, в стороне от шумной политики, я не могу удержаться от приветствия ему, и от указания обществу, что на этих бесшумных, одухотворенных лекциях оно переживет несколько хороших умственных ощущений.

Он порицал шумных политиков и экономистов, приравнивая наиболее «красные» их оттенки, между прочим, к «инквизиторам»... «Красные» дьяволы и «черные» дьяволы одинаково скверно пахнут, одинаково опасны для человечества. Я, однако, делаю ту классификацию: что «красные дьяволы» — с копытами, а черные — с когтями. Интересно, что православие признает существование обоих пород в «пекле»... Далее, мне представляются «копытные» дьяволы сговорчивее, 20
 благодуще, ограниченнее своих «черных» братьев, с которыми решительно нельзя иметь никакого дела. «Копытные» дьяволы, именуемые в науке «социалистами», иногда мне даже представляются простыми «оборотнями»: одев шубу волосами наружу и нося вид чорта — они имеют человеческое нутро, человеческую душу, человеческую ограниченность, человеческую досаду, и вообще наши маленькие и недалекие чувства, маленькие и недалекие мысли, без этой скверной адской метафизики, какая есть у когтистых дьяволов и являет у них печать «пекла». Папу ни поколотить, ни оспорить нельзя, ни назвать его «дураком»; а марксистов всех можно и колотить и ругать, и они это принципиально допускают и навсегда допускают, до скончания века: что же это за «черти»? Да это 30
 «мы» же, наши братья: только мы носим свои, шубы волосами книзу, а они волосами вверх, и от этого кажутся страшными, как мы кажемся более невинными, чем, может быть, есть на деле. С этою частью воззрений Бердяева я решительно не согласен.

МЕЧТА «ТРЕТЬЕГО РИМА»

«Третий Рим» г. Калитина так свеж, так молод по тону и так ко времени пришелся, что, без сомнения, взволновал сердца многих. Но мне слышится за голосом молодого беллетриста-публициста и еще другое: слышится рокот самого моря позади этой плеснувшей на нас соленой волны. Иными словами: не один

* в целом (*фр.*).

г. Калитин, но целое море русское спрашивает о себе, что оно такое, чем ему быть, зачем оно существовало тысячу лет?! Я думаю, «учащаяся русская молодежь», которую не без ее вины начали переименовывать в «не учащуюся молодежь», не вся же и не окончательно погрязла в «неделании», а среди ее много есть задумывающихся, одиночных голов, которые томятся вопросами, так удачно сформулированными г. Калитиным.

«Подняться ли! Подымимся ли?» — об этом чье сердце не ноет.

Подняться, — но как? В братском ли содружестве с другими народами или в гордом отъединении? И на одно и на другое есть намеки у г. Калитина. Но если окончательная его тенденция склоняется к «отъединению», то едва ли стоило ему и за перо братья: так это старо! Ранее его нас «подымал» в этом смысле В. В. Комаров, и не стоило начинать в «Нов. Врем.» речей, которые знакомы из «Света». Конечно, у г. Калитина на уме что-то другое. Тон его речи слишком свеж и молод, и не оставляет сомнения, что он призывает к народной гордости совсем в другом смысле и по другим мотивам и с новыми чаяниями, нежели как это было у прежних археологов-славянофилов. В истории, как и в хозяйстве, только «новая метла хорошо метет».

Но тогда нужно было автору определеннее выразиться: наше «прихвостничество» около других народов — презренно. Но это именно — *наше, у нас*. Сами по себе ни малейше в этом не виновны другие, сильные народы. К ним — полное уважение, осмелюсь сказать: с ними полное содружество, союзность при этом возможном и вместе очень трудном «подъеме» нашем.

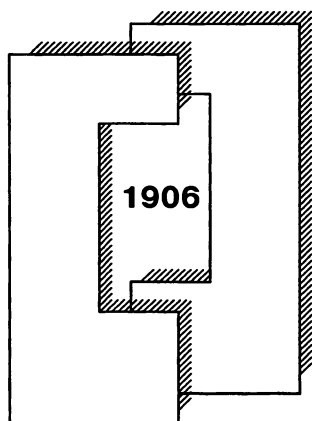
Кто не виновен, того и не вини. Чем же Гумбольдт виноват, что у нас плохие приват-доценты? Чем даже виноваты Бисмарк и Биконсфильд, что на «Маркизовой луже» вели с ними дипломатическую переписку люди, которых они и в писаря к себе не взяли бы. Мы виновны. И — самоосуждай.

Мысль о герое среди русских — вот чем кончает г. Калитин. В эпохи мифические являлись «полубоги», герои, а века исторические возможны только исторические люди. «Уханьем» и «аханьем» ничего не возьмешь. Ничего не подымится на крыльях. А кто будет этого ждать, увидит только ворон. Героические люди требуют для себя и условий героических, а в наше время... все *стало уж определено!* Вот эта «определенность», которая по словопроизводству близка к «пределу», «границе», и подрывает крылья. Нет более ни в которую сторону туманных далей, глубоких лазурей. Весь XIX век, век гигантский, пошел на мелочи, т. е. на тщательнейшую выработку деталей жизни, от машин для рук до механизмов суда и управления. *Ежедневная и всеобщая жизнь* сделала за один XIX век более прогресса, чем европейская история за все XIII—XIV веков до него. Но это — все мелочи. Все — детали. Все духовный и физический комфорт. Среди ткацких машин не родиться более Полифему, а среди «усовершенствованного

40 делопроизводства», положим, в суде не родиться Аристиду или Сократу. Я думаю, когда так много земских начальников, едва полубог захочет подняться на крылатом коне, одна из светлых пуговиц скажет: «куда? конь не подкован! да и паспортов в небесные пространства мы не прописываем», да ведь и не то грех, что он это *скажет*, а в том, что и в правду *остановит*.

«Мокрое полотенце на голову герою», — вот чем разрешится случай, который в героический XVI, XVII, XVIII век мог бы быть прелюдией к Кромвелю, к Франклину.

Но мечта о «герое» все-таки так сладка и даже она единственно поможет в наших грустных обстоятельствах, что не хочу и я ее окончательно расхолаживать соображением о «моком полотенце». Знаете что: давайте пока готовить *путь* герою. Т. е. не считая ворон в небе, не ожидая сейчас и здесь «явления», будем однако начинать «героическую эпоху», т. е. попросту восстанавливать условия возможного героического существования. Тут и маленькие люди могут кое-что поделать. А ведь это — главное. Главное — не загнить, не заплесневеть, а то что же за «герой» среди уснувших и мертвецов. Не с кем воевать. Некого за собой вести.



ПАМЯТИ Н. И. СТОРОЖЕНКО

В понедельник, 16 января, опущено в могилу тело заслуженного проф. Московского университета по кафедре истории всеобщей литературы Н. И. Стороженко. Едва ли есть сколько-нибудь значительный городок в России, с гимназией или прогимназией, где не было бы хотя одного человека, знавшего лич-

но покойного профессора, так как и историки, и классики, а не одни только словесники, слушали его исторические курсы. Вот почему не будет преувеличением сказать, что этого замечательного наставника мысленно проводила в место последнего упокоения вся Россия; в бесчисленных уголках ее кто-нибудь вздохнул о нем, так или иначе подумал, вспомнил что-нибудь особенное, им замеченное. Что касается Москвы, то все сколько-нибудь образованное в ней знало этого ученого, писателя и человека общества.

Первоначальные его работы имели предметом изучение цикла Шекспировского творчества; но затем этому изучению подверглись предшественники Шекспира, особенно Марло и Р. Грин, — наконец, век Шекспира, ученые, посвящавшие ему свои труды, и тут уже входила в предмет обозрения ученая Германия, входил вообще театр, эта живейшая часть литературы, и, наконец, она вся в не-
20 обозримом идейном и художественном своем движении. Так концентрическими кругами расширяясь, из первоначальной специальности выросла плодотворная, разнообразная, всеохватывающая работа на кафедре Ник. Ильича. Кто знает его только по диссертациям и мелким журнальным заметкам, ничего особенно выдающегося не представляющим, тот не может составить никакого представления о степени благотворности его устных курсов, о степени пользы их, об образовательном их значении. Устная речь его складывалась несравненно занимательнее, остроумнее, закругленнее, чем письменная. Он говорил, имея перед собою на лоскутках бумаги только план и едва ли даже конспект предполагаемой к чтению лекции. Поэтому лекции его были систематическою, обдуманною, подготовленною импровизациею, — но именно импровизациею, со всеми преимуществами последней, со всем вдохновением последней. Поминутно, при литературных характеристиках, при характеристиках целых политических эпох, отразившихся на литературе или получивших себе толчок в литературе, у него соскальзывали, может быть незаметно и для самого него, но заметно для слушателя, блестящие остроумия, юмора, психологических освещений. Это сообщало необыкновенную живость и теплоту его чтением. И так как на кафедре сидела все та же задумчивая фигура настоящего ученого, без единой улыбки, которой я у него не видал ни разу, — то эти человеческие и жизненные черты, разбросанные в его лекциях, получали удвоенную цену, удвоенное влияние на слушателя. Точно он вводил в старинное книгохранилище, с тысячами золотящихся корешков переплетов, с инку-
40

набулами в одной зале, с энциклопедистами в другой, с театром в третьей: и все эти книги зашелестели, развернулись, зашептали вошедшей сюда толпе неофи-тов-студентов XIX-го века голосами XIV, XVII, XVIII веков, то манерно лома-ных, то торжественно-напыщенных, то страстных и буйных, то говорили нам, через любимого профессора, Дидро, Руссо, Малерб, Босюэт, незабываемые Пьетро Аретино, Лоренцо Валла, Поджио, Филельфо. 23 года с тех пор прошло, — и все помнишь, почти с той подробностью, как бывало «к экзамену». Это не мало, слишком не мало!!

По лекциям Стороженко лучше всего можно определить, до чего книга не может заменить изустного слушания и, следовательно, до чего никакая степень развития «книжного рынка», возрастания ученой литературы, хотя бы самых высших качеств, не заменяет собою благотворности собственно университетских аудиторий. Весь смысл университета — именно в слушании. Не в науке. И до чего ошибаются те, кто, «записавшись в университет» и внося деньги, проводит время вне его стен и (как нередко бывает) уезжает даже вовсе в провинцию «зашибать копейку» (уроками). Конечно, нужда к чему не нудит. Но, уступая нужде, нужно помнить, что это — горе, и что чтение литографированных лекций или печатных курсов данного профессора есть уже университет «без вкуса, запаха и цветов». Живого-то магнетизма и нет тут. Возразят: что «за магнетизм в науке?! Это — истины и доказательства». Ну, это такая же правда, как и то, что поэзия есть коро-тенькие строчки, оканчивающиеся рифмами. Нет, друзья, и старые и юные, на-ука, когда она есть мудрость и поэзия, когда она есть огонь — именно магнетизм и электричество душ, а намагничиваются им на старых, истертых поколениями лавках аудиторий, где-нибудь присев, за теснотою, на ступеньке кафедр.

В 1878—1882 гг. лекции Н. И. Стороженко превосходно записывались и ли-тографировались. Его курсы по итальянскому и германскому Возрождению и по французской литературе XVIII века я с наслаждением (а не с одной пользой) пере-читывал по окончании курса в университете; давал их для прочтения товари-щам по службе. К сожалению, уже здесь, в Петербурге, они кем-то в последние 5—6 лет «зачитались» (пропали в чтении). У многих, однако, они, без сомнения, хранятся в целости. В Москве есть много бывших слушателей Ник. Ил. с положи-нием, средствами и влиянием. Нужно непременно теперь же приступить к напе-чатанию его курсов, которые обнимут очень значительную часть всемирной лите-ратуры, именно интереснейшие ее эпохи. Я, по крайней мере, ни оригинальных русских, ни переводных книг по западным литературам не читал столь интерес-ных и оживленных, как лекции покойного. Издание их есть дело серьезное, и к не-му нужно приступить немедленно, стойко и аккуратно.

Не помню никогда ни одного отзыва, ни одного слова о Ник. Ил., сказанного с мелочью, раздражением или злобою. И это показывает, что истинный профес-сор всегда найдет в русских студентах настоящую оценку. Между тем Сторожен-ко не только никогда не «зайскивал» у студентов, — но в статье, посвященной его памяти, как-то даже грустно произносить это пошлое слово. Мне лично все-гда казалось, что Ник. Ил. мало замечал студентов, что он до того любил свое дело, любил науку и университет, что наши мало сведущие головы — еще не-осмысленные лица — представлялись ему мало фигурными. Он не был строг (на экзаменах), но снисходителен или очень снисходителен тоже никогда не был. Никому не «мирволил», никогда не «потакал». Просто вел дело «как следует».

«Поощрять» или «приневоливать» студентов он тоже ни к чему не поощрял и не приневоливал. Мне думается, это казалось ему недостойным потому, что науку в интересах ее и себя самого, как человека, безусловно науке служащего, он считал неизмеримо выше и значущее, чем вот, положим, слушатели 78—82 годов. Он читал и *будет* читать, мы все пришли и *уйдем*; конечно, профессор неизмеримо значительнее своей аудитории, людей только с «обещаниями» и «возможностями», а может быть, и пустоцвета, тогда как он (если сознает себя достойным профессором) есть уже данное, достигнутое, есть реальный фактор научного образования в целой стране. Поэтому он именно давал себя слушать, давал желающим возможность заниматься около себя, получать от него советы или указания. Но ничего больше. Не могу передать, до чего это нравилось студентам; до чего нравилось, что они стояли на втором плане, после науки и после университета.

Как человек общества и науки, он был и человеком свободы, т. е. защитником свободной науки и свободного преподавания, в частности — автономии университетской. Но без всякой нервности и торопливости. Мне кажется, т. е. он давал чувствовать всем своим поведением, что смотрит на свободу как на условие порядочности порядочного человека, о которой так же нет споров, как об употреблении мыла при умывании или о здорованьи при встрече. Где прекращалась свобода мысли, слова, просвещения, общественной жизни, начиналась область неприличия, с желанием сказать: «Откройте форточку, дурно пахнет», и без всякой дальнейшей философии. Он не умел доказывать эти вещи, едва ли бы сумел бороться против увлечения. Он просто от нее заболел бы и умер, если б ему встретилось что-нибудь подобное в жизни или при преподавании. И все это отношение, вся сумма его сообщала еще больше достоинства его духовной фигуре, всегда живой и человечной, никогда не нервной и не ажитированной.

Если бы в его могилу или на его могилу сложить все лепестки роз, какие — может быть, и для себя незаметно — он оставил в сердцах своих бесчисленных слушателей, поднялся бы большой холм. Не умеем лучше выразить, как сравнением с этим цветком любви, впечатление от его лекций, столь серьезных по тону произнесения и содержания, и столь душистых по колориту изложения, по таланту изложения.

Пусть еще и еще приходят в Московский университет такие наставники. Тогда не оскудеет он и слушателями, и останется первую звездою на русском умственном небосклоне. А тебе, добрый и милый наставник, вечная память среди живых и радостный отдых... «в Елисейских полях». Профессор был немножко «гуманистом» во вкусе XVI века и позволю себе кончить этим пожеланием более во вкусе Монтеня, нежели Симеона Полоцкого.

ПАМЯТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

(28 января 1881 — 1906 гг.)

40 Вот бы в наши дни издаваться «Дневнику писателя» Достоевского. Уже четверть века назад, в эпоху несравненно тишайшую, он смог сделать, что выход почти каждого номера этого «Дневника» получал значение общественного, литера-

турного и психологического события. Некоторые его рассуждения, как о католичестве и папстве, о еврейском вопросе, о русской народности и русской вере — не забыты и не могут быть забыты, они стали частью убеждений огромной части русского общества. Другие «Дневники», как с речью о Пушкине, с рассказами «Кроткая», «Сон смешного человека», «Мальчик у Христа на елке» суть жемчужины вообще нашей словесности. Достоевский писал иногда запутанно, темно, трудно, болезненно, почти всегда неправильно, хаотично: но остается вне споров, что когда он входил в «пафос», попадалась ему надлежащая тема и сам он был в нужном настроении, то он достигал такой красоты и силы удара, производил такое глубокое впечатление и произносил такие незабываемые слова, как это не удавалось ни одному из русских писателей; и имя «пророка» к нему одному относится в нашей литературе, если оно — вообще приложимо или прилагается к обыкновенному человеку. Впрочем — может прилагаться: «пророк», по-еврейски «наби», значит просто — одушевленный, вдохновенный, патетический. Ведь были и языческие пророчества и пророчицы — Сивиллы, «сивиллины книги». Мы вполне можем сказать, что в XIX веке, среди пара и электричества, около граммофонов, милитаризма и банков счастливая судьба дала в лице Достоевского русскому народу кусочек «священной литературы», дала новую «сивиллину книгу», без уподоблений и аллегорий, в подлинном и настоящем виде, как неко- 10
торое в самом деле «ἱερός λόγος» *.

Кажется, не только у нас, русских, но и во Франции, Германии, всюду, где он читается и известен, есть молчаливое согласие видеть здесь центр его интереса и значительности, новизны и оригинальности. Как многие превосходили его в качестве романистов, публицистика его имеет свои недостатки; целые отделы его мышления, как о том же католичестве, еврействе, русском народе и русской вере, — более сомнительны теперь, чем когда произносились, и даже для многих совсем не верны. Ведь и «пророки» иногда ошибались. Пророчество есть именно только пафос, высшее воодушевление: но принятое людьми за «священное» по крайней серьезности своего тона, по величию тем и предметов, каких коснулось, по изумительной, исключительной искренности, где «умерло все суетное». 30
Бесспорно, на множестве своих страниц Достоевский вовсе выходил из рамок литератора и литературы, был вовсе и не романистом и не журналистом, оставаясь по виду им. Укажем на шаблонное: ну, как в «романе» писать главы: «О аде и адском огне; рассуждение мистическое», «Можно ли быть судьей себе подобных? О вере до конца», «О молитве, о любви и о соприкосновении мірам иным», «Нечто о господах и слугах и о том, возможно ли господам и слугам стать взаимно по духу братьями». Да это — рассуждения Кирилла Туровского, Иосифа Волоколамского, это — темы, о которых любил рассуждать Иоанн Грозный с монахами, приезжая «отдохнуть от политики» в Кирилло-Белозерский монастырь. Между тем все это появилось в 1880 г., в журнале «Русский Вестник» редакции Каткова. 40
Как странно звучит около этих тем самое название: «редакция», «журнал». Но мы указали только на шаблон, на темы в романе: но не только в этих «Братьях Карамазовых», но и во всех более ранних произведениях Достоевского, особенно в «Подростке» и «Бесах», попадаются страницы до того нового и исключительного тона, что им бы место, казалось, в палате душевнобольных: но они до

* священное слово (*грег.*).

того трогают и потрясают душу, до того нравственны и религиозны, правдивы и всякой душе нужны, что мы перед «палатой умалишенных» останавливаемся и относим их в другую совсем сторону: «священные страницы», «святое слово». Очень рациональным и уравновешенным людям ведь и страницы подлинных пророков тоже кажутся иногда «только неуравновешенною, аномальною словесностью».

Я заговорил о том, как зашумели бы сейчас нумера «Дневника писателя», живи Достоевский в наши смутные, тревожные, чреватые будущим дни. Вот кто сказал бы нужное слово, какого сейчас мы в литературе не имеем. Момент истории до такой степени исключительный по значительности, можно сказать, перелом всей русской истории, — имеет отражения себя в литературе и не имеет руководителей себе в литературе, подлинных наставников, вождей. Все голоса слабы; даже таланты суть таланты литературные, блестящие излагатели блестящих и колеблющихся мыслей, которые не могут никак получить авторитета именно оттого, что они не жизненны, не поднялись из тех глубин души народной или общественной, где начинается грозная правда, где уже слышится не «литература», а «дело». «Пророческий» характер Достоевского происходил именно от глубочайшей его преданности «делу», существу русской жизни, судьбам истории его под углом созерцания вечности. Он никогда не служил минуте и партии, заботился не о впечатлении от такого-то нумера «Дневника», но о том, чтобы сказать в «ближайшем нумере» вечное слово, уже годы тоскливо носимое им в душе. И такого слушали. Могли ли такого не слушать? Все мы лучше, чем кажемся: по наружности все принадлежим партиям, отвечаем на события; а в глубине всем нам хочется высшего, окончательного, не переменного! Есть «пророчество» активное: но и у слушателей, читателей, у мириад людей и в конце концов у народа, общества есть другое, пассивное и тихое «пророчество» же в душе, по которому оно никак не может удовлетвориться мишурою, колебаниями, хотя за неимением иного — следует и этому. Следует, и остановится, и пойдет назад: пока не найдет окончательного!

Наше время, время наступающего конституционализма и парламентаризма, собственно, отрицает и упраздняет все мечты о «своей почве» Достоевского, мечты его молодой еще деятельности, связанной с «Временем» и «Эпохою», и пронесенные до могилы. Достоевский выступил и в обществе и в литературе сторонником «почвы», «почвенности», по каковым терминам его и друзей его современники осмеивали под именем «почвенников». Это — другое имя славянофилов и славянофильства, более, пожалуй, конкретное и жизненное, менее кабинетное и отвлеченно-философское. В самом деле Россия есть «почва», из которой произрастают «свои травы». Так в Англии, Германии, Франции, так всюду: так «должно быть» и в России. В теории, казалось бы, неопровержимо. Но, во-первых, кто на этой «почве» не сеял? Сеял византиец-монах, сеял татарин-хан, сеяли немецкие чиновники со времен Петра, сеяли Бюхнеры и Молешотты во время самого Достоевского. И все посеянное — всходило. От ханов (в союзе с ними) и по образцу ханов вырос «Московский Великий Князь» и «Царь Московский» — и к этому Достоевский относится почтительно и любовно: хотя почему это «туземное» и что тут «туземного»? От грека-монаха заимствовал много сам Достоевский, ну почти переписав только хоть это рассуждение «О аде и адском огне; рассуждение мистическое». И все это — не русское. «Почвенное» со-

брал у нас только Даль, в «Пословицах русского народа», в «Толковом словаре великорусского языка». Но на этих «материалах» Даля политики не построишь. А нужно русскому человеку строить. Нельзя жить без дома, усадьбы, хозяйства, нельзя жить в пустыне, где раздаются «великорусские говоры» и произносятся велемудрые пословицы и этнографические прибаутки. «Почва» и у нас, как было это еще более в Англии (кельты, англосаксы, норманны), в Испании, в Германии, в Италии — везде есть ряд наслоений, везде есть ряд «перегноев», т. е. умерших и разложившихся организмов, которые служат просто туком, откуда растем и выросли вот — *мы*. Да, *мы* с царственными правами новгородцев, призвавших Рюрика и норманнов, с царственными правами киевлян, позвавших греков и православие, москвичей — черпавших у азиатчины. Да и забыл Достоевский притчу о совете Христа: всегда вытаскивать овцу из ямы, всегда лечить больного, даже и «в субботу». Достоевский из «почвы» сделал свою «субботу», славянофильскую: которую решились нарушить «западники», нарушить школою, законом, судом, администрацией, крича: «Подавайте хоть с Запада, хоть из пекла адского, откуда угодно, но подавайте. 2-е тысячелетие сидим без грамоты, без учения, без лечения, окруженные тунейдцами, казнокрадами и алкоголиками». Нет, тут вовсе и окончательно был неправ Достоевский. К нашему времени это стало очевидно до азбучности.

Все народы творили без «почвы», т. е. не принимая ее во внимание сознательно, преднамеренно, по «программе», но выходила отличнейшая «почва», «перегной» из этого смелого и свободного труда каждого поколения только как будто *для себя*. Мы таких ломок, как Италия или Англия, не знали. Россия собственно страшно засиделась и застоилась. В стороне от громадных всемирно-исторических движений, она ни разу не была вовлечена в поток их, где ломались народности и веры, «переменялось все до основания».

«Мало сеяли» — одно можно сказать; «не тяжел был плуг, мало глубины почвы забрал» — вот и только.

«Почва, — говорил Достоевский, — народ, племя, своя кровь и традиция». Известно, что он считается у нас в литературе таким «истинным христианином», как никакой другой писатель; и еще в ученические почти годы, т. е. самые легкие в религиозном отношении, у него навертывались слезы на глаза, когда кто-нибудь неосторожно выражался об И. Христе. Между тем кто же основал «царство вне крови и племени», иерархию и систему духовных последовательностей и отношений, которая именуется «церковью», и самая коренная и самая индивидуально-характеризующая особенность которой и лежит в бескровности, бесплотности, в том, что оно «без родственников и соседей», «без отца, без матери», без «детей и внуков», в гранях чего жили и живут все без исключения языческие царства, народы, эти «12 колен Израиля», «12 фратрий Аттики», эти «трибы» Лациума, и до сих пор еще японцы и китайцы. Не нужно жертвоприношений «животных», т. е. «жизни», «биологии», у человека — его этнографии и племени: вот существенная новизна Евангелия, вот откуда пошел поворот новой истории, «новое благовестие», «другой завет с Богом», другая религия и летоисчисление. Остается непостижимым, каким образом «такой христианин», как Достоевский, стоял, можно сказать, всем главным станом своих убеждений («почва», «почвенность», «почвенники») вне христианства и даже против главной Христовой мысли, стоял, глубоко уйдя ногами в языческую почву и даже именно

ее-то и провозглашая «нашей русской верой», «православием», которое призвано сокрушить «сатанинскую» главу католицизма: тогда как бесспорно этот католицизм своею вненародностью и сверхнародностью, своею отвлеченностью и универсализмом, борьбою против «галикализма» и всяких «кириллиц» и «глаголиц» точно и просто последовал указанию Христа: «Отрясите прах Иерусалима от ног своих», «идите к язычникам»: — «И кто не возненавидит отца и мать свою, и братьев, и сестер, даже и самую жизнь свою — не может быть Моим учеником».

10 Удивительная аберрация мирозерцания: всю жизнь работать в направлении двух убеждений; не замечая, что «предки», что «деды» этих убеждений умертвили один другого и завещали всегда потомков этого другого ненавидеть и гнать. Начало «крови», «родства», «почвы» — это язычество; универсализм, духовность, идеализм, «общечеловечность» ну хоть наших доморощенных Фохтов и Молешоттов — это и есть «опьяняющее духовное царство» наших хлыстов, только все грубо и резко выразивших, но выразивших точную мысль Христа, которая повторяется и у католиков, и у протестантских пасторов, идущих в Африку и Китай проповедывать евангелие, и у всех решительно «истинных христиан».

* * *

20 Сочинения Достоевского до сих пор еще не имеют научного издания. Никто не притрагивался к архиву его рукописей, хранящихся частью в Историческом музее в Москве, частью у его вдовы. Между тем в 1-м издании 1882 г. (до сих пор лучшем) в 1-м томе, где напечатаны «Воспоминания» о нем и письма его, — среди последних есть несколько чрезвычайно важных идейно. Как известно, теперь выходит новое «Полное собрание» его сочинений, — и мы слышали, что там будут помещены чрезвычайно важные отрывки из романа «Бесы», которые остались в черновике и не вошли в печатный текст романа, являя, однако, собою ценное целое. Невероятно, чтобы человек, так напряженно работавший мыслью всю жизнь, не оставил если не множество, то многих важных заметок на клочках бумаги. Хотя, судя по одному автобиографическому месту в «Униженных и оскорбленных», — может быть, здесь поиски не будут особенно успешны. Вот это признание (в самом начале романа): «Не странно ли, что я всегда гораздо более любил *обдумывать* свои произведения, нежели писать их». Черта почти физиологически-«пророческая». Давит мысль: и хочется ее сказать, счастлив сказать, а написать?.. не очень хочется. Это импровизатор (как у Пушкина в «Египетских ночах»), проповедник, и гораздо менее писатель. Недаром техника письма у Достоевского почти везде несовершенна, запутанна, трудна: и достигает великой силы и красоты там, где он собственно не пишет, а *говорит*, проповедует, произносит (от чьего-нибудь лица) речь. Таковы монологи в несколько глав Ивана Карамазова, исповедь-монолог Версилова (в «Подростке»), единственный монолог, 40 в форме которого вылилось цельное произведение, одно из лучших у Достоевского — «Сон смешного человека». Эти «монологи», «излияния», бывшие лучшею частью, самую сильную и красивую, и во всех предыдущих произведениях Достоевского, — естественно закончились «Дневником писателя», т. е. монологом самого автора. Многие пытались повторять эту форму, не замечая, до чего

она есть форма лично Достоевского, связана с особенностями его индивидуальности и хороша была только при них. Но мы хорошо понимаем, что от «монолог-дневника» уже только один шаг до прозелитизма, «пророчества», как равно, впрочем, и до «Записок сумасшедшего», тоже роковым образом вылившихся в форму «дневника».

* * *

Достоевского везде читают как романиста, мыслителя, психолога. Но неустанно его цитируют и комментируют малейшие его строчечки и словечки в литературном лагере, именуемом «декадентами», «символистами» и проч. Вообще здесь он интимно, кровно привился. Есть обширные разборы отдельных им выведенных лиц, напр. Кириллова (из «Бесов»). Почему это? Откуда это? Причин так много, что не знаешь, с которой начать. Если, напр., взять все 14 томов его «Сочинений», то увидим, что они все проникнуты тоном чего-то «прощающегося», оканчивающего, отъезжающего куда-то; тон как бы господина, сводящего последние расчеты с хозяином и выезжающего с квартиры. Этот тон «прощания» — везде у него. Достоевский относился ко всей нашей цивилизации, как Иона к Ниневии, ожидавший, что «вот ее попалит Господь». Совершенно серьезно, с грустью, тоскою, но и с неодолимым, чуть не врожденным желанием, доходящим уже до чего-то злого, он видел и чувствовал глубокую конечность, окончательность, «подведение итогов» всей вообще европейской истории. Опять он тут не связал тех истин, что ведь «европейская история» есть только «история христианства», ибо ни христианства нет вне орбиты Европы, как цивилизации, ни Европы нет иначе как с душою христианскою: и что ожидать «конца Европы» значит только ожидать «конца христианства», и, определеннее, — «разрушения всех христианских церквей». Но церкви он безмерно любил, христианство безмерно любил, а Европе ждал и немного жаждал разрушения. Но тут менее важна программа и публицистика, но чрезвычайно важна психология, вот этот тон «прощания», «ухода». Все очень здоровое, нормальное, все идущее «в рост» и крепко надеющееся не привязывало к себе Достоевского, было чуть-чуть враждебно ему, а главное — скучно, незанимательно. Он и монастыри, и «русского инока» (целая глава об этом) оттого любил, что уже все это было археология и «мощи». «Мощи» он любил, как и развалины красивой Венеции. Любил вообще «могилы», и в качестве «дорогих могил» любил безмерно и Европу, ненавидя в то же время ее как она стояла перед ним, живая и сильная. Всего крепко стоящего на ногах он вообще не любил, а все падающее не только заставляло его бежать к себе острым чувством пробуждаемого сострадания, но и интересом падения, падающего и умирающего. Тут его ночные зрачки расширялись, дыхание утороплялось, сердце сильно билось, душа, ум, интерес болезненно напрягались и он слушал, изучал, любил. Не знаю, как это связать с «почвою»... «Уверяю вас, что лик мира сего мне и самому довольно не нравится», — сказал он своим литературным противникам «либералам», выпуская 1-й номер «Дневника». «И да будет она проклята, эта ваша цивилизация», — повторил он по поводу защиты турок в английских газетах. Так обще, в этих обширных скобках, все-таки не говорил ни один публицист. Но важнее, чем эти вырвавшиеся афоризмы, одна

строчка, которую можно было бы поставить эпиграфом ко всем 14-ти томам его сочинений. В тягучем, тоскливом рассуждении, перебирая мелочи политики, и все сгущая и сгущая грусть, он сказал, как бы сквозь слезы, с глубоким предвидением, предчувствием: «преходит лик мiра сего», т. е. как бы преобразается, мiр, точно «линяя», сбрасывает старую шкурку, а новое... еще все в зародыше, ничего нет, да может быть, «животное-человек» и не переживет метаморфозы, умерев в судорогах. У него это страшно сказалось. Жалел этого он? Хотел? Он шел к этому, и уже шел как сомнамбула, неотвратимо, твердо, точно «завороженный луною». Тороплюсь окончить. И вот этот главный тон его сочинений, самый для него интимный, конечно, не мог быть воспринят здоровыми работниками русской земли, «почвенниками», прогрессистами и либералами (они-то, конечно, и суть «почвенники»), а нервно, чутко и страстно воспринялся «больными декадентами», по ощущению которых тоже «все кончается» и «чем скорее, тем лучше». Ночные птицы перекликнулись с ночными. «Декадентам» нашим только рассудительности недостает и полное на их «нивах» отсутствие гения: но «нивы» эти во многом занимательны. Все эти люди психологичны, нервны, возбуждены (какая масса точек соприкосновения с Достоевским). Все они как-то не крепки в быту, неустойчивы в «бытовых формах» своих «предков». Почти знаменитейший из декадентов, Добролюбов, слышно, ходит где-то странником, с посохом и крестом, по Уральским заводам и острогам, проповедуя что-то среднее или что-то «вместе» из Апокалипсиса и «братстве во Христе всех рабочих». А был, лет 10 назад, баричем и белоручкой. Это очень похоже на Власа в любовном истолковании Достоевского: и хоть бы самому Федору Михайловичу такой эпизод биографии очень шел! Бездна персонажей у Достоевского уже прямые «декаденты», люди вне быта и истории, толкующие об Апокалипсисе и ждущие конца света. Все это очерчивая, я, к несчастью, имею шуточный тон, но у меня есть та серьезная и страшно настойчивая мысль, что Достоевский был единственным у нас гением декадентства, у которого это «декадентство», патология, «пророчество», аномальность, внеисторичность проникает решительно каждую строчку, каждый сгиб мысли, всякое движение сердца: но у него все гигантски, все в уровень со смыслом и задачами века; а у «последующих» тоже декадентов все рассыпалось дробью, стало мелочно, часто не умно, сохранило часто только манеру кривляться — столь натуральную, врожденную у Достоевского, как и у святых их «юродивость». Но все главные черты Достоевского встречаются и у «декадентов»: только у него все это большое, величественное, поражающее, наконец очаровывающее и влекущее, а у них все — в «микрокосме». Этим я не хочу сказать одного только порицания «декадентам», совсем напротив. Уровень сил, дара уделен нам Богом. Но ведь совершенно очевидно, что Достоевский имеет место в истории, место нужное, которого никто другой занять не мог бы, место, наконец, благотворное для людей и нравственно многим необходимым. Достоевский вызвал слезы и такие движения души, каких никто не умел вызывать. «Сивилла» и «пророчество» — это о нем можно сказать без аллегории, как прямую правду, как правду трезвую. Неудивительно ли это для XIX века и холодной, похолодевшей нашей цивилизации? В ней он не только страшно нужен, но, быть может, нужнее всякого другого литератора и, следовательно, его «стиль» может быть нужнее всякой другой формы литературности. Если же целая школа литературы у нас бьется в каких-то бессильных потугах, но в том же «стиле», в сущности

с теми же позывами, целями, имея ту же психологию: то самое бытие ее глубоко оправдано и только вопрос за гением. Но это уже у Бога, и всегда можно верить, что Провидение устроит историю именно через «прибавку дара» или «убавку дара» у тех течений, в тех местах и тех временах, какие, воспребладав или павши, и дадут, и должны дать нужный узор истории.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС У ДОСТОЕВСКОГО

(К 25-летию его кончины)

I

Обычай и привычка «юбилеев» не так смешна и не так нужна, как об этом писал когда-то Катков. Великий московский публицист мог бы припомнить, что «юбилеи» установлены еще ветхозаветным Иеговою: Тем «творцом мира», Который определил и определял только нужные столпы созданного Им миропорядка. В самом деле, дни 10-го, 25-го, 50-го, 100-го года — это всего только четыре дня в столетии: и во что можно оценить привычку или закон, по которому вся страна и разом оглянется на какое-нибудь одно важное событие в прошлом или на единое великое лицо своей истории, припомнит его, подумает о нем. Здесь содержится не только память прошлого, но нечто гораздо большее. Нация или страна сливается, вспоминая об этом одном как о «своем» и «общем». Но и затем, через 25, 50 и 100 лет она непременно подумает: как же она воспользовалась, во что употребила это лицо или событие, что сделала с ним в смысле продолжения, как поняла его. Это большие, многомилые столбы общественного движения: и последнему нужны эти оглядывания, чтобы знать, много ли оно прошло, и чтобы иметь бодрость идти далее. Без «верстовых столбов» идти и ехать скучно; это всеми замечено. Поэтому они и ставятся. Как же бы Бог не указал человеку: «ставьте эти столбы в своем пути-истории».

Удивительно, до чего до сих пор жив и ярок Достоевский. Споры в его романах, разные философские и религиозные темы, там поднятые, странные персонажи его произведений, от Макара Девушкина в «Бедных людях» до семьи Карамазовых, даже вводные третьестепенные лица там, вроде следователя Порфирия и студента Разумихина в «Преступлении и наказании», — все держится в памяти с такою свежестью красок и индивидуализмом выражения, как бы эти произведения мы читали прошлым месяцем и не остыли еще горячие споры, возбужденные ими. Даже этюды «Войны и мира» и «Анны Карениной» не помнятся так ярко, а Достоевский 25 лет уже умер! Между тем, был ли человек в нашей литературе, который до такой степени и без остатка бросал бы сердце свое в самое «пекло дня». Минуте своего года и даже-вот этого месяца он отдавался весь: помните его рассуждения о «мнении легионов» по поводу заговора бонапартистов, о Пии IX и Бисмарке, о судебных процессах в петербургском окружном суде. Точно репортер, несущий читателю «последние известия». Да, но для репортера

и «эти» и «не эти» известия все суть равно внешние и нешумные. Великая странность и сила Достоевского заключалась в том, что он, например, вот «в последнем деле в окружном суде» усматривал самую «душу мира» (любимое понятие Соловьёва), нащупывал пульс мировых течений, всегда психико-метафизических, и таким жадным глазом всматривался в «мелочи времени», что все дошло целиком до нас, и «потроха» тех 77—81 года, и освещение, им данное. И вот «служитель минуты» сделался или обещает сделаться учителем веков. Вспомнишь вечное Спасителево слово: «И кто бережет душу свою, — потеряет ее; а кто потеряет, — сбережет ее». Один есть секрет вечности и любви потомков: отдать современникам все, до нищеты, до голизны, ничего не сберегая «для себя», «своей славы» и «своего имени». И уж такого безыменного Лазаря похоронит Господь, т. е. и даст ему могилку, и уберет ее, покрыв забвением самолюбивые мавзолеи людей, которые всю жизнь строят себе «будущую память». Ну, кому нужны теперь 10 томов in quarto правильных поэм и трагедий, написанных в подражание и параллель Виргилию и Корнелию «тайным советником Херасковым».

Мне хочется остановиться из всей необозримой панорамы, охватываемой словом «Достоевский», остановиться на этой одной черте его — ежедневности. И хочется, чтобы слова мои о «вечности», проистекшей из «ежедневности», были убедительны. В 1877 году появилась «Анна Каренина»: тут и царскосельские скачки, и знаменитая сердечная драма героини, вопрос о семье и детях, религии и Боге. Но Достоевский остановился не на этих чертах, занявших все общество. В февральском номере «Дневника писателя» он цитирует место, которое с особенным замирианием сердца будет прочитано сейчас в Москве, 28 января 1906 года, через 29 лет:

— Но всякое приобретение, не соответственное положенному труду, — не честно, — говорит Левин.

— Да кто же определит соответствие? — возразил Облонский. — Ты не определил черты между честным и бесчестным трудом. То, что я получаю жалованья больше, чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело, — это бесчестно?

Помещики разговаривают ночью, лежа на сеновале, у крестьянина, во время охоты.

— Ну, так я тебе скажу. То, что ты получишь за свой труд в хозяйстве лишних, положим, пять тысяч, а этот мужик, как бы он ни трудился, не получит больше пятидесяти рублей, точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше столоначальника...

— Нет, позволь, — продолжает Левин. — Ты говоришь, что несправедливо, что я получу пять тысяч, а мужик пятьдесят рублей: это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но...

— Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему своего имения, — сказал Степан Аркадьевич, как будто нарочно задиравший Левина...

— Я не отдаю, потому что никто этого от меня не требует, и если б я хотел, то мне нельзя отдать... и некому.

— Отдай этому мужику, он не откажется.

— Да, но как же я ему отдам? Поеду с ним и совершу купчую?

— Я не знаю. Но если ты убежден, что ты не имеешь права...

— Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть обязанности и к земле, и к семье.

— Нет, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так?..

— Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мною и им.

— Нет, уж извини, это парадокс... Так-то, мой друг. Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, *как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием* (курсив здесь и ниже Достоевского).

— Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, — *по крайней мере, я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват.* 10

Не правда ли, слова эти с биением сердца прочтутся всеми москвичами, ибо в журналистике 1905 года не было ничего сказано столь глубокого и вместе столь отвечающего на тему истекшего года, как эти, 29 лет назад сказанные, слова! О, если бы в эти 29 лет русское общество, русская администрация, русское законодательство и, словом, «русский смысл» и «русская душа» поработали над этими словами: не застали бы нас врасплох и растерянными события этого года, да и самых событий, наверное, не было бы в их черных и скорбных и кровавых чертах, а все, подготовившись и совершаясь медленно, расплылось бы в белые и голубые тоны. 20

Приведя разговор, Достоевский замечает, что «лет 40 назад все эти мысли и в Европе-то едва начинались, а у нас о них знали понаслышке лишь полсотни людей в целой России. И вдруг теперь толкуют об этих вопросах помещики на охоте, на ночлеге в крестьянской риге, и толкуют характернейшим и компетентнейшим образом, так что, по крайней мере, отрицательная сторона вопроса уже решена и подписана ими бесповоротно». Нельзя не заметить, что гр. Толстой, никогда не подходя к экономическому вопросу вплотную, не отдаваясь ему всецело и безраздельно, однако, в каждом своем произведении побочным образом тревожил, бередил его. Это было уже в «Войне и мире», в небольшом диалоге, полном взаимных недоразумений между княжною Марией Болконскою и толпою мужиков, вошедших при вторжении Наполеона к своей барыне и барышне заявить притязания на помещичьи земли. Толстого каждый читал, все круги общества, и его литературная деятельность сделала то, что экономические, и в частности земельные, вопросы вошли в обиход умственной жизни России с такой же простотой, ясностью и вместе неотложностью, как, например, споры о «классицизме и романтизме» в 20-х годах XIX в. или о реальном и идеальном искусстве в 50-е и 60-е. Достоевский и удивляется в разборе, что об этом спорят не профессора университета, не специалисты по политической экономии, а дворяне, почти богачи и члены Английского клуба, «и так компетентно, как же и профессора». Но и он сам, романист и публицист, психолог и метафизик, отдает этому же вопросу несколько пламенных страниц. «Характерная русская черта», — говорит он. А мы добавим, что, если бы эта «характерная русская черта» была сколько-нибудь распространена в русском межеумочном чиновничестве, и не европейском по образованию, не русском по складу ума и сердца, мы не переживали бы того, что пережили, да и вообще весь колорит нашей жизни и вся наша историческая судьба была бы другая. 40

Стиву Облонского; излишне сгущая краски, он называет, именно за суждения, выраженные в этой беседе с Левиным, «циником и цыганом». Он уподобляет его приблизительно тому, что сам дал, года два спустя, в Федоре Павловиче Карамазове. Конечно, это — совершенно не так, и между Карамазовым и Облонским пропасть. Но он определенно называет его циником, для которого личное наслаждение есть высшее правило жизни, как для римских эпикурейцев времен упадка, и который мысленно говорит: «Après moi le déluge» *. Формально, конечно, Достоевский прав, но ведь и младенец с той же прямою и непосредственностью и неудержимостью сосет сахар и хватает всякие лакомства, как эпикуреец, да ребенок и в точности есть эпикуреец и никакого «долга» и «совести» не знает со своими крошечными зубками, но ради этого делать на него те окрики, какие делает Достоевский в сторону Облонского, это — все равно, как если бы начать приговаривать к гильотине равно старых французских маркизов конца XVIII века и грудных детей за «одинаково сластолюбивый образ жизни». Достоевский говорит:

«Решает насчет справедливости этих новых идей такой человек, который за них, т. е. за счастье пролетария, бедняка, сам не даст ни гроша; напротив, при случае сам оберет его, как липку. Но с легким сердцем и с веселостью каламбуриста он разом подписывает крах всей истории человечества и объявляет настоящий строй его верхом абсурда: „Я, дескать, с этим совершенно согласен“. Заметьте, что вот эти-то Стивы (Облонский) всегда со всем этим первые согласны. Одной чертой он осудил весь христианский порядок (?), личность (?), семейство (?), — о, это ему ничего не стоит». И, приведя подчеркнутые заключительные слова его о пользовании «несправедливым порядком вещей в свое удовольствие», Достоевский продолжает: «Вот он, подписав, в сущности, приговор всей России и осудив ее, ровно как своей семье, будущности детей своих, прямо объявляет, что это до него не касается: я, дескать, сознаю, что я — подлец, но останусь подлецом в свое удовольствие. Après moi le déluge».

Конечно, все это неосновательно, несправедливо. Стива — добрый, распушенный ребенок, ни в ком из читателей «Анны Карениной» не возбудивший негодования, кроме Достоевского. Дело тут шире, глубже, — гибче и не так безнадежно, как представилось Достоевскому. Русские, действительно, имеют какую-то прямомоту ума, схватывающую разом очень обширные концепции (Достоевский, в пропущенных частях критики, жалуется, что Облонский только вчера начал «болтать» об этих вещах, что он «без науки и подготовки»). Стива просто и прямо говорит: «Порядок несправедлив». Но он человек толпы, и пока толпа остается пассивною, — и он остается пассивным. «Пьет, ест, веселится»: потому что решительно нечего и делать человеку средних способностей без призвания и таланта, словом, — посредственности в огромном лагере людей, только «пьющих, едящих и веселящихся». Увы, и Достоевский носил пиджак или сюртук, хотя красивее тога или хитон. Но Стива именно не умник, в нем нет жестокости и беспощадного эгоизма: и двинется все — он двинется со всеми, без цепкости к своему родовому имуществу. Громадный стан дворянства, всех людей, «имевших семью и детей» (замечание Достоевского, очень опасное), так и отнесся к крестьянской реформе в 1861 г. Они не торопились никому и ничего отдавать. Но когда всем

* «После меня хоть потоп» (фр.).

пришлось отдать, и отдали спокойно, без борьбы, без сопротивления, без интриги (кроме немногих единиц). В настоящее время, когда деревня вновь заявила о страшном земельном голоде, опять же огромные массы дворянства высказались в том смысле, что землю наделить крестьян придется и что они личным и сословным интересом не хотят становиться поперек счастья и даже поперек спасения народа, нации. Об этом прямо и решительно было сказано многими, сказано как поименно, так даже и целыми уездами! Государству воспользоваться бы этою небывалою в истории мягкостью целых сословий, отнюдь не вынужденною только страхом: «Все равно отнимут», ибо попробуйте-ка сказать купцу об «экспроприации» у него лавочки и кассы, и вы увидите настоящую ценность собственности. Нет, хищный и суровый собственник умирает на имуществе, а не отдает имущества. Но земли русских дворян не столько заработаны своим трудом в истории или заработаны лишь в маленькой дроби, а в большей массе все это «Бог послал» предкам теперешних владельцев: то «жалованные», то «выслуженные» маленькой и легкой службой, когда земля не ценилась ничем. Купленные или прикупленные земли около этих составляют крошечный процент. И дворянство едва ли не чувствует, что если оно «обрабатывало» землю, то и жило за эту «обработку» богато, жило в 3—4, в 6—8 поколениях; и то за «маленькую службу», иногда за личную услугу сильным мира сего (вспомним раздачу земель в Малороссии в конце XVIII в.), оно и вознаграждено достаточно этим вековым или даже многовековым пользованием. «Пользованием», а не собственностью. На фундаменте этих предрасполагающих идей, ввиду этой мягкости сословий, государство могло бы без потрясений и без обиды дворянства (именно — за *мягкость-то* его и не нужно ни в каком случае *обижать!*) совершить великие земельные реформы; и если оно удерживается от этой оригинальной и возможной и необходимой работы, то только по какому-то слепому подражанию Западу, где земельная собственность имеет совершенно иную крепость, потому что она вся, или почти вся, заработана, создана, куплена и вообще имеет происхождение нашей купеческой земли, которая так же цепка в руках, как и западная. Идея национализации земли выговаривалась у нас только дворянством: купеческих голосов об этом не было слышно. Хотя, если движение сделалось национально-великим, русско-спасительным, вероятно, и купечество не оказало бы активного сопротивления, ибо земля в составе их капиталов составляет лишь небольшую дробь, более «баловство», чем «дело». Но я не настаиваю на этих своих мыслях, снимая лишь упрек со Стивы Облонского, коего и Достоевский принимает за выразителя целой половины «русских мнений», «русских характеров», — что будто эти их мнения есть «плод цинизма» и стоящей в душе фразы «après moi, après nous le déluge».

Это потому Стива так спокоен, — подводит итог ему Достоевский, — что у него еще есть состояние, но случись, что он его потеряет, — почему же ему не стать червонным валетом — самая прямая дорога! И так вот этот гражданин, вот этот семьянин, вот этот русский человек — какая характернейшая, чисто русская черта! Вы скажете, что он все-таки исключение. Какое исключение и может ли это быть? Припомните, сколько цинизма увидели мы в эти последние двадцать лет, какую легкость оборотов и переворотов, какое отсутствие всяких коренных убеждений и какую быстроту усвоения первых встречных, с тем, конечно, чтоб

завтра же их опять продать за два гроша. Никакого нравственного фонда, кроме «après nous le déluge» (после меня потоп).

Да, не cives romani *. Негодует на это Достоевский? «Cives romani» и заколотили палками обоих Гракхов. «У них собственность была крепка». Но мы слышали о дворянах, предлагавших удешевленно продать землю крестьянам, и о фабрикантах, относившихся не по-английски к рабочему классу и даже к рабочему движению. И уж как Бог насадил свои травы, одной породы в Лациуме и другой породы около матушки Москвы, так пусть и растет этот огород без переделок Достоевского. Кстати, своими восклицаниями: «христианский порядок вещей», «личность», «семейство» — он повторил крики французских «отцов семейств» и немецких и английских пиэтистов и ханжей, без малейшей «русской черточки». И в устах Федора Михайловича, который сам всю жизнь был, в сущности, пролетарием и бедняком, а по части «благочестивой русской семьи» рассказал нам хронику Карамазовых, этот выкрик производит еще более комическое, по неуместности, впечатление, чем «быстрое согласие Стивы с тою опасною доктриною, что весь социальный строй несправедлив». Если Стива играл роль социалиста, и притом «не к лицу и своему положению», то ведь и Достоевский играл роль «легитимиста», что было ему не более «к лицу и положению», если принять во внимание его судьбу в кружке Петрашевского и затем дальнейшее путешествие на Восток. Но возьмем все назад: и скажем простым словом, что и Достоевский, и Облонский говорили свою русскую правду, говорили раздраженно, горячо, обвиняя себя, клеветца на себя, — именно потому, что они оба были слишком русские люди. А одно из качеств русского человека заключается в том, что с ним можно обо всем сговориться.

II

Охарактеризовав Облонского как выразителя старой, циничной и умирающей России, Достоевский переходит к Левину, и опять эти слова будут прочитаны с волнением москвичами.

Рядом с этим, многочисленным и владychествующим типом стоит другой тип, — и уже обратно противоположный тому, — все, что есть противоположного. Это Левин, но Левиных в России тьма — почти столько же, сколько и Облонских. Я говорю про одну черту его сути, но зато самую существенную, и утверждаю, что черта эта до удивления распространена у нас, т. е. среди нашего-то цинизма и калмыцкого отношения к делу. Черта эта с некоторого времени заявляет себя поминутно; люди этой черты судорожно, почти болезненно стремятся получить ответы на свои вопросы, они твердо надеются, страстно веруют, хотя и ничего еще почти разрешить не умеют. Черта эта выражается совершенно в ответе Левина Стиве: «Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, *по крайней мере, я не мог бы, мне, главное, надо густвовать, што я не виноват*».

Социальный вопрос, который на Западе есть только экономический вопрос, столкновение классовых интересов, — у нас есть столкновение нравственных мировоззрений; и даже, так как тут более входит натуры, чем книги, — столкно-

* римские граждане (лат.).

вание нравственных миропорядков. Вся Россия вот уже более четверти века назад стала расслояться как бы на две почвы, две крови, два мозга: один говорит о порядке отрицаемом, явно и неоспоримо несправедливом: «Я этого *хогу*, я это *могу!*», другой: «*Не могу, не хочу!*». Это не философия, а юриспруденция; точнее, — это зрелище суда, но какого? Где предмет тяжбы — социальный строй, то, что Достоевский едва ли осторожно назвал выше «христианским порядком, личностью, семейством», и где обвинителями выступает целая половина России, Россия-Левин, а подсудимую стороною — другая половина ее — Россия-Облонский. Достоевский сам сказал, что их «много, страшно много» и что «других не меньше, столько же». Положимся на его приговор, который в наше время стал очевидностью. Для нас, для всего теперешнего русского поколения, для борьбы его и установления прав в этой борьбе чрезвычайно важны наблюдения, сделанные 29 лет тому назад Достоевским, человеком, во-первых, пронизательным и психологом, а во-вторых, объявившим себя, в сущности, за старый строй в словах: «христианский порядок», «личность», «семейство». Ведь все это до страстности любил Достоевский, всему этому он поклонялся как «богу русской земли», да и как «религии человечества». Сам Достоевский, сколько мы постигаем дело, был человек усталый, не хотевший для себя борьбы и не хотевший вокруг себя борьбы. Юношею попавший в кружок Петрашевского, побывавший в каторге, со своею мучительною болезнью (эпилепсия), всегда бедный до границы нищеты, он мог сказать о себе: «Укатали сивку крутые горки». Кто вообще испытал в себе резкие фазы жизненной усталости или, напротив, жизненной свежести и неутомленности, эти состояния, в сущности, физиологические, тот знает, как всеобъемлюще их влияние на наши «убеждения», «миросозерцание», «программу». — «Отдохнуть хочется», «поразматься хочется» — это подспудно лежит во всяком легитимизме и во всяком обновительном движении.

Личная его, Достоевского, усталость, конечно, не может определять программу наших действий. А оценка им двух лагерей в их моральном содержании тем более важна, что она идет, в сущности, от недруга. Он продолжает:

В противоположность Стиве, который говорит: «Хоть и негодяем, да продолжаю жить в свое удовольствие», — Левин обратится во «Власа», в некрасовского «Власа», который роздал свое имение в припадке великого страха и умиления, —

И собирать на построение
Храма Божьего пошел.

И если не на построение пойдет собирать, то сделает что-нибудь в этих же размерах и с такою же ревностью. Заметьте, опять повторяю и спешу повторить черту: это множество, чрезвычайное современное множество этих новых людей, этого нового корня русских людей, которым *нужна правда* (курс. Д-го), одна правда без условной лжи, и которые, чтобы достигнуть этой правды, отдадут все решительно. Эти люди тоже объявились в последние двадцать лет и объявляются все больше и больше, хотя их и прежде, и всегда, и до Петра еще можно было предчувствовать. Это наступающая будущая Россия честных людей, которым нужна лишь одна правда. О, в них большая и нетерпимость: по неопытности они отвергают всякие условия, всякие разъяснения даже. *Но я только то хогу заявить изо всей силы, что их влетет истинное густво* (мой курс.).

Нужно заметить, что, очерчивая молодую и старую Россию, Достоевский говорит, в не приведенной мною цитате, что он оставляет совершенно в стороне художественный тип Левина, что он берет только диалог его с Облонским, и к нему приурочивает очевидное в его уже время расслоение России. Основной мотив в нем: экономическая, социальная, работная несправедливость; но это — только толчок, правда, жгуче-острый, за которым начинается волнение в самих мирозерцаниях или, точнее, в миропорядках.

10 Характернейшая черта еще в том, что все эти люди ужасно не спелись и пока принадлежат ко всевозможным разрядам и убеждениям: тут и аристократы и пролетарии, и духовные и неверующие, и богачи и бедные, и ученые и неучи, и старики и девочки, и славянофилы и западники.

Достоевский не замечает, что явилось новое «сredo», новое знамя; что все собираются куда-то к новой цели, новой задаче, новой надежде, а все то, что он перечислил, суть только старые лохмотья прежних хламид, которые люди, не то по забывчивости, не то по пренебрежению к ним, забыли отбросить. Что за всем этим уже нет «убеждения», и в этом-то и заключается самая характерная черта новых людей и объединительный их пароль, — тогда как Достоевский называет это «убеждениями».

20 Разлад в убеждениях (?) непомерный, но стремление к честности и правде непоколебимое и нерушимое, и за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества, говорю: обратится во «Власа». Закричат, пожалуй, что это — дикая фантазия, что нет у нас столько честности и столько *искания гестности* (курс. Д-го). Я именно провозглашаю, что есть, рядом с страшным развратом, что я вижу и предчувствую *этих грядущих людей, которым принадлежит будущность России* (мой курсив), что их нельзя уже не видеть и что художник, сопоставивший этого отжившего циника Стиву со своим новым человеком Левиным, как бы сопоставил это отпетое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее с собой собственным приговором общество русское с обществом новой правды, которое не может вынести в сердце своем убеждения, что оно виновато, и отдает все, чтоб очистить сердце свое от вины своей. Замечательно тут то, что
30 действительно наше общество делится почти что только на эти два разряда, — до того они обширны и до того они всецело обнимают собою русскую жизнь, — разумеется, если откинуть массу совершенно ленивых, бездарных и равнодушных.

Вот констатирование человека, всю жизнь писавшего в журналах охранительного направления, преимущественно в «Русском Вестнике» Каткова. Наши «государственники», в настоящую минуту поставившие задачей «переломить шпагу над головой» молодой России, должны знать, что за спиной их не стоит ничего, кроме «отпетой циничной России», по определению пророка их же «государственного» стана, и что на эшафот ими возведена «будущность России». Позволительно схватиться за голову и изумленно спросить: «Боже, да почему же
40 это *национальная* партия, когда она отсекает голову этой России, охраняет ее экскременты, вонючие отбросы, а что в ней молодо и растет, что чисто сердцем, в чем сконцентрирован весь идеализм страны, — все это порубает, ненавидит, истребляет?». Не скорее ли это партия страшно антинациональная? Может ли быть назван садоводом, хозяином сада, сберегателем его человек, который бережет только старые пни в нем, а молодые деревца вырывает с корнем и вообще орга-

нически ненавидит?! Безумие творится в истории. Среди безумия живем мы. Во всяком случае, молодая Россия, которая теперь борется, страдает, сейчас ужасно угнетена, может выдвинуть эти наиболее яркие слова, сказанные в нашей литературе в оправдание ее, и сказанные не ошибающимся психологом и аналитиком, притом человеком государственного и христианского настроения: она может слова эти кинуть в ответ не только своим обвинителям на суде (а следовало бы именно на суде припомнить эту защиту-разъяснение Достоевского), но и идейным обвинителям, из которых назовем часть нашего «черного духовенства», воистину черного. Вспомним проповеди епископов Никона (в Москве) и Антония (в Волыни); пресловутую октябрьскую проповедь в Москве, прочтенную по распоряжению епархиальной власти... 10

* * *

В двух главах, «Злоба дня в Европе» и «Русское решение вопроса», помещенных в том же февральском за 1877 г. «Дневнике писателя», Достоевский очерчивает положение социального вопроса на Западе и возможное или ему желательное решение его у нас. Он говорит, что на Западе все свелось к злобной имущественной борьбе; что пролетариат говорит буржуазии, захватившей верх положения в 1789 году сперва во Франции и затем в целой Европе: «Ote-toi de là, que je m'y mette» — «Убирайся с этого места: я стану на нем». Суждения о точной психологии этой борьбы ужасно трудны; трудно судить, а наконец, и осуждать борющихся людей, не стоя на том месте и в том положении, в каком они находятся. Для нас, даже для Парижа, для Лассаля, Каутского, Энгельса, социальный вопрос есть все же «объект суждений», предмет споров, теорий, наконец, общественной агитации. Но есть генералы армии, занимающиеся «тактикою войны», и есть серая шинель, которую разрывает шрапнель, которой протыкает брюхо штык, дробит кости граната. Впечатления, ощущения «генерала тактики» будут совершенно иные, нежели этой «серой шинели». То же и в экономическом вопросе. Достоевский стоял всю жизнь на краю социального вопроса, перед зияющею пастью «расчетной книжки», «увольнения по случаю сокращения производства» и пр.; но в самую пасть эту он все же не упал. А пасть эта имеет зубы поострее тигровых. Спокойно и тихо говорят рабочему, трезвому, умному, богомольному, уже немолодому и истомленному добросовестным 30-летним трудом: «Ты больше не нужен, производство сокращается, и, вместо 2000 человек, фабрика нуждается только в 1500». Только! Достоевский никогда не видел детей, умирающих от голода на глазах родителей, среди роскоши изумительной, ненужной и фантастической окружающего быта. Вот семья рабочего: голоден он, жена; дочь уже давно пошла куда-то в проституцию, тоже честная дочь, когда-то хорошая девушка, да, может быть, и теперь хорошая. На руках малютка, голодный же. И вот мимо окна хибарки, где сидят эти утром «рассчитанные» рабочие, проезжает на тысячных рысаках в фантастически комфортабельном экипаже лоботряс — сынок фабриканта, — который «из чистоплотности» и не возьмет, побрезгает взять хоть для минутного удовольствия дочь этого работника. Достоевский в «русском решении вопроса» говорит, что нужно дожидаться «Власов» 40

некрасовских, когда этот лоботряс — сын фабриканта, учащийся в одном из привилегированных заведений, «превратится во Власа» и у него

Сила вся души великой
В дело Божие уйдет.

Но сколько же именно миллионов лет надо этого блистательного события дожидаться, когда вот малютка-то умирает на руках, и это дело дней и часов, и когда «наша Маша», которую в шестилетнем возрасте мы крестили, укладывая на ночь в постельку, теперь на тротуаре вымаливает милостиво-похотливого взгляда этого «еще не обратившегося во Власа» лоботряса. Повторяю, «в пасти» Достоевский, при всей нужде своей за всю жизнь, все же не бывал; и об остроте волчьих зубов можно судить не по зоологии, а вот побывав овцою, которую он скушал. Некрасов, только однажды, в первой молодости, побывавший, и то ненадолго, в этой «пасти» и живший всю жизнь потом обеспеченно, уже никогда потом не мог забыть впечатления; и хотя «Власа» именно он написал и, следовательно, был же способен к этим движениям души, однако никогда ему не пришло на ум включать в программу рабочего движения «ожидания, когда буржуа почувствуют в себе „Власов“ и станут поступать, как они». Тут необыкновенно важны тонкие степени пройденного опыта, и, повторяем, дети Достоевского от нищеты не вырождались на его глазах, не похварывали и без лекарств за бедностью не умирали, жена и дочь его не испытали проституции «от безработицы» (множество примеров!), и сам он, все-таки, каждый вечер знал, где будет ночевать и где завтра есть обед. Может быть, на «послезавтра» не знал, но на завтра все-таки знал, и на *сегодня* (главное! главное!) *уже ел!* Максим Горький, тоже теперь уже обеспеченный человек, видел в молодости пасть: и тоже не колеблется насчет программ. Итак: 1) невозможность ждать — это первое. А во-вторых: 2) и стоит ли церемониться? Повторяю, рабочий или «социал-демократ» просто имеют у себя перед глазами лоботряса и лоботрясов куда хуже Стивы, а между тем, что написал Достоевский о Стиве за его еще эпически-спокойное:

— Так-то, мой друг. Надо или признавать, что настоящее устройство справедливо, и тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием.

— Негодяй, циник, «отпетый», цыган, «après nous le déluge».

И проч. В запасе Достоевского были только слова. Он — *писатель*. Да и он — талант, который мог наговорить циничным людям или за циничные мнения таких словечек, которые больше бича, и такие слова он говорил, от них сам не удерживался, не расписывал слезливые поучения с целью направить «Стиву и таких, как Стива» на путь монашеского отречения. Но рабочий не имеет слов и литературы, этого громадного клапана «для выпуска паров». Представим рабочего, скромного, застенчивого, совершенно молчаливого; он именно по серьезности не умеет «утопить горе в зеленом вине», как другой тип Некрасова — Иван. Он буквально «Влас», угрюмый и застенчивый: а дочь-то уж пошла по тротуару, а двухлетний паренек умирает, а лекарств не на что купить; и фабриканту, и батюшке, и г. судье или г. исправнику, если б он вздумал рассказать им о себе, — всем «некогда», да и «таких тысячи». Что же бы сделал «Влас»? Один покончил бы с собой, другой — взял железную полосу и ударил. И есть такие

раздражающие впечатления, как вот едущий в ландо лоботряс, — что он ударил бы. Ударил, — и пошел в Сибирь. Так это и делалось века, и делали тысячи: давились, ударяли, топтали дорожку «по Владимирской», пока этим «Власам» не шепнули: «Соединяйтесь, обдумайте себя».

Вот и все, и вся «наука», и весь «Запад», на который страстно накидывается Достоевский. Ведь наука только удлинняет, усложняет обыкновенную мысль, и почему «социология» и «социальные утопии» не суть, по темпераменту и мотиву, типично «власовские теории», куда тоже «сила вся души великая в дело Божие ушла». Не все обязательно для «Власов» церкви строить, можно и другим заняться...

10

Можно думать, что когда-нибудь в молодости Достоевский имел неудачу попасть в кружок «идейных реформаторов социального строя», не очень глубоких и не очень человечных. След какого-то подобного впечатления можно проследить во всех его сочинениях. Везде у него выводятся эти «реформаторы» как люди сухие, черствые, как резонирующие теоретики, в которых, кажется, не течет ни одной капли живой крови. Так ли это? Да какая же нужда была бы этим «сухим людям», — как он сам пишет в приведенном отрывке, — «старикам и девочкам, ученым и неучам, помещикам и нищим студентам», — объединяться в какое-то новое, почти религиозное братство с лозунгом: «Спаси народ, побить голодному, обуздать сытого и даже пресыщенного». С «сухим сердцем» прямо и пристали бы к «сытым», чтобы и самим быть сытыми. В приведенном нами отрывке он говорит о «чистом и истинном чувстве»; но, когда заговорил о «русском решении вопроса» в противовес западному, опять у него замелькали воспоминания о каких-то поверхностных и бесчеловечных теориях, которым он противопоставляет русскую идею «Власа». Между прочим, он говорит, что этот будущий социальный строй будет насильственным и принудительным, будет социальной тюрьмой и каторгой, без «христианского братства». В этом социальном строе «отрежут голову Шекспиру во имя идеи арифметического уравнивания всех голов и всех желудков». Эта «отрезанная» социалистами «голова Шекспира» мелькает и в других его сочинениях как прямой и краткий мотив поднять восстание против социальных утопистов. Но так ли это? У него это есть консервативная гипотеза, не опирающаяся ни на один факт; тогда как есть определенный и яркий факт, говорящий о совершенно иных отношениях новых людей к таланту, к человеческому избранничеству. Всем известно, что Некрасов, кроме первых юных годов, был человеком обеспеченным и даже более чем обеспеченным, был членом Английского клуба и играл в карты. Но «в стане погибающих за великое дело любви» был ли за это на него завидующий и ненавидящий взгляд? Сравнительно с несчастными сельскими учителями и учительницами, с бурсаками духовных академий и семинарий, с нищим студенчеством университетов, он был богачом, но сам он и в богатстве сохранил простой и грубоватый характер прежнего Некрасова и никогда не разрывал братства с однажды испытанною бедностью, братства и интимного понимания. И бедные его любили, считали «своим», богатству и положению его не завидовали, а сам он тоже сохранил только положение богатства, без всякой психологии богатства, в которой, в сущности, и заключается все дело, и весь узел, и вся трудность и мука социального вопроса. Если бы богатые помнили о бедных, и помнили бы не теперешним филантропическим и высокомерным способом, страшно отчужденным, а уравнительно-братским

20

30

40

или, как теперь принято говорить, «товарищеским», — узел мучительной экономики развязался бы, ибо, пока хоть у одного человека в городе, в селе есть запасной рубль, не может и *не смеет* умереть с голоду ребенок на руках у голодной же матери. Все острые углы социального строя сгладились бы при «товариществе». Но где же понесся лозунг этого «товарищества», да и где, наконец, не только понесся лозунг, но и родилось действительно это товарищество, горячая помощь друг другу, знакомому и незнакомому, лишь бы он был «человек» и был слаб, беспомощен, падал, был унижен, несчастен, — как не в этих именно людях, соединенных, по-видимому, лишь сухой экономической программой. Рисуя «русское решение вопроса», Достоевский говорит: «Нет, русские и христиане не поступят так с Шекспиром, как социалисты. Они скажут: ты имеешь особые дары, Бог отметил тебя, избрал, — и ты свободен выполнять свое высшее назначение на утешение и радость нам». Ну, «русские и христиане» вовсе не так поступали с Новиковым и Радищевым (тут мера дара — ни при чем, ведь и Достоевский говорит не о Шекспире же, который умер), а вот с Некрасовым, да и вообще с людьми дара и даровитости на поприще ли науки или на поприще слова почти «социалисты» и даже именно «социалисты» поступали действительно так, как указал Достоевский. И, что дает залог прочности, поступали так непосредственно, без споров, без сговоров и сборов. Таким образом, сухость и меркантилизм людей социальной реформы есть ничем не доказанная гипотеза Достоевского, вероятно коренящаяся на почве каких-нибудь непривлекательных личных воспоминаний его. Не забудем, как он был болезненно впечатлителен, капризно впечатлителен. Движение не сконцентрировало бы около себя всех идеалистически настроенных сил живого русского общества, оно не было бы «надеждою России», о чем говорит сам Достоевский, не будь оно нравственным переворотом прежде всего. Но как корень-то жизни, величайшая боль мира теперь сосредоточивается именно около голода и работы, а не около проблем философии, метафизики и морали, то «нравственный поворот» и побежал, с реальным и живым чувством, именно к голоду и работе, голодающим и работающим, а не к отвлеченным вопросам, прежде сосредоточивавшим около себя идеализм. Идеализм — это теперь социализм (без преувеличений и грубости), социализм — это теперешний идеализм, покончу этими тавтологиями. Пока эти тавтологии сохраняют верность, — а пусть они сохраняют ее навеки, — это царство «реального идеализма» неразрушимо и непобедимо.

ДВА СЛОВА В ЗАЩИТУ ДОСТОЕВСКОГО КАК ЧЕЛОВЕКА

Только что привелось мне прочесть одновременно вдумчивую статью «собрата по перу» г. Измайлова о Достоевском (в «Русск. Слове») и такую же статью, посвященную 25-летней памяти его, — г. Шестова (№ 7 «Полярной Звезды»).
 40 И последняя статья резко обожгла душу тоном своего отношения к Достоевскому — как *лигности*, как *нравственному характеру*.

«Жена его (Д—го) в последние годы жизни писателя прикапливала деньжонку»; «обеспеченный Достоевский в политике, проводимой в „Дневнике писателя“, выступил на идейную защиту и обоснование грубейших националистических appetитов, зарождавшихся во дворцах и проводимых на практике нашею бездушною бюрократиею. Так, он советовал не только взять Константинополь, но и, выселив татар из Крыма, — заселить его русскими» и т. д. Так пишет г. Шестов, которого наряду с упомянутыми г. Измайловым критиками Достоевского, Мережковским, Розановым, Волынским, можно поставить также в ряд виднейших исследователей творчества нашего великого писателя, и мало сказать — «исследователя»: Шестов сам едва ли не находится под обаянием Достоевского в *среднем периоде* его деятельности, особенно его сумрачных «Записок из подполья». Но именно в юбилейный день он как-то капризно сбросил это обаяние, кажется, на минуту и *ad hoc* *, и сказал слова, которым бы лучше остаться несказанными. Когда мы читали его статью в «Полярной Звезде», мы не видели привычного, вдумчивого, страдающего Шестова, к какому привыкли и которого полюбили в «Апофеозе беспочвенности» и «Ницше и Достоевский», и перед нами точно говорил сухой и ничего не чувствующий человек юридического и формального склада души и мышления.

Против идей Достоевского можно и иногда должно спорить: политика его, и «внешняя» и «внутренняя», должна быть теперь почти целиком отвергнута. Все это так. И «Константинополь», и «татары» лежат упреком на его памяти, и не только они, но и многое «еще горшее». Но невозможно, отгородившись от этой «политики» Достоевского, часто скрупулезной, капризной, злобной, прямо — темной, не окончить, однако, великим апофеозом его личности, его нравственного характера, сняв все пятна с его жизни и отстранив малейшее подозрение кривых мотивов в этой печальной его «политике».

Нет, не двору и не бюрократии служил этот бедный обитатель маленькой квартирki в глухом и грязном переулке; не двору, при котором он никогда не бывал, и не бюрократии, с которою никаких связей и даже, кажется, никаких отношений не имел, если не считать «тайного советника» А. Н. Майкова, поэта и чиновника цензуры. Но Достоевский (см. его письма и «Дневник писателя») еще мальчиком, до поступления в пансион, читал, в присутствии и под наблюдением отца, торжественные страницы «Истории государства Российского» Карамзина; читал — и даже в этот детский возраст прочел *все* Карамзина. «Мы воспитывались не так, как теперь наши дети, без родины и истории», — записывает он в воспоминаниях о кружке Петрашевского. Первые детские впечатления — неизгладимы; и кто не знает, не испытывал, что именно под старость (годы издания *Дневника писателя*) эти детские впечатления, лежавшие точно под пеплом всю жизнь, вдруг начинают снова цвести всем отроческим благоуханием своим, получают снова рост, жизнь и силу. Я упомянул о «торжественной прозе» Карамзина: конечно, для нас она ошибочна; мы познакомились с нею в зрелом возрасте, после Соловьёва и Костомарова, уже обеспеченные против ее поэтического и нереального обаяния, но ведь Достоевский не в этом порядке с нею знакомился: и как и Пушкин, и даже вместе с Пушкиным, которого он так безмерно любил, «вслед Пушкину» он направил корабль своего государственного мышления, сво-

* к случаю (лат.).

их историко-государственных созерцаний, «в кильватер» той данной линии русских писателей (Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грановский), впереди которых шла «торжественная проза», «сей неизгладимый язык» — Карамзина. Вот очень простое объяснение лозунгов: «взять Константинополь», «выселить татар и заселить русскими Крым». У Карамзина — покорение Казани — центр 11-томного пафоса, а Грозный именно так поступил с казанскими татарами: множество их выселил во внутренние русские области, поселив на их место русских. Политика Достоевского, конечно, была не реальная, а литературная; была не прозаическая, а поэтическая: и нельзя не простить ему эти «вольности поэта».

- 10 Но он свою «политику» проводил с горячностью и желчностью. Нельзя здесь не принять во внимание всю вообще несчастную судьбу Достоевского и, между прочим, несчастное его литературное положение. Он (как и Толстой свои большие романы) печатал свои произведения в таких изданиях, которые только тогда и только потому и начинали читаться, когда в них печатались Толстой или Достоевский. Это был «Русский Вестник» Каткова, где после Достоевского, и до Достоевского, и все вокруг Достоевского пахло «Катковым и Леонтьевым», и лицеем, и «греко-латинским словарем», изданным горбатым другом Каткова под ауспигиями министра просвещения Д. А. Толстого. Вся русская печать, все русское образованное общество сторонилось от этого издания, — и сторонилось
- 20 уже невольно и «вообще» также лучшего украшения его — Достоевского (как долго — и Толстого). Достоевский (и очень долго Толстой) были поставлены в изолированное положение. И просто это была неудача, ошибка, случайность биографии, без чего-нибудь вначале принципиального: неложное случайное местоположение повело за собою потом, как следствие, уже впадение в ошибки, и *принципиальные*. Поставив палатку свою не там, где следовало (и это — просто случай личного знакомства, личного доброго слова и полистной платы), не видя вокруг себя общества и литературы иначе, как враждебно настороженного, — Достоевский (и тоже очень долго и Толстой) и сами нервно насторожились против общества и печати. Невозможно исчислять всех печальных, всех невознаграждаемых, огромных последствий для общества и даже для истории того обстоятельства, что глубочайшие труды Достоевского и Толстого печатались не в «Отечественных Записках» или «Вестнике Европы», т. е. в коренном русле общественного самосознания, а в «Русском Вестнике», т. е., до некоторой степени, вне истории и жизни, в боковом, болезненном, микробном даже не «притоке», а «оттоке» жизни и истории. Всю жизнь Достоевский — бедняк-рабочий и Толстой — отшельник-праведник ехали в «салон-вагоне» Стивы Облонского, по их же выражению, «циника», для которого «après moi le déluge», и, не замечая или мало замечая, не разглядывая сидевшую с ними компанию, смотрели в окно этого салон-вагона и любовались и записывали приключения тут же рядом бежавшего
- 40 около рельсов Левина, с его «исканиями» и «мучениями». Что у Достоевского (и у Толстого) по существу было общего с Катковым, с Леонтьевым, с Болеславом Маркевичем, с лицеем и «греко-латинским словарем»? — Ничего!!! Что было общего с Некрасовым, Глебом Успенским, Златовратским, Короленко, Гаршиным? Бездна общего; даже при вражде, полемике — бездна интимно единящего. Но их непосредственное несчастное соседство — это и были Облонские, Вронские, Елен Безухова, те князья Вальковские (отец Алеши в «Угнетенных и оскорбленных»), которых литературно они так мучительно ненавидели. Бывают такие

положения. И именно у гениев, которые так рассеянны, что мало что замечают в ближайшем к себе соседстве. Просто — «сел не в тот вагон». И сколько от этого истории убыло...

Видя почти все «либеральное общество» враждебно к себе настроенным, — Достоевский, столь нервно-впечатлительный, и сам против него враждебно насторожился. А вражда — это завеса, это — порог для понимания. Он скользнул (нельзя этого отрицать) по «либерализму» русскому, по радикализму русскому, не прочитав, не вникнув в кроваво-нервные литеры его истории, его судьбы, его характера. Все ему казалось здесь пусто и поверхностно, все казалось здесь какою-то толпою «Балалайкиных» (адвокат у Щедрина), а вот, видите ли, «Власы» и «пророк» Израиля-России выйдет, окончивши курс в лицее цесаревича Николая, что около Крымского моста, и, вероятно, взяв «народную» должность земского начальника. Словом, «Русь скажет свое слово миру» устами губернатора Лемке («Бесы»), «Рюриковича» кн. Вальковского и чуть ли не из-под кружевной юбки Елен Besouchov'ой. Все это «древние, исторические начала», воспетые Державиным и рассказанные Карамзиным, от которых чего-то надеялись, впрочем, и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и вообще бездна русских неопытных идеалистов, севших «не в тот вагон».

— Куда поезд?

— На Восток!

— А, и отлично... Это — Шехеразада, арабские сказки, темные звездные ночи Аравии, где проповедовал пророк:

— Иди и внемли. Глаголом жги сердца людей!

Это уже не самый Париж с его Louis Napoleons, 1-м и 3-м, его новое, новый мир и древности и поэзии, пророков и завоевателей...

— Кишмиш будешь?

Приехали в «Шехеразаду», не во дворцы Чингисов и Гарун-аль-Рашидов, а в нашу... маньчжурско-корейскую действительность, где рубили какие-то не свои леса, и схватили за это за шиворот и потащили на всемирный позор, как неудачного воришку, и секли, секли, секли...

С поездом «на Восток» совершилось такое крушение, среди воплей, гама, отчаяния, — что это разбудило даже и самый Восток, еще никогда не заливавшийся такой кровью, на этот раз не его, желтою, привычною, а нашу западную кровью, арийскою, христианскою.

* * *

Ошибки «политики» Достоевского не были пороками его личности. Эту политику, собственно, и не следовало бы теперь вспоминать. В Достоевском стоит перед нами, как справедливо заметил г. Измайлов, «платоник», метафизик. Кстати, у Платона опыты его «политики» с сиракузскими тиранами были еще неудачнее, чем у Достоевского. Вся ценность его — в метафизике, в великих «снах» его сердца (идеалы) и в великих его откровениях о глубинах человеческой души (психология). Эти три русские души — Гоголя, Достоевского и Толстого — впервые сообщали и вообще русскому духу интерес всемирности, какой до этих людей наша история и наша естественность не имели. Наконец-то исполнилось предчувствие мужичка Ломоносова, прошедшего от Архангельска до Берлина, что

Может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Ибо на прямой вопрос: захотели ли бы мы своего Толстого отдать грекам, чтобы получить от них творца «Политики», или отдать англичанам в их сокровищницу книжную «Сон смешного человека», «Преступление и наказание», «Братьев Карамазовых», чтобы получить себе в обмен великие «Principia mathematica philosophia naturalis»*, — мы сказали бы:

10 — Нет, жалко. Пусть те остаются при своем, может быть, и большем по всемирной значительности. Но нам это дороже, это наши русские Платон и Ньютон, также говорившие как о бессмертии и вечности человеческой души и открывшие тоже дивные законы в натуральной философии, сколько она касается человека и человеческого.

ПАМЯТИ Вл. К. ПЕТЕРСЕНА

Похоронили Владимира Карловича Петерсена. Под псевдонимом «А—ть» (= Альцест) его знали, уважали и ценили в отдаленнейших уголках России. Как и я за много лет раньше, чем увидел его грузную, огромную фигуру, в военном мундире и, подойдя, познакомился с ним, — уже много лет читал и уважал его в черноземной России. Достаточно было, чтобы фельетон подписан был этими 20 тремя буквами, чтобы взять номер газеты и, отойдя в уголок, углубиться в нижние столбцы. Тогда, издали, он мне представлялся байроническим, насмешливым, страшно уверенным в своем уме, знаниях и действительно знающим и умным. «Жесткая, но компетентная форма ума» — так я себе формулировал.

Потом увидел его лично и довольно быстро подружился с ним тем поверхностным дружелюбием, какое, увы, одно допускается или одно вырабатывается около печатного станка. Шум машин: и он кладется впечатлением на душу. Не может трубочист не быть в саже, мельник — в муке, а журналист не может отрешиться от калейдоскопа вертящихся перед ним узоров жизни, ее высокого и, чаще, ее 30 низкого и не утратить в очень значительной степени способность длинных, вязнувшихся, цепких ощущений. Все соскальзывает. Ничто не может «по долгу службы» держаться долго. Такова профессия. И если тут есть дурное, то гораздо больше есть несчастья.

Покойный, однако, просил убрать красноречие от его могилы. Но мне хочется 2—3 слова сказать о действительном складе его ума и натуры, — небезразличном для его читателей и, думаю, многих почитателей.

Он был человеком трезвой действительности, которую знал, в которой много перенес, — и с неодолимою потребностью какой-то надежды или мечты за гранью этой действительности, перенесенной им в будущее, или «по ту сторону гроба». Я говорю о мечте. Петерсен был настолько же мечтатель, как и реалист. Но

40 * «Математические начала натуральной философии» (лат.).

насколько все было ясно, все имело «свои рельсы» в знании им действительности, за пределами ее все у него становилось смутно и оставалось более на степени страстного желания, нежели определенной мысли.

Он всегда был ироничен, насмешлив, склонен к остроумию. Никогда это не имело предметом своим окружающих людей, но всегда — окружающую жизнь. Постоянно он говорил с желчью о «повальной бесчестности» не столько русских людей, сколько обстоятельств русской жизни, которые искусственно гнали вверх все низкое, пошлое, «пройдохшествующее», но чему «тетенька ворожит», и гнули книзу все оригинальное и особенно «все свое, русское». Память его была полна воспоминаниями, и пылкая его аргументация была только каймою около чередующихся рассказов о службе, о встречах. Редко я встречал людей, так глубоко любивших все природно-русское, от ее физики до ее психологии, но глубоко возмущенных гибелью у нас всего талантливого. Для него патриотизм сливался с «возвращением к добросовестности», как добросовестность совпадала с «возвращением к патриотизму», к родным стихиям русского народного духа. Но, немец и лютеранин, он ничего «квасного» не имел и не мог, естественно, иметь. Это был русизм и патриотизм инженера, притом в военном мундире. «Ах, если бы Пруссию сюда: но Пруссию, поклонившуюся нерехтским кампаниям». По поводу падения башни св. Марка он, в это время блуждавший по ярославским и костромским уездам, писал мне восторженные письма, убеждающие, спорящие, что Венеция против Ярославля — гроша медного не стоит. И все это — трезвенно, сурово, без маниловщины и сентиментализма. Просто — он так чувствовал. Спасибо ему за это, хотя спорить с ним приходилось до слез. «Полюби нас черненькими, беленькими — всякий полюбит». Не это ли зерно патриотизма, который чего-нибудь стоит?

В некрологе, оставленном о самом себе Петерсеном, промелькнула коротенькая фраза, дающая полный его портрет: именно в самом конце, где он говорит о «физиологической, наследственной нравственности», которая была ему присуща и которую, как все физиологическое, почти нечего оценивать. Это глубоко верно. Многие приобретают нравственность из книг, из развития, идя через историю убеждений, встреч, знакомств, через внешнее благоприятное положение, через счастливо сложившуюся жизнь, из воспитания, от друзей и окружающих, от семьи. В Петерсене она не имела этого сложного, трудового происхождения, а была, пожалуй, прочнее, будучи почти только отсветом крови благополучного рождения. Я только сгущаю его очень верную и очень важную мысль, имеющую большое приложение. Ничего нет лучше породы, ничего прочнее ее, по крайней мере на протяжении личной жизни. И горе «фамилии», это страшное богатство, эту страшную силу растеривающей. Она невознаграждима, невозстановима.

Петерсен умер, приняв перед смертью православие. В сущности, с лютеранством в его специфичностях давно у него ничего общего не было, напротив, православие и наши трогательные и поэтические обряды он давно и глубоко любил. Он умер очень мужественно, нимало не смущаясь лица приближающейся смерти. «Я им (докторам) говорю: скажите вы мне, пожалуйста, на милость, каким способом я умру, разрывом сердца, или от уремии (отравление крови мочой), или зальет вода? Они говорят: не знаем. Но на что же они и доктора, если не знают, а мне не безразлично. Потому что надеяться очень нелегко, а если уремия или разрыв, то как уснешь. Я причастился, бумаги в порядке, и мне скорее уме-

реть, чем в отставку выйти. Такое же облегчение». Так говорил он мне, когда я посетил его в больнице. Жизнь его, много лет нерадостная, но с непоколебимым терпением вынесенная, действительно делала для него кончину давно желанною «отставкою», отставкою от трудной должности. Мир праху твоему, добрый работник. И спасибо, что ты возлюбил «усвоенную родину» такую горячею, туземною любовью.

Д. А. СПЕРАНСКИЙ. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Выпуск 1. Рассказ о двух братьях. Первоисточник сказаний о Кащее, равно как и многих других сюжетов народного словесного творчества. Текст древнего египетского рассказа в русском переводе и его историко-литературное значение. СПб. 1906. 264 с.

Трудная наука древностей требует такого обширного приготовления не только для разработки своей, но даже и для ознакомления, для чтения археологических книг, — что не следует удивляться, хотя и нужно поскорбеть, что у нас едва найдется несколько десятков и едва ли сотен лиц, занимающихся ею. Тем с большей благодарностью библиография должна отметить всякий труд, появляющийся в этой области. Сочинение г. Сперанского захватывает самостоятельным исследованием таинственный и интересный доклассический мир. Не все среди читающей, а не изучающей публики знают, что у нас есть два великих знатока Древнего Египта, читающие иероглифы, как мы старинную славянскую «вязь»: г. Голенищев, хранитель египетского отделения Эрмитажа, и проф. Тураев, автор книги «Бог Тот» (бог знания, бог науки), единственной цельной и самостоятельной монографии, написанной по памятникам, интересной египетской истории. Во всяком случае наука наша «кое-что» имеет в этом труднейшем и занимательнейшем ее отделе; и нельзя не радоваться, что первые же годы только что начавшегося XX века отмечены трудами крупными и ценными. Пора бы, давно пора: ибо, в то время как западная наука имеет уже с XVII века целые библиотеки трудов по истории, и в частности по археологии, мы здесь имеем только журнальные заметки странной специальности и без всякого общего значения, или «общие труды» вроде трех частей «Всеобщей истории» Иловайского, удостоенной достаточно «почетного отзыва» от всех образованных людей в России.

В примечаниях к переводу египетской сказки содержится много интересных подробностей об этой древней культуре. Книга интересна и для изучающего сказочное и былинное творчество русского народа, и собственно для историка тех древних стран, где зародились и откуда потекли первые мифы человечества, эти блуждающие миры фантазий, догадок и первых научных гипотез, которые пережили тысячелетия и до сих пор не хотят или не могут умереть.

ВОЛЖСКИЙ. ИЗ МИРА ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСКАНИЙ

Сборник статей. С.-Петербург. Издание Д. Е. Жуковского.
1906. 402 стр.

Книга содержит в себе более или менее обширные очерки философского, научного и поэтического творчества Владимира Соловьёва, проф. Мечникова, Вл. Короленко, Гл. Успенского, Метерлинка, Чехова, Горького и некоторых других. Везде у автора вы чувствуете напряженно работающую мысль, и эта постоянная душевная напряженность на протяжении сотен страниц утомляет читателя. Книга не из легких, и нужен весь энтузиазм молодости к мысли и философии, чтобы одолеть ее всю до конца. Старый и усталый читатель не раз пробормочет: «Эк, старается! Все равно всех мыслей не передумаешь, хоть пиши сто томов» — и захлопнет книгу на половине. Но молодой энтузиаст, но начинающий мыслитель будет благодарен автору за каждую страницу его книги, где он найдет то отзвуки, то руководство и помощь собственным бродильным началам души. Таких старательных критиков теперь очень немного. Старый задор и высокомерие Писарева у них пропали, и на месте их водрузилась некая серая меланхолия. Палочка дирижера, какою махали Писарев и Добролюбов, выпала из рук этих новейших эпигонов критики, и они более напоминают ту израильскую бедную вдову, которой было позволено, по древнему закону, «собирать оставшиеся колосья» со сжатого хлебного поля. Вообще в большей части новых критиков есть что-то грустное и сиротливое... Может быть, здесь отражается вообще заброшенность, оставленность всей этой области литературы, когда-то шумной, крикливой и влиятельной, а ныне почти безмолвной и забытой. Да, «habent sua fata» * целые отделы литературы! Кто нынче пишет мадригалы? Кто, широко сядя в кресло, готовится «ежемесячно» разбирать текущую литературу, так что по Волге, Двине и Дону — везде будут читать и перечитывать «знаменитый» разбор?.. И подите-ка объясните эту перемену!

Г. Волжский чрезвычайно умственно-воспитателен. Он совершенно не занят собою, чем несколько страдает, напр., г. Шестов, один из сильных критиков наших дней, автор книг о Л. Толстом, Ницше и Достоевском. Волжский действительно исчерпывает писателя, о котором пишет статью. С беспримерным трудолюбием он опускает вновь и вновь бадью в глубокий колодезь, положим, Влад. Соловьёва и, вытаскивая ее наверх, говорит с удовольствием: «Вот еще водица! Все из Влад. Соловьёва! Пейте, читатели, а я для вашего удовольствия еще вытаскую бадью».

Без наблюдательности, без проницательности нет критики. Отвечает ли этому требованию г. Волжский? Да. Этих сотен страниц и невозможно было бы написать, если бы автор не испытывал своеобразного пафоса в наслаждении угадывать, находить и формулировать содержание чужой души. Как в медицине артистическая часть содержится в «диагнозе» болезней, так критик испытывает артистическое наслаждение не только «вычерпнуть бадью» из чужого колодца, но и дать верный и точный до непоправимости анализ и наименование вычерп-

* «имеют свою судьбу» (лат.).

нутого. В этом отношении особенно интересна в книге г. Волжского статья «Об уединении в поэзии и философии современного модернизма», посвященная декадентству и вообще «новому искусству».

ОДНА ИЗ РУССКИХ ПОЭТИКО-ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ

Н. М. Минский. Религия будущего. Философские разговоры. СПб., 1905 г.

Г-н Минский, принадлежа к числу сильных у нас метафизических умов, вставляет систему свою в рамки не ученых диссертаций, мало кем или совсем никем не читаемых, но в художественную форму то признаний («При свете совести»), то «разговоров» (настоящая книга). От формы этой, однако, не веет теплотой: здесь то же царство холода, как и в его мышлении. Как поэт, как мыслитель, как художник Минский холоден на всем протяжении: его пафос (где он попадает) несколько искусствен и внешен, и от этого он так мало привлекает русского простого читателя. Конечно, это несколько не роняет его как философа. Он дал систему «мэонизма», — термин, родственный древним неоплатоникам. Те учили об «эонах», некоторых метафизических существах, лежащих в основе всего физического миропорядка, как у Платона его «идеи» или у Лейбница его «монады». «Эоны» — положительное, сущее. Минский остановился на довольно верной мысли, чисто логического порядка, что ведь если есть Бог, то от того Он не смешивается с миром, от того никакую вещь мира мы не принимаем за «Бога», что есть у нас врожденное и истинное убеждение, что Бог — нечто совершенно иное, чем все осязаемое, видимое, слышимое, даже, наконец, чем определенно мыслимое. Бог «премирён», как говорили платоники; «сверх-мирён», как учат христианские философы. Минский основательно и говорит, что если весь осязаемый, видимый и пр. и пр., наконец, весь представимый и мыслимый мир соединен и объединен тем качеством, что он — *есть, существует, реален*, то пропастью отделенный от этого мира «неизреченный» Бог есть «мэон», «несущее», «небытие», т. е. что это есть некоторое метафизическое же отрицание всякого реализма, грубости, тяжеловесности. Ну, «святое» — как его взвесишь?! «Святой Боже», как поет церковь в песнопениях, конечно, это вовсе, вовсе иное, нежели все, с чем в этом мире юдольнем обращается наша мысль. Довольно замысловато и, кто знает, может быть, правдоподобно. Похоже на Нирвану Будды и буддистов: черную дыру, в которую валится все сущее и которой, вместе, — просто нет!! Читатель не привык к этим шахматным ходам метафизической мысли? Между тем большинство знаменитых метафизических систем состоит именно из таких ходов, которые могут представиться и страшно серьезными и вовсе не серьезными, смотря по умустроению читателя и слушателя. На метафизику Минского я смотрю как на один из таких красивых «ходов», который не увлекает меня от того, что я смотрю со скептицизмом, может быть, с неумением или бесталанностью, на самую шахматную доску и существо шахматной игры. Но философская эстетика в ней есть. От Бога и Творца нужно перейти к миру и Его творению: представьте себе бесконечный *минус* (первосущий и единосущий «Меон»), который

перечеркивается «накрест» и переходит в такой же бесконечный *плюс*: вот мир вещей, подробностей, осязаемого и мыслимого, который мы измеряем и изучаем, о котором думаем и который любим, и который весь произошел через страдальческий акт самоуничтожения Великого Минуса, через «смерть Бога», самоотрицание Меона. Между тем в *плюс* этот, даже материально и видимо, вошел минус: т. е. весь порядок вещей есть «божественный и святой». Минский, очень искусно и поэтически, переводит это философское построение, этот тезис и требование размышляющего ума, — на язык то надежд, то ожиданий, то сердечной веры, то утешения. Получается — переход в религию, сразу и освещающий ее философским светом, а вместе и самой философии придающий какую-то теплоту, интимность, священность и вообще религиозную санкцию. Здесь, нам думается, много принадлежит языку, мастерству языка, — и здесь, видя это филологическое основание, я особенно проникаюсь скептицизмом ко всей вообще «шахматной доске», как несколько предательской и более обедняющей, нежели подлинно дающей.

«Вначале был Всеединый и рядом с ним не было никакого другого существа, ни материи, ни духа, ни формы, ни движения... Он наслаждался своим покоем и созерцал свое совершенство... Всемощный и всеведущий, он сам в себе созерцал то же и множественный мир явлений, еще не существовавший, не могший существовать около Единого и наряду с Ним. И сказал Всеединый в своей мысли: вот я созерцаю формы и существа, не могущие возникнуть к радости бытия, оттого что я, Единый, существую».

«И Единый продолжал в своей мысли: великая любовь объемлет меня к этим существам, которые никогда не появятся, пока Я есмь (условие „единства“). Любовь моя равна моему всемогуществу, и я хочу принести себя в жертву из любви к миру, хочу устранить единого, дабы могло возникнуть к бытию многое; хочу создать, по образу своему, многих, из которых каждый, подобно мне, будет познавать себя единым, не будучи им („эгоизм“ всех вещей, „центростремительность“ их самочувствия). Хочу уступить свое бытие многим, дать им свободу и разум, радость бытия и блаженство самопожертвования, хочу жить и умирать во многих, стать предметом их бескорыстной любви и вечного стремления» (стр. 204—205).

Так Влюбленный сотворил влюбчивых: блаженство принять молитвы, фамилей, восторги заставило «заколоть себя» Бога... Красиво! Похоже на правду? Что сказать об этом: тут брезжатся лучи всех религий, об этом перешептываются все веры — и в этом смысле *похоже на правду*. Минский, впрочем, так и называет это «легендой», как бы всемирным религиозным преданием. И, не будь этого религиозного предания перед ним, — без его канвы, не опираясь на этот посох, он не построил бы или едва ли бы построил и свою систему «мэонизма». Мне лично, когда я читал в индусских легендах об этом «Боге, созерцающем образы (будущих) вещей», всегда было недоуменно: откуда это «детяшки»-то взяли? мечты? образы? иное, чем Бог? «Единое и Совершенное» я не умею представить иначе как бесконечную прямую линию... и ничего еще; как пустоту и приблизительный ноль, как некую Бессодержательность... Признаюсь, «Единое и Совершенное» я просто не люблю; и не уважаю; и не захотел бы размышлять о нем. Иное — его «детяшки», мечты, образы... Тут я просыпаюсь, и мне хочется кушать.

Мир вещей, множество, краски, звуки, осязаемое, обоняемое — весь «сад Божий», как, впрочем, и именуется легенда, — вот одно, о чем я хочу и могу размыш-

лять и с чем чувствую себя связанным и «единым». Поэтому «первая часть его легенды» (всё — его термины) меня просто не занимает. Если он назовет меня за это «совершенным безбожником», то я не отвергну этого, хотя и удержу в голове мысль, что и он сам — таков же. В сущности, он «Единого» построил для мира и по миру; и даже — это осталось в его философии, ибо «Единый», что требовалось бы мэонизмом, у него постоянно чередуется с «Всеединым», т. е. «детиски» — мечты, они же суть и реальные вещи, все одолевают своего Отца-Мэона, никак не допуская его до того отрицательного значения, какое единственно и вполне ему присуще.

- 10 Но за этой маленькой философской улыбкой, какую я допустил в себе, остается, однако, действительно серьезная мысль и серьезный вопрос: отчего, действительно, человеку неистребимо присуще религиозное ощущение всех вещей в мире? отчего и дикарям в Австралии, и мудрецу из Кёнигсберга, отчего «чернокнижнику» Фаусту, и русскому простому сельскому попу равно мерещится «что-то святое, божественное, чудесное, неисповедимое» в мире? Оставим «мэоны» и «единое», — скучные, как доска: откуда у нас эти слезы при виде смерти, и слезы не одного испуга; откуда у нас-то, — не у Мэона, а у нас — мечты, воображение? Откуда трепет, задумчивость при закате солнца? откуда восторг тоски, когда сверлим вопросом звездную глубину в ночи? Да нет, и не это главное, не философия и вопросы: откуда в нас, едва мы выйдем из хаоса столкновений, мелочей, будней, и возвращаемся в себя, к свободе своей, успокаиваемся от вечного качания жизни — встает эта первоначальная умиленность на все вещи, и не влюбчивая, земная, а торжественная, задумчивая, уходящая в вечность, как бы никогда не рожденная и не имеющая умереть? Я упомянул о великой психологической загадке: отчего смерть, — любимого, близкого, — не ушибает нас мертвым ушибом, отчего это не просто «оглобля» и «боль», а что-то и еще есть тут таинственное, и когда мы истекаем в слезах над бездыханным телом и, кажется, хотели бы умереть за дорогого и вместо дорогого — почему эта потеря, тягчайшая собственной смерти, сопровождается каким-то другим неизъяснимым чувством, совершенно противоположным тому, что выражается словами: «ушиб», «боль», «оглобля», «скверно»? Возьмите чувство человека над гробом, отца с трупом ребенка на руках, — и сравните с равным «по ушибу» чувством человека, проигравшего в карты все состояние: вы оскорблены самым сравнением, а между тем в оскорбленности-то вашей и лежит начало очевидности тайны. Ведь случается, «проигравшийся» — повесится, т. е. для него проигрыш хуже, тоскливее, отчаяннее смерти. Но нас оскорбляет сравнение этих двух ушибов: — и в чувстве отца есть, значит, кроме ощущения ушиба, мертвой боли, раздавившего камня, и еще какая-то темная сладость, утешение, вообще что-то, являющееся не *минусом*, а *плюсом* около нашего бытия?! Действительно, день на 5-й, на
- 40 10-й, через месяц, полгода, как потерявший ребенка, видевший чужую смерть, — вырос! В нем иногда появляется бессмертная красота, которая даже передается в чертах лица! И сам он, вся душа его, другая, и это состояние души своей, встречаемое, глубоко задумчивое, опустелое — он не променяет ни за что на состояние прежнее, сытое, полное и довольное! Вообще в *негали* есть такая особенная красота, не заместимая никакой иной, ни с какою не сравнимая, что — не приходи она в мир — мир понизился бы в красоте, достоинстве; и уж если Бог есть Высшая Красота, прекраснее всех своих тварей, то совершенно бесспорно, что,

вне всяческих мэонов и независимо от их теории, это есть Печальный Бог, которому чего-то недостает. Альфа морали и эстетики: а подите-ка убедите в этом богословов, которые говорят, точно отсчитывая градусы: «всеблагий, всеведущий, вседовольный», как и греки ошибались же, определяя: «счастливые боги...».

* * *

Но, переступив по сю сторону творчества, войдя в мир существ борющихся, страдающих, угнетенных, зависимых, рабских, Минский с чрезвычайным одушевлением и большим мастерством вносит объясняющий свет туда, где человек бессильно стоял, не умея ни философски понять, ни религиозно принять явления. Самый язык его отраженно несет в себе черты мирозерцания: он горд и радостен. «Кто бы я ни был, — говорит он о человеке или от лица человека, — как бы я высоко или низко ни стоял по своим заслугам или по прихоти судьбы, властвую я или пресмыкаюсь, красуюсь ли на вершине подвигов или лежу на самом дне падения, — стоит мне только взглянуть на эту религиозную легенду, и мне открывается, что право мое на счастье и свободу не уступлено мне ни обществом, ни государством, ни человечеством, а неотъемлемо даровано мне самим творцом мира, ибо он принес великую жертву, дабы уступить мне право на индивидуальное единство. И последний приговор, насколько я оправдал божественную жертву, может быть произнесен также мною одним, а не обществом, государством или человечеством» (стр. 207). Это основание «прав», но уже не естественных, натуральных, прав косных и безыдеальных (римская юриспруденция), а прав священных, святых, хотя бы содержимое их, их голые тезисы, и совпадали с элементарною справедливостью «естественного права». Иной мотив, иные связи; и к иному это «священное право» толкает человека. Нужно заметить, даже «естественное право» не есть сколько-нибудь любимая и влиятельная дисциплина наших теперешних юридических факультетов, и последние всецело погружены в изучение приказной стряпни разных администраторов, т. е. наличности действующих законодательств, без всякой Ариадниной нити в этом не столько сложном, сколько бессмысленном лабиринте. И философско-поэтический призыв Минского, наконец — призыв религиозный, входит какою-то надеждою в эти серые сумерки. Затем он подходит к вечным скорбям человека. Мир как преисполнен малого, ничтожного, слабого, несовершенного — около красивого и сильного. Откуда это неравенство и неполнота? Но как же, спрашивает он, могло бы в мире получиться движение, если бы не было этого неравенства, если бы вещи обладали идеальной полнотою? А движение, жизнь — это такая красота с избытком покрывает некрасивость отдельных вещей. Мир беспокоеен, неуравновешен, в каждый единичный момент неустойчив: да от того, что стоять для него — и значило бы превратиться в ту ледяную глыбу будущего, о которой без ужаса не может читать человек у предсказателей-ученых. К счастью, эти угрозы-предсказания ученых едва ли оправдаются, ибо основания мировой неустойчивости не столько физические, сколько метафизические. Самые движения-то, перемены, волнения мира и в мире вытекают из обратной жажды сотворенных существ — приблизиться к Творцу, слиться с Ним. «Аппетит Бога» — так бы я назвал этот инстинкт, находящийся, среди других более древних символов (вкуше-

ние жертвенных частей), завершение свое в символе христианской евхаристии. С другой стороны, из конечности и несовершенства вещей вытекает их смерть. Нужно заметить, вся книга Минского написана в форме диалогов: двое больных в заграничной санатории для легочных больных разговаривают о «мировых вопросах». Оба окруженные смертью и болезнью, оба в ожидании смерти, — понятно, с каким волнением они о ней говорят. Возражающий указывает на паука, пожирающего муху, и спрашивает, неужели и это «гармония, что-то божественное, а не просто гадость и боль?». Излагающий теорию, пожалуй «учитель», говорит, что мы делаем не что-нибудь иное, нежели этот паук, когда садимся за обед с щами и котлетами: и однако всемирный инстинкт подсказал нам, а в заключение потребовала и церковь «не садиться за стол — не помолясь». Да, молитва перед едою: перед человеческою формою отношения паука к мухе. Действительно, один Петербург съедает ежедневно целые стада быков, в общей сумме до 10 000 голов, т. е. не менее двадцати громадных стад!!! Бррр... чудовищно! страшно представить! И — все молится, «нельзя не помолившись», «поп забранит». — «Паук *физически* отвратителен мне» — говорит больной слушатель-ученик. А разве не было в свое время отвратительно чрево матери, произведшей вас на свет, — и в самую минуту этого произведения? Однако поставите ли вы мировой минус, мировое отрицание над этим отвратительным? Исключите отвратительное из мира и мир погаснет. Уже наука не знает красивого и некрасивого, отбрасывает эти личные вкусы человека, как что-то смешное, маленькое и ложное; и еще глубже отбрасывает это религия, все мерила которой сверхэстетичны и сверхморальны. Это-то и есть та правда «не от мира сего», которую принес Христос, т. е. правда «не от частей мира», а от него в его целом, по которому «все одинаково оправдано, прошлое и будущее, я и ближний, личность Сократа и личность дождевого червяка, судьба вселенной и судьба эфемеры: все оправдано в своем неравенстве и искуплено в своей разрозненности и вражде» (стр. 212). В страдании, в умирании мы повторяем, как «образ и подобие Божие», эту мистическую жертву Бога за мир: уподобляемся Богу и даже сливаемся с Ним в этой глубочайшей Его особенности, как жертвы. Но нам лично представляются интереснее его доводы, так сказать, «от подробностей». «В религиозной легенде, — говорит он, — дается не только объяснение и оправдание смерти, но примирение со смертью — последнее интимнейшее проникновение в ее святость и целесообразность. Спросите себя: что самое заветное, самое желанное в мире? И вы, конечно, должны будете ответить: стремление к предмету любви, все равно, что бы вы ни любили: Бога, природу, истину, славу или святое уединение. А теперь представьте себе, что вы стали бессмертным, неуязвимым для смерти, что вы не в силах доказать любимому существу свою любовь, готовность умереть за него, не в силах пожертвовать собою ради истины, славы, ради любимой женщины, ради своего ребенка. Как бы поблекла красота и померк ореол грусти над любимым существом, которое не подвластно смерти! Как бы принизилась цена любви, не могущей запечатлеть себя смертью! Единственная хартия благородства, которая имеется у наших чувств, это — готовность умереть. Разорвите эту хартию — и конец нашему благородству, и мы ниже зверей, защищающих своих детенышей ценою собственной жизни. Вот почему искренняя любовь ни о чем так часто не помышляет и не говорит, как о смерти. Об этом поют все поэты; но в религиозной легенде связь любви и смерти становится сама песней, светом, благоуханием. На

смерти зиждется жизнь, и во всем мире и в каждой его грани играет и горит луч бескорыстной жертвы, т. е. любви, прошедшей через очищающий огонь смерти. Но если смерть — не лучшее свидетельство любви и ее нестираемая печать, ее венец и сияние, то как же любви враждовать со смертью и как душе не любить ее... Мне кажется, что если бы Творец спросил каждого из нас, хочет ли он жить в мире, где условием героизма, любви, красоты является самопожертвование, то все, что есть в нас героического, любящего, красивого, возвало бы: хочу! И этот хор голосов, вероятно, превозмог бы бурю предсмертных стонов, на которую указывают пессимисты» (стр. 223).

Удивительно героическая страница. Да, конечно, с таким мировоззрением легче жить. Такие мысли поднимают над землей и возвращают человеку гордость, дают ему господствовать над страданиями, несчастиями. И в то же время это не тупой, бесчувственный стоицизм и не мертвый буддизм. Здесь есть движение, горение: это — не только схема ума, но и мотив наших «сегодня» и «завтра». Я ужасно люблю свою жизнь, свою биографию, свое маленькое тельце; я так их люблю, что ни с чем не могу сравнить. Но если бы в то же время я не знал и не видел близких, дорогих людей, — как и не видел бы вещей (идейных), ради бытия и сохранения которых не позволил бы вселиться в свои легкие коховским палочкам (туберкулез), — то опостылело бы тотчас до тошноты мне и это тельце и эта биография; я сказал бы с отвращением о них: «не нужно»; самоубийство — вот что взял бы я себе, будь так пуста моя душа, что мне ради ничего не хотелось бы пожертвовать собою!!

Все это психологически тонко подмечено. Лучшие черты книги вообще заключаются в *наблюдениях* автора; там, где он, подтверждая свою концепцию, берет цветной карандаш и подчеркивает явления, которые и мы видели, но, не фиксируя их умом своим, не понимали всего их смысла. Мы изложили только один восьмой «разговор» из девяти. В других «разговорах» — не говоря о цельном ходе мысли, который можно и принимать, можно его и отвергнуть — раскидано множество любопытнейших замечаний о христианстве, о церкви, о еврействе, о язычестве. Евреи, по автору, — имея в значительной степени перед собою тему языческой же жизни: земное благополучие — укрепление его, сумели лучше его выполнить: «греческое представление о судьбе, как о силе, властвующей над людьми и богами, было глубоко чуждо и враждебно духу евреев. Они подмяли под себя судьбу, связали ее по рукам и ногам обрядами, жертвами, подношениями и всеожжениями Богу. Они каждый камешек своего жизненного здания цементировали союзом с Богом — как могли они бояться судьбы?.. Израиль не мог отпустить от себя Бога ни на шаг, ибо он строил здание, рассчитанное на вечность» (стр. 265). В специализации забот о земном евреи даже прошли вовсе мимо смерти, ничего о ней не думали, не образовали вовсе концепции о загробной жизни!

Останавливаясь над вопросом Иова — о смысле страданий, последний черной точкой, которой не умел преодолеть еврейский ум, не мощна была уяснить его и примирить с ним еврейская религия, — Минский говорит, что только Христос разрешил эту великую проблему. Есть блаженство *притяжения* к вещам, но есть такое же не меньшее, едва ли даже не большее блаженство — *удаления* от вещей, отвержения их (монашество, пустынночество, аскетизм). Психология последнего так же глубоко заложена в человека, как и психология эпикурейства, наслаж-

дения. «Стоило одному из друзей Иова сказать, что, кроме святости удовлетворения, есть святость отречения, что блаженны не только имущие, но и нищие, не только счастливые, но и страждущие и плачущие, и мятеж в душе его замирится бы навсегда. Но времена не созрели тогда для истины» (стр. 266).

Т. е. ее принес Христос, открывший впервые учением Своим и жизнью Своею двуединство православного идеала, соединивший Кану Галилейскую и Голгофу... Переходя к церкви, он указывает, как средневековый католицизм, в священном рыцарском служении и в обетах монашеского отречения, соединил и равно одобрил два противоположные подвига, два разных идеала, два пути жизни. Рыцарь, поступивший по-монашески перед битвою, покрыл бы себя позором; монах, поступивший по-рыцарски с этим же чувством гордости и своего «я», был бы отлучником от заветов аскетизма: и оба святы перед папою в Риме, перед судом небесным.

Нет двух путей, добра и зла,
Есть два пути добра,

как впоследствии поэтически он выразил эту свою мораль. Но корень ее находится в мэонизме и том «безначальном» Мэоне, который, принеся себя в жертву, сотворил мир.

Верить этому или не верить? Игра мастерская, но я удерживаю право на скептицизм относительно вообще самого существа этой игры и самого существа доски, на которой подвигая туда и сюда разные фигуры, философы удивляют мир своей замысловатостью. «Может быть — так; но может быть, и совершенно не так! — «вот все, что остается у меня последним осадком на душе. Силы автора доказаны, книга его в высшей степени интересна в чтении. О смерти и Боге мы будем думать так, как нам Господь на душу положит. *Suum cuique* *, и авторам, и читателю...

Ф. СОЛЛОГУБ КАК ПОЭТ И ПРОЗАИК

*Тяжелые сны. Роман Федора Соллогуба. 2-е издание.
С.-Петербург. 1906. Стр. 309*

Роман, впервые напечатанный лет восемь назад, только теперь получил второе издание: так трудно идут среди нашей сорной «интеллигенции» даровитые книги, если они в то же время хоть сколько-нибудь трудны для понимания и вкуса. Г. Соллогуб принадлежит, конечно, к тяжелым писателям: его психология, его манера письма, занимающие его идеи, всё — как низко-ползущие, сырые, свинцовые, темные облака. Ничей взгляд они не порадуют, ничей души не облегчат. Да автор и не стремится к этому. Он пишет про себя и для себя, как бы говоря в сторону читателя: «заинтересуешься мной — читай; присаживайся тогда ко

* Каждому свое (*лат.*).

мне — я расскажу тебе много интересного, нового, мучительного. А нет, — ступай мимо, мне и одному не скучно с моими мыслями и фантазиями». Муза его... почему мы «музу» обязаны представлять в виде воздушного и изящного женского существа? Ничуть не обязательно. «Муза» г. Соллогуба — одинокая, беззубая старуха, злоеющая и вещая; но настоящая колдунья и с чарами колдовства в себе. О многих ли поэтах и поэтиках это можно сказать? Большинство из них — просто с чернильницею, и без всякой этакой «музы» и прочей дребедени древности. Теперь «работают» стихами и прозой, а не то, чтобы «пишут» прозу и стихи...

Между стихами г. Ф. С—ба встречается тоже много «тяжелых снов», но есть и истинно прелестные, с классическою красотою формы. Ну, например это:

10

Где грустят леса дремливые,
Изнуренные морозами,
Есть долины молчаливые,
Зачарованные грозами.

Как чума непосвященному,
В сны мирские погруженному,
Их краса необычайная,
Неслучайная и тайная!

Смотрят ивы суковатые
На пустынный берег илистый.
Вот кувшинки, сном объятые,
Над рекой немой, извилистой.

20

Вот березки захирелые
Над болотную равниную
Там, вдали, стеной несмелою
Бор с раздумьем и кручиною...

Это — хорошо, как у Лермонтова, красиво, чеканно, ново. Вообще после Лермонтова и Пушкина, казалось бы поставивших «точку» русскому стихотворному мастерству, Соллогуб запел песни, — не перепевы, которые можно и хочется читать около Пушкина и Лермонтова. Это страшная заслуга, и огромная для этого требовалась сила. Или, например, это стихотворение:

30

Ангел снов невиденных,
На путях неиденных
Я тебя встречал.
Весь ты рдел, таинственный,
И удел единственный
Ты мне обещал.

Меркло полусонное,
Что-то непреклонное
У тебя в глазах;

40

Книгу непрочтенную
С тайной запрещенною
Ты держал в руках.

Что это? Никогда *обещание* греха не было выражено так красиво... Да и вообще этот лысый мудрец, около беззубой своей музы, есть парочка, знающая песни сирены, которых заслушаешься: оба они увиты туманами, неразгаданным: и мерещится какой-то грех, что-то преступное в их песнях, чего угадать не можешь, пожалуй — даже не хочешь угадывать, и только шепчешь про себя, идя торопливым, боязливым шагом: «Прости им, Боже — они так хороши».

10

Я осмеянный шел из собрания злобных людей,
В утомленном уме их бесстыдные речи храня.
Было тихо везде *, и в домах я не видел огней,
А морозная ночь и луна утешали меня.

Подымались дома серебристою сказкой кругом,
Безмятежно сады мне шептали о чем-то святом
И, с приветом ко мне обнаженные ветви склоняя,
Навевая мечты, утешали тихонько меня.

20

Улыбаясь мечтам и усталые взоры клоня,
Я по улицам шел, очарованный полной луной,
И морозная даль, серебристой своей тишиной
Утишая тоску. Отзывала от жизни меня.

Под ногами скрипел весь обвеянный чарами снег,
Был стремителен бег легких туч на далекий ночлег,
И, в пустынях небес тишину ледяную храня,
Облака и луна отгоняли тоску от меня.

Некоторые из приведенных строк, как, напр., эта «серебристая сказка» затянутых инеем домов (действительно ведь сказка!) не уступают в прелести, силе и поэтичности некоторому стиху русской литературы.

30

Проза его — это сплошь «тяжелые сны», что-то на границе возможной и невозможной действительности, — небрежные очерки быта, житейских портретов, рисуемых с презрением к сюжету, с слабым интересом к житейскому положению фигур, к судьбе их... Говорит ли он о любви двух существ: он и не интересуется, как и чем она кончится. Поженятся ли негероические его «герои», или умрут, или сойдут с ума — автору почти все равно. Он едва помнит, нужно ли им умереть или пожениться. Воистину «тяжелые сны», тягучие, без начала и конца... Автор интересуется «сегодня» своих героев, передает их речи, глубоко натуральные, даже натуралистические, — их психологию, всегда мелкую, даже мелочную, их глупости, страсти, пороки, преступления, точно бабушка-колдунья рассказывает о полузабытой были столетней давности. Письмо автора не везде ровное:

40

* *Lapsus linguae* <обмолвка>: «*кругом*».

там, где оно касается редких случаев психологии жизни, именуемых неопытной юностью и недоучившимися своей науке профессорами, «извращенностью», там письмо его приобретает такую силу и глубину, что страницы его романа хочется назвать, в данном направлении и с данным содержанием, первенствующими в нашей литературе. Такова глава девятая лежащего перед нами романа, — где дочь становится соперницей своей матери (второго ее мужа), — счастливою, торжествующею: но какие видения, какой ужас она переживает в минуты свиданий и после них! Кровосмесительница, — она каждый раз чувствует, что мать ее видит, видела, была свидетельницей сладких мук и преступных упоений... Тяжкий как «сон», язык автора совершенно затушевывает грань между действительностью и видением, между призраком и реальным, и читатель испуган, чувствуя, что здесь кончилась литература и началось какое-то подлинное колдовство. Для коего действительно дан фундамент, показаны его реальные основания. И он, читатель, чувствует, что подобное неестественное отношение полов, вражда и борьба родных кровей, в одном устремлении и в одном обладании, не может иначе выразиться. Как в этих полукошмарах, полуреальностях.

Она (Клавдия, дочь) опустила руки на его плечи и нежно и горько улыбнулась.

— Будем жить жизнью, — сказала она, — одною жизнью.

Лицо Палтусова озарилось торжествующей улыбкой. Клавдия почувствовала себя в сильных и страстных объятиях.

С новой главы:

Клавдия порывисто освободилась из объятий Палтусова и крикнула испуганно и отчаянно:

— Она была здесь.

Палтусов в недоумении смотрел на ее бледное лицо с горящими глазами.

— Кто? — спросил он голосом, пересохшим от волнения.

— Мать, — прошептала Клавдия, — я ее видела. Она постояла в дверях, засмеялась и ушла потихоньку..

Это — начало «падения» дочери. И с каждой ночью обладания призраки усиливаются. В последнюю ужасную ночь настоящая ли мать, призрак ли ее (читатель не умеет разобрать) выводит дочь свою в сад.

— Пустите, мне холодно.

Мать опять посмотрела на нее остановившимся пустым взором, и опять безмолвный смех разлился на ее лице и обезволил Клавдию, — и опять она пошла за матерью. Зинаида Романовна (мать) крепко стискивала пальцы Клавдии, но Клавдия не чувствовала боли. Так дошли они до беседки и поднялись по ее ступеням. Зинаида Романовна резким движением руки бросила Клавдию на скамейку.

— Здесь, — тихо и отчетливо заговорила она, — ты лежала в объятиях чужого мужа, а здесь я стояла и смотрела на тебя. Здесь я проклиная тебя, на этом месте, которое ты осквернила. Беги, куда хочешь, бери с собой своего любовника, заводи себе десятки новых, — нигде, нигде ты не найдешь счастья, проклятая.

Ведет ее дальше.

— Каждая аллея этого сада слышала твои бесстыдные поцелуи.

Дочь говорит, что она не боится ее проклятий, и снова пытается вырвать руку.

— Здесь, — сказала Зинаида Романовна, — ты опять ласкала его, а я стояла сзади и проклинала тебя. Когда вы ушли, а я осталась здесь одна, над этим прудом, я думала о смерти, о мести. Здесь я поняла, что не надо смерти: ты, проклятая, не увидишь ни одного светлого дня. Ни тени счастья, ни тени радости... Любownik истерзает твое сердце, муж оскорбит и изменит, дети отвернутся от тебя, — тоска будет преследовать тебя. Ты знакома с нею: ты уже теперь пьешь вино, чтобы забыться... И я пожалела тебя, ведь я тебе мать, несчастная... Я думала: лучше бы тебе потонуть в этом пруде, чем жить с моим проклятием.

10 — Не боюсь я твоих проклятий, — угрюмо сказала Клавдия, а счастье... на что мне оно? Да я счастлива.

— Нет, ты дрожишь от страха.

— Мне холодно.

Клавдия рванулась из рук матери.

— Подожди, — удержала ее Зинаида Романовна, — слушай мое последнее слово. Смотри, какая тебе хорошая могила в этой черной воде: умри, пока он тебя не бросил; теперь он хоть поплачет о тебе... Хочешь? Я помогу... Тебе страшно? Я толкну тебя.

Зинаида Романовна влекла дочь за руку к берегу пруда. Клавдия в ужасе отбивалась. Наконец, Зинаида Романовна оставила ее.

20 — Нет? Жить хочешь, — злобно прошептала она. — А, живи, живи, проклятая! Голос Зинаиды Романовны зазвучал бешенством.

Она схватила обеими руками ворот рубашки Клавдии и сильно рванула его в обе стороны, — легкая ткань с легким треском разорвалась.

— Иди теперь к любовнику. Проклятая. Бесстыдная.

Едва прикрытая разорванной рубашкою, бежала Клавдия по темным дорожкам сада.

30 Судя по некоторым «вещественным доказательствам», мать иногда была точно тайною свидетельницей свиданий мужа с дочерью; остальное — дополнительные галлюцинации. Они написаны с силой Достоевского: и насколько это убедительнее всех статей, всех кодексов по семейному праву, воспевающих родственные браки; насколько это объясняет инстинкт всемирного отвращения и страха, переходящего в ужас (Эдип) в отношении подобных сближений. Эти страницы из Соллогуба, как некоторое «εἶδος λόγος», как вместе с тем — реальный документ (такова сила изобразительности у автора), должна бы быть перепечатана в курсы канонического права, если бы они обещали или если бы угрожали когда-нибудь поумнеть...

В. В. СТАСОВ

(Некролог)

40 Умер Владимир Васильевич Стасов, известный писатель по вопросам искусства, археологии, народного творчества и другим областям, сюда относящимся. Он родился 2 января 1824 г. в Петербурге, учился в училище Правоведения, откуда вышел в 1843 году. Первая печатная его статья появилась в «Отечественных За-

писках» 1847 г. о Берлиозе. Затем он писал в «Современнике», «Библиотеке для Чтения», «Русском Вестнике», «Вестнике Европы», «Русской Старине», «Древней и Новой России», «Записках Академии Наук», «Известиях Археологического Общества», «С.-Петерб. Ведомостях», «Голосе», «Нов. Времени» и друг. Из отдельных изданий его самое большое, «Славянский и восточный орнамент», было напечатано в 1880—1881 гг. Самая важная часть его деятельности заключалась в критических статьях об искусстве, особенно о И. Репине, В. В. Верещагине, М. Антокольском, В. Перове, И. Крамском и о всех почти выдающихся русских музыкантах: Глинке, Кюи, Даргомыжском, Серове, Мусоргском, Бородине и др. В литературе он всегда являлся пылким проводником начинающих новых движений в искусстве. Так, его имя нераздельно слито с «передвижниками», когда-то порвавшими связь с академией и выступившими смело на новый путь народного реализма. Здесь он сделал чрезвычайно много, хотя более в смысле общественного движения, нежели собственно эстетической оценки. Он поднимал общественное внимание в сторону начинающего дарования, начинающегося нового течения в искусстве, являлся горячим популяризатором, неутомимым полемистом, и хотя все его работы в этом отношении не всегда отличались тонкостью и вкусом, но они всегда достигали своей цели, обращали внимание на новое явление.

Собрание сочинений В. В. Стасова вышло в 1894 году в трех больших томах. Кроме того можно упомянуть о его обширном труде «Еврейский орнамент», основанием для которого послужило известное собрание еврейских рукописей Фирковича, поступившее в Имп. Публичную Библиотеку. Книга, с богатым атласом, была издана Орасом Гинцбургом. Почти на днях еще появился четвертый том его сочинений, заключающий в себе все, что им написано по искусству с 1894 г.

НАТАЛИЯ ГРОТ. СВОБОДА В ЖИЗНИ И ГОСУДАРСТВЕ

*Этюд по Чаннингу. Второе издание. В пользу голодающих.
Стр. 30. СПб., 1906*

Ангельское понятие свободы — в руках дьявола превращается в сатанинское исчадие, мучащее человека всеми муками преисподней. Как рождение, самый великий, святой и благородный акт, — около себя и при своих искажениях несет самые смрадные пороки, одно имя которых мучает человечество, — так и факт свободы есть кислород жизни, условие всякого дыхания, превращающийся около зараженных уст в отравляющее зловоние. Именно святые-то понятия, святые факты почему-то и дают вместе с тем начало ужасающей веренице нисходящих, низвергающихся величин... Маленькая брошюрка, заглавие которой мы выписали, — очень умно переиздана в этот год. Она трактует о духовной свободе как основании свободы гражданской и политической, о религии, о цивилизации и ее значении для свободы; о правительстве и государственных людях. Н. П. Грот, супруга нашего знаменитого филолога Я. К. Грота, — в свое время была поражена мыслями, найденными ею у американского мыслителя Чаннинга († 1844 г.), и по-

луперевела, полусоставила этюд по ней в 1878 году, когда мы боролись за свободу южных славян. Она приводит в предисловии слова Лабулэ, переводчика Чаннинга на французский язык, и они так удачны, что будут лучшим введением и рекомендациею и для русского читателя:

Недавно попались мне случайно в руки творения Чаннинга. Читая писателя, умершего уже несколько лет назад и которого имя мне было вовсе неизвестно, я был изумлен и даже смущен, найдя в нем рассмотрение и даже разрешение тех ужасных задач, которые под именем социализма волнуют всю Европу и висят еще на горизонте грозными тучами.

Н. П. Грот собственно воодушевилась только Чаннингом, но разложила его мысли самостоятельно. Эпоха, когда она воспиталась и жила, и люди, с которыми она жила, — все это имело о свободе, о цивилизации, о гражданственности совсем иные понятия, чем какими питается наше время, увы, уже не имеющее таких руководителей, как люди тех десятилетий.

ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКИЙ ОБ ИСКУССТВЕ

Толстой не уважает искусства потому именно, что оно — *искусство*, т. е. искусственно, являя *работу* человеческого *воображения* и *мысли* над предметами реального мира, над лицами и положениями реальной действительности, тогда как предметы должны существовать как есть, и человек должен смотреть и видеть их как они *есть*, без всякой прибавки. Лежит кирпич, и человек видит, что это — кирпич; «вот и довольно», говорит Толстой. Но подходит архитектор и начинает из кирпичей складывать *красивое* здание. «Зачем? — спрашивает Толстой, — этого *нет в природе* и потому это *ложно*»; «если вы хотите защитить человека от дождя — протяните над ним навес, как над лошадьми; если в ваше доброе намерение входит защитить ближнего от холода, то постройте для него кирпичный сарай, только с окнами. Сарай — и больше ничего, для человека и для коровы. При чем тут *красивое*? Непонятно и глупо».

Он мог бы спросить: «Зачем красивое солнце, если есть керосиновые лампы? и зачем светят звезды ночью, когда животные в это время спят, а человеку даже безнравственно гулять по ночам?».

30 Еще «в соблазн вводят» ... «не надо бы звезд».

Да и наконец зачем этот «Бог» соблазнитель, рассыпавший звезды по небу, создавший шум дубравы, и пахучую весну, и красоту женщин, в которых мы любимся? Зачем? Для чего? Столько «искушений»...

Возьмем, однако, вопрос крючком за ребро: у Толстого — судя по фотографиям — несколько дочерей: и *пожелал ли бы он в душе своей искренно* (пусть напечатает об этом), или, точнее, было ли время, когда бы он искренно желал в душе, чтобы они были наружностью отвратительны или гадки и неинтересны, как доски, и никого бы не «соблазняли», и в конце концов ни за кого бы не вышли замуж и никогда бы не имели детей? Искренно — и искреннего ответа спрашиваем: и вправе спросить; ибо он искренно нас упрекает: зачем вы *нравитесь* друг другу, зачем вы делаете *нравящееся*, зачем вы занимаетесь *искусством*?

Это еще с «Крейцеровой сонаты» пошло. Но дело в том, что для себя и про себя и он «искусством занимается»: ну, хотя бы на степени вот этого желая, чтобы дочери его не были безобразны, и чтобы, напр., мужик, который косит траву, косил ее сильно, ходко, размашисто. Красивое — полезно! Ничего нет «полезнее» красоты для женщины (выйдет замуж, будет иметь детей), да и для нас, людей, нет ничего полезнее солнышка, дубравы и вот «Полного собрания сочинений гр. Л. Н. Толстого». Столько утешений! Без этого бы «хоть удавиться». А что же вреднее для человека, как удавиться?

Натурую свою, *натурально* Толстой не отрицает искусства, ибо его и невозможно отрицать, так как искусство слито с каждым нашим шагом, со всяким движением, с каждым поворотом мысли. Искусство есть просто «нравится» и «не нравится», а без «нравится» и «не нравится» так же невозможно жить, как без правого и левого, без дня и ночи. 10

Он отрицает искусство не *натурую*, а *выдумкою*. На солнышко он сам засматривается, а вот если в катехизисе написано: «Бог сотворил мир прекрасным для любования человека», то эту страницу катехизиса он будет отрицать как «ложную и безнравственную», отрицать даже до гнева. Но, читая все его морализующие теории, хочется, посмеиваясь, ответить ему словами Стивы Облонского:

Узнаю коней ретивых
По таким-то их таврам,
Юношей влюбленных
Узнаю по их глазам...

20

И *натуральную* влюбленность Толстого во всякую красоту мы тоже узнаем по таким-то и таким-то непререкаемым его «таврам», которых не скрадут его рассуждения.

И Бога Толстой любит, боится Его, чтит Его.

И красивых людей он любит.

И красивых женщин любит.

И чтобы внуки у него рождались красивые, здоровые, с хорошенькими голубенькими глазками, ведь любит же он это? 30

Что шило в мешке таить? И что писать какие-то задрапировывающие дело рассуждения.

Но зачем же эта драпировка, манерность и уверение, что «все мне не нравится»? У Толстого есть, в сущности, своя теория искусства, которою он и борется со всеми остальными, которая его и толкает на эту борьбу. Теория эта заключается в убеждении, что ничего нет лучше того, *это* и *как* есть, и что поэтому надо просто — жить и наслаждаться жизнью, и от наслаждения этого не отвлекаться куда-то к вторичным, побочным задачам, напр., чтобы еще «воспроизводить» то или иное.

Мужик едет — и пускай едет. Зачем его «рисовать»? 40

Нужно согреться — строй сарай. А то еще, занимаясь архитектурой, просидишь дня три в кабинете над чертежами и упустишь «солнышко». А лучше «солнышка» ничего нет, никакие картины его не лучше.

Тут много Диогена, много индусской мудрости, много русского мужика, некультурного, но и не без своеобразной мудрости.

Толстой почему-то не хочет признать, что искусство и даже вычурнейшее искусство, предмет его отвращения, есть та же «матушка натура», как и все прочее, как само хотя бы «солнышко». Кто любит шумящую рошу, а кто вот безумно любит театр в эту торжественную его минуту, когда дирижер поднял палочку, сейчас грянет оркестр и взвоется занавес. Ну, любит тою безумною любовью, как его любит больной, чахоточный и алкоголик Альберт (в рассказе этого имени), такой *талантливый*, такой *привлекательный*

Да, Альберт. Что он делает? Пьет, художничает. Всем мешает, хоть и не очень, — никому не полезен. Но променяли ли бы мы или сам Толстой этого «ненужного человека», «лишнего человека» на наиболее полезного бухгалтера в местном тульском отделении Государственного банка — человека непьющего, трудолюбивого, всем полезного и никому не вредного?

Все сводится к вопросу: «удавиться». Да, будь в цивилизации только честные бухгалтеры — мы бы удавились с тоски. А ведь нет ничего «вреднее», как удавиться. Есть Альберты — и к нам возвращается способность смеяться, умиляться, ненавидеть, роптать, жалеть и пр. — и мы не удавимся. Сохраним жизнь, т. е. самое полезное. Таким образом — уж простите за парадокс — нет ничего полезнее «беспольного», ничего нет нужнее «лишнего». «Лишние люди» — да это наши спасители. Мы им для интересных «Дневников» и бумажки заготовим; напьемся (как Альберт) — станем с ними нянчиться, ухаживать. «Наши избавители от отчаяния и смерти».

Искусство в «вычурном» его, в капризах, «ненужностях» (черные точки искусства, раздражающие Толстого) и суть такие «Альберты»-алкоголики, прелестные и необходимые, мучительные и неоправдаваемые... В конце концов, все это такая же «натура», как и трезвые бухгалтеры или упрощенные рассказы Толстого. Есть хлеб, и есть хлебное вино: одно сытит, другое пьянит, от одного — не умираешь, от другого — весело. Ну, а где больше «натуры»? Соглашаюсь, что в хлебе больше: но отрицать, что в вине нет «натуры» — никак решительно невозможно! А в хмеле, который растет просто вот «под Боженькиной ручкой» и у Боженьки из ручки, — опьянение уже содержится как прямой первичный факт, явно и очевидно «указанный Самим Богом». Что делать, пусть моралисты поусмирят свои нервы. Возвращаюсь к искусству или, точнее, применяю эту космологическую истину о натуральности хлеба и хмеля к искусству: «выспренняя» лирика Державина с его:

Глагол времен! Металла звон!

нисколько не менее натуральна, необходима и в своем роде «правдива и проста», как и «Мужик Марей» Достоевского или «Много ли человеку земли нужно» Толстого; ибо то были, в его (Державина) время, в его кусочке истории — естественнейшие, всеобщие, всех радовавшие чувства и способы мысли и чувствования.

40 «Как жили — так и писали» — Державин и Толстой, с тем же правом, не большим ни у которого.

Толстой упрекает Шекспира за «напыщенный язык его королей». Что делать, — «так жили, чувствовали и писали». Первое действие «Короля Лира» он... рассказывает своими словами, передает в «gesühé»!.. Точно протокол в следствии! Конечно, что же осталось от трагедии, от искусства? Так мало, что и назвать

нечем. В искусстве важно не то, *о чем* рассказывается: это только кирпич для здания; искусство начинается с того, *как* рассказывается — как в архитектуре оно начинается с линий здания, карнизов, колонн и всяких «вычур» «не нужного». Толстой упростил до *схемы* историю «Короля Лира», передал ее своими словами вместо монологов, — и у него, конечно, на страницу газеты легла та мазня на 2 или 3, которая выходит у гимназиста, когда он в ежемесячном отчете дает учителю «изложение своими словами „Мертвых душ“».

Что он от литературного произведения ожидает *схемы* и хочет *схемы*, хочет нравоучения, а не жизни, видно из таких обмолвок его: «Корделия, *олицетворяющая собою все добродетели*, так же как старшие две сестры ее, *олицетворяющие все пороки*»... Можно удивиться: отличительной особенностью Шекспира, как известно, и *новизною* в литературе и служило то, что он отнюдь занимался не «олицетворениями», а живыми людьми. А вот Толстой начиная со «Смерти Ивана Ильича» действительно занимается «олицетворениями», где искусство есть еще, но как бы завалившись в щелочки рассказа, есть как побочное, «мимоходом», но уже не в самой теме и сущности рассказа. Так Шекспир так-таки и не «умеет писать»? посредственный литератор? лишен вкуса и чувства меры?

Тебя, я вижу, просто посетила
Царица Маб; она ведь повитуха
Фантазий всех и снов. Собою крошка,
Не более, чем камень, что блестит
На перстне альдермана, — шаловливо
Она порхает в воздухе ночном
На легкой колеснице и щекает
Носы уснувших. Ободы колес
Построены у ней из долговязых
Ног паука; покрывка колесницы —
Из крыльев стрекозы; постромки сбруи —
Из нитей паутины, а узда
Из лунного сиянья. Ручкой плети
Ей служит кость сверчка, а самый бич
Сплетен из пленки... В этой колеснице
Промчится ль ночью по глазам она
Любовников — то грезятся тогда
Им их красотки; по ногам придворных —
То им до смерти хочется согнуться;
Заденет адвоката — он забредит
Богатым заработком; тронет губки
Красавицы — ей снится поцелуй.
Порой шалунья злая вдруг покроет
Прыщами щеки ей, чтоб наказать
За страсть к излишним лакомствам. Законник,
Почуяв на носу малютку Маб,
Мечтает о процессах. Если ж вдруг
Она пера бородкой пощекочет
Нос спящего пастора, то ему

Пригрезится сейчас же умножень
 Доходов причта... Она же заплетает
 Хвосты и гривы ночью лошадям,
 Сбивает их в комки и этим мучит
 Несчастных тварей. Если же заснут
 В постели навзничь девушки, то эта
 Проказница их тотчас начинает
 Душить и жать, желая приучить
 К терпенью и сносливости, чтоб сделать
 Из них покорных женщин. Точно также
 Царица Маб...

10

Р о м е о

Меркуцио, довольно!

Ты вздор болтаешь.

20

И неужели, неужели Толстой, сказавший о себе, что он умел «ценить и понимать поэзию везде, где находил ее, у всех народов и во все века», не скажет об этой странице, что человечеству и ему самому, Толстому, было бы скучнее жить, не будь эта страница написана в Англии, в XVI веке, почти одновременно с тем, как у нас поп Сильвестр писал свой неуклюжий «Домострой», а Грозный резал, топил, давил и растлевал людей... И неужели он пояснит, что «никакой царицы Маб не существует, ибо нигде на географических картах ее царства не значится, и это — пустой и притом безнравственный вымысел, так как, пересмеяв все честные человеческие профессии, Шекспир обнаружил очень мало любви к ближнему»... Фу, задыхаемся!

* * *

30

Все благо под луной и солнцем, — и уж не послан ли нам последний фазис деятельности Толстого в том провиденциальном намерении, чтобы памятно и нестерпимо нам натереть «мозоль» фарисейства: дабы и через 40—50 лет, если кто-нибудь, подняв очи к небу, начнет вздыхать, что «Шекспир дурно относился к рабочему классу» или что Гёте не всегда подавал филантропическую копейку, мы и потомки наши с мукою закричали все: «Ах, Боже, это опять как у Толстого, замолчите!» Его рассуждения последних лет имеют прелесть веревки «с коростой», которою, продев ее через живое тело, пиликают взад и вперед.

Каково отношение Толстого к культуре? Чем он является в нашей бедной русской культуре?

* * *

Культура есть движение, культура есть любовь. История началась не с первого негодования человека, не с Каина: она началась с первого восхищения человека, с жертвы Богу Авеля, «Богу», т. е. вот всему этому миру, и дубравам, и звезд

дам, и, верно, «кому-то, кто прячется за покровом звезд и дубрав». Кто ведает, что думал человек, когда приносил свою первую жертву...

«Solo» — чту, почитаю; отсюда супинная форма — cultum, и уже отсюда существительное — «культ», и другое, дальнейшее — «культура». Все это — «почитание», связь «почитаний», родство «почитаний». В наше время всяческих отрицаний и порицаний ужасно трудно проводить эту мысль, что великое, почтенное, седое древо истории все и выросло из этих «почитаний»; и хотя, конечно, разрушения, революции суть совершенно необходимые условия роста, однако именно только «условия» вроде «голода» для «добывания пищи»: а история вся выросла в положительном своем содержании из великих, благоговейных, *склоняющихся* 10 чувств. Лютер не тем совершил дело свое, что выгнал из Германии прежних попов: этим бы он ровно еще ничего не совершил; он велик был тем, что в XVI веке сохранил теплоту, восторг и наивность веры III—II века, энтузиазм апостольский. Так энтузиазм, а не сатиру... И революционеры XVIII века тем, и притом единственно тем были велики, что среди цинизма стародворянской Франции, Франции напудренных маркиз, ловеласничающих аббатов и кудесников, как Калиостро, — образовали мечту новой братской общины, общины бедных и трудящихся, и, словом, — «égalité, fraternité, liberté» *... Теперь для нас это — фраза, пустой звук: сейчас Франция за эти слова и не поднялась бы на штыки и со штыками. Святость минуты, этих каких-нибудь десяти лет, и заключалась в том, что эти 20 слова, для нас шаблонные, загорелись как первая истина, святая, непререкаемая, очевидная от старцев до 11-летних мальчиков. Они «поверили», «почтили» («solo» — «чту», «cultum», «cultura»): и этою-то верою, святою, как жертва Авеля, опрокинули старый мир, потрясли Европу. Да, и Лютер и Дантон, как ранее — Эразм, и еще ранее — бл. Августин и совсем рано — ап. Павел: все они суть «читатели», «благоговеющие», «склоняющиеся». Это-то великое братство склоненных, преклоненных голов, внутри себя чему-то молящихся, кротко, послушно, смиренно, — это братство безмолвных (в первом фазисе деятельности) энтузиастов и образовало все движения в истории, те минутные судороги и затем вековой труд — собственно «прилежания», старательной работы, именно работы 30 около предмета мечты и энтузиазма.

Да, этот языческий символ — две белые коровы, запряженные в плуг и проводящие им борозду, куда бросаются зерна, — есть и останется навсегда символом цивилизации, культуры, истории.

Прикинем это мерило к идеям Толстого.

Ну, Шекспир «безвкусен»: что из сего следует? Перестать изучать Шекспира.

А искусство как выдумка, «бесполезное», «лишнее»? И оно — отрицается. «Шабаш» и с искусством.

«Наука», видите ли, и та «не верна», или «ложна», «бесполезна». Закроем гимназии и университеты. 40

«Бог?». — «Все не достоверно!». Вот, и отлично — не надо ходить к обедне.

После всех этих «не надо» останется очень мало: останется ровно столько, сколько было до истории. Может быть, хорошо? Для кого как.

Толстой — гениален, и проживет без «наук, истории и религии». Зачем ему все это, если все это из него самого растет? Счастливая почва. Но мы гораздо бед-

* «равенство, братство, свобода» (фр.).

нее, у нас «землицы чуть-чуть», мы — простые средние люди, без гениальности, без таланта: чем мы-то будем жить без религии, искусства и науки, без Шекспира и «праздных выдумок»?

Антикультурность Толстого есть великая без-народность: «культура» еще не так необходима индивидуумам, «кой-каким талантишкам». Но она абсолютно необходима «середине», народу, «серым», «всем»: эти-то «все» без культуры — как без рук, без ног; как рабочий без инструмента, крестьянин без сохи и ясной погоды «для сеяния». «Культура» всем помогает, всех поднимает; это — «запас
10 прошлого», при котором и бедняк — не бедняк. Толстой — великий филантроп: между тем нет ничего более антифилантропического, так страстно-индивидуального, «ему одному нужного», и нужного вопреки решительно всем человеческим
нуждам, чем эта вся его последняя деятельность, направленная против «наук, искусств и истории».

Часто проводится сближение между Толстым и Достоевским. По глубине вникания в душевную жизнь человека и по постоянному тяготению обоих к религии, они, конечно, близки, — и притом только они двое близки между собою в нашей литературе. Но, как известно, между ними уже и при жизни начались нестерпимые расхождения (по поводу философствований Левина). Проживи Достоевский
20 дольше, они возросли бы. К числу этих точек расхождения относится и искусство.

Помню, когда в 1883 году появился первый том первого «Полного собрания сочинений» Достоевского, содержащий биографию и письма его, то, читая письма его к брату Михаилу, писанные еще в 1838—1840 году, я был поражен разбросанными здесь и там мыслями его о литературе, или, точнее, его *чувством* чужого слова, чужого вымысла, манеры и художества. Притом — чувством совершенно оригинальным, ему *лигно*, Достоевскому, принадлежащим, не вычитанным, не заимствованным. Время это было совсем юношеское. В одном месте письма Достоевский, парируя упрек брата, почему «Федя не отвечает ему на
30 письма по всем пунктам», замечает, что не хватило бы для ответов «по пунктам» ни времени, ни бумаги, и что поэтому такие вопросы, как «есть ли у тебя усы» (т. е. начали ли они расти), он вынужден оставлять без ответа. Он был в старших классах Инженерного училища, проходил лагерную службу, писал письма к отцу, начинаемые неизменным: «Любезный папенька»... Словом, — юность в полном
цвету, «детство» еще на губах не обсохло; и не без упрека нашему времени и нашему юношеству нельзя не указать, какую бездну книг прочли уже в этот возраст
оба брата, живя в нужде, ученическом затворе и довольно аккуратном выполнении всех требований учено-военной школы. Можно сказать, внутренний огонь, огонь страстной жажды литературы, пожирал обоих братьев: и они сквозь все
40 препятствия успели к 18—19 годам познакомиться с такими произведениями, каких часто и в зрелые-то годы еще не читали, по крайней мере, *так* не читали, с этим *жаром*, современные нам мужи, подвигающиеся на поприщах техники и даже педагогики и, наконец, науки! Литературные образы, навеянные чтением, так и мелькают в письмах, и собственные ощущения, начинающийся опыт жиз-

ни, чередуются с воспоминанием ощущений литературных героев. В письме от 9 августа 1838 г. он пишет:

Не знаю, стихнут ли когда мои грустные идеи? Одно только состояние и дано в удел человеку: атмосфера души его состоит из слияния неба с землею; какое же противозаконное дитя человек; закон духовной природы нарушен... (пропуск в напечатанной части письма). Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешной мыслью. Мне кажется, мир принял значенье отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира». И, несколько далее: «Видеть одну жестокою оболочку, под которой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно, чтобы разбить ее и слиться с вечностью (говорится о самоубийстве), знать это и однако оставаться как последнее из созданий... Ужасно! Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет! Когда я вспомню эти бурные, дикие речи, в которых звучит стenanье оцепенелого мира, тогда ни грустный ропот, ни укор не сжимают груди моей... душа так подавлена горем, что боится понять его, чтобы не растерзать себя. Раз Паскаль сказал фразу: «Кто протестует против философии, тот сам философствует». Жалкая философия. Но я заболтался...»¹⁰

Читатель не улыбнется выпренности языка: ведь пишет юноша с невыросшими усами. Но слова о «небе и земле, соединенных в человеке» — не фраза, а свое, душевное. И оно пронесено было, это раннее чувство, Достоевским до могилы, повторившись на краю ее в словах незабываемой силы и значения: «Бог взял семена из миров иных и насадил сад свой на земле: но все, что живо на земле, — живо этим чувством касания своего с мирами иными» («Бр. Карамазовы» — глава «Из поучений старца Зосимы»). Мысль здесь та же самая, как в этом раннем отрывке, и после него сейчас: «Гамлет! Гамлет!». Вот, кажется, Толстой никогда не переживал хроники-трагедии Шекспира этим своим *лигным* чувством; не мерил его мерою своего параллельного ощущения. Несчастье и слабость его критики шекспировского творчества проистекает из того, что он смотрел на него не как на факт *бывалой* и *бывающей* психологии «вот у меня», «вот у него», а только как на книгу, — притом не свою, не русскую, а какую-то «из аглицкой литературы XVI века».²⁰

В том же письме, в конце его, Достоевский пишет:

Ну, ты хвалишься, что перечитал много... но прошу не воображать, что я тебе завидую. Я сам читал в Петергофе по крайней мере не меньше твоего. Весь Гофман, русский и немецкий (т. е. непереуведенный «Кот-Мур»), почти весь Бальзак (Бальзак — велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека). «Фауст» Гёте и его мелкие стихотворения, «История» Полевого, «Уголино», «Ундина» (об «Уголино» напишу тебе кое-что после). Также Виктор Гюго кроме «Кромвеля» и «Гернани». Теперь прощай; пиши же, сделай одолжение.³⁰

Слова о Бальзаке и самая форма, в какой они сказались, замечательны. Не забудем, что это сказано в ту пору литературного романтизма и идеализма, когда все, и старики и молодежь, зачитывались Гёте и Гегелем, и когда чувство *натурального*, так сказать, *физиологического* и искусстве, было очень слабо, если не совсем отсутствовало. Сам Гоголь был натуралистом-художником, а не натуралистом-физиологом: он был натуралист в *приемах* изображения, а не в чутье действительности, не по вкусу к ней. Бальзак богат именно этим вкусом к реаль-

ному, к грязной улице, к пузатому человеку: слова Д-кого «о тысячелетиях, которые подготовили появление Бальзака», и имеют в виду не «тысячелетия» собственно, но всю эту толпу романтических и идеалистических чувств, давно сложившихся и застывших, казавшихся в ту пору «вечными».

Пишет все это еще ученик школы, даже не последнего класса, судя по последующему письму от 31 октября: «Скверный экзамен! Он задержал меня писать тебе и папеньке. И что же вышло? Я *не переведен!* О, ужас».

10 Кому знаком уровень развития наших уже 18–20-летних гимназистов, кто читывал их «сочинения на испытание зрелости» и поражался непередаваемой неуклюжестью, неповоротливостью их мысли, отсутствием всякого *мастерства* в обращении с идеями и со словом, тот будет изумлен зрелостью всех этих писем, с мелькающими абзацами философского содержания:

20 «Ум — способность только материальная, душа же живет тем, что нашептывает ей сердце. Ум — только орудие или машина, движимая огнем душевным... «Философию не надо полагать простой математической задачей, где неизвестное — природа!.. Заметь, что поэт в порыве вдохновенья разгадывает Бога, следовательно, исполняет назначенье философии. Следовательно, поэтический восторг есть восторг философии. Следовательно, философия есть та же поэзия, только высший градус ее!.. Странно, что ты мыслишь в духе нынешней философии: сколько бестолковых систем ее родилось в умных пламенных головах».

Какой крепкий язык, уверенность в тоне. Точно пишет 40-летний человек.

30 Читатель отметит в уме своем это постоянное стремление Достоевского, — столь противоположное у него с Толстым, — вникать в *усложнения* всякого рода, будут ли то усложнения мысли или усложнения жизни, а не бежать от усложнений, бежать к тому «простому» (любимое понятие Толстого, любимейшие им явления жизни), которое нередко есть просто элементарное, — есть только легкое, нетрудное. Отсюда, любя труд и не отрицая с первого же налета сложностей и запутанностей бытия и мышления, Достоевский никогда не мог начать восставать против «науки» и наукообразности, как таковой. Все это делает из Достоевского глубоко-культурного писателя, в том значении «культуры», как мы объяснили выше. Самый пламенный ученик Достоевского, «вторя словам учителя», никогда не будет накидываться на неусвоенную и неперевавленную науку. Да и «повторять слов» ему вовсе не придется: проникнутый Достоевским, он будет учиться и учиться, вникать и вникать, читать и читать: вещь совершенно противоположная «простому» (и, заметим, не трудному) образу жизни в толстовских колониях. У Достоевского попадают в «Дневнике писателя» и в «Бр. Карамазовых» выходы против науки, издательства, напр., над естествознанием, над физиологией, над «Бернарами» (Клод Бернар в изложении Митеньки Карамазова): но в направлении и по мотивам совершенно противоположным тем, по каким это делал Толстой. Толстой бранил науку за то, что она слишком «хитра», а Достоевский смеялся над тем, что она слишком уж «не хитра». Он бранил *текущий* только фазис науки, этот позитивизм наших 70-х и европейских 50-х — 70-х годов, с его надменной верой, что он все уже объяснил или все скоро объяснит, что вне его путей нет, а собственная его коротенькая дорожка заключается в монотонном повторении, что «Бога — нет, души — нет, а есть только нервы-с». Против этой коротенькой и сомнительной науки Достоевский и спорил: и не прошло чет-

верти века, как наука сама слишком оправдала предвидения Достоевского, вечный зов его к сложному, глубокому, к трудному и неисследимому. В напечатанной после смерти его (в том же изд. 1883 г., т. I, стр. 370) «Записной книжке» он, набрасывая черновик своего ответа Кавелину, говорит:

Есть некоторые жизненные вещи, живые вещи, которые весьма, однако, трудно понять от чрезмерной учености. Ученость, — такая прекрасная вещь даже и в случае чрезмерности, — обращается от прикосновения к иным *живым* (курсив у Достоевского) вещам в вещь даже вредную. Не все живые вещи легко понимаются. Это аксиома. А чрезмерная ученость вносит иногда с собой нечто мертвящее. Ученость есть материал, с которым 10
иные очень трудно справляются...

Чрезмерная ученость не всегда есть тоже истинная ученость. Истинная ученость не только не враждебна жизни, но в конце концов всегда сходится с жизнью и даже указывает и дает в ней *новые откровения* (курсив Достоевского). Вот существенный и величайший признак истинной учености. Неистинная же ученость, хотя бы и чрезмерная, в конце концов всегда враждебна жизни и отрицает ее. У нас об ученых первого ряда что-то не слышать, второго же разряда было довольно, и даже только и есть, что второй разряд. Так что будь расчрезмерная ученость, — и все-таки второй разряд. Но ободримся, будет и первый. Когда-нибудь да ведь будет же он. К чему терять всякую надежду.

Сколько здесь культуры; я хочу сказать, — сколько уважения к мысли человеческой, к этим ретортам, трубкам, телескопам. Но у нас только «второй сорт» 20
науки, о котором Толстой говорит: «и такого не надо, никакого не надо! слишком сложно! Мужик пашет, верит и мудрит без науки».

В приписке к письму от 31 октября 1838 г. Достоевский пишет тому же брату Михаилу: «Да! Напиши мне главную мысль Шатобрианова сочинения „Genie du Christianisme“ *. Недавно в „Сыне Отечества“ я читал статью критика Низара о Victor Hugo. О, как низко стоит он во мнении французов; как ничтожно выставляет Низар его драмы и романы. Они несправедливы к нему; и Низар, хотя умный человек, а врет...». «Позабыл сказать: Ты, я думаю, знаешь, что Смирдин готовит Пантеон нашей словесности книгою: „Портреты 100 литераторов с приложением к каждому портрету по образцовому сочинению этого литератора“. 30
И вообрази — Зотов (!?) и Орлов (Алекс. Анфимов.) в том же числе. Умора!»

Низар — очень известный французский критик. «Сто русских литераторов», издаваемых Смирдиным, могли все сплошь показаться авторитетными юноше, еще не обмакнувшему пера в чернильницу: но Достоевский на все смотрит своим глазом и обо всем имеет свое суждение, не повторяя, не перепевая.

В ту пору он сблизился с каким-то Шидловским, и по письму его от 1 января 1840 г. (к тому же брату Михаилу) можно почти безошибочно сказать, что идеалист-юноша, выведенный в «Белых ночах», есть именно этот Шидловский, а самые «белые ночи» переживались обоими друзьями вместе в 1839—1840 гг. Тут 40
все подробности, наконец, и несчастный роман, переданный в «Белых ночах», — все совпадает. Мы приведем этот отрывок, который говорит о молодости великого романиста ярче всякой биографии, и даже возможной «автобиографии на старости лет», каких довольно в литературе и которые так мало дают читателю. Тут влетают мимоходом и его заметки о литературе:

* «Гений христианства» (фр.).

«Духовная красота его лица возвысилась с упадком физической. Он страдал! Тяжко страдал! Боже мой, как любит он какую-то девушку (Marie, кажется). Она же вышла за кого-то замуж. Без этой любви он не был бы чистым, возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии. Пробираясь к нему на его бедную квартиру, иногда в зимний вечер (ровно год назад), я невольно вспомнил о грустной зиме Онегина в Петербурге (8-я глава). Только передо мной не было холодного создання, пламенного мечтателя поневоле, но прекрасное, возвышенное создание, правильный очерк человека, который представили нам и Шекспир, и Шиллер; но он уже готов был тогда пасть в мрачную манию характеров Байроновских. Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя Бог знает о чем...».

10 «В последнее свидание мы гуляли в Екатерингофе. О, как провели мы этот вечер! Вспоминали нашу зимнюю жизнь, когда мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере, Гофмане, о котором столько мы говорили, столько читали. Мы говорили с ним о нас самих, о будущем, о тебе, мой милый. Теперь он уже давно уехал, и вот ни слуху, ни духу о нем. Жив ли он? Здоровье его тяжело страдало. — Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии... Это знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни... Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат. Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им, и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с Шидловским Шиллера, я поверял *над*

20 *ним* (курсив Д-го) и благородного, пламенного Дон-Карлоса, и маркиза Позу и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горя, и наслаждения! Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний. Они горьки, брат, вот почему я ничего не говорил с тобою о Шиллере, о впечатлениях, им произведенных: мне больно, когда я услышу хоть имя Шиллера».

Нужно заметить, что и брат Михаил, и Шидловский, оба писали стихи. Все трое пережили «шиллеровскую эпоху» бреда, угара, восторгов, надежд: но Достоевский в Шидловском получил нечто осязаемое, по которому «шиллеровщина» сделалась для него не отвлеченным воспоминанием, не «книгою», когда-то

30 прочитанною, а живой жизнью, пережитою до боли при одной мысли о ней. Припоминая «Записки маркера» у Толстого, как и предшествовавшую им «Юность», где очень много автобиографического, мы видим, что он никогда не переживал так пламенно и жизненно литературных впечатлений, и что вся вообще обстановка его воспитания была духовно грубее. Это была та обстановка материального богатства или, во всяком случае, обильного достатка, среди которого физическая сторона горько преобладала над духовною. Да и вообще этот сытно-помещичий быт, который так поэтически и роскошно воспроизведен Толстым и в ранних, и в поздних его произведениях, конечно, имеет свои качества: это — здорово, красиво, вкусно, не деморализует. Но... всё коровы и коровы, сенокос да сенокос. Это немножко бедно, бедно именно для половины XIX в., когда

40 человечество жило уже все израненное, и когда слишком прошли идиллии Алкиноя, Навзикаи и т. п. безмятежного эпоса.

В нашей литературе, со времен действительно «простого и ясного» Пушкина и со времен Гоголя, доведшего эту «простоту» до вульгарности, установилось же-

сточайшее отрицание всего патетического, громогласного, широкого в чувствах, возвышенного в словах. Может быть, то и основательно, может быть, это даже хорошо. Это, во всяком случае, соответствует градусу северной широты, под которым мы живем, — тому «умеренно-холодному климату», под которым формировались наши нервы. Но если у нас были только Свароги, Перуны и «каменные бабы» по приазовским степям, были развалистые и неудачные Гостомыслы и Боярская Дума, где старцы сидели «уткнув бороду и молча», то утверждать, будто и везде было только это, что в этом положена мера души человеческой, переступая через которую она вступает в ложь, кривлянья и ходульность, — нелепо. Есть иные климаты, иные чувства, была иная история. Еще кое-как мы умеем усвоить эту историю в чисто внешнем сцеплении фактов, но понять *душу* этой истории, как она сказалась в словах, в речах, патетических, героических — мы решительно бываем не в силах. Это отразилось совершенным нашим непониманием героической литературы романских стран — Франции, Испании, отрицанием в ней «простоты, правды и натуральности», а с ними и всякой литературной значительности, поэзии, художества. У нас никакого нет чувства к трагедиям Корнеля, Расина, к поэзии В. Гюго. В этом направлении восхваления «серого», среднего, «умеренно-холодного» (по климату) действовали у нас все, решительно все, начиная от великих критиков и кончая безвестными анонимами в печати и, наконец, говором толпы. Вспомнишь невольно упреки Ксенофана грекам: «Жители Африки представляют себе богов *герными* и *курносыми* — мы, эллины, рисуем их как *себя*; а если бы были где люди красные или желтые, то они наверно представляли бы себе богов красными и желтыми». Вспомнишь и определение «красивого» физиологами: «красивое — это только *любимое*». Мы, русские, просты и не патетичны: и «боги» у нас, в том числе и литературные «боги», — просты, натуральны и не красноречивы. «Все прочее — риторика», «все прочие — *идолы*, а не живые подлинные боги», Этому нас учил еще Белинский и за ним все, все; учили западники, учили славянофилы. Толстой своим отвержением «искусства», «искусственного» — насколько оно изукрашено и патетично — не сказал ничего нового в нашей литературе, а положил только последний камень на это здание «родной русской эстетики», ни мало не универсальной, глубоко местной.

Когда в 83 г. я читал письма Достоевского, меня поразила оценка его, еще юноши в 1840 году, так называемой «ложноклассической литературы»: оценка до такой степени зрелая, психологически-проникновенная, какой мы ни у кого из наших писателей не встречали. Некоторые же формулы, данные у Достоевского, напр. о Гомере, таковы, что их можно взять эпиграфом к монументальным историческим трудам. Письмо это — то самое, в котором дело идет и «об усах» (стр. 16 и след. переписки):

...Оправдываюсь только в одном: я не сортировал великих поэтов и тем более, — как ты пишешь, — не зная их. Я никогда не делал подобных параллелей, как между Пушкиным и Шиллером. Не знаю, с чего ты взял это; выпиши мне, пожалуйста, слова мои; а я отрекаюсь от подобной сортировки; может быть, говоря о чем-нибудь, я поставил рядом Пушкина и Шиллера, но я думаю, что между этими словами есть запятая. Они ни мало не похожи друг на друга. Пушкин и Байрон — так. Что же касается до Гомера и Victor'a Hugo, то ты, кажется, нарочно не хотел понять меня. Вот как я говорю: Гомер (бас-

нословный человек может быть, как Христос — воплощенный Богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гёте. Вникни в него, брат, пойми Илиаду, прочти ее хорошенько (ведь ты не читал ее, признайся). Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной, и земной жизни, совершенно в той же силе, как Христос новому. Теперь поймешь ли меня? Victor Hugo, как лирик — чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии: и никто не сравнится с ним в этом, ни Шиллер (сколько ни христианский поэт Шиллер), ни лирик Шекспир, ни Байрон, ни Пушкин. Я читал его сонеты на французском. Только один Гомер, с такою же непоколебимой уверенностью в призвании, с младенческим верованием в Бога поэзии, которому служит он, — похож в направлении источника поэзии на Victor'a Hugo; но только в направлении, а не в мысли, которая дана ему природою и которую он выражал; я и не говорю про это. Державин, кажется, может стоять выше их обоих в лирике.

Дело в том, что героичность и эстетизм у Гюго и Державина — это так же искренно, натурально, задушевно, правдиво, как у Гл. Успенского его «Нравы Растеряевой улицы». И в последних на ниточку нет больше «правды и естественности», чем у Гюго в монологах его трагедий. Хотя мы, которые приблизительно движемся в пределах «Растеряевой улицы», и не в силах почти относиться иначе к этим монологам, как к крайней вычурности, ходульности и «лжи».

И далее, Достоевский говорит еще подробнее о той же поэзии:

О форме в стихах твоих потолкую в следующем письме, теперь нет ни места, ни времени. Но скажи пожалуйста, говоря о форме, с чего ты взял сказать: «Нам не могут нравиться ни Расин, ни Корнель (!?!) оттого, что у них форма дурна». Жалкий ты человек! Да еще так умно говорит мне: *Неужели ты думаешь, что у них нет поэзии?* У Расина нет поэзии? У Расина, пламенного, страстного, влюбленного в свои идеалы Расина, у него нет поэзии? И это можно спрашивать. Да читал ли ты *Andromaque*? А? Брат? Читал ли ты *Iphigénie*; неужели ты скажешь, что это не прелестно. Разве Ахилл Расина не Гомеровский? Расин и обокрал Гомера, но как обокрал! Каковы у него женщины. А *Phedre*? Брат! Ты, Бог знает, что будешь, ежели не скажешь, что это не высшая, чистая природа и поэзия. Ведь это Шекспировский очерк, хотя статуя из гипса, а не из мрамора. Теперь о Корнеле. Послушай, брат, Я не знаю, как говорить с тобой; кажется à la Иван Никифорович: «гороху наевшись». Нет, не поверю, брат! Ты не читал его и оттого так промахнулся. Да знаешь ли, что он по гигантским характерам, духу романтизма — почти Шекспир. Бедный! У тебя на все один отпор: «Классическая форма». Бедняк! Да знаешь ли, что Корнель появился только 50 лет спустя после жалкого, бесталанного горемыки Jodel'я, с его пасквильной Клеопатрою, после Третьяковского Ronsard'a, и после холодного рифмача Malherb'a, почти его современника. Где же ему было выдумать форму плана! Хорошо, что он ее взял хотя у Сенеки. Да читал ли ты его «Cinna»? Перед этим божественным очерком Октавия, перед которым (какая-то замененная точками бань) Карл Мор, Фиеско, Тель, Дон-Карлос. Шекспиру честь принесло бы это. Бедняк — ежели ты не читал этого, то прочти, особенно разговор Августа с Cinna, где он прощает ему измену, но как прощает! Увидишь, что так говорят только оскорбленные ангелы. Особенно там, где Август говорит: «Soyons amis, Cinna» *. Да читал ли ты «Hogase»? Разве у Гомера найдешь такие характеры. Старый Hogase — это Диомед. Молодой Hogase — Аякс Теламонид, но с духом Ахилла, а Куриас — это Патрокл, это Ахилл, это все, что только может выразить грусть

* «Будем друзьями, Цинна» (фр.).

любви и долга. Как это велико все. Читал ли ты «Le Cid»? Прочти, жалкий человек, прочти и пади в прах перед Корнелем. Ты оскорбил его. Прочти, прочти его. Чего же требует романтизм, ежели высшие идеи его неразвиты в Cid'e. — Каков характер Don Rodrigue'a, молодого сына его, и его любовницы! А какой конец! Впрочем, не сердись, милый, за обидные выражения, не будь Иваном Ивановичем Перерепенко.

Здесь, задолго еще до написания «Бедных людей», дан полный очерк того Достоевского, который и до могилы остался тою же безмерно преданною литературе душою, — преданною ее интересам, вымыслам, горечи, сладости, положению, влиянию, всему. Никто более Достоевского, «от молодых ногтей» и до гроба, не жил так исключительно литературою, так всецело ею, без помыслов об ином, без интересов в ином. От этого «сладкие вымыслы» поэзии гораздо понятнее Достоевскому; роднее, «свойственнее», вкуснее, чем Толстому, который прибавлял литературу к большому положению, старому роду, значительному богатству. Никогда улитка не может отделиться от своей раковины: и человек, даже великий, не может изолироваться от обстановки рождения, воспитания и труда своего. Тут скажутся «неодолимые веяния»... Но и не это одно. В суждениях об искусстве и науке Толстого сказалась чрезмерная его насыщенность, сытость всяческим преизбыточеством, духовным более всего, но частью и материальным. Толстой так одарен был художественными дарами, наконец, он так сразу был признан, и в этом признании, восходя все на высшие и высшие ступени, дошел наконец до всемирной славы, что для него открылась полная психическая возможность... посмотреть на все сверху вниз. Все далось легко, — далось все, решительно все! Мы не можем указать в нашей литературе и даже в нашей истории ни одного человека, который до такой же полноты был бы одарен или обладал бы всем. Иногда, смеясь, хочется сказать, что «Бог нарочно выдумал Толстого, чтобы показать людям пример всяческого счастья». Не говоря об «обыкновенном» человеческом, что все дано ему, — уже при жизни лучшие скульпторы, великие живописцы, биографы, библиографы сыплют к ногам его «воспоминания», «описания», книги, каталоги, статуэтки, картины: «как он ездит верхом», «как он пашет», «стоит, засунув руки за пояс», «стоит босой», сидит «за письменным столом», «в кресле», «в семье», «один»!.. О царе Давиде писали меньше при жизни... Был мотив ему (в 80-х годах) сравнить себя с Соломоном... Одного он не знал, земного, нашего, всеобщего счастья: счастья особенных постижений и особенной духовной красоты, приносимых страданием. К числу этих постижений и этой красоты относится скромность: простое сознание своей ограниченности, немощи, бессилия; простой способности восхититься «до сумасшествия» другим — трудом другого, личностью другого. Нам все это дано больше, чем ему: и ведь нельзя отрицать, что, напр., так увековечивая его бронзою и красками, люди не испытывают *для себя и своего счастья*. Как я помню, еще студентом, смотря «Зимнюю сказку» Шекспира, в одном трогательном месте не мог удержать слез. И все мы плачем — в театре, другие в церкви, в музеях, над книгами, перед картинами. Вот этих слез, я думаю, никогда не испытал Толстой. Его суждения о науке, об искусстве — существенно сытые, и потому недалекие суждения. Достоевский же смотрел на искусство как на «божество», именно из страдальческой бедности, одиночества своего, болезни своей. И наконец оттого, что самый труд его в этой области далеко не был так легкий и успешен. «Мне Голядкин опротивел», — пишет он о герое

«Двойника», второй своей повести, на которую в смысле успеха он надеялся еще больше, чем на «Бедных людей». «Многое в нем написано наскоро и в утомлении. Первая половина лучше последней. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется. Вот это-то создало мне на время ад, и я заболел от горя».

Ему *трудно* было мастерство. По-видимому, «вдохновение» находило на него как порыв ветра, как буря и бури, сменяемые полным штилем, туманом, «гадостью»: у Толстого же его «вдохновенье» есть почти просто нормальное состояние духа, как бы «стена света», идущего справа, — идущего, не уходящего, не останавливающегося. «Стоит» — и все тут, без заслуг, без усилия. «Какая же в нем цена, когда это ничего не стоит», — подумал Толстой. — «Мне не стоит, а потому и *миру* нечего в нем ценить». «Искусство? Что такое искусство?» — «Кому оно нужно?» — спросил он, как барин, который, съедая каждый обед вкусное жаркое, сказал бы: — «Повар? кухня?! Зачем! Я не готовлю, не жарюсь около плиты и всякий день съедаю чудно изжаренную куропатку. Пусть поступают все, как я. О чем говорит и Христос: „не печьтесь убо на утро“ и „взгляните на птицы небесныя“... Вот — я! И так могут все».

«Всем» на это остается только улыбнуться...

Скромностью своею, и тем, что он стал к культуре в *подгиненное, любующееся* и *любящее* отношение, — Достоевский несравненно образовательнее и воспитательнее Толстого. Я боюсь, что слова мои о том, что Толстому все и сразу далось, а Достоевскому то же самое давалось труднее, многие выведут заключение, какого я не имею в уме. Редкие «пики» (вершины) творчества у Достоевского, — если выбрать страниц восемьдесят на его 14 томов — достигают *в тоне своем* такого могущества, красоты, сияния, такого проникновения в мировую «суть вещей» и такого вдохновения, увлечения, веры, каких у Толстого вовсе не встречается. Толстой являет нам как бы горную страну, — ну, Швейцарию: все — гористо, везде — великолепно. Все подымаешься (я говорю о читателе), везде оживлен. Предгорья переходят в горы, вечно подымаешься — но нигде не уходишь в облака, еще менее — за облака. Не «заоблачный писатель», нет. У Достоевского после «скверности, дряни, из души воротит», — о которых он признавался в письме, — наступают неожиданно такие «пики» заоблачности, мечты, воображения, обширнейших мировых концепций, какие даже не брезжились Толстому. Как это ни горько сказать, — он слишком «мещанин» для них в своей вечной сытости. Таков у Достоевского «Сон смешного человека» (в «Дневн. писателя») или «*Pro* и *Contra*» и «Великий инквизитор» в «Бр. Карамазовых». Чтобы так *алкать*, надо быть очень *голодным* и духовно, и физически, и всячески: бедствие и счастье, какого не испытал Толстой. И все творчество Достоевского напоминает нам не «везде великолепную Швейцарию», а какие-то полумифические Кению и Килиманджаро, о которых мы учили в географии, что эти где-то почти в неизвестной Африке под экваториальным солнцем горят вечными снегами — одни, далекие, уединенные, без предгорий, без окружающего...

NICOLAS LÉSKOV. GENS DE RUSSIE

*Librairie académique Perrin et C^{ie}. Traduction et préface
de Denis Roche*

Автору нужно было обладать не только большим, но огромным знанием русского языка в его, так сказать, «идиомах», «идиотизмах», неуловимых оригинальных оттенках, чуждых грамматике других языков, чтобы взяться на передачу на французский язык покойного Лескова. Но для французов и вообще западных людей Лесков даст множество поразительно новых черт русского быта, русской жизни. Самый заголовок переводов г. Дени Роша хорошо обнимает эту коллективную тему: «Русские люди» — так можно озаглавить все или «избранные» сочинения Лескова. Вкус автора сказался в том, что на первое место в серии переводов он выдвинул «Чертогон» (*Le Chasse diable*), — одно из самых характерных явлений русской жизни и один из самых характерных рассказов Лескова. Если поставят около него «Запечатленного Ангела» (*L'ange scellé*), то вот уже целая уйма русского духа, русского языка, русской нескладицы, мук и поэзии, по которой очень и очень о многом может судить иностранец, может задуматься иностранец, и, нам кажется, многое может полюбить иностранец. Знаток Лескова оценит переводчика, пробежав заголовок других переведенных вещей: «*Cheramour*», «*Nicolas Fermor*», «*Un pygmée*», «*Tourmant d'esprit*», «*L'artiste et toupets*» *. Автор, очевидно, имеет в России личные связи и, может быть, дружбы, судя по посвящению сборника своих переводов русской женщине. Книге предпослана биография и очерк литературной деятельности Лескова и снимок с его портрета работы Репина. Рисунком этого художника украшена и обложка книги.

<ЛЕСКОВ>

Года три или четыре назад известный француз, m-r Roch, влюбленный во все русское, в русское слово, в русский рисунок, в русский быт, в русский рассказ, — перевел на французский язык несколько очерков Лескова. На небольшой вечеринке у Ив. Л. Щеглова я встретил его. Он говорил с некоторым затруднением по-русски, медленно складывая слова, но обнаружил такие знания русской истории, литературы и живописи, что я был удивлен. Узнав, что он перевел Лескова, я заметил ему, — все еще полагая, что француз, с трудом говорящему по-русски, очень трудно уловить «суть» этого оригинальнейшего русского бытописателя:

— Ах, Боже мой, как жаль, что я только теперь знакомлюсь с вами. У Лескова есть большие и знаменитые вещи, и вы верно перевели их, но у него есть крошечный рассказец — «Чертогон». Раз уже вы взяли вводить Лескова во Францию, и, конечно, в намерениях показать французам кусочки русской жизни, надо было непременно перевести и «Чертогон».

* «Шерамур», «Инженеры-бессребреники», «Пигмей», «Томление духа», «Тупейный художник» (фр.).

«Чертогон» — это описание кутежа московского заскучавшего купца. Самый кутеж не описан ярко. Центр дела заключается в передаче той безотчетной и беспредельной тоски, которую чувствует купец перед кутежом. Это что-то наше верное, русское. Так скучать можно только между 60 и 50 градусами северной широты, где винограда не растет, где сок его заменен квасом, где большую часть года идет дождь или снег, звездочки тусклые, да и их не видно, солнышко большое и низкое, но вместе холодное... Тоска купца — это как бы вздох всего человека в ответ на скудость всей природы.

— Ничего не поделаешь. Жизнь надоела.

10 «Тоску» свою купец принимает за «черта», вселившегося в него и грызущего его сердце. И решается прогнать этого «черта» соответственной мерою: безграничным диким разгулом. Оттого такой специальный разгул и называется «чертогоном». «Его степенство прогоняет черта, бьет посуду, портит рояль, ловит за юбки барышень, творит все сверх меры и вне образа человеческого».

Это одна черта. Повторяю, самый кутеж Лескову не дался: <...> Угрюмый (в жизни) бытописатель не сумел положить <...> красок, какие были бы возможны.

Весь случай передан у Лескова в форме рассказа <...> «чертогон» совершен, у купца «отлегло от сердца», <...> Но сегодня еще весь обряд не кончен. Господин купец <...> и сделал бесспорно правое дело, — прогонял черта: однако <...> для этого все-таки «богомерзкую» меру, «вино, пьянство и <...> в свою очередь надо как-нибудь затереть, омыть, исправить <...> племянник рассказывает: <«Часов в десять он встал больно нудиться, все ждал и высматривал соседа, чтобы идти втроем чай пить, — троим собирают на целый пятак дешевле»>».

К БИОГРАФИИ И ПОСМЕРТНОЙ СУДЬБЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

30 *«Музей памяти Федора Михайловича Достоевского в Императорском российском историческом музее имени Императора Александра III в Москве. 1846—1906 гг.». Составила А. Достоевская.*

С портретами и видами. Стр. 392. СПб. 1906

«Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского, собранных в музее памяти Ф. М. Достоевского в московском историческом музее имени Императора Александра III. 1846—1903 гг.». Составила А. Достоевская. СПб. 1906

С самого года смерти Ф. М. Достоевского вдова его, Анна Григорьевна, непрерывно трудится над задачей, которую мы назвали бы «обработкою его памяти». Она увековечила ее 1) созданием прекрасной школы памяти Ф. М. Достоевского в Старой Руссе, месте обыкновенного летнего отдыха его, и, главное,
40 2) музея его.

Вот что рассказывает она о последнем в предисловии к «Библиографическому указателю».

Двадцать пять лет назад скончался мой муж, Федор Михайлович Достоевский. Глубоко потрясенная его преждевременною кончиною, я нашла для себя некоторое утешение в мысли... сохранить для моих детей воспоминания об их почившем отце. С этой целью я стала собирать его портреты, бюсты покойного, статьи о его произведениях, — словом, все, что так или иначе относилось к памяти Федора Михайловича. С течением времени, когда собранные мною материалы возросли до нескольких тысяч предметов, явилось основание дать возможность пользоваться ими биографам покойного моего мужа и лицам, желающим изучить его литературную и публицистическую деятельность. Все мною собранное я пожертвовала в Императорский российский музей имени императора Александра III в Москве, в одной из башен которого и находится «Музей памяти Ф. М. Достоевского». Признавая, что пользование материалами музея затруднительно за неимением печатного каталога, я решила составить библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского.

В «Музее памяти Достоевского» собрано 4700 предметов, из них в описание А. Г. Достоевской пошло 4232 предмета, собранные по 1903 г. включительно. Между отделами Музея выдающееся значение имеют: «подлинные рукописи Ф. М. Достоевского», — «Бесы», начиная с 3-й части, «Подросток», «Дневник писателя» и «Записная книжка». Здесь же находятся книги с собственноручными его заметками. Известно, что из «Бесов» при напечатании выпущена одна глава, и не будет нескромностью здесь сообщить, что А. Г. Достоевская хотела восстановить эту главу в посмертных изданиях, но по совету одного близкого к покойному ее мужу высокопоставленного лица духовного ведомства — воздержалась от этого. Только в последнем издании, сейчас выходящем, появилась выпущенная глава.

Среди «официальных бумаг, относящихся до службы, ссылки и других жизненных обстоятельств Ф. М. Достоевского», замечательны копии с бумаг, находящихся в III отделении Собственной Его Величества канцелярии, а также несколько официальных бумаг других учреждений, относящихся до пребывания Ф. М. Достоевского в Сибири, в Твери и Петербурге и секретного за ним надзора, — всего 66 бумаг, недоступных для общественного пользования.

В музее собраны также переводы сочинений Ф. М. Достоевского и статья о его произведениях в иностранной литературе. На английский язык переведено восемь крупнейших произведений (не переведены, однако, ни «Бесы», ни «Братья Карамазовы»), на болгарский — 1 («Униженные и оскорбленные»), на венгерский — 5, на голландский — 5, на греческий — 1, на датский — 10, на испанский — 1, на итальянский — 3, на латышский — 1, на норвежский — 8, на немецкий — все (и самая обширная литература о Достоевском), на польский — 2, на сербский — 5, на финский — 4, на французский — все, на хорватский — 5, на чешский — 2, на шведский — 6, на эстонский — 1. Нельзя не заметить по преобладанию переводимых произведений, что переводчики руководились более беллетристическим интересом, нежели богатейшим философским и вообще идейным содержанием, и что лучшая пора для Достоевского на Западе — еще настанет.

Кроме книг и рукописей, тут же находятся портреты родственников Достоевского (между ними — отца, матери, трех братьев и двух сестер, первой его жены,

всех детей, в том числе умерших в детстве), снимки с любимых Ф. М. Достоевским произведений искусства и ноты нравившихся ему музыкальных произведений.

«Вещи, принадлежавшие Ф. М. Достоевскому и его матери» — дают обстановку его писательской деятельности в бытовой жизни. Тут и крупное и мелочи, до красного кожаного портсигара, вставочки для перьев и коробки обычно им покупаемых перьев, обычно куримых папирос и т. д. На первом месте помещена «Икона Пресвятой Богородицы всех скорбящих Радости», всегда находившаяся в кабинете Ф. М. Достоевского. Как недостает тут того экземпляра Евангелия, который был с ним в Сибири и с которым, по воспоминаниям, он не расставался всю жизнь, и даже перед смертью, «открыв наугад место» по смыслу прочитанного с центральным словом — «не удерживай», предугадал, что жизнь его кончилась, что хлопоты врачей бесполезны?

Удивительно необозримая библиография всего, что когда-либо и где-либо писалось о Достоевском как при жизни его, так и после его смерти; даже всего, где только упомянуто его имя, как, напр., рубрики «Среди газет и журналов». Для этой египетской работы вдове его пришлось посмотреть, — по крайней мере, внимательно перелистать, — журналы и газеты, вплоть до провинциальных и самых маленьких, более чем за полвека! И все-таки этот ужасный труд далеко не полон! Например, прекрасная книга г. Шестова «Апофеоз беспочвенности» не упомянута в библиографии. Авторы должны сами помочь «Музею» и прислать свои книги и статьи туда, с отметками мест или даже без отметок. Имея эти явные недостатки, библиография местами имеет излишества: например, указаны мои статьи о Риме, где, я наверно помню, ни слова не говорится о Достоевском. Но, во всяком случае, этим трудом Ан. Гр. Достоевская вывела основной фундамент библиографии о великом русском человеке, всегда нужный и страшно облегчающий и следующую работу.

Такого же египетского терпения требовало составление «Указателя имен личных» и «Предметного указателя», где каждая строчка требовала справки, а строк этих — тысячи! Да благословит Господь Бог всех, подобным способом трудившихся: работа их поистине нуждается в помощи Неба. Но вот опять чего недостает, и мысль о чем мне приходит уже долгие годы: составление «идейного библиографического указателя к сочинениям Ф. М. Достоевского». В «Приложениях» к своему разбору его «Легенды об инквизиторе» я сделал подобную попытку соединить в одно все места из Достоевского, где он говорит, например, о самоубийстве, о католицизме. То же можно сделать, но с указанием только страниц какого-нибудь одного определенного издания, по рубрикам: «Бессмертие души», «Национальности» и среди них — «Евреи», «Немцы» (например, доктор Герценштубе в «Братьях Карамазовых» или в «Бесах» — губернатор-немец, клещащий коробочки). Это требует отличного знания текста Достоевского, значительного ума и искусства и страшного опять прилежания. Так как во мне текст Достоевского стоит довольно ярко, то мысль подобного «идейного указателя» мне представлялась всегда страшно соблазнительной: но... терпение! терпение! Его нужно слишком много для подобного «Указателя».

Своим трудом А. Г. Достоевская пожала руку всей русской литературе, и русская литература за это ответно пожмет ее руку.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<А. Г. Достоевской>

Ошибка — не грех, когда она вовремя исправлена. И я спешу предупредить возможный грех, делая поправку к словам своим о «Библиографическом указателе сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского», составленном А. Гр. Достоевскою, и только что появившемся. Оказывается, что в библиографический указатель его не внесено ни одной статьи, где бы не говорилось о Достоевском, что статьи вносились в указатель *после тщательного просмотра их текста составительницею*, а вовсе не руководствуясь только их заглавиями или авторами, как я это предположил в своем отзыве. А что это все — так, она блистательно мне доказала, отправившись в Публичную библиотеку и, по наведении надлежащей справки, выписав дословно из моих «Римских впечатлений» места, где я говорю о связи трудов Достоевского с христианским таинством покаяния, и еще одно место. Между тем как в своей статье я категорически высказался, что в «Римских впечатлениях» имя Достоевского не упоминается. Мне очень совестно и перед читателями, и перед страшно трудолюбивою составительницею, — и я считал долгом чести печатно сказать о своей неосторожности.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ Л. ВИЛЬКИНОЙ (МИНСКОЙ) «МОЙ САД. СОНЕТЫ И РАССКАЗЫ»

Поэтесса сказала мне: «Напишите предисловие к моим сонетам». Но как же я напишу его? — думалось мне. Впрочем, ведь «предисловие» есть дверь вообще, а не описание убранства комнаты, в которую ведет она. И отчего мне не сказать двух-трех слов о комнате и ее обитательнице, чтобы, читая книгу, читатель знал и сколько-нибудь мог представить, откуда же исходят звуки, которые он слушает...

Буду браниться, ибо не хочу хвалить. Это так конфетно-приторно. К тому же похвала может быть не искренняя, когда брань имеет всю истину невольного траура. Итак, писательница этих сонетов есть несносное, капризное существо, не знающее сил, под которыми смирился мир: господина, закона и обычая. Вы подумаете, что она не чешет по утрам голову и не снимает на ночь башмаков? Нет, что ей удобно, она делает все, и снимает башмаки на ночь не «по обычаю», а потому что иначе ей было бы жарко. Поэтому не сегодня-завтра вы можете увидеть женщину, идущую в июльские дни босою по петербургским тротуарам. Уверен, если она не сделала этого до сих пор, то только по неизобретательности. Она больше задумывается, чем надумывает, и предпочитает больше грезить, нежели видеть.

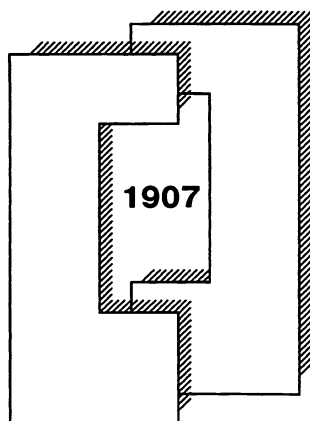
Я дошел до главного.

Стих — это плод мечты, как и жизнь их автора, и вся личность его есть необузданная ткань мечты, и только мечты с ужасной враждой к действительности,

закону и обществу. Удивляюсь, как родители и муж (единственные «законные» обстоятельства ее жизни) не переселили на чердак или в мезонин эту вечную угрозу своему порядку, удобствам и привычкам. Можно объяснить это только тем, что мечты поэтессы созерцательны, тихи, что почти нужно удивляться, как они нашли себе воплощающее слово. Лениво она кидала их на бумагу: это уже не была самая отрадная часть ее творчества. Лучшая часть его — до слова. Как снежинки, ледяные в облаках, тают, прижимаясь к земле, — так все мечты нашего автора мрачнее, чем в яркой зале ее воображения.

10 Она — немного сомнамбула в стихах. Читатель редко сумеет связать их с действительностью. В дни войны или мира, сытости или голода, болезни или здоровья — она не отрываясь творит в этой зале своего воображения, как бы ничего не было, кроме нее. Это недостаток в наш реальный век. Поэтесса не претендует на современность. Она принадлежит к тем «душам-потемкам», которых окрестили именем символистов: хотя святое таинство едва ли согласился бы священник сотворить над этими «нехристями». «Душа-потемки» — не значит без свеч, без огней; напротив, внутри такие души освещены слишком ярко; это значит только «душа без окон в мір». И нельзя в нее заглянуть никому, кого автор, взяв за руку, не проведет в нее большей частью узкими, низкими и не совсем безопасными коридорами. Что делать, у всякой души свои законы; символисты претендуют на свои в этой области.

20 Я — не из сочувствующих этой школе. Все реальное очевидно здорово, как чрезмерно субъективное очевидно болезненно. Читатель найдет в этой книжке много болезненных тонов, в смысле хождения «непротоптанными дорожками». Если он не боится наколоться, ушибиться и вовсе упасть, — пусть перелистывает книжку дальше. Но если он добрый буржуа, как я, берегущий послеобеденный и ночной сон, хороший аппетит и нормальность «всех прочих отправлений», — пусть положит ее на стол не разрезывая. Я люблю порядок, не терплю беспорядка: и никак не могу рекомендовать эту книгу, на которую автор указал мне, безмолвно улыбнувшись. Ненавижу сфинксов, ненавижу Египет — я ненавижу этих
30 новых египетских жриц.



ТО ЖЕ, НО ДРУГИМИ СЛОВАМИ

Все нам позволено, но ничто
не должно обладать нами.

Ал. Павел

Я прочел, не без отталкивающего чувства, в «Весах» длинную повесть г. Кузьмина; точнее, заглянул в нее в некоторых местах. В одном месте описывается длинный коридор, кажется в бане, — и в отворенную дверь несетя «прелый запах кислых щей». Этот «прелый запах кислых щей» обволакивает и весь рассказ, и нам кажется, его следовало бы озаглавить не «В лугах», а «Около кислых щей» или даже проще: «Кислые щи». Около кислых щей и бань производится «баловство одного барина с банщиком Борисом» и припоминаются, — *по этому поводу* (!!!), — Антиной и имп. Адриан. «Се лев, а се человек», и после такого припоминания двусмысленный рассказ автора «Кислых щей» становится совершенно прозрачен. Между тем Адриана и Антиноя, вероятно, стошнило бы от омерзительного банщика Бориса и банных приключений: неужели древние *это* любили?! Бррр... «Старосте нельзя вынести менее пяти целковых, а потому нам, двоим, за баловство пожалуйста десять». О, мерзосты! И какая безвкусица у автора: припоминать около этого случая об Антиное — все равно что вспоминать о Дездемоне при виде проститутки Чухи из «Петербургских трущоб» Крестовского. Конечно, г. Кузьмин около своих «Прелых щей» может ослабиться и ответить: 10
«Для че не вспоминать? *Одно и то же делают* Чуха и Дездемона»... На это можно только улыбнуться и махнуть рукой.

«Васька как вошел, — и говорит: „Сколько же вы нам положите?“ — Кроме пива, десять рублей. — А у нас положение: кто на дверях занавеску задернул, значит, — баловаться будут, и старосте меньше 5 рублей нельзя вынести; Василий и говорит: — Нет, ваше благородие, нам так не с руки. Еще красненькую посулил. Пошел Вася воду готовить, и я стал раздеваться, а барин и говорит...».

Мне кажется, за такую гадость можно дать не «десять рублей», а только сто розог. И неужели, неужели автор так мало образован, что не помнит из Пушкина: 30

Отрок милый, отрок нежный,
Не стыдись: навек ты мой;
Тот же в нас огонь мятежный,

Жизнью мы живем одной...
Не боюсь я насмешек*.

Дальше не цитирую, потому что дальше и Пушкину не удалось: язык получается физиологический и геометрический «без роз, запаха и вкуса», т. е. как бы немой, ненужный, нецелесообразный. Ведь в «Щах» Кузьмина явно *нигего нас не может привлечь*, как и никого; между тем, очевидно, у Антиноя, Адриана, арабов (у Пушкина стихотворение озаглавлено «Подражание арабскому») есть что-то привлекательное, чарующее, душистое, сладкое здесь. *И оно-то именно и влевет*, и, не указав на это или не постигнув этого, просто нельзя говорить о самом факте. Тогда мы услышим диалоги вроде следующих:

— Я желаю жениться на NN...

— Что же, у нее есть *vulva*: женитесь.

Тогда мы дойдем до рассуждений наших протоиереев: «есть V... совокупление возможно: значит, и брак может начаться» или «продолжаться», — и вообще «вечен, нерасторжим: потому что куда же денется» или «девалась» V... Они на этом и построили «нерасторжимость брака». «Нерасторжимо» — потому что безлюбовно, «нерасторжимо» — потому что мертво, «нерасторжимо» — потому что все резиновая мануфактура в ремешках из гетр.

* * *

Г-на Кузьмина я не знаю, и мне нет причины испытывать боль от его дурной работы. Я недавно прочел длинное и сложное стихотворение г. Вал. Брюсова, посвященное Эросу: и готов был заплакать от его неудачи. Так давно следовало бы начать говорить полными словами о всех радостях, которые дает нам и целому миру Старейшее божество или старейшие божества: ибо их, конечно, *два* и к ним приложимы те не цитированные мною стихи из Пушкина, которые теперь уместно привести:

Мы точь-в-точь двойной орешек
Под одною скорлупой.

В самом деле, никто не дал полям, лугам, небесам (*двойные* звезды, друг возле друга вращающиеся), земле, человеку столько невинного, не причиняющего никому страдания, блаженства: такого правдивого! Это отсутствие *лжи* в Эросе — поразительнейшая его черта: ибо где у «бога» бледны щеки — наступает обман, фальшь; а пока он играет улыбками и цветами — какая все правда «в его владе-

* Или в которой-то из «1001 ночей» еще лучше: «И когда Саид шел со своим дядею, — то он был прекрасен, как луна в четырнадцатый день месяца; и все торговцы Дамаска, покинув свои товары, выбегали из лавочек и, не осмеливаясь приблизиться, издали следовали за ними и любовались юношею. Дядя же Саида, видя это бесстыдство, начал бросать в них камнями». Это тропическое очарование, в котором мы, люди севера, ничего не понимаем; или понимаем его очень редко и страшно немногие. Тут, может быть, какое-то действие солнца на кровь. И «*fatamorgana*» в Сахаре есть, а у нас — нет.

ниях». Г. Вал. Брюсов описывает эти «владения», но мне хочется ему повторить замечание Фамусова, обращенное к слуге, неумело взявшемуся за календарь. И он, «как по календарю», исчисляет «цветы» Эроса: но — увы! — это мертвые цветы, уже не благоухающие. А где *жизнь* и *живое* не дает благоухания, там она дает *зловоние*. Минералы «отвратительно» не пахнут, никакие; запах дохлой собаки *непереносим*: но это оттого, что так *пахнут* розы, левкой...

Он, при описании «садов Эроса», хотел выразить ту мысль и истину, что мы, конечно, ошибаемся, предполагая их или восприятие их сосредоточенными в каком-нибудь месте или имени. То же египтяне говорили: «Изида *тысячеименна*». Мне всегда казалось, что живая жизнь, т. е. целый *организм*, иначе сказать, — целый *Универс* оттого и рождается, может рождаться из «Эроса», что это бог «универсальный»: и вулкан, кующий металлы под землей, и легкие эльфы, едва задевающие нас сплетенными из света и ароматов крылами, все есть в его существе. Все, все, механика, физика, химия, биология, поэзия, церковь, вера, рассуждения, философия — все это только «одежда Эроса», легко носимая им на крыльях: вот как вата и «серебро», обвивающие и осыпающие зеленую елку, которую я только что убрал в эти 11 часов ночи 24 декабря; убрал и, убирая, почему-то думал о гг. Кузьмине и Вал. Брюсове, шепча себе: «Не так! Не так!».

В «Эросе» все есть: но *некрасивого* нет. Это — у протоиереев «Эрос без красивого». Всемирно щеки его бледнеют, когда красивого нет. Но тогда как же «универс» и «универсальное»? Боже, но ведь любят и безобразных, безобразное: он утешает *всех*. Но он именно «утешает», т. е. для утешаемого имеет прелестный вид, привлекателен, чарующ, «лучше всего на свете». Красота Эроса именно мистическая, внутренняя и всеобъемлющая, далекая от «кажущегося», от «видимостей»... Эрос делает улыбки *тому, кому их делает*: а прочим они могут показаться и «гримасами»... но один-то, тот ею наслаждается и говорит: «Вижу, вижу крылышки! Это — бог, а не летучая мышь».

Об «Эросе» может петь только «эротический человек», как, впрочем, и о Боге может рассуждать только «верующий человек». Притом — в часы молитвы: а «Эрос» открывается в полном и *настоящем* виде только в эротические минуты. Невинная природа не говорит ни на французском, ни на русском языке: она *совершается*; вот и «Эрос» — он весь *совершается, в совершениях*, безгласен... А мы, следя за «совершениями», и должны заключать о его природе. К чему тут стихи (у Вал. Брюсова), проза? Прошел, увидел, промолчал. От этого у древних их храмы были полны животных; так и наше «Рождество Христово» пришло на землю около ясель, коров и лошадей... Все *родилось*, все будет *рождать*; это не «резиновая мануфактура» наших протоиереев. Христос пришел среди поля, трав, этих восточных маленьких осликов, в «вертепе Господнем». Все — природа, душистая, пахучая: не тем мертвым ладаном, каким попы кадят около покойников и вот им же будут кадить около «Рождества Христова».

Но я отвлекся. «Как по календарю» Вал. Брюсов исчисляет, как и чем мы наслаждаемся в «этот час»: строки его бегут, я помню, он усиливается, стыдится, нажимает и, наконец, выжимает ту строку, где говорится об ощущении Эроса особенно тонком, где наслаждение доходит до «души», этой «психеи» нашего существа, как бы наполняя пламенем всю полноту физического и духовного «я». Но Эрос безмолвен и о себе не рассказывает: он — не Иловайский. Я говорю, восточные храмы наполнялись животными, а «верующие» проходили, видели все,

о чем описывает Брюсов, и каждый слогал в своем сердце, отлагая до нужного часа. Разве мы иначе дышим, чем коровы и быки? И наше дыхание, кровообращение и проч. разве «менее уважительно, достойно и чисто», что оно походит на обыкновенное животное? Древние перенесли на небо «животные фигуры»: «телец», «дева», «скорпион», «стрельцы» и проч.; остаток чего мы видим в наших астрономических атласах. Все «животное» (живое) — небесное, а «небеса» — животны (живы). Так думали древние: и не старались дышать иначе, чем животные. Это «отцы пустынноики и жены непорочны» христианства начали *переин-зивать* как-то и дыхание; «чтобы не походить на подлых животных»; невинные жены, на островах Архипелага, «дышали», любили и ласкались среди стад и как в стадах. А «как» — это они видели в храмах и не писали об этом брюсовских стихов. Не нужно было. «Природа» на всех языках говорит одинаково, и на всех говорит невинно. Брюсов в пошлом выжатом стихе говорит о том, что розы благоухают. Вот открыл Америку, которую мы видим в лугах, в лесах, в стадах: кто этого не знает и что за розы без запаха? Такую бросают. Без запаха и медвяного нектара — это просто «протоиерейская тухлятина», нужная этим невзыскательным господам. Иначе мыслит весь мир. Как-то года три назад мне попалась брошюрка, изданная в Ревеле какою-то заботливою матерью. Старушке, должно быть, лет 50, и уже у нее только «воспоминания». Брошюра называется «Советы матери перед замужеством своей дочери». Вся она буржуазна, наставительна, экономна, страшно-страшно заботлива в отношении «счастья моей дочери». На обложке и затем повторено на заглавном внутреннем листе, как эмблему брака и «будущего счастья моей дочери», она взяла чашечку цветка, похожего на этот желтый цветок с белыми лепестками, наш обыкновеннейший полевой цветок (забыл название, хоть оно всем известно): к нему, но не прямо, а как бы делая в воздухе дугу («вьется около цветка»), подлетает сумеречная бабочка, с этими характерными узенькими крылышками. Где только старуха все подсмотрела?! Язык брошюры, заботливые мысли (настоящая помещица Коробочка из «Мертвых душ») — все не оставляет никакого подозрения о подлинности и искренности брошюры, о ее неподдельности. «Декадентов» она не читала, об Оскаре Уайльде не слыхала. Но вот представление: «Дочь моя — ты цветок! И до этого дня тебя никто не посещал! Ты, однако, зрела и созрела для судьбы, о которой никто тебе не говорил (благородное молчание!); с этого дня, на который благословиться ты идешь у Церкви, у Бога, у Всемирного Пѣч'а — будет некто, кто будет в поздний вечер прилетать к тебе, и вот ты как цветок, а он как эта бабочка... Видела? Запомни, наслаждайся и услаждай».

Некоторые страницы текста ворчливы в отношении «мужчин нынешнего века», которые «не знают меры» и которым «все пресное быстро надоедает, так что они, в случае отказа у супруги, обращаются к прислуге, ищут ласк женщин необразованных и даже некрасивых и немолодых», — от чего, конечно, гибнет семья и будущее, и заключительный ее совет: «Ты с мужем можешь себе позволить все, все...», с этим именно многоточием и с упоминанием: «я говорю, как мать и жена, все сама испытывавшая», — признаюсь, все это действует больше, чем стихотворение Брюсова! Только не называя имен, старушка подводит мысль дочери, даже наводит на мысль дочери то, о чем Пушкин опять так поэтически сказал:

Клянусь, о мать наслаждений,
Тебе неслыханно служу:
На ложе страстных искушений
Простой наемницей схожу!
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
И боги грозного Аида!
Клянусь, до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утолю
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утомлю!
Но только утренней порфирой

10

и прочее. Тут из стихотворения Пушкина я, варвар, тоже выкинул бы некоторые строки: во-первых, всю арматуру древних богов и далее — все жесткое, стучающее, грязное — как и — заключительное, положительно гадкое, христиански-клеветующее на великого «бога».

...под смертную секирой
Глава счастливица отпадет!

Как это не нужно! Как этого не бывает! Добрая ревальская старушка «все сама испытала», сберегла семью, «ни в чем не отказав мужу», и посоветовала дочери исполнять кротко все то, больше чего, *наверное*, не делалось и в Египте и что просто *совершается* в каждой русской деревне и в каждом стаде животных, тех милых невинных существ, которыми древность так мудро наполнила храмы. Своей иллюстрацией к книжке, этим безмолвным разъяснением, так *полным*, до того *наивным*, она даже сказала больше, чем я, Пушкин, Брюсов и все египтяне. Дочь могла бы, будь она резвушка и уже многоопытная, покатиться серебристым смехом и сказать:

— Ну, мотылек подлетел к цветку: что же он будет делать?

Здесь не нужен Брюсов, а страница ботаники с иллюстрациями, об «оплодотворении растения через опыление насекомых». Это неизмеримо выразительнее «Египетских ночей», а в «советах матери ее дочери перед ее замужеством» это вообще чувственнее, нежели я что-нибудь читал из псевдоэротической литературы, и волнует действительно глубоким волнением.

— Ну, что же мотылек делает с цветком? в цветке? около цветка?

Можно видеть, пройти и исполнить.

И вместе, у «матери, советующей дочери» это так правдиво, нужно и утилитарно. «Чтобы не разрушилось семейное счастье»: такая основательная забота. И «я сама испытала — ничего *горького*». Великое «покрывало Изиды» соделало, что всё «кому не нужно» и «в час, в который не нужно» кажется горьким; но в долгие часы вдовьего «воспоминания» оно уже не кажется таким; напротив, едва ли оно не кажется самым сладким, и мать грозит «разрушением семейного счастья», просто чтобы устранить с дороги стыдливость, суеверный страх, внушения религии нашего «старого Православия». — «Что поп скажет на испове-

ди». — «Ну, что поп скажет на исповеди: хуже, если оставит муж. А поп отпустит грех, и только. *Мне отпустил*».

Вообще, мне кажется, что никакие стихи и никакая проза не зашли «так далеко», как просто *есть, совершается*. И совершалось во все века, «даже до сотворения человека», — вот просто у невинных, — совершенно еще *невинных*, животных! Это и *больше ничего* не может сотворить и человек; а это — *невинно*. Тут отсутствие имен, названий, есть только «покров Изида»: тот «покров», который простерт над всею природою, в которой цветы усиленнее благоухают ночью, звери убегают в чашу леса для соединения, и сама земля, земной шар, отворачивается от солнечных лучей и погружается в мрак: дабы все твари почувствовали себя наедине и в уединении таком, как бы, кроме их одних, его одного, никого и ничего на свете не было. Ночь — полное уединение, полное разъединение, т. е. это полная свобода! «Изида» все соделала, чтобы ласки были полнее, «как душеньке хочется». Кстати, если верить (и мы именно верим) знаменитому «Родословию И. Христа» в первой главе евангелиста Матфея: «такой-то роди такого-то», «такой-то такого-то» и т. д. и т. д. до заключительного «от Адама, *от Бога*»: то нельзя не сказать, что положительно, истинно и универсально вопрос о том: «как же следует смотреть на брак?», «кто прав, семейные или монахи?», «как учит религия?» и, наконец, «*как смотрит Бог?*», нужно ответить:

— Бог есть наш Отец Небесный, Отец всех нас и вместе всех Им сотворенных тварей: на соединение которых Он смотрит, как родители каждой сочетающейся твари, как отец и мать на брак своих детей, как вот эта ревальская старушка на замужество своей дочери. Но Он всесилен, не увещает, не печатает стихов и прозы. Он *вдохнул* все это нам, и это просто — *исполняется, есть*. И оттого это ощущается все так жадно, как ничто другое в природе, — что это божественнее всего остального, *непосредственно* — божественнее. И мы дышим и не надышимся этим, глядим и не наглядимся, вкушаем и бессмертны. Это вообще есть бессмертная стихия мира: и даже более, чем только обладающая вечным существованием; ибо она растет, и каждая капля ее преобразуется в море, а минута в века. Рождение — это квадрат, куб, сотая степень бессмертия! Оно неизмеримо его выше; оно содержит в себе «бессмертие» как дробь и малость! И то, что этим «кубом бессмертия» награждается человек за час своих ласк: по этому можно судить, что главный наслаждающийся в них есть вовсе не человек, а тот, в руках которого и бессмертие, и концы земли, и судьбы человека. Вот отчего твари, потерявшие способность к продолжению этих ласк, — умирают, как бы не нужны становятся, — не себе, конечно, почему бы им *для себя* и не жить, но кому-то, Кто заведует жизнью и смертью.

«По образу и подобию» Коего сотворена и советовала ревальская старушка: ведь, может быть, при сумеречных полетах мотылька на цветок наиболее радующеюся, наслаждающеюся и насыщаемою была и будет она. Не забудем теорию Бентама и Милля, по коему «всякий, даже мученик за веру, исполняет именно то, что *ему всего более нужно и приятно*», и добавим это тем психологическим наблюдением, что «духовные ощущения бывают еще ярче физических, не имея в себе той ограниченности и жесткости, какие составляют удел всего физического и физиологического».

Я сказал о «вдохновении Божества», я должен добавить, что, как и все важное и нужное, оно дается «врожденно» и, в сущности, передается *наследственно*.

Организм духовно-физический, в сущности, с каждой ласкою образует в себе *привыкание* к ней, подобное «походке», «почерку», «акценту»: которое *наследственно* передает и потомству, с прибавлением тех особенных ласк, которые участвовали в зачатии нового ребенка. От этого — древность и изначальность всего этого «дела» и индивидуальные различия, «прибавления». С одной стороны, «так ласкались до сотворения человека», а с другой — мы можем наблюдать, что с инстинктом всех этих ласк человек, в сущности, и рождается: и от этого так до испуга рано мы можем наблюдать их у детей еще. Ревельская старушка имела бабушку: вот в чем секрет; и написала дочери все то, что хотела бы, но не решилась написать ее мать. И так до «Адама» до «Бога» (Ев. Матф. I). 10

Вспоминая апостольское: «все нам *позволено*, но ничто не должно нами *обладать*», я думаю, что «учительная часть здесь должна заключаться в мудром самовладании человека, при котором он гармонически мог бы распределить *глубину, всесторонность и продолжительность*. Нигде — утолщений, нигде — перерыва. Нигде грубого и жестокого: последний стих Пушкина *природно неверен*. «Отсюда» проистекает нежность, любовь, привязанность. Два существа как бы «прививаются» друг к другу, — как это бывает в ботанике в деревьях (прививка черенками). Небесный Садовод знает, как взрастить сад Свой. Итак, умеренность должна здесь — присутствовать. Я думаю, древние не ошиблись, введя в храм животных: пример невинного и умелого. Но только человеку дано гораздо больше сил: лошадь живет 20 лет, человек — 70; а весит в семь раз менее ее. Итак, он в 3 × 7 раз сильнее, «мужественнее» и «женственнее» лошади. Ему поэтому более «позволено», говоря словами Апостола. Так в натуре это и есть: он большим пользуется. Это преимущество более мудрое и поэтическое, более божественное. Итак, в этом большом океане он все же не должен растерять парусов и весел. Компас здесь — далекое плавание. Ничего лишнего *сегодня* — чтобы было *завтра*; или лишнего чуть-чуть. Здесь нужно помнить и то, что очень сладко сегодня — может вовсе не показаться сладким завтра; тут привходит богатая психология, индивидуализм, поэзия и «не учитываемое» высокого одарения. Бл. Августин и Руссо, в избытке своего гения и, может быть, вследствие этого избытка, оба растратили «все» еще в молодости. Они жалели об этом оба («Confessiones», «Confessions» *): пусть это будет уроком «вообще человеку», которому мой, по крайней мере, совет — всегда соблюдать некоторый холодок, некоторый голодок; говорили и спартанцы, учившие: «лучшая приправка к кушанью — это хороший аппетит». В самом деле, только тогда с гениальной свежестью и, следовательно, с бесконечностью глубокого восприятия почувствуешь «всякий уголок, всякий волосок», как говорят путники и парикмахеры. И капля влаги, если она проглочена в пустыне, куда больше *помнится*, чем самовар чаю, выпитого в трактире. Я говорю «помнится»: а мы будем стары, и нам нужны «воспоминания». А то Руссо и Августин все плакали: нужно и улыбнуться. 40

Ночь на 25-ое декабря 1906 г.

* «Исповедь» (лат., фр.).

К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ

I

Умер Победоносцев. И с ним умерла целая система государственная, общественная, даже литературная; умерло замечательное, может быть самое замечательное, лицо русской истории XIX века; сошел в могилу, «тихо скончавшись после продолжительной болезни», — как написано в его некрологах, — целый *исторический стиль* законченной и продолжительной эпохи.

Человек стиля немногим пережил стильную эпоху. Он умер в пору, когда она вся разломалась на куски, и бурный поток, клокоча и негодующе, кусок за куском уносил и выбрасывал ее, как щепы разбитого корабля, как кирпич разрушенного здания. В смысле идейном, в смысле «веры, надежды и любви», немногие люди были так *жестоко наказаны*, как Победоносцев. Ибо немногие имели случай увидеть, до какой степени ничего, решительно ничего, из того, во что они «верили» и что «любили» за долгую жизнь свою, что *созидали и укрепляли*, не уцелело, — все погибло, и притом безвозвратно.

— Дела мои умерли раньше меня. Как я несчастен!..

— Дела мои умерли раньше меня. Как я могу жить?!..

Это неумолчно стучало в его голову два последние года.

Имя Победоносцева все знали, вся Россия. Вся Россия знала этого крепкого, ²⁰ установившегося, «решенного» человека, который не знает поправок, отступлений, уклонений в сторону, компромиссов, сделок. «Систему убеждений» его все знали же. Таким образом, за долгий период времени, за три последних царствования, никакая другая «идейная» фигура, или «официально»-идейная, не была так ярко видна, так выпукло освещена. Он был похож на большой портрет в раме, поставленный в актовом зале гимназии среди шумящих, резвых, шалящих учеников. Как они здоровы, юны, задорны, грубы и невинны! Гам и шум кругом. Но все оглядываются на раму с портретом: сухой и старый «дяденька» из рамы вот-вот поднимет тяжелый, мясистый палец и погрозит всем.

И притихали одни.

³⁰ Резвость других переходила в дерзость.

На место раскатистого ребяческого смеха появлялась желчная усмешка.

Родились раздражение, желчь, отчаяние. «Портрет» все сухо, недвижно стоял. Но, как он всех сдерживал и всем грозил, то, по истечении достаточного времени, около него шумел уже не юный зеленый гам, а красный хохот, бесстыдные движения, визг и свист.

— Что бы сделать с этим «портретом»?

— В самое бы неприличное место его вынести?

— Перевернуть вверх ногами?

— Разодрать? Разломать?

⁴⁰ Это шумела революция около «вышедшего в отставку» обер-прокурора Св. Синода, статс-секретаря и члена Государственного Совета К. П. Победоносцева.

«Портрет» был вынесен. Он еще жил и уже был «вынесен». Горькие минуты, два бесконечно тянувшиеся года.

* * *

Меня всегда поражало глубокое несходство, даваемое лично при встрече К. П. Победоносцевым, с тем впечатлением «общеизвестного портрета», какое от него ложилось на всю Россию, и, очевидно, тоже небезосновательно. Для России это всегда были «угроза» и «препятствие». «Не надо», «остановить», «затруднить» — в этом состояла вся «система» его, длившаяся, однако, четверть века; и как ни коротки эти афоризмы, но, приложенные без вариаций к тысячам крупных и мелких дел государства, просвещения, церкви, они, действительно, образовали целый «стиль». Знаменитое щедринское «тащить и не пущать», которым великий сатирик ударил по нашей бюрократии, ударил по ней, как по 10 чему-то невежественному, безграмотному, жестокому и темному, ни к которому бюрократу и ни к одному ведомству так не приходилось, — «как форма, шитая по мерке», — как к К. П. Победоносцеву и его «духовному ведомству»... Здесь, действительно, все «тащилось» и «не пушалось»... Самые сложные учреждения и отдаленные, так сказать, вкрадчивые меры принимались к тому, чтобы не только за свой век и от себя лично «тащить и не пущать», но чтобы и после будущее поколение было, так сказать, сковано этими мерами и, получив определенные учреждения в наследство, тоже уже невольно вынуждено было «тащить» и «не пущать».

Таковы были его церковно-приходские школы. 20

Таковы были его светские миссионеры.

При помощи первых он намерен был вымести «вольный дух» из народной школы, заведенный в них земствами и земскими учителями. Взамен общеобразовательной и *неопределенно*-образовательной школы он дал народу *конфессиональную* школу, т. е. *вероисповедную*, как бы призванную только отвечать: «Верую в Бога Отца, Вседержителя, Творца... и жизни будущего века. Аминь». Эту школу с «амином» он отдал под наблюдение и в распоряжение духовенству, в том тонком психологическом расчете, что уже личный эгоизм каждого священника-законоучителя-начальника и слитный эгоизм целого сословия начальственно-учительского толкнул его на суровое, беспощадное, неумолимое проведение своего «аминя» и вытеснение всяческого духа, ему препятствующего, с ним не согласованного. 30

— Я положу семя, из которого, по жесткости, грубости, темноте, лукавству и странной настойчивости нашего духовенства, вырастет такая охрана для «Верую, Господи, и исповедую», о какую как брызги разобьются презренные волны разных учительских семинарий и учительских институтов, этих земств и т. п. временной слякоти.

«Желчная улыбка» выдавливалась на губах народных учителей, «отныне поставленных в подчиненное и ответственное положение перед товарищем законоучителем». Желчная улыбка играла годы. Шла скрытая, шипящая борьба в каждом селе, почти в каждой деревне, между учителем и учительницею, *все время бывшими около ребят*, и между «наведывавшимся» в школу законоучителем, которому было «некогда» учить и только-только было время «заглянуть, проверить и донести»... Эта борьба, по миновании достаточного времени, выразилась в «учительском всероссийском союзе» и в знаменитых резолюциях учительских съездов... Она выразилась и в том, что обученные угнетенным и поднадзорным 40

учителем крестьянские ребята выросли и, придя в парламент, сели на левые его скамьи, сели подряд.

Ребята, невинно игравшие до тех пор, «ставили вверх ногами» грозный портрет...

Но и среди священников многие нерадивы, вялы, ленивы, некоторые с «душком»... Семинария, отданная в распоряжение монахов, и хорошо подобранный курс наук в ней обеспечивают «закваску фарисейскую» в сословии; но надо, чтобы эта «закваска» бродила и подымала тесто в каждом месте обширного отечества. К. П. Победоносцев положил начало штату светских «миссионеров», этих особенных любителей церковности не в тезисе ее, не в положительном выражении православия, а в его полемике, споре и опровержении «иномыслящих». Мирное и дремливое православие, через этих миссионеров, рассеянных по всем епархиям, переведено было в положение оборонительное и наступательное, вообще воинственное. Говоря зоологическими терминами, в существе травоядном и молочном Победоносцев начал растить зубы и сгущать кровь... Это «подпустить крови» и «подпустить зуба» было одною из многочисленных черт католического характера, появившихся в новом православии, — появившихся самостоятельно и внутренне, без подражания и заимствования. Сюда мы относим и нервно-патетическую церковную живопись Васнецова и Нестерова. Нет сомнения, что учреждением светских миссионеров, которые введены были «экспертами» на суд при разбирательстве церковно-религиозных дел, превратившимися в свидетелей, показателей, судебных следователей и прокуроров от лица церкви и с авторитетом церкви, у нас положено было начало инквизиции. И за немногие годы своего существования эта «духовная миссия» внутри России наполнила тюрьмы «еретиками» или «похожими на еретиков» страдальцами, и от глаз их не ускользало ни одно село с «упорствующими» старообрядцами, с подозреваемыми хлыстами или шалопутами, с «собирающимися читать на частных собраниях Евангелие» штундистами или якобы штундистами, как не ускользнули ни великосветские религиозно-мистические течения в Петербурге, ни народно-религиозные движения на Кавказе, Дону и Волыни... Глаз миссионера везде подглядывал, обвинял и доносил, а нити всего этого, через посредство известного В. М. Скворцова, «чиновника особых поручений при обер-прокуроре Св. Синода» и редактора получастного, полуказенного «Миссионерского Обозрения», собирались в крепкие, мясистые пальцы К. П. Победоносцева. Не в переносном, а в буквальном смысле, или, лучше, и в переносном, и в буквальном смысле, В. М. Скворцов был «истинно русский человек», с коротеньким катехизисом в голове, где генералы в звездах перемешивались со святыми «угодниками» в золотых венчиках на голове и все образовало такую «поклоняемую» толпу и кучу из «святых», сановников, мощей, окладов жалованья, небесного царства, казенных квартир, благодати, целебной святой воды, обязательной подписки на журнал, французского языка и модных галстуков, какой, вероятно, никогда не было видано на Западе, но которая довольно точно воспроизвела или воскресила Византию VII—IX века... Тут молились, «выслуживались», хватали за горло и обирали и в заключение опять «молились» или, лучше, все время молились «во славу св. Руси и Живоначальной Троицы». В. М. Скворцов был «немудреный человек», где все это уживалось без всякого противоречия и с полной искренностью и горячностью каждого порознь элемента. Но каким образом все это могло со-

вмещаться в единой душе самого К. П. Победоносцева, который не был ни наивным, ни недалеким человеком, — это разобрать очень трудно.

Через миссионеров, которые находились в живых и личных связях с В. М. Скворцовым, а сам он находился в постоянных сношениях с К. П. Победоносцевым, этот последний взял в личное наблюдение все необозримое духовное сословие России, давя на него в каждой точке, где нужно... Духовное сословие никогда не было так придавлено и задавлено, как при нем: награждено жалованьем, пенсиями — это с одной стороны, но и «службою подтянуто» — это с другой. И опять эта «желчная улыбка», выдавившаяся на губах «неблагодарного сословия», и «левые выборы» от духовенства в Думу...

10

Все и согласно выносили «портрет» в наиболее неприличное, какое нашлось бы, место...

* * *

Такие вещи, как светское миссионерство, как церковно-приходские школы, были так выпуклы, многозначительны. Они говорили всей России, и говорили определенным образом. Сомнения не было: с Победоносцевым, с его именем соединена была громада чего-то темного, мрачного, жестокого, что надвинулось на Россию и упорно не хотело уйти, что отстаивало себя и свое положение. По этому основному и общему впечатлению, ложившемуся от *дел* его, в России составилось представление о *лице* Победоносцева как о чем-то в основе всего сухом... Сухом и черством, недвижимом и строгом, неумолимом и «богомольце», немного «ханже», даже очень «ханже».

20

— Богу молится и делает скверные дела.

Это стояло над ним черною дощечкою с краткой надписью целые десятилетия... И он этой «дощечки» не снимал, не делал ничего, чтобы ее отстранить или заменить...

Для меня и до сих пор составляет загадку, где была *истина* в Победоносцеве: в *лице* ли его или в *делах*. В том, как вот «входит Константин Петрович», видишь его, бесспорно видишь, натурального, слышишь его голос, интонации его, такие бесспорные, не могущие быть подделанными, — или «в бумагах, подписанных Победоносцевым» и которые даны чиновникам всяких наименований «для исполнения» или «к сведению и руководству»... В конце концов, я думаю, что *истина* лежит в бумагах, всё *одного направления*, направления *за столько лет*. А личное впечатление... его надо зачеркнуть, как видение, как «хороший сон» в непогоду, когда на дворе стоит дождь, слякоть и мерзость...

30

* * *

В комнату, где было 3—4 скромных лица, — между ними какой-то знаменитый (мне сказали) устроитель церковной музыки и хоров, еще образцовый учитель образцовой же сельской школы, томимый сомнениями лесовод Кравчинский, брат Кравчинского—*Стетняка*, автора «Подпольной России» и убийцы генерала жандармов Мезенцева, знаменитого эмигранта, — вошел еще госпо-

40

дин... На вопрос мой, кто это, мне шепнули: «Разве вы не узнаете: это Константин Петрович».

Я с величайшим интересом стал всматриваться.

Высокая, очень высокая фигура оканчивалась маленькой головой женского, красивого сложения, почти без растительности на подбородке и губах... Это отсутствие волос на ожидаемых местах, по зоологии «вторичных (сопутствующих) признаков мужского пола, мужской силы и мужской зрелости», составляло бросающуюся в глаза особенность вошедшего в комнату нового человека. Давно я наблюдаю, и это можно проверить по историческим портретам, что люди особенного значения или исключительных талантов никогда не имеют «общей физиономии», «общечеловеческого» лица, «вот как *все*», что в лице таких людей всегда есть отступление от нормы, — увы! — большею частью в сторону некрасивого... Еще гимназистом, любя философию, я собрал портреты-фотографии знаменитых философов. Это были также «непростительные уроды», каких показать сразу и живьем в комнате — значило бы напугать или разогнать публику. Достаточно сказать, что Сократ, знаменитый в древности урод, был еще из самых красивых. Но что представляло собою, например, лицо Локка или губастое, с чудовищным ртом лицо Декарта, — это даже неприятно вспоминать. Как известно, Суворов был до такой степени некрасив, что не входил в комнаты, где ожидал увидеть зеркало. Конечно, встречаются и исключения из этого (лицо Паскаля), но именно как *исключения* редкие...

Лицо вошедшего нового человека мне, впрочем, сразу понравилось, как именно женское, женственное лицо, без бороды и усов (какая-то ерунда вместо этого), не *сбритых*, а *не выросших*, нежного очерка, с белою или очень бледною кожей... Это была пожилая, немного старая женщина, т. е. старый женский бюст, с сухою плоскою грудью, без «грудей», посаженный на высокое и сильное мужское тело, немного сухопарое, плоское, если смотреть сбоку, и широкое, если смотреть с лица... Какие-то большие ноги и большие руки. Точно в комнату входили руки, ноги и голова, а прочее тело возле них только «между прочим». Человек мысли, движения и захвата, — как этого не подумать? Мне он понравился, хоть был и «без грудей». Но я — мужчина. Можно же представить себе ту степень органического, темного, неодолимого отвращения, отталкивания, какое, несомненно, он внушал самым приближением своим, самым присутствием вот в комнате всему, что имело в себе женский инстинкт, женский взгляд, женские вкус и тяготение. Суворовское испуганное «не подходи к зеркалу» для Победоносцева варьировалось в испуганное, томительное, зловещее «не подходи к женщине».

— *Lasciate ogni speranza voi, ch'entrate*, «оставьте всякую надежду входящие сюда»...

Для читательниц слова мои будут ясны, а *читателям* я замечу, до чего для нас, мужчин, *невыносимы* женщины «солдатского профиля», женщины с *мужеобразными* лицами, с грубым голосом и мужицкими движениями... Для нас *прелесть* другого пола выражается в *дополнительном контрасте* с нами, во всем *обратном* с нами: в нежности, грации, податливости, уступчивости, в глубоком, нежном голосе и неуловимых, мягких движениях. Это мы зовем «женственностью», требуя ее во всем, от души и пения до походки и рукодельев. Очевидно, это самое есть и в ожиданиях женщин: они требуют *мужского* от другого пола, этого очерка «героя», от поступи и повелительности до подвигов и бороды...

В Победоносцеве ничего этого не было; даже не выросла борода; что-то ужасное и коварное в этой линии ожиданий и требований...

Между тем, Бог и родители его соделали... мальчиком, малюткой, отроком, юношей, мужчиною, старцем.

От которого все уходили, *не могли не уходить*, как от отрока... Я говорю о цветных нарядных кофточках.

И никто не приблизился к нему как к юноше... Говорю о шумящих шлейфах.

И также он был *органически не нужен* как мужчина, как пожилой человек, как старец...

Он был неизменно приятен, полезен, нужен только людям своего пола и своего костюма. Но это ужасное *одиночество*, едва он входил в другую половину рода человеческого, вероятно, не без причины именуемую «прекрасною», эта «пустыньность вокруг», едва он входил в сад цветов, ароматичности и неги, должны были от ранних лет положить на его душу такие впечатления, о силе и остроте которых мы не можем судить. «Исключительная личность и исключительные впечатления»... И всё черного, горького значения...

Я передаю свои мысли, как они толпою хлынули в мою голову, когда я разглядывал знаменитого государственного человека приблизительно в 1895 году... Все мы были его моложе, но этот старик казался моложе нас всех, по крайней мере, живее, оживленнее, в движении, речи, легкой изящной шутливости, беспорном уме, светившемся в его глазах...

Приятна была еще его вера в свои ум, достоинство: он был глубоко спокоен, глубоко ничего ни у кого не искал; никто ему не был нужен *для себя* (для него), и от этого он еще свободнее, легче и добровольнее давал из себя ласку другим. Она не заключалась в словах, не была выражена, — она неопределенно лилась из него, как в высшей степени счастливого, спокойного и благожелательного человека.

«Какой прекрасный человек!» — я подумал.

II

В этот первый раз, когда я увидел Победоносцева, я увидел и «луну, вечно сопровождавшую свое солнце», — Вл. К. Саблера. Он вскоре вошел в ту же комнату. Бравый мужчина пожилых лет, с седеющею головою, широкий, большой, почти веселый, во всяком случае, очень бодрый, человек без уныния, грусти и меланхолии. «Все благополучно», — говорили его лицо и фигура. Он был весь глубоко обыкновенен, как Победоносцев — глубоко необыкновенен. Когда он шел или двигался, он точно всех расталкивал, даже если этого не было. Такие манеры. Он сел и стал рассказывать, как ему говорили по телефону о какой-то крупной неожиданной пожертвованной сумме от какой-то духовной особы или причастной к духовному миру; потом рассказывал о каком-то заседании, на котором члены «раскрыли свои фонтаны» (красноречия). «У тебя фонтан не хуже других. Что же ты его не затыкаешь?» — думалось. Победоносцев, который тоже очень любит говорить, сочувственно улыбался этому отрицанию со стороны своего «товарища» по должности «фонтанов красноречия».

— Хорошо, когда говорим *мы*... Но когда говорят *другие*, это очень скучно. И... не нужно.

Тут был тот милый, счастливый, изящный эгоизм, который вырабатывается во всяком барстве, будет ли оно барством экономическим, титулованным, словесным или служебным, бюрократическим. Все равно. Суть барства в независимости и силе. Во власти над другими. И оно неизменно отражается в чувстве, в мистике, в природе: «как хорошо, когда я *цвету*, и как скучно, когда *цветут* другие; и... не нужно».

Вечная история, одна в Артаксерксе, Фамусове и Победоносцеве-Саблере.
 10 Суть не в человеке, а в положении. Человек сидит на своем месте, но еще вернее, что он сидит *под* своим местом, т. е. весь окружен, подавлен и сформирован условиями того места, кресла, стула, табурета или рогожки, на которых сидит.

* * *

Скажу кратко, что, насколько Победоносцев был ярко государственный человек, настолько же Саблер был ярко чиновником. Оба как бы родились только для этого. Один родился для «соображений», для «плана», другой — для деловой сутолоки, хлопот, беганья, мелочей. Но по этой именно причине они в высшей степени дополняли друг друга, были хорошо «сгармонизированы»; и, как мне приходилось видеть потом, В. К. Саблер не покидал Победоносцева даже
 20 в редчайших случаях, когда тот посещал оперу (в консерватории). Буквально он окружил его собою: почти нельзя было добиться слова от Победоносцева иначе, чем через Саблера; почти нельзя было до Победоносцева довести своего слова иначе, чем через Саблера. Разве уж что-нибудь очень ненужное и во всех смыслах неинтересное...

— А, батенька, служба?! Опыт!! Гений службы!!!

Это точно выгравировалось на счастливом, крепком, обыкновенном лице Саблера.

* * *

Если бы Россия была счастлива, как Саблер!.. Но она и самое духовное ведомство, — кроме этих крошечных пенсий и крошечных жалований, — была ободрана, холодна, голодна, угнетена, раздражена. В ней было везде неуютно. Но в этом кабинете было уютно.

Я припоминаю характерный длинный смех Влад. Соловьёва, с которым он передавал мне:

— Иван Давыдович (Делянов) говорит: «Со всех сторон я слышу жалобы, что церковь у нас мертва. Нет, отчего же: как хлопочет Владимир Карлович» (Саблер).

Делянов, тогдашний министр просвещения, армянин-старец, был «николаевская косточка». Начав службу при императоре Николае I, он был робок, скромный, ленив, необразован и страшно умен практической, житейской формой
 40 ума. До конца жизни он ничего не читал, кроме «S.-Peterb. Zeitung», и не знал

вовсе русской литературы, ни текущей, ни прошлой, ни журнальной, ни классической. Это, впрочем, не значило, чтобы он не знал, кто был Пушкин. Но люди, чрезвычайно начитанные и образованные не только в русской, но и в западных литературах, говорили мне: «Это антипод Победоносцева: насколько Победоносцев умен теоретическою формою ума, настолько же практическою формою ума умен Делянов». От других людей, профессуры, мне приходилось слышать: «Делянов не от старости ничего не делает для гимназий и университетов. Этот умница мог бы бездну сделать уравновешенного, доброго, умного. Но он циник: будучи сам умен и без образования, он глубочайше презирает существо образования, и ему решительно все равно, что есть и чего нет, чему учат и чему не учат в гимназиях. Он хотел бы только, чтобы не происходило волнений и безобразий, не самих по себе, но потому, что это есть служебная неприятность, и неприятность в его ведомстве».

Дверь его квартиры на Невском была всегда раскрыта «для званных и незванных». Он был совершенно доступен даже для учителей гимназий. И всякую просьбу запомнит и исполнит. Личная его доброта и готовность все сделать для ближнего, сделать и по закону, и сверх закона была безгранична. Когда к нему приходил студент с жалобой или за помощью, и, конечно, с этим известным «студенческим духом», то он, беря его за пуговицу, вел через комнаты в свой кабинет. Здесь, подходя к какому-то столу, он брал раму портрета и поворачивал перед студентом. Тот с изумлением видел общеизвестный портрет императора Николая I. На недоумевающий взгляд студента министр говорил:

— Вы, молодые люди, теперь ничего не боитесь и никого не уважаете. Весьма худо-с. Я вот при ком (указывая на портрет) начал службу и до сих пор его боюсь!! В наши времена, о-го-го!!! Вашу просьбу я исполню, но все обязаны почитать авторитет старших.

После его смерти передавали в Петербурге, что когда было вскрыто его духовное завещание, то оказалось, что лишь небольшая доля его огромного состояния (доставшегося ему по женитьбе) была назначена родственникам; все остальное пошло в дар и на пенсии бесчисленным сторожам, — не умею сказать: дома ли его, личной ли его прислуге или прислуге «мин. нар. просвещения», — каким-то его «крестникам» и «крестницам», рожденных дочерьми и супругами этих сторожей. Черта доброты и простоты тоже трогательная.

Видел я его раз в жизни, на отпевании академика Карла Грота. В каком-то черном пальто внакидку он поражал скромностью и особенно живостью. Фигура и лицо были мизерабельные и смешные. Но видно было, что, смешной сам, он внутренне немного подсмеивался над всеми другими.

— Старая николаевская лисица: с одним «St.-Petersb. Zeit.» за душою усесться в министры народного просвещения в России и «проходить службу» свою так удачно и благоуспешно, как этого, пожалуй, не удавалось никому до него: осыпан почестями и милостями, никаких неприятностей и ничего не делает.

Он уже был «графом» и имел орден Андрея Первозванного, т. е. «по службе», в смысле отличный, орденов и «милостей», обогнал Победоносцева, да и всех, кажется, сверстников.

Победоносцевым он вечно был оскорбляем, притесняем в Государственном Совете, в комитете министров: Делянов представит какой-нибудь проект, конечно, «для блезире», — и Победоносцев со всей силой критического гения и раде-

теля о судьбе отечества обрушится на него. Медведь лез, с ревом, с ломом, на карточный домик, на воробьиное гнездышко, на место, «где курочка по зернышку клевала»; и не то важно, что «проект падал», проект — Бог с ним, можно его и исправить, и представить другой, но выходила «неприятность», члены Государственного Совета качали головами или улыбались и проч., и проч., и проч. Шум — и по-пустому. Старая «николаевская» лисица и улыбалась армянским смехом уже по адресу «ведомства Константина Петровича»:

— Говорят, церковь мертва. Не нахожу: как бегаёт один Владимир Карлович.

10 Делянов, интересуясь внуками своих сторожей, разумеется, ни малейше не интересовался ни русской, ни армянской, ни какой еще иной церковью. Но он напрягал ум. Действительно, в одной фразе своего гениально-практического ума осветил и отверг и осмеял все то, над чем, «наморщивши чело», пыхтел, старался и ничего не мог сделать К. П. Победоносцев.

— Церковь не живет вовсе... Церковь сгнила и развалилась. Это Владимир Карлович Саблер бегаёт впопыхах, зарабатывая себе ленту Александра Невского. А самодовольный умница Победоносцев, вечно обижающий меня и презирающий, как неуча, хлопоты своего Владимира Карловича принимает за действия благодати Господней и ищет Св. Духа в плюмаже его сенаторской шляпы.

Саблер, сверх прочего, был и «сенатором».

20

III

В следующий раз я видел Победоносцева в небольшом обществе отставленных или полуотставленных государственных людей. Тут был один ех-министр, с бритым, некрасивым и неумным лицом; товарищ министра, с очень красивым, но слишком обыкновенным лицом; жена ех-министра, милая и «чисто русская женщина», из знаменитого дворянского русского рода, ужасно спешно лепетавшая про благотворительность и про гр. Л. Н. Толстого, вставляя французские отрывки фраз всякий раз, когда она решительно не могла их передать по-русски. В первый раз я слышал этот светский говор, великолепные образцы которого даны гр. Л. Толстым в «Воскресении» и в «Войне и мире». Так как общество было 30 русское, а в лице моем и демократическое, то она, очевидно добрая и приветливая, совершенно простая женщина, чувствовала неудобным говорить не по-русски. Но это ей было страшно трудно. Она говорила страшно медленно, очевидно мысленно переводя с французского языка на русский: но в некоторых местах приходила в отчаяние, и тогда сыпались французские слова, которые она удерживала, и вновь начинала с усилием складывать, как дитя, русские предложения.

Между тем, она была чистокровно русская, и ее урожденная фамилия фигурирует в биографии Гоголя среди ближайших друзей его.

Вошел Победоносцев, светя умом и спокойствием: тем умом и спокойствием, какое я всегда любил в нем, как все приятное и красивое.

40 Мне кажется, «своя думка», своя недодуманная дума и недоконченное размышление всегда были в нем, присущи ему были и днем, и ночью. И от этого присутствия мысли в его лице, вот сейчас мысли, оно было духовно красивее других лиц, куда бы он ни входил, где бы ни появлялся. Все остальные думают о «сейчас», и эта мысль о «сейчас» — коротенькая, малая. Победоносцев же,

входя в обстановку «сейчас», нес на себе остатки и следы именно длинных мыслей, естественно более важных и более красивых, чем обыкновенные. Как ни мало для меня уважительна его деятельность, во взгляде на которую я совершенно примыкаю к определению И. Д. Делянова, тем не менее, личность Победоносцева для меня была и останется неизменно привлекательной. В нем была еще другая дорогая черта — глубокая естественность. Каждое движение его, каждое слово — были натуральны, «как хотелось». Ничего искусственного, сделанного, преднамеренного. Никакого, даже отдаленного, намека на хитрость или возможность хитрого. До чего он в этом отношении был не похож на «высокопоставленных карьеристов» Петербурга...

10

За большим круглым столом рассматривали серию рисунков (около ста), выполненных гуашью (особый род сухих красок). Рисунки иллюстрировали апокрифическое Евангелие от Иакова, имеющее некоторые не канонические, но очень поэтические оттенки текста. Выполнены они были одним глубоко образованным человеком, которого я потом близко знал, и рисовались не торопливо, приблизительно в течение 15 лет, рисовались вдохновенно и прекрасно. Никогда я не видал столько вкуса, ума, выбора и благородной игры воображения над благороднейшими сюжетами, как в этой работе петербургского старожилы, чиновника и юриста (по образованию и должности). Много раз я их рассматривал потом. И чтобы объяснить всю серию, приведу хоть один пример.

20

На слова евангелиста о родословии и рождении Иисуса Христа дан рисунок приблизительно в три вершка высоты и $2\frac{1}{2}$ ширины. Дугой циркуля он разделен диагонально на две приблизительно равные по величине части: это две картинки, как бы два исторические видения, две фабулы истории ли, легенд ли, действительности и религии. В правой и нижней половине, т. е. *под* разделительную линию, где-то в садах Августа Виргилий читает своему царственному другу и покровителю те знаменитые строфы, где он удивительным образом совпал с тем самым событием, какое в августовское время действительно совершилось в Вифлееме. Строфы эти до сих пор для историков и археологов составляют загадку, что-то непонятное, а доверчивые средние века за эти строфы поместили Виргилия в ряд ветхозаветных пророков, предрекавших пришествие Спасителя. Только у Виргилия это сказано определеннее и яснее, чем у всех пророков: «В дни твои, Август, родится Божественный Младенец, который положит начало новому порядку вещей на земле: от Него выйдет новый закон, и он принесет мир людям»... Сейчас не помню наизусть, но конкретность предсказания удивительна. Итак, в белых холщовых тогах сидят Август и поэт (венки на голове), и, читая по свитку, Виргилий вдохновенно поднял перст вверх. Прекрасная сцена домашней жизни цезарей, когда они еще не перестали быть гражданами. Виргилий ничего не видит, не знает; он *poeta et vates*, рифмотворец и вещун... Но правда или неправда в его гаданиях — он не знает и сам. Хочется петь о «новом золотом веке», и он поет. Но нам «хочется», а в хотеньях наших, может быть, говорит Бог? Откуда сны? Но Бог, как во сне Самуилу, говорит в них. Так на этот раз удивительными, действительно удивительными строфами римлянина-язычника было описано одновременно происходившее событие израильской истории: тогда как самых имен «Назарета», «Вифлеема», «Иисуса», «Мариам» Виргилий, конечно, не знал!

30

40

Удивительно!

Над дугообразною чертою, именно как бы в продолжение и исполнение вдохновенного слова и жеста римского поэта, виделось южное небо, темное с звездами, и в нем Богоматерь с Младенцем, в том иконообразном сложении, к какому мы привыкли.

До чего было это грациозно, изящно в исполнении. Рисунок занимал верхнюю половину картона-листка, на нижней половине которого были начертаны тушью, крупными «летописными» буквами, латинские стихи Вергилия, сюда относящиеся, — четыре-пять строк.

Все любовались, разобрав по рукам листочки-картинки.

10 — Это что же? Это что же? — восклицал Победоносцев.

В руках его был первый заглавный листок. В византийском стиле, с этой богатой орнаментацией всяких завитушек и ремешков, нарисована была «Небесная Слава»: Престол Господен, и на нем сидящая Пресвятая Троица. Вот Бог-Отец — Старец, одесную Его — Сын; на персях Отца Дух Св., в виде голубя; кажется, по другую сторону Божия Матерь. Я не помню подробностей, но помню, что именно изображен был Престол Божий как символ целостной церкви, целостного христианства. И опять, как на предыдущей картине, проведена была, но горизонтально, черта; то была небесная половина христианства, а вот — и земная. По правую сторону, в клетчатом плеле, идет хлопотливо с чемоданами англичанин; 20 вокруг — африканский пейзаж (миниатюра жирафы, слона): окрест удивленно и богомольно взирают на клетчатого господина голые дикари...

— Это англичанин!.. Явно. Английская миссия в диких странах. Под мышкой несет Евангелие (книжка, может быть, с символом креста), ну, а главное-то — чемоданы, торговля (небольшой смех, скорее улыбка). Хорошо, хорошо: несут христианство и культуру; много эгоизма, но и подлинная жажда просветить дикарей светом Евангелия, к которому есть подлинный энтузиазм. Может быть, и не лучшее дело земное, но хорошее дело земное. Да, для протестанта — христианство есть культура, отождествено с культурою. И что же: культура богатеет от христианства, а христианство богатеет от культуры. Хорошее поле для евангельского зерна, хотя, может быть, и неподалеку от дороги, где пролетает много птиц, и они выклевывают множество зерна. Труд и суета, эгоизм цивилизации: и в нее павшее евангельское зерно, полузатоптанное, полузаглушенное. А это что? Ба-ба-ба!

На левой части рисунка изображался толстый католический поп, подвязанный веревкой, с бычачьей шеей и бритым лицом; подняв обе руки как бы в защиту себя, он отвернулся от зрелища, явно для него отвратительного. И немудрено: «зрелище» представляла молодая женщина, с ребенком на руках, о чем-то умоляюще говорящая ксендзу.

— Те-те-те! Попался, голубчик. Молодая женщина сует ему ребенка, от него 40 прижитого, а он воздевает руки «горе», отвечая: «Не вем». Мошенники. Лугуны и развратники. А это...

Он разглядывал середину рисунка.

— Не понимаю, что это. Спит монах. Кажется. Может быть, архиерей, — пышная одежда. Знамение креста и куколь. Да это монах наш, восточный. Как удобно улегся. И подушечка. Спит он? Нет, кажется, дремлет: глаза не совсем закрыты. Лицо тупое, сонное и самодовольное. Да, это наша православная церковь.

Кажется, я немного неверно или, точнее, *не полно* описал верхнюю часть рисунка: «Престол Божий» был только над этим «православным» монахом, не простираясь влево и вправо, на англичанина и ксендза: те оба (миниатюры) как бы уходили вдаль «от Христа», один, предавшись заботам культуры, а другой, погрузившись в разврат.

— Чудно! — продолжал Победоносцев, явно восхищенный. — Один отдался торговле, другой — разврату. Нашим дуракам все было дано, но наши дураки надо всем заснули. Ну, и не пробудишь их! Куда. Сытые и видят золотые сны. Это весь наш Восток, ленивый, бездушный, который воображает, что уж если «истина» попала им в руки, то уж что ж тут и делать, «истина» сама за себя постоит, а они могут сладко дремать на сладких пирогах. ¹⁰

Подробностей я не помню: но до «йоты» точно передаю смысл и все оттенки смысла речей Победоносцева. Не то чтобы он говорил с желчью, но с тем давно-давно установившимся убеждением, которое, может быть, когда-нибудь и клокотало, рвалось в дела, в гнев, но давно подернулось корою равнодушного презрения и полным убеждением, что время сильнее человека, а нация, в пороках и слабостях, — гораздо сильнее всяких усилий над нею отдельного человека.

Мне кажется, в одном отношении он был человек *старой*, даже застарелой и как-то *неумной* школы. Он соображал, что «делать», это — значило именно *самому* делать. Как же, залог «добродетели» всех наших служилых людей, начиная еще с Петра. Все «дуги гнули»... Между тем, истина заключается в том, чтобы давать *другим* делать. Между двумя этими программами — целая пропасть. «Самodelание заключается в каком-то отвратительном убеждении, что все люди мертвы, кроме «меня», положим, вот Сперанского, Аракчеева, Д. А. Толстого, Победоносцева. Над этими мертвыми людьми я буду делать, потеть, ломаться и ломать их, пока не приведу все «в надлежащий вид». Но «надлежащего вида» обыкновенно не выходит... И человек умирает, иногда страшно умный, совершенно разочарованный. Другая программа чрезвычайно умна исторически и в то же время удобна, потому что для исполнения своего не требует никаких особенных индивидуальных качеств. Она заключается во взгляде, что все должно «*делаться*», «*само собою* совершаться» и что почти все индивидуальные усилия, положим, «высокопоставленного человека», министра и проч. должны заключаться в убрании препятствий с дороги, в снятии пут с человека и людей. Я сказал, что программа эта не предполагает особенного ума. Но она предполагает в человеке некоторый высший дар, нежели ум; добрую душу, скромное признание собственного умственного и нравственного уровня не высшим, нежели у других людей, у так называемой «толпы», и, как плод всего этого, — веру в людей и в обстоятельства. Хотя, по-видимому, Победоносцев придавал «слепым стихиям истории» высшее значение, нежели индивидуальному уму (см. его «Московский сборник»), но на самом деле он был индивидуалист и на слепые стихии истории смотрел как на разбой, почти разбой в своем департаменте. Он не доверял ни народу, ни стране, ни своему поколению. Все это были «грабители», грабившие его чемодан с гладко переписанными бумагами, на которых значилась подпись: «К. Победоносцев». ⁴⁰

Все это была недалекая система. Будучи страшно умен индивидуально, он был неумен воспитательно, т. е. он *первый закал обугения и молодости* получил в грубо-наивную, положительно недалекую эпоху. Учился в те дни, когда учился

и Делянов: но только тот все читал «S.-Pet. Zeitung», а этот читал все, и постоянно читал философов, поэтов, законодателей, историков. Любовь его к чтению была неутомима, и число прочитанных им книг, и любовно вдохновенно прочитанных, — было изумительно. Уже 70-летним старцем он делал в записной книжке пометки о читаемых книгах и выписывал из них прекрасные места. Но это все украшало его ум, не помогая государственному человеку. Как государственный человек, он получил *кривой закал*, если позволительно так выразиться, еще в те 30—40-е годы XIX века, когда в государственной системе России не было никакого другого взгляда, другой системы, как эта добродетельная и узкая система «самоделания»... «Все бы *самому*», «мертвецы кругом: я один *жив*»...¹⁰ Последние два года его жизни могли бы убедить его в совершенной ложности такой теории. Влад. Карлович Саблер не так умен, чтобы от чего-нибудь поумнеть: но Победоносцев мог бы увидеть, до чего все оживилось *тем самым оживлением*, о котором он *мечтал и томился: и искренно томился*, в любимой им области церкви, едва он сам отошел от нее, и с ним отошли те бесчисленные запоры, задвижки и заслоны, которыми он всю ее перегородил и заставил. «Богословский Вестник» в Москве (в Троице-Сергиевом посаде), «Церковный Вестник», «Век», «Звонарь» в Петербурге, «Церковная Газета» в Харькове, «Церковно-Общественная Жизнь» в Казани — как все это заговорило, каким языком, *с каким напряжением, с какою ясностью и на какие темы!!!* Но эти люди, там пишущие и издающие, они были и вчера, и третьего дня те же люди: только им третьего дня и вчера «не позволяли говорить», а сегодня так сложились обстоятельства, что «стало не до них», и они под шумок и под гамок *сами заговорили*. *Сами* заговорили, и картина сразу стала лучше. Явилось именно то, что Победоносцев считал безнадежным, — *пробуждение людей церкви*. Ну, что же было всем бегать на побегушках у Победоносцева — никто этого не хотел. И все вяло делали или полудедали в «его ведомстве», которым при нем стала церковь. Но он отошел — если еще не в вечность, то в отставку: и все рванулись делать, для Бога, для Христа, для церкви. Самая должность обер-прокурора Синода насколько отрицательна в самой себе,³⁰ что, чем *меньше* стоящий на этой должности человек, тем лучше: преемники Победоносцева (их было уже двое) так малы, что на них никто не обращал внимания; и потому открылась возможность службы не им, а *истине, религиозной и церковной правде*. Пока это выразилось отрицательно, в борьбе с религиозною и церковною неправдою, бытие которой признавал даже Филарет, митрополит Московский: но сперва очищают поле, а потом по нему сеют.

Передам еще личное впечатление от Победоносцева: нас сидело человек пять гостей у митрополита Антония; к счастью, был и Скворцов, доверенный человек Победоносцева. Сидели за чаем, и речь непринужденно лилась. Вдруг вошедший слуга что-то шепнул митрополиту, и, улыбаясь, он сказал нам: «Константин Петрович».⁴⁰ Сейчас же открылась дверь, и вошел Победоносцев. Он был так же жив и умственно красив, как всегда. Присутствие Скворцова потому было благополучием, что, очевидно, митрополит был страшно стеснен Победоносцевым и его «высоким саном» и опасался возможности всякого подозрения у него относительно «чистоты своих намерений». Беседа глаз-на-глаз митрополита с 4—5 писателями могла показаться обер-прокурору Синода и не весьма благочестивым делом, а, главное, видом религиозно-государственной «неблагонадежности»... Помнится, он потом и высказывался в том смысле, что «слава Богу, что был

и Скворцов». Победоносцеву сейчас был подан стакан чаю, и он весело разговаривал со всеми нами, конечно, насчет тех предсмутных дней, которые тогда текли (время Плеве). Между другими речами его была та, что «невозможно жить в России и трудиться, не зная ее, а знать Россию... многие ли у нас ее знают? Россия, это — бесконечный мир разнообразий, мир неприютный и терпеливый, совершенно темный: а в темноте этой блуждают волки»... Он хорошо выразил последнюю мысль, с чувством. Кажется, буквально она звучала так: «дикое темное поле и среди него гуляет *лихой человек*»... Он сказал с враждой, опасением и презрением последнее слово. Руки его лежали на столе:

— А когда так, — кончил он, — то ничего в России так не нужно, как *власть*; ¹⁰ власть против этого лихого человека, который может наделать бед в нашей темноте и голодье пустынной.

И пальцы его огромно сжались, как бы хватая что-то. Я взглянул: какое безобразие! При сухопарности всей фигуры, «всего Победоносцева», пальцы у него были толстые, мясистые, налитые кровью. Они были так непропорционально велики, как будто из кисти руки, из ладони, выделялись пять детских красных ручек.

Характерно. Может быть, оттого, что он 50 лет постоянно много писал.

Я думаю, эту особенность заметил гениальный И. Е. Репин. На картине «Государственный Совет» он изобразил Победоносцева сидящим совершенно на заднем плане. Фигура его тускла и не бросается в глаза. Как известно, надо всем Государственным Советом (на картине) царит брюхо Игнатьева, киевского генерал-губернатора, такое классическое, колесом. Но вот характерное: Победоносцев поставил локти на стол и вложил пальцы одной кисти руки в пальцы другой. В тусклом дальнем изображении видно только сморщенное, гневное, зловещее лицо «статс-секретаря и обер-прокурора Св. Синода», и эти ужасные две кисти рук его, точно второе его лицо, столь же характерное, как и женственное белое, умное лицо!

— Хватай! Хватайте все! Иначе — все разбежится и, разбежавшись, убьется, разобьется!.. ³⁰

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И МЫСЛЕЙ О К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВЕ

Мне нравилось, по частному и особенному случаю, иметь одну длинную беседу с недавно умершим К. П. Победоносцевым, где он высказался с замечательной откровенностью и принципиальностью о высшем государственном управлении, о так называемом монархическом строе, у нас и в Европе. Мысли эти — совершенно не те, какие *ad publicum* * и для *действия*, в утилитарных целях, он высказал в своем «Московском сборнике». Они не могут не быть интересны для читателей, историков и для его биографа. Затем мне приходилось мельком видеть этого государственного человека, и также я внимательно прислушивался ко ⁴⁰

* публично (*лат.*).

всему, что о нем говорят люди вражды и дружбы, люди разных положений и профессий. Мне думается, что понимание какого-нибудь явления или лица зависит не столько от частоты наблюдения, сколько от внимания наблюдения. К последнему у меня была особенная причина: раньше первой встречи я не относился к личности Победоносцева безразлично. Многие годы, приблизительно с 1882 г. до 1898 г., взгляды мои (которые в основе всегда суть *симпатия*) на церковь, государство, цивилизацию, историю были приблизительно те, какие приведены в «Моск. сборн.», но только они выражались литературно и всячески менее закругленно, более резко, угловато, менее художественно. В излишествах отрицания прогресса, культуры и, например, школьного (установленного типа) образования я заходил так далеко и, должно быть, выражал это (в «Русск. Вестнике» и «Русск. Обозрении») так угловато, что это вызвало замечание Победоносцева, переданное мне редактором журнала: «У Р—ва *не все дома*», что в переводе значит: «Р—в пишет как бы *не в своем уме*». Это относится именно к нехудожественности, к вообще *неприятности для читателя* выражаемых мною мыслей, которые по *тенденциям* своим, повторяю, не по *мотивам*, не разнились от миро-созерцания «Моск. сборника». Сказать коротко: я совпадал точка в точку с любимейшим в ту пору моим писателем К. Н. Леонтьевым, автором книги «Восток, Россия и Славянство» и брошюр: «Наши новые христиане — Толстой и Достоевский», «Национальная политика как орудие всемирной революции», «От Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни», и проч. Леонтьев же и его *планы политики* относились к Победоносцеву и его *фактической политике* приблизительно как Равальяк, иезуит, убийца Генриха IV, положим, к папе того времени, разумеется, папе и доброму католику, но, может быть, несколько холодному к своему папству. Также и мне все нравилось в Победоносцеве; но он казался слишком медлителен, нерешителен, и, словом, в год творил по маленькому дельцу, когда надо было каждую неделю делать гору дел *в том же направлении, и далее*, какова была фактическая политика Победоносцева в царствование Александра III. Я все это веду к тому, чтобы объяснить читателю, почему я был *внимателен к личности* Победоносцева, дабы он не отвернулся, от воспоминаний человека, почти и не знавшего его. Здесь было внимание *любви, уважения*. Приблизительно с 1898 г. я был внимателен уже от другой причины: *негодования, неуважения* всех дел, всей политики. Негодование тоже заостряет внимание. Таким образом, хотя я смотрел через два стекла на его личность, но я его *рассматривал* при этом, и естественно мог заметить многое, чего другие не замечают и при самом частом общении, даже именно от *гастоты, вульгарности, обыденности*.

Скажу также, что хотя в этот второй период я уже смотрел на *дела* его через черное стекло, но *лигно сам* к нему как к *лигности*, сохранял все прежнее отношение, похожее на привязанность. Все мне в делах его казалось смешным, ненужным; когда разгорелась у нас революция или что-то похожее на революцию, я не мог удержаться, чтобы не написать ему краткого указания, что *происхождением* своим никому эта революция так не обязана, как ему и его политике в царствование Александра III. Но это — философия. Кроме философии есть поэзия, и вот этой второй частью своего существа я до конца его жизни не мог не восхищаться черным Дон-Кихотом, таким грустным, таким беспомощным, таким благородным и бескорыстным, как и знаменитый идальго Ла-Манча. Его известный ум и образование не были для меня (как для многих) самою в нем привлекатель-

ною чертою: может быть, строя иллюзии, я вечно слушал его сердце, и по всемирному сочувствию, всемирному братству людей не мог без глубокой любви думать об этом сердце, которое так много само любило политически, так часто увлекалось и знало такие разочарования... Здесь мне приходит на ум одна параллель. Подобно тому, как мы все не знаем *настоящие причины* нервного и озлобленного расхождения гр. Л. Н. Толстого с церковью, и причина эта без сомнения кроется в чем-нибудь очень интимном и частном, в какой-нибудь такой *незаметной, но существенной* черточке биографии великого писателя, которой он никогда и никому не рассказал: так же точно политические и исторические убеждения Победоносцева, все окрашенные в такой *гербный, скептический и презирающий* цвет, без сомнения имеют основанием для себя тоже что-нибудь частное, личное, какую-то великую *обиду* или *горечь*, какую замечательный государственный человек постоянно нес в своем сердце, нес ежедневно и не мог ее выдавить из себя. Тут я комментарий могу дать только в замечательной мусульманской поговорке, которую мне когда-то случилось прочесть. Поговорка говорит: «Что тому *геловеку* за дело *до мира*, у которого тесна *обувь*». Поговорка выражена как-то изящнее и резче, может быть: «Что тому человеку в *радостях* света, у которого сапог жмет на *мозоль*». Вот у Победоносцева, как и у Толстого, где-то *нажало мозоль*, стыдливую, застенчивую, о которой не найдешь и не расскажешь соседу: и оба закричали, один — в одном тоне, другой — в другом тоне, что мир неладно устроен, и «зачем земля кругла», и для чего «планеты ходят по небу». Но суть не в планетах и не в земле, а в сапоге и мозоли.

Каким образом человек такого замечательного ума и образования, который поровну разделил свое сердце и отдал его без остатка, без скупости высочайшим интересам религии, поэзии, философии и общественности, — более, который в кабинете у себя, в уединенном своем *я* так чисто и радостно переживал бескорыстнейшие волнения, идущие от Пушкина, Карлейля, Эмерсона, прелестных христианских отшельников первых веков эры, который внутри себя и *неподдельно* был чем-то средним между маркизом Позою, Дон-Кихотом, Гамлетом, Вертером и умел говорить, — нет, умел *густвовать* слова, от которых не отказались бы эти любимейшие Европою персонажи Шиллера и Гёте, *на деле* был чем-то средним между герцогом Альбою и тем придворным, которого заколол Гамлет, приняв его за мышь: это остается навсегда необъяснимым! Так сознавать нужду *движения*, и так все *остановить*; так быть *просвещенным*, и так *теснить*; вообще *не любить* и *не уважать* просвещения; так сознавать все *дурным* в его сущем положении, и особенно дурным в положении, в состоянии церкви и государственности, и вместе неумоимо противиться всякой *перемене* здесь, *охранять это дурное*... Непостижимо. Хочется бросить разгадку в виде дерзкого афоризма: Да, Победоносцев был вовсе *не государственный геловек*, не имел ни капли *нужного государственному геловеку*. — «Как, — закричат, — когда он только и был *государственным геловеком?*». Но я отвечаю на это, что в том «неограниченном» режиме, в каком он жил и действовал, ничто не составляло препятствия поставить на чреду *действия* человека *мысли* и замечательных мыслей; импрессиониста, который, как «Эхо» Пушкинское, рождал *отзвуки* и на вопросы и дела государственные, на события государства, церкви, общества, философии, литературы: во все отзвуки *отражательные, отрицательные*, бездейственные, не живые и не самобытные. *Победоносцев ничего в церкви и государстве не сотворил*, если не счи-

тать сотворением то, что он лишь крепче затянул, стянул и сдавил все отношения в них, и без того душные, задавленные и тесные. Но это ясно не *сотворение*, не дело. Всем общеизвестно, что он был «консерватором», «охранителем», но что это за дело — консерватизм? что за ведомство «всеобщего охранения»? Вещи хранятся *сами собою*; тем, что они *лежат, существуют, есть*. Жизнь охраняется самую тяжеловесностью своею, врожденною всех существ ограниченностью, даже бездарностью, ленью, всеобщей физической мировой *косностью*, мировым *трением*, что ли, препятствием *среды*. Словом, не нужно «министерства всеобщего охранения», и оно так же странно в системе государств, как если бы в системе народного просвещения появились школы «поощрения лени» или «образцовые училища долгого сиденья в одном и том же классе». Это противоестественная, ненормальная и по ненормальности как бы тошнотворная, холерная задача. Просто, это болезнь, патология! Не за что платить жалованья, не для чего собирать людей, усаживать их по департаментам и отделениям. И если работники собраны, оплачены и усажены по рамам стульев и кресел, то они не должны *работать работу*, делать, творить, непременно *вновь и вперед*. Без «вперед» просто нет министерства. Без «нового» — не должно быть ведомства. Это его роспуск, каникулы, уничтожение.

Но Победоносцев, о котором известно, что он заводил такую «холеру» в государственном и церковном организациях, заставлял организмы эти «выбрасывать назад» все, что бы они ни скушали нового, свежего, недавнего, можно ли назвать его государственным человеком? Просто смешной вопрос: этот импрессионист со своими «эхами» и «ахами» замешался, как длинная крючковатая палка, в колесики и колеса, в сложные и необозримые государственные механизмы, всему мешая, препятствуя; ничего не оживляя, хотя сам как именно импрессионизм, оставаясь непременно жив. Все его обаяние, ум, живость, образование, его простота и естественность, привлекательность его образа как человека пошли в отрицательную, мертвящую работу. Чем он был живее, тем мертвее все вокруг него становилось. Чем он более говорил, тем менее говорили другие, все приучалось к «молчанию» в его ведомстве. Гамлет по устройению способностей и Дон-Кихот по историческим задачам, он на деле, фактически, был червем того растения, к которому любовно привязался; точил и точил, ел и ел сердцевину церкви и государства, все хваля сладость, полезность и живительность съедаемого. Отвратительная роль: но для чего на нее ставили человека? Мы убеждены, что говорим лучшую похвалу ему, снимая с него эту «церковность» и «государственность», ему навязанную, к которой его принудили, и оставляя за ним, как ему коренным образом присущие, черты просто прекрасного человека. Для всякого, кто имел малейшее к нему прикосновение, не может быть никакого сомнения, что его невозможно поставить и оставить в ряду действительно темных людей политики, в роде известного австрийского Меттерниха: у тех был какой-то врожденный мундир, какая-то мундирность душеустройства, которая отталкивает от них человечество. «Не наш, не наш!» — есть восклицание над их гробом, роковое, самое мучительное, если оно раздастся из уст человечества. Над гробом Победоносцева хочется сказать другое, примирительное слово. Я знаю, как встанут на дыбы против этого слова все, кто лично его не знал и просто к этому незнанию *не могут судить*. Мундир на него был только надет, притом — со стороны. И хотя Победоносцев нервно ненавидел общество и общественность, и в этом отноше-

нии иногда произносил слова удивительной дерзости, но уже по их темпераменту и вообще по отсутствию в нем лукавства, хитрости, двуличия, притворства, заискивания, по этому свободному, прекрасному в нем духу «он был *наш!*» Плоть от плоти общества, литературы, скажу необыкновенную вещь — улицы: Алексинский на выворот. Бывают случаи, что дитя улицы, уличный волчонок доброю феею или ангелом судьбы своей бывает перенесен во дворец, в аристократию, в золотые и раззолоченные круги; и всю-то жизнь он стоит угрюмо среди них, кусается, презирает, бьется. Мне решительно и определенно известно, что раззолоченную среду вокруг себя, эту нашу бюрократию он всегда и нескрываяемо презирал. С некоторыми министрами, тоже весьма богомольными, он не хотел иметь никакого дела, несмотря на все их заискивание. Вульгарно, à la Алексинский он произносил о Сенате: «сенаторы» («знаем мы этих сенаторов»), о Витте — «Этот Витта»... Вообще он бранился, порицал «как товарищи», как «на митингах». Это немногие за ним знают, это характерно. 10

Но фея отделила волчонка рано и от улицы: видя ее только издали, как грязь, прилипающую к колесам своего экипажа, — он презирал и ее далеким, непонимающим, *отвлеченным* презрением. Я сравнил его с Алексинским: это грубо. Но его можно действительно сравнить с Добролюбовым, о котором рассказывают, что как-то, проходя мимо Публичной библиотеки, он сказал: «Вы думаете, это кому-нибудь нужно, этот старый хлам веков? Ее просто надо сжечь». Вот Победоносцев и был таким Добролюбовым с другой стороны: «Что такое газеты? Разве в них пишут так хорошо, как Пушкин? Их надо просто сжечь, да и все новое сжечь, всю эту якобы литературу и просвещение, оставив святцы, Ефрема Сирина и Пушкина». Который-то из персонажей тургеневского «Дыма» говорит об Ирине, главной героине там, что она имела «*Posloblenny um*»... Вот такой «Позлобленный ум» и с этим именно ириновским темпераментом, женственным, оскорбленным, измученным, имел и Победоносцев. 20

РУССКИЙ «РЕАЛИСТ» ОБ ЕВАНГЕЛЬСКИХ СОБЫТИЯХ И ЛИЦАХ

Ни Толстой, ни Достоевский не были так счастливы, чтобы на оборотной стороне заглавного листка новых своих произведений выставлять такую надпись: 30

Право собственности вне России закреплено за автором во всех странах, где это допускается существующими законами.

Гг. переводчиков просят обращаться за разрешением на перевод и за справками к представителю автора, Ив. И. Ладыженскому, по следующему адресу:

«Berlin W, 15, Uhlandstrasse, 145; Buhnen-und-Buch Verlag russischer Autoren J. Ladyjensky.

Так напечатано после повторенного для чего-то названия нового произведения Леонида (Петровича? Ивановича?) Андреева на оборотной стороне заглавного листка, на лицевой стороне которого оттиснуто: 40

Леонид Андреев.
«Иуда Искариот и другие».

Это в книжке XVI-й сборника «Знание», СПб., 1907 г. Нам кажется, все это напечатание можно было бы заменить другим:

Величайший хвостун в России.
Вранье об Евангелии, об И. Христе и апостолах.

За разрешением переводить обращаться к Ладыженскому, так как, утомленный просьбами, автор не отвечает ни на письма, ни на телеграммы, и только вскрывает те пакеты, на которых ему посылаются за испрашиваемые переводы деньги.

10 Счастливым автор! Мне кажется, даже счастливее Хлестакова в ту блаженную минуту его биографии, когда чиновники испуганного городка подносили ему «приношения», убедительно прося «взять», и когда он предлагал «руку и сердце» чужой жене. Леонид Андреев гораздо счастливее Хлестакова уже потому одному, что Хлестаков «царствовал» всего одни сутки, а Леонида Андреева переводят «в таком множестве», что он бедный устал сам соглашаться на переводы на все всемирные языки, «где существуют какие-нибудь законы!» Счастливым автор!

Ни у Толстого, ни у Достоевского, ни у Пушкина такой судьбы не было. Даже и приблизительно!

20 К тому же, если судить по многочисленным фотографиям, развешанным в Петербурге по разным витринам, где «Леонид Андреев» красуется около девиц Отеро, Кавальери и Клео де-Мерод, то он почти так же хорош, как те барышни: еще молоденький, лицо «с мыслью», такой серьезный взгляд, бородака ничего себе, не большая и не маленькая, не худ и не толст, сложен, очевидно, хорошо. Снимается то в европейском костюме, то по-русски. Жалко, что фотографии не раскрашены: брюнет он или блондин? Мена забирает вопрос: женат ли он? Должно быть, и жена прехорошенькая. Такому молодцу не может не быть во всем удачи.

30 В пессимистическое и грустное наше время с удовольствием встречаешь истинно счастливого человека! И таким хорошим счастьем: сознанием великого у себя таланта! Немножко грустили на этот счет все у нас: Гоголь сжег 2-ю часть «Мертвых душ», Толстой отрекся от своих художественных произведений... Всех точил проклятый

Бес благородный скуки тайной.

Но Леонид Андреев, — к нему «этот бес» не подберется! «Сорок тысяч курьеров» и обременительное множество писем и телеграмм, где все испрашивается позволение на перевод его произведений, стоят такой плотной стеной, что «тайному бесу скуки», хоть он сожмись до булавочки, к нему ни за что не пролезть. Куда тут скучать, досуг ли?..

40 Душа Леонида Андреева подобна глубокому океану, в который бухают камни. Океан всплескивается и под камнем. Этот всплеск, так сказать, игра волн и брызгов и поток красивых, замирающих кругов и образует его творения. Я уже сказал, что океан — это его душа. Камень — это какой-нибудь вопрос, тема: всегда тема великая и вопрос глубокий. Ну, а брызги и прочее — это те страницы и строки, которые ловят переводчики, как мошкара облепившие Андреева.

— Устал... не могу отвечать... Пусть ответит Ладыженский, Ladyjensky, Berlin, Uhlandstrasse, 145. Не мешайте мне: отдыхаю на лаврах и розах!

— Счастливый!

Хлестаков был «с Пушкиным на дружеской ноге» и, бывало, говорил ему: «Ну, что, брат Пушкин?». Андреев хватил куда дальше: он решил «перекинуться картишками»... с апостолами Петром и Иоанном, с евангелистом Матфеем «и прочими». Он так и надписал, не покраснев, не побледнев:

«Иуда Искариот и другие».

Почему «и другие»? Почему он так надписал или так надписала эта петербургская «reine de diamants» *? «И другие»? Об апостолах?!! Которые *погему-то* полторы тысячи лет живут в памяти сотен миллионов людей, а знаменитый автор никогда себя не спросил: «*погему* же это»? Великий Леонид Петрович (или Иваныч?) Андреев этим «и другие» выразил уважительное свое презрение к апостолам; такое презрение, такое презрение, что от апостолов приблизительно ничего не должно остаться. «Только мокренько». Ну, куда Кавальери до таких успехов: та под шлейфы свои упрятывала только богатых купцов и изношенных графов, а этот «хлопнул по апостолам» — и ничего не осталось, пусто.

И силища же, подумаешь, у человека!

* * *

Евангелия до Леонида Андреева никто не мог понять: ни Ренан, ни Штраус, ни Гарнак, не говоря уж о таких людях черной сотни, как Боскюэт и тоже «другие». Лютер, Кальвин, Цвингли, Меланхтон — ничего не понимали. Догадался первый обо всем Леонид Андреев. Он догадался, что Иуда был не худший из учеников И. Христа, менее всех Его любивший, который даже принял участие в Его подвиге искупления. Т. е., по расценке нашего «века пара и электричества», он был лучший потому, что был по крайней мере умен, тогда как остальные апостолы были уж до того глупы, до того глупы, что Леонид Андреев недаром называет их охажкою «и другие». Просто не стоит упоминать имен. Опачкал бы ими заглавие великого своего произведения.

Итак, Иуда лучший. Такова *тема* произведения, тот камень, бухнувшийся в океан Леонид-Андреевской души, который вызвал всплеск и игру его мысли и художества. Читаем... и глазам своим не верим. Слушайте:

Лгал Иуда постоянно, но к этому привыкли, так как не видели за ложью дурных поступков, а разговору Иуды и его рассказам она придавала особенный интерес и делала жизнь (чью?) похожею на смешную, а иногда и страшную сказку. По рассказам Иуды выходило так, будто он знает всех (!) людей, и каждый человек, которого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь дурной поступок или даже преступление. Хорошими же людьми, по его мнению, называются те, которые умеют скрывать свои дела и мысли; но если такого человека обнять, приласкать и выпросить хорошенько, то из него потечет, как гной из проколотой раны, всякая неправда, мерзость и ложь. Он охотно сознавался, что иногда лжет и сам, но уверял с клятвою, что другие лгут еще больше... Все об-

* «царица алмазов» (фр.).

манывают его, даже животные: когда он ласкает собаку, она кусает его за пальцы, а когда он бьет ее палкой, она лижет ему ноги и смотрит в глаза как дочь (?). Он убил эту собаку, глубоко зарыл ее и даже заложил большим камнем, но кто знает: может быть оттого, что он ее убил, она стала еще более живою, и теперь не лежит в яме, а весело бегаёт с другими собаками... Все, т. е. апостолы, которым это он рассказывал, весело смеялись на его рассказ: но через несколько времени он добавил, что немного солгал: собаки этой он не убивал (стр. 270—271).

10 Мне кажется, что ни собака, ни Иуда не лгут, однако, так, как Леонид Андреев, и по такому скверному мотиву: во-первых, по внутреннему хвастовству, постепенно стоящему в его душе, вследствие которого он блаженно уверен, что какую бы чепуху не написал — все будет «талантливо», а во-вторых, даже и собака в своей «лжи» достигает некоторой цели, тогда как Леонид Андреев уходит со своей ложью совершенно в сторону от той темы, которую поставил для своего нового произведения: именно показать, что Иуда Искариот был лучший, и между прочим, патетически, нравственно лучший, чем прочие апостолы.

Я говорю это в отношении *темы* Леонида Андреева, и уже не останавливаюсь над всей так сказать «автономной» чепухой, какую представляет собой этот отрывок. Чья это жизнь «смешная и страшная»? Откуда выскочила собака? Как мог Иуда «всех людей» знать?

20 Недоумевающие апостолы, видя, как Иуда цыганит надо всем, спрашивают его об отце и матери: «Разве хоть они-то не были хорошие люди?». Иуда отвечает невероятными словами, невозможными не только в Евангелии, среди евангельских лиц, хотя бы как *слушателей*, но и нигде на семитском Востоке:

— А кто был мой отец? Может быть, тот человек, который бил меня розгой, а, может быть, и дьявол, и козел, и петух. Разве может Иуда знать всех, с кем делила ложе его мать? У Иуды много отцов. Про которого вы говорите?

30 Андреев, воображающий, что он всегда «умен», мазнул мочалкою, поднятой со «Дна» М. Горького, по евангельским лицам, не смутившись даже перед азбучным требованием от всякого художественного произведения, чтобы лица, положим, семитской крови не выражались языком монголов или индийцев, и в I веке по Р. Х. не говорили так, как говорят в парижских кабачках XIX—XX века.

Этот разговор «о родителях» происходит на 272-й странице, — и без всякого перехода, без всяких смягчающих оттенков, без какого-либо приготовления читателя уже на 273-й странице, т. е. *рядом*, Л. Андреев неожиданно, так сказать, сдергивает полотно с главной мысли своего произведения, имеющей ошеломить и испугать читателя:

Апостолы спрашивают Иуду, хулиганящего над своей матерью и множеством предполагаемых отцов.

40 — Любишь ли ты Иисуса?
Со страшною злобою Искариот бросил отрывисто и резко:
— Люблю.

Сделаю оговорку. Уже при чтении его «Василия Фивейского» меня удивило постоянное усилие знаменитого автора, так сказать, тарашить глаза и этими вытарашенными глазами стараться напугать читателя.

Это «стиль Андреева», везде пробегающий у него и решительно не свойственный ни одному русскому писателю, которые все пишут просто. Таково в «Василии Фивейском» описание дома, который страшно мигал черными окнами и еще что-то делал, когда из него выбежал этот несчастный поп. И в приведенных отрывках читатель заметит эти же струйки. Но это мелочь, и я продолжаю.

Штрих за штрихом, Л. Андреев сгущает краски многозначительности на Иуде. Но чем и как? После приведенных им милых разговоров совершенно невозможно было вложить Иуде какое-нибудь глубокое слово. Ведь это шут и только шут, по его же характеристике, совершенно целесообразной. Андреев и не пытается этого сделать. С другой стороны он и не приписывает Иуде сколько-нибудь значительных поступков, которые бы говорили об его оригинальной и в основе глубокой душе. В одном месте Иуда бросает очень тяжелые камни без всякой цели, а в другом он своим шутством обращает на себя гнев разъяренной народной толпы, погнавшейся за Иисусом, и тем дает Ему спастись. Но и это «деяние» ничего особенного не представляет. «Многозначительность» Иуды и превосходство его над апостолами показывается Андреевым иным путем: тем, что он повсюду заставляет Иуду трунить над апостолами, причем естественно Иуда оказывается равно столько остроумным, сколько остроумен Андреев, сочиняющий за него острооты. Ну, а ум Андреева, разумеется, здесь как и везде.

Толпа апостолов идет по дороге за Иисусом. Он обращается к Фоме:

— Ты хочешь видеть глупцов? Посмотри, вот идут они по дороге, кучкой, как стадо баранов, и подымают пыль. А ты, умный Фома, плетешься сзади, и я, благородный, прекрасный Иуда, плетусь сзади...

«Умным» он назвал ап. Фому только в глаза, ибо, как показывает Л. Андреев, Иуда в глаза всем льстит и за глаза всех ругает.

Об ап. Петре он говорит тому же Фоме, который у Андреева везде играет роль граммофона, воспринимающего слова Иуды:

— Разве есть кто-нибудь сильнее Петра? Когда он кричит, все ослы в Иерусалиме думают, что пришел их Мессия и тоже подымают крик. Ты слышал когда-нибудь их крик, Фома?

Не правда ли, как остроумно? Этот «Мессия ослов», апостол Петр — Мессия ослов? Совершенно как у Вольтера!

Наконец, пафос подымается. Это тоже «стиль Андреева». Что бы вы ни читали у Андреева, с первой строчки вы чувствуете, что попали на патетического писателя, сосредоточенного, немножко угрюмого, таинственного, который вот-вот откроет вам изумительную истину, никогда не приходившую никому в голову. Интеллигентский писатель, и метафизический.

Иуда украл несколько динариев из денежного ящика, который ему было поручено носить. Апостолы стали обличать его перед Христом. Тот «кротко посмотрел на него и поцеловал его». Иоанн, поняв мысль Иисуса, «внезапно загоревшись весь, смешивая слезы с гневом, восторг со слезами, звонко (?) воскликнул»:

— Никто не должен считать, сколько денег получил Иуда. Он наш брат и все деньги его, как и наши, и если ему нужно много, пусть берет много, никому не говоря и ни с кем не советуясь!

Словом — общность имущества, начало «общего имущества в монастырях». Пораженные и растроганные апостолы подходят к Иуде и целуют его. Сей гордый первенец из них, однако все-таки позарившийся на столько-то динариев, высокомерно говорит своему граммофону-Фоме:

— И подумай, хорошо ли ты поступаешь, добродетельный Фома, повторяя учителя? Ведь это Он поцеловал меня, вы же только осквернили мне рот. Я и до сих пор чувствую, как ползают по мне ваши мокрые губы. Это так отвратительно, добрый Фома!

Нужно заметить, о новом произведении Л. Андреева уже появились везде отзывы, и почти везде рецензенты точно заняли от восторга, от страха и восторга перед этим пафосом презрения! «Осквернили мне рот», — это Иуда о себе и об апостолах: изумительно и великолепно! Можно заподозрить только, что Иуда уже прочел слова М. Горького о «гордом человеке», и сразил Фому-апостола крошечным плагиатом, плагиатом не слова, а тона.

Престиж «гордого Иуды», весьма смахивающего на того актера из «Дна» М. Горького, который накачался «алкоголем», все возрастает, и маленькие апостолы уже вслух признают его великие качества:

— Говорю тебе, Иуда, ты самый умный из нас. Зачем только ты такой насмешливый и злой!

И прочее! «Насмешливость и злость», конечно, не такие качества, которые могли бы испортить демоническую фигуру Иуды, обольстившую Андреева, рецензентов и, вероятно, скоро всех горничных Петербурга и Москвы. «Иуда-душка» разрешает спор между Петром и Иоанном, который из них ближе будет Христу в царстве небесном. Иоанну он говорит:

— Нет, Петр всех ангелов разгонит своим криком, — ты слышишь, как он кричит? Конечно, он будет спорить с тобой и постарается первый занять место, так как уверяет, что тоже любит Иисуса, — но он уже староват, а ты молод, он тяжел на ногу, а ты бегаешь быстро, и ты первый войдешь туда со Христом.

Затем Андреев «пучит глаза»: так как в то же время Иуда и Петру сказал, что тот будет сидеть рядом с Иисусом в Царстве Небесном, то между этими двумя апостолами, совершенно полагающимися на «ум» Иуды, вышло недоумение, кто же именно из них будет ближе к Иисусу:

— Ну-ка, умный Иуда! Скажи-ка нам, кто будет первый возле Иисуса, — он или я?

Но Иуда молчал, дышал тяжело (?) и глазами жадно спрашивал о чем-то спокойно-глубокие глаза Иисуса.

— Да, — подтвердил снисходительно Иоанн, — скажи ты ему, кто будет первый возле Иисуса!

Заметьте, как обернулся вопрос: «Первый возле Иисуса». О, Л. Андреев хитер. Читатель уже смущен: «Возле Иисуса? первый?». Можно задрожать от вопроса, занять от страшного предчувствия.

— Не отрывая глаз от Христа, Иуда медленно поднялся и ответил тихо и важно:

— Я!

Искариот медленно опустил взоры. И тихо бил себя в грудь костлявым пальцем. Искариот повторил торжественно и строго:

— Я! Я буду возле Иисуса!

И вышел. Пораженные ученики...

И проч.

У горничных, я думаю, зуб на зуб не попадает целую ночь после этих строк.
О, Л. Андреев знает их психологию и чем и как защемиль их сердце!

* * *

Ну, я думаю, можно и не продолжать? Да, из «деяний апостольских» одно подробно описано! Вечер, гористый край пустыни, и апостолы, отрывая камни и камешки, спорят, кто дальше кинет. Немножко по-гимназически? Ничего! В спор входит и то, какой величины камень. Всех побеждает, разумеется, ап. Петр, Иуда отсутствовал, но подошел он, и «побил рекорд». Все это рассказано на нескольких страницах, натуралистически, с соком. 10

Об учении Иисуса Христа в рассказе Андреева ничего не сказано. Вообще разительную сторону его составляет следующее. Если апостолов и занимало, кто из них дальше кинет камень, то это не только понятно, но и невольно в изложении Андреева: они совершенно ничем не заняты, не имеют никакого так сказать предмета жизни, заботы, тревоги. Сущие «бараны», как и аттестовал их совершенно основательно великий Иуда, — т. е. у Андреева выведены только бараны. Во всем рассказе не проходит никакого устремления, заботы, ничего вообще высшего, кроме острословия. Иисус Христос точно нанял их ходить за собою, «а Иуда носит ящик». Наконец Иисус Христос? Л. Андреев представил Его бледным, немного сутуловатым от постоянной задумчивости, прекрасным, — и я думаю, если б поставить зеркало, то он вышел бы немного похож на одного тоже задумчивого и очень знаменитого современного нам беллетриста. К чему называть имена, будем скромны. 20

Так вот эта-то история, как бараны ходили за бледным Учителем, — заняла народы на 1900 лет! До того глупо человечество. Но умный Л. Андреев наконец разъяснил нам все: единственный умный из баранов был Иуда «из Кариота». Он один возлюбил Учителя, Которого предал. За что? почему? в каких целях? Самой повести я не имел сил дочитать, но рецензенты с дрожью рассказывают, будто Л. Андреев «приподнял завесу над тайной Евангелия», показал убедительно, что ведь только «один Иуда помог Иисусу Христу совершить подвиг, для которого Он и пришел на землю: умереть, притом умереть жестоко, страдальчески»... Бррр... в самом деле? Помог Иисусу, один помог? Толкнул на «искупление» человечества. Только, я думаю, все-таки Л. Андреев не догадался об одном недоумении своих читателей: что ведь если все так *пошло* было это дело, как о нем передает Л. Андреев, и если оно совершилось среди таких изумительной пошлости людей, то ведь тогда какое же «искупление», «подвиг» и проч.? Просто — убили человека, называемого «Иисусом», как раньше убивали Иванов и Петров. А Иуда его предал, но вовсе не на «подвиг», а просто на смерть: ибо среди таких глупцов, какими нам показал Андреев всех этих людей, события, обстановку и время, никакие вообще «подвигов» не бывает и не может быть, да и не нужно вовсе! Я хочу этим сказать ту простую вещь, что для событий евангельских нужен был мотив в уровне с Евангелием: какая-то страшная *нужда* людей, и чрезвычайная *красота* их, достоинство; нужда прекрасного и великого. Ведь только за это и могла быть 30
40

пролита «божественная кровь» и мог Отец послать Сына искупить творение свое. Но если, как представил дело Андреев, эти блаженные совершенно счастливы в своем ничтожестве и только и занимаются бросанием камней и острословием, — о, неужто по поводу их трястись небесам, Отцу посылать Сына, обречь древний Иерусалим на падение и, словом, перевертывать землю и историю? Ну, и перевернулось все, «Христос искупил людей *при пособии Иуды*» (тема Андреева) — и что же вышло? Иуда ровно столько же остроумен, как Андреев, а Андреев через 1900 лет так же острит, как его Иуда, и оба друг друга стоят, не лучше и не хуже, и все как было глупо «до Рождества Христова», так и осталось глупо
10 «после Рождества Христова». О чем же писал Андреев и что вообще он думал, когда писал?

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕЛА

Давно, мне кажется, основной литературный вопрос на Руси — не в писателе и книге, но в читателе и читателях. Увы, мы давно не имеем той компактной массы высоко образованных читателей, много и *тутко* читающих, читающих — если можно выразиться — *компетентно*, которые в 40—50-х годах минувшего века давали *первый и верный* тон пониманию книги или статьи, и за этим поданным тоном устанавливают верное или по крайней мере мотивированное отношение к писателю или литературному произведению во всей России. По этому основанию в 40-х и 50-х годах немисливо было установление *многолетней* репутации за такими учеными, как Н. Кареев, и за такими беллетристами, как Л. Андреев, которые в наши дни покорили рынок, публику и если не критиков, то рецензентов.

Уже о *вкусе*, как дирижере успеха — не может быть и речи. Куда до вкуса: ищешь в читателе простой грамотности, чтобы он *разбирался* по крайней мере в мыслях и идеях, разбирался в написанном — и не находишь! Не находишь «выразительного и толкового чтения», что требуется по правилу при поступлении в 1-й класс гимназии.

Этим летом мне пришлось написать две статьи: о Л. Андрееве и его новелле
30 «Иуда Искарот и другие» и о снятии сана со священника Тихвинского, бывшего члена 2-й Г. Думы. По поводу статей этих, как я слышал, появилось «великое недоумение» в публике и печати: «как? что?» и прочее. Будто бы меня судили и, пародируя «Аиду», спрашивали: — «Радамес, Радамес, оправдай себя». Суда этого, за выбытием из Петербурга, я не читал: но, вернувшись в Петербург, нашел «со-страдательные» письма даже друзей и старых читателей, с насмешливыми вырезками из газет и припискою к ним: «Ты этого хотел, Жорж Данден».

Все бы это я пропустил, но меня искренно тронуло одно письмо из Болгарии, где я и не думал иметь читателей: «С 1898 г. я читаю вас постоянно... Но теперь я в большом недоумении. Я прочитал ваши статьи о Л. Андрееве и Тихвинском.
40 И показалось мне, что вы вовсе не Василий Васильевич, а кто-то другой; что вы неискренни на этот раз, что вы фальшивите, что отошли в сторону от истины и правды. Да что же это такое? Успокойте, пожалуйста, меня и ваших читателей, коих не мало и в Болгарии. Неужели вы в самом деле одобряете приговор конси-

стории относительно о. Тихвинского? Неужели так же бы писали, если бы лишили сана о. Петрова?».

Болгарину трудно разобраться во всех наших литературных явлениях, и ему, как и прочим невинно заблуждающимся, я вынужден ответить, и заодно прочитать маленький урок судьям над «Радамесом».

1) О Л. Андрееве я написал статью в прямом смысле и, конечно, совершенно искренно: и был *в праве* назвать своим именем произведение характерно пошлое, пошлым языком и тоном написанное — *о великой теме*. Я почувствовал себя глубоко оскорбленным как читатель, как старый писатель на религиозные темы и пр. Без дальнейшего, скажу еще намек: тема Иуды и его 30 сребреников бесконечно глубока, ибо это есть лишь завершение проведенного через все Евангелие отрицания имущества, богатства, денег. «За *деньги* предан И. Христос!», «предан по *корысти*». На громадный мотив жизни — имущественный, экономический — положен черный крест! Из него проистекли такие явления, как за это лето опубликованный указ Синода, запрещающий священникам, т. е. лучшей сельской интеллигенции, принимать участие в учреждениях мелкого кредита. «Не пачкайтесь около корысти, около корыстного», «не делайтесь членами мелких кредитных товариществ», спасающих, однако, народ от ростовщичества, от кулаков и закладчиков! Запрещение его ужасно в смысле вреда своего для народа: а восходит это, как к *первому своему истоку* — к легенде об Иуде и его 30-ти сребрениках. В этом пункте Евангелие покончило не только с имуществом, но и с нормальным, здоровым трудом, породив на место его нищенство и филантропию, тунеядство монастырей и разные «синие» и прочие «кресты»... Что-то патологическое и отвратительное. В этом пункте возможен страстный и гневный протест против всей «Иудовой легенды», против ее нравственной возможности и *реальной* правды: но нужно ли говорить, что тупой Леонид Андреев и краешка этой темы не заметил. Именно потому, что над Иудой и его «сребрениками» мне пришлось самому годы думать, — произведение Л. Андреева мне и представилось отвратительным, неслышанно глупым.

2) Статья о свящ. Тихвинском, конечно, имела *косвенный* смысл. Снимать «указом консистории» священство, т. е. *благодать* священства (как учит Церковь же) просто нелепо и даже невозможно! Как «снять указом» «благодать»? Не понимаю!.. Вот разве самой «благодати» нет, и Церковь сама в священстве не признает «благодати», а только о ней говорит риторически — тогда так! Католики, знающие логику вещей, последствия каждого учения, и не снимают со своих священников сана, не снимают вовсе и никогда, ни за какие преступления, даже за хулу против Бога, Христа и папы. Они только такого преступника лишают прав священнослужения, «запрещают к служению». Наказание это есть и у нас, но оно вовсе не то, что лишение сана, «благодати священства». Таким образом, с моей точки зрения, в данном пункте совпадающей с католическою логикою, Тихвинский и теперь остается священником, и не может стать не священником, священником он перейдет и в загробный мир, если только, впрочем, он есть, что стало сомнительно в наш век, когда вдруг все стало колебаться, поколеблено вот и «священство» с «благодатью» своими же необдуманно актами-распоряжениями духовной власти. Все «по указу»... Но ведь если «по указу» дали «благодать», по указу «сняли благодать», то, может быть, и загробная-то жизнь тоже подчинена каким-нибудь «указам» и тогда, ей-Богу, это как-то безвкусно и... не нужно!

Такова моя ясная точка зрения, — пусть только лично моя. Статья же моя о Тихвинском имела косвенную цель: доказать и показать *исчерпывающими* цитатами из Евангелия (апостольских «Посланий»), до какой степени тщетна надежда опереть на Евангелие какую-нибудь политику, подобно тому как в другой сфере совершенно тщетна надежда опереть на Евангелие здоровый, энергический труд, всякое «благоприобретение» и экономику. Тут опять бесконечные вопросы, и заодно посмеявшись над вятской консисторией (не знает Евангелия), я ввел читателя и в серию этих вопросов. Конечно, я не малейше не разделяю цитированного мною учения апостола Павла о «власти» и властителях и думаю, что по крайней мере хоть некоторые квартальные поставлены не «от Бога», не суть «Божие слуги». Апостол Павел — не Бог, и суждения его о политических предметах не суть «божественные» и абсолютные, не суть «благодатные»: а суть частные и личные мнения, замешанные среди других *религиозных* суждений, на которые он уже получил «благодать» и «вдохновение». Однако раз такие бедственные слова вырвались у страстного «апостола языков» и ничего им противоречащего нет в Евангелии, то является совершенно невозможным политику и *опираться* на Евангелие: пусть она опирается на свои собственные и *самостоятельные* начала, народный интерес, народную нужду и проч. Мешание же этих двух вещей всегда порождало отвратительные явления, вроде «Священного Союза», в котором задохнулись народы, нации, — и никогда ничего лучшего опыта «христианской политики» не породят. Но, как я вижу, попытка моя внести мысль читателя в этот строй мысли не увенчалась успехом. Все поняли, будто я защищаю вятскую консисторию и желаю какой-то казни свящ. Тихвинскому. Увы, читатели стали требовать от писателей только «правых» и «левых» мнений, «вперед» или «назад»! Я должен на это ответить ограничением читательских прав и напоминанием читательских обязанностей. Во-первых, они обязаны понимать то, что читают, по крайней мере стараться вникнуть в это; а во-вторых, не забывать, что сверх «читающей публики» и ее одобрения или неодобрения перед каждым писателем, насколько он непременно есть наследник исторической культуры, лежит бездна вопросов, сложный путь истины и недоумений в ней, где он тоже «разбирается» и «обязан разбираться», и что вот это-то все для него и есть главное, после чего он может прислушаться и к мнению массового читателя. Мнение это — как и имущество: его надо уважать и ценить, не уменьшая и не преувеличивая. Надо его любить и хотеть его одобрения, однако, не непременно. Я отвергаю легенду Иуды: и сребреники хороши, эти прекрасные римские динарии и еврейские сикли, которых столько я понасобирал вопреки Евангелию в свою коллекцию, и не каюсь в этом; и успех в толпе прекрасен же, уже потому, что он *народен*, а отделяться от народа не хорошо. Но и прочное с народом соединение дается только некоторым высшим: это служением истине. Об этом-то должен помнить каждый читатель и не требовать себе большей роли, чем какая ему принадлежит по существу.

Все сие я ответил как «Радамес» своим обвинителям, а теперь перейду и к обвинению в другой, педагогической сфере. Со всех сторон я слышу о множестве отказов в поступлении на Высшие женские курсы («Бестужевские»). Директор их, г. Фаусек, вместе с коллегиею наличных профессоров, которые *нигем* между

прочим *не угастовали* в труднейшем деле создания Курсов, а только читают на них лекции, — постановили *от себя* правила, по которым ныне они принимают на курсы только «медалистов», т. е. окончивших среднее учебное заведение «с медалью». Без медалей почему-то принимаются только *болгарки*, которым почему-то отдано предпочтение перед русскими — неизвестно. К требованию медалей могут приноровиться *теперь* оканчивающие курс в гимназиях: но оно было совершенно не предвидимо лет 5—6, да даже 3—4 года назад, и знай об этом гимназистки тех лет, они совершенно легко могли бы заработать себе медаль, оставшись на повторительный курс (год) в последнем классе! Ведь это, т. е. лишний год в гимназии, сущие пустяки в сравнении с драгоценным правом приобрести высшее образование в России. Затем, почему-то не принимаются на Курсы без исключения все епархиалки, т. е. все множество дочерей священников, диаконов и пр.! Все это по распоряжению мудрой коллегии профессоров, изданному 2 или 3 года назад! Можно ли было предвидеть это провинциальным священникам, диаконам и причетникам, отдававшим иногда даровитейших своих дочерей в епархиальные училища, равные прочим учебным средним заведениям *без всякого ограничения*, — просто оттого, что эти заведения были ближе, под рукою, что по духу они роднее сословию священников! Возможно ли же наносить удар всем этим ни в чем неповинным девушкам, лишая их прав высшего образования, — лишая их совершенно непредвиденно для тех лет, когда их отдавали в учебные заведения и когда они оканчивали в них курс! Это несправедливо, это жестоко. Позволю сказать, как бывший педагог, что это, наконец, и глупо: кому в быту нашем, в педагогическом быту, не известно, что зарабатывают «медаль» нередко вовсе не лучшие ученики гимназий, не деятельные и развитые, которые к этому тщеславному украшению ученической груди остаются довольно равнодушны, а пустенькие, неразвитые и вообще так называемые «зубрилки». Заработав тщеславно медаль при выпуске, они так же торопятся на первом же курсе заработать «репутацию передовой». Я не о серьезных явлениях здесь говорю, которые есть, а об несерьезных, которые тоже есть, и это очевидно для всех сторон. В учебном мире от этого происходит та нелепость, что в то время как в августе множеству учеников или учениц отказано в приеме в университет или на курсы «за теснотой аудиторий, не могущих вместить всех желающих», смотришь в ноябре-декабре эти самые аудитории и пустуют, ибо все разбежались по митингам и сходкам. Разве это неизвестно г-ну Фаусеку? Разве ему и его коллегам неизвестно, что лекции вообще никогда не посещаются *всем составом* принятых, едва посещаются даже и *половиною*? И что поэтому определить 1-го сентября *реальный* контингент лиц, могущих вместиться в аудитории, невозможно, *не ошибившись* самым грубым образом?

Наконец, мне жаловались именно желавшие поступить на историко-филологическое отделение Курсов, столь малолюдное везде: но разве для лекций по предметам этого курса нельзя было иногда занимать актового зала, огромного?! Ведь посещаются не все лекции одинаково, ведь это азбучная истина университетской жизни: *людно* посещаются только лекции талантливейших профессоров, и вот для этих лекций, т. е. на *немногие часы*, конечно, можно было отводить вообще пустующий актовый зал. Ну, а актовый зал Высших женских курсов уж, во всяком случае, может вместить всех филологичек, и принятых и *отвергнутых* в этом году!! Не будьте самолюбивы, гг. профессора, г. Фаусек: признайтесь, что

вы поторопились делом, что вы не пожалели множества любознательнейших девушек, и поверните быстро и энергично необдуманное дело в другую сторону; наконец, вспомните и то, что именно на Курсах, создание которых стоило громадных жертв и трудов множеству русских людей, старавшихся вовсе не для «медалисток и шифристок» министерства народного просвещения и ведомства Императрицы Марии, а вообще для талантливой и энергичной женской молодежи в России, что в этом деле распорядиться «по-своему» вы не имели ни малейшего *нравственного* права. Казенное право, конечно, у вас было, но ведь это не то, что требуется и о чем я говорю, обращаясь к наставникам и ученым... Вы были не на высоте этих определений, этих званий, и признайтесь в своей ошибке с тою человеческой простотой, которая помнит, что не раскаивается только глупый и злой. В мою бытность студентом я помню, до чего переменялась судьба первых учеников (медалистов) гимназии в университете: это были самые ленивые, праздные слушатели в аудиториях, да и просто они не понимали, не усваивали содержания лекций, ибо в гимназии, бывало, зубря уроки, не читали ничего и вообще были совершенно чужды научного, книжного (и лекционного) духа и языка. На первые ряды в университете именно выдвигались «посредственные» и даже «плохие» ученики гимназий, шалуны в гимназиях и немного «радикалы» в них, зачитывавшиеся книгами, авторами, — и никогда решительно ни о каких «медалях» и не помышлявшие. Эти-то именно и были университетским золотом, влюблялись в науку и в профессоров; да и на сходки по крайней мере *тщеславно* они не спешили, ибо все это было для них не новинка, было «вчерашним днем», сегодня уже скучным.

Вы сделали несомненную ошибку, ошибку с точки зрения интересов науки на самих курсах. Вы обязаны всех кандидатов принять; филологичек, юристок и математичек, для которых не требуется кабинетов, а только лекционные залы — во всяком случае, *всех*. Наконец, неужели для аудиторий нельзя нанять временного помещения: ведь *суть* Курсов конечно, не в здании, а в составе профессоров, ведь рвутся на них ради этого *состава*, а где профессора читают — это все равно! Неужели же в Петербурге нет пустых зал? Это невероятно, — и рассуждать об этом я нахожу просто глупым. *Мотив* отказа, *настоящий* мотив, лежит, конечно, не в тесном помещении, а в тщеславном желании поднять «гепотмее» своего учебного заведения, к чему от сотворения мира, увы, стремились все «начальства»...

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СОБРАНИЙ

Бывшие в 1902—1903 годах Религиозно-философские собрания в Петербурге возобновляются. Устав общества, выработанный в нескольких весенних заседаниях, главным образом бывшими участниками религиозно-философских собраний 1902—1903 гг., за это лето получил утверждение и таким образом формальная и юридическая сторона дела приведена в надлежащий вид. Вопрос лишь за нравственными и умственными силами, и здесь центр дела в равной мере распре-

делен между руководящим собранием обществом, т. е. реальными участниками будущих собраний, чтенцами рефератов, русским обществом в большом его объеме, ибо оно будет возбуждать и направлять ход чтений устными возражениями на рефераты, поднятием споров около известных тем и общим положением нашего отечества, поскольку оно дает свои отражения на религиозную мысль людей. Из бывших видных участников религиозно-философских собраний 1902—1903 г. некоторых нет теперь в Петербурге, хотя, будем надеяться, их нет не навсегда, но зато на собрания внесут свою энергию деятели-чтецы религиозных совершенно новых кружков, образовавшихся за последние три года около Московского университета, из окончивших курс питомцев этой общерусской *almae matris* *. Будем, словом, надеяться, что все будет достаточно живо, остро и мучительно, как и надлежит быть всему на этой священной и горячей почве. Общество тщательно отгородило себя от всякого академического духа и хочет быть местом встречи *верующих* людей, а не людей религиозно-осведомленных, не ученых, для которых религия есть пережиток старины, любопытный только для исследователей и исследования. Оно ожидает и вполне уверено, что если не сразу, то очень скоро соберет вокруг себя всех ищущих религиозной истины, всех людей с большим религиозным прошлым, в виде ли жизненного опыта, в виде ли найденных теоретических решений. «Не о хлебе одном жив бывает человек», — этот ответ И. Христа искусителю определил судьбу в истории христианского идеализма, и участники возобновляемых собраний волне уверены, что идут не по какому другому, а по этому же пути. Среди вопросов о хлебе насущном, так высоко и пылко поднявшихся эти два года в нашем отечестве, они поднимают вопрос о хлебе духовном; не в *отрицание* первых хлебов, а в *дополнение* к ним. Доброму делу добрый путь.

НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ

К 55-летию литературной деятельности Л. Н. Толстого

По естественному течению человеческих дел, уже недолго нам осталось наслаждаться закатом прекрасного светила, которое согревало и оплодотворяло русскую землю 55 лет... Мы говорим о Толстом. Все, конечно, думали эти дни, когда великий старец переступал в 56-й год своей литературной деятельности, что еще немного лет осталось нам видеть его живым и слышать его голос как живого участника или зрителя наших дел и тревожений. Солнышко коснулось горизонта. Огромным багряным шаром оно лежит на его линии и будет заходить, заходить... Вот половина, четверть, краешек, вот ничего. «*Nigredo*» там, где жил человек! «*Nigredo*» там, где стоял Толстой! Опустелая Ясная Поляна, ненужная нам более, неинтересная, — неинтересная иначе, как посмертная вещичка, оставшаяся после великого человека... Как мы вздрогнем тогда, как ахнем и затулимся великим национальным трауром...

* университет (лат.).

Но пока еще этого нет, и вся Россия с любовью и страхом смотрит туда, на маленькую станцию московско-курской железной дороги, на эту Козлову Засеку, откуда ездят обыкновенно к Толстому в его старое родовое имение. И всякая добрая весточка о здоровье, оттуда выносимая, всех радует; а всякая худая или сомнительная весть о здоровье же, оттуда выходящая, приводит в беспокойство и смущение миллионы русских сердец. И «икается», должно быть, старичку от этого «поминания» его всею Россией, — скажем мы народным поверьем.

Что мы думаем, что говорила эти дни Русь о нем?

— Близок к закату величайший мастер человеческого слова.

10 — Близок к закату первый живописец нашего русского быта, состояний и положений русской души, обрисовщик русских характеров.

— Близок к закату самый страстный на земле правдоискатель.

— Близок к закату самый горячий наш народолюбец.

И все это сливается в общее сознание, в общий вздох:

— Близка к закату величайшая личность нашего времени.

Думается так не в одной России, но в Германии, Франции, Англии, Италии, за океаном, в Америке, в далеких странах Азии и Африки, где всюду есть свои читатели у Толстого, есть «культ Толстого» из горячих последователей его нравственного учения.

20 Остановимся на этих всеобщих определениях, какие связываются с именем Толстого.

Величайший мастер слова

В вековечной евангельской притче рассказано, что всякий человек «получает от Бога талант», но что Бог наказывает того, кто этот полученный дар «зарывает в землю», то есть не «теряет и растрчивает», как обычно истолковывают это место Евангелия, а *сохраняет в полугенном виде*, для своего личного употребления, не растит, не множит. «Полученное от Бога» мы должны взрастить, умножить, утроить, удесятерить. Так в торговых странах Иудее и Сирии, в соседстве с торговой Финикией, Иисус сравнивал с «купцом, умножающим товар», «удвояющим капитал», жизнь человеческую и то небесное назначение, выполнения которого Бог хочет от всякого человека.

«Даром, получаемым от Бога», без своих усилий, без личных напряжений, был его великий дар слова в смысле вообще литературного мастерства. Известно, что в последнюю морализующую фазу своей жизни он не придает особого значения таким литературным произведениям, как «Война и мир», «Анна Каренина», «Детство и отрочество», «Казак». Это и справедливо, и несправедливо. С точки зрения субъективного его ощущения он вправе был не придавать особенно *личной* цены произведениям, где выразился чистый «дар Божий», без того «приумножения» его, какого от человека требует Бог. В этот же, второй, морализующий, фазис жизни он занят был «приумножением» Божьего дара, *тем новым*, что он вносил в историю человеческую, в жизнь человеческую *своим личным усилием*, своими *размышлениями*, выводами *ума* своего и решениями своего *сердца*. Он весь сосредоточился на этом, трепетно сосредоточился. Он копал именно *эту* траншею, не другую, и, как всякий *настоящий* работник, смотрел на

то, что у него под руками, перед глазами, не глядя ни назад, ни по сторонам. Но для всякого, кроме его самого, совершенно очевидно, что его «морализующее» слово оттого и разносится на два полушария, что оно принадлежит автору «Войны и мира» и «Анны Карениной», который приобрел себе читателей-энтузиастов в обоих полушариях как великий художник слова.

Основное в Толстом, самое главное, чему он всем обязан, есть непосредственный, счастливый, неблагоприобретенный «дар Божий». Это его великий талант, в котором мы должны сейчас же различить две стороны.

Мастерство собственно *слова*, эту словесную *ткань*, из которой сотканы его произведения; кусочки речи от точки до точки, если взять их из различных его произведений и из разных фаз его возраста и творчества. И, во-вторых, совсем другое: *архитектурное построение* его произведений, их план и сработанность, эту великую *кройку*, какую получала в руках его словесная ткань. Нам думается, что гениальное принадлежит «кройке», а самый материал его работы, вот эта словесная ткань, тянущаяся по страницам и томам его романов, повестей и рассуждений, конечно, добротного, хорошего качества, местами отличного, но, однако, не представляет ничего необыкновенного, и, во всяком случае, неизмеримо уступает словесной ткани Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Весьма возможно в будущих судьбах русской литературы, что мастерство слова трех поименованных художников не будет вообще *никогда* превзойдено, ибо под пером их, во вдохновениях их духа, русский язык натурально и естественно *созрел, завершился*, и ему вообще некуда дальше развиваться, двигаться иначе, как в сторону плана, архитектуры, компоновки целого литературного произведения, куда он неизмеримо продвинулся дальше после смерти Гоголя, последнего великого из великих; продвинулся у Толстого и Достоевского, да даже у Тургенева и Гончарова.

Сила слова, красота его, — красота одной, двух, немногих, десяти строк: нуте, отыщите у Толстого такие десять строк, которые выгучили бы наизусть оба полушария, вызубрили от невольного очарования и помнили наизусть. А у Пушкина — его стихи? У Лермонтова — его «Три пальмы», «Спор», «Когда волнуется желтеющая нива» и «В полдневный жар в долине Дагестана». Без приневоливания все знают это наизусть; мальчики и девочки лет в четырнадцать сами учат. То же в прозе — «Тамань» и вообще *некрупные* отрывки «Героя нашего времени» (дневник Печорина теперь уже несносен или едва сносен в чтении), у Пушкина, например, характеристика бабушки в «Пиковой даме», у Гоголя решительно все полотно «Мертвых душ», «Коляска», «Вий». Все это — да будет прощено ради точности грубое сравнение — самые густые сливки, данные русской литературной коровой, гуще которых она, кажется, вообще не может дать. Употребляю это сравнение, чувствуя, что в литературе есть, в самом деле, что-то живое, живым органическим способом вырабатываемое в недрах наций, в недрах французского, итальянского, германского, русского народов... Ведь в слове есть слуховое, т. е. *физиологическое*, очарование... «Зачитываемся»... Повторяем, плачем над словом... Тут есть психофизиологическая магия. У Толстого, если сравнить его с Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем, *хорошее* обыкновенное молоко; теплое, парное, для души и тела целебное, очень вкусное. Но чтобы «по душевке так вот и текло», как неслыханная сладость, — этого нет. А у Грибоедова есть, у Крылова есть, и из такой «сладости» состоит почти все написанное Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем.

Сколько строк посвящено Гоголем Петрушке, лакею Чичикова?.. Если сложить все отдельные строки, разбросанные на протяжении длинного произведения, то едва ли наберется больше одной страницы. Ведь нет его общей характеристики, все отдельные, оброненные замечания. А между тем Петрушка всей Россией помнится и *живо представляется*, не менее живо (а в сущности живее), чем Николай Ростов, которому и «Войне и мире» Толстой посвятил целые главы, да и вообще это почти главное лицо романа. Ростов и Чичиков, — можно ли сравнить по силе изображения? Помните ли вы, читатель, по имени хоть одно лицо из севастопольских рассказов, из «Казаков», т. е. припоминаете ли моментально, без усилий? Между тем без всяких усилий вся Россия помнит Осипа, слугу Хлестакова, хотя он выведен только раз и произносит всего один монолог, притом пустого, ничтожного значения. Поэтому мы можем сказать, что у Гоголя был резец Фидия, которым *где* он ни проведет, все *это, где* провел, и остается вечно жить, не забывается, не может забыться! У Толстого же резец хороший, но обыкновенный.

По *слогу, стилю* своему Толстой и не поднялся бы никогда на ту высоту, на которой он стоит для всего мира. Иностранцы этого никогда не почувствуют. Но мы, русские, обязаны сказать им эту простую и справедливую истину, что Толстой не есть величайший и даже не стоит среди величайших волшебников *слова* русского.

Теперь мы перейдем к другому, — к архитектурному расположению литературных произведений. В этом отношении «Война и мир» *неизмеримо* превосходит собой «Мертвые души». На вопрос, что ему более дорого, что, в случае выбора, он предпочел бы сохранить для русской литературы и, наконец, *себе лично на воспоминание и сбережение*, — «Мертвые души» или «Войну и мир», — каждый или большинство русских ответили бы:

— Конечно, «Мертвые души» выше как *литературное произведение*, но для меня и, вероятно, для России в «Войне и мире» есть что-то неизмеримо более *дорогое, милое, ценное, прекрасное*. Наслаждения, этого эстетического наслаждения, дьявольского шекотания нервов, конечно, я испытываю больше при чтении поэмы Гоголя, и вообще она сильнее, гениальнее, властительнее. Так. Но «Война и мир» мне *нужнее*; как человек, как русский, я без нее *менее могу обойтись*. И если бы пришлось выбрать, что оставить себе вековым другом и совершенно отказаться от другого, — я выбрал бы Толстого и его «Войну и мир». Знаете, это как хлеб: всегда *питают*; как посох, он *на всем пути* нужен, как бы ни был длинен и разнообразен путь; — ну, путь жизни, что ли. А Гоголь и «Мертвые души» — это какой-то острый лимбургский сыр для гастрономов. Или, если продолжить сравнение с посохом, это — как палочка виртуоза-капельмейстера, сделанная из слоновой кости и с золотой инкрустацией, *но на которую не обопрешься*.

Мастерства *меньше*, а произведение *дороже* — вот вывод.

Происходит это оттого, что *талант* Гоголя был неизмеримо выше, чем у Толстого, но *душа* его несравненно была мельче, уже, плосче, неинтереснее и (пожалуй, главное) неблагороднее, чем у Толстого. Все — «мертвые души», обернувшийся «ревизором» прощелыга, картежные шулера («Игроки»), забавные женихи и невесты («Женитьба»), недалекие офицеры и ремесленники, бездарные и вороватые чиновники... Фу, пропасть! Горизонт до того тесен, до того узок, что задыхаешься. В сущности, везде Гоголь рисует анекдот и «приключение», даже в «великой русской поэме» своей («Мертвых душах»); за черту передачи «бывшего

случая», т. е. совершенных *по сюжету* пустяков, вот именно только «анекдота», душа его не поднимается!.. И это до того узко и, наконец, страшно, страшно именно в гении и корифее литературы, что растериваешься, ум сжимается недоумением и начинает негодовать. «Бедная ты, душа, а с *таким* даром!» — говоришь об авторе. Мощь формы и бессилие содержания, резец Фидиаса, приложенный к крохотным и по существу никому не нужным фигуркам, — это поразительно у Гоголя. В его «Носе» это достигает апогея: содержания *никакого*. Так, «тьфу», нечего и передать, бессмыслица, болтовня. Но эта, однако, «болтовня» так рассказана, что «нос квартального», соскочивший с лица своего обладателя и делающий его знакомым визиты, «надорвал животики» всей России. Тут есть что-то волшебное; и — незначительное. Гоголь был волшебником, но волшебник, так сказать, не макрокосма, преувеличенного мира, а волшебник микрокосма, преуменьшенного мира, какого-то пришибленного, раздавленного, плоского и даже только линейного, совершенно невозможного и фантастического, ужасного и никогда не бывшего!

В Толстом все обратно. Форма его бессильнее, но зато какое *содержание*. Этим *содержанием*, том за томом, глава за главой, он и покори́л себе мир! Он покори́л его великим *благородством* души своей — на этом особенно настаиваем, — которая 55 лет без устали работала над всем великим, что нужно человечеству, народам, нужно всякой душе человеческой, от ребенка до старца, от мужика до государя. Детям он дал «Азбуку» и «Первую книгу для чтения»; взрослым — «Войну и мир»... Какое расстояние от «Азбуки» до «Войны и мира», но это расстояние, т. е. прямо *неизмеримость*, все заполнено трудом, исканием, находженнями! Это уж не «нос квартального, делающий визиты»... Около *содержания* и *тем* Толстого как-то уничижительно даже называть содержание и сюжеты Гоголя! «Как помещик скупал вымершие ревизские души», «как Хлестакова приняли за ревизора», «как пробовал жениться Подколесин»... Фу, да ну их всех к черту, и людей и дела их, людишек и делишек. *Кому* это нужно? В праздности пусть любуются любители на это мастерство, но в *серьезную минуту* даже невозможно вспомнить эти сюжеты-анекдоты... Гоголь — никому не друг. Толстой — всем друг. Среди человечества Гоголь стоял как в пустыне, со своим одиноким смехом и одинокими слезами, в сущности, никому не нужными и ничему не нужными. Толстой же 55 лет дышал в раны человечества, работал плечо о плечо с человечеством, сроднился с человечеством! Какая разница, особенно нравственная! Было отчего одному не дожить до сорока лет, другому дожить до восьмидесяти. «Чти отца и мать твою, — и *долголетен* будешь на земли»... Кто человеку «отец и мать»? Целое человечество! Конечно, это так! Все от него рождается. И это человечество Толстой почтил трудом своим, заботою, смирением перед ним!

«Друг человечества», — не с этою ли мыслью относятся к нему у нас и везде? Не за это ли так его все любят? Тезисы его, положения его, программу его не все принимают, многие решительно отвергают. Но решительно нет человека, элементарно добросовестного, который не взирал бы на эту трудовую 55-летнюю жизнь, как на некую великую нравственную гармонию, великую нравственную красоту.

Из этого вытекло следующее последствие.

Со времени смерти Байрона, Шиллера, Гёте и, может быть, Гейне ни одно имя, кроме Толстого, не делалось таким всемирно признанным, всемирно влия-

тельным, всемирно значащим, не становилось то аккомпанементом к хору всемирной цивилизации, то самым высоким и слышным голосом в этом хоре. После него такого голоса не останется ни у нас, ни везде. Перечисленные имена и еще Толстой являются *последними*, кто соединил на себе взоры и любовь всего образованного, размышляющего, пробивающегося вперед человечества. Это объединение на одном имени внимания всех имеет свое самостоятельное значение: оно показывает, что от Калифорнии до Камчатки, от Канады до мыса Доброй Надежды протянулась одна цивилизация, бьется один пульс, проходит один фазис истории, вопреки множественности, разнице и даже антагонизму народов и государств, сюда входящих. Афины и Спарта боролись, но был один эллинизм. Так и в нашу эпоху католицизм враждует с протестантизмом и обратно; германцы выступили на торговое и промышленное соперничество с англосаксами; Франция не может забыть побед Германии, но в Германии, в Англии, во Франции одинаково склоняются головы пред идеалами *простоты* и *доброты*, о которых, начиная с «Севастопольских рассказов», мощно заговорил Толстой; во всех странах с равным интересом, с одинаковым признанием всматриваются в фигуры Платона Каратаева («Война и мир») и Акима («Власть тьмы»)… Все сливаются в некотором нравственном «да» и «нет». Через это все сливаются в нравственном идеализме. Народы воюют, борются. Но это — столкновение *интересов*, это — «земля» в истории. Есть в ней «небо»: понятия *долга*, *чести*, *гестного*, *доброто* связывают всех этих людей в одну семью. Между Гёте и Толстым всемирно *читаемые* Диккенс, Теккерей, Гюго, Вальтер-Скотт имели за собой уже *публику*, а не *цивилизацию*. Это — странная разница: быть несмирно *читаемым* или быть *главою эпохи* или одною из ее глав. Можно нес объяснить сравнением. Была свадьба принца, и, кроме рыцарей, дам и проч., на свадьбу или, точнее, в городок, где она происходила, съехалось множество рестораторов, актеров, театр и мимы; и один веселый «Петрушка» так всех смешил и доставлял всем столько удовольствия, что его смотрели больше, и о нем говорили чаще, чем о принце и его невесте. Однако все согласятся, что не в «Петрушке» было дело в эти дни и в этом месте, что не для него сюда собрались герои, красавицы и все. «Было что-то, что было», а «Петрушка» был тут только «при чем-то». И как бы он ни был занимателен и талантлив, народен и популярен, — за эти рамки «при чем-то другом и *настояще*-происходившем» ему никак не перескочить. Конечно, Вальтер-Скотт и Гюго, особенно же Диккенс были очень читаемы, страстно любимы, и вообще как-то грустно прилагать к ним название «Петрушки». Возьмем на место его имена Сальвини и Поссарта, позванных «на свадьбу принца». Суть именно в *отношении к ней*, в зависимости, временности и неабсолютности. Гюго, Диккенс, Теккерей, Вальтер-Скотт, наши Гончаров и Тургенев, наш Чехов — все они пришли в цивилизацию, до них и без них бывшую, «посидели за ее столом», вкушали, воспевали, но не они были *сама эта цивилизация*, в ее центральном нерве. Последнее не выражается успехом, а самым содержанием, значимостью его, стоимостью его. Без Гёте, без Байрона, без Шиллера и также без Толстого цивилизация не дополучила бы некоторого составного и необходимого цвета в себе; она *сама* бы стала меньше; несколько *не доразвилась бы, не дородилась бы*, разница неизмеримая со всемирной читаемостью, даже со всемирными восторгами!

Все читали Вальтер-Скотта, вся Европа. То же было с Диккенсом. Гюго видел в себе такое значение, что как-то выразился, что Париж, в котором он родился,

будет некогда переименован в «город Гюго». Ну, и все это прошло, и Вальтер Скотт давно переделан в розовые томики «Библиотеки для юношества», Гюго еще читается с эстрады, в гостиных и театре, и долее всех и горячее всех живет еще Диккенс... Но как-то живет одним тоненьким лучом, греет одною и ужасно одностороннею теплотою. Диккенс — цветок в цивилизации; цветок, затканый в ковер ее или выросший на лугу ее. Но все отлично понимают, что ничем эта цивилизация ему не обязана, что это она родила его, а не он рождал ее. А даже Гейне, с его мучительной гримасой, был одним из родителей, рождателей цивилизации Европы. Что она гораздо более ему обязана, нежели он ее «общим условиям» или ее «духу», вообще ее «течению»... Оттого-то эти люди — Толстой,¹⁰ Достоевский, Гейне, Шиллер, Байрон, Гёте — говорили, писали, пели с такой неизмеримою свободою. Небо было над ними, но стен около них не было. Они были «ничему не обязаны»... Странно и жутко это произнести. Они сами давали, дарили народам, цивилизации. Жребий завидный. Они были немножечко «боги» в древнем языческом смысле, т. е. вот «что-то пришло с неба», лучшее, чем обыкновенно рождается на земле. И земля сделалась лучше после их рождения.

Нельзя не заметить, что достигается это через некоторую *борьбу* с самою цивилизацией, с «духом» ее в определенный фазис истории, борьбу и победу, — если не сейчас, то потом. Цивилизация ценит всякий талант, богатеет каждым талантом. Но более всего она ценит и всего пышнее расцветает, когда в ее складки западает талант *непокорства*, буйной «своей воли», но гениальной, но прекрасной и ослепительной, неукротимой... Около такого таланта она вся бурлит и кипит, силится убить его, но, не убив, заново формируется сама, т. е. *вырастает, усложняется, преображается*.

Из названных великанов слова я назвал бы Гёте мудрецом, Шиллера — поэтом, Байрона — судьей и карателем и Толстого — совестью этой единой цивилизации. Гейне стоит около них арлекином, пересмеивающим царей, поэтов, мудрецов и энтузиастов, говорящий, что «все это не нужно» и «всех их не нужно», или что, по крайней мере, царства их, короны и мудрые книги их не ценнее его пестрого шутовского костюма и изношенного колпака.³⁰

В творчестве Толстого отразилось множество даров его. Мы говорим не об отдельных периодах литературной деятельности, где, очевидно, и должны были выступить *попеременно* то одни, то другие дары. Нет, в *каждое* его произведение влита удивительно *многосоставная* душа, возле которой душа, например, Гоголя или Грибоедова представляется истинно нищенскою, однотонною, однострунною, как бы высоко и гениально ни звучала эта одинокая струна. Это отчасти объясняется из того, что Толстой стоял *ближе и натуральнее* всех русских писателей к жизни, к действительности. Помещик, дворянин и семьянин, он ни от чего этого не отрекался, ничем не неглижировал, ко всему привязался горячо, хорошо, все вырастил в себе: и земледельца, и землевладельца, и отца обильного семейства, деда внуков. Все это питало и грело его. Он никогда не черпал своих впечатлений только из книг или из наблюдений «на ходу», как это имеют несчастые делать почти все литераторы-беллетристы. В жизни его даже есть неподвижность. Мало видел заграницы, он не странствует и по Руси. Все сидит в Ясной Поляне. Но это хорошее сиденье, без лени, без косности, без сна. Он хорошо врос в землю, и через одну точку, через один корень русская земля, *вся русская земля* питает это красивое и долговечное дерево, свое любимое дерево. Но здесь лежит

только часть объяснения сложного состава его произведений. Сам он является изумительно сложной натурой, сложным талантом. У Грибоедова везде недостает теплоты; у Тургенева нигде нет религиозного, христианского глубокомыслия, нигде нет *отслойка* церковно-исторического зиждительства; Крылову недостает интеллигентности; у Гоголя нет благодушия и простодушия, он нигде не стоит к изображаемым предметам плечом к плечу, в уровень, любя и уважая. Всюду его взгляд устремлен сверху вниз, везде-то это ястреб, выклеывающий глаз действительности. Ужасный недостаток, плачевный! Наконец, эхо-Пушкин нигде не внедряется в предметы, а, как волна, только окатывает их, омывает и несет их аромат, но не сохраняет ничего из их сущности. 10 *Благородная душа Толстого, благородная именно в силу многосоставности, и проникает внутрь предметов, видит их «душу» и чудно лепит их формы, любуясь ими, как артист. Он любит мир и поучает его, проповедует, жалеет его и старается сатирою исправить его («Плоды просвещения»).* Нигде ту полосу земли, по которой ведет свой плут, не отделяет от мирского поля. Теплота, правда, изобразительный талант, дар психологического прозрения, — чего, чего в нем нет?! В одно и то же время он поучает, он наставник, и в то же время поучается, ученик. Он учится даже у ребят, которых обучает грамоте в яснополянской своей школе; учится серьезно, так сказать, трагически; не говоря о мужиках и солдатах, у которых постоянно учится, он учится 20 и у монахов, у попов (исповедь Левина в «Анне Карениной»), у армейских офицеров («Севастопольские очерки»). Кое-что находит поучительного даже у таких господ, которых явно не любит и не уважает, которые ему антипатичны, как гр. Вронский (твердость и постоянство воззрений и бытовых форм). Вообще в склонности постоянно и у всех учиться, усваивать глубоким внутренним усвоением чужие взгляды, чужие точки зрения едва ли кто мог сравниться с Толстым, капризным, своеобразным и гордым гением. Да, в нем это сочеталось, и его талант ученичества проистек из того, что он всегда и везде был и ощущал себя великим *maestro*. Он неодолимо чувствовал, что оригинальности в нем не убавится, сколько бы он ни повторял чужих слов, ни подражал чужим формам жизни, начиная от сектанта-мужика Сютяева и кончая великосветским львом (первая фаза его молодости и литературы) и добрым хозяйственным помещиком. 30 *Всему отдавался, ничему не отдал себя. Все вкусил, ничем не насытился. Все любил, ничему не поработил себя. Везде остался свободен, а казалось, вечно ползет за кем-то, за чем-то, как учитель сельской школы, как помещик, проповедник, щеголь, вероучитель, воин.*

От этой глубины и разнообразия его гения так *полно* освещение им человеческих фигур и человеческих положений. Брильянт души своей он поворачивал к предмету то одною гранью, то другою; вводил предмет изображения в луч то голубого, то желтого, то зеленого, то оранжевого цвета. «Где истина, — смотрите сами». 40 *От этого, например, хотя, судя по эпитафии к «Анне Карениной», он думал первоначально «рассказать» прелюбодеицу, изменившую супружескому и материнскому долгу, но правда дела и многогранность освещающего брильянта-глаза сделала то, что едва ли какое-нибудь другое лицо его произведений так взволновало читающий мир и так привлекло к себе его любовь и скорбное уважение, как этот трагически-прекрасный образ. «Не смейте побивать его!» — крикнула читающая толпа автору: таково было отношение публики к романисту, едва ли когда-нибудь имевшее аналогию в литературе. Поэтому он «изменницу» вы-*

вел вторично («Крейцера соната»), определенно и намеренно заляпав ее грязью, придав ей тупые и пошлые черты; и, однако, правда дела и опять же многогранный его дар сделал то, что осудили все убийцу-мужа, осудили его больше, чем убитую «прелюбодеицу». Теплота и правда его произведений всегда пересиливали его тенденции, и от этого последние, в случае ошибочности, теряли свою силу.

От этого сложного спектра цветов, наводимого им на лица, произведения его вообще так обширны, как этого не встречается, кажется, ни у одного другого автора. Каждый роман — точно какая-то река, текущая в разнообразных берегах. В «Войне и мире» Наташа — подросток-девочка, барышня, впервые вывозимая на бал, играющая, взрослая девушка, невеста, изменница, вторично невеста, жена и мать. Николай Ростов — и смешной наивный офицерик, и обстрелянный опытный воин, и, наконец, помещик-собственник и консерватор. Все взято в течении, и на длинном протяжении течения. Можно сказать поэтому, что ни один из русских писателей не захватил на полотно своей живописи такого огромного куска действительности, и даже нельзя сказать: «куска», — не захватил под кисть свою вообще всю русскую действительность в такой обширности и так основательно, как это сделал Толстой.

НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ

Л. Толстой и быт

Главная сила *литературного* таланта гр. Толстого лежит в художественно-архитектурном даре его и в даре проникать в душу, — видеть в ней, читать в ней. Первый дар вовсе не так прост. Антон Чехов всю свою жизнь мечтал написать *большой* роман и не имел силы переступить формы очерка, эскиза, — маленького произведения, не доходящего до ста страниц. Он говаривал, что настоящий художник слова, которому жить и жить в будущем, начинается только с романа как большого цельного произведения, где представлена была бы *жизнь* человека, а не день этой жизни, представлена была бы фаза общественного развития, выводилась бы толпа, сословие, а не рассказывался, — пусть и мастерски, — случай из жизни чиновника, купца, помещика. Суждение, об основательности которого можно спорить, ибо и «Записки охотника» Тургенева, и все произведения самого Чехова, как равно, например, Гаршина, суть эскизы, — и, однако, «Записки» и, надеемся, сам Чехов, как и Гаршин, не будут выведены из пантеона русской словесности только за свою краткость. Наконец, если взять классическую трагедию и подражания ее во Франции (Корнель, Расин), если взять «Горе от ума» и «Ревизора», то уже и силу внешнего требования «единства времени, места и действия», по коему все переданное в трагедии или комедии происходит в одном и том же месте (в одном доме, дворце) и продолжается не более одних суток, — все эти величайшие памятники словесного вдохновения суть только эскизы и эскизы, суть очерки только дня, одного *события*, а не *жизни* и не *цети* событий. Таким образом, суждение Чехова не было правильно. Но он верил в него; мучился, что не может написать романа; и... *не написал*. Отчего? Мы добавим, что великий

дар большой концепции, вот на несколько сот страниц, на несколько томов, — вообще пропал в наше время; страшимся сказать: умер, как вымерли допотопные формы ихтиозавров и плезиозавров. Но оглянитесь в литературе: действительно, больших романов никто не умеет писать, кроме старичков, людей старого письма, старых манер, думаем, — старых сил души, старой *организации* души. В последней, кажется, и лежит разгадка дела: новый человек — впечатлительный, отзывчивый и торопливый. Он закрепляет в рассказе, в «эскизе» что увидел или что ему понравилось, что заняло его. Но у него нет «копилки» в душе. В душе у него только материал истекшего дня, а вот для откладывания впечатлений и дум за много лет, за целую жизнь — просто у него нет такого помещения. Если кто-нибудь скажет, что это есть обеднение и сужение души человеческой, то мы не станем с этим спорить, хотя было бы страшно с этим согласиться. Мы останавливаемся на простом факте, что этого более нет. К этому бессилён человек...

Толстой этим даром обладает до роскошного излишества. В «Войне и мире» и в «Анне Карениной», порознь в каждом, идут два романа. В первом — это роман Николая Ростова, и Марии Болконской, и Наташи; и Пьера, с большим эпизодом, который едва не достигает размеров самостоятельного романа, — между Андреем Болконским и Наташей же Ростовой. В «Анне Карениной» текут совершенно развитые, равно самостоятельные романы Анны и Вронского, Китти и Левина. Если присмотреться на сотнях страниц к манере Толстого, то мы увидим, что ему, — как хорошему борцу хорошая борьба, — доставляет высшее наслаждение эта роскошь творчества, роскошь рисовки; что он нигде не торопится, а почти скорее медлит, выписывая страницы за страницами изумительных сцен, обрисовки положений, состояний духа, столкновений, схождений, расхождений, любви зарождающейся и любви умирающей, самых разнообразных лиц, целой толпы их, с душою у каждого до того самостоятельною, до того не похожею на душу других им же выведенных лиц, и которых он нарисовал с такою же любовью и интересом. Это изумительно, и составляет наслаждение не только читать это, но наслаждение заключается в самом любовании силами творца, этим красивым бегом романиста-эпика, не знающего усталости, не знающего трудностей. «Все ему легко; нет, лучше всего ему хочется, хочется написать еще и еще страницу, еще и еще сцену; около подвижного, переменчивого и пылающего Левина поставить Кознышева, тупого, медлительного, вялого, ученого; около страстной Анны вывести холодную Вареньку, занимающуюся делами благотворения; Стиву Облонского, преданного успехам жизни, ввести в полуосвященный кабинет, где француз-предсказатель в сомнамбулическом сне предсказывает будущее петербургским аристократам, все это без особенной нужды, хотя и ничему не мешая, просто потому, что «силушка есть, — потянуться хочется»... Удивительно! Удивительно и прекрасно!

⁴⁰ *Быта* Л. Н. Толстой не рисует, как темы, как задачи. Вообще можно заметить, что Толстой в живописи своей *никогда* не усиливается, ни к *зему* не усиливается. Он никогда не говорил себе: «А вот то-то еще не описано: пойду посмотрю и опишу». Он всегда описывал то, что *помнил*, и помнил случайным, непредвиденным образом. Кроме дара свободной, непринужденной жизни, жизни *неторопливой* — у него есть дар благодарной, ласковой памяти. У многих людей, едва ли не у большинства, есть злая память, мстительная, или карающая. Но у Толстого есть добрая память, доброе воспоминание, доброта в воспоминаемости, — и она

сыграла большую роль в его творчестве. Самые ранние его произведения суть *воспоминания*. Таково все его «Детство и отрочество», таковы «Севастопольские рассказы» как воспоминание о только что прошедшем. «Казачи», кажется, тоже имеют причину написания себя в живом воспоминании. Наконец, «Война и мир». Роман начинается французскою записочкою баронессы-немки-русской, из придворного круга императрицы. Так и кажется, что эту записочку, давно желтую с выцветшими чернилами, он вытащил из пука писем своей покойной матери, — еще вернее, бабушки, — вытащил, прочел и загорелся. Толстой не только живописно пишет, он бесконечно любит все *живописное в людях*, в характерах, в поведении; я думаю — в почерке и слоге. У него есть дар моментального воображения, в силу коего в мертвой записочке восьмидесятилетней давности он видит живое лицо, восстанавливает по ней в себе живой характер, говорит с ним, присматривается к нему, почти ведет с ним дела и вот-вот, кажется, начнет интриговать с ним! «Война и мир», как об этом можно было догадываться и ранее и как теперь окончательно известно из его собственных разъяснений, есть роман-хроника из прошлого Толстых и Волконских (урожденная фамилия его матери), т. е. труд тоже *воспоминательный*, рожденный весь из доброй памяти. Что это есть обычный способ его работы, — не *согнять*, а *видеть, любить и описывать*, или видеть, любоваться и тоже описывать, — об этом свидетельствуют такие его отрывки, как начатый и не продолженный роман «Декабристы». Кстати, о последнем, так *удачно* начавшемся романе, мне пришлось услышать мнение самого Толстого, хотя и не мне сказанное: «Декабристы не были серьезными людьми. Это не были серьезные характеры. 14 декабря было эпизодом их жизни, пожалуй, их возраста и настроения, а не плодом какой-нибудь страшной решимости, какую принимает убежденный человек как вывод из всей жизни. И я перестал писать роман, видя, что для него нет сюжета, не может хватить содержания». В этом взгляде, быть может, сказалась всегда бывшая у Толстого нелюбовь к интеллигентности и интеллигентам, то недоверие к ним, доходящее до пренебрежения и прямой вражды, которое позднее продиктовало «Плоды просвещения»...

Тихое, спокойное, *воспоминательное* отношение в жизни, без торопливости и нервности, при вечных, однако, поисках ума и горении сердца, — что отнюдь не то же, что нервность, — и создало в Толстом необыкновенное соединение эпика и лирика, связь талантов повествовательного и патетического, решительно не встречающаяся ни у кого еще. И С. Т. Аксаков писал «Семейную хронику» дедов и родителей, но слишком уж все это спокойно, лишено рассуждений и суждения автора, «роман» и не брезжится нигде, нет прибавлений, вымысла, — и от этого труд Аксакова, впрочем, достопамятный и украшающий нашу литературу, однако, не есть в строгом смысле *литературное* произведение. «Мертвый повествует о мертвых» — сказать это было бы слишком, сказать так — больно; и, однако, крошечка этого есть. Удивительная сторона *воспоминательной* литературы Толстого заключается в том, что это есть *воскрешенная* жизнь, что она горит перед читателем, и не «будто» живая, но подлинно живая, вся трепеща нравственным интересом, суровым судом или восхищением автора... Удивительно! Бабушки, прабабушки и деды, дяди — танцуют, плутуют... Как князь Василий старался украсть завещание графа Безухова, старика... Как старый князь Болконский, отец Марии, начал ухаживать за гувернанткой дочери француженкой «Бурьенкой»... Все это — живопись, о которой можно сказать: «чудо». Нигде усилия автора.

Нигде мертвой ниточки. Автор собирает мемуары, читает пожелтевшие письма, но как он их *читает*, — в этом-то весь секрет! Благородное сердце: в нем, в этой бесконечной способности восхититься восьмидесятилетней давности письмом, влюбляться в его почерк, сберечь как жемчужину его слог — и таится секрет могущества Толстого. Письма, мемуары, устные воспоминания, передаваемые в семье, — все это *фактически* дало только крупинки живого, но уже в могуче-живой душе автора из этих крупинок выросло цельное живое, как бы из оторванной ноги комара вырос цельный комар. Ну и этих живых людей, воскрешенных или заново рожденных, Толстой приводит в столкновения, полные вымысла. Мы

10 нигде еще не имеем *исторического* романа, рассказанного с одушевлением, как бы это был роман *живых* людей: пленка могилы везде лежит, у В. Скотта, у Золя («история Ругон-Маккаров»), даже у Пушкина в «Дубровском» и «Капитанской дочке», — у Толстого ее нет нигде, нигде удивительно.

Нигде он на могилу не смотрит, как на могилу. Для него нет «мертвых дум» (разве что в интеллигенции, да и то не серьезно и на время). Гений его по устремлению, по задаче *животворить* совершенно противоположен гению Гоголя, который *мертвил* даже и налично-живое, окружающих современников, все. Напротив, Толстой все оживляет, во все вкладывает живую душу, — конечно, частицы своей безмерно огромной и сложной души, — во всем открывает смысл, значение, ценность, какую-то благородную, ото всех скрытую сторону. Сколько он возится с сумасбродным Пьером Безуховым. «Может быть, его сумасбродства — не сумасбродства, а гений». Как терпеливая нянька, он следует за всеми шагами своего детища, вычисляющего, что в имени «Вуонапарте» скрыто «666», т. е. число Антихриста... Вронский — совершенно явно тупой человек, и для читателя составляет истинное наслаждение следить за тою тонкою живописью, посредством которой Толстой достигает этого впечатления. Около фигурного, видного, громкого человека медленно садится туман непроясненной глупости. Нигде этого автор не говорит, нигде он не заставляет Вронского сделать глупый поступок, произнести глупое слово. Но когда у Анны шевельнулось интимное глубокое

20 чувство, о котором она должна была первому сообщить ему, как дорогому, близкому человеку, — она остановилась. «Нет, *не ему*: он не поймет этого». Вот и все! Гениальная Анна решает: «он *не поймет*», и читатель говорит за нею: «Не поймет! Не поймет *этого*, не поймет *многого*; не поймет тебя и ничего, вообще не поймет этот человек, и разобьет тебя и себя»... Безнадежно. Вдруг Толстой начинает вглядываться в эту безнадежность, — мимо которой всякий автор, сам же нарисовавший ее и подписавший — «безнадежно», прошел бы мимо и пренебрежительно. Так Тургенев в «Дыме» проходит высокомерно мимо заграничных русских генералов, да и всякий автор проходит также безучастно мимо той «глупой» половины выводимых им лиц, которая составляет только аксессуар и обстановку около «героев», которые любят, разговаривают и, вообще, «умны». Но

40 у Толстого нет «обстановки», у него и мебель живет. «Этот стул стоит в своем углу сто лет, на него сто лет садятся, — он несет свою полезную и необходимую службу». «А из кого состоит жизнь? — спрашивает Толстой. — Разве она состоит из утонченных Метерлинков, из патетических Руссо, разве настоящую работу в ней производят говоруны Рудневы или отрицатели Базаровы? Все *эти* говорят и проходят, а жизнь стоит, и на чем-нибудь она стоит же». Он догадывается, что жизнь, далекая, конечно, от идеала и «небесного», но которая, однако, ценна

тем, что *мы все в ней живем*, — и состоит из таких вот столбов, как этот Вронский, человек глупый и правильный, не рассуждающий и твердый. «А в самом деле, на этой дубовой мебели сто лет сидело русское правительство и покорило полмира». Поубавьте еще Вронского, оставьте при нем одну грамотность и возвратите его из графства к состоянию простого дворянина, провинциального бедного дворянина, — и вы получите «Силу Силыча» Аракчеева. Введите его из неподходящей вовсе для него обстановки времени Александра II в обстановку екатерининского времени, — и он едва ли не попал бы в фавориты императрицы и был бы одним из «екатерининских орлов»... Словом, «мебель» эта имеет свое место, заключает свой смысл, которого не вычеркнешь из бытия, — и от этого Толстой на протяжении трех томов романа, нигде не проясняя его глупости, не устает рисовать его, приводить его слова, описывает его поступки, не уменьшая и не увеличивая их, но нигде не впадая в шарж, нигде не улыбаясь, оставаясь в каждой строке серьезным. Это удивительно! Гений творит глупого с тем усердием, как Бог сотворил человека. Но вы понимаете, что это — *настоящая* правда, настоящее *отношение* к действительности, что Толстой и не требует своему Вронскому лавровых венков, а только говорит, что Вронский столкнет вас со своего места, если вы с ним рядом усядетесь, — столкнет, сомнет и просидит на вашем месте сто лет! «Отвратительно, неприятно, грозно, *есть*». Что вы скажете об этом другого?..

Если уж он животворит мебель, мебель-человека, естественно возбуждающе всю нашу живую человеческую антипатию, то к милым-то животным, которые никогда не «садутся на наше место», а только служат нам, он относится уже с совершенным вниманием и ласкою. У него есть рассказ «Холстомер», который и посвящен лошади. Психологию собаки он знает, как психологию человека, — вспомните охотничью собаку Левина. «Фру-Фру», — скаковая лошадь Вронского, — запомнена всею Россиею. В безжалостном отношении Вронского к павшей лошади Россия, — в самом начале романа, — и почувствовала, что Вронский глуп, что он всего только жеребец, притом не из умных. Вся Россия встала на сторону «Фру-Фру» против Вронского, справедливо решив, что она благороднее и, так сказать, человечнее его, если позволительно такое странное сочетание слов. Тут — гораздо больше, чем что содержится в Дарвиновом «Происхождении человека», ибо тут — картины, образы, тут говорит мораль и почти религия, и говорит не в пользу человека. А между тем, никто Толстого за его «дарвиновскую» живопись не назовет грубым или безбожным, «жестоким к человеку», как называли английского натуралиста. Да и очевидно, что у Толстого это сделано лучше и до известной степени священнее. Удивительная сторона его гения!

НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ

Л. Толстой и интеллигенция

Мы заметили, что Толстой животворит все, кроме интеллигенции, и добавили, что это «не серьезно и только до времени». Помните ли вы в «Воскресении» группу ссылаемых интеллигентов? Задача «воскресить» Катюшу Маслову, кото-

рая не далась Нехлюдову, папашей которого был приблизительно Вронский, а мамашей Бетси Тверская (из «Анны Карениной»), — эта мучительная и нужная задача «воскресить» действительно напрасно загубленную девушку, которая задавлена жестоким и тупым миром, — легко и сама собой далась недалекому, тупому как ломовая лошадь, но, как ломовая же лошадь, чистому и невинному Симонсону, нигилисту, именующему себя «мировым фагоцитом» (по Мечникову). Личность Симонсона — один из самых удивительных портретов, написанных Толстым за все 55 лет его литературной деятельности. Прежде всего он явно глуп. Он вечно рассуждает, и рассуждает только шаблонным образом, общими фразами, — как лошадь «идет» и не умеет не идти, как ее природе не свойственно ни «полежать», ни «поиграть». Лошадь идет, а Симонсон рассуждает. Но как у лошади ее ход, — это натура и это правда, так у Симонсона его рассуждения — это тоже его «интеллигентная» натура и (с этого-то и начинается страшно серьезное) *это в нем настоящая правда*, тогда как у Нехлюдова (в котором много автобиографических черт самого Толстого) «рассуждения» его суть что-то наносное, временное, бессильное... Нехлюдов «рассуждает», а как пришлось «воскрешать» Катюшу, — он и не смог. Возвратить проститутку к состоянию жены — «фи!»... Тут в Нехлюдове-Толстом вдруг заговорил весь Петербург. Да, да! «Фи! Священный институт брака, нежная, благоуханная семья и... запах проститутки». Демократ Толстой, все-таки *граф* Толстой, — не вынес. «Но миру нужны и глупые», — это уже сказал Толстой своим портретом Вронского. Симонсон есть демократическая форма Вронского, Вронский, снизу поднявшийся. Он (как и Вронский) шаблонен, без тонко развитой личности в себе, с общими правилами, т. е. (по интеллигентной своей натуре) с «общими рассуждениями», но в *которые он верит*, как и Вронский верил в свои «правила», и в этом заключена была вся его *суть*. По рассуждениям и Толстого, Катюша была невинна, и ее надо было спасти. *Да ведь это и по мировому так!* Но граф Толстой скис, Нехлюдов скис: «худо пахнет, не можем ввести в семью». Тут крайне важна крохотная сценка в конце «Воскресенья», где Нехлюдов, осматривая детские комнаты, кажется дочери генерал-губернатора, дает вдруг почувствовать атмосферу «Детства и отрочества», Китти и Наташи Ростовых... *Катюша* около этого представилась просто *невозможной*, и он отвел в сторону Нехлюдова, выдвинув на место его Симонсона... Пожалуй, ведь в жизни так и бывает: погубит один, а спасает *другой*. Хотя и тот, «погубитель», тоже в своей жизни спас кого-нибудь, но не свою, а чужую жертву; ну, не женитьбой (зачем же непременно этим), то чем-нибудь другим... Так мы и все мы порознь в мировом море, и все вместе. Продолжим указания. Симонсон, со своими коротенькими, недалекими рассуждениями, со своей не тонко развитой организацией, вот как у Вронского-Аракчеева, но уже с тенденциями к низу, к демократии, при приближении Катюши сказал, что он не только не чувствует в ней ничего худого, но что, по его мнению, она — тоже «мировой фагоцит», предназначенный самую природу приносить только добро и везде поглощать и бороться с дурным и вредным! Вот и раз! Толстой-Нехлюдов кричит: «Да ведь пахнет», а Симонсон, действительно, совершенно тупой, говорит: «Не слышу». И исцеление «расслабленного», восстановление действительно «прокаженного» (ибо, легко сказать: «проституция», а ведь это надо *пережить*, ведь от этого «остается») — это евангельское чудо евангельской силы и красоты — совершенно нигилистом-отрицателем! Никогда не смог, не имел *великодушия* это сказать Достоевский

(см. его «Бесы» и их мораль). И всего удивительнее, что это сказал тот Толстой, который так не любит интеллигенции...

Но договорим. У действительно тупого Симонсона и все чувства притуплены, недоразвиты, и он *воистину* ничего «худого» не слышит, не обоняет в проститутке, *все-таки проститутке по факту*, каковы бы ни были причины ее положения. И «спасение» вышло у него правдою, проистекающею из самой физиологии его, вот этой притуплённой или ограниченной. Ибо он не только *ее* спасает, но и сам становится в приятное себе положение! «Муж мирового фагоцита, и сам тоже мировой фагоцит». Никакой разницы, дисгармонии! И опять надо договорить, что, как чисто резонерская натура, — вечно «рассуждающий» и поступающий по своим рассуждениям человек, — он именно «человек» только, но *ни* мужчина, *ни* женщина, и не имеет *специально мужских* предрасположений или антипатий, вот этого отвращения, например, к «потерянной» женщине... Он просто этого не чувствует, это для него *никто*. Для него есть только душа, дух... Ну, это у Катюши, как у всех. Симонсон, в сущности, *не имеет пола*, он *бесполовой человек*, вот, как сказано в Евангелии о «скопцах от чрева матери». Но и Катюша, — если вдуматься серьезно в *суть* проститутки и проституции, — есть уже также бесполой, кастрированная женщина: страшная ее профессия шаг за шагом, день за днем вскрывала у нее всю внутренность, всю эту половую внутренность, где «топтался» народ, топтались смазные сапоги. Как *женщина* она умерла! Это-то с ужасом Нехлюдов и Толстой и почувствовали, и оба убежали в сторону, струсили. «Женных выскочил в окно», как говорят, смеясь, в народе. «Ну как жениться на кастрированной?». Но Симонсон, «скопец от чрева матери», не чувствует этой ее кастрированности; сам только дух и духовность, он находит в ней эту же только духовность, одну духовность, без (погубленного) тела, которое его и не занимает. Перед браком его не занимает ничего полового. «Даже не приходит на ум». Хотя он и будет делать все, что нужно, без отвращения, без обоняния, — без этого, конечно, без существа брака, кровного сожития ничего бы и не вышло, не вышло бы «спасения», а оно нужно и оно *есть*. Пренебреги *совершенно* этим Симонсон, — и он не «воскресил» бы, не «восстановил в жену» Катю, но он, *как и она*, уже равнодушен и инертен к этому; для него главное — в душе, в духовном обонянии, на что глубоко способна Катя и на что она горячо ответит.

Нехлюдов и Толстой, дети Вронских и Тверских, дети Элен Безуховой и Пьера, люди породистые, с сильными и красивыми предками, *органически* не могли вынести брака с проституткой. Ведь это потруднее, чем написать книжку поучительной морали (Толстой) или пропутешествовать в Сибирь за ссыльною. Ведь она будет *жена*... Это слишком близко! Нужно с ней спать, нужно ее любить. Любить активно? Проститутку? Нехлюдов и Толстой зажмурились. Правды не выйдет, реального не выйдет. Нужно каждое утро видеть, как Катюша, вот «такая» и немножечко «таковская» (ведь это *есть*, куда же *девать* это?!), натягивает на себя длинные шерстяные чулки, или если и шелковые на нехлюдовские деньги, то это как-то еще хуже, печальнее и зловоннее. Поутру натягивает чулки, а с ноги остригает ногти и спрашивает своего «*magie*»: «Ты не замечаешь, — у меня, кажется, мозоль?» И Нехлюдов, как «любящему» мужу, надо посмотреть, не мозоль ли в самом деле. Тут «любящий» и выйдет только в кавычках: природы не будет, жизни не будет, ничего не будет. «Воскрешения» не будет, т. е. темы романа, а его откуда-то надо взять. Пришел Симонсон и принес его. Кто такой Симонсон?

Его род, племя, религия? Ничего нет. Предки были шведы или англичане, а он сам... русский нигилист, да *взаправду* нигилист и *взаправду* русский, как и вообще в нем ничего нет неправдивого. Это русский правдоискатель, коренной наш тип, повторивший *тогь-в-тогь* древних юродивых, этих лохматых, странствующих, голодных и холодных «святых» людей старой Руси. В сущности, по дарам его, по предкам, по породе и породистости — Симонсон несколько недоносок, что и отразилось в убожестве его воззрений, в слишком большой их недалекости. Ну, он не «доносился» матушкой, а Катюша по печальной судьбе своей слишком износилась. И оба сливаются, маленькие. Один к одному льнут, как два Лазаря...

10 Страшно! Правдиво! Глубочайше нравственно!

Другим же языком рассказать, без аксессуаров нового русского реализма, — и получилась бы трогательнейшая из трогательных христианских легенд! Здесь у старого Толстого уже не хватило таланта: в общем роман ниже своей темы, он написан бледно, тускло, неуклюже, и удались только некоторые побочные сцены, где старой мастерской рукой он выводит петербургское шалопайство. Но нужно было писать вовсе не это, и даже вовсе не нужно было писать «романа» (куда!), ибо ничего тут «романтического», влюбленного нет, нет «интриги» и «чувства», ничего для *романа* нет, а есть простая и *бывающая* история о том, как одну убогую находит другой убогий, и, дыша в ее гнойные раны (которые *есть*, которые *не затрешь*), дыша ртом своим, безмерно любящим и смиренным, исцеляет эти раны; или, точнее, как тут невидимо приходит Бог и исцеляет обоих, поднимает в силах, берет обоих слабых в свои Отчие небесные, мировые объятия.

Легенда, а не роман.

Но, возвращаясь к общему, заметим, до чего здесь, *на склоне лет своих*, в *последнем своем романе*, Толстой посмотрел на интеллигентов уже не прежним взглядом вражды и отрицания. Спокойный старец погасил волнующиеся свои чувства и, *воспомятательным оком* окинув «виданное и слыханное», — вывел группу мятущихся правдоискателей интеллигентов-юродивых, в которых столько нравственной красоты! Перечтите подробно характеристики их: вот дочь генерала, ушедшая из дома отца и начавшая жить среди рабочих, обучая их, возясь с ними, с их болезнями, детками. Как все хорошо! Да и все они добрые, ясные. И этот милый Симонсон, суший праведник, младенец в 30 лет, — форменно «яко юродивый». Воистину мировые фагоциты, без всяких кавычек и иронии. Живут около народа, для народа. Чего лучше? Делают добро и любят правду. «С кривдой не мирятся», оттого пошли и в Сибирь. «Поглощают все зло, всякое мировое зло». Ну, совсем фагоциты по Мечникову. И Мечникова читают. И вообще читают всякие книжки и живут по книжкам. «Интеллигенты»... Поглотили собой «грамотеев» Владимирской Руси, но с другой стороны, с отрицательной стороны. А сердце то же, а душа та же, наша русская, у этих «космополитов»...

40 Забрали и англичанина Симонсона к себе, «обрусили», да как! Тоже в Сибирь пошел за эти, кажется, русские идеи; это уж не то, что поляки, с скрежетом зубным учившиеся при Гурко по-русски в школах. Тут объединение крепче. И вообще тут все абсолютно крепко, ибо абсолютно нравственно, абсолютно здорово и праведно. И старым, вещим своим словом (сравните с «Бесами» Достоевского), — ибо это слово вешее и относилось до будущего, до будущих отношений к интеллигенции, — Толстой сказал:

— Хорошо.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОБРАНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

Теперь, когда мы наблюдаем отлив политической и общественной волны, глаз невольно выискивает области, где эта волна подымается. Падение духовной жизни невозможно на пространстве всего народного и общественного моря. Куда-нибудь душа бежит же, где она может поднять крылья. Нельзя подрезать кругом и разом все оперение души народной.

В Петербурге, собственно, образовалось, по примеру московского, — Религиозно-философское общество, открывшее свои собрания. Но и по месту собраний, залу географического общества, а главным образом по темам, духу и большинству участников и даже посетителей, оно бесспорно является простым возобновлением бывших в 1902—1903 гг. Религиозно-философских собраний. Правда, были и продолжаются попытки передвинуть их к академическому обсуждению философских тем, лежащих на границе с религиею. Сюда тянут председатель общества г. Аскольдов, некоторые члены в составе совета общества. В этом направлении была произнесена на первом собрании г-ном Карташёвым вступительная речь; с этой точки зрения произнес свою речь и диспутировал на том же собрании проф. Александр И. Введенский. Но эти упорные стремления не то чтобы встречают отпор, а вязнут во всеобщей неохоте. Живым образом пошло течение по старому пути собраний 1902—1903 гг., стремившихся ответить на вопрос: «Как нам веровать?». Собрания 1907 года суть также *вероисповедные*. Это их отличительная черта, в этом весь их нерв. Они или разъясняют, доказывают и мотивируют невозможность старой веры, прежней веры, прошлой веры; или пытаются выяснить условия, пределы, формы, прибавления, сравнительно с прошлою, — новой веры. *Староверие* и *нововерие*, — в борьбе их сосредоточивается вся жизнь собраний. В этом отношении, как и собрания 1902—1903 гг., их можно назвать самым определенным, длительным и, пожалуй, содержательным выражением русского религиозного «протеста».

За весь XIX век, начиная с А. С. Хомякова, нельзя указать ни одного русского религиозного мыслителя, ни одного писателя на религиозные темы, который не имел бы в себе струйки этого «протеста». Протеста против сущего, наличного. Он у одних ширился, у других узился, но у всех был. Мысль о переменах, ожидание перемен охватило даже все священническое сословие. Никто не был доволен *status quo* церкви. Но в священническом классе это ожидание никогда не поднималось выше *практических перемен*. Сумме этих ожиданий специально духовного сословия и ответит, как известно, будущий церковный собор. В нем не предполагается поднимать никаких вероисповедных вопросов, а решено улучшить и урегулировать только некоторые стороны церковного уклада жизни. Но в светском обществе, начиная с Хомякова, живет «протест» более широкий. Он является последствием тоски по церковном *идеале*. Мы назвали слово, которым разграничивается духовно-сословный «протест» от общерусского. Духовенство томится *неудобствами*; общество вздыхает по *идеале*. Всякий поймет, что тут — пропасть. Хомяков томился по *целом, огромном, всеобъемлющем* идеале церкви, но еще церкви византийской и даже византийско-монашеской. Критика его была

совершенно поверхностна. Он не затрагивал ни одного принципа, ничего принципиального. Можно сказать, что как был недавно «союз союзов», так Хомяков в отношении «беспокойств» духовного сословия выразил нечто объединительное: он заговорил о «неудобстве всех неудобств», заговорил об *обновлении всего лика* церкви, но именно лика, а не духа ее, который по-прежнему оставался византийским и монашеским, оставался духом нашей Оптиной пустыни, Афона и Цареграда. Немного времени прошло, и все это показалось скучным и безнадежным. Гораздо далее шел архимандрит Феодор Бухарев. Он выдвинул *священнический идеал* в противоположность *монашескому идеалу*. Это уже было качание 10 самих принципов. Византийская церковь вся создана монахами и как бы для одних монахов. Указание Бухарева опрокидывало всю концепцию Хомякова. Бухарев показал, выразил, наконец, он застонал о том, что даже *величайший идеал* в границах хомяковских предположений не удовлетворил бы никого: что это идеал *узкий, ограниченный и односторонний*; что он неправилен *по объему*. Собственно, Бухарев и является родоначальником всего последующего обновительного движения. Даже темы Религиозно-философских собраний, разрабатывая, например, темы о христианской *общественности*, о религиозном освящении *плоти*, вращаются в рамках, естественно уже наметившихся у Бухарева. Бухарев спросил: «А *мир*? Может ли быть также и *мир церковным*? Притом не идя нисколько 20 в монастырь, не отрекаясь от *себя* и от *своего*?». Из вопроса этого вытекают и все рассуждения, например, Мережковского и Розанова. В годы Бухарева только не ясно было, что вопрос, если ставить его таким образом, перестает быть вопросом *церковным* и становится вопросом *религиозным*; и самый «протест» направляется уже не к церковному обновлению, а к религиозному обновлению. В самом деле, если вся церковь создана монахами и для монахов, то совершенно очевидно, что если хочет быть *религиозным самый мир*, притом без отречения от себя, то он нудит к образованию не монашеской, а совершенно другой, новой церкви. Но где ее принципы, какие? Как их выработать?

Один из лучших продолжателей и развивателей *священнической концепции* 30 церкви, на которую указал архимандрит Феодор Бухарев, — священник А. П. Устьянский, таким образом выразил отношение церкви прошлого к церкви грядущего: подобно тому как одинокая свечка горением своим дает тусклый свет, а две проволоки, светящие через прикосновение свое в электрическом огне, дают неизмеримо более яркий, могущественный и приятный свет, так точно церковь, построенная на двойном начале семьи, а не на одиночном начале монастыря, даст больший взрыв, даст широчайшее течение религиозной жизни, нежели какое дала и знала Византия.

Россия стоит перед большими религиозными ожиданиями, чем какие были известны в Византии. Россия стоит перед новым, перед лучшим. Вот вывод. Вот 40 очевидность, которой ныне уже никто не может не видеть.

Поэтому, когда в 1902 году впервые сошлись лицом к лицу представители духовенства, архиереи, архимандриты и священники и с другой стороны — светские религиозные мыслители, — то последние, нисколько не пугая дела, не входя ни в какие туманы и неопределенности, повели речь об определенных устоях церкви, устоях все монашеских и византийских, требуя замены их другими, которые ответили бы *мировому универсализму*, которые ответили бы потребности *мира войти также в церковь*, не ломая себя, не искажаясь в себе.

Присутствовавшим монахам решительно нечего было на это ответить. Движение, очевидно, религиозное, к Богу. Но движения этого решительно не мог встретить монастырь, не мог открыть ему объятий: вышли бы не «объятия», а такая разверзшаяся ширина, объемлющая весь мир, какая разламывала самые стены монастыря, сносила его весь, как что-то маленькое и утлое.

В монастыри «уходили» от гадкой, грешной, развращенной жизни.

Но зачем гадость, грех и разврат? Вне монастыря они так же отвратительны, как и в нем.

Гадости, греха и разврата не надо нигде: ни в труде, ни в быте, ни в семье, на улице и вообще ни в каком месте, обстоятельстве и условиях.

10

Станем все лучше!

И не станем никуда «уходить»: не надо вовсе монастыря.

Черный монастырь, как отрицание, как вражда, а потому непременно и как злоба, — заменялся белым монастырем: тихим и кротким бытом мириад людей, нисколько не покидающих мест своих, занятий своих, труда своего, семей своих. Ритуал и молитва, теперь стоящие в стороне от жизни, — вот в одиноком монастыре, в «пустыне», — пусть они разольются на всю жизнь, сливаясь со всеми ее подробностями. Теперь ведь как стоит дело: в монастыре 16 часов молятся, слушают службы, кладут поклоны и *нигего не работают*. В новой же концепции 16 часов работали бы, но с молитвою в каждом деле, во всякой складке жизни. Однако, конечно, с молитвою не такую усиленную и специальную, как теперь в монастыре и при которой невозможно работать.

20

Молитва должна быть вечною памятью Бога, кратким словом, небольшим пением. Все коротко, всего немного, но все — часто, постоянно, во всяком шаге. Сейчас этого нельзя объяснить, потому что все молитвы приурочены к стоянию в церкви, к чему-то особому и обособленному, к некоторой оголенности от быта и труда. «Нельзя объяснить» — это и показывает на величину реформы. «Нельзя объяснить», — значит, надо все сотворить по-новому, заново, по другому плану, в другом приспособлении, в ином тоне и других красках! Труд необозримый, но каждый, ухватывающий эту мысль, согласится, что тут, действительно, как бы «электрический свет двух соединенных проволок» вместо тусклой, гаснущей свечи. Вот что эта «одиночная» свечка (монастырь, монашеское) гаснет, — этого никак нельзя от себя скрыть. И это угасание есть не только показатель времен, но и возбудитель новых религиозных движений.

30

К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ В ЕГО ПЕРЕПИСКЕ

Известный П. А. Тверской напечатал в декабрьской книжке «Вестника Европы» несколько «деловых писем» к себе К. П. Победоносцева. Письма, адресованные в Америку, все касаются духовоборов, выехавших в Канаду с Кавказа. В американской печати, сообщает г. Тверской, движение это объяснялось исключительно правительственными религиозными преследованиями, «а приписывали их *по-прежнему* К. П. Победоносцеву. Понятно, что американские газеты были полны статьями об его личности и роли в русском правительстве». Сами

40

духоборы находились в самом растерянном положении. «Немногие сопровождавшие их интеллигенты не пользовались между ними никаким авторитетом, и все очень скоро покинули Канаду и духоборов на произвол судьбы. *Естественные же вожаки из их собственной среды были все сосланы в Сибирь* еще до переселения, так что в Канаде очутилась только серая масса без какого бы то ни было руководства». Положение довольно печальное и даже страшное, принимая во внимание чужую страну, незнание местного языка, полную непригодность к условиям, быту, почве и климату (Кавказ — Канада). Между прочим, они более всего томились по Петруше Веригине, известном духовном вожде их, «находившемся где-то в Якутске или Березове», — пишет г. Тверской. «Достать бы Петрушу, — и тогда все наладится и пойдет хорошо», — суеверно говорили они. Хлопотали они также и о главах некоторых других семей, тоже сосланных в Сибирь, тогда как эти семьи были в Канаде. Они обращались к корреспондентам, к посещавшим их представителям квакерских общин с просьбой ходатайствовать перед русским правительством о возвращении им этих сосланных лиц и, наконец, с тою же просьбой обратились и к П. А. Тверскому. Он решил помочь им и в январе 1900 года написал большое письмо к обер-прокурору Синода, коего лично не знал и коему был известен только по литературному своему имени. «В ответ я, с оборотом почты, *получил от него отказ* от 19 февраля 1900 года».

²⁰ Это касалось главным образом Веригина, а также других лиц, именно глав нескольких эмигрировавших семей, которые в Канаде могли бы стать теми «естественными вождями», коих духоборам не хватало, и могли бы спасти от несчастий и, может быть, от гибели эту огромную массу все же русского люда, не причиняя в то же время никакого вреда России, православию. В этом отношении Америка «изолировала православное население от вредного влияния вероучителей» даже более, чем это мог сделать Сахалин или самые отдаленные трупы Сибири. Поэтому в быстром отказе Победоносцева, «с оборотом почты», г. Тверской, если бы был пронизательнее и последовательнее, мог бы рассмотреть и мелкое мстительное чувство к *бывшим* вождям духоборов, очевидно не имеющее ничего общего с заботами о будущем, а только казнящее за *прошлые* дела или, точнее, за *прошлое* влияние, за *прошлое* руководство, и, наконец, он мог бы увидеть в нем очень плохого русского человека и плохого христианина. Ибо в «пространном письме» г. Тверской, очевидно, во всех подробностях описал бедственное положение эмигрировавших, которое он и семь лет спустя очерчивает как совершенно жалкое и растерянное, клонившееся к явной гибели. Но он не ограничился этим письмом и написал следующее и следующие, на которые К. П. Победоносцев отвечал. Эти-то ответные ему письма и печатает теперь П. А. Тверской, с оговоркой, что он не знает, «насколько корреспондент был искренен со мною». Нужно заметить, что Победоносцев знал, что г. Тверской — всегда желанный гость

⁴⁰ в американской печати — был способен более всякого другого «корректировать» те некрасивые изображения, которые там делались с его нравственной, политической и религиозной личности.

«Я ничего не могу, и даже меня вовсе нет: все дела идут помимо меня, хотя и в высшей степени отвечая моим желаниям, но уж это Божия милость ко мне. Сам же я, за старостью лет, лежу и едва дышу, пережив свою славу, свою силу; и мне остается только созерцать повороты колеса судьбы, впрочем едущей туда именно, куда я всегда желал». Таков общий тон и смысл его писем. «Вы обращаете»

тесь ко мне, — пишет он просителю, — под тем же впечатлением, которое вот уже лет восемнадцать тяготит ко мне и изо всей Европы, и Америки, и даже изнутри России»... «К несчастью, утвердилось всюду фантастическое представление о том, что я являюсь каким-то *первым по фараоне* лицом в нашем правительстве, и сделали меня козлом отпущения за все, чем те или другие недовольны в России и на что те или другие негодуют. Так, взвалили на меня и жидов, и печать, и Финляндию, и вот еще духоборов, — дела, в коих я не принимал никакого участия, — и всякие распоряжения власти, в коих я нисколько не повинен».

Тут я могу сообщить кое-что лично мне известное. Победоносцев упоминает: «и печать», т. е. он отрицает, будто влиял когда-нибудь на печать и был виновником ее стеснений. Между тем И. Л. Горемыкин назначил главноуправляющим по делам печати вовсе неизвестное ему дотоле лицо, юрисконсульта при канцелярии военного министра, М. П. Соловьёва, — после того, как этот последний, страстный исповедник катковских начал, страстный любитель Византии и средневековья, сделался лично известен Победоносцеву через посредство личного друга (на «ты») последнего, Серг. Алекс. Рачинского. Соловьёв показал Рачинскому, по его просьбе, свои миниатюры к Данте и к Петрарке, т. е. привез их в квартиру Победоносцева, где всегда останавливался, как в своем доме, Рачинский. Здесь-то его впервые увидел Победоносцев, и в беседе, которую имел с ним, мог увидеть, до чего Соловьёв свысока и неглижорски относится ко всей текущей периодической печати и до чего он страстно ненавидит широко разлившееся тогда толстовство. Не более как через 1 1/2 или 2 месяца после знакомства Соловьёв, никогда не служивший не только в управлении цензуры, но и в Министерстве внутренних дел, был, ко всеобщему изумлению, призван на высокий пост главноуправляющего по делам печати, т. е. на пост почти товарища министра по делам печати, и с жалованьем, раза в три превышавшим его прежде. А Соловьёв всегда нуждался, — не на широкую жизнь, а на свои художественные поездки в Италию и на художественно-научные приобретения. Вообще, он был энтузиаст-идеалист, младенчески неопытный в текущей жизни. Иллюстрируя Данте, он точно и жил в эпоху Данте. Победоносцеву и было нужно это невинное дитя, которое он мог бы начинать своими инспирациями. Психологически понятно, что поклонник литературного и политического гения Каткова мог поступать гораздо жестче и решительнее, чем поступал бы, вероятно, сам Катков, будь он призван к политике. Катков бы осмотрелся и удержался... Но младенчеству ученик его не стал бы ни оглядываться, ни удерживаться. Таков и был Соловьёв. Как человек, он был кристально чист душой, а как главноуправляющий по делам печати и вместе отличный *юрист*, — он в первые же месяцы, собрав все литографированное и отпечатанное за границу, что вышло из-под пера Л. Н. Толстого, приступил к составлению обширного доклада на Высочайшее имя, с заключением, что или законы Российской империи должны исполняться, и тогда Толстой должен быть предан суду, — или... Но, конечно, «законы должны исполняться». Нужно заметить, что как для Рачинского, инициатора церковноприходских школ, так и для Победоносцева Толстой был главным не просто «человеком других убеждений», но религиозным врагом. И доклад М. П. Соловьёва, конечно, отвечал их самым горячим и давним желанием. Доклад остался без последствий, — без сомнения, в силу глубокого уважения, какое к гению Толстого имел Государь Александр III. Но и далее тот же Соловьёв впервые ввел знаменитое «назначение

редакторов» в газеты и через это буквально терроризировал печать. Его гонению особенно подверглась гайдебуровская «Неделя», где несколько сотрудников распространяли толстовские идеи: Соловьёв предложил собственнику «Недели» В. П. Гайдебурову или вовсе отказаться от сотрудничества этих писателей с громкими именами, или же пригрозил ему вовсе закрыть журнал. То же самое он сделал с «Одесским Листком» г. Навроцкого, пригласив его или отказать в сотрудничестве г. Дорошевичу, или быть готовым к закрытию его газеты. Подобного давления еще никогда не было на нашу печать, и главное, столь бесцеремонного, произвольного, прямого, в котором так и слышалась детская рука... Ведь дитя не смущается, зажигая дом. Но что и всего этого казалось мало, это я услышал от Серг. Ал. Рачинского:

— Что же... Надеялись, что Соловьёв упрядочит печать... Между тем (он назвал какой-то педагогический журнал), что же это такое пишут? Вещи возмутительные для церкви...

Верно, было что-нибудь о преподавании Закона Божия или о церковно-приходских школах. С другой стороны, и от М. П. Соловьёва я слышал, приблизительно на третий год его службы, о Победоносцеве:

— Да, Победоносцев... На него нельзя положиться... Это человек сложный и неясный... То он близок и хорош с вами, то...

Он не договаривал, но была ясна горечь. Кто помнит время цензуры Соловьёва, оценит: чего же хотели от него эти друзья, Рачинский и Победоносцев, стоявшие за его спиной и которые из чиновников без значения выдвинули его почти на пост товарища министра с огромным (для его прежней службы) содержанием. Но, повторяю и настаиваю: *сам* Соловьёв был безупречно чист; это был мечтатель XIII века, попавший в XIX. Друзьям и покровителям его, вероятно, было совестно сказать, чего именно они хотят от него: они хотели бы *догадки* в нем. Но уж догадываться он не умел: да и он все делал чистосердечно. *Текущую* литературу, «прессу» он всеми силами презирал ранее своего цензорства, — просто как «мелочь сравнительно с Данте и Петраркой»...

По этому моему рассказу читатели могут судить, насколько было искренно уверение Победоносцевым г. Тверского, жившего в далекой Америке, что он «не принимал участия в делах печати»...

ДУХОБОРЧЕСКИЕ СКИТАНИЯ И К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ

Обращаясь к предмету просьбы П. А. Тверского, духоборам, К. П. Победоносцев пишет ему: «Тяготу так называемого общественного мнения приходится (мне) переносить, — нельзя и опровергать ее, да никто и не поверит: так укоренилась уже иллюзия неведения, невежества и предрассудка. Вот, теперь и вы как будто просите и ожидаете от меня какого-то „конечного решения“ о духоборах. ⁴⁰ Да решения этого дела никогда и ни в чем от меня не исходило и от меня не зависели: распоряжались и распоряжаются генерал-губернаторы и министр внутренних дел. О переселении же духоборов в Америку я узнал, когда оно уже состоялось.

Поэтому и на вопросы ваши о духоборах не могу ничего ответить. Духоборческое дело — дело неведения, невежества и равнодушия *местных* (подчеркнуто у Победоносцева) властей. На Кавказе духоборы составляют республику, status in statu, под правлением своей Лукерьи. *Местные власти мирились с этим*, получали от Лукерьи удовлетворение всяких требований и *не заботились даже знать, что такое духоборы с верованиями их и бытом*. Когда умерла Лукерья, республика эта замутилась спорами претендентов на ее наследство. К несчастью, власти, *вместо того чтобы предоставить им расправляться между собою, вмешались в дело* и подняли тревогу. Поднялся мятеж, начался ряд неумелых распоряжений, как раз тут подобрались к духоборам пропагандисты толстовских учений, — и духоборы превратились в толстовцев, постников-анархистов. Тут, мало-помалу, Толстой, Чертков и вся компания стали подговаривать массу к переселению в Америку, собрали на это средства, переселили их, хотя часть, наиболее разумная, осталась на месте. Спрашивается, чем же повинна в этом переселении правительственная власть? Я-то уж нисколько во всем этом не повинен. Единственное с моей стороны распоряжение состояло в том, что, когда поднялась на Кавказе история о духоборах со стороны властей, не имевших о них прямого понятия, — я послал туда человека, знакомого с сектами, разведать их, пожить и поговорить с ними... Вот все, что могу сказать в ответ на ваше письмо. А в дополнение посылаю вам печатное, правдивое изложение истории о духоборах»... 10

Это «печатное, правдивое изложение», по всему вероятно, было одно из «приложений» к «Миссионерскому Обозрению», издаваемому Вас. Мих. Скворцовым, чиновником особых поручений при К. П. Победоносцеве по сектантским делам, и принадлежало перу последнего. Это-то и был тот человек, «знакомый с сектами», которого Победоносцев командировал к духоборам на Кавказ, но командировал не после смерти их пророчицы-учительницы-правительницы Лукерьи, как сообщает он г. Тверскому, «когда напутали *местные власти*», а гораздо ранее. За делом этим я совершенно не следил и едва знал о нем, когда оно происходило. Но поистине Бог привел меня увидеть и услышать частности, как раз поправляющие показания или «саморассказы» Победоносцева. 20

Приблизительно в 1896 или 1897 году, *не позже*, т. е. когда духоборы еще и не начали выселяться в Канаду, мне случалось посещать Рачинского, останавливавшегося, как я уже писал, всегда в квартире Победоносцева и занимавшего малый его кабинет. В один из приходов моих Рачинский был как-то особенно настроен, точно ожидал чего-то. И сейчас же сообщил, что «наверху, в голубой (или красной, — не помню, но он назвал цвет) гостиной заседает собрание министров, с участием князя Голицына, главноначальствующего на Кавказе». Повторяю, я о духоборах тогда не имел никакого понятия. Голицын был та «местная власть, благодаря которой произошли все недоразумения с духоборами». Уже по участию Голицына ясно было, что предметом совещаний служили какие-то кавказские дела, а по месту их собраний — в частной квартире обер-прокурора Синода, — ясно, что это были дела церковные, вероисповедные. А скоро явилось и подтверждение этого: часа через два комната Рачинского наполнилась людьми, вышедшими из оконченного заседания. Тут я впервые увидел и В. М. Скворцова, черного брюнета в вицмундире, «эксперта по сектантским делам», каковым он являлся на всех судебных разбирательствах о малеванцах, штундистах, баптистах, скоп- 30

цах и... духоборах. Очевидно, при участии Голицына речь шла и о них. Это было года за три до начала переселения их в Канаду и, может быть, непосредственно предшествовало времени, когда «Петруша Веригин» и другие главы видных духоборческих семей начали выселяться «куда-то в Березов или в Якутск», как пишет несколько небрежно об этом г. Тверской. Во всяком случае, что Победоносцев «последним узнал о всем духоборческом деле», когда оно было уже кончено, — это такая неправда, которую Победоносцев мог сказать г. Тверскому, лишь рассчитывая на слишком большую его доверчивость и почти на его простоватость.

- ¹⁰ Что «сведушим в сектах человеком», которого Победоносцев посылал на Кавказ, был именно В. М. Скворцов, — об этом я узнал от последнего приблизительно в 1902 или 1903 году, и опять очень просто: просто он в длинном и живописном рассказе передал мне о том изумительном почти «царстве» (отнюдь не «республике», как пишет Победоносцев Тверскому), какое завелось у них на Кавказе, с Лукерьей во главе. Очевидно, к основному духоборческому стволу на Кавказе привились какие-то побочные хлыстовские веточки: по крайней мере, Лукерья играла в обширной и могущественной их общине, связывавшей несколько деревень и сел, ту роль, какую у хлыстов играют их «пророчицы» и «богородицы», а «Петруша» получил значение полухлыстовского «Христа». Об этом говорит ²⁰ и тон сообщения г. Тверского: «Все они (духоборы в Канаде) с каким-то суеверным почтением относились к „Петруше“ Веригину... Всякий разговор сводился к Веригину и к необходимости его присутствия: только бы достать „Петрушу“, и все наладится и пойдет отлично. С просьбой „добыть“ им „Петрушу“ обращались они и ко всем их покровителям... В словах этих каждый сколько-нибудь знакомый с нашим сектантством сейчас же узнает дух хлыстовщины-христовщины, с обожанием живого человека, с отнесением к нему почти божеского почитания. В. М. Скворцов передавал мне, что Лукерья окружила себя, или, точнее, духоборы окружили ее (явно, — «богородицу» свою), ореолом необыкновенного блеска и абсолютным, до потери в себе личности, до отречения от домов своих, ³⁰ от имущества, от всякой своей воли, повиновением. Они устроили ей особый конвой: в папахах, кафтанах и с кинжалами, они сопровождали ее экипаж, куда бы она ни двинулась. И с такою помпой она въезжала и в губернский город. По одному ее указанию духоборы закидывали бумажками и серебряными рублями экипаж человека, и у В. М. Скворцова составилось представление о несметном богатстве этой общины. При таком абсолютном, притом *любовном* повиновении, при трудоспособности их, при отсутствии внешних трат на себя, ибо в сердце их место богатства и роскоши занял религиозный восторг, — естественно, что у них действительно скопилась огромная общинная казна. Местным властям, конечно, при этом «перепало». Но во время русско-турецкой войны Лукерья сумела ⁴⁰ оказать при каком-то случае и значительную услугу русским войскам по части снабжения их провиантом и поставки подвод в критическое время, когда их неоткуда было достать. Как и пишет Победоносцев Тверскому, местные власти «не заботились даже знать, что такое духоборы в верованиях». В переводе с синодального языка на гражданский это значило, что «виновные во всем» гражданские власти Кавказа требовали от духоборов исполнения подданнических обязанностей, т. е. уплаты налогов, чинки мостов, и проч., и проч., *не вмешиваясь*

в вероисповедную сторону. Местные власти дали им *религиозную свободу*: для починки этого-то несчастья Победоносцев и командировал туда «сведущего в сектах человека»... Местные власти смотрели на всю эту религиозно-бытовую феерию как на явление глубоко *местное, внутренне-религиозное*, без общественных и политических продолжений, без всякого действия на общество и народ за краями духоборческой общины. Чем сильнее был экстаз в ней, тем более ледяное равнодушие окружало ее. Но не таков, очевидно, был взгляд Победоносцева, увидавшего здесь «республику»... Так как поездка Скворцова была еще при жизни Лукерьи, то явно, что ссылка «Петруши» в глухое место Сибири после ее смерти была отъятием «главы» у зловерной «республики», которой «имела невежество» покровительствовать местная власть... 10

Несколько выше Победоносцев упоминает о «пружинах, приводящих в действие наши административные дела», и что их мало знают за границей и в России. Действительно, когда даже вскроют архивы Синода, Министерства внутренних дел и кавказского управления, — в них найдут только «бумаги за №№», текущие в известном направлении и клонящиеся к определенному решению. Нигде в них не будет упомянуто о том *неофициальном* заседании, почти о домашней беседе, какая состоялась на дому у Победоносцева из нескольких (не всех) министров с участием главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе и при участии «эксперта по сектантству» В. М. Скворцова. Как ни из каких бумаг и ни из каких архивов нельзя будет узнать и того, что М. П. Соловьёв, с его страшным режимом над печатью, был поставлен главноуправляющим по делам печати тем же Победоносцевым, в поддержке коего слишком нуждался И. Л. Горемыкин, тогдашний министр внутренних дел, — если только не был обязан ему самым этим министерством. Во всяком случае, Горемыкин *не знал лично Соловьёва*, и совершенно очевидно, что он поставил его почти на пост товарища своего *не по своему усмотрению*. Совершенно случайно мне пришлось быть зрителем этих перемен, этих пружин административных передвижений, и я гораздо позже потом, вот почти только эти годы, стал понимать их значение. Между прочим, оттого тогда всего этого и не скрывали от меня, что совершенно правильно рассчитывали, что, и все видя, я не «сведу концы с концами», т. е. не догадаюсь об общем смысле и внутренних намерениях движения. Мне тогда казалось это «добрым событием» в судьбе хорошего знакомого, почти друга, а о смысле заседания министров, с участием Голицына, мне стало ясно только из писем к Тверскому Победоносцева. 20 30

Одним из членов *системы* Победоносцева было следующее. Он не был министром, *повелительно давящим на чиновников*, он не *машинно* достигал своих целей. Он знал, что около страха стоит лукавство и около повиновения — обман. В той сфере духа, где он жил и действовал (церковь), мертвым повиновением подчиненных немногого достигнешь. Он своим тусклым глазом высматривал поэтому человека, который был бы *тех же мыслей*, как он, того же *одушевления*, того же *направления*, но... не очень умен и, всего лучше, наивен. Высматривал «истинно русского человека» (Соловьёв-катковец), «истинно православного человека» (Скворцов). Высматривал иногда вне сферы своего синодского чиновничества (Соловьёв — в канцелярии военного министра, Скворцов — преподаватель киевской семинарии, по любви к делу приватно занявшийся миссионерством 40

среди штундистов). Этих людей с *приватным одушевлением*, как у Победоносцева, — он вдруг ставил на «ответственное» место, крайне активное, крайне властительное, и не только в свое ведомство, но и в другие влиятельные, напр. в Министерство внутренних дел. Тут личный первоначальный порыв «восшедшей звезды» получал «воспомоществование» как в естественном чувстве личной благодарности к Победоносцеву, так и в приватных, келейных инспирациях его... По письмам его к Тверскому, по колеблющимся выражениям самого Тверского, можно видеть, что даже этого *эмигранта* и *друга духоборов* он сумел вовлечь в сферу симпатичного притяжения к нему, Победоносцеву... В этом отношении переписка Тверского с ним есть характерный *исторический* документ. Она объясняет те *психологические, интимные* пружины, действием которых Победоносцев в течение трех царствований сумел быть наверху положения и оказывать действительно беспрецедентное влияние на дела. Все (его товарищи по управлению Россией) были хвастливы и преувеличивали свое значение; он был скромнен и преуменьшал свое значение. В том «режиме», какой есть у нас, он знал, что скромность — лестница к почестям и власти, а хвастовство, болтливость о своем значении, силе и влиянии — то же, что Тарпейская скала у римлян, с которой низвергали возносившихся... И. Д. Делянов, старый службист и блестящий кавалер ордена Андрея Первозванного, тоже держал себя скромнее учителя гимназии (буквально и точно)... И восходил, все восходил и восходил, когда повалились вокруг него Валуевы, Тимашевы, Игнатьевы, Лорис-Меликовы... Победоносцев слишком знал нашу историю и дух страны. Он помнил судьбу Сперанского и Аракчеева. Он предоставлял высказываться вперед другим, сам отходя в тень, постоянно в тень...

История Золушки... Ее знал Победоносцев. Тон этой смиренной Золушки, *которым все было достигнуто*, — стал его постоянным тоном, перешедшим в частную переписку, например, с Тверским. И даже, кажется, во сне он не смог бы принять позу хвастливо-глупого человека, столь несоответственного Российской империи; он и во сне или впросонках стал бы уверять: «Я — ничего, только сплю... И даже меня вовсе нет... Но благодетельная фея... то, бишь, православные ангелы блюдают меня и делают то, что все происходит именно так, как мне хочется, и даже гораздо лучше, чем я мог бы сам устроить и сделать»...

АУТОПОРТРЕТ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА

Г. Тверской хлопотал о духоборе Гончарове, которого единоверцы послали из Канады в Россию «ходоком» и которого немедленно же, как только он показался на родине, сослали в Сибирь. В объяснение этого Победоносцев писал:

«Когда духоборы уходили, кн. Г. (т. е. Голицын, главноначальствующий на Кавказе) совершенно незаконно велел взять с них подписку, чтобы не смели возвращаться, иначе будут сосланы в Якутск, и когда Гончаров вернулся, он, несмотря на убеждения губернатора, настоял на высылке. С тех пор сколько я хлопотал о возвращении (т. е. до просьбы Тверского, по *собственной инициативе*), но, к несчастью, все дело застряло в канцеляриях. Впрочем, обещают. Вся наша беда в том, что говорить не с кем о живом деле, и одно

орудие — бумага. Но если ваши (калифорнские) духоборы вернуться, — куда они сядут и найдут ли свои земли незанятыми?.. Добрые люди, обманутые, авось, поймут, наконец: 1) что есть эпидемические нелепости поведения, коих никакое правительство потерпеть не может, и 2) что, в сущности, *одна страна в мире, где люди могут жить свободно в своей вере, это — Россия*; и верьте, что все дикие случаи насилия и преследования есть только дело безурядицы, полицейской и всякой, господствующей у нас на необозримых пространствах»...

Читаете ли вы глубокий смех Мефистофеля, уверяющего из Петербурга в Америку, что *единственно* свободная вероисповедная страна в мире это — за спиною Мефистофеля, тогда как за спиною его американского корреспондента — духовное рабство, религиозная нетерпимость. Это писал Победоносцев, который в царствование Императора Александра III *лигнo* добился удаления со службы высокого военного сановника (кажется, Бреверн-де-ла-Гарди или Барк-лая-де-Толли) за то, что он ребенка своего крестил в веру *свою* (лютеранскую), а не матери его (православной), очевидно, по обоюдному согласию родителей, и благодаря *лигнoму настоянию* которого сотни тысяч старообрядцев, католиков и униатов, родители коих по неосторожности дали себя занести в *списки православных*, но фактически не переходили в православие, лишены были насильственно права совершать требы по старообрядческому и католическому ритуалам и вообще свободно исповедывать свою фактическую веру... Это писал Победоносцев, при котором ни одна душа в 140 000 000 населения России, занесенная лично или в лице родителей в списки православия, не смела оставить православную веру под угрозой Сибири... Конечно, Филипп II Испанский был бы доволен таким успехом. Но Филипп Испанский *не умел* достигать того, чего умел достигнуть Победоносцев. И по той простой причине, что в руках его еще не было той всевидящей, всешарящей, всещупающей и всевскрывающей корреспонденцию полиции, какая была готова к услугам Победоносцева. Он, бедненький, жаловался в письме к Тверскому по поводу недошедшей или поздно дошедшей к нему брошюрки Скворцова: «Боюсь, что корреспонденция где-нибудь подвергается задержке или осмотру» (стр. 655). Скажите: перлюстрируют Победоносцева и Скворцова! Ну, что за страдальцы...

Г. Тверской, если бы внимательно *сопоставлял* одно с другим письма Победоносцева, мог бы без всякого труда усмотреть даже *фактическую* неправдивость или неточность их. От 8 апреля 1901 года он пишет: «В одном лишь могу уверить. До сих пор ни у кого не выбьешь из головы, что я альфа и омега всего, что происходит в России. Это совершенная неправда, поддерживаемая лишь общим невежеством и неведением. Я не принимаю участия ни в каких делах, кроме тех, кои относятся до церковного управления, и кроме тех, в коих должен подавать свой голос в текущих заседаниях Государственного Совета и комитета министров» (стр. 657). Это смиренное лежание овцы он приписывал себе в первом письме к Тверскому на протяжении *семнадцати* лет. Но в одном из последующих писем он говорит: «Сколько лет не могут отвыкнуть от моего имени, которое уже *лет пятнадцать* есть анахронизм, и все ко мне относят...» (стр. 663). Это он писал в 1901 году, а в августе 1902 года уверяет: «Ложью живут и наши здешние газеты, и ваши, американские. Все, что в них есть, выдуманно, сочинено, и ни слова нет правды. Знайте вообще, что, где является мое имя, там ложь. Оно употребля-

ется как соль, ибо сколько уже лет, как с ним иностранная сплетня связывает все, что делается в России, — тогда как вот уже *лет десять*, как я ни в каких делах, кроме церковных, не участвую» (стр. 664). Незадолго до смерти Победоносцева, П. А. Тверской прислал ему номер одной американской газеты со статьей: «Magvellow old Fanate who has a grip on the Czar» («Замечательный старый фанатик, который овладел Царем»). Победоносцев отозвался на эту статью: «Статья эта для меня не новость: тысячи подобных до меня доходят издавна... Вот уже более двадцати лет, как все известия из России соединены с моим именем, которое пронесено как зло по всему миру... Не знает никто правды, и в злобе — на что и на кого? — ищут в России непременно человека, который за все отвечает. Я являюсь козлом отпущения, но того выгоняли, по крайней мере, в пустыню, а меня как мячик перебрасывают из одной газетной лавочки в другую и из одного кабака в другой на растерзание. И думаешь: авось наконец узнают что-нибудь верное и притихнут, так как здесь, казалось бы, должны знать, что вот уже *лет десять* я, кроме дел церковного управления, не принимаю никакого участия в направлении каких-либо государственных мер» (стр. 666). В следующем — 1904 году, по поводу другой, присланной г. Тверским статьи: «Pobiedonostzeff in way of reform» («Победоносцев на пути к реформе»), он писал: «Знайте же, что все это *ложь* и выдумка. Вот уже *более восьми лет*, как я не принимаю участия ни в каких государственных делах, и кто принимает, — не знаю. Ни во что не вмешиваюсь, и никто меня не спрашивает. Никаких записок не подаю Государю, кроме докладов по текущим церковным делам. Никаких особых докладов не имею. Я — уже давно отживший деятель... С новыми заместителями прежних моих друзей (по управлению) не имею никаких отношений. *Никуда* (подчеркнуто Победоносцевым) не выезжаю, кроме заседаний Синода и комитета министров, не занимающегося никакими государственными вопросами» (?!). «Меня *никто* (подчеркнуто Победоносцевым) не знает, но в канцеляриях, гостиных и аудиториях сочиняются нелепейшие слухи обо мне, переходящие во все иностранные газеты, на всемирный рынок всяческой лжи и сплетни. И этот крест вот несу я вот уже двадцать лет. Но прежде были еще люди, знавшие меня и мою деятельность, а ныне никого не осталось. И мало того, отовсюду пишут мне проклятия и угрозы. Вот и сегодня такое письмо из Нью-Йорка...» (стр. 667).

Кто же, однако, был этому виноват? Победоносцев был человек-одиночка. Ему *никто* не был нужен. Как он мог удивляться, что и *другим* он не нужен? Все что *не помогает*, то *мешает* в жизни; всякий, кто *не способствует*, *задерживает* движение. В социальном организме, как и физиологическом, нет третьих, различных элементов: всякие подобные, уже тем самым, что они *суть*, они *помеха* в жизни. Победоносцев и стоял такою помехою все время, как он жил, *никому* не помогая, ничьему чужому труду *не сорадуясь*. Это был замечательно *недружный*, *необщественный* человек. Он был *монах*, *келейник* в государственной службе. Был Филаретом государственности. На что же он претендовал, что на него ополчилась *дружная* громада работы, *дружная* масса людей, идущих вперед? В Победоносцеве ненавидели *старый метод* государственности и общественности, вот эту *келейность* его, которая практически выражалась не так невинно и вовсе не красиво. *Одну-то* тропку он знал все-таки, куда-то в *одно место* он выезжал или готов был всегда выехать. Он постоянно *ждал*, что его «позовут», и не хотел,

хотя на время, удаляться от центра власти в *России*, которую якобы так любил и знал. И вот «звали» его или *не звали* фактически, русскому обществу было противно самое это ожидание, этот старый метод, по коему управление слагается, как писал сам Победоносцев в первом письме к г. Тверскому, из «фараона и первого по фараоне» (слова Библии об Иосифе в Египте). Он сам не отрицает, что некоторое число лет был «первым по фараоне»; был им долго, за 17, 15, 10 или 8 лет до смерти. Как он мог так спутать годы своей счастливой судьбы Иосифа в Египте? Да он, без сомнения, их и не путал. Г-н Тверской, давно покинувший Россию и до сих пор живущий в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, не знал состояния русских дел, и он писал ему слишком небрежно, отчасти схематично и обще; во всяком случае, писал с полным пренебрежением к факту срока прекратившегося сильного своего влияния. Но небрежность — небрежностью; однако характерно и то, что он играет фактом, годами, называя ту цифру или другую, с такою легкостью. Это — прием или, скорее, умонаклонность келейника играть фактами, которые лежат за пределами его кельи. Можно представить себе, как он ими «играл» в эпоху своего всемогущества, оставаясь около этой игры патетичным и даже трагично-патетичным, как и в письмах к г. Тверскому. По заметкам адресата, сопровождающим опубликованную переписку, видно, что хотя он и не знает, «искренен ли Победоносцев», но что идейно Победоносцев повлиял на него, толкнул его мысли к другим настроениям, к другим симпатиям, к другим оценкам фактов и лиц, — это сквозит и в тоне г. Тверского о духоворах и о руководивших ими интеллигентах. Тон является отчужденный и высокомерный, — господствующий тон Победоносцева-келейника в суждении о лицах и фактах. Так, в одном месте Победоносцев пишет о Ванновском, в пору, как он, став министром народного просвещения, проломил могучим плечом стену нашей педагогической авгиевой конюшни: «Вот и выходит: Плеве — реакционер, в союзе со мною, Ванновский — герой либерализма. Какой вздор! Сказали бы: *герой бестологии и невежества*» (стр. 663). Что он сделал Победоносцеву? Ничего, но он в своем ведомстве, солидарно с обществом и печатью, в благородном содружестве с ними, стал смывать вековой навоз помрачительного, а не просветительного министерства. Между тем, этот Ванновский, как передают, умер от потрясения, пережитого от первых японских побед, хотя в них он, уже давно не военный министр, не мог винить себя. Победоносцев, столь же старый, как Ванновский, пережил эти победы, пережил Цусиму и Мукден. В одном письме г. Тверской, очевидно, не без идейного толчка со стороны Победоносцева, сообщает ему, что в случае возвращения духовоборов массою в Россию полезно было бы *направить* их предварительно в Петербург, чтобы *показать русской интеллигенции и представителям печати этих наивных и гуть не звероподобных людей*, за которых она столько ратовала и которых так идеализировала. На это Победоносцев ответил с живостью: «Ваша мысль о том, что здесь, в Петербурге, они, будучи сведены с представителями печати, не могли бы не произвести отрезвляющего впечатления на все ее лагерь, — эта мысль, извините, показывает только, что вы, живя в Америке и освоившись с орудиями мысли в вашем крае, совсем отвыкли от России. Вы, видно, не чувствуете еще, во что обратилась печать в России и как низко погрузились в болото все ее лагеря, — даже с тех пор, как вы отсюда выехали. И теперь едва ли вы мне поверите, когда я скажу, что нет ни одного журнала и га-

зеты у нас, где бы можно было рассчитывать на действие разума и здравого смысла. Все суть не что иное, как или грязные лавочки в руках невежественного уличного сброда проходимцев и недоучек, или органы, не исключая „Русских Ведомостей“ и „Вестника Европы“, узкого кружка доктринеров, не знающих и не хотящих знать народ (?!), душу его и потребности (?!), не верующих ни во что, кроме своей доктрины, да в тупую оппозицию всему, что называется правительством... Попав в среду этой гнилой интеллигенции, ваши духоборы и штундисты *никого* бы (подчеркнуто Победоносцевым) не урезонили, разве сами сбились бы с толку».

Заметим, что ни к кому имя «доктринера» так не подходило, как к самому Победоносцеву. Только это был не «доктринер» прогресса, а «доктринер» застоя, или «благочестивого стояния на одном месте».

Вся печать — «прогнившая лавочка»... Но не было ли кого-нибудь в ней, кто был бы относительно нравственно здоров? Ну, как же! Без таких благополучий некому было бы выдавать и казенных субсидий... «Вот вы, выехав из России, — писал он г. Тверскому в 1901 году, — храните все вывезенные отсюда предубеждения того времени, и у вас наложено *табу* на „Московские Ведомости“. А „Московские Ведомости“ ныне — единственная газета, где разумный человек писать может без ругательств. Вы все гоняетесь за каким-то идеалом честности (NB) или за человеком „нашего лагеря“, а дело совсем не в этом, в сфере печати. Г-н Грингмут, сам по себе, — человек, которого уважать не приходится, но так или иначе он уберег газету».

Да от чего «убереж»? От статей, от духа, от направления, враждебных Победоносцеву. Ну, как же мы теперь распорядимся с его «доктринерством», если его же словами скажем, что с «людьми идеальной честности возиться нечего, что суть дела не в честности: можно взять и человека, которого уважать не приходится, лишь бы он *служил*». «Святые» римские инквизиторы иногда брали «уголовных» преступников, уже осужденных, и, избавляя их через ходатайство у светской власти от казни, обращали на службу себе, — на службу такую, где они через шпионство и наговоры «святейшим инквизиторам» влекли бы других на казнь. После окончания аренды С. А. Петровского кандидатами на аренду «Московских Ведомостей» выступило несколько лиц, между ними кн. Цертелев и г. Александров, редактор «Русского Обозрения». Благодаря влиянию Победоносцева в ту пору, когда он был еще «вторым по фараоне», как сам определяет, аренда была отдана В. А. Грингмуту, «которого уважать не приходится». *Поэтому* и *когда* он это узнал, что «уважать не приходится»? Совершенно неразвитый Грингмут каким был, таким *всегда и оставался*. Он не знал перемен ни убеждений, ни темперамента. Он вообще не знал перемен: он никогда *не развивался*. Победоносцев, конечно, уже раньше аренды знал, что «Грингмута уважать не приходится», и *потому-то именно и настоял на отдаче аренды ему*, а не другому кому-нибудь. Это было очень немного времени спустя после того, как М. П. Соловьёв тем же Победоносцевым был прямо *поставлен* на пост главноуправляющего по делам печати. Как лицо, заведующее цензурой во всей России, он, разумеется, был запрошен о кандидатах на вновь открывшуюся аренду «Московских Ведомостей» и, без сомнения, указал правительству лицо, которое ему указал Победоносцев. Но наивный Соловьёв, сам совершенно незначительный писатель (не имел к письму дара), совершенно искренно увлекался необыкновенным

талантом Грингмута. Когда радостная кандидатура его в редакторы-издатели «Московских Ведомостей» была утверждена где следует, он сказал мне:

— Теперь мы услышим громы из Москвы. Теперь, «сам» хозяин газеты, он заговорит...

Грингмут, на радостях аренды, с первых же разов придравшись к чему-то у «Русских Ведомостей», потребовал знаменитой *вторичной присяги на верноподданство* от гг. редакторов либеральных изданий...

Вся пресса рассмеялась. Грингмут был туп. Даже Соловьёв не радовался этому его предложению. Потом Грингмут предлагал что-то вроде «экзамена на зрелость» для редакторов и даже для издателей газет и журналов. И вообще в отношении довольно сонного государства он всегда играл роль медведя, убивающего на лбу у него муху камнем... Но он был «надежный человек» для Победоносцева уже в том отношении, что не пропускал никакой идеи, даже от самых «честных людей», если эта идея не входила в круг схимнических идей Победоносцева. Так, набирая со всех сторон людей, «которых хотя бы и не приходилось уважать», набирая их из явно глупых людей, Победоносцев и несколько подобных ему фанатиков-затворников влекли корабль России... к мелям, бурям и подводным скалам маньчжурской эпопеи и японской войны.

Корабль напоролся на камни. «Стоп, машина!». «Задний ход!». Но уже ничто не двигалось: машина визжала, винт беспомощно вертелся, корпус корабля затрещал в огромных боках, и испуганные люди бегали, ничего не будучи в силах сделать...

Лоцман умирал...

МЕТЕРЛИНК

Иногда кажется, что не только день и ночь, но и каждый час суток имеет свою психологию, мы решаемся сказать — свою отдельную *новую* душу, не похожую на душу соседних часов. И что по закону *души* этой, мировой, что ли, подчиняются все твари в этот час — дневные, ночные, сумеречные, утренние. Как не похож свет луны на свет солнца: это не только другая *ступень* света, *сила* его — но вовсе другая его природа. Возьмите свет 1000 свечей и 1-й свечи: здесь и там *один* свет. Но лунный свет вовсе не есть тысячная или миллионная часть солнечного света, а что-то совсем, совсем другое, какое-то новое сотворение — новое существо...

Когда я начал (к стыду — недавно!) читать Метерлинка после Милля, Тэна, Конта, Вундта, Льюиса, Дрэпера, Бокля, Луи Блана, Мишле, Тэна — мне показалось, что я вступаю в новую часть мировых суток: иначе не умею выразить всю ту удивительную меня новизну тона, предметов, тем, какую я нашел в его «Сокровище смиренных» (случайно первой из его попавшихся мне книг, после «Жизни пчел»)... И когда я спрашивал себя: «Что это за новизна, в чем она» — то мне показалось, что суть ее заключается в неожиданном переходе от дня к сумеркам... «Там тени, видения, ожидания, предчувствия» — так смертные характеризуют час между ночью и днем. Все знают о себе, что они будут в этот час уже не таки-

ми, какими были днем и какими станут ночью. Вот это уже «не такое», уже не дневное и еще не ночное — являет собою Метерлинк.

Сам он — *новая душа в мире*, и от этого открыл столько *нового*, столько новых неожиданных *предметов* своим братьям читателям. Теперь, когда я перешел на некоторое расстояние от него, когда успокоился и он мне сравнительно не нужен, — мне хочется его порицать. С чувством борца и борьбы, я мысленно выискиваю у него недостатков, слабостей, неумения или непонимания (по крайней мере — кажущегося). Но это теперь... после тех глубоких очарований и изумлений, иногда до слез, какие я пережил, когда впервые поставил ногу на его лестницу, спускающуюся в особый мир, «мир Метерлинка». Солнце зашло. Улеглись коровы. Легли стада, уснул пастух. Тихо наигрывает на флейте отдыхающий воин. Тени деревьев чудовищно выросли, закрыли всю землю; бесшумно проносятся летучие мыши, и выходит — с расширенными зрачками — рысь на ловитву, олени пугливой чередой спускаются по темной тропинке к водопою... Новое царство, совсем новое — которого «не было днем». Таков же, по отношению к миру Тэна и Конта, этот «мир Метерлинка», бесшумный, бессолнечный, с упавшею энергией, заснувшими силами, но прелестный, но волшебный, но говорящий нам о сокрытых днем тайнах, без бытия которых и *дневной мир* не сумел бы и, может быть, не захотел бы просуществовать...

10 ...Все становится серьезнее под звездами. Так этот «сумеречный мир» Метерлинка, заключая в себе новую психологию и новую логику, даже новую метафизику, делает просто смешными «утренние» силлогизмы старой логики:

Все люди смертны.

Сократ — человек,

Следовательно — Сократ смертен...

После Метерлинка невозможно не покатиться гомерическим хохотом над этими «фигурами умозаключения»; над которыми трудились (сколько мудрых!) от Аристотеля до Милля! Крепко взяв руку нашу, он ввел нас как мужей, как серьезных людей, в свой серьезный, «звездный» мир — и вдруг старая логика и старая психология, а пожалуй, и старая метафизика — оказались нам грубы, тривиальны, плоски, как базарные остроты около монологов Гамлета и могильщика. Нельзя оспорить, что самая душа Метерлинка относится к порядку высших душ. Таковые не так редко рождаются, но без языка, немые. Они есть в жизни, но не показываются в литературе. Метерлинку же Бог дал чудный, ясный язык: и первыми же страницами своих книг он породил нас с этим «высшим стилем» души человеческой и открыл все, что она может созерцать... Метерлинк (насколько он понят) перевел человечество в высший этап существования, из которого и не хочется, и трудно, и (для понимающих) уже невозможно вернуться в предыдущий, немножечко сравнительно с ним подвальный...

40 Он не философски доказал, но художественно начертал мир «потенций», — того, чего нет еще — но будет, того, чего нет уже — но было: но начертал это не как *будущее* и *прошедшее* (это — все знали и умели), а как сейчас *сущее*, *полу-осязаемое*, *полу-видимое*, несравненно могущественное — но чему нет имен и вида. Он постиг, что в «сейчас» мира замешано (без малого) все его прошлое и все его будущее: и замешано не неосязаемо, а именно осязаемо, но только не грубо осязаемо. Это именно сумеречные вещи, которыми опутано и дневное бытие, и бытие ночное, в их резкой и устойчивой определенности. Дневные люди только

и имеют отношение к дневным вещам; и только и могут! Но следя за собою, за неожиданными «затруднениями», «облегчениями», удачами, неудачами, — они восклицают: «судьба!», «рок!», «случай!» — давая имя тому, что еще не имеет имени, но уже есть и действует вокруг нас, взаимодействует с нами, хотя мы не видим этих «колдунов» и «фей», «демонов» и «волшебников», явления не реальные и, однако, не мнимые, сущие и никому не видимые. Конечно, и после Метерлинка мы в «колдунов» и «фей» не верим — не в этом дело. Он показал осязательность мечты, он показал нам $\frac{1}{2}$ души, $\frac{1}{4}$ души, когда мы знали только полную дневную душу, «как у Милля и Тэна», со всеми «приметинами» и почти гражданским паспортом. Помните у Грибоедова:

Перст указательный — все признаки ученья.

10

Все знали «идеи», «мысли» — и что, напр., «будущие открытия» уже сейчас имеют «предвестников». Все это знали в линии идеального строительства, как и в силлогизме:

Сократ — смертен.

Это уже заключается в положении:

Все люди смертны.

Новизна и открытие и сила Метерлинка заключается в том, что связь с прошлым и будущим всякого «теперь» он перевел из идеального строительства именно в *осязательно-вещественное* (хотя и туманно-вещественное). Есть *зодиакальный свет*: это — не материя, но и не нематерия. Возьмите цветок яблони и вишни; сколько вы его ни разглядывайте, как ни анатомируйте — ягодки-вишни и яблока-плода вы *в них* или *около них* (цветов) не найдете. Милль и Тэн так и говорили: «в сем нет ни яблока, ни вишни». Метерлинк рассмеялся: «конечно, *прямо* — нет, *осязаемо* — нет: но можете ли вы сказать, что в цветке вишни и в цветке яблони также *полно, решительно, сгущенно* нет и отсутствуют вполне зрелые вишня и яблоко, как, напр., сгущенно и решительно они отсутствуют... в фунте меди или в добродетели Сократа!!». — Очевидно, есть *тени* около предметов! существуют *потенции* — около реальностей, и даже разных степеней и осязательности, напряжения и «воплощения»! есть «души» и $\frac{1}{2}$ души, $\frac{1}{4}$ души, «колдуны» и «феи» без имен и паспортов, и огромный «Рок» и «Судьба» с чудовищным паспортом, куда и вписаны «приметы» всего мира... Конечно, Милль и Тэн, перед этим смехом Метерлинка, скорей перед его лунною улыбкой — попятились, как сапожники...

20

30

Метерлинка надо читать медленно, каждые 2–3, 5–6 его строк дает читателю новое развитие, — если он сумеет быть в чтении внимательным. Напр., его замечание обо всем *античном* мире, — что в нем душа была еще не пробуждена, не вышла на поверхность человека — открывает новую точку зрения, с которой нужно начать писать совершенно заново «древнюю историю». Его замечания о греческой трагедии, о Расине — все это программы исследований, наблюдений, новой критики. Между тем это занимает 2–3, 5–6 строк. Мы берем что-нибудь, на удачу, не выбирая, и едва ли берем примеры удачные. Его рассуждение о *молга-*

40

нии — изумительно, и дает новое и глубочайшее понятие о душе человеческой! Но мы не хотим подсказывать читателю. Он на берегу моря: он него зависит, увидит ли в нем только «мокрое и большое», «холодное и пространное», или найти в нем жемчуг и чудные создания, найти поэзию и «историю мореплавания», — зависит все от него, от этого читателя. И Метерлинк будет мудр только с мудрым, а глупому — он ни в чем не поможет.

РУССКОЕ ФИЛОСОФСТВОВАНИЕ

«Наше место в вечности». Киев, 1907

I

10 Я бежал, куда глаза глядят, чтобы только не видеть лица человеческого, и меня никто чтобы не видел. Я знал, что мне должно умереть, и мне было стыдно за каждый лишний миг существования. Но мне не хотелось потешить моею смертью врагов, и было смутное чувство, что не может моим несчастьем исчерпываться содержание моей жизни. Это так унижительно — быть несчастливым. Казалось, что за всем этим, исчерпанным, есть что-то, еще не тронутое, и что именно это нетронутое может обратить в полное торжество мое поражение. Но ничего такого еще не было найдено, когда я, совсем уже впотьмах, подъехал к стоящей одиноко на дороге гостинице и вступил в нее в надежде как-нибудь скоротать в ней свою ночь. Едва, однако, я лег в постель и, потушивши свечу, закрыл глаза, как все ужасы моей жизни стали рисоваться передо мною с невообразимой ясностью:

20 всякие мысли о неисчерпанном были забыты, и сердце мое отдалось всецело в руки дьяволов, которые жгли его, грызли, разрывали на части, комкали, мяли и опять ставили на огонь, до того, что настало мгновение, когда муки стали больше невыносимы, и я рванулс с постели, подумавши: «Господи, да стоит ли все это таких страданий...».

— Что есть истина. — раздалось в это самое мгновение у меня под ухом.

Я осмотрелся и увидел за спиною дверь в соседнюю комнату. Она впотьмах светилась по всем щелям.

Так оригинально начинается маленькая философская книжка, анонимно изданная в Киеве. Судя, однако, по языку и мыслям, автор ее — маститый литератор, сотрудничавший еще у братьев Мих. и Фед. Достоевских, издававших

30 в 60-е годы минувшего века журнал «Время». «Сколько воды утекло» и прошло событий, а автор все жил, все думал, все наблюдал оригинальным и самобытным умом своим; читал и следил за судьбою теорий, за их рождением и умиранием. И под конец жизни решил составить книжку, которую можно бы озаглавить: «На краю вечности», «У преддверия гроба» и т. д.; или, как он озаглавил: «Наше место в вечности».

Его «вечность» надо бы писать с большой буквы: ибо у него это есть наименование Бога. «Вечность» его — это сумма безграничных и нескончаемых, неисчислимых условий нашего существования, с которою мы никак не можем порвать связи, сколько бы ни усиливались, и вместе это есть что-то Живое, Благое,

40 Священное. «Из Вечности мы приходим, в Вечности существуем, в Вечность ухо-

дим», — мог бы сказать он. Вы скажете: «Природа». «Вечность» анонима не совсем «Природа», — по крайней мере не «Природа», грубо и эмпирически взятая. «Бог» его — живой, живущий в явлениях, не то рождающий их из Себя, не то любующийся и теплый к этим явлениям, не то господин и повелитель их. Всего есть... «Природа» его вся проникнута Богом, вот этою «Вечностью», где связаны и бьются все вещи, все события; а «Бог» его уж скорее живет в нечистоплотной уличной сценке, в трагической истории семьи, в ином уродливом и странном характере, нежели в чистеньких и аккуратных философско-богословских трактатцах, сухоньких, по два тома в трактате, в цену четыре рубля на рынке. Мы не умеем передать. Вся книга — религиозна. И между тем она вся сплетена из подмеченного, из пересказов виденного, прочитанного, из маленькой иронии над людьми и большой любви к людям.

Автор как будто начинает с цинизма. На вопрос: «Что есть истина», — он отвечает, что для всякого человека «истина есть наиболее приятное для него убеждение». Вы удивлены. А между тем это ценное наблюдение, которое очень трудно оспорить, дает вам что-то большее и более ценное, чем маленькая схема иного профессора в пять строк, которую нехотя читаешь и охотно забываешь. Он вам бросает наблюдение, что философы, — как люди, — те же «бытовики», знакомые наших знакомых, и они меняют теории не по соответствию их чему-то одному и постоянному, а смотря по тем копошащимся у всякого маленьким бездарностям, маленьким завистям, искаженным вкусам, какими наделены не только чиновники департаментов, но и знаменитейшие «maestro scientiarum»*, восседающие на университетских кафедрах. «Для бесталанного — истина то, что рождаются все без талантов; что таланты создаются благоприятными условиями. Есть учение, что гений — болезнь: это истина для талантов, не доросших до гения. Для разбойника все люди разбойники; только не все одарены умением и смелостью». Кто тут не узнает «наших друзей», Бокля и Ламброзо, которые не особенно выделяются по психике и благородству от тех других наших «знакомых» и «полузнакомых», — избежав встречи с которыми, мы радуемся как благополучию.

Читатель видит метод автора. Метод не рассуждать и доказывать, а наблюдать и указывать. И вы перелистываете книжку, как гуляете по универсальному магазину, где есть «всячина»... Вот он останавливается на душе человека, на сути человека, и посмотрите, как это рассуждение оригинально, и, наконец, насколько оно лучше, чем вялые страницы Вундта:

«На дереве, несмотря на один строго определенный узор его листьев, нет двух листков, которые были бы точным повторением один другого. Может ли быть сомнение, что клеточки, из которых состоит наше тело, представляют подобное же разнообразие не только в форме, но и в силе, в качествах, в группировках. И каждая из этих клеточек, так сказать, поет в нас свою песню. От разнообразия этих песен получается и разнообразие их хоров; а под лад этих хоров слагаются в нас наши настроения, представления и идеи. Мы от отцов получаем в наследство только особенности внутреннего их строения, а сходство с ними мысленно-го нашего склада, нашего лица, нашего характера, является уже само собою, как

* «научные наставники» (лат.).

неизбежное последствие унаследованного нами строения. Это строение определяет не только рисунок нашего лица с отражающимися на нем душевными нашими свойствами, но всю нашу судьбу, ибо им определяется наша склонность сопротивляться одним и уступать другим внешним условиям».

Не правда ли, физиологическая теория. Но *так* ли она сказана и даже *то же ли это самое*, что прошумевшая на два полушария теория Карла Фохта, что «душа отделяется от мозга, как моча выделяется из почек». Прежде всего, почему «из мозга». Фохта побил один его русский последователь из врачей, который учил меня в юности: «Сколько тел я ни вскрыл, *нигде души не нашел*. Мозг вскрывал — *и там ее нет*». Он хохотал, а я, студентом, печалился. Но ведь и кирпичник мог бы сказать: «Сколько я молотом ни разбивал этих тевтонских колоколен, *нигде готики не нашел*». Врачи, физиологи и, наконец, вся «естественно-испытательная» школа искала «души», как частицы особой материи, как чего-то особенно вложенного в наше тело, вот как моча содержится в почках. «Мысль течет из мозга, как моча из почек и как пиво из бочки». Прежде всего, почему «мысль». Это слишком бедно, узко, черство, неверно. Человек «душевно» (извините за нужное слово) всегда, а «мыслит» только в некоторые времена. Затем, почему, в самом деле, «из мозга». Может быть, из мочи. Аноним книжки говорит, что не только «из мочи», но что душа отделяется, или, как он выражается, «поет» из каждой крупинки нашего тела, косточки, жилки, сухожилия, железы, из желудка, из печени (мнение древних греков), из сердца (мнение романтиков) и даже, уж это я утверждаю, из цвета волос и жесткости или мягкости ногтей. Ведь все замечают, что между цветом волос и характером, т. е. «душевностью», есть связь, как она есть и с тем, что у одного ногти — как ногти, у другого — как копыта, у третьего мягки, будто тонкая лакированная кожа. «Душа» то же, приблизительно, что готика в здании; готика или «греческий стиль», или, напр., китайские башенки. Но, конечно, *не то же, вовсе не то*, что стиль, совсем другое: но только она к телу относится вот так же «весомо, неизмеримо, неисчислимо, как, например, к кирпичу или граниту относится «стиль» здания. Явно, что не только смеявшийся надо мною врач, но и Карл Фохт и, наконец, вся «естественно-испытательная комиссия», разыскивавшая «душу» — ошиблась и просмотрела все, все пропустила «мимо ушей» и «сквозь пальцы»; хотя «душа» все время и смотрела этим ученым в глаза, смеялась над ними и даже, наконец, «чихала в нос», притом вовсе не метафорически, а совершенно натурально.

И о физиологии нужно говорить «душевно». Вот как только мы изменим *тон реги* о тех же «почках», «мозгах» и проч. да поглядим на них внимательнее, поглядим не прямым взглядом через микроскоп, а другим, косвенным взглядом, прищуриваясь, оглядываясь, «ловя», немножко играя и шутя, забавляясь и серьезничая, — взглядом, если позволительно сравнение, *метерлинковским*: так вдруг те же самые «почки» и «мозги», которые у Фохта выделяют только мочу и еще какую-то гадость, которую ему угодно называть «психологией», вдруг запюют по-новому, душевно, прекрасно, умно, философично. Запюют красивее поэзии и умнее философии. Ибо всякий человек, даже дрянной, *в натуре своей* ей-ей занимательнее и даже художественнее, чем томы философии и книжки стихов.

Да, душа — из физиологии, но только — «душевной» физиологии, не каменной и не математической.

Еще можно так сказать: душа есть *тон* нашего тела, она *есть* вкус его. Она больше состоит и выражена в отталкиваниях и притяжениях, нежели в «мыслях» (конец Фохта). «Мысли» можно менять; вечером — одни, утром — другие. Попробуйте-ка переменить вкусы. Гораздо труднее. Они дороже нам «мыслей»; они родные нам; они суть больше наше «я» и «суть» и «душа». Конечно, мы говорим не о «вкусе» жить, о «вкусе» отношений к людям, о «вкусе» судить, т. е. *направлять* мысль.

Раз физиология в нас *врожденно данное*, очень мало подлежащее отклонению туда и сюда: то и душа такова же. По этому поводу аноним книжки остроумно замечает, что иногда при переменившихся условиях жизни, или под давлением 10
нужды, скупой пожелает быть щедрым, или щедрый делается скупым; однако «в самой щедрости одного проявится полная мера его скупости, а у расточительного и в бережливости скажется манера, ум и вся повадка, иногда даже и все плоды прежней врожденной расточительности же».

Конечно, так. Как мудрый и в шутках мудр, а клоун и в трагическом положении не упустит всех рассмешить.

И, наконец, раз философия есть данное, и даже — наследственное, точнее — *творчески родившее*, то и душа человека в *сущности* своей есть нечто до того неодолимое и нерастворимое, что ее можно убить и нельзя переманить, переместить. 20
Человек, столь обусловленный в каждой косточке своего организма, весь, казалось бы, связанный пучек «нервов и жил» своих, от этого именно есть неустанный и непобедимый боец среди окружающих обстоятельств, гордый и смелый в своем «я», даже совершенно убогом или дрянном, счастливый этим «я». Каждый человек живет своей самоуверенностью. И нет двух «самоуверенностей», на которых бы сошлись люди.

II

Сославшись на желание Шопенгауера, чтобы неоконченные его сочинения и «бумаги» были напечатаны в том самом виде, как он оставляет их, без системы, порядка и какой-либо дополнительной работы издателей, «дабы когда-нибудь *родственный дух* связал отдельные звенья оставляемых мыслей и строк 30
и реставрировал из них целое», — автор книжки: «Наше место в вечности» останавливается на этом указании «родственных душ». Только «родственная душа» и может постигнуть каждого человека, не писателя только, но *всякого* человека: для всех прочих душа каждого остается непроницаемой или почти непроницаемой вещью. Для иллюстрации автор погружается в мир преступности. Юноша 17 лет, ремесленник, проходил мимо 4-летней девочки, игравшей в уголку сарая. У него в руках был топор. Он подошел и раскроил ей голову. Что она ему сделала? Ничего. Что он надеялся получить за это? Ничего, — или очень худое. Ненавидел он ее? Нисколько. Судьям он показался ненормальным, и они отправили его на испытание в психиатрическую больницу. «Но я думаю, — говорит аноним, — что 40
судьи сами представлялись ему ненормальными». Человек этот действовал вовсе не по сумасшествию, или, скорее — он действовал по такому сумасшествию, какое есть во всех нас. Он был так «рожден»; рожден не чувствующим ни «да», ни

«нет» при виде чужого страдания, крови и проч. Любопытно, что у убийцы-ремесленника нашли большое собрание математических книг; значит, он был любознателен; значит, он даже имел «призвание» к одной из наук, т. е. имел дар, талант, который в какой бы то ни было степени и к чему бы то ни было вовсе не непременно у каждого смертного. В некотором отношении он возвышался над толпою; но насколько ниже ее он стоял как «ощущающий субъект», в этой почти животной элементарности человека. Замечание, не бесполезное для судей и суда. Часто они погружаются в психиатрические исследования, воображая в болезни найти тот «икс», которого не отыскивали судебные следователи. Но «икс», и притом совершенно понятный, находится в бесконечной индивидуализации человека, по которой все мы — сумасшедшие, или никто из нас не сумасшедший, кроме, конечно, людей «форменно таких». Это применимо к уголовщине. Преступник, решавший математические задачи, конечно мог, в *силах* был сложить в голове эту мысль: «запрещено и я не должен делать». Психиатрам тут нечего было копать. Ну, он не чувствовал крови, не чувствовал ни «да», ни «нет», раскраивая череп ребенку. Нам-то это все равно, все равно и судьям: суд возможен и *должен* произойти над каждым, кто может составить или усвоить понятие: «запрещено и я не должен этого», т. е. над всеми не бессмысленными, не бессловесными. В сфере великого «не убий» закон и суд должны представить нечто вроде железного занавеса, отделяющего зрительный зал от возможного пожара на сцене. «Пожар» всегда возможен, пожар — раз уж «загорелось» — конечно, имел свою причину (неизвестный *икс* судей): занавес-закон должен опуститься между пожаром-преступлением, этой безграничной неуловимостью индивидуальностей, и между публикою — населением, с этою элементарной на нем надписью: «Ты знал, что *запрещено*, и ты не должен был...» Математик-убийца мог чувствовать или не чувствовать что угодно: он должен был *знать*, он обязан был *повиноваться*. Тут ни психиатрии, ни больниц не нужно: конечно, если в них не посадить всего человечества.

Патологическое наблюдение раздвигается в вывод, вовсе не патологический: «У каждого человека, — говорит аноним, — своя *истина*, определяемая свойством тех ощущений, из которых она возникла. Эти *ощущения* определяют ту его точку зрения на себя, на весь мир и на все окружающее, с которой его никогда никому не сдвинуть и на которую никому, *за него*, не встать; потому что не может найтись другой человек с *повторяющимся*, таким же точно, как у этого, внутренним складом. Мы думаем, что не делаем зла потому, что такова на то наша *добрая воля*, не сознавая, что мы *не можем иметь* никакой другой воли, потому что *не вмещаем в себе* нужных для этого *призваний, талантов и вдохновений*».

Талантов и вдохновений... Да, без них также не обходится преступление, как не обходится поэма. Уже Достоевский в «Мертвом доме» передал удивившее его наблюдение, что «каторга населена талантами». Нитцше построил на этом своего «великого человека», «сверхчеловека», который не есть добродетельный человек. Мне раз написали из Харькова, что когда вели по городу, в кандалах, убийцу одной южнорусской помещицы, — дело, нашумевшее на всю Россию, — то *родная сестра* убитой, увидев его, не удержалась воскликнуть вслух: «До чего он *красив*». Все-таки исключительная красавица что-нибудь значит и что-нибудь выражает. Что-то она выражает, — ну, силу, энергию, ловкость и вот этот

«талант» и «вдохновение». Аноним передает о преступнике Ласенере, представлявшем изумительную... *полосатость* человеческой природы. Он был литератор, но это ему не удалось. «Не было таланта», — говорит аноним. «Талант» его был в мире уголовных дел. За убийство он был приговорен к смерти. Перед приговором его спрашивают, раскаивается ли он. «Я раскаиваюсь, — был его ответ, — что взял с собою в это дело товарища. Будь я один, я бы не попался». И совершенно невольно он пояснил это примером: «Иду я ночью по мосту, навстречу мне пешеход, с толстою золотою цепочкою по бархатному жилету. Не успел он понять, что с ним делается, как у него было свернуто горло, и он летел через перила в реку, а цепочка и часы были в моем уже кармане. Восемь лет ищут, чье это дело. Хорошие дела делаются без товарищей». Сидя в тюрьме, он предавался таким гадким вещам, которых назвать нельзя. Это не было укоризной его совести: свидетели показывали, и он не смущался. Но сообщник по преступлению сказал, что Ласенер «предал его из личной выгоды». Он вспылил и в блестящей речи опроверг обвинение. Одна дама написала ему записочку, где назвала его «*sieur*» («сударь»): в пренебрежительном ответе он дал ей понять, что он не «*sieur*», а «*Monsieur*» («милостивый государь»). «Это задело его гордость, тогда как позорнейшее ремесло в тюрьме, бесконечное поругание его личности и *сообщение* об этом при публике не вызвало никакого конфуза. Проповедника, посланного к нему перед казнью, он до того удивил своими софизмами, доводами, красноречием, что тот вышел от него разбитый и растерянный».

А это был аббат Кер, светило своего времени. Как не сказать, что это был «талант», притом до того уверенный в качествах своего «я», что все попытки разубеждения, перевоспитания, «возрождения» и вообще какого бы то ни было *перенагения* его разбились бы, как яйцо о камень. И наш автор опять переводит это наблюдение в большую философию: «Для всякого человека только он сам есть полная, неопровержимая истина. Но все люди мыслят; не все мыслящие умеют выражать свои мысли; крайне немногие умеют слагать свои мысли в систему и находить для них красивое выражение; но которые *умеют*, те и объявляют себя *истиною*: по Шопенгауэру — истина *он*, Шопенгауэр; по Нитцше — истина *он*, Нитцше. Они оба чувствовали, что их учение — *они сами*; они не знали только, до какой степени они оба в нем целиком, со всеми своими недовольствами, озлобленьями, вкусами; и что весь *интерес их учения* не в близости его к вечной правде, а единственно в *смелой их искренности*, делающей учение каждого из них нерукотворенным, несмотря на отсутствие в них красоты».

Действительно, *последние философии*, как Шопенгауэра и Нитцше, как нашего Влад. Соловьёва — суть великие *исповедания*. Исповедания, и только.. Весь их интерес — биографический, «полного очерка»; и, конечно, вереница таких «очерков» составит книгу интереснейших «человеческих документов». Но автор не мог бы того же сказать, например, о философии Декарта или Ньютона. Тут же кое-что относящееся до «вечной правды». Но «человеческие документы» в своем роде стоят ее: почему это тоже не «вечная правда», что *был* такой-то человек, так думавший, любивший, то и так ненавидевший. Все что *было* — уже кусочек «вечной правды», нескончаемо интересный для нас; для нас, тоже «кусочков» этой правды, которые и погибнем и не погибнем, лживы и правдивы, порочны

и прекрасны просто тем скрытым в нас «аз есмь», которое так упорно жило свои 60—70 лет....

Все, что будет — все пройдет
Что пройдет — то станет *мило*.

В это-то «вечно милое» и всемирное и отлагаются от нас вечные частицы. И тут уравниваются волнуемые Шопенгауэр и Нитцше, без их отношения к математической точной Истине, около спокойных Ньютона и Декарта, столько для нее сделавших.

**СТАТЬИ
РАЗНЫХ ЛЕТ,
РАНЕЕ НЕ ПЕЧАТАВШИЕСЯ**

ИДЕАЛЫ

Введение

В последнее время наша жизнь представляла собою замечательное отсутствие идеалов, и последствия этого, грустные сами по себе и тяжелые для настоящих поколений, — сознаются ясно теми, которые привыкли глубже всматриваться в причины и в смысл окружающего. Что-то безотрадное представляет собою жизнь, что-то неподвижное, что-то умирающее чувствуется в ней, как будто какая-то непреодолимая сила сковывает ее в ее развитии; если еще и двигается она хоть сколько-нибудь вперед, то двигается только в силу инерции, в силу толчка, который был ей дан раньше; и никто не может сказать, как долго продолжится это движение; какое-то смущение овладевает всеми: «Куда стремиться? Зачем стремиться?» — вот вопросы, которые убивают желание в самом зародыше, — и что-то похожее на отчаяние прорывается то здесь, то там среди всеобщего могильного молчания.

«Куда стремиться?» — тысячи ответов слышатся на этот вопрос, но в них чувствуется что-то неуверенное, что-то робкое, — и (все они не могут заменить и одного голоса, твердого и спокойного, который указал бы нам цель жизни, и указал бы ее так, что у нас не осталось бы никакого сомнения) нет голоса, твердого и спокойного, который бы заставил смолкнуть остальные голоса. А между тем он должен раздаться, мы должны его услышать, мы не можем жить далее так, потому что наши страдания становятся выше наших сил. Пусть будет он ложен, если не может быть истинен, ибо знать что-нибудь лучше, чем не знать ничего. Пусть он ведет нас к несчастьям; лучше страдания в будущем, чем смерть в настоящем. И какая смерть? Медленная, тупая, подавляющая. И она надвигается, неотразимая, как сама природа, создавшая ее, и мы уже чувствуем ее холодное, могильное дыхание. Нет, мы должны услышать голос, мы должны его услышать.

Откуда же должен он выйти, откуда нам ждать его? Кто даст ответ на вопрос, который мы редко задавали себе прежде, но который теперь вдруг вырос перед нами с такою страшною силою, — и от которого, мы это знаем, зависит наша жизнь или смерть?

Посмотрим на прошлое, не даст ли оно нам ответа, не научит ли оно нас в эту трудную мин уту? Но оно жило бессознательно, повинуюсь слепым законам природы, которые толкают жизнь вперед, но не руководят ею. Люди шли вперед, не рассматривая путь, который был под их ногами, и не интересуясь вопросом, куда ведет он. А между тем мы хотим жить жизнью сознательною, и мы не можем жить другою жизнью; мы должны сами выбрать себе путь? А между тем их так много, и вот тут вопрос. Правда, и в прошлом были ответы, — они давались

людьми, которые стояли выше своего времени; но какие это были ответы? Они созданы были тем строем жизни, которая не нуждалась так настоятельно в них, и потому были скорее мечтою, чем мыслью, — так мало в них определенного, ясного, твердого. А нам нужна твердая опора.

Если же и были ответы, полные бесконечной глубины, — оне были созданы не нашей жизнью — то мы слишком изменились с тех пор, как оне были даны, стали слишком отличны от тех людей, которые слышали их, и оне уже не могут вполне удовлетворить нас.

Быть может, нам даст ответ настоящее? Да, оно дает ответы, и их даже так много, что оне теряют свою цену. Но между ними есть два, которые слышимы ¹⁰ более других, и оба они заслуживают того, чтобы на них остановиться, — один — по своему значению, другой — по своему достоинству. Один из них не произносится вслух, но он молча разумеется большинством и управляет жизнью масс. «Живи для себя, живи для настоящей минуты» — вот один ответ, — и, странное дело, он слышится с двух сторон, до такой степени противоположных между собою, что кроме этого ответа у них нет ничего общего. Его произносят одинаково и те, которые еще не доросли до современного уровня умственного развития, и те, которые переросли уровень всякой цивилизации; и те, которые составляют в исторической жизни народа мертвый материал для будущего развития, — и те, ²⁰ которые играют в ней роль безжизненных остатков от ее разложения; и те, которые в свою жизнь ни о чем не думали, и те, которые обо всем думали слишком много; и те, которые не видят другой, более отдаленной цели, п. ч. окружены мраком незнания, и те, которые видят так далеко, как может видеть человек, но не замечают ничего, кроме пустоты, — ибо стоят на краю человеческого развития. Из них одним остается ждать, пока поток жизни захватит их и унесет вперед на арену сознательной, исторической жизни, — а другим остается умереть.

Другой ответ, даваемый настоящим, есть, быть может, лучшее, что создано в наш век, и многие убеждены — мы думаем, ошибочно, — что более полного и более удовлетворительного ответа нельзя найти. «Цель человеческой жизни — ³⁰ есть счастье самого человека, но счастье, состоящее не в животном довольстве, а в том, чтобы всесторонне пользоваться тем, что дает природа и жизнь, и счастье не для себя только, а для большинства» *. Такой ответ, даваемый людьми, наиболее глубокими и часто наиболее благородными в наше время. На те возражения, — оне часто не заслуживают даже этого названия, — которые делаются им, они отвечают одним, — желанием, чтобы их поняли.

Мы будем иметь случай часто возвращаться к этому учению, но пока скажем только, что, считая его справедливым, мы считаем его недостаточным; он есть часть истины, но не есть полная, законченная истина. (И будучи по своему внутреннему значению правильным, ставится в ложное положение и приносит ⁴⁰ вред, — будучи принимаем за целую истину.) И будучи принимаем за нее, становится в ложное положение и не приносит той пользы, какую он мог бы приносить, и даже причиняет вред, которого по самой природе своей он не должен был бы приносить.

* Известная формула утилизаторов: «наибольшее количество счастья для наибольшего числа людей».

I

Все ответы, какие давались и даются на вопрос: «какой смысл, какая цель, какое назначение нашей жизни» — имеют два недостатка существенно важные: во 1-ых, оне созданы умом человека, а не открыты им, — и, как все, что носит на себе характер выдуманного, изображенного, имеет в себе нечто произвольное; и этим объясняется, почему так много ответов дается на этот вопрос и почему спорящие не могут согласиться: трудно доказать превосходство одного изобретения над другим, п. ч. каждое из них имеет свои достоинства и свои недостатки, и кто может ручаться, что завтра не будет найдено новое, которое превзойдет все остальные, — и тем самым уничтожит их значение, не приобретя для себя значения прочного, окончательного. Не таково открытие: предмет его составляет иногда такое, что существует вне человека, не зависимо от его воли, — и что, след., не может быть уничтожено им, но остается вечно. Так и ответ на вопрос, что служит целью и назначением человека; должен быть вечен, чтобы он указывал ему прямой и ясный путь для его бесконечного развития; и такой ответ может быть мною открыт. 10

Второй недостаток есть следствие недостатка первого: он состоит в том, что всякое решение предложенной задачи не может выдержать окончательного анализа, и вопрос «почему?», последовательно предлагаемый, остается наконец без ответа на вопрос о том, почему именно счастье должно составлять цель человеческой жизни, а не что-либо другое, почему именно оно желательно, нельзя ответить ничего, кроме того, что оно счастье и что люди склонны стремиться к нему, — ответа, который разом уничтожает значение жизни, ибо другие теории с равным правом могут сказать тоже. Мыслители полагают обыкновенно, что анализ не может быть продолжен далее, и соглашаются, что вопрос почему в конце концов должен остаться неразрешимым; но мы думаем, что это приложимо только к теориям изобретенным, что же касается до теории открытой, анализ может быть проведен глубже, и окончательное «почему» не останется без ответа; так что место неуверенности и сомнения должно заменить спокойное знание, и споры — согласие. 20 30

II

Польза идеалов часто отрицается; — это происходит от того, что не понимается их значение. Стоит понять последнее, как станет ясна их необходимость для жизни.

Идеалы не есть нечто, противоположное фактам, — они обнимают их — придают им смысл, определяют их значение; не зная первых, мы не знали бы, как относиться к последним, не знали бы, как относиться к жизни. Идеалы не есть также праздная выдумка людей, чуждых обыкновенным, простым нуждам человека; оне есть нечто до того близкое и сродное последним, как этого, может быть, не подозревают ни их защитники, ни их противники; оне придают им ясность и законченность, ничего не отнимающая у них. Наконец, они не есть нечто, излишнее в жизни, и часто мешающее ей, — но, напротив, по самой природе своей всегда присущее ей, не уничтожаемы, как силы природы, и необходимы, как они, 40

подобно тому, как последние управляют природою, они управляют человеком. Затем, они не есть нечто неопределенное, неуловимое, не подлежащее изучению, но, напротив, могут быть сделаны предметом такого же строгого исследования, как геометрические теоремы. Наконец, они не только не чужды и не противоположны действительности, как это думают многие, — но, напротив, составляют часть этой действительности.

Идеалы — это цели. И разве могут цели быть чужды нашей жизни, разве они могут быть выдумками, разве они не должны быть предметом самого тщательного изучения? Но обыденные, обыкновенные цели, не будучи по природе своей отличны от идеалов, имеют несколько другой характер. Они могут быть ложными, дурными и потому могут изменяться; наконец, они могут, вследствие всего этого, противоречить друг другу, — факт печальный, но являющийся необходимым следствием того ошибочного отношения к идеалам, какое до сих пор имело место в человеческой жизни.

Идеалы — это вечные и истинные цели человечества; указанные ему самой природой. Цели, которых, быть может, ему не суждено никогда достигнуть, но к которым он должен постоянно стремиться, и забыть о которых совершенно он в силах. В борьбе с препятствиями, которые ему могут встретиться на пути к ним, в умении преодолевать их — заключается весь смысл его жизни. В этом стремлении заключается назначение человечества, — и познание их может облегчить ему возможность выполнить это назначение. — Без них жизнь теряет свой смысл, теряет свое значение, теряет все, что есть в ней светлого и отрадного для человека; подобно светочу, они указывают и освещают ему путь, и без них вместо постоянного и высокаторжественного шествия вперед, человечество вынуждено было бы блуждать среди мрака. Указать их — это зажечь перед человечеством чудный факел, — рассеять опутывающий его мрак, указать ему путь к вечному, бесконечному развитию, определить навсегда его назначение; это значит превратить его бессознательное прозябание — в сознание, полное жизни и силы.

III

Мы сказали, что идеалы должны быть не произвольно поставлены человеком, а должны быть открыты им; и потом прибавили, что они суть цели, поставленные природою.

И в самом деле, чтобы открыть идеалы, мы должны обратиться к природе. Не человек даст ответ на вопрос, быть может не им и поставленный, а природа, — к ней должна обратиться пытливая мысль человека, и от нее ждать ответа. Но какая же природа? Конечно, не внешний мир: он безучастен к человеческой деятельности то, что само бессознательно (действует бессознательно).

Исследовать наши желания и, открыв сходство и различие в них, сгруппировать, свести их в немногие склонности, подняться от этих склонностей к их источнику — нашей духовной природе и раскрыть эту природу — вот путь, который может и должен привести нас к цели.

При всем разнообразии наших желаний, если исключить из них те, кот. моментально вспыхивают в нас и моментально исчезают, в них существует много

общего по отношению к тому, что составляет предмет их, цель их; бесконечно различаясь между собою в способах выражения, в напряженности, в постоянстве, — оне имеют некоторые строго определенные направления; эти общие направления наших желаний составляют то, что мы называем склонностями. И этих склонностей 3: все наши желания сводятся или к желанию знать что-либо, или к желанию привести внешнюю окружающую жизнь в соответствие с нашим внутренним расположением, или в желании освободиться, освободить его от какой-либо внешней зависимости. Эти три склонности, образуемые нашими желаниями, есть склонность к Истине, к Добру и к Свободе. И если мы захотим исследовать источник их, то мы увидим, что он лежит в самом устройстве нашей 10
духовной природы: ум, чувство и воля — вот три основные элемента нашего духа, элементы не простые, разлагающиеся на другие, но, что особенно важно и что особенно следует заметить, элементы, глубоко различающиеся между собою по своей природе и по своему назначению, элементы, не имеющие между собою ничего общего кроме того, что они составляют части одного целого. Свойство и назначение одного из них — стремиться к Истине, другого — к Добру, третьего — к Свободе. И т. к. и природа наша не зависит от нас, и не может быть изменена нами по желанию, — я исключаю возможность усовершенствовать или ухудшить ее, — то, след., и наши склонности, как зависящие от него, не могут 20
быть никогда изменены, хотя и могут проявляться в своей конкретной форме, в форме желаний — неправильно. Итак, Истина, Добро и Свобода — вот 3 идеала, три истинные и вечные цели, к которым человечество должно направляться его развитие. Ни к чему другому оно не может стремиться, ничто другое не должно составлять его цели.

Полезно исследовать отношение этих идеалов к другим идеалам, которые ставились и ставятся человеком, и доказать, что, с одной стороны, идеалов не может быть больше этих 3-х, а с другой — что их и не может быть меньше. Другие идеалы, к котор. стремился и стремится человек, или составляют часть одного из указанных, и в таком случае оне должны быть пополнены или чужды и даже 30
противоположны им, и в таком случае они должны быть отвергнуты.

И в самом деле, всматриваясь и в прошедшую жизнь народов, и в настоящую, можно заметить, что она всегда преследовала цели, может быть и достойные, но узкие, и уже вследствие этого одного, достигнув их, никогда не находила удовлетворения, на которое она и надеялась, и, судя по сущностным усилиям, имела право надеяться. И ничто не доказывает с большею очевидностью, чем это, что цели, указанные мною, не суть цели произвольные, выдуманые, к которым человек может и стремиться и не стремиться; но что они указаны человеку природою, что в стремлении к ним заключается его назначение, не выполнив которое он никогда не почувствует внутреннего удовлетворения, внутреннего спокойствия. Он может на время заглушить в себе голос природы (и сколько усилий он 40
делает для этого!), но он всегда пробуждается с новою силою, и влечет его за собою против его воли.

Мы не будем рассматривать целей, противоположных или чуждых этим: всякому известно, насколько мы делаем в жизни как частной, так и общественной такого, что противно Истине, Добру и Свободе; стоит припомнить те преграды, которые то тайно, то явно, опираясь на грубую силу, ставили и еще продолжают ставить разуму в его стремлении к Истине (ибо ни к чему другому он и не может

стремиться по самой природе своей, и его заблуждения есть только необходимые уклонения с их правильного пути, происходящие вследствие незнания, заблуждения, говорю я, необходимые, ибо без них не было бы и стремления к истине и познания ее), стоит припомнить, как часто люди, обладавшие и обладающие силой, приносят в жертву незначительнейшим наслаждениям своим счастье целых масс, стоит, наконец, припомнить, с какою удивительною самоуверенностью и отдельные государи, и правительства, и народы изобретали разные софизмы, с целью заставить поверить, что они имеют право и даже обязанность стеснять человеческую свободу. Вот эти-то цели, которые всегда люди ставили и ставят себе и которые они называют целями реальными, и есть цели выдуманые, фантастические: ибо я ни с чем другим не могу сравнить их, как с желанием заставить людей ходить на головах, или летать по воздуху, или думать животом, а в голове переваривать пищу; ибо это извращение природы совершенно подобно тому, которое они пытались и пытаются сделать; и давно время оставить эти уродливые стремления, освободить человека от его выдумок и глупости на чистый путь естественного стремления к Истине, Добру и Свободе.

10 Другие цели человечества, будучи справедливы сами по себе, не могут быть исключительными целями его, и к поставленным нами целям относятся или как средство к устранению их, или как часть их. — Таковы все системы нравственности, утверждающие, что человек должен стремиться к добродетели, или к мудрости, или к счастью.

Третий элемент духовной природы человека, подлежащий усовершенствованию с помощью образования, есть воля. Воспитание должно стремиться укрепить ее. Что же такое самая воля? Воля — это та психическая сила, с помощью которой мы преодолеваем те препятствия, какие нам могут встретиться в жизни, с помощью которой мы стремимся к той цели, которую выбирает наш ум. Чем смелее воля, тем свободнее мы двигаемся на жизненном пути, тем с большим успехом мы достигаем целей, которые могут способствовать счастью нашему или общественному.

30 Прежде чем перейти к исследованию 2-й части нашей формулы, мы посмотрим, в каком отношении к человеческой деятельности стоят 3 элемента нашей духовной природы, ум, чувство и воля. Ум не направляет человеческой деятельности никуда и не служит для нее двигателем. Он только освящает пространство, лежащее перед ним, показывает, куда ведет какая тропинка, что нужно делать, чтобы достигнуть той или другой цели; он ничего не предпочитает, ничего не желает, ни к чему не стремится; поэтому, человек, обладающий умом, может быть одинаково склонен как к добру, так и к злу; но, только творя то или другое, он будет творить его сознательно, а следов., с большим успехом, чем если бы он был лишен его; поэтому ум сам по себе не имеет значения ни доброго, ни злого, но, при существовании того или другого из этих начал, он усиливает его. Чувство образует склонности, т. е. оно руководит человеком в его деятельности, заставляет предпочитать одно другому, выбирать тот или другой путь в жизни. Оно поэтому направляет всю его деятельность; в нем лежат начала добра и зла; и эти начала, не будучи соединены с умом, не отличаются значительною силою; ибо только ум освещает ту тропинку, которую выбирает чувство, и только при его пособии оно может служить вождем человека, а не слепым вожаком его.

Наконец, воля ни освещает пути, ни влияет на его выбор; но она есть слепая сила, которая дает человеку возможность идти дорогою, которую он избрал для себя; без нее он может знать, как ему идти, и может желать идти именно в известное место, но он не будет в состоянии двинуться ни шагу.

Из сказанного ясно, что каждая из отдельных способностей, будучи развита, не приносит почти никакой пользы человеку, и потому только равномерное развитие всех их должно составлять цель образования.

Разберем вторую часть высказанной нами формулы: «приготовление к жизни людей, способных понимать ее и правильно относиться к ней».

[Мы презираем высокомерно народ за его предрассудки; нам кажется диким невежеством его привязанность к тому, что мы, глумясь, называем «религиозными предрассудками». О, сколько в нашем глумлении — злой, глубокой иронии над самими собой; нам кажется странным, как может народ преклоняться перед тем, что чтит его деды и прадеды, его отцы и матери, а сами мы не признаем «не разумным» преклоняться перед тем, что сочиняют французские публицисты, хотя бы это последнее было до очевидности глупо; мы считаем противным разуму религию, которая дает человеку утешение, — а считаем ли мы разумным узкие...]

У нас нет убеждений, п. ч. мы живем не знаниями, а верованиями; у нас нет убеждений, п. ч. в нас нет потребности в истине, нет и искания истины, нет пытливости. Посмотрим на то, как шло и как идет наше умственное развитие; посмотрим на тот *способ*, как слагались господствующие в нашем обществе мнения. О, нет картины, более печальной, чем эта; глупое отчаяние, отчаяние за общество, его человеческое достоинство и его способность к развитию, овладевает, когда смотрит на нее. В Европе есть убеждения; посмотрите, с каким трудом, с какою медленностью слагались они; возьмем самый общий процесс выработки воззрения на устройство природы; посмотрите, как последовательно поэтические и религиозные воззрения замещались, частица за частицею, воззрениями, основанными на знании; посмотрите, как медленно слагалась наука; посмотрите, сколько мыслителей выдвинулось — от Рожера Бэкона и Бруно до Фарадея и Секки, от Бэкона Веруламского и до Джона Стюарта Милля; и вот прошли длинные столетия, и свет, едва брезжащий в XIV и XV ст., засиял полным и чудным светом, и осветил собою полмира; но осталась другая часть мира — и самые могучие умы нашего времени преклоняются перед тайною, которая лежит там, за пределами нашего знания: и наука и религия живут бок о бок, уважая и оберегая взаимное достоинство: и Фарадей ходит в свою молельню, и Дж. Ст. Милль умирает с верою в Бога, и Секки остается с Богом, а для нас, к которым, как к убогим нищим, случайно запал отраженный луч этого света, созданного теми великими умами, для нас нет пределов знания; нищие и смерды, мы ползаем у ног этих великих людей и едва можем понять, что говорят они между собой, а уж думаем, что нет тайны для нашего разума, уж надругаемся над этими умами, все давшими нам, как только они затрудняются смешаться с тою грязью, в которой ползаем мы. О общество, общество! О печать, которая руководит им! Поймешь ли ты когда-нибудь, что это значит? Поймешь ли ты, где ты и что ты? Фарадэй делает открытия в физике и молится Богу, а гимназист, с трудом выучивающий по физике Малинина и Буренина об этих открытиях, смеется над этим Богом во имя этой

физики; не говорите, что этого нет, потому что это было со мною и моими товарищами, пот. ч. это было и есть со всеми, кого я знаю. Д. С. Милль, давший логике тот вид, какой она имеет теперь, признал неразумным отрицать Бога; а студент, с трудом читающий эту логику, признает «предрассудком» это общество. Смейся над этим, интеллигенция русская, смейся, если уж в тебе все погибло, плачь, если в тебе сохранилась еще хоть искра человеческого разума и чувства.

Я сказал, что мы живем не знаниями, а верованиями: и в самом деле: разве оспариваются, шаг за шагом, наши старые верования? Разве новые достаются нам путем борьбы, путем горького сознания прежних ошибок? О, нет, мы верим и нынче, как верили прежде; мы только изменили предмету веры. Возьмем наш религиозный скептицизм: разве он есть результат исследования космических вопросов? Нет: неверие у нас стало предметом веры, как прежде вера была предметом веры. Разве философские системы, которые сменялись у нас, сменялись потому, что мы находили их ложными и заменяли новыми; разве мы опровергали старые системы и доказывали справедливость новых? Нет, мы смотрели только, что делается на Западе, втапывали в грязь, надругались над тем, что падало там, насмешкой, а не убеждением заставляли принимать новые. Кто у нас не смеется над Гегелем? — все; кто у нас изучал Гегеля? — никто; кто у нас не позитивист? — все; кто изучал Канта и др.? — никто; и вот что — мы называем нашими убеждениями. Что может быть глубже и интереснее вопросов нравственности? Что может быть плодотворнее для общества, для его умственного развития, как интерес к этим вопросам, над которыми задумывались и задумываются великие мыслители, от Платона и до Тэна, и который до сих пор, по прекрасному выражению Милля, делит философов на те же школы, на какие делил их во времена Сократа? Но вот в прошлом году вышло исследование Мальцева; и все или обрутали, или прошли величавым молчанием те вопросы, которые поднимало оно, ибо его решения не сходились с общераспространенным у нас верованием в справедливость утилитарной теории. Принцип нашей интеллигенции и нашей печати состоит в следующем: верь в то, во что я хочу, чтобы ты веровал; и делай то, что я хочу, чтобы ты делал, или я буду причинять тебе все неприятное, что я могу тебе причинить, — вот девиз нашей интеллигенции и нашей печати; девиз не новый, девиз католицизма, девиз новой нравственной и умственной опеки, против которой они так ратуют и которую они так последовательно проводят в нашей жизни, в своей наивности не замечая этого. Эта опека интеллигенции и печати над обществом, это стремление не пропустить в него никаких мнений, противоречащих его мнениям, это стремление наказать его насмешкой, огульным ругательством, это изъятие из его обсуждения вопросов нерешенных, это стремление заменить живой процесс, сомнения, мысли слепой верой в навязанные решения, — что может быть преступнее этого отношения к обществу, что может быть возмутительнее, когда это делается теми, которые вечно кричат против авторитета, которые вечно толкуют о свободе; и это делают наши обскуранты радикализма? И неужели общество не чувствует их гнета? И неужели оно не сбросит с себя это ярмо тупоумия, невежества и лицемерия?

[(х) Что такое убеждение? Убеждение есть то, что добыто путем сомнения, мучительного, тяжелого, путем долгих, одиноких дум; истинное убеждение — смочено слезами, впоено кровью; в нем все — полно мысли; в нем все — ясно

и отчетливо; оно сливается с самым существом нашим; оно нераздельно с нашим нравственным и умственным Я, ибо составляет часть его. Убеждение есть то, за что не жаль отдать жизнь, — со всей мишурой ее; без чего эта самая жизнь обращается в сплошное прозябание, которое для истинного человека хуже смерти. Убеждения — это гордость человека, это сила его и достоинство. И нет силы, которая бы победила силу убеждения. Одинокий, с ними он может бороться против всех, и победит их всех, если у них нет их. Такие убеждения действительно влияют на жизнь; раз у общества сложились эти убеждения, в нем немислимо, в нем абсолютно невозможно существование того, что противоречит им; они, и только они; могут изменить жизнь, могут улучшить ее; такие убеждения действительно могут обновить жизнь, обновить ее одним могучим, гигантским движением. ¹⁰

Но что же такое наши убеждения? Куча мусору, — и только; в нее мы стаскиваем все, что попадет нам на глаза, что даст нам досужий знакомый или досужее чтение; точно знаменитая куча Плюшкина, куда удивительный хозяин сносил и забытое бабой ведро, и лимонную корку, и старую подошву. Попалась философия Конта — вали ее; встретила эмансипация женщин, — туда же, хоть с Контом ей лежать и неудобно; встретила борьба с клерикалами — и ее подтибрили, хоть и некуда деть; заметили Бокля — и Бокля подать сюда. И побросали в одну кучу: и Дарвина, и Конта, и Лассалья, и Прудона, и социалистов, и оппортунистов, и конституционалистов, и коммун, и парламентов, и ассоциаций, и еще каких, каких диковинок. Вот она — наша Плюшкинская куча; а вот и сам Плюшкин — наша хилая интеллигенция, которая ходит около своего сокровища, да шамкает губами, да трясется от страха, чтобы что не пропало, и бросается на всякого, кто только близко подходит к ней. И не найдется никого, кто развеял бы по ветру эту заплесневелую, вонючую кучу, и очистил бы воздух. ²⁰

Что это действительно так, доказать не трудно. Ведь наше общество, почти во всем составе его, страдает об народе, об его нуждах; это же самое общество признает неразумность той жизни, которою живет оно; если бы все это действительно было убеждением, то, раз оно сознало справедливость этого, потерял уже всякий смысл прежний образ жизни; ибо раз я сознал, что я паразит народа, то я должен трудиться для него как простой работник, — какой смысл имеет все, чем я жил до сих пор? К чему этот сюртук и эта шляпа? К чему квартира, в которой 10 комнат, из которых 9 лишних, ибо в каждую минуту моего существования я могу занимать никоим образом не больше одной? К чему голландские рубашки, к чему клубы, театр, концерт? Прочь все! Пусть простая ситцевая рубашка заменит все фокусы современного туалета; она не унижит меня; я буду гордиться ею; я и в ней сумею быть образованным европейцем, как другие и во фраках остаются дикими азиатцами. Итак, истинно так должно было бы поступить русское общество, если бы оно действительно было убеждено в том, что говорит. Если бы оно любило народ, оно отреклось от себя во имя его. Но этого нет; никто не отдаст своей шляпы, чтобы купить соску для крестьянского ребенка; и у дверей либеральной редакции, в которой изливаются слезы об народе, *один* из этого народа может спокойно умереть с голоду.] ⁴⁰

II. Цель образования.

III. Система псевдоклассическая. — Цели, средства.

- IV. Система реальная.
- V. Общие недостатки всех систем: спрашивание уроков. Значение семьи и школы.
- VI. Вопрос не в системе, а в условиях, способных выработать систему. Эти условия: развитие семьи, связь с городами, конгрессы учительские, свобода и разнообразие систем (города), опыты, не бюрократия.
- VII. Элементы чистого образования: не школьный вопрос, а вопрос всей жизни.
- VIII. Законы развития способностей.

10

Наконец, третья важная способность, на которую, как кажется, установлен совершенно ложный взгляд, есть способность воображения. Это есть одна из самых важнейших способностей, и развитие ее необходимо должно принести громадные результаты по своей всеобщности. По своему значению, природе и связи она тесно примыкает к впечатлительности, и обуславливая ее и обуславливаясь ею. Поэтому про нее можно сказать то же, что было сказано про впечатлительность, — а именно, что при ее помощи и под ее влиянием было совершено все великое в науке и в жизни. Важна она в двух отношениях: как побуждение и как средство к достижению целей, которые ни при каких условиях не могли бы быть достигнуты, и, отчасти даже поставлены, без ее посредства.

20

Когда мы говорим, что она есть побуждение, то разумеем по преимуществу, почти исключительно, жизнь, т. е. совокупность общественных и политических отношений. Эта жизнь, конечно, складывается из бесчисленного множества отдельных стремлений, руководимых личными интересами людей и имеющих временные, ближайшие цели; эти маленькие цели и маленькие стремления составляют основание, фундамент жизни, это те стремления, которые именно разумеются, когда говорят, что жизнь подчинена известным экономическим и др. законам, которые изучаются в своей совокупности и из которых каждое в отдельности не имеет никакого значения, про которое нечего рассказать и которое не остается после себя никакого следа. Это та жизнь, которую можно назвать, принимая во внимание общий лад исторического развития народа, жизнью бессознательной. Каждое в отдельности стремление не имеет цели значительной, не задается вопросом о своем конечном назначении, не отдает себе отчета о своем отношении к прошедшему и будущему; но тем не менее эта бессознательная жизнь идет, в своей совокупности, к целям, имеющим великое историческое значение, но которых никто из живущих ею не сознает; напр., разложение общинного землевладения имеет своим конечным результатом великие исторические явления, но во время самого процесса его каждая отдельная община, прекращающая свое существование, и каждая определенная община, и каждый отдельный представитель, берущий часть ее в свое личное владение, конечно, руководится только своими личными и временными целями, и поэтому, в смысле общего процесса разложения, является элементом, действующим бессознательно.

30

40

И в самом деле, все, или почти все, что совершается в жизни, оставляя после себя воспоминание, все, что выделяется из общего бессознательного хода ее, чтобы возвыситься над ним и направить его к определенной цели, все это совершается под ближайшим влиянием воображения. То, что неясно сознается нашим

умом и едва возбуждает наше желание, она превращает в образ, и, позволяя видеть как бы существующим, превращает бессильное желание в стремление, непобедимое ни препятствиями, ни трудностями, в благородную страсть, которая охватывает жизнь и направляет ее к высоким целям. Она дает силы идти неустанно к этим целям, как бы ни был длинен путь.

Не менее важна роль воображения как важнейшего помощника мысли, без которого последняя вечно влачила бы по земле, никогда не поднимаясь над нею в высшие сферы философских обобщений глубокого исследования природы, без которого человек никогда не ушел бы дальше грубого знания внешней стороны явлений как духовного, так и физического мира. Оно помогает обобщению и отвлечению, оно дает возможность строить гипотезы, которые в области научных открытий играют неблагодарную, но важную роль пионеров, п. ч. они необходимо предшествуют открытию, хотя и становится ненужным и забывается тотчас после того, как оно уже сделано. Оно побуждает нас стремиться все далее и далее по пути научных открытий, указывая нашему как последнюю цель его усилий — понятие внутреннего механизма происходящих перед нашими глазами явлений.

Словом, в деле как науки, так и жизни оно указывает нам последние великие цели, к которым должен стремиться человек, — идеалы добра и счастья, и идеалы — истины и знания.

Я остановлюсь на разборе этих способностей: восприимчивости, впечатлительности, воображения и суждения — и не буду говорить о других, — как памяти, т. к., во-1-х, на развитие их уже достаточно обращено внимание, а во-2-х, п. ч. они играют чисто служебную роль в нашем умственном развитии.

В чем должно состоять воспитание чувства?

Воспитание чувства должно состоять в направлении, во-1-х, склонностей, а во-2-х, в развитии впечатлительности чувства.

Образование склонностей есть то, что называют обыкновенно нравственным образованием.

ИЗ МИРА ИДЕЙ И ФАКТОВ

<К. Н. Леонтьев>

Мне почему-то вспомнилось имя так безвременно, так грустно умершего К. Н. Леонтьева, когда я вздумал начать этот ряд литературных набросков. Я никогда не видел покойного, но его нравственный образ стал для меня так дорог в последние годы, как не был дорог никакой другой образ в нашей или иностранной литературе. Все было в нем своеобразно, все носило печать живой личности, вовсе не закрытой дымкой общих взглядов или общих интересов. Он был в высшей степени конкретен, в высшей степени индивидуален, и вот почему его можно было полюбить просто как человека, а это гораздо больше, чем полюбить только писателя.

Покойный, как кажется, и сам гораздо более дорожил в себе этим человеком, нежели писателем; равно как и жизнь он любил неизмеримо больше, чем литера-

туру. Последняя занимала его лишь с точки зрения воздействия на жизнь: охранение этой последней от всякого возможного зла — вот что составляло постоянный трепетный интерес его ума и сердца. Пусть будет хорош сам человек, пусть будет хороша его жизнь — а все остальное, что нарастает поверх как пышный цвет поэзии или философии, это было для него второстепенным и не очень значащим.

Потому и выслушивался он не как ремесленник пера, а как близкий друг. И вот до конца дней своих, бывший для немногих избранных читателей близким другом, он сам не нашел для себя ни в ком такого же друга... И он сошел в могилу нецененный и мало кем понятый. Знавшие его люди писали о чувстве грусти, с которым он доживал свои дни, о его сетованиях на свое одиночество...

К чему, однако, эти сетования и о чем эта грусть? Разве не бывают времена, когда быть понятым и оцененным множеством есть истинное унижение для человека? И не гораздо ли лучше, чем вызывать к себе внимание тысяч далеких, чуждых и незнакомых людей, знать, что есть интимный круг избранных умов, которые думают с тобой одну думу и согреты тем же, как и ты, желанием? В век слишком большой демократизации всего, когда все двери домов распахнуты и нет границы, которая отделяла бы улицу от домашнего очага, не лучше ли иногда притворить за собой дверь и восстановить свой очаг, чтобы снова различить вокруг себя близких друзей, чтобы опять почувствовать себя свободным и непринужденным?

Кому говорит в настоящее время писатель, чем соединен он со своим слушателем? Интимной связи между ними нет с тех пор, как литература стала, наряду с прочим, в значительной степени коммерческим и промышленным предприятием. Скоропечатный станок и бродящие около него как тени люди, а там, вдали, тысячи суетящихся фигур, которые между делом, в минуту отдыха, берут листок и, нервно пробегаая его, сейчас <же> забывают прочитанное, — вот настоящее, чисто механическое отношение между человеком-писателем и человеком-читателем, которое установилось и крепнет с давних пор. Для писателя не нужен, не интересен, не дорог более человек, от которого он уединился в своем всепоглощающем ремесле; ему нужен только потребитель. И этот потребитель, взаимно, не видит и не признает в писателе человека: он видит в нем только средство чем-нибудь заместить несколько пустых минут своего сознательного существования.

И здесь, как повсюду в наш век, демократизация выразилась в разъединении внутреннем, которое шло параллельно с соединением внешним, механическим. По-видимому, люди пришли в постоянное, ежеминутное общение между собою, и при том по всем линиям умственных и нравственных интересов; в действительности же разобшились умом и сердцем как никогда прежде.

Во всяком случае, раз это разобширение произошло, литературная деятельность утратила всю привлекательность, которую она имела некогда. Влияние на далекие толпы, которые своею численностью наклоняют в ту или иную сторону события, — вот все, что может удерживать писателя на своем посту: и это крайне недостаточно, чтобы вознаграждать его за то, что он отдал этим толпам. Грубый факт, определяемый грубым количеством желаний, — разве это нужно человеку, по преимуществу избравшему сферу общих созерцаний, так далекую от единичных явлений мимолетной действительности?

В образовании этой сферы общих и отвлеченных интересов и лежит тайна возникновения — развития всякой литературы. Наступает, ранее или позже, в жизни каждого народа момент, когда влечение к общему у множества лиц перевешивает влечение к своему, к собственному. И это свое личное оставляется ради общего. Сила желания видеть гармонию в далеких людях, в будущих событиях жизни заглушает потребность этой гармонии в собственном существовании, — которая, однако, вовсе не исчезает. И вот, вопреки всему, что лично дорого, делается то, что ранее или позже могло бы стать дорогим для множества других людей. Здесь происходит явление, подобное тому, как если бы кто-нибудь, идя на молитву с горячим желанием и уже шепчущими устами, остановился при виде народной толпы и стал убеждать ее идти и молиться, — и в этом убеждении потерял бы драгоценные минуты, когда лично он мог быть так счастлив, так хорошо мог исполнить важный и серьезный долг. Конечно, если толпы, в конце концов, направятся в храм, он может утешиться в том, что так рассеянно провел время, когда хотел быть наедине со своей совестью; но что почувствует он, если на все увещания свои он услышит от народа призыв принять участие в торге, которым все заняты?

Огромное количество людей без ума и сердца, которые трудятся теперь на всех поприщах литературы, конечно, не могут ощущать этой особенной боли. Та шумная известность, которая связана с их деятельностью, совершенно удовлетворяет их за потерю, которой они, собственно, и не чувствуют. И в самом деле, чем они наполнили бы личное существование, не будь у них этого шумного ремесла? Но для всякого, хоть сколько-нибудь одаренного человека ясно, как, наполняя жизнь других лучшими интересами, он одновременно опустошает собственную жизнь от всякого интереса, которым мог бы согреть и осветить ее. И если он видит, как и жизнь других людей лишь мимолетно, лишь поверхностно отражает в себе его идеи и стремления, он видит труд свой напрасным и выбор сделанный — ошибочным. Только интимность связи между писателем и читателем может до некоторой степени вознаградить эту утрату личной жизни. Но установление этой связи более чем в какое-нибудь время — трудно в наше время. Для этого именно требуется, чтобы писатель не чувствовал перед собою толпы, чтобы он жил свободно и непринужденно, так, как будто бы жил один, наедине со своими мыслями и желаниями. И только тогда, когда он сумеет сохранить целомудренно эту чистоту внутреннего своего мира, ему откроется доступ и к внутреннему миру других. Не может, не имеет он права требовать, чтобы к истертым его мыслям и плоским желаниям читатель обращался лучшими сторонами своей природы; и если именно этих сторон души его он хочет коснуться, он должен в себе самом сберечь их неприкосновенными, незагрязненными.

Не в сознании ли этого лежит объяснение, что так многие, живущие общими интересами, стремятся в наше время удалиться от центров деятельности, где эти интересы выражаются наиболее ярко и шумливо? Мы снова обращаемся мыслью к покойному К. Н. Леонтьеву: едва ли кто так зорко следил за текущею жизнью, был так полон трепетного интереса к ней, как он в своем монастырском уединении, проводя дни и годы в Оптиной Пустыни. Для всякого могло показаться странным это зрелище человека, который хочет влиять на жизнь, но к ней не хочет приблизиться. Однако в зрелище этом, сверх странного, есть и много привлекательного, осмысленного.

Быть может, в век столь шумный, столь демократический снова наступает пора отшельничества, уединения от мира. «Царствие Божие внутри вас есть», — сказано было людям в эпоху, столь же мятущуюся, как и наша, столь же полную великих усилий создать это царствие Божие вне себя. Как и теперь, тогда общественность достигла высшего своего развития, но из этой общественности лучшие люди бежали в безмолвье лесов и пустынь. Казалось, они погибли для себя и для других; в действительности, они спасли и себя, и этих других, никак не сумевших достроить Вавилонскую башню своего умиротворения и насыщения.

10 О покойном Кавелине знавшие его люди писали, что незадолго до смерти ему пришлось проезжать через Москву, в которой была тогда Всероссийская выставка — как бы преддверие к Всемирной, которой и наше «захудалое отечество» когда-нибудь дождется. Он не проехал посмотреть на нее и ни одним словом в письмах из Москвы не упомянул об ней. А уж кажется, был человек, чутко отзывавшийся все интересное и значительное. Что же наложило на его уста молчание, что заставило опустить веки на усталые глаза, которыми он так долго, так умно, с такими ожиданиями смотрел в будущее?..

20 Пустыня, уже тогда она манила кой-кого в сторону, обратную той, где были нагромождены все блага цивилизации. От внешних благ, от сооружающейся вне нас Вавилонской башни нашего успокоения — все тоскливее и тоскливее обращали они глаза кругом, начинали искать благ внутренних, успокоения душевного. И теперь, когда уже лучше выяснился смысл этих явлений, тогда еще единичных, еще непонятных и как бы случайных, кто не почувствует в себе самом, в окружающих людях, что те редкие явления были симптомом глубокого поворота в развитии целого общества?

30 Все более наблюдаем мы, как истинные светочи уходят вдаль от центров шумного движения. В этой дали схоронил свою многодумную голову покойный К. Н. Леонтьев, в эту даль, оставив университетскую кафедру, ушел другой отшельник нашего времени, С. А. Рачинский; об ней, в тайниках души своей, уже подумывал Кавелин. Здесь, в этих одиночных, но значительных фактах, сказался разлад между объективной действительностью, как она складывается в истории, и между субъективными потребностями человека, которые вечны и незаглушимы. С точки зрения этих потребностей, из этой тиши уединения, открывается и наиболее верная точка зрения на общий смысл развивающейся истории. Здесь не видно подробностей, которые так часто заслоняют целое, и пыль, поднимаемая камешками, которые венец за венцом складывают Вавилонскую башню, не скрывает общего плана ее построения. Все яснее здесь, все — интереснее, и вместе — более есть сил присмотреться к этому интересному, и вывести поучительные заключения, которые в нем скрыты.

40 Уже много лет назад, когда только что было открыто электрическое освещение, мне иногда приходила странная мысль, которая с тех пор все укреплялась и ни разу не рассеялась: в городе, где я жил, горело по вечерам «электрическое солнце» (так называли в то время свечу Яблочкова) в одном богатом притоне разгула, далеко за чертой собственно города, во временно открываемом саду при ярмарке. Целыми группами ходили горожане на нагорный берег любоваться издали новым чудом техники, новым «торжеством разума»... Но не было никого, кто с таким особенным чувством смотрел бы на это, как тогдашние подростки, порой бедные, порой спускавшиеся по вечерам со своих чердаков или вылезав-

шие из подвальных этажей. И это вовсе не потому только, что из них многие уже ранее зачитывались известным романом «Что делать?» и видели новые и лучшие сны, прогрезив долгие часы о вещих снах Веры Павловны (так, кажется). Нет, тут было много самостоятельного энтузиазма, вовсе не вычитанного только, но нажитого — в глухой жизни, в скучном ежедневном труде, в том опустошенном от всякой поэзии детстве, которое многие из них пережили. Вся мечтательность души, отброшенная и загнанная извне, ушла куда-то внутрь и, не находя исхода в здоровом идеализме религии, поэзии, семьи, — вылилась в болезненном идеализме какого-то внешнего характера, в мечтах о научно и технически преобразованном человечестве...

10

Это далекое солнце, перед которым так гадко дымились уличные фонари, было как бы ранним просветом чего-то нового, первым лучом, которое бросало светлое будущее в окружающую темь настоящего...

И вот, среди всех этих мечтаний и задушевных бесед, не переставая как-то завистливо посматривать на горящее солнце вдали, я всегда почему-то задумывался о том, *кого оно, однако, освещает?*

Мне так хотелось, чтобы это «солнце» было перенесено в будущую жизнь; уличные фонари так, в самом деле, наскучили... И, однако, невольный и одинокий страх всегда теснился в мою душу: что будет с самим человечеством в этом новом будущем? Как оно почувствует себя там, как почувствует в своем сердце ближнего? Будет ли *умным взглядом* смотреть на этот свет, который зажгла его рука? Будет ли яркостью его пользоваться, чтобы рассмотреть вокруг себя нищету, унижение, чтобы почувствовать, когда нужно, свой собственный позор?..

20

И чем дальше все шло, мой скептицизм все увеличивался... Я уже с чувством скуки ходил (немного позднее, перейдя в Университет) по асфальтовым и торцевым мостовым, и смотрел в землю, когда случалось проходить мимо пятиэтажных домов... Я все боялся пометить черты идиотизма в лицах, которые, перегоняя друг друга, шумно толкались в ослепительном свете электричества, уже в ту пору зажегшемся всюду — как видел жадность, истощенное и злое страдание в лицах, которые там и здесь заглядывали в роскошные магазины.

30

Ни разу не встретил я случая, который заставил бы меня отбросить эту раннюю мысль. Но здесь я упомянул о ней только для того, чтобы чуть-чуть приподнять завесу над тем чувством, которое и многих, кажется, начинает гнать из центров цивилизации к ее глухим окраинам...

И в самом деле, не все ли равно, конечно, читать Шекспира при сальном огарке свечи или при электрической лампе? Но слушать о Шекспире с тайным чувством скуки среди блестящей аудитории, или при дымном огарке свечи плакать с легкомысленными и все-таки милыми веронцами над судьбой Джульеты и Ромео — в этом большая разница...

Не стала ли действительностью эта разница? Не слишком ли многие о ней думают? Вот тягостный вопрос, который очень трудно рассеять...

40

В конце концов — *душа человеческая всего дороже*... Ее сохранить открытою для всякого добра, не угасить в ней источник вечного света, который на протяжении тысячелетий породил столько великих фактов и мог бы породить еще многие подобные, — в этом лежит существенная задача истории. И если, по мере того, как в наш век просветлялись объективные условия жизни, этот внутренний свет в человеке все погасал, если между этими двумя есть какая-нибудь зависи-

мость и она доказуема — как взгляд на смысл текущей истории не может быть сомнителен и колеблющимся...

Но проследима ли эта зависимость и доказуема ли она в столь неуловимом, в столь сложном явлении, как история? И не прав ли был человек, думая, что истинная его задача в этой области заключается в том, чтобы рассказывать, а не размышлять, и только констатировать факты, а вовсе не предупреждать их и не поправлять своею волею?

В. Р.

НОВЕЙШИЕ УСПЕХИ ЗНАНИЯ

¹⁰ Известный германский натуралист Вейсман недавно поместил в «Archiv für Geologie», издающемся в Базеле, небольшую заметку, в которой содержится оригинальная и по крайней мере любопытная попытка приложить дарвинизм к сфере наук, лишь косвенно связанных с зоологиею. Мы познакомим читателя с этой заметкой в кратком ее конспекте.

Известно, что мысль дарвинизма заключается в том, чтобы кажущееся целесообразным устройство органических тел объяснить обыкновенными причинами, не заключающими в себе никакой цели; длинную шею, напр., жирафа — тем, что в борьбе за существование, которая есть часто только борьба за питание, переживали постоянно особи с более удлиненною шею, так как во время засухи ²⁰ оне могли срывать листья более высоко, чем их товарищи с шею хотя бы на долю миллиметра менее удлиненною. Эти последние, вымирая от недостатка пищи, высоко растущей, оставляли простор для более счастливо родившихся; эти последние их «переживали» и таким образом мало-помалу возникла новая порода, новый species* органического мира.

Вейсман неожиданно раздвинул метод этого объяснения и внес свет туда, куда он, казалось, никогда не проникнет. Трудно представить, впрочем, почему ранее его никто этого не сделал, так как явление, им расследованное, своими подробностями удивительно соответствует всем факторам дарвинизма; а в коренном пункте, — именно, что факторы эти неодушевлены (впрочем, в одной ³⁰ только части), то это не могло составить никакого затруднения собственно для дарвинистов, так как mens theologiae** заключается именно в отрицании этого одушевления. — Он обратил внимание (впрочем, это заключалось и ранее, но не сосредоточенно), что если бы отсутствовала одна странная аномалия среди чисто физических законов природы, то существование одной части органического мира и по крайней мере на одной части земного шара было бы невозможно. Именно, он связал следующие явления: известно как общий закон, без каких-либо из него исключений, что все тела при понижении их температуры сжимаются; и, сохраняя тот же вес, но уже при меньшем объеме, становятся удельно

* вид (англ.). Отсылка к названию книги Ч. Дарвина — «On the Origin of Species...» («Происхождение видов...»).

** смысл теории (лат.).

(т. е. относительно) более тяжелы, чем прежде. Теперь, он обратил внимание, что если бы в природе этот закон действовал с совершенным безразличием ко всем предметам, так сказать, не различая «лица» вещей, то вода при наступлении осени обращалась сперва в так называемое «сало» (массы связанной воды, уже густеющей от промерзания) и позднее в совершенно твердые льдины, становясь через это удельно более тяжелыми — погружались бы в низшие слои океанической или речной воды и, наконец, надавливаемые сверху все обмерзающею поверхностью — доходили бы до дна, в то время как над ними образовывались бы все новые и новые слои «сала» и затем льда же. Таким образом, как неожиданно, но верно он умозаключает, замерзание происходило бы не с поверхности, как теперь, но со дна, и, поднимаясь кверху, достигало бы позднее всего поверхности воды, хотя именно она, в зависимости от термических свойств воды (теплоемкость и дурная проводимость) является самою холодною, соприкасаясь с ледяным воздухом. Таким образом, в противоположность тому, что мы наблюдаем, сгущалась бы и становилась наконец твердою вся толща воды, напр. река во всем содержании ее русла. Как ни трудно это представить себе, но если мы правильно проследим действие нормального закона, мы не в состоянии будем ничего возразить против остроумных догадок профессора.

Тогда — заканчивает он свою мысль — северные реки и океан в его северных частях были бы необитаемы. И в самом деле, только какая-нибудь аномалия, так сказать, отмена какой-нибудь статьи в «Уложении природы», in codice naturae, могла сохранить жизнь рыб, которые при первой же в міроздании наступившей зиме обратились бы в замороженную студень колоссального ледника, каковым стала бы и по естественному течению природы непременно должна была стать каждая река, а также и океан в его приполярных частях. Мы, однако, уже с осени наблюдаем, что «сало» плавает на поверхности реки, вместо того чтобы опускаться на дно, и льдины также несутся по водам, а не падают стремительно книзу. Сцепляясь, как бы свариваясь, это «сало» и затем льдины образуют наружный ледяной покров; и прикрывают собою как шубою, или как зимою покрывается земля снежным покровом, содержимое внутри. Известно, что в бесснежные зимы семена, брошенные с осени в землю, погибают от стужи; толстый же до аршина, до двух пушистый покров снега, не допуская до земли ледяного зимнего воздуха, сберегает все органическое, что есть в земле, превращая в сон возможную и необходимую (по механическим и бездушным законам природы) смерть. Может быть, позднее Вейсман приложит остроумие своих способностей и к суше, но в данном случае он остановился на воде. Ледяной покров над реками и океаном также сберегает рыб и пресмыкающихся, а равно и многочисленные личинки мелких насекомых, наконец, нежных моллюсков, от смерти. Удивительная целесообразность, казалось бы; приспособление стихий воды к законам жизни животной, о коих — опять, нам кажется — эти стихии ничего не знают, не сознают их; и значит — снова умозаключаем мы — оне согласованы и сознаны в чем-то третьем, вышшем этих стихий.

Так мистическая псевдо-телеология и думала, торопясь умозаключать и не оглянувшись на море фактов, которые если не теперь, то ранее существовали, нежели сложилось это «нужное» соотношение.

Вейсман обращает внимание на то, что начало *сырости, влаги* было гораздо обильнее, нежели как мы наблюдаем теперь, в прежние эпохи существования

земли. Земной шар, как это особенно доказали исследования центральных озер во внутренней Азии (работы, между прочим, и нашего известного географа Докучаева), — высыхают, хотя и с чрезвычайной медленностью; т. е. он обсушивается вследствие причин, которые мы напрасно стали бы отыскивать, кроме постоянного действия солнца, которое, однако, светит и жжет с незапамятных и умонепостижимых времен, «искони бы...». Мы отклонились в сторону собственных суждений, и о причинах факта Вейсман ничего не говорит, он констатирует явление высыхания. Картина земли, как утверждает он, в ранние геологические эпохи была совершенно иная; и там, где мы теперь видим плоскогорья, пустыни, обледенелые тундры — все шумело ручьями, потоками, речками, реками, образующими системы, о мощи которых не может дать никакого представления даже Амазонская река, доступная большим кораблям от Атлантического океана до предгорий Кордильер. «Начало речное», как выражается он, было гораздо более развито; и — он прилагает здесь метод Дарвина и образует гипотезу, которая нам представляется изумительно смелой и, может быть, фантастической...

Он говорит, что сила предрасположений умственных, образуемых сродными впечатлениями, единство которых не нарушается, «ubi non gereritur instantia contradictoria» *; как формулирует он, кажется заимствуя термин у Бэкона, гораздо больше, чем мы в состоянии оценить. Самое понятие «закона», в частности «закона природы», неподвижное в уме нашем, хотя и неуловимо, но подвижно в природе и имеет под собою эволюцию, закон которой, как вечная текучесть всех вещей, в сущности один только и неподвижен, не изменяется в целой природе. Мысль эта, совпадающая с идеями Гераклита (πάντα ῥεῖ**) и совершенно подтверждаемая тем, что говорит Гегель, конечно, заслуживает сочувствия. Неуловимо медленно слагались, но слагались в космическом развитии и законы природы; но если это только вероятно, то совершенно правдоподобно, что аномалии природы, уже потому только, что они суть отмены (законов природы), т. е. *отменение* и во всяком случае *длительное* нечто, не могли «возникнуть», «бара» (еврейский термин о творении мира), «сотвориться» разом, а *возникли* и мы для них должны искать способа эволюции. Этими и еще более длинными рассуждениями он, может быть несколько гипнотизируя читателя, подводит его мало-помалу к предположению, что в далеких геологических эпохах в самом деле закон и действовал, т. е. замерзание вод и начиналось снизу, конечно с гибелью всего живущего в них.

Здесь выступает начало *обилия* вод, и это есть черта в объяснении Вейсмана, который нам действительно не приходилось встречать в узко-географических (специальных) сочинениях. Известно, что множественность особей, излишество рождений есть начальная исходная точка, на которой останавливаются эволюционисты, чтобы на ней далее вести свои построения. Первоначально не было совершенно никаких отступлений от общего закона, что удельный вес тела становится больше при охлаждении, и вода, застывая в лед, становилась тяжелее воды жидкой, как и ртуть, замерзая, сжимается и, конечно, удельно тяжелее жидкой ртути. Вейсман обращает внимание, что некоторые реки были направлены, конечно, к югу и около устьев своих, а также и несколько вверх, оставались

* когда противоречие не найдено (лат.).

** всё течет (грек.).

незамерзшими; во всяком случае, говорит он, океан, с севера промерзающий, *окангивался* незамерзающими частями. Уже это, внося в явление начало *разнообразия*, как бы прокладывало путь и для начала, т. е. в динамическом смысле, эволюции. Рыбы, рождение которых было также неизмеримо обильнее, как это доказывают пласты Девонской формации, чем как мы можем представить и чем как есть теперь, погибая в северных частях океана и рек, выживали в южных, «переживали» погибших. Но здесь, как во многих наблюдаемых фактах, должна была получить начало так называемая (термин еще Дарвина) двусторонняя эволюция: факторы взаимно приспособлялись друг к другу, и там, где — как, напр., совершенная неспособность рыб жить в совершенно же замерзшей воде — природа становила предел для приспособления особи, она еще не находила предела в себе самой, так сказать, в субъективной своей природе, и начинала свое приспособление среда. 10

Здесь, как кажется, оспориная «мистико-телеологию», Вейсман, не замечая сам, впадает в некоторый «мистико-натурализм»; но мы не будем на этом останавливаться. Он говорит, что некоторая, хоть отдаленная и туманная, аналогия — он снова и многословно настаивает на укоренившихся умственных предрасположениях, «*ubi non instantia contradictoria*» — аналогия, всех черт которой мы не можем представить, и если, конечно, не борьбы за существование, то борьбы за условия и богатство условий бытия, должна была начаться, так сказать, в стихиях природы, частнее — в промерзающих реках. Здесь он оставляет океан, говоря, что читатель может распространить общее объяснение и на этот частный фактор, и сосредотачивает все остроумие на реках. Повторяем, он говорит, что многих черт эволюции мы не можем восстановить, — это «потерянные звенья процесса». Во всяком случае в течение длинного ряда тысячелетий и, может быть, десятков тысячелетий в самых южных частях своих, и, может быть, на несколько миллиметров, но все севернее и севернее, не *все* хлопья «сала» стали опускаться на дно, но некоторые опускались на дно; и в таком случае рыбы под ними продолжали жить, т. е. они «выживали» и «переживали» менее приспособленных; а через это и частицы реки, путем обоюдной эволюции, как бы становились приспособленнее к рыбам и также если не выживали, конечно, то имели большую полноту в бытии (по присутствию органической жизни) сравнительно с промерзающими еще частями рек. Очевидно, самое понятие «жить» и «переживать» он расширяет несколько и здесь снова можно бы упрекнуть его в «мистико-натурализме». Но, сделав это движение мысли, он действительно прокладывает путь к пониманию, каким образом возникла аномалия природы, теперь наблюдаемая и так нужная — этого никто не отвергает — для жизни органической природы. Мало-помалу, говорит он, граница хлопьев («сала»), падающих на дно, все отодвигалась к северу, а граница хлопьев, остающихся на поверхности воды, следуя за первую, отодвигалась от юга. Может быть, были отступления, вариации борьбы, но оне не могли быть ни продолжительны, ни получить широкого распространения, за неимением для себя каких-нибудь условий, какие мы могли бы понять. И таким образом полнота аномалии, из более или менее обширного факта, превращалась в закон. Тут он делает отступление, очевидно навеянное на него экспедицией Нансена: открытие полюса и приполярных вод в том отношении может быть любопытно и в научном отношении ценно, что там могут открыться места океана, где хлопья «сала» если не падают на дно, то но 40

сятся все-таки на некоторой глубине от поверхности воды, представляя переходное состояние от того, что некогда было общим законом, к тому, что теперь есть общее исключение. Но, говорит он, если бы и не нашлось ничего подобного, это нисколько не служило бы против его гипотезы, свидетельствуя, что уже на всех точках земли процесс этой эволюции закончился.

Объяснение это действительно в том отношении любопытно, что вводит нас в генезис законов, на что попытки до сих пор не делалось. Но совершенно излишне и может быть обращена вспять саркастичность, с которою немецкий натуралист обрушивается на «мистико-телеологию». Все-таки он не объясняет, почему тот, а не другой конечный пункт эволюции (совершенное и всегда промерзание, нигде совершенно промерзания) стал концом процесса и, так сказать, его целью; все-таки *сохранение* органической природы получилось в результате, и мы можем понять это сохранение как цель процесса, пусть и того, который он представил нам. Здесь, собственно в философской части, мы находим его совершенно слабым, хотя не можем отказать его гипотезе в том, что в узких границах дарвиновских приемов он кое-что прибавил к тому, что мы уже имели. И только неумеренные восторги адептов этой школы, которые так много повредили самому Дарвину, мы опасаемся, как бы не повредили теперь и его ученику, спеша с «выводами» и «философией природы» и зарывая в фантастическом их мусоре действительно ценное зерно открытия. Факты остаются фактами, а гипотезы как гипотезы и пропадают, очень мало прославляя, или, точнее, сомнительно прославляя своих изобретателей. Дарвинизм в последнее время, даже у нас, перенес столько крушений, что очень бережно его сторонники должны хранить основу мысли творца «Origin of species».

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПИСАТЕЛЯ

Великий сфинкс истории

...Мне хочется рассказать все так, как было, не переиначивая ничего в маленьких подробностях вечера, которые взволновали меня. Правда, тема коротеньких разговоров, бывших в этот вечер, привлекает меня давно; я давно начал *косить глазами* на этот предмет, который и не могу и не хочу назвать иначе как великим *сфинксом*, т. е. великою *загадкой* истории; но бывает, что вот-вот туман над давно занимающею загадкою прорвется особенно сильно и на минуту увидишь полнее и яснее силуэт сфинкса, который в общем скорее предчувствуешь, чем видишь. Но не буду забегать, а стану рассказывать.

Я торопился. Оставалось всего полтора часа до поезда, т. е. собственно до той минуты, когда немой безгласный «чухна» застучит колесами около дверей нашего дачного сада. В эти полтора часа предстояло выпить чаю и выкупаться; и, поспешно захватив простыни, мы, т. е. я и наш сосед по даче, пошли берегом моря несколько в сторону от дач. День был суровый; был ветер, и как ни дороги были минуты — мы чуть-чуть задержались на берегу, уже раздетые. Берег был пустынен от людей.

С удовольствием я пересыпал песок, крупный и чистый и глубокий. Казалось, на нем не могло быть никакой растительности, и не нужна была растительность. Между тем редко-редко, на расстоянии сажени друг от друга, из песка выглядывала трава, чрезвычайно мало похожая на «мураву» наших полей. Ее листья были толсты, мясисты, жирны и походили на кусочки воска, раздавленные между двумя пальцами. «Как она растет?» — И, забирая глубже пальцами, я пытался поднять ее с корнем. Пальцы ушли в легко раздвигающийся, сыпучий песок, гораздо больше, чем была длина растеньица, и все-таки я прощупывал, что вертикальный корень еще не кончился. В нетерпении я вырвал и вытащил его. Яркое и необыкновенной свежести, сочности растеньице продолжалось длинной и некрасивой веревкой корня. Я снова разрыл песок и посадил, с некоторым чувством сожаления и почти греха, зачем я его вырвал. — «Примется ли опять? Я погубил жизнь». А она так прекрасна — в этом растеньи, как и во мне.

Я вспомнил когда-то и где-то прочитанное наблюдение, что кактусы и алоэ, т. е. чрезвычайно мясистые и *сырые* растения гнездятся в самых *иссушенных* местах Юж. Америки. «Странность, но так наблюдают», — было записано в книге. Кругом ни в земле ни в воздухе — ни ниточки влаги; ни росинки. И вот чудное растение чудесно вбирает в себя неисследимо малые атомы влаги. Не нужно, но прекрасно. Купаясь в море все дни перед этим, я наблюдал, что, отойдя десять саженей от берега — встречаешь водоросли, с кожистыми прекрасными листьями. Сквозь воду их видишь как живые. Но вот зацепил пальцами и поднял: и она *помертвела*. Да, вид помертвелости моментально набегает на нее, едва она извлечена из *родной* стихии. «Родной»... Как странно звучит это слово и как, однако, оно нужно для выражения истины. Но зачем трава в воде? Воде ли это нужно? Траве ли? Кажется — ни которому. — И вот, трава в песке — такая же ненужная ни песку, ни ей — странность. Если бы план мира принадлежал человеку, принадлежал Дарвину, он так и распределил бы: «в воде — рыбы и раки, растения — на земле; на плодородной почве — растения, на бесплодной — нет». Непременно человек писал бы «по транспаранту»; Бог — без транспаранта. «Здесь невозможна трава, но Я посажу траву; в воде она неестественна, но для Меня все — естественно». Да, Бог «без транспаранта», без «полей»; Он пишет везде и чту Ему угодно и как угодно — вдоль, поперек, наискось, бросая шрифты, кидая буквы. И так, однако, что человек восклицает: «Хорошо!» Милая поэзия беспорядка — вот природа.

Мы вбежали в воду и, быстро окунувшись, выбежали. Освежение ли купанья, или необходимость через час сесть в вагон и ехать в город, к работе, суете, вызвало во мне становящуюся чаще и чаще назойливую мысль о старости, и я сообщил ее приятелю. — «Как скучна старость; какая это особенная психология — еще не разгаданная; что-то тяжелое надвигается; тяжелое и — тупое».

— Это не старость, а... истрепанность. Мы вовсе не по годам стары, а по впечатлениям, разнохарактерным, ненужным. Старость же прекрасна. Я видал стариков...

Но я уже не слушал. — «И я видал!» — целый поток хлынул у меня о загадке возрастов, о тайне растущего, вырастающего, зреющего и умирающего... нет, не умирающего, а только зреющего и дозревающего человека. — «Да, прекрасна и прекрасна, о, конечно — старость! Как мог я забыть впечатления! Какая неблагодарность, неблагородство в этом забвении. Я помню только свою усталую го-

лову и точно забыл — Бога! Старость... тихий закат человеческого дня.. Что может быть прекраснее, спокойнее, ближе к Богу! Ближе — к Нему; к Кому? Что мы о Нем знаем?!! Но вот — закат дня, зрение, зрелость, переспелость бытия — и Он ближе. Кто Он?! — Не вемы. Мы видим чудо старости, красоту старости, и говорим — это к Богу, на путях к Нему». — Куда? Океан тьмы, но какой-то доверчивый, безбурный, надежный окружает нас и наше неведение. О, никаких ужасов — там! Ни крючков, ни — палок. Бросим, однако, полемизировать.

Быстро мы одели напоминание, что «аз наг и устыдился Тебя, Господи!», и побежали домой. Зябкость подгоняла. Но вот и веранда и горячий чай, и наши милые домашние, и еще третий гость, и на перильцах какая-то книжка в зеленоватой обложке.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПИСАТЕЛЯ

Гаснущие огни и зажигающиеся огни

На старый вопрос: «Что такое любовь?» никто не умеет ответить. Нет влюбленных, которые бы не хотели соединиться и принадлежать друг другу: значит, соединение двух полов есть узел и зерно любви. Но с тем вместе любящие ни за что не захотели бы сближения с кем-нибудь помимо друг друга. Итак, любовь есть как будто образование, возникновение, рождение лица около пола, какого-то нового, и совершенно невидимого и неизвестного всем другим, кроме влюбленных. Известно, что любовь полна обманов и иллюзий, которые проходят, когда она кончается. Та «Марья Ивановна» или «Иван Семенович», которые всем кажутся такими обыкновенными и неинтересными, друг для друга представляются существами исключительными, единственными; и притом в этом нельзя разубедить их. А когда влюбленность оканчивается, разубеждение это само собой является. Что же это за явление? Очевидно, вокруг влюбившего в себя, — как и вокруг влюбившей, образуется действительный ореол, сияние; какие-то серебристые лучи, но совершенно невидимые для всякого, кроме субъекта, к которому идут они (влюбленный). Любовь и есть встреча и органическое взаимоотношение, взаимодействие, взаимослияние двух таких систем лучей.

30 Это — духовные щупальца, необыкновенной тонкости, эфирности, которыми два существа, предназначенные небом друг для друга, опознают себя в мире, отличаются от посторонних не нужных людей, соединяются. Любовь есть орган брачного ощущения, появляющийся перед броском и его направляющий, устрояющий. Перервать любовь — это все равно как перерезать ноги проходящего колесами паровоза; или как, поймав муху, оборвать ей ножки и бросить в сторону остальное тельцо. Это есть грех и преступление, религиозное «убий». Отца, который отказом сыну в разрешении брака довел до самоубийства его самого и его невесту, следует рассматривать как сыноубийцу, ничем не лучшего, чем Грозный, расправившийся железным костылем с сыном. Если бы подобных «папаш» подвергать тяжелой многолетней эпитимье или высылке в монастырь «на покаяние»

40 с отлучением от причастия — они опомнились бы в своем жестоком и бесстыд-

ном сердце. А то их «глядят по голове» и закон, и люди, и религия: «проявил родительскую власть».

Авторитет родительства — бесконечно свят, и не признав этого, мы разрушили бы всю идею брака как священного установления. Но страшно, когда гнилое пятнышко появится на зерне. Как зерно — оно имеет все права зерна, весь ореол и обожание его. А между тем оно уже гниет, ничего из него не вырастет, и требуя себе прав — оно, так сказать, узаконяет могилу. Права родительства бесконечны, но до тех пор, пока они не нарушают универсального и вечного закона родительства; в частности — пока они не идут против родительских инстинктов детей. В Слове Божиим твердо и при начале рождения самого человечества поставлена эта граница и предел родительского авторитета: «того ради (= ради брака) оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей». Религиозно разработанная, эта важнейшая заповедь и должна бы служить оградой юной любви; и если бы общество наше имело в себе сколько-нибудь религиозного вдохновения, оно всякую любящую чету, серьезно любящую, и принимало бы в свою ласку, в свою нежность, в свое попечение против зачерствелых родителей, которые из тела сыновей своих и дочерей думают сделать «брачный гешефт».

Но договорю о любви. Каково же свойство этих серебристых лучей, тянущихся от влюбленных. Вот чего, я думаю, никто не видал: чтобы влюбленные обманули друг друга, чтобы они метали друг на друга злобу, чтобы в речах их друг с другом играла роль «политика», «дипломатия», притворство и уловки. Я говорю о серьезной любви, о настоящей влюбленности. Влюбленность и «дурное» (= грех) исключают друг друга, есть *contradictio in adjecto* *. «Он лгал ей, следовательно, не любил ее», «она говорила о нем равнодушно — значит, она не любит его», так мы умозаключаем, не боясь ошибиться. Без всякого риска ошибиться мы указываем на *присутствие* греха между влюбленными как на вернейший знак не настоящей их любви. Любовь вся горит самоотречением и правдой, горит вдохновением и героизмом. Что же это значит? Да ничего другого, что любовь есть разрешение уз греха, есть странное и никаким другим способом не достижимое состояние, когда греховность снимается с человека и он становится вновь невинен и чист, прекрасен и свят, как младенец и как вообще был человек до грехопадения. Никто решительно и никаким путем не опровергнет эту истину, покоящуюся на простом всемирном наблюдении, что любящие — не обманывают, не злобствуют, не лгут, не завидуют один другому. Если бы, поэтому, представить всемирную влюбленность, то мы имели бы состояние полной искупленности от греха. К сожалению, феномен этот длится недолго; и есть несчастные, обычнее всего — развратные, которые его вовсе не знают.

Чем более суета жизни, пыль жизни садится на человека, тем менее становится он способен к любви (влюбленности). Сквозь угольный налет уже не просвечивает «лицо Изиды». В самом деле, тот серебристый невинный образ, к которому влюбленный относит свой восторг и которого никто кроме его не видит, едва ли и не есть те загадочные и, конечно, никогда никем не виденные образы «Озириса» и «Изиды», которым как «святым и божественным» поклонились наивные египтяне, эти дети истории, впервые пораженные феноменом влюбленности и первые о нем размышлявшие. «Он видит Изиду и сумасшествует; принимает

* противоречие в определении (*лат.*).

сучок дерева за чудную поделку и готов боготворить пастушку, которая пасет скот и, на наш взгляд, ни к чему более и не годна, как только пасты и доить коров». Чудеса любви до сих пор продолжают, хотя становятся тем более редки, чем грешнее и засореннее становится цивилизация. Мне кажется, воскресения, возрождения народов следует ожидать на почве любви и труда. Влюбленные не жгут, не злорадствуют, не завидуют; влюбленные не только не зажгли в истории костров, но нельзя представить себе влюбленных на свидании, которые от нечего делать — ловили бы мух и отрывали им крылышки. Остановятся, не сделают, даже если бы машинально и повторили привычный жест. Влюбленный человек есть самый добрый, благожелательный; и любовь есть та твердыня, которую можно положить в фундамент цивилизации. Она есть биологическое «чудо» как в смысле волшебства и непонятности, так и в смысле благостных ее особенностей, праведных, добродетельных. Пора в параллель «духовной святости», выражающейся в духе «унылом и сокрушенном», образовать понятие «биологической святости», во-первых, в смысле феномена и, во-вторых, в смысле заповеди. Во всяком случае заповедь, данная до грехопадения человеку: «плодитесь, множитесь, наполните землю» не есть заповедь духовная, а биологическая. И как она дана Богом и именно до грехопадения, то, следовательно, свята и открывает категорию биологической святости, в отличие и в параллель духовной.

¹⁰ «Помните, что дела ваши чисты и сохраняйте их в чистоте», вот дальнейшее как бы следствие той первой заповеди. «В чистоте» само собою здесь не включает: «удержания от размножения» (линия духовной святости), а, напр., удержание от всех тех пороков бесплодия, которые теперь заражают несчастную французскую семью, о которых начинал писать еще Достоевский. «Не прелюбодействуй», стоящее сейчас же после «не убий», и обнимает все случаи полублюви, прерванной любви, все случаи столь распространяющегося теперь предупреждения зачатия, где происходит «убий» не в отношении к реальному, уже рожденному человеку, но, что в мировом смысле равнозначуще — в отношении к могущему и хотящему родиться. Я думаю, единственное значение: «не прелюбодействуй» уравнивается

²⁰ с аскетизмом как идеальным веянием против рождения, которое породило страх перед ним, боязнь его, и затем все способы скрывать, предупреждать и уничтожать его.

В. Розанов.



ВАРИАНТЫ



СТАТЬИ 1901—1907 гг.

1901

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
(К 60-летию кончины)

Варианты гранок НВ

Стр. 20.

- ⁵ — было 26 от роду в день смерти. / *далее:* (2-го октября 1814 — 15-го июля 1841 г.).
- ^{7–8} — ни один человек на умственном / *далее:* или житейском
- ¹⁹ — начиная с издания Кулиша, / начиная с Кулиша,
- ²¹ — хотя, может быть, и бессознательно. / *далее:* Вновь открытое письмо Гоголя или Лермонтова жадно хватается читателями с явную мыслью: «Нет ли чего-нибудь особенного тут», — с какою не схватят письма Пушкина. Вот в самом деле счастливая оттеняющая параллель. Хотя Пушкин покрывает значительностью своею и Гоголя и Лермонтова, о нем нет таких жадных поисков. Томик его писем — продолжение его сочинений. Их читают, ими восхищаются, но по ним не производят того очевидного «расследования», которое производят и вечно безуспешно по письмам Гоголя и Лермонтова. И это без взаимного согласия, это — все биографы в равной мере.
- ^{33–34} — вокруг какого-то маленького волшебства, загадки. / *далее:* Жизнь всех людей так обыкновенна, иногда совершенно обыкновенна жизнь целого народа, биография целого народа. Армения была известна раньше Цезаря и существует до сих пор, но историки не льнут к Армении. Нет тут огонька, вокруг которого покружил бы историк-мотылек. Напротив, жизнь евреев, так же давно утративших политическое значение, как Армения, каким-то таинственным в себе «X» приковывает внимание историков.
- ^{39–40} — но и лично, биографически, сами. / сколько лично, биографически, сами.
- ^{42–43} — И темы, и стиль. ~ есть сам автор». / Всё, начиная от стиля. «Style c'est l'homme», этого никто не оспаривает.

Стр. 21.

- ² — необыкновенен и чарующ. / *далее:* Никто и не усомнится, что «Style de Gogol est lui même Gogol» и «Style de Lermontof est Lermontof».
- ⁸ — единство стиля Гоголя и Лермонтова. / *далее:* а ведь «Style c'est l'homme».
- ^{21–22} — или не обращает никакого внимания / или не обращающий никакого внимания

Стр. 22.

- ^{19–20} — У Гоголя в самом тоне слов ~ описание получает тон космополитический. / У Гоголя в особенности — слова шуршат, какая-то нега в их течении, какое-то обаятельное волшебство, и так относится к его описанию Днепра это таинственное определение Лермонтова:

*И погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу...*

- ^{21–31} — Это — не Днепр рисует автор ~ «степи Гоголя лучше степей Малороссии» ~ лучше Петербурга, / Самые слова именно style: «Тихо светит по всему миру; то месяц показался из-за горы», — разом, как ударом по кремню огнем, начинают необыкновенное, волшебное, начинают какую-то синеватую ночную грезу, в которой уже всё последующее необыкновенное не покажется необыкновенным, и чувствуется, что это-то нежное, заоблачное, фантастическое и есть подлинно родное ему, от которого он отрывается только, чтобы с отвращением дорисовать разные реальные рубрики, какие надписывает или будет надписывать себе: «Ревизор», «Женитьба», «Утро делового человека», «Мертвые души». Но и в них нет-нет и вдруг улетит в сторону.. как «душа» пани Катерины («лирические отступления»).

Стр. 22–23.

- ^{31–7} — И, однако, Лермонтов, когда хочет ~ их отвращение к реальным темам: знаменитые «лирические места» у Гоголя / *нет*.

Стр. 23.

- ^{7–9} — Возьмем его «Мертвые души» ~ у Диккенса. / «Мертвые души» ведь не похожи на широкий сад, в котором с любовью гуляет хозяин-творец, не похожи ни на «Базар житейской суеты» Теккеря, ни на бессмертного Пикквика Диккенса;
- ^{9–11} — Гоголь явно страдает, страдает от темы ~ как в фантастических малороссийских вымыслах. / линия эпопеи узка, тесна; Гоголь точно торопится окончить мучительное странствие по «мертвым душам»;
- ^{11–13} — Рассказ узок, эпопея удушлива ~ идет, сколько будет сил идти. / ни одного лишнего слова, ни вставочного эпизода, никакого «гулянья широкой кисти».
- ^{13–15} — Но вот колена подгибаются ~ счастье сновидца. / Автор творит подвиг, несет терновый венец; вот он сбросит его и, как пани Катерина, заговорит, залепечет:
- ^{15–17} — Это он в родном мире ~ в старый замок ее грозного отца. / *нет*.
- ^{32–33} — Вообще, если от характера живописи ~ здесь близость Лермонтова и Гоголя. / У обоих, Гоголя и Лермонтова, есть глубокая пассивность в отношении к темам их снов, до известной степени связанность их душ с определенными темами.
- ^{33–39} — Известно, как дивился Белинский ~ у малоросса-сатирика и петербургского денди. / *нет*.

Стр. 23–24.

- ^{41–2} — Входя в мир тем нашего поэта ~ на стоявшего посреди их казака. / Пушкин взял «Бориса Годунова», но мог и не взять; написал «Моцарт и Сальери» или «Скупого Рыцаря», но можем ли мы указать, что написал бы он, как «драматический отрывок», в следующем году? Конечно, не можем: темы его являлись ему из книг, из прочтенного, были во всяком случае продуктом случайного впечатления, и не было рокового, *fatum*'а, между ним и его темами. У Гоголя

и Лермонтова есть этот *fatum*, и, напр., один «Фаталиста», «Тамань», «Мцыри», «Демона» так же должен был написать, написал бы не в этот год, так в другой, как Гоголь не мог не написать двух великих отделов своего творчества, малороссийских диковинок и петербургской сатиры:

Стр. 24.

- ¹⁴ — нагрешил самые несбыточные грехи. / *далее*: Удивительно похоже на «панатца» в его «явлении народу», на свадьбе у Горобца.
³⁴ — эта несбыточная «сказка», / эта «сказка»

Стр. 26.

- ² — Бесов вообще рисуют безобразных. / Бесов вотще рисуют безобразных...
¹⁰⁻¹¹ — может быть, метафизический и психологический ключ к мифологии Греции, Востока, / может быть, итог к мифологии Греции, Востока,
¹²⁻¹³ — Ибо что мы наблюдаем позднее? / Что однако мы наблюдаем позднее?
¹⁹⁻²⁰ — («Мцыри», «Дары Терека», «Три пальмы», «Спор», «Сказка для детей», неоконченные «Отрывки») / («Мцыри», «Сказка для детей», неоконченные «Отрывки»)
²¹ — Трудные вопросы. / *нет*.
²³ — Гимны его напряжены, страстны ~ звездны. / Гимна — напряженного, прозрачного, звездного.
²³⁻²⁹ — Вся его лирика ~ Нет поэта более космичного и более личного. / Поразительна роль у него звезд; даже описывая Петербург, он вставил

И улыбались звезды голубые...

Ну, какие там в Петербурге звезды! Но что в душе — о том и поешь. Это у него была звездная душа, туманное пятно физиков, уже полное звезд, но еще не рассыпавшееся в звезды. Если, например, бросить взгляд на Пушкина и сейчас же перевести его на Лермонтова, и спросить, в чем между ними общая и главная разница, мы скажем, что Пушкин — земной, рациональный феномен, что вся его психология — немножко дневная и обыденная психология, напротив, Лермонтов и вместе с ним еще Гоголь — души ночные, лунные, души сумеречные, бежавшие от света дня, а в темноте ночи начинавшие волшебные песни, мало нам понятные и необъяснимо нас волнующие.

- ²⁹ — до конца статьи Но и кроме того: он — раб природы ~ и это есть просто факт его биографии и личности. / Я мог бы здесь кончить. Но меня соблазняет привести из Гоголя отрывок, где он как бы показывает тайный волнующий мир, а, взглянув на него, мы восклицаем — это и мир Лермонтова. Ведь есть звезда в небе, а есть и звезда — в сердце. Описывая Петербург, записывая «Выхожу один я на дорогу», Лермонтов не столько «хватает звезды с неба», сколько из себя выводит звезды, рассыпает их по небу, и описывает или поет молитвы этому второму небу. Как он и записал, конечно, уж ни с чего не срисовывая, ибо этого и увидеть нельзя нигде:

На воздушном океане
 Без руля и без ветрил
 Тихо плавают в тумане
 Хоры стройные ветрил.
 Средь полей необозримых
 В небе ходят без следа
 Облаков неуловимых
 Волокнистые стада.

Час разлуки, час свиданья
 Им не радость, не печаль;
 Им в грядущем нет желанья,
 Им прошедшего не жаль.

Это — одушевленные звезды, «души» — звездочки, не физические, не телескопические, но уж так или этак, но нельзя увернуться и не сказать, что звезды — мистические. И вот мы имеем единственный отрывок, где нам показаны эти сотворенные, вторые, не физические звезды. Муж пани Катерины, Бурульбаш, взлез на дерево и смотрит, в темную ночь, в окно старого покинутого замка: «В комнате и свеч нет, а светит. По стенам чудные знаки; висит оружие, но все страшное: такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком взад и вперед мелькают нетопыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрипа дверь; входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, покрытому белою скатертью. „Это он, это тесты!“ Пан Данило опустился немного ниже и прижался крепче к дереву. Но тестю некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко или нет. Он пришел пасмурен, не в духе, сдернул со стола скатерть, и вдруг по всей комнате разлился прозрачно-голубой свет; только смешавшиеся волны прежнего бледно-золотого переливались, ныряли, словно в голубом море, и тянулись слоями, будто на мраморе. Тут поставил он на стол горшок и начал кидать в него какие-то травы. Пан Данило стал вглядываться и не заметил уже на нем красного жупана; вместо того показались на нем широкие шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянул в лицо и лицо стало переменяться: нос вытянулся и повиснул над губами, рот раздался, зуб выглянул изо рта — и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у есаула. „Правдив сон твой“, — подумал Бурульбаш. Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали быстрее переменяться на стене, а нетопыри залетали сильнее вниз и вверх, взад и вперед. Голубой свет становился реже, реже, и совсем как будто потух. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам и вдруг пропал, и настала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебристые ивы. И чудится пану Даниле, что в светлице блестит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темно-синее небо и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо. И чудится пану Даниле (тут он стал щупать себя за усы, не спит ли), что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня: висят на стене его татарские и турецкие сабли, около стен — полки, на полках домашняя посуда, на столе — хлеб и соль; висит люлька, но только вместо образцов выглядывают страшные лица; на лежанке... но сгустившийся туман покрыл все и опять стало темно. И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом и опять стоит колдун в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты, и чудится пану Даниле, что облако то — не облако, что стоит то женщина; только из чего она, из воздуха что ли выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет и мелькают на стене знаки? Вот она как-то пошевелила прозрачною головою своею: тихо светятся ее бледно-голубые очи; волосы вьются и падают на плечи ее, будто светло-серый туман; губы бледно алеют, будто сквозь белое прозрачное утреннее небо

ляется едва приметный алый свет зари...». И т. д. Мы могли бы продолжать описанием Аунциаты («Рим»), Уленьки («Мертвые души»), всех этих полуполуземных, полунесбесных видений, дразнивших самого Гоголя; но еще удобнее и совершенно легко продолжать Лермонтовым.

— Я иначе не играю. Как ваша фамилия? — проговорил Лугин.

— Что-с?

— Что-сс? — это?

У Лугина опустили руки, он испугался.

В ту же минуту он почувствовал около себя чье-то свежее ароматическое дыхание, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое, огненное прикосновение. Станный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам; только на мгновение он обернул голову — и этого минутного взгляда было довольно, чтобы заставить его проиграть душу. То было чудное, божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли; в ее глазах была тоска невыразимая; она отделялась на темных стенах комнат, как утренняя звезда на туманном востоке. То не было существо земное, то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови...» («Первый отрывок из начатой повести»).

Совсем — «пани-Катерина», «душа» пани-Катерины. И рисовка та же; и также все фантастично, и также рисовальщик плачет о своем видении; но уже рисовальщик, вызвавший на свидание с собой эту «прекрасную душу», не пан-отец, а Лермонтов, однако вызвал он ее с теми же подробностями обстановки и в тех самых чертах не тела, но души, извлеченной из портрета. Но здесь сюжет не оконченного Лермонтовым отрывка переходит в оконченный сюжет Гоголя: «портрет», слияние рисунка и жизни, красок и души. И словом, творчество их переплетается, так что по справедливости цитаты из одного можно бы продолжать цитатами из другого...

Но главное, в приведенном отрывке, появляющееся в комнате колдуна небо, смесь светов, звезды, месяц? Что это такое? Мы так часто видим на куполах своих храмов звезды, но никогда почему-то — внутри. Почему? — Я не знаю, хотя много об этом размышлял. Кабинет пана-отца, с «душой Катерины», есть в сущности рисовка какого-то храма, и звезды, и небо, и луна введены внутрь, зарисовали стены, потолок; но, как Лермонтов называл своего «господина» «демоном», и здесь вместо образцов — «страшные лики», демоны. Решительно гоголевское творчество переходит в лермонтовское. Мы не будем чего-нибудь договаривать за них, дорисовывать. Но вот, что ясно: обим им забрезжилась какая-то новая испугавшая религия, одним однако уголком, одним краешком, и вызвала в них слезы, мучения, «мифы», связность которых, однако, чрезвычайно трудно разгадать. Этого-то начинавшегося света Лермонтов назвал себя «Пророком», но, едва сложив о нем несколько слов — погиб. И храм стоит перед нами недостроенный. Но обе эти темные души были именно строители, одна — отрицательно, разрушительно, другая — положительно, созидательно. «Ты — только строй, а уж опишу место я», — как бы говорит Гоголь Лермонтову. Но из работы обоих осмысленного чего-либо, читаемого — не вышло. Мы имеем мощную каменоломню и множество начатых работ дивного плана и дивного искусства; но начаты — и только. И «Мертвые души» не кончены, и у Лермонтова весь 2-й том обычного издания наполнен обрывками.

М. О. МЕНЬШИКОВ. НАЧАЛА ЖИЗНИ

*Черновой автограф***Секуляризация семьи**

М. О. Меньшиков. Начала жизни. Нравственно-философские очерки. Вера в жизнь. — Женщина-мать. — Семья. — Дети. — Возрасты человека. — Поэзия. — Героизм. — Дружба. — Страдания. — Смерть. — СПб. 1901. — Стр. 403.

В царствование императора Николая I, в 1827 году, произошел такой случай. Через обер-прокурора св. Синода Мещерского, на высочайшее имя была принесена просьба городского секретаря Поваловшвейковского — утвердить его брак с дочерью помещика Евфросиньей Ваулиною, «так как Синод, расторгнув данный брак, по причине родства незаконных супругов, поставил в самое несчастное положение пятерых детей, прижитых от неосмотрительно совершенного брака». Николай Павлович надписал на докладе обер-прокурора: «брак расторгать, когда он дозволен был духовным начальством, я не признаю ни справедливым, ни удобным». Но синодальные члены, обсуждая высочайшую резолюцию, признали необходимым, для оправдания законности своего постановления, представить государю точную и обстоятельную справку о деле городского секретаря и поручили исполнение общего решения митрополиту Серафиму. 20-го декабря 1827 года Серафим представил от себя непосредственно самому императору подробную записку обо всех обстоятельствах дела Поваловшвейковского и стремился доказать в ней, что постановление Синода, расторгнувшего брак, было вполне законно, так <как> духовное начальство разрешило совершение брака под условием соблюдения установленных предосторожностей, что, однако же, вследствие полных показаний жениха и свидетелей, не предупредило заключение незаконного брачного союза. Донесение митрополита Серафима совершенно изменило взгляд Государя, и повело к строгому замечанию обер-прокурору Мещерскому: «Если бы в записке, мне вами представленной, дело было столь же ясно изложено, то я бы не остановился согласиться с мнением св. Синода; впредь г. обер-прокурору быть осмотрительнее в отправлении своей должности; и когда бывает в недоумении — спрашивать моего разрешения» (Ф. Благовидов. Обер-прокуроры св. Синода в XVIII и первой половине XIX-го ст., стр. 376).

«Удивление есть начало философии», — надписал в древности Аристотель. Приведенный нами случай содержит во всех своих частях столько удивляющих моментов, что поистине каждый философ, посвящающий размышление «началам жизни», остановился бы надолго над ним и повел бы от него очень длинную философию. В самом деле:

1) Ни в Евангелии, ни в Библии не рассказано нам, и даже не предположено возможным ни одно расторжение уже существующего семейного союза; тем паче — союза, имеющего детей, которые повсюду с св. Писания называются «благословением Божиим».

2) Из двух, пришедших здесь в столкновение мнений, которое же уважает и которое отрицает, выражаясь языком г. Меньшикова, «начала жизни, веру в жизнь, женщину и мать, семью, детей, поэзию, героизм, дружбу, страдания, смерть» и, словом, всю «нравственную философию»?

Нет сомнения, что слова государя: «брак расторгать, когда он разрешен был духовным начальством, я не признаю ни справедливым, ни удобным», — явились плодом, так сказать, общего воззрения на брак, супружество, семью. Он любит эти факты; чтит их как нужные и прекрасные; находит жестоким вырывать выросшее растение, уже принявшееся, крепко сидящее в земле, несущее листья на себе и плод. Столь же очевидно, что долгие справки и помехи митрополита Серафима нисколько не вращались около этого живого факта, его богозданности, пользы и красоты; они вращались в чем-то другом; в иной сфере, и вынесли приговор, срывающий с корня этот факт, зачеркивающий пятерых детей, мужа и жену, видимо, счастливых и любящих друг друга.

Сфера эта — средневековое греческое учение о браке, которое по объекту своему кажется «учением о браке», но по своему направлению есть «учение против брака», «о безбрачии», о «превосходстве безбрачия над супружеством», есть исчисление запретительских, ограничительных, расторгающих брак обстоятельств, а не обстоятельств, созидающих его, расширяющих, благословляющих, которые все обойдены мимо, промолчаны. Поискавши то в этих поводах, митрополит Серафим и нашел приговор, зачеркнувший мужа, жену и пятерых детей.

Вот где корень дела, начало обширной «нравственной философии», о которой, может быть, еще книжку напишет когда-нибудь М. О. Меньшиков. Он написал томик статей увлекательных, живых, и о темах, важнее которых нет на земле и в литературе. Ему кажется, что он пишет о святине своего сердца и вместе святине всех людей. Глубокое заблуждение! Именно на страже-то этой святости, при самом корне «начал жизни», стоит существо, недружелюбное к этим «началам», не понимающее вовсе и отрицающее «женщину-мать», «детей», и день за днем, как черная и белая мышка в известной сказке, грызущее безостановочно этот корень. Назовите кн. Мещерского, человека высокого и тонкого ума, но с своеобразными желаниями относительно школы, «министром народного просвещения»; назначьте вообще министром просвещения человека, высказывающего, ушащего и доказывающего, что «лучше без просвещения», и вы получите картину образования в стране, очень напоминающую картину семьи после чиновного управления его принципом: «лучше не жениться». Управляющий неприязнен или глух к самому принципу им управляемой области. Каких же вы результатов хотите? Разорение, упадок, тусклость, запущенность — последуют непременно. Между тем рука управляющего, его печать и подпись будет стоять на разрешении открыть всякую новую школу; ведь уставы гимназий, прогимназий, университетов, будут иметь подпись: «Кн. В. Мещерский». Кто заведует просвещением? — Мещерский! Кто двигает просвещение в стране? Мещерский. Кто совершает учебные ревизии, наставляет учителей, как учить, и профессоров, как читать лекции, выбирать книги для чтения и открывать библиотеки? — «Мещерский и Мещерский, все он, от него идет все образование в России». Но отчего это образование в России так плохо? — «Потому что его двигает кн. Мещерский!» Да не обидится почтенный публицист, что я взял его иллюстрирующим примером, ибо пример мне нужен, пример этот верен, а сам он имеет мужество «avoire son opinion» *, даже, может быть, правильное, как трудно и оспорить слова: «лучше не жениться». Но я говорю только, до чего странно, что «женитьба» находится в руках «лучше не жениться», в его разрешении, в его соизволении, в его собственности. Когда собственник все усилия делает — растерять эту собственность, и при всяком браке представляющемся первый вопрос: «нет ли здесь случая, т. е. в регистре запрещений, нет ли рубрики, по которой можно было бы его не допускать, а когда он уже совершен и на лицо, то нет ли повода его расторгнуть!».

Мне кажется, прямо благочестивое отношение к семье требует постановки на очередь вопроса о государственном и только государственном санкционировании брака. Посмотрите, император Николай — любит семью, жалеет детей, внимателен к связи их с отцом. Единственное, что семье и нужно, и чего ее святая «нравственная философия» в праве себе потребовать. Для девственника Серафима, выдавшего детей и семью только на картинках, самого вопроса о них никакого не представляется. Для него они — посохшее дерево или предназначенное к посыханию: полный повод для семьи потребовать, чтобы ее вовсе и никогда не подводили к рассмотрению этой святости совсем другого порядка и источника. Тут две святости, обратно направленные, и только ценой гибели одной святости можно поставить ее в иерархическую зависимость от другой, а не рядом и в строжайше от нее независимое положение. Caveant consules! **

* Иметь собственное мнение (*фр.*).

** Пусть консулы будут бдительны! (*лат.*) Употребляется как предостережение о грозящей опасности.

«ДЕМОН» ЛЕРМОНТОВА В ОКРУЖЕНИИ ДРЕВНИХ МИФОВ

Черновой автограф конца статьи

* * *

Дриада, каждая порознь, имела любимое дерево, около которого или в котором она обитала. Так и наш поэт, облетая умом природу, имел в ней некоторые любимые точки, куда любил спускаться, где оставался подолгу. Это — цветок и звезда; в живых тварях — зверь и ребенок («Мицыри», «Колыбельная песня», «О грезах юности томим воспоминаньем»); в возрастах человеческих он с особенною любовью останавливается на самом раннем и самом позднем, дряхлом, дедовском («Дары Терека», «Утес»); любимая у него часть суток — ночь. Но самая его любимая тема, любимейший персонаж, любимейшее собрание вещей — сведение самого раннего, младенческого с самым поздним, старым: точно тут, в первой и последней минутах бытия он уловляет Бога («Дубовый листок», «Сказка для детей» и мн. других). Пень безлистный и зеленый листок — два любимых обиталища нашего сомнамбулиста; тут-то он странствует и открывает — и различия, точно как будто эти две стадии возраста есть родное «я». «Я» — ребенок, но с столетней душою, говорит он своими шалостями, капризами, множеством штрихов своей биографии.

В земле, среди разных пород железа, встречается метеоритное, падающее на нее из атмосферы в виде так называемых астероидов. В разные месяцы года эти астероиды падают неравномерно: есть августовский пролет их через атмосферу, когда они несутся по небу тучею, и то из одного места, то из другого, приносят известия, что на землю упал новый астероид. Здесь он лежит, растворяется в почве, смешивается с другими земными породами. Догадываются ученые, что знаменитый «черный камень» в Каабе, в Мекке, есть только один из астероидов, особенно поразивший воображение аравитян. Наше человеческое «я» также имеет две части в себе: большая — теллурическая, земного происхождения и по выделке, и по материалу. Но есть в этом «я» клочок не здешний и по составу, и по устройству. Душа Лермонтова и похожа на особенный, драгоценный, аравийский метеорит. В странах более восточных, во времена более древние, он в самом деле начал бы новую мифологию, научил бы человека различению обыкновенного и божественного; сложил бы для него молитвы, вырастил бы в нем новое сердце. Вообще в стихии его его души было много древнего и восточного; оттого Кавказ, т. е. только краешек Востока, так взволновал его, столько возбуждал в нем... Но все осталось только в отрывках и начатках 26-летнего поэта.

ФИЛОСОФ-РУДИН

Вариант гранок НВ (Гр НВ)

Стр. 63.

⁴¹ — Но он не примкнул ни к линии Конта, ни к линии Гегеля. / Но он не примкнул ни к линии Канта, ни к линии Гегеля.

МНИМОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ

Пометы на вырезке

Стр. 68.

²⁻⁶ — Профессорам, которые всю жизнь только и делают, что «заимствуют», обыкновенно с немецкого на русский, то и дело кажется, что Лермонтов «заимствовал» Демона из «Каина» Байрона, Пушкин «Капитанскую дочку» выкрал у Вальтер Скотта, у которого тоже есть сюжет о несчастной невесте, и проч. и пр. / *подгеркнуто простым карандашом*

Стр. 69.

¹¹⁻¹⁴ — только по виду испанский инквизитор, ~ русский интеллигент-фантазер. «Легенда» вообще есть глубоко русское и чисто русское явление, несколько сектантского характера. / *подчеркнуто простым карандашом*

1902

КАМЕННАЯ БАБА

Заггеркнутое нагало гранок

Стр. 72.

²⁻⁴ — Между многими ~ «Лилит» / Январская книжка «Русск. Мысли» литературно очень интересна. Здесь помещена чрезвычайно удачно написанная повесть Чирикова «Роман в клетке» (роман неудачной семьи) и стихотворение г-жи Лохвитской «Лилит».

Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Варианты «Исторического вестника»

Стр. 86.

⁴⁰ — и студент, и студентка, размышляющий гимназист / и студентка, размышляющий гимназист

РАЗМОЛВКА МЕЖДУ ДОСТОЕВСКИМ И СОЛОВЬЁВЫМ

Продолжение статьи. Гранки

* * *

Если при жизни Достоевского Соловьёв подчинился ему, то очень скоро после смерти начал энергично расходиться с ним — пожалуй основательно. Где Достоевский хотел быть пронизательным и критичным, там он умел им быть. Но в одной области, русских духовно-религиозных вопросов, он преднамеренно не хотел ни рассматривать, ни критиковать. Как известно, он провозгласил: «Народ, правду и святость народа»; но как народ наш, этот и тот Иван, та или иная Марья, словом персонально и биографично — мало что нового узнал со времени Олега мудрого, то можно этому умилению Достоевского подвести тот простой итог, что он провозгласил «святость и правду лесов русских, и мудрых мыслителей, вещей сердец, которые от этих лесов показываются». Поклонение Достоевского перед народом есть выход из истории и поклонение до-историческому человеку, обширнее и поэтичнее — поклонение опять же древнему пантеизму, странствующему под чужим паспортом, где прописано: «Крещен». Никакими способами, никакой точной ссылкой, никакой правильной аргументацией Достоевский не мог бы доказать, что он поклоняется чему-то другому. Его знаменитая ссылка, что «пусть народ не знает своей веры, но он слышал: „Господи, владыко живота моего“ и принял молитву эту в свое сердце, а в молитве этой — все православие, в отличие от рационального протестантства и властительного католичества» — полна недоразумения: «Владыка живота моего», «поборающий праздность, рассеивающий уныние», «любовь к начальствованию» — как верно критиковал Леонтьев, вовсе не выражает учения, где власть или начальствование «вязать и разрешать узы» передана определенным лицам, где скорби или уныние весьма определенно предсказаны и реально начаты — с «камня на камне не останется от стен сих»

(Иерусалима), а что касается до трудолюбия, то оно во всяком случае не указано в совете роздать имущество нищим и жить. Как «лилии полевые, как птицы небесные». Достоевский все это преодолевал своим сердцем, «Вещим Олегом», который жил в нем; а Леонтьев, как тот судья, что «виновным и правым внимает равнодушно», — указывал на тексты, против которых не помогала никакая моральная истерика Достоевского.

Почти сейчас по смерти Достоевского, в 1881 г., Соловьёв написал замечательную статью «О духовной власти в России», едва ли не лучшую из всего им написанному по спокойному беспристрастию и важности исторической постановки вопроса. В этом году, когда началось новое царствование, св. Синод в пастырском обращении к русскому народу указывал на моральные грехи в нем, служащие источником и общественных нестроений. Соловьёв, соглашаясь со всеми частными тезисами этого послания, говорит, что эти тезисы все-таки представляют собою те «деревья, из-за которых не видно леса». Корень дела лежит глубже: не в частных слабостях частных людей, но в том, что замутилось духовное начало Руси. Русь осталась спокойною во время неистовств Грозного, а при «тишайшем» Алексее Михайловиче значительная часть народа вдруг почувствовала, что жить нельзя, и в отчаянии бросилась в леса и пустыни и полезла в горящие срубы. Что же такое случилось? Людям этим показалось, что случилась величайшая на земле беда, что архиереи уклонились в латинство, не стало истинной духовной власти в православном мире, наступило царство антихристово; на престол митрополита Филиппа, замученного Иоанном IV, сел патриарх-мучитель, сам принял латинство и других к тому силою принуждает. Так ссылались раскольники. И на самом деле, если формально никто у нас не переходил в латинство, то все-таки несомненно, что со времени патриарха Никона и по его почину иерархия русской церкви, оставаясь по вере и учению православною, усвоила в своей внешней деятельности стремления и приемы, обличающие чуждый, не евангельский и не православный дух (стр. 210).

Тут пожалуй Соловьёв впадает в тот же преднамеренно-наивный тон, какого во всей своей литературной деятельности держался Достоевский в отношении к категории духовно-религиозных тем. Как доказать, что не Никон, а митр. Филипп был догматически правее? Один и другой в сущности из собственного своего сердца извлекли: один — покорливое, смиренное отношение к миру, другой — властительное. Сердца у них были разные, «почва» (выражаясь языком Достоевского) была в одном и другом не та. Но где же подлинная почва Христова? Соловьёв ссылается на запрещение Христа апостолу Петру, вынужшему меч. Ну, хорошо — это один текст; но разве нет других, которые пришлись милее сердцу Никона: о горении грешных в аду неугасимом, о том, что «секира лежит уже при корне дерева», и когда оно не приносит требуемого плода — «его порубают и бросают в огонь». Вопрос о свободе до сих пор есть вопрос, не решенный в христианском мире; между тем он практически важен до крови, до муки, и если он не решен, то потому только, что его и невозможно решить. Здесь в отношении к свободе мы имеем так сказать сгибающуюся «параболу суждений», брошенных по-видимому в одну сторону, в одном направлении, но таким образом, что они затем загибаются и падают в направлении, обратном прежнему. Почти главный и самый убедительный, с тем вместе всемирно известный пример этой «параболы суждений» представляют знаменитые слова о браке: делается ссылка на сотворение Божие, на образ мужчины и женщины, в котором дан человек, а все кончается девством и прямыми словами о скопчестве, которые в духовном смысле понимаемые дают (и исторически дали) монашество, а понимаемые без этой духовной подстановки выражают просто требование, заявляемое одною из русских сект. Также и в вопросе о свободе: прямые слова Евангелия говорят о ней, но инквизиция и не могла бы никогда возникнуть, или народы имели бы силы ей противодействовать, ее не допустить, если бы в других словах Евангелия не говорилось слишком много и определенно об огне и муке, и что «вязать здесь же на земле и ввергать в огонь вечный» принадлежит исклю-

чительно преемникам ап. Петра. Скажут: разумеется огонь «после смерти», «не трогай никого на земле». Но и на это есть текст: «Какая польза человеку приобрести весь мир и потерять душу свою». Совершенно очевидно, что католичество и Никон не из своего сердца только извлекли свои действия, но они скорее были люди, запутавшиеся в «параболе суждений»; или, точнее, перелетевшие через ее кульминационную точку и летевшие в направлении, обратном той части дуги, в которой двигались Соловьёв, Достоевский, русские иерархи старого московского периода. Как невозможно решить вопроса о браке и безбрачии, ибо то и другое восходит к Богу, также нельзя решить и вопроса о свободе или понуждении, ибо оба имеют для себя достаточную опору и в текстах евангельских и в духе. Тут, в Никоне и католиках, скорее есть рок, нежели злоупотребление. Нужно еще решить вопрос, сколько в тех древних русских иерархах, как и в католиках типа Франциска-Ассизского, жило первоначальной «почвы» Руси и Галлии, которая в них и бродила и выразилась лучшим золотом речей и поступков. Замечательно, что кротким и универсальным духом в христианстве отличались именно и только пустынножители, о которых никто нам не мешает думать и утверждать, что это леса дремучие нашептали им древний пантеизм и доброту сердца, и понимание звезд, и родство с животными. Угодник Божий, вынимающий занозу у медведя, есть не то, что Торквемада. Едва «угодник Божий» переходил в город, садился в кабинет или канцелярию, т. е. едва он терял пантеистическую вокруг себя обстановку, он становился другим, вспоминал, что «секира лежит у корня дерева» и брался за ее рукоятку. Но какая разница? Тексты — те же, книга — та же; перерван только союз с Галлией, с Русью, с почвой: но ведь это принцип Цереры-Матери:

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней Матерью-Землею
Он вступи в союз на век.

Это — пантеистическое начало, с разрушения которого начали первые прозелиты новой веры. Везде они «вступали в священные рощи», «срубали» то или иное «священное дерево», какому поклонялись славяне или галлы, не замечая, что суть поклонения заключается не в связи с тем или иным деревом, но в связи с целым шумящим лесом, с говором ручьев, мерцанием звезд, вечерним закатом и восходом солнца. И что вырвать это — и значит совершить переход от Франциска Ассизского к Торквемаде, от Сергия Радонежского — к Никону и Феофану.

Соловьёв накидывает дальше судьбу русской высшей иерархии: в 1682 г. во время стрелецкой смуты один из старообрядцев, Павел Даниловец, сказал, обращаясь к патриарху Иоакиму: «Правду говоришь, святейший Владыко, что вы на себе Христов образ носите; но Христос сказал: научитесь от Меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, а не срубам, не огнем и мечом грозил. Велено повиноваться наставникам, но не велено слушать и ангела, если не то возвещает. Что за ересь и хула двумя перстами креститься, за что тут жечь и пытаться?». На это патриарх Иоаким ему ответил: «Мы за крест и молитву не жжем и не пытаем, жжем за то, что нас еретиками называют и не повинуются святой церкви, а креститесь, как хотите» (Соловьёв, III, стр. 213).

Приведя этот диалог, Соловьёв спрашивает, какая разница между этим ответом патр. Иоакима и известным лозунгом иезуитов: «Живите и веруйте, как и во что хотите — но признавайте папу». — «Хорошо было бы все это забыть, — продолжает Соловьёв, — как дела давно минувшие. Но, к несчастью, русская иерархия доселе не отказалась явно от латинского начала религиозного насилия, внесенного в нее Никоном. После того как Московский собор, осудив лицо Никона, не только подтвердил доброе дело исправления книг, но своими злосчастными клятвами как бы освятил и тот пагубный дух насилия и деспотизма, с которым Никон вел это дело, преемники низложенного патриарха реши-

тельно пошли по его следам, умножая кровавые гонения на раскольников. Вскоре формы этих гонений смягчились, но и смягчение это произошло по почину не церкви, а светской власти. Когда Петр Великий, по соображениям государственной выгоды, заменил казни раскольников фискальными против них мерами, когда затем Петр III, Екатерина II, Александр I и Александр II, по личным побуждениям человеколюбия и веротерпимости, все более и более ослабляли религиозные преследования, иерархи не только не руководили ими в этом, но и задерживали их добрые начинания, ревниво охраняя латинское начало принуждения в делах веры и совести. Этим духовная власть решительно признала, что она опирается не на внутреннюю нравственную силу, а на силу внешнюю, вещественную. Но в себе самой не имея этой вещественной силы, она должна была искать ее у светского правительства, обладающего материальным могуществом, но для этого ей предстояло отказаться от своей независимости, *пойти в услужение* (курс. Соловьёва) к светской власти. И русская иерархия не замедлила совершить этот третий грех против своего великого призвания. Вместо того, чтобы научать и руководить мирское правительство в истинном служении Богу и земле, она сама как бы пошла в служение к этому правительству. Сначала при Никоне она тянулась за *государственной короной*, потом крепко схватилась за *мет государственный* и, наконец, принуждена была надеть *государственный мундир*» (стр. 213–214, курс. везде Соловьёва).

Этим историческим ходом дел объясняется теперешнее положение «явного бессилия духовной власти, отсутствия у нее общепризнанного нравственного авторитета и общественного значения, отчуждение духовенства от остального народа и в самом духовенстве раздвоение между черным начальствующим и белым подчиненным, деспотизм первого и скрытый ропот второго, невежество и беспомощность народа, дающие простор бесчисленным сектантам, равнодушие или же вражда к христианству в образованном обществе» (стр. 214).

«Где и в чем, спрашивает Соловьёв, проявило русское церковное правительство в два последние столетия свое благотворное воздействие на русское общество и государство? В эти два века в России не мало было сделано успехов общественных: крепостное право постепенно смягчалось и наконец совсем упразднено, смягчались уголовные законы, уничтожены пытки и почти уничтожена смертная казнь, допущена некоторая свобода исповедания. Все эти улучшения без сомнения предпринимались в духе христианском и между тем представляющая христианское начало в обществе власть духовная никакого участия во всем этом не принимала. Можно ли указать, в каком добром общественном деле в России за последние два века видно было деятельное участие иерархии? Кто же виноват после того, если все эти добрые начинания мирской власти, лишённые высшего руководства духовного начала, не привели к положительным результатам и, разрушая зло, не создали добра? Кто виноват, что народ, освобожденный государством, но не находящий достаточного руководства со стороны церкви, предоставлен собственным темным инстинктам? И что же мудреного наконец, если в этом народе те, у кого духовная потребность сильнее, идут в раскол, а у кого слабее — в кабаки» (стр. 216).

Вот слова, честь произнести которые никогда не принял на себя Достоевский. Мы заметили о малом и преднамеренно малом критицизме его в отношении духовно-религиозных наших дел. Как могущественно умел он критиковать наш либерализм; критиковать идею «муравейника», которую рациональным путем разрабатывают социальные реформаторы. Ну, что же: слабые делают небольшое дело и безуспешно. Но доброе начинание в них есть; но добрый мотив живет в них. Обрушиваясь с язвительным своим сарказмом на них, отчего Достоевский не направил равного сарказма на людей больших мистических задатков, лежащих колодою? Между тем Соловьёв уже по размерам своего таланта более сотрясал нервными криками воздух, нежели производил могучее действие на общество, каковое мог бы произвести по размерам своего таланта Достоевский. За

последним отчасти потянулась печальная тень человека застоя. Несправедливая, неосновательная, но в создании которой он сам несколько виновен. Его пресловутое учение о «личном подвиге», о «нравственном личном усовершенствовании» возвращает к пережитым образцам Феодора Иоанновича, не спасшим Россию и в свое время, но которые в свое время были по крайней мере искренни, а к концу XIX века утратили и это свое качество. От Достоевского не пошла фактически, но очень могла бы пойти сильная его защита и санкцию струйка общественного ханжества, хныкающего «личного спасения» при абсолютном равнодушии к тому, что делается в мире. «Моя хата с краю, ничего не знаю» — эта формула, лежащая проклятием на русской земле, чего доброго развернулась бы как штандарт русской земли. Да к этому прямо и звал Достоевский как к «оригинальной и новой миссии русского народа в истории», как к «неслыханному идеалу» Зосимы — Татьяны — Алеши Карамазова, трех русских «угодников». — «Вы что, миленькие, делаете; ведь в поле неурожай, по деревням где цинга, где сифилис, где проказа?». — «Воздыханием, миленький, спасаемся; воздыхаем о мире и о грехах мира и об наказаниях, за грехи на него насылаемых, в виде цинги, сифилиса, проказы и неурожая. Это язвы египетские»... «Да нет, тут бы лекарства надо, для полей — навоз, а против засухи — орошение». — «Суета, миленький, все: ничего от этого не будет; гнило все, и навоз, и лекарство, и орошение; суета и мудрость века сего, от вселившихся в мозг бесов идущая». Хорошо, что никто не послушался положительных идеалов Достоевского. А то вздохнул бы он, заохал бы в могиле.

Но и жесткая критика Соловьёва имеет в себе недостаток упрека, а не разъяснения.

Духовенство во всем его огромном составе имеет неотложное и ежедневное дело: просто — совершать литургию, исповедать умирающего, а в лице высших иерархов — прочитать со вниманием несколько десятков ответственных бумаг и положить на них «резолуцию». Предположим, что Соловьёву, багаж которого заключался в крылатке, вдруг передано было бы, да под строжайшую и не снимаемую ответственность, обширная 1) писчебумажная фабрика, 2) типография, 3) газета с казенными объявлениями и программой защищать всяческое status quo. Можно быть уверенным, что войдя «честно» в это неизмеримое хозяйство, он не написал бы ни прелестных своих стихотворений, ни большинства своих трактатов. А если бы его стали за это упрекать, что вот «человек с такой душой и талантами» все подписывает конторские счета и делает только помарки на чужих статьях, он только вздохнул бы. Так и духовенство русское, и иерархи русские могут только вздохнуть, прочитав справедливые его укоры и критику. Просто — тут функции разошлись. Иерархи и духовенство суть огромный костяк, скелет, придающий: 1) твердость и 2) определенную форму и вид телу «христианства», но отнюдь не составляющие в нем кровообращение, дыхание и особенно игру воображения. Увы, железный закон «разделения труда» действует и здесь. Первые иерархи московские, как и первые подвижники христианства, были и мучениками, и героями, и поэтами, и философами, — потому что на безлюдьи им было когда и геройствовать, и поэтизировать, и любомудрствовать. Не осложнялось тело «христианства» в сложную фабрику; вся Москва была величиной в 2—3 губернии, все были безграмотны: пророчеству и вещай, обличай Грозного — и умирай за приличие. Но в наш век митрополит Филарет, человек ума огромного, все уже как-то отписывался; и горечь сердца, как и молитва ума, разве-разве когда скажется у него то более одушевленной строкою, то более язвительною, в каком-нибудь «годовом отчете о состоянии епархии» или в ответе на запрос Синода о расходовании какой-нибудь статьи «сметы». Светило церкви, бесспорное светило, больше похож был на директора духовной канцелярии, нежели на праведника и возможного мученика.

Таким образом критика, которая была бы основательна в XVI в., бессильна и неосновательна в XIX веке. «Закон разделения труда» царствует и в церкви; как законы физиологии, голода и жажды, были действительны даже для нашего Христа. И он говорил:

«Жажду». И церковь сейчас может сказать о себе: «Алкаю, — и не вижу, чем насытиться». Навсегда горестным останется, что духовенство во всем своем составе превратилось в «служилое сословие», не оставив в себе контингента лиц, имеющих... багаж ответственности и нужд не тяжелее соловьёвского. Нет теперь духовного лица — не официального. Это и есть тот червь, который точит моральное могущество церкви. Посмотрите, как могущественны на Руси «старцы», которых всего 3—4 на Россию, а их значение народное, национальное едва ли не превышает значение митрополитов. Зависит это просто от того, что «старчество» есть явление, неизвестно откуда начавшееся и как существующее. Возведите вы старца хоть в сан «игумена», напишите для старчества «устав», расширьте их обязанности и права, и значение его моментально сравняется с нулем. Церковь потеряла свою силу и авторитет нравственный от «уставности». Ее задача, до известной степени задача сохранения мирового значения своего, лежит в создании внутри себя контингента лиц, которые будучи бы духовными по постригу, тем не менее не занимали бы никакой должности. «Старцы» все-таки суть только «советники» на ухо; их значение велико для единичных душ, но равно нулю для России, как страны, как картины истории. Они все же не выражают собою громко и слышно совесть церкви. Да и никто ее не выражает, откуда и является у многих подозрение, что ее вовсе нет, — на что в сущности, хотя в иных словах, сетует и Соловьёв.

Иногда такой голос появляется уже посмертно... в мемуарах. Такова знаменитая «Книга бытия моего» монаха Порфирия Успенского, такова напечатанная за границей Погодиным «Записка о состоянии сельского духовенства» священника Беллюстина. Свободный голос человека, если он принял сан, вырывается... из могилы или за границей. Прочее все — условно, а потому и не производит действия, как заготовленное слово, а не как вырвавшееся слово. Мы иногда говорим о бесконечном авторитете папы над католическим духовенством, о порабощении там совести, об условном молчании: но у нас всего этого еще больше, только там это выразилось в царственно-красивых формах, а у нас в каких-то приемах лакейской и кухни, в робком молчании раба перед помещиком, канцелярского служителя перед томом «Устава о службе гражданской». У нас решительно каждое лицо, вплоть до самых высших иерархов, подавлено и раздавлено то другим лицом, то своим «саном», «должностью», «постригом» и «обетами» до такой степени, что это есть уже тень ходящая человека, а не человек. «Сие творите в мое воспоминание»... как бы говорит о себе эта раздавленная тень и целый сонм теней, который проходит в истории и быте бескровно, немо, как хоровод призраков в опере.

*Варианты гранок НВ
(не имеют деления текста на разделы)*

Стр. 155.

- ^{11–12} — бывший при жизни в некотором духовном подчинении ему, / *нет.*
- ^{13–14} — В третьем томе ~ первые шаги этого расхождения. / *нет.*
- ^{14–15} — основные его побуждения? / причины этого расхождения?
- ²⁸ — более проблематичны остальные. / проблематичны остальные.
- ²⁹ — этой экстаической любви, / этой хаотической любви,
- ³¹ — Достоевский преодолевал / он преодолевал
- ³² — потоками психического света / брызгами психического света
- ³³ — тоже разламывал / смешивал
- ³⁴ — снова чувствовал / снова видел
- ^{34–35} — даже в самом зле их. / в самом зле их.
- ³⁵ — В секунду ~ его лично, / В секунды этой «гармонии, его личной,
- ⁴¹ — имя Достоевского, / *далее:* всего «доброе Достоевского»,

Стр. 155–156.

⁴²⁻² — в отличие от других ~ «Братья Карамазовы»). / в отличие от разных «анти-тез» современной ему культуры, развитых в других и более мрачных его томах, в «злом Достоевском».

Стр. 156–157.

³⁻⁶ — Состав этого «белого луча» в «темном Достоевском» ~ и... напр., лесною Русью. / *нет.*

Стр. 157.

⁸⁻¹⁵ — Соловьёв весь проникся идеею ~ ломоть свежеепеченного хлеба. / *далее:* Хорошо. Так. Но великое обязательство влечет за собою великое исполнение. Кто богат, тот платит по векселю. Вот этой уплаты Достоевский никогда и не мог произвести, а Соловьёв, в расхождениях своих с ним, был похож на не очень даровитого, на не очень симпатичного судебного пристава, который с документом в руках все бродит около богатого дома и никак не может добиться, чтобы хоть открылась в нем форточка и подали оттуда ломоть свежеепеченного хлеба.

¹⁷⁻²⁰ — И в этом печальном признании ~ Он «молился на паука...». / *далее:* Соловьёв и звал его оказать любовь «вблизи».

²¹⁻²⁶ — Пусть это недостаточный человеческий тип ~ Но он не бросил и «луковки». / *нет.*

²⁶⁻²⁸ — Он накидал фигуры ~ из поляков («Братья Карамазовы») / Достоевский накидал фигуры двух шулеров и альфонсов из поляков

³¹⁻³⁵ — где сравнивались три церкви ~ «которая везде на Западе утрачена». / кончая ее отвержением протестантства и католичества и возвышением нашей русской веры, я набросал картину, лично и конкретно мне известную, как простые русские люди молятся в безвестной церкви с такою теплотою и простою веры, «которая везде, кроме России, утрачена».

Стр. 157–158.

³⁵⁻⁷ — Прежде всего я списал это с того ~ неужели вы думаете, их нет в протестантстве и католичестве? / Подчеркиваю эти слова, потому что в них заключается смысл всех длинных моих рассуждений. — «Ах, В. В., — покачал мне головой Н. Н. Страхов. — Эти старушки везде есть».

Стр. 158.

⁷ — Поезжайте в Шварцвальд, в Тироль; да что...». / Пойдите вы в уединенные местечки Шварцвальда, в Тироль, в Альпы... Да что!..».

⁸⁻³⁵ — В словах этих, сперва механически мною выслушанных ~ а не граница человечества, преемника Адама. / Промолчал я на его слова, но неизгладимо они мне врезались в душу, и через много лет подействовали. В самом деле, простые и верующие люди везде есть, в протестанстве, в католичестве, и след. (объясняю дело формулой), знаменитый стих Тютчева, что вот «всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя», неистинны не в том смысле, чтобы в них была сказана неправда, а в том, что эта правда есть сокровище не Ивана и Марьи русских, но и Фрица и Амальхен немецких, и Готфрида католического, а, пожалуй, совершающего себе какой-то дикий «намаз» татарина. Ореол славянофильства через эти слова разлетался, как пыль. Еще помню, в этой же категории исключительности идей одну почти только улыбку Страхова. Затворяя как-то за мной дверь, он придержал ее и говорит: — Да, ведь они, католики, кому поклоняются... В ту пору я писал

нападки на католицизм. — Как кому? — остановился я. — Простонародье наше говорит, что «католики» происходят от слова «кот» и что так называются они оттого, что молятся не Богу, а ободранному коту (кошке). Притворите покрепче дверь.

Я догадался, что в излишествах «русизма» дохожу до этого «упрощения» народного во взгляде на чужие веры. Я только улыбнулся и упрямо ответил: — Да, именно коту.

37–38 — В спорах того времени ~ полемикою с Соловьёвым. / нет.

40–41 — потерявшая силу, / потерявшая зубы, силу,

41–42 — которая никого / которая никого-то

Стр. 159–160.

13–4 — Между тем Соловьёв (чего я не рассмотрел) ~ его «орега omnia». / Тогда, помню, я написал и обращение на «ты» к Толстому, по аналогии нападок на Соловьёва. Всё — защищая «старушку». — Медленно, по капле, стала заползать в меня мысль, что такое полное исключение «обид», снятие «горечи с мира» есть более слуховое и зрительное впечатление от слов, где, правда, говорится всё только положительное и в положительном смысле, где никакого гнева не раздается, перед чем все люди одинаковы: но ведь потому, что все эти люди в данный момент слушания этих благих о себе слов склонены перед ними ниц, и, словом: что «старушка», идущая по улице, потому и тиха и благостна, что улица широко и далеко перед нею расчищена, изготовлена, пуста, что в ней — ни задоринки, ни прекословия. А попробуй-ка кто-нибудь попрекословь — и из тихости раздадутся громы; шварцвальдские старушки потребуют костров и инквизиции, а наша русская — поднесет зажженную лучину к родным «срубам». Словом, сквозь штиль души — я не разглядел возможных душевных бурь.

Но это — уже очень поздняя догадка, не тех лет, о которых я пишу. Несомненным у Достоевского остается, что его «гармония» была без уплаты; и что роковое слово: «Я не мир принес на землю, но меч и разделение», при первоначальном: «Да любите друг друга — по сему узнают, Мои ли вы ученики», сказало в нем с яркостью, как ни в ком еще, сказало в нем с цельностью, как и во всемирной истории. В самом деле, всё начиналось любовью — у него и извечно у христиан; а кончалось всё «ссорою и разделением», то же у него, как и вообще у христиан. Дело дошло до поляков: «Уплатите, Федор Михайлович, что-нибудь из гармонии». Нет уплаты. То же — о католиках и протестантах. Кончилось абсолютным исключением вер, народностей, полным расчищением улицы перед «грядущею старушкою», запустением, пустынею.

Вспоминается рассказ: «Тогда поведен был Иисус от Духа искущаться „в пустыню“». Идеал «всемирной гармонии» Достоевского лопнул на пороге же; ибо что это такое за гармония, когда устами же Достоевского потребовано... «всё, все царства земные и славу (счастье) их получишь в награду, если падши, поклонись мне». Получишь «мировую гармонию в сердце», «помолишься со мною пауку», «всякий листочек обლობызаешь», если... проклянешь себя, свое прошлое, свое родное и примешь в себя одного меня, Федора Михайловича Достоевского.

Как-то я заметил, что великие идеалы иногда кончаются великою низостью, пропастью, а пропасть, точно выпирая изнутри, преобразуется в гору, становится горбом, ведет точно к небу. «Мировая гармония» Достоевского кончается всемирной злостью; как и в истории, у христиан, всё по-видимому началось «раздвижением обетований Израилю» на все племена земные, при-

зывом всех языков и народов на «вечерю Агнца», но на пороге же этого призыва задымился развалинами Сион, и дальше, больше — «восстал брат на брата», «золовка на свекровь» в правовых историях Франции, Италии, на полях Германии в 30-летнюю войну, у нас — в маленькой хронике родных дел.

Всё это очень трудно сообразить, окинуть взглядом, а уж добраться до корня этого — и прямо невозможно. Как в Вавилонской башне — смешались языки, и люди не понимают друг друга и не умеют произнести ничего, кроме коротеньких: «Отрекись от себя и перевоплотись в меня». Все требуют, чтобы «брат» его уничтожился: это есть условие «гармонии» его «ближнего», который тогда полюбит этого самоуничтожившегося ближнего как повторение своего «я». Знаменитая (у Достоевского) «способность русского перевоплотиться во все нации, веры, культурные эпохи» окончилась яростным порывом, жестоким требованием, чтобы все «умалившись — влезли в русское обличье», почти до усвоения манер и колорита быта. Скромная старушка, среди пустынной улицы, в темных переливах лица и глаз засветилась Торквемадой.

Стр. 160.

- ⁶ — К сожалению, Вл. Соловьёв ко всем великим запутанностям / Вл. Соловьёв ко всем великим запутанностям
- ¹⁰ — хоть перевоплотиться на первый раз в католика. / *далее:* даже не совсем, а чтобы хоть настолько, чтобы не чувствовать ненависти и вражды к великой братской церкви.
- ¹² — упадок авторитета. / *далее:* Он не только ничего не достиг, но, до известной степени, разбудил в самих русских чувства весьма католического свойства, как они обыкновенно приписываются католикам.
- ^{12–13} — Но нельзя не признать ~ не было у Достоевского. / Но у Соловьёва, пожалуй, было то, что было у Страхова и чего вовсе не было у Достоевского.
- ^{24–27} — Роль стратега ~ и со всеми примиренным. / он — действительно не переставал быть несколько русским и православным — делал только попытки заставить сговориться и понять друг друга людей у подножия Вавилонской башни. Вообще он был глубоко *нравственно* прав в этот последний период своих литературных злоключений; и только достаточно не рассмотрел, как «черно на сердце» у поссорившихся старушек; не рассмотрел и зияющих расселин в «гармонии» Достоевского...
- ^{29–30} — во всяком случае неумело начатого дела. / *нет.*
- ³² — крайне неудачно. / крайне неумело.

Стр. 161.

- ^{8–15} — Все начинается у него с великих примирений ~ просится на всемирную выставку. / *нет.*
- ^{15–21} — Наши односторонности 80-х, 90-х годов ~ как его «тезис». / Наши консервативные кувыркания за последние годы очень и очень объясняются и старцем Зосимой и Алешей Карамазовым.

ИДЕАЛЫ СКРОМНЫХ ЛЮДЕЙ

Варианты гранок

Стр. 166.

- ¹⁵ — этот вопрос / этот крик
- ^{29–30} — когда в воздухе как-то все серее, а на душе все тяжелее, когда выдвигается / когда на Руси все тяжелее, и выдвигается (Л. 2).

Стр. 167.

¹⁵ — Грустна Русь. / Грустна Русь. Тяжело на Руси. (Л. 3).

³³ — и всяческого. / и всяческого. Ну, что Вена за город и немцы за народ, но по мне случай и не могу не передать его, как исключительный по доброжелательству. Мне надо было спешно, непременно справиться о письме на главном почтамте, и на площади Св. Стефана я спросил бессильно: «Poste?» Прохожий, к которому я обратился, видя во мне иностранца, махнул рукой («иди») и сам пошел. Прошли улицу, он куда-то ткнул рукой, что-то пробормотав, но я отчаянно замотал головой, давая знать, что ничего не понимаю, а мне надо «Poste». Он покивал головой; опять указал рукой идти и пошел со мною, очевидно бросив свое направление и уже идя для меня. Прошли немного улиц, он шел впереди и быстро, и наконец снова остановившись, стал что-то очевидно близкое указывать и разъяснять, но я еще отчаяннее замотал головой, повторяя единственную выученную на родине фразу: «ich verschtee nicht» (я не понимаю). Опять он махнул рукой идти за ним, пошел еще быстрее и привел меня вплотную к «Poste Generale». Вот доброта. Кто знает расположение Вены, знает, что от площади Св. Стефана до главного почтамта очень далеко, и добрый немец абсолютно без всякой для него необходимости, просто чтобы вывести из затруднения ему ненужного человека, прошел по крайней мере уж $1\frac{1}{2}$ версты лишку для себя, так как, показав мне почтамт, он не продолжал идти далее, а пошел назад, по пройденному пути.

Позволю себе оставить это маленькое воспоминание, ибо доброго человека всегда следует помнить и даже рассказать о нем, так сказать для увеличения общечеловеческого оптимизма. Кстати уж упомяну и одну добрую старушку во Флоренции. Был канун моего отъезда и я отыскивал последнюю церковную древность, на которую хотел взглянуть — часовню Медичи, с знаменитыми надгробными статуями Микель-Анджело. Но я запутался в улицах. Знаю, что близко, а не знаю где, и вот бредет старая-старая старушка. — «Dove la chiesa di Medici», спрашиваю ее. — «La chiesa di Medici», — переспросила она и указала на видневшуюся площадь. Она была недалеко. Я пошел, но дойдя — растерялся, увидев, что от площади три улицы, и так как церкви не было видно на площади, то очевидно она находилась на которой-то из трех, отсюда начинавшихся улиц, но на которой? Бессильно я двинулся наугад в одну из улиц, когда вдруг меня кто-то тронул за рукав. Оглянулся и опять вижу старушку эту, бодренькую, веселую, живую. Она указала мне другую улицу: «La chiesa di Medici». Таким образом она сообразила, что я могу ошибиться в выборе улицы, вернулась к площади, проследила, куда ли я пойду, и при ошибочном направлении — догнала и поправила. Вот доброта, чистая, бескорыстная, неутилитарная. И везде за границей более всего меня поражала эта неутилитарная доброта, вытекавшая просто из расположенности человека к человеку, единственный раз видимому и никогда более не имеющему встретиться. Ласковость нравов, солнечный луч в душе.

Перевалив сюда (на родину) я более всего и был поражен исчезновением этого луча, как главным наличным фактом, неоспоримым, без возражений, и уже не видел возжжения этого луча собственно нигде на улице, в городе, в дороге; нигде иначе, как у себя дома или среди друзей. Там, за границей, уже, по видимому, большая общественная жизнь сложилась, сваялась, скрепла до какого-то родства всеобщего, всеобщего дружелюбия; тогда как мы все живем страшно одиноко и разрозненно. Живем угрюмо и печально, недоверчиво и подозрительно. Как тот одинокий «чин» на длинной-длинной лавке, который поразил меня на Границе (имя станции).

³⁵ — от несчастья. / от несчастья. Чему радоваться на Руси? (Л. 4).

³⁷ — а / и

³⁹ — спокойно? И вот мы все / спокойно. Конечно, тут нет причины застрелиться, похудеть, перестать обедать, но если кто спросит: «А где, скажите, пройти в главный почтамт, по Садовой или Невскому?» то в ответ невольно закричишь: «Э, убирайтесь вы с почтамтом, у нас центр пересыхает». Так что мы все

Стр. 168.

³² — 25-ти / 21 года

Стр. 170.

¹²⁻¹³ — гимназию. Она самоучкой / гимназию, она же так (Л. 6).

³⁶ — у N. / у Пети

³⁷ — Брат пишет / Петя пишет
его жена / Катя (его жена)

³⁸ — новорожденную / Надю

⁴⁰ — дочкой / Надей

Стр. 171.

⁴⁻⁵ — именно несколько ~ Некрасове / именно так называемого «нигилистического сношения», для нас наука и поэзия сомкнулись в Бокле и Некрасове

Стр. 172.

²⁹⁻³¹ — сказались. Может быть ~ дробные. Я думаю / сказались. Я думаю

³¹⁻³² — труда, не преувеличенной народности / труда, народности

1903

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ И «УТИЛИТАРНАЯ КРИТИКА»

Варианты гранок

Стр. 205.

¹⁴⁻¹⁵ — политеистические / номитеистические

³⁵ — осень / весною

Стр. 206.

⁵⁻⁶ — Хорошо, что хоть догадались юбилейно помянуть Некрасова / Может быть, пришло время вспомнить и Некрасова

⁶⁻⁷ — забытого в течение долгих лет / забытого, и неосновательно забытого

¹⁸ — В самом деле, нельзя же маленькие / Позвольте, нельзя же сапоги ставить выше Шекспира и маленькие

²⁸ — идеалам / мечтам

²⁹ — «утилитарная»... и не помешала / «утилитарная», а не помешала

³² — они никого / никого-то они

³³ — никого / много

Стр. 207.

¹¹ — ведь они были и великими / ведь и они были великими

¹⁹ — позднейшие / в то время

- ³⁰⁻³¹ — не придумывая, а наудачу назвал / не придумывая назвал
³⁵ — Гегеля / Гоголя
³⁶ — а параллельно детей / и детей

ЗАМЕТКА О МЕРЕЖКОВСКОМ

Варианты гранок МИ

Стр. 208.

- ²⁵ — Кончая в одной из книжек «Русского Богатства» / Кончая в только что вышедшей книжке «Русского Богатства»
³¹⁻³² — грустно, что в юбилейный год литературной деятельности Толстого, когда будет / грустно, что в день 50-летнего юбилея литературной деятельности Толстого, — в день, когда будет
³³⁻³⁴ — и самого трудолюбивого критика / и самого трудолюбивого его критика
³⁵ — награждается бранью / нарушается бранью
³⁹ — В 1901 году Мережковский / В прошлом году Мережковский

Стр. 209.

- ³ — встретившись с Мережковским / встретившись в курильной с Мережковским
⁵⁻⁶ — представляет такой великий религиозный факт / представляет такой (т. е., великий) религиозный факт
⁸ — Толстой — русский Микель-Анджело или Леонардо-да-Винчи / Толстой — Микель-Анджело или Леонардо-да-Винчи русский
¹⁸⁻¹⁹ — менее всего известна: нравственно доброй и простой / менее всего известна; нравственно добрый и простой
²⁰⁻²¹ — критика, — вообще / критика: вообще
³⁷⁻³⁸ — я никогда не дочитывал до конца / я никогда не дочитывал ни до конца, ни даже до середины

О ПИСЬМЕ гр. С. А. ТОЛСТОЙ

Варианты гранок НВ

Стр. 212.

- ⁵ — Тут особенно постарались французские писатели / Тут постарался когда-то Золя, со своею «Нана», обошедшей всей европейские литературы; тут много дал своего Мопассан; взял совершенно неверный угол воззрения Достоевский.

ЕЩЕ О «60-Х ГОДАХ» НАШЕЙ ИСТОРИИ

Варианты гранок НП

Стр. 213.

- ¹² — с железным Вием / с телесным Вием
¹³ — «невидение» 60-х годов / «невидение» 90-х годов
¹⁷ — это катаракт на глазу / это катаракта на глазу
²² — гражданской — дел / гражданской: дел

ШАЛУН НАШЕЙ ПРЕССЫ

Варианты гранок НП

Стр. 214.

- ² — «защищаться» / защищаться
- ⁵ — сейчас отличается / сейчас будучи великолепна, по крайней мере «в приглядку» (известно, что мужики, не имея сахару, пьют чай «в приглядку», т. е. только взглядывая на лежащий перед самоваром общий кусок сахара), отличается *эмпиризмом* / эмпиризмом
- ⁸ — с собою эмпириков нашей / великого эмпирика
- ²⁷ — о деле / в деле
- ³⁰ — «Русского Труда» / «Русского Дела»
- ³⁴ — интерес, будучи, для меня / интерес бывши для меня
- ³⁵ — для самого г. Енишерлова / для г. Енишерлова
- ³⁶ — имеют всю ценность, / представляют ценность,
- ^{37–38} — ни в «Русском Труде», ни в последующих «Оттепелях», «Слякоти» и «Дожде», которые / ни в «Русском Деле», ни в последующих «Оттепелях», «Весне и Осени» (оба слова *загеркнуты синим карандашом и вставлены на полях: «Слякоти», «Дожде»*), которые

Стр. 215.

- ¹ — слишком частного / исключительно частного
- ⁷ — ответил он мне / ответил мне
- ^{20–21} — как это я и просил своего корреспондента сделать. Но и никакого / как это я просил своего корреспондента сделать. Но никакого
- ³¹ — Просто С. Ф. меня замучил / Но С. Ф. Шараров положительно меня замучил
- ^{32–33} — нежелание возратить и еще / нежелание его возратить ее
- ^{33–35} — «засунул». ~ наконец, прямо сознался, что искомая / «засунул». Но в письме, ниже приводимом, дал, наконец, мне в руки документ, что искомая
- ^{36–38} — Письмо было исполнено, ~ которые, с очевидностью, освобождают нашего Вениамина от подозрения: / Письмо исполнено живописных подробностей, которые, мне думается, освободят его от подозрения:
- ³⁹ — в его мешке. / мешке; а с другой стороны — мог ли он исправить русскую финансовую систему:

Ваша Гневность!

От Енишерлова не имею ничего. Писал ему. Как получу ответ, так и распоряжусь. *Письмо нашел* (мой курсив. В. Р.), разобрал до фундамента свой архив. *Возвращу немедленно* (мой курсив. В. Р.), по получении письма, буде прикажет (т. е. если Е-в даст распоряжение в письме. В. Р.).

Вы стесняетесь называть меня другом. Конечно. Другом моим Вы могли быть только в качестве скромного, глубокого сосредоточенного мыслителя. Автора «О понимании». Но в Вашем нынешнем уборе (в письме сказано несравненно грубее. В. Р.), хотя и окруженного влиянием, Вы, разумеется, моим другом быть не можете. Дело в том, что Вы изменились, а не я. Я иду *вперед* (его курсив. В. Р.), Вы же, топчась на месте, даже и не подозреваете, куда отнесло Вас течение. Я еще не видал человека, которого не засосал бы фельетонизм и искренно оплакиваю Вас, как мыслителя и философа.

Защищать меня не трудитесь. Неужели Вы серьезно думаете, что я *могу* продаться. Т. е. начать за какие-либо блага кривить душой и служить пером? Жалею о Вашей близорукости.

Сочинения мои я давно велел Вам посылать. Справляюсь – забыли. Распорядился. Да на что они Вам. Разве Вы способны учиться, читать, углубляться в новую область. Разве живая Россия с ее нуждами Вас интересует?

Разверните, однако, «Урожай», понатужтесь и пробегите статью «Поднятие земледелия и валюта». Писано для детей и т. Советников. Если Вам эта статья ничего не скажет и не шевельнет никаких чувств за Родину (отечество везде Ш-в пишет с большой буквы), то уже придется Вас совсем считать в черной рамке, на 1-й стр. Вашей газеты.

А между тем знайте. С момента моего свидания с Витте в апреле я уже перевернул его политику на 180. Он должен идти за мной, хоть и брыкается, и упирается. И пойдет. Вы и не подозреваете, как я владел общественным мнением и какую гигантскую работу сделал!

Ну да что об этом толковать! Из всех глухих самые глухие те, кто не хотят слушать.

Черкните мне, есть у Вас «Самодержавие и Самоуправление»? Если нет пришло (берлинское издание).

Ваш (если хотите) Шарапов.

- 40–43 – Но, при всем удовольствии от зрелища невинности и необыкновенных «успехов» С. Ф., мне-то было так же грустно, как Чичикову, когда ему показывали лошадей Ноздрева, т. е. конюшни, в которых когда-то стояли прекрасные лошади, но не подъезжала ни бричка, не входил никакой знакомый, / Так писал Агамемнон. И мне было так же грустно, как Чичикову, которому показали лошадей, т. е. конюшни, в которых стояли лошади, щелкая с замечательным шиком, — но не подъезжала ни бричка, ни входил никакой знакомый,
- 44–45 – хозяин уже раскуривал знаменитый черешневый чубук. Покупателя мертвых душ от дружеского чубука Гоголь спас исправником; / хозяин с черешневым чубуком, уже придвигал знаменитую шашечницу. Чичикова Гоголь спас исправником;

Стр. 216.

- ³ – во-1-х, найденной С. Ф. Ш-вым, / во-1-х, очевидно, найденной С. Ф. Ш-вым
- ⁴ – Слова г. Енишерлова, / Слова Е-ва,
- ^{6–7} – а на мою оценку, совершенно расходящуюся со взглядом автора, они / а мою оценку, совершенно расходящуюся со взглядом автора (субъективная иллюзия), они
- ¹⁴ – 1903, февраль / нет

Г-Н МЕНЬШИКОВ И ЕГО ОБВИНЕНИЯ

Варианты рукописи

Стр. 218.

- ¹¹ – не поднять и не разобрать внимательно / не поднять и внимательно
- ¹² – мотив обвинений понятен / мотив поня<тен>
- ^{12–13} – бессилие хорошо себе усвоить / невозможность хорошо воспринять
- ^{15–16} – Я этого не понимаю. Стало быть — я не умен / Обвинение так поразительно по тону своему. Я этого не понимаю
- ^{19–21} – Я несомненно умен. Однако — этого я не понимаю. Стало быть, это глупо. / Я умен — однако этого не понимаю. Стало быть — это глупо.
- ^{24–25} – Построено оно очень элементарно. Есть детская игра, называемая: «В свои соседи». / Поставив *герный предмет*, без всякой связи с

- 25-26 — Каждый выбирает себе соседа, быстро перебегают к нему. Представим, однако, распорядителя игры, который / обратил бы эту игру, вывернул бы на обратное эту игру, на момент / принцип «соседства»
- 27 — заставил бы не выбирать его произвольно / сделал бы его принудительным

Стр. 219.

- 1 — делает какие-то пассы / делает какие-то гипнотизерские
- 21 — «благородные имена» / «хорошие слова»
- 27 — лицо, в них открываемое / лицо, в них было открываемое
- 28 — Теперь, как же вы узнаете, где это лицо? / Вы отвечаете <...> По поклонению?
- 42 — занимавшийся, но только / занимавшийся только,
- 44 — обычно изображен бес / обычно изображался бес
нарисованных там / в нем изображенных

Стр. 220.

- 9 — внешней / внутренней
- 11 — уверяя / говоря
- 12-13 — истинно преступными (в литературе, для литературы) ниже намеками на разврат. / истинно преступными ниже намеками на разврат.
- 14 «Возможна», а «не провозглашена» / «Возможна», а даже «не провозглашена»
- 14-15 — анекдоты / сплетни
- 15 — похоже не на историю, а на сплетню / похоже на сплетню
- 17 — осведомленность г. Меньшикова / осведомленность пуриста «Нов<ого> Времени»
- 18 — явлениями западного разврата / явлениями особенно<го> западного разврата
- 22-23 — он там был «из любопытства» / он там был «для»
- 24 — не совсем / несколько
- 24-25 — что из-за / что за
- 25 — погибли / были
- 26-27 — в глазах критического читателя / в глазах читателя причина
- 28 — скажет читатель: «ГМ... ГМ...» / скажет: «ГМ... ГМ...»
- 30 — но / а
- 34-35 — «гёзы» значит «нищие» / «гёзы» есть «нищие»
- 35-36 — наказаны / казнены
- 38-39 — как страшно обвинение / как оно ужасно

С. 221.

- 22 — в прениях / в доклад<ах>
- 22-23 — Л. Н. Толстого / Льва Толстого
- 32-33 — всем руководителям журнала тоже «кажется» / нам тоже «кажется»
- 33 — они в качестве судий имеют так называемого «кота» / часть нашей прессы попала в руки каких-то
- 34 — имеет «любовь» и играет «в любовь», но и кой чем от нее пользуется помимо любви. / посещает парижские лупонары, но и посещает их не без выгоды
- 41-43 — Перцов, Тернавцев, Мережковский, Егоров, Минский, Розанов и другие видные члены Религиозно-философских собраний / Мережковский, Егоров, Минский, Розанов и члены Религиозно-философских собраний
- 43-44 — вывел их на свежую воду в фельетоне / вывел их на свежую воду, достав в фельетоне

СЕРЬЕЗНЫЙ КРИТИК

Варианты гранок НП

Стр. 230.

- ^{16–17} — А между тем зародышевое биологическое начало пола / А между тем зародышевой Граафов пузырек

Стр. 232.

- ¹⁶ — Уничтожьте только это «биологическое начало пола», уничтожьте / Проткните только иглой этот «Граафов пузырек», проткните
^{33–34} — Мы возвращаемся к Пану: / Мы возвращаемся к Пану, Граафову пузырьку

СРЕДИ ИНОЯЗЫЧНЫХ
(Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ)

Варианты МИ

Стр. 238.

- ^{3–16} — Не без внутреннего стеснения, и имея в виду лишь пользу дела, ~ обильно читается духовенством

В. Р. / *нет*

- ^{21–22} — студеное время, то замерз, к жалости и удивлению газет, публики, родины и родных / студеное время, то публики, родины и удивлению газет, замерз к жалости родных

- ²⁹ — попавших в Мельбурн / *далее*: Сколько я замечал, у Мережковского есть истинно изящное отношение к славе, как и к бесславию. Он желает первой, но без всякой жадности; страдает от второго, но исключительно страданием за идеи свои, не насколько их отвергают, но насколько их не понимают или отказываются в них вслушаться. Так, показывая мне письмо из Мельбурна, он сделал это с простодушием, которого я не могу забыть. Тут все дело именно в мере: немножко больше удовольствия — и вышло бы тщеславие; немного меньше его — и можно было бы в авторе заподозрить желание скрыть свое волнение по поводу знака столь далекого и живого сочувствия. Но он был обрадован письмом, пересланным книгопродавцем из Лондона, как хорошею погодой или удавшеюся прогулкой: что-то глубоко *природное*, не преувеличенное и не уменьшенное, не распространенное и не сжатое было, в его удовольствии, — чистом, простом, краткотечном. Разговор сейчас же перешел на более серьезные темы: как и при хорошей погоде мы лишь на минуту выглядываем на солнце, на воздух и затем говорим без усталости на комнатные темы.

- ³⁰ — Помню, однажды, в сумерках вечера / Когда, однажды, в сумерках вечера

Стр. 239.

- ^{22–23} — собственности в мире, и это составляло глубокую / собственности в мире — «omnia mea tecum portabo» мог бы сказать о себе и небольшой сумочки просимых с собою книг этот духовный commis-voyageur — и это составляло глубокую

Стр. 240.

- ¹ — общественными вопросами — это отрывка Запада / общественными вопросами — это гниль, отрывка Запада
⁹ — Дионисовой». / *далее*: Да, Мережковский умеет быть беременным: но не умеет или (быть может) не хочет на глазах публики разрешиться от бремени.

Стр. 241.

- ¹⁶ — И нет ни одного взмаха кисти / И ни одного нет взмаха кисти
²¹⁻²² — «Святое святых» / Святая святых

Стр. 246.

- ² — на все уверения. / на все уверения Д. С. М-го.
¹⁵ — ни вдохновенья / и вдохновенья
⁴¹ — против Христа? Так что из собственных его стихотворений / против Христа;
 так что из собственных его стихотворений

Стр. 249.

- ²⁰⁻²¹ — Имена Тита и Кая, / Имена Тита и Сейса,
²³ — одну половину дела и продолжает о другой: / одну половину дела. И продолжает о другой:

Стр. 250–251.

Примегание архимандрита Мефодия отсутствует.

Стр. 252.

- ⁴³ — незакрытым окно. / *далее*: Нет «Адониса» — и нет величайшего благородства на земле, как эта смерть матери-мученицы, с ее предсмертным испугом. Напечатанная в газетах, она обожгла тысячи сердец, и сколько их согрела лучшими надеждами на человечество. Сколько вообще своеобразного идеализма она породила: И вот отчего «события» Влахерна забываются, становятся ненужными, а в мире (яко бы) «грешном и прелюбодейном» вспыхивают постоянно эти светочи идеализма, простого, житейского, на «страсти» замешанного и из «похоти» рожденного, которые питают сердца человеческие. Если бы собирать хотя за десять лет все мелькающие в газетах (а много ли до них доходит!) сообщения о случаях необыкновенной любви и самопожертвования, рождающихся из «страстного в человеке начала», мы получили бы вереницу рассказов, неизмеримо более трогательных, чем все рассказанные в «житиях» случаи. А если бывают падения, слабости и ничтожество здесь — были записаны они и в «житиях». Но, во всяком случае, исключите «шопот, робкое дыханье» из брака — и вы получите «Домби и сына». Вы получите порнографию, понижение идеала; получите плоскость и рационализм, вместо «таинства», хоть и назовете именно их специально «таинством». «Адонис» — он везде разлит: в мерцании звезд, глубине неба, вздохах любви, пламени героизма. «Адонис» — не имя, но именно «миф», т. е. прелестная сказка, однако, заплетаящая во всякую действительность и сообщаящая ей качества, по которым мы действительно не только переносим, но и любим. «Адонис» дает нам силы жить, даже до преувеличения. «Еще взойдет солнце — и еще проживу день», — говорит старик, *обольщенный* памятью вчерашнего восхода солнца, и всего продышавшего вчера дня. «Нет Адониса» — это дождь, непогодь. Это — снятие красоты и «обольщения» с мира. Это — не нравящаяся жена, опротивевший муж, несносные дети, не уважаемое госудаство; и, чтобы было понятно о. Михаилу: это — анекдоты-факты, им рассказанные из истории Византии, на место блистающей правды, которая могла бы сиять на их месте и тогда вызвала бы не *отвращение* наше к Византии, а очарованность ею. «Есть Адонис» — это, таким образом, *resumé* всего, влекущего нас к миру и удерживающего в нем, привязывающего к вещам мира сего. Не знаю, после этого определения захотел ли бы он исключить Адониса из церкви, т. е. сделать ее не только бескрылою, но и отталкивающею. «В этом узле заключена война или

мир», — сказал римлянин-воин в Карфагенском сенате, собрав в руку угол плаща. «Война», — закричали карфагеняне. И воин распустил свой плащ. Мережковский таким особенным образом подошел к своей теме, формулировал положение вещей, что сказать «война» ему едва ли не опаснее для противного лагеря, нежели заключить с ними мир. Хотя и заключить мир — это значит, прежде всего, перестроиться, начать все перестраивать, и притом от фундамента.

Стр. 253.

- ¹ — Бедный Филиппов, издатель «Научного Обозрения» / Бедный Филиппов, издатель «Образования» [*вытеркнуто название герными гернилами и корректорским знаком вставлено: «Научного Обозрения»*]
- ⁸⁻⁹ — в самой Англии никого не заинтересовала. / в самой [*корректорским знаком вставка: «никого»*] Англии не заинтересовала бы даже смазчика колес. [*«бы даже смазчика колес» вытеркнуто корректорским знаком*]
- ⁹⁻¹⁰ — Жалкая смерть «магистра наук» заинтересовала / Жалкая и глупая, хоть, конечно, грустная [*«и глупая, хоть, конечно, грустная» вытеркнуто корректорским знаком герными гернилами*] смерть «магистра наук» заинтересовала

Стр. 254.

- ¹⁸ — Филиппове, как он делал опыты и умер / умер *вытеркнуто герными гернилами без корректорского знака*
- ¹⁹ — Я хочу сказать, что Мережковский / Мережковский *вытеркнуто герными гернилами без корректорского знака*

ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ЗОЛЯ

Варианты гранок

Стр. 256.

- ²⁴ — нет ничего унижительного / нет ничего унижительного

Стр. 258.

- ⁷ — местом приключения своих героев / местом приключений своих героев
- ²⁰ — вышел гнил и зловонен, но не Золя / вышел гнил и зловонен, вина не Золя
- ²⁰⁻²¹ — В романах Золя, конечно, мало было и олеографии / В романах Золя, конечно, много было и олеографии
- ²¹⁻²² — Художник вырастал в нем, он писал истинно / Художник вырастал в нем, и он писал истинно
- ²⁷ — Ничего не видеть — / Ничего не выйдет,
- ³⁰ — приложениями к поэзии вне физического кабинета / приложениями к поэзии теорий физического кабинета
- ³¹ — который и нес в человеке и человечестве / который и взял в человеке и человечестве
- ³⁶ — и это составляет положительную в нем черту / и это составляет трогательную в нем черту
- ⁴⁰ — что он заработал сам плату / что он заработал свою плату

Дальнейшего текста нет в статье. Полосы перегеркнуты и помечены сверху надписью синим карандашом: «разобрать, оставив автору один экз.».

Загеркнутый текст полос совпадает с гранками на Л. 1—3.

* * *

Он умер за год до хилого Льва XIII, которого хотел увидеть и не увидел. Здесь, в желании видеть папу, сказались наивность и грубость простосердечного романиста, и мудрая уклончивость поседевшего в размышлениях и такте «святого старца». Папа понадобился Золя, конечно, не для разговоров, а как манекен для живописи, как редкий белый слон для зоолога: и папа, у которого аудиенция вовсе не так трудна, с понятным негодованием отстранил визит размашистого экспериментатора. Вспомнишь Фамусова:

Друг! Для таких прогулок
Нельзя ль подалее выбрать закоулк!

Золя был раздражен неглижорством к себе, великой литературной силе, и нарисовал, как святой отец кушает с ложечки полуостывший кофе. В самом деле, зачем видеть папу, — к чему так многие тщеславно и претенциозно усиливаются? Увидишь, конечно, слабого старика, пьющего кофе, т. е. ничего не увидишь.

Если б мне предложили, в волшебном фонаре или как-нибудь, увидеть обедающего Шекспира или играющего в карты Гейне, я отказался бы. Ничего не увидишь, кроме «господина NN» и карты или обеденный стол, т. е. я хочу сказать, что великого человека или великое положение вовсе нельзя рассмотреть в 5–10 минут, а можно было бы рассмотреть, следя за трудами его и волнениями, наблюдая из-за кресла за сгорбленной спиной, из-за ширмы за сморщенным челом, видя его перед аудиенциями или после аудиенций, а ни в каком случае не во всех их. Есть Грегоровиуса «История (средневекового) города Рима» — сходная по точности и великолепию с трудами нашего Забелина о московских царях и царицах: вот чтение этой книги и есть самая лучшая аудиенция, какой можно дожидаться, в Ватикане. Но раздражение Золя было до некоторой степени основательно, если не в личном отношении, то в общем. Встреча первосвященника и романиста... какой смысл, сколько содержательности здесь! Давно, давно уже роман впитал в себя всю литературу, оставив очень немного на долю поэзии и немного же публицистике. Появление великого романа, как у нас было с «Войной и миром» и «Анной Карениной», есть великое событие в Европе, куда превышающее самую удачную из энциклик. Энциклика есть произведение преднамеренное, «дипломатическое»; роман льется свободно: вот его неизменные преимущества. Роману все верят, энциклике верят некоторые, заранее подготовленные, которые в сущности уже и до энциклики были согласны со всем, что папа там напишет. Роман есть поток нового освещения, и чего?! — судьбы интимнейшей, волнующей каждого из нас. Роман касается таких подробностей жизни, бытия как оно есть, как этого не сумеет никогда коснуться священническое слово, всегда преднамеренное, почти умышленное. Роман — это «я», в священническом, первосвященническом слове «меня» вовсе нет, а есть только какие-то идейные условия, которые я могу принять или не принять: словом, что-то в высшей степени гипотетическое, а не реальное. Притом роман берет «меня», но именно не как вообще человека, а как определенного и неповторимого человека, и в условиях тоже столь конкретного существования, что, читая его, я кричу: «Мне больно», «мне радостно», «мне стыдно», «я счастлив». Вот этих живых криков, живого ответа себе никогда не дожидается первосвященническое слово, которое относится к человеку так схематично и обще, как «нанимаемая квартира» к «жильцу». Это — в смысле истолкования, разума себя. Но и в смысле поучительности, наставительности, моральности — великое литературное произведение навеивает лучшее на нас такими нежными волнами, в таких деликатных тонах, что перед этим вся моральная схоластика представляется какой-то ослиной челюстью в руках Самсона, вещь до того грубой и неделикатной, что мы не хотим ее слушаться, ей повиноваться. Вот почему когда встретился (или мог бы встретиться) Золя и папа, то это встретились бы учитель и учитель, регент и регент, значение и преимущества которых крайне спорно. И тут очень возможно, папа многого не взвесил. Показать себя, как манекена, конечно, папе нельзя

было; но отвести Золя комнату в Ватикане, дать ему пожить там, посмотреть из-за ширм, из-за спинки кресел, в тиши ночи и в раннее утро — это было можно, следовало. Золя и (общее) литература ведь есть, пожалуй, новое *Societas Jesu*: ведь иезуитский орден есть общество совершенно частного, по свободной инициативе начавшееся, глубоко автономное в самоорганизации, весьма мало стесненное какими бы то ни было формами; литература только еще «иезуитичнее» иезуитов, ибо это совершенно автономная и страшная сила, возникшая и имеющая расти в европейских обществах: сила универсальная по темам своим, задачам, по своему духу и о сформировании которой в теперешнем смысле и с теперешним значением три-четыре века назад ничего не было слышно. Мы немножко преувеличим (как в микроскопе) свою мысль, чтобы лучше оттенить ее; в то время, как кристаллизованные формы христианства, выковавшиеся в Риме, в Аугсбурге и других местах, несомненно, слабнут, тускнеют, привлекают к себе все менее и менее интереса, любопытства и даже повиновения, в это самое время, как бы во исполнение слов: «Дух дышит, идеже хочет», возникает христианство и вообще религиозность очень сильная, но аморфная, которая движется, не стесненная племенами, государствами, вне всяких границ и через всякие границы.

Литературу, как духовный мир, в ее подвижности и универсальности можно в отношении других духовных организмов сравнить с явлением торговли в отношении старой системы откупов, или с явлением *Cathedersocialismus'a* в отношении старых государственных систем. Диккенс — в свое время, Толстой — теперь, Достоевский — в возможном будущем, Вальтер Скотт или Байрон в начале XIX века имели и имеют столь громадное духовное влияние, и между прочим идеальное, воспитывающее, словом, «исповедующее» и «отпускающее грехи», «напугивающее» и «встречающее», что с ним не может идти в уровень, ну, хоть влияние предшественника Пия IX, каковое сейчас множество моих читателей затрудняется формулировать. А влияние Вальтера Скотта памятно и формулируемо сейчас и каждым.

Эту прекраснейшую землю сотворил Бог для человека. Пусть другие звезды населены ангелами: ангелом нашей планеты остается и останется человек. Пусть даже «павший». И мне думается, то в истории и поднимается выше, что наименее своекорыстно, наиболее самоотверженно служит человеку. Вот этого-то залога имеет в себе литература так много, как ничто другое. В ней много дурачества, показного тоже «эгоизма», бахвальства и всяческой вообще нечисти и ничтожества; но как-то это все не серьезно: а серьезно одно в литературе — служение «ангелу земли». Если мы возьмем даже таких, по-видимому, пропитанных эгоизмом людей, как старый Байрон и новый Ницше, то у них не увидим ли интереса к человеку, в сущности поглощающего и единственного. Да иначе как-то и не может быть: нельзя представить себе, как бы и для чего был литератор взял перо в руки, если б он не имел сказать человеку чего-нибудь полезного, укоряющего, утешающего и что особенно важно и где преимущества литературы решительно над всеми сродными явлениями — сказать это человеку абсолютно нетенденциозно, а абсолютно без всяких иных, кроме как о самом человеке, забот.

«*Servus servorum Dei*», подписал папа Григорий Великий, еще в самую раннюю пору только что зарождавшегося папства, под ответом своим константинопольскому патриарху, подписавшемуся под посланием «*Dominus dominorum Dei*». Счастливейшее слово, в ту минуту верно выражавшее подлинное настроение духа писавшего, было запомнено и вошло в формулу папства. Но, как хорошо известно, «*servus servorum*» — это, как говорится, не вытанцовалось в истории. Титул остался, но под титулом не было ничего соответствующего. Кончая говорить о писателе-ouvrier, так и хочется сказать: а почему бы ему, под «*Oeuvres complets*» своими, не написать, как писал Руссо, «*Citoyen de Genève*» — этот смиренный титул великого папы, но именно с подлинным смирением: «раб рабов господних — Золя». «Рабство», как «служение», может быть показное: раз в год омыть ноги принаряженным нищим. Но ведь Золя в самом деле всю жизнь ни о чем ином не думал,

как чтобы послужить «рабам Господним». Титул этот — *servi servorum Dei*, не соответствует ли в самом деле всему делу литературы: с тем счастливым преимуществом, что гг. литераторам как-то психологически невозможно изменить ему. Т. е. что титул этот не будет обмолвкой, усердно эксплуатируемой потом, а истиной, почти невольной для каждого пишущего. Как что-нибудь вне формулы этого титула, так произведение является «тенденциозным» и со скандалом проваливается. Таким образом, скандал и неуспех обеспечивают непоколебимую стеною точность и ненарушимость этих границ литературы: служить «павшему» человеку, утешая, исправляя, помогая ему, и вне этого не имея других определенных задач.

Ив. С. ТУРГЕНЕВ
(К 20-летию его смерти)

Варианты гранок

Заглавие текста гранок: *Один из последних рыцарей*

Стр. 259.

- ⁷ — Но это все знаки академического почтения. / Но это все знаки того академического почтения, в котором не отказано Батюшкову, Баратынскому, Огарёву или Герцену.
- ¹⁵⁻¹⁶ — прекратились томы его изящных творений / прекратились, не разрослись далее немногие томы его изящных творений
- ¹⁸⁻¹⁹ — была чрезвычайна. Хотя Тургенев / была чрезвычайна. Русское образование сейчас же потускнело, погрубело, как только закрылись очи этой высокой, прекрасной фигуры, обрамленной седыми волосами, с старым барским лицом, изжитой, исчезающей эпохи. Хотя Тургенев
- ²⁵ — Известно его великое уважение к Пушкину. / Известно его желание быть похороненным у ног Пушкина.
- ⁴¹ — Динамическое начало Руси / Деспотическое начало Руси

Стр. 260.

- ¹¹⁻¹² — у Достоевского, у Толстого — множество отдельных мест, которые не нужно перечислять за их общеизвестностью) / у Д-го, у Толстого — множество отдельных мест, которые не нужно перечислять за их общеизвестность,
- ¹⁶ — а местами Толстого / а местами и Толстого
- ¹⁹⁻²⁰ — где ткань книг вдруг прорывается / где ткань книги вдруг порывается
- ²⁸ — рисовки волнует вас, занимает. / рисунка волнует нас, занимает. Какое лицо из Тургеневских помнится так живо, в таких больших размерах, как Раскольников или Иван Карамазов?
- ⁴⁵⁻⁴⁶ — «Не горит этот феникс / «Не сгорит этот феникс

Стр. 261.

- ²⁻³ — универсальную по интересам душу / универсальную по интересам думу
- После ²³ / Мы назвали его одним из последних рыцарей. Он в самом деле был рыцарь и в слове, и в жизни и даже по главной теме своих трудов.
- ⁴⁴ — о любви, блаженной любви! / о любви, о блаженной любви!

Стр. 262.

- ³ — увлечет тебя за собою / увлечет тебя за собой
- ¹⁹ — кратким переживаниям ее / кротким переживаниям ее
- ²⁸ — обильную пищу ее пламени. / обильную пищу ее огню. Вероятно, не менее половины любовных драм и семейных несчастий происходит на той почве, что

мир без любви, столь часто распоряжающийся судьбою любви, ошибочно полагает, будто молодые люди, или вообще возможные «любовники», тогда наиболее подходят друг к другу, когда наиболее друг на друга походят. Между тем совершенно наоборот: любовь можно определить, как поглощение (сжирание, уничтожение) противоположностей, и ее факел тем долее горит, чем их больше. В 60-е годы эфирные барышни сходили с ума от нигилистов; а в то же время сами нигилисты наиболее к ним влеклись, отворачиваясь от стриженных «компаньонов». Обычное зрелище, что красавец муж имеет дурнушку жену, а красавица избирает мужем «чудище». Высокие избирают маленьких, маленькие — высоких; полные — худеньких, худенькие — полных; свирепые — кротких, кроткие — упрямохарактерных. Мы указываем на физиологические контрасты, как наиболее убедительные, схватываемые прямо глазом, но эти контрасты идут и в глубь характера и вообще тончайших черт душевного сложения. Любовь всегда начинается с борьбы. Единство, общность, сходство в первый раз встретившихся лишь есть залог их дружбы, мира, «уважения», но не более таинственного и пламенного чувства, которое мы называем «любовью».

²⁸ — 60-е годы и к ним ближайшие / Как мы уже сказали, 60-е годы и к ним ближайшие

³⁰ — вовремя. / *далее:* Думая и говоря так, мы не оцениваем нравственной силы любви, да и вообще эту сторону ее едва ли когда-нибудь занимались. Влюбленный — «герой», это всемирно признано. Между тем, что же такое «герой» и «героизм», как не состояние крайней идеализации, иногда превышающей средства и силы человека, который в таком случае делает «глупости», совершает бессильные порывы и часто гибель. Влюбленные вообще часто гибнут, в каком-то тумане; и, можно сказать, для хищного ловца нет более удобной жертвы, чем подобные «пары». Между тем, если где порок торжествует, а добродетель гибнет — то в этом случае. Состояние влюбленности или фаза «героизма», проистекающего от органических в сущности причин, есть фаза наиболее нравственного состояния из всех вообще, какие известны на земле. Если назвать основными категориями «дурного» (= зло, грех) ложь и злонамерение: то кто же не согласится с тем наблюдением, что два эти состояния души вовсе исключены из состояния влюбления, не умещаются с ним, так сказать, на одной площадке. Обыкновенный человек, который и не всегда говорил правду и иногда зложелательствовал, — когда встречает предмет любви и обожания, но только серьезного, настоящего, решительно на это время разучивается и лгать, и ненавидеть. Ничего нет невозможнее, так сказать метафизически невозможнее, как сочетать «год влюбления», «слезы разлуки», «восторг встречи»... с маленьким надувательством или «злой шпилькой» в разговоре. Но если это так — а это трудно оспорить — то не придется ли признать, что самым действительным средством исцеления человечества от пороков и преступности было бы не изобретение напр. одиночного тюрем, а изобретение (допустим миф, наподобие обращавшихся в рыцарские времена) «любовного напитка». Во всяком случае, был бы истинно дальновидным тот, кто предложил бы оберегать особыми средствами, особым предусмотрением эту драгоценную фазу жизни и этих драгоценных индивидуумов: я предложил бы избавлять их от всех государственных тягостей и общественных повинностей. В солдаты брать или взимать долг можно только с «разлюбившего» или «разочарованного»: ибо до этого юноша несет самую высшую государственную службу: очищает атмосферу всеобщего дыхания от заражения ее, каковое

производят решительно все, кроме влюбленных. Они — как сосновый лес среди фабричных труб: поглощают углерод и выдыхают кислород.

После 35 / Я позволил себе эту маленькую апологию любви, во-первых, оттого, что «никто не призрит» ныне на эту «рабу Господню», а, во-вторых, потому, что решительно невозможно говорить о Тургеневе, не вдумавшись в это, столь разработанное им чувство.

39 — как неумолимое исписывание / как неутомимое исписывание

Стр. 263.

14 — однако имеет и свою, / и имеет свою,

Стр. 264.

1-2 — В рассказах и повестях Тургенева мы / В рассказах и повестях Тургенева (кстати, он издал или дал образец в нашей литературе и повести, как Толстой создал или дал образец романа), в его повестях мы

7 — у художника слова дал / у художника снова дал

37 — одному золотому веку нашей литературы / одним золотым веком нашей литературы

Конец статьи / Сравнить только диалоги «Мертвых душ» и «Рудина» или «Дворянского гнезда», или монологи в «Дубровском», «Пиковой даме», наконец, в «Онегине» и «Герое нашего времени» — с монологами «Бр. Карамазовых», или психологию «Тамани» и «Белы» с психологией «Анны Карениной» и «Смерти Ивана Ильича». Мрамор уже не пентеликонский в позднейшей скульптуре; зато скульпторы сами столько переиспытывали, пережили, передумали, что рассказ их занимателен, как Колумбов, открывших новый свет и проехавших по новым, вовсе никогда не виданным морям.

1904

АМЕРИКАНИЗМ И АМЕРИКАНЦЫ

Варианты гранок НП

Название статьи в гранках затеркнуто.

Стр. 308.

17 — честные и временные (*опечатка*) / частные и временные

20-21 — говорить об европеизме, так можно говорить об американизме / ^а как в тексте ^б говорить об европеизме, так можно говорить об американизме

35 — старого геттингского (*опечатка*) / старого геттингенского

37 — каждое тысячелетие свою национальную церковь / тысячелетие каждая свою национальную церковь

Стр. 309.

11 — образует культуру / ^а как в тексте ^б образует культуру

13 — Деревня может быть культурнее фабрики / ^а как в тексте ^б. Деревня культурнее фабрики

16 — слабость наша, глупость наша / нет.

23 — отнюдь не отец его. / отнюдь не старшие его.

32 — на Mons Palatina / нет.

37-38 — За *это* они идут ~ свою веру? *отечество*? / За что они идут на Восток? За какую свою веру? отечество?

- ⁴⁰ — плоские прозаики / ^а безумные прозаики ^б бездумные прозаики
тоже реалисты / реалисты
^{41–42} — совершенно *однородной* цивилизации ~ совершенно *в их уровень*. / *выделения слов нет*.
⁴⁴ — *последнюю* минерализацию духа / *последнюю* минерализацию духа

Стр. 310.

- ² — (особенно японской) / [(я думаю — японской)]
^{4–7} — они *только* смотрят и шупают, *не задумываясь, не воображая*. Оба народа без *воображения, без творческой фантазии, без страшного чувства ответственности*, как показали американцы в войне с Испанией, / *выделения слов нет*.

СУДЬБА РУССКОГО УЧЕНОГО

Варианты гранок

Стр. 319.

- ¹⁵ — Судьба русского ученого / Злая татарщина
^{16–17} — Издан первый том задуманного Московским психологическим обществом издания избранных сочинений покойного своего председателя Н. Я. Грота. / Год да два назад, в одном из летних фельетонов, т. е. во время особенно глухое, когда все богатое, образованное и в частности все ученое разъезжается по деревням и за границу, мне пришлось сделать цитату в 3–4 строчки из вновь вышедшей книги одного ученого. Книга эта, откуда я взял сочувственно цитату, была, однако, общим духом своим неприязненно строю моих мыслей, или, что то же, я уже давно писал в духе, неприязненным автору этой книги. Ни цитате этой, ни самому фельетону особой цены я не придавал. «Так, между прочим». Ученый этот был первоклассный, всей России хорошо известный, и с душком, темпераментом, с борьбой в душе и перенесший борьбу в науку. Лично мне и в голову не приходило никогда становиться на одну ступень с ним, знатоком санскрита и халдейского языка, и вообще с человеком необозримой учености. Вдруг около 30 августа получаю с почты увесистую книгу, а вслед за ним сейчас же и письмо. То и другое — от автора цитированной книги. Сейчас я не могу отыскать письма, хотя бы следовало его цитировать. «Товарищ по кафедре, — писал приблизительно он, — передал мне, что вы цитировали меня в одном из летних своих фельетонов. Посылаю вам книгу мою (у меня уже был куплен ее экземпляр). Вы не можете предать, до какой степени печальна судьба наша, судьба людей, предпринимавших большие работы, издающих том за томом о любимой теме, имеющей всемирный интерес и на Западе имеющей о себе обширную литературу. Томы эти лежат в магазинах никем не спрашиваемые, никому не нужные. Не говоря о разборе вашего сочинения, — о нем не появится простой, в несколько строк рецензии; даже нет упоминания о выходе книги. Собственные объявления в газетах, какие делаешь, и есть единственная о них литература. Потерян, сведен на нуль труд ваш: а ведь каждая страница его — это вечер мысли, это справка в 10–15 книгах на 5–6 языках. Потерян труд; да что, — потеряны деньги, хотя бы на эти самые объявления, ибо с объявлениями или без объявлений книгу все равно не покупают. А печатание ее стоило 1½ тысячи рублей из профессорского кармана, который вы сами знаете, как пуст».

— Рецензия? — сказал мне задумчиво один ученый профессор философии на вопрос, чем могу я объяснить, что по выходе из печати моего первого труда «О понимании» на него не появилось в литературе даже рецензии: «Видите,

для того, чтобы дать рецензию за своей подписью, критикующий должен прочитать книгу. В ней, однако, сорок печатных листов. Это по крайней мере три месяца чтения, а за рецензию он получит тринадцать, много двадцать рублей. Таким образом, выгоднее труд поденщика. У критика, как и у автора, семья, дети. Время — деньги. И вот отчего о вашей книге не было отзыва, да и вообще они появляются о больших и серьезных книгах редко.

Он улыбнулся.

— Исключение бывает в одном случае, если книга, положим диссертация, бывает похожа на брошюру и очень смешна. А это другое дело! Она перелистывается в один-два вечера и дает такую пищу для смеха, что... — он громко засмеялся, — перо так и ходит по бумаге, отвертывается лист за листом; смотришь, написана целая статья, т. е. это уже 100—150 рублей гонорара, и кроме того, тут развертывается талант критика, остроумие, статья будет всеми прочитана и всеми замечена. Книга ваша не обладала всеми этими выгодными качествами — и о ней ничего не было сказано.

— Теперь я пишу давно — и в журналах, и в газетах — и вообще таковая рецензия мне более не нужна. Но когда я напечатал свой первый труд на философскую тему, подумайте, ведь у нас в России восемь университетов и четыре духовные академии... Повторяю. Я говорю не о «теперь», а о прошлом, о своей прошлой грусти... свинство! Свинство! И свинство! И вы говорите все дело в тринадцати рублях и что за рецензию дороже не платят. Судя по вашей серьезности, все это верно. Но мне это в голову никогда не приходило, что именно из-за тринадцати рублей дело стало и собственно насмарку пошел труд лет и с большими надеждами написанный, а местами — смею думать — и с большим одушевлением! Свинство, свинство!

Разговор этот, о моем труде, был лет пять назад. В прошлом году, в одно из воскресений — звонок, отпираю, и передо мною стоит пришедший в сюртуке (при довольно холодной погоде) студент. Робко помявшись, он спросил, не могу ли я подарить ему «Легенду о великом инквизиторе».

— Подарить?..

Видя мой раздраженный тон, он стал извиняться. Объяснил, что прочитал ее в составе книг библиотеки Н. Н. Страхова, поступившей (бесплатно) целостью в университет; что книгу по таким-то и таким-то мотивам он хотел бы иметь у себя в собственность.

Тут только я разглядел глубоко скромное и симпатичное лицо молодого человека. Мысль, много мысли светилось в нем. Но принцип горел во мне. Я вынес ему книгу (стоит всего рубль) и сказал приблизительно:

— Послушайте, никогда еще и ни у кого не просите книги даром. Это — свинство, наше русское и специально только русское свинство. — Я погладил его рукой по плечу и вообще обласкал. Он стоял, также прекрасно и внутренне улыбаясь (есть такая внутренняя улыбка). — Вы пришли, как все, потому что это делают все. Как же, для нас, авторов, такая честь, что вот изъявляет согласие, даже собственное желание, прочесть мое сочинение еще студент Иванов! Возмутительно. Почему для него не честь, что я с ним говорю (в сочинении), а для меня честь, что он меня слушает (читает)?

Он заговорил о своей бедности.

— Вы только обвиняете себя. Лучше молчите — это одно вас оправдывает. Разве при бедности вы, т. е. вообще студенты, не находите деньги на пиво и уличную «любовь»? Десять бутылок скверного пойла или беседа с девицею, после которой нужно идти к доктору, стоят ровно столько же, сколько «Легенда об инквизиторе». Бедная моя книжка, какие сравнения для нее. Но и в этих

сравнениях она есть худшая из двух сравниваемых вещей. Между тем, вы сами читали и говорите мне: сколько мыслей в нее положено! Рубль цена. Вы повышаете на гривенник цену аршина сукна, и шьете себе неуловимо лучший мундир, когда, заплатив десять гривенников за книжку — могли бы иметь мундир и книжку, почти тот же самый мундир, лишь неуловимо худший. Кто и когда в России жалел три рубля на бутылку портвейна, два рубля за копченый сиг, три рубля за фунт икры: между тем впечатления эти, вина, икры и сига, — буквально минутные. Нет, книга не нужна в России, — самая одушевленная, поэтическая, глубокомысленная! И это такой грустный факт, около которого я не сумею поставить никакого другого!

Так я говорил взволнованно. И да простит мне бедный студент, если ему попадутся случайно эти строки, что на его голову было мною вылитое негодование, собственно не к нему относившееся. Но уж кто первый попался... Я почти не смотрел на него, говоря «вообще»... И только когда он ушел, мне все припоминалась его высокая и сухощавая фигура с необыкновенно симпатичным, внутрь себя обращенным лицом. Во всяком случае, да не имеет обо мне дурной памяти.

* * *

«Злая татарщина! Злая татарщина! — повторял и повторяю я себе при таких размышлениях, при встрече с подобными фактами. Да и разве их мало, таких фактов?! Как маковым цветом, усеяна ими наша земля. Какая-то неповоротливость; что-то лежачее; и в то же время самодовольное. И вот этих трех наших «богов»: «сыт», «лежу», «счастлив» — не прошибешь пушкой.

* * *

Все эти мысли и отчасти воспоминания пришли мне на ум, когда я прочел первый том задуманного Московским психологическим обществом издания избранных сочинений покойного своего председателя Н. Я. Грота.

Стр. 319–320.

⁴²⁻¹ — мудрецы «позитивного» закала ума. По указанию смелого / мудрецы такого закала ума, как Кареев, де-Роберти, Михайловский, Лесевич и пр. и пр. По указанию смелого

Стр. 320.

- ²⁻³ — переплести «в один корешок» / сброшюровать «в один переплет»
⁸⁻⁹ — один из наших ежемечеников свои первые рассуждения: / какую-нибудь «Русскую Мысль» или «Русское Богатство» свои первые рассуждения:
¹⁰⁻¹¹ — «Опять о теологическом, метафизическом и позитивном периодах умственного состояния человечества» / «Опять о трех периодах умственного состояния человечества»
⁴²⁻⁴³ — в лучшую из деятельностей человеческих (умственную). Конечно, допустив в философию такой «субъективный» элемент, как чувство, сердце, — мы / в лучшую из деятельностей человеческих. Конечно, допустив такой «субъективный» элемент в философию, как чувство, сердце, мы

Стр. 321.

- ²⁴⁻²⁵ — человек (на вид), и никакого / человек и никакого
³⁴⁻³⁵ — Профессорского жалованья не увеличишь: это — положенный «штат», на котором, служа одинаково, получают Поприщин и Ньютон; за / Профессорского жалованья не увеличишь; за

Стр. 322.

- ⁵ — ревматизма и ларингита заставляли / ревматизма и ларингита заставили
- ²²⁻²³ — по журналу и Псих. Обществу / по журналу и обществу
- ³⁷⁻³⁸ — и только (для собеседника) кожа его блестела молодостью / и только кожа его блестела молодостью
- ⁴¹⁻⁴² — Скорее его организм был похож / Скорее он был похож
- ⁴⁵⁻⁴⁶ — татарщина» — как не сказать этого! Невозможно / татарщина!» Невозможно

Стр. 322–323.

- ⁴⁷⁻¹ — точках философского идеализма / точках идеализма философского

Стр. 323.

- ¹⁻² — умственная жизнь России / умственная жизнь в России
- ⁵ — 130–140 миллионов населения! И какова его судьба? Он, видите ли, / 130–140 миллионов населения! Но, видите ли,
- ¹¹⁻¹² — непосильным возом. А как было светло / непосильным возом. В «благополучное лет» междуцарствие министерства народного просвещения, коего он был во всяком случае усердным служителем, позволительно сказать, что никогда главное управление государственного коннозаводства не относилось столь индифферентно и мало сердечно к английским выписанным жеребцам и даже к туземным беговым рысакам, как ведомство это вот уже век относится к разным там философам, историкам, юристам, астрономам и прочей бездушной клады на отягченных раменах своих. Во всяком случае к 1001 вопросу нашей внутренней политики можно бы прибавить 1002, заключающийся в уравнении «кормов» профессорам и лошадям, и чтобы вообще в системе «народного хозяйства» учение получило хоть долю того холения, той бархатистой руки, которая, приветливо проводя по крупам лошадей, «тычет в морду» человека иногда очень и очень не бесполезного для просвещения родины. А как было светло
- ²⁰ — журналиста в Первопрестольной. / журналиста в Москве.

Стр. 324.

- ²³⁻²⁵ — петь ли (в ученические годы) предстояло, — учиться ли, писать ли диссертацию или образовывать общество, журнал: для всего / петь ли, учиться ли, писать ли диссертацию или образовывать общество, журнал — для всего
- ²⁸⁻³⁰ — и умный «Ребенок», если это нарицательное имя позволено, олицетворив, переделать в собственное, как древние сделали это с названием «души-Психеи», — этот / и умный «ребенок», если это нарицательное имя позволено, олицетворить в собственное, как древние сделали это с «душою-Психеею», этот
- ³⁴⁻³⁵ — от того, разойдется ли и окупит издержки издания 1-й том. / того, разойдется ли и окупит издержки издания 1-й том. И еще раз напомню я о стоимости фунта икры, бутылки мадеры: все это дороже, чем том лучших трудов крупного русского деятеля.

ОДИН ИЗ ДОБРЫХ НАШИХ НАСТАВНИКОВ

Варианты гранок

Стр. 324.

- ³⁸ — заслуживал бы гораздо / заслуживал ли гораздо

Стр. 325.

После 6 / Ни Георг Брандес, ни Макс Нордау, ни наш остроумный проф. Н. И. Батюшков не написали о нем не только томов и статей, но даже и страниц или строк. «Самодетельность» и «Характер» — это не драма, не роман; но обсуждение в тысячный раз и на тысячный лад «судьбы женского сердца», «отчего я простила» или кого она «не простила» и как «она пошла» и куда-то пришла «одна за многих» (заголовок прошлый год нашумевшей пустой книжки). Позволю себе сказать эти о приветливой (почему «прекрасной») половине человеческого рода: ибо насколько пробуждает уважение к себе необеспеченность, труд и (уж простите) изведение из себя потомства женщиною, настолько возбуждает в себе досаду и неуважение все виды (а сколько их!) женского ломанья, претенциозности и капризов, которым однако литература отводит столько места.

9–10 — так же новы, занимательны и нужны, как впервые появившийся «Робинзон Крузо». / так же новы, занимательны, нужны — настолько нужны! — как, вероятно, в XVII в. впервые появившийся «Робинзон Крузо», а еще раньше его и для совсем другого соля читателей: «О подражании Христу» Фомы Кэмпийского. Позволю себе провести эту параллель. Каждая эпоха имеет свои заветы, свой характер; имеет свой колорит. Де Фоз выступил, когда головы всех кружились от новых и новых путешествий в малоизведанные еще моря ближнего и дальнего света; Фома Кэмпийский написал свою неоспоримую книжку, когда вся Европа волновалась религиозными спорами, вопросами и интересами. Но Смайльс имел право выступить и получить приблизительно такой же успех, когда фабричные трубы сменили сияние креста, и в морях и суше не оказывалось ничего более занимательного.

10–11 — Смайльс ввел (юношей, отроков) / Он ввел (юношей, отроков)

После 14 / Я помню хорошо, что Смайльс начинал читаться в те годы, когда кончал читаться Жюль Верн, этот тоже друг и благодетель русского отрочества. Как Жюль Верн, своими выдумками, водил бывало по лабиринту науки, по всяческом сведениям географическим, геологическим, по миру наземному и подводному, сообщая в сущности бездну важных реальных знаний, так Смайльс водил по истории. Смайльс был старшим братом Жюля Верна, или, пожалуй, — дядюшкой. «Ну, довольно сказок», — клал он руку на плечо 16–17-летнего читателя: — «ты — уже перед миром действительности, ты — муж (мужчина), во всяком случае — начинающий работник. Вот тебе завет работы: надейся на себя, трудись сам, вечно трудись. И ты всего достигнешь. А что это и так, что это всегда бывало так, то вот об этом расскажет тебе моя книжка».

21–23 — расцвета, наступившего после уничтожения «гнилых местечек» и с выступлением на политическое и гражданское поприще больших промышленных центров / расцвета, когда еще не выступало соперничество Германии, не появлялся империализм, не грозил «гомруль». Англия, старая Англия, только-только поднялась до краев, — перед тем как разлиться угрожающим и всегда (для себя) опасным всемирным разливом.

24 — это сочетание прохладного климата / это сочетание свежего воздуха

25–26 — создало в Англии какую-то добродетель труда / создало какую-то добродетель труда

35–36 — и потом не чувствуя / и притом не чувствуя

43 — вода глазами / веда глазами

Стр. 326.

3–4 — самым плодотворным образом / самым полезным образом

- ⁸ — жизнеописание Палисси / жизнеописание Палнеси
- ¹⁴ — дров, стал кидать в печь мебель, чтобы докончить опыт / дров, неожиданно бросился на оставшуюся у него мебель и стал ломать ее и бросать в калильную печь
- После ¹⁶ / И какая радость: в последний-то момент опыт и удался, ибо восхищенный Палнеси вытащил из печи посуду (или тарелку), краски которой не сгорели и вместе были не смываемы водой и вообще не растворимы. «Ну, слава Богу». «Ну, слава Богу!», — как говорил, вероятно, и он, как и читатель чудеснейших его приключений.
- И главное — так просто!
- ¹⁷ — сторону книги Смайльса составляло / сторону книги составляло
- ^{18–19} — его увлекающей / им увлекаемой
- ²⁵ — но направленные к насаждению / но исправленные к насаждению
- ²⁹ — Что же мы, образованный, культурный класс, / Что же мы, собственно мы, культурный класс,
- После ³² / Мы не воспитали народа. И с невоспитанным народом имеем дело.

Стр. 327.

- ⁷ — Совета «трудиться»? / Совета «трудиться!»
- ¹⁵ — какое он об ней имеет понятие / как он об ней имеет понятие

Окончание абзаца в гранках обрывается на 32 строке.

- ^{42–43} — вызывали чувство непобедимого отвращения / вызывали чувство отвращения
- ⁴⁶ — психофизическую; и она никогда не может быть успешна / психофизическую и никогда не может быть успешною

Вместо абзаца «„Трудись“ может быть каторгою» в гранках следует абзац «Но возвращаюсь к работоспособности», далее следует абзац «Идеи Смайльса, с которыми я так счастливо», далее идет абзац «„Трудись“ может быть каторгою».

Стр. 328.

- ^{9–10} — постоянно идет, или идет / постоянно идет, он идет
- После ¹⁷ / К счастью, будто ангелы стоят в самом деле над детьми: и у таких крошечных существ, никогда не слыхавших от старших о «долге», «раскаянии», «совести» и мне лично приходилось наблюдать действие этих таинственных сил души, как, впрочем, вероятно, есть же в них и действие таинственных злых инстинктов.

— Ну, нельзя же не извиниться перед няней. Ты не получишь сладкого (за обедом), если не пойдешь и не попросишь извинения.

Ребенок семи лет назвал старую няню «дуррой».

Он пошел к другую комнату, и из-за ширм я услышал длинное и сложное объяснение. Няня утешала ребенка, давно его простила. Няня была умная. Но взаимная мягкость вызвала тихое признание своей вины, так сложно сказавшееся в отдельных и разумных словах, что я был удивлен. Это не было формальное извинение в формальной вине, а разговор о сделанном дурном поступке. Самое интересное и удивившее меня окончательно было, однако, потом.

Отдуваясь туго набитым животом, вышел ребенок после обеда в другую комнату. Никто на него не обращал внимания. Никто ни о чем не спрашивал. Все было и без того исправно. Как он вдруг неожиданно сказал:

— Так было тяжело! Так было тяжело! Так нехорошо было (крайне сморщенное лицо усиливалось выразить это). А когда я извинилась, вдруг стало светло-светло!

Как не поверить «врожденным идеям», врожденным инстинктам, силам души? Как не поверить, что «совесть» врожденна, когда мне безусловно известно (да и по летам невозможно было), что ребенку этому ни «совесть», ни манифестации ее не были абсолютно известны. Да и «морали» никогда с ним ничего не говорили. Рос, как трава,

- ²⁶ — Но бывает и другое: / Но и бывает около этого золото:
^{31–33} — страшно мнет отрока и юношу, и одних — раздавливает, а других — до последней степени ожесточает / страшно шлет отрока и юношу, и бездарных — раздавливает, а даровитых — до последней степени ожесточает
^{36–37} — Т. е. с невозможности исполнить первый же «труд». / *нет*
³⁹ — хоть бы то было ангельское, или хоть бы Иисус Христос / хоть бы ангельским, хоть бы Иисус Христос
^{41–42} — слов и выписывал их в тетрадочку / слов, выписывал в тетрадочку

Стр. 329.

- ^{2–3} — уже более года слушаю, как ученики на перемене переводят. Сам же смотрю в текст, / уже не более года слушаю, как ученики на перемене переводят, а сам — смотрю в текст,
^{11–12} — А как же мне не поставят / А как мне не поставят
^{17–18} — но его еще долго везет «система» / но его все давно везет «система»
^{22–23} — Вот тогда можно бы практиковать «самодетельность» и «характер». / *нет*
²⁴ — Я все «тащился» и переходил / Между тем я все «тащился» и переходил

Стр. 329–330.

- ^{29–9} — *Фрагмент* «И все воровали. Пусть уж читатель оценит ~ и с ранцем переступали порог гимназии» *находится выше, перед этим абзацем.*

Стр. 329.

- ³² — ибо горели ведь в нас, не обманно горели все / ибо горели, воистину горели как «святыня» все
^{39–42} — часов он уходит в положение Кречинского, с его страхом, презрением к себе, желанием забыть позор и невозможностью забыть, желанием не повторить его — и абсолютную нуждою повторить. / часов уходит в особенное место, именуемое «гимназией», где единственно и есть, но уже непременно есть, в полном составе учеников, всего только Кречинский с поддельным бриллиантом в руках: и вы оцените весь мрак, отчаяние и неисто[щимую] злобу, в которых мы «солились» от 15 до 20 лет.

Стр. 330.

- ^{4–5} — ядовитые оранжереи / ядовитая оранжерея
¹⁶ — есть какая-то оперная / есть какая-то оперная, феерическая
^{18–19} — Аракчеев был «настоящее» / Аракчеев вел «настоящее»
²² — Но и мечты бывают дороги. / Но и мечты бывают дороги, ах, как дороги!

ПРАВИЛА ДОБРОДЕТЕЛИ И УСЛОВИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ

Варианты гранок НВ (Гр НВ)

Стр. 395.

- ¹² — но с силою привился к ней. / и «еще паче развился».
¹⁸ — уже сквозит в «Переписке с друзьями». / уже говорит в «Переписке с друзьями».

- 21–22 — говорят о социальной гармонии / о социальной гармонии
 29 — должен разделять свой день / должен разделять день

Стр. 396.

- 27–28 — в личности своей великолепный образец идеала / великолепный образец
 в личности своей идеала
 28–29 — написал «Экклезиаст» / написал «Экклезиаст» свой
 32 — а каково было их слово / а таково было их слово
 38 — «народ тот был тих / «народ так был тих

Стр. 397.

- 18 — проследя вереницу своих наблюдений, каждый / каждый, проследя вереницу
 своих наблюдений,
 24 — моего долголетнего изумления / моего крайнего изумления
 27 — Ни разу! Точно это — сословное. / нет
 30 — я первый только обратил на это внимание, / я первый стал только подчерки-
 вать это наблюдение,
 41 — заранее пишут проигрыш. / заранее пишут ремиз.

Стр. 398.

- 14 — в такое состояние / нет
 18 — кажется, следует ему / можно бы
 22 — впадши в ханжество / впал в ханжество
 23 — из министров сдать в почтмейстеры. / сдать в почтмейстеры.
 23–28 — И все вообще они от «самоусовершенствования» расклеили ~ с которым ни-
 сколько не гармонирует благополучие целого. / нет

Стр. 399.

- 16–17 — медленно, в зависимости от хода процесса, / нет
 27 — по гостям этого городишка / по гостям городишка
 37–38 — (я не знаю, имела она такового или не имела: пишу для примера) / нет

Стр. 400.

- 1 — Точно в 12 час. ночи, когда санитары едут. / нет
 37 — тунейдстве и бездушии / тунейдстве и безумии

Стр. 401.

- 9 — Сразу сняты / Сразу снять
 15 — ничего сами и не делая. / и ничего сами не делая.
 39–40 — желаемое вами «самоусовершенствование» / желаемое вами «совершенство
 личности»

Варианты автографа

Стр. 394.

- 28–29 — исторических трудов и неудач / исторических подвигов и неудач
 29–30 — Если вместо слова «намерение» подставить слово «совет», / Если подставить
 вместо слова «намерение» слово «совет»,
 33 — где нужно и можно / где нужно или можно
 38–39 — перемена нынешних условий, среди которых живут все личности данного на-
 рода или данного времени?». / перемена внешних условий, среди которых
 живут все личности данного времени?».
 39–40 — этот, решенный в пользу первого тезиса / этот подспудно

Стр. 394–395.

⁴⁴⁻¹ — специальное тогдашнее настроение / специальное тогда настроение

Стр. 395.

- ² — казнокрадства... к благоуханию св. мощей / казнокрадства... и превратится в благоухание св. мощей
- ⁵⁻⁶ — и притом не усиливаясь изменить это положение, послужить / и притом не изменяя этого положения, послужить
- ⁸ — заключительное нравоучение / «заключительное нравоучение»
- ⁹ — красиво и долго рассказывал / красиво долго рассказывал
- ¹⁰ — «Мертвых душ», как иногда кажется. / «Мертвых душ», как на моей памяти.
- ¹²⁻¹³ — нашей, но с силою привился к ней. Достоевский и Толстой пошли (в отношении данной темы) по стезе Гоголя, / нашей, но и паче развился. Достоевский и Толстой оба пошли по стезе Гоголя,
- ¹⁴ — напилась кровью / напилась кровью
- ¹⁷ — смысл его был / смысл этого спора был
- ¹⁹⁻²⁰ — к единичному человеку / к одному человеку
- ²⁶⁻²⁷ — гармония сама выйдет из их совокупности. / гармония сама из той совокупности выйдет.
- ²⁹ — разделять свой день / разделять день

Стр. 396.

- ⁶ — недурно. Господи, скучища-то какая! / недурно. А как «ничего не делать» или «праведно пахать землю», или «смириться» и «потрудиться»... Господи, скучища-то какая!
- ⁷ — а все будут жить: / а вот будут жить,

РУССКИЕ ИДЕАЛЫ

Варианты гранок

Фрагмент отсутствует в тексте статьи:

Граф Уваров, бывший министром народного просвещения при императоре Николае I и известный эллинист, писавший между прочим монографии на немецком языке об Элевзинских таинствах, — дал известное, до сих пор держащееся, определение оригинальных особенностей России сравнительно с Западом: «православие, самодержавие и народность». Но он дал названия трех понятий; произнес три «отвлеченные имени нарицательные» — не более. Никто не заметил, что больше оказал бы услуг русскому самоопределению тот, кто записал бы одну народную песенку, одну народную сказку; поведал бы об обычаях такого-то, ему известного села, или рассказал подробно историю хоть одного русского семейства. Вот уж где сказалась разница между *a-posteriori* и *a-priori*, не к пользе последнего. Что разуместь под «православием»? «самодержавием»? «народностью»? Пресловутое открытие гр. Уварова весьма похоже на уверенность географов до Колумба, смутно чувствовавших, что «там, за морем, за Атлантическим океаном, есть какая-то земля». Ничего из этого нельзя было вывести, ни для кого эта истина не была полезна. Но хитрый и ленивый ум человека ужасно любит суждения «*a-priori*», которые не требуют от своего последователя никакого труда исследования, а только предлагают ему «клясться в верности имени». Формула гр. Уварова стала каким-то плакатом, который всюду носится и всюду выставляется ленивою толпою. Как только требуют паспорта или сомневаются в ее благонадежности, так эти люди «со дна», но только не демократическо-го «дна», а барского, вынимают плакат и говорят:

— Мы за самодержавие, православие и народность.

И моргают глазами, дальше ничего не умея произнести. Это напоминает одного моего приятеля, из чиновников, человека изобретательного и насмешливого. В самом далеком из карманов его пальто лежал неизменно сложенный (давным давно!) номер «Гражданина». Я раз и спрашиваю:

— Зачем?

— Я часто езжу по командировкам, да и кой-каким своим делишкам в губернии (из Петербурга). Так вот на тот случай, если жена забудет, собирая меня в путь, положить в чемодан паспорт, я и запасаюсь «Гражданином». В случае неприятности с урядником, квартальным иным, более высоким чином, я, ища паспорт, вместо него вытаскиваю «номер» кн. Мещерского. Все неприятности разом кончаются: «а, старый подписчик Гражданина! — наш друг». И полицейский становится из подозрительного начальства своим человеком. Удивляюсь, как наши «неблагонадежные» не воспользуются таким поверием властей.

Плакат гр. Уварова служит таким же «удостоверением личности», притом самым недостоверным. Хомяков и Гиляров писали целые томы о том, что такое «православие». Но клянущиеся православием не всегда заглядывали в них, если даже рассуждают о нем печатно:

— Зачем нам это? Мы знаем, что — истина!

— Что истина??!

— Православие!

Но Хомяков?

— Он был православный!

— И я это знаю, даже усиленнее, чем вы. Но тогда, как все его сочинения были изданы в Петербурге, единственный том с богословскими сочинениями был напечатан в Праге, — конечно, не из любви к пражским типографиям.

Носитель плаката хлопает глазами. Он ничего этого не знает, или, еще хуже и плачевнее: он об этом что-то слышал, но никакого внимания на это не обратил, не задумался, не спросил: «Как? Почему? Что там было напечатано? И особенно — сравнительно с богословствованием, спокойно печатающимся в Петербурге?»

И так же обстоит дело с «самодержавием и народностью».

— Ведь Николай I был самодержец? — спрашиваете вы.

— Самодержец!

— Но ему принадлежит исторически знаменитая фраза. Что «Россию управляют столоначальники», а даже не директора департамента и уж конечно не министры и... чем дальше, тем паче?

Носитель плаката опять хлопает глазами. Таким образом формула Уварова, можно сказать, поощрила нашу лень. Вооружившись коротенькими суждениями *argiori* <заранее, до опыта>, мы потеряли охоту к работе *aposteriori* <после опыта>. Каждый протест вынимает плакат и говорит: «Я такой-то». И сколько «неблагонадежных», и именно неблагонадежных с точки зрения и «православия», и «самодержавия», и «народности» укрывается под Уваровским девизом, как могли бы сделать иные «неблагонадежные», запасшись «Гражданином». Если человек «хорошо послужил» в интендантстве, если он разорил друга, обманул женщину, то... что же ему и сделать, как, запустив пошире «русскую бороду» и начав «стричься в скобку», а притом нося безукоризненный сюртук от Тедески, не басыть кстати и некстати!

— Итак, я говорю вам, что три основных русских начала: православие, самодержавие и народность...

Ну, кто такого спросит:

— Сказывают, что во время сербской войны вы собирали пожертвования, и когда у вас спросили документальной отчетности в расходе их, вы вспыхнули и ответили: «Это не патриотично!»

И много-много таких господ странствует на Руси.

* * *

Между тем вникать «aposteriori» и в русскую народность, и в русское самодержавие, и в наше православие — это такое наслаждение! Все равно, как плыть через Атлантику с Колумбом. Такие же новые виды, новые воды, новые острова, прилетающие птицы, плавучие растения... Да разве «три начала» на Руси?! Их «1,003» больше — мириады! И в каких тонких чертах, в нежных оттенках. Это и счастье, и страдание изучать русскую народность: буквально, как плыть с Колумбом. И большая возможность награды, и риск потерять все, т. е. в линии данной темы или потерять всякую веру в русский народ, до отчаяния, до отречения от родства с ним, или открыть в нем новый мессианский народ, возможность еще «пророчества и законов» для человечества.

Стр. 402.

- 4^{–5} — Интересная маленькая книжка ~ на книжном рынке, имеет задачу свою показать и объяснить / на книжном рынке, не содержит даже упоминания о «трех китах», на которых гр. Уваров думал утвердить русское самосознание.
- 7^{–8} — где начинается «самодержавие», где «народность», где «православие» — эти члены знаменитой патриотической триады. / где начинается «самодержавие», где «народность», где «православие».
- 32–34 — Но ведь если все письменные соглашения ~ в смысле национальной вашей нравственности?! / в смысле национальной вашей нравственности.
- 35–36 — Живем помаленьку. ~ дел без договора; и вот хотя среди них / дел без договора: и вот, хотя среди них

Стр. 403.

- 11–15 — А у вас с нашей ~ промышленные наши дела действительно хрупки. / промышленные наши дела действительно точно сахар на мокром месте.
- 28–31 — Да, народ у нас пахнет деготьком. ~ под смиренными эпитетами о себе / смиренными эпитетами о себе

Стр. 404.

- 9–10 — хотя, согласитесь, не сливается ни с одною церковью. / хотя, согласитесь, не сливается ли с одною церковью.
- 11–12 — он видит в бездонной глади океана души своей как стихии светлой и тихой / он видит в бездонной глади океана — души своей, как стихия светлой и тихой
- 12–13 — боюсь ошибиться / боясь ошибиться
- 43 — прощальг, отколовшихся от своей мудрости и начавших пропивать себя / простальг, отколовшихся от своей мудрости и начавших проливать себя

Стр. 405.

- 15 — Начал Пушкин подавать какие-то бумаги / Начал Пушкин издавать какие-то бумаги
- 46 — ...Если же я / ...если же я

Стр. 406.

- 16–17 — В лучшее время нашей собственной истории / В лучшее время вашей собственной истории
- 37 — что русская литература есть самая этическая из всех / ...что русская литература есть самая эпическая из всех.

Стр. 407–408.

- 44–1 — обзор 50-летней литературной деятельности которого был / обзор 50-летней литературной деятельности был

1905

ОКОНЧЕННАЯ «ТРИЛОГИЯ» г. МЕРЕЖКОВСКОГО

Варианты гранок

Стр. 427.

- ^{9–10} — остается сама собою: размышления идут сами собою / остается сама собою, размышления идут сами собою
- ¹⁶ — Темы его, часто важные и истинные / Темы его, важные и истинные
- ^{41–42} — «знамений» второго пришествия / «знамении» второго пришествия
- После ⁴²: / Покойный Рачинский был неблагочестивый, нецерковный человек. Но он лично в беседах со мною называл Апокалипсис «плохим апокрифом местами неприличного содержания» («блудница», «жена, облеченная в Солнце и кричащая в муках рождения»), и хоть, конечно, на словах он не отвергал второе пришествие Христа и Страшный Суд — ибо это была бы официальная «ересь» — но чувствовал к этому менее интереса, чем к тому, на каком расстоянии пройдет от Татева (фамильное имение) ветвь строившейся тогда Ржево-Вяземской железной дороги.

Стр. 428.

- ³ — Термин этот очень важен. / Термин этот очень важен; я решаюсь сказать — даже гениален.
- ^{19–20} — равно убрано, и на все века убрано, все мечтательное, фантастическое, всякая вера / равно убраны, и на свои места убраны, все мечтательное, фантастическое, всякая заря
- ^{32–33} — в построении «истин» / в построении, в «истине»
- ^{34–35} — ни против какой «истины» / ни против «истины»

Стр. 429.

- ^{16–17} — главные контуры его движения / главные... его движения
- ⁴⁰ — Поясню иллюстрацией. / *нет*
художника Сведомского / художника Несведомского
- ^{43–44} — такое соблазнительное зрелище / такое неблажительное зрелище

Стр. 430.

- ¹² — В главном храме католичества / В главном католическом храме
- ^{16–18} — Но возможно стало постепенно оттого, что там уже века храмы наполнялись статуями и обнаженного св. Себастиана, и кормящей грудью Младенца Мадонны. / Но возможно потому, возможно стало постепенно оттого, что там уже века храмы наполнялись статуями и обнаженного св. Себастиана лишь с узеньким препоясанием чресл, таким узеньким, что видна постоянная попытка свести его на «нет», кормящей грудью Младенца Мадонны.
- ^{21–22} — Имя не началось, а человек начался, и католики говорят: / Имя не началось, а человек начался, фамилии еще нет, а ноги и живот, и бедра видны, паспорт вполне не ясен, и когда католики говорят:
- ^{27–28} — или Венера Таврическая, привезенная из Италии Петру Великому / или Венера Таврическая, привязанная из Италии Петру Великому
- ^{30–32} — и уже по самой вечности мы можем видеть в этом искру Божию в нас, частицу в нас Божества / и уже не сама вечность, мы можем видеть в этом искру Божию в нас, частицу в нас Божества

- 38–39 — просто Таня, и не понимаю, отчего монахи зажмуривают перед нею глаза? / просто Таня, тепленькая и милая, и не понимаю, отчего монахи зажмуривают перед нею глаза?
 42 — Такова новая мысль Мережковского. / нет
 43 — Я соглашаюсь, что в ней есть соблазн, ибо ею / Я соглашаюсь, что в этой речи Мережковского есть соблазн, ибо ею

Стр. 430–431.

- 47–4 — вталкивает их в самое христианство. И так как этого ~ дробей его. И ведь действительно, например, того, что написала рука Иоанна Богослова / вталкивает их в самое христианство; и так как его ~ дробей его, и ведь, действительно, например, того, что написала рука Иоанна Богослова

Стр. 431.

- 11 — Увы, и женщина в родах не эстетична. / Увы, и женщина в родах нехорошо пахнет.
 12 — Никто не просит. Но монах / Никто не просит, но монах
 15 — вокруг ее — солнце / вокруг ее — солнца
 34–35 — если бы там были посты, молитвы и самоистязания / если бы там были посты, молитвы и приношениями
 39 — кто же будет с этим спорить?! / кто же будет с этим спорить?
 44–45 — «святые перед Престолом Небесным» / «святые перед Престолом Небесным»

Стр. 432.

- 25 — и началась новая «эра»: что был Некто, / и началась новая «эра». Это был Некто,
 30 — я и написал резкие, надобные / я и написал резкие, подобные слова
 38 — изошренная «незамаранность». / изошренная «незамаранность»?
 43–44 — Но тогда непонятно, зачем же явился Апокалипсис? / Но тогда непонятно, зачем же явился сейчас же рядом с Евангелием Апокалипсис?
 44–45 — Христос «пришедший» прямо сливался бы тогда с «грядущим». / Христос «пришедший» прямо сливался бы тогда, был бы одно с «грядущим».

Стр. 433.

- 1 — «в славе», «сильным царем» / «в славе», с «сильным царем»
 5 — «философии Мережковского» потому, что тогда «улица» / «философии Мережковского», потому что тогда «улица»
 6–7 — превратиться в «пансион благонравных, никогда не женящихся учеников» / превратиться в «пансион благонравных, никогда не молящихся учеников»
 10–11 — «грядущего Христа» скорее как какого-то «противо-Христа» / «грядущего Христа» скорее, как нашего-то «Противо-Христа»
 19 — Т. е. в смысле, — нужно ли / То есть в смысле, что нужно ли
 24 — смысле духа века сего / смысле «духа века сего»
 25–26 — о фигуре, времени и сроке / о фигуре, «времени и сроке»

КОГДА-ТО ЗНАМЕНИТЫЙ РОМАН

Варианты гранок

Стр. 437.

- 29 — он, дойдет / он один дойдет
 39 — последний / всякий

- ⁴¹⁻⁴⁴ — «шансы русского будущего народа». ~ линия Достоевского / «шансы будущности русского народа». [Пусть [Так] он мыслил и работал не так, как наше «хладное» духовенство (консистерия), которое «семейным горем» не прошибешь. И так] Это одна линия идеалов Достоевского

Стр. 437–438.

- ⁴⁷⁻¹ — новую явившуюся планету / новую [явившую] совсем планету

Стр. 438.

- ² — как дети / как дети (или как животные)
²⁻³ — источник этой самой невинности заключался в том / источник этой невинности в том и заключается
⁵⁻⁶ — (ну, что в такой мечте? / *вытеркнуто*)
⁶⁻⁷ — какая ~ идеалы) / *вытеркнуто*
⁹ — присущ / действительно присущ
¹⁸ — серьезной / прикосновенной
²³ — лютое / полное
³⁹ — власти / спасение
⁴³ — Но продолжу критику / Но я продолжу критику; продолжу мысль моих оппонентов
⁴⁴ — мечтают все священники и требуют / мечтают и требуют все священники

Стр. 439.

- ⁵ — эгоизм / это — эгоизм
⁷ — продолжение — как / продолжение было бы как
⁸ — Но кто же будет их есть?! / Но кто будет есть эту кислоту?!
 Может быть идея «мессии», т. е. рождения чего-то совершенно необыкновенного, и дана была евреям, чтобы придать сладость и смысл тому, что в себе самом далеко от него.
⁹⁻¹¹ — я, в противоположность оппонентам моим, не высказываю никакого страха перед «драмами семьи», «разводами» и пр. Это — соединительные / я не высказываю никакого страха перед «драмами семьи», «разводами» и пр. Я на них смотрю как на соединительные
¹⁶ — И океан / Ведь и океан
⁴¹ — девиц. Тут / девиц. Нет, это далеко от приключения. Тут
⁴² — всякий / *только*
⁴⁶ — обольщения / обобщения

Стр. 440.

- ⁴ — с его горячо любимой / с горячо любимую
⁵⁻⁷ — счастлив». По-моему ~ законов. Он / счастлив». Он
¹⁶⁻¹⁷ — как части / как те части
¹⁷ — любила / его любила
²¹ — «женщина» / «самка»
²⁶ — про себя / а почти про себя
²⁷ — Любить трех, четырех / Любить двух-трех [четырёх]
²⁹ — по / но

Стр. 441.

- ¹⁷ — причину / критику
²¹ — Ничего подобного / Вот этого или подобного

Стр. 442.

- ³ — «праотцев» человечества / и «праотцев» человечества
- ⁷ — было в Греции / было их в Греции
- ²³ — в данной сфере / в сфере любви
- ³² — причина / критика
- ³⁷ — чему никогда / чему также никогда
- ³⁹ — в натопленном зале / в натопленной бане
- ⁴³ — княгиня / княжна
- ⁴⁵ — музыканта, нежели / музыканта, почувствовал его роднее себе, нежели
- ⁴⁷ — губительнее / субъективнее

Стр. 443.

- ⁶ — «известное чувство» / романтизм

1906

ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКИЙ ОБ ИСКУССТВЕ

Варианты гранок

Стр. 536.

- ³³ — Для чего? / Зачем?
- ³⁹ — и искреннего ответа / искреннего ответа

Стр. 537.

- ¹ — Это еще ~ Но дело в том / Дело в том
- ¹⁷⁻¹⁸ — Но, читая все его морализирующие теории, / и, читая все его морализирующие теории,
- ²³ — И *натуральную* влюбленность Толстого во всякую красоту / Ну и влюбленность в «красоту природы» самого Толстого
- ²⁴ — которых не скрадут / которых никак не скрадут

Стр. 538.

- ⁶ — (в рассказе этого имени) / *нет*
- ⁹ — мы или сам Толстой / *нет*
- ²⁹ — А в хмеле, который растет / А в хмеле, которое растет
- ³⁸ — в его (Державина) время / в его время
- ⁴²⁻⁴³ — Чтó делать, — «так жили / «так жили

Стр. 539.

- ³ — и всяких «вычур» «не нужного». / и всяких «вычур».
- ⁴ — упростил до *схемы* историю «Короля Лира», передал ее своими словами / упростил до *схемы* тему короля Лира: «передал своими словами»
- ⁵⁻⁶ — легла та мазня на 2 или 3 / та мазня на 2
- ⁷ — «изложение своими словами „Мертвых душ“». / *далее*: Есть сад, с цветниками, розами, есть старая роща с липами: неужели Толстой уверит нас, что это «не нужно» и «некрасиво», как фунт «липового цвета», взятого в аптеке, или коробочка с розовой помадой, взятой там же?!
- ⁹ — видно из таких обмолвок его / видно из слов его
- ¹⁶⁻¹⁷ — и не «умеет писать»? ~ лишен вкуса и чувства меры? / и не «умеет писать».

Стр. 540.

- 20 — он пояснит / он скажет
- 28-29 — если кто-нибудь / когда кто-нибудь
- 29-30 — «Шекспир дурно относился к рабочему классу» / «у Шекспира не было любви к ближнему»
- 31 — это опять как у Толстого / это опять толстовство
- 32 — Его рассуждения последних лет / Его последние произведения
- 33 — продев ее через / продев через
пиликают / пиликают ею
- 34-35 — «Каково отношение Толстого к культуре? ~ в нашей бедной русской культуре?» / нет.

Стр. 541.

- 1 — Кто ведает / Бог знает
- 37 — А искусство как выдумка, «бесполезное», «лишнее»? / А искусство?
- 43 — Для кого как. / Может быть.

Стр. 542.

- 12-13 — направленная против «наук, искусств и истории». / далее: Часто проводится сближение между Толстым и Достоевским: по глубине психологического анализа и по постоянному тяготению обоих к религии — они конечно близки, и притом только они двое близки между собою в нашей литературе: но, как известно, между ними уже и при жизни начались нестерпимые расхождения! Проживи Достоевский дольше — они возросли бы. К числу этих точек расхождения принадлежит и отношение их к искусству, к культуре, к истории. *Этот фрагмент, с рядом вариантов, вошел затем в начало первопечатного текста II части статьи.*

Стр. 547.

- 19 — безвестными анонимами в печати / безвестными анонимами в прессе

Стр. 549.

- 29-30 — «стоит, засунув руки за пояс» / и стоит, засунув руки за пояс

Стр. 550.

- 34 — он слишком «мещанин» для них в своей вечной сытости. / он слишком «мещанин» в своей вечной сытости.

1907

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕЛА

Варианты гранок

Стр. 589.

- 1 — так же бы писали / так же писали (Л. 15а)
- 16 — в учреждениях мелкого кредита / в мелком кредите (Л. 15а)
- 18 — спасающих, однако, народ / спасающих народ (Л. 15а)
- 42 — только, впрочем, он / только он (Л. 15б)
что стало / что однако стало (Л. 15б)

Стр. 590.

- 8-9 — не разделяю цитированного мною учения апостола Павла о «власти» и властителях и / не разделяю учения апостола Павла о «власти» и (Л. 15б)
- 11-14 — слуги». Апостол Павел — не Бог, ~ на которые он уже получил «благодать» и «вдохновение». Однако раз / слуги». Но раз (Л. 15б)
- 16 — то является совершенно невозможным политику / то не для чего политику (Л. 15б)
- 20-21 — нации, — и никогда ничего лучшего опыты «христианской политики» не породят. Но, как / Нации. Но, как (Л. 15б)
- 33-34 — ценить, не уменьшая и не преувеличивая. Надо / ценить, но в меру. Надо (Л. 15б)

Стр. 591.

- 4-7 — «с медалью». ~ К требованию медалей могут / «с медалью». К этому требованию могут (Л. 15в)
- 11-12 — почему-то не принимают на Курсы без исключения все епархиалки / почему-то выброшены все епархиалки (Л. 15в)
- 30 — в то время как в августе множеству / в то время как множеству (Л. 15в)

Стр. 592.

- 21 — сходки / митинги (Л. 15)
- 21-22 — *тщеславно*, они не спешили, ибо все это было / *тщеславно* не спешившие, ибо это все было (Л. 15)
- 25-26 — филологичек, юристок и математичек / *филологичек* и математичек (Л. 15)
- 26 — кабинетов / аудиторий
- 28-29 — Курсов, конечно, не в здании, а в составе профессоров, ведь рвутся на них ради этого *состава*, а где профессора читают / курсов, ведь рвутся на них ради *состава* профессоров, а где они читают (Л. 15)
- 30-34 — Это невероятно, — и рассуждать об этом я нахожу просто глупым. *Мотив* отказа, *настоящий* мотив, лежит, конечно, не в тесном помещении, а в тщеславном желании поднять «гепопшэ» своего учебного заведения, к чему от сотворения мира, увы, стремились все «начальства»... / *нет* (Л. 15)

КОММЕНТАРИИ

СТАТЬИ 1901—1907 гг.

1901

К. М. ФОФАНОВ. ИЛЛЮЗИИ. СТИХОТВОРЕНИЯ

С портретом автора. СПб. 1900. Стр. 479

(с. 13)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 47, с пометой фиолетовыми чернилами: «№ 134».

Впервые напечатано: *НВип*. 1901. 14 февр. № 8969. С. 10.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 577—579).

Печатается по тексту первой публикации.

Фофанов Константин Михайлович (1862—1911) — поэт. «Иллюзии» — четвертый сборник поэта: «Стихотворения» (1887), «Тени и тайны» (1892), «Стихотворения» (1896). См. о нем статью Л. В. Суматохиной в «Розановской энциклопедии» (с. 1103—1104).

С. 13. *Желтыми листьями дети играли...* — одноименное стихотворение К. М. Фофанова (1899).

С. 14. *Мой мир угрюм, как темный скит...* — одноименное стихотворение К. М. Фофанова (1900). Приведено целиком по рецензируемому изданию (с. 30).

Ищите новые пути!.. — одноименное стихотворение К. М. Фофанова (1900), открывающее сборник «Иллюзии».

С. Д. АРСЕНЬЕВА. РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ

СПб. 1900. Стр. 141

(с. 15)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВип*. 1901. 14 марта. № 8995. С. 11.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 604).

Печатается по тексту первой публикации.

Арсеньева София Дмитриевна — автор многих популярных книг по русской истории; дочь вице-адмирала, начальника Николаевской морской академии, члена Государственного Совета Д. С. Арсеньева. «Рассказы из русской истории» были переизданы в 1902 г. Позднее выпустила издание «Царствующий дом Романовых» (СПб., 1903—1911. Вып. 1—10), на обложке озаглавленное также «Рассказы из русской истории».

С. 15. *...учебники г. Трачевского...* — Историк А. С. Трачевский написал учебники по всем разделам истории — русской, древней, средневековой, новой (новые изд. в 1900 и 1901 гг.).

...строжку летописи ~ о первом посещении прибалтийскими славянами Византии... — речь идет о первой главе книги, имеющей название «Первые славяне в Византии» (с. 1—5) и рассказывающей о приезде в конце VI в. ко двору императора Маврикия трех славян, которые начали посещать православные богослужения, а младший из них крестился и женился на дочери вельможи.

СВОЕВРЕМЕННАЯ КНИГА Деревня в родной поэзии.

Сборник стихотворений, посвященных деревне

Составил А. А. Соколов. Москва, 1901. Стр. 479

(с. 16)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 58; перед текстом — помета «х» красным карандашом; на тексте — карандашные пометы для подсчета строк.

Впервые напечатано: *НВ*. 1901. 15 июня. № 9079. С. 3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 627—629).

Печатается по тексту первой публикации.

Соколов Александр Алексеевич (1840—1913) — прозаик, драматург, критик, составитель ряда литературных сборников.

С. 16. *...песен, собранных покойным Шейным* — фольклорист П. В. Шейн выпустил сборники «Русские народные песни» (1870), «Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях...» (1898—1900). В 1908 г. Розанов написал статью о нем, которая не была опубликована и войдет в следующий, 4-й том настоящего ПСС.

Семик — Троицын и Духов день, седьмой от Пасхи четверг, рядят березку и водят хороводы; встреча весны.

«*Присяжный заседатель*» — стихотворение Л. Н. Трефолева (1873).

С. 17. *Над немым пространством гернозема* — Д. С. Мережковский. Родина (1887).

ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТОРЫ

(с. 17)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 43—43 об.; текст содержит правку черными чернилами, в том числе отчеркивания для подсчета строк.

Впервые напечатано: *НВ*. 1901. 4 июля. № 9098. С. 1—2. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 637—640).

Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой: в 3-м абзаце 6-я строка — закурсивлено: *в сущности психология пегати, и она народилась*. 11-я строка: доброе, хорошее! / сладкие новинки! 15-я строка: вот простое имя, / вульгарное имя.

Статья направлена против В. П. Мещерского, издателя газеты «Гражданин». Автор передовой статьи этого издания обвинил эту статью Розанова в неискренности, в том,

что она написана «для публики». Он отмечал: «Читая <...> то, что ядовитыми стрелами направляет „Новое Время“ по адресу того же князя Мещерского, приходишь к заключению, что <...> противники „Гражданина“ нападают не на то, что он сказал, но на то, чего он никогда не говорил <...>», поскольку в статье, с которой полемизировал Розанов, «под современную повременную печатью» разумеется «просто огромное большинство либеральных писаний, которые сообща воспитывают общество в духе отрицания, раздражения и грубого реализма <...>» (Икс. Речи консерватора // Г. 1901. 5 июля. № 50. С. 2).

С. 17. «*Право слова*» — статья в газете «Неделя» (СПб., 1901. 24 июня. № 25). В ней обсуждалось мнение Государственного Совета от 4 июня «Об установлении предельных сроков действия предостережений, объявляемых повременным изданиям, изъятым от предварительной цензуры», несколько облегчавшее положение печати.

...кн. Мещерский сделал эту статью ~ «предметом этюда». — Речь идет о «Дневнике» В. П. Мещерского за 24–25 июня (Г. 1901. 28 июня. № 48. С. 14–16).

С. 18. «*внук великого Карамзина*» — матерью В. П. Мещерского была дочь историка Н. М. Карамзина — Е. Н. Карамзина, в 1828 г. вышедшая замуж за подполковника гвардии П. И. Мещерского.

«*Куранты*» — так Петр I поначалу (в том числе в Указе от 16 декабря 1702 г.) называл первую русскую печатную газету «Ведомости».

«*Всякая Всячина*» — еженедельный журнал выходил в Петербурге в 1769–1770 гг. под наблюдением Екатерины II.

«*Правительственный Вестник*» — газета выходила в Петербурге в 1869–1917 гг.

«*Земледельческая Газета*» — выходила в Петербурге в 1834–1917 гг.

«*Артиллерийский Журнал*» — выходил в Петербурге ежемесячно в 1808–1917 гг.

«*Солдатское Чтение*» (Вильна, 1877–1878) — еженедельный журнал. Не исключено, что Розанов имел в виду не это малоизвестное издание, а имевший широкое распространение журнал «Солдатская Беседа», выходивший в Петербурге в 1858–1867 гг.

«*Сельский Вестник*» — еженедельник, издававшийся в Петербурге в 1881–1905 гг.; с декабря 1905 г. по 1917 г. — ежедневная газета.

С. 19. ...об ежегодном пятидесятитысячном фонде ~ для инвалидов пегатного дела. — Подразумевается Постоянная комиссия при Академии наук для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам, образованная во исполнение Высочайшего указа от 13 января 1895 г., повелевавшего отпускать из государственного казначейства ежегодно по 50 000 руб. для оказания помощи нуждающимся ученым, литераторам и публицистам.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (К 60-летию кончины) (с. 20)

Автограф неизвестен.

Сохранились: 1. Гранки из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 19–24 (см. *Варианты*). 2. Вырезка из газеты *НВ*. — Там же. Л. 25–26, с пометой знаком «х» красным карандашом.

Впервые напечатано: *НВ*. 1901. 15 июля. № 9109. С. 2–3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 69–77).

Печатается по тексту первой публикации.

Статью Розанова «По поводу одного стихотворения Лермонтова» (Весы. 1904. № 5) см. в книге Розанова «Во дворе язычников».

С. 20. *Письма его, начиная с издания Кулиша...* — В 1857 г. в Петербурге вышло 6-томное издание Сочинений и писем Гоголя, изданное П. А. Кулишом.

О Гоголе записал сейчас же после его смерти С. Т. Аксаков... — имеется в виду «Письмо к друзьям Гоголя» С. Т. Аксакова (МВ. 1852. 13 марта. № 32. С. 328).

...«стиль автора есть сам автор». — Обычно говорится: «Стиль — это человек». Выражение французского естествоиспытателя Ж. Бюффона из речи «Рассуждение о стиле», произнесенной в 1753 г. при избрании его в члены Французской академии.

С. 22. *...«степи Гоголя лучше степеней Малороссии»...* — В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) Белинский писал: «Черт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Гоголя!..»

В ~ «Купце Калашникове»... — Историческая поэма Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837).

«Люблю отгизну я...» — начальные слова стихотворения Лермонтова «Родина» (1841).

С. 23. *...«Базар житейской суеты»...* — Под таким названием в 1850 г. в «Отечественных Записках» появился первый русский перевод (И. И. Введенского) романа У. М. Теккерея «Ярмарка тщеславия» (1848).

...«Пикквик» у Диккенса. — Роман «Посмертные записки Пикквикского клуба» (1836—1837). В переводе И. И. Введенского (1850) — «Замогильные записки Пикквикского клуба».

«1-е января» — дата, поставленная в качестве эпиграфа к стихотворению «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1840) и часто воспринимавшаяся как его название.

Известно, как дивился Белинский... — Белинский в статье «Стихотворения М. Лермонтова» (1841) писал о «Казачьей колыбельной песне»: «Это стихотворение есть художественная апофеоза матери <...> Где, откуда взял поэт эти простодушные слова, эту удивительную нежность тона, эти кроткие и задумчивые звуки, эту женственность и прелесть выражения?»

...песнь пригитанья матери Андрея и Остапа Бульбы... — Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. I.

С. 24. *...в «повестях Рудого Панько»...* — в цикле повестей Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1829—1832), которые якобы собрал и издал «пасичник Рудый Панько».

...в «Переписке с друзьями» и «Авторском завещании»... — Названы книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (СПб., 1847) и его «Авторская исповедь» (1847; оп. 1855; озаглавлено С. П. Шевырёвым).

Но я не так всегда воображал... — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей. 6.

...Вл. Соловьёв ~ не знает во всей мировой литературе аналогий этому сюжету... — имеется в виду лекция Соловьёва «Лермонтов» (1899). Новейшие исследования свидетельствуют, что сюжетно и текстуально «Демон» связан с «Потерянным раем» Дж. Милтона (см.: Олейник В. Т. Лермонтов и Мильтон: «Демон» и «Потерянный рай» // Известия ОЛЯ АН СССР. 1989. Т. 48, № 4. С. 299—315).

С. 25. *Есть реги — значенье...* — одноименное стихотворение Лермонтова 1840 г.

Поэт, не дорожи любовью народной. — А. С. Пушкин. Поэту (1830).

Но дух... известно, что такое дух... — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей. 5.

С. 26. *...не подражательных, как «Отцы пустынноики»...* — Имеется в виду, что это стихотворение Пушкина перелагает великопостную молитву Ефрема Сирина, сирийского богослова IV в. («Господи и владыко живота моего...»).

...«Я, Матерь Божия» ~ «По небу полуноги»... — Начальные слова стихотворений Лермонтова «Молитва» (1837, оп. 1840) и «Ангел» (1831, оп. 1840).

С. 27. *Когда бегущая комета...* — М. Ю. Лермонтов. Демон. I, I.

...с звезды востогной... — Там же. I, X.

О ПОЭЗИИ гр. А. К. ТОЛСТОГО

(с. 28)

Сохранилась неоконченная беловая рукопись черными чернилами и черновики, продолжающие ее — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 198. Л. 1—3 об., 4—6. На первой странице рукописи, в которой Розанов обратился к анализу поэзии Лермонтова и не дошел до упоминания гр. А. К. Толстого, имеется надпись рукой автора: «Не окончено, потому что чувствую, стало не выходить».

Печатается впервые по тексту беловой рукописи и черновику концовки записи.

С. 28. В «Скупом» Пушкина... — названа одна из «маленьких трагедий» «Скупой рыцарь» (1830).

С. 31. Отделкой золотой блистает мой кинжал... — М. Ю. Лермонтов. Поэт (1838) и далее.

Ты царь. Живи один... — А. С. Пушкин. Поэту (1830).

О ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ

(с. 33)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1901. 24 июля. № 9118. С. 1—2. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 651—652).

Печатается по тексту первой публикации.

Предварительная цензура была отменена только в 1905—1906 гг. («Временные правила» 26 апреля 1906 г.).

С. 33. *Объезд главноуправляющим по делам печати...* — речь идет о князе Н. В. Шаховском, занимавшем этот пост с января 1900 г. по апрель 1902 г.

М. О. МЕНЬШИКОВ. НАЧАЛО ЖИЗНИ.

НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ ОЧЕРКИ

Вера в жизнь. — Женщина-мать. — Семья. — Дети. — Возрасты человека. — Поэзия. — Героизм. — Дружба. — Страдания. — Смерть.

СПб. 1901. Стран. 403

(с. 35)

Сохранился черновой автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. II. Л. 59, 60, 60а под названием: «Секуляризация семьи» (см. *Варианты*).

Впервые напечатано: *НВил*. 1901. 25 июля. № 9119. С. 10—11.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 652—654).

Печатается по тексту первой публикации.

Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918) — публицист, критик и общественный деятель, ведущий сотрудник газет «Неделя» (1892—1901) и «Новое Время» (1901—1917), на страницах которого вел полемику с Розановым. См. статью В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 569—575).

С. 35. ...«не могущих вместить семью». — Т. е. понять. Реминисценция евангельского выражения: «Кто может вместить, да вместит» (Мф 19: 12).

С. 36. *«Кормгая книга»* — сборник церковных законов на Руси с XIII в., основанных на византийском церковном праве.

Белая и черная мышка, как в известной сказке... — В книге «Тайна» Розанов писал: «Есть легенда, приведена у Филонова, о каких-то двух, злой и доброй, черной и белой мышке: во всем анатомически сходных, кроме направления» (ПСС. СПб., 2015. Т. 2. С. 581). См. также коммент.: Там же. С. 723.

ПОЧТИ ЕДИНСТВЕННАЯ ГАЗЕТА В РОССИИ

(с. 37)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 207. Л. 13.

Впервые напечатано: *НВ*. 1901. 2 авг. № 9127. С. 2. Подпись: *Ibis*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 661—663).

Печатается по тексту первой публикации.

Статья направлена против В. А. Грингмута, выходца из Германии, который после смерти редактора «Московских Ведомостей» М. Н. Каткова в 1887 г. участвовал в редактировании газеты (редакция находилась на Страстном бульваре), а с 1896 г. стал главным редактором. Посмертно издано «Собрание статей» Грингмута в 4 выпусках (М., 1908—1910). Первые статьи Розанова в «Московских Ведомостях» (1889—1891) печатались при поддержке Грингмута. См. статью о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 302—304).

С. 37. *...три редакционные ~ статьи, приуроченные к годовщине смерти Каткова...* — 20 июля 1901 г. «Московские Ведомости» отмечали годовщину смерти редактора газеты и опубликовали передовую статью «М. Н. Катков» (№ 197. С. 1—2). Другие две статьи: «Наша „учебная реформа,» (21 июля. № 198. С. 1) и «Наш школьный кризис» (22 июля. № 199. С. 1). Их автор, по всей видимости, — редактор газеты В. А. Грингмут.

...палицу Геркулеса. — Во время своего десятого подвига Геркулес разбил своей палицей трехголового великана Гериона, владельца коров.

...времен г. Делянова... — И. Д. Делянов был министром народного просвещения в 1882—1897 гг.

Катковский лицей — Московский императорский лицей в память Цесаревича Николая, привилегированное высшее учебное заведение; существовал с 1868 по 1917 г. Основан М. Н. Катковым и его другом П. М. Леонтьевым (ныне в этом здании на Остоженке Дипломатическая академия МИД).

С. 38. *«Хижина дяди Тома»* (1852) — роман американской писательницы Г. Бичер Стоу, который, по словам современников, вызвал гражданскую войну в США.

«Молгаливая академия» — знаменитая академия в г. Хамадан (Персия), в которую стремились попасть многие ученые Средневековья.

Не то беда, что ты поляк... — А. С. Пушкин. Эпиграмма на Булгарина (1830).

С. 39. *...вопрос о вторичном приводе к присяге русских журналистов* — В передовой статье «Московских Ведомостей» 19 декабря 1896 г. редактор В. А. Грингмут предложил редакторам-либералам «Русских Ведомостей» и «Вестника Европы» печатно подтвердить присягу на верность самодержавию, что вызвало ироническую отповедь А. С. Суворина (*НВ*. 1896. 24 дек. № 7482). Розанов в «Письме в редакцию „Северного Вестника“» (Северный Вестник. 1897. № 4) тоже высказался об этом.

Двойной присягою играя... — приписываемая Пушкину эпиграмма на Ф. Булгарина.

<Д. Л. МОРДОВЦЕВ И М. Н. КАТКОВ>

(с. 39)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1901. 9 авг. № 9134. С. 2. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 668–669).

Печатается по тексту первой публикации.

Мордовцев Даниил Лукич (1830–1905) — прозаик, публицист, историк.**С. 39.** «*Приазовский Край*» — ежедневная газета в Ростове-на-Дону в 1891–1917 гг.*Катков ~ отказался принять и напечатать ~ «первое предупреждение».* — 29 марта 1866 г. генерал-губернатор Москвы кн. В. А. Долгоруков вручил М. Н. Каткову первое предупреждение «Московским Ведомостям» за статью в газете 20 марта с критикой деятельности правительства по национальному вопросу. Отказ Каткова публиковать еще два последовавшие предупреждения привел к закрытию газеты на два месяца.«*Голос*» — ежедневная политическая и литературная газета, выходила в Петербурге в 1863–1884 гг. Издатель-редактор А. А. Краевский.«*Рука Всевышнего отегество спасла*» (1834) — историческая трагедия Н. В. Кукольника, получившая поддержку императора Николая I. Отрицательная рецензия Н. А. Полевого (Московский Телеграф. 1834. № 3) послужила поводом для закрытия журнала. Приведенная эпиграмма по этому поводу напечатана в книге: *Лемке М.* Николаевские жандармы и литературы. СПб., 1909. С. 96.**«ДЕМОН» ЛЕРМОНТОВА
В ОКРУЖЕНИИ ДРЕВНИХ МИФОВ**

(с. 40)

Сохранился черновой автограф конца статьи — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 186. Л. 40–41. См. *Варианты*.Впервые напечатано: *НВ*. 1901. 21 авг. № 9146. С. 2–3. По сообщению С. А. Цветкова, публикация статьи была прервана редакцией газеты. Окончание статьи было опубликовано в журнале «Русский Вестник» под названием «„Демон“ Лермонтова и его древние родичи» (1902. № 9. С. 45–56).

В Собр. соч. Розанова включено в т. 10 (с. 187–196).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 40. *...картину Клода Лоррена ~ «Ассиз и Галатя» ~ называл про себя «Золотым Веком».* — Розанов пересказывает слова Версилова из романа Ф. М. Достоевского «Подорожок» (ПСС. Л., 1975. Т. 13. С. 375). По свидетельству А. Г. Достоевской, картины французского художника-пейзажиста Клода Лоррена были особенно любимы Достоевским. В основе картины «Ассиз и Галатя» положен эпизод из книги 13 «Метаморфоз» Овидия. Та же интерпретация картины Лоррена дана в исповеди Ставрогина в «Бесах» Достоевского и в его «Сне смешного человека». «Вечер» («Товий и ангел», 1663) — картина Лоррена в Эрмитаже.**С. 41.** *...«отерта будет всякая слеза»...* — Откр 7, 17; 21, 4.*...«открыто будет ему древо жизни»...* — Откр 22, 2; 22, 14.*«Дабы не вкусил человек от древа жизни и не стал яко один из нас».* — См.: Быт 3, 22.*...Небесный, сходящий на землю Иерусалим...* — См.: Откр 21.

С. 42. *Литейный мост* — построен в Петербурге в 1875–1879 гг. (архитектор А. Е. Струве). В каждой чугунной литой секции моста находится щит с гербом города в руках двух русалок, хвосты которых вплетены в растительный орнамент.

...«подобие и образ Божий»... — Ср.: «И рече Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию» (Быт 1, 26).

С. 45. ...в «Истории религий древнего мира» в рубрике «Греция» (т. III)... — Хрисанф, архим. Религии древнего мира в их отношении к христианству: историческое исследование... Т. 2: Религии Египта, семитических народов, Греции и Рима. СПб., 1875; Т. 3: Библейское вероучение в сопоставлении с религиозными воззрениями древности и его отличительный характер. Учение о язычестве у древних отцов и учителей церкви. Взгляд на состояние вопроса о язычестве в современном богословии. СПб., 1878.

...железная решетка в Летнем саду. — Создавалась в 1771–1777 гг. «под смотрением» архитектора Ю. М. Фельтена в стиле классицизма. Железные кованые звенья решетки имеют орнаментальные украшения из золоченой бронзы.

...в одной записи Варрона, сохранившейся у бл. Августина... — Августин в своем труде «О Граде Божьем» упоминает Варрона более двухсот раз. Благодаря Августину, известно содержание второй части несохранившегося труда Варрона «Человеческие и божественные древности», являющегося источником приводимой Розановым исторической справки.

С. 46. «Италия до того полна богами...» — Петроний. Сатирикон, 17.

«Гамаюн» — в русской мифологии вещая птица, поющая божественные песни и предвещающая будущее.

«Вот наш храм — другого не имамы». — Перепев молитвословия: «Не имамы иныя помочи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево».

«Это и не бог и не человек, это — Пифагор»... — Философ IV в. н. э. Ямвлих позаимствовал «заветные слова» у пифагорейцев: «Среди говорящих тварей есть боги, есть люди, а еще есть Пифагор» («О жизни пифагорейцев», 31).

С. 47. ...бунт против пифагорейцев и избиение их в Кротоне... — около 532 г. до н. э. Пифагор поселился в Кротоне (Южная Италия) и основал там религиозно-философское братство пифагорейцев, которое захватило в итоге власть в Кротоне и распространило свое политическое влияние по всей Южной Италии. В 490-х гг. до н. э. в Кротоне вспыхнуло антипифагорейское восстание, изгнавшее Пифагора и его приверженцев.

Олег (наш) «рыскал волком по полям»... — ср. в былинне «Вольга и Микула Селянинович» о князе-кудеснике, прототипом которого считается Олег Вещий: «Похотелося Вольге много мудрости <...> Серым волком рыскачь в чистых полях» (Былины. М., 1988. С. 41).

«Золотые персты Эос»... — отсылка к переводу В. А. Жуковским «Одиссеи» Гомера: «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос».

«Римская религия от Августа до Антонинов» — Буассье Г. Римская религия, от Августа до Антонинов / Пер. Марии Корсак. М., 1878.

«ПЕДАГОГИ» ОТТО ЭРНСТА

(с. 48)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: НВ. 1901. 17 окт. № 9203. С. 2. Подпись: *Vesper*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 717–720).

Печатается по тексту первой публикации.

Пьеса немецкого драматурга и прозаика Отто Эрнста (наст. имя Отто Эрнст Шмидт; 1862–1926) «Воспитатель Флакман» (1901, пер. Е. В. Кашперовой) была поставлена 15 октября 1901 г. в Театре Литературно-художественного общества (театр А. С. Суворина) под названием «Педагоги». 20 августа 1901 г. в театре Суворина произошел пожар, и театр был вынужден открыть сезон в помещении Панаевского театра (Адмиралтейская наб., 4).

С. 48. *Панаевский театр* – был построен на деньги путейского инженера, любителя искусств В. А. Панаева в 1887 г. На его сцене выступали оперные, драматические, опереточные и другие группы. Сгорел осенью 1917 г.

С. 49. *...фон-Визин ~ вывел учителей на подмостки театра.* – Подразумевается комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1782).

С. 50. *Черные краски ~ один Помяловский* – Розанов имеет в виду прежде всего «Очерки бурсы» (1863) Н. Г. Помяловского.

О ЛИТЕРАТУРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ЧИНОВНИКОВ

(с. 50)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 215. Л. 59, с отчеркиваниями синим карандашом.

Впервые напечатано: *НВ*. 1901. 19 окт. № 9205. С. 2. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 720–721).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 50. *«Судебная Газета»* – выходила в Петербурге в 1882–1905 гг. еженедельно.

...крупновские орудия... – стальные пушки, произведенные на заводах немецких промышленников Альфреда Круппа и его сына Фридриха.

С. 51. *«Устав о службе гражданской»* – первый российский документ, посвященный вопросам штатской службы; введен при Николае I (1835; 3-й том из «Свода законов Российской империи»).

...угреждение 50 000 фонда для инвалидов пера при Императорской Академии... – см. коммент. к с. 19.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

(с. 52)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 28–28а.

Впервые напечатано: *НВ*. 1901. 6 нояб. № 9223. С. 3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 725–728).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 52. *...в александрийский период...* – Иначе: эллинистический период (323–146 гг. до н. э.).

...грамматику Поливанова... – В 1868 г. Л. И. Поливанов открыл в Москве частную мужскую классическую гимназию (получившую широкую известность как «Поливанов-

ская»). Он автор книг: Краткая русская грамматика для учеников двух первых классов средних учебных заведений. М., 1871 (18 изданий по 1916 г.); Учебник русской грамматики для средних учебных заведений. М., 1883 (10 изданий по 1896 г.).

...трудо*в* о Карамзине и Жуковском... — имеются в виду книги: Карамзин Н. М. Избранные сочинения с очерком, вводными заметками, примечаниями Л. Поливанова. М., 1884; Загарин П. [Поливанов Л. И.]. В. А. Жуковский и его произведения. 2-е изд. М., 1883.

«Гибралтар» — такого произведения у И. А. Гончарова не существует. Возможно, имеется в виду глава «Атлантический океан и остров Мадера» в книге путевых очерков Гончарова «Фрегат „Паллада“» (1855—1857).

...александрийские листы... — Александрийская (императорская) бумага — высококачественная плотная бумага, которую производили вручную и применяли для дорогих иллюстрированных и малотиражных изданий. Предполагается, что в древности этот сорт изготавливали в египетской Александрии и доставляли в Россию из Греции.

С. 54. Репетил*ов* — персонаж из «Горя от ума» А. С. Грибоедова.

«Великий Могол» — самый крупный алмаз (787 карат); найден в 1650 г. в Индии. После убийства правителя Персии Надир-шаха в 1747 г. следы алмаза теряются.

«Берегите его, ради Бога берегите» — аллюзия на стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Русский язык» (1882).

Остромирово Евангелие — древнейший датированный памятник старославянской письменности, переписанный в 1056—1057 гг. с болгарского оригинала дьяконом Григорием для новгородского посадника Остромира.

ИВАН ЩЕГЛОВ. НОВОЕ О ПУШКИНЕ

СПб. 1902. Стр. 219

(с. 54)

Автограф неизвестен.

Сохранились: 1. Вырезка из газеты *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 61; перед текстом — помета «х» красным карандашом. В тексте пометы карандашом для подсчета строк; на полях цифровой подсчет строк; 2. вырезка из того же издания — Там же. Л. 65—67, с пометой: «№ 84»; на обороте каждого из листов надпись синим карандашом: «Жена Пушкина».

Впервые напечатано: *НВип*. 1901. 7 ноября. № 9224. С. 10.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 729—731).

Печатается по тексту первой публикации.

Щеглов (наст. фам. Леонтьев) Иван Леонтьевич (1856—1911) — писатель и драматург, автор романов «Гордиев узел» (1886), «Миллион терзаний» (1899), пьесы «В горах Кавказа» (1887), сборников повестей, пьес и статей («О народном театре», 1895; «В защиту народного театра», 1903; «Народ и театр», 1911). Розанов посвятил ему некролог (*НВ*. 1911. 7 июня. № 12655).

См. о нем статью в «Розановской энциклопедии» (с. 1195—1196).

С. 55. «Она покоилась стыдливо»... — А. С. Пушкин. Красавица (1832).

...в «богомольное» отношение. — Ср.: «Благоговей богомольно / Перед святыней красоты» (Там же).

«Господи, — сказала она раз у Смирновой...» — Записки А. О. Смирновой (Из записных книжек 1826—1845 гг.). СПб., 1894. С. 181.

С. 56. *...говорила она ~ тетке в присутствии Л. Н. Павлицева.* — Речь идет не о тетке Н. Н. Пушкиной, а о ее золовке О. С. Павлицевой. Далее цитируется издание: *Павлицев Л.* Воспоминания об А. С. Пушкине: Из семейной хроники. М., 1880.

ЖЕРТВЫ ВЕЧЕРНИЕ

(с. 56)

Сохранился автограф, беловая рукопись, предназначенная для набора и подписанная псевдонимом «Vesper», — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 214. Л. 15—17. Вверху листа 17 («С Чухой мы помирились и не ропщем громко») редактор «Нового Времени» написал простым карандашом: «Эта страница нецензурна», а Розанов тем же карандашом добавил: «А без нее остальное — намеки тонкие на то, чего не ведают никто». В печать статья не пошла.

В Собр. соч. Розанова не включалась.

Печатается впервые по беловому автографу.

Статья написана после 8 ноября 1901 г. В этот день состоялась премьера драматических сцен «Петербургские трущобы» Н. Ф. Арбенина (наст. фам. Гильдебрандт) по одноименному роману (1864—1867) Всеволода Крестовского в Театре Литературно-художественного общества (Суворинский театр). Вероятно, игру труппы этого театра Розанов видел в Панаевском театре, так как своей труппы Панаевский театр не имел.

В названии использован псалмодический образ «жертва вечерняя» (Пс 140, 2), иронически перепетый в тексте статьи в «жертв вечеринок».

С. 57. *...«страдания молодого Вертера»...* — название сентиментального романа в письмах И. В. Гёте (1774).

...Добролюбова, «светлый луг в темном царстве»... — отсылка к названию статьи Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» (1860).

...пала прекрасная Дина, догь Иакова... — Дина, единственная дочь библейского патриарха Иакова, была в 16 лет изнасилована сыном сихемского князя, за что ее братья вырезали население Сихема.

...пала блудница Рааф... — Жительница Иерихона Рааф (Раав), блудница, укрыла в своем доме двух соглядатаев из войска Иисуса Навина, за что при взятии города была вместе со своей семьей пощажена; все же остальное население Иерихона было поголовно перебито.

С. 58. *Агарь, и как ей Ангел явился в пустыню...* — Быт 21, 17—20.

С. 59. *Папильон* — бабочка, мотылек. В «Петербургских трущобах» В. Крестовского, о которых идет речь в статье, это устаревшее определение прилагается к легкомысленному человеку.

ФИЛОСОФ-РУДИН

Собрание сочинений Владимира Серг. Соловьёва.

Том I (1873—1877). С.-Петербург. 1901

(с. 60)

Автограф неизвестен.

Сохранились: 1. Гранки из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 30—36; 2. Вырезка из газеты *НВ*. — Там же. Л. 37, с записями простым карандашом даты публи-

кации и порядкового номера статьи в несохранившемся авторском списке произведений: «1901. 13/XI», «№ 107»; по тексту статьи следуют пометы синим карандашом отсчета строк (см. *Варианты*).

Впервые напечатано: *НВ*. 1901. 13 нояб. № 9230. С. 2.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 732—739).

Печатается по тексту первой публикации.

В названии статьи о Вл. Соловьёве, который сопоставляется с тургеневским Рудиным, подчеркивается противоречивость философа, вызывавшего и критические, и апологетические суждения современников.

С. 60. *...издание, рассчитанное на восемь томов...* — Собрание сочинений В. С. Соловьёва вышло в 9 томах в 1901—1907 гг. (в 9-й том вошли статьи Соловьёва из «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона); 2-е издание вышло в 10 томах в 1910—1914 гг.

«*Беседа под пальмами*» — точнее: «Под пальмами» — название, под которым увидели свет первые две главы «Трех разговоров...»: *Соловьёв Вл.* Под пальмами: Три разговора о мирных и военных делах. 1 // Книжки «Недели». 1899. Октябрь; Ноябрь; 2. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, с включением краткой повести об антихристе и приложениями. СПб., 1900.

С. 61. *Бедный друг! Истомил тебя путь...* — одноименное стихотворение (1887) В. С. Соловьёва.

С. 62. «*Философский лексикон*» (Киев, 1857—1873) — главный труд русского философа С. С. Гогоцкого.

С. 63. «*Основы позитивной философии*» (1830—1842) — труд французского философа О. Конта (в рус. пер.) «Курс положительной философии» (т. 1—2, 1899—1900).

...отрясти прах земли от ног своих... — Деян 13, 51.

С. 64. *...«мир есть мое представление».* — Имеется в виду сочинение А. Шопенгауэра «*Мир как воля и представление*» (1819—1844). Розанов писал в «Уединенном»: «„Мир есть мое представление“. — Вот это хорошо, — подумал я по-обломовски. — „представим“, что дальше читать очень трудно и вообще для меня, собственно, не нужно».

...обед у Палкина — Ресторан К. П. Палкина в Петербурге (Невский, 47) был открыт в 1871 г. и действовал до 1914 г.

...Ал. Ив. Введенский гуть-то гуть только доказал... — См.: *Введенский А.* Вторичный вызов на спор о законе одушевления и ответ противникам // *ВФП*. 1893. Кн. 18. С. 120—149; *Лопатин Л. М.* Новый психофизиологический закон г. Введенского // *ВФП*. 1893. Кн. 19. С. 60—81.

С. 65. «*Жена да боится своего мужа*». — Ефес 5, 33.

С. 66. *...«неделю мироносиц».* — Неделя (в церковном календаре недель называется воскресный день) жен-мироносиц — третье воскресенье после Пасхи.

...на «Переписку с друзьями» ~ «Авторское завещание» Гоголя. — См. коммент. к с. 24.

...другой писатель тоскливо сказал: «проходит лик мира сего» — 1 Кор 7, 31. Однако Розанов, возможно, имеет в виду Ф. М. Достоевского. Ср. в «Апокалипсисе нашего времени»: «Кто это сказал: „Проходит лик мира сего“? <...> вот этот великий клич-тоску каторжника николаевских времен: „Проходит лик мира сего“» (*АНВ*. С. 158). Подразумевается выражение Достоевского в «Дневнике писателя» за 1881 г. (гл. III, § 3), относящееся к третьему словию, которое, не появившись Наполеон на исторической арене, не стало бы «изменять весь лик всей Европы». И дальше: «Дело в том, что мне кажется, что нынешний век кончится в старой Европе чем-нибудь колоссальным <...> и тоже с изменением лика мира сего» (*Достоевский Ф. М.* ПСС. Л., 1983. Т. 25. С. 148).

При нагале китайской войны... — речь идет об интервенции многих иностранных государств, занявших в 1900 г. Пекин и установивших полукOLONиальное положение Китая.

**М. Н. БОГДАНОВ. ИЗ ЖИЗНИ РУССКОЙ ПРИРОДЫ.
ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ**

*Издание пятое. С 9 рисунками и многими политипажамми в тексте,
с портретом, биографическим очерком и предисловием Н. П. Вагнера.*

СПб. 1901. Стр. 462

(с. 66)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВил.* 1901. 21 нояб. № 9238. С. 11. Подпись: *В. Р-въ.*

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 742).

Печатается по тексту первой публикации.

Богданов Модест Николаевич (1841–1888) — зоолог и путешественник.

С. 66. *...русского Брема...* — «Иллюстрированная жизнь животных» (1863–1869) немецкого зоолога А. Э. Брема неоднократно издавалась по-русски, начиная с 1860-х гг.

С. 66–67. *Хивинский поход 1873 года* — военная экспедиция русских войск против Хивинского ханства, признавшего себя протекторатом России.

МНИМОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ

(с. 67)

Автограф неизвестен.

Сохранились вырезки из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 1–2, в которой Розановым сделана карандашом правка одного слова (с. 300, строчка 21): «обвинение» исправлено на «в обвинении». В конце вырезки надпись Розанова синим карандашом: «Достоевский и раскольники».

Впервые напечатано: *НВ.* 1901. 27 нояб. № 9244. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 743–745).

Печатается по тексту первой публикации с учетом правки Розанова.

В поддержку Розанова и опровергая Инфолио, считавшего, что Достоевский заимствовал фабулу легенды о Великом инквизиторе у Вольтера и Гёте, выступил В. Ф. Пуцыкович (*НВ.* 1902. 16 янв. № 9292), ссылавшийся на личный разговор с Ф. М. Достоевским в 1879 г.

С. 67. *Инфолио в своей «Литературной справке»* — статья Инфолио (псевдоним не раскрыт) появилась в «Новом Времени» 24 ноября 1901 г. В ней утверждалось, что сюжет легенды о Великом инквизиторе возникает в «Путешествии по Италии» (1786, оп.: 1816–1817) Гёте, который, как цитирует Инфолио, писал в разделе о Риме: «Сам Христос, когда возвращался на землю для того, чтобы обозреть плоды своего учения, подвергался опасности быть вторично распятым». Вторая часть легенды о Великом инквизиторе, считал Инфолио, восходит к сказке Вольтера «Папская туфля» из его сборника «Сказки в стихах» (1733), где первосвященник падает на колени и целует копыто Вельзевула. С тех пор и завелся в Риме обычай целовать туфлю святейшего отца.

«*Моя осанна сквозь горнило испытаний прошла*» — Ср.: *Достоевский Ф. М.* ПСС. Л., 1984. Т. 27. С. 86: «Через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же романе черт» («Братья Карамазовы». XI, 9: Черт. Кошмар Ивана Федоровича).

С. 68. «*Каин*» — драма в стихах Дж. Г. Байрона (1821).

...Лермонтов «заимствовал» Демона из «Каина» Байрона... — см. об этом: Черняев Н. И. Заметки о Лермонтове: Демон // Южный Край. 1901. 25, 29, 30, 31 янв., 2, 5 февр. № 6913, 6917—6919, 6921, 6924.

...Пушкин «Капитанскую дочку» выкрал у Вальтера Скотта... — См.: Галахов А. О подражательности наших первоклассных поэтов // Русская Старина. 1888. № 1. С. 27; также см. полемику: Черняев Н. И. «Капитанская дочка» Пушкина: Ист.-крит. этюд. М., 1897. С. 45; ср. также с. 46, 47, 80, 153, 167, 206 и др.

...у Вальтер-Скотта сюжет о несчастной невесте... — речь идет о романе В. Скотта «Ламмермурская невеста» (1819).

«Бунт» — название главы IV книги пятой («Рго и сонтра») романа Достоевского «Братья Карамазовы».

...«Тайна беззакония уже нагала действовать в мире»... — Ср.: 2 Фес 2, 7.

...«Ныне суд князю мира сего»... — Точнее: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин 12, 31).

С. 69. *Не поузись в Инженерном училище...* — Ф. М. Достоевский обучался в петербургском Военно-инженерном училище в 1838—1843 гг.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОБРАНИЯ

(с. 69)

Автограф неизвестен.

Первые напечатано: НВ. 1901. 9 дек. № 9258. С. 2—3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 750—752).

Печатается по тексту первой публикации.

РФС существовали в Петербурге в 1901—1903 гг. Одним из организаторов, наряду с Мережковским, был Розанов. Отчеты заседаний печатались в журнале «Новый Путь» в 1903—1904 гг. 5 апреля 1903 г. Синод запретил Собрания.

С. 70. *...овер-прокурора Св. Синода...* — К. П. Победоносцева, занимавшего этот пост в 1880—1905 гг.

...доклад В. А. Тернавцева «Об отношении интеллигенции к церкви». — Полный текст доклада под над названием «Русская Церковь перед великою задачей» см. в кн.: Записки Петербургских Религиозно-философских собраний (1901—1903 гг.) / Общ. ред. С. М. Половинкина. М., 2005. С. 5—19.

С. 71. «*Будьте мудры как змии и просты как голуби*» — Мф 10, 16.

1902

КАМЕННАЯ БАБА

(с. 72)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и черновик окончания статьи — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 127—129. Сверху карандашом рукой Розанова помета: «Для следующей книжки „В своем углу,«. Зачеркнуто начало, чернилами написана первая фраза (см. *Варианты*).

Печатается впервые по тексту гранок и черновика, завершающего статью и отделенного чертой.

О М. А. Лохвицкой см. статью А. А. Голубковой в «Розановской энциклопедии» (с. 340).

С. 72. «Лилит» — стихотворение Мирры Лохвицкой (1895) о первой жене Адама. Сборник ее «Стихотворений» 1889—1895 гг. (М., 1896) получил высокую оценку критики и был удостоен половинной Пушкинской премии Академии наук.

...каменных баб на дворе-площадке Румянцевского музея — Каменные изваяния времен половцев и скифов на юге России оказались в окрестностях Москвы в конце XVIII в. Общество истории и древностей Российских в 1839 г. привезло каменную бабу для Румянцевского музея из Херсонской губернии.

Чумаки — жители Юга России и Малороссии, занимавшиеся торгово-перевозным промыслом: возчики, виноторговцы, солеторговцы.

С. 73. «Pietà» — «Оплакивание Христа» (1498—1501), скульптура Микеланджело в Соборе св. Петра в Риме (см. «Итальянские впечатления» Розанова).

«Всех скорбящих радость» — Точнее: «Всех скорбящих Радость» — наименование иконы Богородицы.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ

(с. 73)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 4, с авторской правкой черными чернилами: с. 307, строка 15:

Построения приложения к России / построения, приложение к России

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 2 февр. № 9309. С. 3. По поводу статьи Инфолио «Спор о самобытности» (*НВ*. 1902. 30 янв. № 9306). Инфолио (псевдоним не раскрыт) отозвался статьей «Самобытны ли идеи?» (*НВ*. 1902. 4 февр. № 9311).

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 262—264).

Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой.

С. 73. *Пушкин рассказывает ~ сколько он ни пытался уснуть в алгебре и геометрии...* — именно такие признания Пушкина о его отношении к математике неизвестны. По словам сестры А. С. Пушкина О. С. Павлицевой, «арифметика казалась для него недоступною и он часто над первыми четырьмя правилами, особенно над делением, заливался горькими слезами» (Павлицева О. С. Воспоминания о детстве А. С. Пушкина (со слов сестры его О. С. Павлицевой), написанные в С.-П.-Бурге 26 октября 1851 // Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. 3-е изд., доп. СПб., 1998. Т. 1. С. 34). Лицейский друг Пушкина И. И. Пущин вспоминал, что «...все профессора смотрели с благоговением на растущий талант Пушкина. В математическом классе вызвал его раз Карцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцов спросил его наконец: „Что ж вышло? Чему равняется икс?“ Пушкин, улыбаясь, ответил: нулю! „Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи“. Далее Пущин добавляет: „Спасибо и Карцову, что он из математического фанатизма не вел войны с его поэзией“» (Пущин И. И. Записки о Пушкине // Там же. С. 76).

С. 74. *Дарвин ~ не мог понять никакой красоты в Шекспире.* — Имеется в виду «автобиография» Ч. Дарвина «Воспоминания о развитии моего ума и характера» (1876), в которой он писал: «...еще в школьные годы я с огромным наслаждением читал Шекспира, особенно его исторические драмы. Я указывал также, что в былое время находил боль-

шое наслаждение в живописи и еще большее — в музыке. Но вот уже много лет, как я не могу заставить себя прочесть ни одной стихотворной строки; недавно я пробовал читать Шекспира, но это показалось мне невероятно, до отвращения скучным. Я почти потерял также вкус к живописи и музыке» (глава «Оценка моих умственных способностей»; пер. С. Л. Соболя). Впервые перевод этого сочинения опубликован: *Дарвин Ч. Автобиография*. СПб.: Изд. д-ра философии М. М. Филиппова, 1896).

...тирана Дионисия, любителя философии и поэзии... — речь идет о сиракузском тиране Дионисий Старший. Известно, что он сам сочинял стихи; правда, рапсоды, посланные им на Олимпийские игры 388 года до н. э., где они исполняли произведения его сочинения, были осмеяны.

Лациум, или Лаций (Latium), — историческая область в античной Италии, прародина романских языков; его территория входит в состав современного региона Лацио.

...надел крестьян с землей — их требование... — имеются в виду усилия славянофилов (прежде всего кн. В. А. Черкасского, Ю. Ф. Самарина, И. С. Аксакова) — и как публицистов-теоретиков, и как администраторов-практиков — в подготовке и осуществлении крестьянской реформы 1861 г.

Г. Инфолио говорит, что «идеи» подобны семенам, падающим с неба на землю-нацию. — Эта фраза Розанова вызвала протест Инфолио, который считал, что тот «приписывает ему утверждения, которых он не доказывал» (*Инфолио*. Самобытны ли идеи? // *НВ*. 1902. 4 февр. № 9311. С. 3). Действительно, Инфолио в статье «Спор о самобытности» писал: «Да, „семя“-идея не самобытна. Идеи всемирны и даже надмирны, как, например, идеи „откровенные“, идея верховного Существа, бессмертия, воплощения и т. д. Явно, эти идеи не могли зародиться в земной грязи и. как самая жизнь, мысль и дух, низошли к нам откуда-то из мира иного. Идеи-семена международны и странствуют через века» (Там же. 30 янв. № 9306. С. 2). Инфолио предложил Розанову «указать хотя бы одну только идею „самобытно-русскую“» (Там же. 4 февр. № 9311. С. 3), на что тот откликнулся заметкой «О множестве самобытных идей» (Там же. 8 февр. № 9315. С. 3).

С. 75. «*Восток, Россия и Славянство*» — сборник статей К. Н. Леонтьева, вышедший в Москве в 1885—1886 гг. в двух томах. Розанов пишет об этой книге уже в первом своем письме Леонтьеву в апреле 1891 г.

...при отправлении на Кавказ подарил ему... — 13 апреля 1841 г. В. Ф. Одоевский подарил Лермонтову при его отъезде на Кавказ записную книжку с надписью: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную» (*Лермонтов М. Ю.* Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 863). Эта книжка ныне хранится в ОР РГБ. Факсимиле надписи Одоевского см.: Литературное наследство. М., 1941. Т. 43/44. С. 679.

Вся их оценка Петра... — подразумевается критическая оценка славянофилами реформы русского быта, совершенной Петром I.

СТО ЛЕТ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ

Николай Энгельгардт. История русской литературы XIX столетия.

Том первый. 1800—1850 (Критика, роман, поэзия и драма).

С приложением синхронистической таблицы, хронологического указателя писателей и полной библиографии. С.-Петербург. 1902. Стр. 608

(с. 76)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 70, с пометой «х» красным карандашом.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 6 февр. № 9313. С. 3.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 264–267).

Печатается по тексту первой публикации.

Энгельгардт Николай Александрович (1867–1942) — писатель, критик, коллега Розанова по работе в «Новом Времени». Об отношениях Розанова и Энгельгардта см. статью А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 1197–1199).

С. 77. *VIII том (солдатенковского издания)* — *Белинский В. Г.* Соч.: В 12 т. М.: К. Солдатёнков, Н. Щепкин, 1860. Ч. VIII (издание вышло в 1859–1862 гг. и было в библиотеке Розанова).

...*кружок «Современника»*... — речь идет о журнале «Современник», издававшемся Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым в 1847–1866 гг., фактическим руководителем которого с 1848 г. стал В. Г. Белинский.

Петрашевы — кружок молодежи, собиравшейся с 1844 по 1849 г. в Петербурге у революционера М. В. Петрашевского. Ф. М. Достоевский читал там «Письмо Белинского к Гоголю». 23 апреля 1849 г. арестованы и осуждены. Амнистированы в 1856 г.

«*Коринна*» — роман французской писательницы мадам А. Л. Ж. де Сталь, вышедший в 1807 г. (рус. пер. 1809–1810).

Первые басни Крылова... — Первая книга басен И. А. Крылова вышла в 1809 г.

«*Новый Стерн*» — прозаическая пьеса А. А. Шаховского (поставлена в 1805 г., опубликована в 1807 г.).

«*Дон Кихот*» — первый русский перевод (с французского) романа М. Сервантеса вышел в Петербурге в 1769 г. Перевод В. А. Жуковского (тоже с французского) появился в 1815 г.

«*Фингал*» — трагедия В. А. Озерова (поставлена в 1805 г., напечатана в 1807 г.).

«*Поэт*» — ода М. М. Хераскова, вышла отдельным изданием (М., 1805).

«*Элегия из Парни*» — вольный перевод элегии французского поэта Э. де Форжа Парни, опубликованный К. Н. Батюшковым (Северный Вестник. 1805. № 3. С. 338–339).

«*Раздумья*» — у французского поэта А. М. Л. де Ламартина два сборника: «Поэтические размышления» (1820) и «Новые поэтические размышления» (1823).

«*Философия права*» — книга немецкого философа Г. В. Ф. Гегеля (1821).

Последний год литературной деятельности Батюшкова... — Последние стихи К. Н. Батюшкова (1787–1855) написаны в 1821 г., после чего он впал в тяжелую душевную болезнь.

«*Руслан и Людмила*» — поэма А. С. Пушкина издана в 1820 г.

Шатобриан — французский писатель Ф. Р. де Шатобриан умер 4 июля 1848 г.

«*Жизнь богемы*» (1849) — пьеса французских писателей А. Мюрге и Т. Баррьера. По мотивам «Сцен из жизни богемы» (1851) написана опера Дж. Пуччини «Богема» (1896).

«*Домби*» — роман Ч. Диккенса «Домби и сын» (1848).

«*История Англии*» — исторический труд Т. Б. Маколея «История Англии от восшествия на престол Якова II» (1849–1861. Т. 1–5).

«*Основания политической экономии*» — книга английского экономиста Дж. Милля (1848; рус. пер. 1865).

«*Нахлебник*» — бытовая драма И. С. Тургенева (1848; опублик. 1857).

Белинского, Гребенки, Губера. — В. Г. Белинский и Е. П. Гребёнка умерли в 1848 г., Э. И. Губер умер в 1847 г.

«*Белые ноги*» (1848) — повесть Ф. М. Достоевского.

Салтыков сослан в Вятку. — В апреле 1848 г. М. Е. Салтыков-Щедрин был выслан в Вятку.

«*Сущность христианства*» — сочинение немецкого философа Л. Фейербаха, изданное в 1841 г.

«*О героях и героическом*» — труд английского философа и историка Т. Карлайла «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1841).

«*Химические письма*» — сочинение немецкого химика Ю. Либиха «Письма о химии и ее приложениях к промышленности и земледелию» (1844; рус. пер. СПб., 1847; М., 1855).

«*Коммунистический манифест в Париже...*» — «Манифест коммунистической партии» издан в 1848 г. в Лондоне на немецком языке.

«*Хорь и Калиныг*» — первый рассказ из «Записок охотника» И. С. Тургенева, напечатан в «Современнике» (1847. № 1).

С. 78. «*Обыкновенная история*» — роман И. А. Гончарова (Современник. 1847. № 3, 4; отд. изд.: СПб., 1848).

«*Ответ Москвитянину*» Белинского... — опубликован в «Современнике» (1847. № 11).

«*Отъезд Герцена за границу...*» — В октябре 1847 г. А. И. Герцен выехал в Италию.

«*Философическое письмо*» — статья П. Я. Чаадаева, опубликованная в журнале «Телескоп» (1836. № 15). Впечатления Пушкина от этого сочинения изложены в неотправленном письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 г.

О МНОЖЕСТВЕ САМОБИТНЫХ ИДЕЙ

(с. 78)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 8 февр. № 9315. С. 3. Отклик на статью Инфолио «Самобытны ли идеи?» (*НВ*. 1902. 4 февр. № 9311).

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 267—269).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 78. «...не в смысле г. Демчинского...» — сотрудник «Нового Времени» Н. А. Демчинский печатал в газете статьи о погоде.

С. 79. «*Конек-Горбунок*» — В сказке П. П. Ершова (СПб., 1834) соединено несколько фольклорных сюжетов (о Сивке-Бурке, Иване-дураке, Жар-птице). Первый балет на русскую национальную тему «Конек-Горбунок, или Царь-девица» по сказке Ершова был поставлен в 1864 г. на музыку Ц. Пуни в Большом каменном театре Петербурга. В различных редакциях балет продержался на русской сцене более 100 лет.

«...написал книгу о «Понимании»...» — Розанов В. О понимании: Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. М.: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1886. XII, 738, 3 л. схем.

С. 80. «...«схоластическое образование»...» — «схоластическое образование» (*грег.*).

«...ширяю сизым орлом по поднебесью...» — Реминисценция из «Слова о полку Игореве», процитированная, очевидно, по гл. VI цикла очерков М. Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом» (1881): «...ширял сизым орлом по поднебесью...» (*Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1972. Т. 14. С. 197*).

«...неевклидовская геометрия Лобачевского...» — созданная в 1826 г. Н. И. Лобачевским геометрическая теория, основанная на аксиоме, что через точку можно провести более одной параллельной прямой.

«...«все Русью пахнет»...» — Ср.: А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. Вступление (1825): «Там русский дух... там Русью пахнет!».

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА СОЛОВЬЁВА

Том II (1878—1880). С.-Петербург. 1901

(с. 80)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 29 а, б; на полях — запись о времени публикации «13 (26) февр. 1902»; перед текстом крестообразная помета красным карандашом; по тексту статьи следуют пометы синим карандашом отсчета строк.

Впервые напечатано: *НВип*. 1902. 13 февр. № 9320. С. 10—11. Подпись: *В. Р—въ*.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 269—271).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 80. *Идонизм* — то же, что гедонизм.

С. 81. ...«ширяет крыльями»... — отсылка к «Слову о полке Игореве»; ср. коммент. к с. 80.

50-ЛЕТИЕ КОНЧИНЫ ГОГОЛЯ

(с. 82)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ед. хр. 215. Л. 90, с надписью даты карандашом: «1902» и подсчетом строк на полях.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 21 февр. № 9328. С. 3. Б. п.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 273—277).

Печатается по тексту первой публикации.

История оценок Розановым творчества Гоголя прослежена в статье В. М. Гуминского в «Розановской энциклопедии» (с. 261—275).

С. 82. ...два раза видели относительно Пушкина... — имеются в виду торжества в июне 1880 и 1899 гг.

С. 83. ...«Берегите его»... — имеется в виду стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Русский язык» (1882).

...слова Гоголя о меткости русского слова... — См.: «Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко бы так вырвалось из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово!» (Н. В. Гоголь. Мертвые души. I, 5).

«Черные алмазы» — иначе: карбонадо; разновидность кубического алмаза черного, серого или зеленоватого цветов.

«Переписка с друзьями» — см. коммент. к с. 24.

Аристофана, который, осмеивая Эврипида и Сократа... — речь идет о комедиях древнегреческого комедиографа Аристофана «Облака» (423 до н. э.), «Лягушки» (405 до н. э.).

«Русь! Русь! Визжу тебя!» — Н. В. Гоголь. Мертвые души. I, 11 (пересказ Розанова).

С. 84. ...написали оба по «Пророку»... — «Пророк» А. С. Пушкина в 1826 г., «Пророк» М. Ю. Лермонтова в 1841 г.

«В чем же, наконец, существо русской поэзии» — Розанов с пропуском цитирует главу XXXI «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» из «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя.

...«пронзительно-унылый» стих... — А. С. Пушкин. Ответ анониму (1830): «И выстрадавший стих, пронзительно-унылый, / Ударит по сердцам с неведомою силой...»

«*Братья разбойники*» — поэма А. С. Пушкина (1821—1822).

«*Шильонский узник*» — поэма лорда Байрона (1816), переведенная В. А. Жуковским (1822).

«*Кассандра*» — баллада Ф. Шиллера (1802), переведенная В. А. Жуковским (1809).

«*Торжество победителей*» — баллада Ф. Шиллера (1803), переведенная В. А. Жуковским (1828).

...герой литературы ~ во время однодневной переписки в Москве ходит по ноглежным домам... — подразумевается Л. Н. Толстой, который 20 января 1882 г. опубликовал статью «О переписки в Москве», пожелал стать в число распорядителей, которым поручена перепись, и в течение трех дней ходивший с портфелем и блокнотом по домам, записывая у людей, как их зовут, сколько им лет, чем они занимаются.

Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ. ИТАЛЬЯНСКАЯ НОВЕЛЛА XV ВЕКА

Книгоиздательство «Скорпион». Москва. 1902
(с. 85)

Сохранился автограф и вырезка из журнала — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 8, 9, 10. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: Исторический Вестник. 1902. № 3. С. 1138—1140.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 277—280).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 85. «*Святой Сатир*» — перевод Мережковским легенды А. Франса был опубликован в «Северном Вестнике» (1895. № 11. С. 243—257) под названием «Сан Сатино. Из флорентийской легенды».

...автором классического перевода «*Дафниса и Хлои*». — Имеется в виду Д. С. Мережковский. Первое издание его перевода книги Лонга: СПб., 1896.

«*Юлиан Отступник*» — первая часть трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист», опубликованной в 1895 г. в «Северном Вестнике» под названием «Отверженный».

С. 87. «*Ни Бог, ни человек, но Пифагор*» — изречение, распространенное среди ранних греческих философов. Ямвлих писал, что пифагорейцы разделяли разумные существа на три вида: бог, человек и существо подобное богу (Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Ч. 1. С. 141). См. коммент. к с. 46.

С. 88. ...новой московской книгоиздательской фирмой «Скорпион»... — Издательство русских символистов «Скорпион» было основано в 1899 г. меценатом С. А. Поляковым, поэтами В. Я. Брюсовым и Ю. Балтрушайтисом. Последнюю книгу выпустило в 1915 г.

ПРОФ. В. И. МОДЕСТОВ. ВВЕДЕНИЕ В РИМСКУЮ ИСТОРИЮ Вопросы доисторической этнологии и культурных влияний в доримскую эпоху в Италии и начала Рима

Часть I. С 35 фототип. таблицами. СПб. 1901. Стр. XV + 256 + 17
(с. 88)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВил.* 1902. 13 марта. № 9347. С. 11—12.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 288—290).

Печатается по тексту первой публикации.

Модестов Василий Иванович (1839–1907) — историк, филолог, специалист по античности.

С. 88. *Автор ~ курса римской литературы, проф. В. И. Модестов...* — Лекции по истории римской литературы, читанные в Университете св. Владимира ординар. проф. В. И. Модестовым. Киев, 1873–1875. Курс 1–2 (впоследствии было несколько дополненных переизданий).

«Римская история» (1854–1856) — труд немецкого историка Т. Моммзена (рус. пер. 1858–1861. Т. 1–2).

С. 89. *Палатин* — Палатинский холм в Риме, где находился императорский дворец.

Будем с нетерпением ждать следующих томов... — Следующая часть труда В. И. Модестова вышла в 1904 г.

<10-Е РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ СОБРАНИЕ>

(с. 89)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 20 апр. № 9383. С. 4. Без заглавия и подписи.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 301–303).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 89. *...«Гоголь и о. Матвей».* — Доклад Мережковского см. в кн.: Записки Петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903 гг.). М., 2005. С. 174–204.

...свящ. И. Ф. Филевский... — назван харьковский священник Иоанн Иоаннович Филевский.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОБРАНИЯ

(с. 90)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 5 мая. № 9398. С. 4.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 303–306).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 90. *...в «снесь сладкую»...* — Приведено выражение из вечерней службы: «...снеси сладкие видением смерть исходатаих...» (стихиры, глас 6-й).

С. 91. *...обсуждены доклады...* — речь идет о докладах: В. А. Тернавцев. Русская Церковь пред великою задачей (Заседание 1. 29 ноября 1901 г.); Записка Д. В. Filosofova и Записка В. В. Розанова (Заседание 2. Декабрь 1901 г.); Лев Толстой и русская церковь. Доклад Д. С. Мережковского (Заседание 3. 6 февраля 1902 г.); Д. С. Мережковский. Гоголь и отец Матвей (Заседание 10. 18 апреля 1902 г.); С. М. Волконский. К характеристике общественных мнений по вопросу о свободе совести (Заседание 7. 2 мая 1902 г.).

С. А. РАЧИНСКИЙ И ЕГО ТАТЕВО

(С. 93)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 192. Л. 1.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 22 мая. № 9415. С. 2.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 313–319).

Печатается по тексту первой публикации.

См. коммент. к статье «С. А. Рачинский. Сборник статей» (*НВип*. 1899. 6 янв. № 8211. С. 6).

С. 93. ...«врут все календари»... — А. С. Грибоедов. Горе от ума. III, 21 («все врут календари»).

Конка — городская железная дорога на конной тяге. См. об этом статью В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 1555–1557).

...*Вандея во Франции, и огонь долго — Шотландия*. — Имеются в виду контрреволюционное движение 1793 г. во французском департаменте Вандея и многовековое национальное движение за независимость в Шотландии.

С. 94. ...с войсками Благословенного — т. е. Александра I.

...*первой империи*... — Эпоха империи Наполеона Бонапарта во Франции с 1804 по 1815 год.

С. 95. ...его почти ровесницей сестрой... — Варварой Александровной Рачинской.

...*замечательное воспоминание Ю. Ф. Самарина о Хомякове*... — Отрывок из записок Ю. Ф. Самарина // Татевский сборник С. А. Рачинского. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1899. С. 128–133. Особую известность этот мемуарный фрагмент приобрел благодаря тому, что Самарин приподнял в нем завесу тайны над сокровленной жизнью Хомякова — подвижника-молитвенника.

...*письма Н. И. Пирогова*... — Письма Н. И. Пирогова к Е. Н. Огонь-Догановской (1842–1851) // Там же. С. 134–141.

...*обширный отрывок повести графини Е. В. Салиас (Евгении Тур)*... — Раздел: Повесть графини Е. В. Салиас // Там же. С. 143–249.

С. 95–96. ...*судьбу, которая вывела его из московской профессуры*... — С. А. Рачинский в 1867 г. вышел в отставку из Московского университета из-за конфликта прогрессивных профессоров с администрацией. В 1872 г. вернулся в родовое село Татеву.

С. 96. ...*Соловьёв раз напал на него в «Вестн. Европы»*. — Критическая статья Вл. Соловьёва не установлена. Соловьёву принадлежит Открытое письмо к С. А. Рачинскому «Как пробудить наши церковные силы?» (Русь. 1885. 19 окт. № 16. С. 5–6).

«*Четь-Минеи*» — Минеи Четьи (от греч. минеи — месячные и от древнерус. четьи — чтения), ежемесячные чтения. Возникли в Византии в IX в., на Руси с XI в. В XVI в. митрополит Макарий составил «Великие Четьи Минеи». Наиболее распространены Минеи святителя Димитрия Ростовского, составленные по труду Макария.

С. 97. *Вот еще отрывок из письма его*... — Письмо С. А. Рачинского от 13 августа 1893 г.

С. 98. ...*добился от него вашего портрета*... — Самый ранний портрет Розанова был сделан художником Н. П. Богдановым-Бельским 21 марта 1893 г. в Татеву (см. фото в книге: Фатеев В. А. Жизнеописание Василия Розанова. СПб., 2013. После с. 178).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ <О книге В. А. Добролюбова> (с. 99)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 68–69, с надписью даты карандашом «1902», знаком «+» красным карандашом и подсчетом строк на полях.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 2 июня. № 9425. С. 4.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 330–331).

Печатается по тексту первой публикации.

Добролюбов Владимир Александрович (1849–1913) — младший брат Н. А. Добролюбова. Его книга, точное название которой приводит Розанов, вышла в Петербурге в 1902 г.

С. 99. «*Сословно ли только безвкусице?*» — статья Розанова в «Новом Времени» от 23 декабря 1901 г.

С. 100. «*О скопческой ереси*» — *Кельсиев В. И.* Сборник правительственных суждений о раскольниках. Лондон, 1860–1862. Вып. 1–4. Вып. 3: О скопцах: (Исследование о скопческой ереси). Лондон, 1862.

...*монография Чернышевского о Лессинге...* — *Чернышевский Н. Г.* Лессинг, его время, его жизнь и деятельность. СПб., 1857.

«*Собеседник любителей русской словесности*» — первая статья Н. А. Добролюбова в журнале «Современник» (1856. № 8 и 9) под псевдонимом Лайбов. Вошла в издание сочинений Добролюбова 1862 г.

...*шутливыми стихами Конрада Лилиеншвагера...* — стихи «Раскаяние Конрада Лилиеншвагера» напечатаны Добролюбовым в сатирическом отделе журнала «Современник» (1859. № 10) — «Свисток».

...*А. Л. Вольнский в своем исследовании русской критики...* — *Вольнский А. Л.* Русские критики. СПб., 1896. Розанов писал об этой книге в неопубликованной при жизни статье «Критические заметки» (1896).

ПОЛЕЗНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ НАРОДА

(с. 100)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 16 июня. № 9439. С. 3–4.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 338–339).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 100. «*Ермак Тимофеевич*» — лубочное сочинение (в фондах РНБ находится свыше 50 лубочных романов и повестей об этом герое).

...*о каком-то солдате и разбойнике...* — имеется в виду лубочное сочинение «Солдат и разбойник», известное с XVIII в. Его текст см.: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. М.: Наука, 1986. Т. 3. С. 40–41. (Лит. памятники).

...«*Гуак*» и «*Франц Венециан*». — «Гуак, или Непреоборимая верность» — популярная лубочная «рыцарская повесть»: М., 1789; 35-е изд.: М., 1895. «История о храбром рыцаре Францыле Венециане и о прекрасной королевне Ренцивене» (М., 1787; к 1917 г. — более 80 изд.) — средневековый рыцарский роман в переработке Андрея Филиппова.

С. 101. *Золоторотец* — арестант, босяк, оборванец.

«*Ашиб-Керим*» — турецкая сказка М. Ю. Лермонтова «Ашиб-Кериб» (1837).

...*рассказы С. Т. Семёнова* — «Крестьянские рассказы» (М., 1894) С. Т. Семёнова изданы с предисловием Л. Н. Толстого. Розанов упоминает его рассказы «Дворник» (СПб.: Я. Берман, 1900), «Подпасок» (СПб.: Я. Берман, 1901).

А. Донской — псевдоним Алексея Ивановича Свирского, автора сборника рассказов «Погибшие люди» (СПб., 1898. Т. 1–3) и рассказов «Андрян Андрианов и его собаки» (СПб.: Я. Берман, 1902), «Забракованный» (СПб.: Я. Берман, 1901), «Захромала» (СПб.: Я. Берман, 1901; под псевд. А. Донской), «Разбойники в доме» (СПб.: Я. Берман, 1901) в серии «Книжка-копейка».

ОСОБАЯ ГРУППА ПИСАТЕЛЕЙ
(Из переписки С. А. Рачинского)
 (с. 102)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 192. Л. 2—3.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 28 июня. № 9451. С. 2—3.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 366—375).

Печатается по тексту первой публикации.

Статья написана перед публикацией Розановым писем С. А. Рачинского (*РВ*. 1902. № 10, 11; 1903. № 1).

С. 102. *...статей Говорухи-Отрока...* — Ю. Н. Говоруха-Отрок был постоянным сотрудником «Московских Ведомостей» начиная с ноября 1889 года вплоть до своей кончины в августе 1896 года (печатался же в этой газете с апреля 1889 года). Полную библиографию его публикаций здесь см.: *Говоруха-Отрок Ю. Н.* Во что веровали русские писатели?: Лит. критика и религ.-филос. публицистика: В 2 т. СПб.: Росток, 2012. Т. 2. С. 971—1020.

Я академик... — Н. Н. Страхов был избран членом-корреспондентом С.-Петербургской Академии наук в 1889 г.

...«тридцать», по примеру Крития, Ферамена и других «сотоварищей»... — Тридцать Тиранов (иначе Правление Тридцати) — прозвище группы проспартанских олигархических правителей, правивших в Афинах после окончания Пелопоннесской войны, в период с 404 по 403 г. до н. э. Тридцать тиранов были поставлены Критием и Фераменом под руководством спартанского военачальника Лисандра. Они правили очень жестоко и в течение менее чем одного года казнили около 1500 афинян, включая и самого Ферамена. Однако вскоре их сверг полководец Фрасибул с помощью Фив. Большинство из Тридцати были убиты в течение года после лишения власти.

...Любимов в известной книге... — имеется в виду его книга «Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга (По документам и личным воспоминаниям)» (СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1889), первоначально печатавшаяся под названием «Михаил Никифорович Катков (По личным воспоминаниям)» в журнале «Русский Вестник» (1888. № 1—3, 7, 8; 1889. № 2—3).

«Голос» — одна из влиятельнейших либеральных газет в Петербурге (1863—1884).

«С.-Петербургские Ведомости» — газета выходила с 1728 по 1917 г. В. Ф. Корш был ее арендатором и редактором в 1863—1874 гг. При нем издание приобрело репутацию оппозиционного либерально-демократического издания.

«Искатели жемчуга» (1863) — опера опера в трех актах французского композитора Ж. Бизе (1863), по либретто Э. Кормона и М. Карре. После парижской премьеры в том же 1863 году опера была исполнена в Москве итальянской труппы, известный тенор Анджело Мазини исполнил тогда партию Надира.

...Катков переведил Гейне... — Переводы М. Н. Каткова опубликованы в «Московском Наблюдателе» (1838. Май. Кн. 2; 1839. Янв.—март) и в «Отечественных Записках» (1839. № 6, 7, 11; 1840. № 1).

...интересовался германской критикой о Пушкине... — Катков М. Н. Отзывы иностранцев о Пушкине (Отечественные Записки. 1839. № 5. Прил. С. 1—36) о статье К. А. Варнгагена фон Энзе о Сочинениях А. Пушкина (СПб., 1838. Т. 1—3).

«О древнейшем периоде греческой философии» — точнее: «Очерки древнейшего периода греческой философии», действительно задуманные М. Н. Катковым как докторская диссертация. Печатались в журнале «ПроPILEи» в 1851 и 1853 годах, отд. изд.: М.: Унив. тип., 1853.

...устроения его газеты... — С 1863 г. Катков стал редактором и автором большинства передовых статей «Московских Ведомостей».

С. 102–103. *Патти пела свои арии...* — Итальянская певица Аделина Патти в период с 1869 по 1904 год неоднократно выступала в России.

С. 103. *...по поводу греко-болгарской распри.* — Подразумевается самопровозглашение 11 мая 1872 г. автокефалии Болгарской церковью и последовавшее 18 сентября того же года объявление ее состоящей в расколе (схизме) со стороны Константинопольского патриархата. Проблема была разрешена лишь в 1945 г. Русское общество и правительство в целом сочувствовали болгарам. М. Н. Катков также встал на сторону болгар.

На третье в ножь, проснувшись рано... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. V, 1.

«Из жизни христиан в Турции» — сборник прозы К. Н. Леонтьева (М., 1876. Т. 1–3).

...рынка, доселе жующего Спенсера и Бокля... — Либеральные английские ученые-позитивисты Г. Спенсер и Г. Т. Бокль были необыкновенно популярны в русском образованном обществе начиная с 1860-х гг.

...смешивает с однофамильцем, составителем латинского словаря... — речь идет о соратнике М. Н. Каткова, филологе Павле Михайловиче Леонтьеве, составителе «Библиотеки греческих и римских писателей со словарем для средних учебных заведений» (М., 1867). Здесь упомянуто издание: Полный латинский словарь, составленный по современным латинским словарям Ананьевым, Яснецким и Лебединским / Изд. П. М. Леонтьева. М.: Тип. Каткова и К°, 1862. VIII, 910 с.

С. 104. *...Белинский у Надеждина в молодости ~ в каких-то «антросолях»...* — В. Г. Белинский жил в квартире редактора-издателя журнала «Телескоп» и газеты «Молва» Н. И. Надеждина, где был ведущим критиком, с августа 1834 года по 1835 год: сначала в доме Сухово-Кобылиных (Страстная площадь, д. 3), затем в так называемом Ректорском корпусе Московского университета (Долгоруковский пер.; в 1920–1991 годах ул. Белинского, ныне Никитский пер.).

«Роковой вопрос» (Время. 1863. № 4) — статья Н. Н. Стрехова о польском восстании, ставшая поводом к запрещению журнала «Время». М. Н. Катков выступил с публикацией «По поводу статьи „Роковой вопрос“» (РВ. 1863. № 5. С. 398–418) с критикой Стрехова.

«Я боюсь неясных движений мысли...» — Сходные мысли Н. Н. Стрехов высказывал в письмах Розанову 29 апреля 1888 г., 23 февраля 1893 г.

...Н. Я. Данилевского ~ «Россию и Европу» и «Дарвинизм». — Данилевский Н. Я. 1) Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому // Заря. 1869. № 1–6, 8–10; отд. изд.: СПб., 1871; 5-е изд.: 1895; 2) Дарвинизм: Крит. исследование. СПб., 1885–1889. Т. 1–2.

С. 105. *«Национальная политика как орудие всемирной революции»* — труд К. Н. Леонтьева в «Гражданине» (1888. 14 сент. — 7 окт. № 256–279; отд. изд.: М., 1889). Строки из начала этой книги Розанов взял эпиграфом к своей статье «Эстетическое понимание истории» (1892).

...нормировка сахара... — Для поддержания цен на сахар в 1886 г. началось законодательное нормирование производства сахара в России, утвержденное позднее законом от 20 ноября 1895 г.

«Сахаром живет Россия или хлебом...» — Статья М. Н. Каткова в «Московских Ведомостях» 4 января 1886 г. начинается словами: «Чем мы живем, сахаром или хлебом?». Ряд последующих статей в газете посвящен сахарной спекуляции.

...статью Леонтьева по поводу юбилея Фета... — Леонтьев К. Не кстати и кстати: (Письмо А. А. Фету по поводу его юбилея) // Г. 1889. 21, 22 и 24 марта. № 80, 81 и 83.

...я состоял с ним в ~ переписке... — Розанов напечатал «Из переписки К. Н. Леонтьева» (РВ. 1903. № 4–6).

...воды Силоамской купели... — подразумевается евангельский эпизод исцеления немощных омовением водой из Силоамской купели — древнего водоема у подножия холма Офель (Ин 9, 1–7).

...недавно умершем С. А. Рагинском. — Скончался 15 мая 1902 г. в с. Татево Бельского уезда Смоленской губернии.

С. 106. ...«алгущих и жаждущих правды»... — Евангельское выражение (Мф 5, 6).

«Им место в Публичной библиотеке...» — После того как в январе 1900 г. при встрече в Петербурге Розанов высказал Рачинскому свои претензии к христианству по поводу «незаконнорожденных» детей своих, их дружеские отношения прекратились.

«Прекрасно вы делаете...» — из письма Рачинского 13 июня 1899 г. в ответ на письмо Розанова от 6 июня 1899 г., в котором последний писал: «Если напечатать мои письма к Вам, то получится новое „Л. собр. соч.“. Как хорошо, что они уцелеют. И многое, чего в печати не сумел сказать, вдруг сказалось удачно в письме» (ЛИ-2. С. 602). Некоторые другие письма из цитируемых Розановым ниже не вошли в его публ.: Из переписки С. А. Рачинского // РВ. 1902. № 10, 11; 1903. № 1, а также в расширенную публ.: ЛИ-2. С. 413–484.

У нас гостит Софья Николаевна... — С. Н. Рачинская, организовавшая (по примеру кузена) в своем имении школу для крестьянских девочек. В других публикациях Розанов называл ее не двоюродной сестрой, а племянницей С. А. Рачинского (см.: ЛИ-2. С. 423, 442).

С. 107. «С великою радостью...» — Цитата из письма С. А. Рачинского к Розанову от 29 марта 1896 г. (см.: ЛИ-2. С. 444).

...Х тома барсуковского «Погодина». — Историк литературы Н. П. Барсуков, с которым Розанов познакомился в кружке Страхова, создал свою главную работу «Жизнь и труды М. П. Погодина» (СПб., 1888–1910. Т. 1–22). В предисловии к X тому (1896) Барсуков отметил, что благодаря Розанову, написавшему в «Русском Вестнике» об отсутствии средств на издание исследования, нашелся меценат, оплативший типографские издержки. О вышедшем томе Розанов написал статью «Еще доброе дело на Руси» (РО. 1896. № 4).

«Но надвигается новое затруднение...» — Цитата неточна (см.: ЛИ-2. С. 444).

«Здоровье еще так плохо...» — Неточно и с пропусками цитируется письмо С. А. Рачинского — от 27 августа 1894 г. (см.: ЛИ-2. С. 431, 432).

...сестры (родной, владелицы Татево)... — имеется в виду Варвара Александровна Рачинская.

...картину, изображающую одну из этих бесед. — Речь идет о картине Н. П. Богданова-Бельского «Воскресное чтение в сельской школе» (1895).

Тропарь — краткое молитвенное песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прославляется священное лицо.

С. 108. ...мой помощник Лебедев... — любимый ученик Рачинского, педагог и ученый В. А. Лебедев, учительствовавший в с. Дровине Гжатского уезда.

«Все попытки объяснить явления...» — цитируется отклик С. А. Рачинского на начало публикации статьи Розанова «Эстетическое понимание истории» в его письме от 23 января 1892 г. (см.: ЛИ-2. С. 417–418). Розанов начинает цитату с кардинально переделанного им предложения. Приведем его в оригинале: «Теории Леонтьева страдают недостатком всех попыток объяснить явления сложные сравнением с явлениями более простыми» (Там же. С. 417).

С. 109. Вспомним даже нашу Блаватскую... — подразумеваются теософско-окультистские сочинения Е. П. Блаватской.

«Взвешено тихо и радостно...» — цитируется письмо С. А. Рачинского к Розанову от 2 февраля 1896 г. (ЛИ-2. С. 443).

...скончалась наша двоюродная сестра. — Речь идет о М. А. Ломоносовой.

Хризотида — куколка у насекомых.

ДМ. КАЙГОРОВОД. ИЗ РОДНОЙ ПРИРОДЫ

Хрестоматия для чтения в школе и семье.

Издание А. С. Суворина. С.-Петербург. 1902. Стр. VI + 258
(с. 109)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 136а. Л. 41.

Впервые напечатано: *НВип*. 1902. 14 авг. № 9498. С. 11.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 398—400).

Печатается по тексту первой публикации.

Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846—1924) — писатель, популяризатор естествознания, автор книг «Беседы о русском лесе» (1880—1881), «Из зеленого царства» (1888) и др. Об отношении Розанова и Кайгородова см. в статье А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 438—439).

С. 111. «*Дон-Жуан*» (1862) — драматическая поэма А. К. Толстого, начинающаяся с монологов духов, облаков, цветов, журавлей, озер и рек.

**АЛЬБОМ ВЫСТАВКИ В ПАМЯТЬ Н. В. ГОГОЛЯ И В. А. ЖУКОВСКОГО,
устроенной Обществом любителей российской словесности**

в залах Исторического музея 21 февраля — апреля 12 1902 года

Исполнено художественной фототипией К. А. Фишер. Москва. 1902 г.

(с. 111)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 177. Л. 12.

Впервые напечатано: *НВип*. 1902. 21 авг. № 9505. С. 2. Подпись: В. В.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 406).

Печатается по тексту первой публикации.

Общество любителей российской словесности — существовало при Московском университете в 1811—1930 гг. В 1992 г. было воссоздано в Доме-музее М. Цветаевой.

С. 112. *...К. К. Павловой и ее мужа...* — Николая Филипповича Павлова.

...геты Одоевских... — Князь В. Ф. Одоевский и его жена Ольга Степановна.

...альбом Пушкинской выставки... — Альбом Пушкинской юбилейной выставки в Императорской Академии Наук в С.-Петербурге, май, 1899: 250 фототипически исполненных снимков с портретов, рисунков, гравюр, рукописей и пр. / Сост. под ред. Л. Н. Майкова и Б. Л. Модзалевского; исполнен и издан художественною фототипией К. А. Фишера в Москве. М.: Тип. имп. АН, 1899. 27 с., 72 с. ил.

К ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. Н. СТРАХОВА

Н. Н. Страхов. Критические статьи (1861—1894). Том второй.

Издание И. П. Матченко, Киев, 1902

(с. 112)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 194. Л. 9а.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 22 авг. № 9506. С. 2.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 407—414).

Печатается по тексту первой публикации.

Первый том рецензируемого издания вышел под названием «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885)» (Киев, 1901).

С. 113. *...сельскохозяйственного женского института в Петербурге...* — см. статью Розанова «Женский сельскохозяйственный институт» (*НВ*. 1903. 26 февр. № 9691). Был открыт в сентябре 1904 г. как Высшие женские сельскохозяйственные курсы. Наследник этого учебного заведения — Санкт-Петербургский государственный аграрный университет в Пушкине.

...я наблюдал в Бельском уезде Смоленской губернии в 1892—93 гг. ... — С августа 1891 г. по март 1893 г. Розанов преподавал в прогимназии г. Белого.

...в России есть восемь медицинских факультетов... — По числу университетов в тот период.

...Татьяны милой идеал... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 51.

С. 113—114. *...у Тургенева то «стихотворение в прозе», где Бог обдумывает увеличение мускулов у блохи...* — И. С. Тургенев. Природа (1879).

С. 115. *Спящий в гробе мирно спи...* — В. А. Жуковский. Торжество победителей (1828).

С. 116. *Ахакий Ахакиевич* — герой повести Н. В. Гоголя «Шинель» (1842), чиновник.

КОНЦЫ И НАЧАЛА, «БОЖЕСТВЕННОЕ» И «ДЕМОНИЧЕСКОЕ», БОГИ И ДЕМОНЫ (По поводу главного сюжета Лермонтова) (с. 119)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *МИ*. 1902. Т. 8. № 8. Август. С. 122—137.

В Собр. соч. включено в т. 4 (с. 78—95).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 119. *...его ты назови как хогешь...* — И. В. Гёте. Фауст. Сц. 16: Сад Марты. Пер. А. А. Фета.

«Сон смешного геловека» — фантастический рассказ Ф. М. Достоевского в «Дневнике писателя» (1877. Апрель. Гл. 2).

С. 119—120. *«Тени темной ноги стали...* — Апулей. Золотой осел. Гл. 11, § 7—8. Пер. Н. М. Соколова (СПб., 1895).

С. 122. *Года гетыре назад ~ Я служил...* — В Государственном контроле в должности чиновника особых поручений (с марта 1893 г. по март 1899 г.).

...длинные красные томы... — *Lepsius Richard. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien...* Berlin, 1849—1856. 12 Bd.

Грустен и весел вхожу... — А. С. Пушкин. Художнику (1836).

...беседу Версилова с сыном... — Ф. М. Достоевский. Подросток. II, 1.

И в небесах я вижу Бога. — М. Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...» (1837).

С. 123. *Сколько богов и богинь* — А. С. Пушкин. Художнику.

...«боги сходили там на землю и роднились с людьми». — Розанов вольно пересказывает мысль Достоевского об общении человека с природой. Подобная картина содержится

в рассказе «Сон смешного человека» (конец главы III об острове Греческого архипелага). Ранее, в статье «Тема нашего времени» (НВ. 1901. 6 марта; вошло в книгу «Во дворе язычников») Розанов приводит несколько иной вариант текста: «где боги сходили на землю и общались с человеками».

Конка — см. коммент. к с. 93.

«*Рейнеке-Лис*» — сатирическая поэма И. В. Гёте (1793).

...«они были прекрасны...» — здесь и далее Розанов пересказывает «Сон смешного человека» Ф. М. Достоевского.

Последняя туга рассеянной бури... — А. С. Пушкин. Туча (1835).

«*Не было гувства греха...*» — Хрисанф, архим. Религии древнего мира в отношении к христианству: Историческое исследование: [В 3 т.]. СПб., 1875. Т. 2: Религии Египта, семитических народов, Греции и Рима.

С. 124. *Улисс ~ увидел старую собаку...* — Вернувшегося домой Одиссея узнала слепая няня-кормилица, оступав его ноги (Гомер. Одиссея. XIX, 474–475).

С. 126. «*Об основных понятиях психологии и физиологии*» — книга Н. Н. Страхова, издана в Петербурге 1886 г.

...к 3 изд. его стихотворений... — Стихотворения Владимира Соловьёва. 3-е изд., доп. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1900.

...«*молился какой-то Розовой тени*». — В поэме «Три свидания» (1898) В. С. Соловьёв говорит о «розовой душе», которую встретил в Египте. Упомянута статья: *Энгельгардт* Н. А. Идеалы Вл. Соловьёва // РВ. 1902. № 11. С. 101–124.

С. 127. ...*перед припадком «священной болезни», какое описывает Достоевский.* — Возможно, имеются в виду признания Достоевского, зафиксированные С. В. Ковалевской в ее мемуарах: «Вы все, здоровые люди, — продолжал он, — и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. <...> Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!» (Ковалевская С. В. Воспоминания детства. Нигилистка. М., 1985. С. 117). Но не исключено, что Розанов подразумевает описание ауры эпилептиков в романе «Идиот»: «Ощущение жизни, самосознания почти удесятерилось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное яснотой, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины» (II, 5).

«*Двоица*» — термин пифагорейской философии: за единицей следует ее противопоставление, двоица, различие.

...«по образу нашему сотворим человека...»... — Быт 1, 27.

С. 128. *О грезах юности томим воспоминаньем...* — М. Ю. Лермонтов. Ребенку (1840). *Младенца ль милого ласкаю...* — А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

Бывало, мирный звук твоих могучих слов... — М. Ю. Лермонтов. Поэт (1838).

Немейский лев — Первый подвиг Геракла состоял в том, что по приказу царя Микен Эврисфея, у которого он служил и совершил 12 подвигов, он задушил руками Немеяского льва и принес его шкуру.

...«и сказал Бог — да будет свет...» — Ср.: Быт 1, 3–5.

С. 129. *И звуков тех слов заменить не могли...* — М. Ю. Лермонтов. Ангел (1831) (неточная цитата).

«*Это — четырехугольник, каждая сторона...*» — Геродот. История. I, 181. Пер. Ф. Г. Мищенко.

Лишь только мир волшебным словом... — М. Ю. Лермонтов. Демон. 1, XV.

С. 130. *О, ночь блаженства!* — У. Шекспир. Ромео и Джульетта. II, 2. Пер. А. Л. Соколовского.

С. 131. *Невыразимое смятенье...* — М. Ю. Лермонтов. Демон. 1, XVI.

С. 132. *На воздушном океане...* — Там же. XV.

С. 133. *Сый — сущий* (Исх 3, 14).

...Ааронов жезл дал миндальные цветы... — Чис 17, 1–8.

С. 134. *В последний раз она плясала.* — М. Ю. Лермонтов. Демон. 1, VIII.

...«последним целованием»... — выражение из поминальной службы (поется в конце отпевания): «Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему, благодаряще Бога...»

...«со святыми упокой»... — молитвенное песнопение (кондак), входящий в чин литии.

...«то крайнее зло, которое мы называем смертью» (определение Вл. Соловьёва)... — Буквально: «Это есть крайнее зло, называемое смертью» (Вл. С. Соловьёв. Три разговора... Разговор третий).

«ДЕМОН» ЛЕРМОНТОВА И ЕГО ДРЕВНИЕ РОДИЧИ

(с. 135)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *РВ*. 1902. № 9. С. 45–56. В журнале дано примечание редакции: «Совершенно не разделяя симпатии почтенного автора к языческой „религиозности“, помещаем его статью, как характерный образчик несомненного цельного взгляда на затрагиваемые им вопросы».

В Собр. соч. включено в т. 4 (с. 95–105).

Печатается по тексту первой публикации.

Друг Розанова протоиерей А. П. Устьянский писал ему: «Прочитал в „Русском Вестнике“, вашу статью „Демон Лермонтова и его древние родичи..“ Все прекрасно. Ясно видно похвальное, обычное вам, стремление уследить и открыть в древних языческих религиях зерна и следы истины, и потому тем более грустное впечатление производит невежественная и высокомерная рецензия на эту вашу статью, помещенная в № 15 „Православно-Русского Слова“. Впрочем, появление таких рецензий вполне понятно. Ведь „Православно-Русское Слово“ является прямым и верным наследником традиции приснопамятного Виктора Ипатьевича Аскоченского. Чего же лучшего можно ждать от него?» (*Розанов В. В.* Из писем друзей и недругов // *НП*. 1903. № 2. С. 146). Упомянутая рецензия не подписана (автор, скорее всего, один из трех соредакторов журнала, протоиерей А. А. Дёрнов, неоднократно полемизировавший с Розановым) и называется «Новая похвала язычеству от г. В. Розанова» (*Православно-Русское Слово*. 1902. № 15. Сентябрь. С. 374–376).

С. 135. *«Три пальмы»* — стихотворение М. Ю. Лермонтова 1839 г.

Когда волнуется желтеющая нива — одноименное стихотворение М. Ю. Лермонтова (1837).

С. 136. *Ногевала тугка золотая...* — М. Ю. Лермонтов. Утес (1841).

«Рустем и Зараб» — персидская повесть В. А. Жуковского, вольное подражание Ф. Рюккерту (1849), переложившему эпизод из «Шахнаме» Фирдоуси.

«Дары Терека» — стихотворение М. Ю. Лермонтова (1839).

...«дубовый листогек» молит о любви у подножия красивой гинары... — Лирический сюжет стихотворения М. Ю. Лермонтова «Листок» (1841).

С. 137. *За озером в тени дубровы / Спасался некогда монах* — А. С. Пушкин. Русалка (1819); цит. неточно («Над озером, в глухих дубравах...»).

С. 138. «*Я была, есмь и буду*» — стояло, по словам Платона, на статуе Нейт... — Эту надпись: «Я есмь все бывшее, сущее и будущее, и никто из смертных еще не снял моего покрывала» — приводит не Платон, а Плутарх («Об Изиде и Озирисе», 9).

У Геродота записано, что в каждом египетском городе погиталось свое животное... — Геродот. История. II, 65.

С. 139. *Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу...* — М. Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

В крови горит огонь желанья. — Одноименное стихотворение А. С. Пушкина (1825).

С. 141. ...«*звездами — воинством небесным*» (*выражение о звездах Библии*)... — См.: «и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд» (Дан 8, 10).

Элевзинские таинства — ежегодные мистерии в Древней Греции, связанные с культом женских божеств Деметры, богини плодородия, и ее дочери Персефоны. Название дано по городу Элевзин вблизи Афин, где проходили обряды.

С. 143. ...«*боги сходили на землю и роднились с людьми*». — Вариации Розанова на тему «Сна смешного человека» Ф. М. Достоевского.

КУЛЬТУРА И «ГРАЖДАНИН»

(с. 144)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 6 сент. № 9521. С. 2. Б. п.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 422—423).

Печатается по тексту первой публикации.

Розанов в своей заметке отвечает на критические нападки на его статью «Кошачья педагогика» (*НВ*. 1902. 24 авг. № 9508) со стороны постоянного автора передовых статей «Гражданина», выступавшего под псевдонимом «Икс»: *Икс*. Речи консерватора // *Г*. 1902. 5 сент. № 68. С. 1—2. Икс аттестовал сочинение Розанова «пошленькой бранчливой статьей», «где тысяча первый раз одна из лягушек большого петербургского болота интеллигенции заквакала о культуре» (Там же. С. 2).

«*Гражданин*» — политический и литературный журнал-газета, издававшийся В. П. Мешерским в Петербурге в 1872—1914 гг. Розанов печатался в нем в 1899 и 1900 гг.

Вл. СОЛОВЬЁВ И ДОСТОЕВСКИЙ

Собрание сочинений В. С. Соловьёва, Том третий. СПб. 1902

(с. 145)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 39; перед текстом — записи простым карандашом даты публикации и порядкового номера статьи в несохранившемся авторском списке произведений: «1902. 20.IX», «№ 108»; на нижнем поле вырезки — вставка черными чернилами к тексту второй газетной полосы после упоминания рассказа Толстого «Много ли человеку земли нужно» и слов «русский ум не сотворил» («Если около маленького этого рассказа...» по слова «только один бриллиант»), а также подсчет строк.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 20 сент. № 9535. С. 2. Продолжение статьи появилось под названием «Размолвка между Достоевским и Соловьёвым» (*НВ*. 1902. 11 окт. № 9556).

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 428–435).

Печатается по тексту первой публикации со вставкой, сделанной Розановым в вырезке статьи.

С. 146. *...монументальным его отцом...* — историком С. М. Соловьёвым.

«*Много ли человеку земли нужно*» — рассказ Л. Н. Толстого из цикла «Народные рассказы» (Русское Богатство. 1886. № 4).

С. 147. *...недавно на всемирном съезде здесь криминалистов...* — 4–7 сентября 1902 г. в Петербурге состоялся IX съезд Международного союза уголовного права.

...Козлова совершенно замутил какой-то немец Трейхмюллер... — Правильно: Тейхмюллер Густав, немецкий философ. А. А. Козлов чрезвычайно высоко ценил его, считая «звездой первой величины». См.: Козлов А. А. Густав Тейхмюллер // ВФП. 1894. Кн. 4 (24). С. 523–536; Кн. 5 (25). С. 661–681. Скончался Козлов 27 февраля 1901 г. от воспаления легких.

С. 148. *...реги, произнесенной на Высших женских курсах в Петербурге 13 марта 1881 года...* — Эта речь, как и речь 28 марта 1881 г. в зале Кредитного общества, выражала моральное осуждение Соловьёвым террора, но вместе с тем призывали проявить милосердие и не лишать жизни террористов.

Весь мир во зле лежит, сказал апостол... — 1 Ин 5, 19.

С. 149. «*Ивиковы журавли*» — переложение В. А. Жуковским на русский язык (1813) баллады Фридриха Шиллера «Die Kraniche des Ibykus» (1797).

Вместе они ездили в 1880 году в Оптину пустынь — Достоевский и Соловьёв ездили в Оптину пустынь с 23 по 28 июня 1878 г.

С. 150. *...старец Амвросий ~ преподаватель семинарии...* — По окончании Тамбовской семинарии, с марта 1838 г. по октябрь 1839 г., А. М. Гренков (будущий о. Амвросий) состоял преподавателем греческого языка в Липецком духовном училище. Затем убыл в Оптину пустынь.

«*Пословицы русского народа*» (М., 1862) — В сборнике В. И. Даля применен новый принцип тематического, а не алфавитного построения.

С. 151. *И дольной лозы прозябанье...* — А. С. Пушкин. Пророк (1826).

Из темного леса навстрету ему... — А. С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге (1822).

«*Птигек любите...*» — Розанов пересказывает «Из бесед и поучений старца Зосимы» в «Братях Карамазовых» Ф. М. Достоевского.

...обращение к религии ~ на Афоне... — с сентября 1871 г. по август 1872 г. Леонтьев жил в русском Пантелеймоновом монастыре на Афоне.

«*Наши новые христиане гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский*» (1882) — брошюра К. Н. Леонтьева, в которой объединены две его статьи: «О всемирной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике» (Варшавский Дневник. 1880. 29 июля, 7 и 12 авг.) и «Страх Божий и любовь к человечеству, по поводу рассказа гр. Л. Н. Толстого „Чем люди живы“» (Г. 1882. № 54–55). Правильное название брошюры см. ниже.

«*Терпите, лугшего, зем сейгас...*» — в брошюре «Наши новые христиане. Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой» (М., 1882) Леонтьев писал: «Терпите! Всем лугше никогда не будет. Одним будет лучше, другим станет хуже. Такое состояние, такие колебания горести и боли — вот единственно возможная на земле гармония! И больше нигего не ждите» (Леонтьев К. Н. ПСС. СПб., 2014. Т. 9. С. 199).

...«*богохульством и цинизмом*»... — Прочитав статью Леонтьева «О всемирной любви» в газете «Варшавский Дневник» (1880. 29 июля, 7, 12 авг.), Достоевский записал по поводу проповедей терпения: «Леонтьеву (не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет). В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить, добро делать? Живи в свое пузо» (*Достоевский Ф. М.* ПСС. Л., 1984. Т. 27. С. 51).

...«будут скорби»... — Мф 24, 21; Мк 13, 19.

...«восстанет народ на народ и брат на брата». — Мф 24, 7; Мк 13, 8.

**Т. КАРЛЕЙЛЬ. РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ
В ДОЛЖНОСТЬ ЛОРДА РЕКТОРА ЭДИНБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
2-го АПРЕЛЯ 1866 г.**

Перевод с англ. Н. Горбова. Москва. 1902 г.

(с. 152)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВип.* 1902. 25 сент. № 9540. С. 9.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 441—442).

Печатается по тексту первой публикации.

Карлейль (Карлайл) Томас (1795—1881) — английский историк, философ.

С. 152. ...*Кромвеля — любимейшего Карлейлем эпизода*... — имеется в виду книга Т. Карлайла «Письма и речи Оливера Кромвеля» (1845. Т. 1—2).

СЧАСТЛИВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ

(с. 153)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *МИ.* 1902. Т. 8. № 9/10. Сентябрь—октябрь. Отд. III. С. 29—31.

В Собр. соч. включено в т. 4 (с. 105—108).

Печатается по тексту первой публикации.

Историю отношений Розанова и Н. К. Михайловского см. в статье: *Туниманов В. А.* Заметки на полях писем В. В. Розанова к Н. К. Михайловскому (о «двойной морали», «жестокости» и «господине с ретроградской физиономией») // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 2000. Т. 15. С. 44—66. Статью Розанова «Критика г. Михайловского» (*НВ.* 1902. 1 сент. № 9516) см. в книге Розанова «Во дворе язычников».

С. 153. «Его можно и пожалеть» — имеется в виду статья Н. К. Михайловского «О г. Розанове, его великих открытиях, его маханальности и философской порнографии. — Несколько слов о г. Мережковском и Л. Толстом» (*Русское Богатство.* 1902. № 8).

...*Цезарь-музыкант свою столицу.* — Подразумевается легенда, что великий 5-дневный пожар Рима в июле 64 г. был инициирован императором Нероном. Он якобы наблюдал за огнем с безопасного расстояния одетый в театральный костюм, играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои.

«*Буря и натиск*» — литературное движение в Германии 1770—1780-х годов (по названию пьесы Ф. М. Клингера, 1776), противопоставившее классицизму идеал непосредственного творчества.

...«полное собрание»... — Михайловский Н. К. Полное собрание сочинений. СПб., 1879—1885. Т. 1—6.

...«кто погвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет»... — Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1973. Т. 8. С. 452.

...«кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался»... — Там же. С. 453.

...«у кого нет народа — у того нет Бога»... — Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1974. Т. 10. С. 199 («Никогда не было еще народа без религии»).

...«Бог есть синтетическая личность...» — Там же. С. 198.

С. 153—154. ...самому пламенному угенику своему и прозелиту... — речь идет об апостоле Павле.

С. 154. ...«сгнившего запада»... — от идеологического клише «гнилой Запад», впервые появившегося в статьях С. П. Шевырёва 1841 г.

«Скузно на этом свете, господа». — Концовка «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1835) Н. В. Гоголя.

РАЗМОЛВКА МЕЖДУ ДОСТОЕВСКИМ И СОЛОВЬЁВЫМ

(с. 155)

Автограф неизвестен.

Сохранились: 1. Гранки газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 40—44; 2. Вырезка из газеты *НВ* существенно переработанной статьи — Там же. Л. 45; на тексте — записи простым карандашом о времени публикации — «1902 11/X»; перед текстом, кроме даты, фиолетовыми чернилами обозначен порядковый номер — «№ 109» (вероятно, несохранившегося авторского списка произведений); запись даты повторена после текста; на газетном обороте вырезки также дважды записано: «Достоевский и Вл. Соловьёв. 1902 11/X»; на вырезке — многочисленные подчеркивания простым карандашом, в том числе на полях, а также надпись на последней газетной полосе (см. об этом подробнее далее); 3. Гранки продолжения статьи, по всей вероятности, для газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 46—50; текст без заголовка, с поправками черными чернилами опечаток, стилистической правкой, отдельными вставками.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 11 окт. № 9556. С. 2.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 439—445).

Печатается по тексту первой публикации.

Замысел статьи связан с новым периодом в оценках Розановым деятельности В. С. Соловьёва. Уже в статье-рецензии «Философ-Рудин», посвященной первому тому посмертного собрания его сочинений (появилась в ноябре 1901 г.), Розанов выделял мысль о ценности наследия Соловьёва: «обширное читающее общество» и кружки «специалистов философов», по его выражению, «Соловьёва очевидно ждут». Писатель признавался, что видит и для себя иные, чем прежде, возможности обращения к Соловьёву — философу, публицисту, богослову, поэту. В ближайшее время, в 1901 и 1902 гг., Розанов и выступал как с откликами на выходящие тома собрания сочинений Соловьёва, так и с концептуальными статьями по ранее не затронутым вопросам. Теперь он обращает внимание на позитивные начала трудов и деятельности недавно ушедшего философа: «...у него будут учиться люди кафедры; будут долго находить в его трудах зерна возможных философских построений» (см. статью «Философ-Рудин»). Розанов намечал также особые подходы в осмыслении работ Соловьёва. Например, в рецензии на третий том сочинений философа он подчеркивал существенность связей русской литературы с философией: «ибо она носит все черты мышления, идущего необычайно глубоко». Одно из направлений

своего пристального интереса Розанов обозначил в заголовке этой рецензии — «Вл. Соловьёв и Достоевский» — и тут же начал разбор этого вопроса.

Избранная тема стала главной в следующем замысле — статье «Размолвка между Достоевским и Соловьёвым», первом крупном замысле Розанова о философе, осуществленном после его смерти. В нем Розанов, обозначив то, что их объединяло, приступил к раскрытию сложности отношений писателя и философа: в разных аспектах — духовных, а также интеллектуальных исканий. При жизни Розанова первоначальный критический замысел о «размолвках», написанный и набранный по крайней мере в двух частях, не был опубликован. Стала известной только первая его часть как цельная и законченная статья.

Обращает внимание обширность дополнений, сделанных к статье в ходе подготовки ее публикации: первоначальный набор в гранках первой части замысла существенно отличается от печатной редакции текста. В нем содержатся большие фрагменты, которые выделяют, с одной стороны, работу мысли Соловьёва над преодолением «догматизма» религиозного мышления, а с другой — акцентируют развитие философом-богословом «нравственных мотивов», как подчеркивал Розанов, важных «для вечного нравственного обновления церкви». По-иному, чем прежде — при жизни философа, Розанов ведет полемику: он избегает «нападок» (см. признание в тексте гранок), аналитичен в критических высказываниях.

Возможно, что продолжением тех поисков, которыми был охвачен сам писатель в ходе написания статьи, стал и тщательный просмотр им уже напечатанного. Пометы карандашом на газетной вырезке статьи из *НВ* есть в каждом ее разделе, и они так или иначе выделяют концептуально основное, существенное. Можно предположить, что этот авторский просмотр был подготовкой какого-то следующего замысла, но большая часть помет связана с теми дополнениями текста — принципиального характера, над которым Розанов работал после набора газетных гранок (см. *Варианты*).

В первом разделе статьи, третьем ее абзаце, отчеркнут на полях и подчеркнут в тексте отрывок «Метафизический секрет ~ и создали все положительное имя Достоевского». Во втором разделе (после ***), втором абзаце, выделен на полях простым карандашом и частично также черными чернилами текст «неотделима от „сущности верующего русского“ ~ от инославных». Далее в том же абзаце подчеркнута «Коренная черта русского ~ смирение», затем выделен карандашом текст «стоят и молятся не одно ~ не нужна униформная молитва». В третьем разделе статьи (втором абзаце) подчеркнута «довольно распространенное представление ~ старушка ~ не обидела». Там же подчеркнут текст «Всегда для меня ~ во время литургии». В последнем, четвертом, разделе статьи подчеркнут текст «вовсе не имеем повторения Чаадаева ~ едва ли не пустому». При последнем слове, выделенном в этом отрывке, поставлены знаки «?!». Далее подчеркнуты слова «у Соловьёва, который был слишком рационален ~ невозможно воспользоваться», затем — «Всем раскрываются объятия, а в заключение все выталкиваются». Самое последнее подчеркивание в тексте вырезки касается отрывка «Вспомним, как взволновался он ~ „параболы Достоевского“». В нем содержится сравнение разных реакций Соловьёва и Достоевского на тот толстовский текст в романе «Анна Каренина», в котором говорится о духовных исканиях Левина. Против выделенного отрывка статьи на полях сделана помета: «? *наоборот*». Ею Розанов акцентировал (как бы для себя самого) внутреннюю сложность сопоставлений, «размолвок», на протяжении всей статьи, позиций «философа» и «романиста-мистика», в «их обоюдных отношениях».

Начало текста гранок продолжения статьи, неопубликованных, но тщательно подготовленных к печати, предельно близко началу опубликованной части. Статью «Размолвка между Достоевским и Соловьёвым» открывает фраза — «Очень скоро после смерти Достоевского Вл. Соловьёв... начал быстро и энергично расходиться с ним». Неопубликованные гранки фактически повторяют этот «зачин»: «Если при жизни Достоевского

Соловьёв подчинился ему, то очень скоро после смерти начал энергично расходиться с ним — пожалуй, основательно». Такое повторение не было случайным, оно являлось, с одной стороны, напоминанием читателю об уже поставленной ранее большой теме «размолвки» писателя и философа, а с другой — заявкой на ее продолжение, но уже в другом аспекте, на другом материале. По всей вероятности, предполагалось печатание текста, оставшегося только в гранках, в той же газете в качестве следующей части замысла, почему перед текстом и поставлены три звездочки как обозначение продолжения статьи. Содержание двух текстов в полном объеме не оставляет сомнений в их соотносительной целостности по общей и единой большой теме.

Продолжение статьи о «размолвках» Соловьёва и Достоевского, сохранившейся в гранках, содержит новый сюжет. Если в опубликованной части речь шла о различиях и сходствах философа и писателя прежде всего в «метафизическом» плане, то следующая часть сосредоточена на работе Соловьёва «О духовной власти в России» (1881), помещенной в третьем томе его собрания сочинений. Именно эту статью Розанов считал исключительно «важной» для «исторической постановки вопроса» о жизни православной церкви в России, в том числе и об отношениях, на протяжении веков, церковных верхов и паствы.

Продолжение статьи печатается впервые по тексту гранок с авторской правкой (по верхнему слою) в разделе *Варианты*.

С. 155. «Я — всему молюсь; вот ползет паук по стене — я и ему молюсь» — Ф. М. Достоевский. Бесы. II, I: «Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что ползет» (ПСС. Л., 1974. Т. 10. С. 189).

«солнце, восходящее над злыми и добрыми» — Мф 5, 45.

С. 156. ...*распятого при Понтийском Пилате*... — выражение из христианского Символа веры («4-й член»).

«О Большой Медведице» — Первая глава «Дневника писателя» Достоевского за январь 1876 г. называется «Вместо предисловия о Большой и Малой Медведицах, о молитве великого Гёте и вообще о дурных привычках».

С. 157. «Издали еще можно любить ближнего, но вблизи — ни за что!...» — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. 2. Кн. 5. § IV: Бунт («Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних»).

...в капитане Лебедкине («Бесы»)... — Правильно: Лебядкин.

...бросить ~ «луковку»... — см. главу «Луковка» в «Братьях Карамазовых» Достоевского (Ч. 3. Кн. 7. § III).

Кончая одну большую свою статью, где сравнивались три церкви... — «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (см. т. 1 настоящего ПСС. С. 111–114).

С. 158. ...*четыре животных*... — Откр 4, 7.

...и мне пришлось принять угастие... — см. статьи Розанова «Свобода и вера» и «Ответ г. Владимиру Соловьёву» (РВ. 1894. № 1, 4, 7).

С. 160. «Оправдание добра» — главный труд В. С. Соловьёва в области нравственной философии. Главы печатались в журналах «Вопросы Философии и Психологии», «Книжки „Недели“», «Вестник Европы» и «Нива» начиная с 1894 г. Отдельное издание вышло в 1897 г. 7 февраля 1897 г. Соловьёв подарил книгу Розанову с надписью: «Дорогому Василию Васильевичу Розанову, чудному, а нередко и чудному писателю от некогда его ненавидевшего, а ныне только редко видящего, но искренно любящего Владимира Соловьёва».

С. 161. «сады Гесперид» — Геспериды в греческой мифологии — нимфы, хранительницы золотых яблок молодости на крайнем западе у берегов реки Океан.

...*семейства Капернаутовых («Преступление и наказание»)*... — у них Соня Мармеладова снимала комнату.

...*заволновался он от того, что Левин в («Анне Кар») tego-то ищет...* — см.: «И он в самом деле не успокоится, пока не разрешит: виноват он или не виноват? И знаете ли, до какой степени не успокоится? Он дойдет до последних столпов...» (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. Февраль 1877 г. Гл. 2, § II: «Злоба дня»).

ПОД ЗНАМЕНЕМ НАУКИ

**Юбилейный сборник в честь Николая Ильича Стороженко,
изданный его учениками и почитателями**

Москва, 1902. Стр. XXXV + 740

(с. 161)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 178. Л. 3.

Впервые напечатано: *НВип*. 1902. 6 нояб. № 9582. С. 10. Подпись: *В. Р-овъ*.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 465—466).

Печатается по тексту первой публикации.

Стороженко Николай Ильич (1836—1906) — литературовед, основатель научного шекспироведения в России. С 1872 г. возглавлял кафедру истории всеобщей литературы Московского университета; был председателем Общества любителей российской словесности (1894—1901). Розанов слушал его лекции в Московском университете по истории всеобщей литературы. См. статью о Стороженко в «Розановской энциклопедии» (с. 945).

С. 162. ...*статья г. Статкевича: «Мармизовская лаборатория»*... — Точнее: *Статкевич Павел*. Мармизовская амбулатория: Памяти Ольги Ивановны Стороженко // Под знаменем науки. СПб., 1902. С. 605—617.

...*изыскание об угенигеских годах Радищева г. В. Якушкина*... — *Якушкин В.* Учебные годы Радищева: (Отрывок из его биографии) // Там же. С. 185—204.

...*две статьи об Огарёве г-жи Некрасовой и Н. М. Мендельсона*... — *Некрасова Е.* Николай Платонович Огарёв. Отрывок: Раннее детство // Там же. С. 49—63; *Влазнев В. К.* К биографии Н. П. Огарёва / Предисл. («Н. П. Огарёв в воспоминаниях его бывшего крестьянина») Н. М. Мендельсона // Там же. С. 657—663.

...*воспоминания г. Виктора Михайловского (о Живокини)*... — *Михайловский В.* Комикбуфф: (Памяти В. И. Живокини) // Там же. С. 541—551.

...*воспоминания ~ Н. В. Стороженко (о П. А. Кулише)*. — *Стороженко Н. В.* Мое знакомство с П. А. Кулишем // Там же. С. 244—281.

И. Л. ЩЕГЛОВ (ЛЕОНТЬЕВ)

(К 25-летию литературной деятельности)

(с. 163)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 12 нояб. № 9588. С. 3. Б. п.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 465—466).

Печатается по тексту первой публикации.

Об И. Л. Щеглове см. с. 718.

С. 163. ...знаменитого скульптора. — Упомянут П. К. Клодт.

С. 164. «Народный театр» — книга И. Л. Щеглова «Народный театр в очерках и картинках» (СПб., 1898; несколько переизданий).

Ума холодных наблюдений... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Посвящение.

«По следам Пушкинских празднеств» — книга И. Л. Щеглова с подзаголовком: (Из записной книжки). СПб., 1900. Первоначально печаталась в ТПГ (1900. № 19–21).

ИДЕАЛЫ СКРОМНЫХ ЛЮДЕЙ

(с. 166)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 1–8. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 14 нояб. № 9590. С. 3–4.

В Собр. соч. включено в т. 26 (с. 469–477).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 166. «А что, братцы? Есть ли еще порох ~ не погнулась ли казацкая сила?» — В девятой главе «Тараса Бульбы» Гоголя читаем: «А что, паны! — перекликнулся Тарас с оставшимися куренями, — есть ли еще порох в пороховницах? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли казацкая сила? Не погнулись ли казаки?»

...пошла какая-то гессенская муха... — В России этот опасный вредитель злаков причинял опустошения начиная с 1840-х гг., особенно сильно — с конца 1870-х гг., ежегодно появляясь массами то в одних, то в других губерниях.

С. 167. ...«дифференциальные тарифы»... — В 1889 г. министр финансов С. Ю. Витте ввел регулирование хлебных тарифов, дифференциальные тарифы железнодорожных перевозок.

Жидам Бог манну посылал с небес... — Чудесную пищу манну Господь посылал израильскому народу ежедневно (кроме субботы) во все время 40-летнего странствования в пустыне на пути из Египта в Землю обетованную.

...«это англичанин гадит»... — расхожее выражение, возникшее после Крымской войны, очевидно, на основе слов почтмейстера в «Ревизоре» Н. В. Гоголя: «Это всё француз гадит» (I, 2).

...после первого ~ странствования по загранице... — В июне–июле 1905 г. Розанов с семьей ездил в Германию и Швейцарию. Возвращался в Россию через Вену. Упомянута станция Граница (ныне Мачки) Варшавско-Венской железной дороги.

С. 168. *Ума холодных наблюдений* — см. коммент. к с. 164.

С. 170. ...«мест не столь отдаленных»... — Официальная категория мест ссылки людей (Север, Урал, Западная Сибирь и т. д.) в отличие от «отдаленных мест Сибири» (Дальнего Востока, Восточной Сибири).

С. 171. *Летит обжорливая младость.* — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Отрывки из путешествия Онегина, 17.

...заповеди, что жена есть «помощница мужа»... — Быт 2, 18.

С. 172. *Ляпис* — азотно-серебряная соль, или азотнокислое серебро; в медицине использовался для прижиганий.

ГОГОЛЬ

(с. 173)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *МИ*. 1902. Т. 8. № 12. Декабрь. С. 337–342.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 119–124).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 173. *«История государства Российского»* — труд Н. М. Карамзина, опубликован в 1816–1829 гг. в 12 томах. Розанов обращал особое внимание на заглавие: «„История Российского государства“ — безвкусно и напыщенно. Так назвал бы свой труд кн. Михайло Щербатов. Но „История государства Российского“ — великолепно; и нужно было родиться Карамзину, чтобы дать России не только великолепный труд, но и так великолепно озаглавленный» (*Розанов В.* Богатый и убогий // *НВ*. 1911. 22 марта. № 12581).

С. 174. ...*«Играй, Адель, не знай пегали»...* — А. С. Пушкин. Адели (1822).

С. 175. ...*по «губерниям» только проехался...* — отсылка к названию главы XX («Нужно проездиться по России») книги Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (СПб., 1847).

Чин гина почитай. — Правило проявления должного почтения к вышестоящему (по «Табели о рангах»). Имеется в виду следующий ходивший «по Москве анекдот, относившийся к Н. В. Гоголю»: «По возвращении его в Россию, после долгого пребывания за границей, один знакомый поинтересовался спросить: что его, свежего человека, отвыкшего от русских обычаев и порядков во время долгого пребывания в Западной Европе, прежде всего поразило в отечестве. Николай Васильевич будто бы отвечал, что на первых же шагах в таможне самую первую фразу он услышал на китайском языке: „чин чина почитай“. Отвечал он так, сильно ударяя на звук *г*» (*Максимов С. В.* Крылатые слова. 2-е изд. СПб., 1899. С. 246).

...*до Севастополя.* — То есть до Крымской войны и обороны Севастополя.

...*«департамента подлостей и вздоров» («Шинель»)*... — Выражение из первой редакции повести Н. В. Гоголя «Шинель». См.: «В департаменте податей и сборов, который, впрочем, иногда называют департаментом подлостей и вздоров...»

С. 175–176. *Костанжогло, Муразов* — персонажи второй части «Мертвых душ» Гоголя. Розанов обычно писал фамилию: Костанджогло.

С. 176. ...*он предсказал Губониных, Кокоревых, Кауфманов, Барановых. Бенардаки...* — Розанов перечисляет современных ему известных предпринимателей, откупщиков, генералов и проч. См. указатель имен. Как всегда у Розанова, имена многозначны. Так, помимо откупщика и золотопромышленника Дмитрия Бенардаки, в 1897 г. в журнале «Шут» сотрудничал его сын Николай Бенардаки.

Илион — греческое название Трои, известное по эпосу Гомера «Илиада» (поэма об Илионе).

...*он отдается влияниям, от Пушкина до священника Матвея Ржевского...* — Матвей Ржевский был духовником Гоголя. Вспоминая, как духовник требовал от Гоголя: «Отрекись от Пушкина и любви к нему: Пушкин был язычник и грешник», Розанов утверждал, что «точно такой же был в сущности предложен вопрос ап. Павлом и эллино-римскому миру: „Отрекись от Гомера, отрекись от Вергилия“» (*ОЦС*. С. 167–168).

«*В нем был легион бесов...*» — Лк 8, 27–36. Эту притчу о «Бесновавшемся» Достоевский взял эпиграфом к роману «Бесы».

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «О ГОГОЛЕ»

(с. 177)

Сохранился черновой автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 177. Л. 7—8.

В Собр. соч. Розанова не входило.

Печатается впервые по тексту автографа.

С. 178. «*Не приближайся к сему*», — говорили о кивоте Завета... — См.: Исх 25—31. Приближаться к ковчегу Завета мог только первосвященник раз в год.

25-ЛЕТИЕ КОНЧИНЫ НЕКРАСОВА

(27 декабря 1877 г. — 27 декабря 1902 г.)

(с. 179)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 190. Л. 1—2.

Впервые напечатано: *НВ*. 1902. 24 дек. № 9630. С. 2—3.

По поводу этой статьи А. П. Чехов писал из Ялты 30 декабря 1902 г. В. С. Миролубову: «В „Новом времени“ от 24 декабря прочтите фельетон Розанова о Некрасове. Давно, давно уже не читал ничего подобного, ничего такого талантливое, широкого и благодушного, и умного».

Статья перепечатана в книге: Н. А. Некрасов, его жизнь и сочинения: Сборник историко-литературных статей / Сост. В. Покровский. 2-е изд. М., 1915.

В Собр. соч. включено в т. 4 (с. 108—124).

Печатается по тексту первой публикации.

История оценок Розановым творчества Некрасова представлена в статье С. Ф. Дмитренко в «Розановской энциклопедии» (с. 635—638).

С. 179. «*Худо мне! Мой дом — постель...*» — из предсмертного дневника, впервые частично напечатанного в статье «Из бумаг Николая Алексеевича Некрасова: Библиографические заметки» (Отечественные Записки. 1877. № 1. С. 65, pag. 2-я). Точнее: «Худо, читатель!..» (Литературное наследство. М., 1946. Т. 49/50. С. 166).

С. 180. ...«*трех основах*... — православие, самодержавие и народность.

«*Русь*» — газета, издававшаяся в Москве в 1880—1886 гг. Издатель-редактор И. С. Аксаков.

Скужно, скужно!.. Ямщик удалой... — Н. А. Некрасов. В дороге (1845).

С. 181. *Кошница* — корзина.

«*О гем думает старуха*» — стихотворение Некрасова называется «Что думает старуха, когда ей не спится» (1863).

Ты и убогая... — Н. А. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо. IV, 4.

С. 182. *В рабстве спасенное...* — Там же.

Сеятель знания на ниву народную... — Н. А. Некрасов. Сеятелям (1876).

Мы входим в юбилейные Петровские дни... — возможно, речь идет о подготовке празднования 200-летия основания Петербурга.

С. 183. «*Очерки истории русской интеллигенции*» — Милюков П. Н. Из истории русской интеллигенции. СПб., 1902; 2-е изд.: СПб., 1903.

С. 184. «*Подражание лермонтовской колыбельной песне*» — Точнее: «Колыбельная песня (Подражание Лермонтову)» (1845).

Великое гувство! у каждой двери... — одноименное стихотворение Н. А. Некрасова (1877).

С. 185. *Двести уж дней...* — Н. А. Некрасов. З<и>не (1876).

О нашей родине унылой... — Н. А. Некрасов. М. Е. С<алтыко>ву (1875).

С. 186. *Пройдут веков завистливую даль...* — А. С. Пушкин. К портрету Жуковского (1818).

...«*odi*» et «*ато*» («люблю» и «ненавижу») — «*Odi et amo*» («Ненавижу и люблю») — двустигшие древнеримского поэта Катулла.

Плюшкин — персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

С. 187. ...«*Боже, благодарю тебя, что я не таков, как вон тот мытарь*». — Лк 18, 11.

...«*унигижение паче гордости*»... — парафраз притчи о мытаре и фарисее (Лк 18, 10–14) и слов апостола Петра (1 Петр 5, 5).

«*Неласковая муза*»... — Н. А. Некрасов. Муза (1854).

...«*муза мести и пегали*»... — Н. А. Некрасов. Замолкни, Муза мести и печали!.. (1855).

...о «*Боге — в тихом веянии ветра*»... — 3 Цар 19, 12.

...*Иову Он говорил «из бури*». — См.: «И отвечал Господь Иову из бури...» (Иов 40, 1).

В «*благословенную*» эпоху... — в царствование Александра I Благословенного.

С. 188. ...«*на раменах своих*»... — на плечах (*црксл.*).

...«*Он — выше Пушкина*». — В воспоминаниях Г. В. Плеханова, выступавшего на похоронах Некрасова от лица общества «Земля и воля», записано, что Достоевский тогда сказал, что по своему таланту Некрасов был не ниже Пушкина. «Это показалось нам вопиющей несправедливостью. „Он был выше Пушкина!“ — закричали мы дружно и громко. Бедный Достоевский этого не ожидал... „Не выше, но и не ниже Пушкина!“ — не без раздражения ответил он, обернувшись в нашу сторону. Мы стояли на своем: „Выше, выше!“ Достоевский, очевидно, убедился, что нас не переговорить, и продолжал свою речь» (цит. по: *Достоевский* Ф. М. ПСС. Л., 1984. Т. 26. С. 416–417).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

(с. 189)

Сохранился беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 25.

В Собр. соч. Розанова не входило.

Печатается впервые по тексту белового автографа.

С. 189. «*Гоголевская тройка*»... — Н. В. Гоголь. Мертвые души. I, 11.

УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ

(с. 189)

Сохранился автограф незаконченного замысла — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 161. Л. 6. Обрывается на незаконченной фразе.

Время создания фрагмента можно связать со статьей «Полезное издание для народа» (НВ. 1902. 16 июня. № 9439). Написание слова «бельлетрист» характерно для Розанова рубежа XIX–XX вв.

В Собр. соч. Розанова не входило.

Печатается впервые по тексту автографа.

С. 189. *«Пещное действо»* — древнерусский церковный обряд, представление, изображающее чудесное спасение трех отроков из печи огненной (Дан 3, 22—51).

...*«задней половины журнала»*... — имеется в виду отдел, включающий политические обозрения, статьи по экономическим вопросам, литературную критику и др.

1903

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ <О Д. С. Мережковском> (с. 190)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1903. 18 янв. № 9653. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 505—506).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 190. *«...некто г. К. Румынский...»* — Под таким псевдонимом выступал литературовед В. А. Келтуяла, в дальнейшем автор *«Курса истории русской литературы»* (СПб., 1906—1911. Т. 1—2). Розанов полемизирует с его статьей *«Нечто об еретиках»* (*С.-Петербургские Ведомости*. 1903. 12 янв. № 11. С. 2).

«...стал разыскивать в литературе «еретиков»...» — Келтуяла писал: «И „еретик“, действительно, был найден... не только найден, но и изобличен: г. Мережковский прямо перстом указал на него как на явление „грозное“, требующее „большого внимания со стороны церкви“. Вы угадываете, кто этот опасный еретик? <...> Это... одним словом, это — г. Розанов!!!»

«...редактором «Мира Искусства»...» — С. П. Дягилевым.

ИЗДАНИЕ СОЧ. ВЛАД. С. СОЛОВЬЁВА (с. 190)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1903. 24 янв. № 9659. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 506—507).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 190. *«Со смертью Мих. Сер. Соловьёва...»* — Михаил Соловьёв, младший брат Вл. Соловьёва, скончался от пневмонии 16 января 1903 г.

«Издание доведено до половины...» — В 1901—1903 гг. вышло первое издание *«Собрания сочинений»* В. С. Соловьёва в 9 томах.

С. 191. *«Трагическая кончина ~ его жены ~ несовершеннолетний сын...»* — В день кончины мужа его вдова, переводчица и художница Ольга Михайловна (ур. Коваленская), застрелилась из револьвера. У них остался 17-летний сын Сергей, будущий поэт и религиозный деятель.

«Московское психологическое общество» — существовало в период с 1885 по 1922 год.

«Россия и всемирная (= католическая) церковь» — По причине цензурных препятствий книга В. С. Соловьёва издана на французском языке (*«La Russie et l'Eglise universelle»*) в Париже в 1889 г.; рус. пер. Г. А. Рачинского: М., 1911. В основе труда мысль об объединении церквей и соединении Востока и Запада в виде «священной империи».

О БЛАГОДУШИИ НЕКРАСОВА

(с. 191)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *МИ*. 1903. Т. 9. № 2. Январь — февраль. С. 52—64.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 125—138).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 192. *...литератор с довольно громкой фамилией.* — Очевидно, имеется в виду Всеволод Сергеевич Соловьёв, брат Владимира Соловьёва, полемизировавший в своих статьях с произведениями Н. А. Некрасова, которые он называл «мнимой народностью» (*Русский Мир*. 1876. 6 февр.).

Шипка — перевал в горах Болгарии, где во время Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. русские войска 5 месяцев удерживали перевал. Выражение «На Шипке все спокойно» связано с названием триптиха В. В. Верещагина о трагической гибели русских солдат на Шипкинском перевале.

Плевна — город в Болгарии, где во время Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. турецкие войска были осаждены и затем сдались.

...«какой талант у этого человека, и какой топор его талант». — В. Г. Белинский. Письмо И. С. Тургеневу от 18 февраля 1847 г.

...«музою мести и пегали». — См. коммент. к с. 187.

Не водишь-ка на свете вина... — Н. А. Некрасов. Вино (1848).

...другое благовестие... — подразумевается Евангелие (*греч.* «благая весть»).

С. 194. *У людей-то для щей — с солониною ган...* — Н. А. Некрасов. Песни, I (1866).

Повензавишись, Парасковье... — Н. А. Некрасов. Молодые (1866).

Вянет, пропадает красота моя!.. — Н. А. Некрасов. Катерина (1866).

С. 195. *Не того ждала я, как я шла к венцу!..* — То же (и далее также).

Одер — кляча, скверная лошадь.

С. 196. *Родина мать! по равнинам твоим...* — Н. А. Некрасов. Свобода (1861).

Баста ходить по цензуре!.. — Н. А. Некрасов. Рассыльный (Из «Песен о свободном слове», 1865).

Николаевский мост — первый постоянный мост через Неву в Петербурге. Открыт 12 ноября 1850 г. под названием «Благовещенский». В 1855 г. после смерти императора переименован в «Николаевский». С 1918 г. назывался Мост лейтенанта Шмидта. 15 августа 2007 г. реставрированный мост был открыт под названием «Благовещенский».

Нынче, журналы гитая... — Н. А. Некрасов. Публика (Из «Песен о свободном слове», 1865).

С. 197. *В ледовитом океане...* — Н. А. Некрасов. Осторожность (Из «Песен о свободном слове», 1865).

Ревет ли зверь в лесу глухом — Розанов варьирует стихотворение Пушкина «Эхо» (1831).

Ай да свободная пресса!.. — Н. А. Некрасов. Публика.

С. 198. *Уж напегатана — и нет...* — Н. А. Некрасов. Пропала книга! (Из «Песен о свободном слове», 1866).

С. 199. *...к теням замуженных сестры и матери.* — Мать Н. А. Некрасова Елена Андреевна (ур. Закревская) и младшая сестра Анна Алексеевна (в замужестве Буткевич), страдавшие от необузданного деспотизма главы семейства А. С. Некрасова.

С. 200. *...в «Песне Еремушки»...* — Точнее: «Песня Еремушке» (1858).

...«fraternité, liberté»... — из девиза Великой французской революции: «liberté, égalité, fraternité» («свобода, равенство, братство»).

Бес благородный скуки тайной... — Н. А. Некрасов. «Отрадно видеть, что находит...» (1845).

С. 201. *Блажен незлобивый поэт...* — начало одноименного стихотворения Н. А. Некрасова (1852).

Душа моя мражна... — из «Еврейских мелодий» (1815) Байрона. Пер. М. Ю. Лермонтова (1836).

...Сауловой тоски. — Основатель Израильского царства Саул стал неугоден Богу. «И дух Господа отошел от Саула и стал мучить его злой дух от Господа» (1 Цар 16, 14).

...«гестными и мыслящими реалистами»... — отсылка к названиям статей Д. И. Писарева «Реалисты» (1864) и «Мыслящий пролетариат» (1865).

...Мой неуклюжий стих... — Н. А. Некрасов. «Праздник жизни — молодые годы...» (1855). Точнее: «Мой суровый, неуклюжий стих».

Порвалась цепь великая... — Н. А. Некрасов. Помещик (Из «Кому на Руси жить хорошо», 1865).

С. 202. *...«зрак раба»...* — Флп 2, 7. Зрак — вид.

С. 203. *...«мессианизм» Товянского...* — В кружок польского мистика А. Товянского входил А. Мицкевич, написавший ритмизированной прозой в духе мессианизма Товянского сочинение «Книги польского народа и польского пилигримства» (1832).

...место могилы ее известно... — мать Н. А. Некрасова похоронена в селе Абакумцево вблизи Ярославля. На ее могиле у стены церкви Петра и Павла стоит памятник из белого мрамора с медным крестом наверху. Некрасов считал свою мать полькой, хотя отец ее был чиновником-малороссом, и часто посещал ее могилу.

Терпением изумляющий народ... — Н. А. Некрасов. Неизвестному другу (1867).

Выдь на Волгу: гей стон раздается... — Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда» (1858).

С. 204. *Вот идет солдат. Под мышкою...* — Н. А. Некрасов. На улице (1850).

...около Сципиона другой Сципион... — полководцы Сципион Африканский Старший и его внук Сципион Эмилиан Африканский Младший.

...И дровни, и хвост, и легонкий конь... — Н. А. Некрасов. Крестьянские дети (1861).

В СВОЕМ УГЛУ. ОТ АВТОРА

(с. 204)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НП*. 1903. № 2. С. 135—136.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 509).

Печатается по тексту первой публикации.

«Новый Путь» — ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге в 1902—1904 гг., руководителями которого были П. П. Перцов (главный редактор), Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус. См. статью М. Ю. Эдельштейна в «Розановской энциклопедии» (с. 1736—1738).

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ И «УТИЛИТАРНАЯ КРИТИКА»

Маленькое возражение Н. А. Энгельгардту
на его проект «переоценки ценностей» литературных

(с. 205)

Автограф неизвестен.

Сохранилась гранки из журнала *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 33—35. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НП*. 1903. № 2. С. 136–142. Под шапкой: «В своем углу».
В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 509–513).

Печатается по тексту первой публикации.

Сравнивая публикации Розанова и Мережковского в журнале «Новый Путь», критик И. Н. Игнатов писал: «Г. Розанов, помещающий в том же журнале свои статьи, не холоден, подобно автору „Судьбы Гоголя“: у него „глаза в крови, лицо горит“. Но зато он сводит программу „Нового Пути“ на нет. Прочитавши его статью, читатель убеждается, что говорить против „прежнего утилитарно-позитивного мирозерцания“, во имя проснувшейся теперь „философски-религиозной мысли“, можно только по недоразумению. «Кажущиеся „утилитарные“ оценки литературных произведений в 60-е годы, — говорит г. Розанов, — были только с виду такими, а на самом деле это были оценки, вытекавшие из общей братской одушевленности одним идеалом, „монотеистическим“. И полные ревности к „иным богам“» (*Русские Ведомости*. 1903. 7 марта).

С. 205. *Маленькое возражение Н. А. Энгельгардту...* — речь идет о книге литературоведа Н. А. Энгельгардта «История русской литературы XIX столетия (Критика, роман, поэзия и драма)» (СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1902–1903. Т. 1–2).

«Да не будет тебе бози инии...» — Мк 12, 32.

В «Бесах» Достоевского рассказывает... — Ф. М. Достоевский. Бесы. I, 4, 4. (Шатов и Кириллов).

...я здесь в Петербурге встретил тожь-в-тожь такого эмигранта эпохи 70-х годов... — Розанов общался с бывшим эмигрантом А. Ф. Адамовичем, вместе с ним сотрудничавшим в «Русском Обозрении», который рассказал ему «жизнь свою, полную приключений и случайностей: об оставлении университета за участие в беспорядках, бегстве за границу, черной работе в Берлине, участии в Парижской коммуне 70-го года, где был ранен; наконец о лечении где-то около Ниццы, издании в Праге славянофильского журнала (кажется, *Славянский Мир*), и, наконец, — новом бегстве на родину „от тоски“, где был немедленно схвачен, но благодаря 2–3 нумерам „Славянского мира“, найденным при нем, был скоро выпущен». Чудесное исцеление дочери кардинально изменило его убеждения и побудило его постоянно думать и писать о христианстве (см. т. 2 настоящего ПСС. С. 643; в комментариях имя А. Ф. Адамовича не указано).

С. 206. *Его «унылый стих» носился тогда над толпою...* — Перепев лермонтовской строки: «Твой стих, как Божий дух, носился над толпой...» («Поэт», 1838). «Унылый стих» — очевидная отсылка к Некрасовскому: «Мой суровый, неуклюжий стих» («Праздник жизни — молодые годы...», 1855). См. также стихотворение И. С. Тургенева «К чему твержу я стих унылый...» (1843).

...«тьмы низких истин». — А. С. Пушкин. Герой (1830).

...перед самым открытием памятника Пушкину в Москве... — 6 июня 1880 г.

...глазуновского издания. — Имеется в виду издание «Сочинений» Пушкина в 11 томах (1838–1841), последние три тома которого изданы И. И. Глазуновым.

...«и близок виноград, да зуб неймет». — Ср.: И. А. Крылов. Лисица и Виноград (1808).

С. 207. *...полные ревности к «иным богам».* — Отсылка к первой заповеди из Десятого заповедей: «да не будут тебе бози инии разве мене» (Исх 20, 3).

«Ваалы» — боги отдельных местностей язычников Палестины, Финикии и Сирии. «И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу» (1 Цар 7, 4).

...«звуков гистых и молитв»? — А. С. Пушкин. Поэт и толпа (1828).

«Сейте разумное, доброе, вечное». — Н. А. Некрасов. Сеятелям (1876).

...министерские позднейшие «гехи»... — Для реализации программы классического образования Министерство народного просвещения начиная с 1864–1865 гг. начало приглашать в Россию учителей из славянских земель, главным образом чехов.

...«куплетисту около Александровского театра»... — Н. Н. Страхов пытался дискредитировать Некрасова, называя его в статьях «Некрасов и Полонский» (Заря. 1870. № 9), «Некрасов — Минаев — Курочкин» (Там же. 1870. № 11) куплетистом, который «не прочь грустно подделываться или тоскливо поглумиться над народом». Александринский театр — старейший русский драматический театр, основанный в 1756 г. Новое здание в Петербурге построил архитектор К. И. Росси в 1832 г. Название театра дано в честь супруги Николая I Александры Федоровны.

С. 208. *Розенгейм* Михаил Павлович — поэт, приобретший известность как обличитель частных злоупотреблений.

ЗАМЕТКА О МЕРЕЖКОВСКОМ

(с. 208)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и верстка из журнала *МИ* — РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 188. Л. 24—24 об. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *МИ*. 1903. № 2. Хроника. С. 15—16.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 446—447).

Печатается по тексту первой публикации.

Д. С. Мережковский откликнулся на заметку Розанова в статье «О гигантах и пигмеях», где писал: «В. В. Розанов (Хроника М. И. № 2), защищая меня от нападок г. Михайловского по поводу того, что я „карлик“, замахиваясь на такого огромного человека, как Л. Толстой (выражение г. Михайловского), ссылается на слова, сказанные будто бы мною случайно, „в торопливую и забывчивую минуту“, три-четыре года назад, в частной беседе с ним, В. В. Розановым: „Конечно! Я, пигмей, говорю о гиганте Толстом...“. В. В. Розанов сомневался, помню ли я эти слова. Я их действительно не помню, но несомненно знаю, что в том смысле, какой придает им он, я мог бы им сказать, не отрекаясь от самого для меня существенного в моем отношении ко Льву Толстому» (*МИ*. 1903. № 3. Хроника. С. 21—22).

С. 208. ...«безобразно-неистовой выходкой...» — *Михайловский* Н. К. Литература и жизнь // Русское Богатство. 1902. № 8. Отд. II. С. 99.

С. 209. ...среднюю часть своей трилогии... — роман «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» (СПб., 1901) в трилогии Мережковского «Христос и Антихрист».

...*Сократ нас угил, кто из двух — обидчика и обиженного — страдает собственно первый.* — Имеются в виду слова из диалога Платона «Горгий» (473а): «Поступить несправедливо хуже, чем терпеть несправедливость».

...*великий писатель собственно «земли русской»...* — подразумевается высказывание И. С. Тургенева в предсмертном письме от 29 июня (11 июля) 1883 г. к Л. Н. Толстому.

О ПИСЬМЕ гр. С. А. ТОЛСТОЙ

(с. 210)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 172. Л. 1—2. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1903. 11 февр. № 9677. С. 3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 527—530).

Печатается по тексту первой публикации.

7 февраля 1903 г. «Новое Время» напечатало «Письмо в редакцию» жены Л. Н. Толстого С. А. Толстой с одобрительным отзывом о статье В. П. Буренина «Критические очерки» (НВ. 1903. 31 янв. № 9666) против сочинений Л. Андреева. По поводу письма С. А. Толстой Розанов написал статью «Случаи любви» (НВ. 1903. 9 февр. № 9675; см.: ВДЯ. С. 242—244). Рассказ Л. Андреева «Бездна» появился в газете «Курьер» 10 января 1902 г.

На статью Розанова появился отклик «По поводу письма гр. С. А. Толстой: Письмо в редакцию», подписанный инициалами Н. В.: «В пространной заметке, озаглавленной „К письму гр. С. А. Толстой“, В. В. Розанов выступает в защиту пола, его святости и в некотором роде неприкосновенности, будто бы нарушенных Андреевым в его рассказах „Бездна“ и „В тумане“. Уже по этому основному мотиву заметки видно, что ни о какой солидарности во взглядах В. В. и гр. Толстой не может быть и речи, ибо трудно заподозрить гр. Толстую в стремлении к „теизации“ пола» (МИ. 1903. № 3. Хроника. С. 41).

С. 210. ...изображает гимназиста ~ столовым ножом в живот проститутки... — имеется в виду рассказ Л. Андреева «В тумане» (Журнал для Всех. 1902. № 12).

С кого они портреты пишут... — М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель (1840).

С. 211. «Шантажисты прессы»... — Об истории международной аферы «Панама» и французских «шантажистах прессы» (корыстных разоблачителях) Розанов писал в статьях «О подразумеваемом смысле нашей монархии» (1895) и «Цензура» (1916).

В музее училища барона Штиглица... — Александр Людвигович фон Штиглиц основал в 1876 г. художественное училище в Петербурге (позднее называлось Высшим художественным училищем им. В. И. Мухиной). Музей прикладного искусства при нем был учрежден в мае 1878 г., через 8 лет для него было выстроено особое здание.

ЕЩЕ О «60-х ГОДАХ» НАШЕЙ ИСТОРИИ

(с. 212)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки журнала НП — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 204. Л. 3. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: НП. 1903. № 3. С. 171—172. Под шапкой: «В своем углу. II». Подпись: В. Р.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 543—544).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 213. ...с железным Вием Гоголя. — Имя героя повести Гоголя «Вий» (1835) возникло в результате соединения имени мифологического властелина преисподней «железного» Ния и украинского слова «вья» — ресница.

Национализм Базарова — это катаракт на глазу... — Одним из первых откликов на образ главного героя романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» стала статья Д. И. Писарева «Базаров» (Русское Слово. 1862. № 3). Писарев писал: «Если базаровщина — болезнь, то она болезнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какие паллиативы и ампутации. Относитесь к базаровщине как угодно — это ваше дело; а остановить — не остановите».

...«темная вода» в глазном яблоке... — ср. поговорку «Темная вода в глазах разлилась» (о болезни глаз).

ШАЛУН НАШЕЙ ПРЕССЫ

(с. 113)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки с правкой, журнал *НП* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 204. Л. 1—2. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НП*. 1903. № 3. С. 173—177. Под шапкой: «В своем углу. III».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 544—547).

Печатается по тексту первой публикации.

Эпиграф составлен Розановым в результате расширения фразы из IV главы «Мертвых душ»: «Потом Ноздрев показал пустые стойла, где были прежде тоже хорошие лошади».

С. 213. ...*полуприятеля, С. Ф. Шарапова* — С. Ф. Шарапов — писатель, экономист, издатель газеты «Русский Труд», в которой в 1897—1899 гг. печатался Розанов. Их переписка опубликована в журнале «Русская литература» (2008. № 4; 2009. № 1, 2). Об отношении Розанова и Шарапова см. в статье В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 1165—1170).

...*для оправдания его в неприятных подозрениях...* — имеются в виду упорные слухи о том, что Шарапов получил субсидию от министра финансов С. Ю. Витте на издание своей газеты, однако они были совершенно не основательны. Их источником явилась его встреча в апреле 1902 г. с министром, по результатам которой Витте решил субсидировать производство плугов, за что ратовал Шарапов.

С. 214. ...*финансовой системы Н. Х. Бунге*. — Министр финансов (1881—1887) Н. Х. Бунге провел реформу налоговой системы, отменил подушную подать, более 150 лет тяготевшую над русским народом.

«*Сугробы*» — Шарапов С. Ф. Сочинения. М., 1901. Вып. 4: Сугробы.

Обзорный ряд — переулок, существовавший на месте Манежной площади в Москве. Строения ликвидированы в 1932—1937 гг.

Мог ли бы Агамемнон украсть курицу? — Розанов нередко прибегал к сопоставлению несравнимого в жизни. Так, в «Апокалипсисе нашего времени» он писал, что если бы предводитель греков в Троянской войне Агамемнон был без носа, «за ним бы никто не пошел» (АНВ. С. 225).

«*Русь*» — ежедневная газета В. П. Гайдебурова (СПб., 1897—1901), в которой в 1897 г. печатался Розанов.

«*Современные Известия*» — ежедневная газета в Москве, издававшаяся Н. П. Гиляровым-Платоновым в 1867—1887 гг. (в 1878—1883 гг. соредактором был его племянник Ф. А. Гиляров).

«*Рыцарь без страха и упрека*» — прозвище французского военачальника Пьера дю Террай де Баярда.

...*в мешок хлеба подложили золотую Фараонову гашу*. — Ср.: Быт 44, 2.

«*Пришел, увидел, победил*» — сообщение Юлия Цезаря о победе над понтийским царем Фарнаком в битве при Зеле (47 г. до н. э.).

...«*Оттепелях*», «*Слякоти*» и «*Дожде*»... — Ироническое, с нарочитыми искажениями, перечисление «календарных» названий отдельных выпусков издания: Сочинения Сергея Шарапова. М., 1900—1906. Т. 1—9, вып. 1—25. В 1901 г. вышли в свет выпуски 4 («Сугробы»), 5 («Оттепель»), 6 («Ледоход»), 7 («Борозды»), 8 («Посевы»), 9 («Сенокос»), 10 («Жатва»), 11 («Озимь»), 12 («Умолот»), 13 («Заморозки»), 14 («Пороша»), 15 («Метели»); в 1902 г. — 16 («Ухабы»), 17 («Половодье»), 18 («Яровые»), 19 («Страда»), 20 («Урожай»), 21 («Туманы»).

С. 215—216. ...«*братьям-писателям*». — Н. А. Некрасов. В больнице (1855).

ПАМЯТИ ЕВГ. ЛЬВ. МАРКОВА

(с. 216)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 3.

Впервые напечатано: *НВ*. 1903. 21 марта. № 9714. С. 3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 555—557).

Печатается по тексту первой публикации.

Марков Евгений Львович (1835—1903) — прозаик, публицист, критик. Скончался 17 марта в Воронеже.

С. 217. *...новый суд...* — Созданный в ходе Судебной реформы 1864 г.

«*Софисты XIX века*» — статья Е. Л. Маркова (Голос. 1875. 5 и 6 февр. № 36, 37), где он пустил в оборот название адвокатов «прелюбодеи мысли», обыгранное впоследствии в романе Достоевского «*Братья Карамазовы*» (XII, 13).

Резко восстав в 1862 г. против ~ яснополянских опытов... — *Марков Е. Л.* Теория и практика Яснополянской школы // *РВ*. 1862. № 5. С. 149—189.

Директор симферопольской гимназии и народных училищ в Крыму... — С 1865 по 1869 год.

...системе Д. А. Толстого. — Имеется в виду утвержденный 30 июля 1871 г. представленный министром народного просвещения Д. А. Толстым устав классической гимназии с расширенной программой преподавания древних языков.

«*Баргуки. Картины прошлого*» — сборник новелл Маркова о его детстве и юности, печатавшийся в «*Отечественных Записках*» (1867—1868) и в «*Вестнике Европы*» (1874; отд. изд.: СПб., 1875).

...школьных воспоминаниях Дедлова. — *Дедлов В.* Школьные воспоминания. СПб., 1902.

Г-н МЕНЬШИКОВ И ЕГО ОБВИНЕНИЯ

(с. 118)

Сохранился черновой автограф: РГБ. Ф. 249. К. 5. Ед. хр. 22. Л. 1—3. См. *Варианты*.

Печатается впервые по тексту автографа.

В Собр. соч. Розанова не входило.

Статья Розанова является первоначальным ответом на первую часть статьи М. О. Меньшикова «*Из писем ближним: Титан и пигмеи. — Тоже стиль модерн*» (*НВ*. 1903. 23 марта. № 9716).

Об отношениях Розанова с М. О. Меньшиковым см. статью В. А. Фатеева в «*Розановской энциклопедии*» (с. 569—575).

С. 218. *...в «Письмах к простоватым людям»...* — имеется в виду постоянная личная рубрика «*Письма к ближним*», под которой М. О. Меньшиков публиковал свои воскресные фельетоны в «*Новом Времени*». Статьи этой серии печатались с декабря 1901 г. (СПб., 1902—1916. Т. 1—15).

С. 219. *Подколесин, в «Женитьбе» Гоголя...* — На самом деле говорит отставной офицер Анучкин: «А как, позвольте узнать, Сицилия... вот вы изволили сказать: Сицилия, — хорошая это земля Сицилия?» (явл. XVI).

Тогда какой-то странный гений... — А. С. Пушкин. Демон (1823) («Тогда какой-то злобный гений <...> Его улыбка, чудный взгляд, / Его язвительные речи...»).

- С. 220.** *Лупанар* (лупанарий) — публичный дом в Древнем Риме.
 ...священник У—ский. — А. П. Устьянский.
 «Блаженны милостивые!» — из евангельских заповедей блаженства (Мф 5, 7–8).
- С. 221.** ...*герта, которого Вакула поймал в мешок...* — Н. В. Гоголь. Ночь перед Рождеством (1832).
 ...«дух отрицанья и сомненья». — А. С. Пушкин. Ангел (1827).
 ...*бесами, погубившими свиней в Тивериаде...* — Мф 8, 28–34.
 ...в прениях Религиозно-философских собраний, мнения Страхова и Л. Н. Толстого... —
 Тема «Лев Толстой и русская церковь» посвящены два заседания (третье и четвертое)
 в РФС в 1902 г. О Н. Н. Стракове речь в заседаниях не шла.
- С. 222.** «*Ното Sapiens*» — романная трилогия польского писателя-модерниста
 С. Пшибышевского (1899–1901).
 ...*декадентскую фирму «Скорпион»...* — см. коммент. к с. 88.
- С. 224.** ...«*падающего толкни!*»... — Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. Ч. 3: О старых
 и новых скрижалях. § 20.

ОТВЕТ г. МЕНЬШИКОВУ

(с. 224)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1903. 28 марта. № 9721. С. 2.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 566–571).

Печатается по тексту первой публикации.

Священник и близкий друг Розанова Александр Петрович Устьянский, будучи в 1902 г. в Петербурге, разрешил публикацию в журнале *НП* своих писем к Розанову по вопросам семьи и брака, что вызвало скандал. М. О. Меньшиков в ряде статей против *НП* обрушился на Устьянского и в фельетоне «Тоже стиль модерн» (*НВ*. 1903. 23 марта. № 9716) раскрыл его псевдоним. Архиепископ Новгородский и Старорусский Гурий (Охотин), в епархии которого служил Устьянский, сделал ему внушение. Великий князь Сергей Александрович дал фельетон Меньшикова Николаю II, который распорядился «наказать этого священника и расправиться с этим журналом» (письмо Розанова к Устьянскому от 4 апреля 1903 г.). Над Устьянским был назначен духовный суд, и он был сослан на два месяца в Хутынский монастырь вблизи Новгорода (основан в 1192 г.), место погребения Г. Р. Державина.

С. 224. ...в № 2 журнала «Новый Путь». — Имеется в виду статья Розанова «Из писем друзей и недругов» (*НП*. 1903. № 2. С. 142–152).

С. 225. ...с *благоразумным разбойником...* — традиционное именование одного из двух распятых одновременно с Христом преступников: он покаялся на кресте (Лк 23, 40–43) и, по преданию, первым вошел в рай.

«*Иди к язычникам*» — Деян 22, 21.

...и в Израиле я не нашел такой веры... — Мф 8, 10.

«А если законом оправдание, то Христос напрасно умер». — Гал 2, 21.

С. 226. ...в «*глаголавшего в пророках*». — Из христианского Символа веры («8-й член»). Речь идет о Святом Духе, говорившем через пророков.

Падающего толкни... — см. коммент. к с. 224.

«...истинно говорю вам: хула ~ ни в жизни сей, ни в будущей». — Мф 12, 31–32 («Посему говорю вам <...> хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына

Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем»).

С. 227. ...иеромонах Михаил, читающий в Соляном городке лекции ~ о браке. — См. статью Розанова «По поводу доклада о. Михаила о браке» (см.: ВТРЛ. С. 38—48). *Соляной городок* — район в центре Петербурга, комплекс музеев и лекционных залов.

С. 228. ...статьи «Психология таинств»... — Михаил, иером. Психология таинств // Миссионерское Обозрение. 1902. Ноябрь. «Миссионерское Обозрение» — ежемесячный журнал православной миссии, выходивший в Петербурге в 1896—1917 гг. Главный редактор В. М. Скворцов. Розанов печатался в нем в 1901 г.

...камень, лежащий „на падение многим“. — Лк 2, 34.

...лекции о браке г. Струженцов... — Струженцов М. И. Православно-христианское учение о браке по поводу воззрения на брак гр. Л. Н. Толстого и некоторых современных публицистов // БВ. 1902. Т. 2. Июль—август. С. 385—432, pag. 3-я.

...в последующей статье... — Струженцов М. И. К вопросу о православно-христианском понимании существа брака: Ответ о. иеромонаху Михаилу (Миссионерское Обозрение. 1902. Ноябрь) // БВ. 1902. Т. 3. Декабрь. С. 636—647, pag. 2-я.

«Судьба Гоголя» — статья Д. С. Мережковского (НП. 1903. № 1—3).

ЗАМЕТКА

<Еще о Д. С. Мережковском>

(с. 229)

Автограф неизвестен.

Сохранилась верстка статьи *МИ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 26 об.

Впервые напечатано: *МИ*. 1903. № 4. Хроника. С. 43.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 572).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 229. В «письме в редакцию»... — см. «Письмо в редакцию <О Д. С. Мережковском>» (*НВ*. 1903. 18 янв. № 9653), на которое Мережковский ответил статьей «О гигантах и пигмеях» (*МИ*. 1903. № 3).

СЕРЬЕЗНЫЙ КРИТИК

(с. 229)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки журнала *НП* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 125. Л. 1—3. См. *Варианты*. На полях чернилами: «Исправить по моей корректуре (красные поправки) и верстать в „угол“». Надпись карандашом: «Это исправить по корректуре, присланной Вам З. Мережковской». Надпись красными чернилами: «Дозволено цензурою». Подпись нрзб.

Впервые напечатано: *НП*. 1903. № 4. С. 109—116. Под шапкой: «В своем углу».

По поводу статьи «Астартизм» (*МВ* 1903. № 59, 66, 72) А. Басаргина (псевдоним профессора Московской духовной академии, редактора «Душеполезного Чтения» А. И. Введенского).

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 572—577).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 230. «*Quidam*», «Залётные» — *Quidam* — псевдоним экономиста С. В. Бородаевского, печатавшегося в «Новом Времени»; И. Залётный — псевдоним публициста и поэта И. А. Гофштеттера, напечатанного в газете «Слово» (1903. 18 февр.) статью «Литературная распутица», где речь шла о Розанове.

Платон — друг... — из «Жизни Аристотеля» александрийского философа Аммония Саккаса (III в.)

«Достоин внимания, что афонские отшельники...» — эти слова епископа Порфирия (Успенского) Розанов приводит в статье «По тихим обителям» (НВ. 1904. 15 сент. № 10252; см.: ВТРЛ. С. 128–129). Порфирий (Успенский) — автор «Первого путешествия в афонские монастыри и скиты...» и «Второго путешествия по святой горе Афонской...» (М., 1877 и 1880).

С. 231. Червленица — шерсть багряного цвета.

...на браке в Кане Галилейской. — Ин 2, 1–11.

«Христианское Чтение» — журнал, издававшийся в Петербурге в 1821–1917 гг.

«Православно-Русское Слово» — выходило в Петербурге 2 раза в месяц в 1902–1905 гг.

«Вера и Разум» — богословско-философский журнал, издававшийся в Харькове с 1884 по 1916 г.

...«Камнем Петровым» ~ «Врата Адовы, не одолевайте нас...» — реминисценция обращения Христа к апостолу Петру: «...ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16, 18).

«Астартизм» — см.: Введенский А. И. «Религиозное обновление» наших дней. М., 1903. Вып. 1. Астартизм. Розовое христианство. Религия Конца.

С. 233. ...«седьмой заповеди»... — «Не прелюбодействуй» (Исх 20, 14).

...о «послушествовании на друга своего свидетельства ложна»... — Исх 20, 15 («восьмая заповедь»).

ПРОСТАЯ РЫБАЧКА

(с. 234)

Автограф неизвестен.

Сохранились: 1) вырезка НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 90, с пометами: перед текстом: «1903, 5.IV; № 57»; после текста: «1903. 5.IV»; 2) вырезка НВ — Там же. Л. 172.

Впервые напечатано: НВ. 1903. 5 апр. № 9729. С. 3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 593–595).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 234. ...статью г-жи Лухмановой... — Статья писательницы Н. А. Лухмановой «Кто дал им право?» появилась в газете «Заря» 2 апреля 1903 г. Лухманова опубликовала «Ответ г. Розанову», в котором писала о нем: «Я считаю все его оскорбления только желанием запутать и затемнить поднятый мною серьезный вопрос о неприличии тона, с каким велись г. Розановым его яковы богословские споры» (Заря. 1903. 11 апр.). См. также статью Розанова «Г-жа Лухманова о проституции» (НП. 1903. № 12).

«Ночь г-жи де Монтесон» — фарс в 3-х действиях М. В. Шевлякова.

С. 235. ...«будьте просты как голуби» ~ «Будьте мудры как змии»... — Мф 10, 16.

Пашковцы — близкая баптизму протестантская секта в России последней трети XIX в. В «Деяниях апостольских»... — Деян 16, 16–17.

О ЛИБЕРАЛИЗМЕ КАК НЕКОТОРОМ ОБЩЕМ ДУХЕ

(с. 235)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1903. 8 мая. № 9760. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 626—629).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 235. *Несколько лет назад ~ poleмику с Вл. Соловьёвым... — см. статьи Розанова 1894 г.: «Свобода и вера», «Ответ г. Владимиру Соловьёву», «Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической?» в т. 1 настоящего ПСС. С. 288—343.*

С. 236. *«Вестн. Европы» в последней книжке... — [Без подписи]. Из общественной хроники: Национализм «первобытный» и «просвещенный» // Вестник Европы. 1903. № 5. С. 403—408. Автор сочувственно цитирует суждения Розанова о РФС.*

...мнения Вл. Соловьёва о национализме... — имеются в виду два выпуска полемических статей В. С. Соловьёва «Национальный вопрос в России», написанных на протяжении 1883—1891 гг. Обычно приводятся слова Соловьёва из этой книги (глава «Идолы и идеалы») о «зверином» национализме.

Сигма — псевдоним журналиста С. Н. Сыромятникова, печатавшегося в «Новом Времени» и других газетах.

С. 237. *...статью в последнем номере «Церковного Вестника»... — [Сергий (Страгородский), епископ]. К вопросу о современных настроениях // Церковный Вестник. 1903. № 18. 1 мая. Стб. 545—547. «Церковный Вестник» — еженедельный журнал С.-Петербургской духовной академии, выходил с 1875 по 1917 г.*

...время, когда светские Аскогенские запугивали даже митрополитов... — эпоха реформ, когда В. И. Аскоченский издавал журнал «Домашняя беседа» (1858—1877), приобретшего репутацию органа обскурантизма.

СРЕДИ ИНОЯЗЫЧНЫХ

(Д. С. Мережковский)

(с. 238)

Автограф неизвестен.

Сохранились вырезки из журнала *МИ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 12—21.См. *Варианты*.Впервые напечатано: *МИ*. 1903. № 7/8. Июль—август. С. 69—86.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 145—163).

Печатается по журналу: *НП*. 1903. № 10. С. 219—225.

Подзаголовок статьи появился в «Новом Пути».

Заглавие статьи и ее начало связано с историей о замерзшем насмерть зимой на улицах Петербурга англичанине, не знавшем русского языка и потерявшем адрес своей квартиры. Конечно, в гоголевском Петербурге случались и не такие истории. Но нам удалось найти то, что в действительности писалось в газетах «года три назад», как говорит Розанов. 9 декабря 1899 г. в «Новом Времени», где к тому времени уже начал служить Розанов, появилась статья «Трагическая судьба». Начиналась она с конца этой истории: «На Смоленском лютеранском кладбище интересующиеся могут найти свежую могилу с надписью на английском языке: „Здесь погребен Джемс Марлэнд“ и пр. <...> С покойным безжалостно подшутила злая судьба, отдав его в жертву случайности и гибели при са-

мом прибытии его в Петербург. В последних числах ноября у одного из домов по 7-й роте Измайловского полка нашли человека, полузастывшего около забора, к которому он прислонился, бормотавшему что-то невнятно и так неразборчиво, что его тут же приняли за пьяного». Его отправили в участок, а на другой день, убедившись, что это англичанин, повели (не повезли, по уверению английского консула Митчеля) к английскому вице-консулу Витау. Оказалось, что это англичанин Джеймс Марлэнд, приехавший по приглашению для установки на одной из фабрик выписанной из Англии новой машины. У него были с собой деньги, в дороге он захворал и его, очевидно, ограбили. Всего он пропал 6 дней. В Петербурге проживал его брат Вильям Марлэнд, служивший механиком на Екатеринбургской мануфактуре. «Больного отвезли в Александровский госпиталь на 15-й линии Васильевского острова, все время у его постели находился брат, но не мог добиться ясных ответов о случившемся. Доктора определили тяжелую форму воспаления легких с явлениями бреда. Два дня несчастный мучился в агонии и умер». Розанов по-своему интерпретировал эту историю.

Иеромонах Михаил (Семёнов) направил в журнал «Новый Путь» (1903. № 11. С. 188—189) письмо по поводу этой статьи Розанова, в котором он возражал против розановской фразы: «Вся Европа плакала, — пишет В. В. Розанов, — когда рожденный приблизительно по предписаниям о. Михаила Домби-сын хирел». Иеромонах Михаил заключает: «В. В. Розанов внушает нам, что брак Домби-отца для поддержания фирмы — „брак корысти“, „брак-гадость“ и т. д.».

На это Розанов отвечал в том же номере журнала сразу после «Письма в редакцию» о. Михаила: «*Примечание.* Мы были очень довольны, получив это письмо о. Михаила. Но тогда для чего, в целом ряде статей (между прочим: „В поисках Лика Христова“, читанных в Соляном городке), он подчеркивал, утверждал (хотя не разъяснял и не доказывал) ту мысль, что „святой брак есть брак бесстрастный, заключаемый в целях лишь арифметического умножения сынов церкви“? Это его точная мысль, проведенная в ряде статей. Иногда, при чтении их, приходила мысль об аптекарском, механико-биологическом браке взамен наличного, „греховно“-страстного: именно, вместо обычного способа, не могущего быть страстным, можно было бы употреблять шприц Праваца, и для умножения „сынов веры“ впрыскивать, что следует, супруге и супругам в сонном состоянии. Дабы рождаемое не было соединено „с похотью мужскою или женскою“ (*bête poïge* о. Михаила, по крайней мере прежнего)» (НП. 1903. № 11. С. 189).

С. 238. ...так заявлял не раз (напр., М. А. Новосёлов) в религиозно-философских собраниях... — О РФС см. коммент. к с. 69. М. А. Новосёлов на XV заседании 12 декабря 1902 г. говорил о Мережковском: «Для меня, несмотря на обилие речей Мережковского, не совсем ясно, на чем он стоит и на чем строит» (Записки Петербургских Религиозно-философских собраний (1901—1903 гг.). М., 2005. С. 301).

...двух романов, только это переведенных на английский язык... — В 1901 г. в Лондоне и Нью-Йорке издан английский перевод Герберта Тренча романа Мережковского «Смерть богов», а в 1902 г. в Париже французский перевод С. М. Перского романа «Воскресшие боги».

...старокультурные примеси. — В «Автобиографической заметке» (РС. 1913. 19 марта) Мережковский писал: «Прадед мой Федор Мережки был войсковою старшина на Украине, в городе Глухове. Дед, Иван Федорович, в последних годах XVIII века, в царствование императора Павла I, приехал в Петербург и, в качестве дворянина, поступил младшим чином в Измайловский полк. Тогда же, вероятно, и переименовал он свою малороссийскую фамилию Мережки на русскую — Мережковский».

С. 239. ...«отрясы прах с ног»... — Мф 10, 14; Мк 6, 11.

Воляток (волапук) — искусственный международный язык, изобретенный в 1879 г. католическим священником Иоганном Шлейером.

...у Меримэ, восторг к Пушкину... — Французский писатель Проспер Мериме перевел Пушкина («Пиковая дама», «Цыганы», «Выстрел», стихи), а в статье «Александр Пушкин» (1868) ставил русского поэта выше всех современных ему европейских писателей.

«Везные спутники» — сборник очерков Мережковского «Вечные спутники: Портреты из всемирной литературы» (СПб., 1897; 2-е изд.: 1899).

...Степана Трофимыга ~ гитающего с книгоношею Евангелие мужикам. — В главе 7 третьей части «Бесов» Достоевского Степан Трофимович покупает Евангелие у книгоноши: «У него мелькнуло в ту минуту, что он не читал Евангелия по крайней мере лет тридцать» (ПСС. Л., 1974. Т. 10. С. 486).

...он посетил знаменитые Керженские леса... — Описание этой поездки в июне 1903 г. см. в статье З. Гиппиус «Светлое Озеро» (НП. 1904. № 1—2).

Прямо из Таормины... — Мережковский вместе с женой был в Таормине (Сицилия) весной 1900 г.

С. 240. ...видишь иконку на дереве... — Розанов вспоминает историю иконы Феодоровской Божией Матери костромского Богоявленско-Анастасийского кафедрального собора, которая во время татаро-монгольского нашествия в 1239 г. исчезла, но была вскоре обнаружена в лесу младшим братом Александра Невского князем Василием Костромским. Об этой иконе Розанов писал неоднократно (см.: Л. С. 258).

...Михайловский, в одной из критических статей... — речь идет о статье Н. К. Михайловского «О г. Мережковском» (Русское Богатство. 1902. № 9).

Элевзинские таинства — см. коммент. к с. 141.

«Тайны Версальского двора» — слова из названия романа: Френцель К. В. Тайны Версальского и Венского двора: (Иосиф II-й Австрийский): Исторический роман времен конца XVIII в. СПб., 1873; 2-е изд.: 1891.

...тайны ~ Казановы... — речь идет о похождениях авантюриста и писателя Дж. Казановы, выдававшего себя за знатока тайной магии.

С. 241. «Святая святых» — у древних евреев священная часть скинии (переносного святилища), где хранился ковчег «Завета» Моисея (Исх 26, 33).

...у церк. ист. Зосимы... — Византийский историк Зосима (V в.) написал историю Римской империи от Августа до 410 г. (в 6 книгах).

С. 242. ...«таков закон храма» у Иезекииля в видении... — Иез 43, 12.

Нагорная проповедь — изречения Христа, отражающие моральную часть его учения (Мф 5, 1—12).

С. 243. ...«питающемся акридами и медом». — Иоанн Креститель питался в пустыне съедобной саранчой (акридами) и диким медом (Мф 3, 4; Мк 1, 6).

...«скрытый от мудрых мира сего»... — Мф 11, 25 («Ты утаил сие от мудрых и разумных...»).

С. 244. ...притгу о десяти девах, ожидающих со светильниками жениха... — Мф 25, 1.

...притга о богатом и Лазаре... — Лк 16, 20—25.

...перед зеркалом в присутственном месте. — Зерцало — трехгранная призма с орлом наверху и с тремя указами Петра I (от 17 апреля 1722 г., 21 и 22 января 1724 г.) на гранях; до революции была непременной принадлежностью каждого присутственного места.

С. 245. ...«Он дал нам власть вязать и решать»... — Мф 18, 18 («что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе»).

Толстой ~ выпустил Евангелие со значительными пропусками... — Л. Н. Толстой. Соединение и перевод четырех Евангелий (1880—1881).

С. 246. «Дай вложить персты...» — Ин 20, 25.

«Икар ~ не приближайся к Солнцу»... — В греческой мифологии Икар на крыльях из перьев, скрепленных воском, поднялся слишком близко к солнцу, от лучей которого воск растаял, и Икар упал в море.

Соляной городок — см. коммент. к с. 227.

...монах, переведенный недавно в Петербург из Казани... — иеромонах Михаил (Семёнов), доцент Петербургской духовной семинарии; в 1903 г. возведен в сан архимандрита; основатель «голгофского христианства», был близок Розанову. З. Гиппиус вспоминает: «Выписан был на помощь (из Казани?) архимандрит Михаил, славившийся своей речистостью и знакомством со „светской“ философией. Но Михаил — о ужас! — после двух собраний явно перешел на сторону „интеллигенции“, и, вместо помощника, архиереи обрели в нем нового вопрошателя, а подчас обвинителя» (Гиппиус З. Живые лица. М., 2002. С. 126).

«Грешница» — поэма А. К. Толстого (1858).

«Вся Им быша и без Него никто же бысть»... — Ин 1, 3 («вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть»).

С. 247. *Колокольчики мои...* — одноименное стихотворение (1840-е) А. К. Толстого.

...«от Велиала». — Т. е. от демонического существа, духа небытия, лжи и разрушения, отождествляемого в христианстве с Сатаной (2 Кор 6, 14–15).

С. 248. ...согласимся с о. Михаилом, что «ни восторга, ни вдохновения» религии не нужно... — Доклад иеромонаха Михаила «О браке» (Записки Петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903 гг.). М., 2005. С. 215–221).

Шопот, робкое дыханье... — одноименное стихотворение (1850) А. А. Фета.

«Полный курс патрологии» — собрание трудов богословов и церковных писателей II–XV вв., подготовленное французским теологом Ж. П. Минем в двух сериях: латинская серия (1844–1856) в 220 томах, греческая серия (1857–1866) в 161 томе (греческие подлинники и латинские переводы).

С. 249. «Две системы отношений государства к церкви...» — речь о. Михаила перед защитой диссертации «Законодательство римско-византийских императоров о внешних правах и преимуществах церкви» в Казанской духовной семинарии (отдельный оттиск из журнала «Православный собеседник»: Казань, 1902).

...икола Юстиниана Великого ~ около Св. Софии... — При византийском императоре Юстиниане I преобладало светское начало в религиозных и церковных делах, что получило в истории название цезарепапизм. Юстиниан перестроил сгоревший собор Св. Софии, поражающий великолепием.

Церковь Влахерны — церковь, стоявшая у императорского дворца во Влахерне, предместье Константинополя. В честь явления в этом храме Богородицы установлен праздник Покрова.

Студийская (Студитская) обитель — обитель в Константинополе, получила название от своего основателя патриция и консула Студия, прибывшего из Рима в 459 г. в Константинополь. В VIII — начале IX в. был игумен Феодор Студит.

Пандекты — своды законов Древнего Рима.

С. 250. ...«отходили на страну далеге»... — Лк 15, 13.

...«не забывал убогих Своих до конца»... — Пс 9, 19 («Яко не до конца забвень будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца»).

...душа геловегеская ~ есть «христианка»... — На деле в своем трактате «О свидетельстве души» Тертуллиан писал: «...душа обыкновенно становится христианкой, а не рождается ею». Но в истории закрепилось в качестве крылатого выражение в той форме, в какой оно приведено у Розанова.

С. 251. ...М. А. Новосёлов, выразился... — Речь М. А. Новосёлова на XIII заседании РФС (Записки Петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903 гг.). М., 2005. С. 238).

С. 252. *И лобзания, и слезы...* — из упомянутого стихотворения А. А. Фета.

Домби-отец — имеется в виду герой романа Ч. Диккенса «Домби и сын» (1848).
 ...«прилепило бы мужа к жене»... — Быт 2, 24 («оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей»).

С. 253. ...*Филиппов, издатель «Научного Обозрения» ~ погиб, нагав производить опасные опыты...* — М. М. Филиппов занимался экспериментами по передаче энергии взрыва на расстояние, был убит при невыясненных обстоятельствах в Петербурге: 12 июня 1903 г. его нашли мертвым в своей домашней лаборатории. «Научное Обозрение» — ежемесячный журнал, издававшийся М. М. Филипповым в Петербурге в 1894—1903 гг.

...*мысли Бокля: «усовершенствование орудий войны сокращает войну».* — Розанов пересказывает письмо Филиппова, отправленное им за день до гибели, 11 июня, в «С.-Петербургские Ведомости»: «В ранней юности я прочел у Бокля, что изобретение пороха сделало войны менее кровопролитными. С тех пор меня преследовала мысль о возможности такого изобретения, которое сделало бы войны почти невозможными. Как это ни удивительно, но на днях мною сделано открытие, практическая разработка которого фактически упраздняет войну» (А. С—н [Столыпин А. А.]. Заметки // СПбВ. 1903. 15 июня. № 160. С. 2).

«*История цивилизации*» — книга английского историка Г. Т. Бокля «История цивилизации в Англии» (1857—1861), переведенная на русский язык в «Отечественных Записках» в 1861 г. (отд. изд.: СПб., 1863—1864). Розанов посвятил ей статью «Книга особенно замечательной судьбы» (РО. 1898. № 3—5), вошедшую в его книгу «Природа и история».

«*Никто не бывает пророком в отечестве*». — Мф 13, 57; Лк 4, 24; Ин 4, 44.

Свида (Суда) — крупнейший византийский энциклопедический словарь (2-я пол. X в.). Вплоть до XX в. слово Свида считали именем ее автора.

...«*стой, солнце, не движься, луна*». — Нав 10, 12.

«*Миссионерское Обозрение*» — см. коммент. к с. 228.

ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ЗОЛЯ

(с. 254)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 209. Л. 1—9. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1903. 15 авг. № 9858. С. 2.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 682—687).

Печатается по тексту первой публикации.

Французский писатель Эмиль Золя умер 29 сентября 1902 г. Об отношении Розанова к его творчеству см. в статье О. В. Кулешовой в «Розановской энциклопедии» (с. 409—410).

С. 255. ...*угорел и умер*... — Золя скончался в Париже от отравления угарным газом, по официальной версии — из-за неисправности дымохода в камине. Есть данные, что это было убийство (дымоход был намеренно заблокирован).

...*из ничтожности рождения и положения*... — Золя родился в семье инженера итальянского происхождения, принявшего французское гражданство.

...*программа экспериментального романа*. — Термин литературной теории Э. Золя, сформулированный в его сборнике статей «Экспериментальный роман» (1880).

...*Амьелем ~ только по смерти*. — «Задушевный дневник» швейцарского писателя А. Ф. Амиеля был издан посмертно в 1883 г.

- С. 256.** «Ашиб-Керим» — см. коммент. к с. 101.
 «Давид Копперфильд» — роман Ч. Диккенса (1850). См. статью Розанова о Диккенсе (НВ. 1908. 23 июля. № 11624; ОПП. С. 286—294).
- С. 257.** «Эгмонт» (1788), «Гёц фон-Берлихинген» («Гёц фон-Берлихинген с железной рукой», 1773) — исторические драмы И. В. Гёте.
 «Вертер» — роман Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774).
 «Манфред» — драматическая поэма Байрона (1817).
 «Чайльд-Гарольд» — поэма Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1812—1818).
- С. 258.** «Брюхо Парижа» («Чрево Парижа», 1873), «Лурд» (1894), «Рим» (1896), «Нана» (1880), «Плодородие» (1899) — романы Э. Золя.
 Олеография — вид цветного полиграфического воспроизведения картин, выполненных масляными красками, многокрасочная литография.
- С. 259.** «Париж будет назван некогда городом Гюго» — Гюго был скромным человеком и в день празднования в Париже его 80-летия сказал депутации муниципального совета: «Приветствую громадный Париж не от себя, потому что я — ничто, но от имени всего, что живет, мыслит и любит на земле» (Паевская А. Виктор Гюго. СПб., 1890. С. 93).

Ив. С. ТУРГЕНЕВ
(К 20-летию его смерти)
 (с. 259)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки под заглавием: «Один из последних рыцарей (К 80-летию смерти Тургенева)» и вырезки из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 200. Л. 1—9. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: НВ. 1903. 22 авг. № 9865. С. 2.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 138—145).

Печатается по тексту первой публикации.

Об отношении Розанова к творчеству И. С. Тургенева см. в статье С. Ф. Дмитренко в «Розановской энциклопедии» (с. 1019—1022).

С. 259. ...в «серебряном веке» нашей литературы, 40—50—60—70-х годов... — Различие Золотого (Пушкинского) века русской литературы и Серебряного произведено по аналогии с традиционной периодизацией римской классической поэзии, где Золотым веком принято называть вторую половину I в. до н. э., а Серебряным — конец I — начало II в. н. э. Первый назвал литературу первой трети XIX в. Золотым веком М. А. Антонович в статье «Литературный кризис» (1863).

С. 260. ...не расшибется этот Икар... — см. коммент. к с. 246.

С. 261—262. «О, лазурное царство!..» — И. С. Тургенев. Лазурное царство (из цикла «Стихотворения в прозе», 1878).

С. 263. Пигасов, Пандалевский — персонажи романа Тургенева «Рудин» (1856).

Сувенир — персонаж повести Тургенева «Степной король Лир» (1870).

...идеальнигающих «нахлебников»... — речь идет о комедии Тургенева «Нахлебник» (1848).

...«субботу покоя»... — отсылка к шаббату, установленному в память о седьмом дне творения (Быт 2: 2—3).

С. 264. Потугин — герой-резонер в романе Тургенева «Дым» (1867).

Лаврецкий — герой романа Тургенева «Дворянское гнездо» (1859).
Инсаров, Шубин — герои романа Тургенева «Накануне» (1860).
Лишний человек — из «Дневника лишнего человека» (1850) Тургенева.

**УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВОПРОС
 В ОСВЕЩЕНИИ Н. П. ГИЛЯРОВА-ПЛАТОНОВА**
Н. П. Гиляров-Платонов. Университетский вопрос
(«Современные Известия» 1868—1884 гг.).
 Издание К. П. Победоносцева, С.-Петербург. 1903
 (с. 265)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 37.

Впервые напечатано: *НВ*. 1903. 9 сент. № 9883. С. 2—3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 703—712).

Печатается по тексту первой публикации.

См. коммент. к статье «Н. П. Гиляров-Платонов. Сборник сочинений. Т. 1» (*НВип*. 1899. 9 июня. № 8361. С. 7—8; т. 1 настоящего ПСС. С. 961—962).

С. 265. «Современные Известия» — см. коммент. к с. 114.

...уже не занимал кафедры... — Н. П. Гиляров-Платонов по окончании Московской духовной академии, в ноябре в 1848 г., был утвержден бакалавром по новооткрытой кафедре библейской герменевтики и учения о вероисповеданиях, ересь и расколах, а с сентября 1854 г. по ноябрь 1855 г. служил преподавателем русской церковной археологии и истории раскола в России на Миссионерском отделении Академии. Был уволен из Академии митрополитом Филаретом (Дроздовым).

С. 266. *И Аксаков и Катков ~ коих нередко он бывал сотрудником...* — Гиляров-Платонов сотрудничал во всех газетах И. С. Аксакова («День», «Москва» и «Русь»), и одно время (1862—1863) заведовал редакцией журнала М. Н. Каткова «Русский Вестник».

...критике ~ Помяловского... — имеются в виду «Очерки бурсы» (1863) Н. Г. Помяловского.

...цензор... — Гиляров-Платонов с мая 1856 г. по август 1862 г. состоял цензором Московского цензурного комитета.

С. 267. *...«ленивы и нелюбопытны».* — А. С. Пушкин. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года. Гл. 2.

...по ланкастерскому способу... — речь идет о системе взаимного обучения — более старшими и знающими учениками учеников младшего возраста. Разработана в 1798 г. в Великобритании Дж. Ланкастером.

От ликующих, праздно болтающих... — Н. А. Некрасов. Рыцарь на час (1862).

С. 268. «Реформа ~ будет ли хороша или дурна...» — из передовой статьи Гилярова-Платонова в № 88 «Современных Известий» от 31 марта 1873 г.

Выписанные из-за моря учителя классических языков... — см. коммент. к с. 207.

С. 269. *...с проделками «Когана, Горвица и К°» в турецкую войну 1877 года...* — Военный министр Д. А. Милютин подписал контракт с товариществом «Коган, Грегер, Горвиц и К°» на снабжение питанием действующей армии, согласно которому Главная квартира сообщала товариществу местоположение воинских частей и маршруты их передвижений за неделю вперед. Возникла почва для злоупотреблений и хищничества.

С. 269. «*Какие анекдоты ~ по части знания классических языков...*» — из вышеупомянутой передовой статьи Гилярова-Платонова.

Кассандра — в греческой мифологии дочь царя Трои Приама, получившая пророческий дар от Аполлона, который затем сделал так, что ее вещие слова не стали принимать всерьез. Она убеждала троянцев не вводить в Трою деревянного коня (в которую скрывалась засада греков), но ее прорицаниям не поверили.

«*Смеем пригислить себя никак не к реалистам...*» — из передовой статьи Гилярова-Платонова в № 182 «Современных Известий» от 26 июля 1874 г.

«*У прародительницы образования, Греции...*» — из передовой статьи Гилярова-Платонова в № 309 «Современных Известий» от 23 апреля 1870 г.

...*реформа ~ проведена Толстым, Катковым и Леонтьевым...* — названы Д. А. Толстой, М. Н. Катков и П. М. Леонтьев.

С. 270. ...*к моменту министерства А. А. Сабурова.* — А. А. Сабуров был министром народного просвещения с апреля 1880 г. по март 1881 г.

...*письма в редакцию за подписью «Отец», за подписью «Студент».* — Опубликованы в составе передовой статьи Гилярова-Платонова в № 51 «Современных Известий» от 21 февраля 1881 г.

С. 271. ...*протесты московских студентов-медиков против знаменитого Захарьина.* — Бойкот со стороны студентов, возмущенных грубостью своего профессора, терапевта Г. А. Захарьина, который предпочитал лечить богатых за большие деньги, вынудил его подать в отставку в 1896 г.

...*К. П. Победоносцев, сам бывший профессором...* — К. П. Победоносцев в 1860 г. был избран профессором Московского университета по кафедре гражданского права, в 1862—1865 гг. преподавал в университете.

С. 273. ...«*мгла*» *неизвестного, над которой не носился Дух Божий.* — Евангельская ре-минисценция — Ин 1, 2 («тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою»).

С. А. АНДРЕЕВСКИЙ КАК КРИТИК

(с. 273)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 161. Л. 7; с деловыми записями: 1) о месте и времени публикации: «Новое Время», № 9901; 27 сентября 1903 г.; 2) 27. X. 1903; 3) № 114 (дважды подчеркнуто); 4) в конце вырезки простым карандашом на полях вертикальной линией выделена фраза со слов «Как весело там, где...»; на оборотной стороне вырезки дважды сделана надпись синим карандашом: «Андреевский».

Впервые напечатано: *НВ*. 1903. 27 сент. № 9901. С. 2.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 720—727).

Печатается по тексту первой публикации.

Писатель Сергей Аркадьевич *Андреевский* (1847—1918) во время заседаний РФС обычно зачитывал тексты выступлений Розанова. Как адвокат Андреевский отстаивал в Петербургской судебной палате права Розанова на выпуск книги «Русская церковь» (М., 1909). См. о Розанове и С. А. Андреевском статью А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 72—74).

С. 273. «*XII таблиц*» — законодательный кодекс, составленный в Риме в 450 г. до н. э. ...*его слово сказалоь о ~ д-ре Гаазе.* — Кони А. Ф. Федор Петрович Гааз: Биографический очерк. СПб., 1896.

С. 274. *Пандекты* — см. КОММЕНТ. к с. 249.

С. 275. *...от «Очерков» г. Андреевского, которые ~ были «Чтениями»...* — сборник статей С. А. Андреевского «Литературные очерки» первоначально вышел под названием «Литературные чтения» (СПб., 1891) и только в 3-м издании в 1902 г. под названием «Литературные очерки».

...посещая флюберовские «воскресенья»... — С 1870 г. Мопассан сблизился с Г. Флобером, стал его литературным учеником и посещал его «воскресенья».

Гёте ~ назвал Байрона ипохондриком. — И. П. Эккерман. Разговоры с Гёте. 1826. 8 ноября.

«О существовании Бога» — стихотворение французского поэта Альфреда де Мюссе (1829).

С. 276. «Ангел» — юношеское стихотворение М. Ю. Лермонтова (1831).

«Герой безвременья» — статья Н. К. Михайловского в «Русских Ведомостях» (1891. 15 июля, 8 и 27 авг., 1 окт.) о Лермонтове.

...к «религиозным исканиям» Левина... — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1877 год. Июль–август. Гл. 2–3.

С. 277. *...когда мне довелось беседовать с гр. Л. Н. Толстым...* — 6 марта 1903 г. Розанов с женой посетил Толстого в Ясной Поляне.

...Достоевский (одна поездка в Оптину)... — В июне 1878 г. вместе с Вл. Соловьёвым.

С. 278. «Три старца» — рассказ Л. Н. Толстого (1886) из цикла «народных рассказов».

О «ДВУХ ПУТЯХ» МИНСКОГО

(с. 279)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НП*. 1903. № 10. С. 263–274. Под шапкой: «16-е Религиозно-философское собрание».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 727–735).

Печатается по тексту первой публикации.

Минский (Виленкин) Николай Максимович (1855–1937) — писатель, участник РФС. См. статью о нем М. Б. Раренко в «Розановской энциклопедии» (с. 598–602).

С. 279. *...режь г. Минского...* — Двудеинство нравственного идеала // *НП*. 1903. № 4; О двух путях добра // Северные Цветы на 1903 г. М., 1903.

Иллюстрация его о герном цвете... — Розанов имеет в виду полемические слова в докладе Минского: «Если в живописи нужна белая краска, то черная должна быть навсегда изгнана с палитры <...> если, поехав вправо, мы объедем земной шар и вернемся к точке отправления, то, поехав влево, мы провалимся в тартарары» (Записки Петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903 гг.). М., 2005. С. 271).

«Запорожцы» — картина И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878–1891; Русский музей).

Терсит и Ахиллес — в греческой мифологии Терсит — безобразный незнатный воин во время Троянской войны, дерзкий и злобный. Ахиллес — один из храбрейших воинов, осаждавших Троию.

С. 280. «Песнь песней» — Книга Песни Песней Соломона в Библии.

Свидригайлов, Ставрогин — персонажи из романов Достоевского «Преступление и наказание» и «Бесы».

...сады Адониса... — В греческой мифологии божество, связанное с периодическим умиранием и возрождением природы. Весной и осенью женщины выставляли горшочки с распускающейся и затем увядающей зеленью, называемые «садики Адониса».

«Мистическая Роза» — выражение из статьи Н. Минского «О двух путях добра» (Северные Цветы на 1903 г. М., 1903; см.: В. В. Розанов: Pro et contra. СПб., 1995. Т. 1. С. 393).

С. 281. В. М. Скворцов борется с последователями Селиванова в «Миссионерском Обозрении»... — Чиновник Синода В. М. Скворцов постоянно выступал в редактируемом им журнале «Миссионерское Обозрение» против основателя скопческой секты Кондратия Селиванова и его последователей. О журнале см. коммент. к с. 228.

Законы о побииении камнями девушек... — Втор 22, 21 («Если не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти»).

«Богерет» — так в талмудической литературе называется девушка, которая достигла возраста двенадцати с половиной лет.

Анна, мать Самуила, в молитве к Богу... — Розанов далее вольно излагает первую главу Первой книги царств.

С. 282. О судьбе Повало-Швейковского... — На XIII заседании РФС была оглашена Записка Розанова, в которой он писал: «10 декабря 1827 г. обер-прокурор Мещерский сообщил Государю, что городской секретарь Повало-Швейковский испрашивает высочайшей милости — утвердить его брак с дочерью помещика Евфросиниею Ваулиною, так как Синод, расторгнув данный брак по причине родства незаконных супругов, поставил в самое несчастное положение пятерых детей, прижитых от неосмотрительно заключенного брака. Николай Павлович, под влиянием Мещерского, по-видимому, нашел возможным удовлетворить просьбу Повало-Швейковского и написал на обер-прокурорском докладе: „Брак расторгать, когда он дозволен был духовным начальством, я не признаю ни справедливым, ни удобным... Но по докладу митрополита Серафима Государь вынужден был взять назад свой добрый порыв, и брак был расторгнут» (Записки Петербургских Религиозно-философских собраний (1901—1903 гг.). М., 2005. С. 252).

«Будете яко божи». — Быт 3, 5.

Проф. Заозерский рассказывает в статье... — речь идет о статье профессора канонического права Московской духовной академии Н. И. Заозерского «На чем основывается церковная юриспруденция в брачных делах (По поводу современных пессимистических воззрений на семейную жизнь и обусловливаемых ими толков печати о браке и разводе)» (БВ. 1902. Май. С. 74—86).

С. 283. ...игрок на лютне при пожаре... — Реминисценция эпизода из правления Нерона. См. коммент. к с. 153.

...кто женится на разведенной — прелюбодействует. — Мф 5, 32.

...«по плоду узнается дерево». — Латинская пословица.

С. 284. ...«Да воскреснет Бог, и растогаются врази Его»... — Пс 67, 1.

«Кланяюсь св. Софье...» — Точнее: «Кланяюсь Св. Софии, гробу отца моего и вам! Хочу поискать Галича, а вас не забуду. Дай Бог лечь у гроба отца моего, у Св. Софии!» (Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Гл. 6) — слова князя Мстислава Удалого, который в 1216—1218 гг. управлял Новгородом, участвовал в походах южнорусских князей на половцев, а в 1219—1227 гг. правил в Галиче.

...по словам Порфирия Успенского ~ сосцом обнаженным... — см. коммент. к с. 230.

Так сказал митрополит Филипп Иоанну. — Митрополит Филипп (Колычёв) 22 марта 1568 г. в Успенском соборе Кремля обратился к царю Иоанну IV Грозному с речью об ответственности перед Богом за кровопролития и беззакония, после чего он был низложен, заточен и задушен Малютой Скуратовым по приказу царя. Причислен к лику святых в 1652 г.

С. 285. *Ектения* — в богослужении название последовательности молитвенных прошений.

«Православно-Русское Слово» — см. коммент. к с. 231.

С. 286. ...*поставить ногу семени жены на главу змея.* — Быт 3, 15; Лк 1, 49.

...*предбрачных обысков и оглашений...* — Обыск — свидетельство об отсутствии родства между вступающими в брак (записывалось в церковной книге). Оглашение — объявление имен вступающих в брак при венчании.

МОММЗЕН И РЕНАН

(с. 286)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *МИ*. 1903. № 13. Хроника. С. 133—139.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 783—791).

Печатается по тексту первой публикации.

Моммзен Теодор (1817—1903) — немецкий историк, филолог-классик и юрист, известный своей «Римской историей» (рус. пер. 1858—1861). См. о нем статью в «Розановской энциклопедии» (с. 610—612). Вяч. Иванов, в прошлом ученик Моммзена, в письме В. Я. Брюсову от 28 декабря 1903 г. отозвался: «Статью Розанова читал и нашел в ней обычно талантливые аргументы — только обижен за гениального старика, о котором он все-таки мало осведомлен» (*ЛН*. М., 1976. Т. 85. С. 442).

Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский историк филолог, религиозный публицист, прозаик, драматург. Розанов писал о Ренане в статье «Литературная личность Н. Н. Страхова» (см. по указателю т. 2 настоящего ПСС).

С. 286. ...*злен парижской Академии надписей...* — Моммзен с 1860 г. был членом-корреспондентом парижской Академии надписей и изящной словесности, основанной в 1663 г. Ж.-Б. Кольбером.

С. 287. ...*разгром своего отечества Пруссией.* — Речь идет о Датской войне 1864 г., в результате которой Дания потеряла Шлезвиг и Гольштейн. Моммзен родился в 1817 г. в г. Гардинг (Шлезвиг), принадлежавшем тогда Дании.

«*Римские исследования*» — труд (1864—1879) Моммзена.

...*и его два товарища.* — В результате государственного переворота 9 ноября 1799 г. (18 брюмера VIII года) власть во Франции перешла к трем консулам: Наполеону, Э.-Ж. Сийесу и Р. Дюко.

«*Записки о галльской войне*» — 7 книг римского полководца Гая Юлия Цезаря, описывающие события 58—52 гг. до н. э.

С. 288. «*Corpus inscriptionum latinarum*» («*Свод латинских надписей*») — наиболее полное и часто цитируемое издание 180 000 надписей, начавшее выходить в свет в 1853 г. Всего 17 томов и 13 дополнительных томов.

Анкирская надпись — открыта в 1555 г. в Анкире (ныне Анкара), содержит перечисленные деяния римского императора Октавиана Августа («*Деяния божественного Августа*»).

Вспомним, как Сулла назначил избиение... — После победы в 82 г. до н. э. над самнитам римский полководец Сулла приказал запереть тысячи пленных в цирке, где их убили. В это время Сулла созвал рядом заседание сената в храме Беллоны, богини войны. Плутарх рассказывает: «И в то самое время, когда Сулла начал говорить, потрясенные им люди принялись за избиение этих шести тысяч. Жертвы <...> подняли отчаянный крик. Сенаторы были потрясены, но уже державший речь Сулла, несколько не изменившись

в лице, сказал им, что требует внимания к своим словам, а то, что происходит снаружи, их не касается: там-де по его повелению вразумляют кое-кого из негодьяев» (Плутарх. Сулла. XXX).

«Культ Цибеллы» (Кибелы) — оргастический культ природы-матери, «великой матери богов». Введен в Риме в 204 г. до н. э. О нем рассказывает Овидий в «Фастах» (IV, 179—372) и Лукреций в поэме «О природе вещей» (II, 600—643).

Комниции — народные собрания в Древнем Риме.

С. 290. *...великого переворота, который при Константине Великом полужил штемпель...* — речь идет о принятии христианства как государственной религии, начатое Константином Великим в 312 г. с веротерпимости.

...покойного Андрея Бурлака ~ пошел в комедию... — Здесь, очевидно, ошибка метранпажа, и речь идет о комическом актере и писателе В. Н. Андрееве-Бурлаке, действительно внешне похожем на римского полководца Мария. В 1880 г. в Москве по инициативе Андреева-Бурлака был основан драматический Пушкинский театр. Розанов мог посещать постановки с его участием.

С. 291. «Иверская Божия Матерь» — икона, оригинал которой находится в Иверском монастыре в Афоне; согласно преданию, он написан евангелистом Лукой. В 1669 г. копию из Афона поместили при Воскресенских воротах Китай-города. После 1812 г. часовня с иконой восстановлена как памятник победы над Наполеоном. В 1919 г. Иверскую часовню разобрали, в 1931 г. снесли Воскресенские ворота. В 1994—1995 гг. часовня и ворота восстановлены.

...после войны с Антиохом III... — подразумевается победоносная для Рима Сирийская война (192—188 до н. э.), которую он вел с государством Селевкидов (Сирийским царством) за восстановление своего влияния в Восточном Средиземноморье.

С. 292. *Рископорид* (Рискупорид) — имя боспорских царей I—IV вв. до н. э.

...волчица на Капитолии... — эмблема Рима. Статуя волчицы, спасшей, согласно легенде, основателей Рима близнецов Ромула и Рема, создана неизвестным этрусским мастером в V в. до н. э.

...говорит природа у Тургенева... — Розанов неточно цитирует рассказ И. С. Тургенева «Природа» (1879) из цикла «Стихотворения в прозе» («Я думаю о том, как бы придать большую силу мышцам ног блохи, чтобы ей удобнее было спастись от врагов своих»).

С. 293. *...наугную экспедицию в Финикию...* — В 1860 г. Ж. Э. Ренан возглавил экспедицию, снаряженную для археологического исследования древней Финикии и продолжавшуюся около года.

«Жизнь Иисуса» (1863) — первая книга «Истории происхождения христианства» (рус. пер. 1908—1912) Ренана.

МОСКОВСКИЕ ИДЕАЛИСТЫ

Проблемы идеализма

Сборник статей С. Н. Булгакова, кн. Е. Н. Трубецкого, Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, С. А. Аскольдова, кн. С. Н. Трубецкого, П. И. Новгородцева, Б. А. Кистяковского, А. С. Лаппо-Данилевского, С. Ф. Ольденбурга, Д. Е. Жуковского. — Под редакцией П. И. Новгородцева. — Издание Московского психологического общества. — Москва, 1903 г. (с. 294)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 11—13. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1903. 11 дек. № 9976. С. 2–3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 795–803).

Печатается по тексту первой публикации.

Московское психологическое общество при Московском университете было создано в 1885 г. по инициативе профессора М. М. Троицкого. С 1887 г. председателем стал Н. Я. Грот, с 1899 г. — Л. М. Лопатин. Закрыто в 1922 г.

С. 294. *...философия ~ «элейская»...* — древнегреческая философская школа конца VI — начала V в. в Элее на юге Италии (Ксенофан, Парменид, Зенон Элейский).

...«шотландская философия»... — имеется в виду Шотландская школа здравого смысла, философская школа в Шотландии в конце XVIII — начале XIX в. (основатель Т. Рид).

С. 296. *Обжорный ряд* — см. коммент. к с. 214.

Памятник Минину и Пожарскому — скульптурная группа из бронзы работы И. П. Мартоса. Открыт 4 марта 1818 г. против Верхних торговых рядов (ныне ГУМ). В 1931 г. перенесен к собору Василия Блаженного.

...«всадник без головы»... — имеется в виду авантюрно-детективный роман английского писателя Томаса Майн Рида «Всадник без головы» (1866; рус. пер. 1868).

С. 297. *...избрать в поетные глены «Психологического общества» гр. Л. Н. Толстого.* — Л. Н. Толстой был членом Психологического общества с октября 1885 г. и прочитал 14 марта 1887 г. на закрытом заседании доклад «О понятии жизни». С мая 1894 г. он стал почетным членом Общества.

«К вопросу о реформе логики» — Книга Н. Я. Грота первоначально вышла в 1882 г. в Нежине под названием «К вопросу о реформе логики: Опыт новой теории умственных процессов». В 1883 г. переиздана в Лейпциге без подзаголовка.

С. 298. *...погтенного его отца...* — речь идет о филологе академике Я. К. Гроде.

«Вопросы Философии и Психологии» — орган Московского психологического общества, выходил с 1889 г. по апрель 1918 г. Первым редактором был Н. Я. Грот, затем В. П. Преображенский, С. Н. Трубецкой, Л. М. Лопатин.

Я ничего не знаю! — афоризм «Я знаю только то, что ничего не знаю», который любил повторять греческий философ Сократ. Ср. в Новом Завете: «Кто думает, что он знает что-нибудь, то ничего еще не знает так, как должно знать» (1 Кор 8, 2).

С. 299. *...статью Преображенского о философии Нитцше...* — «Фридрих Ницше: Критика морального альтруизма» // ВФП. 1892. Кн. 15. С. 115–160.

...трудов по истории греческой метафизики... — Трубецкой С. Н. *Метафизика в древней Греции*. М., 1890.

...работе о бл. Августине. — Трубецкой Е. Н. *Мирозерцание Блаженного Августина*. М., 1892 (магистерская диссертация).

ТЕНОР ЖУРНАЛИСТИКИ

(с. 301)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты «Слово» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 151. Л. 61.

Впервые напечатано: *Слово*. 1903. 18 дек. № 284. С. 1–2. Подпись: *Баритон*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 26 (с. 806–807).

Печатается по тексту первой публикации.

Статья подписана псевдонимом, поскольку направлена против одного из коллег Розанова по «Новому Времени» М. О. Меньшикова. Смысл псевдонима в том, что если

Меньшиков назван «тенором» журналистики, то сам Розанов, подчеркивая профессиональную близость, называет себя «баритоном».

С. 301. «В лесах» — роман (1871—1874) П. И. Мельникова-Печерского, произведший на Розанова в студенческие годы «чрезвычайное впечатление», несмотря на скромные литературные достоинства. Подробнее об этом Розанов написал в статье «Некрасов в годы нашего ученичества» (РС. 1908. 10 и 15 янв.). Имеются в виду слова Василия Борисыча: «Ох!.. Искушение!..» (III, 1).

Крегинский — герой комедии А. В. Сухова-Кобылина «Свадьба Крегинского» (1852—1854; постановка 1855).

С. 302. ...«Письмах к глуповатым людям»... — имеется в виду серия статей «Письма к ближним» М. О. Меньшикова в «Новом Времени». См. коммент. к с. 218.

...*Михайловский ~ делает истинную вивисекцию...* — Н. К. Михайловский в ежемесячном разделе «Литература и жизнь» (1893—1903) в журнале «Русское Богатство» вел постоянную полемику с М. О. Меньшиковым. В частности, Розанов говорит о статье Михайловского «О г. Меньшикове» (Русское Богатство. 1903. № 11. Отд. 2. С. 88—95).

Вильгельм германский после операции. — Германский император Вильгельм II из-за врожденной кривошеи в течение нескольких лет носил машинку для поддержания головы, пока ему не сделали операцию, исправившую этот недостаток.

1904

ПЕЧАТАНИЕ СИТЦЕВ

(с. 303)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: Летописец. 1904. № 1/2. Январь — февраль. С. 5—7.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 269—270).

Печатается по тексту первой публикации.

Летописец — общественно-политический ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге в 1904 г. (последние номера увидели свет с опозданием, в 1905 г.); издатель-редактор И. Ф. Романов (Рцы).

С. 304. «...охладеет в людях любовь»... — Мф 24, 12.

ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ

(с. 304)

Автограф неизвестен.

Сохранились вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 34.

Впервые напечатано: *НВ*. 1904. 5 янв. № 9999. С. 3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 271—274).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 304. «Петр и Алексей» — роман Д. С. Мережковского, печатался в «Новом Пути» в 1904 г. с № 1 по № 12 (с перерывом в № 6—8).

С. 305. *Малкофея* — сказочная птица.

С. 306. «*Решилась ~ Россия*» — Л. Н. Толстой. Война и мир. 3, 2, IV. Далее Розанов излагает свое впечатление от сцены в Смоленске.

С. 307. «*тугегонитель*» — Гомер. Илиада. I, 511.

...«лик» его, хотя бы и страшный... — отсылка к поэме Пушкина «Полтава» (1828): «Выходит Петр. Его глаза / Сияют. Лик его ужасен» (песнь 3).

С. 308. ...*Муций или Сцевола*... — имеется в виду римский юноша Гай Муций Сцевола, по легенде отдавший правую руку за свободу Рима.

АМЕРИКАНИЗМ И АМЕРИКАНЦЫ

(с. 308)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки статьи журнала *НП* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 148. Л. 25—26; название статьи зачеркнуто, перед текстом дата: «1904». Гранки правлены черными чернилами. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НП*. 1904. № 2. С. 265—269.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 164—166).

Печатается по тексту первой публикации.

Война северных штатов с рабовладельческими южными — Гражданская война в США 1861—1865 гг.

С. 308. «*Сельское кладбище*» — элегия В. А. Жуковского, опубликована в «Вестнике Европы» (1802. № 24. Декабрь. С. 319—325) и является переводом «Элегии, написанной на сельском кладбище» английского поэта Томаса Грея (1750).

...*Байрон пел Чайльд-Гарольда*... — см. коммент. к с. 257.

«*Эрнани*» — романтическая драма (1830) В. Гюго, постановка которой стала триумфом романтизма (рус. пер. 1830)

«*Шотландская философия*» — см. коммент. к с. 294.

С. 309. ...*спор между сапогом и Пушкиным*... — имеются в виду антипушкинские статьи Д. И. Писарева «Пушкин и Белинский» («Евгений Онегин» и «Лирика Пушкина») (*Русское Слово*. 1865. № 4, 6).

Палатинский холм — место, где возник древний Рим. Название связано с именем богини Палес, охранительницы скота. Холм первоначально служил выгоном для скота.

С. 310. ...*американцы в борьбе с Испанией*... — Испанско-американская война 1898 г. ...*японцы ~ в расправе ~ с Китаем*. — Имеется в виду Японско-китайская война 1894—1895 гг.

НАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ И НАЦИИ ПОЭТИЧЕСКИЕ

(с. 310)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1904. 16 февр. № 10040. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 286—288).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 310. В *озерках Японии и японской жизни*... — Польский этнограф и писатель Вацлав Серошевский в 1902—1903 гг. участвовал в экспедиции Русского географического

общества по изучению Дальнего Востока и печатал в 1904 г. в «Русских Ведомостях» очерки о Корее и Японии под названием «Ключ Дальнего Востока».

С. 311. «Срединное царство» — старинное название Китая.

...об Икаре, который захотел крыльев... — см. коммент. к с. 246.

...грегеским философом, который бросился в вулкан... — подразумевается Эмпедокл, бросившийся в жерло вулкана Этна.

...в завещании его слова о жене... — В завещании У. Шекспира, подписанном 25 марта 1616 г., за месяц до смерти, главной наследницей назначена старшая дочь Сьюзен; жене же он оставил «вторую по качеству кровать». Однако следует учитывать, что по законодательству того времени, как выяснили исследователи, треть наследства супруга и без завещания отдавалась супруге.

Восстание тайпингов (1850—1864) — крестьянская война в Китае (Тайпинское восстание).

С. 312. *Гарун-аль-Рашид* — арабский халиф из династии Аббасидов, идеализирован в сказках «Тысяча и одна ночь».

...погубило русских на Калке, на Сити — поражение русских от татар в 1223 г. на реке Калке, впадающей в Азовское море, и в 1236 г. на реке Сить, впадающей в верховья Волги.

ФЕВРАЛЬСКИЕ ПОТЕРИ

(с. 313)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 24—29 и 30. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1904. 3 марта. № 10056. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 300—307).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 313. *...азиатской войною...* — Русско-японская война, начавшаяся 27 января 1904 г.

С. 314. *Вместе с В. И. Герье...* — Назван историк, учитель Розанова в Московском университете, о котором он неоднократно писал. Его книга «Идея народовластия и Французская революция 1789 г.» вышла в 1904 г. в Москве.

«О народном представительстве» (1866) — книга философа Б. Н. Чичерина, защищенная в 1866 г. в качестве докторской диссертации.

Как уст румяных без улыбки... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. III, 28.

С. 315. *...из Тамбовской губернии...* — Б. Н. Чичерин и родился, и умер в родовом имении Караул Тамбовской губернии.

...зрелище министра преемственно двух министерств. — П. С. Ванновский с мая 1881 г. по январь 1898 г. возглавлял Военное министерство, а в марте 1901 г. был назначен министром народного просвещения и уволен в апреле 1902 г.

С. 317. *...толстовского «неделания»...* — Л. Н. Толстой. Неделание (1893).

«Дневники» Мещерского — печатались в газете-журнале В. П. Мещерского «Гражданин» с 1877 г. (отд. изд.: СПб., 1883—1901).

С. 318. *Митрофанушка* (Митрофан) — избалованный лентяй в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781).

С. 319. «Волялюк» — см. коммент. к с. 239.

СУДЬБА РУССКОГО УЧЕНОГО

(с. 319)

Автограф неизвестен.

Сохранилась газетная вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 5 и гранки (л. 6—11) под названием «Злая татарщина». См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1904. 14 апр. № 10098. С. 4. Перепечатано в кн.: Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей, учеников, друзей и читателей. СПб., 1911. С. 386—394.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 320—326).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 319. *...биография его, написанная В. И. Шенроком...* — Шенрок издавал и изучал Н. В. Гоголя. Написал биографический очерк русского философа Н. Я. Грота в книге: *Грот Н. Я. Философия и ее общие задачи: Сборник статей / Под ред. Московского психологического общества*. СПб., 1904. С. IX—LXVI.

С. 320. *Молгалин, Софья* — персонажи комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1822—1824).

«*Стонет сизый голубогек*» (1792) — песня И. И. Дмитриева, упоминаемая Пушкиным в «Домике в Коломне» (XIV) и в «Очерках бирсы» Н. Г. Помяловского (гл. «Зимний вечер в бирсе»).

...«*субъективному моменту*» в социологии. — Н. К. Михайловский, наряду с П. Л. Лавровым, основал так называемую «субъективную школу в социологии».

С. 321. *Пестум* — греческий городок Посейдония в Италии, переименованный латинянами в Пестум (вблизи Салерно). Своему пребыванию в нем весной 1901 г. Розанов посвятил главу в книге «Итальянские впечатления».

«*Позитивная философия и сверхчувственное бытие*» — труд религиозного писателя архиепископа Никанора (Бровковича) (СПб., 1875—1888. Т. 1—3). Название одной из глав в книге Розанова «Итальянские впечатления» (СПб., 1909).

Поприщин — главный герой повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1833).

«*Злая татарщина*» — редакция не позволила Розанову поставить эти слова в заглавие статьи.

С. 323. *Законы ~ Фехлера...* — речь идет о немецком психологе Г. Т. Фехнере.

С. 324. *Во всех ты, Душенька ~ нарядах хороша!* — И. Ф. Богданович. Душенька (1775). II.

ОДИН ИЗ ДОБРЫХ НАШИХ НАСТАВНИКОВ

(с. 324)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 209. Л. 1—17. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1904. 5 мая. № 10119. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 343—349).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 324. *Недавно умерший Самуил Смайльс...* — 16 апреля 1904 г.; Розанов упоминает его книги по вопросам этики: «Самодетельность» (1858, переведена на 17 языков) и «Характер» (1871).

С. 325. *...впервые появившийся «Робинзон Крузо».* — Роман Д. Дефо (1719) впервые появился в русском переводе под названием: «Жизнь и приключения Робинзона Круза природного агличанина» (СПб., 1762—1764. Ч. 1—2).

...«проклята земля из-за тебя», «в поте труда...» — Быт 3, 17—19.

«История Греции» (1846—1856. Т. 1—8) — книга английского банкира Дж. Грота.

С. 326. *...при чтении жизнеописания Палисси...* — речь идет о 3-й главе книги С. Смайльса «Самодетельность» («Self-help»). Эта книга выходила в России также под названиями «Саморазвитие умственное, нравственное и практическое», «Самопомощь», «Самостоятельная деятельность».

У нас их нагал писать гр. Л. Н. Толстой... — имеются в виду книги Толстого для народного чтения: «Азбука» (1872), «Новая азбука» (1875) и четыре «Русские книги для чтения» (1875).

«Казенка» — водка в дореволюционной России в государственных винных лавках для монопольной продажи водки.

«Русская армия спасения на русский лад» — статья Розанова называется «„Армия спасения“ на русский лад» (НВ. 1903. 5 нояб. № 9940).

...о священнике Новгородской губернии... — вероятно, речь идет об А. П. Устьинском.

...улыбкой римского авгура. — Имеется в виду знаменитое место из трактата Цицерона «О дивинации» (44 г. до н. э.): «Хорошо известны давние слова Катона, который говорил, что удивляется, как может удерживаться от смеха один гаруспик, когда смотрит на другого» (II, 24; пер. с лат. М. И. Рижского). То есть у Катона речь шла о лицемерных гаруспиках, гадателях по внутренностям птиц, а не об авгурах, гадателях по полету и крику птиц. Однако именно о смеющихся авгурах упоминал Пушкин в черновых строфах к «Путешествию Онегина» («Взглянув друг на друга, потом, / Как цицероновы авгуры, / Мы рассмеялись тишком») и Лермонтов в «Княжне Мери» («Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать...»).

С. 327. *«О происхождении религии»* — имеется в виду «Философия религии» (СПб., [1903]; пер. В. А. Базарова и И. И. Степанова) датского философа Гаральда Геффдинга.

...молодой Куролесов... — подразумевается «Второй отрывок из „Семейной хроники“: Михайла Максимович Куролесов».

С. 329. *Крегинский* — см. коммент. к с. 301.

С. 330. *Сigare* — яд из Южной Америки.

«Долгий парламент» (1640—1653) — во время Английской революции вел борьбу с абсолютизмом.

...«дней Александровых прекрасное нагало»... — А. С. Пушкин. Послание цензору (1822).

ПОМИНКИ ПО СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ И СЛАВЯНОФИЛАХ

(с. 330)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 4а, 5 — 11.

Впервые напечатано: НВ. 1904. 21 мая. № 10135. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 447—454).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 330. *...мы недавно погтели регами и статьяями...* — Розанов опубликовал статью «Памяти А. С. Хомякова» (НП. 1904. № 6. С. 1—16; вошла в книгу Розанова «Около цер-

ковных стен») См. также: *Бартенев П. А. С. Хомяков* (Русский Архив. 1904. № 3), *Васильев А. Призвание России по А. С. Хомякову* (РВ. 1904. № 4), *Соколов Н. М. А. С. Хомяков как мыслитель* (РВ. 1904. № 6) и др.

...*оспаривал исторические мысли Т. Н. Грановского...* — имеются в виду статьи А. С. Хомякова «Возражение на статью г. Грановского» (Московский Городской Листок. 1847. 22 апр. № 86) и «Ответ на ответ г. Грановского» (Там же. 6 мая. № 97).

...*способ утилизации снега...* — Хомяков А. Опыт улучшения зимних дорог укатыванием // МВ. 1847. 25 окт. № 127.

...*«верно действующее» средство от холеры.* — Розанов имеет в виду слова Хомякова в его письме к А. В. Веневитинову (1852): «Лечивши более трех сот человек в полной холере с корчами, я не видал почти ни одного смертного случая. Лекарство мое — полрюмки (десертной или ликерной) чистого дегтя и столько же конопляного масла. Это останавливает холеру почти мгновенно и производит сильный пот. <...> При этих средствах я считаю холеру едва ли опаснее насморка» (Хомяков А. С. ПСС. М., 1900. Т. 8. С. 83).

...*«смирись, гордый человек!»* — Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1984. Т. 26. С. 139.

С. 331. «Куда ни глянем — все от него имеет начало»... — Источник не установлен. Сходные суждения находим, например, в «Слове на похвалу блаженных и вечнодостойных памяти Петра Великого...» (1725) архиепископа Феофана (Прокоповича) и «Слове похвальном блаженных и вечнодостойных памяти Государю Императору Петру Великому...» (1754) М. В. Ломоносова.

С. 332. ...*«Россия», 1854 года ~ напечатано только потом...* — А. С. Хомяков. России («Тебя призвал на брань святую...»). Впервые опубликовано: Русская Беседа. 1860. Кн. 2. Прил. С. 15.

«*Россиада*» — поэма М. М. Хераскова «Россиада» (1779).

...*«незримые слезы»...* — Н. В. Гоголь Мертвые души. I, 7 («видимый миру смех и незримые, неведомые слезы»).

С. 333. *Царевкокшайск* — уездный город Казанской губернии, ныне Йошкар-Ола (Мари-Эл).

«*Внимая ужасам войны*» — стихотворение Н. А. Некрасова, опубликованное в 1856 г.

...*сотрудника «Моск. Вед.» г. Басаргина.* — Имеется в виду статья А. Басаргина (А. И. Введенский) «Великий наставник земли родной»: (К столетию со дня рождения Алексея Степановича Хомякова (1804 г. — 1 мая — 1904 г.)) под рубрикой «Критические заметки» (МВ. 1904. 1, 8 мая. № 119, 126). Розанов употребляет множественное число («ряд статей»), поскольку публикация состояла из двух частей.

С. 334. *Filioque* — и сына (лат.). Догмат католической церкви, признающей, в отличие от православной церкви, исхождение Св. Духа не только от Бога-Отца, но и от Сына.

Клермонский собор — церковный собор, созванный римским папой 18 ноября 1095 г., после которого папа провозгласил призыв к освобождению Иерусалима от мусульман (1-й крестовый поход).

...*Флорентийский, Базельский, Констанцский, Вормский...* — Перечислены соборы, признаваемые Вселенскими только Католической церковью. Они проходили, соответственно, в 1438–1445 г. (Ферраро-Флорентийский, решавший вопросы унии), 1414–1418 г. (Констанцский, провозгласивший примат вселенского собора над папой), 1431–1449 г. (Базельский, введший частичные реформы) и 1123 г. (I Латеранский, утвердивший Вормский конкордат между папой и германским императором).

С. 335. «*Наша такая земля, которая никогда не пристрастится...*» — А. С. Хомяков. О юридических вопросах (1857). См.: Хомяков А. С. ПСС. 4-е изд. М., 1914. Т. 3. С. 334–335.

...*в минувшую турецкую...* — Русско-турецкую войну 1877–1878 гг.

«*На Шипке все спокойно*» — см. коммент. к с. 192.

...«плачи Иеремии»... — Одна из книг Библии «Плач Иеремии».

Пастеровская прививка — вакцинация против бешенства, разработанная в 1885 г. французским ученым Л. Пастёром.

Конка — см. коммент. к с. 93.

С. 335–336. *По пригинам органигеским...* — Б. Н. Алмазов. Диссонансы (1863).

С. 336. ...«Вексельного устава»... — Первый российский Вексельный устав был принят в 1729 г., а в 1832 г. — новый Устав векселей. Очередной вексельный устав был утвержден 27 мая 1902 г. и просуществовал до 1917 г.

В ЧАЯНИЯХ «ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ»

(с. 337)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: НП. 1904. № 6. С. 247–262.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 351–362).

Печатается по тексту первой публикации.

Эпиграф — Ин 5, 4; ср.: «Слово о расслабленном» Кирилла Туровского (XII в.).

С. 337. ...«движение воды» — Ин 5, 3.

...Но всякий раз, как ангел возмутит воду... — Ин 5, 7.

...«птицы, расклевывающие по дороге». — Притча о сеятеле (Мф 13, 3–23; Лк 8, 5–15).

...*статьи о германском богословии — высокообразованного псаломщика при берлинской церкви...* — речь идет о серии статей не псаломщика, а диакона посольской церкви в Берлине: Сахаров Н., *диакон*. Очерки религиозной жизни в Германии // БВ. 1903. Июль–август. С. 613–632; Сентябрь. С. 127–150; Декабрь. С. 717–739; 1904. Март. С. 546–565.

«Идея Царства Божия в ее значении для христианского мирозерцания» — работа П. Я. Светлова имела подзаголовок: (Богословско-апологетическое исследование) и печаталась в «Богословском Вестнике» с мая 1902 г. по май 1904 г.

С. 338. *Старокатолицизм* — группа западных национальных церквей, возникших в 1870-е гг. вследствие неприятия частью духовенства и мирян католической церкви догматов о непогрешимости папы римского и непорочном зачатии Пресвятой Богородицы.

...Из «странной рецензии» проф. А. Гусева... — Ошибочно указан 1904 год. Речь идет о статье А. Ф. Гусева, в которой он полемизировал с иеромонахом Михаилом (Семёновым), опубликовавшим в «Миссионерском Обозрении» (1903. № 2. Январь. С. 232–237) отзыв о его книге «О сущности религиозно-нравственного учения Л. Н. Толстого» (2-е изд. Казань, 1902). См.: Гусев А., проф. Странная рецензия на сочинение: «О сущности религиозно-нравственного учения Л. Н. Толстого» (Миссионерское Обозрение. 1903. № 7. Апрель. С. 1045–1062).

С. 339. *Сказанное Соловьёвым по слугаю смерти ~ (проф. В. В. Болотова)* — Памяти этого церковного историка посвящена статья В. С. Соловьёва «Василий Васильевич Болотов» в «Вестнике Европы» (1900. № 7).

С. 340. ...*вышли почти все восемь томов трудов Вл. Соловьёва...* — СПб., 1901–1903. В 1907 г. издан 9-й том. См. также коммент. к с. 60.

«Похвала глупости» (1509) — философская сатира Эразма Роттердамского.

Урбаны — было восемь римских пап с таким именем (III–XVII вв.).

«Православно-Русское Слово» — см. коммент. к с. 231.

С. 341. «Православный Путеводитель» — журнал, выходивший в Петербурге в 1903–1907 гг.

...«ее святое назначение наш гений из пелен принять...» — Н. Ф. Щербина. Женщине (1848) («Твое святое назначение <...> отчизне граждан воспитать»).

«Сколько горьких слез украдкой» — М. Ю. Лермонтов. Казачья колыбельная песня (1840).

«Одне я в міре подсмотрел...» — Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны...» (1856).

«„Стара“ мать Остапа и Андрея...» — Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (1835). I.

С. 342. «Душеполезное чтение» — журнал, выходивший в Петербурге в 1860—1917 гг. ...в пяти заседаниях «Религиозно-философских собраний»... — Заседания с XII по XVI РФС были посвящены обсуждению доклада иеромонаха Михаила «О браке». На XIII заседании была зачитана записка Розанова «По поводу доклада о. Михаила о браке», на XIV заседании — записка Розанова «О некоторых подробностях церковного воззрения на брак», на XV заседании — его речь об отношении священников к браку, на XVI заседании — его же записка «О „двух путях“ Минского».

С. 344. «Священная летопись...» — Властов Г. К. Священная летопись первых времен міра и человечества как путеводная нить при научных изысканиях. СПб., 1876—1893. Т. 1—6.

С. 345. ...г. Стародума ~ за статьи об «Юдаизме»... — Критике статьи Розанова «Юдаизм» (НП. 1903. № 7—12) посвящены два «Журнальных обозрения» Н. Я. Стародума (Стечкина) в октябрьском и ноябрьском номерах «Русского Вестника» за 1902 г.

...держал он стремя у Комарова... — Т. е. Н. Я. Стечкин был сотрудником журнала «Русский Вестник», который в 1902—1906 гг. издавал В. В. Комаров.

С. 346. ...«и я увидел Престол...» — Откр 4, 6—7.

...«вечерний звон»... — отсылка к одноименному стихотворению И. И. Козлова (1827) — вольному переводу стихотворения Т. Мура «Вечерние колокола» (1818).

С. 347. ...«в Господе Иисусе несть ни раб, ни свобода»... — Гал 3, 28.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

<Л. Андреев>

(с. 347)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 167. Л. 2.

Впервые напечатано: *НВ*. 1904. 2 июня. № 10147. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 454—461).

Печатается по тексту первой публикации.

Повесть Л. Н. Андреева «Жизнь Василия Фивейского» открывает первую книгу «Сборника товарищества „Знание“ за 1903 год» (СПб., 1904). См. статью о Л. Андрееве в «Розановской энциклопедии» (с. 68—70).

С. 347. ...истории Иова... — см. «Книгу Иова» в Библии.

С. 352. «Я свет міру. Сказав это...» — Ин 9, 5—7.

...«если горам скажете: двиньтесь — они двинутся». — Ср.: Мф 17, 20 («...если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „перейди отсюда туда“, и она перейдет...»).

У Достоевского, в его знаменитых «надрывах» в «Братьях Карамазовых»... — См.: Ч. 2. Кн. IV: Надрывы. Гл. V: Надрыв в гостиной; Гл. VI: Надрыв в избе; Гл. VII: И на чистом воздухе.

С. 353. ...с Акакием Акакиевичем, Макаром Девушкиным... — Герои повести Н. В. Гоголя «Шинель» (1842) и романа Ф. М. Достоевского «Бедные люди» (1845).

С. 354. ...слугай, где дифтерит, осложненный скарлатиной, выполол половину многочисленной семьи... — подразумевается трагедия семейства И. Ф. Романова-Рцы, у которого от этих болезней в 1896 г. в течение месяца умерли три сына.

Голодная степь — глинисто-солончаковая пустыня в Средней Азии на левобережье Сырдарьи, по выходе ее из Ферганской долины.

НОВОЕ ИЗ ПРОШЛОГО гр. Л. Н. ТОЛСТОГО

(с. 354)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки газетного текста *НВ* с подписью: *W. W.* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 103–105 (третья часть статьи, начиная со слов: «Кончим интересные сообщения графини Ал. Андр. Толстой...»).

Впервые напечатано: *НВ*. 1904. 3 июня. № 10148. С. 5; 4 июня. № 10149. С. 3. Подпись: *W. W.* (первая и вторая части статьи).

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 362–366; первая часть статьи, опубликованная 3 июня 1904 г.).

Печатается по тексту первой публикации (вторая часть статьи за 4 июня впервые после газетной публикации). Третья часть статьи впервые по гранкам.

С. 354. ...в статье своей — Захарьин (Якунин) Ив. Графиня Александра Андреевна Толстая // Вестник Европы. 1904. № 6. С. 441–465.

С. 355. ...принц Александр Гессенский с супругой. — Александр Гессен-Дармштадтский и графиня Юлия Баттенбергская (ур. фон Гауке), состоявшие в морганатическом браке.

...в свое время ~ опубликует этот ценный материал. — Переписка Л. Н. Толстого и А. А. Толстой была впервые издана (с купюрами) в 1911 г. Обществом Толстовского музея. В 2011 г. увидело свет издание переписки в академической серии «Литературные памятники».

«Декабристы» — незавершенный роман Л. Н. Толстого, над которым писатель работал в 1860–1863 и 1878–1879 гг.

...экспедиции в Хиву... — Хивинские походы 1839–1840 гг. во главе с генерал-адъютантом В. А. Перовским с целью покорения Хивинского ханства окончились неудачей.

С. 356. «Очень, очень вам благодарен...» — Письмо Л. Н. Толстого к тетке А. А. Толстой от 27 января 1878 г. из Ясной Поляны.

С. 357. «Бабушка! Весна...» — Письмо Л. Н. Толстого к А. А. Толстой от 13 апреля 1858 г. из Ясной Поляны.

С. 358. «Очень-очень благодарю...» — В письме к А. А. Толстой (конец января — начало февраля 1873 г.) речь шла о том, что Толстой в декабре 1872 г. просил ее помочь его знакомому, тульскому помещику А. Н. Бибикову и его братьям по узаконению их положения, поскольку их отец официально женился на их матери уже после рождения старших сыновей.

...«в двуперстии». — Старообрядцы остались верны двуперстию, замененному церковной реформой патриарха Никона на троеперстие.

Басаргин — см. коммент. к с. 229.

«Я не отвечал вам долго...» — имеется в виду письмо Толстого от 25 марта 1879 г.

...четвертый — умер в заточении... — Алимпий, старообрядческий епископ Тульчинский, скончавшийся в Спасо-Евфимиевом монастыре в 1859 г.

...Конон, Геннадий, Аркадий. — Старообрядческие архиереи, заточенные в суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре. Хлопоты А. А. Толстой об их освобождении не имели успеха. В 1881 г. тульский вице-губернатор Л. Д. Урусов, к которому обратился Толстой, через министра внутренних дел Н. П. Игнатьева добился их освобождения.

С. 359. *Как полугитъ это разрешение?* — А. А. Толстая посоветовала обратиться к товарищу министра иностранных дел Н. К. Гирсу. Толстой получил разрешение ознакомиться с секретными материалами в архиве Министерства иностранных дел, относящихся ко временам Петра Великого и Анны Иоанновны.

Соня — С. А. Толстая (ур. Берс).

К декадентам ~ в цитатах Буренина. — Критик В. П. Буренин в статьях в «Новом Времени» высмеивал поэтов-символистов (В. Я. Брюсова, А. А. Блока, К. Д. Бальмонта и др.). См. его статью «Литературное юродство и кликушество» (НВ. 1895. 1 сент. № 7007). Розанов писал об этом в статье «Нечто о декадентах, „лампадном масле“ и провинциальности наших критиков» (РО. 1896. № 12. С. 1112—1120; см. т. 1 настоящего ПСС. С. 442—450).

«Правда и поэзия моей жизни» — автобиографическая книга И. В. Гёте «Поэзия и правда. Из моей жизни» (1811—1833. Ч. 1—4).

С. 360. *«Я хогу образования для народа...»* — Письмо Л. Н. Толстого к А. А. Толстой от второй половины декабря 1874 г. из Ясной Поляны.

С. 361. *...эта «Соната» появилась в отдельной продаже.* — В РНБ имеется экземпляр «Крейцеровой сонаты», увидевший свет в 1890 г., однако без указания места и года издания.

«К дому подъехало ногою...» — Пересказ содержания письма Л. Н. Толстого к А. А. Толстой от 7 августа 1862 г. из Ясной Поляны.

Тетушка — Т. А. Ергольская.

С. 362. *«Ясная Поляна»* — ежемесячный педагогический журнал, выходивший в Москве в 1862 г., издатель-редактор Л. Н. Толстой.

...умершего брата... — Н. Н. Толстого, скончавшегося в 1860 г.

«Я гасто говорю себе: какое огромное счастье...» — из того же письма Л. Н. Толстого от 7 августа 1862 г.

С. 363. *«Дела этого я оставить не хогу...»* — из письма Л. Н. Толстого к А. А. Толстой от 7 августа 1862 г. из Ясной Поляны. 22 августа 1862 г. Толстой написал по поводу обыска в Ясной Поляне письмо Александру II. С начала 1862 г. за Толстым был установлен тайный надзор.

О помещиках ~ стон восторга. — Толстой подразумевает помещиков, недовольных его деятельностью в качестве мирового посредника. По доносу одного из них и был произведен обыск.

К Герцену я не поеду. — Толстой встречался с Герценом в феврале 1861 г.

...к временам, воспетым Лермонтовым в «Купце Калашникове»... — М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова (1837).

...как Александр II, воспитаннике Жуковского... — В 1837 г. В. А. Жуковский объездил с наследником цесаревичем Александром европейскую Россию и часть Сибири. 1838—1839 гг. он проводит с ним в путешествии по Западной Европе. Современники отмечали благотворное влияние Жуковского на наследника.

В 1870 г., во время поездки Толстого в свое самарское имение... — Описываемое происшествие случилось в июле 1872 г.: крестьянин Матвей Афанасьев был ранен быком, от

чего скончался в больнице. Толстого в августе допрашивал судебный следователь Крапивенского уезда П. Богословский. Обвинение было снято с Толстого только в марте 1873 г. на заседании Тульского окружного суда. См. подробнее: *Парамонова И. Ю.* Л. Н. Толстой и «дело быка» // *Яснополянский сборник*, 2006. Тула, 2006. С. 297–304.

С. 364. «*Страшно подумать ~ страшно вспомнить...*» — из письма Л. Н. Толстого к А. А. Толстой от 15 сентября 1872 г. из Ясной Поляны.

Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку... — Латинская пословица возникла из мифа о Зевсе, который в облике быка похитил царскую дочь Европу и на острове Крит справил с ней свадьбу.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

〈А. Чехов, С. Юшкевич〉

(с. 364)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 167. Л. 3.

Впервые напечатано: *НВ*. 1904. 16 июня. № 10161. С. 3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 166–175).

Печатается по тексту первой публикации.

О А. П. Чехове см. статью А. А. Медведева в «Розановской энциклопедии» (с. 1148–1156), о С. С. Юшкевиче — там же (с. 1206–1207).

С. 364. *...несколько стихотворений Скитальца...* — Во второй сборник «Знания» вошло пять стихотворений Скитальца (псевдоним С. Г. Петрова).

...рассказы А. Куприна и Е. Чирикова... — речь идет о рассказе А. И. Куприна «Мирное житие» и «неоконченной повести» Е. Н. Чирикова «На поруках».

С. 365. *...«школьный учитель» Германии...* — Розанов имеет в виду изречение о том, что в Австро-прусской войне 1866 г. победа пруссаков (в битве при Садове 7 июля 1866 г.) была «победой прусского школьного учителя над австрийским», как писал преподаватель географии в Лейпциге О. Пешель в статье «Уроки новейшей военной истории» (*Das Ausland*. 1866. 17 июля).

С. 366. *На Воробьевых горах ~ два лета...* — Летом 1880 г. Розанов жил с невестой А. П. Сусловой на Воробьевых горах близ Москвы; в июне–июле 1891 г. Розанов жил там же с женой В. Д. Бутягиной.

...об «Исусе», «двуперстии»... — Церковная реформа Никона 1650-х гг. заменила написание «Исус» на «Иисус». Двуперстие крестного знамения заменили на троеперстие. Старообрядцы отвергают эту реформу.

«*Семейная хроника*» — автобиографическая повесть С. Т. Аксакова, представляющая собой широкую панораму жизни трех поколений помещиков конца XVIII в.

...Бетрищев пишет «Историю генералов 12 года»... — Во втором томе «Мертвых душ» Гоголя, по словам Чичикова, историю генералов, «участвовавших в двенадцатом году», пишет Тентетников.

С. 367. «*аглицкие клубы*» — в Петербурге Английский клуб был создан в 1770 г., в Москве — в 1772 г. Московский аглицкий клуб закрывался трижды — в 1798, 1812 и 1917 гг. Возобновил свою деятельность в 1996 г.

«*Минин, указывающий Пожарскому на кремль*» — см. коммент. к с. 296.

...«народные дома»... — общедоступные негосударственные просветительские учреждения клубного типа. В России появились с начала 1880-х гг. В Петербурге Народный дом открылся в 1883 г.

...«луну, сделанную в Гамбурге»... — слова Поприщина в повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1834).

«Тройка» Гоголя — см. коммент. к с. 189.

«Русь, о Русь!» — слова в XI главе «Мертвых душ»: «Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу».

«В дурном обществе» — рассказ В. Г. Короленко (РМ. 1885. № 10).

С. 369. ...*ауэровских горелок*... — Ауэрова горелка — небольшой газовый фонарь, над которым размещается колпачок из негорючей ткани, пропитанный солями редкоземельных металлов; он излучал при нагревании яркий свет. Конструкция была разработана в 1885 г. инженером К. Ауэром фон Вельсбахом.

С. 370. ...*в рядах*. — Торговые ряды на Красной площади и поблизости от нее.

С. 372. *В городе Б.* ... — то есть Брянске, где Розанов преподавал в прогимназии в 1882—1887 гг.

<О «НОВОМ ПУТИ»>

(с. 372)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1904. 18 июня. № 10163. С. 3. Б. п. В разделе «Среди газет и журналов».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 366—367).

Печатается по тексту первой публикации.

О журнале «Новый Путь» см. коммент. к с. 204.

С. 373. «*К вопросу о методологической реформе православной догматики*» — статья А. И. Введенского (Басаргина) в «Богословском Вестнике» (1904. Июнь. С. 179—208, 3-я паг.).

...*поугить «плетогкой», говоря словами «Домостроя»*... — См., например: «...плетью по-стегать, по вине смотря, да не перед людьми, наедине поучить, приговаривать и попе-нять...» (Домострой. Гл. 42).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

<Е. Милицына>

(с. 374)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 167. Л. 3. На поля синим карандашом: «Гарнак».

Впервые напечатано: *НВ*. 1904. 23 июня. № 10168. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 368—376).

Печатается по тексту первой публикации.

Милицына Елизавета Митрофановна (ур. Разуваева; 1869—1930) — прозаик. См. о ней статью Л. В. Суматохиной в «Розановской энциклопедии» (с. 591).

С. 374. «*За заслуги*» — орден, высшая военная награда Пруссии до конца Первой мировой войны. Учрежден Фридрихом Великим в 1740 г. (французский язык был основным при прусском дворе). С 1842 г. орден стали давать «за науку и искусство».

«О сущности христианства» — книга (1890; рус. пер. 1902) немецкого теолога Адольфа фон Гарнака. Основное его сочинение — «Учебник догматической истории» (1885—1889. Т. 1—3).

Сын профессора богословия в Дерптском университете... — Феодосия фон Гарнака.

С. 375. *...Афанасия Ивановна, мужа Пульхерии Ивановны...* — Герои повести Н. В. Голя «Старосветские помещики» (1835).

С. 377. *И жарка свега поселянина...* — А. В. Кольцов. Урожай (1835).

С. 378. *...«из глины» ~ «вдунув дух»...* — Быг 2, 7 («И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни...»).

«Тако Бог возлюбил мир...» — Ин 3, 16.

...и в Израиле Я не нашел такой веры... — см. коммент. к с. 225.

...«Иди к язычникам». — См. коммент. к с. 225.

...«За что ты меня гонишь». — Деян 9, 4.

С. 379. *...«слушал землю»...* — Воевода Дмитрий Боброк Волынец перед Куликовской битвой «сошел с коня и приник к земле правым ухом на долгое время» («Сказание о Мамаевом побоище»).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

<М. Лемке>

(с. 381)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 167. Л. 4—11, 12.

Впервые напечатано: *НВ*. 1904. 7 июля. № 10182. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 383—390).

Печатается по тексту первой публикации.

Лемке Михаил Константинович (1872—1923) — историк, публицист. Заведовал редакцией газеты «Орловский Вестник» (с 1898 г.), был редактором газеты «Приднепровский Край» (1901—1902), заведующим историческим отделом издательства М. В. Пирожкова (1903—1904), редактором журнала «Книга» (1906). Его «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия» (СПб., 1904) вызвали рецензии Е. Г. Лундберга (*НП*. 1904. № 6), С. Ашевского (*Мир Божий*. 1904. № 4). На выход Полного собрания сочинений Н. А. Добролюбова под редакцией Лемке Розанов откликнулся рецензией (*НВ*. 1911. 26 нояб. № 12827). См. статью Л. В. Суматохиной в «Розановской энциклопедии» (с. 515—517).

С. 382. *...«поэта и гражданина»...* — отсылка к одноименному стихотворению Н. А. Некрасова (1856).

...лушку, из которой стреляют в 12 часов... — Начиная со 100-летней годовщины Петербурга в 1803 г. с одного из бастионов Петропавловской крепости холостыми зарядами стреляет полуденная пушка. Во времена Екатерины II выстрелы возвещали наводнение.

Брамбеус — писатель О. И. Сенковский; был редактором журнала «Библиотека для Чтения», в котором печатался под псевдонимом Барон Брамбеус.

...Строганов ~ в бытность попечителем Московского университета... — Граф С. Г. Строганов был попечителем Московского учебного округа в 1835—1847 гг. — время расцвета Московского университета.

...27 февраля ~ 1848 г. ... — создан секретный временный комитет цензуры под председательством адмирала А. С. Меншикова.

...2 апреля 1848 г. ... — Николай I учредил секретный комитет по делам печати во главе с Д. П. Бутурлиным.

С. 383. *Аполлон Бельведерский* — римская мраморная копия несохранившегося бронзового оригинала работы древнегреческого скульптора Леохара (ок. 330—320 до н. э.).

...во дворце Строгановых, на углу Невского и Мойки... — Построен в 1753—1754 гг. по проекту архитектора Ф. Б. Растрелли. С 1988 г. филиал Русского музея.

...«благорастворение воздухов»... — выражение из «великой ектеньи», произносимой диаконом во время литургии.

...Михневиг, излагал Шеллингову философию. — Михневич И. Г. Опыт простого изложения системы Шеллинга, рассматриваемый в связи с системами других германских философов. Одесса, 1850.

...подгинен министр народного просвещения... — с 1833 по 1849 г. министром был С. С. Уваров, а с 20 октября 1849 г. — П. А. Ширинский-Шихматов.

С. 384. «*Великое переселение народов*» — этническое перемещение в Европе IV—VII вв., вторжение варварских племен, живших на периферии Римской империи.

С. 385. ...г. *Скабигевский*, другой автор «*Истории цензуры*»... — *Скабигевский А. М.* Очерк истории русской цензуры (1700—1863). СПб., 1892.

«*Согинения Вл. Соловьёва*» — см. коммент. к с. 60 и 340.

«*Разрушение эстетики*» — одна из антипушкинских статей Д. И. Писарева (Русское Слово. 1865. № 5).

«*Все понять — значит все простить*» — выражение приписывается французской писательнице Ж. де Сталь в романе «*Коринна, или Италия*» (1807; рус. пер. 1809—1810). Гл. XVIII.

Пушкин согинил Алеко, ушедшего к цыганам... — подразумевается поэма «*Цыганы*» (1824; оп. 1827).

С. 387. *Собачья площадка* — небольшая треугольная площадь, дом 7 на ней принадлежал А. С. Хомякову, и в нем был «Музей сороковых годов». В 1960-е гг. Собачья площадка и дом Хомякова уничтожены при прокладке Нового Арбата.

«*Рижские письма*» — «*Письма из Риги*» философа Ю. Ф. Самарина, распространились в 1849 г. в списках. За критику в них правительственной политики в Прибалтике Самарин был заключен в Петропавловскую крепость, но освобожден благодаря личному вмешательству Николая I.

Плененная Греция пленила (музам) Рим. — Гораций. Послания. Кн. 2. 1. 156.

ПИСАТЕЛЬ-ХУДОЖНИК И ПАРТИЯ

(с. 387)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. Ед. хр. 202. Л. 1—2, с авторской правкой.

Впервые напечатано: *НВ*. 1904. 21 июля. № 10196. С. 3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 175—183).

Печатается по тексту первой публикации.

Учтена авторская правка в вырезке: 10—11 строки — И это не в одной стране, не только у славян, но и у немцев, англичан, норвежцев, кельтов / И это не в одной нашей стране, не только у славян, но и у немцев, англичан, у норвежцев, у кельтов.

Статья написана через несколько дней после получения известия о смерти А. П. Чехова и вызвана постоянными попытками сначала народников, а потом и социал-демократов привлечь на службу себе и своей программы русских писателей. Розанов имел

в виду, в частности, Чехова, на которого оказывалось «давление» с этой стороны, о чем Розанову было известно из постоянных бесед с А. С. Сувориным.

С. 387. «Слепой музыкант» (1886) — рассказ В. Г. Короленко.

...«всемирное имя» Габриэля д'Аннунцио... — Произведения итальянского писателя Г. д'Аннунцио переводились на русский язык в «Северном Вестнике» с 1893 г. (роман «Невинный») и выходили затем отдельными изданиями. В 1909—1910 гг. издательство «Шиповник» выпустило его Собрание сочинений в 12 томах.

С. 388. «В зем этот таинственный закон...» — Розанов произвольно конструирует мысль Пушкина на основе его письма А. А. Бестужеву от конца мая — начала июня 1825 г. («У римлян век посредственности предшествовал веку гениев...»).

...письма о Риме, о Венеции, о Париже... — «Письма из Рима, Венеции и Парижа» польского писателя Генриха Сенкевича неоднократно переводились на русский язык. См. его «Письма из путешествия» (Киев, 1894).

«Куда идешь» («Камо грядеши») (1894—1896) — роман Г. Сенкевича (рус. пер.: 1898). Название — евангельское выражение (Ин 13, 36).

Он был «великий Пан»... — подразумеваются слова А. В. Амфитеатрова из его очерка «В посмертные дни (о кончине А. П. Чехова)» (1904): «Да, умер великий Пан! великий Пан русской природы, русского бытового уклада, разносторонней русской скорби, многих, скромных и робких русских радостей» (Амфитеатров А. В. Собр. соч. СПб., 1912. Т. 14. С. 13).

...«он, если бы попал в дворянскую среду, вышел бы Пушкиным»... — имеются в виду слова В. П. Мещерского: «Попади Чехов прямо из крестьянской среды в хорошую дворянскую, например, среду, особенно — женскую, — он бы не только не мог утолить жажду своего таланта „Дядями Ванями“, но он в творении цельных и сильных положительных русских типов пошел бы дальше и выше Тургенева, и потребности его в правде не пришлось бы бороться с искушениями окружавшей лжи» (Дневники: Понедельник, 5-го июля // Г. 1904. 8 июля).

— Что про меня писали!.. — Розанов цитирует статью В. М. Дорошевича «А. П. Чехов», появившуюся в «Русском Слове» (1904. 3 июля. № 183).

Скабичевский посвятил мне в «Новостях» фельетон... — Критик и историк литературы А. М. Скабичевский в «Новостях и Биржевой Газете» в 1884—1894 гг. вел еженедельную рубрику «Литературная хроника», где напечатал ряд статей о Чехове. Одна из первых рецензий его о Чехове появилась в № 206 этой газеты за 1888 г. Наиболее известна его статья «Есть ли у г-на Чехова идеалы?» (Новости. 1893. 1, 8, 15 апр.). Первую статью Скабичевского против Чехова в «Северном Вестнике» (1886. № 6. Отдел «Новые книги». С. 123—126) Чехов в письме к Е. К. Сахаровой 28 июля 1886 г. назвал «самой ядовитой руганью».

«Русская Мысль» ~ писала за книжку моих маленьких рассказов? — Речь идет о кратких рецензиях (без подписи) на «Пестрые рассказы» Чехова (РМ. 1886. № 6. С. 10) и на его книгу «В сумерках» (РМ. 1887. № 10. С. 589—590).

«Сахалин» — книга А. П. Чехова «Остров Сахалин»; печаталась в журнале «Русская Мысль» (1893—1894), затем с поправками и дополнением четырех глав вышла отдельным изданием (М., 1895).

С. 389. «Мертвый дом» — «Записки из Мертвого дома» (1862) Ф. М. Достоевского.

...в другом месте... — Далее приводится отрывок из главы IX чеховской «Палаты № 6».

...Н. Михайловский, останавливаясь на молодых рассказах Чехова... — Н. К. Михайловскому принадлежит несколько статей о ранних рассказах Чехова, собранных в книге Михайловского «Литература и жизнь» (1892) и в 6-м томе его Сочинений (СПб., 1897). Одна из первых, рецензия на сборник «В сумерках», появилась в «Северном Вестнике» (1887. № 9. С. 81—85).

С. 390. ...В. А. Гольцев ~ изготовил уже в Историческом музее «комнату Чехова»... — В статье В. А. Гиляровского «О Чехове», появившейся в «Русском Слове» 6 июля 1904 г., сообщалось: «В. А. Гольцев задумал весьма интересное, а именно: при Историческом музее создать Чеховскую комнату, куда собрать все, что будет касаться памяти писателя. Именно теперь, — закончил В. А. свою идею, — когда все еще цело, когда все свежо сохранилось, именно теперь и следует собирать эту комнату».

...«не токмо за страх, но и по совести». — Свод Законов Российской империи. Т. I. Разд. I: О священных правах и преимуществах Верховной Самодержавной Власти. Статья 1.

С. 391. ...осел соловья в известной басне Крылова. — И. А. Крылов. Осел и Соловей (1811). Басня направлена против министра народного просвещения графа А. К. Разумовского, рекомендовавшего Крылову учиться искусству басни у И. И. Дмитриева.

С. 392. ...с Акакия Акакиевича, с Плюшкина... — см. коммент. к с. 116 и 186.

С. 393. Счастливы владеющие... — Гораций. Оды. IV, 9, 45.

...«вдохнул» «душу» в человека Бог... — см. коммент. к с. 378.

...походы против «Собраний» — «Московск. Ведомостей»... — См.: Басаргин А. Астартизм // МВ. 1903. № 52, 59, 66, 72. В феврале–марте 1904 г. Басаргин (А. И. Введенский) продолжил в «Московских Ведомостях» цикл обзоров против РФС и журнала «Новый Путь».

...«дневники» кн. Мещерского. — См. коммент. к с. 317.

С. 394. «Грузинская ночь» — фрагменты трагедии, над которой А. С. Грибоедов работал в 1828 г. (опубл. в 1859 г.). Полный текст, по-видимому, погиб в Тегеране.

...с комедией, написанную совместно с Шаховским... — «Своя семья, или Замужняя невеста» (1817). Еще один соавтор — Н. И. Хмельницкий.

«Среди долины ровныя» — песня А. Ф. Мерзлякова (1810).

ПРАВИЛА ДОБРОДЕТЕЛИ И УСЛОВИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ

(с. 394)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 106–111.

См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1904. 30 сент. № 10267. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 415–423).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 394. ...«добрыми намерениями ад вымощен». — Выражение приписывается английскому писателю С. Джонсону. По свидетельству его биографа Дж. Босуэлла, Джонсон произнес эти слова в 1775 г.

С. 395. ...спора Достоевского ~ с Градовским... — см. «Дневник писателя» (1880. Август. Гл. 3) Ф. М. Достоевского, отвечавшего на статью «Мечты и действительность» историка права, публициста А. Д. Градовского в газете «Голос» (1880. 25 июня. № 174).

«Вот, все вокруг...» — Ф. М. Достоевский. Бесы. I, 2, 3.

...в «неделании»... — см. коммент. к с. 317.

...«трех упряжках»... — См.: «...день всякого человека самой пищей разделяется на 4 части, или 4 упряжки, как называют это мужики: 1) до завтрака, 2) от завтрака до обеда, 3) от обеда до полдника и 4) от полдника до вечера. Деятельность человека, в которой он, по самому существу своему, чувствует потребность, тоже разделяется на 4 рода:

1) деятельность мускульной силы, работа рук, ног, плеч и спины — тяжелый труд, от которого вспотеешь; 2) деятельность пальцев и кисти рук, деятельность ловкости мастера; 3) деятельность ума и воображения; 4) деятельность общения с другими людьми» (Л. Н. Толстой. Так что же нам делать? (1886). Гл. XXXVIII).

С. 396. «Шопот, робкое дыханье...» — одноименное стихотворение А. А. Фета (1850).

...Толстой в «Автобиографии»... — подразумевается «Исповедь».

...в разных Иеровоамах и Ровоамах... — имеется в виду восстание Иеровоама, возглавившего около 935 г. до н. э. восстание в Древнем Израиле против податного гнета и трудовой повинности, которые ввел царь Соломон и отказался смягчить его сын Ровоам. Иеровоам опирался на помощь египетского фараона и впоследствии был избран царем Северо-Израильского царства.

...Ахазах и Ахавах... — Названы «нечестивые» цари Иудейского и Израильского царств: Ахаз проводил просирийскую политику; Ахав в свое царствование покровительствовал финикийским культам.

С. 397. ...Фома Кемпийский с переводами... — речь идет о книге средневекового философа Фомы Кемпийского «О подражании Христу», переведенной с латинского на многие языки (на английский в середине XV в.).

...Мальву или Кармен... — героини одноименных рассказов М. Горького (1897) и П. Мериме (1847).

С. 398. ...из министров сдать в погтмейстеры. — Когда в 1824 г. князь А. Н. Голицын оставил посты министра духовных дел и народного просвещения (в результате интриг недругов), за ним было сохранено звание главноначальствующего над Почтовым департаментом.

Кукушина Авдотья Никитишна — эмансипированная помещица, псевдонигилистка в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (гл. 17).

Сухангикова Матрена Семеновна — вдова в романе Тургенева «Дым» (гл. 4).

...медицинский женский институт в Петербурге. — Был открыт на частные пожертвования в 1897 г. на Архиерейской ул. (ныне ул. Льва Толстого). В 1918 г. преобразован в Первый Петроградский медицинский институт.

...мудрое міра Бог обратил в безумное... — Ср.: 1 Кор 1, 20.

РУССКИЕ ИДЕАЛЫ

Пл. Кусков. Наши идеалы. Разговор на палубе

Москва, 1904

(с. 402)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки из статьи *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 184. Л. 3—9. См. *Варианты*. Вырезки из газеты *НВ* (Ед. хр. 159. Л. 10а) с авторской правкой черными чернилами: Исав — вместо Исаак.

Впервые напечатано: *НВ*. 1904. 11 нояб. № 10309. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 444—451).

Печатается по тексту первой публикации с авторской поправкой.

Кусков Платон Александрович (1834—1909) — поэт, переводчик, критик; автор сборника «Наша жизнь» (СПб., 1889) с переводами сонетов Шекспира, перевел «Ромео и Джульетта» (Заря. 1870. № 10; полный — СПб., 1891) и «Отелло» Шекспира (Заря. 1870. № 4; отд. изд.: СПб., 1870). В некрологе Кускову (*НВ*. 1909. 22 авг. № 12011) Розанов дал его характеристику как мыслителя. Об отношениях Розанова и Кускова см. статью В. А. Фатеева о Кускове в «Розановской энциклопедии» (с. 499—500).

С. 402. ...знаменитой патристической триады. — Иначе: уваровская триада. Сформулирована С. С. Уваровым в его докладе Николаю I «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения» (19 ноября 1834 г.).

...Каин зарезал Авеля... — Быт 4, 8.

С. 403. ...раб Эпиктет... — Древнегреческий философ Эпиктет был рабом в Риме, потом стал вольноотпущенником.

...готические соборы. Кельн, Страсбург... — Кёльнский собор строился в 1248—1560 гг., окончен лишь в 1880 г. Страсбургский собор поздней готики создавался в XI—XVI вв.

Вестминстерское аббатство — королевская церковь в Лондоне, место коронации английских монархов и усыпальница великих людей. Построена в XI в.

Notre Dame de Paris (Собор Парижской Богоматери) — готический собор в Париже, построен в 1163—1257 гг.

С. 404. Удруженный ношей крестной... — Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья...» (1855).

...«в каждом человеке таится искра Божия»... — См.: Ф. М. Достоевский. Золотой век в кармане (Дневник писателя. 1876. Январь. Гл. 1, § IV: «В каждом из вас всё это есть и заключено». ПСС. Л., 1981. Т. 22. С. 12).

...Исав продал свое первородство... — Быт 25, 31—34.

С. 405. ...в Перми купец, из крестьян, Адриан Пушкин... — Источником сведений о нем послужила Розанову статья: Пругавин А. С. Соловецкие узники: (К вопросу о монастырских заточениях) // РМ. 1881. № 11. С. 46—62. См. также: Дело канцелярии Пермского губернатора с рукописи купца Адриана Пушкина «Великая радость» и об освидетельствовании купца А. Пушкина в умственном состоянии. Копия рукой неустановленного лица // Гос. архив Пермского края. Ф. 321. Оп. 1. Ед. хр. 179.

...встретил его один просвещенный путешественник... — имеется в виду А. С. Пругавин, беседовавший с Адрианом Пушкиным летом 1879 г.

С. 406. Русский бунт ужасен... — А. С. Пушкин. Капитанская дочка (1836). Гл. VIII («русский бунт, бессмысленный и беспощадный»).

«Русь = мир, бел свет...» — Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. СПб.; М., 1882. Т. 4. С. 114 (статья «Русак»).

С. 407. ...обзор 50-летней литературной деятельности — В мае 1904 г. отмечалось 50-летие творчества П. А. Кускова, напечатавшего первые стихи в мае 1854 г. в журнале «Современник».

ИЗ ПРОШЛОГО НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

(с. 408)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: НВ. 1904. 25 нояб. № 10323. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 451—458).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 408. ...14 томах его посмертного издания... — Достоевский Ф. М. ПСС. СПб., 1882—1883.

...что и не снилось нашим мудрецам. — У. Шекспир. Гамлет. I, 5. Пер. М. Вронченко.

«И были оба наги и не стыдились»... — Ср.: Быт 2, 25.

С. 409. Эдда — «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» — поэтические сборники древнеисландских песен о богах и героях скандинавской мифологии и истории.

...мы, чиновники ~ контроля... — С 1893 по 1899 г. Розанов служил в Государственном контроле коллежским советником (чиновником 6-го класса).

...кто на Петербургскую, кто в Гавань, кто на Пески. — Исторические районы Петербурга (первой названа Петербургская сторона).

С. 410. ...недавнего фельетона кн. Васильчикова... — Накануне, 24 ноября 1904 г., «Новое Время» напечатало статью без подписи «Еще о проекте кн. Васильчикова», на которую отвечает Розанов. Имеется в виду князь Б. А. Васильчиков.

...мысли его отца о самоуправлении... — Васильчиков А. И., кн. О самоуправлении: Сравнительный обзор русских и иностранных земских и общественных учреждений: В 3 т. СПб., 1872.

...перегел записку К. С. Аксакова: «О внутреннем состоянии России»... — Впервые: Русь. 1881. 9 мая. № 26. С. 11–15; 16 мая. № 27. С. 17–20; 23 мая. № 28. С. 12–14.

С. 411. ...«вельмож в слугае»... — А. С. Грибоедов. Горе от ума. II, 2. В случае — в милости, в «фаворе» у императора.

«Пословицы русского народа» — сборник В. И. Даля (М., 1862), где применен новый принцип тематического, а не алфавитного построения.

С. 412. «Я люблю русскую историю...» — неточная цитата из неотправленного письма Пушкина к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г.

...кн. Кропоткина об императрице Марии Александровне. — См.: Кропоткин П. Записки революционера. Лондон, 1899 (на англ. яз.); Лондон, 1902 (на рус. яз.). В изд.: М., 1990 — указатель имен.

С. 413. ...секте «беспоповцев»... — Разновидность русского раскола, или старообрядчества, возникла в конце XVII в., отрицала официальную церковь.

С. 414. ...«какую ее нам Бог послал»... — из того же письма Пушкина к Чаадаеву.

«МЕБЛИРОВАННАЯ ПЫЛЬ» НА СЦЕНЕ МАЛОГО ТЕАТРА

Письмо из Петербурга

(с. 415)

Автограф неизвестен.

Сохранилась верстка из журнала «Весы» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 168. Л. 18.

Впервые напечатано: Весы. 1904. № 12. С. 57–58.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 459).

Печатается по тексту первой публикации.

«Меблированная пыль» — пьеса драматурга и журналиста Николая Мироновича Никольского (1873–1917).

С. 415. «Белоподкладочник» — в речи студентов-разночинцев презрительное прозвище студента из богатой семьи с франтоватой внешностью (в мундире на белой шелковой подкладке).

...мыслящих реалистов... — см. коммент. к с. 201.

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

(с. 416)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты «Слово» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 127–128; Ед. хр. 159. Л. 11–12 (псевдоним «Орион» зачеркнут и карандашом написано: Розановъ).

Впервые напечатано: Слово. 1904. 6 дек. № 6. С. 6–7. Подпись: *Орион*.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 460–467).
Печатается по тексту первой публикации.

С. 416. *...отдельный каталог.* — Граф Л. Н. Толстой в литературе и искусстве: Подробный библиографический указатель русской и иностранной литературы о гр. Л. Н. Толстом / Сост. Ю. Битовт. М., 1903.

«*Tolstoviana*» — Розанов имеет в виду совокупность работ о Л. Н. Толстом. Под таким названием сборники статей стали выходить много лет спустя, с 1917 г.

«*Бог правду видит, хоть и не скоро скажет*» — рассказ Л. Н. Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет», написанный для «Азбуки» (оп. 1872).

...он напечатал в Майнце... — Немецкий изобретатель книгопечатания И. Гуттенберг с 1448 г. жил в Майнце, где впервые напечатал 42-страничную Библию (точная дата не установлена).

Птичка Божия не знает... — А. С. Пушкин. Цыганы (1824).

«*Чем люди живы*» (1881) — рассказ Л. Н. Толстого.

С. 419. «*В нагале бе Слово*» — Ин 1, 1.

Дней Александровых прекрасное нагало... — см. коммент. к с. 330.

С. 420. *...хохлы не вправе напечатать Евангелие на своем наречии...* — Этот запрет был введен секретным циркуляром министра внутренних дел П. А. Валуева от 18 июля 1863 г. о приостановлении печатания на малороссийском наречии литературы религиозной, учебной и предназначенной для начального чтения. Валуевский циркуляр был подтвержден и дополнен Эмским указом, подписанным Александром II 18 мая 1876 г. В 2008 г. в Киеве состоялась презентация факсимильного издания рукописи первого украинского перевода Пересопницкого Евангелия, созданного в 1555–1561 гг.

...этруски в эпоху Сервия Туллия. — Шестой царь Древнего Рима (VI в. до н. э.), проведший ряд государственных реформ.

С. 421. «*Суета сует*» — Еккл 1, 2.

«*Наль и Дамаянти*» — эпизод из эпоса народов Индии «Махабхарата» (IV в. до н. э.).

...туманной дали... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. 2, X.

Так говорил Заратустра — книга немецкого философа Ф. Ницше (1883–1885).

Бывало мерный звук твоих могучих слов... — М. Ю. Лермонтов. Поэт (1838).

С. 422. *...в составе 14 томов...* — см. коммент. к с. 408.

Но меркнет день, настала ночь... — Ф. И. Тютчев. Ночь и день (1839).

1905

НАУКА И ЛИТЕРАТУРА В УСТАВЕ О ПЕЧАТИ

(с. 423)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 215. Л. 127.

Впервые напечатано: *НВ*. 1905. 30 янв. № 10382. С. 3. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 476–477).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 423. *Императорская Публичная библиотека* — основана в 1795 г., открыта как Публичная 14 октября 1810 г. по распоряжению императора Александра I; в настоящее время

мя Российская национальная библиотека. Ее директор (в 1902–1918 гг.) Д. Ф. Кобеко, став в 1905 г. председателем Особого совещания для составления нового устава о печати, отстаивал либеральные взгляды. В итоге были составлены «Временные правила о повременных изданиях», утвержденные 24 ноября 1905 г.

...*полное издание «Путешествия от Москвы до Петербурга» Радищева все еще ожидает своего гаса...* — Первая научная публикация книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» была осуществлена в 1905 г.

...*ожидают своего гаса сочинения Герцена и Чернышевского...* — Герцен А. И. ПСС и писем: В 22 т. / Под ред. М. К. Лемке. Пг., 1919–1925; Чернышевский Н. Г. ПСС: В 10 т. СПб.: Изд. М. Н. Чернышевского, 1905–1906.

С. 424. *Нельзя «объять необъятное»...* — Интерпретация афоризма К. Прутков: «Никто не обнимет необъятного» («Плоды раздумий», 1854).

КУНО ФИШЕР. ИСТОРИЯ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ

Том III. Лейбниц, его жизнь, сочинения и учение. Перев. с нем. Н. Н. Полилова.

С портр. Лейбница. 735 стр. — То же, том VII. Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение. Перев. со второго дополненного немецкого издания Н. О. Лосского.

С портр. Шеллинга. 893 стр. Издания Д. Е. Жуковского. СПб. 1905 г.

(с. 424)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВил* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. XII. Л. 93.

Впервые напечатано: *НВил*. 1905. 16 марта. № 10427. С. 11.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 520–521).

Печатается по тексту первой публикации.

Фишер Куно (1824–1907) — немецкий историк философии, автор «Истории новой философии» (1852–1877; рус. пер.: СПб., 1901–1909. Т. 1–8).

С. 425. *Даже Ницше и его «сверхчеловек»...* — речь идет о концепции «сверхчеловека», которая наиболее ярко проявилась в сочинениях Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883–1885) и «Воля к власти» (посмертно, 1901).

...*«по образу и подобию»...* — см. коммент. к с. 42.

...*«сродство душ»...* — от названия романа Гёте «Избирательное сродство» (1809).

О ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭТИКЕ

(с. 425)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1905. 8 апр. № 10450. С. 4. Подпись: Х.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 555–556).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 425. *На страницах «Моск. Вед.» и «Русских Ведомостей» разыгралась полемика...* — речь идет об обмене статьями в газетах: «Письмо преосвященного Исидора, епископа Балахнинского», опубликованное в «Русских Ведомостях» (1905. 3 апр. № 92), и ответ на него Л. Тихомирова: «По поводу письма епископа Исидора», опубликованное в «Московских Ведомостях» (1905. 6 апр. № 95).

Исидор, епископ балахнинский, викарий нижегородский... — Епископ Исидор (Колоколов) был викарием (помощником) нижегородского архиепископа с ноября 1903 г. по ноябрь 1906 г.

...резких статей против церковной реформы. — 23 марта 1905 г. «Московские Ведомости» начали серию публикаций, в которых подвергли критике деятельность С. Ю. Витте и митрополита Антония (Вадковского), называя подготавливаемую ими реформу «скоропелыми преобразованиями». Епископ Исидор (Колоколов) первоначально выступил против позиции «Московских Ведомостей» в газете «Русское Слово» (1905. № 2).

ОКОНЧЕННАЯ «ТРИЛОГИЯ» Г. МЕРЕЖКОВСКОГО

«Петр». Роман Д. Мережковского

Издание М. В. Пирожкова. 1905 г.

(с. 426)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 26—32. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1905. 28 апр. № 10470. С. 3—4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 566—574).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 426. *Первая часть этой трилогии называлась «Смерть богов. Юлиан Отступник».* — Мережковский Д. С. Смерть богов (Юлиан-Отступник). СПб., 1896. В журнальной публикации роман назывался «Отверженный» (Северный Вестник. 1895. № 1—6).

«Воскресшие боги. Леонардо да-Винчи» — вторая часть романа Д. С. Мережковского «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» впервые была опубликована в журнале «Мир Божий» (1900. № 1—12); отдельным изданием книга вышла в Петербурге в 1901 г.

...третья, пегатавишаяся два последних года в «Новом Пути» и в «Вопросах Жизни». — Третья часть романа Д. С. Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей» впервые была опубликована в журналах: «Новый Путь» (1904. № 1—5, 9—12), «Вопросы Жизни» (1905. № 1—3); отд. изд.: СПб., 1905.

С. 427. *...в трех синоптических евангелиях...* — Евангелия от Матфея, Марка и Иоанна.

...о «сеятеле и зернах»... — Евангельская притча о сеятеле (Мф 13, 3—23; Мк 4, 3—20; Лк 8, 5—15).

...распятому при Понтийском Пилате... — см. коммент. к с. 156.

С. 429. *«В тумане утреннем неверными шагами»* — одноименное стихотворение Вл. С. Соловьёва (1884).

...Влад. Соловьёв (кроме «Трех разговоров», содержащих и «Повесть об Антихристе»)... — Соловьёв В. С. Три разговора: О войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об антихристе и с прил. 4-е изд. СПб., 1904.

...киевского собора... — речь идет о Владимирском соборе, заложенном в 1862 г. В 1885 г. для росписи его пригласили В. М. Васнецова, затем М. В. Нестерова, П. А. Сведомского, В. А. Котарбинского и др. Освящен 1 сентября 1896 г. в присутствии семейства Николая II. В 1929 г. собор закрыт, открыт во время оккупации и остался действующим после освобождения Киева. С 1995 г. главный храм Украинской православной церкви Киевского патриархата.

С. 430. *...«убежавшей в пустыню ~ блудницы»...* — Ср.: Откр 12, 6.

...«Жена, облеженная в Солнце»... — Ср.: Откр 12, 1—2.

В главном храме католицизма, св. Петра в Риме... — Собор Св. Петра в Риме, один из самых больших христианских храмов, строился на протяжении столетий (освящен в 1626 г.) с участием Д. Браманте, Рафаэля, Микеланджело и др.

...знаменитого ваятеля, имя которого я сейгас забыл. — Имеется в виду итальянский архитектор и скульптор Дж. Л. Бернини.

Венера Тавригеская — мраморная статуя купающейся Венеры, выполненная во II или III в. до н. э. по греческому оригиналу; была найдена при раскопках в Риме в феврале 1719 г. и подарена Петру папой римским в знак благодарности за пропуск католических миссионеров в Китай. Ныне в собрании Эрмитажа.

Разбойник покаялся... — Лк 23, 40—43.

Крегинский — см. коммент. к с. 301.

С. 431. *Иеромонах Михаил на памятной лекции в Соляном городке...* — см. коммент. к с. 227.

...«Пусть все рождают»... — Ср.: Быт 1, 28 («плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю»).

...«вот жена кричала в муках рождения; вокруг ее — солнце, около головы ее — диадема из 12 звезд». — Ср.: Откр 12, 1—2.

...«суетою и томлением духа». — Ср.: Еккл 1, 14.

...«Древа жизни, приносящего плоды двенадцать раз в год»... — Ср.: Откр 22, 2.

...вообще нет «шума городского»... — Ф. Н. Глинка. Песнь узника (1826). Первая строфа стихотворения подвергалась в русской поэзии многочисленным вариациям вплоть до поэмы А. А. Блока «Двенадцать» («Не слышно шуму городского, / Над невской башней тишина, / И больше нет городского — / Гуляй, ребята, без вина!»).

...«святые перед Престолом Небесным»... — Откр 14, 3.

...«песнь раба Божия, Моисея»... — Ср.: Исх 14, 31; Втор 32, 44.

С. 432. *...«Лазарь в ранах»...* — Ср.: Лк 16, 20—21 («Лазарь <...> в струпьях»).

Сарра «смеялась» в присутствии Божиим. — Ср.: Быт 18, 12—15.

...четыре книги... — подразумеваются Евангелия.

С. 434. *...у Жюля Верна люди, которыми (в ядре) выстрелили в луну...* — Ж. Верн. С Земли на Луну (1865, рус. пер.: 1866).

Н. Л. КЛАДО (ПРИБОЙ)

штатный преподаватель Николаевской морской академии

Современная морская война. — Морские заметки о русско-японской войне

*Под ред. А. Н. Щеглова. С 116 рисунками в тексте,
67 чертежами и 2 картами. СПб. 1905. Стр. 484 + 38
(с. 434)*

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВип.* 1905. 4 мая. № 10476. С. 11. Подпись: *Р-овъ.*

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 575—576).

Печатается по тексту первой публикации.

Кладо Николай Лаврентьевич (псевд. Прибой; 1861—1919) — моряк-писатель, историк, генерал-майор по адмиралтейству.

С. 434. *Уже пятнадцать месяцев длится кровопролитная война на Дальнем Востоке...* — В ночь на 27 января 1904 г. без объявления войны японский флот атаковал русскую эскадру в Порт-Артуре.

Бой «Варяга» и «Корейца»... — В начале Русско-японской войны крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были блокированы японской эскадрой в корейском порту Чемульпо. После боя 27 января 1904 г., чтобы не допустить захвата кораблей, экипажи взорвали «Корейца» и затопили «Варяг».

...осенняя агония и гибель порт-артурской эскадры... — 13 ноября 1904 г. японцы предприняли четвертый штурм крепости Порт-Артур, в ходе боев которого погиб генерал Р. И. Кондратенко. После его смерти крепость была сдана комендантом генерал-лейтенантом А. М. Стесселем вопреки мнению военного совета. Капитуляция крепости Порт-Артур была подписана 20 декабря 1904 г.

С. 435. *«После ухода второй эскадры Тихого Океана»* — книга Н. Л. Кладо (СПб., 1905). *...статей из Морского Устава...* — Морской Устав определяет организационные принципы русского регулярного флота; разработан на опыте Северной войны 1700–1721 гг. при непосредственном участии Петра I и именовался «Книга Устав морской о всем, что касается доброму управлению в бытности флота на море печатанным повелением е. в. Петра Великого» (СПб., 1724; СПб., 1785).

ЭЛЬПЕ. ДУША ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

Изд. А. С. Суворина. СПб. 1905 г. 660 с.

(с. 435)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВип.* 1905. 11 мая. № 10477. С. 11. Подпись: *Р-овъ.*

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 578–579).

Печатается по тексту первой публикации.

Эльпе — псевдоним фельетониста «Нового Времени» Лазаря Константиновича Попова (1851–1917), автора научно-популярных очерков; издателя «Иллюстрированного словаря общепользных сведений» (СПб., 1898).

КОГДА-ТО ЗНАМЕНИТЫЙ РОМАН

(с. 436)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 13, 14. Правка на гранках сделана черными чернилами. См. *Варианты.*

Впервые напечатано: *НВ.* 1905. 8 июня. № 10511. С. 3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 184–192).

Печатается по тексту первой публикации.

Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», запрещенный до того цензурой, был переиздан в Петербурге в типографии В. А. Тиханова младшим сыном писателя М. Н. Чернышевским и поступил в Главное управление по делам печати с 1 по 30 июня 1905 г. Еще в 1895 г. в «Открытом письме к г. Алексею Веселовскому» Розанов определил воздействие на молодежь Чернышевского, который «написал своднический роман и поволок их соблазнительными софизмами и вещими снами куда-то в сторону» (т. 1 настоящего ПСС. С. 374). О разнообразии оценок Розановым наследия Чернышевского см. статью С. Ф. Дмитренко в «Розановской энциклопедии» (с. 1146–1147).

На статью Розанова появился полемический ответ «По поводу старого романа». *НВ.* 1905. 20 июня. № 10523. Подпись: М—е, т. е. журналист И. К. Маркузе. Свою статью он закончил словами: «Мне не нравится ни роман Чернышевского, ни восхваление этого „старого друга“, делаемое Розановым».

С. 436. *«Отель Рамбулье»* — литературный салон парижской аристократии, основанный в 1608 г. маркизой Екатериной де Рамбулье и просуществовавший до 1655 г.

С. 437. *«Еще растленная семья»...* — см.: Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876. Февраль. Гл. 2, § I: По поводу дела Кронеберга.

...нагибал рисовать геловегество отрешенным от тягостных условий... — имеется в виду рассказ Достоевского «Сон смешного человека» (1877).

С. 438. *...в журнале «Русский Труд»...* — Еженедельная политико-экономическая и литературная газета «Русский Труд» выходила в Петербурге в 1897—1899 гг. С 21 ноября по 23 декабря 1898 г. в ней печаталась работа Розанова «Брак и христианство» (перепечатана в книге Розанова «В мире неясного и нерешенного». СПб., 1901; 2-е изд.: СПб., 1904).

С. 439. *...жена Коллатина?* — Лукреция, жена римского патриция Луция Тарквиния Коллатина (VI в. до н. э.), была изнасилована Секстом, сыном Тарквиния Гордого. Заставив отца и мужа поклясться, что они отомстят преступнику, заколола себя на их глазах (Тит Ливий. I, 57 и след.).

С. 440. *И долго на свете томилась она...* — М. Ю. Лермонтов. Ангел (1831).

С. 441. *...«Низшего подобного никогда я не мог написать».* — Подобным образом Л. Н. Толстой отозвался о «Записках из Мертвого дома» Достоевского (письмо Н. Н. Страхову 26 сентября 1880 г.). «Сон смешного человека» не вызывал столь высоких оценок Толстого. В дневнике 13 июня 1891 г. он записывает: «Булыгин читал „Сон смешного человека“ Достоевского. Хорошо задумано, дурно исполнено».

Позднышев — герой повести Л. Н. Толстого «Крейцера соната» (1890).

С. 442. *Анджело Пушкина...* — поэма Пушкина «Анджело» (1833) написана на основе комедии Шекспира «Мера за меру» (1601). Судья Анджело ценой невинности сестры осужденного на смерть обещает освободить его, но не сдерживает своего обещания.

...об «умеренности и аккуратности»... — А. С. Грибоедов. Горе от ума. 3, 3.

Это добрые волы ~ о запорожском стаде, перебодавшем ляхов. — Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. Гл. VII («Поворотило назад все бешеное стадо, испуганное криком, и метнулось на ляхские полки, опрокинуло конницу, всех смяло и рассыпало. — О, спасибо вам, волы! — кричали запорожцы»).

Константин Великий испек ~ свою жену Фаусту... — По легенде, у Фаусты был любовник — раб, состоявший при конюшне. Константин в 326 г. приказал растопить баню так сильно, что Фауста задохнулась в ней.

«Элова арфа» (1815) — баллада В. А. Жуковского, написанная по мотивам поэм Оссиана, легендарного поэта кельтов (III в.).

«Люцерн» (1857) — рассказ Л. Н. Толстого.

С. 443. *По везным великим Железным законам Круг жизни свершаем.* — И. В. Гёте. Божественное (1782; из цикла «Философские стихотворения»).

...Толстой где-то обмолвился: «браки совершаются в небесах»... — Л. Н. Толстой. Война и мир. 2, 3, XXII.

МЕЧТА В ЩЕЛКУ

(с. 443)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала «Весы» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 237. Л. 1, 15, 2. В гранках было два постскриптума. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: Весы. 1905. № 7. С. 1—8.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 192–197).

Печатается по тексту первой публикации.

Положительную рецензию под названием «Благородная исповедь» опубликовал священник Г. С. Петров (РС. 1906. 15 янв. № 14). Он высоко оценил статью Розанова: «Это в своем роде удивительное сочетание художественной формы с какою-то чарующей прелестью психологического анализа <...> „Мечта в шелку“ своего рода жемчужина. Это исповедь души, исповедь души художника и мыслителя <...> Автор „Мечты в шелку“ с поразительной смелостью раскрывает все тайники своей души, и тут оказывается, что внутри он был совсем не то, чем, может быть, всю жизнь казался другим, да иногда, пожалуй, и себе».

Издательскую рецензию на «Мечту в шелку» и напечатавший ее брюсовский журнал «Весы» опубликовал критик В. П. Крапихфельд, о котором позднее Розанов написал заметку «Крапихфельд с полотенцем» («Мимолетное. 1914 год»). «Для нас по крайней мере „Весы“ как раз именно и представляются тем воздвигнутым мечтою г. Розанова мавзолеем, в котором „разделенность с живущими, как и с окружающей жизнью“, осуществлена в качестве если не „вечного“, то во всяком случае „несокрушимого“ начала» (Мир Божий. 1905. № 10. Отд. 2. С. 15).

С. 443. *...милый Коля...* — старший брат Розанова Н. В. Розанов. См. статью Розанова «Несколько замечаний к характеристике Н. В. Розанова» (Педагогический Ежемесячник. Рига, 1894. № 46. С. 355–358).

С. 444. *Акакий Акакиевич* — см. коммент. к с. 116.

Так, царства дивного весельный властелин... — Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1840): «Так царства дивного весельный господин».

...с простыней ~ Лаодикеи... (с. 445: *...с покрывалом Лаодикеи...*) — имеется в виду Левотея, морское божество в греческой мифологии, давшее Одиссею чудотворное покрывало, при помощи которого он достиг берега (Гомер. Одиссея. V, 333–353).

С. 445. *...огромную книгу «О понимании»...* — см. коммент. к с. 79.

«Ему приснилось во сне...» — Согласно легенде, записанной в «Хронике Быховца» (XVI в.), великий князь литовский Гедимин считается основателем столицы Литвы Вильно в 1323 г. Заснув после охоты, он увидел во сне железного волка, что было сочтено за указание построить на этом месте город.

...старшая догга Надюша... — родилась 6 ноября 1892 г., умерла 25 сентября 1893 г. и похоронена на Смоленском кладбище Петербурга.

С. 447. *...с кем я хотел бы лежать, пусть догадается.* — Розанов был похоронен рядом с К. Н. Леонтьевым на кладбище Черниговского скита вблизи Сергиева Посада.

Коллодиум — смесь спирта и эфира, открытая в 1847 г. и использовавшаяся в медицине как защитное и дезинфицирующее средство при повреждениях кожи.

ИЗ СТАРЫХ ПИСЕМ

Письма Влад. Серг. Соловьёва

(с. 448)

Автограф неизвестен.

Сохранился сброшюрованный оттиск статьи из журнала «Вопросы Жизни». 1905. № 10/11. С. 377–390 (двух первых разделов от слов «Теперь, когда я вынул тоненькую пачку телеграмм» до «разразилась (с 1 января 1894 г.) наша грубая и ненужная полеми-

ка») — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 51–57 об. Тексты «Вопросов жизни» и тех же разделов в ЗР совпадают.

Впервые напечатано: частично — Вопросы Жизни. 1905. № 10/11. Октябрь–ноябрь. С. 377–390; полностью — ЗР. 1907. № 2. С. 49–59; № 3. С. 54–62.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 462–489).

Печатается по тексту в журнале ЗР.

В журнале «Золотое Руно» при заглавии сделано примечание: «Начало этой статьи было помещено в ноябрьской книжке „Вопросов Жизни“ за 1905 г., но за прекращением журнала и невыходом декабрьской его книжки было прервано. Мы перепечатаваем и это начало для сохранения цельности впечатления и даже понятности общего смысла».

Оригиналы писем В. С. Соловьёва хранятся в РГБ: Ф. 249. М. 3823. Ед. хр. 11. Шрифтовые выделения в письмах Соловьёва принадлежат Розанову.

Двусторонняя переписка Соловьёва и Розанова впервые опубликована в кн.: *Козырев А. П. Соловьёв и гностики*. М., 2007. С. 332–363.

С. 449. «*Три разговора*» — книга В. С. Соловьёва «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (СПб., 1900).

С. 450. «*Оправдание добра*» — главный труд В. С. Соловьёва (СПб., 1897), подаренный Розанову 7 февраля 1897 г.

Иматра — водопад в южной Финляндии.

«*Англетер*» — здание построено в начале XIX в., в 1876 г. переоборудовано под гостиницу. Названия менялись: сначала «Шмидт-Англия» (по имени владелицы Терезы Шмидт), затем просто «Англия», в начале XX в. «Англетер».

С. 451. «*Это — покойники, объявления о покойниках*». — По этому поводу Розанов писал Соловьёву (не ранее 15 апреля 1897 г.): «В стремлении к правде, в усилии к простому благочестию, прямо в боязни захватить в сортир тот кусок газеты, где есть извещение о похоронах — ценнее поэтических страниц книги, ибо есть уже хорошая страница прожитой жизни» (Новый Журнал. Нью-Йорк. 1978. Кн. 130. С. 93).

...оттиск журнала «*Русское Обозрение*»... — Рецензия В. Соловьёва на книжку Розанова «Место христианства в истории» напечатана в № 9 этого журнала за 1890 г. (с. 470–476).

С. 453. ...«он как дикий осел...» — Быт 16, 12.

«...Магомет творил не свою волю». — См.: Соловьёв В. Магомет. Его жизнь и религиозное учение. СПб., 1896.

...полемики, какую мы вели в 1894 году. — См. статьи Розанова 1894 г. в т. 1 настоящего ПСС. С. 288–343.

...напечатать письма К. Н. Леонтьева ко мне... — Письма Леонтьева Розанов впервые опубликовал под названием «Из переписки К. Н. Леонтьева» (РВ. 1903. № 4. С. 633–652; № 5. С. 155–182; № 6. С. 1–30).

С. 454. ...«будем сидеть на реках Вавилонских и плакать»... — Пс 136, 1.

...статью Н. А. Бердяева. — Бердяев Н. А. К. Леонтьев — философ реакционной романтики // Вопросы Жизни. 1905. № 7. С. 165–198.

...«не исполнились времена и сроки»... — Ср.: Деян 1, 7 («Не ваше дело знать времена и сроки»).

...он замолган в литературе... — В письме Розанову 8 мая 1891 г. К. Н. Леонтьев писал об отношении к нему: «Публично обходят молчанием или (как Вл. Соловьёв) с большим уважением поминают имя, но всегда мимоходом и очень кратко».

С. 455. ...статья Соловьёва о Леонтьеве... — имеется в виду статья о К. Н. Леонтьеве в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. СПб., 1896. Т. 17. С. 562–564.

«*Наклейки*» ~ это две тетради... — Хранятся в частном собрании. Опубликовано в изд.: В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев. «Литературные изгнанники» (материалы неиздан-

ной книги). Переписка. Неопубликованные тексты. Статьи о К. Н. Леонтьеве. Комментарии. СПб.: Росток, 2014. С. 309–825 (разд. III: Тетради с наклейками).

Искусство вечно, жизнь коротка... — Источник выражения — «Афоризмы» Гиппократата.

«Ты, Петр, — камень...» — Мф 16, 18.

...ограниченности латинской ~ византийской, или аугсбургской, или женевской. — Речь идет о католицизме, православии, лютеранстве и кальвинизме.

С. 456. «*В тумане утреннем неверными шагами...*» — стихотворение В. С. Соловьёва (1884).

...одушевление громадного гранитного камня на пути к Иматре... — В. С. Соловьёв. Колдун-камень (1894).

...в воспоминаниях ~ г. Величко или г. Энгельгарта... — Величко В. Л. Вселенский христиан: Жизнь и творения В. С. Соловьёва // Книжки «Недели». 1901. Январь. С. 105–138 (отд., доп. изд.: СПб., 1902; 2-е изд.: 1903); Энгельгардт Н. А. Идеалы Вл. Соловьёва (вых. дан. см. в коммент. к с. 126).

Генрих Мореплавателю вечно плывал, открывая новые земли. — Сын португальского короля, прозванный Генрих Мореплавателю, организовал морские экспедиции для исследования западных берегов Африки, в 1420 г. открыл остров Мадейра.

«*Томление духа*» — выражение, неоднократно встречающееся в Книге Екклесиаст (1, 14, 17; 2, 17, 26; 4, 6; 6, 9).

Пегатался в «Книжках Недели»... — Книгу «Три разговора» Вл. Соловьёв печатал под названием «Под пальмами» в ежемесячном приложении к газете «Неделя». Разговор первый в «Книжках „Недели“» в октябре 1899 г., разговоры второй и третий — в том же приложении в ноябре 1899 г. и январе 1900 г. Предисловие к книге («О поддельном добре») появилось в газете «Россия» 13 мая 1900 г.

С. 457. *...«будущего века»...* — из Символа веры («12-й член»): «Чаю <...> жизни будущего века».

«*Вечная женственность*» — стихотворение В. С. Соловьёва «Das Ewig-Weibliche» (1898).

...с «тремя взглядами» (см. длинное его стихотворение...) — имеется в виду поэма Вл. Соловьёва «Три свидания (Москва — Лондон — Египет)» (1898).

...«Розовой Тени» его биографии. — См. в коммент. к с. 126.

С. 458. *...первого директора института экспериментальной медицины в Петербурге...* — Врач-венеролог Э.-Л. Ф. Шперк возглавлял этот институт с 1891 по 1894 г.

«*Педагогический Листок*» — журнал издавался в 1871–1918 гг. сначала в Петербурге, с 1894 г. — в Москве. Здесь имеется в виду журнал «Школьное Обозрение», где Ф. Э. Шперк напечатал статью «О характеристике гоголевского творчества (К вопросу о творческой психике)» (1894. № 14/16. 3–17 апреля).

«*Гражданин*» — см. коммент. к с. 144. В этой газете Ф. Э. Шперк напечатал статью «В. В. Розанов (Опыт характеристики)» (1893. 13 нояб. № 313).

«*Ежегодный сизифов труд*» ~ об ежегодной библиографии Як. Ник. Колубовского... — Статья Ф. Э. Шперка в «Новом Времени» (1896. 25 дек.). См. в кн.: Шперк Ф. Э. Литературная критика. Новосибирск, 2001. 19 января 1897 г. Розанов опубликовал в газете «Русский Труд» свою положительную рецензию на «Философский ежегодник» Я. Н. Колубовского (см. т. 1 настоящего ПСС. С. 470–472).

«*Русские критики*» — книга А. Л. Вольнского (1896), на которую Розанов написал рецензию, впервые опубликованную только в 28 томе Собр. соч. Розанова (2009). См. «Критическую заметку» (1896) в томе 1 настоящего ПСС. С. 450–455.

...Фед. Шперк по матери происходил от евреев... — Мать Шперка, еврейка Каролина Антоновна, урожденная Рейниш, была дочерью профессора истории Харьковского университета.

С. 459. «Ненужное оправдание» — Апокриф [Шперк Ф. Э.]. Ненужное оправдание // *НВ*. 1897. 26 февр. № 7543. С. 7; 1 марта. № 7546. С. 2.

...*справиться в контроле...* — см. коммент. к с. 409.

С. 460. ...*по поводу Декарта. Я предложил двух лиц...* — В итоге статью о Р. Декарте написал Н. Я. Грот. См. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Спб., 1893. Т. 10. С. 303—307.

С. 461. *Вот письмо его, без даты...* — Письмо написано в конце декабря 1895 — начале января 1896 г.

...«*христианской конгине живота*»... — слова из «просительной ектеньи», входящей в состав литургии.

...*в положение Ивана Ильича...* — имеется в виду повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» (1884—1886), опубликованная в 1886 г. в XII части Сочинений Л. Н. Толстого.

«*Только души его не коснись*»... — Иов 1, 11—12.

«*Из истории русского нигилизма*» — название сборника статей Н. Н. Страхова «Из истории литературного нигилизма (1861—1865 гг.)» (СПб., 1890).

С. 462. ...«*препарировал лягушек по образцу Базарова*». — Мотив из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862). Гл. 10 («лягушек резать»).

«*Россия и Европа*» (1871) — см. коммент. к с. 104.

«*Нельзя истребить вшей, не пожертвовав полушубком ~ за спину Данилевского прягутся гады и гадкое...*» — Розанов по памяти передает общий смысл письма В. С. Соловьёва Н. Н. Страхову от 23 августа 1890 г., написанного уже после его полемических статей о «России и Европе» Данилевского. Ср.: «...эта невинная книга <...> становится специальным кораном всех мерзавцев и глупцов, желающих погубить Россию и уготовить путь грядущему антихристу. Когда в каком-нибудь лесу засел неприятель, то вопрос не в том, хорош или дурен этот лес, а в том, как бы его получше поджечь» (Соловьёв В. С. Письма: В 4 т. СПб., 1908. Т. 1. С. 59).

С. 463. ...*китайской ~ войны...* — см. коммент. к с. 66.

Крегинский — см. коммент. к с. 301.

Персидский порошок — старинное средство от бытовых насекомых, измельченные цветочные головки кавказской и далматской ромашки.

...*я не могу восстановить года, когда они писались...* — Как установил А. П. Козырев («Соловьёв и гностики». М., 2007. С. 357), приведенное Розановым письмо Соловьёва написано 15 апреля 1897 г. Соловьёв сообщает, что послал Розанову третье издание книги «Духовные основы жизни» (СПб., 1897): «Посылаю вам свое последнее издание».

С. 464. ...*на Фоминой*. — Фомина неделя — следующая за Пасхальной, названа по имени апостола Фомы.

«*Неделя*» — еженедельная газета в Петербурге в 1866—1901 гг. При П. А. Гайдебурове (редактор-издатель в 1869—1893 гг.) представляла взгляды либеральных народников. Одним из ведущих сотрудников газеты был М. О. Меньшиков.

«*Русь*» — см. коммент. к с. 214.

Кельтиберы — название, присвоенное греками воинственным племенам древней Испании, происшедшим от смешения кельтов с иберийцами.

...*служба в военном министерстве...* — М. П. Соловьёв в 1881 г. был определен старшим помощником юрисконсульта военного министерства, а в 1890—1896 гг. там же служил делопроизводителем канцелярии.

...«*Гимны Богородицы*»... — речь идет о поэтическом цикле Ф. Петрарки «Канцоньере» (1336—1374), где Дама уподобляется Богородице.

С. 465. ...*в министерство г. Горемыкина...* — И. Л. Горемыкин был министром внутренних дел в 1895—1899 гг.

Мальштрем — водоворот в норвежских шхерах. Название вошло в разговорную речь после рассказа Эдгара По «Спуск в Мальштрем» (1841; рус. пер.: 1856).

«*Биржевые Ведомости*» — петербургская газета с 1880 по 1917 г. С ноября 1893 г. издатель-редактор С. М. Проппер выпускал два издания в день (утреннее и вечернее).

«*Свет*» — газета, издававшаяся в Петербурге в 1882–1917 гг., издатель-редактор В. В. Комаров. Розанов печатал в этой газете статьи без заглавий и подписей в 1896–1897 гг. (переизданы в 28 томе Собр. соч.).

С. 466. «*Одесский Листок*» — газета издавалась в Одессе в 1880 — 1917 гг., издатель-редактор В. В. Навроцкий. Розанов печатался в газете в 1898–1899 гг.

...в каком-то «запойном» московском листке... — С 1881 г. журналист В. М. Дорошевич сотрудничал в газете «Московский Листок» (1881–1918).

С. 467. *Суровый Дант не презирал сонета...* — одноименный сонет А. С. Пушкина (1830).

С. 468. *Симония* — продажа и покупка церковной должности или духовного сана, практиковавшаяся папами и королями.

«*Книжки „Недели“*» — ежемесячные приложения к газете «Неделя», с 1885 г. фактическим издателем которого стал П. А. Гайдебуров.

С. 469. *Завтра пятницу, десятом часу...* — Приведенная телеграмма отправлена из Царского Села и датирована 5 апреля 1896 г. (см.: Соловьёв В. С. Письма: В 4 т. СПб., 1911. Т. 3. С. 54).

...«*гниенной огненной*»... — Мф 5, 22 («геенна огненная»).

...«*скрежета зубовного*»... — Мф 8, 12 («скрежет зубов»).

«*Торгово-Промышленная Газета*» — выходила в Петербурге с 1893 по 1918 г. В 1898–1900 гг. по воскресеньям при ежедневной газете выходило «Литературное приложение», которое в 1899–1900 гг. редактировал и в котором печатался Розанов.

С. 470. *И остави нам долги наши...* — Мф 6, 12.

...«*вегно ходил перед Богом*». — Быт 5, 22.

...«*валаамовую ослицею*»... — Чис 22, 21–35.

...«*пойдем и не утомимся, полетим и не устанем*»... — Ис 40, 31.

«*Критическое Обозрение*» — журнал научной критики и библиографии в области наук историко-филологических, юридических, экономических и государственных. Издавался в Москве в 1879–1880 гг. Издатели-редакторы В. Ф. Миллер и М. М. Ковалевский.

С. 471. ...*при огонь трогательной надписи...* — На подаренной 7 февраля 1897 г. Розанову книге «Оправдание добра» была надпись: «Дорогому Василию Васильевичу Розанову, чудному, а нередко и чудному писателю от некогда его ненавидевшего, а ныне только редко видящего, но искренно любящего Владимира Соловьёва».

Соловьёв, видя, что я совсем нигде не гитаю из его книги, даже «Введения»... — В письме к Соловьёву (не ранее 15 апреля 1897 г.) Розанов сообщал: «Вот когда — только когда! — прочел I и VII гл. Вашего „Оправдания добра“, и просмотрел все остальные, т. е. план, и останавливаясь особенно везде на анализе стыда и даже мимолетных замечках о браке (моя тема, т. е. размышления)... Много я прочел — для себя мучительного, напр., ограничение значения традиции (в Предисл.); много поразительно сильного в аргументации» (Новый Журнал. 1978. Кн. 130. С. 92).

С. 472. ...«*евангельской заповеди (Мтф. V, 44)*»... — «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».

...«*нападении на мою книгу*»... — имеется в виду рецензия Ф. Э. Шперка на книгу Вл. Соловьёва «Оправдание добра» под названием «Ненужное оправдание» (вых дан. см. в коммент. к с. 459). См. также: Апокриф [Шперк Ф. Э.]. Об «Оправдании добра» // НВ. 1897. 3 марта. № 7548. С. 1.

С. 473. ...«*моею о нем насмешливою статьею по поводу его «Судьбы Пушкина*». — «Судьба Пушкина» — статья В. С. Соловьёва в «Вестнике Европы» (1897. № 9. С. 131–

156; отд. расширенное изд.: СПб., 1898). Розанов полемизировал с ней в статье «Еще о смерти Пушкина» (МИ. 1900. Т. 3. № 7/8 Апрель. С. 133–143).

С. 475. «*Покров Изиды*»... — покрывало древнеегипетской богини Изиды, хранительницы сокровенных тайн природы. Выражение вошло в широкое употребление благодаря стихотворению Ф. Шиллера «Истукан Изиды» (1795) о статуе, закрытой покрывалом.

«*Элевзинские таинства*» — см. коммент. к с. 141.

...в письме-статье о любви и поле... — Соловьёв С. Ответ Г. Чулкову по поводу его статьи «Поэзия Вл. Соловьёва» // Вопросы Жизни. 1905. № 8. С. 230–237.

...*Нафанаил*, «которого никто не видел»... — Ин 1, 47–51.

ПАМЯТИ кн. С. Н. ТРУБЕЦКОГО

(с. 475)

Сохранился черновой автограф: ИРЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 140. Л. 1, 2.

Печатается по тексту автографа.

Впервые напечатано в составе статьи: *Дмитриев А.* Неизвестная статья В. В. Розанова (некролог князю С. Н. Трубецкому) // Текст и традиция: Альманах. СПб.: Росток, 2015. Т. 3. С. 359–369.

В Собр. соч. Розанова не входило.

Князь *Трубецкой* Сергей Николаевич (1862–1905) — религиозный философ, публицист, общественный деятель; по определению Розанова, «выдающийся историк и теоретик философии» (*ВЧВ*. С. 218), «знарок еврейской литературы именно этой эпохи, когда слагалось учение о Логосе в среде палестинских и александрийских иудеев...» (*ВЕ*. С. 390).

Взаимоотношения Розанова и С. Трубецкого, последователя и друга Вл. Соловьёва, изначально оказались натянутыми, поскольку, вскоре после того как Розанов в начале 1890-х гг. вступил на публицистическое поприще, он начал довольно острую полемику с Соловьёвым. Сказывалось и существенное различие в их политических позициях и эстетических взглядах. Трубецкой в статье «Чувствительный и хладнокровный» (1896) язвительно писал о «сладострастном импрессионизме» Розанова, «исполненного елзя и горчицы», о его «вакхическом восторге, безумстве, иступлении и кликах», в издевательски-ёрническом тоне критиковал его консервативные убеждения (см.: *Трубецкой С. Н.*, кн. Собр. соч. М., 1907. Т. 1. С. 251–261). Сам же Трубецкой был сторонником конституционной монархии, видным земским деятелем; как типичный представитель московской профессуры, был «либерален с переходом в радикализм» (*РГО*. С. 168), за месяц до безвременной кончины стал первым выборным ректором Московского университета. Розанов сдержанно реагировал на колкости своего оппонента. И в дальнейшем упоминал о нем почти исключительно в связи с развернувшейся после кончины К. Н. Леонтьева журнальной полемикой о славянофильской историософии, имея в виду статью Трубецкого «Разочарованный славянофил» (1892), — как о писателе, преждевременно «хоронившем» якобы «умирающее» учение Хомякова, Киреевских и Аксаковых (см.: *КНУ*. С. 495; *ЛИ*. С. 126).

Некролог Трубецкому, скончавшемуся в разгар революционных событий (29 сентября 1905 г.), дал Розанову возможность с полной откровенностью высказаться как о своем их восприятии в целом, так и, в частности, о трагизме положения честного, независимого от узкопартийных пристрастий деятеля, оказавшегося в центре социально-политического противоборства.

О том, почему некролог своевременно не увидел свет, см.: *Дмитриев А.* Неизвестная статья В. В. Розанова. С. 361–363.

С. 475. *Сколько ~ рокового видела Россия за эти два года!* — Имеются в виду события Русско-японской войны (1904–1905) и первого года революции 1905–1907 гг.

...«*Метафизика в древней Греции*» и «*Учение о Логосе*»... — книги, представляющие собой, соответственно, магистерскую и докторскую диссертации Сергея Трубецкого: *Трубецкой С. Н., кн. 1) Метафизика в древней Греции. М., 1890. VIII, 510 с.; 2) Учение о Логосе в его истории: Философско-историческое исследование. М., 1900. Т. 1. [4], 463 с. (Отт. из «Учен. зап. Моск. ун-та. Отд. ист.-филол.». 1900; Вып. 27).*

...*служения сперва словом, а потом и делом...* — речь идет о выступлениях Трубецкого в печати по земскому и, особенно, университетскому вопросам в связи со студенческими беспорядками, где он последовательно проводил идею неуместности всякой, даже самой благонамеренной, политической проповеди с кафедры, а также о практической деятельности Трубецкого в качестве земского гласного, профессора Московского университета и в последний месяц жизни — его ректора.

С. 476. ...*черный флаг над ~ кораблем ~ жертвы на о. Крит...* — В древнегреческом мифе Тесея избавил афинян от обитавшего на Крите Минотавра — чудовища с головой быка, на съедение которому раз в девять лет посылались семь юношей и столько же девушек. По уговору с отцом, царем Эгеем, Тесея, возвращаясь в Афины, в случае победы должен был сменить черный флаг на белый, но забыл это сделать, из-за чего его отец, увидев корабль с черным флагом, решил, что сын погиб, и бросился в море.

...*нагали отмеривать обществу ~ свободу...* — имеется в виду прежде всего издание в 1905 г. Манифеста от 6 августа, учредившего Государственную Думу, и Манифеста от 17 октября, провозгласившего неприкосновенность личности и даровавшего свободу совести, слова, собраний и союзов.

...«*склероз артерий*»... — Об этом диагнозе спустя три дня после смерти князя писали газеты: «30 сентября, в 12 ч. ночи, проф. Н. В. Петровым было произведено вскрытие тела кн. Трубецкого. Результаты вскрытия показали, что смерть последовала от кровоизлияния в мозговые сосуды, в которых оказалось 120 грамм запекшейся крови (склероз сосудов)» (Князь Сергей Николаевич Трубецкой, первый борец за правду и свободу русского народа: В отзывах русской повременной печати, речах и воспоминаниях его последователей и почитателей / Собрал Энпе. СПб., 1905. С. 28). В газетах также публиковалось заявление профессора неврологии Л. В. Блюменау: «Вообще, склероз бывает очень редко у людей возраста покойного князя Трубецкого, т. е. около 40 лет; большей частью эта болезнь развивается у старых людей. Но склероз в сравнительно молодых годах — это признак тяжелого умственного волнения и потрясения» (Там же. С. 31).

...*не боялся доктор, его ~ осматривавший...* — В газетах сообщалось: «Кн. Трубецкой давно страдал пороком сердца и грудной жабой, а волнения, пережитые им со дня вступления в должность ректора, несомненно, еще более потрясли его организм. Перед принятием кн. Трубецким избрания на должность ректора его семья справлялась у известного невропатолога, позволит ли состояние здоровья Сергея Николаевича нести столь трудные и ответственные обязанности. Ответ был получен успокоительный. Печальная действительность показала, однако, всю ошибочность этого мнения» (Там же. С. 27).

...*в заседании Совета с председателем-министром.* — Это заседание Комиссии по выработке университетского устава состоялось 29 сентября под председательством министра народного просвещения В. Г. Глазова. Трубецкому сделалось дурно, он потерял сознание. Его перевезли в Клинический институт великой княгини Елены Павловны («Еленинскую клинику»), где он спустя полтора часа скончался от апоплексического удара.

...*ветер сильнее, руль почти не действует...* — Образ Розанова восходит, по-видимому, к поминальной речи, произнесенной над могилой Трубецкого психиатром Н. Н. Баженовым, в которой были такие слова: «Когда в сильную бурю расшвыряемые волны рвут с якорных цепей корабля, мечут их в разные стороны, разбивают мол и пристань... <...> Из бурной пучины <...> может выплыть к желанному берегу тот корабль, на который нагружено благо русского народа...» (Там же. С. 52, 53).

...он требовал в нем «единства действий» ~ в Петербурге и в Москве... — См.: «Князь Трубецкой выехал из Москвы в Петербург вечером 28-го сентября для представления высшему правительству следующего постановления совета Московского университета, состоявшегося в заседании 27-го сентября: „Совет, признавая публичные политические собрания в стенах университета нежелательными и недопустимыми, считает, что узаконение свободных общественных собраний и обеспечение личной неприкосновенности, составляющие насущную потребность страны и безотлагательно необходимые, несомненно, должны способствовать ограждению высшей школы от наплыва лиц, стремящихся удовлетворить эту потребность.» (Там же. С. 25).

...«в России все гестное умирает ~ деспотического режима в нашей России». — Розанов вольно передает слова студента 3-го курса юридического факультета Зака, произнесшего речь 3 октября на кладбище Донского монастыря «от имени всего московского студенчества». Он, в частности, сказал: «Все великое, все смелое, все свободное гибнет в цепях существующего режима... <...> Виновник смерти Сергея Николаевича один — это существующий строй, при котором задыхается весь народ, при котором не может быть свободной жизни и ее бескорыстных служителей...» (РС. 1905. 5 окт. № 260. С. 1; опечатки испр. по: Князь Сергей Николаевич Трубецкой, первый борец за правду... С. 51).

С. 477. ...студент математического факультета... — В автографе статьи слово «факультета» вписано синим редакторским карандашом над зачеркнутым розановским: «университета».

...после закрытия университета... — Московский университет был временно закрыт 21 сентября по постановлению Совета профессоров. В речи, обращенной к студентам, С. Н. Трубецкой объяснил причину такого решения: «Мы заручились уверенностью, что полиция сюда не войдет, но поставили два условия студентам: 1) чтобы собрания не нарушали академических занятий и чтобы они назначались явочным порядком; 2) чтобы на собрания не допускались посторонние лица. Условия эти, однако, неоднократно нарушались вами. Вчера здесь скопилось много больше трех тысяч человек, причем больше половины их — не студенты. Градоначальник уведомил меня, что в манеже находятся войска, готовые во всякую минуту приступить к активным действиям, если внешний порядок будет нарушен. При этом он сообщил мне, что в Москве есть группы лиц, которым на руку такие столкновения. <...> Университету даны основы для более широкого развития. Он — достояние всего русского общества. <...> ...университет теперь не может быть общественным собранием. Нельзя от нас требовать невозможного» (Там же. С. 18—19). См. также объявление о закрытии университета «ввиду состоявшегося вчера вечером в аудиториях юридического корпуса массового собрания посторонних лиц» (МВ. 1905. 22 сент. № 260. С. 1).

...эти п.... газеты... — сокращено слово «подлые».

...Немезида — богиня совсем другая, гем спокойная Клио... — богиня возмездия Немезида и муза истории Клио.

...время ~ Цицеронов и Катилин... — подразумевается заговор отпрыска знатного рода Луция Сергия Катилины, в 63 г. до н. э. объединившего часть римского нобилитета с целью вооруженным путем захватить власть. Попытка переворота была раскрыта и подавлена, правительственная армия разбила отряды повстанцев в Этрурии, куда сбежал Катилина. Марк Туллий Цицерон, враждебно к нему настроенный, в ряде речей использовал подавление заговора для своего утверждения в качестве одного из политических лидеров Рима.

...жирондистов... — В Конвенте эпохи Великой Французской революции либеральные жирондисты, защитники свободы личности, противостояли радикальным якобинцам-монтаньярам, сторонникам «республиканского террора».

...более ранние ~ философы. — Подразумеваются Анаксагор, Эмпедокл, Гераклит и др.

...одна из стихий Сущего... — Этими словами первоначально заканчивалась статья: далее в автографе была зачеркнута подпись: «В. Розанов».

...шел за гробом Трубецкого... — речь идет о проводах гроба в Петербурге на Николаевский (ныне Московский) вокзал 2 октября 1905 г. Процессия, сразу получившая характер политической манифестации, двигалась от Еленинской клиники по Кирочной улице и Суворовскому проспекту.

«Вечная память» — заупокойное богослужбное песнопение, исполняющееся во время торжественного поминовения усопших.

...с песенками иного содержания. — В газетах упоминалось, что студенты, помимо церковных песнопений, пели «Вы жертвою пали в борьбе роковой!», Марсельезу и другие революционные песни (Князь Сергей Николаевич Трубецкой, первый борец за правду... С. 37, 43). По отбытии поезда с телом в Москву началось «демонстративное шествие» толпы по Невскому проспекту с красными флагами, которая была «рассеяна вызванными нарядами полиции, жандармов и воинскими кавалерийскими частями» (Там же. С. 43). То же происходило на другой день и в Москве. В. А. Грингмут, редактор-издатель «Московских Ведомостей», отмечал: «Погребальное пение, сопровождавшее по церковному чину похоронную процессию с телом князя С. Н. Трубецкого, прерывалось и заглушалось диким оранием дерзких революционных песен, исполнявшихся разбушевавшеюся многотысячною толпой бунтующей молодежи» (МВ. 1905. 5 окт. № 264. С. 1).

Т. Н. ГРАНОВСКИЙ
(К 50-летию его кончины)
(с. 478)

Автограф неизвестен.

Сохранялась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 178. Л. 1.

Впервые напечатано: *НВ*. 1905. 7 окт. № 10630. С. 3—4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 637—647).

Печатается по тексту первой публикации.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк, глава московских западников. С 1839 г. профессор всеобщей истории Московского университета. См. статью о нем О. В. Кулешовой в «Розановской энциклопедии» (с. 296—298).

С. 478. *А он, мятежный, ищет бури...* — М. Ю. Лермонтов. Парус (1832).

С. 479. *Пелазги* (пеласги) — название, данное греками народам, населявшим Грецию до возникновения Микенской цивилизации (до XII в. до н. э.).

...*Карамзин с его «Бедною Лизою» и «Письмами русского путешественника»...* — Н. М. Карамзин. Бедная Лиза (1791); Письма русского путешественника (1794—1795).

...*на литературном рынке появлялись то «Войнаровский», то «Нос», то «Пиковая дама»...* — К. Ф. Рылеев. Войнаровский (1823—1824); Н. В. Гоголь. Нос (1835); А. С. Пушкин. Пиковая дама (1833).

С. 481. ...*со времени его путешествия за границу...* — Весной 1836 г. Т. Н. Грановский был на три года командирован за границу для приготовления к профессорскому званию по кафедре всемирной истории Московского университета.

...*о городе ~ тема Грегоровиуса и Фюстель-де-Куланжа.* — Розанов имеет в виду труды Ф. Грегоровиуса «История города Рима в Средние века» (1859—1872; рус. пер.: 1883—1888) и «История города Афины в Средние века» (1889; рус. пер.: 1900) и Н. Д. Фюстель де Куланжа «Древний город» (1864; рус. пер. под назв. «Древнее общество»: 1867—1868).

Его монография об аббате Сугерие... — Осенью 1849 г. Т. Н. Грановский защитил докторскую диссертацию по теме «Аббат Сугерий», посвященную настоятелю (с 1122 г.) аббатства Сен-Дени; монография отдельным изданием вышла в том же году (СПб.).

Инервация (иннервация) — снабжение органов и тканей нервами.

С. 482. *...его друга и биографа Станкевича...* — Неточность: биографом Грановского был не Н. В. Станкевич, а его младший брат Александр. См.: *Станкевич А. Тимофей Николаевич Грановский: (Биогр. очерк)*. М., 1869; 3-е изд.: 1914.

...писал он одному другу... — письмо Т. Н. Грановского к К. Д. Кавелину 19–20 апреля 1855 г. (Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2. С. 455).

С. 483. «*Русская Беседа*» — ежемесячный журнал, орган славянофилов, выходил в Москве с 1856 по 1860 г.; издатель А. И. Кошелев.

С. 484. *...Пикулин возвратился из-за границы...* — Московский терапевт П. Л. Пикулин был лечащим врачом Т. Н. Грановского.

«*Полярная Звезда*» — альманах, издавался А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым в 1855–1866 гг. сначала в Лондоне, затем в Женеве.

С. 485. *...ее преемственно занимали Кудрявцев, Ешевский, в настоящее время В. И. Герье.* — Кафедра всеобщей истории в Московском университете была создана в 1839 г., и первым ее руководителем стал Т. Н. Грановский; после его смерти Московский университет выбрал С. В. Ешевского в его преемники, но Министерство не отпустило его из Казани. В 1850 г. в университете был создан историко-филологический факультет, где лекции читали П. Н. Кудрявцев по истории Древнего Востока, Греции и Рима, С. В. Ешевский — по всеобщей истории, В. И. Герье — по истории Средних веков.

...кроме «руководств» г. Иловайского... — Учебники Д. И. Иловайского по русской и всеобщей истории, следовавшие официальным гимназическим программам, были широко распространены; Розанов не раз выступал с их критикой.

...историю-диссертацию ~ проф. Лугицкого. — *Лугицкий И. В.* Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции: Диссертация на степень магистра всеобщей истории. Киев, 1871.

С. 486. *...конспекты ~ лекций ~ даже не опубликовано.* — Издано позднее: 1) Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья: (Авторский конспект и записи слушателей). М., 1961; 2) Лекции Т. Н. Грановского по истории позднего средневековья: (Записи слушателей с авторской правкой). М., 1971.

СОФИЯ БЛАГОДУШНАЯ. КАК ОН ПОШЕЛ В НАРОД
Повесть из жизни русского заграничного духовенства
(Церковные вопросы и реформы)
Том второй. С.-Петербург. 1905
 (с. 486)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1905. 8 окт. № 10631. С. 11.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 25 (с. 649–650).

Печатается по тексту первой публикации.

София (Софья) Благодущная — псевдоним писателя Евфимия Созонтовича Швидченко (1870 — не ранее 1905), автора книг «Рождественская елка, ее происхождение, смысл, значение и программа» (СПб., 1889), «Святочная хрестоматия. Литературно-музыкально-этнографический сборник для семьи и школы» (СПб., 1903), перед заглавием: Е. Швидченко (Б. Быстров). Книга «Как он пошел в народ» вышла в двух томах (СПб., 1905).

С. 487. ...о созыве ~ церковного всероссийского Собора... — С начала 1900-х гг. началась подготовка к созыву первого с конца XVII в. Поместного собора Русской церкви, который открылся только 15 августа 1917 г. и заседал до 20 сентября 1918 г.

С. 488. «Бог есть Бог живых, а не Бог мертвых»... — Ср.: Мф 22, 32 («Бог не есть Бог мертвых, но живых»).

...«свегезку», вынесенную из катакомб... — По преданию, первые христиане скрывались от гонителей в римских катакомбах (подземных погребальных галереях под церковью Св. Себастьяна).

В. ГОРЛЕНКО. ОТБЛЕСКИ. ЗАМЕТКИ ПО СЛОВЕСНОСТИ И ИСКУССТВУ

СПб. 1905. стр. 236

(с. 488)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВип.* 1905. 7 дек. № 10679. С. 10.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 29 (с. 739—740).

Печатается по тексту первой публикации

Горленко Василий Петрович (1853—1907) — критик, искусствовед. Розанов писал о нем: «Это был любимый мною прекрасный писатель...» (*СХ.* С. 370). Второе издание книги Горленко «Отблески» вышло в 1908 г. Его письмо к Розанову хранится в РГБ (Ф. 249. М. 3825).

С. 488. «Гимн хозяину» — кантата М. И. Глинки для тенора, смешанного хора и оркестра на слова Н. А. Маркевича (1838).

«Роман Бальзака и киевской помещицы» — история взаимоотношений О. де Бальзака с Эвелиной Ганской.

...матери Гёте и Жорж-Занд. — Катарина Элизабет Гёте и Антуаннетта Софи Виктория Дюпен.

С. 489. ...любви г-жи Сталь к итальянскому поэту Леонти... — Здесь ошибка в фамилии, скорее всего, из-за неверно разобранный наборщиком рукописи Розанова. Жермена де Сталь любила поэта Винченцо Монти.

...об Эдгаре Поэ Лебриера... — речь идет о книге: *Louvrière Émile.* Edgar Poe, sa vie et son oeuvre: Étude de psychologie pathologique. Paris, 1904.

...«как сорок тысяч братьев»... — У. Шекспир. Гамлет. V, 1.

А. В. НИКИТЕНКО. МОЯ ПОВЕСТЬ О САМОМ СЕБЕ И О ТОМ, «ЧЕМУ СВИДЕТЕЛЬ В ЖИЗНИ БЫЛ». ЗАПИСКИ И ДНЕВНИК. 1804—1877 С портретом автора. Издание 2-е, исправленное и дополненное по рукописи под редакцией, с примечаниями и алфавитным указателем М. К. Лемке.

С.-Петербург. 1905. Два тома. Книгоиздательство М. В. Пирожкова.

Исторический отдел № 12

(с. 489)

Автограф неизвестен.

Сохранились газетные гранки — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 91—92. В конце гранок набрана подпись: В. Розанов. Датируется по году выхода издания в свет.

Прижизненная публикация не установлена.

Печатается впервые по тексту гранок.

Никитенко Александр Васильевич (1804—1877) — мемуарист, историк литературы, профессор С.-Петербургского университета (1853—1864), академик (с 1853 г.), цензор. Его книга «Моя повесть о самом себе и о том, „чему свидетель в жизни был,» печаталась как «Дневник» в «Русской Старине» (1888—1892); отдельное издание вышло в 1893 г.

С. 489. ...«Истории цензуры в России»... — речь идет об «Очерках по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия» М. К. Лемке. См. рецензию Розанова на эту книгу в настоящем томе ПСС. С. 381—387.

С. 490. ...с «Записками» *Пирогова*... — имеется в виду главная книга врача и мемуариста Н. И. Пирогова «Вопросы жизни. Дневник старого врача» (СПб., 1885); впервые опубликована в журнале «Русское Слово» (1884—1887) под названием «Вопросы жизни. Посмертные записки Пирогова».

С. 491. ...в *Лесном, на даге*... — Лесной — исторический район на севере Петербурга, получивший название от переведенного сюда в 1811 г. Практического лесного училища (позже Лесной корпус, Лесной институт, ныне Лесотехническая академия). В XIX в. — дачная местность.

Во время войны англичан с китайцами... — речь идет о Первой опиумной войне (1840—1842).

НА ЧТЕНИЯХ г. БЕРДЯЕВА

(с. 491)

Автограф — ОР РГБ. Ф. 386. К. 58. Ед. хр. 28. Л. 1—2.

Печатается впервые по автографу.

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — философ и писатель. Об отношениях Розанова с ним см. статью Ю. Ю. Чёрного в «Розановской энциклопедии» (с. 129—134).

С. 491. *Тенишевское удилище* — основано кн. В. Н. Тенишевым в 1898 г. (Петербург, Моховая, 33—35); в нем учился сын Розанова Василий.

...на «средах» *Вяг. И. Иванова*... — В Петербурге, в квартире Вяч. Иванова на «башне», на углу Тверской и Таврической улиц, в 1905—1907 гг. проходили встречи интеллигенции, на которых председательствовал Бердяев.

...«*поэта страсти нежной*»... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. 1, 8.

С. 492. ...о *Чехове в том же здании год назад*. — Лекцию «Чехов как мыслитель» С. Н. Булгаков читал в Петербурге осенью 1904 г. (она опубликована в журнале «Новый Путь» (1904. № 10 и 11; отд. изд.: Киев, 1905), что позволяет датировать настоящую статью концом 1905 г.

«*От марксизма к идеализму*» — сборник статей 1896—1903 гг. С. Н. Булгакова (СПб., 1903).

Бес благородный скуки тайной. — Н. А. Некрасов. «Отрадно видеть, что находит...» (1845).

МЕЧТА «ТРЕТЬЕГО РИМА»

(с. 493)

Сохранились гранки — РГАЛИ.Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 36.

Печатается впервые по тексту гранок.

Калитин Константин Александрович — молодой литератор, умерший в 1905 г. Речь идет о книге: *Калитин* К. А. Третий Рим: (День в Москве). СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1905. 107 с.

С. 494. «Свет» — см. коммент. к с. 465.

«*Маркизова лужа*» — ироничное название Невской губы — части Финского залива от устья Невы до острова Котлин, либо всего Финского залива.

...одна из светлых пуговиц... — подразумевается чиновник (по блестящим металлическим пуговицам на его форменной одежде).

1906

ПАМЯТИ Н. И. СТОРОЖЕНКО

(с. 496)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 178. Л. 4.

Впервые напечатано: *НВ*. 1906. 18 янв. № 10721. С. 3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 11—13).

Печатается по тексту первой публикации.

О Н. И. Стороженко см. преамбулу к коммент. на с. 745.

С. 496. ...изугению подверглись предшественники Шекспира, особенно Марло и Р. Грин... — Стороженко Н. И. 1) Предшественники Шекспира: Эпизод из истории английской драмы в эпоху Елисаветы: Лили и Марло. СПб., 1872. Т. 1; 2) Роберт Грин, его жизнь и произведения: Критическое исследование. М., 1878.

С. 497. ...лекции Н. И. Стороженко ~ литографировались. — В РНБ сохранились литографированные рукописи лекций Стороженко: 1) Всеобщая литература. 1876—77 acad. год. М., 1877. 112 с.; 2) Данте. М., 1891. 285 с.; 3) История европейской литературы XV—XVI вв.: (Эпоха Возрождения). М., 1889, 1895; 4) История новой английской литературы. М., 1889. 286 с.; 5) Лекции о Макбете. М., 1889. 72 с.; 6) Лекции по истории драмы и театра. М., 1899. 342 с.; 7) Средневековая литература. М., 1888. 741 с.

С. 498. *Елисейские поля* — в греческой мифологии часть загробного мира, где пребывают праведники.

ПАМЯТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

(28 января 1881 — 1906)

(с. 498)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 3, За.

Впервые напечатано: *НВ*. 1906. 27 янв. № 10730. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 198—205).

Печатается по тексту первой публикации.

См. статью о Федоре Михайловиче Достоевском (1821—1881) в «Розановской энциклопедии» (с. 344—348).

С. 499. ...с ревью о Пушкине, с рассказами «Кроткая», «Сон смешного человека», «Мальчик у Христа на елке»... — речь идет о «Дневнике писателя» Достоевского за август 1880 г., ноябрь 1876 г., апрель 1877 г. и январь 1876 г.

«Сивиллины книги» — античные стихотворные сборники (II в. до н. э. — IV в. н. э.), которые содержали произнесенные сивиллами пророчества на древнегреческом языке.

«О аде и адском огне...», «Можно ли быть судьей себе подобных?..», «О молитве, о любви...», «Некто о господах и слугах...» — названия тем в главе III («Из бесед и поучений старца Зосимы») книги шестой «Братьев Карамазовых».

...в 1880 г., в журнале «Русский Вестник»... — «Братья Карамазовы» печатались в «Русском Вестнике» с № 1 за 1879 г. по № 11 за 1880 г.

С. 500. «Время» — литературный и политический журнал, выходивший в Петербурге в 1861–1863 гг. Издатель-редактор М. М. Достоевский при ближайшем участии Ф. М. Достоевского.

«Эпоха» — петербургский ежемесячный литературно-политический журнал, издававшийся в 1864–1865 гг. братьями Достоевскими взамен их журнала «Время» (после его временного закрытия за статью Н. Н. Страхова «Роковой вопрос»).

С. 500–501. «Погвенное» собрал у нас только Даль... — Розанов называет «Пословицы русского народа» (М., 1862) и «Толковый словарь живого великорусского языка» (М., 1861–1867. Т. 1–4).

С. 501. ...о совете Христа: всегда вытаскивать овцу из ямы, всегда легить больного... — Мф 12, 10–11.

«Погва, — говорил Достоевский...» — Понятие почвы Достоевский заимствовал у К. Аксакова, употребившего его в 1847 г.: «Мы похожи на растения, обнажившие от почвы свои корни» (Московский ученый и литературный сборник на 1847 год. М., 1847. С. 141). Литературным манифестом почвенничества стало «Объявление о подписке на журнал „Время“ на 1861 год»: «Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал».

...у него навертывались слезы ~ неосторожно выражался об И. Христе. — Источник — биографическая статья О. Ф. Миллера (Достоевский Ф. М. ПСС. СПб., 1883. Т. 1. С. 133).

...«12 фратрий Аттики»... — Фратрия — первоначальный род, из которого выделились дочерние роды, она характеризовалась единым культом, общим владением и была боевой единицей в ополчении. В Афинах с древнейших времен существовало 12 фратрий (примерно по 30 дочерних родов в каждой).

...«трибы» Лациума... — Триба (от лат. «делю, разделяю») — территориальный и избирательный округ Древнего Рима. Древнейшее население Рима делилось на три трибы, в каждую из которых входило 100, затем — 300 родов. Лациум — регион в античной Италии с центром в Риме.

С. 502. «Галикализм» — точнее: галлианизм, движение во Франции, требовавшее ограничить папскую власть и усилить контроль государства над Церковью.

«Отрясите прах Иерусалима от ног своих» — Мф 10, 14 («отряхните прах ног ваших»).

«И кто не возненавидит отца и мать свою...» — Лк 14, 26.

«Воспоминания» — Страхов Н. Н. Воспоминания о Ф. М. Достоевском // Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. СПб.: Изд. А. Г. Достоевской, 1883. Т. 1.

...новое «Полное собрание»... — Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. СПб.: Изд. А. Г. Достоевской, 1904–1906. Т. 1–14.

...важные отрывки из романа «Бесы»... — речь идет об исключенной при издании девятой главе («У Тихона») второй части романа Достоевского «Бесы»; впервые опубликована А. Г. Достоевской в 1905 г. в восьмом томе ПСС.

«Не странно ли, что я всегда ~ любил обдумывать ~ нежели писать их». — Розанов неточно пересказывает начало 1-й главы «Униженных и оскорбленных» Достоевского.

С. 503. ...*Иона к Ниневиш ~ «вот ее поपालит Господь».* — Иона 3, 4 («еще сорок дней, — и Ниневия будет разрушена!»).

...«русского инока» (целая глава об этом)... — Книга шестая «Братьев Карамазовых» называется «Русский инок».

...выпускная 1-й номер «Дневника». — Во вступлении к № 1 «Дневника писателя» Достоевский отмечал: «В Китае я бы отлично писал; здесь это гораздо труднее. Там все предусмотрено и все рассчитано на тысячу лет; здесь же все вверх дном на тысячу лет».

...защиты туток в английских газетах. — См.: Дневник писателя. 1877. Сентябрь. Гл. 1, § III.

С. 504. ...«преходит лик міра сего»... — 1 Ин 2, 17.

...Добролюбов, слышно, ходит где-то странником... — Поэт А. М. Добролюбов образовал в 1906 г. секту за Волгой. Розанов писал о нем в статье «Декаденты» (РВ. 1896. № 4. С. 271—282; вошла в его книгу «Религия и культура» под названием «О символистах и декадентах»).

Влас — герой стихотворения Н. А. Некрасова «Влас» (1855).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС У ДОСТОЕВСКОГО (К 25-летию его кончины) (с. 505)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 3—4. В вырезке авторская правка в первом предложении: вместо «и не так шумно» — «и не так нужна».

Впервые напечатано: РС. 1906. 28 янв. № 27. С. 1—2; 30 янв. № 29. С. 1. Подпись: В. Елецкий.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 490—502).

Печатается по тексту первой публикации с учетом авторской правки.

С. 505. ...писал когда-то Катков. — Юбилейные статьи М. Н. Каткова см. во втором томе «Сочинений» Каткова в 6 томах (СПб.: Росток, 2011). О значении юбилея он писал в статье «Празднование 200-летнего юбилея Петра Великого»: «Празднуя юбилей рождения Петра, новое государство русское, Российская Империя, празднует свой собственный юбилей» (Там же. С. 707).

...«юбилеи» установлены еще ветхозаветным Иеговою... — Господь на горе Синай предписал своему народу соблюдение юбилеев (Лев 25, 10—11).

...о «мнении легионов» по поводу заговора бонапартистов... — см. «Дневник писателя. 1877. Май—июнь. Гл. 3, § IV: Черное войско. Мнение легионеров как новый элемент цивилизации.

...о Пие IX... — об этом папе римском в «Дневнике писателя» речь идет в статьях за май—июнь 1877 г. Гл. 1, § 1 и за сентябрь 1877 г. Гл. 1, § 3.

...и Бисмарке... — О рейсканцлере Германской империи О. фон Бисмарке Достоевский неоднократно писал в «Дневнике писателя» (ПСС. Т. 21—27).

...о судебных процессах в петербургском окружном суде. — «По поводу дела Кроненберга» («Дневник писателя». 1876. Февраль. Гл. 2).

С. 506. ...«душу міра» (любимое понятие Соловьёва)... — Соловьёв Вл. Россия и вселенская церковь. Париж, 1889. Кн. 3. Гл. 4: Душа міра — основа творения, пространства, времени и механической причинности. Ср. стихотворение Гёте «Душа міра» (1802).

«И кто бережет душу свою...» — Мф 10, 39.

...10 томов *in quarto* ~ Херасковым... — «Творения» М. М. Хераскова (*in quarto*) в 12 частях были отпечатаны в Университетской типографии Москвы в 1796—1803 гг.

С. 506—507. *Но всякое приобретение...* — Здесь и далее цитируются строки из гл. XI части VI «Анны Карениной» Толстого.

С. 507. *...события этого года...* — имеется в виду революция 1905 г.

...недоразумений между княжною Марией Болконской и толпою мужиков... — Л. Н. Толстой. Война и мир. 3, 2, XI.

Английский клуб — создан в Петербурге в 1770 г., в Москве — в 1772 г. Славился своими обедами и карточной игрой.

...несколько пламеннейших страниц. — Имеется в виду «Ряд статей о русской литературе» (1861) Ф. М. Достоевского, в частности «Г-н — бов и вопрос об искусстве».

С. 508. «*После меня хоть потоп*» — Фраза «*После нас хоть потоп*» приписывается фаворитке французского короля Людовика XV маркизе Помпадур.

«*Решает насчет справедливости...*» — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя 1877 г. Февраль. Гл. 2, § II: «Злоба дня».

С. 509. *...раздату земель в Малороссии...* — происходила в конце XVII — начале XVIII в. В XIX в. раздача земель на условиях службы прекратилась.

...гервонным валетом... — т. е. преступником. «Клуб червонных валетов» — банда воров и мошенников, действовавшая в 1871—1875 гг. Базировалась в Москве и гастролировала в Петербурге, Туле, Тамбове и Нижнем Новгороде.

С. 510. *...заколотили палками обоих Гракхов.* — Братья Тиберий и Гай Гракхи — римские народные трибуны. В 133 г. до н. э. Тиберий был убит палками сенаторов. Гай в 121 г. до н. э. бежал от сенаторов и, не желая попасть живым в руки врагов, принял смертельный удар от верного раба.

С. 511. *Кружок Петрашевского* — общество молодежи в Петербурге в 1844—1849 гг. Достоевский в числе 21 члена кружка был приговорен к расстрелу, и 22 декабря 1849 г. перед исполнением приговора расстрел был заменен ему 4-летней каторгой.

В противоположность Стиве... — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя 1877 г. Февраль. Гл. 2, § II: «Злоба дня».

«*Влас*» — стихотворение Н. А. Некрасова (1855).

С. 512. *Характернейшая герта еще в том...* — из того же § «Дневника писателя 1877 г.» Ф. М. Достоевского.

Разлад в убеждениях... — Там же.

...в «Русском Вестнике» Каткова. — С 1856 г. и до смерти в 1887 г. М. Н. Катков был редактором московского журнала «Русский Вестник» (выходил в 1856—1906 гг.). Розанов печатался в нем в 1889—1896, 1902, 1903 гг.).

...«переломить шпагу над головой»... — Знак лишения чести дворянина, осужденного по суду.

С. 513. *...«герного духовенства»...* — монашествующего.

...проповедь ~ Антония (в Воьлини)... — Епископ Воьлинский Антоний (Храповицкий) в 1905—1906 гг. выступал с многочисленными проповедями за русское православие против католицизма и польского сепаратизма. 21 октября 1905 г. владыка Антоний в Житомирском кафедральном соборе произнес проповедь о личности Государя Николая II с обличением революционных событий.

...октябрьская проповедь в Москве... — 16 октября 1905 г. архиепископ Никон (Рождественский) произнес проповедь, опубликованную в тот же день в «Московских Ведомостях» под названием «Что нам делать в эти тревожные дни?». Он призывал «дать отпор врагам Царя и Отечества», что вызвало нападки в либеральной прессе.

...«Убирайся с этого места: я стану на нем». — 5 июля 1792 г. парижский роялистский журнал «Рокамболь» напечатал «Историю революции», состоящую из одной этой фразы. Выражение восходит к Библии (Ис 49, 20) и неоднократно использовалось в истории.

С. 515. ...«по Владимирской»... — название тракта от Москвы на Владимир и далее в Сибирь, по которой до проведения железной дороги отправлялись ссыльные на каторгу.

...«отрежут голову Шекспиру во имя идеи арифметического уравнения...» — ср. в записной тетради 1880—1881 гг. Достоевского: «Парижская коммуна и западный социализм не хотят лучших, а хотят равенства и отрубят голову Шекспиру и Рафаэлю» (ПСС. Л., 1981. Т. 27. С. 54).

...«в стане погибающих за великое дело любви»... — Н. А. Некрасов. Рыцарь на час (1862).

С. 516. «Нет, русские и христиане не поступят так с Шекспиром, как социалисты...» — Цитата из Достоевского сочинена Розановым по собственному разумению (довольно обычный прием в его творчестве).

...не так поступали с Новиковым и Радищевым... — просветитель Н. И. Новиков по приказу Екатерины II был заключен в 1792—1796 гг. в Шлиссельбургскую крепость. Писатель А. Н. Радищев был в 1790 г. сослан в Сибирь (до 1797 г.).

ДВА СЛОВА В ЗАЩИТУ ДОСТОЕВСКОГО КАК ЧЕЛОВЕКА

(с. 516)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 6.

Впервые напечатано: РС. 1906. 22 февр. № 51. С. 2. Подпись: Ор—ъ.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 25—29).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 516. ...статью ~ Измайлова о Достоевском... — Измайлов А. Памяти Ф. М. Достоевского // РС. 1906. 28 янв. № 27.

...таковую же ~ Шестова... — Шестов Л. Пророческий дар: (К 25-летию смерти Ф. М. Достоевского) // Полярная Звезда. СПб., 1906. № 7. 27 янв.

С. 517. ...взять Константинополь, но и, выселив татар из Крыма... — См.: Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1877 г. Март. Гл. 1, § 1: Еще раз о том, что Константинополь, рано ли, поздно ли, а должен быть наш. Достоевский призывал к выселению татар из Крыма, опасаясь их роли форпоста национальной идеологии (Дневник писателя. 1876. Сентябрь. Гл. 2, § III). Вместе с тем Достоевский писал: «Веру татарина никогда тоже не унижал русский, никогда не притеснял и не гнал» (там же).

«Апофеоз беспогвенности» — Шестов Л. Апофеоз беспочвенности: (Опыт адогматического мышления). СПб., 1905.

«Ницше и Достоевский» — Точнее: Шестов Л. Достоевский и Нитше: (Философия трагедии). СПб., 1903 (впервые: МИ. 1902. № 2—10).

...в глухом и грязном переулке... — Кузнечный переулок близ одноименного рынка.

...А. Н. Майкова, поэта и гинovníка цензуры. — Майков служил в Комитете цензуры иностранной в Петербурге с 1852 по 1897 г. С 1882 г. состоял его председателем.

«История государства Российского» — см. коммент. к с. 173. В «Дневнике писателя. 1873» («Одна из современных фальшей») Достоевский вспоминал: «Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец».

«Мы воспитывались не так, как теперь наши дети, без родины и истории»... — Вариации на тему той же главы «Одна из современных фальшей» из «Дневника писателя. 1873», где речь идет о петрашевцах.

С. 518. ...«Русский Вестник» Каткова ~ вокруг Достоевского... — В этом журнале увидели свет романы Достоевского «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868–1869), «Бесы» (1871–1872) и «Братья Карамазовы» (1879–1880).

...«Катковым и Леонтьевым», и лицеем, и «греко-латинским словарем»... — речь идет о П. М. Леонтьеве, основавшем в 1867 г. в Москве вместе с Н. М. Катковым Лицей в память цесаревича Николая (1843–1865), известный как Катковский лицей. О словаре см. коммент. к с. 103.

Ауспиции — предзнаменование на будущее (лат.).

...в «Угнетенных и оскорбленных»... — Точнее, роман Достоевского «Униженные и оскорбленные» (1861).

С. 519. *Балалайкин* — персонаж книги очерков и рассказов «В среде умеренности и аккуратности» (1874–1881) и романа «Современная идиллия» (1877–1883) М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Крымский мост — построен в 1872–1873 гг.; металлический с двумя решетчатыми балочными пролетными строениями (автор проекта В. К. Шпейер); в 1936 г. был разобран. Назван по близлежавшему Крымскому двору, на котором в XVI–XVII вв. останавливались послы, гонцы и торговцы из Крымского ханства.

Шехеразада (Шехерезада) — рассказчица сказок в сборнике «Тысяча и одна ночь».

Глаголом жги сердца людей! — А. С. Пушкин. Пророк (1828).

...маньчжурско-корейскую действительность... — имеется в виду Русско-японская война на 1904–1905 гг.

...у Платона опыты его «политики» с сиракузскими тиранами... — древнегреческий философ Платон трижды посещал Сиракузы на Сицилии (387–361 гг. до н. э.), где правитель Дионисий Старший насильно удерживал его. «Политика, или Государство» — диалог Платона.

С. 520. *Может собственных Платонов...* — М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на всероссийский престол Ее Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны (1747).

...творца «Политики»... — то есть Платона.

«Математические нагала натуральной философии» — главный труд И. Ньютона (1687).

ПАМЯТИ Вл. К. ПЕТЕРСЕНА

(с. 520)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: НВ. 1906. 22 февр. № 10755. С. 13. Подпись: *Друг.*

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 29–31).

Печатается по тексту первой публикации.

Петерсен Владимир Карлович (1842–1906) — журналист, печатавшийся в «Новом Времени» под псевдонимом: *А-тэ*. Розанов вел с ним длительную полемику, опубликованную в книге «Семейный вопрос в России».

С. 520. ...в военном мундире... — В. К. Петерсен был инженером-полковником, в 1861–1890 гг. заведовал учебной частью Николаевской инженерной академии, дослужился до чина полковника Генштаба.

Альцест — герой комедии Мольера «Мизантроп» (1666).

С. 521. *...нерехтским кампанилам...* — Образ семи церквей и колокольни церкви Богоявления (Никольский храм) в г. Нерехта Костромской губернии возникли у Розанова в связи с чтением только что вышедшего «Дневника русской женщины» (1905) Е. А. Дьяконовой, назвавшей родную Нерехту местом, где «живет душа русской женщины». Розанов неоднократно обращался к «Дневнику» Дьяконовой (см.: *Розанов В.* Женский университет в Москве // *НВ.* 1906. 16 апр. № 10807). *Кампанила* — в итальянской архитектуре квадратная (реже круглая) в основании колокольня.

...падения башни св. Марка... — Колокольня собора св. Марка в Венеции неожиданно рухнула 14 июля 1902 г. См. статью Розанова «К падению башни св. Марка» в его книге «Итальянские впечатления». Башня восстановлена в 1912 г.

«Полуби нас герненькими, беленькими — всякий полюбит». — Слова актера М. С. Щепкина, ставшие крылатыми благодаря Н. В. Гоголю, который использовал в одной из первоначальных редакций второго тома поэмы «Мертвые души» (1842).

Д. А. СПЕРАНСКИЙ. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Выпуск 1. Рассказ о двух братьях. Первоисточник сказаний о Кашее, равно как и многих других сюжетов народного словесного творчества.

Текст древнего египетского рассказа в русском переводе и его историко-литературное значение. СПб. 1906. 264 с.

(с. 522)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 76—86. Впервые напечатано: *НВип.* 1906. 29 марта. № 10790. С. 11.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 33).

Печатается по тексту первой публикации.

Сперанский Дмитрий Александрович — египтолог, автор книги «Из литературы Древнего Египта» (СПб., 1906). Первый русский перевод (с французского) египетской сказки «Два брата» (между 1200 и 1194 г. до н. э.) опубликовал вместе со своей статьей В. В. Стасов в «Вестнике Европы» (1868. № 9). Найденный в Египте папирус сказки был приобретен Британским музеем в 1860 г. (назван по имени владелицы леди Элизабет Д'Орбинэй, приобретшей его в 1852 г.) и издан С. Биршем.

С. 522. *«Бог Тот»* — книга профессора египтологии Петербургского университета Б. А. Тураева «Бог Тот. Опыт исследования в области истории древнеегипетской культуры» (Лейпциг, 1898).

ВОЛЖСКИЙ. ИЗ МИРА ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСКАНИЙ

Сборник статей. С.-Петербург. Издание Д. Е. Жуковского. 1906. 402 стр.

(с. 523)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 95.

Впервые напечатано: *НВип.* 1906. 19 апр. № 10810. С. 9. Подпись: *В. Р-въ.*

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 44—45).

Печатается по тексту первой публикации.

Волжский — псевдоним критика и философа Александра Сергеевича Глинки (1878–1940). Личные общения Розанова с Глинкой-Волжским начались с 1904 г. и характеризовались взаимной симпатией. Статья «Мистический пантеизм Розанова» в сборнике Волжского «Из мира литературных исканий» первоначально печаталась в журналах (НП. 1904. № 12; Вопросы жизни. 1905. № 1–3). Об истории отношений Розанова и Глинки-Волжского см. в статье А. И. Резниченко в «Розановской энциклопедии» (с. 250–254).

С. 523. ...«собирать оставшиеся колосья»... — Ср.: Руфь 2, 3.

«Имеют свою судьбу» — выражение римского грамматика Теренциана Мавра: «Имеют свою судьбу книги» («О буквах, слогах и размерах» (III в.): «Имеют свою судьбу книги».

...о Л. Толстом, Ницше и Достоевском. — Имеются в виду книги Л. Шестова «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше: Философия и проповедь» (СПб., 1900); «Достоевский и Нитше (Философия трагедии)» (СПб., 1903).

ОДНА ИЗ РУССКИХ ПОЭТИКО-ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ

Н. М. Минский. *Религия будущего. Философские разговоры. СПб., 1905 г.*
(с. 524)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: ЗР. 1906. № 7/9. С. 146–150.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 502–509).

Печатается по тексту первой публикации.

О писателе и философе Н. М. Минском, муже Л. Н. Вилькиной, см. преамбулу к коммент. на с. 769. Розанов выступил с критикой Минского в Религиозно-философских собраниях (Розанов В. О «двух путях» Минского // НП. 1903. № 10. С. 263–274; см. настоящий том ПСС. С. 279–286). Об отношении Розанова и Н. М. Минского см. статью М. Б. Раренко (вых. дан. см. на с. 769).

С. 524. «При свете совести» — *Минский Н.* При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни. СПб., 1890.

«Святой Боже» — начальные слова молитвы «Трисвятое» («Трисвятая песнь»).

С. 526. ...мудрецу из Кёнигсберга... — то есть И. Канту.

С. 528. ...«образ и подобие Божие»... — см. коммент. к с. 42.

С. 530. Нет двух путей, добра и зла, / Есть два пути добра. — Н. М. Минский. Два пути (1901).

Каждому свое — выражение, встречающееся в трактате Цицерона «Об обязанностях» (1, 5, 14). Мысль восходит к «Государству» Платона (IV, 433e).

Ф. СОЛЛОГУБ КАК ПОЭТ И ПРОЗАИК

Тяжелые сны. Роман Федора Соллогуба.
2-е издание. С.-Петербург. 1906. Стр. 309
(с. 530)

Автограф неизвестен.

Сохранилась машинопись с авторской правкой, рукописными вставками чернилами и пометами синим карандашом — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). К. 58. Ед. хр. 28. Л. 3–8.

Печатается впервые по тексту машинописи.

О Федоре Сологубе (1863—1927) см. статью Т. Н. Фоминых в «Розановской энциклопедии» (с. 918—922).

В августе 1906 г. Розанов написал рецензию на роман Ф. Сологуба (он писал фамилию: Соллогуб) для «Нового Времени», однако статья в газете не появилась. Тогда текст рецензии был дополнен рукописными вставками чернилами о стихах Ф. Сологуба, статья получила новое название и отправлена В. Я. Брюсову, в журнале которого «Весы» Розанов печатался в 1904—1909 гг. Текст сохранился только в архиве Брюсова, хотя 20 ноября 1906 г. Брюсов писал Розанову: «Видал, однако, Вашу заметку о „Снах“ Сологуба и знаю, что она идет в декабрьской книжке» (РГАЛИ. Оп. 1. Ед. хр. 375. Л. 1). Обещание руководителя «Весов» оказалось невыполненным.

Стихотворения Ф. Сологуба Розанов цитирует по книге: Сологуб Ф. Стихи. Книга первая. СПб., 1906. «Где грустят леса дремучие...» посвящено З. Н. Гиппиус и датировано 5 января 1895 г.; «Ангел снов невиденных...» датировано 13 мая 1895 г.; «Я осмеянный шел из собрания злобных людей...» («От людей») датировано 20 октября 1895 г. Сноска к тексту последнего стихотворения («кругом») сделана теми же чернилами к слову «везде», хотя после него в скобках значится зачеркнутое: (кругом?). То есть Розанов предлагает свою поправку в стихотворении Сологуба.

С. 530. Роман, впервые напечатанный лет восемь назад — Роман Ф. Сологуба «Тяжелые сны» печатался в журнале «Северный Вестник» (1895. № 7—12) и вышел отдельным изданием (СПб., 1896).

В. В. СТАСОВ

(Некролог)

(с. 534)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1906. 11 окт. № 10984. С. 4. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 71—74).

Печатается по тексту первой публикации.

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — художественный и музыкальный критик, историк искусств. С 1872 г. заведовал художественным отделом Публичной библиотеки в Петербурге. Об отношении Розанова к В. В. Стасову см. статью в «Розановской энциклопедии» (с. 932).

С. 535. «Еврейский орнамент» — «Еврейский орнамент по рукописям Императорской Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге» (Берлин, 1905), труд, написанный и изданный В. В. Стасовым совместно с бароном Д. Г. Гинцбургом.

НАТАЛИЯ ГРОТ. СВОБОДА В ЖИЗНИ И ГОСУДАРСТВЕ

Этюд по Чаннингу. Второе издание. В пользу голодающих.

Стр. 30. СПб., 1906

(с. 535)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 94.

Впервые напечатано: *НВип*. 1906. 15 нояб. № 11019. С. 11.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 78—79).

Печатается по тексту первой публикации.

Грот (урожд. Семёнова) Наталья Петровна (1828–1899) — писательница, жена академика Я. К. Грота с 1850 г.

Чаннинг Уильм Эллери старший (1780–1842) — американский богослов, автор трактата «О возвышении трудящихся классов» (1840).

ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКИЙ ОБ ИСКУССТВЕ

(с. 536)

Автограф неизвестен.

Сохранились: 1. Гранки I и III частей статьи с подписями: *В. Розановъ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 117–121, 112–116 (см. с. 7 *Варианты*).

2. Газетные вырезки из *НВ* каждой из трех частей статьи — Там же. Л. 123–125, 131 (второй экземпляр вырезки из *НВ* каждой из трех частей статьи — Там же. Л. 123–125, 131) простой карандашом вписано «I»; 2) на первой полосе и после текста записи карандашом о дате публикации: «21/XI. 1906»; 3) запись чернилами: «№ 92»; на вырезке II части (л. 124): 1) простым карандашом вписано «II»; 2) запись даты и места публикации: «1906. 28/XI; № 11032»; 3) «№ 93»; 4) в тексте ряд подчеркиваний простым карандашом, а в последнем абзаце также подчеркнут заключительный фрагмент со слов: «Да и вообще этот сытно-помещичий быт»; на вырезке III части записи: 1) перед текстом: «1906», после него: «№ 11040; 6/XII 1906. Нов. Вр.»; 2) «№ 94»; 3) на оборотной стороне вырезки запись простым карандашом: «Толстой и Достоевский об искусстве. III».

Впервые напечатано: *НВ*. 1906. 21 нояб. № 11025. С. 4; 28 нояб. № 11032. С. 4; 6 дек. № 11040. С. 4.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 205–221).

Печатается по тексту первой публикации.

Розанов обращается к трактату Л. Н. Толстого «Что такое искусство?», опубликованному в *ВФП* (1897. Дек. — 1898. Янв., февр.). Трактат вошел в XV часть Сочинений Толстого (М., 1898).

С. 537. *Узнаю коней ретивых...* — Так цитирует стихотворение А. С. Пушкина «Из Анакреона» Стива Облонский в романе Толстого «Анна Каренина» (I, 10).

С. 538. *Альберт* — герой одноименного рассказа Толстого (Современник. 1858. № 8), в котором уже поставлен вопрос об искусстве и нравственности, легший в основу его трактата «Что такое искусство?».

«Лишние люди» ~ для интересных «Дневников»... — Аллюзия на «Дневник лишнего человека» (1849) И. С. Тургенева.

Глагол времен! Металла звон! — Г. Р. Державин. На смерть князя Мещерского (1779).

«Мужик Марей» — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1876. Февраль. Гл. 1, § III.

«Много ли человеку земли нужно» — см. коммент. к с. 146.

...«напыщенный язык его королей». — Здесь и далее Розанов полемизирует со статьей Толстого «О Шекспире и о драме» (РС. 1906. 12–23 нояб.).

С. 539. *«Смерть Ивана Ильича»* — см. коммент. к с. 461.

С. 539–540. *Тебя, я вижу, просто посетила...* — У. Шекспир. Ромео и Джульетта. I, 4. Пер. А. Л. Соколовского (1880).

С. 540. *«Домострой»* — памятник древнерусской литературы начала XVI в., обработанный протопопом Сильвестром.

С. 542. *...по поводу философствования Левина...* — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1877. Июль–август. Гл. 2 и 3.

...первый том первого «Полного собрания сочинений»... — имеется в виду издание в 14 томах, осуществленное А. Г. Достоевской в 1882—1883 гг. Первый том вышел последним; в него вошли биография, письма и заметки из записной книжки Достоевского.

...«есть ли у тебя усы»... — из письма Ф. М. Достоевского брату Михаилу от 1 января 1840 г.

С. 543. «Кто протестует против философии, тот сам философствует» — Достоевский перевел с французского афоризм Блеза Паскаля из его сочинения «Мысли» (первый русский перевод появился только в 1843 г.). В современном переводе: «Пренебрежение философствованием и есть истинная философия» (М., 1974. С. 113).

«...непереведенный „Кот-Мур“...» — Роман Э. Т. А. Гофмана «Житейские воззрения Кота Мура» был издан по-русски в 1840 г. Достоевский читал его по-немецки.

...Бальзак — велик! — Достоевский перевел роман Бальзака «Евгения Гранде», который был опубликован в журнале «Репертуар и Пантеон» (СПб., 1884. № 6 и 7). Перевод вошел в последнее ПССиП Достоевского в 35 томах (СПб., 2013. Т. 1).

«Фауст» Гёте... — Достоевский читал «Фауста» по-немецки. Первый перевод, сделанный Э. И. Губером, вышел в 1838 г., уже после письма к М. М. Достоевскому от 9 августа 1838 г.

...«История» Полевого... — «История русского народа» Н. А. Полевого, вышедшая в 1829—1833 гг.

«Уголино» (1838) — романтическая драма Н. А. Полевого.

«Ундина» (1835) — поэма В. А. Жуковского, вышедшая в 1837 г. отдельным изданием под названием «Ундина, старинная повесть, рассказанная в прозе бароном Ламот Фуке, на русском в стихах В. Жуковским». Поэма Ф. де Ламот-Фуке «Ундина» была написана в 1811 г.

Также Виктор Гюго... — Наибольшее впечатление на юного Достоевского произвели «Собор Парижской Богоматери» (1831; рус. пер. 1862) и «Последний день приговоренного к смерти» (1828; рус. пер. 1829) В. Гюго. Драма Гюго «Кромвель» (1827) была переведена на русский язык лишь в 1915 г. Триумфом Гюго стала постановка в 1830 г. «Эрнани» (у Достоевского «Гернани»; русский перевод в том же году).

С. 544. «Ум — способность только материальная...» — Розанов неточно цитирует письмо Достоевского брату Михаилу от 11 октября 1838 г.

...Клод Бернар в изложении Митеньки Карамазова... — В «Братьях Карамазовых» Митя спрашивает: «Клод Бернар. Это что такое? Химия, что ли? — Это, должно быть, ученый один, — ответил Алеша, только признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только, что ученый, а какой, не знаю. — Ну и черт его дери, и я не знаю, — обругался Митя. — Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы. А Ракитин пролезет, Ракитин в щелку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось!» (XI, 4).

С. 545. «Есть некоторые жизненные вещи...» — Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1984. Т. 27. С. 52.

...главную мысль Шатобриана сочинения... — В сочинение Ф. Р. де Шатобриана «Гений христианства» (1802) вошли две повести: «Атала, или Любовь двух дикарей» и «Рене, или Следствие страстей». Просветительскому обращению к разуму человека здесь противопоставлено мистическое, чудесное, интуиция и фантазия.

...статью критика Низара... — В марте-апреле 1838 г. в «Сыне Отечества» были рядом опубликованы статьи французских критиков Д. Низара о Ламартине и Г. Планша о Гюго (отрицательная характеристика поэзии, романов и драм Гюго). Достоевский перепутал авторов этих статей.

«Портреты 100 литераторов...» — Издатель и книгопродавец А. Ф. Смирдин выпустил три тома «Ста русских литераторов» (1839—1845). Р. М. Зотов — автор историче-

ских романов и драм, раскритикованных Белинским. А. А. Орлов — лубочный романист, осмеянный критикой 1830-х годов.

С. 546. *...о грустной зиме Онегина в Петербурге...* — В восьмой главе «Евгения Онегина» герой попадает в сходную с переживаемой И. Н. Шидловским, другом юности Достоевского, ситуацию (любовь к замужней женщине).

...Дон Карлоса, и маркиза Позу... — героини драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787).

Мортимер — юноша в драме Шиллера «Мария Стюарт» (1780).

...Шидловский ~ писали стихи. — До нас дошло лишь несколько стихотворений И. Н. Шидловского. Опубликовано в книге: *Алексеев М. П.* Ранний друг Ф. М. Достоевского. Одесса, 1921.

С. 547. *Сварог* (буквально: Творец) — верховный бог восточных славян, небесный огонь.

Перун — бог-громовержец в славянской мифологии. После христианизации многие черты Перуна были перенесены на образ Ильи-пророка.

...упреки Ксенофана грекам... — Древнегреческий поэт и философ Ксенофан Колофонский в сохранившихся отрывках из сочинения «О природе» писал, что в представлениях людей о боге отражаются черты племени. Иначе изображают бога эфиопы, иначе фракийцы.

С. 548. «*Нравы Растеряевой улицы*» (1866) — цикл очерков Г. И. Успенского.

...ни Расин, ни Корнель... — Высокая оценка Достоевским трагедий П. Корнеля и Ж. Б. Расина противоположна взглядам Белинского того времени, рассматривавшего их как представителей «ложного классицизма». Достоевский называет три трагедии Расина: «Андромаха» (1667, рус. пер. 1794), «Ифигения в Авлиде» (1674, рус. пер. 1796) и «Федра» (1677, рус. пер. 1805), а также три трагедии Корнеля: «Цинна, или Милосердие Августа» (1640, рус. пер. 1775), «Гораций» (1640, рус. пер. 1817) и «Сид» (1637, рус. пер. 1775).

...à la Иван Никифорович: «гороху наевшись». — Н. В. Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем (1834).

...с его пасквильной Клеопатрою... — Трагедия Этьена Жоделя «Плененная Клеопатра» (1552), основанная на повествовании Плутарха.

...после Третьяковского Ronsard'a... — имеется в виду неоконченная эпическая поэма П. Ронсара «Франсиада» (1572), которой Достоевский уподобляет «Телемахиду» (1766) В. К. Тредиаковского.

...он ее взял хотя у Сенеки. — Трагедия Сенеки явилась образцом для французского классицизма. Именно его трагедии «Медея» следовал Корнель в своей первой трагедии «Медея» (1635).

...(какая-то замененная тогками брань)... — на деле здесь срезан угол письма (РГБ. Ф. 93. Оп. I. К. 6. Ед. хр. 11); видимо, было слово «бледнеют».

«Будем друзьями, Цинна»... — П. Корнель. Цинна, или Милосердие Августа. V, 3.

С. 549. *Иван Иванович Перерепенко* — персонаж гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

...«сладкие вымыслы»... — имеются в виду строки из богатырской сказки Н. М. Карамзина «Илья Муромец» (1794): «На минуту позабудемся в чародействе красных вымыслов!» Розанов неоднократно обращался к этим строкам и в других своих произведениях.

...«в кресле», «в семье», «один»!.. — ср. в «Опавших листьях» Розанова: «Когда наша простая Русь полюбила его простою и светлою любовью за „Войну и мир“, — он сказал: „Мало. Хочу быть Буддой и Шопенгауэром“. Но вместо „Будды и Шопенгауэра“ получилось только 42 карточки, где он снят в $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, en face, в профиль и, кажется, „с ног“, — сидя, стоя, лежа, в рубахе, кафтане и еще в чем-то, за плугом и верхом, в шапочке, шляпе и „просто так“...» (Л. С. 110).

...в одном трогательном месте... — очевидно, речь идет о заключительной сцене шекспировской «Зимней сказки», где «оживает» Гермiona, жена Леонта. Розанов видел пьесу в московском Малом театре.

«Мне Голядкин опротивел»... — Письмо к брату Михаилу Достоевскому от 1 апреля 1846 г.

С. 550. ...«не пецытеся убо на утро»... — Мф 6, 34. То есть: «не заботьтесь о завтрашнем дне».

...«взгляните на птицы небесныя»... — Мф 6, 26.

NICOLAS LÉSKOV. GENS DE RUSSIE

Librairie académique Perrin et C^{ie}. Traduction et préface de Denis Roche

(с. 551)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 29.

Впервые напечатано: *НВип*. 1906. 22 нояб. № 11026. С. 11. Подпись: В. В.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 82–83).

Печатается по тексту первой публикации.

Розанов включал Николая Семеновича *Лескова* (1831–1895) в круг наиболее ценных им писателей. См. статью С. Ф. Дмитренко в «Розановской энциклопедии» (с. 533–534).

<ЛЕСКОВ>

(с. 551)

Сохранился автограф без названия и с дефектами — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 29. Обрывы текста отмечены угловыми скобками. Концовка заметки также отсутствует.

Печатается впервые по рукописи.

К БИОГРАФИИ И ПОСМЕРТНОЙ СУДЬБЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

«Музей памяти Федора Михайловича Достоевского в Императорском российском историческом музее имени Императора Александра III в Москве. 1846–1906 гг.».

Составила А. Достоевская. С портретами и видами. Стр. 392. СПб. 1906

«Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского, собранных в музее памяти Ф. М. Достоевского в московском историческом музее имени Императора Александра III. 1846–1903 гг.». Составила А. Достоевская. СПб. 1906

(с. 552)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 2.

Впервые напечатано: *НВип*. 1906. 22 нояб. № 11026. С. 9–10.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 79–82).

Печатается по тексту первой публикации.

Достоевская (урожд. Сниткина) Анна Григорьевна (1846—1918) — жена Ф. М. Достоевского (с 1867 г.), автор мемуаров. Розанов познакомился с ней в 1893 г., тогда же началась их многолетняя переписка, опубликованная Э. Гарэтто в альманахе «Минувшее» (Париж, 1990 (репр.: М., 1992). № 9. С. 258—293). Об отношениях Розанова и А. Г. Достоевской см. в «Розановской энциклопедии» (с. 341—343).

С. 553. *...выпущена одна глава...* — речь идет о главе «У Тихона». См. коммент. к с. 502. *...по совету одного близкого ~ высокопоставленного лица духовного ведомства...* — имеется в виду К. П. Победоносцев.

С. 554. *...статьи о Риме ~ ни слова не говорится о Достоевском.* — «Римские впечатления». См. об этом ниже «Письмо в редакцию <А. Г. Достоевской>».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<А. Г. Достоевской>

(с. 555)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1906. 28 нояб. № 11032. С. 5.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 92).

Печатается по тексту первой публикации.

В письме Розанову 23 ноября 1906 г. А. Г. Достоевская писала: «Искренно благодарю Вас, глубокоуважаемый Василий Васильевич, за добрый отзыв о моей работе <...> Но не скрою от Вас, что Вы меня и огорчили. Вы категорическим образом сказали, что в Ваших римских статьях ни слова не говорится о Ф. М.; оказывается, что память Вам изменила. Чтобы доказать Вам Вашу ошибку, я отправилась в Публичную Б-ку». Далее Достоевская отмечает: «Я разузнала про „Апофеоз беспочвенности“ — мне сказали, что это было напечатано в 1903 г., а я закончила 1902-м» (Минувшее. М., 1992. № 9. С. 284—285). Книга Л. Шестова «Апофеоз беспочвенности» вышла в 1905 г. В 1903 г. в Петербурге была издана его книга «Достоевский и Нитше».

С. 555. «*Римские впечатления*» — цикл очерков, которые Розанов публиковал в газетах *НВ* и *НВип* с 31 марта по 9 июня 1901 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ Л. ВИЛЬКИНОЙ (МИНСКОЙ)

«МОЙ САД. СОНЕТЫ И РАССКАЗЫ»

(с. 555)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано в кн.: *Вилькина Л.* Мой сад. Сонеты и рассказы. М.: Гриф, 1906.

С. 3. Книга поступила в Главное управление по делам печати с 1 по 30 ноября 1906 г.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16. С. 83 — 84.

Печатается по тексту первой публикации.

Вилькина Людмила Николаевна (в замужестве Виленкина-Минская; 1873—1920) — поэтесса, переводчица. В 1900-е гг. квартира ее мужа Н. М. Минского на Английской набережной была литературным салоном, посещавшимся Розановым, который в 1904—1906 гг. был близок с ней. Его интимные письма к Вилькиной опубликованы в «Литературном обозрении» (1991. № 11). См. статью о ней в «Розановской энциклопедии» (с. 192—194).

1907

ТО ЖЕ, НО ДРУГИМИ СЛОВАМИ

(с. 557)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: ЗР. 1907. № 1. С. 56–60. Подпись: *Maestro*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 509–516).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 557. *Все нам позволено...* — 1 Кор 6, 12.

«В лугах» — речь идет о повести М. Кузмина (Розанов пишет: Кузьмин) «Крылья» (Весы. 1906. № 11, весь номер). Об ошибочности названия «В лугах» отмечено в кн.: Пильский П. Проблема пола, половые авторы и половой герой. СПб., 1909. С. 92: «Заглавие Кузмина г. Maestro перепутал и назвал повесть почему-то „В лугах“, а она — „Крылья“».

...*Антиной и имп. Адриан*. — Юноша Антиной, родом из малоазийской провинции Вифиния был фаворитом и постоянным спутником римского императора Адриана; после смерти обожествлен.

«*Се лев, а се человек*»... — отсылка к крылатому выражению «Се лев, а не собака» (из рассказа о художнике, снабдившем свой рисунок подписью из опасения, что льва смогут спутать с собакой). Ср. в статье Розанова «Литературный террор» (НВ. 1911. 12 янв. № 12513): «Что вы пишете и что я пишу, — это говорит о себе содержанием своим, и нечего подписывать: „се лев, а се человек“, „се негодяй, а се герой“» (ТПРН. С. 20).

С. 557–558. *Отрок милый, отрок нежный...* — А. С. Пушкин. Подражание арабскому (1835).

С. 558. *...в которой-то из «1001» ногей...* — Подобный сюжет в «1001 ночи» обнаружить не удалось. Однако можно предположить, что Розанов вольно интерпретировал Сказку о Сейф-аль-Мулуке (ночи 768–778).

...*длинное и сложное стихотворение г. Вал. Брюсова...* — речь идет о сонате В. Я. Брюсова «Обряд ночи» (Весы. 1907. № 1), написанной в 1905 г.

С. 559. *...замечание Фамусова, обращенное к слуге, неумело взявшемуся за календарь.* — «Читай не так, как пономарь, / А с чувством, с толком, с расстановкой» (А. С. Грибоедов. Горе от ума. II, 1).

С. 560. *...«отцы пустынники и жены непорочны»...* — название стихотворения А. С. Пушкина (1836).

...*брошюрка, изданная в Ревеле...* — «Советы матери перед вступлением в брак ее дочери, как сохранить любовь и верность мужа» (Ревель, 1904. 30 с.). В конце подпись: М. А.

С. 561. *Клянусь, о мать наслаждений...* — концовка повести А. С. Пушкина «Египетские ночи» (1835).

...*«покрывало Изиды»...* — см. коммент. к с. 475.

С. 562. *«По образу и подобию»...* — см. коммент. к с. 42.

К. П. ПОБЕДНОСЦЕВ

(с. 564)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 207. Л. 9–11, 14.

Впервые напечатано: РС. 1907. 13 марта. № 58. С. 2; 18 марта. № 63. С. 3—4; 27 марта. № 70. С. 2. Подпись: В. Варварин.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 516—530).

Печатается по тексту первой публикации.

Об отношениях Розанова с К. П. Победоносцевым, обер-прокурором Синода в 1880—1905 гг., см. в статье В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 714—725).

С. 564. ...«вышедшего в отставку» обер-прокурора Св. Синода... — К. П. Победоносцев был уволен от должности Обер-прокурора Синода и члена Комитета министров 19 октября 1905 г.

С. 565. ...«тащить и не пущать»... — выражение из рассказа Г. И. Успенского «Будка» (1868), вошедшее в литературу как определение полицейского режима.

«Верую в Бога Отца...» — из христианского Символа веры.

...в «учительском всероссийском союзе»... — «Всероссийский союз учителей и деятелей народного образования» был создан в апреле 1905 г. и ликвидирован в 1918 г.

С. 566. ...«закваску фарисейскую»... — Мф 16, 6; Мк 8, 15.

«Миссионерское Обозрение» — см. коммент. к с. 228.

С. 567. «Подпольная Россия» — книга публицистических очерков писателя-террориста С. М. Степняка-Кравчинского, убитого в 1878 г. шефа жандармов Н. В. Мезенцова и выпустившего в эмиграции в 1882 г. на итальянском языке эту книгу (рус. перевод издан в 1893 г. в Лондоне).

С. 568. ...«оставьте всякую надежду входящие сюда»... — Данте. Божественная комедия. Ад. III, 9.

С. 569. «У тебя фонтан не хуже других...» — перефразировка афоризма Козьмы Пруткива («Если у тебя есть фонтан, заткни его»).

С. 570. «S.-Peterb. Zeitung» — «St. Petersburgischen Zeitung» — газета, издававшаяся в Петербурге с 1727 г. на немецком языке.

С. 571. ...«для званных и незванных». — А. С. Грибоедов. Горе от ума. II, 5.

...состояния (доставшегося ему по женьтибе)... — И. Д. Делянов был женат на двоюродной сестре А. Х. Лазаревой.

...на отпевании академика Карла Грота. — Очевидная описка: речь идет об академике Якове Карловиче Гроте, скончавшемся 24 мая 1893 г., незадолго перед тем как Розанов переехал в Петербург.

Он уже был «графом» и имел орден Андрея Первозванного... — И. Д. Делянов получил титул графа 23 ноября 1888 г.; ордена Андрея Первозванного был удостоен в 1883 г.

С. 573. ...апокрифическое Евангелие от Иакова... — иначе: Протоевангелие, Иаковлева повесть — написано во второй половине II в. повествует о детстве и юности Девы Марии и о событиях во время рождения Христа в пещере. Авторство Иакова Младшего, апостола от 70-ти, опровергнуто исследователями.

...у Вергилия это сказано определеннее... — имеется в виду четвертая эклога римского поэта Вергилия, написанная в 40 г. до н. э.: «К новорожденному будь благосклонна, с которым на смену / Роду железному род золотой на земле расселится <...> / Будет он миром владеть, успокоенным доблестью отчей» (пер. С. В. Шервинского).

...Бог, как во сне Самуилу... — 1 Цар 8, 7—18.

С. 575. «Московский сборник» — Московский сборник: Издание К. П. Победоносцева. М.: Синодальная типография, 1896. До революции 1905 г. выдержал пять переизданий, последнее — в 1901 г. В статьях сборника наиболее полно изложены консервативно-охранительные убеждения автора.

С. 576. «Богословский Вестник» — журнал, издававшийся Московской духовной семинарией в 1892—1918 гг.

«Церковный Вестник» — см. коммент. к с. 237.

«Век» — еженедельник религиозно-общественной жизни и политики, выходил в Петербурге в 1906—1907 гг.

«Звонарь» — литературный и церковно-общественный журнал, выходил в Петербурге в 1906—1907 гг.

«Церковная Газета» — еженедельная общественно-литературная газета, выходила в Харькове с февраля по июль 1906 г.

«Церковно-Общественная Жизнь» — еженедельный журнал, издававшийся при Казанской духовной академии в 1905—1907 гг.

...*преемники Победоносцева (их было уже двое)*... — На деле трое: князя А. Д. Оболенский (с 20 октября 1905 г. по 4 апреля 1906 г.) и А. А. Ширинский-Шихматов (с 26 апреля по 9 июля 1906 г.) и П. П. Извольский (с 27 июля 1906 г. по 5 февраля 1909 г.).

С. 577. ...*(время Плеве)*. — Период, когда В. К. фон Плеве занимал пост министра внутренних дел — с 4 апреля 1902 г. по 15 июля 1904 г.

...«*дикое темное поле и среди него гуляет лихой человек*»... — Приведенные Розановым слова Победоносцева стали вскоре популярны. З. Гишпиус в очерке «Слова и люди (Заметки о Петербурге в 1904—1905 гг.)» писала: «Победоносцев был решителен <...> И о России имел он мнение очень определенное. Как-то зимой Мережковский застал его — одного — у митрополита. Тут-то знаменитый обер-прокурор, в уютном кресле сидя, и пояснил, что такое Россия: ледяная пустыня без конца-края, а по ней ходит лихой человек» (*Гишпиус З. Н.* Арифметика любви: Неизвестная проза 1931—1939 годов. СПб.: Росток, 2003. С. 405—406).

«Государственный Совет» — картина И. Е. Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения» (1903).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И МЫСЛЕЙ О К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВЕ

(с. 577)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ*, с пометой («№ 131») — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 207. Л. 7, 15.

Впервые напечатано: *НВ*. 1907. 26 марта. № 11148. С. 2.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 91—95).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 577. ...*одну длинную беседу*... — имеется в виду встреча Розанова с Победоносцевым 2 июня 1895 г. в связи с тем, что статья Розанова «О подразумеваемом смысле нашей монархии» была изъята из уже отпечатанной июльской книжки журнала «Русский Вестник». 3 июня 1895 г. Розанов изложил свои впечатления от визита к Победоносцеву в письме к С. А. Рачинскому. Статью Розанов смог опубликовать только в 1912 г. отдельным изданием.

...*в своем «Московском сборнике»*. — См. коммент. к с. 575.

С. 578. ...*редактором журнала*... — Ф. Н. Бергом, арендовавшим «Русский Вестник» с 1887 по 1896 г.

...*Равальяк, иезуит убийца Генриха IV*... — 14 мая 1610 г. Ф. Равальяк заколол кинжалом в карете на парижской улице короля Франции Генриха IV. Его имя стало нарицательным для цареубийцы.

...папе и доброму католику, но, может быть, несколько холодному к своему папству. — На папском престоле в то время (1605–1621) был Павел V.

С. 579. ...заколол Гамлет, приняв его за мышь... — У. Шекспир. Гамлет. III, 4. Розанов читал перевод «Гамлета» Н. А. Полевого, где Гамлет говорит, что убил мышь за ковром. В английском тексте говорится о крысе (a rat).

...«Эхо» Пушкинское... — речь идет о более широком понятии, чем стихотворение А. С. Пушкина «Эхо» (1831).

С. 581. ...он сказал: «Вы думаете, это кому-нибудь нужно, этот старый хлам веков? Ее просто надо сжечь». — Эти же слова Н. А. Добролюбова Розанов приводит также в статье «Будьте храбрее, господа...» (НВ. 1911. 30 июля. № 12708): «„Публичную библиотеку в Петербурге надо сжечь, потому что она набита старыми, содержащими множество суеверий и тьмы, книгами“ (слова Добролюбова, сказанные одному товарищу, когда они шли мимо этой библиотеки)» (ТПРН. С. 176). Источник не установлен.

...«Позлобленный ум»... — В конце романа И. С. Тургенева «Дым» (гл. XXVIII) об Ирине Ратмировой говорят: «У ней ум озлобленный».

РУССКИЙ «РЕАЛИСТ» ОБ ЕВАНГЕЛЬСКИХ СОБЫТИЯХ И ЛИЦАХ

(с. 581)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: НВ. 1907. 19 июля. № 11260. С. 3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 206–213).

Печатается по тексту первой публикации.

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) — прозаик, драматург, публицист. Взаимная неприязнь сопровождала Розанова и Андреева всю жизнь. 14 ноября 1914 г. Розанов записывает в «Мимолетном»: «Читатель из папье-маше, естественно, и чувствует писателя из папье-маше. Вот судьба Леонида Андреева». После большевистского переворота, который Розанов ассоциировал с людьми круга Л. Андреева, он иронически записал в «Апокалипсисе нашего времени»: «Если бы вместо того, чтобы называть в литературе Леонида Андреева „лоботрясом и невеждою,, и, в сущности, — бесталанным болтуном „на высокие темы,, я сдержался и смиренно сказал ему, попросил указания: — Как быть богатым? — Не голодали бы мои бедные дочери. И сам я не канючил бы сейчас». Об отношениях Розанова и Л. Н. Андреева см. также в статье В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 68–70).

С. 582. *Бес благородной скуки тайной.* — Н. А. Некрасов. «Отрадно видеть, что находит...» (1845).

«Сорок тысяч курьеров»... — Хлестаков в «Ревизоре» Гоголя (III, 6) говорит о спешащих за ним «тридцати пяти тысячах курьеров». Вместе с тем Розанов неоднократно употреблял шекспировское выражение «сорок тысяч братьев» (Гамлет. V, 1).

С. 583. ...«с Пушкиным на дружеской ноге»... — Н. В. Гоголь. Ревизор. III, 6.

С. 584. ...со «Дна» М. Горького... — отсылка к драме «На дне».

...при тении его «Василия Фивейского»... — 2 июня 1904 г. Розанов напечатал в «Новом Времени» статью «Литературные новинки» с резкой критикой повести Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского» (см. настоящий том. С. 347–454), напечатанной в первой книге «Сборника товарищества „Знание“ за 1903 год» (СПб., 1904).

С. 585. *Совершенно как у Вольтера!* — Имеются в виду антицерковные сочинения французского писателя и философа Вольтера («Бог и люди», 1769, и др.).

С. 586. ...о «гордом теловеке»... — М. Горький. На дне. IV.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕЛА

(с. 588)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты *НВ* – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 15–16. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1907. 5 сент. № 11308. С. 3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 219–224).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 588. *...написать две статьи...* – речь идет о статьях Розанова: «Русский „реалист“ об евангельских событиях и лицах» (*НВ*. 1907. 19 июля. № 11260; наст. том. С. 581–588) и «„Позлащенные кумиры“ (К суду над священниками – депутатами Думы)» (*РС*. 1907. 23, 26, 29 мая).

«*Аида*» – опера итальянского композитора Дж. Верди (1871). Радамес – предводитель египетских войск в этой опере.

...за выбытием из Петербурга... – Розанов уезжал с семьей на Кавказ (Кисловодск, Пятигорск).

...с насмешливыми вырезками из газет... – Критические реплики по поводу статьи Розанова о рассказе Л. Н. Андреева «Иуда Искариот и другие» появились главным образом в газетных обзорах под рубрикой «Среди газет и журналов». См. также: *Колосов Н., свящ.* Можно ли жить без веры?: (Евангельская история в изображении Леонида Андреева) // Душеполезное Чтение. 1907. № 7. С. 375–393; № 8. С. 539–556; *Ляцкий Е. А.* Между бездной и тайной // Современный Мир. 1907. № 7/8. Отд. II. С. 60–68.

«*Ты этого хотел, Жорж Данден*» – крылатое выражение из комедии Мольера «Жорж Данден, или Обманутый муж» (1668).

С. 589. *...разные «синие» и прочие «кресты»...* – отсылка к Обществу «Синий крест» – организации, возникшей в Петербурге в 1882 г. и занимавшейся попечением детей.

С. 590. *...угения апостола Павла о «власти»...* – Рим 13, 1: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены».

«*Священный Союз*» – союз Австрии, Пруссии и России (1815 г.), заключенный после падения империи Наполеона для соблюдения решений Венского конгресса 1814–1815 гг. и подавления национальных революций.

Высшие женские курсы («Бестужевские») – одно из первых женских высших учебных заведений в России, существовало в 1878–1918 гг. в Петербурге, распорядительницей была Н. В. Стасова.

С. 591. *...не принимаются на Курсы без исключения все епархиалки...* – У Розанова был и личный повод обращения к этой теме. Незадолго до этой статьи, 28 июля 1907 г., он писал из Кисловодска профессору истории И. М. Гревсу: «Я хочу Вас попросить о кандидатке на Высшие Женские Курсы, Елизавете Владимировне Карташевой, – сестре читающего у вас лекции Антона Влад. Карташева. Крестьянского рода (в деде и бабушке), духовная по отцу и матери, – естественно, малюткою она была отдана в епархиальное училище; и приняла всё в смысле „прав и ограничений“, что связано с этою школою. Но девушка эта, не на мой только личный взгляд, но на взгляд решительно всех, кто имел к ней хотя бы какое-нибудь отношение, совершенно исключительная. <...> Екатерина Вячеславовна Балабанова, к которой я ездил прошлую осень просить ее посредничества перед начальством Высших курсов, сообщила мне, что постановление Совета профессоров не принимать на Курсы епархиалок проистекает из слабой подготовленности и неразвитости питомиц этой школы. Вот тут я немножко и надеюсь: если таков мотив Сове-

та профессоров и Управления Курсами, то они могут сделать для Карташевой исключение: ибо ведь она давно — уже не „эпархиалка“, это только печальный диплом, припешенный к человеку, который давно его перерос и постоянными научными занятиями, и наконец даже формально занятиями на Рождественских курсах, которые в смысле метода не могли же не оказать действия на неопытную и наивную девочку из эпархиально-го училища» (ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 2. Ед. хр. 214. Л. 1, 3—3 об.).

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СОБРАНИЙ

(с. 592)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1907. 8 сент. № 11311. С. 3.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 224—225).

Печатается по тексту первой публикации.

8 апреля 1907 г. состоялось подготовительное заседание РФО, на котором был прочитан доклад Розанова «Отчего падает христианство». РФС в Петербурге проходили с 29 ноября 1901 г. по 19 апреля 1903 г. Стенограммы заседаний публиковались в журнале «Новый Путь» и вышли отдельным изданием: Записки Петербургских Религиозно-философских собраний (1902—1903 гг.). СПб., 1906. Доклады на них Розанова представлены в томах его Сочинений: «Около церковных стен» и «В темных религиозных лучах». Новое, более полное издание (с репликами Розанова) см. в книге: Записки Петербургских Религиозно-философских собраний (1901—1903 гг.) / Общ. ред. С. М. Половинкина. М., 2005. См. также коммент. к с. 69.

3 октября 1907 г. под председательством А. В. Карташова состоялось первое заседание РФС. Многие восприняли его работу как простое продолжение старых Собраний. Однако, несмотря на определенную преемственность, собрания Общества стали иным явлением в русской интеллектуальной жизни. Главная их тема — не сближение Церкви и интеллигенции, а обсуждение соотношения вопросов религиозных и общественно-политических. Материалы заседаний Общества публиковались в «Записках С.-Петербургского Религиозно-философского общества» (СПб., Пг., 1908—1916. Вып. 1—6). Последнее заседание состоялось 12 февраля 1917 г. См.: Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах, 1907—1917. М., 2009. Т. 1—3.

Розанов печатал свои репортажи и комментарии этих собраний в «Новом Времени».

С. 593. «*Не о хлебе одном жив бывает человек*»... — Мф 4, 4.

НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ

К 55-летию литературной деятельности Л. Н. Толстого

(с. 593)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *РС* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 60.

Впервые напечатано: *РС*. 1907. 12 сент. № 209. С. 2—3. Подпись: *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 222—231).

Печатается по тексту первой публикации.

Статья, написанная к литературному юбилею Л. Н. Толстого (первое сочинение Толстого, повесть «Детство» появилась в 1852 г. в журнале «Современник», № 9), начинается

ся как бы с пробы некролога писателю, на что современники не могли не обратить внимание.

С. 594. ...«зарывает в землю»... — Мф 25, 18.

С. 596. ...*острый лимбургский сыр*... — полумягкий сыр из коровьего молока, который первоначально производили на территории герцогства Лимбург. Он имеет довольно острый вкус, едкий аромат и очень мягкую консистенцию. Из-за резкого запаха его опасались употреблять перед выходом в свет.

С. 597. «Первая книга для чтения» — точнее: «Первая русская книга для чтения» (1875).

«Чти отца и мать твою...» — Исх 20, 12.

С. 598. ...*Сальвини и Поссарта, позванных «на свадьбу принца»*. — То есть великие итальянский актер Т. Сальвини, снимавший известность ролями в трагедиях Шекспира, и немецкий актер Э. Поссарт, известный своими ролями в трагедиях Шиллера, оказались бы гостями в сыгранных ими пьесах.

С. 599. ...будет некогда переименован в «город Гюго». — Эту легенду относительно В. Гюго Розанов привел еще в статье «Годовщина смерти Золя» (НВ. 1903. 15 авг. № 9858). См. коммент. к с. 259.

НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ

Л. Толстой и быт

(с. 601)

Автограф неизвестен.

Сохранилось две вырезки из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 62—79. На второй вырезке подпись «В. Варварин» зачеркнута и вписано карандашом: «В. Розанов».

Впервые напечатано: РС. 1907. 5 окт. № 228. С. 3. Подпись: В. Варварин.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 231—236).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 601. ...«единства времени, места и действия»... — три правила, определяющие драматургию эпохи классицизма. Восходят к «Поэтике» Аристотеля. В окончательном виде были сформулированы в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство» (1674).

С. 603. ...*Волконских (урожденная фамилия его матери)*... — Мать Л. Н. Толстого, Мария Николаевна, — урожденная княжна Волконская.

«Декабристы не были серьезными людьми...» — услышанная Розановым от кого-то оценка декабристов приводится в новом 100-томном ПСС Л. Н. Толстого без указания какого-либо иного источника (М., 2001. Т. 4. С. 343).

С. 604. ... («история Ругон-Маккаров») — Серия романов Э. Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» (1871—1893) состоит из 20 книг.

С. 605. ...«Силу Силыга» Арактеева. — Искаженное имя Аракчеева образовано так же, как имя Кита Китыча, купца-самодура в комедии А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1856).

...«екатерининских орлов»... — А. С. Пушкин. Воспоминания в Царском Селе (1814).

...в Дарвиновом «Происхождении человека»... — Полное название: «Происхождение человека и половой отбор» (1871).

НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ

Л. Толстой и интеллигенция

(с. 605)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 62.

Впервые напечатано: РС. 1907. 30 окт. № 249. С. 2. Подпись: *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 236—240).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 606. ...«*мировым фагоцитом*» (по *Мезникову*). — Имеется в виду открытие И. И. Мечниковым важной функции внутриклеточного пищеварения — фагоцитарного (клеточный) иммунитета. Фагоциты защищают организм путем поглощения вредных частиц (бактерий, вирусов), а также мертвых клеток.

...*исцеление «расслабленного»*... — отсылка к евангельским эпизодам: исцелению Христом расслабленного при овечьей купальне (Ин 5, 1—16) и в Капернауме (Мф 9, 1—8; Мк 2, 1—12; Лк 5, 17—26).

С. 607. ...*сказано в Евангелии о «скопцах от грева матери»*. — Мф 19, 12.

...*угившиеся при Гурко*... — в период с июля 1883 г. по декабрь 1894 г., когда И. В. Гурко был варшавским генерал-губернатором.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОБРАНИЯ

В ПЕТЕРБУРГЕ

(с. 609)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 166. Л. 37а.

Впервые напечатано: РС. 1907. 17 нояб. № 265. С. 1. Подпись: *В. В.*

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 253—256).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 609. ...*по примеру московского*... — РФО памяти Владимира Соловьёва в Москве открылось после манифеста 17 октября 1905 г. явочным порядком. Устав был утвержден в августе 1906 г. Председателем был избран Г. А. Рачинский, которого Е. Н. Трубецкой охарактеризовал как личного друга Вл. Соловьёва. Руководящую роль в Обществе играл С. Н. Булгаков. С докладами выступали Н. А. Бердяев, Вяч. И. Иванов, В. П. Свенцицкий, П. А. Флоренский, Л. Шестов, В. Ф. Эрн и др. В 1910 г. члены Общества организовали издательство «Путь». Хронику заседаний Общества см. в «Литературоведческом журнале» (2011. № 28. С. 210—267).

...*на первом собрании*... — На первом заседании РФО в Петербурге 3 октября 1907 г. с вступительным словом выступил А. В. Карташёв, с докладом «О старом и новом религиозном сознании» — С. А. Аскольдов. На втором заседании 15 октября 1907 г. был прочитан доклад Розанова «О нужде и неизбежности нового религиозного сознания», на третьем заседании 8 ноября Д. С. Мережковский прочитал доклад «О Церкви грядущего».

С. 610. ...*был недавно «союз союзов»*... — Союз союзов — либеральное объединение профессионально-политических союзов, действовавшее во время революции 1905 г. (с мая по декабрь), его лидером являлся П. Н. Милюков.

К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ В ЕГО ПЕРЕПИСКЕ

(с. 611)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 207. Л. 8.

Впервые напечатано: РС. 1907. 12 дек. № 285. С. 2. Подпись: В. Варварин.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 256–259).

Печатается по тексту первой публикации.

Эту и две последующие статьи — «Духоборческие скитания и К. П. Победоносцев» и «Автопортрет К. П. Победоносцева» — Розанов написал в связи с публикацией в «Вестнике Европы» (1907. № 12) писем П. А. Тверского («Деловая переписка с К. П. Победоносцевым. 1900–1904 гг.»). Петр Алексеевич Тверской (настоящая фамилия Дементьев; 1850–1923) — русский лесопромышленник и публицист, живший в 1881–1893 гг. в США и основавший там город Санкт-Петербург (штат Флорида); он — автор статей о современной американской литературе (Вестник Европы. 1895. № 8–10) и переводчик «Гибели Гесперуса» Г. Лонгфелло (Русское Богатство. 1883. № 1).

С. 612. ...Сахалин или самые отдаленные труппы Сибири. — Места каторги и ссылки в Российской империи.

С. 613. ...первым по фараоне... — Быт 41, 40–44.

С. 614. «Неделя» — см. коммент. к с. 464.

...Соловьёв предложил ~ вовсе отказаться от сотрудничества этих писателей... — В статье «Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва» (1905) Розанов назвал их имена: «...Мих. Петр. Соловьёв и решил „понажать его“, чтобы он в ежемесячных „Книжках Недели“ расстался с г. Меньшиковым и еще (не в столь настойчивой форме) Ник. Энгельгардтом» (наст. том. С. 468).

«Одесский Листок» — одно из первых изданий «уличной прессы» (таблоид), выходил с 1872 г. как листок объявлений, с 1880 г. в формате многостраничной газеты (до 1918 г.). Розанов печатался здесь в 1898–1899 гг.

ДУХОБОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА

(с. 614)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1907. 13 дек. № 286. С. 2. Подпись: В. Варварин.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 259–264).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 615. ...*status in statu*... — государство в государстве (*лат.*) — Спиноза. Этика. III.

...под правлением своей Лукерьи. — Л. В. Калмыкова правила духоборческими общинами с 1864 по 1886 г.

...Толстой, Чертков и вся компания стали подговаривать массу к переселению в Америку... — В 1896 г. Л. Н. Толстой редактировал составленное П. И. Бирюковым, В. Г. Чертковым и И. М. Трегубовым послание «Помогите! Обращение к обществу по поводу гонений на кавказских духоборов» (Лондон, 1897), за которое все авторы были отправлены в ссылку (Чертков выслан из страны). В 1898 г. Толстой от имени духоборов составил прошение к Николаю II, и они получили разрешение на выезд в Канаду. Толстой отдал духоборам свой гонорар за роман «Воскресение», и они на четырех пароходах (более семи тысяч духоборов) переехали в провинцию Британская Колумбия (западная часть Канады) в сопровождении старшего сына Толстого С. Л. Толстого. В 1902 г. к общине

вернулся освободившийся из ссылки их руководитель П. В. Веригин, под началом которого они сохранили русский язык и свои духовные традиции.

«Миссионерское Обозрение» — см. коммент. к с. 228.

Малёванцы — группа духовных христиан-баптистов, распространенная с конца 1880-х гг. в Киевской, Херсонской и Минской губерниях; близка к хлыстам. Названа по имени основателя К. А. Малёванного.

С. 616. *...только бы достать «Петрушу»...* — Глава духовоборов с 1886 г. П. В. Веригин в 1887 г. был арестован и сослан в административном порядке в г. Шенкурск, в 1890 г. перемещен в Колу, а в 1894 г. — в Обдорск (ныне Салехард); освобожден в 1903 г.

С. 617. *...Скворцов — преподаватель киевской семинарии...* — В. М. Скворцов преподавал в Каменец-Подольской духовной семинарии.

С. 618. *Тарпейская скала* — в Древнем Риме отвесный утес с западной стороны Капитолийского холма, с которого сбрасывали осужденных на смерть государственных преступников.

АУТОПОРТРЕТ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА

(с. 618)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 207. Л. 2.

Впервые напечатано: РС. 1907. 19 дек. № 291. С. 2. Подпись: *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 273—278).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 619. *...удаления со службы высокого военного сановника...* — речь идет о князе Александре Петровиче Барклае-де-Толли-Веймарне (1824—1906), генерале от инфантерии, лютеранине по вероисповеданию. С 1876 г. командовал 1-м армейским корпусом, но 19 января 1888 г. был вынужден сдать корпус по причинам, о которых пишет Розанов.

...я альфа и омега всего — начало и конец всего (первая и последняя буквы греческого алфавита). Откр 1, 8 («Я есмь альфа и омега, начало и конец»).

С. 620. *Козел отпущения* — Лев 16, 21—22. У древних евреев существовал обычай: в день грехоотпущения первосвященник возлагал руки на голову живого козла в знак возложения на него всех грехов еврейского народа, после чего козел изгонялся в пустыню. Выражение употребляется о человеке, на которого возлагают чужую вину.

С. 621. *...«фараона и первого по фараоне»...* — см. коммент. к с. 613.

...давно не военный министр... — П. С. Ванновский был военным министром в 1881—1898 гг.

...пережил Цусиму и Мукден. — Речь идет о поражениях русской армии во время Русско-японской войны 1904—1905 гг.

С. 622. *«Русские Ведомости»* — московская газета, издававшаяся с 1863 по 1918 г.; с 1905 г. орган кадетской партии.

«Московские Ведомости» — старейшая русская газета, издававшаяся с 1756 по 1917 г. В 1896—1907 г. главным редактором был В. А. Грингмут.

После оконзания аренды С. А. Петровского... — в 1896 г.

«Русское Обозрение» — московский журнал, выходивший в 1890—1898, 1901, 1903 гг.

С. 623. *...вторичной присяге на верноподданство...* — В передовой статье «Московских Ведомостей» 19 декабря 1896 г. редактор В. А. Грингмут предложил редакторам-либералам «Русских Ведомостей» и «Вестника Европы» печатно подтвердить присягу на вер-

ность самодержавию, что вызвало ироническую отповедь А. С. Суворина (НВ. 1896. 24 дек.).

...медведя, убивающего на лбу у него муху камнем... — И. А. Крылов. Пустынник и Медведь (1808).

МЕТЕРЛИНК

(с. 623)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано в книге: *Метерлинк М.* Сочинения. СПб., 1907. Т. 1. С. 345—350. Книга поступила в Главное управление по делам печати с 1 по 30 сентября 1907 г.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 240—243).

Печатается по тексту первой публикации.

Об отношении Розанова к творчеству бельгийского поэта, драматурга и философа Мориса Метерлинка (1862—1949) см. статью В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 581—584).

С. 623. «Сокровище смиренных» (1896) — книга очерков Метерлинка (рус. пер. 1901). «Жизнь пгел» (1901) — книга Метерлинка натурфилософского характера (рус. пер. 1902).

С. 625. *Перст указательный — все признаки угеня.* — А. С. Грибоедов. Горе от ума. I, 7. *Метерлинка надо читать медленно...* — ср. запись во втором коробе «Опавших листьев» Розанова: «Начал „переживать“ Метерлинка: страниц 8 я читал неделю, впадая почти после каждых 8-ми строк в часовую задумчивость (читал в конке)» (Л. С. 199).

Его замечания о греческой трагедии, о Расине... — Розанов имеет в виду работу Н. А. Бердяева «К философии трагедии. М. Метерлинк» в сборнике «Литературное дело». СПб., 1902. С. 162—184; то же в книге Бердяева «Sub specie aeternitatis: Опыт философии, социальные и литературные. 1905—1906 г.» (СПб., 1907).

РУССКОЕ ФИЛОСОФСТВОВАНИЕ

«Наше место в вечности». Киев, 1907

(с. 626)

Автограф неизвестен.

Сохранилась машинопись — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 82. Л. 1—10.

Печатается впервые по тексту машинописи.

Книга анонимного автора «Наше место в вечности» (Киев: Тип. Е. В. Кульженко, 1907. 115 с.) была послана 13 декабря 1907 г. Л. Н. Толстому, но не получила его отклика. Предположение Розанова, что автор книги «Наше место в вечности» — «маститый литератор, сотрудничавший еще у братьев Мих. и Фед. Достоевских, издававших в 60-е годы минувшего века журнал „Время“», указывает на П. А. Кускова как автора.

Цитата из немецкого физиолога и философа Вильгельма Вундта восходит к переводу его книги «Лекции о душе человека и животных» (СПб., 1894), которую неоднократно цитировал Розанов.

Цитата из Достоевского, что «*каторга населена талантами*» является обобщением Розанова после чтения «Записок из Мертвого дома».

С. 628. ...«*душа отделяется от мозга, как мога выделяется из погек*». — Мысль К. Фогта (Фогта) «мозг производит мысль так же, как печень — желчь» из его книги «Наивная

вера и наука» (1854), к которой Розанов обращался неоднократно (см. статью «Фохт» в «Розановской энциклопедии», с. 1104).

С. 630. ...«*каторга населена талантами*». — Ср.: «...сколько сил и таланту погибает у нас на Руси иногда почти даром, в неволе и в тяжелой доле!» (Ф. М. Достоевский. Записки из Мертвого дома. I, 11: Представление).

С. 631. ...*о преступнике Ласенере*... — О французском убийце Пьере Франсуа Ласенере, писавшем стихи и мемуары, упоминает Достоевский в «Идиоте» (III, 7), а некоторые считают Ласенера прообразом Раскольникова.

С. 632. *Все, что будет — все пройдет. Что пройдет — то станет мило.* — Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Если жизнь тебя обманет...» (1825): «Все мгновенно, все пройдет; / Что пройдет, то будет мило».

ПРИЛОЖЕНИЕ

(Статьи разных лет, ранее не печатавшиеся)

ИДЕАЛЫ

(с. 636)

Сохранился автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 89. Л. 1—8.

Печатается впервые по тексту автографа. Статья относится к раннему периоду творчества Розанова, являясь первоначальным вариантом статьи «Цель человеческой жизни» (ВФП. 1892. Кн.14. С. 135—164; Кн. 15. С. 1—31).

Текст содержит значительную, однако почти исключительно стилистического характера, правку, которая поэтому в настоящем ПСС не воспроизводится. Кроме того, текст имеет отчасти фрагментарный характер: он несколько раз обрывается, и значительная часть страницы остается чистой (очевидно, Розанов собирался позднее доработать статью); — эти места обозначены пропуском строки. Зачеркнутые большие фрагменты текста заключены в квадратные скобки.

С. 641. ...*по физике Малинина и Буренина*... — Малинин А., Буренин К. Руководство физики для гимназий: В 2 ч. М., 1868; 2-е изд. под назв.: Руководство физики и сборник физических задач для гимназий: М., 1870; 12-е изд.: М., 1904—1905.

С. 642. *Д. С. Милль, давший логике*... — см. рус. перевод: Милль Дж. Ст. Система логики: [В 2 т.] / С 5-го доп. лондонского изд. переведено, под ред. и с прим. П. Л. Лаврова, Ф. Резенером. СПб., 1865—1867; 2-е изд.: СПб.; М., 1878.

...*в прошлом году вышло исследование Мальцева ~ утилитарной теории*. — Мальцев А. Нравственная философия утилитаризма: Историко-критическое исследование. СПб., 1879. Таким образом, написание этой неопубликованной статьи Розанова можно отнести к 1880 г.

(х) — знак, означающий, очевидно, что следующий далее фрагмент, занимающий целую страницу и позднее зачеркнутый, предполагался в качестве вставки в текст статьи.

ИЗ МИРА ИДЕЙ И ФАКТОВ

<К. Н. Леонтьев>

(с. 645)

Сохранился автограф черными чернилами — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 185. Л. 1—3. В верхнем правом углу первого листа надпись Розанова: «Возвращено из Моск. Вед., писано в 1893 г. — зимой».

Печатается впервые по тексту рукописи.

С. 647. *...проводя дни и годы в Оптиной Пустыни.* — Впервые посетив монастырь в августе 1874 г., К. Н. Леонтьев стал регулярно совершать туда поездки, в 1880 г. пребывал там с августа по ноябрь, а осенью 1887 г. окончательно переселился в Оптину Пустынь, где проживал в консульском домике у ограды монастыря вплоть до 18 августа 1891 г.

С. 648. *«Царствие Божие внутрь вас есть...»* — Лк 17, 21.

Всероссийская выставка — Всероссийская художественно-промышленная выставка, открывшаяся в Москве на Ходынском поле 20 мая 1882 г.

...свету Яблочкова... — Один из вариантов электрической угольной дуговой лампы, изобретенный П. Н. Яблочковым в 1876 г.

...в городе, где я жил... — имеется в виду Нижний Новгород, где Розанов жил в 1872–1878 гг.

НОВЕЙШИЕ УСПЕХИ ЗНАНИЯ

(с. 650)

Сохранилась рукопись — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 90. Л. 1 — 3.

Надпись сверху: Набрать в книге «Природа и история» после статьи «Две философии» (во II-м листе).

Печатается впервые по тексту рукописи

С. 653. *...экспедицией Нансена: открытие полюса...* — Ф. Нансен достиг Северного полюса 8 апреля 1895 г. на корабле «Фрам». Это указание на дату позволяет датировать статью Розанова второй половиной 1890-х гг. (учитывая, что книга «Природа и история», куда предполагалось включить статью, увидела свет в ноябре 1899 г.).

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПИСАТЕЛЯ

Великий сфинкс истории

(с. 654)

Сохранился автограф черными чернилами — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 170. Л. 181–182. В левом углу рукописи надпись карандашом: Писатели.

Впервые напечатано без заглавия: Литературно-художественный альманах «Артбухта». М., 2014. № 3: Международный спецвыпуск: Россия–Казахстан. С. 439–441. Публикация С. Р. Федякина.

Печатается по тексту автографа.

Предположительно эта, как и следующая, статья датируется второй половиной 1900 г., поскольку рубрика «Из записной книжки (русского) писателя» вплоть до июля 1900 г. была основной в Литературном приложении к «Торгово-Промышленной Газете», которое редактировал Розанов. Статьи, вероятно, и не были опубликованы, поскольку прекратился выпуск Литературного приложения. Кроме того, своим содержанием эти статьи близки к кругу тем книги «Тайна. Из записной книжки писателя» (т. 2 настоящего ПСС. С. 239–603).

С. 656. *...«аз наг и устыдился Тебя, Господи!»...* — ср. слова Адама (Быт 3, 10: «убоялся, потому что я наг, и скрылся»).

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПИСАТЕЛЯ
Гаснущие огни и зажигающиеся огни
(с. 656)

Сохранился автограф черными чернилами — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 1—2. Печатается впервые по тексту автографа.

С. 657. ...«того ради ~ прилепится к жене своей». — Быт 2, 24; Мф 19, 5.

С. 658. ...«плодитесь, множитесь, наполните землю»... — Быт 1, 28.

ВАРИАНТЫ

1901

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
(К 60-летию кончины)
(с. 661)

С. 662. *И погружая мысль в какой-то смутный сон...* — М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» (1837).

С. 663. *И улыбались звезды голубые...* — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей. 11.

С. 663—664. *На воздушном океане...* — М. Ю. Лермонтов. Демон. I, 15.

С. 664. «*В комнате и свег нет, а светит...*» — Н. В. Гоголь. Страшная месть (1831). Гл. IV.

С. 665. — *Я инаге не играю. Как ваша фамилия? — проговорил Лугин.* — М. Ю. Лермонтов. Штосс (1841). Гл. III.

М. О. МЕНЬШИКОВ. НАЧАЛА ЖИЗНИ
(с. 666)

С. 666. ...*просьба городского секретаря Поваловшейковского...* — см. коммент. к с. 282. ...*Ф. Благовидов. Обер-прокуроры св. Синода в XVIII и первой половине XIX-го ст. ...* — Книга Ф. В. Благовидова издана в Казани в 1899 г.; 2-е изд.: 1900.

«*Удивление есть нагало философии...*» — Аристотель. Метафизика. I, 2: «Ибо и теперь и прежде удивление побуждает людей философствовать...» (*Аристотель*. Соч.: В 4 т. М., 1978. Т. 1. С. 69).

«ДЕМОН» ЛЕРМОНТОВА
В ОКРУЖЕНИИ ДРЕВНИХ МИФОВ
(с. 668)

С. 668. «*Колыбельная песня*» — имеется в виду стихотворение «*Казачья колыбельная песня*».

«*Дубовый листок*» — речь идет о стихотворении «*Листок*».

РАЗМОЛВКА МЕЖДУ ДОСТОЕВСКИМ И СОЛОВЬЕВЫМ

(с. 669)

С. 669. ...«Господи, владыко живота моего»... — молитва Ефрема Сирина, которая читается на богослужениях Великого поста. См. также коммент. к с. 26.

...«камня на камне не останется от стен сих»... — Мф 24, 2 («не останется здесь камня на камне; все будет разрушено»).

С. 670. Как «лили полевые, как птицы небесные». — Ср.: Мф 6, 26 и 28.

...«виновным и правым внимает равнодушно»... — Ср.: «Спокойно зрит на правых и виновных, / Добру и злу внимаю равнодушно...» (А. С. Пушкин. Борис Годунов. Сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре»).

...*гасть народа ~ полезла в горящие срубы.* — Подразумеваются старообрядцы.

...*запращение Христа апостолу Петру, вынужшему мет.* — Мф 26, 52.

...«секира лежит уже при корне дерева»... — Мф 3, 10.

...«вязать здесь же на земле и ввергать в огонь ветный»... — Ср.: Мф 18, 8 и 18.

«Какая польза человеку приобрести весь мир и потерять душу свою». — Мк 8, 36.

С. 671. *Чтоб из низости душою...* — В. А. Жуковский. Элевзинский праздник (1833).

С. 672. ...*критиковать идею «муравейника»*... — «Да она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного. Муравейник, давно уже созидавшийся в ней без церкви и без Христа (ибо церковь, замутив идеал свой, давно уже и повсеместно перевоплотилась там в государство), <...> этот созидавшийся муравейник, говорю я, весь подкопан» (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1880. Гл. III: Две половинки).

С. 674. ...«*Записка о состоянии сельского духовенства*» священника Беллюстина. — Точнее: Описание сельского духовенства. Лейпциг, 1858.

С. 675. ...«*всю тебя, земля родная, в рабском виде...*» — Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья...» (1855).

С. 676. ...«*Я не мир принес на землю, но мет и разделение*»... — Ср.: Мф 10, 34.

...«*Да любите друг друга — по сему узнают, Мои ли вы ученики*»... — Ин 13, 34 и 35.

СЕРЬЕЗНЫЙ КРИТИК

(с. 684)

С. 684. *Графов пузырек* — мешочек, заключающий в себе яйцеклетку в яичниках млекопитающих Открыт у женщин нидерландским анатомом Р. де Граафом.

СРЕДИ ИНОЯЗЫЧНЫХ

(Д. С. Мережковский)

(с. 684)

С. 685. ...«*грешном и прелюбодейном*»... — Мк 8, 38.

...«*шопот, робкое дыханье*»... — см. коммент. к с. 396.

ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ЗОЛЯ

(с. 686)

С. 687. ...*размашистого экспериментатора.* — Золя так назван как автор книги «Экспериментальный роман» (1880).

Друг! Для таких прозулок... — Ср.: А. С. Грибоедов. Горе от ума. I, 4.

...в волшебном фонаре... — Упомянут аппарат для проекции изображений, известный с XVII в. и широко распространенный в XIX в.

...Грегоровиуса «История (средневекового) города Рима»... — см. коммент. к с. 481.

...Забелина о московских царях и царицах... — *Забелин И.* Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст.: [В 2 т.]. Т. 1: Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст.; Т. 2: Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М., 1862—1869; 3-е изд., с доп.: М., 1895—1901.

...ослиной челюстью в руках Самсона... — См.: «И сказал Самсон: челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью ослиною убил я тысячу человек» (Суд 15, 16).

С. 688. *...формы христианства, выковавшиеся ~ в Аугсбурге...* — имеется в виду Аугсбургское исповедание веры (1530), выработанное для лютеранской церкви Ф. Меланхтоном и одобренное М. Лютером.

«Дух дышит, идеже хоцетъ»... — Ин 3, 8.

Cathedersocialismus — катедер-социализм, течение, возникшее в начале 1870-х гг. в среде немецких консервативных экономистов как ответ на распространение социал-демократического движения и марксизма.

«Servus servorum Dei», подписал папа Григорий Великий, ~ константинопольскому патриарху... — имеется в виду спор о титуле вселенского патриарха между Григорием I Великим и патриархом Иоанном IV Постником в конце VI в.

...раз в год омыть ноги принаряженным нищим. — Чин умовения ног совершается в Великий четверг архиереем, который омывает ноги 12 священникам (или монахам) в воспоминание омовения, исполненного Спасителем над апостолами пред Тайной вечерей.

СУДЬБА РУССКОГО УЧЕНОГО

(с. 692)

С. 692. *...в одном из летних фельетонов ~ цитату в 3—4 строчки из вновь вышедшей книги одного ученого.* — Розанов В. Об отрицании эллинизма // *НВ.* 1902. 26 авг. № 9510. Здесь Розанов привел цитату из труда профессора А. И. Введенского «Религиозное сознание язычества: Опыт философской истории естественных религий» (М., 1902. Т. 1), перед которой дал высокую оценку исследованию: «Не так давно появился прекрасный и монументальный труд (первый том) профессора Алексея Введенского...» (*ВДЯ.* С. 227).

...полугаю с погты ~ письмо. — Сохранилось одно недатированное письмо А. И. Введенского к Розанову. Судя по содержанию, оно написано после 1906 г.; хранится в РГБ (Ф. 249. М. 3823. Ед. хр. 4. Л. 1).

...труда «О понимании»... — см. коммент. к с. 79.

ОДИН ИЗ ДОБРЫХ НАШИХ НАСТАВНИКОВ

(с. 695)

С. 696. *...«Самодетельность» и «Характер»...* — см. коммент. к с. 324.

...«одна за многих» (заголовок прошлый год нашуемвшеи пустой книжки). — *Вера [Крис Беттина].* Одна за многих: Из дневника девушки / Пер. с 14 изд. Н. Асова [А. Н. Ачкасова]. М., 1903.

«Гомруль» — движение за автономию Ирландии на рубеже XIX—XX вв.

РУССКИЕ ИДЕАЛЫ

(с. 700)

С. 700. *Граф Уваров ~ писавший ~ об Элевзинских таинствах...* — *Ouvaroff M.* 1) *Essai sur les mystères d'Eleusis.* Paris, 1816; 2) *Essay on the Mysteries of Eleusis.* London, 1817.

С. 701. *...том с богословскими сочинениями был напечатан в Праге...* — Том 2 ПСС Хомякова, увидевший свет в 1867 г. под редакцией и с обширным предисловием Ю. Ф. Самарина.

С. 702. *...«пророчества и законов»...* — Ср.: Мф 5, 17. От названия пророческих и законоположительных (Пятикнижие) книг Ветхого Завета.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Б. д. — без даты.
Б. з. — без заглавия.
Б. и. — без издательства.
Б. н. — без номера.
Б. п. — без подписи.
паг. — пагинация.
ПСС — Полное собрание сочинений.
ПССиП — Полное собрание сочинений и писем.
РФО — Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (1907—1917).
РФС — Религиозно-философские собрания в Санкт-Петербурге (1901—1903).

Архивохранилища

- АФ — Архив священника Павла Флоренского (Москва).
ГИМ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный исторический музей». Отдел письменных источников (Москва).
ГЛМ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный литературный музей». Отдел рукописных фондов (Москва).
ИМЛИ — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт мировой литературы Российской Академии наук». Отдел рукописей (Москва).
ИРЛИ — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук». Рукописный отдел (СПб.).
РГАЛИ — Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив литературы и искусства» (Москва).
РГБ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека». Отдел рукописей (Москва).
РГИА — Федеральное государственное учреждение «Российский государственный исторический архив» (СПб.).
РНБ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека». Отдел рукописей (СПб.).
ПФАРАН — Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Архива Российской Академии наук.
ЦИАМ — Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Центральный исторический архив Москвы».

Печатные источники

- АНВ* — Розанов В. В. Собр. соч. Апокалипсис нашего времени. М., 2000.
БВ — Богословский вестник. Сергиев Посад, 1892—1918.
БВед — Биржевые Ведомости. СПб., 1880—1917.
ВВ — Вешние Воды. СПб., 1913—1918.
ВДЯ — Розанов В. В. Собр. соч. Во дворе язычников. М., 1999.
ВЕ — Розанов В. В. Собр. соч. Возрождающийся Египет. М., 2002.
ВМНН — Розанов В. В. Собр. соч. В мире неясного и нерешенного. М., 1995.
ВНС — Розанов В. В. Собр. соч. В нашей смуте. М., 2004.
ВРХД (ВРСХД) — Вестник русского студенческого христианского движения. Париж, 1925—1990. Далее Париж, Нью-Йорк, Москва.
ВТРЛ — Розанов В. В. Собр. соч. В темных религиозных лучах. М., 1994.
ВФП — Вопросы философии и психологии. М., 1889—1918.
ВЧВ — Розанов В. В. Собр. соч. В чаду войны. М.; СПб., 2008.
Г — Гражданин. СПб., 1872—1914.
Голлербах — Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пг.: Полярная звезда, 1922.
ЖМНП — Журнал Министерства Народного Просвещения. СПб., 1834—1917.
ЗР — Золотое Руно. М., 1906—1909.
ЗРП — Розанов В. В. Собр. соч. Загадки русской провокации. М., 2005.
К — Колокол. СПб., 1905—1917.
КНУ — Розанов В. В. Собр. соч. Когда начальство ушло... М., 2005.
КУ — Книжный угол. Пб., 1918—1922.
Л — Розанов В. В. Собр. соч. Листва. М.; СПб., 2010.
ЛВИ — Розанов В. В. Собр. соч. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996.
ЛЖ — см. *РЛЖ*.
ЛИ — Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники. М., 2001.
ЛИ-2 — Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники. Кн. 2. М.; СПб., 2010.
ЛН — Литературное наследство.
МВ — Московские Ведомости. М., 1756—1917.
МИ — Мир Искусства. СПб., 1899—1904.
Мимолетное — Розанов В. В. Собр. соч. Мимолетное. М., 1994.
НВ — Новое Время. СПб., 1868—1917.
НВип — Новое Время. Иллюстрированное приложение. СПб., 1891—1917.
НП — Новый Путь. СПб., 1903—1904.
НФП — Розанов В. В. Собр. соч. На фундаменте прошлого. М.; СПб., 2007.
ОНД — Розанов В. В. Собр. соч. Около народной души. М., 2003.
ОПП — Розанов В. В. Собр. соч. О писательстве и писателях. М., 1995.
ОЦС — Розанов В. В. Собр. соч. Около церковных стен. М., 1995.
ПВ — Розанов В. В. Собр. соч. Признаки времени. М., 2006.
ПИ — Розанов В. В. Собр. соч. Природа и история. М.; СПб., 2008.
ПЛ — Розанов В. В. Собр. соч. Последние листья. М., 2000.
РВ — Русский Вестник. М.; СПб., 1856—1906.
РГО — Розанов В. В. Собр. соч. Русская государственность и общество. М., 2003.
РИК — Розанов В. В. Собр. соч. Религия и культура. М.; СПб., 2008.
РЛЖ — Российский литературоведческий журнал. М., 1993—1999 (с 2000 г. — Литературоведческий журнал).
РО — Русское Обозрение. М., 1890—1898, 1901, 1903.

- Розановская энциклопедия* — Розановская энциклопедия / Сост. А. Н. Николукин. М.: РОССПЭН, 2008.
- РС* — Русское Слово. М., 1895—1918.
- СВР* — Розанов В. В. Собр. соч. Семейный вопрос в России. М., 2004.
- СМР* — Розанов В. В. Собр. соч. Старая и молодая Россия. М., 2004.
- Собр. соч.* — Розанов В. В. Собрание сочинений / Под ред. А. Н. Николукина: В 30 т. М.: Республика; СПб.: Росток, 1994—2010.
- СОЧ* — Розанов В. В. Сочинения / Сост., подг. текста и коммент. А. Л. Налепина и Т. В. Померанской. М.: «Советская Россия», 1990.
- Спасовский* — Спасовский М. М. В. В. Розанов в последние годы жизни. Среди неопубликованных писем и рукописей. 2-е изд. Нью-Йорк: Всеславянское издательство, 1968.
- СПбВ* — Санкт-Петербургские Ведомости. СПб., 1702—1917.
- СХ* — Розанов В. В. Собр. соч. Среди художников. М., 1998.
- СХР* — Розанов В. В. Собр. соч. Сахарна. М., 1994.
- ТПГ* — Торгово-Промышленная Газета. Литературное приложение. СПб., 1893—1917.
- ТПРН* — Розанов В. В. Собр. соч. Террор против русского национализма. М.; СПб., 2005.
- ЭПИ* — Розанов В. В. Собр. соч. Эстетическое понимание истории. М.; СПб., 2009.
- Юдаизм* — Розанов В. В. Собр. соч. Юдаизм. М.; СПб., 2009.
- PRO* — В. В. Розанов Pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: РХГИ, 1995. Кн. 1—2.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ *

А. А. — см. *Толстая А. А.*

А—ть — см. *Петерсен В. К.*

Аарон, старший брат пророка Моисея, первый еврейский первосвященник 133, 738

Абассиды, династия арабских халифов (750—1258) 776

Абрамович Дмитрий Иванович (1873—1955), историк рус. литературы, филолог-славист, палеограф, источниковед; проф. С.-Петербур. духов. академии (1898—1909) 91

Август Октавиан (Гай Юлий Цезарь Октавиан Август; 63 до н. э. — 14 н. э.), рим. император (с 27 до н. э.) 47, 288, 289, 291, 548, 716, 763, 771, 822

Августин Блаженный (Аврелий Августин; 354—430), епископ Гиппонский, теолог 45, 47, 253, 299, 541, 563, 573, 716, 773

Исповедь (Confessions) 563

О Граде Божьем (De Civitate Dei) 716

Авель, второй сын Адама, убитый своим братом Каином 402, 540, 541, 791

Авраам, первый библ. патриарх эпохи после Всемир. потопа 141, 280, 453

Агамемнон, в др.-греч. мифологии царь микенский, один из героев «Илиады» Гомера 175, 214, 215, 452, 682, 756

Агарь, египтянка, рабыня, ставшая наложницей библ. патриарха Авраама и родившая ему сына Измаила 58, 453, 719

Адам 72, 158, 233, 280, 325, 365, 413, 415, 474, 562, 563, 675, 723, 837

Адамович Антон Флорианович (ок. 1850 — после 1913), эмигрант-социалист (1870-е), публицист-экономист, чиновник Мин-ва путей сообщения, сотрудник журн. «РО» и газ. «НВ», корреспондент Розанова (1899—1911) 205, 753

Адонай, в иудаизме обозначение Бога Яхве 25, 127

Адонис, в др.-греч. мифологии пастух и охотник, возлюбленный Афродиты и Диониса 85, 86, 133, 141, 244, 249—252, 254, 280, 685, 770

Адриан (Публий Элий Траян Адриан; 76—138), рим. император (с 117) 119, 120, 123, 293, 557, 558, 825

Аккерман (ур. Шоке) Луиза Викторина (1813—1890), фр. поэтесса 276

* Составители А. П. Дмитриев и Д. А. Федоров. Помимо принятых сокращений (см. «Список сокращений»), в Указателе широко используются традиционные библиографические сокращения, при датах опускаются «г.» и «гг.», а при длинных заглавиях — легко восстанавливаемые слова, например «Императорский» при «университетах». Для общеизвестных лиц указываются только их имена и даты жизни. Лица, подробные сведения о которых имеются в разделе «Комментарии» (к ним отсылает страница, выделенная полужирным курсивом), также не аннотируются. Курсивным шрифтом обозначены страницы раздела «Комментарии».

- Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), публицист-славянофил, поэт, лит. критик, журналист; секретарь (с 1858) и пред. (1875–1878) Моск. славян. благотворит. комитета 180, 214, 266, 331, 410, 454, 482, 483, 724, 748, 767
- Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860), публицист-славянофил, историк, лингвист, поэт 410–412, 792, 812
- О внутреннем состоянии России 410, 792
- Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), прозаик, критик, поэт 20, 111, 327, 366, 394, 603, 712, 784
- Письмо к друзьям Гоголя 20, 712
- Семейная хроника 327, 366, 394, 603, 778, 784
- Аксаковы 21, 192, 332, 462, 483, 804
- Александр I Павлович (1777–1825), рос. император (с 1801) 94, 330, 398, 419, 464, 465, 672, 730, 749, 778, 793
- Александр II Николаевич (1818–1881), рос. император (с 1855) 16, 18, 175, 176, 179, 218, 354, 358, 363, 410, 412, 419, 605, 672, 783, 793
- Александр III Александрович (1845–1894), рос. император (с 1881) 18, 95, 218, 316, 355, 360, 361, 402, 463, 552, 553, 578, 613, 619, 823
- Александр Гессен-Дармштадтский (1823–1888), принц Гессенский, основатель нем. рода Баттенбергов, российский ген. от кавалерии 355, 782
- Александр Македонский (Александр Великий; 356–323 до н. э.) 66, 109, 287, 326
- Александр Невский (1220/1221–1263) 572, 763
- Александра Андреевна – см. *Толстая А. А.*
- Александра Львовна – см. *Толстая А. Л.*
- Александра Федоровна (ур. принцесса Фридерика Шарлотта Вильгельмина; 1798–1860), супруга имп. Николая I 754
- Александров Анатолий Александрович (1861–1930), критик, педагог, поэт, ред. журн. «РО» (1892–1898) и газ. «РС» (1894–1898) 622
- Алексеев Михаил Павлович (1896–1981), литературовед, академик (1958) 822
- Ранний друг Ф. М. Достоевского 822
- Алексей Михайлович (1629–1676), рус. царь (с 1645) 670
- Алексей Петрович (1690–1718), царевич, старший сын Петра I 239, 304–308, 426, 774, 795
- Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967), революционер, социал-демократ, большевик (1905–1908), журналист 581
- Алимпий (?–1859), старообрядческий епископ Тульчинский; арестован (1854) и заключен в суздальский Спасо-Ефимиевский мон-рь 358, 783
- Алкивиад (450–404 до н. э.), афин. гос. деятель, оратор и полководец 408
- Алкиной, в др.-греч. мифологии царь феаков 546
- Алмазов Борис Николаевич (1827–1876), поэт, переводчик, лит. критик, прозаик 335, 780
- Диссонансы 335–336, 780
- Альба Фернандо Альварес де Толедо (1507–1582), герцог, исп. гос. деятель и военачальник 220, 579
- Альбов Иоанн Федорович, священник, духов. писатель 89, 91, 283
- Альфред Великий (ок. 849–899/901), король Уэссекса 419
- Амвросий (в миру Андрей Петрович Келембет; 1745–1825), архиепископ Тобольский и Сибирский 491

- Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков; 1812–1891), иеросхимонах, старец калуж. Введенской Оптиной пустыни 149–151, 278, 331, 740
- Амиель (Амель) Анри Фредерик (1821–1881), швейц. писатель, поэт, мыслитель-эссеист 255, 490, 765
- Задуховный дневник 765
- Аммоний Саккас (175–242), др.-греч. философ 760
- Жизнь Аристотеля 760
- Амур – см. *Эрос (Эрот)*
- Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938), прозаик, публицист, фельетонист, лит. и театр. критик, драматург 388, 788
- В посмертные дни (о кончине А. П. Чехова) 388, 788
- Анакреон (570/559–485/478 до н. э.), др.-греч. лирик 187, 537
- Анаксагор из Клазомен (ок. 500–428 до н. э.), др.-греч. философ, математик, астроном 806
- Ананьев Афанасий, лексикограф 733
- Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) 210–212, 347–354, 581–589, 755, 781, **828**, 829
- Бездна 210, 755
- В тумане 210, 755
- Жизнь Василия Фивейского 347–354, 584, 781, 828
- Иуда Искариот и другие 582–588
- Андреев-Бурлак (наст. фам. Андреев) Василий Николаевич (1843–1888), актер, чтец и писатель 290, 772
- Андреевский Сергей Аркадьевич (1847–1918) 273–278, **768**, 769
- Вырождение рифмы 278
- Литературные очерки (Литературные чтения) 275, 278, 769
- Поэзия Баратынского 276
- Андрей Первозванный (? – ок. 70), первый из призванных апостолов (учеников) Христа, галилейский рыбак 571, 618, 826
- Андромаха, в др.-греч. мифологии супруга Гектора 442, 548
- Анна, мать ветхозавет. судии и пророка Самуила 281, 770
- Анна Иоанновна (1693–1740), рос. императрица (с 1730) 359, 783
- Анна Праведная (ок. 89 – ок. 10 до н. э.), мать Богородицы; в честь нее был учрежден орден св. Анны 231
- Анна Пророчица, персонаж Нового Завета; упоминается в событии Сретения Господня 346
- Аннибал – см. *Ганнибал*
- Антей, в др.-греч. мифологии царь Ливии, великан, получавший силу от соприкосновения со своей матерью Геей – землей 17
- Антигон I Одноглазый (382–301 до н. э.), полководец Александра Великого и эллинистический сатрап Фригии 287
- Антиной (ок. 111 – перед 130), греч. юноша, фаворит римского имп. Адриана 557, 558, 825
- Антиох III Великий (241–187 до н. э.), царь Государства Селевкидов (с 223 до н. э.), полководец 291, 772
- Антокольский Марк Матвеевич (имя при рождении Мордух Матысович; 1843–1902), скульптор 535

- Антоний (в миру Александр Васильевич Вадковский; 1846–1912), богослов, проповедник, д-р церк. истории (1895), митрополит С.-Петербургский и Ладожский (с 1898); чл. Гос. совета (в 1906) 426, 576, 795
- Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий; 1863–1936), богослов, философ; архиепископ Харьковский и Ахтырский (с 1914), митрополит Киевский и Галицкий (с 1918), первый пред. Архиер. синода РПЦ за границей (с 1921) 70, 91, 513, 814
- Антонин (в миру Александр Андреевич Грановский; 1865–1927), старший цензор в С.-Петербург. духов. академии (1899–1903), епископ Нарвский (с 1903), впоследствии «обновленч. митрополит» 89
- Антонины, рим. императорская династия (96–192); названа по имени имп. Антонина Пия 47, 291, 716
- Антонович Максим Алексеевич (1835–1918), лит. критик, публицист, философ 766
Литературный кризис 766
- Анубис, в др.-египет. мифологии божество с головой шакала и телом человека, проводник умерших в загробный мир 142, 143
- Апеллес (ок. 370–306 до н. э.), др.-греч. живописец 45, 46
- Апокриф — см. *Штерк Ф. Э.*
- Аполлон, в др.-греч. мифологии бог солнеч. света, покровитель наук и искусств 242, 383, 768, 787
- Апулей (Луций Апулей Платоникус; ок. 124 – ок. 180), др.-рим. прозаик, философ-платоник, ритор 119, 736
Золотой осел 119, 120, 736
- Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), граф (с 1799), гос. и воен. деятель 188, 327, 330, 575, 605, 606, 618, 698, 831
- Арбенин (наст. фам. Гильдебрандт) Николай Федорович (1863–1906), актер, театр. критик и переводчик 56, 57, 719
Петербургские грущобы 56–59, 719
- Аретино Пьетро (1492–1556), итал. сатирик, публицист и драматург 497
- Ариадна, в др.-греч. мифологии дочь критского царя Миноса и Пасифаи, помогшая Тесею выбраться из лабиринта, где обитал Минотавр 527
- Аристид (Элий Аристид; 117–189), др.-греч. ритор и софист 225, 494
- Аристотель (384–322 до н. э.) 273, 294, 449, 477, 624, 666, 760, 831, 838
Метафизика 838
Поэтика 831
- Аристофан (446–385 до н. э.), др.-греч. комедиограф 82, 83, 727
Лягушки 727
Облака 727
- Аркадий (в миру Андрей Дорощев; 1809–1889), старообрядч. архиепископ Белокриницкой иерархии; инок Лаврентьевского старообрядч. мон-ря в Стародубье (с 1829); путешествовал по старообрядч. обителям Румынии; еп. Славский (с 1844; архиеп. с 1850); арестован рус. войсками (1854), содержался при суздальском Спасо-Евфимиевом мон-ре (до 1881) 358, 783
- Арсеньев Дмитрий Сергеевич (1832–1915), адмирал (1900), начальник Николаевской морской академии (1882–1896), член Государственного Совета (с 1900) 709
- Арсеньева София Дмитриевна 15, 709
Рассказы из русской истории 709
Царствующий дом Романовых 709

- Артаксеркс I (465—424 до н. э.), персид. царь из династии Ахеменидов (с 465 до н. э.) 570
- Архимед (287—212 до н. э.), др.-греч. математик, физик и инженер 319
- Аскольдов (наст. фам. Алексеев) Сергей Алексеевич (1871—1945), религ. философ, спиритуалист и панпсихист 294, 609, 772, 832
- О старом и новом религиозном сознании 832
- Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813—1879), писатель, журналист, препод. Киев. духов. академии (1839—1846), издатель газ. «Домашняя беседа» (1858—1877) 237, 738, 761
- Ассиз (Акид, Ацис), сын Пана и нимфы Семетиды; полюбивший nereиду Галатею и убитый своим соперником в любви, циклопом Полифемом 40, 45, 715
- Астарта, греч. вариант имени богини любви и власти Иштар из шумеро-аккадского пантеона 72, 127, 132, 139, 753
- Атилла (?—453), предводитель гуннов (с 434) 384
- Ауэр фон Вельсбах Карл (1858—1929), австр. химик, исследователь редкоземельных элементов 369, 785
- Афанасьев Александр Николаевич (1826—1871), литературовед, представитель «мифологич. школы» в фольклористике 731
- Афанасьев Матвей (?—1872), пастух 363, 783, 784
- Афродита, в др.-греч. мифологии богиня плодородия, любви и красоты 72, 133, 292, 429, 430, 433, 703, 796
- Ахав, библ. персонаж, царь Израильского царства (873—852 до н. э.) 396, 790
- Ахаз, библ. персонаж, царь Иудейского царства (743—727 до н. э.); сын Иоафама 396, 790
- Ахиллес (Ахилл), в др.-греч. сказаниях храбрый из героев похода против Трои 279, 548, 769
- Ачкасов Алексей Николаевич (псевд. Н. Асов; 1870 — после 1913), журналист, поэт, беллетрист, переводчик 840
- Ашевский С. (наст. имя Михаил Николаевич Столяров-Суханов; 1872 — не ранее 1915), лит. критик, литературовед 786
- Аякс Теламонид, в др.-греч. мифологии герой, участвовавший в осаде Трои 452, 548
- Б-в — см. Бибииков А. Н.**
- Баженов Николай Николаевич (1857—1923), проф. психиатрии, главн. врач Преображен. психиатр. б-цы в Москве (1904—1905) 805
- Базаров (наст. фам. Руднев) Владимир Александрович (1874—1939), философ и экономист, переводчик 778
- Байрон Джордж Гордон (1788—1824) 68, 201, 275, 308, 386, 392, 546—548, 597—599, 668, 688, 721, 722, 728, 752, 766, 769, 775
- Еврейские мелодии 201, 752
- Каин 68, 668, 721, 722
- Манфред 257, 275, 766
- Паломничество Чайльд-Гарольда 257, 308, 766, 775
- Шильонский узник 84, 728
- Бакст Леон Самойлович (наст. имя Лейб-Хаим Израилевич Розенберг; 1866—1924), художник, сценограф, иллюстратор и дизайнер 92
- Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), мыслитель, революционер, анархист 483
- Балабанова (Балобанова) Екатерина Вячеславовна (1847—1927), писательница, историк литературы, специалист библиотеч. дела, педагог 436, 829
- Отель Рамбулье 436

- Балланш Пьер Симон (1776—1847), фр. философ и поэт 78
- Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873—1944), рус. и лит. поэт-символист и переводчик, дипломат 728
- Бальзак Оноре де (1799—1850) 488, 543, 544, 809, 821
- Евгения Гранде 821
- Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942), поэт-символист, переводчик, эссеист 783
- Баранов Николай Михайлович (1837—1901), ген.-лейтенант, сенатор (1897); ген.-губернатор в Петербурге (с 1881), Астрахани (с 1882), Ниж. Новгороде (1883—1897) 176, 747
- Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800—1844), поэт 95, 116, 174, 274, 276, 278, 689
- Барклай-де-Толли-Веймарн Александр Петрович (1824—1906), князь (с 1859), ген. от инфантерии, ген.-адъютант (1867) 619, 834
- Баррьер Теодор (1823—1877), фр. драматург 725
- Сцены из жизни богемы 77, 725
- Барсуков Николай Платонович (1838—1906), историк, археограф, издатель, библиограф 107, 734
- Жизнь и труды М. П. Погодина 107, 734
- Бартенев Петр Иванович (1829—1912), историк, археограф, библиограф; изд.-ред. журн. «Рус. Архив» (с 1863) 779
- А. С. Хомяков 779
- Басаргин А. — см. *Введенский А. И.*
- Батюшков Константин Николаевич (1787—1855), поэт, прозаик, лит. критик 77, 394, 689, 725
- Элегия из Парни 77, 725
- Батюшков Н. И., проф. — вероятно, соединение в одном имени указаний на двух лиц: Ф. Д. Батюшкова (см.) и Н. И. Стороженко (см.).
- Батюшков Федор Дмитриевич (1857—1920), филолог и педагог, приват-доцент С.-Петербург. ун-та и лектор Высших женских курсов (1885—1898), ред. журн. «Мир Божий» (1902—1906) 696
- Башкирцева Мария Константиновна (1858—1884), художница, автор дневника 274, 278
- Баярд Пьер Террай де (1473—1524), фр. рыцарь и полководец 214, 756
- Беатриче (возможно, Беатриче Портинари; 1266/1267—1290), тайная возлюбленная поэта Данте Алигьери 280, 311, 408
- Бейль (Бэйль) Пьер (1647—1706), фр. религ. мыслитель 62, 368
- Бел (Бэл), в религиях Древнего Междуречья верховный бог 130, 132, 141, 144
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) 22, 23, 77, 78, 104, 114, 117, 178, 188, 192, 253, 345, 385—387, 393, 478, 482, 484, 547, 662, 712, 725, 726, 733, 751, 775, 822
- О русской повести и повести г. Гоголя 22, 712
- Ответ «Москвитянину» 78, 726
- Письмо И. С. Тургеневу от 18 февраля 1847 г. 192, 751
- Письмо к Гоголю 484, 725
- Стихотворения М. Лермонтова 712
- Беллерофонт, в др.-греч. мифологии прозвище Гиппоноя, сына Главка; убийца Химеры 120

- Беллона, в др.-рим. мифологии богиня войны 288, 771
- Беллюстин Иоанн Степанович (ок. 1820—1890), свящ., религ. публицист 674, 839
- Описание сельского духовенства 674, 839
- Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895), врач, обществ. деятель, публицист, литератор, мемуарист 183
- Белявский Фотий Николаевич (1873 — после 1917), кандидат богословия (1897), критик, публицист, библиограф 89, 92
- Бенардаки Дмитрий Егорович (1799—1870), винный откупщик, владелец чугуноплавильных и железоделательных заводов, судовладелец, золотопромышленник 176, 747
- Бенардаки Николай Дмитриевич (1838—1909), действ. стат. советник, церемониймейстер; сотр. юмористич. изданий; сын Д. Е. Бенардаки 176, 747
- Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873), поэт, переводчик 208
- Бенкендорф Александр Христофорович (1783—1844), граф (1832), военачальник, шеф жандармов и начальник III Отделения (с 1826) 78, 383
- Бентам Иеремя (1748—1832), англ. социолог, юрист, философ-утилитарист 562
- Бенуа Александр Николаевич (1870—1960), живописец, график, худож. критик, историк искусства, мемуарист 92
- Берг Федор Николаевич (1839—1909), поэт, прозаик; журналист, ред. журн. «Нива» (1878—1887), «РВ» (1887—1896) и «Родная речь» (1900—1905), газет «Рус. Листок» (1898—1899), «День» (1903—1909) и др. 578, 827
- Бердяев Николай Александрович (1874—1948) 294, 454, 491—493, 772, 800, **810**, 832, 835
- К философии трагедии. М. Метерлинк 625, 835
- К. Леонтьев — философ реакционной романтики 454, 800
- Sub specie aeternitatis: Опыты философские, социальные и литературные 835
- Берлиоз Гектор (1803—1869), фр. композитор, дирижер, муз. писатель 535
- Берман Яков Лазаревич, петерб. издатель литературы для народа (нач. XX в.), владел типолитографией на наб. р. Фонтанки (д. 95) 101, 731
- Бернар Клод (1813—1878), фр. медик, основоположник эндокринологии 258, 544, 821
- Бернини (Bernini) Джованни Лоренцо (1598—1680), итал. архитектор и скульптор 430, 796
- Бестужев Александр Александрович (псевд. Марлинский; 1797—1837), писатель-романтик, критик, публицист; декабрист 788
- Бибииков Александр Николаевич (1824—1886), помещик Тульской губернии, сын Н. Н. Бибиикова 358, 782
- Бибииков Василий Николаевич (1827—1893), сын Н. Н. Бибиикова 782
- Бибииков Иван Николаевич (1828—1896), сын Н. Н. Бибиикова 782
- Бибииков Николай Николаевич (1770—1842), помещик Тульской губернии 782
- Бибиикова Анна Наумовна (1780?—1865), жена Н. Н. Бибиикова (с 1833) 782
- Бизе Жорж (имя при рождении — Александр Сезар Леопольд; 1838—1875), фр. композитор-романтик 732
- Искатели жемчуга 102, 732
- Биконсфилд, граф — см. *Дизразли Б.*
- Бирш Сэмюэль (1813—1885), англ. египтолог и собиратель древностей 817
- Бирюков Павел Иванович (1860—1931), издатель, обществ. деятель, биограф Л. Н. Толстого 615, 833

- Бисмарк Отто фон (1815–1898), князь, рейхсканцлер Герман. империи (1871–1890) 287, 289, 494, 505, 813
- Битовт Юрий (Георгий) Юлианович (ок. 1860 – ок. 1914), библиограф 793
- Граф Л. Н. Толстой в литературе и искусстве 416, 793
- Бичер-Стоу Гарриет Элизабет (1812–1896), амер. прозаик 714
- Хижина дяди Тома 38, 714
- Блаватская (ур. Ган) Елена Петровна (1831–1891), философ-теософ, литератор, публицист 109, 734
- Благовидов Федор Васильевич (1865 – не ранее 1913), историк, публицист; препод. русской гражд. истории в Казан. духов. академии 666, 838
- Обер-прокуроры Св. Синода в XVIII и в первой половине XIX столетия 666, 838
- Благодушная София (Софья) – см. *Швидгенко Е. С.*
- Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824–1880), либерал. журналист, публицист, лит. критик; ред. журн. «Рус. Слово» (1860–1866) и «Дело» (1866–1880) 99, 100
- Блан Луи (1811–1882), фр. социалист, публицист 623
- Блок Александр Александрович (1880–1921) 783, 796
- Двенадцать 796
- Блудова Антонина Дмитриевна (1812–1891), графиня, камер-фрейлина имп. Марии Александровны, писательница, мемуаристка 363
- Блюменау Леонид Васильевич (1862–1931), проф. неврологии и невроанатом 805
- Блунчли (Блунчли) Иоганн Каспар (1808–1881), швейц. юрист, политик 314
- Богданов Модест Николаевич (1841–1888) 66, 721
- Из жизни русской природы 66, 721
- Богданов-Бельский Николай Петрович (1868–1945), художник; ученик С. А. Рачинского (до 1892) 98, 107, 108, 730, 734
- Воскресное чтение в сельской школе 107, 734
- Богданович Ипполит Федорович (1743–1803), поэт 324, 777
- Душенька 324, 777
- Богородица – см. *Мария*
- Богословский П., судеб. следователь 363, 364, 784
- Боккаччо (Боккачио) Джованни (1313–1375) 490
- Бокль Генри Томас (1821–1862), англ. историк и социолог-позитивист 103, 171, 253, 254, 315, 365, 623, 627, 643, 679, 733, 765
- История цивилизации в Англии 253, 765
- Болотов Василий Васильевич (1853–1900), церк. историк, богослов, филолог-востоковед 339, 374, 780
- Бональд Луи Габриэль Амбруз (1754–1840), фр. философ и полит. деятель 78
- Бонапартэ – см. *Наполеон I Бонапарт*
- Боратынский Е. А. – см. *Баратынский Е. А.*
- Борис Федорович Годунов (между 1549 и 1552–1605), рус. царь (с 1598) 662, 839
- Бородаевский Сергей Васильевич (псевд. Quidam; 1870–1942), экономист, сотрудник газ. «НВ» 230, 760
- Бородин Александр Порфирьевич (1833–1887), композитор; ученый-химик и медик 535

- Боссюэт (Босюэт) Жак Бенин (1627—1704), фр. проповедник, историк и богослов; епископ г. Мо (с 1681) 497, 583
- Босуэлл Джеймс (1740—1795), шотл. писатель и мемуарист, биограф С. Джонсона 789
- Боткин Сергей Петрович (1832—1889), врач-терапевт и обществ. деятель; проф. Меди-ко-хирургич. академии (с 1861), лейб-медик 272
- Браманте Донато (1444—1514), итал. архитектор 796
- Брамбеус, барон — см. *Сенковский О. И.*
- Брандес Георг (1842—1927), дат. литературовед, публицист, теоретик натурализма 696
- Бреверн де-ла-Гарди (де Лагарди) Александр Иванович (1814—1890), граф (с 1852), ген.-адъютант, ген. от кавалерии 619
- Бредихин Федор Александрович (1831—1904), астроном; академик (1890), директор Пулковской обсерватории (1890—1895) 266, 267, 273
- Брем Альфред (1829—1884), нем. зоолог и путешественник 66, 721
- Иллюстрированная жизнь животных 721
- Бриллиантов Александр Иванович (1867—1933), историк церкви, богослов и философ; доцент (1900—1904) и проф. (1904—1918) С.-Петерб. духов. академии 91, 231
- Бриллиантов Иван Иванович (1870—1934), кандидат богословия (1894), препод. С.-Пе-терб. духов. академии по кафедре общецерковной истории (1895—1906) 92
- Брокгауз Фридрих Арнольд (1772—1823), нем. издатель 61, 459, 720, 800, 802
- Бругам (Брум) Генри Питер (1778—1868), англ. юрист и полит. деятель, лорд-канцлер (1830—1834) 152
- Бруно Джордано (наст. имя Филиппо; 1548—1600), итал. монах-доминиканец, философ, поэт 441, 641
- Брут (Марк Юний Брут Цепион; 85—42 до н. э.), др.-рим. сенатор, известнейший из убийц Цезаря 454
- Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) 558—561, 728, 771, 783, 818, 819, 825
- Обряд ночи 558, 825
- Буало (Буало-Депрео) Никола (1636—1711), фр. поэт, критик, теоретик классицизма 831
- Поэтическое искусство 831
- Буассье (Буассье) Гастон (1823—1908), фр. историк Др. Рима 47, 48, 716
- Римская религия от Августа до Антонинов 47, 716
- Будда Шакьямуни (при рождении Сиддхартха Гаутама; 563—483 до н. э.) 223, 224, 288, 398, 432, 443, 524, 822
- Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944), религ. философ, богослов, священник (с 1918) 294, 492, 493, 772, 810, 832
- От марксизма к идеализму 492, 810
- Чехов как мыслитель 492, 810
- Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), прозаик, журналист и критик, изд. газ. «Сев. Пчела» (1825—1859) и журн. «Сын Отечества» (1825—1839) 39, 382, 383, 714
- Бульгин Михаил Васильевич (1863—1943), владелец хутора Хатунка близ Ясной Поляны, единомышленник Л. Н. Толстого 798
- Бунге Николай Христианович (1823—1895), экономист, академик, министр финансов (1881—1886) 214, 756
- Буренин Виктор Петрович (1841—1926), критик, поэт-сатирик, драматург 210, 359, 755, 783
- Критические очерки 755
- Литературное юродство и кликушество 783

- Буренин Константин Петрович (1837–1882), педагог-математик, авт. учеб. пособий; брат В. П. Буренина 641, 836
- Бурлак Андрей — см. *Андреев-Бурлак В. Н.*
- Буслаев Федор Иванович (1818–1897), языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства 76, 78, 161, 272, 273, 382, 483
- Буткевич (ур. Некрасова) Анна Алексеевна (1823–1882), переводчица, сестра поэта 199, 751
- Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849), ген.-майор, сенатор; воен. историк, цензор 382–386, 787
- Бутягина (ур. Руднева) Варвара Дмитриевна (1864–1923), вдова чиновника, вторая жена Розанова (с 1891) 769, 784
- Бухарев Александр Матвеевич (в монашестве архимандрит Феодор; 1822–1871), богослов, религ. публицист, критик; бакалавр (с 1846) и проф. Московской (с 1854), затем (1854–1858) Казанской духов. академий; духов. цензор (с 1858); вернулся в мирское звание (1863) 610
- Быстров Б. — см. *Швидченко Е. С.*
- Быховец Александр, гродненский помещик, владелец литовско-белорусской хроники (XVI в.) 799
- Бэйль Петр — см. *Бейль П.*
- Бэкон Рожер (ок. 1214 — после 1292), англ. философ и естествоиспытатель; монах-францисканец (с 1257) 406, 641
- Бэкон Фрэнсис (Бэкон Веруламский; 1561–1626), англ. философ, историк, полит. деятель 172, 242, 253, 273, 641, 652
- Бэл — см. *Бел*
- Бюффон Жорж Луи Леклерк де (1707–1788), граф, фр. естествоиспытатель 712
Рассуждение о стиле 712
- Бюхнер Людвиг (1824–1899), нем. врач, естествоиспытатель и философ, представитель вульгар. материализма 270, 500
- Вагнер Николай Петрович (1829–1907), зоолог, прозаик 66, 721
- Вахх — см. *Дионис*
- Валла (Балла), служанка Рахили, одной из двух жен библ. патриарха Иакова, которая стала его женой и родила ему двух сыновей 344, 453
- Валла Лоренцо (1407–1457), итал. гуманист, филолог и историк 497
- Валуев Петр Александрович (1815–1890), граф (1880), министр внутр. дел (1861–1868), пред. Комитета министров (1879–1881); прозаик, духов. писатель 618, 793
- Ван Дейк Антонис (1599–1641), фламандский живописец и график 98
- Ванновский Петр Семенович (1822–1904), ген. от инфантерии, воен. министр (1881–1898), министр нар. просвещения (1901–1902) 313, 315–317, 621, 776, 834
- Варнгаген (Фарнхаген) фон Энзе Карл Август (1785–1858), нем. литератор, критик и дипломат, переводчик с рус. языка 732
- Варрон (Марк Теренций Варрон; 116–27 до н. э.), др.-рим. ученый-энциклопедист и писатель 45, 47, 716
Человеческие и божественные древности 45, 47, 716
- Варшер Сергей Абрамович (1854–1889), историк литературы и педагог 162
История одного литературного сюжета 162
- Василий IV Шуйский (1552–1612), рус. царь (1606–1610) 311

- Василий Блаженный (1468/1462—1557?), святой, Христа ради юродивый 773
- Василий Великий (330—379), святитель, богослов, проповедник, архиепископ Кесарии Кападокийской 344
- Василий Ярославич (1236/1241—1276), князь костромской, великий князь владимирский (1272—1276) 763
- Васильев Афанасий Васильевич (1851—1929), публицист-славянофил, правовед, поэт; ген.-контролер Деп-та железнодорож. отчетности (1893—1896), изд. журн. «Благовест» (1890—1896) 410, 779
- Призвание России по А. С. Хомякову 779
- Васильчиков Александр Иларионович (1818—1881), князь, экономист, публицист, зачинатель кооперат. движения (с 1871); секундант на последней дуэли М. Ю. Лермонтова 410, 792
- О самоуправлении 410, 792
- Васильчиков Борис Александрович (1860—1931), князь, обществ. и гос. деятель, псковский губернатор (1900—1903), чл.-Гос. совета, шталмейстер (1903), мемуарист 410, 792
- Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926), художник, архитектор 291, 566, 795
- Ваулина (в замуж. Повало-Швейковская) Евфросинья Борисовна (1789 — кон. 1830-х), жена М. В. Повало-Швейковского 666, 770
- Введенский Александр Иванович (1858—1925), философ-кантианец 64, 609, 720
- Вторичный вызов на спор о законе одушевления и ответ противникам 720
- Введенский Алексей Иванович (псевд. А. Басаргин; 1861—1913), богослов, историк философии, лит. критик; проф. Моск. духов. академии (с 1892) 229—233, 333—336, 358, 372, 373, 759, 779, 782, 785, 789, 840
- Астартизм 231, 759, 760, 789
- «Великий наставник земли родной» 333, 779
- К вопросу о методологической реформе православной догматики 373, 785
- «Религиозное обновление» наших дней 760
- Религиозное сознание язычества 840
- Религия Конца 760
- Розовое христианство 760
- Введенский Иринарх Иванович (1813—1855), переводчик, лит. критик, педагог 394, 712
- Вебер Эрнст Генрих (1795—1878), нем. психофизиолог и анатом 323
- Вейсман Август (1834—1914), нем. зоолог и теоретик эволюц. учения 650—653
- Велиал, демоническое существо, дух небытия, лжи и разрушения 247, 764
- Величко Василий Львович (1860—1903), поэт, драматург, публицист 456, 801
- Вселенский христианин: Жизнь и творения В. С. Соловьёва 456, 801
- Вельзевул, один из злых духов, подручный дьявола 721
- Веневитинов Алексей Владимирович (1806—1872), сенатор (1855), служил в Моск. архиве Коллегии иностр. дел; брат Д. В. Веневитинова 779
- Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827), поэт, критик, переводчик, журналист, чл. моск. кружка любителей 208
- Венера — см. *Афродита*
- Вениамин, младший сын ветхозавет. патриарха Иакова 214, 215, 681
- Вера — см. *Крис Б.*
- Вергилий Марон Публий (70—19 до н. э.) 506, 573, 574, 747, 826

- Верди Джузеппе (1813—1901), итал. композитор 829
 Аида 588, 829
- Верещагин Василий Васильевич (1842—1904), художник-баталист, литератор 335, 535, 751
 На Шипке все спокойно 335
- Веригин Петр Васильевич (1859—1924), руководитель русских духовоборов в России и Канаде (1887—1924) 616, 834
- Верн Жюль (1828—1905) 434, 696, 796
 С Земли на Луну 434, 796
- Веружский Василий Максимович (1874—1955), магистр богословия (1908), протоиерей (1916), проф. С.-Петербур. духов. академии по кафедре истории славян. церквей (1914—1918); позже один из лидеров иосифлянского движения 92
- Веселовский Алексей Николаевич (1843—1918), литературовед, проф. Моск. ун-та 797
- Веспасиан (Тит Флавий Веспасиан; 9—79), рим. император (с 69) 292
- Вигель Филипп Филиппович (1786—1856), литератор, мемуарист 78
- Виельгорские, графы 111
- Виклеф Джон (ок. 1320—1384), англ. философ, деятель Реформации 406
- Виктор Эммануил II (1820—1878), король сардинский (с 1849) и первый король объедин. Италии (с 1861) 292
- Вильгельм I Гогенцоллерн (1797—1888), прус. король (с 1861) и герман. император (с 1871) 287, 374
- Вильгельм II Прусский (1859—1941), герман. император и король Пруссии (1888—1918) 66, 302, 774
- Вилкина Людмила Николаевна (в замуж. Виленкина-Минская; 1873—1920) 555—556, 818, 824
 Мой сад: Сонеты и рассказы 555—556
- Винкельман Иоганн Иоахим (1717—1768), нем. искусствовед, археолог 208
- Виргилий — см. *Вергилий Марон Публий*
- Вирсавия, жена царя Давида и мать царя Соломона 57
- Витау, англ. вице-консул в Петербурге 762
- Витте Сергей Юльевич (1849—1915), граф, министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892—1903), пред. Комитета министров (1903—1906), пред. Совета министров (1905—1906) 213, 426, 581, 682, 746, 756, 795
- Владимир I (Владимир Святой Равноапостольный; ок. 960—1015), вел. князь Киевский (с 978); креститель Руси 729
- Владимир Карлович — см. *Саблер В. К.*
- Владимиров Леонид Евстафьевич (1845—1917), правовед, ординар. проф. Харьк. ун-та, д-р права, адвокат 333—336
 Алексей Степанович Хомяков и его этико-социальное учение 333
- Влазнев Василий Кузмич (1839—1905), рязанский этнограф, публицист, журналист, поэт 745
 К биографии Н. П. Огарёва 745
- Властов Георгий Константинович (1827—1899), обществ. и гос. деятель, экзегет 344, 781
 Священная летопись первых времен мира и человечества... 344, 781
- Воейков Александр Федорович (1779—1839), поэт, переводчик, критик, издатель, журналист 187

- Волжский (наст. имя Александр Сергеевич Глинка; 1878—1940) 523–524, 817–818
 Из мира литературных исканий 523–524, 817–818
 Мистический пантеизм Розанова 818
 Об уединении в поэзии и философии современного модернизма 524
- Волконский Сергей Михайлович (1860—1937), князь, театр. деятель, режиссер, критик, мемуарист, литератор; камергер, дир. Имп. театров (1899—1901) 91, 729
 К характеристике общественных мнений по вопросу о свободе совести 91, 729
- Вольнский Аким Львович (наст. имя Хаим Лейбович Флексер; 1863—1926), лит. критик, искусствовед, балетовед 100, 458, 517, 731, 801
 Русские критики 100, 458, 731, 801
- Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруз; 1694—1778) 67, 68, 408, 489, 585, 721, 828
 Бог и люди 828
 Папская туфля 721
 Сказки в стихах 721
- Вооз, персонаж Книги Руфь, прадед царя Давида 57
- Вронченко Михаил Павлович (1802—1855), востоковед, географ и воен. геодезист; прозаик, поэт-переводчик 791
- Врубель Михаил Александрович (1856—1910), живописец, график, скульптор, театр. художник 219, 221, 228
 Демон 228
- Вундт Вильгельм Максимилиан (1832—1920), нем. врач, физиолог и психолог 323, 623, 627, 835
 Лекции о душе человека и животных 835
- Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), князь, поэт, критик, мемуарист; тов. министра нар. просвещения (1855—1858), обершенк двора, чл. Гос. совета и сенатор (с 1859) 51
- Гааз Федор Петрович (имя при рожд. Фридрих-Иосиф; 1780—1853), врач нем. происхождения, филантроп, католик 273, 768
- Гагарин Иван Сергеевич (с 1843 иезуит о. Ксаверий; 1814—1882), князь, литератор, католич. священник 78
- Гайдебуров Василий Павлович (1866—1940), литератор, поэт, журналист, редактор 92, 456, 464, 468, 469, 614, 756
- Гайдебуров Павел Александрович (1841—1893), обществ. деятель, либерал. народник, журналист, литератор, редактор 464, 802, 803
- Галатея, в др.-греч. мифологии nereida, отвергнувшая циклопа Полифема, и полюбившая Ассиза (Акида), к-рого после его гибели превратила в речку 40, 45, 715
- Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1892), литературовед, прозаик, критик, журналист 722
 О подражательности наших первоклассных поэтов 722
- Галилей Галилео (1564—1642) 319
- Гамбетта (Гамбета) Леон Мишель (1838—1882), премьер-министр и министр иностр. дел Франции (с 1881) 294
- Ганимед, в др.-греч. мифологии прекрасный юноша, возлюбленный Зевса, виночерпий на пирах богов 120
- Ганнибал (Аннибал; 247—183 до н. э.), карфаген. полководец 188

- Ганская (ур. Ржевуская) Эвелина (1801–1882), польск. помещица, жена О. де Бальзака (с 1850) 488, 809
- Гарнак Адольф фон (1851–1930), нем. лютеранский теолог, церк. историк 374–381, 583, 785, 786
- О сущности христианства 374, 786
- Учебник догматической истории 786
- Гарнак Феодосий фон (1817–1889), проф. практической и методической теологии в Дерптском и Эрлангенском ун-тах 374, 786
- Гартман Эдуард фон (1842–1906), нем. философ-иррационалист 63, 425
- Гарун-аль-Рашид (Харун ар-Рашид; 766–809), арабский халиф, правитель Аббасидского халифата (786–809) 312, 519, 776
- Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888), прозаик, поэт, худож. критик 274, 518, 601
- Гарэтто Эльда Роса, славист, проф. Милан. ун-та 824
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) 63, 64, 77, 112, 146, 147, 207, 308, 481, 543, 642, 652, 668, 680, 725
- Философия права 77, 725
- Гедимин (ок. 1275–1340/1341), великий князь Литовский (с 1316) 445, 799
- Гейне Генрих (1797–1856) 102, 256, 597, 599, 687, 732
- Гейнце Николай Эдуардович (1852–1913), прозаик, журналист, драматург, адвокат 345
- Геннадий (в миру Григорий Васильевич Беляев; 1825–1892), старообрядч. архиерей Белокриницкой иерархии, епископ Пермский (с 1857), арестовывался (1859, 1862), содержался в суздальском Спасо-Евфимиевом мон-ре (1863–1881) 358, 783
- Генрих IV Великий (Генрих Наваррский; 1553–1610), король Франции (с 1589), основатель династии Бурбонов 436, 578, 827
- Генрих (Энрике) Мореплаватель (1394–1460), португал. инфант, сын короля Жуана I, организатор морских экспедиций 456, 457, 801
- Генрихи, имена семи королей Германии (876–1313) 419
- Гера (Ира), в др.-греч. мифологии супруга Зевса, покровительница семьи 127
- Геракл – см. *Геркулес*
- Гераклит Эфесский (544–483 до н. э.), др.-греч. философ-досократик 146, 652, 806
- Герион, в др.-греч. мифологии трехголовый и трехтуловищный великан; десятый подвиг Геракла – победа над Герционом 714
- Геркулес (Геракл), в др.-греч. мифологии величайший герой, сын Зевса 37, 86, 123, 128, 292, 388, 714, 737
- Геродот (490/480–ок. 425 до н. э.), др.-греч. историк 129, 130, 133, 138, 143, 319, 737, 739
- История 129, 130, 143, 144, 737, 739
- Герострат, грек из Эфеса в Малой Азии; чтобы обессмертить свое имя, сжег в 356 до н. э. храм Дианы (Артемиды) Эфесской 140
- Герцен Александр Иванович (1812–1870) 78, 253, 362, 363, 393, 423, 478, 482–485, 689, 726, 783, 794, 808
- Гершель Фредерик Уильям (1738–1822), англ. астроном 146
- Герье Владимир Иванович (1837–1919), историк, проф. Моск. ун-та (1868–1904) 153, 272, 314, 485, 776, 808
- Идея народолюбия и Французская революция 1789 г. 314, 776
- Геспериды, нимфы, дочери Геспера и Нюкты, охраняющие золотые яблоки молодости 161, 744

- Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) 67, 68, 123, 150, 156, 162, 207, 256, 258, 275, 278, 289, 359, 365, 374, 380, 381, 392, 443, 488, 489, 540, 543, 548, 579, 597–599, 719, 721, 736, 737, 744, 766, 769, 783, 794, 798, 809, 813, 821
- Божественное 443, 798
 Гёц фон-Берлихинген с железной рукой 257, 766
 Душа мира 813
 Избирательное сродство 425, 794
 Поэзия и правда: Из моей жизни 359, 783
 Путешествие по Италии 721
 Рейнеке-Лис 123, 737
 Страдания молодого Вертера 57, 256, 257, 719, 766
 Фауст 29, 119, 127, 150, 256–258, 262, 275, 380, 526, 543, 736, 821
 Философские стихотворения 798
 Эгмонт 220, 257, 766
- Гёте (ур. Текстор) Катарина Элизабет (1731–1808), мать И. В. Гёте, дочь городского старшины 488, 809
- Гефдинг (Геффдинг) Гаральд (1843–1931), датский философ и психолог, проф. Копенгаген. ун-та 327, 778
- Философия религии 327, 778
- Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874), фр. историк, критик; министр внутр. дел (1830), нар. просвещения (1832–1837), иностр. дел (1840–1848), пред. Совета министров (1847–1848) 55, 479, 490
- Гиляров Федор Александрович (1841–1895), филолог, педагог, мемуарист, публицист и издатель; соред. газ. «Совр. Известия» (1878–1883) 756
- Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824–1887), публицист, богослов, философ, экономист, мемуарист; цензор, изд.-ред. газ. «Совр. Известия» (с 1867) 265–273, 701, 756, 767–768
- Университетский вопрос 265–273, 767
- Гиляровский Владимир Алексеевич (1853–1935), журналист, мемуарист 789
- О Чехове 789
- Гинцбург Гораций Осипович (имя при рождении Орас Евзелевич; 1833–1909), барон, купец 1-й гильдии, финансист 535
- Гинцбург Давид Горацевич (1857–1910), востоковед, писатель и обществ. деятель 535, 819
- Еврейский орнамент 535, 819
- Гиппиус (по мужу Мережковская) Зинаида Николаевна (1869–1945), поэтесса, прозаик, драматург, лит. критик 752, 759, 763, 764, 819, 827
- Арифметика любви 827
 Живые лица 764
 Светлое Озеро 763
 Слова и люди (Заметки о Петербурге в 1904–1905 гг.) 827
- Гиппократ (ок. 460–ок. 377 до н. э.), др.-греч. врач-реформатор 801
- Афоризмы 801
- Гирс Николай Карлович (1820–1895), статс-секретарь, тов. министра иностр. дел и управляющий Азиатским деп-том (с 1875), министр иностр. дел (с 1882) 783

- Гладстон Уильям Юарт (1809–1898), премьер-министр Великобритании (1868–1874, 1880–1885, 1886, 1892–1894); писатель по вопр. политики, теологии, филологии 152
- Глазов Владимир Гаврилович (1848–1920?), министр нар. просвещения (1904–1905), ген. от инфантерии и чл. Воен. совета (1909–1918) 805
- Глазунов Илья Иванович (1786–1849), издатель и книготорговец 753
- Глинка Михаил Иванович (1804–1857) 171, 488, 535, 809
- Гимн хозяину 488, 809
- Глинка Федор Николаевич (1786–1880), поэт, прозаик 796
- Песнь узника 431, 796
- Глубоковский Николай Никанорович (1863–1937), богослов, экзегет, патролог, церк. историк; проф. С.-Петербур. духов. академии (1894–1918) 374
- Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (псевд. Ю. Николаев; 1850–1896), религ. публицист, лит. критик, прозаик 98, 99, 102, 732
- Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) 20–24, 26, 28, 32, 33, 54, 66, 77, 82–85, 89, 101, 111–112, 114, 136, 164–166, 169, 173–180, 188, 189, 213, 215, 219, 228, 235, 259, 260, 264, 331, 332, 366, 367, 387, 388, 392, 394–398, 415, 418, 419, 421, 466, 480, 482, 484, 488, 489, 518, 519, 543, 546, 572, 582, 595–597, 599, 600, 604, 661–663, 665, 680, 682, 700, 712, 720, 725, 727, 729, 736, 742, 746, 747, 749, 753, 755, 757, 758, 777, 779, 781, 782, 784–786, 798, 807, 817, 822, 828, 838
- Авторская исповедь 24, 66, 83, 712, 720
- В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? 84, 727
- Вечер накануне Ивана Купалы 101
- Вечера на хуторе близ Диканьки 24, 712
- Вий 101, 136, 174, 177, 595, 755
- Выбранные места из переписки с друзьями 24, 66, 77, 83, 84, 394–396, 398, 698, 712, 720, 727, 747
- Женитьба 219, 596, 662, 757
- Заколдованное место 101
- Записки сумасшедшего 83, 367, 777, 785
- Игроки 596
- Коляска 101, 176, 177, 595
- Майская ночь, или Утопленница 101
- Мертвые души 83, 175, 176, 189, 332, 367, 395, 539, 560, 582, 595, 596, 662, 665, 691, 700, 706, 727, 747, 749, 756, 779, 784, 785, 817
- Невский проспект 175, 177
- Нос 101, 175, 480, 597, 807
- Ночь перед Рождеством 221, 758
- Нужно проездиться по России 747
- Переписка с друзьями — см. *Выбранные места из переписки с друзьями*
- Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем 154, 548, 742, 822
- Портрет 177
- Пропавшая грамота 101
- Ревизор 175, 176, 601, 662, 746, 828
- Рим 175, 177, 665
- Светлое Воскресенье 84
- Сорочинская ярмарка 101
- Старосветские помещики 101, 375, 786

- Страшная месть 21, 24, 101, 174, 177, 664, 838
 Тарас Бульба 23, 166, 341, 442, 712, 746, 781, 798
 Утро делового человека 662
 Шинель 175, 736, 747, 782
- Гогоцкий Сильвестр Сильвестрович (1813–1889), философ, проф. Киев. ун-та по каф. философии, действ. стат. советник 62, 720
 Философский лексикон 62, 720
- Голенцев Владимир Семенович (1856–1947), востоковед-египтолог, ассириолог, семитолог 522
- Голицын Александр Николаевич (1773–1844), князь, обер-прокурор Св. Синода (с 1803), пред. Рос. библейского о-ва (с 1813), министр нар. просвещения и духов. дел (1817–1824) 95, 398, 790
- Голицын Григорий Сергеевич (1838–1907), князь, ген.-адъютант, ген. от инфантерии, главноначальствующий гражд. частью и главнокомандующий на Кавказе (1896–1904), сенатор, чл. Гос. совета 615–618
- Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834–1912), церк. историк, проф. Моск. духов. академии (1882–1895), академик (1904) 374
- Голубкова Анна Анатольевна (р. 1973), лит. критик, литературовед, прозаик, поэт 723
- Гольцев Виктор Александрович (1850–1906), журналист, издатель; участник земского движения 390, 391, 789
- Гомер (VIII в. до н. э.) 95, 124, 166, 240, 309, 408, 409, 432, 546–548, 716, 737, 747, 775, 799
 Илиада 307, 548, 747, 775
 Одиссея 47, 716, 737, 799
- Гончаров, член секты духоборов 618
- Гончаров Иван Александрович (1812–1891) 52, 93, 146, 206, 207, 259, 263, 264, 331, 443, 595, 598, 718, 726
 Обломов 79, 150, 257
 Обрыв 146, 263
 Обыкновенная история 310, 726
 Фрегат «Паллада» 718
- Гончарова (в первом браке Пушкина, во втором – Ланская) Наталья Николаевна (1812–1863), жена Пушкина (1831–1837) 55–56, 718, 719
- Гораций (Квинт Гораций Флакк; 65–8 до н. э.), др.-рим. поэт 384, 387, 787, 789
 Оды 393, 789
 Послания 387, 787
- Горбов Николай Михайлович (1859–1921), педагог, автор учеб. пособий по рус. истории; библиофил 152, 741
- Горвиц Абрам Исаевич (1821–1888), купец 1-й гильдии, глава фирмы; во время Рус.-турец. войны 1877–1878 один из руководителей кампании по заготовке продовольствия и фуража для русской Дунайской армии 269, 767
- Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917), статс-секретарь (с 1910), пред. Совета министров (1906, 1914–1916), министр внутр. дел (1895–1899) 465, 613, 617, 802
- Горленко Василий Петрович (1853–1907) 488–489, 809
 Отблески: Заметки по словесности и искусству 488–489, 809
- Горн Филипп де Монморанси (ок. 1524–1568), граф, адмирал, чл. Гос. совета Нидерландов 220

- Горький Максим (при рождении Алексей Максимович Пешков; 1868–1936) 76, 367, 416, 418, 422, 514, 523, 584, 586, 790, 828
 Мальва 397, 398, 790
 На дне 584, 586, 828
- Горяева Татьяна Михайловна, историк, архивист 4
- Гостомысл (? – ок. 860), легендарный старейшина ильменских словен, с именем к-рого связывается призвание Рюрика 547
- Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776–1822) 543, 546, 821
 Житейские воззрения Кота Мура 543, 821
- Гофштеттер Ипполит Андреевич (псевд.: И. Залётный; 1860–1951), религ. публицист, богослов, поэт 230, 760
 Литературная распутица 760
- Граф Ренье де (1641–1673), нидерл. анатом и физиолог 684, 839
- Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889), правовед, либерал. публицист 395, 410, 789
 Мечты и действительность 789
- Гракхи (Семпронии Гракхи), братья: Тиберий (162–133 до н. э.) и Гай (Кай; 153–121 до н. э.), др.-рим. полит. деятели 225, 290, 332, 510, 814
- Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) 253, 330, 382, 383, 385–387, 393, 478–486, 518, 779, 807–808
 Аббат Сугерий 481, 808
- Гребёнка Евгений Павлович (1812–1848), поэт и прозаик 77, 725
- Гревс Иван Михайлович (1860–1941), историк-медиевист, педагог, краевед и общест. деятель 829
- Грегер Георгий Иванович (1823 – после 1881), одесский купец 1-й гильдии; во время Рус.-турец. войны 1877–1878 один из руководителей компании по заготовке продовольствия и фуража для русской Дунайской армии 767
- Грегоровиус Фердинанд (1821–1891), нем. историк и писатель 481, 687, 807, 840
 История города Афины в Средние века 807
 История города Рима в Средние века 687, 807, 840
- Грей Томас (1716–1771), англ. поэт-сентименталист, историк литературы 775
 Элегия, написанная на сельском кладбище 775
- Грибоедов Александр Сергеевич (1790/1795–1829) 54, 93, 274, 367, 394, 595, 599, 600, 625, 718, 730, 777, 789, 792, 798, 825, 826, 835, 840
 Горе от ума 93, 168, 367, 394, 411, 442, 559, 571, 601, 687, 625, 718, 730, 777, 792, 798, 825, 826, 835, 840
 Грузинская ночь 394, 789
 Своя семья, или Замужняя невеста 394, 789
- Григорий, дьяк, ученый книжник и художник, переписчик Евангелия для новгородского посадника Остромира (1056–1057) 718
- Григорий I Великий (Григорий Двоеслов; ок. 540–604), папа римский (с 590) 688, 840
- Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) 112–115, 117, 483
- Гримм (Grimm), братья: Якоб (1785–1863) и Вильгельм (1786–1859), нем. филологи, фольклористы 290
- Грин Роберт (ок. 1558–1592), англ. драматург, поэт и памфлетист 496, 811

- Грингмут Владимир Андреевич (псевд. Spectator; 1851–1907), полит. деятель; сотр. (с 1871) и ред. (с 1896) газ. «МВ» 38, 39, 213, 421, 622, 623, 714, 807, 834
 М. Н. Катков 37, 714
 Наш школьный кризис 37, 714
 Наша «учебная реформа» 37, 714
- Грозный — см. *Иван IV Грозный*
- Грот Джордж (1794–1871), англ. историк, банкир 325, 778
 История Греции 325, 778
- Грот Константин Яковлевич (1853–1934), филолог-славист, архивист 323
- Грот (урожд. Семёнова) Наталья Петровна (1828–1899) 535–536, 819–820
 Свобода в жизни и государстве 535–536
- Грот Николай Яковлевич (1852–1899), философ-идеалист, проф. Моск. ун-та (с 1886), ред. журн. «ВФП» (с 1889) 64, 296–300, 319–324, 692, 694, 773, 777, 802
 Значение чувства в познаниях и деятельности человека 320
 К вопросу о классификации наук 320
 К вопросу о критериях истины 320
 К вопросу о реформе логики 297, 773
 К вопросу об истинных задачах философии 320
 О времени: Критическое исследование 320
 О второй части книги Л. М. Лопатина «Положительные задачи философии» 320
 О направлениях и задачах моей философии: По поводу статьи архиеп. Никанора 320
 О философских этюдах А. А. Козлова 320
 Отношение философии к науке и искусству 320
 Философия и ее общие задачи 777
 Философия как ветвь искусства 320
 Что такое метафизика 320
- Грот Яков Карлович (1812–1893), филолог; проф. Гельсингфорс. ун-та (с 1840), акад. (с 1858) 298, 535, 571, 773, 820, 826
- Губер Эдуард Иванович (1814–1847), поэт, переводчик 77, 725, 821
- Губонин Петр Ионович (1825–1894), купец 1-й гильдии, промышленник, строитель желез. дорог, меценат 176, 747
- Гумбольдт Александр фон (1769–1859), нем. физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог, путешественник 95, 365, 374, 375, 494
- Гумбольдт Вильгельм фон (1767–1836), нем. лингвист, философ; дипломат и гос. деятель 365
- Гуминский Виктор Мирославович (р. 1949), литературовед 727
- Гурий (в миру Николай Васильевич Охотин; 1828–1912), архиепископ Новгородский и Старорусский (1900–1910) 758
- Гурко (Ромейко-Гурко) Иосиф Владимирович (1828–1901), ген.-фельдмаршал (1894), герой Рус.-турец. войны (1877–1878), варшавский ген.-губернатор (1883–1894) 608, 832
- Гус Ян (1369–1415) 406
- Гусев Александр Федорович (1842–1904), богослов, проф. Казан. духов. академии по каф. апологетики 338, 345, 780
- Гуттенберг Иоганн (1397/1400–1468), нем. ювелир, изобретатель книгопечатания подвижными литерами (сер. 1440-х) 303, 416, 793

- Гюго Виктор (1802–1885) 258, 275, 308, 543, 545, 547, 548, 598, 599, 766, 775, 831
 Гернани – см. *Эрнани*
 Кромвель 543, 821
 Последний день приговоренного к смерти 821
 Собор Парижской Богоматери 821
 Эрнани 308, 543, 775, 821
- Д-кий – см. *Достоевский Ф. М.*
- Давид (кон. XI в. – ок. 950 до н. э.), царь Израильско-Иудейского государства 249, 280, 442, 549
- Даву Луи Николая (1770–1823), фр. полководец, маршал Империи (с 1804) 287
- Даль Владимир Иванович (1801–1872) 150, 376, 406, 411, 501, 740, 791, 792, 812
 Пословицы русского народа 150, 411, 501, 740, 792, 812
 Толковый словарь живого великорусского языка 150, 411, 501, 791, 812
- Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885), публицист и социолог, идеолог панславизма 104, 112–115, 117, 301, 331, 332, 420, 462, 463, 469, 733, 802
 Дарвинизм 104, 733
 Россия и Европа 104, 462, 463, 733, 802
- Д’Аннунцио Габриэле (1863–1938), итал. прозаик, поэт, драматург и полит. деятель 387, 788
 Невинный 788
- Данте (Дант) Алигьери (полн. имя Дуранте дельи Алигьери; 1265–1321) 256, 275, 276, 280, 309, 311, 464, 465, 467, 468, 613, 614, 803, 811, 826
 Божественная комедия 311, 465, 568, 826
- Дантон Жорж Жак (1759–1794), фр. революционер 541
- Дарвин Чарлз (1809–1882) 42, 74, 382, 605, 643, 650, 652–655, 723, 724, 831
 Воспоминания о развитии моего ума и характера (Автобиография) 723, 724
 Происхождение видов путем естественного отбора 650, 654
 Происхождение человека и половой отбор 605, 831
- Даргомыжский Александр Сергеевич (1813–1869), композитор 535
- Дашкова (ур. графиня Воронцова) Екатерина Романовна (1743/1744–1810), княгиня, сподвижница имп. Екатерины II, директор С.-Петербур. Имп. Акад. наук (1783–1796) 18
- Де-Роберти Евгений Валентинович (1843–1915), социолог, философ, экономист 694
- Девора (Деворра), персонаж библейской книги Судей, судья Израилева и пророчица эпохи Судей (XII–XI вв. до н. э.) 346
- Дегай Павел Иванович (1792–1849), правовед, д-р права, статс-секретарь (1834), сенатор (с 1842) 382
- Дедлов (наст. фам. Кигн) Владимир Людвигович (1856–1908), прозаик, публицист, критик 217, 757
 Школьные воспоминания 217, 757
- Декарт (Картезий) Рене (1596–1650) 232, 242, 262, 267, 297, 424, 425, 460, 568, 631, 632, 802
- Дельиль Жак (1738–1813), аббат, фр. поэт-классицист и переводчик 187
 Сады, или Искусство украшать сельские виды 187
- Дельвиг Антон Антонович (1798–1831), барон, поэт, издатель 174

- Делянов Иван Давыдович (1818–1897), граф, дир. Публич. б-ки (1861–1886), чл. Гл. упр-ния цензуры (с 1861); тов. министра нар. просвещения (1866–1874), министр нар. просвещения (с 1882) 37, 38, 298, 570–573, 576, 618, 714, 826
- Делянова (ур. Лазарева) Анна Христофоровна (1830–1907), графиня, двоюр. сестра и жена И. Д. Делянова 826
- Деметра, в др.-греч. мифологии богиня плодородия 739
- Демосфен (384–322 до н. э.), др.-греч. оратор 139, 477
- Демчинский Николай Александрович (1851–1915), инженер-изобретатель, издатель и журналист, авт. статей по метеорологии 78, 726
- Державин Гаврила Романович (1743–1816) 183, 519, 538, 548, 706, 758, 820
- На смерть князя Мещерского 538, 820
- Дёрнов Александр Александрович (1857–1923), протоиерей, настоятель Петропавл. собора (с 1899), протопресвитер (с 1915); духов. писатель 285, 340, 345, 738
- Новая похвала язычеству от г. В. Розанова 738
- Дефо (Де-Фоз) Даниэль (ок. 1659–1731) 325, 696, 778
- Робинзон Крузо 96, 325, 696, 778
- Джонсон Сэмюэл (1709–1784), англ. критик, лексикограф, эссеист и поэт 789
- Диана (Артемида), в др.-рим. мифологии богиня охоты, растительности, родовспомогательница 139
- Дидро (Дидерот) Дени (1713–1784), фр. прозаик, философ-просветитель, драматург 497
- Дизраэли Бенджамин (с 1876 граф Биконсфильд; 1804–1881), премьер-министр Великобритании (1868, 1874–1880), романист 494
- Диккенс Чарлз (1812–1870) 23, 255, 256, 325, 394, 598, 599, 662, 688, 712, 725, 765, 766
- Давид Копперфильд 256, 766
- Домби и сын 77, 252, 685, 725, 762, 765
- Пиквик (Посмертные записки Пиквикского клуба) 23, 662, 712
- Димитрий I — см. *Лжедимитрий I*
- Димитрий (Деметрий) I Полиоркет (336–283 до н. э.), сын Антигона Одноглазого, царь Македонии (294–288 до н. э.) 287
- Димитрий (Дмитрий) Ростовский (в миру Даниил Саввич Туптало; 1651–1709), святитель, митр. Ростовский (с 1702), духов. писатель 96, 730
- Четьи-Минеи 96, 730
- Дина, дочь ветхозавет. патриарха Иакова 57, 719
- Диоген Синопский (ок. 400–ок. 325 до н. э.), др.-греч. философ-киник 159, 537
- Диоклетиан (Гай Аврелий Валерий Диоклетиан; 245–313), рим. император (284–305), гонитель христиан 289
- Диомед Тидид, царь Аргоса, один из храбрейших греков под Троей 548
- Дионис (Вакх), в др.-греч. мифологии бог растительности, виноградарства, виноделия 240, 244–247, 249–251, 254, 684
- Дионисий Старший (431/430–367 до н. э.), тиран в Сиракузах (405–367 до н. э.) 74, 724, 816
- Дмитренко Сергей Федорович (р. 1953), литературовед, прозаик 748, 766, 797, 823
- Дмитриев Андрей Петрович (р. 1963), литературовед, библиограф 4, 804, 924, 925
- Дмитриев Иван Иванович (1760–1837), поэт-сентименталист, переводчик; сенатор (с 1806), министр юстиции (1810–1814) 51, 777, 789
- Стонет сизый голубочек... 320, 777

- Дмитрий Донской (1350–1380), вел. князь Московский (с 1359) и Владимирский (с 1362) 379
- Дмитрий Михайлович Боброк Волынец (? – после 1389), безудельный князь, боярин и воевода великого князя Дмитрия Ивановича Донского 786
- Добролюбов Александр Михайлович (1876–1945?), поэт-символист 504, 813
- Добролюбов Владимир Александрович (1849–1913) 99–100, 730–731
- Ложь гг. Николая Энгельгардта и Розанова о Н. А. Добролюбове, Н. Г. Чернышевском и духовенстве 99–100, 731
- Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) 57, 99, 100, 112, 114, 117, 118, 207, 420, 523, 581, 719, 731, 786, 828
- Луч света в темном царстве 57, 719
- Раскаяние Конрада Лилиеншвагера 100, 731
- Собеседник любителей российской словесности 100, 731
- Докучаев Василий Васильевич (1846–1903), геолог и почвовед 652
- Долгоруков Владимир Андреевич (1810–1891), князь, ген.-адъютант, ген. от инфантерии; моск. ген.-губернатор (с 1865) 715
- Донской А. – см. *Свирский А. И.*
- Доре (Дорэ) Гюстав (1832–1883), фр. гравер, иллюстратор и живописец 121
- Д'Орбинэй Элизабет, англ. путешественница, владелица египет. папируса с «Рассказом о двух братьях» 817
- Дорошевич Влас Михайлович (1865–1922), журналист, публицист, театр. критик 389, 391, 466, 467, 614, 788, 803
- А. П. Чехов 388–389, 788
- Достоевская (ур. Сниткина) Анна Григорьевна (1846–1918) 517, 552–555, 715, 812, 821, 823, 824
- Музей памяти Федора Михайловича Достоевского... 552–554, 823
- Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского 552–555, 823
- Достоевская (ур. Нечаева) Мария Федоровна (1800–1837), мать Ф. М. Достоевского 554
- Достоевский Михаил Михайлович (1820–1864), прозаик, издатель, брат Ф. М. Достоевского 542, 545, 546, 626, 812, 821, 823, 835
- Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) 40–43, 45–48, 54, 67–69, 77, 80, 84, 85, 104, 112, 119, 120, 122–127, 132, 133, 143, 145–161, 178, 180, 181, 190, 201, 203, 205–208, 217, 235, 239, 259, 260, 263, 264, 274, 276, 277, 280, 330, 332, 338, 352, 353, 366, 388, 395, 396, 398, 399, 404, 408–410, 412, 414, 421, 422, 437–439, 441, 498–520, 523, 534, 536–550, 552–555, 578, 581, 582, 595, 599, 606, 608, 626, 630, 668–677, 680, 688, 689, 700, 705, 707, 715, 720–722, 725, 736, 737, 739–745, 749, 753, 757, 763, 769, 779, 781, 782, 788, 789, 791, 798, 811–816, 818, 820–824, 835, 836, 839
- Бедные люди 84, 505, 549, 550, 782
- Белые ночи 77, 545, 725
- Бесы 155–157, 205, 239, 260, 395, 399, 499, 502, 503, 519, 553, 554, 607, 608, 715, 744, 747, 753, 763, 769, 789, 812, 816
- Братья Карамазовы 67, 124, 149, 156, 157, 217, 260, 276, 352, 499, 510, 520, 543, 544, 550, 553, 554, 675, 691, 721, 722, 740, 744, 757, 781, 812, 813, 816, 821
- Влас 504, 511–515, 519
- Г-н – бов и вопрос об искусстве
- Двойник 550

- Дневник писателя 42, 155, 156, 276, 395, 404, 408, 437, 441, 498–500, 502, 503, 505, 506, 508, 511–513, 517, 538, 542, 544, 550, 553, 672, 720, 736, 744, 745, 769, 789, 791, 798, 812–816, 820, 839
- Записки из Мертвого дома 389, 630, 788, 798, 835, 836
- Записки из подполья 156, 517
- Записная книжка 67, 151, 553
- Идиот 737, 816, 836
- Кроткая 499, 812
- Легенда (поэма) о Великом инквизиторе 67–69, 157, 159, 260, 550, 554, 669, 693, 721, 744
- Мальчик у Христа на елке 499, 812
- Мужик Марей 156, 538, 820
- Подросток 40, 41, 155, 499, 502, 553, 715, 736
- Преступление и наказание 155, 156, 161, 257, 258, 260, 520, 745, 769, 816
- Пушкин (Речь о Пушкине) 330, 740
- Ряд статей о русской литературе
- Сон смешного человека 42, 45–47, 119, 122, 124, 132, 155, 260, 437, 441, 499, 502, 520, 550, 715, 736, 737, 739, 798, 812
- Столетняя 156
- Униженные и оскорбленные 352, 502, 518, 553, 813, 816
- Дрэпер Джон Уильям (1811–1882), амер. физик, химик, физиолог, историк 623
- Дубельт Леонтий Васильевич (1792–1862), ген. от кавалерии (1856), нач. корпуса жандармов и управл. III Отд-нием (1831–1855) 383
- Дурново Михаил Аполлонович (1808 – после 1862), жандармский полковник 362
- Душенко Константин Васильевич (р. 1946), переводчик, культуролог и историк 925
- Дьяконов Александр Петрович (1873–1943), историк, доцент (с 1903) и проф. (1909–1912) С.-Петербур. духов. академии по кафедре всеобщей истории и педагогики 92
- Дьяконова Елизавета Александровна (1874–1902), авт. «Дневника», публицистич. статей, рассказов и стихов 817
- Дневник русской женщины 817
- Дюко Пьер Роже (1747–1816), граф, фр. гос. деятель 771
- Дюма-сын (у Розанова: *Дюма-fils*) Александр (1824–1895), фр. драматург 466
- Дюпен (ур. Делаборд) Антуаннетта Софи Виктория (1773–1837), мать Жорж Санд, дочь птицелова, бывшая танцовщица 488, 809
- Дягилев Сергей Павлович (1872–1929), театр. и худож. деятель, антрепренер 92, 190, 750
- Е**—в Г. П. — см. *Енишерлов Г. П.*
- Ева 220, 233, 280, 341
- Евгемер (Эвгемер) из Мессены (ок. 340 – ок. 260 до н. э.), др.-греч. философ из школы киренаиков, производивший религию из культа умерших великих людей 134
- Евдокия Федоровна (ур. Лопухина; в монашестве Елена; 1670–1731), первая жена Петра I (1689–1698), была пострижена в монашество (1695) 307
- Еврипид (Эврипид; 480–406 до н. э.), др.-греч. драматург 83, 727
- Егоров Ефим Александрович (1861–1935), журналист, публицист, секретарь РФС и журн. «НП», позднее сотрудник газ. «НВ»; с окт. 1917 в эмиграции 90, 221, 683
- Егоров Иоанн Федорович (1872–1921), священник и законоучитель в Юрьеве (с 1899), законоучитель Смольного ин-та благор. девиц (с 1903); деятель обновленчества 89, 92

- Едошина Ирина Анатольевна (р. 1952), культуролог, литературовед 4, 925
 Езра (ок. VI в. до н. э.), иудейский первосвященник 452
 Екатерина II Великая (1729–1796), рос. императрица (с 1762), писательница 18, 672, 711, 786, 815
 Елагин Василий Алексеевич (1818–1879), историк, сотр. издаваемой И. С. Аксаковым газ. «День»; сын А. П. Елагиной 112
 Елагин Николай Алексеевич (1822–1876), изд. «Белевской вивлиофики»; калуж. помещик; брат предыдущего 112
 Елагина (ур. Юшкова, в первом браке Киреевская) Авдотья Петровна (1789–1877), хозяйка моск. салона, переводчица; мать славянофилов братьев Киреевских 95
 Елена Павловна (ур. принцесса Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская; 1806–1873), великая княгиня, жена великого князя Михаила Павловича (1824–1849), обществ. деятельница, благотворительница 437, 805
 Елизавета (Елисавета) Английская (1533–1603), королева Англии и Ирландии (с 1558) 811
 Елизавета (Елисавета) Петровна (1709–1761), рос. императрица (с 1741) 359, 816
 Енишерлов Георгий Петрович (1850–1913), участник революц. движения 1860–1870-х, публицист 214–216, 681, 682
 Енох, ветхозавет. патриарх, отец Мафусаила; прожил 365 лет (Быт 5, 23) 470
 Ергольская Татьяна Александровна (1792–1874), троюродная тетка Л. Н. Толстого 361, 362, 783
 Ермак Тимофеевич (1532/1542–1585), казачий атаман, ист. завоеватель Сибири для России 100, 411, 731
 Ершов Петр Павлович (1815–1869), поэт, прозаик, драматург 465, 726
 Конек-Горбунук 79, 465, 726
 Ефрем Сирий (ок. 306–373), преподобный, богослов, проповедник, поэт 581, 712, 839
 Господи и владыко живота моего... 669, 712, 839
 Эфрон (Эфрон) Илья Абрамович (1847–1917), типограф, книгоиздатель 61, 459, 720, 800, 802
 Ешевский (Яшевский) Степан Васильевич (1829–1865), историк-медиевист, проф. рус. истории Казанского (1855–1857) и Московского (с 1858) ун-тов 485, 808
- Жанна д'Арк (1412–1431) 188**
 Живокини Василий Игнатъевич (имя при рождении Дживованнио Ламмона; 1805–1874), моск. комик, актер Малого театра 162, 745
 Жодель Этьен (1532–1573), фр. поэт и драматург, чл. об-ния «Плеяда» 548, 822
 Плененная Клеопатра 548, 822
- Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) 52, 54, 76, 77, 95, 111–112, 149, 308, 356, 363, 394, 415, 419, 442, 518, 716, 718, 725, 728, 736, 738, 740, 749, 775, 783, 798, 821, 839**
 Ивиковы журавли 149, 740
 Рустем и Зараб 136, 738
 Сельское кладбище 308, 775
 Торжество победителей 115, 736
 Ундина 543, 821
 Элевзинский праздник 671, 839
 Эолова арфа 442, 798

- Жуковский Дмитрий Евгеньевич (1866–1943), биолог, переводчик, издатель филос. литературы 294, 424, 523, 772, 794, 817
- Жуковский Юлий Галактионович (1833–1907), литератор и экономист; управляющий Гос. банком (1889–1894), сенатор 39
- Жулькова Карина Алеговна (р. 1971), литературовед 4, 925
- Забелин Иван Егорович (1820–1908), историк, археолог, археограф, музейный деятель, коллекционер 76, 86, 687
- Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. 687, 840
- Загарин П. — см. *Поливанов Л. И.*
- Зак, студент юридич. факультета Моск. ун-та 806
- Закревский Арсений Андреевич (1783–1865), граф, ген.-адъютант, ген. от инфантерии, моск. воен. ген.-губернатор (1848–1859) 332, 334
- Залётный И. — см. *Гофштеттер И. А.*
- Занд Жорж — см. *Санд Ж.*
- Заозерский Николай Александрович (1851–1919), канонист, д-р богословия (1894), проф. Моск. духов. академии по кафедре церк. права (1895–1911) 282, 283, 285, 342, 343, 345, 770
- К тревожному вопросу о браке и детстве 342–343
- На чем основывается церковная юриспруденция в брачных делах 282–283, 770
- Захарьин Григорий Антонович (1829–1897), терапевт, основатель моск. клинич. школы 271, 272, 768
- Захарьин Иван Николаевич (псевд.: И. Якунин; 1839/1837–1906), прозаик, драматург, очеркист, поэт 354–357, 359, 360, 362, 363, 782
- Графиня Александра Андреевна Толстая 354, 782
- Зевс, в др.-греч. мифологии верховное божество 130, 132, 134, 141, 144, 307, 794
- Зелфа (Зилпа), служанка Лии, которая стала женой библ. патриарха Иакова и родила ему двух сыновей 344, 453
- Зенон из Элеи (ок. 490 — ок. 430 до н. э.), др.-греч. философ 773
- Златовратский Николай Николаевич (1845–1911), писатель-народник 258, 518
- Златоуст (Иоанн Златоуст; между 344 и 354–407), святитель, епископ Константинопольский (с 398); проповедник 483
- Золя (Зола) Эмиль (1840–1902) 254–258, 604, 680, 686–689, 765–766, 831, 839
- Брюхо Парижа (Чрево Парижа) 258, 766
- Лурд 258, 766
- Нана 258, 680, 766
- Плодородие 258, 766
- Рим 258, 766
- Ругон-Маккары 258, 604, 831
- Экспериментальный роман 839
- Зонтаг (ур. Юшкова) Анна Петровна (1786–1864), детская писательница, переводчица; сестра А. П. Елагиной 112
- Зороастр (Заратустра, Заратуштра; VI–V вв. до н. э.), основатель зороастризма (маздеизма), жрец и пророк 223, 312, 343, 421, 422, 758, 793, 794
- Зосима (Зосим; кон. V в.), византийский историк 241, 763
- Зотов Рафаил Михайлович (1795–1871), романист, драматург и театр. критик 545, 821

И. А. — см. *Нордстрем И. А.*

Иакинф (у Розанова: *Иоакимф*, в миру Никита Яковлевич Бичурин; 1777—1853), архимандрит (1802—1823); востоковед и путешественник, китаевед 491

Иаков (Израиль), ветхозавет. патриарх 57, 280, 344, 452, 719

Иаков Зеведеев (Иаков Старший; ?—44), апостол из 12-ти, мученик 432, 573, 826

Иаков Младший (? — ок. 62), апостол от 70-ти, первый епископ Иерусалима 826

Иван IV Грозный (1530—1584), великий князь «всея Руси» (с 1522), первый рус. царь (с 1547) 76, 284, 499, 518, 540, 656, 670, 673, 770, 783

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949), поэт-символист, философ, переводчик, драматург, лит. критик 491, 492, 771, 810, 832

Иванцов-Платонов Александр Михайлович (1835—1894), протоиерей, духов. писатель, публицист, проповедник, проф. Моск. ун-та (с 1872) 374

Игнатов Илья Николаевич (1856—1921), прозаик, лит. и театр. критик, публицист; земский врач 753

Игнатъев Алексей Павлович (1842—1906), граф (с 1877), иркутский (1887—1889) и киевский (1889—1897) ген.-губернатор, ген. от кавалерии 577

Игнатъев Николай Павлович (1832—1908), граф, дипломат, ген. от инфантерии (1878); посол в Константинополе (1864—1877), министр внутр. дел (1881—1882) 618, 783

Ида, римская вольноотпущеница 142

Иегова (Яхве, Ягвез), наименование Бога в Ветхом Завете 140, 152, 505, 819

Иезекииль (ок. 622 — ок. 571 до н. э.), ветхозавет. пророк 133, 242, 763

Иеремия (VI в. до н. э.), ветхозавет. пророк 83, 335, 780

Иеровоам, библ. персонаж, первый царь Северно-Израильского царства (928—907 до н. э.) 396, 790

Иероним Пражский (1379—1416), чешский реформатор, ученый, проповедник, сподвижник Яна Гуса 406

Иероним Стридонский (в миру Софроний Евсевий Иероним; 342—419 или 420), святой, духов. писатель, аскет, создатель канонич. лат. текста Библии 133

Извольский Петр Петрович (1863—1928), обер-прокурор Св. Синода (1906—1909); в эмиграции — протоиерей 576, 827

Изида (Исида), главн. др.-египет. богиня 121, 123, 127, 139, 141, 142, 475, 559, 561, 562, 657, 739, 804, 825

Измаил, первенец ветхозавет. патриарха Авраама от рабыни Агари 58, 59, 453

Измайлов Александр Алексеевич (1873—1921), прозаик, лит. критик 516, 517, 519, 815

Памяти Ф. М. Достоевского 516, 815

Иисус Навин, предводитель еврейского народа в период завоевания Ханаана, преемник пророка Моисея 719

Иисус Христос 68, 69, 71, 85, 108, 151, 154, 156, 158, 159, 209, 219, 223—226, 231, 234, 235, 239, 240, 243—247, 249, 250, 253, 254, 280, 283, 284, 290, 293, 317, 328, 339, 345—347, 358, 366, 373, 377, 378, 381, 396, 407, 426—428, 431—433, 437, 452, 455, 463, 470, 475, 485, 499, 501, 502, 504, 506, 528—530, 548, 550, 559, 562, 573, 575, 576, 582—589, 593, 594, 616, 670, 671, 673, 676, 685, 696, 698, 703, 704, 721, 723, 728, 754, 758, 760, 762, 763, 772, 781, 784, 790, 812, 826, 832, 839, 840

Икар, в др.-греч. мифологии сын Дедала, погибший при попытке высоко взлететь 246, 260, 311, 763, 766, 776

Икс (псевд.), автор передовых статей в газ. «Гражданин» рубежа XIX—XX вв. 711, 739

Илия Пророк (Илия Фесвитянин; IX в. до н. э.), пророк; по преданию, был взят живым на небо 822

- Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920), историк, публицист; авт. учебников по отеч. и всеобщ. истории 486, 522, 559, 808
 Всеобщая история 522
- Илья Муромец, былин. герой; его вероят. прототип – преп. Илия (XII в.) 166, 822
- Илья Пророк – см. *Илия Пророк*
- Иннокентий (в миру Иван Григорьевич Усов; 1870–1942), старообрядч. епископ (с 1902) 227
- Иннокентий III (в миру Лотарио Конти, граф Сеньи, граф Лаваньи; ок. 1161–1216), папа Римский (с 1198), инициатор ряда крест. походов 157
- Инфолио (псевд.), лит. критик нач. XX в. 67, 68, 74, 75, 78–80, 721, 723, 724, 726
 Литературная справка 67
 Самобытны ли идеи? 723, 726
 Спор о самобытности 723
- Ио, в др.-греч. мифологии возлюбленная Зевса, превращенная его супругой Герой в корову 72
- Иоаким, муж св. Анны Праведной, отец Богородицы 231
- Иоаким (в миру Иван Петрович Савёлов-первый; 1621–1690), патриарх Московский (с 1674) 671
- Иоакимф – см. *Иакинф (Бигурин), архимандрит*
- Иоанн IV Постник (?–595), константинопольский патриарх (с 582) 670, 840
- Иоанн Богослов (Иоанн Зеведеев), апостол, авт. одного из канонич. Евангелий (ок. 95), Апокалипсиса (ок. 67) и трех посланий 251, 257, 341, 419, 427, 431, 583, 585, 586, 704, 722, 734, 740, 760, 763–765, 768, 780, 781, 786, 788, 793, 795, 804, 813, 832, 839, 840
- Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча (между 6–2 до н. э. – ок. 30 н. э.), пророк, креститель Господень 239, 240, 250, 763
- Иоанн Кронштадтский (наст. имя Иван Ильич Сергиев; 1829–1908), святой праведный, настоятель Андреев. собора в Кронштадте (с 1894); проповедник, духов. писатель 221
- Иов Многострадальный, персонаж одноимен. библ. книги 40, 132, 133, 187, 347–349, 352, 353, 378, 461, 529, 530, 749, 781, 802
- Иона, пророк, после проповеди к-рого жители Ниневии раскаялись в своем разврате 503, 813
- Иосиф II (1741–1790), король Германии (с 1764), император Свящ. Рим. империи (с 1765), эрцгерцог Австрии и король Чехии и Венгрии (с 1780) 763
- Иосиф Волоколамский, или Волоцкий (в миру Иван Санин; 1440–1515), основатель и игумен Волоколам. мон-ря (1479), духов. писатель-полемист 499
- Иосиф Прекрасный (сер. II тыс. до н. э.), сын ветхозавет. праотца Иакова от Рахили 214, 621
- Иосиф Флавий (при рождении Йосеф бен Матитьяху; ок. 37 – ок. 100), еврейский историк и военачальник 141, 396
 Иудейские древности 141–142
- Ирод I Великий (ок. 73 – 4 или 1 до н. э.), царь Иудеи (с 40 до н. э.) 66
- Исаак, ветхозавет. патриарх 280, 790
- Исав, ветхозавет. патриарх, брат-близнец Иакова 404, 790, 791
- Исаия (Исайя), ветхозавет. пророк 227, 341, 803, 815
- Исидор (в миру Петр Александрович Колоколов; 1866–1918), vicарный епископ Новгород-Северский (с 1902), Балахнинский (с 1903), Михайловский (1906–1911) 425, 426, 794, 795

- Иуда, четвертый сын патриарха Иакова от Лии 282
 Иуда Искарот (? — ок. 33) 582–590, 829
- Кавальери Лина (1874–1944), итал. оперная певица (сопрано) 582, 583
 Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885), историк, правовед, социолог и публицист; проф. С.-Петерб. ун-та (1857–1861) 386, 482–484, 545, 648, 808
 Казанова Джакомо Джироламо, шевалье де Сенгальт (1725–1798), итал. авантюрист, путешественник и писатель 240, 763
 Каин, старший сын Адама и Евы, земледелец и градостроитель 68, 341, 402, 442, 540, 791
 Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846–1924) 109–111, **735**
 Беседы о русском лесе 735
 Из зеленого царства 735
 Из родной природы 109–111
 Лесная сказка 110
 Цветочный календарь 110
- Калигула (Гай Юлий Цезарь Калигула; 12–41), др.-рим. император (с 37) из династии Юлиев-Клавдиев 225
 Калиостро Алессандро (наст. имя Джузеппе Бальсамо; 1743–1795), мистик и авантюрист 541
 Калитин Константин Александрович (?–1905) 493–495, **811**
 Третий Рим (День в Москве) 493–495, 811
- Каллаш Владимир Владимирович (1866–1918), литературовед, фольклорист, библиограф 162
 Русские отношения Гёте 162
- Калмыкова (ур. Губанова) Лукерья Васильевна (1841–1886), лидер духоборов (с 1864) 615–617, 833
- Кальвин Жан (1509–1564), фр. теолог, реформатор церкви 366, 583
 Кальдерон де ла Барка Педро (1600–1681), исп. драматург, поэт 239
 Камены, древнеиталийские божества, обитавшие в источниках, родниках и ручьях у храма богини Весты 121
- Канкрин Егор Францевич (1774–1845), граф (1829), министр финансов (1823–1844) 384, 386
- Кант Иммануил (1724–1804) 80, 149, 232, 242, 308, 309, 320, 472, 526, 642, 668, 818
 Кантемир Антиох Дмитриевич (1708–1744), поэт-сатирик; дипломат 54
 Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) 18, 28, 32, 52, 76, 77, 84, 173–175, 264, 444, 447, 479, 517, 518, 519, 711, 718, 747, 807, 815, 822
 Бедная Лиза 479, 807
 Илья Муромец 822
 История Государства Российского 173, 517, 747, 815
 Письма русского путешественника 173, 479, 807
- Карамзина (в замуж. княгиня Мещерская) Екатерина Николаевна (1806–1867), дочь Н. М. Карамзина; ей посвящали стихотворения В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский 711
- Кареев Николай Иванович (1850–1931), историк, философ, социолог 588, 694
 Карл XII (1682–1718), король Швеции (с 1697), полководец 307

- Карлейль (Карлайл) Томас (1795–1881) 77, 152, 579, 726, 741
 Герои, почитание героев и героическое в истории (О героях и героическом) 77, 726
 Письма и речи Оливера Кромвеля 152, 741
 Речь, произнесенная при вступлении в должность 152, 741
- Карре Мишель Антуан Флорантен (1821–1872), фр. драматург, либреттист 732
- Карташёв (Карташов) Антон Владимирович (1875–1960), препод. С.-Петербур. духов. академии (1900–1905), пред. РФО в Петербурге (1909–1917), обер-прокурор Св. Синода и министр исповеданий Времен. правительства (1917) 89, 91, 609, 823, 824, 832
- Карташёва (Карташова) Елизавета Владимировна, сестра А. В. Карташова 823, 824
- Карцов Яков Иванович (1784–1836), педагог, препод. математики и физики (с 1811) и проф. (с 1816) Царскосел. лицея 723
- Кассандра, в др.-греч. мифологии прорицательница, дочь Приама и Гекубы 84, 86, 269, 768
- Катилина (Луций Сергей Катилина; ок. 108–62 до н. э.), др.-рим. претор (68 до н. э.); неоднократно пытался захватить власть (в 66–63 до н. э.) 477, 806
- Катков Михаил Никифорович (1818–1887) 37–39, 102–105, 213, 266, 269, 382, 420, 426, 454, 468, 499, 505, 512, 518, 613, 714, 715, 732, 733, 767, 768, 813, 814, 816
 Отзывы иностранцев о Пушкине 102, 732
 Очерки древнейшего периода греческой философии 102, 732
 По поводу статьи «Роковой вопрос» 733
 Празднование 200-летнего юбилея Петра Великого 813
- Катон Старший (Марк Порций Катон; 234–149 до н. э.), др.-рим. гос. деятель, писатель 778
- Катулл (Гай Валерий Катулл; ок. 87 – ок. 54 до н. э.), др.-рим. поэт 186, 749
 Ненавижу и люблю 186, 749
- Каутский Карл (1854–1938), нем. экономист, историк и публицист; теоретик марксизма 513
- Кауфман Константин Петрович фон (1818–1882), инженер-генерал (1874), ген.-адъютант (1864), ген.-губернатор Сев.-Зап. края (1865–1867) и Туркестана (с 1867) 176, 747
- Кашперова Елена Владимировна, переводчица драматич. произведений с фр. и нем. языков (кон. XIX – нач. XX в.) 717
- Келтуяла Василий Афанасьевич (псевд. К. Румынский; 1867–1942), литературовед, педагог 190, 750
 Курс истории русской литературы 750
- Кельсиев Василий Иванович (1835–1872), литератор, этнограф, эмигрант (1859–1867) 100, 731
 Сборник правительственных сведений о русских раскольниках 100, 731
- Кер, фр. аббат, проповедник 631
- Кибела (Цибела), в др.-греч. мифологии богиня, известная также под именем Великая Мать богов 288, 772
- Киприда, прозвание богини любви Венеры (Афродиты) по о-ву Кипру 561
- Киреевский Иван Васильевич (1806–1856), идеолог славянофильства, лит. критик, философ, журналист 95, 111, 332, 483, 804
- Киреевский Петр Васильевич (1808–1856), славянофил, фольклорист, историк 112, 483, 804

Кирилл Александрийский (376–444), египет. экзегет, полемист, архиепископ (с 412); отец Церкви 133

Кирилл Туровский (1130 – ок. 1182), епископ Турова, богослов, церк. деятель, духов. писатель 499, 780

Слово о расслабленном 780

Кирхман Юлий (1802–1884), нем. юрист и философ-реалист 324

Кистяковский Богдан (Федор) Александрович (1868–1920), правовед, философ-неокантианец и социолог 294, 772

Кладо Николай Лаврентьевич (псевд. Прибой; 1861–1919) 434–435, 796–797

После ухода второй эскадры Тихого Океана 435, 797

Современная морская война 434–435, 796–797

Клеопатра VII Филопатор (69–30 до н. э.), царица Египта (с 44 до н. э.) из династии Птолемеев (Лагидов) 548, 822

Климент (в миру Карл Густав Адольф Зедергольм, после принятия православия – Константин Карлович; 1830–1878), иеромонах, духов. писатель, публицист, переводчик 578

Клингер Фридрих Максимилиан фон (1752–1831), нем. поэт, драматург; попечитель Дерпт. учеб. округа (1803–1817) 741

Буря и натиск 153, 741

Клио, в др.-греч. мифологии муза истории 477, 806

Клодий (Публий Клодий Пульхр; 93/92–52 до н. э.), др.-рим. демагог из патрицианского рода Клавдиев 290

Клодт (Клодт фон Юргенсбург) Петр Карлович (1805–1867), барон, скульптор 163, 746

Клодт фон Юргенсбург Владимир Карлович (1803–1887), барон, ген. от артиллерии, нач. чертежной в Инженерном штабе, проф. математики Михайловского артиллер. уч-ща; дед И. Л. Щеглова 163

Кобеко Дмитрий Фомич (1837–1918), историк, библиограф; дир. Публ. б-ки (1902–1918) 423, 794

Кобеляцкий, штаб-ротмистр, частный пристав 361, 362

Ковалевская (ур. Корвин-Круковская) Софья Васильевна (1850–1891), математик и механик, мемуаристка 56, 737

Воспоминания детства 737

Нигилистка 737

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916), историк, юрист, социолог и обществ. деятель, академик (с 1914) 803

Коган Янкель Михайлович, петерб. купец 1-й гильдии; во время Рус.-турец. войны 1877–1878 один из руководителей кампании по заготовке продовольствия и фуража для русской Дунайской армии 269, 767

Кожанчиков Дмитрий Ефимович (1820/1821–1877), петерб. книготорговец (с 1858); изд. памятников старообрядч. литературы 366

Козлов Алексей Александрович (1831–1901), философ, обозначивший свое мировоззрение как панпсихизм 147, 320, 740

Густав Тейхмюллер 147

Козлов Иван Иванович (1779–1840), поэт, переводчик 781

Вечерний звон 346, 781

- Козырев Алексей Павлович (р. 1968), историк философии 800, 802
 Соловьёв и гностики 800, 802
- Кок Поль де (1794–1871), фр. беллетрист, драматург, поэт 36
- Кокорев Василий Александрович (1817–1889), публицист, обществ. деятель; откупщик-миллионер, промышленник 176, 747
- Коллатин (Луций Тарквиний Коллатин), один из двух первых др.-рим. консулов, вдохновитель изгнания царя Тарквиния Гордого, муж Лукреции 225, 439, 798
- Колосов Николай Александрович (1863 – не ранее 1910), священник, религ. публицист, лит. критик 829
 Можно ли жить без веры? 829
- Колубовский Яков Николаевич (1863–1929), историк рус. философии, библиограф 458, 801
- Колумб Христофор (1451–1506) 279, 319, 406, 427, 691, 700, 702
- Кольбер Жан-Батист (1619–1683), фр. гос. деятель, фактич. глава правительства Людовика XIV (с 1665) 771
- Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842), поэт 79, 101, 181, 185, 377, 786
 Урожай 377, 786
- Комаров Виссарион Виссарионович (1838–1907), полковник; публицист, ред. газет «СПбВ» (с 1877) и «Свет» (с 1883), журналов «Славян. Известия» (1889–1891) и «РВ» (1902–1906) 345, 465, 494, 781, 803
- Коммод (Комод, Луций Элий Аврелий Коммод; 161–192), др.-рим. император (с 180), из династии Антонинов 225
- Кондаков Никодим Павлович (1844–1925), историк византийского и древнерусского искусства, археолог; академик Акад. наук (1898) и Акад. художеств (1893) 92
- Кондратенко Роман Исидорович (1857–1904), ген.-лейтенант, воен. инженер, герой обороны Порт-Артура 797
- Кондратьев Иван Кузьмич (наст. отчество Казимирович; 1849–1904), поэт, песенник, беллетрист, историк, москвовед, переводчик 16
- Кони Анатолий Федорович (1844–1927), юрист, обществ. деятель, мемуарист 273, 274, 768
 Федор Петрович Гааз 273, 768
- Конон (в миру Козьма Трофимович Смирнов; 1797–1884), старообрядч. архиерей Белокриницкой иерархии; епископ Черниговский (с 1855); арестован (1858), содержался в суздальском Спасо-Евфимиевом мон-ре (1859–1881) 358, 783
- Константин I Великий Равноапостольный (Флавий Валерий Аврелий Константин; 272–337), вост.-рим. император (с 312) 66, 290, 292, 442, 772, 798
- Константиновский Матвей Александрович (Матвей Ржевский; 1791–1857), прот. ржевского Успен. собора, проповедник, миссионер, духов. наставник Гоголя 89, 91, 99, 111, 176, 729, 747
- Конт Огюст (1798–1857), фр. философ-позитивист и социолог 63, 320, 425, 428, 623, 624, 643, 668, 720
 Курс позитивной (положительной) философии (Cours de la philosophie positive) 63, 428, 720
- Конфуций (ок. 551–479 до н. э.) 223, 311
- Корелин Михаил Сергеевич (1855–1899), историк 322
- Кормон Эжен (наст. имя Пьер-Этьен Пьестр; 1811–1903), фр. драматург, либреттист 732
- Корнелия Римская (II в. до н. э.), дочь Сципиона Африканского Старшего, мать братьев Гракхов 210, 225

- Корнель Пьер (1606—1684), фр. драматург, представитель классицизма 506, 547—549, 601, 822
 Гораций 548, 822
 Медея 822
 Сид 549, 822
 Цинна, или Милосердие Августа 548, 822
- Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) 367, 387, 518, 523, 785, 788
 В дурном обществе 367, 785
 Слепой музыкант 387, 788
- Корсак Мария, переводчица (1870—1880-е) 716
- Корф Модест Андреевич (1800—1876), барон, пред. Цензур. комитета (1855—1856), дир. Публич. б-ки (1849—1861); историк, мемуарист 382
- Корф Николай Иванович (1793—1869), ген. от артиллерии, инспектор всей артиллерии, член Гос. совета 483
- Корш Валентин Федорович (1828—1883), журналист, ред. «МВ» (1856—1862), «С.-Петербург. Ведомостей» (1863—1874), изд. газ. «Сев. Вестник» (1877—1878) 102, 732
- Костомаров Николай Иванович (1817—1885), рус. и украин. историк, поэт и беллетрист 39, 517, 770
 Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей 284, 770
- Котарбинский Вильгельм Александрович (1848—1921), художник 795
- Кошелев Александр Иванович (1806—1883), публицист-славянофил, изд. «Моск. Сборника» (1852), изд.-ред. журн. «Рус. Беседа» (1856—1860), «Сел. Благоустройство» (1858—1859) 483, 808
- Кравчинский Дмитрий Михайлович (1857—1918), лесовод, исследователь еловых лесов 567
- Краевский Андрей Александрович (1810—1889), ред.-изд. журн. «Отеч. Записки» (1839—1868) и др. изданий, педагог 39, 715
- Крамской Иван Николаевич (1837—1887), живописец, рисовальщик, худож. критик 535
- Кранихфельд Владимир Павлович (1865—1918), лит. критик, сотр. журналов «Рус. Богатство» и «Мир Божий» 799
- Крапоткин П. А. — см. *Крапоткин П. А.*
- Крашенинников Степан Петрович (1711—1755), путешественник, этнограф, картограф; исследователь Камчатки 479
- Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895), поэт, прозаик, лит. критик 57, 557, 719
 Петербургские труппы 56, 557, 719
- Крис (в замуж. Курт) Беттина (псевд. Вера; 1878—1948), нем. прозаик, историк искусства 840
 Одна из многих: Из дневника девушки 696, 840
- Критий (460—403 до н. э.), афин. гос. деятель, проводивший проспартан. политику 102, 732
- Кромвель Оливер (1599—1658), вождь Англ. революции, военачальник; лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии (1653—1658) 152, 330, 494, 543, 741
- Кроненберг (правильно: *Кроненберг*) Станислав Леопольдович (1846—1894), финансист, фигурант уголовного дела, обвинявшийся в истязании своей семилетней дочери Марии (1876) 798, 813

- Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921), теоретик анархизма, географ, историк, литератор 412, 792
 Записки революционера 412, 792
- Крупп Альфред (1812–1887), нем. промышленник и изобретатель, «пушечный король» 50, 717
- Крупп Фридрих (1854–1902), нем. сталепромышленник 50, 717
- Крылов Иван Андреевич (1768/1769–1844) 77, 101, 149, 327, 391, 394, 595, 600, 725, 753, 789, 835
 Лисица и Виноград 206, 753
 Осел и Соловей 391, 789
 Пустынный и Медведь 623, 835
- Ксенофан Колофонский (ок. 570 – ок. 475 до н. э.), др.-греч. странствующий поэт и философ 547, 772, 822
 О природе 547, 822
- Кудрявцев Петр Николаевич (1816–1858), историк и прозаик 382, 485, 808
- Кузмин (у Розанова: *Кузьмин*) Михаил Алексеевич (1872–1936), поэт, переводчик, прозаик, композитор 557–559, 825
 Крылья 557, 558, 825
- Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868), драматург, поэт, прозаик, худож. критик, журналист 39, 715
 Рука Всевышнего отечество спасла 39, 715
- Кулешова Ольга Валерьевна, литературовед 765, 807
- Кулиш Пантелеймон Александрович (1819–1897), украин. прозаик, публицист, историк, первый биограф Гоголя 20, 111, 162, 661, 712, 745
- Кульженко Е. В., киев. типограф 835
- Куприн Александр Иванович (1870–1938), прозаик 364, 784
 Мирное житие 364, 784
- Курбский Андрей Михайлович (1528–1583), князь, полит. деятель, писатель 54, 76
- Курочкин Василий Степанович (1831–1875), поэт-сатирик, журналист, переводчик 393, 754
- Кусков Платон Александрович (1834–1909) 402–408, 790–791, 835
 Наши идеалы 402–408, 790–791
- Кювье Жорж (1769–1832), фр. натуралист; основатель сравнит. анатомии и палеонтологии 489
- Кюи Цезарь Антонович (имя при рождении Цезарий Вениамин; 1835–1918), композитор и муз. критик, чл. «Могучей кучки»; проф. фортификации, инженер-генерал (1906) 535
- Л. Н.** – см. *Толстой Л. Н.*
- Лабулэ Эдуар Рене Лефевр де (1811–1883), фр. прозаик, правовед, педагог, публицист, полит. деятель, переводчик 536
- Лавров Петр Лаврович (1823–1900), философ, социолог, публицист, издатель, идеолог народничества 777, 836
- Ладыженский Иван Иванович (1872–1957), полит. и обществ. деятель 581–583
- Лазарь, нищий, персонаж евангел. притчи 244, 251, 432, 506, 608, 763, 796

- Ламанский Владимир Иванович (1833–1914), славист-историк, филолог, этнограф, издатель; проф. С.-Петербургских ун-та (1871–1888) и духов. академии (1872–1897) 92
- Ламартин Альфонс Мари Луи де Пра де (1790–1869), фр. поэт-романтик, прозаик, полит. деятель 77, 725, 821
 Новые поэтические размышления 725
 Поэтические размышления 77, 725
- Ламброзо – см. *Ломброзо Ч.*
- Ламот Фуке (Ля Мотт Фуке) Фридрих де (1777–1843), барон, нем. писатель-романтик 821
 Ундина 821
- Ланкастер Джозеф (1778–1838), англ. педагог 267, 767
- Лаодикея – см. *Левкотей*
- Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863–1919), историк, академик (1905) 294, 772
- Ласнер (Ласнер) Пьер Франсуа (1803–1836), фр. поэт, вор и убийца 631, 836
- Ласкеев Павел Михайлович (1860–1920), преподаватель С.-Петерб. духов. семинарии 91
- Лассаль Фердинанд (1825–1864), нем. философ, юрист, экономист, полит. деятель 513, 643
- Лахотский (Лажотский) Павел Николаевич (ок. 1866–1931), протоирей (1905), духов. писатель; соред. журн. «Православно-Русское Слово» и др. 285, 340, 345
- Лазарус (Лазарус) Мориц (1824–1903), нем. философ, психолог и писатель 324
- Лебедев Алексей Иванович (1850–1923), проф. и директор акушерской клиники в Военно-медицинской академии 92
- Лебедев Амфиан Степанович (1832–1910), историк и правовед; проф. церк. истории Харьк. ун-та (с 1869) 374
- Лебедев Владимир Александрович, педагог, ученик С. А. Рачинского 108, 734
- Лебедев Петр Петрович, препод. философии С.-Петерб. духов. семинарии, авт. работ по психологии; чл. Филос. о-ва и РФС 92
- Лебединский Иван Иванович, лексикограф, препод. древних языков 4-й Моск. муж. гимназии 733
- Лебриер Эмиль (1866–1954), фр. историк литературы 489, 809
 Edgar Poe, sa vie et son oeuvre 489, 809
- Лев XIII (в миру граф Винченцо Джоакино Печчи; 1810–1903), папа Римский (с 1878) 687
- Левкотей (у Розанова: *Лаодикея*), в др.-греч. мифологии морское божество 444, 445, 799
- Лейбниц Готфрид Вильгельм фон (1646–1716), нем. философ-идеалист, математик, языковед 262, 267, 424–425, 441, 524, 794
- Лейкин Николай Александрович (1841–1906), прозаик-юморист, драматург; ред.-изд. журн. «Осколки» (1882–1905) 389
- Лемке Михаил Константинович (1872–1923) 381–387, 489, 715, 786–787, 794, 809, 810
 Николаевские жандармы и литературы 715
 Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия 381–387, 489, 786, 810
- Ленбах Франц фон (1836–1904), нем. художник 286
- Леонардо да Винчи (1452–1519) 87, 209, 426, 429, 482, 680, 754, 795
- Леонти – см. *Монти В.*

- Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) 75, 103–105, 148, 149, 151, 152, 453–455, 459–461, 465, 469, 473, 578, 645–650, 669, 670, 724, 733, 734, 740, 741, 799–801, 804, 836–837
- Восток, Россия и Славянство 75, 103, 473, 578, 724
- Из жизни христиан в Турции 103, 733
- Национальная политика как орудие всемирной революции 105, 578, 733
- Наши новые христиане — Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой 151, 578, 740
- Не кстати и кстати: (Письмо А. А. Фету по поводу его юбилея) 105, 733
- О всемирной любви 151, 741
- Отец Климент Зедеггольм, иеромонах Оптиной пустыни 578
- Страх Божий и любовь к человечеству
- Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874), проф. Моск. ун-та по каф. греч. словесности, *серед. газ. «МВ» (с 1863)* 103, 269, 518, 714, 733, 768, 816
- Леонтьев-Щеглов И. Л. — см. *Щеглов И. Л.*
- Леохар (IV в. до н. э.), др.-греч. скульптор 787
- Аполлон Бельведерский 383, 787
- Лепорский Петр Иванович (1871–1923), духов. писатель, протоиерей, проф. С.-Петерб. духов. академии 91
- Лепсиус Рихард (1810–1884), нем. египтолог, проф. Берлинского ун-та 122
- Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien* 122
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) 15, 16, 20–29, 32, 33, 40–48, 54, 68, 75, 77, 84, 87, 101, 111, 119, 122, 126–129, 131, 134–144, 169, 178, 180, 185, 188, 198, 199, 201, 202, 219, 228, 255, 256, 259, 274–276, 363, 366, 392, 415, 418, 419, 421, 440, 444, 451, 478, 481, 518, 519, 531, 595, 661–663, 665, 668, 711–713, 715, 722, 724, 727, 731, 736–738, 748, 752, 755, 769, 778, 781, 783, 793, 798, 799, 807, 838
- Ангел 26, 129, 276, 440, 712, 737, 769, 798
- Ашиб-Кериб 101, 256, 731, 766
- Бородино 22, 178
- Бэла (Бела) 101, 691
- В полдневный жар в долине Дагестана... — см. *Сон*
- Выхожу один я на дорогу... 24, 26, 139, 663, 739
- Герой нашего времени 24, 595, 691
- Дары Терека 26, 136, 663, 668, 738
- Демон 24, 26, 27, 40–48, 68, 125–127, 129, 131, 134–144, 219, 663–664, 668, 712, 715–716, 722, 737–739, 838
- Дубовый листок — см. *Листок*
- Дума 199
- Есть речи — значенье... 25, 712
- Журналист, читатель и писатель 30, 210, 755
- Казачья колыбельная песня 341, 668, 712, 781, 838
- Как часто, пестрою толпою окружен... 23, 24, 30, 444, 799
- Княжна Мери 778
- Когда волнуется желтеющая нива... 111, 122, 135, 178, 595, 662, 736, 738, 838
- Колыбельная песня — см. *Казачья колыбельная песня*
- Листок 136, 668, 738, 838
- Люблю отчизну я, но странною любовью... — см. *Родина*
- Моя душа, я помню, с детских лет... — см. *1831-го июня 11 дня*

- Молитва 26, 178, 712
 Мцыри 26, 201, 202, 663, 668
 Ночевала тучка золотая... — см. *Утес*
 О грезях юности томим воспоминаньем... 668
 Парус 478, 807
 1-е января — см. *Как часто, пестрою толпою окружен...*
 Песня о купце Калашникове 22, 101, 202, 363, 712, 783
 По небу полуночи ангел летел... — см. *Ангел*
 Поэт 31, 128, 421, 713, 737, 793
 Пророк 24, 84, 665, 727
 Ребенку (К ребенку) 128, 737
 Родина 22, 178, 712
 Сказка для детей 22, 24–26, 29, 219, 663, 668, 712, 838
 Сон 595
 Спор 26, 595, 663
 Тамань 101, 256, 595, 663, 691
 Три пальмы 26, 135, 595, 663, 738
 1831-го июня 11 дня 29
 Утес 136, 668, 738
 Фаталист 101, 663
 Штосс 665, 838
 Я, Матерь Божия... — см. *Молитва*
- Лесевич Владимир Викторович (1837–1905), философ-позитивист, социолог, публицист 694
- Лесков Николай Семенович (1831–1895) 331, 393, 551–552, 823
- Запечатленный ангел 551
 Инженеры-бессребреники 551
 Пигмей 551
 Томление духа 551
 Тупейный художник 551
 Чертогон 551, 552
 Шерамур 551
- Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781), нем. драматург, теоретик искусства 100, 208, 365, 731
- Лжедмитрий I (?–1606), рус. царь (с 1605), самозванец, выдававший себя за чудесно спасшегося царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного 411
- Либих Юстус фон (1803–1873), нем. химик 77, 146, 726
- Письма о химии и ее приложении к промышленности и земледелию (*Химические письма*) 77, 726
- Ливий (Тит Ливий; 59 до н. э. — 17 н. э.), др.-рим. историк 319, 798
- Лили Джон (ок. 1553/1554–1606), англ. драматург и романист
- Лилит, халдейская богиня чувственных наслаждений; первая жена Адама, упоминаемая в ранних христианских апокрифах 72, 73, 669, 723
- Лисандр (452–396 до н. э.), спартан. военачальник, флотоводец 732
- Лисицын Михаил Александрович (1871–1918), священник, композитор 89
- Лисснер (Лиснер) Эрнст (русифицир. вариант Орест Антонович), совладелец типографии в Москве, в Крестовоздвиженском пер. (1870–1890-е), австр. подданный 726
- Лист Ференц (1811–1886) 272

- Лихутин, владелец доходного дома в Москве на Пречистенке (нач. 1890-х) 455
- Лобачевский Николай Иванович (1792–1856) 80, 726
- Лобек Кристиан Август (1781–1860), нем. филолог-классик 242
- Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum causis libri tres 242
- Логвинова Ирина Владимировна (р. 1978), литературовед 924, 925
- Локк Джон (1632–1704), англ. педагог, философ 568
- Ломброзо Чезаре (Цезарь) (1835–1909), итал. тюрем. врач-психиатр, литератор 627
- Ломоносов Алексей Васильевич (р. 1962), историк, архивист 725, 735, 768, 924, 925
- Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) 360, 519, 779, 816
- Ода на день восшествия на всероссийский престол Ее Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 520, 816
- Слово похвальное блаженным и вечностойным памяти Государю Императору Петру Великому... 779
- Ломоносова (ур. Рачинская) Мария Алексеевна (?–1896), двоюор. сестра С. А. Рачинского 109, 734
- Лонг (Лонгус; ок. II в.) др.-греч. прозаик и поэт 728
- Дафнис и Хлоя 85, 728
- Лонгфелло Генри Уодсворт (1807–1882), амер. поэт 833
- Гибель Гесперуса 833
- Лопатин Лев Михайлович (1855–1920), философ спиритуалистич. направления 62, 299, 300, 320, 720, 773
- Новый психофизиологический закон г. Введенского 720
- Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825–1888), граф (1878), ген. от кавалерии (1875); пред. Верхов. распорядит. комиссии (1880), министр внутр. дел (1880–1881) 618
- Лоррен Клод (1600–1682), фр. художник-пейзажист 40, 45, 715
- Ассиз и Галатея 40, 45, 715
- Вечер (Товий и ангел) 715
- Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965), философ-интуитивист, переводчик 424, 794
- Лот, племянник патриарха Авраама, живший в Содоме 220
- Лохвицкая (по мужу Жибер) Мария Александровна (лит. псевд. Мирра Лохвицкая; 1869–1905), поэтесса 72–73, 669, 723
- Лилит 72, 669, 723
- Лука (I в.), апостол от 70-ти, евангелист, иконописец, врач 341, 427, 747, 749, 758, 759, 763–765, 771, 772, 780, 795, 796, 812, 832, 837
- Лукерья – см. *Калмыкова Л. В.*
- Лукреций (Тит Лукреций Кар; ок. 99–55 до н. э.), др.-рим. поэт и философ-эпикурец 772
- О природе вещей 772
- Лукреция (ок. 500 до н. э.), добродетельная римская патрицианка, изнасилованная сыном царя Секстом Тарквинием и заколовшая себя на глазах мужа 408, 439, 798
- Лундберг Евгений Германович (1883–1965), прозаик, переводчик, критик 786
- Лухманова (ур. Байкова) Надежда Александровна (1844–1907), прозаик, драматург, публицист 234–235, 760
- Кто дал им право? 234, 760
- Ответ г. Розанову 760

- Лучицкий Иван Васильевич (1845–1918), историк-медиевист, чл.-кор. Акад. наук (с 1908) 485, 808
 Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции 485, 808
- Львов Алексей Федорович (1798–1870), скрипач, композитор, дирижер, авт. музыки гимна «Боже, царя храни» (1833); директор Придворной певч. капеллы (1837–1861) 95
- Льюис Джордж Генри (1817–1878), англ. философ-позитивист, лит. критик 623
- Любимов Николай Алексеевич (1830–1897), ученый-физик, историк, публицист; проф. Моск. ун-та (1865–1882) 102, 103, 268, 460, 732
 Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга. По документам и личным воспоминаниям 102, 732
- Людовик XV Возлюбленный (1710–1774), король Франции и Наварры (с 1715) из династии Бурбонов 814
- Лютер Мартин (1483–1546) 154, 311, 541, 583, 840
- Луцина (Луцина), в др.-рим. мифологии богиня родов, покровительница рожениц 86
- Ляцкий Евгений Александрович (1868–1942), литературовед, этнограф, литературный критик, публицист, прозаик, поэт 829
 Между бездной и тайной 829
- М. А., жительница Ревеля 825**
 Советы матери перед вступлением в брак ее дочери... 560, 825
- М-в — см. *Меньшиков М. О.*
- М-й Д. С. — см. *Мережковский Д. С.*
- Маврикий (Флавий Маврикий Тиберий Август; 539–602), визант. император (с 582) 710
- Магдалина (Мария Магдалина), последовательница Иисуса Христа; по католич. легенде, в прошлом раскаявшаяся блудница 234
- Магомет (Мухаммед; 571–632) 223, 432, 453, 800
- Мазарини Джулио (1602–1661), кардинал (1641), первый министр Франции (с 1643) 436
- Мазини Анджело (1844–1926), итал. певец, драматич. тенор 102, 103, 732
- Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) 51, 113, 115, 116, 183, 197, 517, 815
- Майков Леонид Николаевич (1839–1900), литературовед, этнограф, фольклорист; академик (с 1889) 735
- Майн Рид — см. *Рид Т. М.*
- Мак-Магон Патрис де (1808–1893), граф, фр. военачальник и политик, сенатор (1856–1870), маршал Франции (1859); времен. президент Франции (1873–1879) 287
- Макарий (1482–1563), митрополит Московский 730
 Великие Четыи Минеи 730
- Маккавеи, семеро сыновей иудейского священника, возглавившего восстание против ига сирийских греков (166–160 до н. э.) 342
- Маколей Томас Бабингтон (1800–1859), англ. гос. деятель, историк, литератор 77, 480, 725
 История Англии от восшествия на престол Якова II 77, 725
- Максимов Сергей Васильевич (1831–1901), писатель, этнограф 747
 Крылатые слова 747
- Малахия, последний из ветхозавет. пророков 250

- Малёванный Кондратий Алексеевич (1845—1913), основатель секты малёванцев в штундо-баптизме 615, 834
- Малерб Франсуа де (1555—1628), фр. поэт 497, 548
- Малинин Александр Федорович (1835—1888), педагог, авт. учеб. пособий по арифметике, физике, географии и др. 641, 836
- Мальтус Томас (1766—1834), англ. священник, демограф и экономист 323
- Мальцев Алексей Петрович (1854—1915), протоиерей, богослов, переводчик 642, 836
- Нравственная философия утилитаризма 642, 836
- Мамай (ок. 1335—1380), беклярбек и темник Золотой Орды 163, 786
- Маргарита де Валуа (1553—1615), королева Франции, супруга Генриха IV Бурбона (1572—1599) 436
- Марий (Гай Марий; ок. 157—86 до н. э.), др.-рим. полководец, семь раз избирался в консулы 289, 290, 772
- Мария, Богоматерь (Св. Дева) 26, 178, 219, 228, 231, 280, 284, 291, 307, 377, 403, 430, 457, 464, 465, 554, 573, 574, 703, 712, 716, 723, 763, 764, 772, 780, 791, 802, 821, 826
- Мария I Стюарт (1542—1587), королева Шотландии (1561—1567), королева Франции (1559—1560) 822
- Мария Александровна (ур. принцесса Гессен-Дармштадская; 1824—1880), цесаревна, императрица (с 1855), супруга имп. Александра II 358, 359, 412, 792
- Мария Александровна (1853—1920), великая княжна, дочь имп. Александра II; герцогиня Эдинбургская (1874—1893) и Саксен-Кобург-Готская (с 1893); супруга принца Альфреда, герц. Эдинбургского (с 1874) 354, 355
- Мария Медичи (1575—1642), королева Франции, вторая жена Генриха IV Бурбона 436
- Мария Николаевна (1819—1876), великая княгиня, дочь имп. Николая I, в браке герцогиня Лейхтенбергская; през. Акад. художеств (1852—1876) 356
- Мария Федоровна (ур. Мария София Фредерика Дагмара, принцесса Датская; 1847—1928), рос. императрица (с 1881), супруга имп. Александра III (с 1866) 361
- Мария Федоровна (ур. София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская; 1759—1828), рос. императрица (с 1796), супруга имп. Павла I (с 1776) 592
- Марк (Иоанн-Марк), апостол от 70-ти, евангелист 250, 427, 521, 741, 753, 762, 763, 795, 817, 826, 832, 839
- Марк Аврелий Антонин (121—180), рим. император (с 161), философ-стоик 186
- Маркевич Болеслав Михайлович (1822—1884), прозаик, публицист, лит. критик 518
- Маркевич Николай Андреевич (1804—1860), поэт, этнограф, фольклорист, историк 488, 809
- Гимн хозяину 488, 809
- Марков Евгений Львович (1835—1903) 216—218, 757
- Барчуки. Картины прошлого 217, 757
- Софисты XIX века 217, 757
- Маркс Карл (1818—1883) 443
- Маркузе Иван Карлович (1846—1916), журналист и переводчик 797
- По поводу старого романа 797
- Марло Кристофер (1564—1593), англ. поэт, переводчик и драматург-трагик 496, 811
- Марлэнд Вильям, англ. механик, работал в Петербурге на Екатеринингофской мануфактуре 762
- Марлэнд Джемс, англ. механик 761, 762
- Марс, в др.-рим. мифологии бог войны 45

- Мартинсон Василий Антонович (1874–1955), протоиерей (1907), богослов, проф. и ректор С.-Петербур. духов. семинарии (1910–1918) 92
- Мартос Иван Петрович (1750–1835), скульптор 773
- Матвей Ржевский — см. *Константиновский М. А., прот.*
- Матфей Левий (?–60), апостол от 12-ти, евангелист 427, 472, 562, 563, 583, 713, 722, 734, 741, 744, 758, 760, 762, 763, 765, 770, 774, 780, 781, 795, 801, 803, 809, 812, 814, 823, 826, 830–832, 838, 839, 841
- Матченко Иван Павлович (1850–1919), педагог, обществ. деятель, публицист 112, 735
- Медведев Александр Александрович, литературовед 784, 925
- Медея, в др.-греч. мифологии колхидская царевна, волшебница 822
- Медичи (Медичисы), итал. олигархич. семейство, стоявшее у власти во Флоренции (XIII–XVIII вв.) 678
- Мезенцев (Мезенцов) Николай Владимирович (1827–1878), ген.-лейтенант, ген.-адъютант, шеф жандармов и глава III Отделения (с 1876) 567, 826
- Меланхтон Филипп (1497–1560), нем. протестант. теолог и педагог, сподвижник М. Лютера 583, 840
- Мельников-Печерский (наст. фам. Мельников, псевд. Андрей Печерский) Павел Иванович (1818–1883), прозаик, историк, расколовед; чиновник Мин-ва внутр. дел (1850–1866) 301, 302, 774
- В лесах 301, 774
- Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) 87, 266
- Мендельсон Николай Михайлович (1872–1934), журналист, педагог, этнограф, фольклорист, историк литературы 162, 745
- Н. П. Огарёв в воспоминаниях его бывшего крестьянина 162, 745
- Мендельсон-Бартольди Феликс (1809–1847), нем. композитор, пианист, дирижер 95
- Меншиков Александр Сергеевич (1787–1869), князь, член Гос. совета; адмирал, морской министр (с 1827), главнокомандующий сухопут. и морскими силами в Крыму (1853–1855) 384, 786
- Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) 35–36, 218–229, 234, 302, 466–468, 614, 666–667, 683, 713–714, 757–759, 773, 774, 802, 833
- Начала жизни 35–36, 666–667
- Письма к ближним 218, 219, 302, 757, 774
- Титан и пигмеи
- Тоже стиль модерн 758
- Мёрдер Иван Карлович (1832–1907), поручик л.-гв. Кирасирского полка; пред. Попечительства о глухонемых (с 1898); жил в Царском Селе 460
- Мережки Федор (XVIII в.), войсковой старшина, прадед Д. С. Мережковского 762
- Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) 17, 70, 85–89, 91, 153, 154, 190, 208–210, 220, 221, 228–232, 234, 238–254, 304–308, 343, 373, 426–434, 517, 610, 680, 683–686, 704, 710, 722, 728, 729, 741, 750, 752–754, 759, 761–765, 774, 795, 827, 832, 839
- Автобиографическая заметка 762
- Вечные спутники 239, 763
- Воскресшие боги (Леонардо да Винчи) 238, 426, 429, 754, 762, 795
- Гоголь и отец Матвей 89, 91, 729
- Л. Толстой и Достоевский. Религия 153, 190, 208
- Лев Толстой и Русская церковь 91, 729
- Любовь сильнее смерти 85–88, 728

- Микель-Анджело 85–87
 Наука любви 85
 О гигантах и пигмеях 759
 О Церкви грядущего 832
 Петр и Алексей 239, 304–308, 426–434, 774, 795
 Родина 17, 710
 Сан Сатиро: Из флорентийской легенды 85, 728
 Смерть богов 85, 238, 426, 728, 762, 795
 Судьба Гоголя 228, 753, 759
 Христос и Антихрист 426, 728, 754
 Юлиан Отступник (Отверженный) – см. *Смерть богов*
- Мережковский (фам. при рождении Мережки) Иван Федорович (1783 – не ранее 1832), дед Д. С. Мережковского 762
- Мерзляков Алексей Федорович (1778–1830), критик, теоретик литературы, поэт, переводчик; педагог 789
 Среди долины ровныя 394, 789
- Мериме Проспер (1803–1870), фр. прозаик, переводчик 239, 763, 790
 Александр Пушкин 239, 763
 Кармен 397, 398, 790
- Меркер, нем. философ, член Берлинского филос. о-ва 324
- Меровинги, первая династия франкских королей в истории Франции (481–751) 294, 479
- Мерод Клео де (полн. имя Клеопатра Диана де Мерод; 1875–1966), фр. танцовщица 582
- Мессалина (Валерия Мессалина; ок. 17/20–48), третья жена имп. Клавдия (с 38), известная разгульной жизнью 143, 288
- Местр (Местер) Жозеф де (1753–1821), граф, фр. католич. философ, литератор, политик и дипломат 78
- Метерлинк Морис (1862–1949) 523, 604, 623–626, **835**
 Жизнь пчел 623, 835
 Сокровище смиренных 623, 835
- Меттерних Клеменс фон (1773–1859), князь, австр. дипломат, министр иностр. дел (1809–1848) 580
- Мефодий (в миру Михаил Матвеевич Великанов; 1852–1914), архимандрит, чл. С.-Петербург. духов. цензур. комитета (с 1903), епископ Сарапульский, викарий Вятской епархии (с 1909); духов. писатель 251, 341, 342, 345, 685
 Молитвы св. церкви о жене-родительнице 341–342
- Мечников Ильч Ильич (1845–1916), микробиолог, цитолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог и патолог 523, 606, 608, 832
- Мещерский Александр Иванович (1730–1779), князь, служащий таможенной канцелярии; литератор, знакомый Г. Р. Державина 820
- Мещерский Владимир Петрович (1839–1914), князь, публицист, прозаик, изд.-ред. журн. «Гражданин» (1872–1877, 1883–1914), «Добро» (1881), «Воскресение» (1887–1894) и др. 17–19, 144, 145, 229, 317, 393, 421, 667, 701, 710, 711, 739, 776, 788, 789
 Дневники 17, 317, 393, 711, 776, 788, 789
- Мещерский Петр Иванович (1802–1876), князь, гвардии подполковник в отставке, отец В. П. Мещерского 711

- Мещерский Петр Сергеевич (1878/1879–1857), князь, обер-прокурор Св. Синода (1817–1833) 666, 770
- Микеланджело (Михель-Анджелло, Микель Анджело) Буонаротти (1475–1564) 73, 85–87, 209, 482, 678, 680, 723, 796
- Моисей 87
- Сикстинская капелла 87
- Pieta (Оплакивание Христа) 73, 723
- Микула Селянинович, легендарный пахарь-богатырь в рус. былинах новгородского цикла 272, 716
- Милитта (Бэлит), в шумеро-аккадской мифологии эпитет верховного женского божества 139
- Милицына (ур. Разуваева) Елизавета Митрофановна (1869–1930) 374–381, 785–786
- Идеалист 374
- Миллер Всеволод Федорович (1848–1913), филолог, фольклорист, языковед, этнограф и археолог, академик (с 1911) 803
- Миллер Герард Фридрих (Федор Иванович; 1705–1783), историк, стат. советник, академик 479
- Миллер Орест (Оскар) Федорович (1833–1889), фольклорист, историк лит-ры, критик, публицист 812
- Миллионщикова Татьяна Михайловна (р. 1948), литературовед 925
- Милль Джон Стюарт (1806–1873), англ. мыслитель, экономист 77, 323, 562, 623–625, 641, 642, 725, 836
- Основания политической экономики 77, 725
- Система логики 642, 836
- Мильтон Джон (1608–1674) 309, 712
- Потерянный рай 712
- Милюков Павел Николаевич (1859–1943), полит. деятель, историк, публицист 183, 748, 832
- Из истории русской интеллигенции 183, 748
- Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912), граф (с 1878), ген.-адъютант, ген.-фельд-маршал (1898); воен. министр (1861–1881); д-р рус. истории (1866) 316, 420, 767
- Милютин Юрий Николаевич (1856–1912), обществ. и полит. деятель, журналист 90
- Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835–1889), поэт-сатирик, журналист, переводчик, критик 754
- Минин Кузьма (полн. имя Кузьма Минич Захарьев Сухорукий; ок. 1570–1616) 180, 214, 296, 334, 365, 367, 773, 784
- Минос, в др.-греч. мифологии царь Крита, сын Зевса 123
- Минотавр, в др.-греч. мифологии чудовище с телом человека и головой быка 123, 476, 805
- Минский (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855–1937) 220, 221, 279–286, 343, 373, 524–530, 683, 769–771, 781, 818, 824
- Два пути 279–286, 769, 818
- Двуединство нравственного идеала 279, 769
- О двух путях добра 279–286, 770
- При свете совести 524, 818
- Религия будущего: Философские разговоры 524–530, 818

- Минь Жак Поль (1800—1875), фр. католич. священник, редактор и книгоиздатель 248, 764
 Полный курс патрологии 248, 764
- Миролюбов Виктор Сергеевич (1860—1939), до 1897 оперный певец (бас); литератор, изд.-ред. «Журнала для Всех» (1896—1906) 70, 92, 748
- Мирон (сер. V в. до н. э.), др.-греч. скульптор 45
- Митра, в др.-иран. мифологии бог солнца 186
- Митчель, англ. консул в Петербурге 762
- Михаил (в миру Павел Васильевич Семёнов; 1873—1916), духов. писатель; иеромонах (с 1900), архимандрит, проф. С.-Петерб. духов. академии (с 1905); старообрядч. епископ Канадский (с 1908) 227, 228, 231—233, 246—249, 251—254, 282—284, 431, 685, 759, 762, 764, 780, 781, 796
 В поисках Лица Христова 246
 Две системы отношений государства к церкви 249, 764
 О браке 227, 228, 248, 252, 764, 781
 Письмо в редакцию
 Психология таинств 228, 251, 759
- Михаил Федорович (1596—1645), царь (с 1613), основатель династии Романовых 411
- Михайловский Виктор Михайлович (1846—1904), историк, этнограф, педагог 162, 745
 Комик-буфф (Памяти В. И. Живокини) 162, 745
- Михайловский Николай Константинович (1842—1904), публицист, социолог, критик, обществ. деятель 153, 154, 208, 209, 229, 240, 276, 302, 313, 320, 389, 694, 741, 742, 754, 763, 769, 774, 777, 788
 Герой безвременья 276, 769
 Литература и жизнь 208, 754, 774, 788
 О г. Меньшикове 774
 О г. Мережковском 240, 763
 О г. Розанове, его великих открытиях, его маханальности и философской порнографии 741
- Михневич Иосиф Григорьевич (1809—1885), религ. мыслитель, историк философии, богослов 383, 787
 Опыт простого изложения системы Шеллинга... 383, 787
- Мицкевич Адам (1798—1855) 203, 752
 Книги польского народа и польского пилигримства 752
- Мишле Жюль (1798—1874), фр. историк и публицист 623
- Мишле Карл (1801—1893), нем. философ-гегельянец фр. происхождения 324, 623
- Мищенко Федор Герасимович (1848—1906), историк античности, переводчик с классич. языков 737
- Модестов Василий Иванович (1839—1907) 88—89, 729
 Введение в римскую историю 88—89
 Лекции по истории римской литературы 88, 729
- Модзалевский Борис Львович (1874—1928), литературовед, пушкинист; ст. учен. хранитель Пушкинского Дома Акад. наук (с 1919) 735
- Моисей (2-я пол. XIII в. до н. э.), ветхозавет. пророк 87, 223, 225, 241, 242, 344, 431, 763, 796
- Молешотт Якоб (1822—1893), нем. физиолог и философ, представитель вульгар. материализма 500, 502

- Моль Роберт фон (1799—1875), нем. юрист, правовед 314
 Мольер (наст. имя и фам. Жан Батист Поклен; 1622—1873), фр. комедиограф, актер 817, 829
 Жорж Данден, или Обманутый муж 588, 829
 Мизантроп 817
- Мольтке (Мольтке Старший) Хельмут фон (1800—1891), граф (1870), рус. ген.-фельдмаршал (1871), прусский ген.-фельдмаршал (1872), воен. теоретик 287
 Моммзен (Момзен) Теодор (1817—1903) 88, 286—294, 374, **771—772**
 Римская история 88, 289, 729, 771
 Римские исследования 287, 288, 771
 Римское государственное право 289
- Монтень Мишель де (1533—1592), фр. писатель и философ 498
 Монти Винченцо (1754—1828), итал. поэт и филолог; корреспондент Ж. де Сталь 489, 809
- Мопассан Ги (Гюи) де (1850—1893) 274, 275, 680, 769
 Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905) 39, **715**
 Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791) 29, 118, 256, 662
 Мстислав (в крещении Федор) Мстиславич, по прозвищу Удалой (до 1176—1228), в разное время князь Трипольский, Торопецкий, Новгородский, Галицкий, Торческий 284, 770
- Мунд (Деций Мунд), римлянин из сословия всадников 142
 Мур Томас (1779—1852), ирланд. поэт-романтик 781
 Вечерние колокола 781
- Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866), граф (1865), ген. от инфантерии (1863), министр гос. имуществ (1857—1861); ген.-губернатор Сев.-Зап. края (1863—1865), организатор подавления Польского восстания (1863—1864) 39
 Мусоргский Модест Петрович (1839—1881) 535
 Мухина Вера Игнатьевна (1889—1953), скульптор-монументалист 755
 Муций — см. *Сцевола*
- Мюрат Иоахим (1767—1815), сподвижник Наполеона I и его зять, маршал Франции (с 1804), король Неаполитанский (с 1808) 287
 Мюрже Анри (1822—1861), фр. писатель и поэт 77, 725
 Сцены из жизни богемы 77, 725
- Мюссе Альфред де (1810—1857), фр. поэт-романтик, прозаик, драматург 275, 769
 О существовании Бога 275, 769
- Мятлев Иван Петрович (1796—1844), поэт, камергер 95
- Н. В.**, авт. заметки в журн. «МИ» (1903) 755
 По поводу письма гр. С. А. Толстой: Письмо в редакцию 755
- Н. С. Р.** — см. *Разуваева Н. С.*
- Навзикая (Навсикая), в др.-греч. мифологии дочь феакийского царя Алкиноя 546
 Навроцкий Василий Васильевич (1851—1911), изд.-ред. газ. «Одесский Листок» (с 1872) 466, 614, 803
- Надеждин Николай Иванович (1804—1856), лит. критик, проф. Моск. ун-та (1830—1835); изд. журн. «Телескоп» и «Молва» (1831—1836), ред. «Журнала Мин-ва Внутр. Дел» (с 1843) 99, 100, 104, 733

- Надир-шах Афшар (1688—1747), полководец, шах Ирана (1736—1747), основатель династии Афшаридов 718
- Надсон Семен Яковлевич (1862—1887), поэт 15, 113
- Налимов Тимофей Александрович (1862—1925), протоиерей (1905), проф. пастырского богословия С.-Петербур. духов. академии (1906—1909) 92, 282, 283
- Нансен Фритъоф (1861—1930), норвеж. полярный исследователь, д-р зоологии, океанограф, полит. и обществ. деятель 653, 837
- Наполеон I Бонапарт (1769—1821) 94, 123, 253, 287, 507, 519, 604, 720, 730, 771, 772, 829
- Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт; 1808—1873), президент Франции (с 1848), император (1852—1870); племянник Наполеона I Бонапарта 519
- Наталья Кирилловна (ур. Нарышкина; 1651—1694), рус. царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I 307
- Нейт, в др.-египет. мифологии богиня города Саиса; изображалась в виде женщины в короне Нижнего Египта 138, 739
- Некрасов Алексей Сергеевич (1788—1862), поручик в отставке, помещик; отец поэта 751
- Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) 78, 84, 113, 115, 171, 179—189, 191—204, 206—208, 267, 274, 333, 341, 382, 394, 492, 514—516, 518, 679, 725, 748—749, 751—754, 756, 767, 774, 779, 786, 810, 813—815, 828
- Баюшки-баю 184
- Блажен незлобивый поэт... 201, 752
- Буря 185
- В больнице 215—216, 756
- В дороге 180, 748
- Великое чувство! у каждой двери... 184, 749
- Вино 192, 751
- Влас 181, 186, 202, 504, 511, 514, 813, 814
- Внимая ужасам войны... 333, 341, 779, 781
- Герои времени 184
- Деревенские новости 181
- Дешевая покупка 203
- До сумерек 203
- Дума 181
- Забытая деревня 181
- Замолкни, Муза мести и печали!.. 187, 749
- Зеленый Шум 193
- З<и>не (Двести уж дней...) 185, 749
- Калистрат 194
- Катерина 194, 195, 751
- Когда из мрака заблужденья... 185
- Колыбельная песня (Подражание Лермонтову) 184, 748
- Кому на Руси жить хорошо 181, 201, 748, 752
- Коробейники 181, 182, 184, 201
- Крестьянские дети 181, 204, 752
- Литераторы 196
- М. Е. С<алтыко>ву 185, 749
- Молодые 194, 751
- Мороз Красный нос 181, 194, 201
- Муза 187, 749

- На улице 203, 752
 Наборщик 196
 Неизвестному другу 187, 203, 752
 О погоде 203
 Огородник 185
 Орина, мать солдатская 181
 Осторожность 196, 197, 751
 Отрадно видеть, что находит... 200, 492, 582, 752, 810, 828
 Песни 194, 751
 Песни о свободном слове 196–198, 751
 Песня Еремущке 194, 200, 751
 Помещик 194, 201, 752
 Поэт 196
 Поэт и гражданин 382, 786
 Праздник жизни — молодые годы... 201, 752, 753
 Притча о Ермолае трудящемся 181
 Пропала книга! 196, 198, 751
 Публика 196, 197, 751
 Размышления у парадного подъезда 203, 752
 Рассыльный 196, 751
 Родина 198
 Рыцарь на час 184, 187, 267, 515, 767, 815
 Свадьба 203
 Свобода 196, 751
 Сеятелям 182, 207, 748, 753
 Тройка 181
 Ты всегда хороша несравненно... 185
 Убогая и нарядная 203
 Утренняя прогулка 203
 Фельетонная букашка 196
 Что думает старуха, когда ей не спится 181, 748
 Юбилеры и триумфаторы 184
- Некрасова Екатерина Степановна (1847–1905), прозаик, журналистка, историк литературы 162, 745
- Николай Платонович Огарёв: Раннее детство 162, 745
- Некрасова (ур. Закревская) Елена Андреевна (1801–1841), мать поэта 199, 203, 751, 752
 Немезида, в др.-греч. мифологии крылатая богиня возмездия 477, 806
 Нерон (Тиберий Клавдий Нерон; 37–68), др.-рим. император (с 54) из династии Юлиев-Клавдиев 153, 225, 292, 741, 770
 Нессельроде Карл Васильевич (1780–1862), граф, дипломат, вице-канцлер (с 1828), канцлер (с 1845), министр иностр. дел (1816–1856), чл. Гос. совета (1821) 491
 Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942), художник 291, 566, 795
 Нестор Летописец (кон. XI — нач. XII в.), преподобный, др.-рус. агиограф, составитель «Повести временных лет», монах Киево-Печерского мон-ря 214
 Нефедьев Георгий Владимирович (р. 1968), литературовед, переводчик 924, 925
 Нечаев-Мальцев Юрий Степанович (1834–1913), обер-гофмейстер, вице-пред. О-ва поощрения художеств, меценат 108
 Нибур Бартольд (1776–1831), нем. историк античности 88, 480

- Низар Жан Мари Наполеон Дезире (1806—1888), фр. критик и историк лит-ры 545, 821
- Никанор (в миру Александр Иванович Бровкович; 1826/1827—1890), богослов, философ, проповедник; епископ Херсонский и Одесский (с 1883; архиеп. с 1886) 320, 321
- Позитивная философия и сверхчувственное бытие 321
- Никита Пустосвят (наст. имя Никита Константинович Добрынин; ?—1682), суздальский священник, идеолог раскола 330
- Никитенко Александр Васильевич (1804—1877) 489—491, 809—810
- Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был» 489—491, 809—810
- Никитин Евгений Николаевич (р. 1950), литературовед 924
- Никитин Иван Саввич (1824—1861), поэт, прозаик 185
- Никодим (И в.), чл. Синодиона, тайный ученик Христа 396
- Николай I Павлович (1796—1855), рос. император (с 1825) 94, 176, 356, 361, 382, 570, 571, 666, 700, 701, 715, 717, 754, 770, 787, 791
- Николай II Александрович (1868—1918), рос. император (1894—1917) 107, 667, 758, 795, 814, 833
- Николай Александрович (1845—1866), великий князь, цесаревич, старший сын имп. Александра II 519, 714, 816
- Никольский Николай Константинович (1863—1936), историк церкви, литературовед, библиограф; проф. С.-Петерб. духов. академии (1899—1909), академик (1916) 92
- Никольский Николай Миронович (1873—1917) 415, 792
- Меблированная пыль 415, 792
- Николюкин Александр Николаевич (р. 1928), литературовед, историк философии, библиограф, переводчик 4, 925
- Никон (в миру свящ. Никита Минич Минов-Ларионов; 1605—1681), митрополит Новгородский (с 1649), патриарх Московский и всея Руси (1652—1658); провел реформы, вызвавшие раскол 157, 670—672, 782, 784
- Никон (в миру Николай Иванович Рождественский; псевд. Православный; 1851—1919), архимандрит, богослов, публицист; епископ Вологодский и Тотемский (с 1906) 513, 814
- Что нам делать в эти тревожные дни? 513, 814
- Ниобея, жена фиванского царя Амфиона, потерявшая своих детей 73
- Ницше (Нитцше) Фридрих (1844—1900), нем. мыслитель, филолог-классик, композитор 86, 152, 222—226, 228, 240, 299, 343, 421, 425, 472, 517, 523, 630—632, 688, 758, 773, 793, 794, 815, 818, 824
- Воля к власти 794
- Так говорил Заратустра 223, 224, 343, 421, 422, 758, 793, 794
- Новгородцев Павел Иванович (1866—1924), юрист-правовед, философ, обществ. и полит. деятель, историк 294, 772
- Новиков Николай Иванович (1744—1818), просветитель, писатель, журналист, издатель; полит. деятель, масон 18, 415, 419, 516, 815
- Новосёлов Михаил Александрович (1864—1938) богослов, духов. писатель; святой 238, 251, 762, 764
- Нокс Джон (ок. 1510—1572), шотл. религ. реформатор, основатель пресвитерианской церкви 330
- Нордау Макс (наст. имя Симха Меер Зюдфельд; 1849—1923), нем. врач, историософ, политик, соучредитель Всемир. сионист. организации 696

- Нордстрем Иван Андреевич (1814–1878), старший чиновник особых поручений III Отделения; цензор драматич. произведений в Петербурге 39
- Норов Авраам Сергеевич (1795–1869), сенатор, министр нар. просвещения (1854–1859); литератор, библиофил, историк 385, 386
- Ньютон Исаак (1643–1727) 143, 210, 321, 327, 489, 520, 631, 632, 694, 816
- Математические начала натуральной философии 520, 816
- Оболенский Алексей Дмитриевич (1855–1933), князь, шталмейстер, обер-прокурор Св. Синода (1905–1906) 576, 827
- Овидий (Публий Овидий Назон; 43 до н. э. – ок. 18 н. э.) 384, 715, 772
- Метаморфозы 715
- Фасты 772
- Огарёв Николай Платонович (1813–1877), поэт, публицист, революционер; с 1856 жил в эмиграции 162, 382, 394, 689, 745, 808
- Огонь-Догановская (ур. Потёмкина) Екатерина Николаевна (1789–1855), жена помещика, друг Н. И. Пирогова 95, 730
- Одиссей – см. *Улисс*
- Одоевская (ур. Ланская) Ольга Степановна (1797–1873), княгиня, дочь гофмаршала, жена В. Ф. Одоевского 112, 735
- Одоевский Владимир Федорович (1804–1869), князь, писатель-романтик, философ, педагог, музыковед 75, 95, 112, 724, 735
- Жить – действовать 95
- Озеров Владислав Александрович (1769–1816), драматург и поэт 725
- Фингал 77, 725
- Озирис (Осирис), в др.-египет. мифологии бог возрождения, царь загроб. мира 132, 141, 475, 657, 739
- Октавий – см. *Август Октавиан*
- Олег Вещий (Олег Мудрый; ?–912), князь Новгородский (с 879) и великий князь Киевский (с 882) 47, 150, 669, 670, 716, 740
- Олейник Виталий Трофимович, литературовед 712
- Лермонтов и Мильтон: «Демон» и «Потерянный рай» 712
- Ольга – см. *Павлищева О. С.*
- Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934), востоковед, академик (1903) 294, 772
- Ориген (ок. 185 – ок. 254), христиан. теолог, философ, филолог, представитель ранней патристики 133
- Орлов Александр Анфимович (1790 или 1791–1840), авт. соч. для читателей из простонар. среды 545, 822
- Оссиан, легендарный кельтский бард III в., от лица к-рого написаны поэмы Джеймса Макферсона (1736–1796) и его подражателей 798
- Островский Александр Николаевич (1823–1886) 51, 118, 165, 207, 264, 331, 367, 411, 831
- В чужом пиру похмелье 831
- Остроградский Михаил Васильевич (1801–1861), математик и механик 360
- Остромир (? – не ранее 1057), новгород. посадник (с 1054), полководец 54, 718
- Отеро Каролина (наст. имя Агустина Отеро Иглесиас; 1868–1965), фр. певица и танцовщица исп. происхождения 582
- Оттоны, имена четырех императоров Священной Римской империи (912–1215) 419

П., священник, авт. письма в журн. «НП» 373

Странные люди 373

Павел (до апостол. призвания Савл; ?–65), первоверховный апостол 68, 153–154, 225, 231, 235, 249, 378, 433, 541, 557, 590, 708, 742, 747, 752, 829

Павел I Петрович (1754–1801), рос. император (с 1796) 762

Павел V (в миру Камилло Боргезе; 1552–1621), папа римский (с 1605) 578, 828

Павел Александрович (1860–1919), великий князь, шестой сын имп. Александра II; ген.-адъютант, ген. от кавалерии 355

Павел Данилович, один из вожаков старообрядчества 671

Павлищев Лев Николаевич (1834–1915), чиновник, писатель-мемуарист и журналист, племянник А. С. Пушкина 56, 719

Воспоминания об А. С. Пушкине... 719

Павлищева (ур. Пушкина) Ольга Сергеевна (1797–1868), сестра А. С. Пушкина 56, 719, 723

Воспоминания о детстве А. С. Пушкина... 723

Павлов Николай Филиппович (1803–1864), прозаик, публицист, лит. критик, изд.-ред. газ. «Наше Время» и «Рус. Ведомости» 95, 112, 735

Павлова (ур. Яниш) Каролина Карловна (1807–1893), поэтесса, переводчица, прозаик 95, 112, 735

Павский Герасим Петрович (1787–1863), протоиерей, лингвист, экзегет, переводчик Библии; учитель имп. Александра II 111

Паевская (урожд. Рыкачева, в первом браке Луканина) Аделаида Николаевна (1843–1908), журналистка, участница революц. движения, д-р медицины 766

Виктор Гюго 766

Палес, в др.-рим. мифологии богиня, охранительница скота 775

Палисси Бернар (ок. 1510 – ок. 1589), фр. естествоиспытатель и художник-керамист 326, 697, 778

Палкин Константин Павлович (1820–1886), купец, ресторатор, коммерции советник 64, 720

Паллас Петер Симон (1741–1811), нем. и рус. ученый-энциклопедист, естествоиспытатель, географ и путешественник 479

Пальмела (Союза Гольштейн де Пальмела) Педру де (1781–1850), португал. дипломат, премьер-министр Португалии; корреспондент Ж. де Сталь 489

Пан, в др.-греч. мифологии бог пастушества и скотоводства, плодородия и дикой природы 230, 232, 388, 560, 684, 788

Панаев Валерьян Александрович (1824–1899), инженер-путеец, строитель Николаевской жел. дороги, литератор 48, 57, 717, 719

Панаев Иван Иванович (1812–1862), прозаик, лит. критик, журналист, изд.-ред. некрасовского «Современника» 725

Пандора, в др.-греч. мифологии обладательница волшеб. ларца со всеми бедами и надеждой 176

Парамонова Ирина Юрьевна (р. 1971), журналист, историк 784

Л. Н. Толстой и «дело быка» 784

Парменид из Элеи (ок. 540/520 – ок. 450 до н. э.), др.-греч. философ и полит. деятель 294, 773

Парни Эварист Дезире де Форж (1753–1814), фр. поэт 77, 187, 725

- Паскаль Блез (1623–1662) 327, 543, 568, 821
Мысли 821
- Пастёр Луи (1822–1895), фр. ученый, основоположник микробиологии и иммунологии 210, 293, 327, 335, 425, 780
- Патрокл, в др.-греч. мифологии, друг и сподвижник Ахиллеса в битвах против троянцев 548
- Патти Аделина (1843–1919), итал. певица (колоратурное сопрано) 102, 733
- Паулина, богатая римлянка 142, 143
- Пегас, в др.-греч. мифологии крылатый конь, любимец муз 120
- Пенелопа, др.-греч. мифологии супруга Одиссея 442
- Перов Василий Григорьевич (1834–1882), живописец 535
- Перовский Борис Алексеевич (1814–1881), граф, ген.-адъютант (1862), ген.-лейтенант (1865), ген. от кавалерии (1878); чл. Гос. совета (с 1874) 363
- Перовский Василий Алексеевич (1794–1857), граф, ген. от кавалерии, оренб. губернатор (1835–1842, 1851–1856) 355, 356, 360, 782
- Персефона, в др.-греч. мифологии богиня плодородия и царства мертвых 739
- Перский Сергей Маркович (1870–1938), врач, предприниматель, литератор, переводчик 762
- Перун, главное божество древних славян, бог-громовержец, создатель мира 151, 154, 547, 822
- Перцов Петр Петрович (1868–1947), лит. критик, публицист, издатель, поэт, прозаик, искусствовед, мемуарист 221, 683, 752
- Петерсен Владимир Карлович (псевд.: А–тъ, Альцест; 1842–1906) 520–522, **816–817**
- Петерсон (Петерсен) Иван, выпускник Татевской школы С. А. Рачинского (1882) и иконопис. мастерской Троице-Сергиевой лавры; педагог 108
- Петр (до апостол. призвания Симон; ?– 65), первоверховный апостол 87, 231, 249, 430, 432, 455, 583, 585–587, 670, 671, 723, 749, 752, 760, 796, 801, 839
- Петр I Великий (1672–1725) 18, 19, 75, 239, 304–308, 331, 336, 359, 367, 411, 426–434, 482, 484, 500, 511, 575, 672, 703, 711, 724, 763, 774, 775, 779, 783, 795–797, 813
- Петр III Федорович (при рождении принц Карл Петр Ульрих; 1728–1762), рос. император (с 1761) 672
- Петрарка Франческо (1304–1374) 464, 613, 614, 802
Канцоньере 464, 802
- Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821–1866), революционер, публицист, последователь Ш. Фурье 77, 510, 511, 517, 725, 814
- Петров Григорий Спиридонович (1867–1925), священник, либерал. проповедник и религ. публицист 364, 451, 589, 784, 799
Благородная исповедь 799
- Петров Николай Васильевич (1859–1915), д-р медицины, проф. патологич. анатомии Клинич. ин-та вел. кн. Елены Павловны (с 1892) 805
- Петрова Татьяна Георгиевна (р. 1950), литературовед 924
- Петровский Сергей Александрович (1846–1917), препод. рус. права в Моск. ун-те (1873–1878); сотр. (с 1880) и ред.-изд. (1887–1896) газ. «МВ» 622, 834
- Петроний Арбитр (ок. 14–66), др.-рим. писатель 716
Сатирикон 46, 716
- Печерский Андрей – см. *Мельников-Пегерский П. И.*

- Пешель Оскар (1826–1875), нем. географ и антрополог 784
 Уроки новейшей военной истории 784
- Пивоваров Юрий Сергеевич (р. 1950), историк, политолог, правовед; академик (с 2006) 4
- Пий IX (в миру Джованни Мария, граф Мاستаи-Ферретти; 1792–1878), римский папа (с 1848) 505, 688, 813
- Пикулин Павел Лукич (1822–1885), врач-терапевт, доктор медицины (1850) 484, 808
- Пилат (Понтий Пилат), др.-рим. прокуратор (наместник) Иудеи (26–36) 156, 427, 744, 795
- Пильский Петр Мосевич (1876–1941), журналист в Латвии, обозреватель газ. «Сегодня», прозаик, критик 825
 Проблема пола, половые авторы и половой герой 825
- Пиндар (ок. 518–442/438 до н. э.), др.-греч. поэт-лирик 187
- Пирогов Николай Иванович (1810–1881) 95, 267, 272, 327, 331, 490, 730, 810
 Вопросы жизни: Дневник старого врача 490, 810
- Пирожков Михаил Васильевич (1867–1927), петерб. издатель (1898–1917), книгопродавец 426, 489, 786, 795, 809
- Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) 114, 207, 384, 385, 443, 523, 752, 755, 775, 787
 Базаров 755
 Мыслящий пролетариат 752
 Пушкин и Белинский 309, 775
 Разрушение эстетики 385, 767, 787
 Реалисты 752
- Пифагор Самосский (VI в. до н. э.) 46, 87, 127, 133, 140, 141, 272, 420, 441, 442, 716, 728
- Планш Жан Батист Гюстав (1808–1857), фр. лит. и худож. критик 821
- Платон (428/427–348/347 до н. э.) 138, 139, 146, 148, 149, 230, 243, 262, 272, 294, 441, 454, 477, 481, 519, 520, 524, 642, 739, 754, 760, 816, 818
 Горгий 754
 Государство (Республика) 520, 816, 818
 Политика – см. *Государство*
- Платонов Сергей Федорович (1860–1933), историк; декан ист.-филол. факультета С.-Петербург. ун-та (1900–1905), академик (1920) 272
- Плеве Вячеслав Константинович фон (1846–1904), сенатор (1884), статс-секретарь (1895), министр внутр. дел (с 1902) 577, 621, 827
- Плеханов Георгий Валентинович (псевд. Н. Бельтов; 1856–1918), теоретик и пропагандист марксизма, философ, обществ. деятель 749
- Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893), поэт, переводчик; лит. и театр. критик 16
- Плиний Младший (Гай Плиний Цецилий Секунд; 61/62–ок. 114), др.-рим. писатель, ученый 239, 479
- Плутарх из Херонеи (ок. 45 – ок. 127), др.-греч. философ, биограф, моралист 739, 771, 772, 822
 Об Изиде и Озирисе 739
 Сулла 771–772
- По Эдгар Аллан (1809–1849), амер. прозаик и поэт-романтик, лит. критик 488, 489, 802, 809
 Спуск в Мальстрем 802

- Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), юрист, проф. Моск. ун-та (1860–1865), сенатор (с 1868), чл. Гос. совета (с 1872), обер-прокурор Св. Синода (1880–1905) 51, 70, 91, 265, 271, 553, 564–581, 611–623, 722, 767, 768, 824–828, 833–835
 Московский сборник 575, 826
- Повало-Швейковский (Поваловшвейковский) Михаил Владимирович (1789 – кон. 1830-х), городской секретарь 282, 666, 770, 838
- Погодин Михаил Петрович (1800–1875), историк, прозаик, драматург, публицист, издатель; академик (с 1841) 107, 483, 674, 734
- Поджо Флорентийский (Джанфранческо Поджо Браччолини; 1380–1459), итал. гуманист, писатель, собиратель антич. рукописей 162, 497
- Пожарский Дмитрий Михайлович (по преданию, в схиме Кузьма; 1578–1642), князь, боярин, полководец 296, 367, 773, 784
- Покровский Василий Иванович, педагог, авт. учеб. пособий и хрестоматий по рус. яз. и лит-ре (1870–1910-е) 748
 Н. А. Некрасов, его жизнь и сочинения 748
- Полевой Николай Алексеевич (1796–1846), критик, прозаик, драматург, журналист, историк, переводчик 39, 543, 715, 821, 828
 История русского народа 543, 821
 Уголино 543, 821
- Поливанов Лев Иванович (псевд. П. Загарин; 1838–1899), педагог, литературовед, обществ. деятель, основатель частной муж. гимназии (1868) 52–54, 717, 718
 В. А. Жуковский и его произведения 718
- Полилов Николай Николаевич (1864–1907), инженер-полковник, переводчик филос. соч. с нем. яз. 424, 794
- Полифем, в др.-греч. мифологии жестокий циклоп, сын Посейдона 229, 452, 494
- Половинкин Сергей Михайлович (р. 1935), историк рус. философии 722, 830
- Полонский Яков Петрович (1819–1898) 51, 113, 115, 116, 197, 754
- Поляков Сергей Александрович (1874–1943), меценат и переводчик, совладелец Знамен. мануфактуры, основатель изд-ва «Скорпион» 728
- Помпадур, маркиза де (Жанна-Антуанетта Пуассон; 1721–1764), официальная фаворитка (с 1745) фр. короля Людовика XV 814
- Помпей (Гней Помпей Великий; 106–48 до н. э.), др.-рим. гос. деятель и полководец, консул Римской республики (70, 55 и 52 до н. э.) 287, 289
- Помяловский Николай Герасимович (1835–1863), прозаик 50, 266, 717, 767, 777
 Очерки бурсы 717, 767, 777
- Поппея Сабина (30–65), вторая жена имп. Нерона 288
- Порфирий (в миру Константин Александрович Успенский; 1804–1885), епископ Чигиринский, викарий Киев. епархии (1865–1878); археолог, церк. историк; пребывал в Иерусалиме (с 1842), на Афоне и Синае (с 1845), нач. Иерусалим. миссии (с 1847–1877) 230, 231, 284, 674, 760, 770
 Второе путешествие по святой горе Афонской 760
 Книга бытия моего 674
 Первое путешествие в афонские монастыри и скиты 760
- Поссарт Эрнст фон (1841–1921), нем. актер, режиссер, театр. деятель 598, 831
- Правас (Правац) Шарль Габриэль (1791–1853), фр. хирург, изобретатель шприца 762

- Преображенский Василий Петрович (1864–1900), философ, лит. критик 299, 773
 Фридрих Ницше: Критика морального альтруизма 299, 773
- Претекстат (Ветгий Агорий Претекстат; ок. 315–384), др.-рим. философ, преторианский префект Италии 241
- Приам, в др.-греч. мифологии последний царь Трои; правил 40 лет 175, 768
- Прокопий Газский (ок. 475 – ок. 528), христиан. ритор, богослов и экзегет 133
- Прометей, в др.-греч. мифологии титан, защитник людей от произвола богов 311
- Пропер (Проппер) Станислав Максимилианович (1855–1931), бывш. австр. подданный, журналист; изд. газ. «БВед» (с 1880), мемуарист; в молодости биржевой маклер, разбогатевший на финанс. спекуляциях 465, 803
- Протейкинский Виктор Петрович (? – ок. 1914), учитель математики, чл. РФО 89, 91
- Пругавин Александр Степанович (1850–1920), публицист-этнограф, историк, расколовед 791
 Соловецкие узники 791
- Прудон Пьер Жозеф (1809–1865), фр. политик, публицист, экономист, социолог 643
- Прутков Козьма, лит. маска, под которой выступали поэты князь А. К. Толстой (см.), братья Алексей (1821–1908), Александр (1826–1896) и Владимир (1830–1884) Михайловичи Жемчужниковы, а также П. П. Ершов (см.) 794, 826
 Плоды раздумий 794
- Психея, в др.-греч. мифологии олицетворение души, дыхания 324, 695
- Птоломей (Птоломей) I Сотер, сатрап, затем царь Египта (323–283/282 до н. э.) 287
- Пугачёв Емельян Иванович (1742–1775) 28
- Пуни Цезарь (при рождении Чезаре Пуны; 1802–1870), итал. композитор 726
 Конек-Горбунок, или Царь-девица 726
- Пуцыкович Виктор Феофилович (1843–1909), журналист, публицист, ред.-изд. журн. «Русский Гражданин» (1879–1881, Берлин), газ. «Берлинский Листок» (с 1903), корреспондент газ. «НВ», мемуарист 721
- Пуччини Джакомо (1858–1924), итал. оперный композитор 725
 Богема 725
- Пушкин Адриан Павлович (?–1880), пермский купец, авт. религ. сочинений, соловецкий узник 405, 406, 791
 Великая радость 791
- Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) 15, 28, 32, 33, 39, 54–56, 68, 73, 74, 77–80, 82–84, 101, 102, 112, 115, 116, 118, 122, 128, 137, 151, 156, 164, 165, 169, 171, 174–176, 178, 180, 188, 193, 195, 197, 198, 201, 202, 204, 206, 207, 219, 228, 239, 247, 255, 256, 259, 267, 276, 280, 309, 330, 331, 360, 362, 367, 382, 384, 386, 388, 392, 394, 395, 406, 412, 416, 419, 421, 442, 467, 473, 481, 499, 502, 517–519, 531, 546, 547, 548, 557, 558, 560, 561, 563, 571, 579, 581–583, 595, 600, 604, 661–663, 668, 689, 702, 712, 718, 719, 722, 723, 725–728, 732, 733, 735–737, 739, 740, 746, 747, 749, 751, 753, 758, 763, 766, 767, 772, 775–778, 787, 788, 791–793, 798, 803, 804, 807, 810, 812, 816, 820, 825, 828, 831, 836, 839
 Адели 174, 747
 Ангел 221, 758
 Анджело 442, 798
 Барышня-крестьянка 101
 Борис Годунов 662, 670, 839

- Братья разбойники 84, 728
 Брожу ли я вдоль улиц шумных... 128, 737
 В крови горит огонь желанья... 139, 739
 Воспоминания в Царском Селе 605, 831
 Выстрел 763
 Герой 206, 753
 Гробовщик 101
 Демон 219, 757
 Домик в Коломне 777
 Дубровский 362, 604, 691
 Евгений Онегин 103, 113, 164, 171, 201, 202, 257, 314, 421, 491, 546, 691, 733, 736, 746, 775, 776,
 778, 793, 810, 822
 Египетские ночи 502, 561, 825
 Если жизнь тебя обманет... 632, 836
 Из Анакреона 537, 820
 К портрету Жуковского 186, 749
 Капитанская дочка 68, 79, 178, 406, 604, 668, 722, 791
 Красавица 55, 718
 Медный всадник 204
 Моцарт и Сальери 29, 118, 256, 662
 Ответ анониму 84, 727
 Отцы-пустынники и жены непорочны 26, 560, 712, 825
 Песнь о вещем Олеге 151, 740
 Пиковая дама 480, 595, 691, 763, 807
 Пир во время чумы 29
 Подражание арабскому 557–558, 825
 Полтава 178, 307, 775
 Послание цензору 330, 419, 778
 Поэт и толпа 207, 753
 Поэту 25, 31, 712, 713
 Пророк 84, 151, 519, 727, 740, 816
 Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года 267, 767
 Русалка 137, 739
 Руслан и Людмила 77, 725, 726
 Сказка о золотом петушке 101
 Сказка о купце Остолопе и его работнике его Балде 101
 Сказка о мертвой царевне и семи богатырях 101
 Сказка о рыбаке и рыбке 101
 Скупой рыцарь 28, 29, 256, 662, 713
 Суровый Дант не презирал сонета... 467, 468, 803
 Сцены из рыцарских времен 174
 Туча 123, 737
 Художнику 122, 123, 141, 736
 Цыганы 385, 386, 416, 417, 421, 763, 787, 793
 Эпиграмма на Булгарина («Булгарин – вот поляк примерный...») 39, 714
 Эпиграмма на Булгарина («Не то беда, что ты поляк») 38, 714
 Эхо 197, 578, 579, 751, 828

Пушкин Василий Львович (1767–1830), поэт, дядя А. С. Пушкина 54

- Пушин Иван Иванович (1798–1859), декабрист, мемуарист, лицейский друг Пушкина 723
 Записки о Пушкине 723
- Пшибышевский Станислав Феликс (1868–1927), польск. прозаик и драматург 222, 758
 Homo Sapiens 219, 222, 223, 758
- Рааф (Раав), блудница, жительница Иерихона, упоминаемая в Книге Иисуса Навина 57, 719
- Равальяк Франсуа (1578–1610), убийца короля Франции Генриха IV 578, 827
- Радищев Александр Николаевич (1749–1802), револ. мыслитель, прозаик, поэт 162, 423, 516, 745, 794, 815
 Путешествие из Петербурга в Москву 423, 794
- Радлов Эрнест Леопольдович (1854–1928), историк философии, филолог и переводчик 62
- Разуваева Н. С., мать Е. М. Милицыной 374
- Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822), граф, камергер, тайный советник, сенатор, министр народного просвещения (1810–1816) 789
- Рамбулье (Рамбуйе) Екатерина де (1588–1665), маркиза, хозяйка парижского лит. салона 436, 437, 798
- Ранке Леопольд фон (1795–1886), нем. консерват. историк-медиевист; проф. Берлин. ун-та (1825–1871) 480
- Раренко Мария Борисовна, филолог 769, 818
- Расин Жан Батист (1639–1699), фр. драматург-классицист 547, 548, 601, 625, 822, 835
 Андромаха 548, 822
 Ифигения в Авлиде 822
 Федра 548, 822
- Растрелли Бартоломео Франческо (Варфоломей Варфоломеевич; 1701–1771), граф, архитектор 767
- Рафаэль Санти (1483–1520) 94, 309, 311, 796, 815
- Рачинский Александр Антонович (1799–1866), капитан Муромского пехотного полка, член преддекабристской организации «Священная артель», отец С. А. Рачинского 98
- Рачинский Антон Михайлович (1769–1825), тайный советник, дед С. А. Рачинского 98
- Рачинский Григорий Алексеевич (1859–1939), философ, переводчик и религ. публицист; пред. моск. РФО памяти Вл. Соловьёва 750, 832
- Рачинский Сергей Александрович (1833–1902), проф. ботаники Моск. ун-та, организатор церк.-приходских школ 93–99, 102–109, 613–615, 648, 703, 729–730, 732–734, 827
- Рачинская Варвара Александровна (1836–1910), педагог; сестра С. А. Рачинского 95, 107, 730, 734
- Рачинская Софья Николаевна (? – после 1916), педагог; двоюр. сестра С. А. Рачинского 106, 734
- Ревекка, одна из библ. праматерей, жена патриарха Исаака и мать близнецов Исава и Иакова 452
- Ревякина Ирина Александровна (р. 1931), литературовед 924, 925
- Резенер Федор Федорович (1825–1881), педагог, авт. науч.-попул. статей, переводчик 836
- Резниченко Анна Игоревна, историк религ. философии 818

- Рейхлин Иоганн (1455–1522), нем. гебраист, философ и гуманист 267
 Рем, один из легендар. основателей Рима, брат Ромула 45, 290, 772
 Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) 276, 286–294, 583, 771–772
 Жизнь Иисуса 296, 772
 История происхождения христианства 772
 Рентген Вильгельм Конрад (1845–1923), нем. физик 240
 Репин Илья Ефимович (1844–1930), художник, мемуарист; проф. (1894–1907) и ректор (1898–1899) Акад. художеств 92, 279, 535, 551, 577, 769, 827
 Запорожцы пишут письмо турецкому султану 279, 769
 Торжественное заседание Государственного совета... 577, 827
 Решетников Андрей Гордеевич (вариант отчества – Гордианович; не позднее 1770 – 1-я пол. XIX в.), издатель, журналист, владелец типографии в Москве 18
 Рид Томас (1710–1796), шотл. философ, основатель Шотландской школы здравого смысла 773
 Рид Томас Майн (1818–1883), ирл.-амер. прозаик, авт. приключенч. романов 50, 296, 773
 Всадник без головы 296, 773
 Рижский Михаил (Моисей) Иосифович (1911–2000), историк, археолог, библиист, переводчик 778
 Рикардо Давид (1772–1823), англ. экономист 330
 Рископорид (Рискупорид), имя боспорских царей (IV–I вв. до н. э.) 292–294, 772
 Риттеры, братья-немцы: Карл Готфрид (1830–1891), драматург и либреттист, и Александр (1833–1896), композитор, скрипач и дирижер 365
 Ришельё Арман Эммануэль (Эммануил Осипович) дю Плесси (1766–1822), фр. аристократ, ген.-губернатор Новороссии и Бессарабии (1804–1815) 383
 Ровоам, библ. персонаж, царь Иудейского царства (928–911 до н. э.), сын царя Соломона 396, 790
 Рождественский Александр Петрович (1864–1930), протоиерей, проф. С.-Петерб. духов. академии по кафедре Священного Писания Ветхого Завета 92, 231
 Розанов Алексей Юрьевич (р. 1936), палеонтолог, биолог, геолог; академик (с 2008) 4
 Розанов Василий Васильевич (1899–1918), сын Розанова 810
 Розанов Николай Васильевич (1847–1894), старший брат писателя, взявший его на воспитание и содержание; учитель, директор гимназии в Вязьме (с 1891) 443, 444, 799
 Розанова Надежда Васильевна (крещена как Н. Н. Николаева; 1892–1893), старшая дочь Розанова 445
 Розанова (ур. Шишкина) Надежда Ивановна (1826–1870), мать Розанова 443
 Розенгейм Михаил Павлович (1820–1887), поэт 208, 754
 Роман Юлий Юльевич, прус. подданный, совладелец типографии (1870–1890-е) в Москве, в Крестовоздвиженском пер. 726
 Романов Валентин Иванович (янв.–авг. 1896), третий сын И. Ф. Романова-Рцы 782
 Романов Иван Иванович (1891–1896), старший сын И. Ф. Романова-Рцы 782
 Романов Сергей Иванович (1894–1896), второй сын И. Ф. Романова-Рцы 782
 Романов-Рцы (наст. фам. Романов, осн. псевд. Рцы) Иван Федорович (1858–1913), публицист-славянофил, изд. журн. «Летописец» (1904), прозаик 774, 782
 Романовы, династия 709
 Ромул, легендар. основатель Рима и первый его царь (753–716 до н. э.) 45, 88, 290, 772
 Ронсар Пьер де (1524–1585), фр. поэт 548, 822
 Франсиада 548, 822

- Росси Карл Иванович (1775–1849), архитектор, представитель ампира 754
 Рош Морис Дени (1868–1951), фр. переводчик с рус. яз. 551, 823
 Румынский К. — см. *Келтуяла В. А.*
 Руссо Жан Жак (1712–1778) 150, 151, 366, 408, 489, 497, 563, 604
 Исповедь (Confessions) 563
 Руфь, моавитянка, вдова израильянина из Вифлеема 57, 818
 Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826), поэт-декабрист 807
 Войнаровский 480, 807
 Рюккерт Фридрих (1788–1866), нем. поэт, переводчик; проф. восточной литературы
 в Эрлангенском и Берлинском ун-тах 738
 Рюрик (?–879) 158, 185, 354, 367, 413, 501
- С. А. — см. *Рагинский С. А.*
 С. Ф. — см. *Шарапов С. Ф.*
 С–б Ф. — см. *Сологуб Ф. К.*
 С–н А. — см. *Столыпин А. А.*
 С–ов Фирс, священник 345
 Саблер (с 1914 Десятовский; взял фамилию жены) Владимир Карлович (1845–1929),
 управл. Канцелярией Св. Синода (с 1883), тов. обер-прокурора Св. Синода (1892–
 1905), обер-прокурор (1911–1915); в 1918 сослан в Тверь 569, 570, 572, 576
 Сабуров Андрей Александрович (1837–1916), министр нар. просвещения (1880–1881),
 статс-секретарь (с 1880) 270, 768
 Салиас де Турнемир (ур. Сухово-Кобылина) Елизавета Васильевна (псевд. Евгения Тур;
 1815–1892), графиня, прозаик 95, 730
 Раздел 95, 730
 Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889) 77, 153, 185, 207, 332, 382, 464,
 465, 519, 725, 726, 816
 В среде умеренности и аккуратности 519, 816
 За рубежом 726
 Современная идиллия 519, 816
 Сальвини Томмазо (1829–1915), итал. драматич. актер 598, 831
 Сальери Антонио (1750–1825), итал. и австр. композитор, дирижер, педагог 29, 256,
 662
 Салосбери (Солсбери) Роберт Сесиль (1830–1903), англ. полит. деятель; дважды (1885,
 1886) возглавлял кабинет министров 315
 Самарин Юрий Федорович (1819–1876), философ, историк, обществ. деятель, публи-
 цист; один из идеологов славянофильства 95, 214, 387, 410, 483, 724, 730, 787, 841
 Отрывок из записок 95, 730
 Письма из Риги 387, 787
 Самсон (ок. X в. до н. э.), ветхозавет. герой, боровшийся с филистимлянами 687, 840
 Самуил (XI в. до н. э.), библич. пророк, последний из судей израильских 281, 573, 770, 826
 Санд Жорж (наст. имя Аврора Дюпен, в замуж. баронесса Дюдеван; 1804–1876) 488,
 809
 Сарра (Сара), жена патриарха Авраама, первая из четырех прародительниц евреев 432,
 796
 Сатана 219–221, 228, 229, 247, 335, 764
 Сатурн, в др.-рим. мифологии бог, соответствующий греческому Кроносу 45

- Сатурнин, богатый римлянин 142
- Саул, первый царь объединенного Израильско-Иудейского царства (ок. 1029—1005 до н. э.) 201, 752
- Сахаров Николай Николаевич (1869—1951), клирик посольской церкви в Берлине (1898—1913), позднее протопресвитер, обществ. деятель, преподаватель, редактор 337, 780
- Очерки религиозной жизни в Германии 337, 780
- Сахарова (ур. Маркова) Елизавета Константиновна (1857—1923), драматич. актриса 788
- Сварог, верховный бог вост. славян, небесный огонь 547, 822
- Сведомский Павел Александрович (1849—1904), художник 429, 703, 795
- Свенцицкий Валентин Павлович (1881—1931), протоиерей, проповедник, публицист, драматург, прозаик и богослов 832
- Светлов Павел Яковлевич (1861—1945), священник, проф. богословия Киев. ун-та (с 1897), д-р богословия (1902), авт. работ по христ. апологетике 337, 780
- Идея Царства Божия в ее значении для христианского мирозерцания 337, 780
- Свида (2-я пол. X в.), условное имя неизв. автора визант. энциклопедии «Суда» («Свида») 253, 765
- Свирский Алексей Иванович (псевд. А. Донской; 1865—1942), писатель-беллетрист, публицист 101, 731
- Анриан Андрианов и его собаки 101, 731
- Забракованный 101, 731
- Захромала 101, 731
- Погибшие люди 731
- Разбойники в доме 101, 731
- Свифт Джонатан (1667—1745) 82
- Себастиан (ок. 256—288), рим. легионер, святой мученик 430, 703, 809
- Секки Анджело (1818—1878), итал. астроном, дир. Римской обсерватории (с 1849) 641
- Секст Тарквиний (VI в. до н. э.), младший сын Тарквиния II Гордого, последнего царя Рима 798
- Селевкиды, династия, основанная диадохом Александра Македонского Селевком; правила в Сирии (312—64 до н. э.) 772
- Селиванов Кондратий Иванович (не позднее 1725—1832), крестьянин Орловской губ., основатель скопческой секты; в 1820 осужден 69, 281, 284, 770
- Семела, в др.-греч. мифологии дочь мифического основателя Фив Кадма, мать Диониса 134
- Семёнов Сергей Терентьевич (1868—1922), писатель-самоучка; автор «Воспоминаний о Льве Николаевиче Толстом» (1912) 101, 731
- Дворник 101, 731
- Крестьянские рассказы 101, 731
- Подпасок 101, 731
- Сен-Симон Анри де Рувруа (1760—1825), граф, фр. мыслитель, социалист-утопист 327
- Сенека (Луций Анней Сенека; 4—65), др.-рим. философ-стоик, поэт и гос. деятель 548, 822
- Медея 822
- Сенкевич Генрик (1846—1916), польск. прозаик 388, 488, 788
- Куда идешь (Камо грядеши) 388, 788

- Письма из путешествия 788
 Письма из Рима, Венеции и Парижа 388, 788
- Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (псевд. Барон Брамбеус; 1800–1858), прозаик, журналист, востоковед; ред.-изд. журн. «Библиотека для Чтения» 382, 786
- Сеодзи Сергей Никодимович, крещеный японец, выпускник С.-Петербург. духов. академии (1893), религ. публицист 98
- Серapis, эллинистический бог изобилия, плодородия, подземного царства и загробной жизни 135
- Серафим (в миру Стефан Васильевич Глаголевский; 1757–1843), проповедник, богослов; архиеп. Минский и Литовский (с 1812), Тверской и Кашинский (с 1814), митрополит Московский и Коломенский (с 1819) 78, 666, 667, 770
- Серафим Саровский (в миру Прохор Сидоров Мошнин; 1754–1833), старец-пустынник-житель, затворник 331
- Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616) 725
 Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский 77, 578–580, 725
- Сервий Туллий, царь Древнего Рима (578–535 до н. э.) 419, 420, 793
- Сергей Александрович (1857–1905), великий князь, пятый сын Александра II; московский генерал-губернатор (с 1891) 355, 758
- Сергий (в миру Иван Николаевич Страгородский; 1867–1944), богослов; епископ Ямбургский (1901–1905); патриарх Московский и всея Руси (с 1943); участник РФС (1901–1903) 70, 89–92, 761
- Сергий Радонежский (имя в миру Варфоломей; 1314–1392) 157, 188, 671
- Серов Александр Николаевич (1820–1871), композитор и муз. критик 535
- Серошевский Вацлав Леопольдович (1858–1945), польск. этнограф-сибиревед, писатель, публицист, участник польск. освободит. движения 310, 775
 Ключ Дальнего Востока 776
- Сигма — см. *Сыромятников С. Н.*
- Сийес Эммануэль Жозеф (1748–1836), фр. полит. деятель 287, 771
- Сильвестр (в монашестве Спиридон; ? – ок. 1566), протопоп Благовещен. собора Моск. Кремля (с 1540), иеромонах (с 1560); полит. деятель, один из авторов «Домостроя» 54, 540, 820
- Сильченков Константин Николаевич (1869–1903), магистр богословия (1896), духов. писатель 231
- Симеон Полоцкий (в миру Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович; 1629–1680), монах, писатель, проповедник, поэт 498
- Симон Прокаженный, евангел. персонаж, житель Вифании 244
- Синеус, князь, варяг, легендарный брат князя Рюрика; по преданию, правил в Белоозере 158, 354, 367
- Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910), лит. критик либерально-народнич. направления, историк лит-ры 385, 388, 787, 788
 Есть ли у г-на Чехова идеалы? 788
 Очерк истории русской цензуры (1700–1863) 385, 787
- Скворцов Василий Михайлович (1859–1932), публицист, издатель, правосл. миссионер; изд. журн. «Миссионерское Обозрение» (1901–1916) и газ. «Колокол» (1908–1916) 89–92, 230, 281, 566, 567, 576, 577, 615–617, 619, 759, 770, 834
- Скворцов Лев Владимирович (р. 1931), философ и историк философии 4

- Скворцов-Степанов (наст. фам. Скворцов, псевд. Степанов) Иван Иванович (1870–1928), сов. гос. и парт. деятель, историк, экономист; переводчик 778
- Скиталец (наст. имя Степан Гаврилович Петров; 1869–1941), прозаик, поэт 364, 784
- Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), ген. от инфантерии (1881), участник воен. операций в Средней Азии (1873–1876, 1880–1881) и Рус.-турец. войны (1877–1878) 214, 215
- Скотт Вальтер (1771–1832) 68, 96, 258, 598, 599, 604, 668, 688, 722
Ламмермурская невеста 68, 722
- Скуратов Малюта (наст. имя Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский; ?–1573), один из руководителей опричнины, думный дворянин (с 1570) 770
- Случевский Константин Константинович (1837–1904), поэт, прозаик, драматург, переводчик 92
- Смайлс (Смайльс) Сэмюэл (1812–1904), шотл. писатель, автор книг нравств.-филос. характера 324–330, 696, 697, 777, 778
Самодеятельность 324–327, 696, 777, 778, 840
Характер 324, 325, 696, 777, 840
- Смирдин Александр Филиппович (1794–1857), петерб. книгопродавец и издатель 545, 821
- Смирнов Петр Семенович (1861 – после 1917), протоиерей, историк русского раскола, проф. С.-Петербур. духов. академии 92
- Смирнова (ур. Россет, Росетти) Александра Осиповна (1809–1882), фрейлина двора, мемуаристка 55, 112, 718
Записки 55, 718
- Смит Адам (1723–1790), шотл. экономист и философ 330
- Соболевский Алексей Иванович (1857–1929), лингвист, палеограф, историк литературы, славист; академик (1900) 92
- Соболь Самуил Львович (1893–1960), историк науки, переводчик с англ. яз. 724
- Соколов Александр Алексеевич (1840–1913) 16–17, 710
Деревня в родной поэзии 16–17, 710
- Соколов Иван Павлович (1870–1921), проф. С.-Петербур. духов. академии по кафедре истории и обличения западных исповеданий (1909–1918) 92
- Соколов Николай Матвеевич (1860–1908), поэт, публицист, литературовед, лит. критик и переводчик 736, 779
А. С. Хомяков как мыслитель 779
- Соколовский Александр Лукич (1837–1915), издатель, переводчик 738, 820
- Сократ (ок. 469–399 до н. э.) 83, 128, 188, 209, 210, 224, 225, 294, 298, 396, 528, 407, 477, 494, 528, 568, 624, 625, 642, 727, 754, 773
- Солдатёнков Кузьма Терентьевич (1818–1901), моск. фабрикант, книгоиздатель, меценат, владелец худож. галереи, благотворитель 77, 366, 725
- Соллертинский Сергей Александрович (1846–1920), протоиерей, проф. С.-Петербур. духов. академии по кафедре педагогики (1885–1907), д-р богословия 92, 231
- Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882), граф, прозаик, мемуарист, драматург, поэт 95
- Соловьёв Владимир Сергеевич (1853–1900) 24, 60–66, 80–82, 96, 103, 116, 126, 127, 129, 134, 135, 145–152, 155–161, 190–191, 235, 236, 296, 299, 300, 319, 338–340, 385,

- 425, 428, 429, 448–475, 506, 523, 570, 631, 669–677, 712, 719–720, 730, 737–745, 750, 751, 761, 769, 780, 787, 795, 799–804, 813, 832, 833
- Бедный друг! Истомил тебя путь... 61, 720
- В тумане утреннем неверными шагами... 429, 456, 795, 801
- Василий Васильевич Болотов 339, 780
- Духовные основы жизни 148, 802
- Женский вопрос 65
- Заметка в защиту Достоевского от обвинения его в новом христианстве 147–148, 151
- Исторические дела философии 81
- Как пробудить наши церковные силы? 730
- Колдун-камень 456, 801
- Кризис западной философии. Против позитивистов 63
- Критика отвлеченных начал 61, 63, 80, 81, 145, 146
- Лермонтов 24, 712
- Магомет. Его жизнь и религиозное учение 453, 800
- На пути к истинной философии 148
- Национальный вопрос в России 60, 63, 236, 761
- О духовной власти в России 148, 670, 744
- О поддельном добре 801
- О расколе в русском народе и обществе 148
- Оправдание добра 60, 61, 63, 66, 160, 450, 459, 471–473, 475, 744, 800, 803
- Повесть об Антихристе 60, 62, 64, 66, 429, 795
- Религиозные основы жизни 63
- Россия и всемирная (вселенская) церковь — см. *La Russie et l'Eglise Universelle*
- Содержание речи, произнесенной на Высших женских курсах в Петербурге 13-го марта 1881 года 148
- Судьба Пушкина 473, 803
- Три разговора... (Под пальмами) 60, 63, 64, 66, 126, 429, 449, 450, 456, 720, 738, 795, 800, 801
- Три речи в память Достоевского 147
- Три свидания (Москва — Лондон — Египет) 127, 457, 737, 801
- Чтения о Богочеловечестве 147
- Das Ewig-Weibliche 457, 801
- La Russie et l'Eglise Universelle* (Россия и Вселенская церковь) 63, 191, 750, 813
- Соловьёв Всеволод Сергеевич (1849–1903), романист, лит. критик; основатель (совм. с П. П. Гнедичем) журн. «Север» (1887) 103, 192, 450, 751
- Соловьёв Михаил Петрович (1842–1901), правовед, исправл. должность нач. Главн. упр-ния по делам печати (1896–1900) 72, 464, 466–469, 613, 614, 617, 622, 623, 802, 833
- Соловьёв Михаил Сергеевич (1862–1903), педагог, переводчик, издатель 190, 191, 475, 750
- Соловьёв Сергей Михайлович (1820–1879), историк, академик (с 1872); ректор Моск. ун-та (1871–1877) 103, 146, 313, 382, 386, 444, 447, 457, 483, 517, 740
- История России с древнейших времен 313
- Соловьёв Сергей Михайлович (1885–1942), поэт, религ. деятель (с 1916 священник) 191, 475, 750, 804
- Ответ Г. Чулкову по поводу его статьи «Поэзия Вл. Соловьёва» 475, 804
- Соловьёва (ур. Коваленская) Ольга Михайловна (1855–1903), переводчица и художница; жена М. С. Соловьёва 191, 750

- Сологуб (у Розанова: *Соллогуб*, наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927) 530—534, 818—819
 Ангел снов невиденных... 531—532, 819
 Где грустят леса дремливые... 531, 819
 От людей («Я осмеянный шел из собрания злобных людей...») 532, 819
 Тяжелые сны 530—534, 818—819
- Соломон, царь Израильско-Иудейского царства (965—928 до н. э.); по преданию, авт. ряда ветхозавет. книг 57—58, 72, 120, 133, 152, 241, 280, 285, 342, 344, 346, 396, 442, 549, 769, 790
 Песнь песней 72, 280, 769
- Соломония (II в. до н. э.), мать семи сынов Маккавеев, пострадавших за веру 342
 Солон (640/635 — ок. 559 до н. э.), афин. полит. деятель, законодатель 419
 София (Софья) Благодушная — см. *Швидгенко Е. С.*
 Спаситель — см. *Иисус Христос*
- Спасович Владимир Данилович (1829—1906), правовед, историк лит-ры, проф. С.-Петербург. ун-та (с 1857) 273, 274
 Спенсер Герберт (1820—1903), англ. философ и социолог 103, 139, 315, 733
 Сперанский Дмитрий Александрович 522, 817
 Из литературы Древнего Египта 522, 817
- Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839), граф, ближайший советник имп. Александра I (1808—1812), авт. плана либерал. преобразований; ген.-губернатор Сибири (1819—1821) 187, 575, 618
- Спиноза Бенедикт (имя при рождении Барух; 1632—1677), нидерланд. философ-материалист, пантеист 424, 425, 833
 Этика 833
- Сталь (Сталь-Гольштейн) Анна Луиза Жермена де (1766—1817), баронесса, фр. писательница романт. направления 489, 725, 787, 809
 Коринна, или Италия 77, 725, 787
- Станиславский (наст. фам. Алексеев) Константин Сергеевич (1863—1938), театр. режиссер, актер и педагог 274
- Станкевич Александр Владимирович (1821—1912), писатель, биограф и издатель 482, 808
 Тимофей Николаевич Грановский 808
- Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), обществ. деятель, философ, поэт; основатель лит.-филос. кружка в Москве (1831) 77, 393, 808
- Стародум (наст. фам. Стечкин) Николай Яковлевич (1854—1906), критик, журналист 345, 781
 Журнальные обозрения 345, 781
- Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) 534—535, 817, 819
 Еврейский орнамент 535, 819
 Славянский и восточный орнамент 535
- Стасова Надежда Васильевна (1822—1895), обществ. деятельница, организатор борьбы за высшее образование женщин 829
- Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), либерал. публицист, историк; ред.-изд. журн. «Вестник Европы» (1866—1908) и газ. «Порядок» (1881—1882) 730, 737

- Статкевич Павел Григорьевич (1870 – после 1917), физиолог, д-р медицины (1904), проф. кафедры физиологии мед. факультета Моск. ун-та (1912–1917) 162, 745
 Мармизовская амбулатория 162, 745
- Степанов И. И. – см. *Скворцов-Степанов И. И.*
- Степняк-Кравчинский (наст. фам. Кравчинский) Сергей Михайлович (псевд. С. Степняк; 1851–1895), революционер-народник, писатель 567, 826
 Подпольная Россия 567, 826
- Стерн Лоренс (1713–1768), англ. писатель-сентименталист 77, 725
- Стессель Анатолий Михайлович (1848–1915), барон, ген.-адъютант (1904), комендант Порт-Артура 797
- Стефан Первомученик (?–33/36), побитый камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме 678
- Столетов Александр Григорьевич (1839–1896), физик, заслуж. проф. Моск. ун-та 296
- Стольпин Александр Аркадьевич (1863–1925), журналист, постоян. сотр. «СПбВ» (1902–1903) и «НВ» (с 1904); брат премьер-министра 765
- Стороженко Николай Владимирович (1862–1944), историк, публицист и педагог; директор 4-й (1895–1909) и 1-й (1909–1919) киевских гимназий 162, 745
 Мое знакомство с П. А. Кулишем 162, 745
- Стороженко Николай Ильич (1836–1906) 161–162, 496–498, 696, 745, 811
 Всеобщая литература 811
 Данте 811
 История европейской литературы XV–XVI вв.: (Эпоха Возрождения) 811
 История новой английской литературы 811
 Лекции о Макбете 811
 Лекции по истории драмы и театра 811
 Предшественники Шекспира 496, 811
 Роберт Грин, его жизнь и произведения 496, 811
 Средневековая литература 811
- Стороженко (ур. Полетаева) Ольга Ивановна (1853–1896), обществ. деятельница, жена Н. И. Стороженко 745
- Стоюнин Владимир Яковлевич (1826–1888), педагог и публицист 331
- Страбон (ок. 64/63 до н. э. – ок. 23/24 н. э.), др.-греч. историк и географ 241
 География 241
- Страхов Николай Николаевич 102–105, 112–118, 126, 127, 135, 157, 158, 160, 221, 298, 301, 331, 332, 460–463, 675, 677, 693, 732–737, 754, 758, 771, 798, 802, 812
 Борьба с Западом в нашей литературе 112, 114
 Воспоминания о Ф. М. Достоевском 502, 812
 Заметки о Пушкине и других поэтах 116
 Из истории литературного нигилизма (1861–1865 гг.) 461, 802
 Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом 112, 116, 736
 Мир как целое 116
 Некрасов и Полонский 754
 Некрасов – Минаев – Курочкин 754
 О методе естественных наук и значении их в общем образовании 116
 Об основных понятиях психологии и физиологии 116, 126, 737
 Роковой вопрос 104, 733, 812

- Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882), граф, ген.-адъютант; попечитель Моск. учеб. округа (1835–1847), моск. ген.-губернатор (1859–1860); археолог, издатель, нумизмат 382, 386, 786
- Строгановы, графы 383, 787
- Струве Аманд Егорович (1835–1898), инженер-генерал-лейтенант (1896), предприниматель, специалист в области мостостроения 716
- Струженцов Михаил Иванович, выпускник Твер. семинарии (1886) и Моск. духов. академии (1890); религ. публицист 228, 759
- К вопросу о православно-христианском понимании существа брака 228, 759
- Православно-христианское учение о браке по поводу воззрения на брак гр. Л. Н. Толстого и некоторых современных публицистов 228, 759
- Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), журналист, издатель газ. «НВ» (с 1876), журн. «Ист. Вестник» (с 1880), адрес. книг и др.; публицист, прозаик, театр. критик 109, 435, 469, 714, 717, 719, 735, 753, 788, 797, 811, 835
- Суворов Александр Васильевич (1730–1800) 82, 188, 568
- Сугерий (Сюже; ок. 1081–1151), аббат Сен-Дени (с 1122), советник фр. королей Людовика VI и Людовика VII 481, 808
- Суламита, возлюбленная царя Соломона, персонаж книги Песнь песней 72
- Сулла (Луций Корнелий Сулла Счастливый; 138–78 до н. э.), др.-рим. военачальник, реформатор гос. устройства 288, 290, 771, 772
- Сумароков Александр Петрович (1717–1777), драматург-классицист, поэт и прозаик 18
- Суматохина Любовь Валерьевна, литературовед 709, 785, 786
- Сусанин Иван Осипович (?–1613), вотчинный староста с. Домнино Костром. уезда, нанятый проводником и заведший польск. отряд в болотистый лес 310
- Суслова Аполлинария Прокофьевна (1840–1918), возлюбленная Достоевского (1861–1866) и первая жена Розанова (1880–1887), мемуаристка 784
- Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817–1903), философ, драматург, переводчик 774
- Свадьба Кречинского 301, 329, 430, 463, 698, 774, 778, 796, 802
- Сухово-Кобылины 733
- Сцевола (Гай Муций Сцевола), легендар. герой раннего периода др.-рим. истории: чтобы доказать свое мужество, опустил руку в огонь 308, 775
- Сципион Африканский Старший (ок. 235 – ок. 183 до н. э.), др.-рим. полководец и гос. деятель 204, 290, 291, 464, 465, 752
- Сципион Эмилиан Африканский (Младший) Нумантийский (185–129 до н. э.), др.-рим. полководец и гос. деятель; внук предыдущего 204, 291, 752
- Сыромятников Сергей Николаевич (псевд. Сигма; 1864–1934), прозаик, журналист, сотрудник газ. «НВ», товарищ пред. Рус. собрания 236, 761
- Сютаев Василий Кириллович (1819–1892), крестьянин, основатель религ.-нравств. учения и общины (1874), проповедовал идеи свободы, всеобщ. братства и труда, был против собственности 600
- Таммуз, сиро-финикийское божество, тождественное с Адонисом из др.-греч. мифологии 133, 141
- Тарквиний II Гордый, последний, седьмой царь Древнего Рима (534–509 г. до н. э.) 439, 798
- Тацит (Публий Корнелий Тацит; ок. 56 – ок. 117), др.-рим. историк 283, 439, 490, 491

- Тверской (наст. фам. Дементьев) Петр Алексеевич (1850–1923) 611, 612, 614–622, **833**
 Деловая переписка с К. П. Победоносцевым. 1900–1904 гг. 833
- Тедески Ричард Станиславович, модный петерб. портной, владелец магазина-ателье в собств. доме на Бол. Морской ул. (д. 7) 701
- Тейхмюллер (у Розанова: *Трейхмюллер*) Густав (1832–1888), нем. философ-идеалист и историк философии 147, 740
- Теккерей Уильям Мейкпис (1811–1863), англ. прозаик 23, 82, 257, 598, 662, 712
 Базар житейской суеты (Ярмарка тщеславия) 23, 662, 712
- Тенишев Вячеслав Николаевич (1844/1843–1903), князь, этнограф, археолог и социолог, основатель Тенишевского реального уч-ща 491, 492, 810
- Теннисон Альфред (1809–1892), англ. поэт, драматург, пэр Англии 255
- Теренциан Мавр (кон. III в.), др.-рим. грамматик 818
 О буквах, слогах и размерах 818
- Тернавцев Валентин Александрович (1866–1940), чиновник особ. поручений при оберпрокуроре Св. Синода, религ. публицист 70, 89, 91, 221, 683, 722, 729
 Русская Церковь перед великою задачей (Церковь и интеллигенция) 70, 91, 722, 729
- Терсит (Ферсит), участник Троян. войны, физич. и нравств. урод 279, 769
- Тертуллиан (Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан; 155/165–220/240), раннехрист. теолог, апологет 248, 250, 764
 О свидетельстве души 764
- Тесей (Тезей), в др.-греч. мифологии афин. царь, сын царя Эгея 805
- Тиверий (Тиберий) Цезарь Август (42 до н. э.–37 н. э.), рим. император (с 14), из династии Юлиев-Клавдиев 141, 225, 290
- Тимашев Александр Егорович (1818–1883), ген.-адъютант, ген. от инфантерии; нач. Штаба корпуса жандармов, управляющий III Отд-нием (1856–1862); министр почт и телеграфа (с 1867), внутр. дел (1868–1878) 618
- Тимковский Егор Федорович (1790–1875), дипломат и писатель 491
- Титов Георгий Иванович (1841–1919), протоиерей, духов. писатель 121
 История священства и левитства ветхозаветной церкви 121
- Тиханов Василий Алексеевич, петерб. типограф и литограф, пред. Русского купеч. о-ва для взаимного вспоможения 797
- Тихвинский Федор Васильевич (1861 – не ранее 1917), депутат II Гос. Думы от Вятской губ., священник, лишен сана в 1907; позднее врач 588–590
- Тихомиров Лев Александрович (1852–1923), мыслитель, публицист, мемуарист; до 1888 революционер-народник 425, 426, 794
 По поводу письма епископа Исидора 425, 426, 794
- Тихонравов Николай Саввич (1832–1893), литературовед, археолог, академик (с 1890); ректор Моск. ун-та (1877–1883) 76, 161, 171, 483
- Товий (Товия), сын праведника-израильянина Товита 715
- Товянский Анджей (1799–1878), польск. философ-мистик, визионер, пророк, мессанист 203, 752
- Толстая Александра Андреевна (1817–1904), графиня, камер-фрейлина двора (с 1881) 354–364, 782–784
- Толстая Александра Львовна (1884–1979), младшая дочь и секретарь Л. Н. Толстого, мемуаристка 359

- Толстая (ур. княжна Волконская) Мария Николаевна (1790–1830), графиня, мать Л. Н. Толстого 603, 831
- Толстая Мария Николаевна (1830–1912), графиня, монахиня (с 1891), сестра Л. Н. Толстого 361
- Толстая (ур. Берс) Софья Андреевна (1844–1919), графиня, жена Л. Н. Толстого (с 1862), авт. Дневника, издательница 210–212, 359–361, 754–755, 783
- Письмо в редакцию 210–212, 754–755
- Толстой Алексей Константинович (1817–1875) 28–33, 111, 246, 247, 363, 488, 713, 735, 764
- Грешница 246, 250, 764
- Дон-Жуан 111, 735
- Колокольчики мои... 247, 764
- Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889), граф, обер-прокурор Св. Синода (1865–1880), министр нар. просвещения (1866–1880) и внутр. дел (с 1882); историк 51, 217, 269, 360, 518, 575, 757, 768
- Толстой Лев Николаевич (1828–1910) 54, 56–58, 83–85, 87, 91, 101, 112, 116, 146, 151, 153, 162, 169, 174, 180, 181, 190, 201, 206–210, 217, 221, 229, 235, 245, 256, 259, 260, 263, 264, 274, 276–278, 297, 326, 327, 332, 354–364, 366, 387–389, 395–399, 416–418, 441–443, 461, 507, 518–520, 523, 536–550, 572, 578, 579, 581, 582, 593–608, 613, 615, 676, 680, 683, 688, 689, 691, 700, 706, 707, 728, 729, 731, 736, 739–741, 754, 755, 758, 759, 763, 769, 773, 775, 776, 778, 780, 782–784, 790, 793, 798, 802, 814, 818, 820, 830–833, 835
- Азбука 360, 597, 778, 793
- Альберт 538, 820
- Анна Каренина 161, 211, 276, 277, 297, 357, 399, 505, 506, 508, 594, 595, 600, 602, 604, 606, 687, 691, 743, 745, 814, 820
- Бог правду видит, да не скоро скажет 416, 793
- Власть тьмы 395, 598
- Война и мир 174, 211, 297, 306, 398, 505, 507, 572, 594–598, 601–604, 687, 775, 798, 814, 822
- Воскресение 56, 57, 217, 357, 359, 572, 605–607, 833
- Где любовь, там и Бог 101
- Декабристы 201, 355, 603, 782
- Детство и отрочество 355, 594, 603, 606, 830
- Записки маркера 546
- Исповедь 201, 277, 396, 790
- Казачи 594, 596, 603
- Крейцера соната 190, 360, 361, 395, 537, 601, 783, 798
- Люцерн 356, 442, 798
- Много ли человеку земли нужно 101, 146, 181, 538, 739, 740
- Неделание 317, 776
- Новая азбука 778
- О переписи в Москве 728
- О понятии жизни 773
- О Шекспире и о драме 820
- Первая русская книга для чтения 597, 831
- Плоды просвещения 600, 603
- Русские книги для чтения 778
- Севастопольские рассказы 355, 596, 598, 600, 603

- Смерть Ивана Ильича 84, 260, 395, 399, 461, 539, 691, 802, 820
 Соединение и перевод четырех Евангелий 245, 763
 Так что же нам делать? 789–790
 Три старца 278, 769
 Холстомер 605
 Чем люди живы 84, 162, 416, 277, 740, 793
 Что такое искусство? 820
 Юность 546
- Толстой Николай Николаевич (1823–1860), граф, очеркист, штабс-капитан; брат Л. Н. Толстого 362, 783
 Толстой Сергей Львович (1863–1947), композитор, муз. этнограф; сын Л. Н. Толстого 833
 Толстые — см. *Толстой Л. Н.* и *Толстая С. А.*
 Торквемада Томмасо де (1420–1498), первый великий инквизитор Испании (с 1451) 157, 671, 677
 Тот, др.-египет. бог мудрости, знаний, покровитель гос. и мирового порядка 522, 817
 Трачевский Александр Семенович (1838–1906), историк, социолог, педагог; авт. учеб. пособий по истории 15, 710
 Траян (Марк Ульпий Нерва Траян; 53–117), др.-рим. император (с 98) из династии Антонинов 292, 293
 Трегубов Иван Михайлович (1858–1931), друг и последователь Л. Н. Толстого 833
 Тредьяковский (ТрEDIAковский) Василий Кириллович (1703–1769), ученый и поэт 247, 548, 822
 Телемахида 822
- Трейхмюллер — см. *Тейхмюллер Г.*
 Тренч Герберт (1865–1923), ирланд. поэт, драматург, переводчик 762
 Трефолев Леонид Николаевич (1839–1905), поэт, публицист 16, 710
 Присяжный заседатель 16, 710
- Троицкий Матвей Михайлович (1835–1899), психолог, философ-эмпирик 79, 296–300, 773
 Трофимова Валерия Борисовна, литературовед 925
 Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920), князь, религ. философ, правовед, публицист, обществ. деятель 294, 299, 772, 773, 832
 Мирозерцание Блаженного Августина 299, 773
- Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905) 62, 294, 299, 475–477, 772, 773, 804–807
 Метафизика в древней Греции 299, 475, 477, 773, 805
 Разочарованный славянофил 804
 Учение о Логосе в его истории 475, 477, 805
 Чувствительный и хладнокровный 804
- Трувор, князь, варяг, легендарный брат князя Рюрика; по преданию, правил в Изборске 158, 354, 367
- Туманский Федор Осипович (1757?–1810), писатель, издатель и переводчик, корреспондент Акад. наук и действ. чл. Российской Академии 18
 Туниманов Владимир Артемович (1937–2006), литературовед 741
 Заметки на полях писем В. В. Розанова к Н. К. Михайловскому 741
- Тур Евгения — см. *Салиас де Турнемир Е. В.*

- Тураев Борис Александрович (1868—1920), историк, египтолог 522, 817
 Бог Тот 522, 817
- Тургенев Александр Иванович (1784—1846), историк; директор деп-та Главн. управления духов. дел иностр. исповеданий (1810—1817) 78
- Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) 54, 78, 83, 84, 93, 111—113, 115, 116, 125, 130, 174, 206, 207, 255, 259—264, 274, 276, 292, 331, 366, 424, 443, 480, 595, 598, 600, 601, 604, 689, 691, 718, 725—727, 736, 751, 753—755, 766—767, 772, 788, 790, 820, 828
- Гамлет Щигровского уезда 261
 Дворянское гнездо 262, 263, 691, 767
 Дневник лишнего человека 264, 538, 767, 820
 Дым 262, 581, 604, 766, 790, 828
 Живые мощи 84
 Записки охотника 77, 78, 84, 111, 601, 726
 К чему твержу я стих унылый... 753
 Лазурное царство 261—264, 766
 Накануне 262, 263, 767
 Нахлебник 77, 263, 725, 766
 Отцы и дети 257, 260, 262, 263, 398, 755, 790, 802
 Первая любовь 260—262
 Призраки 260
 Природа 113—114, 292, 736, 772
 Рудин 257, 258, 262—264, 691, 720, 742, 766
 Русский язык 54, 83, 718, 727
 Старуха 260
 Степной король Лир 261, 263, 766
 Стихотворения в прозе 260—262, 772
 Фауст 262
 Хорь и Калиныч 77—78, 726
- Тьерри Жак Никола Огюстен (1795—1856), фр. историк романтич. направления 480
- Тэн Ипполит (1828—1893), фр. философ-позитивист, эстетик, историк, психолог 314, 623—625, 642
- Тютчев Федор Иванович (1803—1873) 51, 146, 367, 403, 422, 675, 791, 793, 839
 Ночь и день 422, 793
 Эти бедные селенья... 404, 675, 791, 839
- У**—ский А. — см. *Устьянский А. П.*
- Уайльд (Уайлд) Оскар (1854—1900), англ. философ, эстет, прозаик, поэт 560
- Уваров Сергей Семенович (1786—1855), граф, министр нар. просвещения (1833—1849), през. Акад. наук (с 1818) 382, 386, 700—702, 787, 791, 841
 О некоторых общих началах... 791
 Essai sur les mystères d'Eleusis (Essay on the Mysteries of Eleusis) 700, 841
- Улисс, латинизир. форма греч. имени легендар. царя Итаки Одиссея 124, 175, 444, 716, 737, 799
- Урбан, имя восьми римских пап (III—XVII вв.) 340, 780
- Урусов Леонид Дмитриевич (1837—1885), князь, тульский вице-губернатор, друг Л. Н. Толстого 783
- Урусовы 483

- Успенский Василий Васильевич (1876–1930), приват-доцент, позже проф. С.-Петерб. духов. академии 92
- Успенский Владимир Васильевич (1874–?), кандидат богословия (1898), учитель С.-Петербург. Исидоровского епарх. женского уч-ща 89
- Успенский Глеб Иванович (1843–1902), прозаик, публицист 153, 518, 523, 548, 822, 826
- Будка 826
- Нравы Растеряевой улицы 548, 822
- Устьинский Александр Петрович (1854–1922), протоиерей, настоятель церкви Рождества Богородицы Десятинного жен. мон-ря в Новгороде; богослов 220, 224–229, 234, 326, 610, 738, 758, 778
- Ухтомский Эспер Эсперович (1861–1921), князь, дипломат, ориенталист, публицист, поэт, переводчик; изд. газ. «СПбВ» (1896–1917) 461, 469
- Ушинский Константин Дмитриевич (1824–1870), педагог 331
- Фавр** Габриэль Клод Жюль (1809–1880), фр. политик, депутат Законодат. корпуса (1858–1870), вице-пред. и министр иностр. дел в Правительстве нац. обороны (1870–1871) 287
- Фарадей (Фарадэй) Майкл (1791–1867), англ. физик-экспериментатор и химик 641
- Фарнак (97–47 до н. э.), царь Боспорского царства (с 63) 756
- Фатеев Валерий Александрович (р. 1941), историк рус. религ. мысли, прозаик 4, 713, 730, 756, 757, 790, 826, 828, 835
- Фаусек Виктор Андреевич (1861–1910), проф. зоологии, энтомолог, проф. Женского мед. ин-та и дир. Высших женских (Бестужевских) курсов (1905–1910) 590, 591
- Фауста (Флавия Максима Фауста; 289 или 290–326), вторая супруга Константина I Великого (307–326) 442, 798
- Федор I Иванович (1557–1598), последний рус. царь из династии Рюриковичей (с 1584) 673
- Федор II Борисович Годунов (1589–1605), царь Руси (с 13 апр. по 1 июня 1605) 411
- Фёдоров Денис Александрович (р. 1976), историк, журналист 845
- Фёдоров Михаил Михайлович (1859–1949), управляющий Мин-вом торговли и промышленности (1906); экономист, ред. «Вестн. Финансов, Промышленности и Торговли», «Ежегодника Мин-ва Финансов», «ТПГ», «Рус. Экон. Обозрения»; основатель Торгово-телегр. агентства (1902) 469
- Федякин Сергей Романович (р. 1954), литературовед, музыковед 4, 837
- Фейербах Людвиг (1804–1872), нем. философ 77, 725
- Сущность христианства 77, 725
- Фельтен Юрий Матвеевич (1730–1801), архитектор-классицист, директор Акад. художеств (с 1789) 716
- Феодор Бухарев — см. *Бухарев А. М.*
- Феодор Иоаннович — см. *Федор I Иванович, царь*
- Феодор Студит (759–826), визант. монах, преподобный, настоятель Студийского мон-ря в Константинополе (с 798); возглавил борьбу с иконоборчеством 764
- Феофан (в миру Элеазар Прокопович; 1681–1736), архиеп. Новгородский и Великолуцкий (с 1725), писатель; сподвижник Петра I 54, 671, 779
- Слово на похвалу блаженных и вечнодостойных памяти Петра Великого... 779

- Феофан Затворник (в миру, до 1841, Георгий Васильевич Говоров; 1815–1894), святитель, епископ Владимирский и Суздальский (1863–1866), затем жил на покое; богослов, публицист-проповедник 283, 452
Толкование на «Послание к Галатам» 452
- Ферамен (Терамен; ?–403 до н. э.), афин. гос. деятель, проводивший проспартан. политику 102, 732
- Фет Афанасий Афанасьевич (первые 14 и последние 19 лет жизни официально носил фам. Шеншин; 1820–1892) 95, 105, 113, 115, 116, 197, 251, 382, 384, 397, 733, 736, 764, 790
Шопот, робкое дыханье... 248, 251, 252, 396, 397, 764, 790
- Фехнер Густав Теодор (1801–1887), нем. экспериментальный психолог, основоположник психофизиологии и психофизики 323, 777
- Фидий (Фидиас; ок. 490 – ок. 430 до н. э.), др.-греч. скульптор, архитектор 596, 597
- Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1782–1867), духов. писатель, экзегет, проповедник; митрополит Московский и Коломенский (с 1826) 147, 237, 265, 266, 360, 576, 620, 673
- Филевский Иоанн Иоаннович (1865–1925), протоиерей, проф. Харьк. ун-та, религ. публицист, деятель обновленчества 89, 92, 729
- Филельфо Франческо (1398–1481), итал. гуманист, эллинист, латинист; поэт, переводчик 162, 497
- Филипп (в миру Федор Степанович Кольчѳв; 1507–1569), святитель, митр. Московский и всея Руси (1566–1568), обличитель Ивана Грозного 284, 670, 770
- Филипп II Испанский (1527–1598), король Неаполя и Сицилии (с 1554), король Испании и Нидерландов (с 1556), а также Португалии (с 1580) 367, 619
- Филипп II, герцог Орлеанский (1674–1723), регент Франции при малолетнем короле Людовике XV (1715–1723), племянник Людовика XIV 367
- Филиппов Андрей (кон. XVIII в.), литератор 731
История о храбром рыцаре Францэле Венециане и о прекрасной королевне Ренцивене 100, 731
- Филиппов Михаил Михайлович (1858–1903), прозаик, философ, журналист, физик, химик, экономист и математик, популяризатор науки 253, 254, 686, 724, 765
- Филиппов Третий Иванович (1825–1899), религ. публицист, лит. критик; тов. гос. контролера (с 1878), гос. контролер (с 1889) 51, 483
- Филон Александрийский (ок. 25 до н. э. – ок. 50 н. э.), богослов, апологет иудейства, религ. мыслитель 396
- Филонов Андрей Григорьевич (1831–1908), педагог и литератор, авт. учеб. пособий 714
- Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940), публицист, критик, религ.-обществ. и полит. деятель 89, 91, 729
Аскетический идеал в отношении к миру 91
- Фирдоуси Абулькасим (ок. 940–1030), персидский и таджикский поэт 738
Шахнаме 738
- Фиркович Авраам Самуилович (1787–1874), караимский писатель и археолог, собиратель древних рукописей, священнослужитель-газзан 535
- Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814), нем. философ-идеалист 320
- Фишер Карл Андреевич (1859 – после 1923), фотограф, прусский подданный 111, 112, 735
- Фишер Куно (1824–1907) 424–425, 794
История новой философии 424–425, 794

- Флобер Гюстав (1821–1880), фр. романист 239, 769
- Флоренский Павел Александрович (1882–1937), священник (с 1911), богослов, философ, ученый, поэт 832
- Фома, апостол из 12-ти; основоположник христианства в Индии, мученик 464, 585, 586, 802
- Фома Кемпийский (ок. 1379–1471), нем. монах и священник, духов. писатель 397, 398, 401, 696, 790
- О подражании Христу 397, 696, 790
- Фоминых Татьяна Николаевна, литературовед 819
- Фонвизин (фон-Визин) Денис Иванович (1745–1792) 49, 419, 717, 776
- Недоросль 49, 318, 717, 776
- Фотий (ок. 820–891), патриарх Константинопольский (857–867, 877–886), богослов, филолог, библиограф 253
- Фофанов Константин Михайлович (1862–1911) 13–15, 709
- Желтыми листьями дети играли... 13, 709
- Иллюзии 13, 709
- Ищите новые пути! 14–15, 709
- Мой мир угрюм, как темный скит... 14, 709
- Стихотворения (1887) 709
- Стихотворения (1896) 709
- Тени и тайны 709
- Фохт (Фогт) Карл (1817–1895), нем. зоолог, палеонтолог, врач, философ 64, 502, 628, 629, 835, 836
- Наивная вера и наука 835–836
- Франк Семен Людвигович (1877–1950), религ. философ 294, 772
- Франклин Бенджамин (1706–1790), амер. полит. деятель, дипломат, изобретатель, писатель, издатель, масон 494
- Франс Анатоль (наст. имя Франсуа Анатоль Тибо; 1844–1924), фр. прозаик и лит. критик 85, 728
- Святой Сатир 85, 728
- Франциск Ассизский (в миру Джованни Франческо ди Пьетро Бернардоне; 1182–1226), католич. святой, учредитель нищенствующего ордена францисканцев 156, 157, 671
- Фрасибул (ок. 450–389 до н. э.), афин. гос. деятель, полководец 732
- Фредерикс Фридрих (1823–?), нем. историк философии 324
- Френцель Карл Вильгельм (1827–1914), нем. романист и эссеист 763
- Тайны Версальского и Венского двора 240, 763
- Фридрих II Великий (1712–1786), король Пруссии (с 1740) из династии Гогенцоллернов 253, 785
- Фукидид (ок. 460–400 до н. э.), др.-греч. историк 479
- Фурье Шарль (1772–1837), фр. социолог, представитель утопич. социализма 320, 327
- Фюстель де Куланж Ньюма Дени (1830–1889), фр. историк 481, 807
- Древний город (Древнее общество) 807
- Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807), поэт, прозаик 77, 506, 725, 779, 814
- Поэт 77, 725
- Россияда 332, 779

Хлодвиг I (ок. 466—511), король франков (с 481/482) из династии Меровингов 294
 Хмельницкий Николай Иванович (1789/1791—1845), драматург, смоленский губернатор (1829—1837) 789

Своя семья, или Замужняя невеста 394, 789

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) 95, 159, 192, 214, 226, 235, 330—336, 387, 429, 609, 610, 701, 730, 778, 779, 787, 804, 841

Возражение на статью г. Грановского 330, 779

О юридических вопросах 335, 779

Опыт улучшения зимних дорог укатыванием 330, 779

Ответ на ответ г. Грановского 330, 779

России («Тебя призвал на брань святую...») 332, 779

Хрисанф (в миру Владимир Николаевич Ретивцев; 1832—1883), еп. Нижегородский и Арзамасский (с 1877), д-р богословия (1878), историк 45, 123, 125, 716, 737

Религии древнего мира в их отношении к христианству 45, 123, 737

Христос — см. *Иисус Христос*

Цветаева Марина Ивановна (1892—1941) 735

Цветков Сергей Алексеевич (1888—1964), журналист, в 1910-е друг Розанова, автор его библиографии 715

Цвингли Ульрих (1484—1531), швейц. церк. реформатор, протестант. философ и проповедник 366, 583

Цезарь (Гай Юлий Цезарь; 102/100—44 до н. э.) 204, 287—290, 661, 756, 771

Записки о галльской войне 287, 288, 771

Цёлльнер (Цольнер) Иоганн Карл Фридрих (1834—1882), нем. астроном 135

Церера, в др.-рим. мифологии богиня, покровительница урожая и плодородия 671

Цертелев Дмитрий Николаевич (1852—1911), князь, философ, поэт, публицист, лит. критик 451, 469, 622

Цибела — см. *Кибела*

Цинна (Луций Корнелий Цинна; ок. 132—84 до н. э.), др.-рим. полит. деятель и военачальник, консул (87, 86, 85 и 84 до н. э.) 548, 822

Цитович Петр Павлович (1844—1913), правовед, проф. Новороссийского (1873—1880), Киевского (с 1884) и С.-Петербур. (с 1900) ун-тов; публицист, изд. газ. «Берег» (1880) 153

Цицерон (Марк Туллий Цицерон; 106—43 до н. э.) 241, 287, 290, 477, 778, 806, 818

О дивинации 778

О законах 241

Об обязанностях 818

Цорн Андерс Леонард (1860—1920), швед. живописец, график и скульптор 286

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856), мыслитель, публицист 78, 159, 160, 412, 726, 743, 792

Философическое письмо 78, 726

Чайковский Петр Ильич (1840—1893) 87

Чаннинг Уильм Эллери старший (1780—1842) 535—536, 819—820

О возвышении трудящихся классов 535—536, 819—820

- Чебышёв Пафнутий Львович (1821—1894), математик и механик; академик (1859) 266
- Чемберлен Джозеф (1836—1914), англ. фабрикант и политик 139
- Черкасский Владимир Александрович (1824—1878), князь, историк, публицист-славянофил; чл.-эксперт Редакц. комиссий по крестьян. делу (1859—1860), председательствующий в Правительств. комиссии внутр. и духов. дел Царства Польского (1864—1866), моск. гор. голова (1868—1870) 724
- Черниченко Людмила Леонидовна (р. 1939), литературовед, прозаик 925
- Чёрный Юрий Юрьевич (р. 1967), историк философии, культуролог 810
- Чернышевский Михаил Николаевич (1858—1924), литератор, библиограф; младший сын Н. Г. Чернышевского 794, 797
- Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) 99, 100, 393, 420, 423, 436, 437, 439, 443, 794, 797
- Лессинг, его время, его жизнь и деятельность 100, 731
- Что делать? 100, 436—443, 649, 797—798
- Черняев Николай Иванович (1853—1910), публицист, театр. и лит. критик 722
- Заметки о Лермонтове: Демон 722
- «Капитанская дочка» Пушкина 722
- Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936), друг Л. Н. Толстого, издатель, обществ. деятель 615, 833
- Чехов Антон Павлович (1860—1904) 76, 364—372, 387—391, 393, 394, 492, 523, 598, 601, 748, 784—785, 787—789, 810
- В сумерках 788
- Вишневый сад 364, 367
- Дядя Ваня 788
- Остров Сахалин 388, 389, 391, 788
- Палата № 6 389, 390, 788
- Пестрые рассказы 388, 788
- Чингисхан (Темучин; ок. 1155—1227) 519
- Чириков Евгений Николаевич (1864—1932), прозаик, драматург, публицист 364, 669, 784
- На поруках 364, 784
- Роман в клетке 669
- Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), правовед, философ-гегельянец, историк, публицист 112—114, 153, 313—315, 776
- О народном представительстве 314, 776
- Чулков Георгий Иванович (1879—1939), поэт, прозаик и лит. критик, создатель теории мистич. анархизма 804
- Поэзия Вл. Соловьёва 804
- Чулков Михаил Дмитриевич (1743/1744—1792), писатель, историк, этнограф, экономист 18
- Шабас**, царица, персонаж еврейских мистических легенд 127
- Шарапов Сергей Федорович (1855—1911), экономист, публицист-славянофил, издатель, беллетрист 213—216, 410, 681, 682, 756
- Борозды 756

- Жатва 756
 Заморозки 756
 Ледоход 756
 Метели 756
 Озими 756
 Оттепель 214, 756
 Поднятие земледелия и валюта
 Половодье 756
 Пороша 756
 Посевы 756
 Самодержавие и самоуправление 682
 Сенокос 756
 Страда 756
 Сугробы 214, 756
 Туманы 756
 Умолот 756
 Урожай
 Ухабы 756
 Яровые 756
- Шасслер (Шаслер) Макс-Александр Фридрих (1819–1903), нем. эстетик и писатель 324
 Шатобриан Франсуа Рене де (1768–1848), виконт, фр. писатель 77, 545, 725, 821
 Атала, или Любовь двух дикарей 821
 Гений христианства 545, 821
 Рене, или Следствия страстей 821
- Шаховской Александр Александрович (1777–1846), князь, театр. деятель, драматург (авт. ок. 100 пьес), режиссер 394, 725, 789
 Новый Стерн 77, 725
 Своя семья, или Замужняя невеста 394, 789
- Шаховской Николай Владимирович (1856–1906), князь, начальник Главн. упр-ния по делам печати (1900–1903); историк, филолог 33, 713
- Швидченко Евфимий Созонтович (псевд.: София Благодушная, Б. Быстров; 1870 – не ранее 1905) 486–488, **808–809**
 Как он пошел в народ 486–488, 808
 Рождественская елка, ее происхождение, смысл, значение и программа 808
 Святочная хрестоматия: Литературно-музыкально-этнографический сборник для семьи и школы 808
- Шевляков Михаил Викторович (1865–1913), прозаик, драматург, переводчик 760
 Ночь г-жи де Монтесон 234, 760
- Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861) 111, 162
- Шевырёв Степан Петрович (1806–1864), поэт, критик, журналист; историк лит-ры, проф. Моск. ун-та (с 1837), академик (с 1852) 712, 742
- Шейн (Шейн) Павел Васильевич (1826–1900), этнограф, лингвист, фольклорист 16, 710
 Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях... 710
 Русские народные песни 710
- Шекспир (в замуж. Холл) Сьюзен (1583–1649), старшая дочь У. Шекспира 311, 776

- Шекспир (ур. Хатауэй) Энн (1556–1623), жена У. Шекспира 311, 776
- Шекспир Уильям (1564–1616) 74, 76, 96, 130, 162, 275, 309, 311, 388, 408, 412, 418, 496, 515, 516, 538–543, 546, 548, 549, 649, 679, 687, 707, 723, 724, 738, 776, 790, 791, 798, 809, 811, 815, 820, 828, 831
- Буря 275
- Гамлет 256, 257, 275, 408, 488, 489, 543, 579, 580, 624, 791, 809, 828
- Зимняя сказка 549, 823
- Король Лир 538, 539, 706
- Макбет
- Мера за меру 798
- Отелло 408, 437, 441, 557, 790
- Ромео и Джульетта 130–131, 408, 539–540, 649, 738, 790, 820
- Сонеты 790
- Шеллинг Фридрих Вильгельм фон (1775–1854), нем. философ-идеалист 63, 78, 146, 207, 308, 320, 380, 381, 383–385, 387, 424–425, 481, 787, 794
- Шенрок Владимир Иванович (1853–1910), литературовед 319, 321, 777
- Шервинский Сергей Васильевич (1892–1991), поэт, переводчик, мемуарист 826
- Шестов Лев Исаакович (при рождении Иегуда Лейб Шварцман; 1866–1938), философ-экзистенциалист, лит. критик 516, 517, 523, 554, 815, 818, 824, 832
- Апофеоз беспочвенности (Опыт адогматического мышления) 517, 554, 815, 824
- Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше 523, 818
- Достоевский и Нитше (Философия трагедии) 517, 523, 815, 818, 824
- Пророческий дар (К 25-летию смерти Ф. М. Достоевского) 516, 815
- Шидловский Иван Николаевич (1816–1872), чиновник Мин-ва финансов, поэт, историк церкви, друг юности Достоевского 545, 546, 822
- Шиллер Фридрих (1759–1805) 77, 256, 258, 275, 276, 278, 294, 392, 408, 481, 546–548, 579, 597–599, 728, 740, 804, 822, 831
- Дон Карлос 546, 548, 822
- Ивиковы журавли 149, 740
- Истукан Изиды 804
- Кассандра 84, 728
- Мария Стюарт 546, 822
- Торжество победителей 84, 115, 728
- Ширинский-Шихматов Алексей Александрович (1862–1930), князь, гофмейстер Двора, обер-прокурор Св. Синода (1906), сенатор, публицист 576, 827
- Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1790–1853), поэт и переводчик; академик (с 1841), министр нар. просвещения (с 1850) 787
- Шишков Александр Семенович (1754–1841), писатель, гос. деятель, адмирал; президент Рос. академии (с 1813); министр нар. просвещения (1824–1828); возглавлял «Беседу любителей рус. слова» 77
- Шлейер Иоганн Мартин (1831–1912), нем. католич. священник, создатель языка волапюк 762
- Шлоссер Фридрих Кристоф (1776–1861), нем. историк 480
- Шмидт Петр Петрович (1867–1906), один из руководителей Севастопольского восстания (1905) 751
- Шмидт Тереза, владелица доходного дома в Петербурге (1870-е), переоборудованного ею под гостиницу (с 1911 «Англетер») 800

Шопенгауэр Артур (1788—1860) 63, 64, 80, 146, 147, 149, 152, 276, 296, 343, 425, 629, 631, 632, 720, 822

Мир как воля и представление 64, 720

Шпажинский Ипполит Васильевич (1844—1917), драматург-эпигон, беллетрист 51

Шпейер Владимир Константинович (1846—1915), инженер-строитель 816

Шперк (ур. Рейниш) Каролина Антоновна, дочь проф. истории Харьк. ун-та, мать Ф. Э. Шперка 458, 801

Шперк Федор (Фридрих) Эдуардович (1872—1897), публицист, лит. критик, философ, поэт 456, 458, 459, 471—473, 801—803

Ежегодный сизифов труд 458, 801

Ненужное оправдание 459, 472, 802, 803

О характеристике гоголевского творчества 801

Об «Оправдании добра» 803

В. В. Розанов (Опыт характеристики) 801

Шперк Эдуард-Леонард Фридрихович (1837—1894), врач-венеролог, д-р медицины, дир. Института эксперимент. медицины в Петербурге (с 1891) 458, 801

Штиглиц Александр Людвигович фон (1814—1884), барон, финансист, промышленник, управл. Гос. банком России (1860—1866), меценат 211, 755

Штраус Давид Фридрих (1808—1874), нем. теолог и философ-младогегельянец 583

Щеглов Александр Николаевич (1875—1953), капитан 1-го ранга, воен. писатель; в эмиграции ген.-майор флота (с нач. 1930-х) 434, 796

Щеглов (Леонтьев-Щеглов, наст. фам. Леонтьев) Иван Леонтьевич (1856—1911) 54—56, 99, 163—165, 551, 718—719, 745—746

В горах Кавказа 163, 164, 718

В защиту народного театра 718

Влюбленный майор 163

Военные очерки 164

Гордиев узел 163, 718

Господа театралы 163

Дачный муж 163, 164

Затерянный мудрец 163—165

Идиллия 163

Корделия 163, 164

Красный цветок 163

Мамаево нашествие 163

Миллион терзаний 163, 164, 718

Миньона 164

Мир праху 164

Народ и театр 718

Народный театр в очерках и картинках 164, 746

Новое о Пушкине 54—56, 718—719

О народном театре 718

Около истины 164

Первое сражение 163

Петербургская идиллия 164

По следам Пушкинских празднеств 164, 746

Проводы 164

- Сон холостяка 164
 Театральный демон 164
 Убыль души 163, 164
- Щедрин Н. — см. *Салтыков-Щедрин М. Е.*
- Щепкин Михаил Семенович (1788—1863), актер, реформатор рус. театра 817
- Щепкин Николай Михайлович (1820—1886), издатель и обществ. деятель; сын М. С. Щепкина 725
- Щербатов Михаил Михайлович (1733—1790), князь, историк, публицист, почет. член С.-Петербур. Акад. наук (с 1776) 747
- Щербина Николай Федорович (1821—1869), поэт, чиновник Мин-ва нар. просвещения 341, 781
- Женщине 341, 781
- Щербов Иван Павлович (1873—1925), препод. основного и нравств. богословия С.-Петербур. духов. семинарии (1900—1918) 92
- Эвклид (ок. 325—265 до н. э.), др.-греч. математик 243
- Эвмен из Кардии (ок. 362—316 до н. э.), полководец и личный секретарь Александра Великого 287
- Эврипид — см. *Еврипид*
- Эврисфей, в др.-греч. мифологии внук Персея, двоюрод. брат Геракла, царь в Арголиде 737
- Эгей, в др.-греч. мифологии афин. царь, отец Тезея 805
- Эгмонт Ламораль (1522—1568), граф, исп. военачальник и нидерланд. гос. деятель 220, 257, 766
- Эдельштейн Михаил Юрьевич (р. 1972), лит. критик, литературовед 752
- Эдип, в др.-греч. мифологии царь Фив 534
- Эккерман Иоганн Петер (1792—1854), нем. литератор, поэт; секретарь Гёте 769
- Разговоры с Гёте 769
- Экклезиаст, автор библ. книги (предположительно, царь Соломон) 278, 396, 420, 421, 431, 699
- Эльпе (наст. имя Лазарь Константинович Попов; 1851—1917) 435—436, 797
- Душа животных и растений 435—436, 797
- Эмерсон Ральф Уолдо (1803—1882), амер. унитарийский пастор; эссеист, поэт, философ 579
- Эмилии, др.-рим. патрицианский род 291
- Эмин Федор Александрович (до крещения Магомет-Али Эмин; 1735—1770), прозаик, журналист 18
- Эмпедокл из Акраганта (ок. 490 — ок. 430 до н. э.), др.-греч. философ, врач, гос. деятель, жрец 146, 311, 776, 806
- Энгельгардт Николай Александрович (1867—1942) 76—78, 99, 100, 126, 205—208, 456, 466, 468, 724, 725, 726, 737, 752—754, 801, 833
- Идеалы Вл. Соловьёва 126, 456, 737, 801
- История русской литературы XIX столетия 76—78, 205, 724, 753
- Энгельс (Engels) Фридрих (1820—1895), нем. философ, один из основоположников марксизма 513
- Энпе (наст. имя Н. Петров), петерб. издатель, составитель справочников (рубеж XIX—XX вв.) 805

- Эос, в др.-греч. мифологии богиня утренней зари 47, 716
 Эпиктет (ок. 50—138), др.-греч. философ 403, 791
 Эразм Роттердамский (Дезидерий; 1466/1465—1536), нем. гуманист; филолог, богослов, писатель-сатирик 267, 340, 541, 780
 Похвала глупости 340, 780
 Эрн Владимир Францевич (1882—1917), религ. философ 832
 Эрнст Отто (наст. имя Отто Эрнст Шмидт; 1862—1926) 48—50, 716—717
 Воспитатель Флакман (Педагоги) 48—50, 716—717
 Эрос (Эрот), в др.-греч. мифологии божество любви 86, 558, 559
- Ювенал** (Децим Юний Ювенал; ок. 60—ок. 127), др.-рим. поэт-сатирик 83
Юлиан Отступник (Флавий Клавдий Юлиан; 331/332—363), др.-рим. император (с 361); ритор, философ 85, 426, 728, 795
Юлия Баттенбергская (ур. фон Гауке; 1825—1895), княгиня, морганатическая супруга принца Александра Гессен-Дармштадтского 355, 782
Юпитер, в др.-рим. мифологии верховное божество 45, 46, 152, 364, 784
Юстиниан I Великий (Флавий Петр Савватий Юстиниан; 483—565), визант. император (с 527), полководец и реформатор 249, 764
Юшкевич Семен Соломонович (1868—1927), писатель, драматург 364—372, 784—785
 Евреи 364, 367
- Яблочков Павел Николаевич** (1847—1894), электротехник, воен. инженер, изобретатель, предприниматель 648, 837
Языков Николай Михайлович (1803—1846), поэт-романтик 16, 174
Яков II Стюарт (1633—1701), король Англии, Шотландии и Ирландии 725
Якушкин Вячеслав Евгеньевич (1856—1912), историк, публицист и обществ. деятель 162, 745
 Учебные годы Радищева 162, 745
- Ямвлих** (245/280—325/330), античный философ-неоплатоник 716, 728
Янышев Иоанн Леонтьевич (1826—1910), протопресвитер, ректор С.-Петерб. духов. академии (с 1866), духовник имп. семьи, настоятель собора Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем дворце (с 1883) 92
Ярослав Мудрый (Ярослав I Владимирович, в крещении Георгий; ок. 978—1054), князь Ростовский (987—1010), князь Новгородский (1010—1034), великий князь Киевский (1016—1018, 1019—1054) 15
Ярославна (Ефросинья Ярославна; 2-я пол. XII в.), жена князя новгород-северского князя Игоря Святославича, героя «Слова о полку Игореве» 442
Яснецкий Иван Семенович (?—1883), лексикограф, присяж. поверенный в Твери 733
- Abeona**, др.-рим. богиня 47
Adeona, др.-рим. богиня 47
Andromaque — см. *Андромаха*
Вuonaparte — см. *Наполеон I Бонапарт*
Cinna — см. *Цинна*
Cuba, др.-рим. богиня 47
Domidusa, др.-рим. богиня 47
Educa, др.-рим. богиня 47

- Fabulinus, др.-рим. божество 47
 Hugo V. — см. *Гюго В.*
 Iterduca, др.-рим. богиня 47
 Jodel (Jodelle) — см. *Жодель Э.*
 Jupiter — см. *Юпитер*
 Ladyjensky J. — см. *Ладыженский И. И.*
 Lauvrière Émile — см. *Лебриер Э.*
 Lepsius Richard — см. *Лепсиус Р.*
 Léskov Nicolas — см. *Лесков Н. С.*
 Louis Napoleon — см. *Наполеон III*
 Malherbe — см. *Малерб Ф. де*
 Mill J. — см. *Милль Дж.*
 Murger — см. *Мюрже А.*
 Ouvaroff — см. *Уваров С. С.*
 Perrin Émile (1828—1884), фр. книгоиздатель 551, 823
 Phedre — см. *Федра*
 Potina, др.-рим. богиня 47
 Quidam — см. *Бородаевский С. В.*
 Roche Denis — см. *Рош М. Д.*
 Ronsard — см. *Ронсар П. де*
 Vaticanus, др.-рим. божество 47

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Тексты, варианты и комментарии произведений, входящих во второй том, подготовили:

А. П. Дмитриев. «Памяти кн. С. Н. Трубецкого».

И. В. Логвинова. «О поэзии гр. А. К. Толстого», «Каменная баба», «Идеалы», «Из записной книжки писателя. Великий сфинкс истории», «Гаснущие огни и зажигающиеся огни».

А. В. Ломоносов — «Г-н Меньшиков и его обвинения», «На чтениях г. Бердяева».

Г. В. Нефедьев — «Национальные таланты», «К литературной деятельности Н. Н. Стрехова», «25-летие кончины Некрасова», «О письме гр. С. А. Толстой», «Серьезный критик», «Московские идеалисты», «Поминки по славянофильству и славянофилах», «Литературные новинки <Л. Андреев>», «Литературные новинки <А. Чехов>», «Литературные новинки <Е. Милицына>», «Литературные новинки <М. Лемке>».

Е. Н. Никитин — «Жертвы вечерние», «Художественное изучение русского языка», «Идеалы скромных людей», «Русская литература», «Шестидесятые годы и „утилитарная критика“», «Писатель-художник и партия», «Когда-то знаменитый роман».

Т. Г. Петрова — «Почти единственная газета в России», «Альбом выставки в память Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского», «Еще о „60-х годах, нашей истории», «Шалун нашей прессы», «Памяти Евг. Льв. Маркова», «Февральские потери», «Судьба русского ученого», «Правила добродетели и условия добродетели».

И. А. Ревякина — «К. М. Фофанов. Иллюзии», «Своевременная книга», «Литературы и литераторы», «М. Ю. Лермонтов», «М. О. Меньшиков. Начала жизни», «„Демон“ Лермонтова в окружении древних мифов», «О литературных занятиях чиновников», «И. Щеглов. Новое о Пушкине», «Философ-Рудин», «Сто лет поэзии и прозы», «Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьёва. Т. 2», «50-летие кончины Гоголя», «Письмо в редакцию <О кн. В. А. Добролюбова>», «Вл. Соловьёв и Достоевский», «Размолвка между Достоевским и Соловьёвым», «Ускользящий читатель», «Простая рыбачка», «С. А. Андреевский как критик», «Американизм и американцы», «Новое из прошлого гр. Л. Н. Толстого», «Перед рассветом», «Наука и литература в уставе о печати», «Куно Фишер. История новой философии», «Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва», «А. В. Никитенко. Моя повесть о самом себе...».

В. Б. Трофимова — «Мнимое заимствование», «Д. Мережковский. Любовь сильнее смерти», «С. А. Рачинский и его Татев», «Особая группа писателей», «Именины», «Заметка о Мережковском», «Среди иноязычных (Д. С. Мережковский)», «Годовщина смерти Золя», «Ив. С. Тургенев», «Царевич Алексей», «Один из добрых наших наставников», «Русские идеалы», «Меблированная пыль», «Оконченная „трилогия“ г. Мережковского», «Мечта в целку».

Остальные статьи не имеют архивных аналогов и печатаются по первой публикации.

Комментарии подготовили А. Н. Николюкин и А. П. Дмитриев при участии К. В. Душенко, И. А. Едошиной, К. А. Жульковой, А. В. Ломоносова, А. А. Медведева, Т. М. Миллионщиковой, Г. В. Нефедьева, И. А. Ревякиной, Л. Л. Черниченко. Используются материалы опубликованных комментариев.

Компьютерное редактирование тома — К. А. Жульковой и И. В. Логвиновой.

Ведущий редактор — А. П. Дмитриев.

Согласно Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации,
приносящей вред их здоровью и развитию»,
«книга предназначена для детей старше 16 лет»

Научное издание

В. В. РОЗАНОВ
Полное собрание сочинений в 35 томах
Серия «Литература и искусство» в 7 томах
Т. 3. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ:
Статьи 1901–1907 гг.

Составитель и редактор тома *А. Н. Николукин*

Выпускающий редактор *А. П. Дмитриев*
Компьютерная верстка *С. В. Степанова*
Художественное оформление *С. А. Гавриловой*

Формат 70 × 100 ¹/₁₆. Гарнитура Октава. Изд. л. 58,0.
Тираж 1000 экз. Заказ № 4115

ООО «Издательство «Росток»
E-mail: rostokbooks@yandex.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: 8–921–937–98–70

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, В. О., 9-я линия, 12

